



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

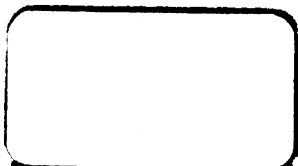
- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

2.2.2

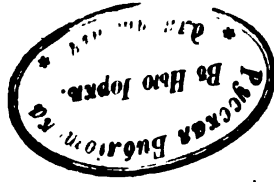
THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
* *
PRESENTED BY
DAVID BERNSTEIN
IN 1939
IN MEMORY OF HIS FATHER
HERMAN BERNSTEIN
1876-1935



4-10-13

2052

СОЧИНЕНІЯ
Н. В. ГОГОЛЯ
ТОМЪ I





Portrait of Alexander von Suvorov.

СОЧИНЕНІЯ
Н. В. ГОГОЛЯ

ИЗДАНИЕ ДЕСЯТОЕ

Текстъ сверенъ съ собственноручными рукописями автора и первоначальными
изданіями его произведеній.

Николаемъ Тихонравовымъ

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

МОСКВА

ИЗДАНИЕ КНИЖН. МАГ. В. ДУМНОВА, ПОДЪ ФИРМОЮ „НАСЛѢДНИКИ БР. САЛАВВЫХЪ“

1889.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
28969B
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
B 1939 L



Типографія Э. Лисснера и Ю. Романа, Арбатъ, д. Платонова.



ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ.

Въ текущемъ году исполнилось тридцать семь лѣтъ со дня кончины Гоголя и шестьдесятъ лѣтъ съ появленія въ печати идилліи „Ганцъ Кюхельгартенъ“, которою началось его литературное поприще. Черезъ три года минетъ пятьдесятъ лѣтъ со времени напечатанія первой части „Мертвыхъ Душъ“, которою закончился блестящій періодъ строго-художественной дѣятельности автора этой „поэмы“. Время *историческаго* изученія произведеній Гоголя уже наступило. Драгоцѣнный матеріалъ для такого изученія отчасти собранъ П. А. Кулишемъ въ извѣстномъ изданіи „Сочиненій и писемъ Н. В. Гоголя“: пятый и шестой томы этого сборника обнимаютъ переписку поэта съ 1820-го по 1852-й годъ включительно. Въ нашихъ историко-литературныхъ журналахъ и сборникахъ обнародовано также не мало писемъ Гоголя, дополняющихъ собраніе г. Кулиша. Но главнымъ руководствомъ при историческомъ изученіи писателя должны конечно служить его произведенія.

Въ русской литературѣ давно уже чувствуется потребность въ такомъ изданіи сочиненій Гоголя, которое удовлетворяло бы задачамъ историческаго изученія поэта. Вслѣдствіе особыхъ, исключительныхъ условий *текста* сочиненій Гоголя, еще при жизни его, подвергся искаженіямъ и произвольнымъ поправкамъ. Поэтъ писалъ свои произведенія такъ неразборчиво, съ такими вопіющими отступленіями отъ общепринятыхъ правилъ правописанія, нерѣдко даже замѣняя одну букву другою, что оригиналы этихъ произведеній могли быть правильно переписаны писцомъ только при неослабномъ личномъ руководствѣ автора. Но Гоголь не всегда могъ удѣлять время

на внимательный, утомительный пересмотръ работы своихъ писцовъ. Первое изданіе „Сочиненій Н. Гоголя“ печаталось безъ непосредственнаго личнаго надзора автора, — онъ жилъ въ то время за границую, — и недоумѣнія, можетъ быть, и вызывавшіяся въ издателѣ, Н. Я. Прокоповичѣ, не всегда исправными копіями писца, оставались неразрѣшенными; сомнительныя мѣста печатались обыкновенно въ томъ видѣ, какой они получили подъ перомъ писца. Произвольныя поправки перваго издателя вносили въ текстъ Гоголя новыя искаженія. Указанные недостатки перваго изданія „Сочиненій Гоголя“ перешли и въ послѣдующія изданія. Такимъ образомъ *пересмотръ текста* произведеній Гоголя и повѣрка онаго *собственноручными* рукописями поэта выдвигается въ настоящее время на первый планъ при изданіи его сочиненій, — особенно такомъ, которое удовлетворяло бы требованіямъ историческаго ихъ изученія.

Съ другой стороны, самъ Гоголь не успѣлъ выполнить во всемъ объемѣ задуманный имъ, незадолго до смерти, планъ настолько полнаго собранія своихъ сочиненій, чтобы по нимъ можно было читателю составить вѣрное представленіе о „теоретическихъ понятіяхъ“, какія авторъ „имѣлъ о литературѣ, и объ искусствѣ, и о томъ, что должно двигать литературу нашу“. Трудами Н. П. Трушковскаго и П. А. Кулиша собранію „Сочиненій Гоголя“ дана была извѣстная степень полноты; но они не имѣли въ виду приготовить такое изданіе, которое удовлетворяло бы потребностямъ историческаго изученія писателя. Одною изъ характеристическихъ особенностей творчества Гоголя была медленность въ разработкѣ идеи и формы произведенія: разработка и переработка написаннаго произведенія совершалась въ теченіе цѣлыхъ годовъ, по частямъ, отрывками, одновременно съ работою надъ нѣсколькими другими произведеніями, въ перекрестныхъ направленіяхъ. Въ этомъ отношеніи Гоголь представляетъ совершенную противоположность Пушкину. Онъ самъ вполне сознавалъ это. Въ августѣ 1839 года Гоголь писалъ Шевыреву: „Меня всегда дивилъ Пушкинъ, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться въ деревню одному и запереться. Я, наоборотъ, въ деревнѣ никогда ничего не могъ дѣлать; и вообще я не могу ничего дѣлать, гдѣ я одинъ и гдѣ я чувствовалъ скуку. Всѣ свои нынѣ

печатные грѣхи я писалъ въ Петербургѣ и именно тогда, когда я былъ занятъ должностью, когда мнѣ было некогда, *среди этой живости и перемѣны занятій*, и чѣмъ я веселѣе провелъ канунъ, тѣмъ вдохновеннѣй возвращался домой, тѣмъ свѣжѣе у меня было утро¹. (Сочиненія и письма Гоголя V, 381). Позднѣе, оцѣнивши свѣжителъную силу уединенія, художникъ продолжалъ работать надъ передѣлкою своихъ прежнихъ произведеній — упорно, обдумывая многія изъ нихъ цѣлыя годы¹, и по прежнему набрасывая на бумагу по частямъ отдѣльные ихъ эпизоды. Такія „передѣлки прежнихъ пиесъ“ были неотразимою внутреннею потребностью Гоголя. „Я производилъ ихъ (пишетъ онъ), *основываясь на разумнѣи самого себя, на устройствѣ головы своей*. Я видѣлъ, что *на этомъ одномъ* я могъ только навывкнуть производить плотное созданіе, сущное, твердое, освобожденное отъ излишествъ и неумѣренности, вполне ясное и совершенное въ высокой трезвости духа“². Въ силу этой особенности своей художической природы, Гоголь не разъ обращался къ новой переработкѣ даже *напечатанныхъ* уже произведеній своихъ: „Портретъ“, „Тарасъ Бульба“, „Ревизоръ“ передѣлывались *заново* на пространствѣ *всего* блестящаго періода чисто-художественной дѣятельности Гоголя (1835 г. — 1842 г.). Новыя воззрѣнія и впечатлѣнія вносились въ готовые, уже получившіе опредѣленную форму, сюжеты и новыя симпатіи сказывались въ нихъ... Въ многочисленныхъ черновыхъ наброскахъ, передѣлкахъ, редакціяхъ „Тараса Бульбы“, „Театральнаго развѣда“, первой части „Мертвыхъ Душъ“ проходить передъ внимательнымъ наблюдателемъ исторія внутренней жизни поэта въ указанную эпоху. Набрасывая начерно эскизы своихъ поэтическихъ созданій, Гоголь вполне отдавался „посѣщавшему его вдохновенію“, и въ этихъ первыхъ наброскахъ изливались его думы и чувства съ необыкновенною искренностью, — искренностью, которою не всегда отличаются его письма. И въ послѣдствіи, возвращаясь къ отдѣлкѣ этихъ первыхъ, про себя сдѣланныхъ набросковъ, Гоголь начиналъ умѣрять и ограничивать излишнюю ихъ откровенность, заботливо сглаживая всѣ проявленія личнаго элемента и част-

¹ Русское слово 1859 г., кн. I, стр. 180. ² Русская старина 1876 г., кн. IX, стр. 125.

ныхъ, временныхъ чертъ... Укажемъ на „Театральный разъѣздъ“, на статью „О движеніи журнальной литературы“, на нѣкоторыя страницы въ первой части „Мертвыхъ Душъ“. Эти черновые наброски даютъ, въ своей совокупности, нерѣдко болѣе цѣнные факты для исторіи внутренней жизни поэта, чѣмъ его письма, иногда излишне осторожныя, почти всегда сдержанныя и не обнаруживающія охоты посвящать друзей въ литературныя занятія ихъ автора. И здѣсь, въ этихъ постоянныхъ трудахъ надъ передѣлкою „прежнихъ піесъ“, Гоголь являетъ собою совершенную противоположность Пушкину, который въ молодости увѣрялъ кн. Вяземскаго, что „никогда не могъ поправить разъ имъ написаннаго“¹. Для Гоголя переработка „прежнихъ произведеній“ была „подвигомъ, предпринятымъ въ глубинѣ души“²; его великія созданья выработались „годами самоотверженья, отчужденья отъ міра и всѣхъ его выгодъ“³. Кто желаетъ разъяснить себѣ исторію жизни и творческой дѣятельности Гоголя, тому необходимо изучить по оставшимся документамъ этотъ „подвигъ“ художника, войти въ его „подвижническую келью“ (по прекрасному выраженію П. В. Анненкова).

Руководствуясь вышеизложенными соображеніями, мы поставили главными задачами настоящаго изданія сочиненій Гоголя: 1) установленіе правильнаго ихъ текста и 2) возможную полноту собранія, необходимую для основательнаго историческаго изученія произведеній и личности поэта.

Первое изданіе сочиненій Гоголя вышло въ 1842 г. (С.-Петербургъ, въ типографіи А. Бородина и К^о). Оно состояло изъ четырехъ томовъ. Въ первый томъ вошли „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки“ и предисловіе автора ко всему изданію; во второй — „Миргородъ“; въ третій — повѣсти: „Невскій проспектъ, Носъ, Портретъ, Шинель, Коляска, Записки сумасшедшаго, Римъ“; въ четвертый — „комедіи: 1) Ревизоръ съ приложеніями, 2) Женитьба; драматическіе отрывки и отдѣльныя сцены: 3) Игроки, 4) Утро дѣловаго человѣка, 5) Тяжба, 6) Лакейская, 7) Отрывокъ и 8) Театральный разъѣздъ послѣ перваго представленія комедіи“. Отправляясь за границу, Го-

¹ Сочиненія Пушкина изд. Литературнаго фонда VII, 53. ² Русская Старина 1875 г., кн. IX, стр. 125. ³ Русскій Архивъ 1866 г., стр. 769.

голь ввѣрилъ редакцію этого изданія Н. Я. Прокоповичу, учителю русскаго языка въ одномъ изъ петербургскихъ кадетскихъ корпусовъ. Поэтъ далъ ему довольно широкія полномочія по отношенію къ тексту своихъ сочиненій. „При корректурѣ втораго тома (писалъ ему Гоголь) прошу тебя дѣйствовать *какъ можно самоуправный и полновластный*: въ „Тарасѣ Бульбѣ“ много есть погрѣшностей писца. Онъ часто любитъ букву *и*; гдѣ она не у мѣста, тамъ ее выбрось; въ двухъ-трехъ мѣстахъ я замѣтилъ плохую грамматику и почти отсутствіе смысла. Пожалуйста, *поправь вездѣ съ такою же свободою, какъ ты переправляешь тетради своихъ учениковъ*. Если гдѣ частое повтореніе одного и того же оборота періодовъ, дай имъ другой и никакъ не сомнѣвайся и не задумывайся, будетъ ли хорошо, — все будетъ хорошо“¹. Прокоповичъ усердно исполнялъ просьбу своего лицейскаго товарища. Выправляя въ произведеніяхъ Гоголя дѣйствительныя погрѣшности противъ русскаго языка, онъ въ то же время безъ всякой надобности измѣнялъ отдѣльныя выраженія Гоголя, казавшіяся ему неприличными или неточными. Гоненію Прокоповича подверглись напр. слова: *нужно, около*“: первое онъ замѣнилъ болѣе приличнымъ „надобно“, второе — словомъ „возлѣ“. Какъ старательный учитель, „исправлялъ“ Прокоповичъ отдѣльные обороты и выраженія въ сочиненіяхъ Гоголя, руководствуясь своими грамматическими и стилистическими правилами. Съ ревностію пуриста, устранялъ иногда Прокоповичъ изъ произведеній своего „друга“ обороты рѣчи и оттѣнки произношенія, заимствованныя поэтомъ изъ живаго народнаго говора и пѣсенъ, и замѣнялъ ихъ книжными. Кажется, Прокоповичу принадлежить и замѣна слова „сей“ словомъ „этотъ“ въ произведеніяхъ Гоголя, относящихся къ начальному періоду его литературной карьеры: самъ поэтъ отстаивалъ это слово, когда Сенковскій поднялъ гоненіе на „сей“ и „оный“². Хотя въ распоряженіе Прокоповича предоставлены были *собственноручныя рукописи* произведеній Гоголя (напр. послѣдней редакціи „Тараса Бульбы“) или копии, собственноручно исправленныя по этому, но редакторъ не всегда обращался къ нимъ, при печат-

¹ Русское Слово 1869 г., кн. I, стр. 119. ² Ср. настоящаго изданія томъ V, стр. 491.

тані, для исправленія погрѣшностей и пропусковъ писца, образовавшихся вслѣдствіе вышеуказанныхъ условій, — и въ текстѣ изданныхъ подъ наблюденіемъ Прокоповича „Сочиненій Гоголя“ оказались пропуски, невѣрныя чтенія, вносившія въ нихъ иногда безсмыслицу.

Гоголь не былъ доволенъ редакцію Прокоповича и острожно далъ понять это своему школьному товарищу. „Издано вообще довольно исправно и старательно (пишетъ онъ Прокоповичу). *Вкрались ошибки*, но, я думаю, они произошли отъ неправильнаго оригинала и принадлежатъ писцу или даже мнѣ. Все, что отъ издателя, то хорошо; что отъ типографіи, то мерзко. Буквы тоже подлыя. Я виноватъ сильно во всемъ. Во-первыхъ, виноватъ тѣмъ — ввелъ тебя въ хлопоты, хотя тайный умыселъ мой былъ добрый: мнѣ хотѣлось пробудить тебя изъ недвижности и придвинуть къ дѣятельности книжной; *но вижу, что еще рано*“¹.

Въ концѣ 1850-го года Гоголь задумалъ напечатать новое изданіе своихъ сочиненій. 7-го ноября этого года онъ писалъ профессору С. П. Шевыреву: „Насчетъ печатанья моихъ сочиненій — напиши мнѣ, что стоитъ бумага, на которой печатается „Москвитянинъ“, и можно ли ее заготовить достаточно на второе изданіе моихъ сочиненій. Я бы желалъ листъ ея перегнуть въ 12-ю долю. Они велики, и двѣнадцатая доля будетъ почти равняться прежней осьмушкѣ. Мнѣ бы хотѣлось, чтобъ изданье продавалось дешевле: за *пять томовъ* пять, шесть цѣлковыхъ не больше. Увѣдоми меня также, что возьмутъ типографщики за листъ Смирдинскаго изданія русскихъ писателей, которые тоже въ двѣнадцатую долю и которыхъ рамка страницъ такая, какая потребна моимъ сочиненіямъ, съ той только разницею, что мнѣ хотѣлось бы пустить поля пошире и потому бумагу побольше. Да есть ли у тебя экзем-

¹ Русское Слово 1859 г., кн. I, стр. 132. Повидному, изданіемъ Прокоповича не были довольны и почитатели Гоголя. 7 апрѣля 1843 г. Гоголь писалъ Шевыреву: „Мнѣ однакоже очень прискорбно, если я былъ причиною того, что *доставилъ ему* (Прокоповичу) *въ чемъ-либо дурную репутацію*, тѣмъ болѣе, что я насильно его втянулъ въ это дѣло, умоляя именемъ дружбы взяться за него и имѣя внутренно тайный умыселъ чѣмъ-нибудь пробудить этого человека, исполненнаго большихъ дарованій, отъ неопытнаго усмленія, въ которое онъ погрузился“ (Русская Старина 1875 г., кн. X, стр. 300).

пляръ, чтобы отдать въ цензуру и какому цензору? Я думаю, лучше къ Лешкову. Если же какія-нибудь вздумаетъ *измѣненія противъ перваго изданія*, въ такомъ случаѣ лучше въ Петербургъ. Нужно просить Плетнева¹. Вѣроятно, получивши отъ Шевырева успокоительныя свѣдѣнія насчетъ цензуры, Гоголь, также изъ Одессы, 15-го декабря увѣдомилъ Шевырева, что „сочиненія можно отдать въ цензуру“². Въ началѣ 1851-го года онъ уже пишетъ Шевыреву изъ Одессы: „Приступилъ ли ты къ печатанью моихъ сочиненій? Недавно мнѣ попало въ руки Смирдина изданіе Русскихъ авторовъ, и я увидѣлъ, что шрифтъ уже черезъ-чуръ густъ и убористъ [что не годится для моихъ сочиненій; книжки выйдутъ очень тоненькія, и притомъ читать трудно]. Рамку можно взять такую же, или хоть и больше, но строки непременно порѣже, и буквы крупнѣе — если можно, такой величины, какъ напечатана твоя „Поѣздка“³, и бумагу нужно бы выбрать поплотнѣе, такъ чтобы строки не сквозили. *Всѣ эти обстоятельства такъ важны*, что если, паче чаянія, уже нѣсколько листовъ отпечатано, то можно ихъ бросить и начать печатать снова. Увѣдоми также, во сколькихъ типографіяхъ печатается и около какого времени книга выйдеть“⁴. Изъ приведенныхъ выдержекъ видно: 1) что Гоголь торопился печатаніемъ своихъ сочиненій, которыя и предполагалось набирать одновременно въ нѣсколькихъ типографіяхъ; 2) что онъ придавалъ особенную „важность“ выбору бумаги, шрифта и формата и заботился преимущественно о красивой внѣшности изданія; 3) что новое изданіе его сочиненій должно было набираться съ экземпляра изданія Прокоповича⁵, съ прибавленіемъ къ нему *новаго*, пятаго тома; и, наконецъ, 4) что Гоголь не хотѣлъ допустить какихъ-либо цензурныхъ измѣненій противъ перваго изданія

¹ Сочиненія и письма Гоголя VI, 515; Русская Старина 1875 г., кн. XII, стр. 676. ² Сочиненія и письма Гоголя VI, 518; Русская Старина, стр. 676. ³ Гоголь разумѣетъ изданное въ 1850-мъ году сочиненіе „Поѣздка въ Кирилло-Бѣлозерскій монастырь. Вакаціонные дни профессора Шевырева“. ⁴ Сочиненія и письма Гоголя VI, 529. ⁵ Переписка Гоголя опровергаетъ рассказъ Бодянского, будто изъ этого изданія своихъ сочиненій Гоголь предполагалъ исключить „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки“ (Кулишъ, Записки о жизни Гоголя II, 258). Въ цензуру представлены были всѣ четыре тома перваго изданія „Сочиненій Гоголя“, изд. 1842 г.

„Сочиненій“. Не только о какихъ бы то ни было *редакціонныхъ* измѣненіяхъ, но даже и объ устраненіи „ошибокъ“, допущенныхъ Прокоповичемъ въ первомъ изданіи „Сочиненій Гоголя“, не было рѣчи въ письмахъ поэта къ профессору Шевыреву. Послѣдній не приступалъ однако къ перепечаткѣ сочиненій Гоголя, пока самъ авторъ не пріѣхалъ въ Москву. 15 іюля 1851 года, уже изъ Москвы, Гоголь писалъ Плетневу: „Второе изданіе моихъ сочиненій нужно уже и потому, что книгопродавцы дѣлають разныя мераости съ покупателями... Прежде хотѣлъ было вмѣстить нѣкоторыя прибавленія и перемѣны, но теперь не хочу: *пусть все останется въ томъ видѣ, какъ было въ первомъ изданіи*“¹. Только въ сентябрѣ 1851-го года рѣшенъ былъ вопросъ о представленіи „Сочиненій Гоголя“ въ Московскій Цензурный Комитетъ. Объ этомъ мы знаемъ изъ слѣдующихъ строкъ записки, посланной Гоголемъ Шевыреву 30 сентября: „Попечитель на другой день послѣ моего отъѣзда, 23-го сентября², пріѣзжалъ съ извѣстіемъ, что нужно обыкновеннымъ порядкомъ доставить цензору, который прямо подпишетъ и дѣло готово. Стало быть, съ министромъ нечего объ этомъ и толковать“³. По возвращеніи Гоголя изъ Троицкой Лавры, въ первыхъ числахъ октября, экземпляръ перваго изданія „Сочиненій Гоголя“⁴ представленъ былъ, для новаго разсмотрѣнія, въ Московскую цензуру. Обѣщаніе Попечителя учебнаго округа было исполнено: цензурное разрѣшеніе послѣдовало быстро — 10-го октября 1851-го года дозволеніе перепечатать первое изданіе „Сочиненій Гоголя“ было подписано цензоромъ Д. Ржевскимъ⁵. 30-го ноября Гоголь уже увѣдомлялъ Плетнева: „Печатанье сочиненій, слава Богу, устроилось и здѣсь. Что же до печатанья новыхъ, то, впрочемъ, въ нихъ, кажется, все такъ ясно и, должно быть, отчетливо, что, я думаю, и они пойдуть въ дѣло“⁷. На обо-

¹ Сочиненія и письма Гоголя VI, 536. ² Попечителемъ Московскаго учебнаго округа былъ въ то время генералъ-адъютантъ В. И. Назимовъ. ³ Въ изданіи Кулиша напечатано: „23 октября“. Повидимому эта описка принадлежитъ Гоголю. ⁴ Сочиненія и письма Гоголя VI, 542; Русская Старина 1876 г., кн. XII, стр. 676. ⁵ Два тома этого экземпляра внослѣдствіи поступили изъ Цензурнаго Комитета въ фундаментальную бібліотеку Московскаго Университета и сохраняются въ ней подъ рубрикою ЖРК 119^b. ⁶ Надпись сдѣлана на оборотѣ заглавнаго листа перваго изданія подъ печатнымъ разрѣшеніемъ петербургской цензуры. ⁷ Сочиненія и письма Гоголя VI, 547.

ротной страницѣ заглавнаго листа этого новаго изданія „Сочиненій Гоголя“, подъ текстомъ цензурнаго разрѣшенія, было напечатано: „Съ изданія 1842 года безъ перемѣнъ“. Это извѣстіе не совсѣмъ точно: мелкія грамматическія и стилистическія поправки все-таки вносились въ новое изданіе; они исходили отъ автора или печатались съ его вѣдома и потому встрѣчаются *только* на тѣхъ страницахъ этого изданія, которыя были отпечатаны при его жизни¹. Книга набиралась одновременно въ трехъ типографіяхъ. Первые корректуры читались Шевыревымъ и М. Н. Лихонинымъ, однимъ изъ сотрудниковъ „Москвитянина“, занимавшимъ въ Московскомъ почтамтѣ должность „чиновника, знающаго иностранныя языки“². Гоголь просматривалъ послѣднюю корректуру присылавшихся къ нему листовъ и вносилъ въ нее свои поправки. При множествѣ корректуръ, доставлявшихся вдругъ изъ трехъ типографій, Гоголь, уже страдавшій приступами предсмертной болѣзни, не былъ въ состояніи внимательно заняться исправленіемъ „ошибокъ“ и недосмотровъ въ текстъ своихъ сочиненій. Внѣшность изданія по прежнему озабочивала его. Такъ, на корректурномъ листкѣ страницъ 53-й, 54-й и 75—76-й третьяго тома ниже заглавія „Носъ“ на шмуцтитулѣ Гоголь нарисовалъ карандашомъ ту форму заглавныхъ буквъ, составляющихъ это слово, которую желалъ видѣть на первой страницѣ повѣсти и внизу приписалъ: „Сими буквами набрать на той сторонѣ, гдѣ текстъ. Н. Гоголь“. Желаніе его было исполнено. При корректурѣ, нѣкоторымъ малороссійскимъ словамъ дана была, повидимому кѣмъ-нибудь изъ сотрудниковъ Гоголя по корректурѣ, иная транскрипція, чѣмъ въ первомъ изданіи (напр. на

¹ Трушковскій, окончившій подъ своей редакціею это изданіе, замѣчаетъ: „Небольшія измѣненія въ слогѣ, сдѣланныя въ этихъ листахъ самимъ авторомъ (извѣстно, что онъ самъ читалъ послѣдніе корректурные листы) такъ маловажны и притомъ ихъ такъ немного, что мы не считали нужнымъ объ нихъ упоминать“ (т. е. въ предисловіи къ первому тому). Ср. Сочиненія Н. В. Гоголя, Москва, 1866, т. V, стр. I—II. ² На корректурномъ листкѣ, принадлежащемъ нынѣ Обществу любителей Россійской словесности, находится такая подпись: „Прислать еще корректуру. Лихонинъ“. Можетъ быть, Шевыревъ читалъ не всѣ корректуры, а отдѣлялъ какой-нибудь томъ Лихонину? Изъ корректурныхъ поправокъ послѣдняго на 53-й страницѣ отмѣнены одну; было набрано согласно съ первымъ изданіемъ: „сорокалѣтними“; Лихонинъ исправилъ — „сороколѣтними“. Такъ и напечатано во второмъ изданіи „Сочиненій Гоголя“.

первыхъ листахъ перваго тома печатали: „парубокъ“, на послѣднихъ: „парубокъ“, какъ въ первомъ изданіи). Самъ Гоголь исключилъ *два слова* изъ эпиграфа къ повѣсти „Майская ночь“ (I, 537), вазавшіяся ему, при тогдашнемъ направленіи его мысли, неумѣстными, и подѣ влияніемъ господствовавшаго въ немъ болѣзненнаго настроенія измѣнилъ одно мѣсто въ „Сорочинской ярмаркѣ“ (I, 514). Объ исправленіяхъ „ошибокъ“ и недосмотровъ прежняго изданія по собственнымъ рукописямъ поэта не заботились, при спѣшности работы, ни самъ онъ, ни его сотрудники по корректурѣ. Смерть Гоголя (21 февраля 1852 г.) остановила на долгое время печатаніе его сочиненій. По свидѣтельству Трушковскаго, при жизни автора отпечатана была „большая половина“ начатаго изданія; именно: „перваго и втораго тома было отпечатано по *девяти* листовъ, третьяго — *тринадцать* и четвертаго — *семь*“¹. Появленіе въ свѣтъ втораго изданія „Сочиненій Гоголя“ замедлилось вслѣдствіе особыхъ обстоятельствъ, сложившихся вскорѣ послѣ его кончины. Современникъ, бывшій ближайшимъ свидѣтелемъ затрудненій, возбужденныхъ продолженіемъ печатанія сочиненій Гоголя — князь Д. Оболенскій рассказываетъ: „Цензорамъ объявлено было приказаніе — строго цензуровать все, что пишется о Гоголѣ, и, наконецъ, объявлено было совершенное запрещеніе говорить о Гоголѣ... Наконецъ, даже имя Гоголя опасались употреблять въ печати и взамѣнъ его употребляли выраженіе: „извѣстный писатель“. Вотъ при какихъ условіяхъ друзья и родственники Гоголя должны были начать хлопоты объ изданіи его сочиненій и въ томъ числѣ найденныхъ отрывковъ изъ второй части „Мертвыхъ Душъ“². Тогдашній Попечитель

¹ Во второмъ изданіи „Сочиненій Гоголя“ девятый листъ перваго тома оканчивается словами: „Куда, Вакула?“ кричали парубки, видя бѣгущаго кузнеца. „Прощайте, братцы!“ кричалъ въ отвѣтъ кузнецъ: „дастъ Богъ, увидимся на“ (ср I, 120). Девятый листъ втораго тома оканчивается такъ: „въ мигъ притихаетъ бѣшеный порывъ, и упадаетъ безсильная ярость. Подобно тому, въ одинъ мигъ“ (Ср. I, 338). Тринадцатый листъ третьяго тома (въ которомъ при жизни Гоголя не были допечатаны „Записки сумасшедшаго“ и „Римъ“) оканчивается слѣдующими строками первой повѣсти: „Фрацишка на немъ гадкій, рожа такая, что плюнуть хочется, а посмотри ты, какую онъ дачу нанимаетъ! Фарфоровой вызолоченной чаш —“ (настоящаго изданія V, 345). Менѣе всего напечатано было для четвертаго тома — безъ нѣсколькихъ строкъ первыя четыре дѣйствія „Реввзора“; седьмой листъ этого тома оканчивается словами: „Голось Хяестакова. Прощайте, Автовъ Антоновичъ“ (II, 269). ² Русская Старина 1873, кн. XII, стр. 949.

Московского учебнаго округа В. И. Назимовъ снова явился на помощь этому изданію. Въ маѣ 1853-го года онъ вошелъ въ министерство народнаго просвѣщенія „съ официальнымъ представленіемъ о разрѣшеніи новаго изданія „Сочиненій Гоголя“, *въ 4-хъ частяхъ*, напечатанныхъ въ 1842 году въ С.-Петербургѣ и нынѣ вновь одобряемыхъ къ печати Московскою цензурою“¹.

Въ то же время попечитель Назимовъ обратился къ тогдашнему Министру народнаго просвѣщенія А. С. Норову съ особымъ письмомъ, въ которомъ высказалъ свою „убѣдительнѣйшую просьбу поддержать сдѣланное имъ представленіе и оказать содѣйствіе къ успѣшному его разрѣшенію“². Въ Петербургѣ „въ главномъ управленіи (рассказываетъ кн. Оболенскій) вліятельный голосъ попечителя с.-петербургскаго университета Мусина-Пушкина, безъ всякаго сомнѣнія, взялъ бы верхъ надъ робкой защитой другихъ членовъ, ежели бы министръ народнаго просвѣщенія — А. С. Норовъ и начальникъ штаба шефа жандармовъ, по настоятельной просьбѣ Великаго Князя Константина Николаевича, не приняли на себя труда лично въ засѣданіи управленія высказать свое мнѣніе въ пользу изданія сочиненій Гоголя, какъ новыхъ, такъ и старыхъ“³. Черезъ три года послѣ смерти „великаго“ писателя на представленномъ въ московскую цензуру экземплярѣ „Сочиненій Гоголя“ изданія 1842 года, подѣ разрѣшеніемъ цензора Ржевскаго, даннымъ въ 1851-мъ году и уже потерявшимъ свою силу, появилось новое дозволеніе, подписанное такъ: „Москва іюня 2-го 1855-го года. Ценсоръ И. Безсомыкинъ“⁴. Къ продолженію изданія приступилъ племянникъ покойнаго поэта — Н. П. Трушковскій. Въ 1855-мъ году имъ изданы были только первые четыре тома „Сочиненій Гоголя“, напечатанные въ разныхъ типографіяхъ: первые два — въ Университетской типографіи, третій — въ типографіи В. Готье, четвертый — въ типографіи Александра Семена. Тѣ листы этого изданія, которыя набирались уже послѣ смерти Гоголя подѣ наблюдениемъ Трушковскаго, *перепечатаны буквально съ изданія 1842 года*, и потому въ правописаніи нѣкоторыхъ словъ въ нихъ встрѣчаются отступленія отъ право-

¹ Русская Старина 1882 г., вл. II, стр. 482. ² Тамъ же, стр. 483. ³ Русская Старина 1873, вл. XII, стр. 951.

писанія, принятаго на первыхъ листахъ того же изданія. Въ 1856 году вышли послѣдніе два тома этого изданія, приготовленные къ печати также Трушковскимъ. Составъ ихъ издатель опредѣлилъ такъ: „Въ *пятомъ* томѣ мы сдѣлали *три* отдѣла: Въ *первый* вошли статьи изъ Арабесковъ, исключенныя Гоголемъ изъ собранія его сочиненій. Во *второй* отдѣлѣ — двѣ статьи, напечатанныя въ журн. „Современникъ“ за 1836 г. Хотя эти статьи явились безъ имени, но мы имѣемъ черновыя тетради, служащія несомнѣннымъ доказательствомъ въ принадлежности ихъ Гоголю. Въ *третьей* — сочиненія, не бывшія донинѣ въ печати. Это: *Отрывокъ неизвѣстной повѣсти*, относящійся къ молодымъ годамъ нашего автора, написанъ на отдѣльныхъ листкахъ самымъ неразборчивымъ почеркомъ. За редакцію этого отрывка мы въ особенности благодарны О. М. Бодянскому, принявшему на себя трудъ его разобрать и привести въ порядокъ. Кромѣ того *Развязка Ревизора*; и къ этому же отдѣлу мы отнесли еще *Отрывокъ изъ Мертвыхъ Душъ*, хотя онъ и былъ уже напечатанъ въ Русскомъ Вѣстникѣ за нынѣшній годъ. Въ *шестомъ* томѣ мы помѣстили: „Выбранныя Мѣста изъ Переписки съ Друзьями“, совершенно въ томъ же видѣ, какъ они были изданы при жизни автора въ 1847 г. И наконецъ присоединили еще сюда особый отдѣлъ: *Юношескіе опыты*“¹. Трушковскій, знакомый непосредственно съ рукописями произведеній Гоголя и благоговѣнно относившійся къ памяти своего знаменитаго дяди, отказался принять на себя недостатки изданія, которое ему суждено было оканчивать. „Сознвая всѣ недостатки настоящаго изданія (писалъ онъ въ предисловіи къ пятому тому „Сочиненій Гоголя“), въ оправданіе себя мы повторимъ то, что уже сказали разъ: изданіе начато не нами, мы приняли его подъ свою редакцію тогда, когда уже большая половина была отпечатана, и *постыжили его окончить*, чтобы удовлетворить скорѣе хотя первому требованію читателей. — При другомъ полномъ собраніи его сочиненій (продолжаетъ Трушковскій) *всѣ измѣненія и перемѣнки*, которыя такъ часто встрѣчаются у Гоголя, *будутъ указаны*, — но при настоящемъ изданіи вопросъ объ нихъ не имѣлъ еще мѣста, потому что изданіе начато самимъ авторомъ“. Итакъ, въ изданіи „Сочиненій Гоголя“, которое начато было

¹ Сочиненія Гоголя (Москва, 1856) т. V, стр. II — V.

Гоголемъ при содѣйствіи Шевырева и окончено Трушковскимъ, послѣдній издатель, кромѣ „ошибокъ“, унаслѣдованныхъ отъ изданія Прокоповича, отмѣтилъ отсутствіе указаній на „всѣ измѣненія и передѣлки, которыя такъ часто встрѣчаются у Гоголя“. Трушковскій предполагалъ восполнить этотъ недостатокъ „при другомъ полномъ собраніи“ сочиненій Гоголя. Онъ началъ готовить матеріалы для такого собранія, но тяжкая болѣзнь остановила этотъ трудъ.

Издавая „Сочиненія и письма Н. В. Гоголя“, П. А. Кулишъ сдѣлалъ первую попытку исполнить хотя нѣкоторую часть намѣченной Трушковскимъ задачи — „указать измѣненія и передѣлки“ въ сочиненіяхъ Гоголя: Кулишъ напечаталъ въ своемъ изданіи *два* редакціи „Тараса Бульбы“ и *два* редакціи уцѣлѣвшихъ отрывковъ изъ второй части „Мертвыхъ Душъ“. Пересмотра *текста* произведеній Гоголя и указанія „всѣхъ измѣненій и передѣлокъ, которыя такъ часто встрѣчаются у Гоголя“, г. Кулишъ не ставилъ въ число задачъ своего изданія. Онъ сдѣлалъ, при перепечаткѣ произведеній Гоголя, одно нововведеніе: ввелъ свое правописаніе въ тексты малороссійскихъ эпитафій и въ нѣкоторыя малороссійскія слова, написанные Гоголемъ, — какъ видно изъ его рукописей, — принятымъ въ его время русскимъ правописаніемъ. Собраніемъ и обнародованіемъ переписки Гоголя, въ пятомъ и шестомъ томахъ этого изданія, Кулишъ оказалъ весьма важную услугу дѣлу изученія жизни и произведеній великаго писателя.

Изъ пяти изданій „Сочиненій Гоголя“, напечатанныхъ его „наслѣдниками“, одно только второе, вышедшее подъ редакціею Ѳ. В. Чицова, представляетъ попытку исправить нѣкоторыя, бросающіяся въ глаза читателямъ, ошибки въ текстѣ сочиненій Гоголя. Этому же изданію обязаны мы *первымъ полнымъ изданіемъ* „Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями“, и потому на заглавномъ листѣ оно названо: „изданіе, пополненное по рукописи автора“. Послѣдующія изданія „Сочиненій Гоголя“, напечатанныя „наслѣдниками“, представляютъ прогрессивную порчу *текста* произведеній Гоголя и притомъ распространенную уже на всѣ произведенія его: пятое изданіе „наслѣдниковъ“ особенно обильно опечатками, всякаго рода недосмотрами, пропусками словъ и фразъ и другими искаженіями текста.

Опредѣливши задачи настоящаго изданія сочиненій Гоголя, переходимъ къ изложенію методы, которой мы держались при пересмотрѣ и исправленіи текста.

При перепечаткѣ произведеній, вошедшихъ въ составъ перваго и втораго изданія „Сочиненій Гоголя“, мы полагаемъ въ основаніе *текстъ изданія Трушковскаго, но лишь въ тѣхъ его частяхъ, которыя были просмотрѣны и исправлены авторомъ*. Изъ этого текста мы устраняемъ всѣ ошибки и произвольныя поправки, перешедшія въ него изъ изданія Прокоповича, *хотя бы эти ошибки и поправки не были отмѣчены Гоголемъ* при второмъ изданіи его сочиненій. При возстановленіи *подлиннаго*, правильнаго чтенія отдѣльныхъ мѣстъ мы руководствуемся: 1) или *собственноручными* рукописями поэта, 2) или *собственноручно исправленными* имъ копіями писца, или наконецъ, если ни тѣхъ, ни другихъ не оказывается, 3) первоначальными изданіями произведеній Гоголя, выходившими отдѣльно („Ревизоръ“ 1836 г.), въ альманахахъ („Сѣверныхъ Цвѣтахъ“ и „Новосельѣ“), журналахъ („Современникъ“ Пушкина и Плетнева, „Москвитянинъ“) или въ видѣ отдѣльныхъ сборниковъ („Вечера на хуторѣ близъ Диканьки“, „Миргородъ“, „Арабески“) *подъ личнымъ, непосредственнымъ наблюденіемъ автора до 1842 года, т. е. ранне перепечатки* оныхъ въ изданіи Прокоповича. Оставляя неприкосновенными сдѣланныя издателями сочиненій Гоголя — Прокоповичемъ, Плетневымъ и Шевыревымъ *исправленія дѣйствительныхъ ошибокъ* Гоголя противъ языка и грамматическихъ правилъ, — такихъ исправленій требовалъ самъ Гоголь, — мы тѣмъ не менѣ приводимъ въ „вариантахъ“ и *всѣ первоначальныя, подлинныя чтенія*, т. е. собственные выраженія поэта. Слова, невѣрно прочитанныя писцами и принятыя издателями въ печатный текстъ безъ справки съ оригиналомъ, возстанавливаются по вышеуказаннымъ источникамъ, и поправки вносятся въ *текстъ* настоящаго изданія; равнымъ образомъ возстановляются въ текстъ же и тѣ выраженія, которыя издатели или цензоры произвольно замѣняли другими; но въ томъ и другомъ случаѣ *всѣ прежнія чтенія*, т. е. ошибочныя чтенія и произвольныя поправки, помѣщаются въ „вариантахъ“. Общеупотребительныя выраженія, внесенныя издателями *взамѣнъ* идиотизмовъ Гоголевскаго языка и провинціализмовъ, оставлены въ текстъ, а замѣненныя выраженія самого

поэта отнесены въ варианты. Вообще при исправленіи текста мы устраняли изъ него *только* явныя ошибки писца, невѣрныя чтенія издателей и произвольныя ихъ поправки, руководясь по отношенію къ печатному тексту сочиненій Гоголя его собственнымъ взглядомъ на подобныя исправленія: 27 іюля 1842 г. Гоголь писалъ Прокоповичу: „Да вотъ что самое главное: въ нынѣшнемъ списокѣ слово „слышу“, произнесенное Тарасомъ предъ казнью Остапа, замѣнено словомъ: „чую“. Нужно оставить по прежнему, т. е. *Батько, идѣ ты? Слышишь ли ты это? Слышу. Я упустилъ изъ виду, что къ этому слову уже привыкли читатели и потому будутъ недовольны перемѣною, хотя бы она была и лучше*“¹.

Въ „вариантахъ“ собранъ, такимъ образомъ, весь бывшій намъ доступнымъ матеріалъ для исторіи *текста* сочиненій Гоголя и указаны тѣ рукописи и первоначальныя изданія произведеній поэта, на основаніи которыхъ установлено принятое въ текстъ чтеніе отдѣльныхъ мѣстъ. При этомъ поставленная послѣ каждой цифры *первая буква* чернаго (египетскаго) шрифта всегда относится къ *основному тексту*; остальные буквы того же шрифта означаютъ рукопись или книгу, изъ которыхъ заимствованъ непосредственно предшествующій этимъ буквамъ вариантъ. Напр. на 515-й страницѣ этого тома напечатаны варианты къ страницѣ 26-й того же тома. Подъ цифрою 5 читаемъ: — „Т; „въ ничѣмъ непобѣдимомъ страхѣ“ ВД, П; „въ непобѣдимомъ ужасѣ“ РН. На 26-й страницѣ цифра 5 поставлена послѣ словъ: „въ непобѣдимомъ страхѣ“; къ этимъ словамъ и относится буква — Т, поставленная первою въ „вариантахъ“ къ этой страницѣ, слѣд. она указываетъ, что слова *текста*: „въ непобѣдимомъ страхѣ“, заимствованы изъ изданія Трушковскаго; вариантъ: „въ ничѣмъ непобѣдимомъ страхѣ“ читается въ „Вечерахъ Диканьскихъ“ (ВД) и въ изданіи Прокоповича (П); наконецъ, вариантъ: „въ непобѣдимомъ ужасѣ“ приведенъ изъ рукописи наследниковъ (РН). Значеніе буквъ, употребленныхъ для указанія источниковъ, объяснено въ концѣ „примѣчаній“ къ отдѣльнымъ произведеніямъ, помѣщенныхъ передъ „вариантами“ къ тѣмъ же произведеніямъ.

Помимо вариантовъ, необходимыхъ для исторіи и критики

¹ Ср. примѣчанія къ повѣсти «Тарасъ Бульба» и 513-ю страницу этого тома.

текста произведений Гоголя, въ этотъ же отдѣлъ внесены всѣ исключенныя или измѣненныя старинною цензурою мѣста, довольно иногда объемистыя въ нѣкоторыхъ прежнихъ сочиненіяхъ Гоголя. Впрочемъ, въ первой части „Мертвыхъ Душъ“, напечатанныхъ въ настоящемъ изданіи по цензурному экземпляру, мѣста, зачеркнутыя красными чернилами цензора, удержаны въ текстѣ, а замѣняющія ихъ приписки цензора перенесены въ „варианты“. Въ этомъ же отдѣлѣ сгруппированы всѣ, какія можно было собрать, данныя для исторіи выработки и позднѣйшихъ передѣлокъ нѣкоторыхъ произведений Гоголя. Эти данныя представляютъ, какъ мы уже замѣтили, драгоценный матеріалъ для характеристики творчества Гоголя, приемовъ его работы и вообще для исторіи его нравственнаго и художественнаго развитія. Предпосланныя вариантамъ „примѣчанія“ служатъ объяснительнымъ введеніемъ къ этому матеріалу. Они представляютъ попытку 1) опредѣлить хронологическую дату каждаго произведенія Гоголя и 2) указать, гдѣ возможно, первоначальную выработку отдѣльныхъ печатныхъ сочиненій поэта и тѣ позднѣйшія переработки, которымъ подвергались нѣкоторыя изъ нихъ, и выяснить при этомъ, *въ какое время и при какихъ условіяхъ* совершались эти переработки. Хронологическія даты, поставленныя авторомъ подъ нѣкоторыми изъ его сочиненій, нерѣдко оказываются при критической повѣркѣ неточными: Гоголь намѣренно относилъ многія изъ своихъ произведеній къ болѣе раннимъ годамъ, чѣмъ то было на самомъ дѣлѣ, или окончательную редакцію какого-нибудь произведенія приурочивалъ къ тому году, къ которому относятся черновые наброски *первоначальной*, впоследствии совершенно передѣланной, редакціи (напр. комедія „Женитьба“ въ напечатанномъ Прокоповичемъ видѣ отнесена къ 1833-му году). Фабричныя знаки въ бумагѣ, на которой Гоголь писалъ свои произведенія, даютъ нерѣдко полезныя хронологическія указанія, и потому къ первому тому настоящаго изданія приложенъ снимокъ съ фабричныхъ водяныхъ знаковъ бумаги, на которой Гоголь писалъ наброски для „Тараса Бульбы“, „Шинели“, „Женитьбы“, первой части „Мертвыхъ Душъ“, и др. Къ сожалѣнію, собственноручныя рукописи нѣкоторыхъ произведений Гоголя, особенно изъ перваго, петербургскаго, періода его жизни, остались намъ неизвѣстными. Большая часть сочине-

ній и набросковъ этого періода сохранилась въ записныхъ тетрадяхъ Гоголя, принадлежавшихъ семейству Аксаковыхъ. Подробное описаніе этихъ тетрадей, въ ихъ современномъ видѣ, помѣщено будетъ въ шестомъ томѣ настоящаго изданія. Съ особенною признательностью вспоминаетъ исторія нашей литературы безкорыстныя заботы знаменитаго художника А. А. Иванова (творца картины „Явленіе Христа народу“) о сохраненіи рукописей Гоголя и помѣщеніи оныхъ для общаго пользованія ученыхъ въ два государственныя книгохранилища: въ Императорскую Публичную Библіотеку въ С.-Петербургѣ и въ Московскій Публичный Музей.

Главнымъ руководствомъ при настоящемъ изданіи сочиненій Гоголя служили слѣдующія собранія его собственноручныхъ оригиналовъ и набросковъ:

1) *Пять* записныхъ книгъ Гоголя, принадлежавшихъ Аксаковымъ (означены у насъ буквами РА). Изъ этихъ пяти рукописей *два* (РА № 1 и РА № 2) принадлежать нынѣ наслѣдникамъ Гоголя; одна — Императорской Публичной Библіотекѣ (РА № 3 = ИБ); *два* (РА № 4 и РА № 5) — вдовѣ И. С. Аксакова.

2) Бумаги и рукописи Н. В. Гоголя, принадлежащія его наслѣдникамъ.

3) Рукописи Гоголя, принадлежавшія Н. Я. Прокоповичу и прибрѣтенныя у его наслѣдниковъ графомъ Г. А. Куселевымъ-Безбородко для мѣста воспитанія поэта — Нѣжинскаго Лицея; нынѣ принадлежатъ Нѣжинскому историко-филологическому институту (ИР).

4) Рукописи и бумаги Гоголя, пожертвованныя А. А. Ивановымъ въ Императорскую Публичную Библіотеку (ИПБ, т. е. „Ивановъ — Публичная Библіотека“).

5) Рукописи и бумаги Гоголя, пожертвованныя А. А. Ивановымъ Московскому Музею (ИМ, т. е. „Ивановъ — Музей“).

Отдѣльныя рукописи этихъ коллекцій подробно описаны въ „примѣчаніяхъ“ къ тѣмъ произведеніямъ Гоголя, которыя по этимъ рукописямъ напечатаны въ предлагаемомъ собраніи.

Сочиненія Гоголя размѣщены въ настоящемъ изданіи въ порядкѣ появленія ихъ, *въ окончательныхъ редакціяхъ*, въ печати: первые два тома заключаютъ въ себѣ сочиненія Гоголя, напечатанныя въ изданіи Прокоповича, (за исключеніемъ „Невскаго проспекта“ и „Записокъ сумасшедшаго“, вошедшихъ въ пятый

томъ); въ третьемъ томѣ помѣщены: первая часть „Мертвыхъ Душъ“, вышедшая въ свѣтъ въ одинъ годъ съ первымъ изданіемъ „Сочиненій Гоголя“ (1842), и одна изъ первоначальныхъ редакцій второй части „Мертвыхъ Душъ“; въ четвертомъ томѣ напечатаны произведенія послѣдняго періода жизни Гоголя: „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“, статья о „Современникѣ“, „Авторская исповѣдь“ и тѣсно связанное съ нею „Письмо къ В. А. Жуковскому“, одна изъ позднѣйшихъ редакцій второй части „Мертвыхъ Душъ“ и „Размышленія о божественной литургіи“. Наконецъ, въ пятомъ томѣ помѣщены „юношескіе опыты“ Гоголя, „Арабески“ и тѣ произведенія, которыя не были приняты въ изданіе Прокоповича или были изданы послѣ смерти Гоголя. Въ шестомъ томѣ предполагается помѣстить: 1) выдержки изъ записныхъ книжекъ Гоголя, 2) всѣ тѣ цѣльныя произведенія, которыя до сихъ поръ оставались въ рукописяхъ (напр. „Учебная книга словесности“), 3) первоначальныя редакціи „Женитьбы“, „Ревизора“, первой части „Мертвыхъ Душъ“ со всѣми извлеченными изъ рукописей данными, объясняющими исторію постепенной выработки этихъ произведеній, 4) программы университетскихъ лекцій и наброски неоконченныхъ произведеній.

Давая въ настоящемъ изданіи такой порядокъ произведеній Гоголя, мы руководствовались, въ главныхъ основаніяхъ, проектомъ, который начертанъ былъ самимъ поэтомъ для второго изданія его сочиненій. Къ четыремъ томамъ своихъ „Сочиненій“, по изданію Прокоповича, Гоголь предполагалъ присоединить еще пятый томъ, въ которой должны были войти „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“ въ исправленномъ видѣ и нѣкоторыя статьи изъ „Арабесокъ“. Трушковскій издалъ слѣдующій отрывокъ, найденный въ бумагахъ Гоголя и, повидимому, составляющій начало предисловія къ пятому тому: „Книга „Переписка съ друзьями“ произвела большіе толки вкривь и вкось. Не смотря на то, что много было такихъ обвиненій, отъ которыхъ содрогнулось во мнѣ сердце, и которыхъ я бы, можетъ быть, не въ силахъ былъ бы сдѣлать и дурному человѣку, я рѣшился воспользоваться всякимъ замѣчаніемъ. Вновь пересмотрѣлъ все, въ однихъ умѣрилъ неприличныи тонъ, другія вовсе оставилъ и нѣсколько прибавилъ; къ этому присоединилъ нѣсколько статей изъ „Арабе-

сокъ“ и кое какія доселѣ неизданныя, такъ что пятый томъ составилъ въ себѣ почти всѣ мои теоретическія понятія, какія я имѣлъ о литературѣ и объ искусствѣ и о томъ, что должно двигать литературу нашу. Все же прочее можетъ со временемъ составить отдѣльный томъ подъ названьемъ „юношескихъ опытовъ.....“¹

Къ первому тому настоящаго изданія, заключающему въ себѣ произведенія 1830—1834 годовъ, приложенъ портретъ Гоголя, написанный Венеціановымъ въ 1834 году. Этотъ портретъ вѣрно передаетъ Гоголя, „франтика, какимъ онъ уѣхалъ за границу“, по словамъ С. Т. Аксакова². Послѣдній, познакомившись съ Гоголемъ въ 1832 году, описываетъ его тогдашнюю внѣшность такимъ образомъ: „Наружный видъ Гоголя былъ тогда совершенно другой и невыгодный для него: хохоль на головѣ, гладко подстриженные височки, *выбритые усы и подбородокъ*, большіе и крѣпко накрахмаленные воротнички придавали совсѣмъ особую фізіономію его лицу; намъ показалось, что въ немъ было что то хохлацкое и плутоватое. Въ платьѣ Гоголя примѣтна была претензія на щегольство; у меня осталось въ памяти, что на немъ былъ пестрый свѣтлый жилетъ съ большою цѣпочкою. Есть портреты, изображающіе его въ тогдашнемъ видѣ“³. Къ такимъ портретамъ относится и тотъ, который награвированъ для настоящаго изданія Брокгаузомъ съ оригинала Венеціанова⁴. Къ четвертому тому, въ которомъ напечатаны „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“ и другія произведенія послѣднихъ лѣтъ жизни Гоголя, приложенъ портретъ, гравированный также Брокгаузомъ съ портрета, набросаннаго карандашомъ Э. Мамоновымъ 22 марта 1852 года. Этотъ портретъ помѣщенъ

¹ Сочиненія Гоголя, Москва, 1855, томъ I. ² Кулишъ, Записки о жизни Гоголя I, 252. ³ Русь 1880 г., № 4, стр. 16. ⁴ Къ приведенному отрывку изъ рукописи С. Т. Аксакова „Исторія моего знакомства съ Гоголемъ“, И. С. Аксаковъ присоединилъ примѣчаніе: „Такой портретъ приложенъ къ послѣднему изданію сочиненій Гоголя 1880 г.“. Замѣчаніе это не вѣрно. Къ названному изданію сочиненій Гоголя приложенъ портретъ, писанный за границею и нисколько не подходящий къ вышеприведенному описанію наружности Гоголя. Самъ С. Т. Аксаковъ въ запискѣ о Гоголѣ, сообщенной Кулишу, пишетъ: „Въ 1839 году Гоголь воротился совсѣмъ уже не тѣмъ франтикомъ, какимъ уѣхалъ за границу въ 1836 г и какимъ изображенъ на портретѣ, *рисованномъ Венеціановымъ*“ (Записки о жизни Гоголя I, 252).

былъ въ „Московскомъ Сборникѣ“ 1852 г. Къ первому и третьему тому настоящаго изданія приложены снимки съ автографовъ Гоголя, относящихся къ разнымъ годамъ его жизни (1830—1852 г.). Характеръ почерка Гоголя измѣнялся съ теченіемъ времени и въ послѣдніе годы его жизни рѣзко обособился: вмѣсто прежняго быстрого, связнаго и неразборчиваго письма, въ которомъ нерѣдко совершенно нельзя разобрать нѣкоторыхъ словъ, устанавливается письмо крупное, раздѣльное; буквы выводятся старательно, неторопливо, какъ будто ребенокъ пишетъ съ прописей безъ линейекъ. Такой почеркъ, какъ бы возвращающійся къ первоначальному, юношескому почерку Гоголя, изображенъ на приложенномъ къ этому тому снимкѣ подъ № 4: строки взяты изъ послѣдняго письма поэта къ Жуковскому, отъ 2 февраля 1852 г. (Ср. Сочиненія и письма Гоголя VI, 553). Первые три строки снимка, помѣченныя цифрою 1, заимствованы изъ рукописи „Сорочинской ярмарки“ (1830 г.). Строка, означенная цифрою 2, снята съ надписи, сдѣланной Гоголемъ на одной изъ его записныхъ книгъ, принадлежавшихъ Аксаковымъ, — именно на той, которая была ему подарена Тарновскимъ около 1831 г. и въ которой Гоголь писалъ свои произведенія до 1834 года включительно. Изъ этой же записной книги сняты пять строкъ, помѣченныя цифрою 3. Эти строки заимствованы изъ повѣсти „Невскій проспектъ“.

Считаю пріятною для себя обязанностію выразить за содѣйствіе, оказанное настоящему изданію, глубокую благодарность: А. Ѳ. Бычкову, Я. К. Гроту, Л. Н. Майкову, Д. Ѳ. Самарину и директору Нѣжинскаго историко-филологическаго института Н. Е. Скворцову.

Господинъ Министръ народнаго просвѣщенія, графъ Иванъ Давыдовичъ Деляновъ, оказалъ благосклонное вниманіе настоящему труду, сдѣлавши распоряженіе, чтобы всѣ рукописи Гоголя, принадлежащія Нѣжинскому историко-филологическому институту, были высланы для моихъ занятій въ Москву; это распоряженіе въ значительной степени облегчило и ускорило ходъ моихъ работъ.

Н. Тихонравовъ.

Москва, 27 марта 1889 года.

ПРЕДИСЛОВІЕ

КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ

Сочиненій Н. Гоголя.



Предпринимая изданіе сочиненій моихъ, выходившихъ доселѣ отдѣльно и разбросанныхъ частію въ повременныхъ изданіяхъ, я пересмотрѣлъ ихъ вновь: много незрѣлаго, много необдуманнаго, много дѣтски-несовершеннаго! Что было можно исправить, то исправлено, чего нельзя, то осталось неисправленнымъ, такъ какъ было. Всю первую часть слѣдовало бы исключить вовсе: это первоначальные ученическіе опыты, недостойные строгаго

вниманія читателя; но при нихъ чувствовались первыя сладкія минуты молодого вдохновенія, и мнѣ стало жалко исключить ихъ, какъ жалко исторгнуть изъ памяти первыя игры невозвратной юности. Снисходительный читатель можетъ пропустить весь первый томъ и начать чтеніе со втораго.

Н. Т.

ВЕЧЕРА

НА ХУТОРЪ БЛИЗЪ ДИКАНЬКИ.

ПОВЪСТИ,

ИЗДАННЫЯ

ПАСИЧНИКОМЪ РУДЫМЪ ПАНЬКОМЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.





ПРЕДИСЛОВІЕ.

«Это что за невидаль: Вечера на хуторѣ близъ Диканьки? Что это за «Вечера?» И швырнулъ въ свѣтъ какой-то пасичникъ! Слава Богу! еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, всякаго званія и сброду, вымарало пальцы въ чернилахъ! Дернула же охота и пасичника потащиться вслѣдъ за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть въ нее».

Слышало, слышало вѣщее мое всѣ эти рѣчи еще за мѣсяць! То-есть, я говорю, что нашему брату, хуторянину, высунуть носъ изъ своего захоlustья въ большой свѣтъ — батюшки мои! — это все равно, какъ, случается, иногда зайдешь въ покои великаго пана: всѣ обступятъ тебя и пойдутъ дурачить; еще бы ничего, пусть уже высшее лакейство, — нѣтъ, какой-нибудь оборванный мальчишка, посмотрѣтъ — дрянъ, который копается на заднемъ дворѣ, и тотъ пристанетъ; и начнутъ со всѣхъ сторонъ притопывать ногами: «Куда? куда? зачѣмъ? пошелъ, мужикъ, пошелъ!»... Я вамъ скажу... Да что говорить! Мнѣ легче два раза въ годъ съѣздить въ Миргородъ, въ которомъ, вотъ уже пять лѣтъ, какъ не видалъ меня ни подсудокъ изъ земскаго суда, ни почтенный іерей, чѣмъ показаться въ этотъ великій свѣтъ; а показался — плачь, не плачь, давай отвѣтъ.

У насъ, мои любезные читатели, — не во гнѣвъ будь сказано (вы, можетъ быть, и разсердитесь, что пасичникъ говоритъ вамъ запросто, какъ будто какому-нибудь свату своему, или куму), — у насъ, на хуторахъ, водится издавна: какъ только окончатся работы въ полѣ, мужикъ залѣзетъ отдыхать на всю зиму на печь, и нашъ братъ припрячетъ своихъ пчелъ въ темный погребъ; когда ни журавлей на небѣ, ни грушъ на деревѣ не увидите болѣе; тогда, только вечеръ, уже навѣрно гдѣ-нибудь въ концѣ улицы брежетъ огонекъ, смѣхъ и пѣсни слышатся издалече, бренчитъ балалайка, а подчасъ и скрипка, говоръ, шумъ... Это у насъ *вечерницы!* Онѣ, изволите видѣть, онѣ похожи на ваши балы; только нельзя сказать, чтобы совсѣмъ. На балы если вы ѣдете, то именно для того, чтобы повертѣть ногами и позѣвать въ руку; а у насъ соберется въ одну хату толпа дѣвушекъ совсѣмъ не для балу, съ веретеномъ, съ гребнями. И сначала будто и дѣломъ займутся: веретена шумятъ, льются пѣсни, и каждая не подыметъ и глазъ въ сторону; но только нагрнуть въ хату парубки съ скрипачемъ — подымется крикъ, затѣется шаль, пойдутъ танцы и заведутся такія штуки, что и рассказать нельзя.

Но лучше всего, когда собьются всѣ въ тѣсную кучку и пустятся загадывать загадки, или просто — нести болтовню. Боже ты мой! чего только не расскажутъ! откуда старины не выкопаютъ! какихъ страховъ не нанесутъ! Но нигдѣ, можетъ быть, не было рассказываемо столько диковинъ, какъ на вечерахъ у пасичника Рудаго Панька. За что меня міряне прозвали Рудымъ Панькомъ — ей Богу, не умѣю сказать. И волосы, кажется, у меня теперъ болѣе сѣдые, чѣмъ рыжіе. Но у насъ, не извольте гнѣваться, такой обы-

чай: какъ дадутъ кому люди какое прозвище, то и во вѣки вѣковъ останется оно. Бывало, соберутся, накануне праздничнаго дня, добрые люди въ гости, въ пасичникову лачужку, усядутся за столъ, — и тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди были вовсе не простаго десятка, не какіе-нибудь мужики хуторянскіе; да, можетъ, иному и повыше пасичника сдѣлали бы честь посѣщеніемъ. Вотъ, напримѣръ, знаете ли вы дьяка Диканьской церкви, Ѳому Григорьевича? Эхъ, голова! Что за исторіи умѣлъ онъ отпускать! Двѣ изъ нихъ найдете въ этой книжкѣ. Онъ никогда не носилъ пестрядеваго халата, какой встрѣтите вы на многихъ деревенскихъ дьячкахъ; но заходите къ нему и въ будни, онъ васъ всегда приметъ въ балахонѣ изъ тонкаго сукна, цвѣта застуженнаго картофельнаго киселя, за которое платилъ онъ въ Полтавѣ чуть не по шести рублей за аршинъ. Отъ сапогъ его, у насъ никто не скажетъ на цѣломъ хуторѣ, чтобы слышенъ былъ запахъ дегтя; но всякому извѣстно, что онъ чистилъ ихъ самымъ лучшимъ смальцемъ, какого, думаю, съ радостью иной мужикъ положилъ бы себѣ въ кашу. Никто не скажетъ также, чтобы онъ когда-либо утиралъ носъ полою своего балахона, какъ то дѣлаютъ иные люди его званія; но вынималъ изъ-за пазухи опрятно сложенный бѣлый платокъ, вышитый по всѣмъ краямъ красными нитками, и, исправивши, что слѣдуетъ, складывалъ его снова, по обыкновенію, въ двѣнадцатую долю и пряталъ за пазуху. А одинъ изъ гостей... Ну, тотъ уже былъ такой паничъ, что хоть сейчасъ нарядить въ засѣдатели, или подкоморин. Бывало, поставитъ передъ собою палецъ и, глядя на конецъ его, пойдетъ рассказывать — вычурно, да хитро, какъ въ печатныхъ книжкахъ! Иной разъ слушаешь, слушаешь, да и раз-

думѣ нападеть. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда онъ словъ понабрался такихъ? Ома Григорьевичъ разъ ему на счетъ этого славную спелель присказку: онъ рассказалъ ему, какъ одинъ школьникъ, учившійся у какого-то дьяка грамотѣ, пріѣхалъ къ отцу и сталъ такимъ латыньщикомъ, что позабылъ даже нашъ языкъ православный, — всѣ слова сворачиваетъ на *усь*: лопата у него — лопатусь, баба — бабусь. Вотъ, случилось разъ, пошли они вмѣстѣ съ отцомъ въ поле. Латыньщикъ увидѣлъ грабли и спрашиваетъ отца: «Какъ это, батьку, по вашему называется?» Да и наступилъ, разинувши ротъ, ногою на зубцы. Тотъ не успѣлъ собраться съ отвѣтомъ, какъ ручка, размахнувшись, поднялась и — хватъ его по лбу! «Проклятыя грабли!» закричалъ школьникъ, ухватясь рукою за лобъ и подскочивши на аршинъ: «какъ же онѣ, — чортъ бы спихнулъ съ мосту отца ихъ, — больно бьются!» Такъ вотъ какъ! припомнилъ и имя, голубчикъ! — Такая присказка не по душѣ пришлась затѣйливому рассказчику. Не говоря ни слова, всталъ онъ съ мѣста, разставилъ ноги свои посерединѣ комнаты, нагнулъ голову немного впередъ, засунулъ руку въ задній карманъ гороховаго кафтана своего, вытащилъ круглую, подъ лакомъ, табакерку, шелкнулъ пальцемъ по намалеванной рожѣ какого-то бусурманскаго генерала и, захвативши не малую порцію табаку, растертаго съ золою и листьями любистка, поднесъ ее коромысломъ къ носу и вытянулъ носомъ на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большаго пальца, — и все ни слова. Да какъ полѣзъ въ другой карманъ и вынулъ синій въ клѣткахъ бумажный платокъ, тогда только проворчалъ про-себя, чуть ли еще не поговорку: «*Не мечите бисера передъ свиньями*»... «Быть же теперь ссорѣ», подумалъ я, замѣтивъ, что пальцы у Омы

Григорьевича такъ и складывались дать дулю. Къ счастью, старуха моя догадалась поставить на столъ горячій книшъ съ масломъ. Всѣ принялись за дѣло. Рука Омы Григорьевича вмѣсто того, чтобъ показать шишъ, протянулась къ книшу, и, какъ всегда водится, начали прихваливать мастерицу хозяйку. Еще былъ у насъ одинъ рассказчикъ; но тотъ (нечего бы къ ночи и вспоминать о немъ) такія выкапывалъ страшныя исторіи, что волосы ходили по головѣ. Я нарочно и не помѣщалъ ихъ сюда: еще напугаешь добрыхъ людей такъ, что пасичника, прости Господи, какъ чорта всѣ стануть бояться. Пусть лучше, какъ доживу, если дастъ Богъ, до новаго году и выпущу другую книжку, тогда можно будетъ постращать выходцами съ того свѣта и дивами, какія творились въ старину, въ православной сторонѣ нашей. Межъ ними, статья-можетъ, найдете побасенки самого пасичника, какія рассказывалъ онъ своимъ внукамъ. Лишь бы слушали да читали, а у меня, пожалуй, лѣнь только проклятая рыться, наберется и на десять такихъ книжекъ.

Да, вотъ было и позабылъ самое главное: какъ будете, господа, ѣхать ко мнѣ, то прямехонько берите путь по столбовой дорогѣ на Диканьку. Я нарочно и выставилъ ее на первомъ листкѣ, чтобы скорѣе добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы слышались вдоволь. И то сказать, что тамъ домъ почище какого-нибудь пасичникова куреня. А про садъ и говорить нечего: въ Петербургѣ вашемъ, вѣрно, не сыщете такого. Приѣхавши же въ Диканьку, спросите только перваго попавшагося на встрѣчу мальчишку, пасушаго въ запачканной рубашкѣ гусей: «А гдѣ живетъ пасичникъ Рудый Панько?» — «А вотъ тамъ!» скажетъ онъ, указавши пальцемъ, и, если хотите, до-

ведеть васъ до самаго хутора. Прошу однакожь не слишкомъ закладывать назадъ руки и, какъ говорится, финтить, потому что дороги по хуторамъ нашимъ не такъ гладки, какъ передъ вашими хоромами. Ома Григорьевичъ, третьяго году, прїѣзжая изъ Диканьки, понавѣдался—таки въ провалъ съ новою таратайкою своею и гнѣдою кобылою, несмотря на то, что самъ правиль и что, сверхъ своихъ глазъ, надѣвалъ по временамъ еще покупные.

За то уже, какъ пожалуете въ гости, то дынь подадимъ такихъ, какихъ вы отъ-роду, можетъ-быть, не ѣли; а меду, и забожусь, лучшаго не сыщете на хуторахъ: представьте себѣ, что, какъ внесешь сотъ, духъ пойдетъ по всей комнатѣ, вообразить нельзя, какой: чистъ, какъ слеза, или хрусталь дорогой, что бываетъ въ серьгахъ. А какими пирогами накормить моя старуха! Что за пироги, еслибъ вы только знали: сахаръ, совершенный сахаръ! А масло, такъ вотъ и течетъ по губамъ, когда начнешь ѣсть. Подумаешь право: на что не мастерицы эти бабы! Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квасъ съ терновыми ягодами, или варенуху съ изюмомъ и сливами? Или, не случилось ли вамъ, подчасъ, ѣсть путрю съ молокомъ? Боже ты мой, какихъ на свѣтѣ нѣтъ кушаньевъ! Станешь ѣсть — объяденье, да и полно: сладость неописанная! Прошлаго года... Однакожь, что я въ самомъ дѣлѣ разболтался?... Прїѣзжайте только, прїѣзжайте поскорѣй; а накормимъ такъ, что будете рассказывать и встрѣчному и поперечному.

Писичникъ Рудый Панько.

СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА.

Мини нудно въ хати жить.
Ой вези жъ мене изъ дому,
Де багачко грому, грому,
Де гопцюють все дивкы,
Де гуляють парубкы!

Изъ старинной легенды.

I.

Какъ упоителенъ, какъ роскошенъ лѣтній день въ Малороссіи! Какъ томительно-жарки тѣ часы, когда полдень блещетъ въ тишинѣ и зноѣ, и голубой, неизмѣримый океанъ, сладострастнымъ куполомъ нагнувшійся надъ землею, кажется, заснулъ, весь потонувши въ нѣгѣ, обнимая и сжимая прекрасную въ воздушныхъ объятіяхъ своихъ! На немъ ни облака; въ полѣ ни рѣчи. Все какъ будто умерло; вверху только, въ небесной глубинѣ, дрожитъ жаворонокъ, и серебряныя пѣсни летятъ по воздушнымъ ступенямъ на влюбленную землю, да изрѣдка крикъ чайки, или звонкій голосъ¹ перепела отдается въ степи. Лѣниво и бездумно, будто гуляющіе безъ цѣли, стоятъ подоблачные дубы, и ослѣпительные удары солнечныхъ лучей зажигаютъ цѣлыя живописныя массы листвьевъ, накидывая на другія темную, какъ ночь, тѣнь, по которой только при сильномъ вѣтрѣ прыщеть золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирныхъ насѣкомыхъ сыплются надъ пестрыми огородами, освѣняемыми статными подсолнечниками. Сѣрые скпрды² сѣна и золотые снопы хлѣба станомъ располагаются въ полѣ и кочуютъ по его неизмѣримости. Нагнувшіяся отъ тяжести плодовъ широкія вѣтви черешень, сливъ, яблонь, грушъ; небо, его чистое зеркало — рѣка въ зеленыхъ; гордо поднятыхъ рамахъ... какъ полно сладострастія и нѣги малороссійское лѣто!

Такою роскошью блистать одинъ изъ дней жаркаго августа тысячу восемьсотъ¹... восемьсотъ... да, лѣтъ тридцать будетъ назадъ тому, когда дорога, версть за десять до мѣстечка Сорочинець, кипѣла народомъ, посѣщавшимъ со всѣхъ окрестныхъ и дальнихъ хуторовъ на ярмарку. Съ утра еще тянулись нескончаемою вереницею чумаки съ солью и рыбою. Горы горшковъ, закутанныхъ въ сѣно, медленно двигались, кажется, скучая своимъ заключеніемъ и темнотою; мѣстами только какая-нибудь расписанная ярко миска, или макитра хвастливо выказывалась изъ высоко-взгроможденнаго на возу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонниковъ роскоши. Много прохожихъ поглядывало съ завистью на высокаго гончара, владѣльца сихъ драгоценностей, который медленными шагами шель за своимъ товаромъ, заботливо окутывая глиняныхъ своихъ щеголей и кокетокъ ненавистнымъ для нихъ сѣномъ.

Одинокю въ сторонѣ тащился на истомленныхъ волахъ² возъ, наваленный мѣшками, пенькою, полотномъ и разною домашнею поклажею, за которымъ брель, въ чистой полотняной рубашкѣ и запачканныхъ полотняныхъ шароварахъ, его хозяинъ. Лѣнивою рукою обтиралъ онъ катившійся градомъ потъ со смуглаго лица и даже капавшій съ длинныхъ усовъ, напудренныхъ тѣмъ неумолимымъ парикмахеромъ, который безъ зову является и къ красавицѣ и къ уроду, и насильно пудритъ, нѣсколько тысячъ уже лѣтъ, весь родъ человѣческой. Рядомъ съ нимъ шла привязанная къ возу кобыла, смиренный видъ которой обличалъ преклонныя лѣта ея. Много встрѣчныхъ, и особливо молодыхъ парубковъ, брались за шалку, поровнявшись съ нашимъ мужикомъ. Однакожъ не сѣдые усы и не важная поступь его заставляли это дѣлать; стоило только поднять глаза немного вверхъ, чтобы увидѣть причину такой почтительности: на возу сидѣла хорошенькая дочка, съ круглымъ личикомъ, съ черными бровями, ровными дугами поднявшимися надъ свѣтлыми карими глазами, съ безпечно-улыбавшимися розовыми губками, съ повязанными на головѣ красными и синими лентами, которыя, вмѣстѣ съ длинными косами и пучкомъ полевыхъ цвѣтовъ, богатою короною покоились на ея очаровательной головкѣ. Все, казалось, занимало ее; все было ей чудно, ново... и хорошенькіе глазки безпрестанно бѣгали съ одного предмета на другой. Какъ не разсѣяться!

въ первый разъ на ярмаркѣ! Дѣвушка въ осмнадцать лѣтъ въ первый разъ на ярмаркѣ!... Но ни одинъ изъ прохожихъ и проѣзжихъ не зналъ, чего ей стоило упросить отца взять съ собою, который и душою радъ бы былъ это сдѣлать¹, если бы не злая мачиха, выучившаяся держать его въ рукахъ такъ же ловко, какъ онъ возжи своей старой кобылы, тащившейся, за долгое служеніе, теперь на продажу. Неугомонная супруга... Но мы и позабыли, что и она тутъ же сидѣла на высотѣ воза въ нарядной, шерстяной зеленой кофтѣ, по которой, будто по горностаевому мѣху, нашиты были хвостики краснаго только цвѣта, въ богатой плахтѣ, пестрѣвшей какъ шахматная доска, и въ ситцевомъ цвѣтномъ очинкѣ, придававшимъ какую-то особенную важность ея красному, полному лицу, по которому проскальзывало что-то столь непріятное, столь дикое, что каждый тотчасъ спѣшилъ перенести встревоженный взглядъ свой на веселенькое личико дочки.

Глазамъ нашихъ путешественниковъ началъ уже открываться Псѣль; издали уже вѣяло прохладою, которая казалась ощутильнѣе послѣ томительнаго, разрушающаго жара. Сквозь темно- и свѣтло-зеленые листья небрежно раскиданныхъ по лугу осокоровъ, березъ и тополей, засверкали огненные, одѣтыя холодомъ искры, и рѣка-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленныя кудри деревъ. Своенравная, какъ она, въ тѣ упоительные часы, когда вѣрное зеркало такъ завидно заключаетъ въ себѣ ея полное гордости и ослѣпительнаго блеска чело, шлейфныя плечи и мраморную шею, ослѣвленную темною, упавшею съ русой головы, волною, когда съ презрѣніемъ кидаетъ одни украшенія, чтобы замѣнить ихъ другими, и капризамъ ея конца нѣтъ, — она почти каждый годъ перемѣняетъ свои окрестности, выбираетъ себѣ новый путь и окружаетъ себя новыми, разнообразными ландшафтами². Ряды мельницъ подымали на тяжелыя свои колеса³ широкія волны и мощно кидали ихъ, разбивая въ брызги, обсыпая пылью и обдавая шумомъ окрестность. Возъ съ знакомыми намъ пассажирами взвѣхалъ въ это время на мостъ, и рѣка во всей красотѣ и величїи, какъ цѣльное стекло, раскинулась передъ ними. Небо, зеленые и синіе лѣса, люди, возы съ горшками, мельницы — все опрокинулось, стояло и ходило вверхъ ногами, не падая въ голубую прекрасную

бездну. Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида, и позабыла даже лущить свой подсолнечник, которымъ исправно занималась во все продолженіе пути, какъ вдругъ слова: „Ай да дивчина!“¹ поразили слухъ ея. Оглянувшись, увидѣла она толпу стоявшихъ на мосту парубковъ, изъ которыхъ одинъ, одѣтый пощеголеватѣе прочихъ, въ бѣлой свиткѣ и въ сѣрой шапкѣ рѣшетилловскихъ смушекъ, подпершись въ бока, молодецки поглядывалъ на проѣзжающихъ. Красавица не могла не замѣтить его загорѣваго, но исполненнаго пріятности лица и огненныхъ очей, казалось, стремившихся видѣть ее насквозь, и потупила глаза при мысли, что, можетъ быть, ему принадлежало произнесенное слово. „Славная дивчина!“² продолжалъ парубокъ въ бѣлой свиткѣ, не сводя съ нея глазъ. „Я бы отдалъ все свое хозяйство, чтобы поцѣловать ее. А вотъ впереди и дьяволъ сидитъ!“ Хохотъ поднялся со всѣхъ сторонъ; но раздраженной сожительницѣ медленно выступавшаго супруга не слишкомъ показалось такое привѣтствіе: красныя щеки ея превратились въ огненные, и трескъ отборныхъ словъ посыпался дождемъ на голову разгульнаго парубка:

„Чтобъ ты подавился, негодный бурлакъ! Чтобъ твоего отца горшкомъ въ голову стукнуло! Чтобъ онъ поскользнулся на льду, антихристъ проклятый! Чтобъ ему на томъ свѣтѣ чортъ бороду обжегъ!“

„Вишь, какъ ругается!“ сказалъ парубокъ, вытаращивъ на нее глаза, какъ будто озадаченный такимъ сильнымъ залпомъ неожиданныхъ привѣтствій: „и языкъ у нея, у столѣтней вѣдьмы, не заболитъ выговорить эти слова!“

„Столѣтней!“... подхватила пожилая красавица. „Нечестивецъ! поди, умойся напередъ! Сорванецъ негодный! Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянъ. И отецъ дрянъ и тетка дрянъ! Столѣтней!.. что у него молоко еще на губахъ“...

Тутъ возъ началъ спускаться съ мосту, и послѣднихъ словъ уже невозможно было разслушать; но парубокъ не хотѣлъ, кажется, кончить этимъ: не думая долго, схватилъ онъ комокъ грязи и швырнулъ вслѣдъ за нею. Ударъ былъ удачнѣе, нежели можно было предполагать: весь новый ситцевый очипокъ забрызганъ былъ грязью, и хохотъ разгульныхъ повѣсь удвоился съ новою силою. Дородная щеголиха вскипѣла гнѣвомъ; но возъ отбѣхалъ въ это время довольно далеко, и месть ея

обратилась на безвинную падчерицу и медленнаго сожителя, который, привыкнувъ издавна къ подобнымъ явленіямъ, сохранялъ упорное молчаніе и хладнокровно принималъ мятежныя рѣчи разгнѣванной супруги. Однакожь, несмотря на это, неутомимый языкъ ея трещалъ и болтался во рту до тѣхъ поръ, пока не пріѣхали они въ пригороде, къ старому знакомому и куму, козаку Цыбулѣ. Встрѣча съ кумовьями, давно не видавшимися, выгнала на время изъ головы это неприятное происшествіе, заставивъ нашихъ путешественниковъ поговорить объ ярмаркѣ и отдохнуть немного послѣ дальняго пути.

II.

Що Боже, ты мій Господе! чого нема на тій ярмарци! колеса, скло, деготь, тютюнъ, ремень, цыбуля, крамари всяки... такъ, що хоть бы въ кишени було рубливъ и съ тридцять, то и тогди бь не закупывъ усіей ярмарки.

Изъ малороссійской комедіи.

Вамъ, вѣрно, случалось слышать гдѣ-то валящейся отдаленный водопадъ, когда встревоженная окрестность полна гула, и хаосъ чудныхъ, неясныхъ звуковъ вихремъ носится передъ вами. Не правда ли, не тѣ ли самыя чувства мгновенно обхватятъ васъ въ вихрѣ сельской ярмарки, когда весь народъ сростается въ одно огромное чудовище и шевелится всѣмъ своимъ туловищемъ на площади и по тѣснымъ улицамъ, кричить, гогочеть, гремать? Шумъ, брань, мычаніе, бляеніе, ревъ — все сливается въ одинъ нестройный говоръ. Волы, мѣшки, сѣно, цыгане, горшки, бабы, пряники, шапки — все ярко, пестро, нестройно, мечется кучами и снуется передъ глазами. Разноголосныя рѣчи потопляють другъ друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется отъ этого потопа; ни одинъ крикъ не выговорится ясно. Только хлопанье по рукамъ торгашей слышится со всѣхъ сторонъ ярмарки. Ломаются возъ, звенить желѣзо, гремятъ сбрасываемыя на землю доски, и закружившаяся голова недоумѣваетъ, куда обратиться. Пріѣзжій мужикъ нашъ съ чернобровою дочкою давно уже толкался въ народѣ: подходилъ къ одному возу, щупалъ другой, примѣнивался къ цѣ-

намъ; а между тѣмъ мысли его ворочались безостановочно около десяти мѣшковъ пшеницы и старой кобылы, привезенныхъ имъ на продажу. По лицу его дочки замѣтно было, что ей не слишкомъ пріятно тереться около возовъ съ мукою и пшеницею. Ей бы хотѣлось туда, гдѣ подъ полотняными ятками нарядно развѣшены красныя ленты, серьги, оловянные, мѣдные кресты и дукаты. Но и тутъ, однакожь, она находила себѣ много предметовъ для наблюденія: ее смѣшило до крайности, какъ цыганъ и мужикъ били одинъ другаго по рукамъ, вскрикивая сами отъ боли; какъ пьяный жидъ давалъ бабѣ киселя*); какъ поссорившіяся перекупки перекидывались бранью и раками; какъ москаль, поглаживая одною рукою свою козлиную бороду, другою... Но вотъ, почувствовала она, кто-то дернулъ ее за шитый рукавъ сорочки. Оглянулась — и парубокъ въ бѣлой свиткѣ, съ яркими очами, стоялъ передъ нею. Жилки ея вздрогнули, и сердце забилося такъ, какъ еще никогда, ни при какой радости, ни при какомъ горѣ: и чудно, и любо ей показалось, и сама не могла растолковать, что дѣлалось съ нею.

„Не бойся, серденько, не бойся!“ говорилъ онъ ей въполголоса, взявши ея руку: «я ничего не скажу тебѣ худаго!»

„Можетъ быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худаго“, — подумала про себя красавица: — „только мнѣ чудно... вѣрно, это лукавый! Сама, кажется, знаешь, что не годится такъ... а силы недостаетъ взять отъ него руку“.

Мужикъ оглянулся и хотѣлъ что-то промолвить дочери, но въ сторонѣ послышалось слово: пшеница. Это магическое слово заставило его, въ ту же минуту, присоединиться къ двумъ громко разговаривавшимъ негоціантамъ, и приковавшагося къ нимъ вниманія уже ничто не въ состояніи было развлечь. Вотъ что говорили негоціанты о пшеницѣ.¹

*) „Давать киселя“ значить ударить кого-нибудь сзади ногою.

III.

Чи бачишь, вингъ якый парныще?
 На свити трохи есть такыхъ.
 Сивуху такъ, мовъ брагу, хлыще!

Котляревскій. Энеида.

„Такъ ты думаешь, землякъ, что плохо пойдетъ наша пше-ница?“ говорилъ человѣкъ, съ виду похожій на заѣзжаго мѣщанина, обитателя какого-нибудь мѣстечка, въ пестрядевыхъ, запачканныхъ дегтемъ и засаленныхъ шароварахъ, другому въ синей, мѣстами уже съ заплатами, свиткѣ и съ огромною шишкою на лбу.

„Да думать нечего тутъ: я готовъ вскинуть на себя петлю и болтаться на этомъ деревѣ, какъ колбаса предъ Рождествомъ на хатѣ, если мы продадимъ хоть одну мѣрку“.

„Кого ты, землякъ, морочишь? Привозу вѣдь, кромѣ нашего, нѣтъ вовсе“, возразилъ человѣкъ въ пестрядевыхъ шароварахъ.

„Да, говорите себѣ, что хотите“, думаль про себя отецъ нашей красавицы¹, не пропускавшій ни одного слова изъ разговора двухъ негоціантовъ: „а у меня десять мѣшковъ есть въ запасѣ“.

„То-то и есть, что если гдѣ замѣшалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько отъ голоднаго москаля“, значительно сказалъ человѣкъ съ шишкою на лбу.

«Какая чертовщина?» подхватилъ человѣкъ въ пестрядевыхъ шароварахъ.

„Слышалъ ли ты, что поговариваютъ въ народѣ?“ продолжалъ съ шишкою на лбу, наводя на него искоса свои угрюмыя очи.

„Ну!“

„Ну, то-то ну! Засѣдатель, чтобъ ему не довелось больше обтирать губъ послѣ панской сливянки, отвелъ для ярмарки проклятое мѣсто, на которомъ, хоть тресни, ни зерна не спустишь. Видишь ли ты тотъ старый, развалившійся сарай, что вонъ-вонъ стоитъ подъ горою?“ (Тутъ любопытный отецъ нашей красавицы подвинулся еще ближе и весь превратился, казалось, во вниманіе). „Въ томъ сараѣ то и дѣло, что водятся чертовскія шашни, и ни одна ярмарка на этомъ мѣстѣ не

проходила безъ бѣды. Вчера волостной писарь проходилъ поздно вечеромъ, только глядь — въ слуховое окно выставилось свиное рыло и хрюкнуло такъ, что у него морозъ подрасть по кожѣ. Того и жди, что опять покажется *красная свитка!*“

„Что жъ это за *красная свитка?*“

Тутъ у нашего внимательнаго слушателя волосы поднялись дыбомъ. Со страхомъ оборотился онъ назадъ и увидѣлъ, что дочка его и парубокъ спокойно стояли, обнявшись и напѣвая другъ другу какія-то любовныя сказки, позабывъ про всѣ находящіяся на свѣтѣ свитки. Это разогнало его страхъ и заставило обратиться къ прежней безпечности.

„Эге, ге, ге, землякъ! да ты мастеръ, какъ вижу, обниматься! А я на четвертый только день послѣ свадьбы¹ выучился обнимать покойную свою Хвеську, да и то, спасибо куму: бывши *дружкой*, уже надоумилъ“.

Парубокъ замѣтилъ тотъ же часъ, что отецъ его любезной не слишкомъ далеко, и въ мысляхъ принялся строить планъ, какъ бы склонить его въ свою пользу.

„Ты, вѣрно, человекъ добрый, не знаешь меня, а я тебя тотчасъ узналъ“.

„Можетъ, и узналъ“.

„Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую всячину расскажу: тебя зовутъ Солопій Черевикъ“.

„Такъ, Солопій Черевикъ“.

„А взглядишь-ка хорошенько: не узнаешь ли меня?“

„Нѣтъ, не познаю. Не во гнѣвъ будь сказано: на вѣку столько довелось наглядѣться рожей всякихъ, что чортъ ихъ и припомнить всѣхъ!“

„Жаль же, что ты не припомнишь Голопупенкова сына!“

„А ты будто Охримовъ сынъ?“

„А кто жъ? Развѣ одинъ только *лысый дидько*, если не онъ“.

Тутъ пріатели побрались за шапки, и пошло лобызаніе; нашъ Голопупенковъ сынъ, однакожъ, не теряя времени, рѣшился въ ту же минуту осадить новаго своего знакомаго.

„Ну, Солопій, вотъ, какъ видишь, я и дочка твоя полюбили другъ друга такъ, что хоть бы и на-вѣки жить вмѣстѣ“.

„Что жъ, Параска“, сказалъ Черевикъ, оборотившись и смѣясь къ своей дочери: „можетъ, и въ самомъ дѣлѣ, чтобы

уже, какъ говорятъ, вмѣстѣ и того... чтобы и паслись на одной травѣ! Что? по рукамъ? А ну-ка, новобранный зять, давай могарычу!“

И всѣ трое очутились въ извѣстной ярмарочной рестораціи—подъ яткою у жидовки, усѣянною многочисленною флогиліей сулей, бутылей, фляжекъ всѣхъ родовъ и возрастовъ.

„Эхъ, хватъ! за это люблю!“ говорилъ Черевикъ, немного подгулявши и вида, какъ нареченный зять его налилъ кружку величиною съ полкварти и, ни мало не поморщившись, выпить до дна, хвативъ потомъ ее въ дребезги. „Что скажешь, Параска? Какого я жениха тебѣ достать! Смотри, смотри: какъ онъ молодецки тянетъ пѣнную!...“

И посмѣиваясь, и покачиваясь, побрелъ онъ съ нею къ своему возу; а нашъ парубокъ отправился по рядамъ съ красными товарами, въ которыхъ находились купцы даже изъ Гадяча и Миргорода, двухъ знаменитыхъ городовъ полтавской губерніи, выглядывать получше деревянную люльку въ мѣдной, щегольской оправѣ, цвѣтистый по красному полю платокъ и шапку, для свадебныхъ подарковъ тестю и всѣмъ, кому слѣдуетъ.

IV.

Хоть молодикамъ не оное
Да коли жинни бавишь, тее.
Такъ треба угоматы...

Котляревскій.

„Ну, жинка, а я нашель жениха дочкѣ!“

„Вотъ, какъ разъ до того теперь, чтобы жениховъ отыскивать! Дурень, дурень! тебѣ, вѣрно, и на роду написано остаться такимъ! Гдѣ жъ таки ты видѣль, гдѣ жъ таки ты слышалъ, чтобы добрый человекъ бѣгалъ теперь за женихами? Ты подумалъ бы лучше, какъ ишеницу съ рукъ сбыть. Хорошъ долженъ быть и женихъ тамъ! Думаю, оборваннѣйшій изъ всѣхъ голодрабцевъ!“

„Э, какъ бы не такъ! Посмотрѣла бы ты, что тамъ за парубокъ! Одна свитка больше стѣитъ, чѣмъ твоя зеленая кофта и красные сапоги. А какъ сивуху *важно* дуешь!... Чортъ меня возьми вмѣстѣ съ тобою, если я видѣль на вѣку своемъ, чтобы парубокъ духомъ вытянулъ полкварти, не поморщившись!“

„Ну, такъ: ему если пьяница да бродяга, такъ и его масти. Бьюсь объ закладъ, если это не тотъ самый сорванецъ, который увязался за нами на мосту. Жаль, что до сихъ поръ онъ не попадетса мнѣ: я бы дала ему знать.“

„Что жъ, Хивря, хоть бы и тотъ самый: чѣмъ же онъ сорванецъ?“

„Э! чѣмъ же онъ сорванецъ! Ахъ, ты безмозглая башка! Слышишь! Чѣмъ же онъ сорванецъ? Куда же ты запряталъ дурацкіе глаза свои, когда проѣзжали мы мельницы? Ему, хоть бы тутъ же, передъ его запачканнымъ въ табачищѣ носомъ, нанесли жинкѣ его безчестье, ему бы и нуждочки не было.“

„Все, однакоже, я не вижу въ немъ ничего худого: парень хоть куда! Только развѣ, что заклеилъ на мигъ образину твою навозомъ.“

„Эге! да ты, какъ я вижу, слова не дашь мнѣ выговорить! А что это значитъ? Когда это бывало съ тобою? Вѣрно, успѣлъ уже хлебнуть, не продавши ничего?“

Тутъ Черевикъ нашъ замѣтилъ и самъ, что разговорился черезчуръ, и закрылъ въ одно мгновеніе голову свою руками, предполагая, безъ сомнѣнія, что разгнѣванная сожительница не замедлитъ вцѣпиться въ его волосы своими супружескими когтями.

„Туда къ чорту! Вотъ тебѣ и свадьба!“ думалъ онъ про себя, уклоняясь отъ сильно наступавшей супруги. „Придется отказать доброму человѣку ни за что, ни про что. Господи, Боже мой! за что такая напасть на насъ, грѣшныхъ? И такъ много всякой дряни на свѣтѣ, а ты еще и жинокъ наплодить!“

V.

Не хилися, явороньку,
Ще ты зелененькій;
Не журыся, козаченьку,
Ще ты молоденькій!

Малорос. пѣсня.

Разсѣянно глядѣлъ парубокъ въ бѣлой свиткѣ, сидя у своего воза, на глухо шумѣвшій вокругъ него народъ. Усталое солнце уходило отъ міра, спокойно пропылавъ свой полдень и утро,

и угасающей день плѣнительно и ярко румянился¹. Осѣнительно блистали верхи бѣлыхъ шатровъ и ятокъ, осѣненные какимъ-то едва примѣтнымъ огненно-розовымъ свѣтомъ. Стекла наваленныхъ кучами оконницъ горѣли; зеленныя фляжки и чарки на столахъ у шинкарокъ превратились въ огненные; горы дынь, арбузовъ и тыквъ казались вылитыми изъ золота и темной мѣди. Говоръ примѣтно становился рѣже и глуше, и усталые языки перекупокъ, мужиковъ и цыганъ лѣнивѣе и медленнѣе поворачивались. Гдѣ-гдѣ начиналъ сверкать огонекъ, и благовонный паръ отъ варившихся галушекъ разносился по утихавшимъ улицамъ.

„О чемъ загорюнился, Грыцько?“ вскричалъ высокий, загорѣвшій цыганъ, ударивъ по плечу нашего парубка. „Что жъ, отдавай волю за двадцать!“

„Тебѣ бы все волю, да волю. Вашему племени все бы корысть только; поддѣть, да обмануть добраго человѣка“.

„Тыфу, дьяволь! Да тебя не на шутку забрало. Ужъ не съ досады ли, что самъ навязалъ себѣ невѣсту?“

„Нѣтъ, это не по-моему: я держу свое слово; что разъ сдѣлалъ, тому и на вѣки быть. А вотъ у хрыча Черевика нѣтъ совѣсти, видно, и на поль-шеляга: сказалъ, да и назадъ... Ну, его и винить нечего: онъ — пень, да и полно. Все это шутики старой вѣдьмы, которую мы сегодня съ хлопцами на мосту ругнули на всѣ бока! Эхъ, если бы я былъ царемъ или паномъ великимъ, я бы первый перевѣшалъ всѣхъ тѣхъ дурней, которые позволяютъ себя сдѣлать бабамъ...“

„А спустишь воловъ за двадцать, если мы заставимъ Черевика отдать намъ Параску?“

Въ недоумѣннн посмотрѣлъ на него Грыцько. Въ смуглыхъ чертахъ цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вмѣстѣ высокоумѣнное: человѣкъ, взглянувшій на него, уже готовъ былъ сознаться, что въ этой чудной душѣ кипятъ достоинства великія, но которымъ одна только награда есть на землѣ — висѣлица. Совершенно провалившійся между носомъ и острымъ подбородкомъ ротъ, вѣчно осѣненный язвительною улыбкой, небольшіе, но живые, какъ огонь, глаза и безпре-станно мѣняющіяся на лицѣ молніи предпріятій и умысловъ, — все это какъ будто требовало особеннаго, такого же страннаго для себя костюма, какой именно былъ тогда на немъ.

Этотъ темно-коричневый кафтанъ, прикосновеніе къ которому, казалось, превратило бы его въ пыль; длинныя, валившіеся по плечамъ охлопьями черныя волосы; башмаки, надѣтые на босыя загорѣлыя ноги, — все это, казалось, приросло къ нему и составляло его природу.

„Не за двадцать, а за пятнадцать отдамъ, если не солжешь только!“ отвѣчалъ парубокъ, не сводя съ него испытующихъ очей.

„За пятнадцать? ладно! Смотри же, не забывай: за пятнадцать! Вотъ тебѣ и синица въ задатокъ!“

„Ну, а если солжешь?“

„Солгу — задатокъ твой!“

„Ладно! Ну, давай же по рукамъ!“

„Давай!“

VI.

Отъ бѣды: Ромашъ иде, оттеперь, якъ разъ, надсалить мнѣ бѣбехишь, да и вамъ, пане Хомо, не бѣзъ зыха буде.

Изъ малорос. комедіи.

„Сюда, Аѳанасій Ивановичъ! Вотъ тутъ плетень пониже, поднимайте ногу, да не бойтесь: дурень мой отправился на всю ночь съ кумомъ подъ возы, чтобы москали на случай не подцѣпили чего“.

Такъ грозная сожигательница Черевика ласково ободряла трусливо лѣпившагося около забора поповича, который поднялся скоро на плетень и долго стоялъ на немъ въ недоумѣніи¹, будто длинное страшное привидѣніе, измѣривая окомъ, куда бы лучше спрыгнуть, и, наконецъ, съ шумомъ обрушился въ бурьянъ.

„Вотъ бѣда! Не ушиблись ли вы, не сломили ли еще, Боже оборони, шею?“ лепетала заботливая Хивря.

„Тсъ! ничего, ничего, любезнѣйшая Хавронья Никифоровна!“ болѣзненно и шопотно произнесъ поповичъ, подымаясь на ноги: „выключая только уязвленія со стороны крапивы, сего змѣе-подобнаго злака, по выраженію покойнаго отца протопопа“.

„Пойдемте же теперь въ хату; тамъ никого нѣтъ. А я думала было уже, Аѳанасій Ивановичъ, что къ вамъ *блячка* или *соняшница* пристала: нѣтъ, да и нѣтъ. Каково же вы поживаете? Я слышала, что пань-отцу перепало теперь не мало всякой всячины!“

„Сущая бездѣлица, Хавронья Никифоровна: батюшка всего получала за весь постъ мѣшковъ пятнадцать яроваго, проса мѣшка четыре, кнышей съ сотню; а курь, если сосчитать, то не будетъ и пятидесяти штукъ; яйца же большею частію протухлыя. Но воистину сладостныя приношенія, сказать прихѣрно, единственно отъ васъ предстоитъ получить, Хавронья Никифоровна!“ продолжалъ поповичъ, умильно поглядывая на нее и подсовываясь поближе.

„Вотъ вамъ и приношеніе, Аѳанасій Ивановичъ!“ проговорила она, ставя на столъ миски и жеманно застегивая свою, будто не нарочно разстегнувшуюся, кофту: „вареники, галушечки пшеничныя, пампушечки, товченички!“

„Бьюсь объ закладъ, если это сдѣлано не хитрѣйшими руками изъ всего Бвина рода!“ сказалъ поповичъ, принимаясь за товченички и придвигая другою рукою варенички. «Однакожь, Хавронья Никифоровна, сердце мое жаждетъ отъ васъ кушанья послаще всѣхъ пампушечекъ и галушечекъ“.

„Вотъ я уже и не знаю, какого вамъ еще кушанья хочется, Аѳанасій Ивановичъ!“ отвѣчала дородная красавица, притворяясь не понимающею.

„Разумѣется, любви вашей, несравненная Хавронья Никифоровна!“ шопотомъ произнесъ поповичъ, держа въ одной рукѣ вареникъ, а другою обнимая широкой станъ ея.

„Богъ знаетъ, что вы выдумываете¹, Аѳанасій Ивановичъ!“ сказала Хивря, стыдливо потупивъ глаза свои. „Чего добраго, вы, пожалуй, затѣете еще цѣловаться!“

„На счетъ этого я вамъ скажу, хоть бы и про себя“, продолжалъ поповичъ: «въ бытность мою, примѣрно сказать, еще въ бурсѣ, вотъ, какъ теперь помню...“

Тутъ послышался на дворѣ лай и стукъ въ ворота. Хивря поспѣшно выбѣжала и возвратилась, вся поблѣднѣвши.

„Ну, Аѳанасій Ивановичъ, мы попались съ вами: народу стучится куча, и мнѣ почудился кумовъ голосъ...“

Вареникъ остановился въ горлѣ поповича... Глаза его вы-

пялились, какъ будто какой нибудь выходець съ того свѣта только что сдѣлалъ ему передъ симъ визитъ свой.

„Полѣзайте сюда!“ кричала испуганная Хивря, указывая на положенныя подъ самымъ потолокомъ, на двухъ перекладинахъ, доски, на которыхъ была навалена разная домашняя рухлядь.

Опасность придала духу нашему герою. Опаматовавшись немного, вскочилъ онъ на лежанку и полѣзъ оттуда осторожно на доски; а Хивря побѣжала безъ памяти къ воротамъ, потому что стукъ повторялся въ нихъ съ бѣльшею силою и нетерпѣніемъ.

VII.

Да тутъ чудасія, мосынане!

Изъ малорос. комедіи.

На ярмаркѣ случилось странное происшествіе: все наполнилось слухомъ, что гдѣ-то между товаромъ показалась *красная свитка*. Старухѣ, продававшей бублики, почудился сатана, въ образинѣ свиньи¹, который безпрестанно наклонялся надъ возами, какъ будто искалъ чего². Это быстро разнеслось по всѣмъ угламъ уже утихнувшаго табора, и всѣ считали преступленіемъ не вѣрить, несмотря на то, что продавица бубликовъ, которой подвижная лавка была рядомъ съ яткою шинкарки, раскланивалась весь день безъ надобности и писала ногами совершенное подобіе своего лакомаго товара. Къ этому присоединились еще увеличенныя вѣсти о чудѣ, видѣнномъ волостнымъ писаремъ въ развалившемся сараѣ, такъ что къ ночи всѣ тѣснѣ жались другъ къ другу; спокойствіе разрушилось, и страхъ мѣшалъ всякому сомкнуть глаза свои; а тѣ, которые были не совсѣмъ храбраго десятка³ и запаслись ночлегами въ избахъ⁴, убрались домой. Къ числу послѣднихъ принадлежалъ и Черевикъ съ кумомъ и дочкою, которые, вмѣстѣ съ напросившимися къ нимъ въ хату гостями, произвели сильный стукъ, такъ перепугавшій нашу Хиврю. Кума уже немного поразобрало. Это можно было видѣть изъ того, что онъ два раза проѣхалъ съ своимъ возомъ по двору, покамѣстъ нашель хату. Гости тоже были всѣ въ веселомъ расположеніи, и, безъ

церемоніи, вошли прежде самого хозяина. Супруга нашего Черевика сидѣла, какъ на иголкахъ, когда принялись они шарить по всѣмъ угламъ хаты.

„Что кума!“ вскричалъ вошедшій кумъ: „тебя все еще трясеть лихорадка?“

„Да, нездоровится“, отвѣчала Хивря, безпокойно поглядывая на доски, наложенныя подъ потолкомъ¹.

„А ну, жена, достань-ка тамъ въ возу баклажку!“ говорилъ кумъ пріѣхавшей съ нимъ женѣ: „мы черпнемъ ее съ добрыми людьми, а то² проклятыя бабы напугали насъ такъ, что и сказать стыдно. Вѣдь мы, ей Богу, братцы, по пустякамъ пріѣхали сюда!“ продолжалъ онъ, прихлебывая изъ глиняной кружки. „Я тутъ же ставлю новую шапку, если бабамъ не вздумалось посмѣяться надъ нами. Да хоть бы и въ самомъ дѣлѣ сатана, — что сатана? Плюйте ему на голову! Хоть бы сію же минуту вздумалось ему стать вотъ здѣсь, на примѣръ, передо мною: будь я собачій сынъ, если не поднесъ бы ему дулю подъ самый носъ!“

„Отчего же ты вдругъ поблѣднѣлъ весь?“ закричалъ одинъ изъ гостей, превышавшій всѣхъ головою и старавшійся всегда выказывать себя храбрецомъ.

„Я?... Господь съ вами! приснилось?“

Гости усмѣхнулись; довольная улыбка показалась на лицѣ рѣчистаго храбреца³.

„Куда теперь ему блѣднѣть!“⁴ подхватилъ другой: „щеки у него разцвѣли, какъ макъ; теперь онъ не Цыбуля, а бурякъ — или лучше, сама *красная свитка*⁵, которая такъ напугала людей“.

Баклажка прокатилась по столу и сдѣлала гостей еще веселѣе прежняго. Тутъ Черевикъ нашъ, котораго давно мучила *красная свитка* и не давала ни на минуту покою его любопытному духу⁶, приступилъ къ куму.

„Скажи, будь ласковъ, кумъ! Вотъ прошусь, да и не допрошусь исторія про эту проклятую *свитку*“.

„Э, кумъ! оно бы не годилось рассказывать на ночь; да развѣ уже для того, чтобы угодить тебѣ и добрымъ людямъ (при семъ обратился онъ къ гостямъ), которымъ, я примѣчаю, столько же, какъ и тебѣ, хочется узнать про эту диковинку. Ну, быть такъ. Слушайте жъ!“

Тутъ онъ почесаль плеча, утерся полою, положилъ обѣ руки на столъ и началъ:

„Разъ, за какую вину, ей Богу, уже и не знаю, только выгнали одного чорта изъ пекла...“

„Какъ же, кумъ!“ прервалъ Черевикъ: «какъ же могло это статься, чтобы чорта выгнали изъ пекла?»

„Что жъ дѣлать, кумъ! выгнали да и выгнали, какъ собаку мужикъ выгоняетъ изъ хаты. Можетъ быть, на него нашла блажь сдѣлать какое-нибудь доброе дѣло: ну, и указали двери. Вотъ, чорту бѣдному такъ стало скучно, такъ скучно по пеклѣ, что хоть до петли. Что дѣлать? Давай съ горя пьянствовать. Угнѣздилися въ томъ самомъ сараѣ, который, ты видѣлъ, развалился подъ горою и мимо котораго ни одинъ добрый человекъ не пройдетъ теперь, не оградивъ напередъ себя крестомъ святымъ; и сталъ чортъ такой гуляка, какого не сыщешь между парубками: съ утра до вечера то и дѣла, что сидитъ въ шинкѣ!...“

Тутъ опять строгій Черевикъ прервалъ нашего рассказчика:

„Богъ знаетъ, что говоришь ты кумъ! Какъ можно, чтобы чорта впустилъ кто-нибудь въ шинокъ? Вѣдь у него же есть. слава Богу, и когти на лапахъ, и рожки на головѣ“.

„Вотъ то-то и штука, что на немъ была шапка и рукавицы. Кто его распознаетъ? Гулялъ, гулялъ — наконецъ пришлось до того, что пропилъ все, что имѣлъ съ собою. Шинкаръ долго вѣрилъ, потомъ и пересталъ. Пришлось чорту заложить красную свитку свою, чуть ли не въ треть цѣны, жиду, шинковавшему тогда на Сорочинской ярмаркѣ. Заложилъ и говорить ему: „Смотри жидъ, я приду къ тебѣ за свиткой ровно черезъ годъ: береги ее!“ — и пропаль, какъ будто въ воду. Жидъ разсмотрѣлъ хорошенько свитку: сукно такое, что и въ Миргородѣ не достанешь! а красный цвѣтъ горитъ, какъ огонь, такъ что не наглядѣлся бы! Вотъ жиду показалось скучно дожидаться срока. Почесаль себѣ песики, да и содраль съ какого-то приѣзжаго пана мало не пять червонцевъ. О срокѣ жидъ и позабылъ было совсѣмъ¹. Какъ вотъ разъ, подъ вечерокъ, приходитъ какой-то человекъ: „Ну, жидъ, отдавай мою свитку!“² Жидъ сначала было и не позналъ, а послѣ, какъ разглядѣлъ, такъ и прикинулся, будто въ глаза не видалъ: „Какую свитку? У меня нѣтъ никакой свитки! Я знать не

знаю твоей свитки!“ Тотъ, глядь, и ушелъ; только къ вечеру, когда жидъ, заперши свою конуру и пересчитавши по сундукамъ деньги, накинулъ на себя простыню и началъ по-жидовски молиться Богу — слышитъ шорохъ... Глядь — во всѣхъ окнахъ повываивались ¹ свинья рыла...“

Тутъ въ самомъ дѣлѣ послышался какой-то неясный звукъ, весьма похожій на хрюканье свиньи; всѣ поблѣднѣли... Потъ выступилъ на лицѣ рассказчика.

„Что?“ произнесъ въ испугѣ Черевикъ.

„Ничего!...“ отвѣчалъ кумъ, трясясь всѣмъ тѣломъ.

„Ась!“ отозвался одинъ изъ гостей.

„Ты сказалъ?...“

„Нѣтъ!“

„Кто жъ это хрюкнулъ?“

„Богъ знаетъ, чего мы переполошились! Ничего ² нѣтъ!“

Всѣ боязливо стали осматриваться вокругъ и начали шарить по угламъ. Хивря была ни жива, ни мертва. „Эхъ вы, бабы! бабы!“ произнесла она громко: „вамъ ли козаковать и быть мужьями! Вамъ бы веретено въ руки, да и посадить за гребень! Одинъ кто-нибудь, можетъ, прости Господи, [угрѣшился]; подъ кѣмъ-нибудь скамейка закрипѣла, а всѣ и метнулись, какъ полоумные!“

Это привело въ стыдъ нашихъ храбрецовъ и заставило ихъ ободриться. Кумъ хлебнулъ изъ кружки и началъ рассказывать далѣе: „Жидъ обмеръ; однакожъ свиньи на ногахъ, длинныхъ, какъ ходули, повлѣзали въ окна и мигомъ оживили жида ³ плетеными тройчатками, заставя его плясать повыше вотъ этого сволюка. Жидъ — въ ноги, признался во всемъ... Только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокралъ на дорогѣ какой-то цыганъ и продалъ свитку перекупкѣ; та привезла ее снова на Сорочинскую ярмарку, но съ тѣхъ поръ уже никто ничего не сталъ покупать у нея. Перекупка дивилась, дивилась и, наконецъ, смекнула: вѣрно, виною всему красная свитка; не даромъ, надѣвая ее, чувствовала ⁴, что ее все давить что-то. Не думая, не гадая долго, бросила въ огонь — не горитъ бѣсовская одежда!.. „Э, да это чортовъ подарокъ!“ Перекупка умудрилась и подсунула въ возъ одному мужику, вывезшему продавать масло. Дурень и обрадовался; только масла никто и спрашивать не хочетъ. „Эхъ, недобрыя руки подки-

нули свитку!“ . Схватилъ топоръ ¹ и изрубилъ ее въ куски; глядь — и лѣзетъ одинъ кусокъ къ другому, и опять ² цѣлая свитка! Перекрестившись, хватилъ топоромъ ³ въ другой разъ, куски разбросалъ по всему мѣсту и уѣхалъ. Только съ тѣхъ поръ каждый годъ, и какъ разъ во время ярмарки, чортъ съ свиною личиною ходитъ по всей площади, хрюкаетъ и подбираетъ куски своей свитки. Теперь, говорятъ, одного только лѣваго рукава недостаетъ ему. Люди съ тѣхъ поръ отрещиваются отъ того мѣста, и вотъ уже будетъ лѣтъ съ десятокъ, какъ не было на немъ ярмарки. Да нелегкая дернула теперъ засѣдателя от...“

Другая половина слова замерла на устахъ рассказчика: окнобрякнуло съ шумомъ; стекла, звеня, вылетѣли вонъ, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, какъ будто спрашивая: „А чтò вы тутъ дѣлаете, добрые люди?“

VIII.

- ...Пиджавъ хвистъ, мовъ собака,
 Мовъ Каннъ, затрусивъ увесь;
 Изъ носа потекла табака.

Котляревскій. Энеида.

Ужасъ оковалъ всѣхъ, находившихся въ хатѣ. Кумъ, съ разинутымъ ртомъ, превратился въ камень; глаза его выпучились, какъ будто хотѣли выстрѣлить; разверстые пальцы остались неподвижными на воздухѣ ⁴. Высокій храбрець, въ неподбдимомъ страхѣ ⁵, подскочилъ подъ потолокъ и ударился головою объ перекладину; доски посунулись, и поповичъ съ громомъ и трескомъ полетѣлъ на землю.

„Ай! ай! ай!“ отчаянно закричалъ одинъ, повалившись на лавку въ ужасѣ и болтая на ней руками и ногами ⁶.

„Спасайте!“ горланилъ другой, закрывшись тудупомъ ⁷.

Кумъ, выведенный изъ окаменѣнія ⁸ вторичнымъ испугомъ, поползъ въ судорогахъ подъ подолъ своей супруги. Высокій храбрець полѣзъ въ печь, несмотря на узкое отверстие, и самъ задвинулъ себя заслонкою. А Черевикъ, какъ будто об-

литый горячимъ кипяткомъ, схвативши на голову горшокъ, вмѣсто шапки, бросился къ дверямъ и, какъ полоумный, бѣжалъ по улицамъ, не видя подъ собою земли¹: одна усталость только заставила его уменьшить² скорость бѣга. Сердце его колотилось, какъ мельничная ступа; потъ лилъ градомъ. Въ изнеможеніи готовъ уже былъ онъ упасть на землю, какъ вдругъ послышалось ему, что сзади кто-то гонится за нимъ... Духъ у него занялся...

„Чортъ! чортъ!“ кричалъ онъ безъ памяти, утрая силы, и черезъ минуту безъ чувствъ повалился на землю.

„Чортъ! чортъ!“ кричало вслѣдъ за нимъ, и онъ слышалъ только, какъ что-то съ шумомъ ринулось на него. Тутъ память отъ него улетѣла, и онъ, какъ страшный жилецъ тѣснаго гроба, остался нѣмъ и недвижимъ посреди дороги.

IX.

Ще спереди, и такъ и такъ; —
А сзади, ей же ей, на чорта!

Изъ простонародной сказки.

„Слышишь, Власъ!“ говорили, приподнявшись ночью, одинъ изъ толпы народа, спавшаго на улицѣ:³ „возлѣ насъ кто-то помянулъ чорта!“

„Мнѣ какое дѣло?“ проворчалъ, потягиваясь, лежавшій возлѣ него цыганъ: „хоть бы и всѣхъ своихъ родичей помянулъ!“

„Но, вѣдь, такъ закричалъ, какъ будто давятъ его!“

„Мало ли чего человѣкъ не совретъ спросонья!“

„Воля твоя, хоть посмотришь нужно. А выруби-ка огня!“

Другой цыганъ, ворча про себя, поднялся на ноги, два раза освѣтилъ себя искрами, будто молніями, раздулъ губами трутъ и, съ каганцемъ въ рукахъ — обыкновенною малороссійскою свѣтильнею, состоящею изъ разбитаго черепка, налиатаго бараньимъ жиромъ — отправился, освѣщая дорогу.

„Стой! здѣсь лежитъ что-то. Свѣти сюда!“

Тутъ пристало къ нимъ еще нѣсколько человѣкъ.

„Что лежитъ, Власъ?“

„Такъ, какъ будто бы два человѣка: одинъ наверху, другой внизу⁴; который изъ нихъ чортъ, уже и не распознаю!“

„А кто наверху?“

„Баба!“

„Ну, вотъ, это-жь-то и есть чортъ!“

Всеобщій хохоть разбудилъ почти всю улицу.

„Баба взлѣзла на человѣка: ну, вѣрно, баба эта знаетъ, какъ ѣздить!“ говорилъ одинъ изъ окружавшей толпы.

„Смотрите, братцы!“ говорилъ другой, поднимая черепокъ отъ горшка, котораго одна только уцѣлѣвшая половина держалась на головѣ Черевика: „какую шапку надѣлъ на себя этотъ добрый молодецъ!“

Увеличившійся шумъ и хохоть заставили очнуться нашихъ мертвецовъ, Солопія и его супругу, которые, полные прошедшаго испуга, долго глядѣли въ ужасѣ неподвижными глазами на смуглыя лица цыганъ: озаряясь свѣтомъ, невѣрно и трепетно горѣвшимъ, они казались дикимъ сонмищемъ гномовъ, окруженныхъ тяжелымъ подземнымъ паромъ, въ мракѣ непробудной ночи¹.

Х.

Щуръ тобі, пекъ тобі, сатанынське наважденіє!

Изъ малорос. комедіи.

Свѣжесть утра вѣяла надъ пробудившимися Сорочинцами. Клубы дыму со всѣхъ трубъ понеслись на встрѣчу показавшемуся солнцу. Ярмарка зашумѣла. Овцы заблеяли, лошади заржали; крикъ гусей и торговокъ понесся снова по всему табору — и страшные толки про *красную свитку*, наведшіе такую робость на народъ въ таинственные часы сумерекъ, исчезли съ появленіемъ утра².

Зѣвая и потягиваясь, дремалъ Черевикъ у кума подъ крытымъ соломою сараемъ, между воловъ, мѣшковъ муки и пшеницы³, и, кажется, вовсе не имѣлъ желанія разстаться съ своими грезами, какъ вдругъ услышалъ голосъ, такъ же знакомый, какъ убѣжище лѣни — благословенная печь его хаты, или шинокъ дальней родственницы⁴, находившійся не далѣе десяти шаговъ отъ его порога.

„Вставай, вставай!“ дребезжала ему на ухо нѣжная супруга, дергая его изо всей силы за руку.

Черевикъ, вмѣсто отвѣта, надулъ щеки и началъ болтать руками, подражая барабанному бою.

„Сумасшедшій!“ закричала она, уклоняясь отъ взмаха руки его¹, которою онъ чуть было не задѣлъ ее по лицу.

Черевикъ поднялся, протеръ немного глаза и посмотрѣлъ вокругъ.

„Врагъ меня возьми, если мнѣ, голубко, не представилась твоя рожа барабаномъ, на которомъ меня заставили выбивать зорю, словно москаля, тѣ самыя свиныя рожи, отъ которыхъ, какъ говорить кумъ...“

„Полно, полно тебѣ ченуху молоть! Ступай, веди скорѣй кобылу на продажу. Смѣхъ, право, людямъ: пріѣхали на ярмарку, и хоть бы горсть пеньки продали...“

„Какъ же, жинка!“ подхватилъ Солошій: „съ насъ, вѣдь, теперь смѣяться будутъ“.

„Ступай, ступай! съ тебя и безъ того смѣются!“

„Ты видишь, что я еще не умывался“, продолжалъ Черевикъ, зѣвая и почесывая спину и стараясь, между прочимъ, выиграть время для своей лѣни.

„Вотъ не кстати пришла блажь быть чистоплотнымъ! Когда это за тобою водилось? Вотъ ручникъ, оботри свою маску“.

Тутъ схватила она что-то свернутое въ комокъ — и съ ужасомъ отбросила отъ себя: это былъ *красный обилагъ свитки!*

„Ступай, дѣлай свое дѣло“, повторила она, собравшись съ духомъ, своему супругу, видя, что у него страхъ отнялъ ноги и зубы колотились одинъ объ другой.

„Будетъ продажа теперь!“ ворчалъ онъ самъ себѣ, отвязывая кобылу и ведя ее на площадь. „Не даромъ, когда я собрался на эту проклятую ярмарку, на душѣ было такъ тяжело, какъ будто кто взвалилъ на тебя дохлую корову, и воли два раза сами поворачивали домой. Да чуть ли еще, какъ вспомнилъ я теперь, не въ понедѣльникъ мы выѣхали. Ну, вотъ и зло все!... Неугомонень и чортъ проклятый: посылъ бы уже свитку безъ одного рукава; такъ нѣтъ, нужно же добрымъ людямъ не давать покою. Будь, примѣрно, я чортъ — чего оборони Боже, — сталь ли бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутьями?“

Тутъ философствованіе нашего Черевика прервано было толстымъ и рѣзкимъ голосомъ. Предъ нимъ стоялъ высокій цыганъ.

„Что продаешь, добрый человѣкъ?“

Продавецъ помолчалъ, посмотрѣлъ на него съ ногъ до головы и сказалъ съ спокойнымъ видомъ, не останавливаясь и не выпуская изъ рукъ узды: „Самъ видишь, что продаю!“

„Ремешки?“ спросилъ цыганъ, поглядывая на находившуюся въ рукахъ его узду.

„Да, ремешки, если только кобыла похожа на ремешки“.

„Однакожь, чортъ возьми, землякъ, ты, видно, ее соломою кормилъ!“

„Соломою?“

Тутъ Черевикъ хотѣлъ было потянуть узду, чтобы провести свою кобылу и обличить во лжи безстыднаго поносителя; но рука его съ необыкновенною легкостью ударилась въ подбородокъ. Глянулъ — въ ней перерѣзанная узда и къ уздѣ привязанный — о, ужасъ! волосы его поднялись горою! — кусокъ *краснаго рукава свитки!*... Плюнувъ, крестясь и болтая руками, побѣжалъ онъ отъ неожиданнаго подарка и, быстрѣе молодаго парубка, пропалъ въ толпѣ.

XI.

За мое жъ жито, та мене и побыто.

Пословица.

„Лови! лови его!“ кричало нѣсколько хлопцевъ въ тѣсномъ концѣ улицы, и Черевикъ почувствовалъ, что схваченъ вдругъ дюжими руками¹.

„Вязать его! Это тотъ самый, который укралъ у добраго человѣка кобылу“.

„Господь съ вами! за что вы меня вяжете?“

„Онъ же и спрашиваетъ! А за что ты укралъ кобылу у пріѣзжаго мужика, Черевика?“

„Съ ума спятили вы, хлопцы! Гдѣ видано, чтобы человѣкъ самъ у себя кралъ что-нибудь?“

„Старыя штуки! старыя штуки! Зачѣмъ бѣжалъ ты во весь духъ, какъ будто бы самъ сатана за тобою по пятамъ гнался?“

„Поневолю побѣжишь, когда сатанинская одежда...“

„Э, голубчикъ! обманывай другихъ этимъ. Будетъ еще тебѣ отъ засѣдателя за то, чтобы не пугалъ чертовщиною людей.“

„Лови! лови его!“ послышался крикъ на другомъ концѣ улицы: „вотъ онъ, вотъ бѣглець!“

И глазамъ нашего Черевика представился кумъ, въ самомъ жалкомъ положеніи, съ заложенными назадъ руками, ведомый нѣсколькими хлопцами.

„Чудеса завелись!“ говорилъ одинъ изъ нихъ: „послушали бы вы, что рассказываетъ этотъ мошенникъ, которому стоитъ только заглянуть въ лицо, чтобы увидѣть вора. Когда стали спрашивать: отчего бѣжалъ онъ, какъ полоумный? — „полѣзь“, говорятъ, „въ карманъ понюхать табаку и, вмѣсто тавлинки, вытащить кусокъ чертовой свитки, отъ которой вспыхнулъ красный огонь, а онъ — давай Богъ ноги!“

„Эге, ге, ге! да это изъ одного гнѣзда обѣ птицы! Вязать ихъ обоихъ вмѣстѣ!“

ХІІ.

«Чѣмъ, люди добри, такъ еще я провинывся?»

«За шо глузуете?» сказавъ нашъ неборакъ:

«За шо зпущаетесь вы надо мною такъ?»

«За шо, за шо?» сказавъ тай попустывъ патіоки.

Патіоки гиркихъ слизъ, узавшися за боки.

Артемовскій-Гулакъ. Панъ та собака.

„Можетъ, и въ самомъ дѣлѣ, кумъ, ты поддѣпиль что-нибудь?“ спросилъ Черевикъ, лежа связанный, вмѣстѣ съ кумомъ, подъ соломенною яткою.

„И ты туда же, кумъ! Чтобы мнѣ отсохнули руки и ноги, если что-нибудь когда-либо красть, выключая развѣ вареники съ сметаною у матери, да и то еще, когда мнѣ было лѣтъ десять отъ роду“.

„За что же это, кумъ, на насъ напасть такая? Тебѣ еще ничего: тебя винять по крайней мѣрѣ за то, что у другаго украсть; но за что мнѣ¹, несчастливцу, недобрый поклепъ та-

кой, будто у самого себя стянуть кобылу? Видно намъ, кумъ, на роду уже написано не имѣть счастья!

„Горе намъ, сиротамъ бѣднымъ!“

Тутъ оба кума принялись всхлипывать на-взрыдъ.

„Что съ тобою, Солопій?“ сказалъ вошедшій въ это время Грыцько. „Кто это связалъ тебя?“

„А! Голопуенко, Голопуенко!“ закричать, обрадовавшись, Солопій. „Вотъ, кумъ, это тотъ самый, о которомъ я говорилъ тебѣ¹. Эхъ, хватъ! Вотъ, Богъ убей меня на этомъ мѣстѣ, если не высуслилъ при мнѣ кухню мало не съ твою голову, и хоть бы разъ поморщился!“

„Что жъ ты, кумъ, такъ не уважилъ такого славнаго парубка?“

„Вотъ, какъ видишь“, продолжалъ Черевикъ, оборотясь къ Грыцьку: „наказалъ Богъ, видно, за то, что провинился передъ тобою. Прости, добрый человѣкъ! Ей Богу, радъ бы былъ сдѣлать все для тебя... Но что прикажешь? Въ старухѣ дьяволъ сидитъ“.

„Я не злопамятенъ, Солопій! Если хочешь, я освобожу тебя!“

Тутъ онъ мигнулъ хлопцамъ, и тѣ же самые, которые сторожили его, кинулись развязывать.

„За то и ты дѣлай, какъ нужно: свадьбу! да и попируемъ такъ, чтобы цѣлый годъ болѣли ноги отъ гопака!“

„Добре! отъ добре!“ сказалъ Солопій, хлопнувъ руками.

„Да мнѣ такъ теперь сдѣлалось весело, какъ будто мою старуху москали увезли!² Да что думать! годится, или не годится такъ — сегодня свадьбу, да и концы въ воду!“

„Смотри жъ, Солопій: черезъ часъ я буду къ тебѣ; а теперь ступай домой: тамъ ожидаютъ тебя покушники твоей кобылы и пшеницы!“

„Какъ! развѣ кобыла нашлась?“

„Нашлась!“

Черевикъ отъ радости сталъ неподвиженъ, глядя вслѣдъ уходившему Грыцьку.

„Что, Грыцько, худо мы сдѣлали свое дѣло?“ сказалъ высокий цыганъ сгѣшившему парубку. „Волю, вѣдь, мои теперь?“

„Твои! твои!“

XIII.

Не бійся, матинко, не бійся,
 Въ червонные чобитки обуйся,
 Топчи вороги
 Пидь ноги,
 Щобъ твои пидкивки
 Брызчали!
 Щобъ твои вороги
 Мовчали!

Свадебная пѣсня.

Подперши локтемъ хорошенькій подбородокъ свой, задумалась Параска, одна сидя въ хатѣ¹. Много грезъ обвивалось около русой головы. Иногда вдругъ легкая усмѣшка трогала ея алыя губки, и какое-то радостное чувство подымало темныя ея брови, а иногда снова² облако задумчивости опускало ихъ на карія, свѣтлыя очи.

„Ну, что, если не сбудется то, что говорилъ онъ?“ шептала она съ какимъ-то выраженіемъ сомнѣнія. „Ну, что, если меня не выдадутъ? Если... Нѣтъ, нѣтъ; этого не будетъ! Мачиха дѣлаетъ все, что ей ни вздумается: развѣ и я не могу дѣлать того, что мнѣ вздумается? Упрямства-то и у меня достанетъ. Какой-же онъ хорошій! Какъ чудно горять его черныя очи! Какъ любо говорить онъ: „*Парасю, голубко!*““ Какъ пристала къ нему бѣлая свитка! Еще бы поясъ поярче!... Пускай, уже правда, я ему вытку, какъ перейдемъ жить въ новую хату. Не подумаю безъ радости“, продолжала она, вынимая изъ-за пазухи маленькое зеркало, обклеенное красною бумагою, купленное ею на ярмаркѣ, и глядясь въ него съ тайнымъ удовольствіемъ: „какъ я встрѣчусь тогда гдѣ-нибудь съ нею, я ей ни за что не поклонюсь, хоть она себѣ тресни. Нѣтъ, мачиха, полно колотить тебѣ свою падчерицу! Скорѣе песокъ взойдетъ на камнѣ и дубъ погнется въ воду, какъ верба, нежели я нагнусь передъ тобою! Да, я и позабыла... дай примѣрять очипокъ, хоть мачихинъ, какъ-то онъ мнѣ придется?“

Тутъ встала она, держа въ рукахъ зеркальце и, наклонясь къ нему головою, трепетно шла по хатѣ, какъ будто бы опасаясь упасть, видя подъ собою, вмѣсто полу, потолокъ съ накладными подъ нимъ досками, съ которыхъ низринулся недавно поповичъ, и пѣлки, уставленные горшками.

„Что я, въ самомъ дѣлѣ, будто дитя,“ вскричала она смѣясь: „боюсь ступить ногою!“

И начала притопывать ногами, — чѣмъ далѣе, все смѣлѣе!; наконецъ, лѣвая рука ея опустилась и уперлась въ бокъ, и она пошла танцовать, побракивая подковами, держа передъ собою зеркало и нагѣвая любимую свою пѣсню:

Зелененькій барвиночку,
Стелися низенько!
А ты, мылый, чернобровый,
Присунься близьенько!

Зелененькій барвиночку,
Стелися ще низче!
А ты, мылый, чернобровый,
Присунься ще ближе!

Черевикъ заглянулъ въ это время въ дверь и, увидя дочь свою танцующею передъ зеркаломъ, остановился. Долго глядѣлъ онъ, смѣясь невиданному капризу дѣвушки, которая, задумавшись, не примѣчала, казалось, ничего; но когда же услышала знакомые звуки пѣсни, жилки въ немъ зашевелились: гордо подбоченившись, выступилъ онъ впередъ и пустился въ присядку, позабывъ про всѣ дѣла свои. Громкій хохотъ кума заставилъ обоихъ вздрогнуть.

„Вотъ хорошо, батька съ дочкой затѣяли здѣсь сами свадьбу! Ступайте же скорѣе: женихъ пришелъ“.

При послѣднемъ словѣ Параска вспыхнула ярче алой ленты, повязывавшей ея голову, а безпечный отецъ ея вспомнилъ, зачѣмъ пришелъ онъ.

„Ну, дочка, пойдемъ скорѣе! Хивря съ радости, что я продалъ кобылу, побѣжала“, говорилъ онъ, боязливо оглядываясь по сторонамъ: „побѣжала закупать себѣ плахть и дерюгъ всякихъ, такъ нужно до приходу ея все кончить!“

Не успѣла Параска переступить за порогъ хаты, какъ почувствовала себя на рукахъ парубка въ бѣлой свиткѣ, который съ кучею народа выжидалъ ее на улицѣ.

„Боже, благослови!“ сказала Черевикъ, складывая имъ руки. „Пусть ихъ живутъ, какъ вѣнки выютъ!“ *)

Тутъ послышался шумъ въ народѣ.

*) Обыкновенное привѣтствіе у малороссіявъ новобрачнымъ.

„Я скорѣе тресну, чѣмъ допущу до этого!“ кричала сожителяница Солопія, которую, однакожь, съ хохотомъ отталкивала толпа народа.

„Не бѣсись, не бѣсись, жинка!“ говорили хладнокровно Черевикъ, вида, что пара дюжихъ цыганъ овладѣла ея руками: „что сдѣлано, то сдѣлано; я перемѣнять не люблю!“

„Нѣтъ, нѣтъ! этого-то не будетъ!“ кричала Хивря, но никто не слушалъ ея; нѣсколько паръ обступило новую пару и составили около нея непроницаемую танцующую стѣну.

Странное, неизъяснимое чувство овладѣло бы зрителемъ, при видѣ, какъ отъ одного удара смычкомъ музыканта, въ сермяжной свиткѣ, съ длинными закрученными усами, все обратилось, волею и неволею, къ единству и перешло въ согласіе. Люди, на угрюмыхъ лицахъ которыхъ, кажется, вѣкъ не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами. Все несло, все танцовало. Но еще страннѣе, еще неразгаданнѣе чувство пробудилось бы въ глубинѣ души при взглядѣ на старушекъ, на ветхихъ лицахъ которыхъ вѣяло равнодушіе могилы, толкавшихъ между новымъ, смѣющимся, живымъ человекомъ. Безпечныя! даже безъ дѣтской радости, безъ искры сочувствія, которыхъ одинъ хмель только, какъ механикъ своего безжизненнаго автомата, заставляетъ дѣлать что-то подобное человѣческому, онѣ тихо покачивали охмелѣвшими головами, подплясывая ¹ за веселящимся народомъ, не обращая даже глазъ на молодую чету.

Громъ, хохоть, пѣсни слышались тише и тише. Смычокъ умираетъ, слабѣя и теряя неясные звуки въ пустотѣ воздуха. Еще слышалось гдѣ-то топанье, что-то похожее на ропотъ отдаленнаго моря, и скоро все стало пусто и глухо.

Не такъ ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетаетъ отъ насъ, и напрасно одинокій звукъ думаетъ выразить веселье? Въ собственномъ эхѣ слышитъ уже онъ грусть и пустыню, и дяко внемлетъ ему. Не такъ ли рѣзвые друзья бурной и вольной юности, поодиночкѣ, одинъ за другимъ, теряются по свѣту и оставляютъ наконецъ одного стариннаго брата ихъ? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечѣмъ помочь ему!

ВЕЧЕРЪ НАКАНУНЪ ИВАНА КУПАЛА.

БЫЛЬ,

*разсказанная дьячком ***ской церкви.*

За Оомою Григорьевичемъ водилась особеннаго рода странность: онъ до-смерти не любилъ пересказывать одно и то же. Бывало, иногда, если упросишь его разсказать что сызнава, то, смотри, что-нибудь да вкинетъ новое, или переиначитъ такъ, что узнать нельзя. Разъ, одинъ изъ тѣхъ господъ, — намъ, простымъ людямъ, мудрено и назвать ихъ: писаки они — не писаки, а вотъ то самое, что барышники на нашихъ ярмаркахъ: нахватаютъ, попросятъ, накрадутъ всякой всячины, да и выпускаютъ книжечки, не толще букваря, каждый мѣсяцъ, или недѣлю, — одинъ изъ этихъ господъ и выманилъ у Оомы Григорьевича эту самую исторію, а онъ вовсе и позабылъ о ней. Только пріѣзжаетъ изъ Полтавы тотъ самый паничъ, въ гороховомъ кафтанѣ, про котораго говорилъ я, и котораго одну повѣсть вы, думаю, уже прочли, — привозитъ съ собою небольшую книжечку и, развернувши посерединѣ, показываетъ намъ. Оома Григорьевичъ готовъ уже былъ осѣдлатъ носъ свой очками, но, вспомнивъ, что онъ забылъ ихъ подмотать нитками и облѣпить воскомъ, передалъ мнѣ. Я, такъ какъ грамоту кое-какъ разумѣю и не ношу очковъ, принялся читать. Не успѣлъ перевернуть двухъ страницъ, какъ онъ вдругъ остановилъ меня за руку.

«Постойте! напередъ скажите мнѣ, что́ это вы читаете?»

Признаюсь, я немного пришелъ въ тупикъ отъ такого вопроса.

«Какъ, что читаю, Оома Григорьевичъ? — Вашу былъ, ваши собственные слова».

«Кто вамъ сказалъ, что это мои слова?»

«Да чего лучше? тутъ и напечатано: *разсказанная такимъ-то дьячкомъ*».

«Плюйте жъ на голову тому, кто это напечаталъ! *Бреше сучый москаль!* Такъ ли я говорилъ? *Що-то вже, якъ у кого чортъ ма кленки въ голови!* Слушайте, я вамъ разскажу ее сейчасъ».

Мы придвинулись къ столу, и онъ началъ:

Дѣдъ мой (царство ему небесное! чтобъ ему на томъ свѣтѣ ѣлись одни только буханци пшеничные, да маковники въ меду!) умѣлъ чудно разсказывать. Бывало, поведетъ рѣчь, — цѣлый день не подвинулся бы съ мѣста и все бы слушалъ. Ужъ не чета какому-нибудь нынѣшнему балагуру, который какъ начнетъ *москаля везть* *), да еще и языкомъ такимъ, будто ему три дня ѣсть не давали, то хоть берись за шапку, да изъ хаты. Какъ теперь помню, — покойная старуха, мать моя, была еще жива, — какъ въ долгій зимній вечеръ, когда на дворѣ трещалъ морозъ и замуравывалъ наглухо узенькое окно нашей хаты, сидѣла она передъ гребнемъ, выводя рукою длинную нитку, колыша ногою люльку и напѣвая пѣсню, которая какъ будто теперь слышится мнѣ. Каганецъ, дрожжа и вспыхивая, какъ бы пугаясь чего, свѣтилъ намъ въ хатѣ. Веретено жужжало; а мы всѣ, дѣти, собравшись въ кучку, слушали дѣда, не слѣзавшаго отъ старости болѣе пяти лѣтъ съ своей печки. Но ни дивныя рѣчи про давнюю старину, про наѣзды запорожцевъ, про ляховъ, про молодецкія дѣла Подковы, Полтора-Кожуха и Сагайдачнаго не занимали насъ такъ, какъ разсказы про какое-нибудь старинное чудное дѣло, отъ которыхъ всегда дрожь проходила по тѣлу и волосы еро-

*) Т. е. лгать.

шились на головѣ. Иной разъ страхъ, бывало, такой забереть отъ нихъ, что съ вечера все показывается¹. Богъ знаетъ, какимъ чудищемъ. Случится, ночью выйдешь за чѣмъ-нибудь изъ хаты, вотъ такъ и думаешь, что на постели твоей укладся спать выходець съ того свѣта. И, чтобы мнѣ не довелось рассказывать этого въ другой разъ, если я не принималъ часто издали собственную свитку, положенную въ головахъ, за свернувшася дьявола. Но главное въ рассказахъ дѣда было то, что въ жизнь свою онъ никогда не лгалъ, и что, бывало, ни скажетъ, то именно такъ и было.

Одну изъ его чудныхъ исторій перескажу теперь вамъ. Знаю, что много наберется такихъ умниковъ, пописывающихъ по судамъ и читающихъ даже гражданскую грамоту, которые, если дать имъ въ руки простой часословъ, не разобрали бы ни аза въ немъ, а показывать на позоръ свои зубы — есть умѣнье. Имъ все, что ни расскажешь, въ смѣхъ. Эдакое невѣрье разошлось по свѣту! Да чего? — вотъ, не люби Богъ меня и Пречистая Дѣва! — вы, можетъ, даже не повѣрите: разъ какъ-то заикнулся про вѣдьмъ — что жъ? нашелся сорви-голова, вѣдьмамъ не вѣрить! Да, славу Богу, вотъ я сколько живу уже на свѣтѣ, видѣлъ такихъ иновѣрцевъ, которымъ *провозить пона въ ршиеть* *) было легче, нежели нашему брату понюхать табаку, а и тѣ отрецивались отъ вѣдьмъ. Но приснись имъ... не хочется только выговорить, что такое... Нечего и толковать объ нихъ.

Лѣтъ куды! болѣе чѣмъ за сто², говорилъ покойникъ дѣдъ мой, нашего села и не узналъ бы никто: хуторъ, самый бѣдный хуторъ! Избенокъ десять, не обмазанныхъ, не укрытыхъ, торчало то тамъ, то сямъ,³ посереде поля. Ни плетня, ни сарая порядочнаго, гдѣ бы поставить скотину, или возъ. Это жъ еще богачи такъ жили; а посмотрѣли бы на нашу братью. на голь: вырытая въ землѣ яма — вотъ вамъ и хата! Только по дыму и можно было узнать, что живетъ тамъ человекъ божій. Вы спросите, отчего они жили такъ? Бѣдность не бѣдность: потому что тогда козаковалъ почти всякій⁴ и набиралъ въ чужихъ земляхъ не мало добра; а больше отъ того, что не за чѣмъ было заводитья порядочною хатою. Какого народу тогда

*) Т. е. солгать на исповѣди.

не шаталось по всѣмъ мѣстамъ: крымцы, ляхи, литвинство! Бывало то, что и свои наѣдутъ кучами и обдираютъ своихъ же. Всего бывало.

Въ этомъ-то хуторкѣ показывался часто человѣкъ, или, лучше, дьяволъ въ человѣческомъ образѣ. Откуда онъ, зачѣмъ приходилъ, никто не зналъ. Гуляетъ, пьянствуетъ и вдругъ пропадетъ, какъ въ воду, и слуху нѣтъ. Тамъ, глядь — снова будто съ неба упалъ, рыскаетъ по улицамъ села, котораго теперь и слѣду нѣтъ и которое было, можетъ, не дальше ста шаговъ отъ Диканьки. Понаберетъ встрѣчныхъ козаковъ: хохотъ, пѣсни, деньги сыплются, водка — какъ вода... Пристанеть, бывало, къ краснымъ дѣвушкамъ: надарить лентъ, серегъ, монистъ — дѣвать некуда! Правда, что красныя дѣвушки немного призадумывались, принимая подарки: Богъ знаетъ, можетъ, въ самомъ дѣлѣ перешли они черезъ нечистыя руки. Родная тетка моего дѣда, содержавшая въ то время шинокъ по нынѣшней Опошнянской дорогѣ, въ которомъ часто разгульничалъ Басаврюкъ (такъ называли этого бѣсовскаго человѣка), именно говорила, что ни за какія благополучія въ свѣтѣ не согласилась бы принять отъ него подарковъ. Опять, какъ же и не взять? — всякаго проберетъ страхъ, когда нахмурить онъ, бывало, свои щетинистыя брови и пустить исподлобья такой взглядъ, что, кажется, унесъ бы ноги, Богъ знаетъ куда; а возьмешь, такъ на другую же ночь и тащится въ гости какой-нибудь пріятель изъ болота, съ рогами на головѣ, и давай душить за шею, когда на шеѣ монисто, кусать за палецъ, когда на немъ перстень, или тянуть за косу, когда вплетена въ нее лента. Богъ съ ними тогда, съ этими подарками! Но вотъ бѣда — и отвязаться нельзя: бросишь въ воду — плыветъ чертовскій перстень, или монисто поверхъ воды, и къ тебѣ же въ руки.

Въ селѣ была церковь, чуть ли еще, какъ вспомню, не святаго Пантелея. Жилъ тогда при ней іерей, блаженной памяти отецъ Аванасій. Замѣтивъ, что Басаврюкъ и на Свѣтлое Воскресеніе не бывалъ въ церкви, задумалъ было пожурить его, наложить церковное покаяніе. Куда! насилу ноги унесъ. „Слушай, *паноча!*“ загремѣлъ онъ ему въ отвѣтъ: „знай лучше свое дѣло, чѣмъ мѣшаться въ чужія, если не хочешь, чтобы козлиное горло твое было залѣплено горячею кутьею!“ Чтѣ

дѣлать съ окаяннымъ? Отецъ Аѳанасій объявилъ только, что всякаго, кто спознается¹ съ Басаврюкомъ, станеть считать за католика, врага христовой церкви и всего человѣческаго рода.

Въ томъ селѣ былъ у одного казака, прозвищемъ Коржа, работникъ, котораго люди звали Петромъ Безроднымъ, — можетъ, оттого, что никто не помнилъ ни отца его, ни матери. Староста церкви говорилъ, правда, что они на другой же годъ померли отъ чумы; но тетка моего дѣда знать этого не хотѣла и всѣми силами старалась надѣлать его родней, хотя бѣдному Петру было въ ней столько нужды, сколько намъ въ прошлогоднемъ снѣгѣ. Она говорила, что отецъ его и теперь на Запорожьи, былъ въ плѣну у турокъ, натерѣлся мукъ, Богъ знаетъ, какихъ и какимъ-то чудомъ, переодѣвшись евнухомъ, далъ тягу. Чернобровымъ дивчатамъ и молодичамъ мало было нужды до родни его. Онѣ говорили только, что если бы одѣть его въ новый жупанъ, затынуть краснымъ поясомъ, надѣть на голову шапку изъ черныхъ смушекъ съ щегольскимъ синимъ верхомъ, привѣсить къ боку турецкую саблю, дать въ одну руку малахай, въ другую люльку въ красивой оправѣ, то заткнулъ бы онъ за поясъ всѣхъ парубковъ тогдашнихъ. Но то бѣда, что у бѣднаго Петруся всего-на-всего была одна сѣрая свитка, въ которой было больше дыръ, чѣмъ у иного жида въ карманѣ золотыхъ. И это бы еще не большая бѣда, а вотъ бѣда: у стараго Коржа была дочка, красавица, какую, я думаю, врядъ ли доставалось вамъ видывать. Тетка покойнаго дѣда рассказывала, — а женщинѣ, сами знаете, легче поцѣловаться съ чортомъ, не во гнѣвъ будь сказано, нежели назвать кого красавицею, — что полненькія щеки казачки были свѣжи и ярки, какъ макъ самаго тонкаго розоваго цвѣта, когда, умывшись божьею росой, горитъ онъ, распрямляетъ листики и охорашивается передъ только что поднявшимся солнышкомъ; что брови, словно черные шнурочки, какіе покупають теперь для крестовъ и дукатовъ дѣвушки наши у проходящихъ по селамъ съ коробками москалей, ровно нагнувшись, какъ будто глядѣлись въ ясныя очи; что ротикъ, на который глядя облизывалась тогдашняя молодежь, казись, на то и созданъ былъ, чтобы выводить соловьиныя пѣсни; что волосы ея, черные, какъ крылья ворона, и мягкіе, какъ молодой лень (тогда еще дѣвушки наши не заплетали ихъ въ три-

бушки, перевивая красивыми, яркихъ цвѣтовъ, синдячками), падали курчавыми кудрями на шитый золотомъ кунтушь. Эхъ! не доведи Господь возглашать мнѣ больше на клиросѣ алилуя, если бы, вотъ тутъ же, не расцѣловаль ея, несмотря на то, что сѣдъ пробирается по всему старому лѣсу, покрывающему мою макушку, и подъ бокомъ моя старуха, какъ бѣльмо въ глазу. Ну, если гдѣ парубокъ и дѣвка живутъ близко одинъ отъ другаго... сами знаете, чтò выходитъ¹. Бывало, ни свѣтъ, ни заря, подковы красныхъ сапоговъ и пригнѣтны на томъ мѣстѣ, гдѣ раздобаривала Пидорка съ своимъ Петрусемъ. Но все бы Коржу и въ умъ не пришло что-нибудь недоброе, да разъ, — ну, это уже и видно, что никто другой, какъ лукавый дернулъ, — вздумалось Петрусью, не осмотрѣвшись хорошенько въ сѣняхъ, влѣпить поцѣлуй, какъ говорить, отъ всей души, въ розовыя губки казачки, и тотъ же самый лукавый, — чтобъ ему, собачьему сыну, приснился крестъ святой! — настроилъ сдору стараго хрѣна отворить дверь хаты. Одеревянѣлъ Коржъ, разинувъ ротъ и ухватясь рукою за двери. Проклятый поцѣлуй, казалось, оглушилъ его совершенно. Ему почудился онъ громче, чѣмъ ударъ макогона объ стѣну, которымъ обыкновенно въ наше время мужикъ прогоняетъ кутю, за немѣннѣемъ фузеи и пороха.

Очнувшись, снялъ онъ со стѣны дѣдовскую нагайку и уже хотѣлъ было покропить ею спину бѣднаго Петра, какъ откуда ни возмись шестилѣтнѣй братъ Пидоркинъ, Ивась, прибѣжалъ и въ испугъ схватилъ ручонками его за ноги, закричавъ: „Тятя, тятя! не бей Петруся!“ Чтò прикажешь дѣлать? У отца сердце не каменное: повѣсивши нагайку на стѣну, вывелъ онъ его потихоньку изъ хаты: „Если ты мнѣ когда-нибудь покажешься въ хатѣ, или хоть только подъ окнами, то слушай, Петро: ей Богу, пропадутъ черныя усы, да и оселедецъ твой, — вотъ уже онъ два раза обматывается около уха, — не будь я Терентій Коржъ², если не распрощается съ твоею макушей!“ Сказавши это, далъ онъ ему легонькою рукою стусана въ затылокъ, такъ что Петрусъ, не взвидя земли, полетѣлъ стремглавъ. Вотъ тебѣ и доцѣловались! Взяла кручина нашихъ голубковъ; а тутъ и слухъ по селу, что къ Коржу повадился ходить какой-то ляхъ, обшитый золотомъ, съ усами, съ саблею, со шпорами, съ карманами, бренчавшими какъ звонокъ отъ мѣшечка,

съ которымъ пономарь нашъ, Тарасъ, отправляется каждый день по церкви. Ну, извѣстно, зачѣмъ ходять къ отцу, когда у него водится чернобровая дочка. Вотъ, одинъ разъ Пидорка схватила, заливаясь слезами, на руки Ивася своего: „Ивасю мой милый, Ивасю мой любимый! бѣги къ Петрусю, мое золотое дитя, какъ стрѣла изъ лука; Расскажи ему все: любила бѣ его карія очи, цѣловала бы его бѣлое личико, да не велить судьба моя. Не одинъ ручникъ вымочила горючими слезами. Тошно мнѣ, тяжело на сердцѣ. И родной отецъ — врагъ мнѣ: неволить итти за нелюбобаго ляха. Скажи ему, что и свадьбу готовить, только не будетъ музыки на нашей свадьбѣ: будутъ дьяки пѣть, вмѣсто кобзь и сопилоекъ. Не пойду я танцовать съ женихомъ своимъ: понесутъ меня. Темная, темная моя будетъ хата! — изъ кленоваго дерева, и, вмѣсто трубы, крестъ будетъ стоять на крышѣ!“

Какъ будто окаменѣвъ, не сдвинувшись съ мѣста, слушалъ Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины слова¹. „А я думалъ, несчастный, итти въ Крымъ и Туречину, завоевать золота и съ добромъ пріѣхать къ тебѣ, моя красавица. Да не быть тому. Недобрый глазъ поглядѣлъ на насъ. Будетъ же, моя дорогая рыбка, будетъ и у меня свадьба: только и дьяковъ не будетъ на той свадьбѣ — воронъ черный прокрячетъ, вмѣсто попа, надо мною; гладкое поле будетъ моя хата; сизая туча — моя крыша; орелъ выклюетъ мои карія очи; вымоютъ дожди казацкія косточки, и вихорь высушитъ ихъ. Но чтѣ я? На кого? кому жаловаться? Такъ уже, видно, Богъ велѣлъ! Пропадать, такъ пропадать!“ — Да прямехонько и побрелъ въ шинокъ.

Тетка покойнаго дѣда немного изумилась, увидѣвши Петруся въ шинкѣ, да еще въ такую пору, когда добрый человекъ идетъ къ заутренѣ, и выпучила на него глаза, какъ-будто съ-просонья, когда потребовалъ онъ кухоль сивухи, мало не съ полведра. Только напрасно думалъ бѣдняжка залить свое горе. Водка щипала его за языкъ, словно крапива, и казалась ему горше полыни. Кинулъ отъ себя кухоль на землю. „Полно горевать тебѣ, козакъ!“ загремѣло что-то басомъ надъ нимъ. Оглянулся: Басаврюкъ! У! какая образина! Волосы — щетина, очи — какъ у вола. „Знаю чего не достаетъ тебѣ: вотъ чего!“ Тутъ брякнулъ онъ съ бѣсовскою усмѣшкою кожанымъ, ви-

сѣвшимъ у него возлѣ пояса, кошелькомъ. Вздрогнулъ Петро. „Ге, ге, ге! да какъ горить!“ заревѣлъ онъ, пересыпая на руку червонцы: „Ге, ге, ге! да какъ звенить! А вѣдь и дѣла только одного потребуютъ¹ за цѣлую гору такихъ цяцекъ“. — „Дьяволъ!“ закричалъ Петро. „Давай его! на все готовъ!“ Хлопнули по рукамъ. „Смотри, Петро, ты поспѣлъ какъ разъ въ пору: завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь въ году и цвѣтеть папоротникъ. Не прозѣвай! Я тебя буду ждать о полночи въ Медвѣжьемъ оврагѣ“.

Я думаю, куры такъ не дожидаются той поры, когда баба вынесетъ имъ хлѣбныхъ зеренъ, какъ дождался Петрусь вчера. То и дѣла, что смотрѣлъ, не становится ли тѣнь отъ дерева длиннѣе, не румянится ли понизившееся солнышко, и чѣмъ далѣе, тѣмъ нетерпѣливѣй. Экая долгота! Видно, день божій потерялъ гдѣ-нибудь конецъ свой. Вотъ уже и солнца нѣтъ. Небо только краснѣетъ на одной сторонѣ. И оно уже тускнеть. Въ полѣ становится холоднѣй. Примеркаетъ, примеркаетъ и — смерклось. Насилу! Съ сердцемъ, только-что не хотѣвшимъ выскочить изъ груди, собрался онъ въ дорогу и бережно спустился густымъ лѣсомъ въ глубокой ярь, называемый Медвѣжьимъ оврагомъ. Басаврюкъ уже поджидалъ тамъ. Темно, хоть въ глаза выстрѣли. Рука объ руку, пробирались они по тонкимъ болотамъ, цѣпляясь за густо разросшійся терновникъ и спотыкаясь почти на каждомъ шагу. Вотъ и ровное мѣсто. Оглядѣлся Петро: никогда еще не случилось ему заходить сюда. Тутъ остановился и Басаврюкъ.

„Видишь ли ты, стоять передъ тобою три пригорка? Много будетъ на нихъ цвѣтовъ разныхъ; но сохрани тебя нездѣшняя сила сорвать хоть одинъ. Только же зацвѣтеть папоротникъ, хватай его и не оглядывайся, что бы тебѣ позади ни чудилось“.

Петро хотѣлъ было спросить... глядь — и нѣтъ уже его. Подошелъ къ тремъ пригоркамъ; гдѣ же цвѣты? Ничего не видать. Дикій бурьянъ чернѣлъ кругомъ и глушилъ все своею густотою. Но вотъ блеснула на небѣ зарница, и передъ нимъ показалась цѣлая града цвѣтовъ, все чудныхъ, все невиданныхъ; тутъ же и простые листья папоротника. Поусумнился Петро и въ раздумьи² сталъ передъ ними, подпершись обѣими руками въ боки.

„Что жъ тутъ ¹ за невидальщина? Десять разъ на день, случается, видишь это зелье: какое жъ тутъ диво? Не вздумала ли дьявольская рожа посмѣяться?“

Глядь — краснѣтъ маленькая цвѣточная почка и, какъ будто живая, движется. Въ самомъ дѣлѣ чудно! Движется и становится все больше, больше, и краснѣтъ, какъ горячій уголь. Вспыхнула звѣздочка, что-то тихо затрещало — и цвѣтокъ развернулся передъ его очами, словно пламя, освѣтивъ и другіе около себя.

„Теперь пора!“ подумалъ Петро и протянулъ руку. Смотрить, тянутся изъ-за него сотни мохнатыхъ рукъ также къ цвѣтку, а ² позади его что-то перебѣгаетъ съ мѣста на мѣсто. Зажмуривъ глаза, дернулъ онъ за стебелекъ, и цвѣтокъ остался въ его рукахъ. Все утихло. На пнѣ показался сидящимъ Басаврюкъ, весь синій, какъ мертвецъ. Хоть бы пошевелился однимъ пальцемъ. Очи недвижно уставлены на что-то, видимое ему одному только; ротъ въ половину разинуть, и ни отвѣта. Вокругъ не шелохнетъ. Ухъ, страшно!... Но вотъ послышался свистъ, отъ котораго захолонуло у Петра внутри, и почудилось ему, будто трава зашумѣла, цвѣты начали между собою разговаривать голоскомъ тоненькимъ, словно серебряные колокольчики; деревья загремѣли сыпучею бранью... Лицо Басаврюка вдругъ ожило, очи сверкнули. „Насилу воротилась яга!“ проворчалъ онъ сквозь зубы. „Гляди, Петро, станеть передъ тобою сейчасъ красавица: дѣлай все, что ни прикажеть, не то пропазь на вѣки!“ Тутъ раздѣлили онъ суковатою палкою кустъ терновника, и передъ ними показалась избушка ³, какъ говорится, на курьихъ ножкахъ. Басаврюкъ ударилъ кулакомъ, и стѣна зашаталась. Большая черная собака выбѣжала навстрѣчу и съ визгомъ, оборотившись въ кошку, кинулась въ глаза имъ. „Не бѣсись, не бѣсись, старая чертовка!“ проговорилъ Басаврюкъ, приправивъ такимъ словомъ, что добрый человѣкъ и уши бы заткнулъ. Глядь, вмѣсто кошки, старуха съ лицомъ сморщившимся, какъ печеное яблоко, вся согнутая въ дугу; носъ съ подбородкомъ словно щипцы, которыми щелкають орѣхи. „Славная красавица!“ подумалъ Петро, и мурашки пошли по спинѣ его. Вѣдьма вырвала у него цвѣтокъ изъ рукъ, наклонилась и что-то долго шептала надъ нимъ, вспрыскивая какою-то водою. Искры посыпались у ней изо рта,

пѣна показалась на губахъ. „Бросай!“ сказала она, отдавая цвѣтокъ ему. Петро подбросилъ, и, что за чудо? цвѣтокъ не упалъ прямо, но долго казался огненнымъ шарикомъ посреди мрака и, словно лодка, плавалъ по воздуху; наконецъ потихоньку началъ спускаться ниже и упалъ такъ далеко, что едва примѣтна была звѣздочка, не больше маковаго зерна. „Здѣсь!“ глухо прохрипѣла старуха, а Басаврюкъ, подавая ему заступъ, примолвилъ: „Копай здѣсь, Петро; тутъ увидишь ты столько золота, сколько ни тебѣ, ни Коржу не снилось“. — Петро, поплевавъ въ руки, схватилъ заступъ, надавилъ ногою и выворотилъ землю, въ другой, въ третій, еще разъ... Что-то твердое!... Заступъ звенить и неидетъ далѣе. Тутъ глаза его ясно начали различать небольшой, окованный желѣзомъ, сундукъ. Уже хотѣлъ онъ было достать его рукою, но сундукъ сталъ уходить въ землю, и все, чѣмъ далѣе, глубже, глубже; а позади его слышался хохотъ, болѣе схожій съ змѣинымъ шипѣниемъ. „Нѣтъ, не видать тебѣ золота, покамѣстъ не достанешь крови человѣческой!“ сказала вѣдьма и подвела къ нему дитя, лѣтъ шести, накрытое бѣлою простынею, показывая знакомъ, чтобы онъ отсѣкъ ему голову. Остолбенѣлъ Петро. Малость, отрѣзать ни за что, ни про что человѣку голову, да еще и безвинному ребенку! Въ сердцахъ, сдернулъ онъ простыню, накрывавшую его голову, и что же? Передъ нимъ стоялъ Ивась. И рученки сложило бѣдное дитя на-крестъ, и головку повѣсило... Какъ бѣшенный, подскочилъ съ ножомъ къ вѣдьмѣ Петро и уже занесъ было руку...

„А что ты общалъ за дѣвушку?...“ грянулъ Басаврюкъ и словно пулю посадилъ ему въ спину. Вѣдьма топнула ногою: синее пламя выхватилось изъ земли; середина ея вся освѣтилась и стала какъ будто изъ хрустала вылита, и все, что ни было подъ землею, сдѣлалось видимо, какъ на ладони. Червонцы, дорогіе камни въ сундукахъ, въ котлахъ, грудами были навалены подъ тѣмъ самымъ мѣстомъ, гдѣ они стояли. Глаза его загорѣлись... умъ помутился... Какъ безумный, ухватился онъ за ножъ, и безвинная кровь брызнула ему въ очи... Дьявольскій хохотъ загремѣлъ со всѣхъ сторонъ. Безобразныя чудища стаями скакали передъ нимъ. Вѣдьма, вицѣпившись руками въ обезглавленный трупъ, какъ волкъ, пила изъ него кровь... Все пошло кругомъ въ головѣ его! Собравши всѣ

силы, бросился онъ бѣжать. Все покрылось передъ нимъ краснымъ свѣтомъ. Деревья всѣ въ крови, казалось, горѣли и стояли. Небо, раскалившись, дрожало... Огненные пятна, что молнии, мерещились въ его глазахъ¹. Выбившись изъ силъ, вбѣжалъ онъ въ свою лачужку и, какъ снопъ, повалился на землю. Мертвый сонъ охватилъ его².

Два дня и двѣ ночи спалъ Петро безъ просыпу. Очнувшись на третій день, долго осматривалъ онъ углы своей хаты; но напрасно старался что-нибудь припомнить: память его была какъ карманъ стараго скряги, изъ котораго полушки не выманишь. Потянувшись немного, услышалъ онъ, что въ ногахъ брякнуло. Смотритъ: два мѣшка съ золотомъ. Тутъ только, будто сквозь сонъ, вспомнилъ онъ, что искалъ какого-то клада, что было ему одному страшно въ лѣсу... Но за какую цѣну, какъ достался онъ, этого никакимъ образомъ не могъ понять.

Увидѣлъ Коржъ мѣшки и — разбѣжлся. „Сякой, такой Петрусь, немазаный! Да я ли не любилъ его? Да не былъ ли у меня онъ, какъ сынъ родной?“ И понесъ хрычъ небывальщину, такъ что того до слезъ разобрало. Пидорка стала рассказывать ему, какъ проходившіе мимо цыганы украли Ивася; но Петро не могъ даже вспомнить его:³ такъ обморочила проклятая бѣсовщина! Мѣшкать было не зачѣмъ. Поляку дали подъ носъ дулю, да и заварили свадьбу: напекли шишекъ, нашили ручниковъ и хустокъ, выкатили бочку горѣлки, посадили за столъ молодыхъ, разрѣзали коровай, брякнули въ бандуры, цымбалы, сопилки, кобзы — и пошла потѣха...

Въ старину свадьба водилась не въ сравненье съ нашей⁴. Тетка моего дѣда, бывало, расскажетъ — люли только! Какъ дѣвчата, въ нарядномъ головномъ уборѣ, изъ желтыхъ, синихъ и розовыхъ стричекъ, поверхъ которыхъ навязывался золотой галунъ⁵, въ тонкихъ рубашкахъ, вышитыхъ по всему шву краснымъ шелкомъ и унизанныхъ мелкими серебряными цвѣточками, въ сафьянныхъ сапогахъ на высокихъ желѣзныхъ подковахъ, плавно, словно павы, и съ шумомъ, что вихорь, скакали въ горлицѣ. Какъ молодицы, съ корабликомъ на головѣ, котораго верхъ сдѣланъ былъ весь изъ сутозолотой парчи, съ небольшимъ вырѣзомъ на затылкѣ, откуда выглядывалъ золотой очипокъ⁶, съ двумя выдавшимися, одинъ напередъ, другой назадъ, рожками самаго мелкаго чернаго смушка, въ

синихъ, изъ лучшаго полутабенеку, съ красными клапанами, кунтушахъ, важно подбоченившись, выступали по одиночкѣ и жѣрно выбивали гопака. Какъ парубки, въ высокихъ козацкихъ шапкахъ, въ тонкихъ суконныхъ свиткахъ, затянутыхъ шитыми серебромъ поясами, съ люльками въ зубахъ, разсыпались передъ ними мелкимъ бѣсомъ и подпускали турысы. Самъ Коржъ не утерпѣлъ, глядя на молодыхъ, чтобъ не тряхнуть стариною. Съ бандурою въ рукахъ, потягивая люльку и вмѣстѣ припѣвая, съ чаркою на головѣ, пустился старичина, при громкомъ крикѣ гулякъ, въ присядку. Чего не выдумаютъ навеселѣ? Начнутъ, бывало, наряжаться въ хари, — Боже ты мой, на человѣка не похожи! Ужъ не чета нынѣшнимъ переодѣваньямъ, что бываютъ на свадьбахъ нашихъ¹. Что теперь? только что корчатъ цыганокъ да москалей. Нѣтъ, вотъ, бывало, одинъ одѣнется жидомъ, а другой чортомъ, начнутъ сперва цѣловаться, а послѣ ухватятся за чубы... Богъ съ вами! Смѣхъ нападетъ такой, что за животь хватаешься. Поодѣнутся въ турецкія и татарскія платья; все горитъ на нихъ, какъ жаръ... А какъ начнутъ дурить да строить штуки... ну, тогда хоть святыхъ выноси! Съ теткой покойнаго дѣда, которая сама была на этой свадьбѣ, случилась забавная исторія: была она одѣта тогда въ татарское широкое платье и, съ чаркою въ рукахъ, угощала собраніе. Вотъ, одного дернулъ лукавый окатить ее сзади водкою; другой, тоже, видно, не промахъ, высѣкъ въ ту же минуту огня, да и поджегъ... пламя вспыхнуло: бѣдная тетка, перепугавшись, давай сбрасывать съ себя, при всѣхъ, платье... Шумъ, хохотъ, ералашъ поднялся, какъ на ярмаркѣ. Словомъ, старики не запомнили никогда еще такой веселой свадьбы.

Начали жить Пидорка да Петрусь, словно панъ съ панею. Всего вдоволь, все блеститъ... Однакоже добрые люди начали слегка головами, глядя на житѣ ихъ. „Отъ чорта не будетъ добра“, поговаривали всѣ въ одинъ голосъ. „Откуда, какъ не отъ искусителя люда православнаго, пришло къ нему богатство? Гдѣ ему было взять такую кучу золота? Отчего, вдругъ, въ самый тотъ день, когда разбогатѣлъ онъ, Басаврюкъ пропалъ, какъ въ воду?“ — Говорите же, что люди выдумываютъ! Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, не прошло мѣсяца, Петруся никто узнать не могъ. Отчего, что съ нимъ сдѣлалось, — Богъ знаетъ. Сидитъ на одномъ мѣстѣ, и хоть бы слово

съ кѣмъ; все думаетъ и какъ будто бы хочетъ что-то припомнить. Когда Пидоркѣ удастся заставить его о чемъ-нибудь заговорить, какъ будто и забудется, и поведетъ рѣчь, и развеселится даже; но ненарокомъ посмотреть на мѣшки: „постой, постой, позабылъ!“ кричить, и снова задумывается, и снова силится про что-то вспомнить. Иной разъ, когда долго сидитъ на одномъ мѣстѣ, чудится ему, что вотъ-вотъ все сызнова приходится на умъ... и опять все ушло. Кажется: сидитъ въ шинкѣ; несутъ ему водку; жжетъ его водка; противна ему водка; кто-то подходитъ, бьетъ по плечу его; онъ... но дагѣ все какъ-будто туманомъ покрывается¹ передъ нимъ. Потъ валить² градомъ по лицу его, и онъ, въ изнеможеніи, садится на свое мѣсто.

Чего не дѣлала Пидорка: и совѣщалась съ знахарями, и переполохъ выливали, и сѣняшницу заваривали *) — ничто не помогало. Такъ прошло и лѣто. Много козаковъ обкосилось и обжалось; много козаковъ, поразгульнѣе другихъ, и въ походъ потянулось³. Стаи утокъ еще толпились на болотахъ нашихъ; но крапивянокъ уже и въ поминѣ не было. Въ степяхъ закраснѣло. Скирды хлѣба то тамъ, то сямъ⁴, словно козацкія шапки, пестрѣли по полю. Попадались по дорогѣ и возы, наваленные хворостомъ и дровами. Земля сдѣлалась крѣпче и мѣстами стала прохватываться морозомъ. Уже и снѣгъ началъ сѣяться⁵ съ неба, и вѣтви деревъ убрались инеемъ, будто заячьимъ мѣхомъ. Вотъ уже въ ясный морозный день красногрудый снигирь, словно щеголеватый польскій шляхтичъ, прогуливался по снѣговымъ кучамъ, вытаскивая зерно, и дѣти огромными кіями гоняли по льду деревянные кубари, между тѣмъ какъ отцы ихъ спокойно вылеживались на печкѣ, выходя по временамъ, съ зажженною люлькою въ зубахъ, ругнуть добрымъ порядкомъ православный морозецъ, или провѣтриться и промолотить въ сѣняхъ залежалый

*) Выливають переполохъ у насъ въ случаѣ испуга, когда хотятъ узнать, отчего приключился овъ: бросаютъ расплавленное олово или воскъ въ воду, и чье примуть они подобіе, то самое перепугало больного; послѣ чего и весь испугъ проходить. Завариваютъ сѣняшницу отъ дурноты и боли въ животѣ. Для этого зажигаютъ кусокъ пеньки, бросаютъ въ кружку и опрокидываютъ ее вверхъ дномъ въ миску, наполненную водою и поставленную на животѣ больного; потомъ, послѣ зашептываній, даютъ ему выпить ложку этой воды⁶.

хлѣбъ. Наконецъ, снѣга стали таять, и *щука хвостомъ ледъ расколотила*; а Петро все тотъ же¹, и чѣмъ далѣе, тѣмъ еще суровѣе. Какъ будто прикованный, сидитъ посреди хаты, поставивъ себѣ въ ноги мѣшки съ золотомъ². Одичалъ, обросъ волосами, сталъ страшень, и все думаетъ объ одномъ, все силится припомнить что-то, и сердится, и злится, что не можетъ вспомнить. Часто дико подымается съ своего мѣста, поводитъ руками, вперяетъ во что-то глаза свои, какъ будто хочетъ уловить его; губы шевелятся, будто хотятъ произнести какое-то давно забытое слово—и неподвижно останавливаются... Бѣшенство овладѣваетъ имъ; какъ полоумный, грызетъ и кусаетъ себѣ руки и въ досадѣ рветъ клоками волоса, покамѣстъ, утихнувъ, не упадетъ, будто въ забытѣи, и послѣ снова принимается припоминать, и снова бѣшенство, и снова мука... Что это за напасть божія? Жизнь не въ жизнь стала Пидоркѣ. Страшно ей было оставаться сперва одной въ хатѣ, да послѣ свыклась, бѣдняжка, съ своимъ горемъ. Но прежней Пидорки уже узнать нельзя было. Ни румянца, ни усмѣшки; изныла, изчахла, выплакались ясныя очи. Разъ, что-то уже, видно, сжалился надъ ней, посовѣтоваль итти къ колдунѣ, жившей въ Медвѣжьемъ оврагѣ, про которую ходила слава, что умѣетъ лѣчить всѣ на свѣтѣ болѣзни. Рѣшилась попробовать послѣднее средство; слово за слово, уговорила старуху итти съ собою. Это было ввечеру, какъ разъ наканунѣ Купала. Петро въ безпамятствѣ лежалъ на лавкѣ и не примѣчалъ вовсе новой гостѣи. Какъ вотъ, мало-по-малу, сталъ приподниматься и всматриваться. Вдругъ весь задрожалъ, какъ на плахѣ; волосы поднялись горою... и онъ засмѣялся такимъ хохотомъ, что страхъ врѣзался въ сердце Пидорки. „Вспомнилъ, вспомнилъ!“ закричалъ онъ въ страшномъ весельи и, размахнувши топоръ, пустилъ имъ изо всей силы³ въ старуху. Топоръ на два вершка вбѣжалъ въ дубовую дверь. Старуха пропала, и дитя лѣтъ семи, въ бѣлой рубашкѣ, съ накрытою головою, стало посреди хаты... Простыня слетѣла. „Ивась!“ закричала Пидорка и бросилась къ нему; но привидѣніе все, съ ногъ до головы, пекрылось кровью и освѣтило всю хату краснымъ свѣтомъ... Въ испугѣ выбѣжала она въ сѣни; но, опомнившись немного, хотѣла было помочь ему; напрасно! дверь захлопнулась за нею такъ крѣпко,

что не подь силу было отпереть. Сбѣжались люди; принялись стучать; высадили дверь: хоть бы душа одна! Вся хата полна дыма, и по серединѣ только, гдѣ стоялъ Петрусь, куча пеплу, отъ котораго мѣстами подымался еще парь. Кинулись къ мѣшкамъ: одни битые черепки лежали вмѣсто червонцевъ. Выпуча глаза и разинувъ рты, не смѣя пошевелинуть усомъ, стояли козаки, будто вкопанные въ землю. Такой страхъ навело на нихъ это диво.

Что было далѣе, не вспомню. Пидорка дала обѣтъ итти на богомолье; собрала оставшееся послѣ отца имущество, и черезъ нѣсколько дней ея точно уже не было на селѣ. Куда ушла она, никто не могъ сказать. Услужливыя старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился; но пріѣхавшій изъ Кіева козакъ разсказаль¹, что видѣлъ въ лаврѣ монахиню, всю высохшую, какъ скелеть, и безпрестанно молящуюся, въ которой земляки, по всѣмъ примѣтамъ, узнали Пидорку; что будто еще никто не слыхалъ отъ нея ни одного слова²; что пришла она пѣшкомъ и принесла окладъ къ иконѣ Божьей Матери, изцвѣченный такими яркими камнями, что всѣ зажмуривались, на него глядя.

Позвольте, этимъ еще не все кончилось. Въ тотъ самый день, когда лукавый припряталъ къ себѣ Петруся, показался снова Басаврюкъ; только всѣ бѣгомъ отъ него. Узнали, что это за птица: никто другой, какъ сатана, принявшій человѣческій образъ для того, чтобы отрывать клады; а какъ клады не даются нечистымъ рукамъ, такъ вотъ онъ и приманиваетъ къ себѣ молодцовъ. Въ томъ же году всѣ побросали землянки свои и перебрались въ село; но и тамъ однакожъ не было покою отъ проклятаго Басаврюка. Тетка покойнаго дѣда говорила, что именно злился онъ болѣе всего на нее за то, что оставила прежній шинокъ по Опошнянской дорогѣ, и всѣми силами старался выместить все на ней. Разъ старшины села собрались въ шинокъ и, какъ говорится, бесѣдовали по чинамъ за столомъ, по серединѣ котораго поставленъ былъ, грѣхъ сказать, чтобы малый, жареный баранъ. Калякали о томъ, о семъ³; было и про диковинки разныя, и про чуда. Вотъ и померещилось — еще бы ничего, если бы одному, а то именно всѣмъ, — что баранъ поднялъ голову, блудящія глаза его ожили и засвѣтились, и въ мигъ появившіеся чер-

ные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующих. Всѣ тотчасъ узнали на бараньей головѣ рожу Басаврюка; тетка дѣда моего даже думала уже, что вотъ-вотъ попросить водки... Честные старшины за шапки, да скорѣй восяси. Въ другой разъ самъ церковный староста, любившій по временамъ раздобаривать глазъ на глазъ съ дѣдовскою чаркою, не успѣлъ еще раза два достать дна, какъ видить, что чарка кланяется ему въ поясъ. „Чортъ съ тобою!“ давай креститься!... А тутъ съ половиною его тоже диво: только что начала она замѣшивать тѣсто въ огромной дижѣ, вдругъ дижа выпрыгнула. „Стой, стой!“ Куда! подбоченившись важно, пустилась въ присядку по всей хатѣ... Смѣйтесь; однакожь не до смѣху было нашимъ дѣдамъ. И даромъ, что отецъ Аеанасій ходилъ по всему селу со святою водою и гонялъ чорта кропиломъ по всѣмъ улицамъ, а все еще тетка покойнаго дѣда долго жаловалась, что кто-то, какъ только вечеръ, стучить въ крышу и царапается по стѣнѣ.

Да чего! Вотъ теперь на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ село наше, кажись, все спокойно; а вѣдь еще не такъ давно, еще покойный отецъ мой и я запомню, какъ мимо разваливагося шинка, который нечистое племя долго послѣ того поправляло на свой счетъ, доброму человѣку пройти нельзя было. Изъ закоптѣвшей трубы столбомъ валилъ дымъ и, поднявшись высоко, такъ что посмотрѣть — шапка валилась, рассыпался горячими угольями по всей степи, и чортъ — нечего бы и вспоминать его, собачьяго сына — такъ всхлипывалъ жалобно въ своей конурѣ, что испуганные гайвороны стаями подымались изъ ближняго дубоваго лѣса и съ дикимъ крикомъ метались по небу.

МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА.

Врагъ его батька знае! начнуть шо небудь робыть люды хрещены, то мурдуютця, мурдуютця, мовъ хорты за зайцемъ, а все шось не до шмыгу; тильки жъ куды чортъ уплетецця, то верть хвостыкомъ — такъ де воно й возмецця ниначе зъ неба¹.

I.

Г а н н а.

Звонкая пѣсня лилась рѣкою по улицамъ села***. Было то время, когда утомленные дневными трудами и заботами парубки и дѣвушки шумно собирались въ кружокъ, въ блескѣ чистаго вечера, выливать свое веселье въ звуки, всегда неразлучные съ уныньемъ. И задумавшійся вечеръ² мечтательно обнималъ синее небо, превращая все въ неопредѣленность и даль. Уже и сумерки, а пѣсни все не утихали. Съ бандурою въ рукахъ, пробирался ускользнувшій отъ пѣсельниковъ молодой козакъ Левко, сынъ сельскаго головы. На козакѣ рѣшетилловская шапка. Козакъ идетъ по улицѣ, бречить рукою по струнамъ и подплясываетъ³. Вотъ онъ тихо остановился передъ дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. Чья же это хата? Чья это дверь? Немного помолчавши, заигралъ онъ и запѣлъ:

Сонце низенько, вечеръ близенько,
Выйди до мене, мое серденько!

„Нѣтъ, видно, крѣпко заснула моя ясноокая красавица“, сказалъ козакъ, окончивши пѣсню и приближаясь къ окну. „Галю! Галю! ты спишь, или не хочешь ко мнѣ выйти? Ты боишься, вѣрно, чтобы насъ кто не увидѣлъ, или не хочешь, можетъ быть, показать бѣлое личико на холодъ? Не бойся: никого нѣтъ; вечеръ тепель. Но если бы и показался кто,

я прикрою тебя свиткою, обмотаю своимъ поясомъ, закрою руками тебя — и никто насъ не увидить. Но если бы и повѣяло холодомъ, я прижму тебя поближе къ сердцу, отогрѣю поцѣлуями, надѣну шапку свою на твои бѣленькія ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье! выгляни на мигъ. Просунь сквозь окошечко хоть бѣлую свою ручку!... Нѣтъ, ты не спишь, гордая дивчина!“ проговорилъ онъ громче и такимъ голосомъ, какимъ выражаетъ себя устыдившійся мгновеннаго униженія: „тебѣ любо издѣваться надо мною; прощай!“

Тутъ онъ отворотился, насунулъ набекрень свою шапку и гордо отошелъ отъ окошка, тихо перебирая струны бандуры. Деревянная ручка у двери въ это время завертѣлась: дверь распахнулась со скрипомъ и дѣвушка, на порѣ самнадцатой весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская деревянной ручки, переступила черезъ порогъ. Въ полуясномъ мракѣ горѣли привѣтно, будто звѣздочки, ясныя очи; блистало красное коралловое монисто, и отъ орлиныхъ очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щекахъ ея.

„Какой же ты нетерпѣливый!“ говорила она ему въ полголоса: „Уже и разсердился! Зачѣмъ выбралъ ты такое время? Толпа народу шатается то и дѣла по улицамъ... Я вся дрожу“...

„О, не дрожи, моя красная калиночка! Прижмись ко мнѣ покрѣпче!“ говорилъ парубокъ, обнимая ее, отбросивъ бандуру, висѣвшую на длинномъ ремнѣ у него на шеѣ, и садясь вмѣстѣ съ нею у дверей хаты. „Ты знаешь, что мнѣ и часу не видать тебя горько“.

„Знаешь ли, чтò я думаю?“ прервала дѣвушка, задумчиво уставивъ въ него свои очи². „Мнѣ все что-то будто на ухо шепчетъ, что впередъ намъ не видаться такъ часто. Недобрые у васъ люди: дѣвушки всѣ глядятъ такъ завистливо, а парубки... Я примѣчаю даже, что мать моя съ недавней поры стала суровѣе приглядывать за мною. Признаюсь, мнѣ веселѣе у чужихъ было“.

Какое-то движеніе тоски выразилось на лицѣ ея при послѣднихъ словахъ.

„Два мѣсяца только въ сторонѣ родной и уже соскучилась! Можетъ, и я надоѣлъ тебѣ?“

„О, ты мнѣ не надоѣлъ“, молвила она, усмѣхнувшись. «Я тебя люблю, чернобровый козакъ! За то люблю, что у тебя карія очи, и какъ поглядишь ты ими, у меня какъ будто на душѣ усмѣхается: и весело, и хорошо ей; что привѣтливо моргаешь ты чернымъ усомъ своимъ; что ты идешь по улицѣ, поешь и играешь на бандурѣ, и любо слушать тебя“.

„О, моя Галя!“¹ вскрикнулъ парубокъ, цѣлуя и прижимая ее сильнѣе къ груди своей.

„Постой! Полно, Левко! Скажи напередъ, говорилъ ли ты съ отцомъ своимъ?“

„Что?“ сказала онъ, будто проснувшись. „Что я хочу жениться², а ты выйти за меня замужъ? Говорилъ“. Но какъ-то унывно зазвучало въ устахъ его это слово: „говорилъ“.

„Что же?“

„Что станешь дѣлать съ нимъ? Притворился, старый хрѣнь, по своему обыкновенію, глухимъ: ничего не слышитъ и еще бранить, что шатаюсь, Богъ знаетъ, гдѣ и повѣсничая съ хлопцами по улицамъ³. Но не тужи, моя Галя! Вотъ тебѣ слово козацкое, что уломаю его“.

„Да тебѣ только стоитъ, Левко, слово сказать — и все будетъ по-твоему. Я знаю это по себѣ: иной разъ не послушала бы тебя, а скажешь слово — и невольно дѣлаю, что тебѣ хочется. Посмотри, посмотри!“ продолжала она, положивъ голову на плечо ему и поднявъ глаза вверхъ, гдѣ необъятно синѣло теплое украинское небо, завѣшенное снизу кудрявыми вѣтвями стоявшихъ передъ ними вишень. „Посмотри: вонъ-вонъ далеко мелькнули звѣздочки: одна, другая, третія, четвертая, пятая... Не правда ли, вѣдь это ангелы божіи потворяли окошечки своихъ свѣтлыхъ домиковъ на небѣ и глядятъ на насъ? Да, Левко? Вѣдь это они глядятъ на нашу землю? Что, если бы у людей были крылья, какъ у птицъ, — туда бы полетѣть высоко, высоко... Ухъ, страшно! Ни одинъ дубъ у насъ не достанетъ до неба. А говорить однакоже, есть гдѣ-то, въ какой-то далекой землѣ, такое дерево, которое шумить вершиною въ самомъ небѣ, и Богъ сходитъ по немъ на землю ночью передъ свѣтлымъ праздникомъ“.

„Нѣтъ, Галя; у Бога есть длинная лѣстница отъ неба до самой земли. Ее становятъ передъ свѣтлымъ Воскресеніемъ святыя архангелы, и какъ только Богъ ступить на первую

ступень, всѣ нечистые духи полетятъ стремглавъ и кучами попадають въ пекло, и оттого на Христовъ праздникъ ни одного злаго духа не бываетъ на землѣ“.

„Какъ тихо колыхается вода, будто дитя въ люлькѣ!“ продолжала Ганна, указывая на прудъ, угрюмо обставленный темнымъ кленовымъ лѣсомъ и оплакиваемый вербами, потопившими въ немъ жалобныя свои вѣтви. Какъ безсильный старецъ, держаль онъ въ холодныхъ объятіяхъ своихъ далекое темное небо, осыпая ледяными поцѣлуями огненныя звѣзды, которыя тускло рѣяли среди теплаго океана ночнаго воздуха¹, какъ бы предчувствуя скорое появленіе блистательнаго царя ночи. Возлѣ лѣса, на горѣ, дремалъ съ закрытыми ставнями старый деревянный домъ; мохъ и дикая трава покрывали его крышу; кудрявыя яблони разрослись передъ его окнами; лѣсъ, обнимая свою тѣню, бросалъ на него дикую мрачность; орѣховая роща стлалась у подножія его и скатывалась къ пруду.

„Я помню, будто сквозь сонъ“, сказала Ганна, не спуская глазъ съ него: „давно, давно, когда я еще была маленькою и жила у матери, что-то страшное рассказывали про домъ этотъ. Левко, ты вѣрно знаешь; расскажи!...“

„Богъ съ нимъ, моя красавица! Мало ли чего не расскажутъ бабы и народъ глупый. Ты себя только потревожишь, станешь бояться и не заснется тебѣ покойно“.

„Расскажи, расскажи, милый чернобровый парубокъ!“ говорила она, прижимаясь лицомъ своимъ къ щекѣ его и обнимая его. „Нѣтъ, ты, видно, не любишь меня; у тебя есть другая дѣвушка. Я не буду бояться; я буду спокойно спать ночь. Теперь-то не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться да думать... Расскажи, Левко!“...

„Видно, правду говорятъ люди, что у дѣвушекъ сидитъ чортъ, подстрекающій ихъ любопытство. Ну, слушай. Давно, мое серденько, жилъ въ этомъ домѣ сотникъ. У сотника была дочка, ясная панночка, бѣлая какъ снѣгъ, какъ твое личико. Сотникова жена давно уже умерла; задумалъ сотникъ жениться на другой. „Будешь ли ты меня нѣжить по-старому, батька², когда возьмешь другую жену?“ — „Буду, моя дочка; еще крѣпче прежняго стану прижимать тебя къ сердцу! Буду, моя дочка; еще ярче стану дарить серьги и монисты!“

Привезъ сотникъ молодую жену въ новый домъ свой. Хо-

роша была молодая жена. Румяна и бѣла собою была молодая жена; только такъ страшно взглянула на свою падчерицу, что та вскрикнула, ее увидѣвши, и хотъ бы слово во весь день сказала суровая мачиха. Настала ночь: ушелъ сотникъ съ молодою женою въ свою опочивальню; заперлась и бѣлая панночка въ своей свѣтлицѣ. Горько сдѣлалось ей; стала плакать. Глядитъ: страшная черная кошка крадется къ ней; шерсть на ней горить, и желѣзные когти стучать по полу. Въ испугѣ, вскочила она на лавку, — копка за нею; перепрыгнула на лежанку, — кошка и туда, и вдругъ бросилась къ ней на шею и душить ее. Съ крикомъ оторвавши отъ себя, кинула ее на полъ¹. Опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стѣнѣ висѣла отцовская сабля. Схватила ее и брякъ по полу, — лапа съ желѣзными когтями отскочила, и кошка съ визгомъ пропала въ темномъ углу. Цѣлый день не выходила изъ свѣтлицы своей молодая жена; на третій день вышла съ перевязанною рукою. Угадала бѣдная панночка, что мачиха ея вѣдьма и что она ей перерубила руку. На четвертый день приказалъ сотникъ своей дочкѣ носить воду, мести хату, какъ простой мужичкѣ, и не показываться въ панскіе покои. Тяжело было бѣдняжкѣ, да нечего дѣлать: стала выполнять отцовскую волю. На пятый день выгналъ сотникъ свою дочку босую изъ дому и куска хлѣба не далъ на дорогу. Тогда только зарыдала панночка, закрывши руками бѣлое лицо свое: „Погубилъ ты, батька², родную дочку свою! Погубила вѣдьма грѣшную душу твою! Прости тебя Богъ; а мнѣ, несчастной, видно, не велитъ Онъ жить на бѣломъ свѣтѣ...“ — „И вонъ, видишь ли ты?“... Тутъ оборотился Левко къ Ганнѣ, указывая пальцемъ на домъ. „Гляди сюда: вонъ подалѣе отъ дома, самый высокій берегъ! Съ этого берега кинулась панночка въ воду, и съ той поры не стало ея на свѣтѣ...“

„А вѣдьма?“ боязливо прервала Ганна, устремивъ на него прослезившіяся очи.

„Вѣдьма? Старухи выдумали, что съ той поры всѣ утопленницы выходили, въ лунную ночь, въ панскій садъ грѣться на мѣсяцѣ, и сотникова дочка сдѣлалась надъ ними главною. Въ одну ночь увидѣла она мачиху свою возлѣ пруда, напала на нее и съ крикомъ утащила въ воду. Но вѣдьма и тутъ нашлась: оборотилась подъ водою въ одну изъ утопленницъ,

и через то ушла от плети изъ зеленаго тростника, которую хотѣли ее бить утопленницы. Вѣрь бабамъ! Рассказываютъ еще, что панночка собираетъ всякую ночь утопленницъ и заглядываетъ поодионокѣ каждой въ лицо, стараясь узнать, которая изъ нихъ вѣдьма; но до сихъ поръ не узнала. И если попадется изъ людей кто, тотчасъ заставляеть его угадывать; не то, грозить утопить въ водѣ. Вотъ, моя Галю, какъ рассказываютъ старые люди!... Теперешній панъ хочетъ строить на томъ мѣстѣ винницу и прислалъ нарочно для того сюда винокура... Но я слышу говоръ. Это наши возвращаются съ гѣсенъ. Прощай, Галю! Спи спокойно, да не думай объ этихъ бабьихъ выдумкахъ“.

Сказавши это, онъ обнялъ ее крѣпче, поцѣловалъ и ушелъ.

„Прощай, Левко!“ говорила Ганна, задумчиво вперивъ очи на темный лѣсъ.

Огромный огненный мѣсяцъ величественно сталъ въ это время вырѣзываться изъ земли. Еще половина его была подъ землею, а уже весь міръ исполнился какого-то торжественнаго свѣта. Прудъ тронулся искрами. Тѣнь отъ деревьевъ ясно стала отдѣляться на темной зелени.

„Прощай, Ганна!“ раздались позади ея слова, сопровождаемыя поцѣлуемъ.

„Ты воротился!“ сказала она, оглянувшись; но, увидѣвъ передъ собою незнакомаго парубка, отвернулась въ сторону.

„Прощай, Ганна!“ раздалось снова, и снова поцѣловалъ ее кто-то въ щеку.

„Вотъ принесла нелегкая и другаго!“ проговорила она съ сердцемъ.

„Прощай, милая Ганна!“

„Еще и третій!“

„Прощай! прощай! прощай, Ганна!“ и поцѣлуи засыпали ее со всѣхъ сторонъ.

„Да тутъ ихъ цѣлая ватага!“ кричала Ганна, вырываясь изъ толпы парубковъ, наперерывъ спѣшившихъ обнимать ее.

„Какъ имъ не надоѣсть безпрестанно цѣловаться! Скоро, ей Богу, нельзя будетъ показаться на улицѣ!“

Вслѣдъ за сими словами дверь захлопнулась и только слышно было, какъ съ визгомъ задвинулся желѣзный засовъ.

II.

Г о л о в а.

Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь въ нее: съ середины неба глядитъ мѣсяць; необъятный небесный сводъ раздался, раздвинулся еще необъятнѣе; горитъ и дышетъ онъ. Земля вся въ серебряномъ свѣтѣ; и чудный воздухъ и прохладно-душень, и полонъ нѣги, и движеть океанъ благоуханій. Божественная ночь! Очаровательная ночь! Недвижно, вдохновенно стали лѣса, полные мрака, и кинули огромную тѣнь отъ себя. Тихи и покойны эти пруды; холодъ и мракъ водъ ихъ угрюмо заключень въ темно-зеленныя стѣны садовъ. Дѣвственныя чащи черемухъ и черешень пугливо протянули свои корни въ ключевой холодъ и изрѣдка лепечуть листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный вѣтреникъ — ночной вѣтеръ, подкравшись мгновенно, цѣлуетъ ихъ. Весь ландшафтъ спитъ. А вверху все дышетъ; все дивно, все торжественно. А на душѣ и необъятно, и чудно, и толпы серебряныхъ видѣній стройно возникаютъ въ ея глубинѣ. Божественная ночь! Очаровательная ночь! И вдругъ все ожило: и лѣса, и пруды, и степи. Сыплется величественный громъ украинскаго соловья, и чудится, что и мѣсяць заслушался его посерединѣ неба... Какъ очарованное, дремлетъ на возвышеніи село. Еще бѣлѣе, еще лучше блестятъ при мѣсяцѣ толпы хатъ; еще ослѣпительнѣе вырѣзываются изъ мрака низкія ихъ стѣны. Пѣсни умолкли. Все тихо. Благочестивые люди уже спятъ. Гдѣ-гдѣ только свѣтятся узенькія окна. Передъ порогами иныхъ только хатъ запоздалая семья совершаетъ свой поздній ужинъ.

„Да, гопакъ не такъ танцуется! То-то я гляжу, не клеится все. Чтò жъ это рассказываетъ кумъ?... А, ну: гопъ трала! гопъ трала! гопъ, гопъ, гопъ!“ Такъ разговаривалъ самъ съ собою подгулявшій мужикъ среднихъ лѣтъ, танцуя по улицѣ. „Ей Богу, не такъ танцуется гопакъ! Что мнѣ лгать? Ей Богу не такъ! А, ну: гопъ трала! гопъ трала! гопъ, гопъ, гопъ!“

„Вотъ одурѣлъ человѣкъ! добро бы еще хлопецъ какой, а то старый кабанъ, дѣтамъ на смѣхъ, танцуетъ ночью по улицѣ!“ вскричала проходящая пожилая женщина, неся въ рукѣ солому. „Ступай въ хату свою! Пора спать давно!“

„Я пойду!“ сказалъ, остановившись, мужикъ. „Я пойду. Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Что онъ думаетъ, *видько бѣ утысса его батькови*, что онъ голова, что онъ обливааетъ людей на морозѣ холодною водою, такъ и носъ поднятъ! Ну, голова, голова. Я самъ себѣ голова. Вотъ, убей меня Богъ! Богъ меня убей! Я самъ себѣ голова. Вотъ что, а не то что...“ продолжалъ онъ, подходя къ первой попавшейся хатѣ, и остановился передъ окошкомъ, скользя пальцами по стеклу и стараясь найти деревянную ручку. „Баба, отворяй! Баба, живѣй, говорятъ тебѣ, отворяй! Козаку спать пора!“

„Куда ты Каленикъ? Ты въ чужую хату попалъ“, закричали, смѣясь, позади его дѣвушки, ворочавшіяся съ веселыхъ пѣсней. „Показать тебѣ твою хату?“

„Покажите, любезныя молодушки!“

„Молодушки? Слышите ли“, подхватила одна: „какой учтивый Каленикъ? За это ему нужно показать хату... но нѣтъ, напередъ потанцуй“.

„Потанцовать?... эхъ, вы, замысловатыя дѣвушки!“ протяжно произнесъ Каленикъ, смѣясь и грозя пальцемъ и оступаясь, потому что ноги его не могли держаться на одномъ мѣстѣ. „А дадите перецѣловать себя? Всѣхъ перецѣлую, всѣхъ!“... И косвенными шагами пустился бѣжать за ними. Дѣвушки подняли крикъ, перемѣшались; но послѣ, ободрившись, перебѣжали на другую сторону, увидя, что Каленикъ не слишкомъ былъ скоръ на ноги.

„Вонъ твоя хата!“ закричали онѣ ему, уходя и показывая на избу, гораздо побольше прочихъ, принадлежавшую сельскому головѣ. Каленикъ послушно побрелъ въ ту сторону, принимаясь снова бранить голову. —

Но кто же этотъ голова, возбуждившій такіе невыгодные о себѣ толки и рѣчи? О! этотъ голова важное лицо на селѣ. Покажѣтъ Каленикъ достигнетъ конца пути своего, мы, безъ сомнѣнія, успѣемъ кое-что сказать о немъ. Все село, завидѣвши его, беретъ за шапки; а дѣвушки, самыя молоденькія, отдають *добридень*. Кто бы изъ парубковъ не захотѣлъ

быть головою? Головъ открытъ свободный ходъ во всѣ та-
 влинки, и дюжій мужикъ почтительно стоитъ, снявши шапку,
 во все продолженіе, когда голова запускаетъ свои толстые и
 грубые пальцы въ его лубочную табакерку. Въ мірской сходкѣ,
 или громадѣ, несмотря на то, что власть его ограничена
 нѣсколькими голосами, голова всегда беретъ верхъ и почти
 по своей волѣ высылаетъ, кого ему угодно, ровнять и гла-
 дить дорогу, или копать рвы. Голова угрюмъ, суровъ съ виду
 и не любитъ много говорить. Давно еще, очень давно, когда
 блаженной памяти великая царица Екатерина ѣздила въ Крымъ,
 былъ онъ выбранъ¹ въ провозатые; цѣлые два дни находился
 онъ въ этой должности и даже удостоился сидѣть на кôзлахъ
 съ царицынымъ кучеромъ. И съ той самой поры еще голова
 выучился раздумно и важно потуплять голову, гладить длин-
 ные, закрутившіеся внизъ усы и кидать соколиный взглядъ
 исподлобья. И съ той поры голова, объ чемъ бы ни заго-
 ворили съ нимъ, всегда умѣетъ поворотить рѣчь на то, какъ
 онъ везъ царицу и сидѣлъ на кôзлахъ царской кареты. Го-
 лова любитъ иногда прикинуться глухимъ, особливо если услы-
 шить то, чего не хотѣлось бы ему слышать. Голова терпѣть
 не можетъ щегольства: носить всегда свитку чернаго домаш-
 няго сукна, перепоясывается шерстянымъ цвѣтнымъ поясомъ,
 и никто никогда не видалъ его въ другомъ костюмѣ, выклю-
 чая развѣ только времени проѣзда царицы въ Крымъ, когда
 на немъ былъ синій козацкій жупанъ. Но это время врядъ-ли
 кто могъ запомнить изъ цѣлаго села; а жупанъ держитъ онъ
 въ сундукѣ подъ замкомъ. Голова вдовъ; но у него живетъ
 въ домѣ свояченица, которая варитъ обѣдать и ужинать, моетъ
 лавки, бѣлитъ хату, прядетъ ему на рубашки и завѣдываетъ
 всѣмъ домомъ. На селѣ поговариваютъ, будто она совсѣмъ
 ему не родственница; но мы уже видѣли, что у головы много
 недоброжелателей, которые рады распускать всякую клевету.
 Впрочемъ, можетъ быть, къ этому подало поводъ и то, что
 свояченицѣ всегда не нравилось, если голова заходилъ въ поле,
 усѣянное жнищами, или къ козаку, у котораго была молодая
 дочка. Голова кривъ, но за то одинокій глазъ его — злодѣй,
 и далеко можетъ увидѣть хорошенькую поселянку. Не прежде,
 однакъ, онъ наведетъ его на смазливенькое личико, пока
 не осмотрится хорошенько. не глядитъ ли откуда свояченица.

Но мы почти все уже рассказали, что́ нужно, о головѣ, а пьяный Каленикъ не добрался еще и до половины дороги, и долго еще угощаль голову всѣми отборными словами, какія могли только вспастъ на лѣнливо и несвязно поворачивавшійся языкъ его.

III.

Неожиданный соперникъ. Заговоръ.

„Нѣтъ, хлопцы, нѣтъ, не хочу! Что́ за разгулье такое! Какъ вамъ не надоѣсть повѣсничать? И безъ того уже прослыли мы, Богъ знаетъ, какими буянами. Ложитесь лучше спать!“ Такъ говорилъ Левко разгульнымъ товарищамъ своимъ, подговаривавшимъ его на новыя проказы. „Прощайте, братцы! покойная вамъ ночь!“ и быстрыми шагами шелъ отъ нихъ по улицѣ.

„Спать ли моя ясноокая Ганна?“ думаль онъ, подходя къ знакомой намъ хатѣ съ вишневыми деревьями. Среди тишины послышался тихій говоръ. Левко остановился. Между деревьями забѣлѣла рубашка... „Что́ это значитъ?“ подумаль онъ и, подкравшись поближе, спрятался за дерево. При свѣтѣ мѣсяца блистало лицо стоявшей передъ нимъ дѣвушки... Это Ганна! Но кто же этотъ высокій человекъ, стоящій къ нему спиною? Напрасно всматривался онъ: тѣнь покрывала его съ ногъ до головы. Спереди только онъ былъ освѣщенъ немного; но малѣйшій шагъ Левка впередъ уже подвергалъ его неприятности быть открытымъ. Тихо прислонившись къ дереву, рѣшился онъ остаться на мѣстѣ. Дѣвушка ясно выговорила его имя.

„Левко? Левко еще молокосось!“ говорилъ хрипло и въ полголоса высокій человекъ. „Если я встрѣчу его когда-нибудь у тебя, я его выдеру за чубъ“...

„Хотѣлось бы мнѣ знать, какая это шельма похваляется выдрать меня за чубъ!“ тихо проговорилъ Левко и протянулъ шею, стараясь не проронить ни одного слова. Но незнакомецъ продолжалъ такъ тихо, что нельзя было ничего разслушать.

„Какъ тебѣ не стыдно!“ сказала Ганна по окончаніи его рѣчи. „Ты лжешь; ты обманываешь меня; ты меня не любишь; я никогда не повѣрю, чтобы ты меня любилъ!“

„Знаю“, продолжалъ высокій человекъ: „Левко много наговорилъ тебѣ пустяковъ и вскружилъ твою голову“ (тутъ показалось парубку, что голосъ незнакомца не совсѣмъ незнакомъ, и какъ будто онъ когда-то его слышалъ); „но я дамъ себя знать Левку!“ продолжалъ все также незнакомецъ. „Онъ думаетъ, что я не вижу всѣхъ его шашней. Попробуетъ онъ, собачій сынъ, каковы у меня кулаки!“

При этомъ словѣ Левко не могъ уже болѣе удержать своего гнѣва. Подошедши на три шага къ нему, замахнулся онъ изо всей силы¹, чтобы дать трюха, отъ котораго незнакомецъ, несмотря на свою видимую крѣпость, не устоялъ бы, можетъ быть, на мѣстѣ; но въ это время свѣтъ палъ на лицо его, и Левко остолбенѣлъ, увидѣвши, что передъ нимъ стоялъ отецъ его. Невольное покачиваніе головою и легкій сквозъ зубы свистъ одни только выразили его изумленіе. Въ сторонѣ послышался шорохъ; Ганна поспѣшно влетѣла въ хату, хлопнувъ за собою дверь.

„Прощай, Ганна!“ закричалъ въ это время одинъ изъ парубковъ, подкравшись и обнявши голову, — и съ ужасомъ отскочилъ назадъ, встрѣтивши жесткіе усы.

„Прощай, красавица!“ вскричалъ другой; но на сей разъ полетѣлъ стремглавъ отъ тяжелаго толчка головы.

„Прощай, прощай, Ганна!“ закричало нѣсколько парубковъ, повиснувъ ему на шею.

„Провалитесь, проклятые сорванцы!“ кричалъ голова, отбиваясь и притопывая на нихъ ногами. „Что я вамъ за Ганна! Убирайтесь вслѣдъ за отцами на висѣлицу, чортовы дѣти! Поприставали, какъ мухи къ меду! Дамъ я вамъ Ганны!...“

„Голова! голова! Это голова!“ закричали хлопцы и разбѣжались во всѣ стороны.

„Ай да батько!“ говорилъ Левко, очнувшись отъ своего изумленія и глядя вслѣдъ уходящему съ ругательствами головѣ. „Вотъ какія за тобою водятся проказы! Славно! А я дивлюсь да передумываю, чтѣ бы это значило, что онъ все притворяется глухимъ, когда станешь говорить о дѣлѣ. Постой же, старый хрѣнь, ты у меня будешь знать, какъ шататься подъ окнами молодыхъ дѣвушекъ; будешь знать, какъ отбивать чужихъ невѣсть! Гей, хлопцы! сюда, сюда!“ кричалъ онъ, махая рукою парубкамъ, которые снова собирались

въ кучу: „Ступайте сюда! Я увѣщевалъ васъ итти спать, но теперь раздумалъ и готовъ хоть цѣлую ночь самъ гулять съ вами“.

„Вотъ это дѣло!“ сказалъ плечистый и дородный парубокъ, считавшійся первымъ гулякой и повѣсой на селѣ. „Мнѣ все кажется тошно, когда не удастся погулять порядкомъ и настроить штукъ. Все какъ будто недостаетъ чего-то, какъ будто потерялъ шапку, или люльку; словомъ, не козакъ, да и только“.

„Согласны ли вы побѣсить хорошенько сегодня голову?“

„Голову!“

„Да, голову. Чтò онъ въ самомъ дѣлѣ задумалъ? Онъ управляетъ у насъ, какъ будто гетьманъ какой. Мало того, что помыкаетъ, какъ своими холопьями, еще и поддѣзжаетъ къ дѣвчатамъ нашимъ. Вѣдь, я думаю, на всемъ селѣ нѣтъ смазливой дѣвки, за которою бы не волочился голова“.

„Это такъ, это такъ!“ закричали въ одинъ голосъ всѣ хлопцы.

„Чтò жъ мы, ребята, за холопья? Развѣ мы не такого роду, какъ и онъ? Мы, слава Богу, вольные козаки! Покажемъ ему, хлопцы, что мы вольные козаки!“

„Покажемъ!“ закричали парубки. „Да если голову, то и писаря не минутъ!“

„Не минемъ и писаря! А у меня, какъ нарочно, сложилась въ умѣ славная пѣсня про голову. Пойдемте, я васъ выучу“, продолжалъ Левко, ударивъ рукою по струнамъ бандуры. „Да слушайте: попереодѣвайтесь, кто во что ни попало!“

„Гулай, козацкая голова!“ говорилъ дюжій повѣса, ударивъ ногою въ ногу и хлопнувъ руками. „Что за роскошь! Что за воля! Какъ начнешь бѣситься, чудится, будто поминашь давнiе годы. Любо, вольно на сердцѣ, а душа какъ будто въ раю. Гей, хлопцы! Гей! гулай!...“

И толпа шумно понеслась по улицамъ. И благочестивыя старушки, пробужденныя крикомъ, подымали окошки и крестились сонными руками, говоря: „Ну, теперь гуляютъ парубки!“

IV.

Парубни гуляють.

Одна только хата свѣтилась еще въ концѣ улицы. Это жилище головы. Голова уже давно окончилъ свой ужинъ и, безъ сомнѣнiя, давно бы уже заснулъ; но у него былъ въ это время гость, винокуръ, присланный строить винокурню помѣщикомъ, имѣвшимъ небольшой участокъ земли между вольными козаками. Подъ самымъ покутомъ, на почетномъ мѣстѣ, сидѣлъ гость — низенькiй, толстенькiй человекъ, съ маленькими, вѣчно смѣющимися глазками, въ которыхъ, кажется, написано было то удовольствiе, съ какимъ курилъ онъ свою коротенькую люльку, поминутно сплевывая и придавливая пальцемъ выгѣзавшiй изъ нея превращенный въ золу табакъ. Облака дыма быстро разрастались надъ нимъ, одѣвая его въ сизый туманъ. Казалось, будто широкая труба съ какой-нибудь винокурни, наскуча сидѣть на своей крышѣ, задумала прогуляться и чинно усѣлась за столомъ въ хатѣ головы. Подъ носомъ торчали у него коротенькiе и густые усы; но они такъ неясно мелькали сквозь табачную атмосферу, что казались мышью, которую винокуръ поймалъ и держалъ во рту своемъ, подрывая монополию амбарнаго кота. Голова, какъ хозяинъ, сидѣлъ въ одной только рубашкѣ и полотняныхъ шароварахъ. Орлиный глазъ его, какъ вечерѣющее солнце, начиналъ мало-помалу жмуриться и меркнуть. На концѣ стола курилъ люльку одинъ изъ сельскихъ десятскихъ, составлявшихъ команду головы, сидѣвшiй, изъ почтенiя къ хозяину, въ свитеѣ.

„Скоро же вы думаете“, сказалъ голова, оборотившись къ винокуру и кладя крестъ на зѣвнувшiй ротъ свой, „поставить вашу винокурню?“

„Когда Богъ поможетъ, то этою осенью¹, можетъ, и закуримъ. На Покровъ, бьюсь объ закладъ, что панъ-голова будетъ писать ногами нѣмецкiе крендели по дорогѣ“².

Но произнесенiи эмихъ словъ, глазки винокура пропали; вмѣсто ихъ протянулись лучи до самыхъ ушей; все туловище стало колебаться отъ смѣха, и веселыя губы оставили на мгновенiе дымившуюся люльку.

„Дай Богъ!“ сказалъ голова, выразивъ на лицѣ своемъ что-то подобное улыбка. „Теперь еще, слава Богу, винницъ развелось

немного. А вотъ, въ старое время, когда провожалъ я царицу по переяславской дорогѣ, еще покойный Безбородько...“

„Ну, свать, вспомнилъ время! Тогда отъ Кременчуга до самахъ Роменъ не насчитывали и двухъ винницъ. А теперь... Слышалъ ли ты, что повыдумали проклятые нѣмцы? Скоро, говорятъ, будутъ курить не дровами, какъ всѣ честные христіане, а какимъ-то чертовскимъ паромъ...“ Говоря эти слова, винокуръ въ размысленіи глядѣлъ на столъ и на разставленные на немъ руки свои. „Какъ это паромъ — ей Богу, не знаю!“

„Что за дурни, прости Господи, эти нѣмцы!“ сказала голова. „Я бы батогомъ ихъ, собачьихъ дѣтей! Слыханное ли дѣло, чтобы паромъ можно было кипятить что? Поэтому, ложку борщу нельзя поднести ко рту, не изжаривши губъ, вмѣсто молодого поросенка...“

„И ты, свать“, отозвалась сидѣвшая на лежанкѣ, поджавши подъ себя ноги, свояченица: „будешь все это время жить у насъ безъ жены?“

„А для чего она мнѣ? Другое дѣло, если бы что доброе было“

„Будто не хороша?“ спросилъ голова, устремивъ на него глазъ свой.

„Куды тебѣ хороша! *Старá, якъ бисъ*. Харя вся въ морщинахъ, будто выпороженный кошелекъ“. И низенькое строеіе винокура распаталось снова отъ громкаго смѣха.

Въ это время что-то стало шарить за дверь; дверь растворилась — и мужикъ, не снимая шапки, ступилъ черезъ порогъ и сталъ, какъ будто въ раздумьи, посерединѣ хаты, разинувши ротъ и оглядывая потолокъ. Это былъ знакомецъ нашъ, Каленикъ.

„Вотъ, я и домой пришелъ!“ говорилъ онъ, садясь на лавку у дверей и не обращая никакого вниманія на присутствующихъ. „Вишь, какъ растанулъ вражій сынъ, сатана, дорогу! Идешь, идешь, и конца нѣтъ! Ноги какъ будто переломать кто-нибудь. Достань-ка тамъ, баба, тулупъ подостлатъ мнѣ. На печь къ тебѣ не приду, ей Богу, не приду: ноги болятъ! Достань его; тамъ онъ лежитъ, близъ покута; гляди только, не опрокинь горшка съ третьимъ табакомъ. Или нѣтъ, не тронь, не тронь! Ты, можетъ быть, пьяна сегодня... Пусть, уже я самъ достану.“

Каленикъ приподнялся немного, но неодолимая сила приковала его къ скамейкѣ.

„За это люблю“, сказалъ голова: „пришелъ въ чужую хату и распоряжается, какъ дома! Выпроводить его по добру по здоруву!...“

„Оставь, свать, отдохнуть!“ сказалъ винокуръ, удерживая его за руку. „Это полезный человѣкъ: побольше такого народу — и винница наша славно бы пошла...“

Однакожь не добродушіе вынудило эти слова. Винокуръ вѣрилъ всѣмъ примѣтамъ, и тотчасъ прогнать человѣка, уже сѣвшаго на лавку, значило у него накликать бѣду.

„Что-то, какъ старость придетъ!...“ ворчалъ Каленикъ, ложась на лавку. „Добро бы, еще сказать, пьянь, такъ нѣтъ же, не пьянь. Ей Богу, не пьянь! Чтò мнѣ лгать? Я готовъ объявить это хоть самому головѣ. Чтò мнѣ голова? Чтòбъ онъ издохнулъ, собачій сынъ! Я плюю на него! Чтòбъ его, одноглазаго чорта, возомъ переѣхало! Чтò онъ обливаетъ людей на морозѣ...“

„Эге! влѣзла свинья въ хату, да и лапы суетъ на столъ“, сказалъ голова, гнѣвно подымаясь съ своего мѣста; но въ это время увѣсистый камень, разбивши окно въ дребезги, полетѣлъ ему подъ ноги. Голова остановился. „Если бы я зналъ, говорилъ онъ, подымая камень: „какой это висѣльникъ швырнулъ камнемъ¹, я бы выучилъ его, какъ кидаться! Экія проказы!“ продолжалъ онъ, разсматривая его на рукѣ пылающимъ взглядомъ. „Чтòбы онъ подавился этимъ камнемъ!“...

„Стой, стой! Боже тебя сохрани, свать!“ подхватилъ, поблѣднѣвши, винокуръ. „Боже сохрани тебя, и на томъ, и на этомъ свѣтѣ, поблагословить кого-нибудь такую побранкою!“

„Вотъ нашелся заступникъ! Пусть онъ пропадетъ!...“

„И не думай, свать! Ты не знаешь, вѣрно, чтò случилось съ покойною тещею моею?“

„Съ тещей?“

„Да, съ тещей. Вечеромъ, немного, можетъ, раньше те-перешняго, усѣлись вечерять: покойная теща, покойный тестъ, да наймытъ, да наймычка, да дѣтей штукъ съ пятеро. Теща отсыпала немного галушекъ изъ большого казана въ миску, чтобы не такъ были горячи. Послѣ работъ всѣ проголодались и не хотѣли ждать, пока галушки остынутъ. Вздѣвши ихъ на длинныя деревянные спички², начали ѣсть. Вдругъ откуда ни возьмись человѣкъ: какого онъ роду, Богъ его знаетъ,

просить и его допустить къ трапезѣ. Какъ не накормить голоднаго человѣка? Дали и ему спичку. Только гость упрятываетъ галушки, какъ корова сѣно. Покамѣстъ тѣ съѣли по одной и опустили спички за другими, дно было гладко, какъ панскій помостъ. Теща насыпала еще; думаетъ, гость наѣлся и будетъ убирать меньше. Ничего не бывало: еще лучше сталь ушлетать! и другую выпорожнилъ! „А чтобъ ты подавился этими галушками!“ подумала голодная теща; какъ вдругъ тотъ поперхнулся и упалъ. Кинулись къ нему — и духъ вонь. Удавился.“

„Такъ ему, обжорѣ проклятому, и нужно!“ сказали голова.

„Такъ бы, да не такъ вышло: съ того времени покою не было тещѣ. Чуть только ночь, мертвецъ и тащится. Сядетъ верхомъ на трубу, проклятый, и галушку держитъ въ зубахъ. Днемъ все покойно, и слуху нѣтъ про него; а только станеть примеркать, погляди на крышу: уже и осѣдлалъ собачій сынъ трубу“.

„И галушка въ зубахъ?“ —

„И галушка въ зубахъ.“

„Чудно, свать! Я слыхалъ что-то похожее еще за покойницу...“

Тутъ голова остановился. Подъ окномъ послышался шумъ и топанье танцующихъ. Сперва тихо звукнули струны бандуры, къ нимъ присоединился голосъ. Струны загремѣли сильнѣе; нѣсколько голосовъ стали подтягивать — и пѣсня зашумѣла вихремъ:

Хлопцы, слышали ли вы?
 Наши ль Головы не крѣики!
 У криваго Головы
 Въ головѣ разсѣлисъ кленки.²
 Набей, бондарь, Голову
 Ты стальными обручами!
 Всирысни, бондарь, Голову
 Батогами, батогами!

Голова нашъ сѣдъ и кривъ;
 Старь, какъ бѣсъ; а что за дурень!
 Прихотливъ и похотливъ:
 Жмется къ дѣвкамъ... Дурень, дурень!
 И тебѣ лѣзть къ парубкамъ!
 Тебя бѣ нужно въ домовяну,
 По усамъ, да по шеямъ!
 За чурину! за чурину!

„Славная пѣсна, свать!“ сказалъ винокуръ, наклоня немного на бокъ голову и оборотившись къ головѣ, остолбѣнѣвшему отъ удивленія¹ при видѣ такой дерзости. „Славная! скверно только, что голову поминаютъ несовсѣмъ благопристойными словами...“

И онъ опять положилъ руки на столъ съ какимъ-то сладкимъ умиленіемъ въ глазахъ, приготовляясь слушать еще, потому что подъ окномъ гремѣлъ хохотъ и крики: „снова! снова!“ Однакожъ пронизательный глазъ² увидѣлъ бы тотчасъ, что не изумленіе удерживало долго голову на одномъ мѣстѣ. Такъ только старый, опытный котъ допускаетъ иногда неопытную мышъ³ бѣгать около своего хвоста, а между тѣмъ быстро созидаетъ планъ, какъ перерѣзать ей путь въ нору. Еще одинокій глазъ головы былъ устремленъ на окно, а уже рука, давши знакъ десятскому, держалась за деревянную ручку двери, и вдругъ на улицѣ поднялся крикъ... Винокуръ, къ числу многихъ достоинствъ своихъ присоединявшій и любопытство, быстро набивши табакомъ свою люльку, выбѣжалъ на улицу; но шалуны уже разбѣжались.

„Нѣтъ, ты не ускользнешь отъ меня!“ кричалъ голова, таща за руку человѣка въ вывороченномъ шерстью вверхъ овчинномъ черномъ тулупѣ. Винокуръ, пользуясь временемъ, подбѣжалъ, чтобы посмотреть въ лицо этому нарушителю спокойствія; но съ робостью попятился назадъ, увидѣвши длинную бороду и страшно размалеванную рожу. „Нѣтъ, ты не ускользнешь отъ меня!“ кричалъ голова, продолжая тащить прямо въ сѣни своего плѣнника⁴, который, не оказывая никакого сопротивленія, спокойно слѣдовалъ за нимъ, какъ будто въ свою хату. „Карпо; отвориай комору!“ сказалъ голова десятскому. „Мы его въ темную комору! А тамъ разбудимъ писаря, соберемъ десятскихъ, переловимъ всѣхъ этихъ буяновъ и сегодня же и резолюцію всѣмъ имъ учинимъ!“

Десятскій забренчалъ небольшимъ висячимъ замкомъ въ сѣняхъ и отворилъ комору. Въ это самое время плѣнникъ, пользуясь темнотою сѣней, вдругъ вырвался съ необыкновенною силою изъ рукъ его.

„Куда?“ закричалъ голова, ухвативъ его еще крѣпче за воротъ.

„Пусти, это я!“ слышался тоненькій голосъ.

„Не поможетъ! не поможетъ, братъ! Визжи себѣ хоть чортомъ, не только бабою, меня не проведешь!“ и толкнулъ его въ темную комору такъ, что бѣдный плѣнникъ застоналъ, упавши на полъ, а самъ, въ сопровожденіи десятскаго, отправился въ хату писаря, и вслѣдъ за ними, какъ пароходъ, задымился винокуръ.

Въ размышленіи шли они всѣ трое, потушивъ головы, и вдругъ, на поворотѣ въ темный переулокъ, разомъ вскрикнули отъ сильнаго удара по лбамъ, и такой же крикъ отгрянулъ въ отвѣтъ имъ. Голова, прищуривши глазъ свой, съ изумленіемъ увидѣлъ писаря съ двумя десятскими.

„А я къ тебѣ иду, панъ писарь!“

„А я къ твоей милости, панъ голова!“

„Чудеса завелися, панъ писарь!“

„Чудныя дѣла, панъ голова!“

„А что?“

„Хлопцы бѣсятся! безчинствуютъ цѣлыми кучами по улицамъ. Твою милость величаютъ такими словами... словомъ, сказать стыдно; пьяный москаль побойтся вымолвить¹ ихъ нечестивымъ своимъ языкомъ. (Все это худощавый писарь, въ пестрядевыхъ шароварахъ и жилетѣ цвѣту винныхъ дрожжей, сопровождалъ протягиваніемъ шеи впередъ и приведеніемъ ея тотъ же часъ въ прежнее состояніе.) „Вздремнулъ было немного, подняли съ постели проклятые сорванцы своими срамными пѣснями и стукомъ! Хотѣлъ было хорошенько приструнить ихъ, да покамѣстъ надѣлъ шаровары и жилетъ, всѣ разбѣжались, куда ни попало². Самый главный однакоже не увернулся отъ насъ. Распѣваетъ онъ теперь въ той хатѣ, гдѣ держать колодниковъ. Душа горѣла у меня узнать эту птицу, да рожа замазана сажеею, какъ у чорта, что³ куетъ гвозди для грѣшниковъ“.

„А какъ онъ одѣтъ, панъ писарь?“

„Въ черномъ вывороченномъ тулупѣ собачій сынъ, панъ голова!“

„А не лжешь ты, панъ писарь? Что, если этотъ сорванецъ сидитъ теперь у меня въ коморѣ?“

„Нѣтъ, панъ голова! Ты самъ, не во гнѣвъ будь сказано, погрѣшилъ немного“.

„Давайте огня! мы посмотримъ его!“

Огонь принесли, дверь отперли — и голова ахнулъ отъ удивленія, увидѣвъ предъ собою свояченицу.

„Скажи, пожалуйста“, съ такими словами она приступила къ нему: „ты не свихнулъ¹ еще съ послѣдняго ума? Была ли въ одноглазой башкѣ твоей хоть капля мозгу, когда толкнулъ ты меня въ темную комору? Счастье, что не ударила голову объ желѣзный крюкъ. Развѣ я не кричала тебѣ, что это я? Схватилъ, проклятый медвѣдь, своими желѣзными лапами, да и толкаетъ! Чтобъ тебя на томъ свѣтѣ толкали черти!“ ...

Послѣднія слова вынесла она за дверь, на улицу, куда отправилась для какихъ-нибудь своихъ причинъ.

„Да, я вижу, что это ты!“ сказалъ голова, очнувшись.

„Что скажешь, панъ писарь: не шельма этотъ проклятый сорви-голова?“

„Шельма, панъ голова!“

„Не пора ли намъ всѣхъ этихъ повѣс прошколить хорошенько и заставить ихъ заниматься дѣломъ?“

„Давно пора, давно пора, панъ голова!“

„Они, дурни, забрали себѣ... Кой чортъ? мнѣ почудился крикъ свояченицы на улицѣ... Они, дурни, забрали себѣ въ голову, что я имъ ровня². Они думаютъ, что я какой-нибудь ихъ братъ, простой козакъ!“ ... Небольшой, послѣдовавшій за симъ, кашель и устремленіе глаза исподлобья вокругъ давали догадываться, что голова готовился говорить о чемъ-то важномъ. „Въ тысячу... этихъ проклятыхъ названій годовъ, хоть убей, не выговорю; ну, — году, комиссару тогдашнему, Ледачому, данъ былъ приказъ выбрать изъ козаковъ такого, который бы былъ посмышленѣе всѣхъ. О! (это „о!“ голова произнесъ, поднявши палецъ вверхъ) посмышленѣе всѣхъ! въ проводники къ царцѣ. Я тогда“ ...

„Что и говорить! это всякій уже знаетъ, панъ голова! Всѣ знаютъ, какъ ты выслужилъ царскую ласку. Признайся теперь, моя правда вышла: хватилъ немного на душу грѣха, сказавши, что поймалъ этого сорванца въ вывороченномъ тулупѣ?“

„А что до этого дьявола въ вывороченномъ тулупѣ, то его, въ примѣръ другимъ, заковать въ кандалы и наказать примѣрно! Пусть знаютъ, что значитъ власть! Отъ кого же и голова поставленъ, какъ не отъ царя? Потомъ доберемся и до другихъ хлѣпцевъ: я не забылъ, какъ проклятые сорванцы

вогнали въ огородъ стадо свиней, переѣвшихъ мою капусту и огурцы; я не забылъ, какъ чортовы дѣти отказались вымолотить мое жито; я не забылъ... Но провались они, мнѣ нужно непременно узнать, какая это шельма въ вывороченномъ тулупѣ“.

„Это проворная, видно, птица!“ сказалъ винокуръ, котораго щеки, въ продолженіе всего этого разговора, непрерывно заряжались дымомъ, какъ осадная пушка, и губы, оставивъ коротенькую люльку, выбросили цѣлый облачный¹ фонтанъ. „Этакого человѣка не худо, на всякій случай, и при винницѣ держать; а еще лучше повѣсить на верхушкѣ² дуба, вмѣсто паникадила“.

Такая острога показала не совсѣмъ глупою винокуру, и онъ тотъ же часъ рѣшился, не дожидаясь одобренія другихъ, наградить себя хриплымъ смѣхомъ.

Въ это время стали приближаться они къ небольшой, почти повалившейся на землю, хатѣ. Любопытство нашихъ путниковъ увеличилось: всѣ столпились у дверей. Писарь вынулъ ключъ, загремѣлъ имъ около замка; но этотъ ключъ былъ отъ сундука его. Нетерпѣніе увеличилось. Засунувъ руку, началъ онъ шарить и сыпать побрякушки, не отыскивая его.

„Здѣсь!“³ сказалъ онъ наконецъ, нагнувшись и вынимая его изъ глубины обширнаго кармана, которымъ снабжены были его пестрадевые шаровары:

При этомъ словѣ, сердца нашихъ героевъ, казалось, слились въ одно, и это огромное сердце забилося такъ сильно, что неровный стукъ его не былъ заглушенъ даже бракнувшимъ замкомъ. Двери отворились, и... Голова стала блѣдень, какъ полотно; винокуръ почувствовалъ холодъ, и волосы его, казалось, хотѣли улѣтѣть на небо; ужасъ изобразился въ лицѣ писаря; десятскіе приросли къ землѣ и не въ состояніи были сомкнуть дружно разинутыхъ⁴ ртавъ своихъ: передъ ними стояла свояченица.

Изумленная не менѣе ихъ, она однакожь немного очнулась и сдѣлала движеніе, чтобы подойти къ нимъ.⁵

„Стой!“ закричалъ дикимъ голосомъ голова и захлопнулъ за нею дверь. „Господа, это сатана!“ продолжалъ онъ. „Огня! живѣ огня! Не пожалѣю казенной хаты! Зажигай ее, зажигай, чтобы и костей чортовыхъ не осталось на землѣ!“

Свояченица въ ужасѣ кричала, слыша за дверью грозное опредѣленіе.

„Что вы, братцы!“ говорилъ винокуръ. „Слава Богу, волосы у васъ чуть не въ снѣгу, а до сихъ поръ ума не нажили: отъ простаго огня вѣдьма не загорится! Только огонь изъ люльки можетъ зажечь оборотня. Пойдите, я сейчасъ все улажу!“

Сказавши это, высыпалъ онъ горячую золу изъ трубки въ пукъ соломы и началъ раздувать ее. Отчаяніе придало въ это время духу бѣдной свояченицѣ: громко стала она умолять и разувѣрять ихъ.

„Пойдите, братцы! Зачѣмъ напрасно грѣха набираться? Можетъ быть, это и не сатана!“ сказалъ писарь. „Если оно, то есть, то самое, которое сидитъ тамъ, согласится положить на себя крестное знаменіе, то это вѣрный знакъ, что не чортъ.“

Предложеніе одобрено.

„Чуръ меня, сатана!“ продолжалъ писарь, приложась губами къ скважинкѣ¹ въ дверяхъ. „Если не пошевелишься съ мѣста, мы отворимъ дверь“.

Дверь отворили².

„Перекрестись!“ сказалъ голова, оглядываясь назадъ, какъ будто выбирая³ безопасное мѣсто, въ случаѣ ретирады.

Свояченица перекрестилась.

„Кой чортъ! точно, это свояченица!“

„Какая нечистая сила затащила тебя, кума, въ эту конуру?“

И свояченица, всхлипывая, рассказала, какъ схватили ее хлопцы въ охапку на улицѣ и, несмотря на сопротивленіе, опустили въ широкое окно хаты и заколотили ставнемъ. Писарь взглянулъ: петли⁴ у широкаго ставня оторваны, и онъ приколоченъ только сверху деревяннымъ брусомъ.

„Добро ты, одноглазый сатана!“ вскричала она, приступивъ къ головѣ, который попятился назадъ⁵ и все еще продолжалъ ее мѣрять своимъ глазомъ. „Я знаю твой умыселъ: ты хотѣлъ, ты радъ былъ случаю съѣсть меня, чтобы свободнѣе было тебѣ волочиться за дѣвчатами, чтобы некому было видѣть, какъ дурачится сѣдой дѣдъ. Ты думаешь, я не знаю, о чемъ говорилъ ты сего вечера съ Ганною? О, я знаю все. Меня трудно провестъ и не твоей безтолковой башкѣ. Я долго терплю, но послѣ не погнѣвайся...“

Сказавши это, она показала кулакъ и быстро ушла, оставивъ въ остоленѣннй голову.

„Нѣтъ, тутъ не на шутку сатана вмѣшался“, думаль онъ, сильно почесывая свою макушку.¹

„Поймали!“ вскрикнули вошедшіе въ это время десятскіе.

„Кого поймали?“ спросиль голова.

„Дьявола въ вывороченномъ тулупѣ.“

„подавайте его!“ закричалъ голова, схвативъ за руки прлведеннаго плѣнника. „Вы съ ума сошли: да это пьяный Каленикъ!“

„Что за пропасть! въ рукахъ нашихъ былъ, панъ голова!“ отвѣчали десятскіе. „Въ переулкѣ окружили проклятые хлопцы, стали танцовать, дергать, высовывать языки, вырывать изъ рукъ... Чортъ съ вами!... И какъ мы попали на эту ворону, вмѣсто его, Богъ одинъ знаетъ!“²

„Властью моею и всѣхъ мірянъ дается повелѣніе“, сказалъ голова: „изловить сей же мигъ сего разбойника, а онымъ образомъ и всѣхъ, кого найдете на улицѣ, и привести на расправу ко мнѣ!...“

„Помилуй, панъ голова!“ закричали нѣкоторые, кланаясь въ ноги. „Увидѣлъ бы ты, какія хари: убей Богъ насъ, и родились, и крестились — не видали такихъ мерзкихъ рожъ. Долго ли до грѣха, панъ голова? Перепугають добраго человѣка такъ, что послѣ ни одна баба не возьмется вылить переполоху“³.

„Дамъ я вамъ переполоху! Что вы? не хотите слушаться? Вы, вѣрно, держите ихъ руку? Вы бунтовщики! Чтò это?... Да чтò это? ... Вы заводите разбой!... Вы... Вы... Я донесу комиссару! Сей же часъ, слышите, сей же часъ! бѣгите, летите птицею! Чтобъ я васъ... Чтобъ вы мнѣ...“

Всѣ разбѣжались.

V.

Утопленница.

Не беспокоясь ни о чемъ, не заботясь о разсланныхъ погоняхъ, виновникъ всей этой кутерьмы медленно подходилъ къ старому дому и пруду. Не нужно, думаю, сказывать, что это былъ Левко. Черный тулупъ его былъ растегнутъ; шапку держалъ онъ въ рукѣ; потъ валилъ¹ съ него градомъ. Величественно и мрачно чернѣлъ кленовый лѣсъ, обсыпаясь только на оконечности, стоявшей лицомъ къ мѣсяцу, тонкою серебряною пылью². Неподвижный прудъ подулъ свѣжестью на усталого пѣшехода и заставилъ его отдохнуть на берегу. Все было тихо; въ глубокой чащѣ лѣса слышались только раскаты соловья. Непреодолимый сонъ быстро сталъ смыкать ему зѣницы; усталые члены готовы были забыться и онѣмѣть; голова клонилась... „Нѣтъ, этакъ я засну еще здѣсь!“ говорилъ онъ, подымаясь на ноги и протирая глаза. Оглянулся: ночь казалась передъ нимъ еще блистательнѣе. Какое-то странное, упоительное сіяніе примѣшалось къ блеску мѣсяца. Никогда еще не случалось ему видѣть подобнаго. Серебряный туманъ палъ на окрестность. Запахъ отъ цвѣтущихъ яблонь и ночныхъ цвѣтовъ лился по всей землѣ. Съ изумленіемъ глядѣлъ онъ въ недвижныя³ воды пруда: старинный господскій домъ, опрокинувшись внизъ, виденъ былъ въ немъ чистъ и въ какомъ-то ясномъ величіи. Въмѣсто мрачныхъ ставней глядѣли веселыя стеклянныя окна и двери. Сквозь чистыя стекла мелькала позолота. И вотъ почудилось, будто окно отворилось. Притаивши духъ, не дрогнувъ и не спуская глазъ съ пруда, онъ, казалось, переселился въ глубину его и видитъ: прежде выставился въ окно бѣлый локоть⁴, потомъ выглянула привѣтливая головка съ блестящими очами, тихо свѣтившими⁵ сквозь темно-русые волны волосъ, и оперлась на локоть. И видитъ: она качаетъ слегка головою, она машетъ, она усмѣхается... Сердце его вдругъ⁶ забилося... Вода задрожала, и окно закрылось снова. Тихо отошелъ онъ отъ пруда и взглянулъ на домъ: мрачныя ставни были открыты; стекла сіяли при мѣсяцѣ. „Вотъ какъ мало нужно полагаться на людскіе толки“, подумалъ онъ про себя⁷. „Домъ новенькій; краски живы, какъ будто сегодня онъ выкрашенъ. Тутъ живетъ кто-нибудь“. И молча подо-

шелъ онъ ближе; но въ домѣ все было тихо¹. Сильно и звучно перекликались блистательныя пѣсни соловьевъ, и когда онѣ, казалось, умирали въ томленіи и нѣгѣ, слышался шелестъ и трещаніе кузнечиковъ или гудѣніе болотной птицы, ударявшей скользкимъ носомъ своимъ въ широкое водное зеркало. Какую-то сладкую тишину и раздолье² ощутилъ Левко въ своемъ сердцѣ. Настроивъ бандуру, заигралъ онъ и запѣлъ:

Ой, ты, мисяцъ, мій мисячевку!

И ты, зоре ясна!

Ой, свитьть тамъ по подворью,

Де дивчина красна.

Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которой отраженіе видѣлъ онъ въ прудѣ, выплянула, внимательно прислушиваясь къ пѣснѣ. Длинныя рѣсницы ея были полуопущены на глаза. Вся она была блѣдна, какъ полотно, какъ блескъ мѣсяца; но какъ чудна, какъ прекрасна! Она засмѣялась!... Левко вздрогнулъ. „Спой мнѣ, молодой козакъ, какую-нибудь пѣсню!“ тихо молвила она, наклонивъ свою голову на бокъ и опустивъ совсѣмъ густыя рѣсницы.

„Какую же тебѣ пѣсню спѣть, моя ясная панночка?“

Слезы тихо покатались по блѣдному лицу ея. „Парубокъ“, говорила она, и что-то неизъяснимо-трогательное слышалось въ ея рѣчи: „парубокъ, найди мнѣ мою мачиху! Я ничего не пожалѣю для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богато и роскошно награжу! У меня есть зарукавья, шитыя шелкомъ, кораллы, ожерелья. Я подарю тебѣ поясъ, унизанный жемчужомъ. У меня золото есть... Парубокъ, найди мнѣ мою мачиху! Она страшная вѣдьма: мнѣ не было отъ нея покою на бѣломъ свѣтѣ. Она мучила меня, заставляла работать, какъ простую мужичку. Посмотри на лицо: она вывела румянецъ своими нечистыми чарами со щекъ моихъ. Погляди на бѣлую шею мою: онѣ не смываются! онѣ не смываются! онѣ ни за что не смоются, эти синія пятна отъ желѣзныхъ когтей ея! Погляди на бѣлыя ноги мои: онѣ много ходили, не по коврамъ только, — по песку горячему, по землѣ сырой, по колючему терновнику онѣ ходили! А на очи мои, посмотри на очи: онѣ не глядятъ отъ слезъ!... Найди ее, парубокъ, найди мнѣ мою мачиху!“...

Голосъ ея, который вдругъ было возвысился, остановился. Ручьи слезъ покатались по блѣдному лицу. Какое-то тяжелое чувство, полное жалости и грусти¹, сперлось въ груди парубка.

„Я готовъ на все для тебя, моя панночка!“ сказали онъ въ сердечномъ волненіи: „но какъ мнѣ, гдѣ ее найти?“

„Посмотри, посмотри!“ быстро говорила она: „она здѣсь! она на берегу играетъ въ хороводѣ между монми дѣвушками и грѣтся на мѣсяцѣ. Но она лукава и хитра. Она приняла на себя видъ утопленницы; но я знаю, но я слышу, что она здѣсь. Мнѣ тяжело, мнѣ душно отъ нея. Я не могу чрезъ нее плавать легко и вольно, какъ рыба. Я тону и падаю на дно, какъ ключъ. Отыщи ее, парубокъ!“

Левко посмотрѣлъ на берегъ: въ тонкомъ серебряномъ туманѣ мелькали дѣвушки, легкія, какъ будто тѣни², въ бѣлыхъ, какъ убранный ландышами лугъ, рубашкахъ; золотыя ожерелья, монисты, дукаты блистали на ихъ шеяхъ; но онѣ были блѣдны: тѣло ихъ было какъ будто сваяно изъ прозрачныхъ облаковъ, и будто свѣтилось насквозь при серебряномъ мѣсяцѣ. Хороводъ, играя, придвинулся къ нему ближе. Послышались голоса.

„Давайте въ ворона, давайте играть въ ворона!“ зашумѣли всѣ, будто прирѣчный тростникъ, тронутый, въ тихій часъ сумерекъ, воздушными устами вѣтра.

„Кому же быть ворономъ?“ —

Кинули жеребей¹ — и одна дѣвушка вышла изъ толпы. Левко принялся разглядывать ее. Лицо, платье, все на ней такое же, какъ и на другихъ. Замѣтно только было, что она неохотно играла эту роль. Топка вытянулась вереницею и быстро перебѣгала отъ нападеній хищнаго врага.

„Нѣтъ, я не хочу быть ворономъ!“ сказала дѣвушка, изнемогая отъ усталости: „мнѣ жалко отнимать цыплятъ у бѣдной матери!“

„Ты не вѣдьма!“ подумалъ Левко.

„Кто же будетъ ворономъ?“ —

Дѣвушки снова собирались кинуть жеребей².

„Я буду ворономъ!“ вызвалась одна изъ середины.

Левко сталъ пристально вглядываться въ лицо ей. Скоро и смѣло гналась она за вереницею и кидалась во всѣ стороны, чтобы изловить свою жертву. Тутъ Левко сталъ замѣчать, что тѣло ея не такъ свѣтилось, какъ у прочихъ: внутри его видѣ-

лось что-то черное. Вдруг раздался крикъ: воронъ бросился на одну изъ вереницы, схватилъ ее, и Левку почудилось, будто у ней выпустились когти и на лицѣ ея¹ сверкнула злобная радость.

„Вѣдьма!“ сказалъ онъ, вдругъ указавъ на нее пальцемъ и оборотившись къ дому.

Панночка засмѣялась, и дѣвушки съ крикомъ увели за собою представлявшую ворона.

„Чѣмъ наградить тебя, парубокъ? Я знаю, тебѣ не золото нужно: ты любишь Ганну; но суровый отецъ мѣшаетъ тебѣ жениться на ней. Онъ теперь не помѣшаетъ; возьми отдай ему эту записку...“

Бѣлая ручка протянулась, лицо ея какъ-то чудно засвѣтилось и засіяло... Съ непостижимымъ трепетомъ и томительнымъ біеніемъ сердца схватилъ онъ записку и... проснулся.

VI.

Пробужденіе.

„Неужели это я спалъ?“ сказалъ про себя Левко, вставая съ небольшого пригорка. „Такъ живо, какъ будто наяву!... Чудно, чудно!“ повторилъ онъ, оглядываясь. Мѣсяцъ, оставившійся надъ его головою, показывалъ полночь; вездѣ — тишина; отъ пруда вѣялъ холодъ; надъ нимъ печально стоялъ ветхій домъ съ закрытыми ставнями; мохъ и дикій бурьянъ показывали, что давно изъ него удалились люди. Тутъ онъ разогнулъ свою руку, которая судорожно была сжата во все время сна, и вскрикнулъ отъ изумленія, почувствовавши въ ней записку. „Эхъ, если бы я зналъ грамотѣ!“ подумалъ онъ, оборачивая ее передъ собою на всѣ стороны. Въ это мгновеніе послышался позади его шумъ.

„Не бойтесь, прямо хватайте его! Чего струсилъ? насъ десятокъ. Я держу закладъ, что это человѣкъ, а не чортъ!..“ Такъ кричалъ голова своимъ спутникамъ, и Левко почувствовалъ себя² схваченнымъ нѣсколькими руками, изъ которыхъ нныя дрожали отъ страха. „Скидавай-ка, пріятель, свою страшную личину! Полно тебѣ дурачить людей!“ проговорилъ голова, ухвативъ его за воротъ, и оторопѣлъ, выпучивъ на него глазъ свой. „Левко! сынъ!“ вскричалъ онъ, отступая отъ удивленія и опуская руки. „Это ты, собачій сынъ! Вишь, бѣсов-

ское рожденіе! Я думаю, какая это шельма, какой это вывороченный дьяволь строить штуки! А это, выходитъ, все ты — неваренный кисель твоему батькѣ въ горло! — изволишь заводить по улицѣ разбой, сочиняешь пѣсни!.. Эге, ге, ге, Левко! А что это? Видно, чешется у тебя спина! Вязать его!“

„Постой, батько! Велѣно тебѣ отдать эту записочку“, проговорилъ Левко.

„Не до записокъ теперь, голубчикъ! Вязать его!“

„Постой, панъ голова!“ сказала писарь, развернувъ записку: „комиссарова рука!“

„Комиссара?“ —

„Комиссара?“ повторили машинально десятскіе.

„Комиссара? чудно! еще непонятнѣе!“ подумалъ про себя Левко.

„Читай, читай!“ сказалъ голова: „что тамъ пишетъ комиссаръ?“

„Послушаемъ, что пишетъ комиссаръ!“ произнесъ винокуръ, держа въ зубахъ люльку и высѣкая² огонь.

Писарь откашлялся и началъ читать:

„Приказъ головѣ Евтуху Макогоненку. Дошло до насъ, что ты, старый дуракъ, вмѣсто того, чтобы собрать прежнія недоимки и вести на селѣ порядокъ, одурѣлъ и строишь пакости...“

„Вотъ, ей Богу“, прервалъ голова: „ничего не слышу!“

Писарь началъ снова:

„Приказъ головѣ Евтуху Макогоненку. Дошло до насъ, что ты, старый ду...“

„Стой, стой! не нужно!“ закричалъ голова: „хоть и не слышалъ, однакожь знаю, что главнаго тутъ дѣла еще нѣтъ. Читай далѣе!“

„А вслѣдствіе того, приказываю тебѣ сей же часъ женить твоего сына Левка Макогоненка на козачкѣ изъ вашего же села Ганинѣ Петрыченковой, а также починить мосты по столбовой дорогѣ и не давать обывательскихъ лошадей безъ моего вѣдома судовымъ паничамъ, хоть бы они ѣхали прямо изъ казенной палаты. Если же, по приѣздѣ моемъ, найду оное приказаніе мое не приведеннымъ въ исполненіе, то тебя одного потребую къ отвѣту. Комиссаръ, отставной поручикъ Козьма Деркачъ-Дришпановскій“.

„Вотъ что!“ сказалъ голова, разинувши ротъ. „Слышите ли вы, слышите ли: за все съ головы спросятъ, и потому слушаться! безпрекословно слушаться! не то, прошу извинить... А тебя“, продолжалъ онъ, оборотясь къ Левку, „вслѣдствіе приказанія комиссара, — хотя чудно мнѣ, какъ это дошло до него, — я женю; только напередъ попробуешь ты нагайки! Знаешь ту, что виситъ у меня на стѣнѣхъ возлѣ покута? Я поновлю ее завтра... Гдѣ ты взялъ эту записку?“

Левко, несмотря на изумленіе, происшедшее отъ такого неожиданнаго¹ оборота его дѣла, имѣлъ благоразуміе приготовить въ умѣ своемъ другой отвѣтъ и утаить настоящую истину, какимъ образомъ досталась записка.

„Я отлучался“, сказалъ онъ, „вчера ввечеру еще въ городъ и встрѣтилъ комиссара, вылѣзавшаго изъ брички. Узнавши, что я изъ нашего села, далъ онъ мнѣ эту записку и велѣлъ на словахъ тебѣ сказать, батько, что заѣдетъ на возвратномъ пути къ намъ обѣдать“.

„Онъ это говорилъ?“

„Говорилъ“.

„Слышите ли?“ сказалъ голова съ важною осанкою, оборотившись къ своимъ спутникамъ: „комиссаръ самъ своею особою пріѣдетъ къ нашему брату, т. е. ко мнѣ на обѣдъ. О!..“ Тутъ голова поднялъ палецъ вверхъ и голову привелъ въ такое положеніе, какъ будто бы она прислушивалась къ чему-нибудь. „Комиссаръ, слышите ли, комиссаръ пріѣдетъ ко мнѣ обѣдать! Какъ думаешь, панъ писарь, и ты, свать, это не совсѣмъ пустая честь! Не правда ли?“

„Еще, сколько могу припомнить“, подхватилъ писарь: „ни одинъ голова не угощалъ комиссара обѣдомъ“.

„Не всякій голова головѣ чета!“ произнесъ съ самодовольнымъ видомъ голова. Ротъ его pokrивился и что-то въ родѣ тяжелаго, хриплаго смѣха, похожаго болѣе на гудѣніе отдавленнаго грома, зазвучало въ его устахъ. „Какъ думаешь, панъ писарь, нужно бы для именитаго гостя дать приказъ, чтобы съ каждой хаты принесли хоть по цыпленку, ну, полотна, еще кое-чего... А?...“

„Нужно бы, нужно, панъ голова!“

„А когда же свадьбу, батько?“ спросилъ Левко.

„Свадьбу? Даль бы я тебѣ свадьбу!.. Ну, да для имени-

таго гостя... завтра васъ попъ и обвиняетъ. Чортъ съ вами! Пусть комиссаръ увидитъ, что значить исправность! Ну, ребята, теперъ спать! Ступайте по домамъ!.. Сегодняшній случай припомнилъ мнѣ то время, когда я...“ При этихъ¹ словахъ голова пустилъ обыкновенный свой важный и значительный взглядъ исподлобья. —

„Ну, теперъ пойдетъ голова рассказывать, какъ везъ царицу!“ сказалъ Левко и быстрыми шагами и радостно спѣшилъ къ знакомой хатѣ, окруженной низенькими вишнями. „Дай тебѣ Богъ небесное царство, добрая и прекрасная панночка!“ думалъ онъ про-себя. „Пусть тебѣ на томъ свѣтѣ вѣчно усмѣхается между ангелами святыми! Никому не расскажу про диво, случившееся въ эту ночь: тебѣ одной только, Галю, передамъ его: ты одна только повѣришь мнѣ и вмѣстѣ со мною помолишься за упокой души несчастной утопленницы!“ Тутъ онъ приблизился къ хатѣ: окно было отперто; лучи мѣсяца проходили чрезъ него и падали на спящую передъ нимъ Ганну; голова ея оперлась на руку; щеки тихо горѣли; губы шевелились, неясно произнося его имя. „Спи, моя красавица! Приснись тебѣ все, что есть лучшаго на свѣтѣ; но и то не будетъ лучше нашего пробужденія!“ Перекрестивъ ее, закрылъ онъ окошко и тихонько удалился. И чрезъ нѣсколько минутъ, все уже уснуло на селѣ; одинъ только мѣсяцъ такъ же блистательно и чудно плылъ въ необъятныхъ пустыняхъ роскошнаго украинскаго неба. Такъ же торжественно дышало въ вышинѣ, и ночь, божественная ночь, величественно догорада. Такъ же прекрасна была земля, въ дивномъ серебряномъ блескѣ; но уже никто не упивался ими: все погрузилось въ сонъ. Изрѣдка только перерывалось мгновенно молчаніе лаемъ собакъ, и долго еще пьяный Каленикъ шатался по уснувшимъ улицамъ, отыскивая свою хату.

ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА.

БЫЛЬ,

*рассказанная дячком ***ской церкви.*

Такъ вы хотите, чтобы я вамъ еще рассказалъ про дѣда? — Пожалуй, почему же не потѣшить прибауткой? Эхъ, старина, старина! Что за радость, что за разгулье падеть на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно, и года ему и мѣсяца нѣтъ, дѣялось на свѣтѣ! А какъ еще впутается какой-нибудь родичъ, дѣдъ или прадѣдъ, — ну, тогда и рукой махни: чтобъ мнѣ поперхнулось за акаѳистомъ великомученицѣ Варварѣ, если не чудится, что вотъ-вотъ самъ все это дѣлаешь, какъ будто залѣзъ въ прадѣдовскую душу, или прадѣдовская душа шалить въ тебѣ... Нѣтъ, мнѣ пуще всего наши дѣвчата и молодежи; покажись только на глаза имъ: „Ѳома Григорьевичъ! Ѳома Григорьевичъ! *а нуте, яку-нибудь страхо-винну казочку! а нуте, нуте!...*“ тара-та-та, та-та-та, и пойдутъ, и пойдутъ... Рассказать-то, конечно, не жаль, да загляните-ка, что дѣлается съ ними въ постелѣ. Вѣдь я знаю, что каждая дрожить подъ одѣяломъ, какъ будто бьетъ ее лихорадка, и рада бы съ головою влѣзть въ тулупъ свой. Царапни горшкомъ крыса, сама какъ-нибудь задѣнь ногою кочергу, — и Боже упаси! и душа въ пяткахъ. А на другой день ничего не бывало; навязывается сызнова; разскажи ей страшную сказку да и только. Что жъ бы такое рассказать

вамъ? Вдругъ не взбрeдетъ на умъ... Да, расскажу я вамъ, какъ вѣдьмы играли съ покойнымъ дѣдомъ *въ дурня**. Только заранѣ прошу васъ, господа, не сбивайте съ толку, а то такой кисель выйдетъ, что совѣстно будетъ и въ ротъ взять. Покойный дѣдъ, надобно вамъ сказать, былъ не изъ простыхъ въ свое время козаковъ. Зналъ и твердо-онъ-то и словотитлу поставить. Въ праздникъ отхватаетъ апостола, бывало, такъ, что теперъ и поповичъ иной спрячется. Ну, сами знаете, что въ тогдашнія времена, если собрать со всего Батурина грамотеевъ, то нечего и шапки подставлять, — въ одну горсть можно было всѣхъ уложить. Стало быть, и дивиться нечего, когда всякій встрѣчный кланялся дѣду мало не въ поясъ.

Одинъ разъ, задумалось вельможному гетьману послать за чѣмъ-то къ царицѣ грамоту. Тогдашній полковой писарь, — вотъ, нелегкая его возьми, и прозвища не вспомню... Вискрякъ не Вискрякъ, Мотузочка не Мотузочка, Голопуцекъ не Голопуцекъ... знаю только, что какъ-то чудно начинается мудреное прозвище, — позвалъ къ себѣ дѣда и сказалъ ему, что, вотъ, наряжаетъ его самъ гетьманъ гонцомъ съ грамотою къ царицѣ. Дѣдъ не любилъ долго собираться: грамоту зашилъ въ шапку, вывелъ коня, чмокнулъ жену и двухъ своихъ, какъ самъ онъ называлъ, поросенковъ, изъ которыхъ одинъ былъ родной отецъ хоть бы и нашего брата, и поднял такую за собою пыль, какъ будто бы пятнадцать хлопцевъ задумали посерединѣ улицы играть въ кашу. На другой день, еще пѣтухъ не кричалъ въ четвертый разъ, дѣдъ уже былъ въ Конотопѣ. На ту пору была тамъ ярмарка: народу высыпало по улицамъ столько, что въ глазахъ рябило.¹ Но такъ какъ было рано, то все дремало, протянувшись на землѣ. Возлѣ коровы лежалъ гуляка парубокъ, съ покраснѣвшимъ, какъ снигирь, носомъ; подалѣ храпѣла, сидя, перекушка съ кремнями, синькою, дробью и бубликами; подѣ телѣгою лежалъ цыганъ; на возу съ рыбой — чумаки; на самой дорогѣ раскинулъ ноги бородачъ москаль съ поясами и рукавицами... ну, всякаго сброду, какъ водится по ярмаркамъ. Дѣдъ приостановился, чтобы разглядѣть хорошенько. Между тѣмъ въ яткахъ начало мало по малу шевелиться: жидовки стали побря-

* Т. е. въ дурачки.

кивать флажками; дымъ покатило¹ то тамъ, то сямъ кольцами, и запахъ горячихъ сластенъ² понесся по всему табору. Дѣду вспало на умъ, что у него нѣтъ ни огнива, ни табаку наготовѣ: вотъ и пошелъ таскаться по ярмаркѣ. Не успѣлъ пройти двадцати шаговъ — на встрѣчу запорожець. Гуляка, и по лицу видно! Красные, какъ жаръ, шаровары, синій жупанъ, яркій цвѣтной поясъ, при боку сабля и люлька съ мѣдною цѣпочкою по самыя пяты — запорожець да и только! Эхъ, народецъ! станеть, вытянется, поведеть рукою молодецкіе усы, брякнетъ подковами — и пустится! Да вѣдь какъ пустится: ноги отплясываютъ словно веретено въ бабьихъ рукахъ; что вихорь, дернетъ рукою по всѣмъ струнамъ бандуры, и тутъ же, подпершись ею въ боки³, несется въ присадку; залететь пѣсней — душа гуляетъ!... Нѣтъ, прошло времечко: не увидать больше запорожцевъ! Да: такъ встрѣтились. Слово за слово — долго ли до знакомства? Пошли калякать, калякать, такъ что дѣдъ совсѣмъ уже было позабылъ про путь свой. Попойка завелась, какъ на свадьбѣ передъ постомъ великимъ. Только, видно, наконецъ прискучило бить горшки и швырять въ народъ деньгами, да и ярмаркѣ не вѣкъ же стоять!⁴ Вотъ сговорились новые пріатели, чтобъ не разлучаться и путь держать вмѣстѣ. Было давно подъ вечеръ, когда выѣхали они въ поле. Солнце убралось на отдыхъ; гдѣ-гдѣ горѣли вмѣсто него красноватыя полосы; по полю пестрѣли нивы, что праздничныя плахты чернобровыхъ молодицъ. Нашего запорожца раздобаръ взялъ страшный. Дѣдъ и еще другой, приплетшійся къ нимъ гуляка, подумали уже, не бѣсъ ли засѣлъ въ него. Откуда что набиралось. Исторіи и присказки такія диковинныя, что дѣдъ нѣсколько разъ хватался за бока и чуть не насадилъ своего живота со смѣху. Но въ полѣ становилось чѣмъ далѣе, тѣмъ сумрачнѣе, а вмѣстѣ съ тѣмъ становилась несвязнѣе и молодецкая молвь. Наконецъ рассказчикъ нашъ притихъ совсѣмъ и вздрагивалъ при малѣйшимъ шорохѣ.

„Ге, ге, землякъ! да ты не на шутку принялся считать совѣ. Ужъ думаешь, какъ бы домой, да на печь!“

„Передъ вами нечего таяться“, сказалъ онъ, вдругъ оборотившись и неподвижно уставивъ на нихъ глаза свои. „Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому?“

„Экая невидальщина! Кто на вѣку своемъ не знался съ нечистымъ? Тутъ-то и нужно гулять, какъ говорится, на прахъ“.

„Эхъ, хлопцы! гуляль бы, да въ ночь эру срокъ молодцу! Эй братцы!“ сказалъ онъ, хлопнувъ по рукамъ ихъ: „эй, не выдайте! не поспите одной ночи! Вѣкъ не забуду вашей дружбы!“

Почему жъ не пособить человѣку въ такомъ горѣ? Дѣдъ объявилъ напрямикъ, что скорѣе дастъ онъ отрѣзать оселедецъ съ собственной головы, чѣмъ допустить чорта понюхать собачьей мордой своей христіанской души.

Козаки наши ѣхали бы, можетъ, и далѣе, если бы не обволкло всего неба ночью, словно чернымъ рядномъ, и въ полѣ не стало такъ же темно, какъ подъ овчиннымъ тулупомъ. Издали только мерещился огонекъ, и кони, чую близкое стойло, торопились, насторожа уши и вковавши очи во мракъ. Огонекъ, казалось, несся на встрѣчу, и передъ козаками показался шинокъ, повалившійся на одну сторону, словно баба на пути съ веселыхъ крестинъ. Въ тѣ поры шинки были не то, что теперь. Доброму человѣку не только развернуться, приударить горлицы или гопака, — прилечь даже негдѣ было, когда въ голову заберется хмель, и ноги начнутъ писать покой-онъ-по. Дворъ былъ уставленъ весь чумацкими возами; подъ повѣтками, въ ясляхъ, въ сѣняхъ, иной свернувшись, другой развернувшись, храпѣли, какъ коты. Шинкаръ одинъ, передъ каганцемъ, нарѣзывалъ рубцами на палочкѣ, сколько кварть и осьмухъ высушили чумацкія головы. Дѣдъ, спросивши треть ведра на троиухъ, отправился въ сарай. Всѣ трое легли рядомъ. Только не успѣлъ онъ повернуться, какъ видить, что его земляки спать уже мертвецкимъ сномъ. Разбудивши приставшаго къ нимъ третьяго козака, дѣдъ напомнилъ ему про данное товарищу обѣщаніе. Тотъ привсталъ, протеръ глаза и снова уснулъ. Нечего дѣлать, пришлось одному караулить. Чтобы чѣмъ-нибудь разогнать сонъ, осмотрѣлъ онъ всѣ возы¹, провѣдалъ коней, закурилъ люльку, пришелъ назадъ и сѣлъ опять около² своихъ. Все было тихо, такъ что, кажись, ни одна муха не пролетѣла. Вотъ и чудится ему, что изъ-за сосѣдняго воза что-то сѣрое выказываетъ роги... Тутъ глаза его начали смыкаться, такъ что принужденъ онъ былъ ежеминутно протирать ихъ кулакомъ и промывать оставшеюся

водкой. Но какъ скоро немного прояснились они, все пропало. Наконецъ, мало погода, опять показывается изъ-подъ воза чудище!... Дѣдъ вытаращилъ глаза, сколько могъ; но проклятая дремота все туманила передъ нимъ; руки его окостенѣли, голова скатилась, и крѣпкій сонъ схватилъ его такъ, что онъ повалился, словно убитый. Долго спалъ дѣдъ, и, какъ припекло порядочно уже солнце его выбритую макушку, тогда только схватился онъ на ноги. Потянувшись раза два и почесавъ спину, замѣтилъ онъ, что возовъ стояло уже не такъ много, какъ съ вечера. Чумаки, видно, потянулись еще до свѣта. Къ своимъ — козакъ спитъ, а запорожца нѣтъ. Выспрашивать — никто знать не знаетъ; одна только верхняя свитка лежала на томъ мѣстѣ. Страхъ и раздумье взяло дѣда. Пошелъ посмотрѣть коней — ни своего, ни запорожскаго! Что бы это значило? Положимъ, запорожца взяла нечистая сила, кто же коней? Сообразя все, дѣдъ заключилъ, что, вѣрно, чортъ приходилъ² пѣшкомъ, а какъ до пекла не близко, то и стянулъ его коня. Больно ему было крѣпко, что не сдержалъ козацкаго слова. „Ну“, думаетъ, „нечего дѣлать, пойду пѣшкомъ: авось попадется на дорогѣ какой-нибудь барышникъ, ѣдущій съ ярмарки, какъ-нибудь уже куплю коня“. Только хватился за шапку — и шапки нѣтъ. Всплеснулъ руками покойный дѣдъ, какъ вспомнилъ, что вчера еще помѣнялись они на время съ запорожцемъ. Кому больше утащить, какъ не нечистому! Вотъ тебѣ и гетьманскій гостинецъ! Вотъ тебѣ и привезъ грамоту къ царикѣ! Тутъ дѣдъ принялся угощать чорта такими прозвищами, что, думаю, ему не одинъ разъ чихалось тогда въ пеклѣ. Но бранью мало пособишь; а затылка сколько ни чесалъ дѣдъ, никакъ не могъ ничего придумать. Что дѣлать? Кинулся достать чужаго ума: собралъ всѣхъ, бывшихъ тогда въ шинкѣ, добрыхъ людей, чумаковъ и просто заѣзжихъ, и рассказалъ, что такъ и такъ, такое-то приключилось горе. Чумаки долго думали, подперши батогами подбородки свои, крутили головами и сказали, что не слышали такого дива на крещеномъ свѣтѣ, чтобы гетьманскую грамоту утащилъ чортъ. Другіе же прибавили, что когда чортъ да москаль украдутъ что-нибудь, то поминай, какъ и звали. Одинъ только шинкаръ сидѣлъ молча въ углу. Дѣдъ и подступилъ къ нему. Ужъ когда молчитъ человекъ, то,

вѣрно, зашибъ много уомъ. Только шинкаръ не такъ-то былъ щедръ на слова, и если бы дѣдъ не полѣзъ въ карманъ за пятью злотыми, то простоялъ бы передъ нимъ даромъ.

„Я научу тебя, какъ найти грамоту“, сказалъ онъ, отводя его въ сторону. У дѣда и на сердцѣ отлегло. „Я вижу уже по глазамъ, что ты козакъ — не баба. Смотри же! Близко шинка будетъ поворотъ направо въ лѣсъ. Только станеть въ полѣ примеркать, чтобы ты былъ уже наготовѣ. Въ лѣсу живутъ цыганы и выходятъ изъ норъ своихъ ковать желѣзо въ такую ночь, въ какую однѣ вѣдьмы ѣздятъ на своихъ кочергахъ¹. Чѣмъ они промышляютъ на самомъ дѣлѣ, знать тебѣ нечего. Много будетъ стуку по лѣсу, только ты не иди въ тѣ стороны, откуда заслышишь стукъ; а будетъ передъ тобою малая дорожка, мимо обожженного дерева: дорожкой этою иди, иди, иди... Станеть тебя терновникъ царапать, густой орѣшникъ заслонять дорогу — ты все иди; и какъ придешь къ небольшой рѣчкѣ, тогда только можешь остановиться. Тамъ и увидишь, кого нужно. Да не забудь набрать въ карманы того, для чего и карманы сдѣланы... Ты понимаешь, это добро и дьяволы, и люди любятъ“. Сказавши это, шинкаръ ушелъ въ свою конуру и не хотѣлъ больше говорить ни слова.

Покойный дѣдъ былъ человѣкъ — не то, чтобы изъ трусливаго десятка: бывало, встрѣтитъ волка, такъ и хватаетъ прямо за хвостъ; пройдетъ съ кулаками промежъ козаковъ², — всѣ, какъ груши, повалятся на землю. Однакожъ, что-то подирало его по кожѣ, когда вступитъ онъ въ такую глухую ночь въ лѣсъ. Хоть бы звѣздочка на небѣ. Темно и глухо, какъ въ винномъ подвалѣ; только слышно было, что далеко-далеко вверху, надъ головою, холодный вѣтеръ гулялъ по верхушкамъ деревъ, и деревья, что охмелѣвшія козацкія головы, разгульно покачивались, шопоча листьями пьяную молвь. Какъ вотъ завѣяло такимъ холодомъ, что дѣдъ вспомнилъ и про овчинный тулупъ свой, и вдругъ словно сто молотовъ застучало по лѣсу такимъ стукомъ, что у него зазвенѣло въ головѣ. И, будто зарницею, освѣтило на минуту весь лѣсъ. Дѣдъ тотчасъ увидѣлъ дорожку, пробирающуюся промежъ мелкаго кустарника³. Вотъ и обожженное дерево, и кусты терновника! Такъ, все такъ, какъ было ему говорено; нѣтъ, не

обмануль шинкаръ. Однакожь не совсѣмъ весело было про-
дираться черезъ колючіе кусты; еще отъ роду не видалъ онъ,
чтобы проклятыя шипы и сучья такъ больно царапались: почти
на каждомъ шагѣ забирало его вскрикнуть. Мало по малу,
выбрался онъ на просторное мѣсто, и, сколько могъ замѣ-
тить, деревья рѣдѣли, и становились, чѣмъ далѣе, такія ши-
рокія, какихъ дѣдъ не видывалъ и по ту сторону Польши.
Глядь, между деревьями мелькнула и рѣчка, черная, словно
вороненая сталь. Долго стоялъ дѣдъ у берега, поглядывая
на всѣ стороны. На другомъ берегу горитъ огонь и, кажется,
вотъ-вотъ готовится погаснуть, и снова отсвѣчивается въ рѣчкѣ,
вздрагивавшей, какъ польскій шляхтичъ въ козачьихъ лапахъ.
Вотъ и мостикъ! „Ну, тутъ одна только чертовская тара-
тайка развѣ проѣдетъ“. Дѣдъ однакожь ступилъ смѣло, и
скорѣе, чѣмъ бы иной успѣлъ достать рожокъ, понюхать та-
баку, былъ уже на другомъ берегу. Теперь только разгля-
дѣлъ онъ, что возлѣ огня сидѣли люди и такія смазливья
рожи, что въ другое время, Богъ знаетъ, чего бы не далъ,
лишь бы ускользнуть отъ этого знакомства. Но теперь, нечего
дѣлать, нужно было завязаться. Вотъ дѣдъ и отвѣсилъ имъ
поклонъ, мало не въ поясъ: „Помогай Богъ вамъ, добрые
люди!“ Хоть бы одинъ кивнулъ головой: сидятъ да молчатъ,
да что-то сыплютъ въ огонь. Видя одно мѣсто незанятымъ,
дѣдъ безъ всякихъ околичностей сѣлъ и самъ. Смазливья рожи —
ничего; ничего и дѣдъ. Долго сидѣли молча. Дѣду уже и
прискучило; давай шарить въ карманѣ, вынулъ люльку, по-
смотрѣлъ вокругъ — ни одинъ не глядитъ на него. „Уже,
добродѣйство, будьте ласковы: какъ бы такъ, чтобы, при-
мѣрно сказать, того“... (дѣдъ живалъ въ свѣтѣ не мало, зналъ
уже, какъ подпускать турусы, и при случаѣ, пожалуй, и предъ
царемъ не ударилъ бы лицомъ въ грязь) „чтобы, примѣрно
сказать, и себя не забыть, да и васъ не обидѣть, — люлька-то
у меня есть, да того, чѣмъ бы зажечь ее, *чортъ-ма* (не
имѣется).“ И на эту рѣчь хоть бы слово; только одна рожа
сунула горячую головню прямехонько дѣду въ лобъ, такъ что,
если бы онъ немного не посторонился, то, статья можетъ,
распроцался бы навѣки съ однимъ глазомъ. Видя наконецъ,
что время даромъ проходитъ, рѣшился — будетъ ли слушать
нечистое племя, или нѣтъ — рассказать дѣло. Рожи и уши на-

ставили и лапы протянули. Дѣдъ догадался, забралъ въ горсть всѣ бывшія съ нимъ деньги и кинулъ, словно собакамъ, имъ въ середину. Какъ только кинулъ онъ деньги, все передъ нимъ переимѣнилось, земля задрожала и какъ уже, — онъ и самъ рассказать не умѣлъ, — попалъ чуть ли не въ самое пекло. „Батюшки мои!“ ахнулъ дѣдъ, разглядѣвши хорошенько. Чтò за чудища! рожи на рождѣ, какъ говорится, не видно. Вѣдьмъ такая гибель, какъ случается иногда на Рождество выпадеть снѣгу: разражены, размазаны, словно панночки на ярмаркѣ. И всѣ, сколько ни было ихъ тамъ, какъ хмельныя, отплясывали какого-то чертовскаго трепака¹. Пыль подняли, Боже упаси, какую! Дрожь бы проняла крещенаго человѣка при одномъ видѣ, какъ высоко скакало бѣсовское племя. На дѣда, не смотря на весь страхъ², смѣхъ напалъ, когда увидѣлъ, какъ черти съ собачьими мордами, на нѣмецкихъ ножкахъ, вертя хвостами, увивались около вѣдьмъ, будто парни около красныхъ дѣвушекъ, а музыканты тузили себя въ щеки кулаками, словно въ бубны, и свистали носами, какъ въ волторны. Только завидѣли дѣда — и турнули къ нему ордою. Свиныя, собачьи, козлиныя, дрофиныя, лошадиныя рыла — всѣ повытывались, и вотъ такъ и лѣзутъ цѣловаться. Плюнулъ дѣдъ, такая мерзость напала! Наконецъ схватили его и посадили за столъ, длиною, можетъ, съ дорогу отъ Конотопа до Батурина. „Ну, это еще не совсѣмъ худо“, подумалъ дѣдъ, завидѣвши на столѣ свинину, колбасы, крошенный съ капустой лукъ и много всякихъ сластей: „видно, дьявольская сволочь не держитъ постовъ“. Дѣдъ таки, не мѣшаетъ вамъ знать, не упускалъ при случаѣ перехватить того-сего на зубы. Бѣдаль. покойникъ, аппетитно, и потому, не пускаясь въ рассказы³, придвинулъ къ себѣ миску съ нарѣзаннымъ саломъ и окорокъ ветчины, взялъ вилку, мало чѣмъ поменьше тѣхъ вилъ, которыми мужикъ беретъ сѣно, захватилъ ею самый увѣсистый кусокъ, подставилъ корку хлѣба — и, глядь, и отправилъ въ чужой ротъ, вотъ-вотъ возлѣ самыхъ ушей, и слышно даже, какъ чья-то морда жуется и щелкаетъ зубами на весь столъ. Дѣдъ ничего; схватилъ другой кусокъ и вотъ, кажись, и по губамъ зацѣпилъ, только опять не въ свое горло. Въ третій разъ — снова мимо. Взбѣленился дѣдъ: позабылъ и страхъ. и въ чьихъ лапахъ находится онъ, прыскалъ къ вѣдьмамъ:

„Что вы, Иродово племя, задумали смѣяться, что ли, надо мною? Если не отдадите, сей же часъ, моей козацкой шапки, то будь я католикъ, когда не переверочу свинныхъ рылъ вашихъ на затылокъ!“ Не успѣлъ онъ докончить послѣднихъ словъ, какъ всѣ чудища¹ выскалили зубы и подняли такой смѣхъ, что у дѣда на душѣ захолоноло.

„Ладно!“ провизжала одна изъ вѣдьмъ, которую дѣдъ почелъ за старшую надъ всѣми, потому что личина у нея была чуть ли еще² не красивѣе всѣхъ: „шапку отдадимъ тебѣ, только не прежде, пока сыграешь съ нами три раза въ дурня!“

Что прикажешь дѣлать? Козаку сѣсть съ бабами въ дурня! Дѣдъ отпираться, отпираться, наконецъ сѣлъ. Принесли карты, замасленные, какими только у насъ поповны гадаютъ про жениховъ.

„Слушай же!“ залаяла вѣдьма въ другой разъ: „если хоть разъ выиграешь — твоя шапка; когда же всѣ три раза останешься дурнемъ, то не прогнѣвайся, не только шапки, можетъ, и свѣта больше не увидишь!“

„Сдавай, сдавай, хрычовка! Что будетъ, то будетъ“.

Вотъ и карты розданы. Взялъ дѣдъ свои въ руки — смотрѣть не хочется, такая дрянь: хоть бы на смѣхъ одинъ козырь. Изъ масти десятка самая старшая, паръ даже нѣтъ; а вѣдьма все подваливаетъ пятериками. Пришлось остаться дурнемъ! Только что дѣдъ успѣлъ остаться дурнемъ, и³ со всѣхъ сторонъ заржали, залаяли, захрюкали морды: „дурень, дурень, дурень!“

„Чтобъ вы перелопались, дьявольское племя!“ закричалъ дѣдъ, затыкая пальцами себѣ уши. „Ну“, думаетъ, „вѣдьма подтасовала, теперь я самъ буду сдавать“. Сдалъ; засвѣтилъ козыря; поглядѣлъ въ карты⁴: масть хоть куда, козыри есть. И сначала дѣло шло, какъ нельзя лучше; только вѣдьма — пятерикъ съ королями! У дѣда на рукахъ одни козыри! Не думая, не гадая долго, хватъ королей всѣхъ по усамъ козырями!⁵

„Ге, ге! да это не по-казацки! А чѣмъ ты кроешь, землякъ?“

„Какъ — чѣмъ? Козырями!“

„Можетъ быть, по вашему это и козыри, только по нашему — нѣтъ!“

Глядь — въ самомъ дѣлѣ простая масть. Чтò за дьявольщина! Пришлось въ другой разъ быть дурнемъ, и чертаньѣ

пошло снова драть горло: „дурень! дурень!“ так что столъ дрожаль и карты прыгали по столу. Дѣдъ разгорячился; сдать въ послѣдній. Опять идетъ ладно. Вѣдьма опять пятерикъ; дѣдъ покрыль и набралъ изъ колоды полную руку козырей.

„Козырь!“ вскричалъ онъ, ударивъ по столу картою такъ, что ее свернуло коробомъ; та, не говоря ни слова, покрыла восьмеркою масти. „А чѣмъ ты, старый дьяволъ, бьешь?“ Вѣдьма подняла карту: подъ нею была простая шестерка. „Вишь, бѣсовское обморачиванье!“ сказала дѣдъ и съ досады хватилъ кулакомъ, что силы, по столу. Къ счастью еще, что у вѣдьмы была плохая масть; у дѣда, какъ нарочно, на ту пору пары. Сталь набирать карты изъ колоды, только мочи нѣтъ; дрянъ такая лѣзетъ, что дѣдъ и руки опустилъ. Въ колодѣ ни одной карты. Пошелъ, уже такъ, не глядя, простою шестеркою; вѣдьма приняла. „Вотъ тебѣ на! это что? Э, э! вѣрно, что-нибудь да не такъ!“ Вотъ, дѣдъ карты потихоньку подъ столъ и перекрестилъ; глядъ — у него на рукахъ тузъ, король, валетъ козырей, а онъ вмѣсто шестерки спустилъ краю. „Ну, дурень же я былъ! Король козырей! Что! приняла? А? кошечье отродье! А туза не хочешь? Тузъ! валетъ!“ ... Громъ пошелъ по пеклу; на вѣдьму напали корчи, и, откуда ни возьмись, шапка бухъ дѣду прямѣхонько въ лицо. „Нѣтъ, этого мало!“ закричалъ дѣдъ, прихрабрившись и надѣвъ шапку. „Если сейчасъ не станетъ передо мною молодецкѣй конь мой, то вотъ, убей меня громъ на этомъ самомъ нечистомъ мѣстѣ, когда я не перекрещу святымъ крестомъ всѣхъ васъ!“ и уже было и руку поднIALъ, какъ вдругъ загремѣли передъ нимъ конскія кости.

„Вотъ тебѣ конь твой!“

Заплакалъ бѣдняга, глядя на нихъ, что дитя неразумное. Жаль стараго товарища! „Дайте жъ мнѣ какого-нибудь коня, выбратъся изъ гнѣзда вашего!“ Чортъ хлопнулъ арапникомъ — конь, какъ огонь, взвился подъ нимъ, и дѣдъ, что птица, вынесся наверхъ.

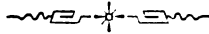
Страхъ однакожъ напалъ на него посерединѣ дороги, когда конь, не слушаясь ни крику, ни поводовъ, скакалъ черезъ провалы и болота. Въ какихъ мѣстахъ онъ не былъ, такъ дрожъ забирала при однихъ разсказахъ. Глянулъ какъ-то себѣ подъ ноги — и пуще перепугался: пропасть! крутизна страш-

ная! А сатанинскому животному и нужды нѣтъ: прямо черезъ нее. Дѣдъ держаться: не тутъ-то было. Черезъ пни, черезъ кочки полетѣлъ стремглавъ въ провалъ и такъ хватился на днѣ его о землю, что, кажись, и духъ вышибло. По крайней мѣрѣ, что дѣялось съ нимъ въ то время, ничего не помнилъ; и какъ очнулся немного и осмотрѣлся, то уже разсвѣло совсѣмъ: передъ нимъ мелькали знакомыя мѣста, и онъ лежалъ на крышѣ своей же хаты.

Перекрестился дѣдъ, когда слѣзъ долой. Экая чертовщина! Что за пропасть, какія съ человѣкомъ чудеса дѣлаются! Глядь на руки — всѣ въ крови; посмотрѣлъ въ стоявшую торчмя бочку съ водою — и лицо также. Обмывшись хорошенько, чтобы не испугать дѣтей, входитъ онъ потихоньку въ хату, смотреть: дѣти пятятся къ нему задомъ и въ испугѣ указываютъ ему пальцами, говоря: „Дивись! дивись! маты, мовъ дурна, скаче!“ * И въ самомъ дѣлѣ, баба сидитъ, заснувши передъ гребнемъ, держитъ въ рукахъ веретено и сонная подпрыгиваетъ на лавкѣ. Дѣдъ, взявши за руку потихоньку, разбудилъ ее: „Здравствуй жена! здорова ли ты?“ Та долго смотрѣла, выпучивши глаза, и наконецъ уже узнала дѣда и разсказала, какъ ей снилось, что печь ѣздила по хатѣ, выгоняя вонъ лопатой горшки, лоханки... и, чортъ знаетъ, что еще такое. „Ну“, говоритъ дѣдъ, „тебѣ во снѣ, мнѣ на яву. Нужно, вижу, будетъ освятить нашу хату; мнѣ же теперь мѣшкать нечего“. Сказавши это и отдохнувши немного, дѣдъ досталъ коня и уже не останавливался ни днемъ, ни ночью, пока не доѣхалъ до мѣста и не отдалъ грамоты самой царицѣ. Тамъ наглядѣлся дѣдъ такихъ дивъ, что стало ему надолго послѣ того разсказывать: какъ повели его въ палаты, такія высокія, что если бы хатъ десять поставить одну на другую, и тогда, можетъ-быть, не достало бы; какъ взглянулъ онъ въ одну комнату — нѣтъ; въ другую — нѣтъ; въ третью — еще нѣтъ; въ четвертой даже нѣтъ; да въ пятой уже, глядь — сидитъ сама, въ золотой коронѣ, въ сѣрой новехонькой свиткѣ, въ красныхъ сапогахъ, и золотыя галушки ѣсть; какъ велѣла ему насыпать пѣлюю шапку *синицами*; какъ... всего и вспомнить нельзя! Объ вознѣ своей съ чертами дѣдъ и ду-

* Смотри! смотри! мать, какъ сумасшедшая, скачетъ!

мать позабылъ, и если случалось, что кто-нибудь и напоминалъ объ этомъ, то дѣдъ молчалъ, какъ будто не до него и дѣло шло, и великаго стоило труда упросить его пересказать все, какъ было. И, видно, уже въ наказаніе, что не спохватился тотчасъ послѣ того освятить хату, бабѣ ровно черезъ каждый годъ, и именно въ то самое время, дѣлалось такое диво, что танцуется бывало, да и только. За чтò ни примется, ноги затѣвають свое, и вотъ такъ и дергаетъ пуститься въ присядку.



ВЕЧЕРА

НА ХУТОРЪ БЛИЗЪ ДИКАНЬКИ.

ПОВЪСТИ,

ИЗДАНИЯ

ПАСИЧНИКОМЪ РУДЫМЪ ПАНЬКОМЪ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.



ПРЕДИСЛОВІЕ.

Вотъ вамъ и другая книжка, а лучше сказать, послѣдняя! Не хотѣлось, крѣпко не хотѣлось выдавать и этой. Право, пора знать честь. Я вамъ скажу, что на хуторѣ уже начинаютъ смѣяться надо мною: «Вотъ», говорятъ, «одурѣлъ старый дѣдъ: на старости лѣтъ тѣшится ребяческими игрушками!» И точно, давно пора на покой. Вы, любезные читатели, вѣрно, думаете, что я прикидываюсь только старикомъ. Куда тутъ прикидываться, когда во рту совѣмъ зубовъ нѣтъ! Теперь, если что мягкое попадется, то буду какъ-нибудь жевать, а твердое-то ни за что не откушу. Такъ вотъ вамъ опять книжка! Не бранитесь только! Не хорошо браниться на прощаньи, особенно съ тѣмъ, съ которымъ¹, Богъ знаетъ, скоро ли увидите. Въ этой книжкѣ услышите рассказчиковъ, все почти для васъ незнакомыхъ, выключая только развѣ Оомы Григорьевича. А того гороховаго панича, что рассказывалъ такимъ вычурнымъ языкомъ, котораго много остряковъ и изъ московскаго народу не могло понять, уже давно нѣтъ. Послѣ того, какъ разсорился со всѣми, онъ и не заглядывалъ къ намъ. Да, я вамъ не рассказывалъ этого случая? Послушайте, тутъ прекомедія была.

Прошлый годъ, такъ какъ-то около лѣта, да чуть ли не на самый день моего патрона, пріѣхали ко мнѣ въ гости... (Нужно вамъ сказать, любезные читатели, что земляки мои, дай Богъ имъ здоровье, не забываютъ старика. Уже есть пятидесятый годъ, какъ я зачалъ помнить свои именины; который же точно мнѣ годъ, этого ни я, ни старуха моя вамъ не скажемъ. Должно быть, близъ семидесяти. Диканьскій-то попъ, отецъ Харлампій, зналъ, когда я родился; да жаль, что уже пятьдесятъ лѣтъ, какъ его нѣтъ на свѣтѣ). Вотъ пріѣхали ко мнѣ гости: Захаръ Кириловичъ Чухопупенко, Степанъ Ивановичъ Курочка, Тарасъ Ивановичъ Смачненькій, засѣдатель Харлампій Кириловичъ Хлоста; пріѣхалъ еще... вотъ позабылъ, право, имя и фамилію... Осипъ... Осипъ... Боже мой, его знаетъ весь Миргородъ! онъ еще, когда говоритъ, то всегда шелкнетъ напередъ пальцемъ и подопрется въ боки... Ну, Богъ съ нимъ! Въ другое время вспомню. Пріѣхалъ и знакомый вамъ паничъ изъ Полтавы. Оомы Григорьевича я не считаю: то уже свой человѣкъ. Разговорились всѣ (опять нужно вамъ замѣтить, что у насъ никогда о пустякахъ не бываетъ разговора: я всегда люблю приличные разговоры, чтобы, какъ говорятъ, вмѣстѣ и услажденіе и назидательность была), — разговорились объ томъ, какъ нужно солить яблоки. Старуха моя начала было говорить, что нужно напередъ хорошенько вымыть яблоки, потомъ намочить въ квасу, а потомъ уже... «Ничего изъ этого не будетъ!» подхватилъ полтавецъ, заложивши руку въ гороховый кафтанъ свой и прошедши важнымъ шагомъ по комнатѣ: «ничего не будетъ! Прежде всего нужно пересыпать кануперомъ, а потомъ уже»... Ну, я на васъ ссылаюсь, любезные читатели, скажите по совѣсти:

слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы яблоки пересыпали кануперомъ? Правда, кладутъ смородинный листъ, нечуй-вѣтеръ, трилистникъ; но чтобы клали кануперь... нѣтъ, я не слыхивалъ объ этомъ. Уже, кажется, лучше моей старухи никто не знаетъ про эти дѣла. Ну, говорите же вы! Нарочно, какъ добраго человѣка, отвель я его потихоньку въ сторону: «Слушай, Маркаръ Назаровичъ, эй, не смѣши народъ! Ты человѣкъ немаловажный: самъ, какъ говоришь, обѣдалъ разъ съ губернаторомъ за однимъ столомъ. Ну, скажешь что-нибудь подобное тамъ, вѣдь тебя же осмѣютъ всѣ!» Что жъ бы, вы думали, онъ сказалъ на это? — Ничего! плюнулъ на полъ, взялъ шапку и вышелъ. Хоть бы простился съ кѣмъ, хоть бы кивнулъ кому головою; только слышали мы, какъ подѣхала къ воротамъ телѣжка съ звонкомъ; сѣлъ и уѣхалъ. И лучше! Не нужно намъ такихъ гостей! Я вамъ скажу, любезные читатели, что хуже нѣтъ ничего на свѣтѣ, какъ эта знать. Что его дядя былъ когда-то комиссаромъ, такъ и носъ несетъ вверхъ. Да будто комиссаръ такой уже чинъ, что выше нѣтъ его на свѣтѣ? Слава Богу, есть и больше комиссара. Нѣтъ, не люблю я этой знати. Вотъ вамъ въ примѣръ Ома Григорьевичъ; кажется, и незнатный человѣкъ, а посмотрѣть на него: въ лицѣ какая-то важность сяетъ, даже когда станетъ нюхать обыкновенный табакъ, и тогда чувствуешь невольное почтеніе. Въ церкви, когда запоетъ на крылосъ — умиленіе неизобразимое! Растаялъ бы, казалось, весь!... А тотъ... ну, Богъ съ нимъ! Онъ думаетъ, что безъ его сказокъ и обойтись нельзя. Вотъ, все же таки набралась книжка.

Я, помнится, обѣщалъ вамъ, что въ этой книжкѣ будетъ и моя сказка. И точно, хотѣлъ было это сдѣ-

латъ, но увидѣдъ, что для сказки моей нужно, по крайней мѣрѣ, три такихъ книжки. Думалъ было особо напечатать ее, но передумалъ. Вѣдь я знаю васъ: станете смѣяться надъ старикомъ. Нѣтъ, не хочу! Прощайте! Долго, а можетъ быть, совсѣмъ не увидимся. Да что? вѣдь вамъ все равно, хоть бы и не было совсѣмъ меня на свѣтѣ. Пройдетъ годъ, другой, — и изъ васъ никто послѣ не вспомнитъ и не пожалѣетъ о старомъ пасичникѣ Рудомъ Панькѣ.



НОЧЬ ПЕРЕДЪ РОЖДЕСТВОМЪ.

Послѣдній день передъ Рождествомъ прошелъ. Зимняя, ясная ночь наступила; глянули звѣзды; мѣсяцъ величаво поднялся на небо посвѣтить добрымъ людямъ и всему міру, чтобы всѣмъ было весело колядовать и славить Христа*. Морозило сильнѣе, чѣмъ съ утра; но за то такъ было тихо, что скрипъ мороза подъ сапогомъ слышался за полверсты. Еще ни одна тоша парубковъ не показывалась подъ окнами хатъ; мѣсяцъ одинъ только заглядывалъ въ нихъ украдкою, какъ бы вызывая принаряживавшихся дѣвушекъ выбѣжать скорѣе на скрыпучій снѣгъ. Тутъ черезъ трубу одной хаты клубами повалилъ¹ дымъ и пошелъ тучею по небу, и, вмѣстѣ съ дымомъ, поднялась вѣдьма верхомъ на метлѣ.

Если бы въ это время проѣзжалъ Сорочинскій засѣдатель на тройкѣ обывательскихъ лошадей, въ шапкѣ съ барашковымъ околышкомъ, сдѣланной по манеру уланскому, въ синемъ тулупѣ, подбитомъ черными смушками, съ дьявольски сплетенною плетью, которою имѣеть онъ обыкновеніе подго-

* Колядовать у насъ называется пѣть подъ окнами наканунѣ Рождества пѣсни, которыя называются колядками. Тому, кто колядуетъ, всегда вкинетъ въ мѣшокъ хозяйка, или хозяйинъ, или кто остается дома колбасу, или хлѣбъ, или мѣдный грошъ, чѣмъ кто богатъ. Говорятъ, что былъ когда-то болванъ Коляда, котораго принимали за Бога, и что будто отъ того пошли и колядки. Кто это знаетъ? Не намъ, простымъ людямъ, объ этомъ толковать. Прошлый годъ отецъ Осипъ запретилъ было колядовать по хуторамъ, говоря, что будто этимъ² народъ угождаетъ сатанѣ. Однакожъ, если сказать правду, то въ колядкахъ и слова нѣтъ про Коляду. Поютъ часто про Рождество Христа, а при концѣ желаютъ здоровья хозяйну, хозяйкѣ, дѣтямъ и всему дому.

Замѣчаніе писачника.

нять своего ямщика, то онъ вѣрно бы примѣтилъ ее, потому что отъ Сорочинскаго засѣдателя ни одна вѣдьма на свѣтѣ не ускользнетъ. Онъ знаетъ наперечетъ, сколько у каждой бабы свинья мечеть поросать, и сколько въ сундукѣ лежитъ полотна, и что именно изъ своего платья и хозяйства заложить добрый челоуѣкъ, въ воскресный день, въ шингѣ. Но Сорочинскій засѣдатель не проѣзжалъ, да и какое ему дѣло до чужихъ, — у него своя волость. А вѣдьма между тѣмъ поднялась такъ высоко, что однимъ только чернымъ пятнышкомъ мелькала вверху. Но гдѣ ни показывалось пятнышко, тамъ звѣзды, одна за другою, пропадали на небѣ. Скоро вѣдьма набрала ихъ полный рукавъ. Три или четыре еще блестяли. Вдругъ, съ противной¹ стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукій, хотя бы надѣлъ на носъ, вмѣсто очковъ. колеса съ комиссаровой брички, и тогда бы не распозналъ, что это такое. Спереди совершенно нѣмецъ*: узенькая, безпрестанно вертѣвшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось. мордочка оканчивалась, какъ и у нашихъ свиней, кругленькимъ пятаккомъ; ноги были такъ тонки, что если бы такія имѣлъ Яресковскій² голова, то онъ переломалъ бы ихъ въ первомъ козачкѣ. Но за то сзади онъ былъ настоящій губернский страпчій въ мундирѣ, потому что у него висѣлъ хвостъ. такой острый и длинный, какъ теперешнія мундирныя фалды; только развѣ по козлиной бородѣ подъ мордой, по небольшимъ рожанамъ, торчавшимъ на головѣ, и что весь былъ не бѣлѣе трубочиста, можно было догадаться, что онъ не нѣмецъ и не губернский страпчій, а просто чортъ, которому послѣдняя ночь осталась шататься по бѣлому свѣту и выучивать грѣхамъ добрыхъ людей. Завтра же, съ первыми колоколами къ заутренѣ, побѣжить онъ безъ оглядки, поджавши хвостъ, въ свою берлогу.

Между тѣмъ чортъ крался потихоньку къ мѣсяцу и уже протянулъ было руку схватить его; но вдругъ отдернулъ ее назадъ, какъ бы обжегшись, пососалъ пальцы, заболталъ ногою и забѣжалъ съ другой стороны, и снова отскочилъ и от-

* Нѣмцемъ называютъ у насъ всякаго, кто только изъ чужой земли, хоть будь онъ французъ, или псарепъ, или шведъ — все нѣмецъ.

дернуть руку. Однакожь, несмотря на всѣ неудачи, хитрый чортъ не оставилъ своихъ проказъ. Подбѣжавши, вдругъ схватилъ онъ обѣими руками мѣсяць: кривляясь и дуя, перекидывалъ его изъ одной руки въ другую, какъ мужикъ, доставшій голыми руками огонь ¹ для своей люльки; наконецъ поспѣшно спряталъ въ карманъ и, какъ будто ни въ чемъ не бывалъ, побѣжалъ далѣе.

Въ Диканькѣ никто не слышалъ ², какъ чортъ укралъ мѣсяць. Правда, волостной писарь, выходя на четверенькахъ изъ шинка, видѣлъ, что мѣсяць, ни съ того, ни съ сего танцевалъ на небѣ, и увѣрялъ съ божбою въ томъ все село; но міряне качали головами и даже подымали его на смѣхъ. Но какая же была причина рѣшиться чорту на такое беззаконное ³ дѣло? А вотъ какая: онъ зналъ, что богатый козакъ Чубъ приглашенъ дьякомъ на кутю, гдѣ будутъ: голова, пріѣхавшій изъ архіерейской пѣвческой родичъ дьяка, въ синемъ сюртукѣ, бравшій самаго низкаго баса, козакъ Свербыгузь и еще кое-кто; гдѣ, кромѣ кутьи, будетъ варенуха, перегонная на шафранъ водка и много всякаго съѣстнаго. А между тѣмъ его дочка, красавица на всемъ селѣ, останется дома, а къ дочкѣ, навѣрное, придетъ кузнецъ, силачъ и дѣтина хоть куда, который чорту былъ противнѣе проповѣдей отца Кондрата ⁴. Въ досужее отъ дѣлъ время кузнецъ занимался малеваніемъ и слылъ лучшимъ живописцемъ во всемъ околоткѣ. Самъ, еще тогда здравствовавшій, сотникъ Л...ко вызывалъ его нарочно въ Полтаву выкрасить досчатый заборъ около его ⁵ дома. Всѣ миски, изъ которыхъ диканьскіе козаки хлебали борщъ, были размалеваны кузнецомъ. Кузнецъ былъ богобоязливый человекъ и писалъ часто образа святыхъ: и теперь еще можно найти въ Т... ⁶ церкви его евангелиста Луку. Но торжествомъ его искусства была одна картина, намалеванная на стѣнѣ церковной въ правомъ притворѣ, на которой изобразилъ онъ святаго Петра въ день страшнаго суда, съ ключами въ рукахъ, изгонявшаго изъ ада злаго духа: испуганный чортъ метался во всѣ стороны, чувствуя свою погибель, а заключенные прежде грѣшники били и гоняли его кнутами, полѣнами и всѣмъ, чѣмъ ни попало. Въ то время, когда живописецъ трудился надъ этою картиною и писалъ ее на большой деревянной доскѣ, чортъ

всѣми силами стараіся мѣшать ему: толкалъ невидимо подъ руку, подымалъ изъ горнила въ кузницѣ золу и обсыпалъ ею картину; но, не смотря на все, работа была кончена, доска внесена въ церковь и вдѣлана въ стѣну притвора, и съ той поры чортъ поклялся мстить кузнецу.

Одна только ночь оставалась ему шататься на бѣломъ свѣтѣ: но и въ эту ночь онъ выскивалъ чѣмъ-нибудь выместить на кузнеца свою злобу. И для этого рѣшился украсть мѣсяцъ. въ той надеждѣ, что старый Чубъ лѣнивъ и не легкокъ на подъемъ, къ дьяку же отъ избы не такъ близко: дорога шла по заселамъ мимо мельницъ, мимо кладбища, огибала оврагъ. Еще при мѣсячной ночи варенуха и водка, настоящая на шафранъ, могла бы заманить Чуба; но въ такую темноту врядъ ли бы удалось кому стащить его съ печки и вызвать изъ хаты. А кузнецъ, который былъ издавна не въ ладахъ съ нимъ, при немъ ни за что не отважится итти къ дочкѣ. не смотря на свою силу.

Такимъ-то образомъ, какъ только чортъ спряталъ въ карманъ свой мѣсяцъ, вдругъ по всему міру сдѣлалось такъ темно, что не всякій бы нашель дорогу къ шинку, не только къ дьяку. Вѣдьма, увидѣвши себя вдругъ въ темнотѣ, вскрикнула. Тутъ чортъ, подѣхавши мелкимъ бѣсомъ, подхватилъ ее подъ руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептываютъ всему женскому роду. Чудно устроено на нашемъ свѣтѣ! Все, что ни живетъ въ немъ, все силится перенимать и передразнивать одинъ другаго. Прежде, бывало, въ Миргородѣ одинъ судья да городничій хаживали зимою въ крытыхъ сукномъ тулупахъ, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные: теперь же и засѣдатель, и подкоморій отсмалили себѣ новыя шубы изъ рѣшетилловскихъ смѣшекъ съ суконною покрывкою. Канцеляристъ и волостной писарь третьяго году взяли синей китайки по шести гривенъ аршинъ. Пономарь сдѣлалъ себѣ нанковыя на лѣто шаровары и жилетъ изъ полосатаго гаруса. Словомъ, все лѣзетъ въ люди! Когда это люди не будутъ суетны! Можно побиться объ закладъ, что многимъ покажется удивительно видѣть чорта, пустившагося и себѣ туда же. Досадиће всего то, что онъ, вѣрно, воображаетъ себя красавцемъ, между тѣмъ какъ фигура — взглянуть совѣстно. Рожа,

какъ говорить Оома Григорьевичъ, мерзость-мерзостью, одна-кожъ и онъ строить любовныя куры! Но на небѣ и подъ небомъ такъ сдѣлалось темно, что ничего нельзя уже было видѣть, что происходило далѣе между ними.

„Такъ ты, кумъ, еще не былъ у дьяка въ новой хатѣ?“ говорилъ козакъ Чубъ, выходя изъ дверей своей избы, сухощавому, высокому, въ короткомъ тулупѣ мужику съ обросшею бородою, показывавшею, что уже болѣе двухъ недѣль не прикасался къ ней обломокъ косы, которымъ обыкновенно мужики брѣютъ свою бороду, за неимѣніемъ бритвы. „Тамъ теперь будетъ добрая попойка!“ продолжалъ Чубъ, ослабивъ при этомъ свое лицо. „Какъ бы только намъ не опоздать!“

При семъ Чубъ поправилъ свой поясъ, перехватывавшій плотно его тулупъ, нахлобучилъ крѣпче свою шапку, стиснулъ въ рукѣ кнутъ — страхъ и грозу докучливыхъ собакъ; но, взглянувъ вверхъ, остановился... „Что за дьяволъ! Смотри! смотри, Цанасъ!“...

„Что?“ произнесъ кумъ и поднялъ свою голову также вверхъ.

„Какъ, что? Мѣсяца нѣтъ!“

„Что за пропасть! Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ мѣсяца“.

„То-то, что нѣтъ!“ выговорилъ Чубъ съ нѣкоторою досадою на неизмѣнное равнодушіе кума. „Тебѣ, небось, и нужды нѣтъ“.

„А что мнѣ дѣлать?“

„Надобно же было“, продолжалъ Чубъ, утирая рукавомъ усы, „какому-то дьяволу — чтобъ ему не довелось, собакъ, по утра рюмки водки выпить! — вмѣшаться!... Право, какъ-будто на смѣхъ... Нарочно, сидѣвши въ хатѣ, глядѣлъ въ окно: ночь — чудо! Свѣтло, снѣгъ блещетъ при мѣсяцѣ; все было видно, какъ днемъ. Не успѣлъ выйти за дверь, и вотъ, хоть глазъ выколи! [Чтобъ ему переломались объ черствый гречаникъ всѣ зубы!“]¹

Чубъ долго еще ворчалъ и бранился, а между тѣмъ, въ то же время, раздумывалъ, на что бы рѣшиться. Ему до смерти хотѣлось покалякать о всякомъ вздорѣ у дьяка, гдѣ, безъ всякаго сомнѣнія, сидѣлъ уже² и голова, и пріѣзжіи басы, и дегтярь Микита, ѣздившій черезъ каждыя двѣ недѣли въ Полтаву на торги и отпускаяшій такія штуки³, что всѣ міряне брались за животы со смѣху. Уже видѣлъ Чубъ мысленно стоявшую

на столѣ варенуху. Все это было заманчиво, правда; но темнота ночи напомнила ему о той лѣни, которая такъ мила всѣмъ козакамъ. Какъ бы хорошо теперь лежать, поджавши подъ себя ноги, на лежанкѣ, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и пѣсни веселыхъ парубковъ и дѣвушекъ, толпящихся кучами подъ окнами! Онъ бы, безъ всякаго сомнѣнія, рѣшился на послѣднее, если бы былъ одинъ; но теперь обоимъ не такъ скучно и страшно идти темною ночью, да и не хотѣлось таки показаться передъ другими лѣнивымъ или трусливымъ. Окончивши побранки, обратился онъ снова къ куму.

„Такъ нѣтъ, кумъ, мѣсяца?“

„Нѣтъ“.

„Чудно, право! А дай понюхать табаку! У тебя, кумъ, славный табакъ! Гдѣ ты берешь его?“

„Кой чортъ, славный!“ отвѣчалъ кумъ, закрывая берестовую тавлинку, исколотую узорами: „старая курица не чихнетъ!“

„Я помню“, продолжалъ все также Чубъ: „мнѣ покойный шинкарь Зузуля разъ привезъ табакъ изъ Нѣжина. Эхъ, табакъ былъ! Добрый табакъ былъ! Такъ что же, кумъ, какъ намъ быть? Вѣдь темно на дворѣ“.

„Такъ, пожалуй, останемся дома“, произнесъ кумъ, ухватясь за ручку двери.

Если бы кумъ не сказалъ этого, то Чубъ вѣрно бы рѣшился остаться; но теперь его какъ будто что-то дергало идти наперекорь. „Нѣтъ, кумъ, пойдемъ! Нельзя, нужно идти!“

Сказавши это, онъ уже и досадовалъ на себя, что сказалъ. Ему было очень непріятно тащиться въ такую ночь, но его утѣшало то, что онъ самъ нарочно этого захотѣлъ и сдѣлалъ такъ не такъ, какъ ему совѣтовали.

Кумъ, не выразивъ на лицѣ своемъ ни малѣйшаго движенія досады, какъ человѣкъ, которому рѣшительно все равно, сидѣть ли дома, или тащиться изъ дому, осмотрѣлся, почесалъ палочкой батога свои плечи, — и два кума отправились въ дорогу.

Теперь посмотримъ, что дѣлаетъ, оставшись одна¹, красавица дочка. Оксанѣ не минуло еще и семнадцати лѣтъ, какъ во всемъ почти свѣтѣ, и по ту сторону Диканьки. и по эту сторону Диканьки², только и рѣчей было, что про нее. Па-

рубки гуртомъ провозгласили, что лучшей дѣвки и не было еще никогда, и не будетъ никогда на селѣ. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, какъ красавица. Если бы она ходила не въ плахтѣ и запаскѣ, а въ какомъ-нибудь капотѣ, то разогнала бы всѣхъ своихъ дѣвокъ. Парубки гонялись за нею толпами; но, потерявши терпѣніе, оставляли мало по малу своенравную красавицу¹ и обращались къ другимъ, не такъ избалованнымъ. Одинъ только кузнецъ былъ упрямъ и не оставлялъ своего волокитства, не смотря на то, что и съ нимъ поступали² ни чуть не лучше, чѣмъ съ другими. По выходѣ отца своего, Оксана долго еще принаряжалась и жеманилась передъ небольшимъ, въ оловянныхъ рамкахъ, зеркаломъ и не могла напобоваться собою.

„Что людямъ вздумалось разславлять, будто я хороша?“ говорила она, какъ бы разсѣянно, для того только, чтобы объ чемъ-нибудь поболтать съ собою. „Гугутъ люди, я совсѣмъ не хороша!“

Но мелькнувшее въ зеркалѣ свѣжее, живое, въ дѣтской юности лицо, съ блестящими черными глазами и невыразимо пріятной усмѣшкой, прожигавшей душу, вдругъ доказало противное.

„Развѣ черныя брови и очи мои“, продолжала красавица, не выпуская зеркала: „такъ хороши, что уже равныхъ имъ нѣтъ и на свѣтѣ? Что тутъ хорошаго въ этомъ вздернутомъ къ верху носѣ? и въ щекахъ? и въ губахъ? Будто хороши мои черныя косы? Ухъ! ихъ можно испугаться вечеромъ: онѣ, какъ длинныя змѣи, перевились и обвились вокругъ моей головы. Я вижу теперь, что я совсѣмъ нехороша!“ И, отодвигая нѣсколько подалѣе отъ себя зеркало, вскрикнула: „Нѣтъ, хороша я! Ахъ, какъ хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, чьей³ буду женою! Какъ будетъ любоваться мною мой мужъ! Онъ не вспомнитъ себя отъ радости⁴. Онъ зацѣлуетъ меня на смерть“.

„Чудная дѣвка!“ — прошептала вошедшій тихо кузнецъ. „И хвастовства у нея мало! Съ часъ стоитъ, глядясь въ зеркало, и не наглядится, и еще хвалитъ себя вслухъ!“

„Да, парубки, вамъ ли чета я? Вы поглядите на меня“, продолжала хорошенькая кокетка: „какъ я плавно выступаю; у меня сорочка шита краснымъ шелкомъ. А какія ленты на

головѣ! Вамъ вѣкъ не увидать богаче галуна! Все это накупишь мнѣ отецъ мой для того, чтобы на мнѣ женился самый лучший молодецъ на свѣтѣ“. И, усмѣхнувшись, поворотилась она въ другую сторону и увидѣла кузнеца...

Вскрикнула и сурово остановилась передъ нимъ¹.

Кузнецъ и руки опустилъ.

Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной дѣвушки: и суровость въ немъ была видна, и сквозь суровость какая-то издѣвка надъ смутившимся кузнецомъ, и едва замѣтная краска досады тонко разливалась по лицу; и все это такъ смѣшалось и такъ было неизобразимо-хорошо, что разцѣловать ее миллионъ разъ — вотъ все, что можно было сдѣлать тогда наилучшаго.

„Зачѣмъ ты пришелъ сюда?“ такъ начала говорить Оксана. „Развѣ хочется, чтобы я выгнала тебя за дверь лопатою? ² Вы всѣ мастера подѣзжать къ намъ. Въ мигъ пронюхаете, когда отцовъ нѣтъ дома. О, я знаю васъ! Что, сундукъ мой готовъ?“

„Будеть готовъ, мое серденько, послѣ праздника будетъ готовъ. Если бы ты знала, сколько возился около него: двѣ ночи не выходилъ изъ кузницы. За то ни у одной поповни не будетъ такого сундука. Желѣзо на оковку положилъ такое, какого не клалъ въ сотникову таратайку, когда ходилъ на работу въ Полтаву. А какъ будетъ росписанъ! Хоть весь околотокъ выходи своими бѣленькими ножками, не найдешь такого! По всему полю будутъ раскиданы красные и синіе цвѣты. Горѣть будетъ, какъ жаръ. Не сердись же на меня! Позволь хоть поговорить, хоть поглядѣть на тебя!“

„Кто жъ тебѣ запрещаетъ? Говори и гляди!“

Тутъ сѣла она на лавку и снова взглянула въ зеркало и стала поправлять на головѣ свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелкомъ, и тонкое чувство самодовольствія выразилось на устахъ, на свѣжихъ ланитахъ и отсвѣтилось въ очахъ.

„Позволь и мнѣ сѣсть возлѣ тебя!“ сказалъ кузнецъ.

„Садись“, проговорила Оксана, сохраняя въ устахъ и въ довольныхъ очахъ то же самое чувство.

„Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцѣловать тебя!“ произнесъ ободренный кузнецъ и прижалъ ее къ себѣ, въ намѣреніи схватить поцѣлуй. Но Оксана отклонила свои щеки,

находившіяся уже на непримѣтномъ разстояніи отъ губъ кузнеца, и оттолкнула его. — „Чего тебѣ еще хочется? Ему, когда медь, такъ и ложка нужна! Поди прочь, у тебя руки жестче желѣза. Да и самъ ты пахнешь дымомъ. Я думаю, меня всю обмаралъ своею¹ сажею“.

Тутъ она поднесла зеркало и снова начала передъ нимъ охорашиваться.

„Не любить она меня!“ думалъ про себя, повѣся голову, кузнецъ. „Ей все игрушки; а я стою передъ нею, какъ дуракъ, и очей не свожу съ нея. И все бы стоялъ передъ нею, и вѣкъ бы не сводилъ съ нея очей! Чудная дѣвка! Чего бы я не далъ, чтобы узнать, чтò у нея на сердцѣ, кого она любить. Но нѣтъ, ей и нужды нѣтъ ни до кого. Она любитъ сама собою; мучить меня бѣднаго, а я за грустью не вижу свѣта. А я ее такъ люблю, какъ ни одинъ человѣкъ на свѣтѣ не любилъ и не будетъ никогда любить“.

„Правда ли, что твоя мать вѣдьма?“ произнесла Оксана и засмѣялась; и кузнецъ почувствовалъ, что внутри его все засмѣялось. Смѣхъ этотъ какъ будто разомъ отозвался въ сердцѣ и въ тихо вострепнувшихъ жилахъ, и за всѣмъ тѣмъ² досада запала въ его душу, что онъ не во власти расцѣловать такъ пріятно засмѣявшееся лицо.

„Что мнѣ до матери? ты у меня мать, и отецъ, и все, что ни есть дорогаго на свѣтѣ. Если бъ меня призвалъ царь и сказалъ: „Кузнецъ Вакула, проси у меня всего, что ни есть лучшаго въ моемъ царствѣ, все отдамъ тебѣ. Прикажу тебѣ сдѣлать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами“. — „Не хочу“, сказалъ бы я царю, „ни каменьевъ дорогихъ, ни золотой кузницы, ни всего³ твоего царства: дай мнѣ лучше мою Оксану!“

„Видишь, какой ты! Только отецъ мой самъ не промахъ. Увидишь, когда онъ не женится на твоей матери!“ проговорила, лукаво усмѣхнувшись, Оксана. „Однакожь дѣвчата не приходятъ... Что бъ это значило? Давно уже пора колядовать, мнѣ становится скучно“.

„Богъ съ ними, моя красавица!“

„Какъ бы не такъ! Съ ними, вѣрно, придутъ парубки. Тутъ-то пойдутъ балы. Воображаю, какихъ наговорятъ смѣшныхъ исторій!“

„Такъ тебѣ весело съ ними?“

„Да ужъ веселѣе, чѣмъ съ тобою. А! кто-то стукнулъ; вѣрно.. дѣвчата съ парубками“.

„Чего мнѣ больше ждать?“ говорилъ самъ съ собою кузнецъ. „Она издѣвается надо мною. Ей я столько же дорогъ, какъ перержавѣвшая подкова. Но если жъ такъ. не достанется по крайней мѣрѣ другому посмѣяться надо мною. Пусть только я навѣрное замѣчу, кто ей нравится болѣе моего¹, я отучу...“

Стукъ въ дверь и рѣзко зазвучавшій на морозѣ голосъ: „отвори!“ прервалъ его размышленія.

„Постой, я самъ отворю“, сказалъ кузнецъ и вышелъ въ сѣни, въ намѣреніи отломать съ досады бока первому попавшемуся человѣку.

Морозъ увеличился, и вверху такъ сдѣлалось холодно, что чортъ перепрыгивалъ съ одного копытца на другое и дулъ себѣ въ кулакъ, желая сколько-нибудь отогрѣть мерзнувшія руки². Не мудрено, однакожъ, и озаябнуть³ тому, кто толкался отъ утра до утра въ аду, гдѣ, какъ извѣстно, не такъ холодно, какъ у насъ зимою, и гдѣ, надѣвши кошака и ставши передъ очагомъ. будто въ самомъ дѣлѣ кухмистръ, поджаривалъ онъ грѣшниковъ съ такимъ удовольствіемъ, съ какимъ обыкновенно баба жаритъ на Рождество колбасу.

Вѣдьма сама почувствовала, что холодно, не смотря на то, что была тепло одѣта; и потому, поднявши руки къ верху, отставила ногу и, приведши себя въ такое положеніе, какъ человѣкъ, летящій на конькахъ, не сдвинувшись ни однимъ суставомъ, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатои горѣ. и прямо въ трубу.

Чортъ такимъ же порядкомъ отправился вслѣдъ за нею. Но такъ какъ это животное проворнѣе всякаго франта въ чулкахъ, то не мудрено, что онъ наѣхалъ при самомъ входѣ въ трубу на шею своей любовницы, и оба очутились въ просторной печкѣ между горшками.

Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядѣть, не назвалъ ли сынъ ея Вакула въ хату гостей; но, увидѣвши, что никого не было, выключая только мѣшки³, ко-

торые лежали посередине хаты, вылезла изъ печки, скинула теплый кожухъ, оправилась, и никто бы не могъ узнать, что она за минуту назадъ ѣздила на метлѣ.

Мать кузнеца Вакулы имѣла отъ роду не больше сорока лѣтъ. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошею въ такіе годы. Однакожъ она такъ умѣла причаровать къ себѣ самыхъ степенныхъ козаковъ (которымъ, не мѣшаетъ между прочимъ замѣтить, мало было нужды до красоты), что къ ней хаживалъ и голова, и дьякъ Осипъ Никифоровичъ (конечно, если дьячихи не было дома), и козакъ Корній Чубъ, и козакъ Касьянъ Свербыгузъ. И, къ чести ея сказать, она умѣла искусно обходиться съ ними: ни одному изъ нихъ и въ умъ не приходило, что у него есть соперникъ. Шелъ ли набожный мужикъ, или дворянинъ, какъ называютъ себя козаки, одѣтый въ кобенякъ съ видлогою, въ воскресенье въ церковь, или, если дурная погода, въ шинокъ, — какъ не зайти къ Солохѣ, не поѣсть жирныхъ съ сметаною варениковъ и не поболтать въ теплой избѣ съ говорливой и угодливой хозяйкой? И дворянинъ нарочно для этого давалъ большой крюкъ, прежде чѣмъ достигалъ шинка, и называлъ это — заходить по дорогѣ. А пойдетъ ли, бывало, Солоха, въ праздникъ, въ церковь, надѣвши яркую плахту съ китайчатою запаскою, а сверхъ ея синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станетъ прямо близъ праваго крылоса, то дьякъ уже, вѣрно, закашливался и прищуривалъ неволью въ ту сторону глаза; голова гладилъ усы, заматывалъ за ухо оселедецъ и говорилъ стоявшему близъ его сосѣду: „Эхъ, добрая баба! чортъ-баба!“ Солоха кланялась каждому, и каждый думалъ, что она кланяется ему одному.

Но охотникъ мѣшаться въ чужія дѣла тотчасъ бы замѣтилъ, что Солоха была привѣтливѣе всего съ козакомъ Чубомъ. Чубъ былъ вдовъ. Восемь скирдъ хлѣба всегда стояли передъ его хатою. Двѣ пары дюжихъ воловъ всякій разъ высовывали свои головы изъ плетенаго сарая на улицу и мычали, когда завидывали шедшую куму — корову или дядю — толстаго быка. Бородатый козель взбирался на самую крышу и дребезжалъ оттуда рѣзкимъ голосомъ, какъ городничій, дразня выступавшихъ по двору индѣекъ и оборачиваясь задомъ, когда завидывалъ своихъ непріятелей — мальчишекъ, издѣвавшихся

надъ его бороною. Въ сундукахъ у Чуба водилось много полотна, жупановъ и старинныхъ кунтушей съ золотыми галунами: покойная жена его была щеголиха. Въ огородѣ, кромѣ маку, капусты, подсолнечниковъ, засѣвалось еще каждый годъ двѣ нивы¹ табаку. Все это Солоха находила не лишнимъ присоединить къ своему хозяйству, заранѣ размышляя о томъ, какой оно приметъ порядокъ, когда перейдетъ въ ея руки, и удваивала благосклонность къ старому Чубу. А чтобы, какимъ-нибудь образомъ, сынъ ея Вакула не подѣхалъ къ его дочери и не успѣлъ прибрать всего себѣ, и тогда бы, навѣрно, не допустилъ ее мѣшаться ни во что, она прибѣгнула къ обыкновенному средству всѣхъ сорокалѣтнихъ кумушекъ — сосорить, какъ можно чаще, Чуба съ кузнецомъ. Можетъ быть, эти самыя хитрости и смѣтливость ея были виною, что коегдѣ начали поговаривать старухи, особливо, когда выпивали гдѣ-нибудь на веселой сходкѣ лишнее, что Солоха точно вѣдьма; что парубокъ Кизяколупенко видѣлъ у нея сзади хвостъ, величиною не болѣе бабьяго веретена; что она еще въ позапрошлый четвергъ черною кошкою перебѣжала дорору; что къ попадѣ разъ прибѣжала свинья, закричала пѣтухомъ, надѣла на голову шапку отца Кондрата и убѣжала назадъ.

Случилось, что тогда, когда старушки толковали объ этомъ, пришелъ какой-то коровій пастухъ Тымишъ Коростявый. Онъ не преминулъ рассказать, какъ лѣтомъ, передъ самыми петровками, когда онъ легъ спать въ хлѣву, подмостивши подъ голову солому, видѣлъ собственными глазами, что вѣдьма, съ распущенною косою, въ одной рубашкѣ, начала доить коровъ, а онъ не могъ пошевелинуться — такъ былъ околдованъ, и помазала его губы чѣмъ-то такимъ гадкимъ, что онъ плевалъ послѣ того цѣлый день. Но все это что-то сомнительно, потому что одинъ только Сорочинскій засѣдатель можетъ увидѣть вѣдьму. И отъ того всѣ именитые козаки махали руками, когда слышали такія рѣчи. „Брешутъ, сучи бабы!“ бывалъ обыкновенный отвѣтъ ихъ.

Вылѣзши изъ печки и оправившись, Солоха, какъ добрая хозяйка, начала убирать и ставить все къ своему мѣсту; но мѣшковъ не тронула: „это Вакула принесъ, пусть же самъ и вынесетъ!“ Чортъ, между тѣмъ, когда еще влеталъ въ трубу.

какъ-то нечаянно оборотившись, увидѣлъ Чуба, объ руку съ кумомъ, уже далеко отъ избы. Въ мигъ вылетѣлъ онъ изъ печи, перебѣжалъ имъ дорогу и началъ разрывать со всѣхъ сторонъ кучи замерзшаго снѣгу. Поднялась метель. Въ воздухѣ забѣлѣло. Снѣгъ метался взадъ и впередъ сѣткою¹ и угрожалъ залѣпнить глаза, ротъ и уши пѣшеходамъ. А чортъ улетѣлъ снова въ трубу, въ твердой увѣренности, что Чубъ возвратится вмѣстѣ съ кумомъ назадъ, застанетъ кузнеца и, навѣрное², отпочуетъ его такъ, что онъ долго будетъ не въ силахъ взять въ руки кисть и малевать обидныя карикатуры.

Въ самомъ дѣлѣ, едва только поднялась метель, и вѣтеръ сталъ рѣзать прямо въ глаза, какъ Чубъ уже изъяснилъ раскаяніе и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощалъ побранками себя, чорта и кума. Впрочемъ эта досада была притворная. Чубъ очень радъ былъ поднявшейся метели. До дьяка еще оставалось въ восемь разъ больше того разстоянія, которое они прошли. Путешественники поворотили назадъ. Вѣтеръ дулъ въ затылокъ, но сквозь метущій снѣгъ ничего не было видно.

„Стой, кумъ! мы, кажется, не туда идемъ“, сказалъ, немного отошедши, Чубъ. „Я не вижу ни одной хаты. Эхъ, какая метель! Свороти-ка ты, кумъ, немного въ сторону, — не найдешь ли дороги, а я тѣмъ временемъ поищу здѣсь. Дернуть же нечистая сила таскаться по такой вьюгѣ! Не забудь кричать, когда найдешь дорогу. Эхъ, какую кучу снѣга напустилъ въ очи сатана!“

Дороги, однакожь, не было видно. Кумъ, отошедши въ сторону, бродилъ въ длинныхъ сапогахъ взадъ и впередъ и наконецъ набрелъ прямо на шинокъ. Эта находка такъ его обрадовала, что онъ позабылъ все и, страхнувши съ себя снѣгъ, вошелъ въ сѣни, ни мало не безпокоясь объ оставшемся на улицѣ кумѣ. Чубу показалось между тѣмъ, что онъ нашелъ дорогу. Остановившись, принялся онъ кричать во все горло, но, видя, что кумъ не является, рѣшился итти самъ. Немного пройдя, увидѣлъ онъ свою хату. Сугробы снѣгу лежали около нея и на крышѣ. Хлопая озябшими³ на

холодѣ руками, принялся онъ стучать въ дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее'.

„Чего тебѣ тутъ нужно?“ сурово закричалъ вышедшій кузнецъ.

Чубъ, узнавши голосъ кузнеца, отступилъ нѣсколько назадъ. „Э, нѣтъ, это не моя хата“, говоритъ онъ про себя: „въ мою хату не забредеть кузнецъ. Опять же, если при-смотримъ хорошенько, то и не кузнецова. Чья бы была это хата? Вотъ на! не распозналъ! Это хата² хромаго Левченка, который недавно женился на молодой женѣ. У него одного только хата похожа на мою. То-то мнѣ показалось и сначала немного чудно, что такъ скоро пришелъ домой. Одна-кожь Левченко сидитъ теперь у дядка, это я знаю. Зачѣмъ же кузнецъ?... Э, ге, ге, ге! онъ ходитъ къ его молодой женѣ. Вотъ какъ! Хорошо!... Теперь я все понялъ.“

„Кто ты такой и зачѣмъ таскаешься подъ дверями?“ произнесъ кузнецъ суровѣе прежняго и подоидя ближе.

„Нѣтъ, не скажу ему, кто я“, подумалъ Чубъ: „чего добраго, еще приколотить проклятый выродокъ!“ И перемѣнивъ голосъ, отвѣчалъ: „Это я, человѣкъ добрый! Пришелъ вамъ на забаву поколядовать немного подъ окнами“.

„Убирайся къ чорту съ своими колядками!“ сердито закричалъ Вакула. „Что жъ ты стоишь? Слышишь! Убирайся сей же часъ, вонъ!“

Чубъ самъ уже имѣлъ это благоразумное намѣреніе; но ему досадно показалось, что принужденъ слушаться приказаній кузнеца. Казалось, какой-то злой духъ толкалъ его подъ руку и вынуждалъ сказать что-нибудь наперекоръ. „Что жъ ты въ самомъ дѣлѣ такъ раскричался?“ произнесъ онъ тѣмъ же голосомъ. „Я хочу колядовать, да и полно!“

„Эге! да ты, какъ вижу, отъ словъ не уймешься!“ Вслѣдъ за сими словами Чубъ почувствовалъ пребольной ударъ въ плечо.

„Да вотъ это ты, какъ я вижу, начинаешь уже драться!“ произнесъ онъ, немного отступая.

„Пошелъ, пошелъ!“ кричалъ кузнецъ, наградивъ Чуба дру-гимъ толчкомъ.

„Что жъ ты!“ произнесъ Чубъ такимъ голосомъ, въ которомъ изображалась и боль, и досада, и робость. „Ты, я вижу, не въ шутку дерешься, и еще больно дерешься!“

„Пошелъ, пошелъ!“ закричалъ кузнецъ и захлопнулъ дверь.

„Смотри, какъ расхрабрился!“ говорилъ Чубъ, оставшись одинъ на улицѣ. „Попробуй, подойди! Вишь какой! Вотъ большая цаца. Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нѣтъ, голубчикъ, я пойду, и пойду прямо до комиссара¹. Ты у меня будешь знать! Я не посмотрю, что ты кузнецъ и маляръ. Однакожь, посмотрѣть на спину и плечи: я думаю, синія пятна есть. Должно быть, больно поколотить вражій сынъ. Жаль, что холодно и не хочется скидать кожуха. Пстой ты, бѣсовскій кузнецъ, чтобъ чортъ поколотилъ и тебя, и твою кузницу: ты у меня напляшешься! Вишь, проклятый шибеникъ! Однакожь, вѣдь теперь его нѣтъ дома. Солоха, думаю, сидитъ одна. Гм... Оно вѣдь недалеко отсюда — пойти бы! Время теперь такое, что насъ никто не застанетъ². Можеть, и того будетъ можно... Вишь, какъ больно поколотить проклятый кузнецъ!“

Тутъ Чубъ, почесавъ свою спину, отправился въ другую сторону. Пріятность, ожидавшая его впереди, при свиданіи съ Солохою, умалала немного боль и дѣлала нечувствительнымъ и самый морозъ, который трещалъ по всѣмъ улицамъ, не заглушаемый свистомъ вьюги³. По временамъ на лицѣ его, котораго бороду и усы метель намылила снѣгомъ проворнѣе всякаго цырюльника, тирански хватающаго за носъ свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однакожь, снѣгъ не крестилъ взадъ и впередъ всего передъ глазами, то долго еще можно было бы видѣть, какъ Чубъ останавливался, почесывалъ спину, произносилъ: „Больно поколотить проклятый кузнецъ!“ и снова отправлялся въ путь.

Въ то время, когда проворный франтъ съ хвостомъ и козлиною бородою леталъ изъ трубы и потомъ снова въ трубу, висѣвшая у него на перевязи при боку⁴ ладунка, въ которую онъ спряталъ украденный мѣсяцъ, какъ-то нечаянно зацѣпившись въ печкѣ, растворилась, и мѣсяцъ, пользуясь этимъ случаемъ, вылетѣлъ чрезъ трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все освѣтилось. Метели какъ не бывало. Снѣгъ загорѣлся широкимъ серебрянымъ полемъ⁵ и весь осыпался хрустальными звѣздами. Морозъ какъ бы потеплѣлъ. Толпы парубковъ и дѣвушекъ показались съ мѣшками. Пѣсни зазвенѣли, и подъ рѣдкою хатою не толпились колядующіе.

Чудно блещетъ мѣсяць! Трудно разсказать, какъ хорошо потолкаться въ такую ночь между кучею хохочущихъ и поющихъ дѣвушекъ и между парубками, готовыми на всѣ шутки и выдумки, какія можетъ только внушить весело смѣющаяся ночь. Подъ плотнымъ кожухомъ тепло; отъ мороза еще живѣе горять щеки, а на шалости самъ лукавый подталкиваетъ сзади.

Кучи дѣвушекъ съ мѣшками вломились въ хату Чуба, окружили Оксану. Крикъ, хохотъ, рассказы оглушили кузнеца. Всѣ наперерывъ спѣшили разсказать красавицѣ что-нибудь новое, выгружали мѣшки и хвастались паляницами, колбасами, варениками, которыхъ успѣли уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была въ совершенномъ удовольствіи и радости, болтала то съ той, то съ другой, и хохотала безъ умолку.

Съ какой-то досадою и завистью глядѣлъ кузнецъ на такую веселость и на этотъ разъ проклиналъ колядки, хотя самъ бывалъ отъ нихъ безъ ума.

„Э, Одарка!“ сказала веселая красавица, оборотившись къ одной изъ дѣвушекъ: „у тебя новые черевки. Ахъ, какіе хорошіе! и съ золотомъ!“ Хорошо тебѣ, Одарка, у тебя есть такой человекъ, который все тебѣ покупаетъ, а мнѣ некому достать такіе славные черевки“.

„Не тужи, моя ненаглядная Оксана!“ подхватилъ кузнецъ: „я тебѣ достану такіе черевки, какіе рѣдкая панночка носить“.

„Ты?“ сказала Оксана, скоро и надмѣнно поглядѣвъ на него. „Посмотрю я, гдѣ ты достанешь такіе² черевки, которые могла бы я надѣть на свою ногу. Развѣ принесешь тѣ самыя, которые носить царица“.

„Видишь, какихъ захотѣла!“ закричала со смѣхомъ дѣвичья толпа.

„Да!“ продолжала гордо³ красавица: „будьте всѣ вы свидѣтельницами: если кузнецъ Вакула принесетъ тѣ самыя черевки, которые носить царица, то вотъ мое слово, что выйду тотъ же часъ за него замужъ“.

Дѣвушки увели съ собою капризную красавицу.

„Смѣйся, смѣйся!“ говорилъ кузнецъ, выходя вслѣдъ за ними. „Я самъ смѣюсь надъ собою! Думаю и не могу надумать⁴, куда дѣвался умъ мой? Она меня не любитъ, — ну,

Богъ съ ней! Будто только на всемъ свѣтѣ одна Оксана. Слава Богу, дѣвчаты много хорошихъ и безъ нея на селѣ. Да чтѣ Оксана? изъ нея никогда не будетъ доброй хозяйки: она только мастерица рядиться. Нѣтъ, полно! Пора перестать дурачиться“.

Но въ самое то время, когда кузнецъ готовился быть рѣшительнымъ, какой-то злой духъ проносилъ передъ нимъ смѣющійся образъ Оксаны, говорившей насмѣшливо: „Достань, кузнецъ, царицны черевики, выйду за тебя замужь!“ Все въ немъ волновалось, и онъ думалъ только объ одной Оксанѣ.

Толпы колядующихъ, парубки особо, дѣвушки особо, спѣшили изъ одной улицы въ другую. Но кузнецъ шель и ничего не видалъ и не участвовалъ въ тѣхъ веселостяхъ, которыя когда-то любилъ болѣе всѣхъ.

Чортъ между тѣмъ не на шутку разнѣжился у Солохи: цѣловалъ ея руку съ такими ужимками, какъ засѣдатель у поповны, брался за сердце, охаль и сказалъ напрямикъ, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, какъ водится, наградить, то онъ готовъ на все: кинется въ воду, а душу отправить прямо въ пекло. Солоха была не такъ жестока; притомъ же чортъ, какъ извѣстно, дѣйствовалъ съ нею за одно. Она таки любила видѣть волочившуюся за собою толпу и рѣдко бывала безъ компаніи. Этотъ вечеръ, однакожь, думала провести одна, потому что всѣ именитые обитатели села званы были на кутью къ дяку. Но все пошло иначе: чортъ только что представилъ свое требованіе, какъ вдругъ послышался стукъ и голосъ дюжаго головы. Солоха побѣжала отворить дверь, а проворный чортъ влѣзъ въ лежавшій мѣшокъ.

Голова, страхнувъ съ своихъ капелюхъ снѣгъ и выпивши изъ рукъ Солохи чарку водки, разсказалъ, что онъ не пошелъ къ дяку, потому что поднялась метель; а, увидѣвши свѣтъ въ ея хатѣ, завернулъ къ ней, въ намѣреніи провести вечеръ съ нею.

Не успѣлъ голова это сказать, какъ въ дверь послышался стукъ и голосъ дяка. „Спрячь меня куда-нибудь“, шепталъ голова: „мнѣ не хочется теперь встрѣтиться съ дякомъ“.

Солоха думала долго, куда спрятать такого плотнаго гостя; наконецъ, выбрала самый большой мѣшокъ съ углемъ: уголь

высыпала въ кадку, и дюжій голова влѣзъ съ усами, съ головою и съ капелюхами въ мѣшокъ.

Дьякъ вошелъ, побряхтывая и потирая руки, и разсказаль, что у него не былъ никто¹, и что онъ сердечно радъ этому случаю *погулять* немного у нея, и не испугался² метели. Тутъ онъ подошелъ къ ней ближе, кашлянулъ, усмѣхнулся, дотронулся своими длинными пальцами ея обнаженной, полной руки и произнесъ съ такимъ видомъ, въ которомъ выказывалось и лукавство, и самодовольствіе: „А что это у васъ, великолѣпная Солоха?“ И, сказавши это, отскочилъ онъ нѣсколько назадъ.

„Какъ что? рука, Осипъ Никифоровичъ!“ отвѣчала Солоха..

„Гм! рука! Хе, хе, хе!“ произнесъ сердечно довольный своимъ началомъ дьякъ и прошелся по комнатѣ.

„А это что у васъ, дражайшая Солоха?“ произнесъ онъ съ такимъ же видомъ, приступивъ къ ней снова и схвативъ ее слегка рукою за шею и такимъ же порядкомъ отскочивъ назадъ.

„Будто не видите, Осипъ Никифоровичъ!“ отвѣчала Солоха: „шея, а на шеѣ монисто“.

„Гм! на шеѣ монисто! Хе, хе, хе!“ и дьякъ снова прошелся по комнатѣ, потирая руки.

„А это что у васъ, несравненная Солоха?...“ Неизвѣстно, къ чему бы теперь притронулся [сладострастный]³ дьякъ своими длинными пальцами, какъ вдругъ послышался въ дверь стукъ⁴ и голосъ козака Чуба.

„Ахъ, Боже мой, стороннее лицо!“ закричалъ въ испугѣ дьякъ. „Что теперь, если застануть особу моего званія?... Дойдетъ до отца Кондрата...“

Но опасенія дьяка были другаго рода: онъ боялся болѣе того, чтобы не узнала его половина, которая и безъ того страшною рукою своею сдѣлала изъ его толстой косы самую узенькую. „Ради Бога, добродѣтельная Солоха!“ говорилъ онъ, дрожа всѣмъ тѣломъ: „ваша доброта, какъ говорить писаніе Луки, глава трина... трин... Стучатся, ей Богу, стучатся! Охъ, спрячьте меня куда-нибудь“.

Солоха высыпала уголь въ кадку изъ другаго мѣшка, и неслишкомъ объемистый тѣломъ дьякъ влѣзъ въ него и сѣлъ на самое дно, такъ что сверхъ его можно было насыпать еще съ полмѣшка угля.

„Здравствуй, Солоха!“ сказалъ, входя въ хату, Чубъ. „Ты, можетъ быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожидала? Можетъ быть, я помѣшалъ?...“ продолжалъ Чубъ, показавъ на лицѣ своемъ веселую и значительную мину, которая заранѣе давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затѣйливую шутку. „Можетъ быть, вы тутъ забавлялись съ кѣмъ-нибудь!... Можетъ быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а?“ И восхищенный такимъ замѣчаніемъ своимъ Чубъ засмѣялся, внутренно торжествуя, что онъ одинъ только пользуется благосклонностью Солохи. „Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло отъ проклятаго морозу. Послалъ же Богъ такую ночь передъ Рождествомъ! Какъ схватилась, слышишь, Солоха, какъ схватилась... Экъ окостенѣли руки: не разстегну кожуха! Какъ схватилась вьюга...“

„Отвори!“ раздался на улицѣ голосъ, сопровождаемый толчкомъ въ дверь.

„Стучить кто-то“, сказалъ остановившійся Чубъ.

„Отвори!“ закричали сильнѣе прежняго.

„Это кузнецъ!“ произнесъ, схватясь за капелюхи, Чубъ.

„Слышишь, Солоха: куда хочешь, дѣвай меня; я ни за что на свѣтѣ не захочу показаться этому выродку проклятому, чтобъ ему набѣжало, дьявольскому сыну, подъ обоими глазами по пузырью въ копну величиною!“

Солоха, испугавшись сама, металась, какъ угорѣлая, и, позабывшись, дала знакъ Чубу лѣзть въ тотъ самый мѣшокъ, въ которомъ сидѣлъ уже дьякъ. Бѣдный дьякъ не смѣлъ даже изъяснить кашлемъ и кряхтѣньемъ боли, когда сѣлъ ему почти на голову тяжелый мужикъ и помѣстилъ свои намерзнувшіе на морозѣ сапоги по обѣимъ сторонамъ его висковъ.

Кузнецъ вошелъ, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Замѣтно было¹, что онъ былъ весьма не въ духѣ.

Въ то самое время, когда Солоха затворяла за нимъ дверь, кто-то постучался снова. Это былъ козакъ Свербыгузь. Этого уже нельзя было спрятать въ мѣшокъ, потому что и мѣшка такого нельзя было найти нигдѣ². Онъ былъ погрузише тѣломъ самой головы и выше ростомъ Чубова кума. И потому Солоха

повела¹ его въ огородъ, чтобы выслушать отъ него все то, что онъ хотѣлъ ей объявить.

Кузнецъ разсѣянно оглядывалъ углы своей хаты, вслушиваясь по временамъ въ далеко разносившіяся по селу² пѣсни колядующихъ; наконецъ остановилъ глаза на мѣшкахъ. „Зачѣмъ тутъ лежать эти мѣшки? ихъ давно бы пора убрать отсюда. Черезъ эту глущую любовь я одурѣлъ совсѣмъ. Завтра праздникъ, а въ хатѣ до сихъ поръ еще³ лежитъ всякая дрянь. Отнести ихъ въ кузницу!“

Тутъ кузнецъ присѣлъ къ огромнымъ мѣшкамъ, перевязалъ ихъ крѣпче и готовился взвалить себѣ на плечи. Но замѣтно было, что его мысли гуляли, Богъ знаетъ гдѣ; иначе онъ бы услышалъ, какъ зашипѣлъ Чубъ, когда волоса на головѣ его прикрутила завязавшая мѣшокъ веревка, и дюжій голова началъ было икать довольно явственно.

„Неужели не выбьется изъ ума моего эта негодная Оксана?“ говорилъ кузнецъ. „Не хочу думать о ней; а все думается, и, какъ нарочно, о ней одной только. Отчего это такъ, что дума противъ воли лѣзетъ въ голову? Кой чортъ! Мѣшки стали какъ будто тяжелѣе прежняго! Тутъ, вѣрно, положено еще чтонибудь, кромѣ угля. Дурень я! я и позабылъ, что теперь мнѣ все кажется тяжелѣе. Прежде, бывало, я могъ согнуть и разогнуть въ одной рукѣ мѣдный пятакъ и лошадиную подкову, а теперь мѣшковъ съ углемъ не подыму. Скоро буду отъ вѣтру валиться...“ „Нѣтъ!“ вскричалъ онъ, помолчавъ и ободрившись. „Что я за баба! Не дамъ никому смѣяться надъ собою! Хоть десять такихъ мѣшковъ—всѣ подыму“. И бодро взвалилъ себѣ на плеча мѣшки, которыхъ не понесли бы два дюжихъ человѣка. „Взять и этотъ“, продолжалъ онъ, подымая маленькій, на днѣ котораго лежалъ, свернувшись, чортъ. „Тутъ, кажется, я положилъ струментъ свой“. Сказавъ это, онъ вышелъ вонъ изъ хаты, насвистывая пѣсню:

Мини съ жинкой не возиться.

Шумнѣе и шумнѣе раздавались по улицамъ пѣсни, хохотъ⁴ и крики. Толпы толкавшагося народа были увеличены еще пришедшими изъ сосѣднихъ деревень. Парубки шалили и бѣсились въ волю. Часто, между колядками, слышалась какая-нибудь веселая

пѣсня, которую тутъ же успѣлъ сложить кто-нибудь изъ молодыхъ бозаковъ. То вдругъ одинъ изъ толпы, вмѣсто колядки, отпуская щедровку и ревъль во все горло:

Щедрикъ, ведрикъ!
 Дайте вареникъ!
 Грудочку кашки,
 Кильце ковбаски!

Хохоть награждалъ затѣйника. Маленькія окна подымались, и сухощавая рука старухи (которыя однѣ только вмѣстѣ съ степенными отцами оставались въ избахъ) высовывалась изъ окошка съ колбасою въ рукахъ или кускомъ пирога. Парубки и дѣвушки наперерывъ подставляли мѣшки и ловили свою добычу. Въ одномъ мѣстѣ парубки, зашедши со всѣхъ сторонъ, окружали толпу дѣвушекъ: шумъ, крикъ; одинъ бросалъ комомъ снѣга, другой вырывалъ мѣшокъ со всякой всячиной. Въ другомъ мѣстѣ дѣвушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и онъ летѣлъ вмѣстѣ съ мѣшкомъ стремглавъ на землю. Казалось, всю ночь напролетъ готовы были повеселиться. И ночь, какъ нарочно, такъ роскошно теплилась! И еще бѣлѣе казался свѣтъ мѣсяца отъ блеска снѣга!

Кузнецъ остановился съ своими мѣшками. Ему почудился въ толпѣ дѣвушекъ голосъ и тоненькій смѣхъ Оксаны. Всѣ жилки въ немъ вздрогнули; бросивши на землю мѣшки, такъ что находившійся на днѣ дыякъ заохалъ отъ ушибу и голова икнулъ во все горло, побрелъ онъ съ маленькимъ мѣшкомъ на плечахъ вмѣстѣ съ толпою парубковъ, шедшихъ слѣдомъ за дѣвичьей толпою, между которою ему послышался голосъ Оксаны.

„Такъ, это она! Стоитъ, какъ царица, и блеститъ черными очами. Ей рассказываетъ что-то видный парубокъ; вѣрно забавное, потому что она смѣется. Но она всегда смѣется“. Какъ будто невольно, самъ не понимая какъ, протерся кузнецъ сквозь толпу и сталъ около¹ нея.

„А, Вакула, ты тутъ! здравствуй!“ сказала красавица съ той же самой усмѣшкой, которая чуть не сводила Вакулу съ ума. „Ну, много наколядовалъ? Э, да какой маленькій мѣшокъ! А черевички, которые носить царица, досталъ? Достань черевички, выйду за тебя² замужъ!...“ И, засмѣявшись, убѣжала съ толпою дѣвушекъ³.

Какъ вкопанный. стоялъ кузнецъ на одномъ мѣстѣ. „Нѣтъ, не могу; нѣтъ силъ больше...“ произнесъ онъ наконецъ. „Но, Боже ты мой, отчего она такъ чертовски хороша? Ея взгляды, и рѣчи, и все, ну вотъ такъ и жжетъ, такъ и жжетъ... Нѣтъ, не въ мочь уже пересилить себя. Пора положить конецъ всему. Пропaday душа! Пойду утоплюсь въ пролубѣ¹, и поминай, какъ звали!“

Тутъ рѣшительнымъ шагомъ пошелъ онъ впередъ, догнавъ толпу дѣвчатъ², поравнялся съ Оксаною и сказалъ твердымъ голосомъ: „Прощай, Оксана! Ищи себѣ, какого хочешь, жениха, дурачь, кого хочешь; а меня не увидишь уже больше на этомъ свѣтѣ“.

Красавица казалась удивленною, хотѣла что-то сказать, но кузнецъ махнулъ рукою и убѣжалъ.

„Куда, Вакула?“ кричали парубки, видя бѣгущаго кузнеца.

„Прощайте, братцы!“ кричалъ въ отвѣтъ кузнецъ. „Дастъ Богъ, увидимся на томъ свѣтѣ, а на этомъ уже не гулять намъ вмѣстѣ. Прощайте! Не поминайте лихомъ! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворилъ панихиду по моей грѣшной душѣ. Свѣчей къ иконамъ Чудотворца и Божіей Матери, грѣшень, не обмалевалъ за мѣрскими дѣлами. Все добро, какое найдется въ моей скрынѣ, на церковь. Прощайте!“

Проговоривши это, кузнецъ принялся снова бѣжать съ мѣшкомъ на спинѣ.

„Онъ повредился!“ говорили парубки.

„Пропадшая душа!“ набожно пробормотала проходившая мимо старуха: „пойти рассказать, какъ кузнецъ повѣсился!“

Вакула, между тѣмъ, пробѣжавши нѣсколько улицъ, остановился перевести духъ. „Куда я въ самомъ дѣлѣ бѣгу?“ подумалъ онъ: „какъ будто уже все пропало. Попробую еще средство: пойду къ запорожцу Пузатому Пацюку. Онъ, говорятъ, знаетъ всѣхъ чертей и все сдѣлаетъ, что захочетъ. Пойду, вѣдь душѣ все же придется пропадать!“

При этомъ чортъ, который долго лежалъ безъ всякаго движенія, запрыгалъ въ мѣшкѣ отъ радости; но кузнецъ, подумавъ, что онъ какъ-нибудь зацѣпилъ мѣшокъ рукою и произвелъ самъ это движеніе, ударилъ по мѣшку дюжимъ кула-

комъ и, встряхнувъ его на плечахъ, отправился къ Пузатому Пацюку.

Этотъ Пузатый Пацюкъ былъ точно когда-то запорожцемъ; но выгнали его, или онъ самъ убѣжалъ изъ Запорожья, этого никто не зналъ. Давно уже, лѣтъ десять, а можетъ, и пятнадцать, какъ¹ онъ жилъ въ Диканькѣ. Сначала онъ жилъ, какъ настоящій запорожець: ничего не работаль, спаль три четверти дня, ѣлъ за шестерыхъ косарей, и выпиваль за однимъ разомъ² почти по цѣлому ведру; впрочемъ, было гдѣ и помѣститься, потому что Пацюкъ, не смотря на небольшой ростъ, въ ширину былъ довольно увѣсистъ. Притомъ же шаровары, которыя носилъ онъ, были такъ широки, что какой бы большой ни сдѣлалъ онъ шагъ, ногъ совершенно не было замѣтно³, и казалось, винокуренная кадъ двигалась по улицѣ. Можетъ быть, это самое подало поводъ прозвать его Пузатымъ. Не прошло нѣсколькихъ недѣль послѣ прибытія его въ село, какъ всѣ уже узнали, что онъ знахарь. Бываль ли кто боленъ чѣмъ, тотчасъ призываль Пацюка; а Пацюку стоило только пошептать нѣсколько словъ, и недугъ какъ будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшійся дворянинъ подавился рыбьей костью, Пацюкъ умѣлъ такъ искусно ударить кулакомъ въ спину, что кость отправлялась, куда ей слѣдуетъ, не причинивъ никакого вреда дворянскому горлу. Въ послѣднее время его рѣдко видали гдѣ-нибудь. Причиною этому была, можетъ быть, лѣнь, а можетъ и то, что пролѣзать въ двери дѣлалось для него съ каждымъ годомъ труднѣе. Тогда міряне должны были отправляться къ нему сами, если имѣли въ немъ нужду.

Кузнецъ не безъ робости отворилъ дверь и увидѣлъ Пацюка, сидѣвшаго на полу, по турецки, передъ небольшою кадуюшкою, на которой стояла миска съ галушками. Эта миска стояла, какъ нарочно, наравнѣ съ его ртомъ. Не подвинувшись ни однимъ пальцемъ, онъ наклонилъ слегка голову къ мискѣ и хлѣбалъ жижу, схватывая по временамъ зубами галушки.

„Нѣтъ; этотъ“, подумаль Вакула про себя, „еще лѣнивѣе Чуба: тотъ, по крайней мѣрѣ, ѣсть ложкою, а этотъ и руки не хочеть поднять!“

Пацюкъ, вѣрно, крѣпко занятъ былъ галушками, потому

что, казалось, совсѣмъ не замѣтилъ прихода кузнеца, который, едва ступивши на порогъ, отвѣсилъ ему пренизкій поклонъ.

„Я къ твоей милости пришелъ, Пацюкъ!“ сказалъ Вакула, кланяясь снова.

Толстый Пацюкъ поднялъ голову и снова началъ хлѣбать галушки.

„Ты, говорятъ, не во гнѣвъ будь сказано...“ сказалъ, собираясь съ духомъ, кузнецъ: „я веду объ этомъ рѣчь не для того, чтобы тебѣ нанести какую обиду, — приходишься немного съ родни чорту“.

Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумавъ, что выразился все еще напрямикъ и мало смягчилъ крѣпкія слова, и ожидая, что Пацюкъ, схвативши кадушку вмѣстѣ съ мискою, пошлетъ ему прямо въ голову, отсторонился немного и закрылся рукавомъ, чтобы горячая жижа съ галушекъ не обрызгала ему лица.

Но Пацюкъ взглянулъ и снова началъ хлѣбать галушки.

Ободренный кузнецъ рѣшился продолжать: „Къ тебѣ пришелъ, Пацюкъ. Дай Боже тебѣ всего, добра всякаго въ довольствіи, хлѣба въ пропорціи!“ (Кузнецъ иногда умѣлъ свернуть модное слово: въ томъ онъ понаторѣлъ въ бытность еще въ Полтавѣ, когда размалевывалъ сотнику досчатый заборъ). „Пропадать приходится мнѣ, грѣшному! Ничто не поможетъ мнѣ на свѣтѣ! Что будетъ, то будетъ. Приходится¹ просить помощи у самого чорта. Что жъ, Пацюкъ“, произнесъ кузнецъ, вида неизмѣнное его молчаніе: „какъ мнѣ быть?“

„Когда нужно чорта, то и ступай къ чорту!“ отвѣчалъ Пацюкъ, не подымая на него глазъ и продолжая убирать галушки.

„Для того то я и пришелъ къ тебѣ“, отвѣчалъ кузнецъ, отвѣшивая поклонъ: „кромѣ тебя, думаю, никто на свѣтѣ не знаетъ къ нему дороги“.

Пацюкъ ни слова, и доѣдалъ остальные галушки. „Сдѣлай милость, человекъ добрый, не откажи!“ наступалъ кузнецъ. „Свинины ли, колбасъ, муки гречневой, ну, полотна, шпена, или иного прочаго, въ случаѣ потребности... какъ обыкновенно между добрыми людьми водится... не поскупимся. Расскажи хоть, какъ, примѣрно сказать, попасть на дорогу къ нему?“

„Тому не нужно далеко ходить, у кого чортъ за плечами“,

произнесъ равнодушно Пацюкъ, не измѣняя своего положенія.

Вакула уставилъ въ него глаза, какъ будто бы на лбу его написано было изъясненіе этихъ словъ. „Что онъ говорить?“ безмолвно спрашивала его мина; а полуотверстыи ротъ готовился проглотить, какъ галушку, первое слово.

Но Пацюкъ молчалъ.

Тутъ замѣтилъ Вакула, что ни галушекъ, ни кадушки передъ нимъ не было; но вмѣсто того на полу стояли двѣ деревянныя миски: одна была наполнена варениками, другая сметаню. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. „Посмотримъ“, говорилъ онъ самъ себѣ: „какъ будетъ ѣсть Пацюкъ вареники. Наклоняться онъ, вѣрно, не захочетъ, чтобы хлебать, какъ галушки, да и нельзя: нужно вареникъ сперва обмокнуть въ сметану.“

Только что онъ успѣлъ это подумать, Пацюкъ разинулъ ротъ, поглядѣлъ на вареники и еще сильнѣе¹ разинулъ ротъ. Въ это время вареникъ выплеснулся изъ миски, шлепнулся въ сметану, перевернулся на другую сторону, подскочилъ вверхъ и какъ разъ попалъ ему въ ротъ. Пацюкъ сѣлъ и снова разинулъ ротъ, и вареникъ такимъ же порядкомъ отправился снова. На себя только принималъ онъ трудъ жевать и проглатывать.

„Вишь, какое диво!“ подумалъ кузнецъ, разинувъ отъ удивленія ротъ, и тотъ же часъ замѣтилъ, что вареникъ лѣзетъ и къ нему въ ротъ и уже вымазала губы сметаню. Оттолкнувши вареникъ и вытерши губы, кузнецъ началъ размышлять о томъ, какія чудеса бываютъ на свѣтѣ и до какихъ мудростей доводитъ человѣка нечистая сила, замѣчая притомъ, что одинъ только Пацюкъ можетъ помочь ему.

„Поклонюсь ему еще, пусть растолкуетъ хорошенько ... Однако, что за чортъ! Вѣдь сегодня *голодная кутья*, а онъ ѣстъ вареники, вареники скоромные! Что я, въ самомъ дѣлѣ, за дуракъ: стою тутъ и грѣха набираюсь! Назадъ!...“ И набожный кузнецъ опрометью выбѣжалъ изъ хаты.

Однакожь чортъ, сидѣвшій въ мѣшкѣ и заранѣ уже радовавшійся, не могъ вытерпѣть, чтобы ушла изъ рукъ его такая славная добыча. Какъ только кузнецъ опустил мѣшокъ, онъ выскочилъ изъ него и сѣлъ верхомъ ему на шею.

Морозъ подралъ по кожѣ кузнеца; испугавшись и поблѣднѣвъ, не зналъ онъ, что дѣлать; уже хотѣлъ перекреститься... Но чортъ, наклонивъ свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказалъ: „Это я, твой другъ; все сдѣлаю для товарища и друга! Денегъ дамъ, сколько хочешь“, пискнулъ онъ ему въ лѣвое ухо. „Оксана будетъ сегодня же наша“, шепнулъ онъ, заворотивши свою морду снова на правое ухо. Кузнецъ стоялъ, размышляя.

„Изволь“, сказалъ онъ наконецъ: „за такую цѣну готовъ быть твоимъ!“

Чортъ всплеснулъ руками и началъ отъ радости галопировать на шеѣ кузнеца. „Теперь-то попался кузнецъ!“ думалъ онъ про себя: „теперь-то вымещу я на тебѣ, голубчикъ, всѣ твои малеванья и небылицы, взводимыя на чертей! Что теперь скажутъ мои товарищи, когда узнаютъ, что самый набожнѣйшій изъ всего села человекъ въ моихъ рукахъ?“

Тутъ чортъ засмѣялся отъ радости, вспомнивши, какъ будетъ дразнить въ адѣ все хвостатое племя, какъ будетъ бѣситься хромой чортъ, считавшійся между ними первымъ на выдумки!

„Ну, Вакула!“ пропищала чортъ, все также, не слѣзая съ шеи, какъ бы опасаясь, чтобы онъ не убѣжалъ: „ты знаешь, что безъ контракта ничего не дѣлаютъ“.

„Я готовъ!“ сказалъ кузнецъ. „У васъ, я слышалъ, росписываются кровью; постой же, я достану въ карманѣ гвоздь!“

Тутъ онъ заложилъ назадъ руку — и хватъ чорта за хвостъ.

„Вишь, какой шутникъ!“ закричала, смѣясь, чортъ: „ну, полно, довольно уже шалить!“

„Постой, голубчикъ!“ закричала кузнецъ. „А вотъ это какъ тебѣ покажется?“ При этомъ словѣ онъ сотворилъ крестъ, и чортъ сдѣлался такъ тихъ, какъ ягненокъ. „Постой же“, сказалъ онъ, стаскивая его за хвостъ на землю: „будешь ты у меня знать подучивать на грѣхи добрыхъ людей и честныхъ христіанъ“.

Тутъ кузнецъ вскочилъ на него верхомъ и поднялъ руку для крестнаго знаменія.

„Помилуй, Вакула!“ жалобно простоналъ чортъ: „все, что для тебя нужно, все сдѣлаю; отпусти только душу на покаянье: не клади на меня страшнаго креста!“

„А, вотъ какимъ голосомъ запѣлъ, нѣмецъ проклятый! Те-

перь я знаю. что мнѣ дѣлать. Вези меня сей же часъ на себѣ! Слышишь? Да несись, какъ птица!“

„Куда?“ произнесъ печальный чортъ.

„Въ Петембургъ¹, прямо къ царицѣ!“ И кузнецъ обомлѣлъ отъ страха, чувствуя себя поднимающимся на воздухъ.

Долго стояла Оксана, раздумывая о странныхъ рѣчахъ кузнеца. Уже внутри ея что-то говорило, что она слишкомъ жестоко поступила съ нимъ. „Что, если онъ въ самомъ дѣлѣ рѣшится на что-нибудь страшное? Чего добраго! Можетъ быть, онъ съ горя вздумаетъ влюбиться въ другую, и съ досады станетъ называть ее первою красавицею на селѣ? Но нѣтъ, онъ меня любитъ. Я такъ хороша! Онъ меня ни за что не промѣняетъ; онъ шалить, прикидывается. Не пройдетъ минутъ десяти, какъ онъ, вѣрно, придетъ поглядѣть на меня. Я, въ самомъ дѣлѣ, сурова. Нужно ему дать, какъ будто нехотя, поцѣловать себя. То-то онъ обрадуется!“ И вѣтреная красавица уже шутила съ своими подругами.

„Постойте“, сказала одна изъ нихъ: „кузнецъ позабылъ мѣшки свои; смотрите, какіе страшные мѣшки! Онъ не по нашему наколядовалъ; я думаю, сюда по цѣлой четверти барана кдади; а колбасамъ и хлѣбамъ, вѣрно, счету нѣтъ. Роскошь! цѣлые праздники можно объѣдаться“.

„Это кузнецовы мѣшки?“ подхватила Оксана: „утащимъ скорѣе ихъ хоть² ко мнѣ въ хату и разглядимъ хорошенько, что онъ сюда накласть“³.

Всѣ со смѣхомъ одобрили такое предложеніе.

„Но мы не поднимемъ ихъ!“ закричала вся толпа вдругъ, слясь сдвинуть мѣшки.

„Постойте“, сказала Оксана: „побѣжимъ скорѣе за санками и отвеземъ на санкахъ!“

И толпа побѣжала за санками.

Плѣнникамъ сильно прискучило сидѣть въ мѣшкахъ, не смотря на то, что дыякъ проткнулъ для себя пальцемъ порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, можетъ быть, онъ нашелъ бы средство и вылѣзть; но вылѣзть изъ мѣшка при всѣхъ, показать себя на смѣхъ... это удерживало его, и онъ рѣшился ждать,

слегка только побряхтывая под невѣжливыми сапогами Чуба. Чубъ самъ не менѣе желать свободы, чувствуя, что подъ нимъ лежитъ что-то такое, на чемъ сидѣть страхъ было неловко. Но, какъ скоро услышалъ рѣшеніе своей дочери, успокоился и не хотѣлъ уже вылѣзть, разсуждая, что къ хатѣ своей нужно пройти; по крайней мѣрѣ, шаговъ съ сотню, а можетъ быть, и другую; вылѣзши же, нужно оправиться, застегнуть кожухъ, подвязать поясъ — сколько работы! да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучше дѣвчата доvezутъ на санкахъ.

Но случилось совсѣмъ не такъ, какъ ожидалъ Чубъ. Въ то время, когда дѣвчата убѣжали за санками, худощавый кумъ выходилъ изъ шинка разстроенный и не въ духѣ. Шинкарка никакимъ образомъ не рѣшалась ему вѣрить въ долгъ. Онъ хотѣлъ было дожидаться въ шинкѣ¹, авось либо придетъ какой-нибудь набожный дворянинъ и попотчуетъ его; но, какъ нарочно, всѣ дворяне оставались дома и, какъ честные христіане, ѣли кутью посреди своихъ домашнихъ. Размышляя о развращеніи нравовъ и о деревянномъ сердцѣ жидовки, продающей вино, кумъ набрелъ на мѣшки и остановился въ изумленіи. „Вишь, какіе мѣшки кто-то бросилъ на дорогѣ!“ сказалъ онъ, осматриваясь по сторонамъ. „Должно быть, тутъ и свинина есть. Полѣзло же кому-то счастье наколадовать столько всякой всячины! Экіе страшные мѣшки! Положимъ, что они набиты гречаниками да коржами, и то *добре*; хотя бы были тутъ однѣ паланицы, и то *въ шмакъ*: жидовка за каждую паланицу даетъ осьмуху водки. Утащить скорѣе, чтобы кто не увидѣлъ.“

Тутъ взвалилъ онъ себѣ на плечи мѣшонокъ съ Чубомъ и дьякомъ, но почувствовалъ, что онъ слишкомъ тяжелъ. „Нѣтъ, одному будетъ тяжело несть“, проговорилъ онъ. „А вотъ, какъ нарочно, идетъ ткачъ Шапуваленко. Здравствуй, Остапъ!“

„Здравствуй“, сказалъ, остановившись, ткачъ.

„Куда идешь?“

„А такъ; иду, куда ноги идутъ“.

„Помоги, человекъ добрый, мѣшки снести! Кто-то коладоваль, да и кинулъ посреди дороги. Добромъ раздѣлимся пополамъ“.

„Мѣшки? а съ чѣмъ мѣшки: съ книшами или паланицами?“

„Да, думаю, всего есть.“

Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мѣшокъ и понесли на плечахъ.

„Куда жъ мы понесемъ его? въ шинокъ?“ спросилъ дорожную ткачъ.

„Оно бы и я такъ думалъ, чтобы въ шинокъ; да¹ вѣдь проклятая жидовка не повѣритъ, подумаетъ еще, что гдѣ-нибудь украли; къ тому же я только что изъ шинка. Мы отнесемъ его въ мою хату. Намъ никто не помѣшаетъ: жинки нѣтъ дома.“

„Да точно ли ея нѣтъ дома?“ спросилъ осторожный ткачъ.

„Слава Богу, мы не совѣмъ еще безъ ума“, сказалъ кумъ: „чортъ ли бы принесъ меня туда, гдѣ она. Она, думаю, протаскается съ бабами до свѣта.“

„Кто тамъ?“ закричала кумова жена, услышавъ шумъ въ сѣняхъ, произведенный приходомъ двухъ пріятелей съ мѣшкомъ, и отворяя дверь хаты².

Кумъ остолбенѣлъ.

„Вотъ тебѣ на!“ произнесъ ткачъ, опуствя руки.

Кумова жена была такого рода сокровище, какихъ не мало на бѣломъ свѣтѣ³. Такъ же, какъ и ея мужъ, она почти никогда не сидѣла дома, и почти весь день пресмыкалась у кумушекъ и зажиточныхъ старухъ, хвалила и ѣла съ большимъ аппетитомъ и дралась только по утрамъ съ своимъ мужемъ, потому что въ это только время и видѣла его иногда. Хата ихъ была вдвое старѣе шароваръ волостнаго писаря; крыша въ нѣкоторыхъ мѣстахъ была безъ соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякій, выходявшій изъ дому, никогда не бралъ палки для собакъ, въ надеждѣ, что будетъ проходить мимо кумова огорода и выдернетъ любую изъ его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что ни запрашивала нѣжная супруга у добрыхъ людей, прятала какъ можно подалѣе отъ своего мужа, и часто самоуправно отнимала у него добычу, если только⁴ онъ не успѣвалъ ее пропить въ шинкѣ. Кумъ, не смотря на всегдашнее хладнокровіе, не любилъ уступать ей, и оттого почти всегда уходилъ изъ дому съ фонарями подъ обоими глазами, а дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкамъ о безчинствѣ своего мужа и о претерпѣнныхъ ею отъ него побояхъ.

Теперь можно себѣ представить, какъ были озадачены

ткачъ и кумъ такимъ неожиданнымъ явленіемъ. Опустивши мѣшокъ, они заступили его собою и закрыли полами; но уже было поздно: кумова жена, хотя и дурно видѣла старыми глазами, однакожь мѣшокъ замѣтила. „Вотъ это хорошо!“ сказала она съ такимъ видомъ, въ которомъ замѣтна была радость ястреба. „Это хорошо, что наколядовали столько! Вотъ такъ всегда дѣлаютъ добрые люди; только нѣтъ, я думаю, гдѣ-нибудь поддѣпили. Покажите мнѣ сейчасъ, слышите, покажите сей же часъ мѣшокъ вашъ!“

„Тысый чортъ тебѣ покажетъ, а не мы“, сказали, присонаясь, кумъ.

„Тебѣ какое дѣло?“ сказалъ ткачъ: „мы наколядовали, а не ты“.

„Нѣтъ, ты мнѣ покажешь, негодный пьяница!“ вскричала жена, ударивъ высокаго кума кулакомъ въ подбородокъ и продираясь къ мѣшку.

Но ткачъ и кумъ мужественно отстояли мѣшокъ и заставили ее попятиться назадъ. Не успѣли они оправиться, какъ супруга выбѣжала въ сѣни уже съ кочергою въ рукахъ. Проворнохватила кочергою мужа по рукамъ, ткача по спинѣ и уже стояла возлѣ мѣшка.

„Что мы допустили ее?“ сказалъ ткачъ, очнувшись.

„Э, что мы допустили! А отчего ты допустилъ?“ сказалъ хладнокровно кумъ.

„У васъ кочерга, видно, желѣзная!“ сказалъ послѣ небольшого молчанія ткачъ, почесывая спину. „Моя жинка купила прошлый годъ на армаркѣ кочергу, дала пивкопы: та ничего... не больно...“

Между тѣмъ торжествующая супруга, поставивъ на полъ каганецъ, развязала мѣшокъ и заглянула въ него.

Но, вѣрно, старые глаза ея, которые такъ хорошо увидѣли мѣшокъ, на этотъ разъ обманулись. „Э, да тутъ лежить цѣлый кабанъ!“ вскрикнула она, всплеснувъ отъ радости въ ладоши.

„Кабанъ! Слышишь: цѣлый кабанъ!“ толкала ткачъ кума: „а все ты виновать!“

„Что жъ дѣлать!“ произнесъ, пожимая плечами, кумъ.

„Какъ что? чего мы стоимъ? Отнимемъ мѣшокъ! Ну, при ступай!“

„Пошла прочь! пошла! Это нашъ кабанъ!“ кричалъ, выступая, ткачъ.

„Ступай, ступай, чортова баба! Это не твое добро!“ говорилъ, приближаясь, кумъ.

Супруга принялась снова за кочергу, но Чубъ въ это время выльзъ изъ мѣшка и сталъ посерединѣ сѣней, потягиваясь, какъ человѣкъ, только что пробудившійся отъ долгаго сна.

Кумова жена вскрикнула, ударивши объ полы руками, и всѣ невольно разинули рты.

„Что жъ она, дура, говорить: кабанъ! Это не кабанъ!“ сказалъ кумъ, выпучивъ глаза.

„Вишь, какого человѣка кинуло въ мѣшокъ!“ сказалъ ткачъ, пятаясь отъ испугу. „Хоть, что хочешь, говори, хоть тресни, а не обошлось безъ нечистой силы. Вѣдь онъ не прользетъ въ окошко!“

„Это кумъ!“ вскрикнулъ, взглянувъ на кумъ.

„А ты думалъ кто?“ сказалъ Чубъ, усмѣхаясь. „Что, славную я выкинулъ надъ вами штуку? А вы, небось, хотѣли меня съѣсть вмѣсто свинины? Пойдите¹ же, я васъ порадую: въ мѣшкѣ лежитъ еще что-то, если не кабанъ, то навѣрно поросенокъ или иная живность. Подо мною безпрестанно что-то шевелилось“.

Ткачъ и кумъ кинулись къ мѣшку, хозяйка дома уцѣпилась съ противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы самъ² дьякъ, увидѣвши теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался изъ мѣшка.

Кумова жена, остолбенѣвъ, выпустила изъ рукъ³ ногу, за которую начали было тянуть дьяка изъ мѣшка.

„Вотъ и другой еще!“ вскрикнулъ со страхомъ ткачъ. „Чортъ знаетъ, какъ стало на свѣтѣ... Голова идетъ кругомъ... Не колбасъ и не паляницъ, а людей кидаютъ въ мѣшки!“

„Это дьякъ!“ произнесъ, изумившійся⁴ болѣе всѣхъ, Чубъ. „Вотъ тебѣ на! ай да Солоха! Посадить въ мѣшокъ... То-то я гляжу, у нея полная хата мѣшковъ... Теперь я все знаю: у нея въ каждомъ мѣшкѣ сидѣло по два человѣка. А я думалъ, что она только мнѣ одному... Вотъ тебѣ и Солоха!“

Дѣвушки немного удивились, не найдя одного мѣшка.

„Нечего дѣлать, будетъ съ насъ и этого“, лепетала Оксана.

Всѣ принялись за мѣшокъ и взвалили его на санки.

Голова рѣшился молчать, разсуждая, что если онъ закричитъ, чтобы его выпустили и развязали мѣшокъ, глушныя дѣвчата разбѣгутся: подумаютъ, что въ мѣшкѣ сидитъ дьяволь, — и онъ останется на улицѣ, можетъ быть, до завтра¹.

Дѣвушки, между тѣмъ, дружно взявшись за руки, полетѣли, какъ вихорь, съ санками по скрыпучему снѣгу. Многія изъ нихъ², шая, сѣли на санки; другія взбирались даже³ на самого голову. Голова рѣшился сносить все.

Наконецъ прѣехали, отворили настежь двери въ сѣняхъ и хатѣ, и съ хохотомъ втащили мѣшокъ.

„Посмотримъ, что-то лежитъ тутъ“, закричали всѣ, бросившись развязывать.

Тутъ икота, которая не переставала мучить голову во все время сидѣнія его въ мѣшкѣ, такъ усилилась, что онъ началъ икать и кашлять во все горло.

„Ахъ, тутъ сидитъ кто-то!“ закричали всѣ и въ испугѣ бросились вонъ изъ дверей.

„Что за чортъ! куда вы мечетесь, какъ угорѣлыя?“ сказала, входя въ дверь, Чубъ.

„Ай, батько!“ произнесла Оксана: „въ мѣшкѣ сидитъ кто-то!“

„Въ мѣшкѣ? Гдѣ вы взяли этотъ мѣшокъ?“

„Кузнецъ бросилъ его посреди дороги“, сказали всѣ вдругъ.

„Ну, такъ; не говорилъ ли я?...“ подумалъ про себя Чубъ.

„Чего жъ вы испугались? посмотримъ. — А ну-ка, чоловіче, — прошу не погнѣвиться, что не называемъ по имени и отчеству, — вылѣзай изъ мѣшка!“

Голова вылѣзъ.

„Ахъ!“ вскрикнули дѣвушки.

„И голова влѣзъ туда жъ“, говорилъ про себя Чубъ въ недоумѣніи, мѣряя его съ головы до ногъ. „Вишь какъ!... Э!...“ Болѣе онъ ничего не могъ сказать.

Голова самъ былъ не меньше смущенъ и не зналъ, что начать. „Должно быть, на дворѣ холодно?“ сказалъ онъ, обращаясь къ Чубу.

„Морозецъ есть“, отвѣчалъ Чубъ. „А позволь спросить тебя: чѣмъ ты смазываешь свои сапоги, смальцемъ или дегтемъ?“ Онъ хотѣлъ не то сказать; онъ хотѣлъ спросить:

„какъ ты, голова, залѣзь въ этотъ мѣшокъ?“ но самъ не понималъ, какъ выговорилъ совершенно другое.

„Дегтемъ лучше“, сказалъ голова. „Ну, прощай, Чубъ!“ И, нахлобучивъ капелюхи, вышелъ изъ хаты.

„Для чего спросилъ я съ дуру, чѣмъ онъ мажетъ сапоги!“ произнесъ Чубъ, поглядывая на двери, въ которыя вышелъ голова. „Ай да Солоха! эдакого человѣка засадить въ мѣшокъ!... Вишь, чортова баба! А я дуракъ... Да гдѣ же тотъ проклятый мѣшокъ?“

„Я кинула его въ уголь, тамъ больше ничего нѣтъ“, сказала Оксана.

„Знаю я эти штуки, ничего нѣтъ! Подайте его сюда: тамъ еще одинъ сидитъ! Встряхните его хорошенько... Чтò, нѣтъ? Вишь, проклятая баба! А поглядѣть на нее — какъ святая¹, какъ будто и скоромнаго никогда не брала въ ротъ!...“

Но оставимъ Чуба изливать на досугъ свою досаду и возвратимся къ кузнецу, потому что уже на дворѣ, вѣрно, есть часъ девятый.

Сначала страшно показалось Вакулѣ, особливо² когда поднялся онъ отъ земли на такую высоту³, что ничего уже не могъ видѣть внизу, и пролетѣлъ, какъ муха, подъ самымъ мѣсяцемъ, такъ что, если бы не наклонился немного, то зацѣпить бы его шапкою. Однакожъ, немного⁴ спустя, онъ ободрился и уже сталъ подшучивать надъ чортомъ. [Его забавляло до крайности, какъ чортъ чихалъ и кашлялъ, когда онъ снималъ съ шен кипарисный крестикъ и подносилъ къ нему. Нарочно поднималъ онъ руку почесать голову, а чортъ, думая, что его собираются крестить, летѣлъ еще быстрее.]⁵ Все было свѣтло въ вышинѣ. Воздухъ, въ легкомъ серебряномъ туманѣ, былъ прозраченъ. Все было видно, и даже можно было замѣтить, какъ вихремъ пронесся мимо ихъ, сидя въ горшкѣ, колдунъ; какъ звѣзды, собравшись въ кучу, играли въ жмурки; какъ клубился въ сторонѣ, облакомъ⁶, цѣлый рой духовъ; какъ плясавшій при мѣсяцѣ чортъ снялъ шапку, увидѣвши кузнеца, скачущаго верхомъ; какъ летѣла возвращавшаяся назадъ метла, на которой, видно, только-что съѣздила. куда нужно, вѣдьма... Много еще дрянн встрѣчали они. Все видя кузнеца, на мнѣту останавливалось поглядѣть на него,

и потомъ снова неслоь далѣе и продолжало свое; кузнецъ все летѣлъ, и вдругъ заблестѣлъ передъ нимъ Петербургъ весь въ огнѣ. (Тогда была по какому-то случаю иллюминація.) Чортъ, перелетѣвъ черезъ шлагбаумъ, оборотился въ коня. и кузнецъ увидѣлъ себя на лихомъ бѣгунѣ среди улицы.

Боже мой! стукъ, громъ, блескъ; по обѣимъ сторонамъ громоздятся четырехъ-этажныя стѣны; стукъ конскихъ копытъ и колесъ отзывался громомъ и отдавался съ четырехъ сторонъ¹; дома росли и будто подымались изъ земли на каждомъ шагѣ; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, фореиторы кричали; свѣтъ свистѣлъ подъ тысячью летящихъ со всѣхъ сторонъ саней; пѣшеходы жались и тѣснились подъ домами, униженными плошками, и огромныя тѣни ихъ мелькали по стѣнамъ, досягая головою трубъ и крышъ.

Съ изумленіемъ оглядывался кузнецъ на всѣ стороны. Ему казалось, что всѣ дома устремили на него свои безчисленныя огненные очи и глядѣли. Господь, въ крытыхъ сукномъ шубахъ, онъ увидѣлъ такъ много, что не зналъ, кому шапку снимать. „Боже ты мой, сколько тутъ панства!“ подумалъ кузнецъ. „Я думаю, каждый, кто ни пройдетъ по улицѣ въ шубѣ, то и засѣдатель, то и засѣдатель! А тѣ, что катаются въ такихъ чудныхъ бричкахъ со стеклами, тѣ, когда не городничіе, то вѣрно комиссары, а, можетъ, еще и больше“. Его слова прерваны были вопросомъ чорта: „Прямо ли ѣхать къ царицѣ?“ — „Нѣтъ, страшно“, подумалъ кузнецъ. „Тутъ, гдѣ-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проѣзжали осенью чрезъ Диканьку. Они ѣхали изъ Сѣчи съ бумагами къ царицѣ; все бы таки посовѣтоваться съ ними. Эй, сатана! полѣзай ко мнѣ въ карманъ, да веди къ запорожцамъ!“

И² чортъ въ одну минуту похудѣлъ и сдѣлался такимъ маленькимъ, что безъ труда влѣзъ къ нему въ карманъ. А Вакула не успѣлъ оглянуться, какъ очутился передъ большимъ домомъ, взошелъ, самъ не зная какъ, на лѣстницу, отворилъ дверь и подался немного назадъ отъ блеска, увидѣвши убранную комнату; но немного ободрился, узнавши тѣхъ самыхъ запорожцевъ, которые проѣзжали черезъ Диканьку, а теперь сидѣли на шелковыхъ диванахъ, поджавши подъ себя намазанные дегтемъ сапоги, и курили самый крѣпкій табакъ³, называемый обыкновенно корешками.

„Здравствуйте, панове! Помогай Богъ вамъ, вотъ гдѣ увидѣлись!“ сказалъ кузнецъ, подошедши близко¹ и отвѣсивши поклонъ до земли.

„Что тамъ за человѣкъ?“ спросилъ сидѣвшій передъ самымъ кузнецомъ другаго, сидѣвшаго подалѣе.

„А вы не узнали?“ сказалъ кузнецъ. „Это я, Вакула, кузнецъ! Когда проѣзжали осенью черезъ Диканьку, то прогостили, дай Боже вамъ всякаго здоровья и долголѣтія, у меня² безъ малаго два дни. И³ новую шину тогда поставилъ на переднее колесо у⁴ вашей кибитки!“

„А!“ сказалъ тотъ же запорожець: „это тотъ самый кузнецъ, который малюетъ важно. Здорово, землякъ! Зачѣмъ тебя Богъ принесъ!“

„А такъ, захотѣлось поглядѣть; говорятъ...“

„Что жъ, землякъ“, сказалъ, пріосанясь, запорожець, и желая показать, что онъ можетъ говорить и по русски: „што, балшой городъ?“

Кузнецъ и себя не хотѣлъ осрамить⁵ и показаться новичкомъ, притомъ же, какъ имѣли случай видѣть выше сего, онъ зналъ и самъ грамотный языкъ. „Губернія⁶ знатная!“ отвѣчалъ онъ равнодушно: „нечего сказать, дома балшущіе, картины висятъ скрозь важныя⁷. Многіе дома исписаны буквами изъ сусальнаго золота до чрезвычайности. Нечего. сказать, чудная пропорція!“

Запорожцы, услышавши кузнеца, такъ свободно изъясняющагося, вывели заключеніе, очень для него выгодное.

„Послѣ потолкуемъ съ тобою, землякъ, побольше: теперь же мы ѣдемъ сейчасъ до царицы“⁷.

„До царицы“⁸? А будьте ласковы, панове, возьмите и меня съ собою!“

„Тебя?“ произнесъ запорожець съ такимъ видомъ, съ какимъ говоритъ дядька четырехлѣтнему своему воспитаннику, который проситъ посадить его на настоящую, на большую лошадь. „Что ты будешь тамъ дѣлать? Нѣтъ, не можно“. — При этомъ на лицѣ его выразилась значительная мина. „Мы, братъ, будемъ съ царицею толковать про свое“.

„Возьмите!“ настаивалъ кузнецъ. „Проси!“ шепнулъ онъ тихо чорту, ударивъ кулакомъ по карману.

Не успѣлъ онъ этого сказать, какъ другой запорожець проговорилъ: „Возьмемъ его, въ самомъ дѣлѣ, братцы!“

„Пожалуй, возьмемъ!“ произнесли другіе.

„Надѣвай же платье такое, какъ и мы“.

Кузнецъ схватился натянуть на себя зеленый жупанъ, какъ вдругъ дверь отворилась и вошедшій съ позументами человекъ сказалъ, что пора ѣхать.

Чудно снова показалось кузнецу, когда понесся онъ въ огромной каретѣ, качаясь на рессорахъ, когда съ обѣихъ сторонъ мимо его бѣжали назадъ четырехъ-этажные дома, и мостовая, гремя, казалось, сама катилась подъ ноги лошадамъ.

„Боже ты мой, какой свѣтъ!“ думалъ про себя кузнецъ: „у насъ днемъ не бываетъ такъ свѣтло“.

Кареты остановились передъ дворцомъ. Запорожцы вышли, вступили въ великолѣпныя сѣни и начали подыматься на блистательно освѣщенную лѣстницу.

„Что за лѣстница!“ шептала про себя кузнецъ: „жалъ ногами топтать. Экія украшенія! Вотъ, говорятъ: лгутъ сказки! Кой чортъ лгутъ! Боже ты мой! что за перила! Какая работа! Тутъ одного желѣза рублей на пятьдесятъ пошло!“

Уже взобравшись на лѣстницу, запорожцы прошли первую залу. Робко слѣдовалъ за ними кузнецъ, опасаясь на каждомъ шагѣ поскользнуться на паркетѣ. Прошли три залы, кузнецъ все еще не переставалъ удивляться. Вступивши въ четвертую, онъ невольно подошелъ къ висѣвшей на стѣнѣ картинѣ. Это была Пречистая Дѣва съ Младенцемъ на рукахъ.

„Что за картина! что за чудная живопись!“ разсуждалъ онъ. „Вотъ, кажется, говорить! кажется, живая! А Дитя Святое! и ручки прижало, и усмѣхается, бѣдное! А краски! Боже ты мой, какія краски! Тутъ вохры, я думаю, и на копѣйку не пошло, все яръ да баканъ. А голубая такъ и горитъ! Важная работа! Должно быть, грунтъ наведенъ былъ самымъ дорогимъ¹ блейвасомъ. Сколь однакожь ни удивительно сіе малеваніе², но эта мѣдная ручка“, продолжалъ онъ, подходя къ двери и щупая замокъ: „еще большаго достойна удивленія. Экъ какая чистая выдѣлка! Это всё, я думаю, нѣмецкіе кузнецы, за самыя дорогія цѣны, дѣлали...“

Можетъ быть, долго еще бы разсуждалъ кузнецъ, если бы лакей съ галунами не толкнулъ его подъ руку и не напомнилъ, чтобы онъ не отставалъ отъ другихъ. Запорожцы прошли еще двѣ залы и остановились. Тутъ велѣно имъ было дожидаться.

Въ залѣ толпилось нѣсколько генераловъ въ шитыхъ золотомъ мундирахъ. Запорожцы поклонились на всѣ стороны и стали въ кучу.

Минуту спустя, вошелъ, въ сопровожденіи цѣлой свиты, величественнаго роста, довольно плотный человекъ въ гетьманскомъ мундирѣ, въ желтыхъ сапожкахъ. Волосы на немъ были растрепаны, одинъ глазъ немного кривъ, на лицѣ изображалась какая-то надменная величавость, во всѣхъ движеніяхъ видна была привычка повелѣвать. Всѣ генералы, которые расхаживали довольно спѣсиво въ золотыхъ мундирахъ, засуетились и съ низкими поклонами, казалось, ловили каждое его слово и даже малѣйшее движеніе, чтобы сейчасъ летѣть выполнять его. Но гетьманъ не обратилъ даже и вниманія на все это, едва кивнулъ головою и подошелъ къ запорожцамъ.

Запорожцы всѣ отвѣсили поклонъ въ ноги.

„Всѣ ли вы здѣсь?“ спросилъ онъ протяжно, произнося слова немного въ носъ.

„Та вси, батько!“ отвѣчали запорожцы, кланаясь снова.

„Не забудьте говорить такъ, какъ я васъ училъ!“

„Нѣтъ, батько, не позабудемъ“.

„Это царь?“ спросилъ кузнецъ одного изъ запорожцевъ.

„Куда тебѣ царь! это самъ Потемкинъ“, отвѣчалъ тотъ.

Въ другой комнатѣ слышались голоса, и кузнецъ не зналъ, куда дѣть свои глаза отъ множества вошедшихъ дамъ, въ атласныхъ платьяхъ, съ длинными хвостами, и придворныхъ въ шитыхъ золотомъ кафтанахъ и съ пучками назади. Онъ только видѣлъ одинъ блескъ и больше ничего.

Запорожцы вдругъ всѣ пали на землю и закричали въ одинъ голосъ: „Помилуй, мамо! помилуй!“

Кузнецъ, не видя ничего, растянулся и самъ, со всѣмъ усердіемъ, на полу.

„Встаньте!“ прозвучалъ надъ ними повелительный и вмѣстѣ пріятный голосъ. Нѣкоторые изъ придворныхъ засуетились и толкали запорожцевъ.

„Не встанемъ, мамо! не встанемъ! Умремъ¹, а не встанемъ!“ кричали запорожцы.

Потемкинъ кусалъ себѣ губы; наконецъ подошелъ самъ и повелительно шепнулъ² одному изъ запорожцевъ. Запорожцы поднялись.

Тутъ осмѣлился и кузнецъ поднять голову и увидѣлъ стояв-шую передъ собою небольшого роста женщину, нѣсколько даже дородную, напудренную, съ голубыми глазами и вмѣстѣ съ тѣмъ величественно улыбающимся видомъ, который такъ умѣлъ покорять себѣ все и могъ только принадлежать одной царствующей женщинѣ.

„Свѣтлѣйшій обѣщаль меня познакомить сегодня съ моимъ народомъ, котораго я до сихъ поръ еще не видала“, говорила дама съ голубыми глазами, разсматривая съ любопытствомъ запорожцевъ. „Хорошо ли васъ здѣсь содержать?“ продолжала она, подходя ближе.

„*Та спасибѣ, мамо!* Провіантъ даютъ хорошій, хотя бараны здѣшніе совсѣмъ не то, что у насъ на Запорожьѣ. — почему жъ не жить какъ-нибудь?...“

Потемкинъ поморщился, вида, что запорожцы говорятъ совершенно не то, чему онъ ихъ училъ...

Одинъ изъ запорожцевъ, пріосанясь, выступилъ впередъ: „Помилуй, мамо! Чѣмъ тебя твой вѣрный народъ прогнѣвилъ? Развѣ держали мы руку погананаго татарина; развѣ соглашались въ чемъ-либо съ турчиномъ; развѣ измѣнили тебѣ дѣломъ или помышленіемъ? За что жъ немилость? Прежде слышали мы, что приказываешь вездѣ строить крѣпости отъ насъ; послѣ слышали, что хочешь *поворотить въ карабинеры*; теперь слышимъ новыя напасти. Чѣмъ виновато запорожское войско? Тѣмъ ли, что перевело твою армію чрезъ Перекопъ и помогло твоимъ енераламъ порубать крымцевъ?...“

Потемкинъ молчалъ и небрежно чистилъ небольшою щеточкою свои брилліанты, которыми были унижены его руки.

„Чего же хотите вы?“ заботливо спросила Екатерина.

Запорожцы значительно взглянули другъ на друга.

„Теперь пора! царица спрашиваетъ, чего хотите!“ сказалъ самъ себѣ кузнецъ и вдругъ повалился на землю.

„Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать! Изъ чего, не во гнѣвъ будь сказано вашей царской милости, сдѣланы черевички, что на ногахъ вашихъ? Я думаю, ни одинъ швецъ, ни въ одномъ государствѣ на свѣтѣ, не сдумѣетъ такъ сдѣлать. Боже ты мой, что если бы моя жинка надѣла такіе черевички!“

Государыня засмѣялась. Придворные засмѣялись тоже. По-

темкинъ и хмурился, и улыбался вмѣстѣ. Запорожцы начали толкать подъ руку кузнеца, думая, не съ ума ли онъ сошелъ.

„Встань!“ сказала ласково государыня. „Если такъ тебѣ хочется имѣть такіе башмаки, то это не трудно сдѣлать. Принесите ему сей же часъ башмаки самыя дорогіе, съ золотомъ! Право, мнѣ очень нравится это простодушіе! Вотъ вамъ“, продолжала государыня, устремивъ глаза на стоявшаго подалѣе отъ другихъ господина, съ полнымъ, но нѣсколько блѣднымъ лицомъ, котораго скромный кафтанъ съ большими перламутровыми пуговицами показывалъ, что онъ не принадлежалъ къ числу придворныхъ: „предметъ, достойный остроумнаго пера вашего!“

„Вы, ваше императорское величество, слишкомъ милостивы. Тутъ нужень, по крайней мѣрѣ, Лафонтенъ!“ отвѣчалъ, поклонясь, человѣкъ¹ съ перламутровыми пуговицами.

„По чести скажу вамъ: я до сихъ поръ безъ памяти отъ вашего „Бригадира“. Вы удивительно хорошо читаете! Однакожь“, продолжала государыня, обращаясь снова къ запорожцамъ: „я слышала, что на Сѣчѣ у васъ никогда не женятся“.

„*Акъ же, мамо!* Вѣдь человѣку, сама знаешь, безъ жинки нельзя жить“, отвѣчалъ тотъ самый запорожець, который разговаривалъ съ кузнецомъ, и кузнецъ удивился, слыша, что этотъ запорожець, зная такъ хорошо грамотный языкъ, говоритъ съ царицею, какъ будто нарочно, самымъ грубымъ, обыкновенно называемымъ мужицкимъ нарѣчіемъ. „Хитрый народъ!“ подумалъ онъ самъ въ себѣ: „вѣрно, не даромъ онъ это дѣлаетъ“.

„Мы не чернецы“, продолжалъ запорожець, „а люди грѣшныя. Падки, какъ и все честное христіанство, до скоромнаго. Есть у насъ не мало такихъ, которые имѣютъ женъ, только не живутъ съ ними на Сѣчѣ. Есть такіе, что имѣютъ женъ въ Польшѣ; есть такіе, что имѣютъ женъ въ Украинѣ; есть такіе, что имѣютъ женъ и въ Турецинѣ“.

Въ это время кузнецу принесли башмаки.

„Боже ты мой, что за украшеніе!“ вскрикнулъ онъ радостно, ухвативъ башмаки. „Ваше царское величество! что жъ, когда башмаки такіе на ногахъ, и въ нихъ, чайтельно, ваше благородіе, ходите и на ледъ *ковзаться*, какія жъ должны быть самыя ножки? Думаю, по малой мѣрѣ, изъ чистаго сахара“.

Государыня, которая точно имѣла самыя стройныя и прелестныя ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплиментъ изъ устъ простодушнаго кузнеца, который въ своемъ запорожскомъ платьѣ могъ почесться красавцемъ, не смотря на смуглое лицо.

Обрадованный такимъ благосклоннымъ вниманіемъ, кузнецъ уже хотѣлъ было разспросить хорошенько царицу обо всемъ: правда ли, что цари ѣдятъ одинъ только медъ да сало, и тому подобное; но почувствовавъ, что запорожцы толкаютъ его подъ бока, рѣшился замолчать. И, когда государыня, обратившись къ старикамъ, начала разспрашивать, какъ у нихъ живутъ на Сѣчѣ, какіе обычаи водятся, онъ, отошедши назадъ, нагнулся къ карману, сказала тихо: „выноси меня отсюда скорѣй!“ и вдругъ очутился за шлагбаумомъ.

„Утонулъ! ей Богу, утонулъ! Вотъ, чтобы я не сошла съ этого мѣста, если не утонулъ!“ лепетала толстая ткачиха, стоя въ кучѣ Диканскихъ бабъ, посерединѣ улицы.

„Что жъ, развѣ я лгунья какая? Развѣ я у кого-нибудь корову украла? Развѣ я сглазила кого, что ко мнѣ не имѣютъ вѣры?“ кричала баба въ козацкой свиткѣ съ фіолетовымъ носомъ, размахивая руками. „Вотъ, чтобы мнѣ воды не захотѣлось пить, если старая Переперчиха не видѣла собственными глазами, какъ повѣсился кузнецъ!“

„Кузнецъ повѣсился? Вотъ тебѣ на!“ сказалъ голова, выходявшій отъ Чуба, остановился и протѣснился ближе къ разговаривавшимъ.

„Скажи лучше, чтобы тебѣ водки не захотѣлось пить, старая пьяница!“ отвѣчала ткачиха. „Нужно быть такой сумасшедшей, какъ ты, чтобы повѣситься! Онъ утонулъ! утонулъ въ пролубѣ! Это я такъ знаю, какъ то, что ты была сейчасъ у шинкарки“.

„Срамница! вишь, чѣмъ стала попрекать!“ гнѣвно возразила баба съ фіолетовымъ носомъ. „Молчала бы, негодница! Развѣ я не знаю, что къ тебѣ дьякъ ходитъ каждый вечеръ“.

Ткачиха вспыхнула.

„Что дьякъ? къ кому дьякъ? Что ты врешь?“

„Дьякъ?“ пропѣла, тѣснясь къ ссорившимся, дьячиха, въ тулупѣ изъ заячьего мѣха, крытомъ синюю китайкой. „Я дамъ знать дьяка! Кто это говорить: дьякъ?“

„А вотъ къ кому ходить дьякъ!“ сказала баба съ фіолетовымъ носомъ, указывая на ткачиху.

„Такъ это ты, сука“, сказала дьячиха, подступая къ ткачихѣ: „такъ это ты, вѣдьма, напускаешь на него¹ туманъ и поишь нечистымъ зѣльемъ, чтобы ходилъ къ тебѣ?“

„Отвяжись отъ меня, сатана!“ говорила, пятясь ткачиха.

„Вишь, проклятая вѣдьма, чтобы ты не дождалась дѣтей своихъ видѣть! Негодная! Тьфу!“ Тутъ дьячиха плюнула прямо въ глаза ткачихѣ.

Ткачиха хотѣла и себѣ² сдѣлать то же, но, вмѣсто того, плюнула въ небритую бороду головѣ, который, чтобы лучше все слышать, подобрался къ самымъ спорившимъ.

„А, скверная баба!“ закричалъ голова, обтирая полою лицо и поднявши кнутъ. Это движеніе заставило всѣхъ разойтись съ ругательствами, въ разныя стороны. „Экая мерзость!“ повторялъ голова, продолжая обтираться. „Такъ кузнецъ утонулъ! Боже ты мой! А какой важный живописецъ былъ! Какіе ножи крѣпкіе, серпы, плуги умѣлъ выковывать! Чтѣ за сила была! Да“, продолжалъ онъ, задумавшись: „такихъ людей мало у насъ на селѣ. Тѣ-то я, еще сидя въ проклятомъ мѣшкѣ, замѣчалъ, что бѣдняжка былъ крѣпко не въ духѣ. Вотъ тебѣ и кузнецъ! былъ, а теперь и нѣтъ! А я собирался было подковать свою рябую кобылу!...“ И, будучи полонъ такихъ христіанскихъ мыслей, голова тихо побрѣлъ въ свою хату³.

Оксана смутилась, когда до нея дошли такія вѣсти. Она мало вѣрила глазамъ Переперчихи и толкамъ бабъ: она знала, что кузнецъ довольно набоженъ, чтобы рѣшиться погубить свою душу. Но чтѣ, если онъ, въ самомъ дѣлѣ, ушелъ съ намѣреніемъ никогда не возвращаться въ село? А врядъ ли и въ другомъ мѣстѣ найдется такой молодецъ, какъ кузнецъ. Онъ же такъ любилъ ее! Онъ долѣе всѣхъ выносилъ ея капризы... Красавица всю ночь подъ своимъ одѣяломъ поворачивалась съ праваго бока на лѣвый, съ лѣваго на правый, и не могла заснуть. То, разметавшись въ оборотительной наготѣ, которую ночной мракъ скрывалъ даже отъ нея са-

мой, она почти вслух бранила себя; то, приутихнувъ, рѣшалась ни объ чемъ не думать — и все думала. И вся горѣла, и къ утру влюбилась по уши въ кузнеца.

Чубъ не изъявилъ ни радости, ни печали объ участи Вакулы. Его мысли заняты были однимъ: онъ никакъ не могъ позабыть вѣроломства Солохи и, сонный, не переставалъ бранить ее.

Настало утро. Вся церковь еще до свѣта была полна народа. Пожилыя женщины, въ бѣлыхъ намиткахъ, въ бѣлыхъ суконныхъ свиткахъ, набожно крестились у самага входа церковнаго. Дворянки, въ зеленыхъ и желтыхъ кофтахъ, а инныя даже въ синихъ кунтушахъ, съ золотыми назади усами, стояли впереди ихъ. Дѣвчата, у которыхъ на головахъ намотана была цѣлая лавка лентъ, а на шеѣ монистъ, крестовъ и дукатовъ, старались пробраться еще ближе къ иконостасу. Но впереди всѣхъ стояли дворяне и простые мужики съ усами, съ чубами, съ толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, всѣ большею частію въ кобенякахъ, изъ-подъ которыхъ выказывалась бѣлая, а у иныхъ и синяя свитка¹. На всѣхъ лицахъ, куда ни взглянь, виденъ былъ праздникъ. Голова заранѣе² облизывался, воображая, какъ онъ разговѣтся колбасою: дѣвчата помышляли объ томъ, какъ онѣ будутъ *ковзаться* съ хлопцами на льду; старухи усерднѣе, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, какъ козакъ Свербыгузъ клалъ поклоны. Одна только Оксана стояла какъ будто не своя: молилась и не молилась. На сердцѣ у нея столпилось столько разныхъ чувствъ, одно другаго досаднѣе, одно другаго печальнѣе, что лицо ея выражало одно только сильное смущеніе; слезы дрожали въ³ глазахъ. Дѣвчата не могли понять этому причины и не подозрѣвали⁴, чтобы виною былъ кузнецъ. Однакожь, не одна Оксана была занята кузнецомъ. Всѣ міряне замѣтили, что праздникъ — какъ будто не праздникъ, что какъ будто все чего-то недостаетъ. Какъ на бѣду, дякъ, послѣ путешествія въ мѣшкѣ, охрипъ и дребезжалъ едва слышнымъ голосомъ; правда, прѣзжій пѣвчій славно бралъ басомъ⁵, но куда бы лучше было⁶, если бы и кузнецъ былъ, который всегда, бывало, какъ только пѣли „Отче нашъ“ или „Иже херувимы“, всходилъ на крылосъ и выводилъ оттуда тѣмъ же самымъ напѣвомъ, какимъ поютъ и въ Полтавѣ. Къ тому

же онъ одинъ исправлялъ должность церковнаго титара¹. Уже отошла заутреня; послѣ заутрени отошла обѣдня... Куда жъ это, въ самомъ дѣлѣ, запропастился кузнецъ?

Еще быстрѣе въ остальное время ночи неся чортъ съ кузнецомъ назадъ, и мигомъ очутился Вакула около² своей хаты. Въ это время пропѣлъ пѣтухъ.

„Куда?“ закричалъ кузнецъ, ухвата за хвостъ хотѣвшаго убѣжать чорта. „Постой, пріятель, еще не все: я еще не поблагодарилъ тебя“.

Тутъ, схвативши хворостину, отвѣсилъ онъ ему три удара, и обѣднй чортъ припустилъ бѣжать, какъ мужикъ, котораго только что выпарилъ засѣдатель. Итакъ, вмѣсто того, чтобы провестъ, соблазнить и одурачить другихъ, врагъ человѣческаго рода былъ самъ одурачень.

Послѣ сего Вакула вошелъ въ сѣни, зарылся въ сѣно и проспалъ до обѣда. Проснувшись, онъ испугался, когда увидѣлъ, что солнце уже высоко: „Я проспалъ заутреню и обѣдню!“

Тутъ благочестивый кузнецъ погрузился въ уныніе, разсуждая, что это, вѣрно, Богъ нарочно, въ наказаніе за грѣшное его намѣреніе погубить свою душу, наслалъ сонъ, который не далъ даже ему побывать, въ такой торжественный праздникъ, въ церкви. Но однакожъ, успокоивъ себя тѣмъ, что въ слѣдующую недѣлю исповѣдается въ этомъ попу, и съ нынѣшняго³ же дня начнетъ бить по пятидесяти поклоновъ цѣлый годъ⁴, заглянулъ онъ въ хату; но въ ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась.

Бережно вынулъ онъ изъ-за пазухи башмаки и снова изумился дорогой работѣ и чудному происшествію минувшей ночи; умылся, одѣлся, какъ можно лучше, надѣлъ то самое платье, которое досталъ отъ запорожцевъ, вынулъ изъ сундука новую шапку рѣшетилловскихъ смушекъ съ синимъ верхомъ, которой не надѣвалъ еще ни разу съ того времени, какъ купилъ ее еще въ бытность въ Полтавѣ; вынулъ также новый всѣхъ цвѣтовъ поясъ; положилъ все это вмѣстѣ съ нагайкою въ платокъ и отправился прямо къ Чубу.

Чубъ выпучилъ глаза, когда вошелъ къ нему кузнецъ, и не зналъ, чему дивиться: тому ли, что кузнецъ воскресъ, тому ли,

что кузнецъ смѣлъ къ нему прятти, или тому, что онъ нарядился такимъ щеголемъ и запорожцемъ. Но еще больше изумился онъ, когда Вакула развязалъ платокъ и положилъ передъ нимъ новехонькую шапку и поясъ, какого не видано было на селѣ, а самъ повалился ему въ ноги и проговорилъ умоляющимъ голосомъ: „Помилуй, батько! не гнѣвись! Вотъ тебѣ и нагайка: бей, сколько душа пожелаетъ. Отдаюсь самъ, во всемъ каюсь; бей, да не гнѣвись только. Ты жъ, когда-то, братался съ покойнымъ батькомъ, вмѣстѣ хлѣбъ-соль ѣли и магарычъ пили“.

Чубъ не безъ тайнаго удовольствія видѣлъ, какъ кузнецъ, который никому на селѣ въ усъ не дулъ, сгибалъ въ рукѣ пятаки¹ и подковы, какъ гречневые блины, тотъ самый кузнецъ лежалъ теперь² у ногъ его. Чтобъ еще больше не уронить себя, Чубъ взялъ нагайку и ударилъ ею три раза по спинѣ. „Ну, будетъ съ тебя, вставай! Старыхъ людей всегда слушай! Забудемъ все, что было межъ нами. Ну, теперь говори, чего тебѣ хочется?“

„Отдай, батько, за меня Оксану!“

Чубъ немного подумалъ, поглядѣлъ на шапку и поясъ: шапка была чудная, поясъ также не уступалъ ей; вспомнилъ о вѣроломной Солохѣ и сказалъ рѣшительно: „Добре! присылай сватовъ!“

„Ай!“ вскрикнула Оксана, переступая черезъ порогъ и увидѣвъ кузнеца, и вперила съ изумленіемъ и радостью въ него очи.

„Погляди, какіе я тебѣ принесъ черевики!“ сказалъ Вакула: „тѣ самые, которые³ носить царица“.

„Нѣтъ, нѣтъ! мнѣ не нужно черевиковъ!“ говорила она, махая руками и не сводя съ него очей: „я и безъ черевиковъ“... Далѣе она не договорила и покраснѣла.

Кузнецъ подошелъ ближе, взялъ ее за руку; красавица и очи потупила. Еще никогда не была она такъ чудно хороша. Восхищенный кузнецъ тихо поцѣловалъ ее, и лицо ея пуце загорѣлось, и она стала еще лучше.

Проѣзжалъ черезъ Диканьку блаженной памяти архіерей, хвалилъ мѣсто, на которомъ стоитъ село и, проѣзжая по улицѣ, остановился передъ новою хатою.

„А чья это такая размалеванная хата?“ спросилъ преосвященный у стоявшей близь дверей красивой женщины съ дитятей на рукахъ.

„Кузнеца Вакулы!“ сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.

„Славно! славная работа!“ сказалъ преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна всѣ были обведены кругомъ красною краскою; на дверяхъ же вездѣ были козаки на лошадахъ, съ трубками въ зубахъ.

Но еще больше похвалилъ преосвященный Вакулу, когда узналъ, что онъ выдержалъ церковное покаяніе и выкрасилъ даромъ весь лѣвый крылосъ зеленою краскою съ красными цвѣтами.

Это, однакожъ, не все. На стѣнѣ съ боку, какъ войдешь въ церковь, намалевалъ Вакула чорта въ аду, такого гадкаго, что всѣ плевали, когда проходили мимо; а бабы, какъ только расшакивалось у нихъ на рукахъ дитя, подносили его къ картинѣ и говорили: „онъ бачъ, яка кака намалевана!“ И дитя, удерживая слезѣнки, косилось на картину и жалось къ груди своей матери.



СТРАШНАЯ МЕСТЬ.

I.

Шумить, гремитъ конецъ Кіева: есауль Горобецъ празднуетъ свадьбу своего сына. Наѣхало много людей къ есаулу въ гости. Въ старину любили хорошенько поѣсть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться. Приѣхаль на гнѣдомъ конѣ своемъ и запорожець Микитка прямо съ разгульной попойки съ Перешляя поля, гдѣ поилъ онъ семь дней и семь ночей королевскихъ шляхтичей краснымъ виномъ. Приѣхаль и названный братъ есаула, Данило Бурульбашъ, съ другаго берега Днѣпра, гдѣ, промежь двумя горами, былъ его хуторъ, съ молодою женою Катериною и съ годовымъ сыномъ. Дивилися гости бѣлому лицу пани Катерины, чернымъ, какъ нѣмецкій бархатъ, бровямъ, нарядной сукнѣ и исподницѣ изъ голубаго полутабенеку, сапогамъ съ серебряными подковами; но еще больше дивились тому, что не приѣхаль вмѣстѣ съ нею старый отецъ. Всего только годъ жилъ онъ на Заднѣпровьи, а двадцать одинъ пропадалъ безъ вѣсти и воротился къ дочкѣ своей, когда уже та вышла замужъ и родила сына. Онъ, вѣрно, много наразказалъ бы дивнаго. Да какъ и не рассказать, бывши такъ долго въ чужой землѣ! Тамъ все не такъ: и люди не тѣ, и церковей христовыхъ нѣтъ... Но онъ не приѣхаль.

Гостямъ поднесли варенуху съ изюмомъ и сливами, и на немалою блюду коровай. Музыканты принялись за исподку его, испеченную вмѣстѣ съ деньгами и, на время притихнувъ, положили возлѣ себя цимбалы, скрипки и бубны. Между тѣмъ молодичи и дѣвчата, утершись шитыми платками, выступали снова изъ рядовъ своихъ; а парубки, схватившись въ боки, гордо

озираясь на стороны, готовы были понестись имъ на встрѣчу, — какъ старый есауль вынесъ двѣ иконы благословить молодыхъ. Тѣ иконы достались ему отъ честнаго схимника, старца Варооломея. Не богата на нихъ утварь, не горитъ ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмѣетъ прикоснуться къ тому, у кого онѣ въ домѣ. Приподнявъ иконы вверхъ, есауль готовился сказать короткую¹ молитву... какъ вдругъ закричали, перепугавшись, игравшія на землѣ дѣти, а вслѣдъ за ними попятился народъ, и всѣ показывали со страхомъ пальцами на стоявшаго посреди ихъ козака. Кто онъ таковъ, никто не зналъ. Но уже онъ протанцовалъ на славу козачка и уже успѣлъ насмѣшить обступившую его толпу. Когда же есауль поднялъ иконы, вдругъ все лицо козака перемѣнилось: носъ выросъ и наклонился на сторону, вмѣсто карихъ запрыгали зеленныя очи, губы засинѣли, подбородокъ задрожалъ и заострился, какъ копье, изо рта выбѣжалъ клыкъ, изъ-за головы поднялся горбъ, и сталъ козакъ — старикъ.

„Это онъ! это онъ!“ кричали въ толпѣ, тѣсно прижимаясь другъ къ другу.

„Колдунъ показался снова!“ кричали матери, хватая за руки дѣтей своихъ.

Величаво и сановито выступилъ впередъ есауль и сказалъ громкимъ голосомъ, выставивъ противъ него иконы: „Пропади, образъ сатаны! тутъ тебѣ нѣтъ мѣста“. И, зашипѣвъ и щолкнувъ, какъ волкъ, зубами, пропалъ чудный старикъ.

Пошли, пошли и зашумѣли, какъ море въ непогоду, толки и рѣчи между народомъ.

„Что это за колдунъ?“ спрашивали молодые и небывалые люди,

„Бѣда будетъ!“ говорили старыя, качая² головами. И вездѣ, по всему широкому³ подворью есаула, стали собираться въ кучки и слушать исторіи про чуднаго колдуна. Но всѣ почти говорили разное, и навѣрно никто не могъ рассказать про него.

На дворъ выкатили бочку меду и не мало поставили ведеръ грецкаго вина. Все повеселѣло снова. Музыканты гранули, — дѣвчата, молодицы, лихое козачество, въ яркихъ жуцанахъ, понеслись. Десяностолѣтнее и столѣтнее старье, подгулявъ, пустилось и себѣ приплясывать, поминая не даромъ пропавшіе годы. Пировали до поздней ночи, и пировали такъ, какъ теперь

уже не пируютъ. Стали гости расходиться, но мало побрело во свояси: много осталось ночевать у есаула на широкомъ дворѣ; а еще больше козачества заснуло само¹, непрошенное, подъ лавками, на полу, возлѣ коня, близь хлѣва: гдѣ пошатнулась съ хмеля козацкая голова, тамъ и лежитъ и храпитъ на весь Кіевъ.

II.

Тихо свѣтитъ по всему міру: то мѣсяць показался изъ-за горы. Будто Дамасскою дорогою и бѣлою, какъ снѣгъ, кисеею покрылъ онъ гористый берегъ Днѣпра, и тѣнь ушла еще далѣе въ чашу сосень.

Посереди Днѣпра плыль дубъ. Сидятъ впереди два хлопца: черныя козацкія шапки на бекрень, и подъ веслами, какъ будто отъ огнива огонь, летать брызги во всѣ стороны.

Отчего не поютъ козаки? Не говорятъ ни о томъ, какъ уже ходятъ по Украинѣ ксендзы и перекрециваютъ козацкій народъ въ католиковъ, ни о томъ, какъ два дня билась при Соленомъ озерѣ орда? Какъ имъ пѣть, какъ говорить про лихія дѣла? Панъ ихъ Данило призадумался, и рукавъ его кармазиннаго жупана опустился изъ дуба и черпаетъ воду; пани ихъ Катерина тихо колышетъ дитя и не сводитъ съ него очей, а на незасланную полотномъ нарядную сукню сѣрою пылью валится вода.

Любо глянуть съ середины Днѣпра на высокія горы, на широкіе луга, на зеленые лѣса! Горы тѣ — не горы: подошвы у нихъ нѣтъ, внизу ихъ, какъ и вверху, острая вершина, и подъ ними и надъ ними высокое небо. Тѣ лѣса, чтò стоятъ на холмахъ, не лѣса: то волосы, поросшіе на косматой головѣ лѣснаго дѣда. Подъ нею въ водѣ моется бороды, и подъ бороною, и надъ волосами высокое небо. Тѣ луга — не луга: то зеленый поясъ, перепоясавшій по срединѣ круглое небо; и въ верхней половинѣ, и въ нижней половинѣ прогуливается мѣсяць.

Не глядитъ панъ Данило по сторонамъ, глядитъ онъ на молодую жену свою. „Что, моя молодая жена, моя золотая Катерина, вдалася въ печаль?“

„Я не въ печаль вдалася, панъ мой Данило! Меня устрашили чудные рассказы про колдуна. Говорять, что онъ родился такимъ страшнымъ... и никто изъ дѣтей сызмала не хотѣлъ играть съ нимъ. Слушай, панъ Данило, какъ страшно говорятъ: что будто ему все чудилось, что всѣ смѣются надъ нимъ. Встрѣтится ли подъ темный вечеръ съ какимъ-нибудь человѣкомъ, и ему тотчасъ покажется, что онъ открываетъ ротъ и скалитъ¹ зубы. И на другой день находили мертвымъ того человѣка. Мнѣ чудно, мнѣ страшно было, когда я слушала эти рассказы“, говорила Катерина, вынимая платокъ и вытирая имъ лицо спавшаго на рукахъ дитяти. На платкѣ были вышиты ею краснымъ шелкомъ листья и ягоды.

Панъ Данило ни слова, и сталъ поглядывать на темную сторону, гдѣ далеко, изъ-за лѣса, чернѣлъ земляной валъ, изъ-за вала подымался старый замокъ. Надъ бровями разомъ² вырѣзались три морщины; лѣвая рука гладила молодецкіе усы. „Не такъ еще страшно, что колдунъ“, говорилъ онъ: „какъ страшно то, что онъ недобрый гость. Чтò ему за блажь пришла притащиться сюда? Я слышала, что хотять ляхи строить какую-то крѣпость, чтобы перерѣзать намъ дорогу къ запорожцамъ. Пусть это правда... Я размечу³ чертовское гнѣздо, если только пронесется слухъ, что у него какой-нибудь притонъ⁴. Я сожгу стараго колдуна, такъ что и воронамъ нечего будетъ расклевать. Однакожь, думаю, онъ не безъ золота и всякаго добра. Вотъ гдѣ живетъ этотъ дьяволь! Если у него водится золото... Мы сейчасъ будемъ плыть мимо крестовъ — это кладбище! Тутъ гнѣютъ его нечистые дѣды. Говорять, они всѣ готовы были себя продать за денежку сатанѣ и съ душою⁵, и съ ободранными жупанами. Если жъ у него точно есть золото, то мѣшкать нечего теперъ: не всегда на войнѣ можно добыть“...

„Знаю, чтò затѣваешь ты: не предвѣщаетъ мнѣ ничего добраго встрѣча съ нимъ⁶. Но ты такъ тяжело дышишь, такъ сурово глядишь, брови твои такъ угрюмо надвинулись на очи!⁷“...

„Молчи, баба!“ съ сердцемъ сказалъ Данило: „съ вами кто свяжется, самъ станетъ бабой. Хлопецъ, дай мнѣ огня въ люльку!“ Тутъ оборотился онъ къ одному изъ гребцовъ, который, выколовши изъ своей люльки горячую золу, сталъ перекаладывать ее въ люльку своего пана. „Пугаетъ меня колдуномъ!“

продолжалъ панъ Данило. „Козакъ, слава Богу, ни чертей, ни ксендзовъ не боится. Много было бы проку, если бы мы стали слушаться женъ. Не такъ ли, хлопцы? Наша жена — люлька да острая сабля!“

Катерина замолчала, потушивши очи въ сонную воду; а вѣтеръ дергалъ воду рябью, и весь Днѣпръ серебрился, какъ волчья шерсть среди ночи.

Дубъ повернулъ и сталъ держаться лѣсистаго берега. На берегу виднѣлось¹ кладбище: ветхіе кресты толпились въ кучу. Ни калина не растеть межъ ними, ни трава не зеленѣеть, только мѣсяць грѣеть ихъ съ небесной вышины.

„Слышите ли, хлопцы, крики? Кто-то зоветъ насъ на помощь!“ сказалъ панъ Данило, оборотясь къ гребцамъ своимъ.

„Мы слышимъ крики, и, кажется, съ той стороны“, разомъ сказали хлопцы, указывая на кладбище.

Но все стихло. Лодка повернула, и стала огибать выдавшійся берегъ. Вдругъ гребцы опустили весла и недвижно² устали очи. Остановился и панъ Данило: страхъ и холодъ прорѣзался въ козацкія жилы.

Крестъ на могилѣ зашатался, и тихо поднялся изъ нея высохшій мертвецъ. Борода до пояса; на пальцахъ когти длинные, еще длиннѣе самыхъ пальцевъ. Тихо поднялъ онъ руки вверхъ. Лицо все задрожало у него и покривилось. Страшную муку, видно, терпѣлъ онъ. „Душно мнѣ! душно!“ простоналъ онъ дикимъ, не человѣчьимъ голосомъ. Голосъ его, будто ножъ, царапалъ сердце, и мертвецъ вдругъ ушелъ подъ землю. Зашатался другой крестъ, и опять вышелъ мертвецъ, еще страшнѣе, еще выше прежняго: весь заросъ; борода по колѣна, и еще длиннѣе костяные когти. Еще диче закричалъ онъ: „душно мнѣ!“ и ушелъ подъ землю. Пошатнулся третій крестъ, поднялся третій мертвецъ. Казалось, однѣ только кости поднялись высоко надъ землею. Борода по самыя пяты; пальцы съ длинными когтями вонзились въ землю. Страшно протянулъ онъ руки вверхъ, какъ будто хотѣлъ достать мѣсяць, и закричалъ такъ, какъ будто кто-нибудь сталъ пилить его желтыя кости...

Дитя, спавшее на рукахъ у³ Катерины, вскрикнуло и пробудилось; сама пани вскрикнула; гребцы поронили шапки въ Днѣпръ; самъ панъ вздрогнулъ.

Все вдругъ пропало, какъ будто не бывало; однакожь долго хлопцы не брались за весла. Заботливо поглядѣлъ Бурульбашъ на молодую жену, которая въ испугѣ качала на рукахъ кричавшее дитя, прижалъ ее къ сердцу и поцѣловалъ въ лобъ. „Не пугайся, Катерина! Гляди: ничего нѣтъ!“ говорилъ онъ, указывая по сторонамъ. „Это колдунъ хочетъ устроить людей, чтобы никто не добрался до нечистаго гнѣзда его. Бабъ только одиѣхъ онъ напугаетъ этимъ! Дай сюда на руки мнѣ сына!“

При семъ словѣ поднялъ панъ Данило своего сына вверхъ и поднесъ къ губамъ: „Что, Иванъ, ты не боишься колдуновъ? — Нѣтъ“, говори: „тятя, я козакъ“. — Полно же, перестань плакать! домой прїѣдемъ! Прїѣдемъ домой — мать накормитъ кашею, положить тебя спать въ люльку, запоетъ:

Люли, люли, люли!
 Люли, сынку, люли!
 Да выростай, выростай въ забаву!
 Козачеству на славу,
 Воротенькамъ въ справу!¹

„Слушай, Катерина: мнѣ кажется, что отецъ твой не хочетъ жить въ ладу съ нами. Прїѣхалъ угрюмый, суровый, какъ будто сердится... Ну, недоволенъ, — зачѣмъ и прїѣзжать? Не хотѣлъ выпить за козацкую волю! Не покачалъ на рукахъ дитяти! Сперва было я ему хотѣлъ повѣрить все, что лежитъ на сердцѣ, да не беретъ что-то, и рѣчь заикнулась. Нѣтъ, у него не козацкое сердце! Козацкія сердца, когда встрѣтятся гдѣ, какъ не выбьются изъ груди другъ другу на встрѣчу!² Что, мои любые хлопцы, скоро берегъ? Ну, шапки я вамъ дамъ новыя. Тебѣ, Стецько, дамъ выложенную бархатомъ съ золотомъ. Я ее снялъ вмѣстѣ съ головою у татарина; весь его снарядъ достался мнѣ; одну только его душу я выпустилъ на волю. Ну, причаливай! Вотъ, Иванъ, мы и прїѣхали, а ты все плачешь! Возьми его, Катерина!“

Всѣ вышли. Изъ-за горы показалась соломенная кровля: то дѣдовскіе хоромы пана Данила. За ними еще гора, а тамъ уже и поле, а тамъ хоть сто верстъ пройди, не сыщешь ни одного козака.

III.

Хуторъ пана Данила между двумя горами въ узкой долинь, сбѣгающей къ Днѣпру. Невысокіе у него хоромы; хата на видѣ, какъ и у простыхъ козаковъ, и въ ней одна свѣтлица; но есть гдѣ помѣститься тамъ и ему, и женѣ его, и старой прислужницѣ, и десяти отборнымъ молодцамъ. Вокругъ стѣнъ вверху идутъ дубовыя полки. Густо на нихъ стоятъ миски, горшки для трапезы. Есть межъ ними и кубки серебряныя, и чарки, оправленныя въ золото, дарственные и добытыя на войнѣ. Ниже висятъ дорогіе мушкеты, сабли, пицали, копыя; волею и неволею перешли они отъ татаръ, турокъ и ляховъ; не мало за то и вызубрены. Глядя на нихъ, панъ Данило какъ будто по значкамъ припоминалъ свои схватки. Подъ стѣною, внизу, дубовыя, гладко вытесанныя лавки; возлѣ нихъ, передъ лежанкою, висятъ на веревкахъ, продѣтыхъ въ кольцо, привинченное къ потолку, люлька. Во всей свѣтлицѣ полъ гладко убитый и смазанный глиною. На лавкахъ спитъ съ женою панъ Данило, на лежанкѣ старая прислужница; въ люлкѣ тѣшится и убаюкивается малое дитя; на полу покотомъ ночуютъ молодцы. Но козаку лучше спать на гладкой землѣ при вольномъ небѣ; ему не пуховикъ и не перина нужна: онъ моститъ себѣ подъ голову свѣжее сѣно и вольно протягивается на травѣ. Ему весело, проснувшись среди ночи, взглянуть на высокое засѣянное звѣздами небо¹ и вздрогнуть отъ ночнаго холода, принесшаго свѣжесть козацкимъ косточкамъ; потягиваясь и бормоча сквозь сонъ, закуриваетъ онъ люльку и закутывается крѣпче въ теплый кожухъ.

Не рано проснулся Бурульбашъ послѣ вчерашняго веселья и, проснувшись, сѣлъ въ углу на лавкѣ, и началъ натачивать новую, вымѣнянную имъ, турецкую саблю; а пани Катерина принялась вышивать золотомъ шелковый ручникъ.

Вдругъ вошелъ Катерининъ отецъ, разсерженъ, нахмуренъ, съ заморскою люлкою въ зубахъ, приступилъ къ дочкѣ и сурово сталъ выспрашивать ее: что за причина тому, что такъ поздно воротилась она домой.

„Про эти дѣла, тещъ, не ее, а меня спрашивать! Не жена, а мужъ отвѣчаетъ. У насъ уже такъ водится, не погнѣвайся!“

говорилъ Данило, не оставляя своего дѣла: „можетъ, въ иныхъ невѣрныхъ земляхъ этого не бываетъ, — я не знаю“.

Краска выступила на суровомъ лицѣ тестя, и очи дико блеснули. „Кому жъ, какъ не отцу, смотрѣть за своею дочкой!“ бормоталъ онъ про себя. „Ну, я тебя спрашиваю: гдѣ таскался до поздней ночи?“

„А вотъ это дѣло, дорогой тесть! На это я тебѣ скажу, что я давно уже вышелъ изъ тѣхъ, которыхъ бабы пеленаютъ. Знаю, какъ сидѣть на конѣ; умѣю держать въ рукахъ и саблю острую, еще кое-что умѣю.... Умѣю никому и отвѣта не давать въ томъ, чтò дѣлаю“.

„Я вижу, Данило, я знаю, ты желаешь ссоры! Кто скрывается, у того, вѣрно, на умѣ недоброе дѣло“.

„Думай себѣ, чтò хочешь“, сказалъ Данило: „думаю и я себѣ. Слава Богу, ни въ одномъ еще безчестномъ дѣлѣ не былъ; всегда стоялъ за вѣру православную и отчизну, не такъ, какъ иные бродяги: таскаются, Богъ знаетъ гдѣ, когда православные бьются на смерть, а послѣ нагрянутъ убирать не ими засѣянное жито. На униатовъ даже не похожи: не заглянуть въ божію церковь. Такихъ бы нужно допросить порядкомъ, гдѣ они таскаются“.

„Э, козакъ! знаешь ли ты... Я плохо стрѣляю: всего за сто сажень пуля моя пронизываетъ сердце; я и рублюсь незavidно: отъ человѣка остаются куски мелче крушъ, изъ которыхъ варятъ кашу“.

„Я готовъ“, сказалъ панъ Данило, бойко перекрестивши воздухъ саблею, какъ будто зная, на чтò ее выточилъ.

„Данило!“ закричала громко Катерина, ухвативши его за руку и повиснувъ на ней: „вспомни, безумный, погляди, на кого ты поднимаешь руку! Батько, твои волосы бѣлы, какъ снѣгъ, а ты разгорѣлся, какъ неразумный хлопецъ!“

„Жена!“ крикнулъ грозно панъ Данило: „ты знаешь, я не люблю этого; вѣдай свое бабье дѣло!“

Сабли страшно звукнули; желѣзо рубило желѣзо, и искрами, будто пылью, обсыпали себя козаки. Съ плачемъ ушла Катерина въ особую свѣтлицу, кинулась въ постель и закрыла уши, чтобы не слышать сабельныхъ ударовъ. Но не такъ худо бились козаки, чтобы можно было заглушить ихъ удары. Сердце ея хотѣло разорваться на части; по всему ея тѣлу, слышала она,

как проходили звуки: тукъ, тукъ. „Нѣтъ, не вытерплю. не вытерплю... Можетъ, уже алая кровь бьетъ ключемъ изъ бѣлаго тѣла; можетъ, теперь изнемогаетъ мой милый, а я лежу здѣсь!“ И вся блѣдная, едва переводя духъ, вошла въ хату.

Ровно и страшно бились козаки; ни тотъ, ни другой не одолеваетъ. Вотъ наступаетъ Катерининъ отецъ — подается панъ Данило; наступаетъ панъ Данило — подается суровый отецъ, и опять наравнѣ. Кипятъ. Размахнулись... ухъ! Сабли звенять... и, гремя, отлетѣли въ сторону клинки.

„Благодарю тебя, Боже!“ сказала Катерина и вскрикнула снова, когда увидѣла, что козаки взялись за мушкеты. Поправили кремни, взвели курки.

Выстрѣлилъ панъ Данило, — не попалъ. Нацѣлился отецъ... Онъ старъ, онъ видитъ не такъ зорко, какъ молодой, однакожь не дрожить его рука. Выстрѣлъ загремѣлъ... Пошатнулся панъ Данило; алая кровь выкрасила лѣвый рукавъ козакаго жупана.

„Нѣтъ.“ закричалъ онъ: „я не продамъ такъ дешево себя. Не лѣвая рука, а правая атаманъ. Виситъ у меня на стѣнѣ турецкій пистолеть: еще ни разу во всю жизнь не измѣнялъ онъ мнѣ. Слѣзай съ стѣны, старый товарищ! покажи другу услугу!“ Данило протянулъ руку.

„Данило!“ закричала въ отчаяніи, схвативши его за руки и бросившись ему въ ноги, Катерина: „не за себя молю. Мнѣ одинъ конецъ: та недостойная жена, которая живетъ послѣ своего мужа; Днѣпръ, холодный Днѣпръ будетъ мнѣ могилою... Но погляди на сына, Данило! погляди на сына! Кто пригрѣетъ бѣдное дитя? Кто приголубитъ его? Кто выучитъ его летать на ворономъ конѣ, биться за волю и вѣру, пить и гулять по козацки? Пропадай, сынъ мой! пропадай! Тебя не хочеть знать отецъ твой! Гляди, какъ онъ отворачиваетъ лицо свое. О, я теперь знаю тебя! Ты звѣрь, а не человѣкъ! У тебя волчье сердце, а дума лукавой гадины! Я думала, что у тебя капля жалости есть, что въ твоемъ каменномъ тѣлѣ человѣчье чувство горитъ. Безумно же я обманулась. Тебѣ это радость принесть. Твои кости станутъ танцовать въ гробѣ съ веселья, когда услышатъ, какъ нечестивые звѣри ляхи кинутъ въ пламя твоего сына, когда сынъ твой будетъ кричать подъ ножами и окропомъ. О, я знаю тебя!

Ты радъ бы изъ гроба встать и раздуть шапкою огонь, взвихрившійся подъ нимъ!“

„Постой, Катерина! Ступай, мой ненаглядный Иванъ, я¹ поцѣлю тебя! Нѣтъ, дитя мое, никто не тронетъ волоска твоего. Ты выростешь на славу отчизны; какъ вихорь, будешь ты летать передъ козаками, съ бархатною шапочкою на головѣ, съ острою саблею въ рукѣ. Дай, отецъ, руку! Забудемъ бывшее между нами! Что сдѣлать передъ тобою неправаго—винось. Что же ты не даешь руки?“ говорилъ Данило отцу Катерины, который стоялъ на одномъ мѣстѣ, не выражая на лицѣ своемъ ни гнѣва, ни примиренія.

„Отецъ!“ вскричала Катерина, обнявъ и поцѣловавъ его: „не будь неумолимъ, прости Данила²: онъ не огорчитъ больше тебя!“

„Для тебя только, моя дочь, прощаю!“ отвѣчалъ онъ, поцѣловавъ ее и блеснувъ странно³ очами.

Катерина немного вздрогнула: чуденъ показался ей и поцѣлуй, и странный⁴ блескъ очей. Она облокотилась на столъ, на которомъ перевязывалъ раненую свою руку панъ Данило, передумывая, что худо и не по казацки сдѣлалъ онъ, прося прощенія, когда не былъ ни въ чемъ виноватъ⁵.

IV.

Блеснулъ день, но не солнечный: небо хмурилось, и тонкій дождь сѣялся на поля, на лѣса, на широкій Днѣпръ. Проснулась пани Катерина, но не радостна: очи заплаканы, и вся она смутна и неспокойна. „Мужъ мой милый, мужъ дорогой! чудный мнѣ сонъ снился!“

„Какой сонъ, моя любая пани Катерина?“

„Снилось мнѣ, чудно, право, и такъ живо, будто наяву, снилось мнѣ, что отецъ мой есть тотъ самый уродъ, котораго мы видѣли⁶ у есаула. Но, прошу тебя, не вѣрь сну⁷: какихъ глупостей не привидится! Будто я стояла передъ нимъ, дрожала вся, боялась, и отъ каждаго слова его стонали мои жпы. Если бъ ты слышала, что онъ говорилъ...“

„Что же онъ говорилъ, моя золотая Катерина?“

„Говориль: „Ты посмотри на меня, Катерина, я хорошь! Люди напрасно говорятъ, что я дурень. Я буду тебѣ славнымъ мужемъ. Посмотри, какъ я поглядываю очами!“—Тутъ навель онъ на меня огненныя очи, я вскрикнула и пробудилась“.

„Да, сны много говорятъ правды. Однакожь, знаешь ли ты, что за горою не такъ спокойно? Чуть ли не ляхи стали выглядывать снова. Мнѣ Горобецъ прислалъ сказать, чтобы я не спалъ; напрасно только онъ заботится: я и безъ того не сплю. Хлопцы мои въ эту ночь срубили двѣнадцать засѣковъ. Посполитство будемъ угощать свинцовыми сливами, а шляхтичи потанцуютъ и отъ батоговъ“.

„А отецъ знаетъ объ этомъ?“

„Сидить у меня на шеѣ твой отецъ! Я до сихъ поръ разгадать его не могу. Много, вѣрно, онъ грѣховъ надѣлалъ въ чужой землѣ. Чтò жъ, въ самомъ дѣлѣ, за причина: живетъ около мѣсяца, и хоть бы разъ развеселился, какъ добрый козакъ! Не захотѣлъ выпить меду! Слышишь, Катерина: не захотѣлъ меду выпить¹, который я вытрусилъ у Брестовскихъ жидовъ. Эй, хлопецъ!“ крикнулъ панъ Данило: „бѣги, малый, въ погребъ, да принеси жидовскаго меду! Горѣлки даже не пьеть! Экая пропасть! Мнѣ кажется, пани Катерина, что онъ и въ Господа Христа не вѣруеть. А? какъ тебѣ кажется?“

„Богъ знаетъ, чтò говоришь ты, панъ Данило!“

„Чудно, пани!“ продолжалъ Данило, принимая глиняную кружку отъ козака: „поганые католики даже падки до водки; одни только турки не пьютъ. Что, Стецько, много хлебнулъ меду въ подвалѣ?“

„Попробовалъ только, панъ!“

„Лжешь, собачій сынъ! Вишь, какъ мухи напали на усы! Я по глазамъ вижу, что хватилъ съ полведра. Эхъ козаки! Чтò за лихой народъ! Все отдать готовъ товарищу, а хмельное высушить самъ. Я, пани Катерина, что-то давно уже былъ пьянь. А?“

„Вотъ давно! а въ прошедшій...“

„Не бойся, не бойся, больше кружки не выпью! А вотъ и турецкій игумень лѣзеть² въ дверь!“ проговорилъ онъ сквозъ зубы, увидя тестя, нагнувшася, чтобъ войти въ дверь³.

„А что жъ это, моя дочь!“ сказалъ отецъ, снимая съ головы шапку и поправляя поясъ, на которомъ висѣла сабля съ чудными каменьями: „солнце уже высоко, а у тебя обѣдъ не готовъ“.

„Готовъ обѣдъ, панъ отецъ, сейчасъ поставимъ! Вынимай горшокъ съ галушками!“ сказала пани Катерина старой прислужницѣ, обтиравшей деревянную посуду. „Постой, лучше я сама выну“, продолжала Катерина: „а ты позови хлопцевъ“.

Всѣ сѣли на полу въ кружокъ: противъ покута панъ отецъ, по лѣвую руку панъ Данило, по правую руку пани Катерина и десять наивѣрнѣйшихъ молодцовъ, въ синихъ и желтыхъ жупанахъ.

„Не люблю я этихъ галушекъ!“ сказалъ панъ отецъ, немного поѣвши и положивши ложку: „никакого вкуса нѣтъ!“

„Знаю, что тебѣ лучше жидовская лапша“, подумаль про себя Данило. „Отчего же, тесь“, продолжалъ онъ вслухъ: „ты говоришь, что вкуса нѣтъ въ галушкахъ? Худо сдѣланы, что ли? Моя Катерина такъ дѣлаетъ галушки, что и гетьману рѣдко достается ѣсть такія. А брезгать ими нечего: это христіанское кушанье! Всѣ святые люди и угодники божіи ѣдали галушки“.

Ни слова отецъ; замолчалъ и панъ Данило.

Подали жаренаго кабана съ капустою и сливами. „Я не люблю свинины!“ сказалъ Катерининъ отецъ, выгребая ложкою капусту.

„Для чего же не любить свинины?“ сказалъ Данило: „одни турки и жида не ѣдятъ свинины“.

Еще суровѣе нахмурился отецъ.

Только одну лемишку съ молокомъ и ѣлъ старый отецъ и потянулъ, вмѣсто водки, изъ фляжки, бывшей у него за пазухой¹, какую-то черную воду.

Пообѣдавши, заснулъ Данило молодецкимъ сномъ и проснулся только около вечера. Сѣлъ и сталъ писать листы въ козацкое войско; а пани Катерина начала качать ногою люльку, сидя на лежанкѣ. Сидитъ панъ Данило, глядитъ лѣвымъ глазомъ на писаніе, а правымъ въ окошко. А изъ окошка далеко блестятъ горы и Днѣпръ; за Днѣпромъ синѣютъ лѣса; мелькаетъ сверху прояснившееся ночное небо. Но не далекимъ небомъ и не синимъ лѣсомъ любитъ панъ Данило: глядитъ

онъ на выдавшійся мысъ, на которомъ чернѣлъ старый замокъ. Ему почудилось, будто блеснуло въ замкѣ огнемъ узенькое окошко. Но все тихо; это, вѣрно, показалось ему. Слышно только, какъ глухо шумить внизу Днѣпръ, и съ трехъ сторонъ, одинъ за другимъ, отдаются удары мгновенно пробудившихся волнъ. Онъ не бунтуетъ; онъ, какъ старикъ, ворчитъ и ропщетъ; ему все не мило; все переѣвилось около него; тихо враждуетъ онъ съ прибережными горами, лѣсами, лугами и несетъ на нихъ жалобу въ Черное море.

Вотъ по широкому Днѣпру зачернѣла лодка, и въ замкѣ снова какъ будто блеснуло что-то. Потихоньку свиснулъ Данило и выбѣжалъ на свистъ вѣрный хлопецъ. „Бери, Стецько, съ собою скорѣе острую саблю да винтовку, да ступай за мною!“

„Ты идешь?“ спросила пани Катерина.

„Иду, жена. Нужно осмотрѣть всѣ мѣста, все ли въ порядкѣ“.

„Мнѣ, однакожь, страшно оставаться одной. Меня сонъ такъ и клонитъ; что, если мнѣ приснится то же самое? Я даже не увѣрена, точно ли то сонъ былъ, — такъ это происходило живо“.

„Съ тобою старуха остается!; а въ сѣняхъ и на дворѣ спать козаки!“

„Старуха спитъ уже, а козакамъ что-то не вѣрится. Слушай, панъ Данило: замкни меня въ комнатѣ, а ключъ возьми съ собою. Мнѣ тогда не такъ будетъ страшно; а козаки пусть лягутъ передъ дверями“.

„Пусть будетъ такъ!“ сказалъ Данило, стирая пыль съ винтовки и насыпая² на полку порохъ.

Вѣрный Стецько уже стоялъ одѣтый во всей козацкой сбруѣ. Данило надѣлъ смушевую шапку, закрылъ окошко, задвинулъ засовами дверь, замкнулъ и, промежь спавшими своими козаками, вышелъ потихоньку изъ двора въ горы³.

Небо почти все прочистилось. Свѣжій вѣтеръ чуть-чуть навѣвалъ съ Днѣпра. Если бы не слышно было издали стенанія чайки, то все бы казалось онѣмѣвшимъ. Но вотъ почудился шорохъ... Бурульбашъ съ вѣрнымъ слугою тихо спрятался за терновникъ, прикрывавшій срубленный засѣкъ. Кто-то въ красномъ жупанѣ, съ двумя пистолетами, съ саблею при боку⁴,

спускался съ горы. — „Это тесть!“ проговорилъ панъ Данило, разглядывая его изъ-за куста. „Зачѣмъ и куда ему итти въ эту пору? Стецько, не зѣвай, смотри въ оба глаза, куда возьметъ дорогу панъ отецъ.“ Человѣкъ въ красномъ жупанѣ сошелъ на самый берегъ и поворотилъ къ выдавшемуся мысу. „А! вотъ куда!“ сказалъ панъ Данило. „Что, Стецько, вѣдь онъ какъ разъ потащился въ колдуну въ душло?“

„Да, вѣрно, не въ другое мѣсто, панъ Данило! иначе мы бы видѣли¹ его на другой сторонѣ; но онъ пропалъ около² замка“.

„Постой же, выльземъ, а потомъ пойдемъ по слѣдамъ. Тутъ что-нибудь да кроется. Нѣтъ, Катерина, я говорилъ тебѣ, что отецъ твой недобрый человѣкъ; не такъ онъ и дѣлалъ все, какъ православный“.

Уже мелькнули панъ Данило и его вѣрный хлопецъ на выдавшемся берегу. Вотъ уже ихъ и не видно; непробудный лѣсъ, окружавшій замокъ, спряталъ ихъ. Верхнее окошко тихо засвѣтилось; внизу стоятъ козаки и думаютъ, какъ бы влѣзть имъ: ни воротъ, ни дверей не видно; со двора, вѣрно, есть ходъ; но какъ войти туда? Издали слышно, какъ гремятъ цѣпи и бѣгаютъ собаки.

„Что я думаю долго?“ сказалъ панъ Данило, увидя передъ окномъ высокій дубъ: „стой тутъ, малый! Я полѣзу на дубъ: съ него³ прямо можно глядѣть въ окошко“.

Тутъ снялъ онъ съ себя поясъ, бросилъ внизъ саблю, чтобъ не звенѣла, и, ухватясь за вѣтви, поднялся вверхъ. Окошко все еще свѣтилось. Присѣвши на сукъ, возлѣ самага окна, уцѣпился онъ рукою за дерево и глядитъ: въ комнатѣ и свѣчи нѣтъ, а свѣтитъ. По стѣнамъ чудные знаки; виситъ оружіе, но все странное: такого не носятъ ни турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христіане, ни славный народъ шведскій. Подъ потолкомъ взадъ и впередъ мелькаютъ нетопыри, и тѣнь отъ нихъ мелькаетъ по стѣнамъ, по дверямъ, по помосту. Вотъ отворилась безъ скрыша дверь. Входитъ кто въ красномъ жупанѣ и прямо къ столу, накрытому бѣлою скагертью. „Это онъ, это тесть!“ Панъ Данило опустился немного ниже и прижался крѣпче къ дереву.

Онъ тестю некогда глядѣть, смотреть ли кто въ окошко, или нѣтъ. Онъ пришелъ пасмуренъ, не въ духѣ, сдернулъ со стола скатерть — и вдругъ по всей комнатѣ тихо разлился прозрачно-

голубой свѣтъ; только не смѣшавшіяся волны прежняго блѣдно-золотаго переливались, ныряли, словно въ голубомъ морѣ, и тянулись слоями, будто на мраморѣ. Тутъ поставилъ онъ на столъ горшокъ и началъ кидать въ него какія-то травы.

Панъ Данило сталъ вглядываться и не замѣтилъ уже на немъ краснаго жупана; вмѣсто того показались на немъ широкія шаровары, какія носятъ турки; за поясомъ пистолеты; на головѣ какая-то чудная шапка, исписанная вся нерусскою и непольскою грамотою. Глянулъ въ лицо — и лицо стало перемѣняться: носъ вытянулся и повиснулъ надъ губами; ротъ въ минуту раздался до ушей; зубъ выглянулъ изъ рта, нагнулся на сторону, и сталъ передъ нимъ тотъ самый колдунъ, который показался на свадьбѣ у есаула. „Правдивъ сонъ твой, Катерина!“ подумалъ Бурульбашъ.

Колдунъ сталъ прохаживаться вокругъ стола, знаки стали быстрѣе перемѣняться на стѣнѣ, а нетопыри залетали сильнѣе внизъ и вверхъ, взадъ и впередъ. Голубой свѣтъ становился рѣже, рѣже, и совсѣмъ какъ будто потухнул¹. И свѣтлица освѣтилась уже тонкимъ розовымъ свѣтомъ. Казалось, съ тихимъ звономъ разливался чудный свѣтъ по всѣмъ угламъ и вдругъ пропалъ, и стала² тьма. Слышался только шумъ, будто вѣтеръ въ тихій часъ вечера наигрываетъ, кружась по водному зеркалу, нагибая еще ниже въ воду серебряныя ивы. И чудится пану Данилѣ, что въ свѣтлицѣ блеститъ мѣсяцъ, ходятъ звѣзды, неясно мелькаетъ темно-синее небо и холодъ ночнаго воздуха пахнулъ даже ему въ лицо. И чудится пану Данилѣ (тутъ онъ сталъ щупать себя за усы, не спитъ ли), что уже не небо въ свѣтлицѣ, а его собственная опочивальня: висятъ на стѣнѣ его татарскія и турецкія сабли; около стѣнъ полки, на полкахъ домашняя посуда и утварь; на столѣ хлѣбъ и соль; виситъ люлька... но вмѣсто образовъ выглядываютъ страшныя лица; на лежанкѣ... но сгустившійся туманъ покрылъ все, и стало опять темно. И опять съ чуднымъ звономъ освѣтилась вся свѣтлица розовымъ свѣтомъ, и опять стоитъ колдунъ неподвижно въ чудной чалмѣ своей. Звуки стали сильнѣе и гуще, тонкій розовый свѣтъ становился ярче, и что-то бѣлое, какъ будто облако, вѣяло посреди хаты; и чудится пану Данилѣ, что облако то не облако, что то стоитъ женщина; только изъ чего она: изъ воздуха, что ли, выткана? Отчего же она ститъ,

и земли не трогаетъ, и не опершись ни на что, и сквозь нее просвѣчиваетъ розовый свѣтъ и мелькаютъ на стѣнѣ знаки? Вотъ она какъ-то пошевелила прозрачною головою своею: тихо свѣтятся ея блѣдно-голубыя очи; волосы вьются и падаютъ по плечамъ ея, будто свѣтло-сѣрый туманъ; губы блѣдно алѣютъ, будто сквозь блѣло-прозрачное утреннее небо лется едва примѣтный алый свѣтъ зари; брови слабо темнѣютъ... Ахъ! это Катерина! Тутъ почувствовали Данило, что члены у него окочувались; онъ силился говорить, но губы шевелились безъ звука.

Неподвижно стоялъ колдунъ на своемъ мѣстѣ. „Гдѣ ты была?“ спросилъ онъ, и стоявшая передъ нимъ затрепетала.

„О! зачѣмъ ты меня вызвалъ?“ тихо простонала она. „Мнѣ было такъ радостно. Я была въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ родилась и прожила пятнадцать лѣтъ. О, какъ хорошо тамъ! Какъ зеленъ и душистъ тотъ лугъ, гдѣ я играла въ дѣтствѣ! И полевые цвѣточки тѣ же, и хата наша, и огородъ! О, какъ обняла меня добрая мать моя!¹ Какая любовь у ней въ очахъ! Она приголубливала меня, цѣловала въ уста и щеки, расчесывала частымъ гребнемъ мою русую косу... Отецъ!“ тутъ она вперила въ колдуна блѣдныя очи: „зачѣмъ ты зарѣзалъ мать мою?“

Грозно колдунъ погрозилъ пальцемъ. „Развѣ я тебя просилъ говорить про это?“ И воздушная красавица задрожала. — „Гдѣ теперь пани твоя?“

„Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я и обрадовалась тому, вспорхнула и полетѣла. Мнѣ давно хотѣлось увидѣть мать. Мнѣ вдругъ сдѣлалось пятнадцать лѣтъ; я вся стала легка, какъ птица. Зачѣмъ ты меня вызвалъ?“

„Ты помнишь все то, что я говорилъ тебѣ вчера?“ спросилъ колдунъ такъ тихо, что едва можно было разслышать.

„Помню, помню; но чего бы не дала я, чтобы только забыть это. Бѣдная Катерина! она многого не знаетъ изъ того, что знаетъ душа ея“.

„Это Катеринина душа“, подумалъ панъ Данило; но все еще не смѣлъ пошевелиться.

„Покайся, отецъ! Не страшно ли, что послѣ каждаго убійства твоего мертвецы поднимаются изъ могилъ?“

„Ты опять за старое!“ грозно прервалъ колдунъ. „Я поставлю на своемъ, я заставлю тебя сдѣлать, что мнѣ хочется. Катерина полюбитъ меня!²...“

„О, ты чудовище, а не отецъ мой!“ простонала она. „Нѣтъ, не будетъ по твоему! Правда, ты взялъ нечистыми чарами твоими власть вызывать душу и мучить ее; но одинъ только Богъ можетъ заставлятъ ее дѣлать то, что ему угодно. Нѣтъ, никогда Катерина, доколѣ я буду держаться въ ея тѣлѣ, не рѣшится на богопротивное дѣло. Отецъ! близокъ страшный судъ! Если бѣ ты и не отецъ мой былъ, и тогда бы не заставилъ меня измѣнить моему любу, вѣрному мужу. Если бы мужъ мой и не былъ мнѣ вѣренъ и милъ, и тогда бы не измѣнила ему, потому что Богъ не любитъ клятвопреступныхъ и невѣрныхъ душъ“.

Тутъ вперила она блѣдныя очи свои въ окошко, подь котормъ сидѣлъ панъ Данило, и неподвижно остановилась...

„Куда ты глядишь? Кого ты тамъ видишь?“ закричалъ колдунъ.

Воздушная Катерина задрожала. Но уже панъ Данило былъ давно на землѣ и пробирался съ своимъ вѣрнымъ Стецькомъ въ свои горы. „Страшно, страшно!“ говорилъ онъ про себя, почувствовавъ какую-то робость въ козацкомъ сердцѣ, и скоро прошелъ дворъ свой, на котормъ также крѣпко спали козаки, кромѣ одного, сидѣвшаго на сторожѣ и курившаго люльку. Небо все было засѣяно звѣздами.

V.

„Какъ хорошо ты сдѣлалъ, что разбудилъ меня!“ говорила Катерина, протирая очи шитымъ рукавомъ своей сорочки и разглядывая съ ногъ до головы стоявшаго передъ нею мужа. „Какой страшный сонъ мнѣ видѣлся! Какъ тяжело дышала грудь моя! Ухъ!... Мнѣ казалось, что я умираю...“

„Какой же сонъ? ужъ не этотъ ли?“ И сталъ Бурюльбашъ рассказывать женѣ своей все, имъ видѣнное.

„Ты какъ это узнать, мой мужъ?“ спросила, изумившись, Катерина. „Но нѣтъ, многое мнѣ неизвѣстно изъ того, что ты рассказываешь. Нѣтъ, мнѣ не снилось, чтобы отецъ убилъ мать мою; ни мертвецовъ, ничего не видѣлось мнѣ. Нѣтъ, Данило, ты не такъ рассказываешь. Ахъ какъ страшень отецъ мой!“

„И не диво, что тебѣ многое не видѣлось. Ты не знаешь и десятой доли того, что знаетъ душа. Знаешь ли, что отецъ твой антихристъ? Еще въ прошломъ году, когда собирался я вмѣстѣ съ ляхами на крымцевъ (тогда еще я держалъ руку этого невѣрнаго народа), мнѣ говорилъ игуменъ Братскаго монастыря (онъ, жена, святой человѣкъ), что антихристъ имѣетъ власть вызывать душу каждаго человѣка; а душа гуляетъ по своей волѣ, когда заснетъ онъ, и летаетъ вмѣстѣ съ архангелами около божіей свѣтлицы. Мнѣ съ перваго раза не показалось лицо твоего отца. Если бы я зналъ, что у тебя такой отецъ, я бы не женился на тебѣ; я бы кинулъ тебя и не принялъ бы на душу грѣха, породнившись съ антихристовымъ племенемъ“.

„Данило!“ сказала Катерина, закрывъ лицо руками и рыдая: „я ли виновна въ чемъ передъ тобою? Я ли измѣнила тебѣ, мой любимый мужъ? Чѣмъ же навела на себя гнѣвъ твой? Невѣрно развѣ служила тебѣ? Сказала ли противное слово, когда ты ворочался навеселѣ съ молодецкой пирушки? Тебѣ ли не родила черноброваго сына?...“

„Не плачь, Катерина; я тебя теперь знаю и не брошу ни за что. Грѣхи всѣ лежатъ на отцѣ твоємъ“.

„Нѣтъ, не называй его отцомъ моимъ! Онъ не отецъ мнѣ. Богъ свидѣтель, я отрекаюсь отъ него, отрекаюсь отъ отца! Онъ антихристъ, богоотступникъ! Пропадай онъ, тони онъ — не подамъ руки спасти его; сохни онъ отъ тайной травы — не подамъ воды напиться ему. Ты у меня отецъ мой!“

VI.

Въ глубокомъ подвалѣ у пана Данила, за тремя замками, сидитъ колдунъ, закованный въ желѣзныя цѣпи; а подагъ надъ Дявпромъ горитъ бѣсовскій его замокъ, и алма, какъ кровь, волны хлебещутъ и толпятся вокругъ старинныхъ стѣнъ. Не за колдовство и не за богопротивныя дѣла сидитъ въ глубокомъ подвалѣ колдунъ: имъ судія Богъ; сидитъ онъ за тайное предательство, за сговоры съ врагами православной русской земли — продать католикамъ украинскій народъ и выжечь христіанскія церкви. Угрюмъ колдунъ; дума черная,

какъ ночь, у него въ головѣ; всего только одинъ день остается жить ему, а завтра пора распрощаться съ міромъ: завтра ждетъ его казнь. Не совсѣмъ легкая казнь его ждетъ: это еще милость, когда сварятъ его живаго въ котлѣ, или сдерутъ съ него грѣшную кожу. Угрюмъ колдунъ, поникнулъ головою. Можетъ быть, онъ уже и кается передъ смертнымъ часомъ; только не такіе грѣхи его, чтобы Богъ простилъ ему. Вверху передъ нимъ узкое окно, переpletенное желѣзными палками. Гремя цѣпями, поднялся¹ онъ къ окну поглядѣть, не пройдетъ ли его дочь. Она кротка, не памятозлбна, какъ голубка: не умилосердится ли надъ отцомъ?... Но никого нѣтъ. Внизу бѣжить дорога; по ней никто не пройдетъ. Пониже ея гуляетъ Днѣпръ; ему ни до кого нѣтъ дѣла: онъ бушуетъ, и унывно слышать колоднику однозвучный шумъ его.

Вотъ кто-то показался по дорогѣ — это козакъ! И тяжело вздохнулъ узникъ. Опять все пусто. Вотъ кто-то вдали спускается... развѣвается зеленый кунтушъ... горитъ на головѣ золотой корабликъ... Это она! Еще ближе прикинулъ онъ къ окну. Вотъ уже подходитъ близко...

„Катерина! дочь! умилосердись, подай милостыню!...“

Она нѣма, она не хочетъ слушать, она и глазъ не наведеть на тюрьму, и уже прошла, уже и скрылась. Пусто во всемъ мірѣ; унывно шумитъ Днѣпръ; грусть залегаетъ въ сердце; но вѣдаетъ ли эту грусть колдунъ?

День клонится къ вечеру. Уже солнце сѣло; уже и нѣтъ его. Уже и вечеръ: свѣжо; гдѣ-то мычитъ волъ; откуда-то навѣваются звуки; вѣрно, гдѣ-нибудь народъ идетъ съ работы и веселится; по Днѣпру мелькаетъ лодка... кому нужна до колодника? Блеснулъ на небѣ серебряный серпъ; вотъ; кто-то идетъ съ противной стороны по дорогѣ; трудно разглядѣть въ темнотѣ; это возвращается Катерина.

„Дочь, Христа ради! и свирѣпые волченята не станутъ рвать свою мать, — дочь, хотя взгляни на преступнаго отца своего!“

Она не слушаетъ и идетъ.

„Дочь, ради несчастной матери!...“

Она остановилась.

„Приди принять послѣднее мое слово!“

„Зачѣмъ ты зовешь меня, богоотступникъ? Не называй меня

дочерью! Между нами нѣтъ никакого родства. Чего ты хочешь отъ меня ради несчастной моей матери?“

„Катерина! мнѣ близокъ конецъ: я знаю, меня твой мужъ хочетъ привязать къ кобыльему хвосту и пустить по полю, а, можетъ, еще и страшнѣйшую выдумаетъ казнь...“

„Да развѣ есть на свѣтѣ казнь равная твоимъ грѣхамъ? Жди ее; никто не станетъ просить за тебя“.

„Катерина! меня не казнь страшить, но муки на томъ свѣтѣ... Ты невинна, Катерина: душа твоя будетъ летать въ рай около Бога; а душа богоотступнаго отца твоего будетъ горѣть въ огнѣ вѣчномъ, и никогда не угаснетъ тотъ огонь: все сильнѣе и сильнѣе будетъ онъ разгораться; ни капли росы никто не уронить, ни вѣтеръ не пахнетъ“...

„Этой казни я не властна умалить“, сказала Катерина, отвернувшись.

„Катерина! постой на одно слово: ты можешь спасти мою душу. Ты не знаешь еще, какъ добръ и милосердъ Богъ. Слышала ли ты про апостола Павла, какой былъ онъ грѣшный человекъ, но послѣ покаялся — и сталъ святымъ“.

„Что я могу сдѣлать, чтобы спасти твою душу?“ сказала Катерина. „Мнѣ ли, слабой женщинѣ, объ этомъ подумать?“

„Если бы мнѣ удалось отсюда вытти, я бы все кинулъ. Покажусь: пойду въ пещеры; надѣну на тѣло жесткую власяницу, день и ночь буду молиться Богу. Не только скоромнаго, не возьму рыбы въ ротъ! Не постелю одежды, когда стану спать! И все буду молиться, все молиться! И когда не сниметъ съ меня милосердіе божіе хотя сотой доли грѣховъ, закопаюсь по шею въ землю, или замуруюсь въ каменную стѣну; не возьму ни пищи, ни питія, и умру; а все добро свое отдамъ чернецамъ, чтобы сорокъ дней и сорокъ ночей правили по мнѣ панихиду“.

Задумалась Катерина. „Хотя я отопру, но мнѣ не раскопать твоихъ цѣпей“.

„Я не боюсь цѣпей“, говорилъ онъ: „ты говоришь, что они заковали мои руки и ноги? Нѣтъ; я напустилъ имъ въ глаза туманъ, и вмѣсто руки, протянулъ сухое дерево. Вотъ я, гляди: на мнѣ нѣтъ теперь ни одной цѣпи!“ сказалъ онъ, выходя на середину. „Я бы и стѣнъ этихъ не побоялся и прошелъ бы сквозь нихъ; но мужъ твой и не знаетъ, какія это

стѣны: ихъ строилъ святой схимникъ, и никакая нечистая сила не можетъ отсюда вывести колодника, не отомкнувъ тѣмъ самымъ ключомъ, которымъ замыкалъ святой свою келью. Такую самую келью вырою и я себѣ, неслыханный грѣшникъ, когда выйду на волю“.

„Слушай: я выпущу тебя; но если ты меня обманываешь?“¹ сказала Катерина, остановившись передъ дверью: „и вмѣсто того, чтобы покаяться, станешь² опять братомъ чорту?“

„Нѣтъ, Катерина, мнѣ уже не долго остается жить;³ близокъ и безъ казни мой конецъ. Неужели ты думаешь, что я предамъ самъ себя на вѣчную муку?“

Замки загремѣли. „Прощай! Храни тебя Богъ милосердый, дитя мое!“ сказалъ колдунъ, поцѣловавъ ее.

„Не прикасайся ко мнѣ, неслыханный грѣшникъ; уходи скорѣ!...“ говорила Катерина.

Но его уже не было.

„Я выпустила его“, сказала она, испугавшись и дико осматривая стѣны. „Что я стану теперь отвѣчать мужу? Я пропала. Мнѣ живой теперь остается зарыться въ могилу!“ И, зарыдавъ, почти упала она на пень, на которомъ сидѣлъ колодникъ. „Но я спасла душу“, сказала она тихо: „я сдѣлала богоугодное дѣло; но мужъ мой... я въ первый разъ обманула его. О, какъ страшно, какъ трудно будетъ мнѣ передъ нимъ говорить неправду! Кто-то идетъ! Это онъ! мужъ!“ вскрикнула она отчаянно, и безъ чувствъ упала на землю.

VII.

„Это я, моя родная дочь! Это я, мое серденько!“ услышала Катерина, очнувшись, и увидѣла передъ собою старую прислужницу. Баба, наклонившись, казалось, что-то шептала, и, протянувъ надъ нею изсохшую руку свою, опрыскивала ее холодною водою.

„Гдѣ я?“ говорила Катерина, подымаясь и оглядываясь. „Передо мною шумить Днѣпръ, за мною горы... Куда завела меня ты, баба?“

„Я тебя не завела, а вывела; вынесла на рукахъ моихъ

изъ душнаго подвала; замкнула ключикомъ дверь, чтобы тебѣ не досталось чего отъ пана Данила“.

„Гдѣ же ключъ?“ сказала Катерина, поглядывая на свой поясъ. „Я его не вижу“.

„Его отвязалъ мужъ твой, поглядѣть на колдуна, дитя мое.“

„Погладѣть?... Баба, я пропала!“ вскрикнула Катерина.

„Пусть Богъ милуетъ насъ отъ этого, дитя мое! Молчи только, моя паняночка, никто ничего не узнаеть!“

„Онъ убѣжалъ, проклятый антихристъ! Ты слышала, Катерина: онъ убѣжалъ?“ сказалъ панъ Данило, приступая къ женѣ своей. Очи метали огонь; сабля, звеня, тряслась при¹ боку его. Помертвѣла жена.

„Его выпустилъ кто-нибудь, мой любимый мужъ?“ проговорила она, дрожа.

„Выпустилъ, правда твоя; но выпустилъ чортъ. Погляди: вмѣсто него², бревно заковано въ желѣзо. Сдѣлалъ же Богъ такъ, что чортъ не боится козачьихъ лапъ! Если бы только думу объ этомъ держалъ въ головѣ хоть одинъ изъ моихъ козаковъ, и я бы узналъ... я³ бы и казни ему не нашель!“

„А если бы я?...“ невольно вымолвила Катерина и, испугавшись, остановилась.

„Если бы ты вздумала, тогда бы ты не жена мнѣ была. Я бы тебя зашилъ тогда въ мѣшокъ и утопилъ бы на самой серединѣ Днѣпра!...“

Духъ занялся у Катерины, и ей чудилось, что волоса⁴ стали отдѣляться на головѣ ея.

VIII.

На пограничной дорогѣ, въ корчмѣ, собрались ляхи и пируютъ уже два дни⁵. Что-то не мало всей сволочи. Соплились, вѣрно, на какой-нибудь наѣздъ: у иныхъ и мушкеты есть; чокаются шпоры; брякають сабли. Паны веселятся и хвастають, говорятъ про небывалыя дѣла свои, насмѣхаются надъ православіемъ, зовутъ народъ украинскій своими холопьями, и важно крутятъ усы, и важно, задравши головы, разваливаются на лавкахъ. Съ ними и ксендзъ вмѣстѣ; только и ксендзъ у нихъ на ихъ же стать: и съ виду даже не похожъ на христиан-

скаго попа: пьеть и гуляетъ съ ними и говоритъ нечестивымъ языкомъ своимъ срамныя рѣчи. Ни въ чемъ не уступаетъ имъ и челядь: позакидали назадъ рукава оборванныхъ жупановъ своихъ и ходятъ козыремъ, какъ будто бы что путное. Играютъ въ карты, бьютъ картами одинъ другаго по носамъ; набрали съ собою чужихъ женъ; крикъ, драка!... Паны бѣснуются и отпускаютъ шутки: хватаютъ за бороду жида, малюютъ ему на нечестивомъ лбу крестъ; стрѣляютъ въ бабъ холостыми зарядами и танцуютъ краковякъ съ нечестивымъ попомъ своимъ. Не бывало такого соблазна на русской землѣ и отъ татаръ: видно, уже ей Богъ опредѣлилъ за грѣхи терпѣть такое посрамленіе! Слышно между общимъ содомомъ, что говорятъ про заднѣпровскій хуторъ пана Данила¹, про красавицу жену его... Не на доброе дѣло собралась эта шайка!

IX.

Сидитъ панъ Данило за столомъ въ своей свѣтлицѣ, подпершись локтемъ, и думаетъ. Сидитъ на лежанкѣ пани Катерина и поетъ пѣсню.

„Что-то грустно мнѣ, жена моя!“ сказалъ панъ Данило. „И голова болитъ у меня, и сердце болитъ. Какъ-то тяжело мнѣ! Видно, гдѣ-то недалеко уже ходитъ смерть моя“.

„О, мой ненаглядный мужъ! приникни ко мнѣ головою своею! Зачѣмъ ты приголубливаешь къ себѣ такія черныя думы“, подумала Катерина, да не посмѣла сказать. Горько ей было, повинной головѣ, принимать мужнія ласки.

„Слушай, жена моя!“ сказалъ Данило: „не оставляй сына, когда меня не будетъ. Не будетъ тебѣ отъ Бога счастья, если ты кинешь его, ни въ томъ, ни въ этомъ свѣтѣ. Тяжело будетъ гнить моимъ костямъ въ сырой землѣ, а еще тяжелѣе будетъ душѣ моей!“

„Что говоришь ты, мужъ мой? Не ты ли издѣвался надъ нами, слабыми женами? А теперь самъ говоришь, какъ слабая жена. Тебѣ еще долго нужно жить“.

„Нѣтъ, Катерина, чувствуетъ душа близкую смерть. Что-то грустно становится на свѣтѣ; времена лихія приходятъ. Охъ! помню, помню я годы; имъ, вѣрно, не воротиться! Онъ былъ

еще живъ, честь и слава нашего войска, старый Конашевичъ! Какъ будто передъ очами моими проходятъ теперь козацкіе полки! Это было золотое время, Катерина! Старый гетьманъ сидѣлъ на ворономъ конѣ; блестя въ рукѣ булава; вокругъ сердюки; по сторонамъ шевелилось красное море запорожцевъ. Началь¹ говорить гетьманъ — и все стало, какъ вкопаное. Заплакалъ старичина, какъ зачалъ воспоминать намъ прежнія дѣла и сѣчи. Эхъ, если бъ ты знала, Катерина, какъ рѣзались мы тогда съ турками! На головѣ моей виденъ и донинѣ рубецъ. Четыре пули пролетѣло въ четырехъ мѣстахъ сквозь меня, и ни одна изъ ранъ не зажила совсѣмъ. Сколько мы тогда набрали золота! Дорогіе каменья шапками черпали козаки. Какихъ кожей, Катерина, если бъ ты знала, какихъ коней мы тогда угнали! Охъ, не воевать уже мнѣ такъ! Кажется, и не старъ, и тѣломъ бодръ; а мечъ козацкій вываливается изъ рукъ, живу безъ дѣла, и самъ не знаю, для чего живу. Порядку нѣтъ въ Украинѣ: полковники и есаулы грызутся, какъ собаки, между собою: нѣтъ старшей головы надъ всѣми. Шляхетство наше все перемѣнило на польскій обычай, переняло лукавство... продало душу, принявши унію. Жидовство угнетаетъ бѣдный народъ. О время, время! минувшее время! Куда подѣвались вы, лѣта мои? Ступай, малый, въ подвалъ, принеси мнѣ кухоль меду! Выпью за прежнюю долю и за давніе годы!“

„Чѣмъ будемъ принимать гостей, панъ? Съ луговой стороны идутъ ляхи!“ сказалъ, вошедши въ хату, Стецько.

„Знаю, зачѣмъ идутъ они“, вымолвилъ Данило, подымаясь съ мѣста. „Сдѣлайте, мои вѣрные слуги, коней! Надѣвайте сбрую! Сабли наголо! Не забудьте набрать и свинцоваго толкна: съ честью нужно встрѣтить гостей!“

Но еще не успѣли козаки сѣсть на коней и зарядить мушкеты, а уже ляхи, будто упавшій осенью съ дерева на землю листъ, усыпали собою гору.

„Э, да тутъ есть съ кѣмъ перевѣдаться!“ сказалъ Данило, поглядывая на толстыхъ пановъ, важно качавшихся впереди на коняхъ въ золотой сбруѣ. „Видно, еще разъ доведется намъ погулять на славу! Натѣшься же, козацкая душа, въ послѣдній разъ! Гуляйте, хлопцы: пришелъ нашъ праздникъ!“

И пошла по горамъ потѣха, и закировала пиръ: гуляютъ мечи, летаютъ пули, ржутъ и топчутъ кони. Отъ крику безумѣтъ

голова; отъ дыму слѣпнуть очи. Все перемяшалось; но козакъ чуетъ, гдѣ другъ, гдѣ недругъ; прошумитъ ли пуля — валится лихой сѣдокъ съ коня; свиснетъ сабля — катится по землѣ голова, бормоча языкомъ несвязныя рѣчи.

Но виденъ въ толпѣ красный верхъ козацкой шапки пана Данила; мечется въ глаза золотой поясъ на синемъ жупанѣ; вихремъ вьется грива вороного коня. Какъ птица, мелькаетъ онъ тамъ и тамъ; покрикиваетъ и машетъ дамасской саблей и рубитъ съ праваго и лѣваго плеча. Руби, козакъ! гулай, козакъ! Тѣшь молодецкое сердце; но не заглядывайся на золотые сбруи и жупаны: топчи подъ ноги золото и каменя! Коли, козакъ! гулай, козакъ! но оглянись назадъ: нечестивые ляхи зажигаютъ уже хатъ! и угоняютъ напуганный скотъ. И, какъ вихорь, поворотилъ панъ Данило назадъ, и шапка съ краснымъ верхомъ мелькаетъ уже возлѣ хатъ, и рѣдѣетъ вокругъ его толпа.

Не часъ, не другой бьются ляхи и козаки; немного становится тѣхъ и другихъ; но не устаетъ панъ Данило: сбиваетъ съ сѣдла длиннымъ копьемъ своимъ, топчетъ лихимъ конемъ пѣшихъ. Уже очищается дворъ, уже начали разбѣгаться ляхи; уже обдираютъ козаки съ убитыхъ золотые жупаны и богатую сбрую; уже панъ Данило собирается въ погоню, и взглянулъ, чтобы созвать своихъ... и весь закипѣлъ отъ ярости: ему показался Катерининъ отецъ. Вотъ онъ стоитъ на горѣ и цѣлитъ въ него мушкетомъ¹. Данило погналъ коня прямо къ нему... Козакъ, на гибель идешь!... Мушкетъ гремитъ — и колдунъ пропалъ за горою. Только вѣрный Стецько видѣлъ, какъ мелькнула красная одежда и чудная шапка. Зашатался козакъ и свалился на землю. Кинулся вѣрный Стецько къ своему пану: лежитъ панъ его, протянувшись на землѣ и закрывши ясныя очи; алая кровь закипѣла на груди. Но, видно, почувалъ вѣрнаго слугу своего; тихо приподнялъ вѣки, блеснулъ глазами: „Прощай, Стецько! Скажи Катеринѣ, чтобы не покидала сына! Не покидайте и вы его, мои вѣрные слуги!“ и затихъ. Вылетѣла козацкая душа изъ дворянскаго тѣла: посинѣли уста; спитъ козакъ непробудно.

Зарыдалъ вѣрный слуга и машетъ рукою Катеринѣ: „Ступай пани, ступай: подгулялъ твой панъ; лежитъ онъ пьянехонекъ на сырой землѣ; долго не протрезвится ему!“

Всплеснула руками Катерина и повалилась, как снопы, на мертвое тѣло. „Мужь мой! ты ли лежишь тутъ, закрывши очи? Встань, мой ненаглядный соколь, протяни ручку свою! приподымись! Погляди хоть разъ на твою Катерину, пошевели устами, вымолви хоть одно словечко!... Но ты молчишь, ты молчишь, мой ясный пань! Ты посиѣлъ, какъ Черное море. Сердце твое не бьется! Отчего ты такой холодный, мой пань? Видно, не горючи мои слезы, не въ мочь имъ согрѣть тебя! Видно, не громокъ плачь мой, не разбудить имъ тебя! Кто же поведетъ теперь полки твои? Кто понесется на твоємъ ворономъ коникѣ, громко загукаетъ и замашетъ саблей предъ козаками? Козаки, козаки! гдѣ честь и слава ваща? Лежить честь и слава ваща, закрывши очи, на сырой землѣ. Похороните же меня, похороните вмѣстѣ съ нимъ! Засыпьте мнѣ очи землею! Надавите мнѣ кленовыя доски на бѣлыя груди! Мнѣ не нужна больше красота моя!“

Плачетъ и убивается Катерина; а даль вся покрывается пылью: скачетъ старый есаулъ Горобецъ на помощь.

Х.

Чудень Днѣпръ при тихой погодѣ, когда вольно и плавно мчитъ сквозь лѣса и горы полныя воды свои. Ни зашелохнетъ, ни прогремитъ. Глядишь, и не знаешь, идетъ или не идетъ его величаявая ширина; и чудится, будто весь вылить онъ изъ стекла, и будто голубая зеркальная дорога, безъ мѣры въ ширину, безъ конца въ длину, рѣветъ и вьется по зеленому міру. Любо тогда и жаркому солнцу оглядѣться съ вышины и погрузить лучи въ холодъ стеклянныхъ водъ, и прибережнымъ лѣсамъ ярко отсвѣтиться¹ въ водахъ. Зеленокудрые! они толпятся вмѣстѣ съ полевыми цвѣтами къ водамъ и, наклонившись, глядятъ въ нихъ и не наглядятся, и не налюбуются свѣтлымъ своимъ зракомъ, и усмѣхаются ему², и привѣтствуютъ его, кивая вѣтвями. Въ середину же Днѣпра они не смѣютъ глянуть: нието, кромѣ солнца и голубаго неба, не глядитъ въ него; рѣдкая птица долетитъ до середины Днѣпра. Пышный! ему нѣтъ равной рѣки въ мірѣ. Чудень Днѣпръ и при теплой лѣтней ночи, когда все засыпаетъ: и человекъ, и звѣрь, и птица, а Богъ

одинъ величаво озираетъ небо и землю и величаво сотрясаетъ ризу. Отъ ризы сыплются звѣзды; звѣзды горятъ и свѣтять надъ міромъ, и всѣ разомъ отдаются въ Днѣпръ. Всѣхъ ихъ держитъ Днѣпръ въ темномъ лонѣ своемъ; ни одна не убѣжитъ отъ него — развѣ погаснетъ на небѣ. Черный лѣсъ, униженный спящими воронами, и древле разломанныя горы, свѣсясь, селятся закрыть его хотя длинною тѣнью своею — напрасно! Нѣтъ ничего въ мірѣ, что бы могло прикрыть Днѣпръ. Синій, синій ходитъ онъ плавнымъ разливомъ и середь ночи, какъ середь дня; виденъ за столько вдаль, за сколько видѣть можетъ человѣче око. Нѣжась и прижимаясь ближе къ берегамъ отъ ночнаго холода, даетъ онъ по себѣ серебряную струю, и она вспыхиваетъ, будто полоса дамасской сабли; а онъ, синій, снова заснулъ. Чуденъ и тогда Днѣпръ, и нѣтъ рѣки равной ему въ мірѣ! Когда же пойдутъ горами по небу синія тучи, черный лѣсъ шатается до корня, дубы трещать, и молнія, изламываясь между тучъ, разомъ освѣтитъ цѣлый міръ, — страшенъ тогда Днѣпръ! Водяные холмы гремятъ, ударяясь о горы, и съ блескомъ и стономъ отбѣгаютъ назадъ, и плачутъ, и заливаются вдали. Такъ убивается старая мать козака, выпроважая своего сына въ войско: разгульный и бодрый, ѣдетъ онъ на ворономъ конѣ, подбоченившись и молодецки заломивъ шапку; а она, рыдая, бѣжитъ за нимъ, хватаетъ его за стремя, ловитъ удила и ломаетъ надъ нимъ руки, и заливается горючими слезами.

Дико чернѣютъ промежъ ратующими волнами обгорѣлые пни и камни на выдавшемся берегу. И бьется объ берегъ, подымаясь вверхъ и опускаясь внизъ, пристающая лодка. Кто изъ козаковъ осмѣлился гулять въ челнѣ, въ то время, когда разсердился старый Днѣпръ? Видно, ему не вѣдомо, что онъ глотаетъ людей, какъ мухъ².

Лодка причалила, и вышелъ изъ нея колдунъ. Не весель онъ: ему горька тризна, которую свершили козаки надъ убитымъ своимъ паномъ. Не мало поплатились ляхи: сорокъ четыре пана со всею сбруею и жупанами, да тридцать три холопа изрублены въ куски; а остальныхъ вмѣстѣ съ конями угнали въ плѣнъ продать татарамъ.

По каменнымъ ступенямъ спустился онъ между обгорѣлыми пнями, внизъ, гдѣ, глубоко въ землѣ, вырыта была у него

землянка. Тихо вошелъ онъ, не скрипнувши дверью, поставилъ на столъ, закрытый скатертью, горшокъ и сталъ бросать длинными руками своими какія-то невѣдомыя травы; взялъ куволь, выдѣланный изъ какого-то чуднаго дерева, почерпнулъ имъ воды, и сталъ лить, шевеля губами и творя какія-то заклинанія. Показался розовый свѣтъ въ свѣтлицѣ, и страшно было глядѣть тогда ему въ лицо: оно казалось кровавымъ, глубокія морщины только чернѣли на немъ, а глаза были, какъ въ огнѣ. Нечестивый грѣшникъ! Уже и борода давно посѣдѣла, и лицо изрыто морщинами, и высохъ весь, а все еще творить богопротивный умыселъ. Посреди хаты стало вѣять бѣлое облако, и что-то похожее на радость сверкнуло въ лицѣ его; но отчего же вдругъ сталъ онъ недвижимъ, съ разинутымъ ртомъ, не смѣя пошевелиться, и отчего волосы щетиною поднялись на его головѣ? Въ облакѣ передъ нимъ свѣтилось чье-то чудное лицо. Непрошенное, незванное, явилось оно къ нему въ гости; чѣмъ далѣе, выяснивалось больше и вперило неподвижныя очи. Черты его, брови, глаза, губы, все незнакомое ему; никогда во всю жизнь свою онъ его не видывалъ. И страшнаго, кажется, въ немъ мало, а непреодолимый ужасъ напалъ на него. А незнакомая дивная голова сквозь облако также неподвижно глядѣла на него. Облако уже и пропало; а невѣдомыя черты еще рѣзче выказывались и острыя очи не отрывались отъ него. Колдунъ весь побѣлѣлъ, какъ полотно; дикимъ, не своимъ голосомъ вскрикнулъ, опрокинулъ горшокъ... Все пропало.

ХІ.

„Успокой себя, моя любая сестра!“ говорилъ старый есаулъ Горобецъ: „сны рѣдко говорятъ правду“.

„Прилягъ, сестрица!“ говорила молодая его невѣстка: „я позову старуху, ворожею: противъ нея никакая сила не устоитъ: она выльетъ переполохъ тебѣ“.

„Ничего не бойся!“ говорилъ сынъ его, хватаясь за саблю: „никто тебя не обидитъ“.

Пасмурно, мутными глазами, глядѣла на всѣхъ Катерина и не находила рѣчи. „Я сама устроила себѣ погибель: я вы-

пустила его!“ Наконецъ она сказала: „Мнѣ нѣтъ отъ него покоя! Вотъ уже десять дней я у васъ въ Кіевѣ, а горя ни капли не убавилось. Думала, буду хоть въ тишинѣ растить на мѣсть сына... Страшенъ, страшенъ привидѣлся онъ мнѣ во снѣ! Боже сохрани и вамъ увидѣть его! Сердце мое до сихъ поръ бьется“. — „Я зарублю твое дитя, Катерина!“ кричала онъ, „если не выйдешь за меня замужъ...“ И зарыдавъ, кинулась она къ колыбели; а испуганное дитя протануло ручонки и кричало.

Кипѣлъ и сверкалъ сынъ есаула отъ гнѣва, слыша такія рѣчи.

Расходился и самъ есаулъ Горобецъ: „Пусть попробуетъ онъ, окаянный антихристъ, притти сюда: отвѣдаетъ, бываетъ ли сила въ рукахъ стараго козака. Богъ видитъ“, говорилъ онъ, подымая кверху прозорливыя очи: „не летѣлъ ли я подать руку брату Данилу? Его святая воля! Засталъ уже на холодной постели, на которой много, много улеглось козацкаго народа. За то развѣ не пышна была тризна по немъ? Выпустили ли хоть одного ляха живаго? Успокойся же, дитя мое!¹ Никто не посмѣетъ тебя обидѣть, развѣ ни меня не будеть, ни моего сына“.

Кончивъ слова свои, старый есаулъ пришелъ къ колыбели, и дитя, увидѣвши висѣвшую на ремнѣ у него, въ серебряной оправѣ, красную люльку и гаманъ съ блестящимъ огнивомъ, протануло къ нему ручонки и засмѣялось. „По отцу поидеть!“ сказалъ старый есаулъ, снимая съ себя люльку и отдавая ему: „еще отъ колыбели не отсталъ, а ужъ думаетъ курить люльку!“

Тихо вздохнула Катерина и стала качать колыбель. Сговорились провести ночь вмѣстѣ и, мало² погода, уснули всѣ; уснула и Катерина.

На дворѣ и въ хатѣ все было тихо; не спали только козаки, стоявшіе на сторожѣ. Вдругъ Катерина, вскрикнувъ, проснулась, и за нею проснулись всѣ. „Онъ убить, онъ зарѣзанъ!“ кричала она и кинулась къ колыбели... Всѣ обступили колыбель и окаменѣли отъ страха, увидѣвши, что въ ней лежало неживое дитя. Ни звука не вымолвилъ ни одинъ изъ нихъ, не зная, что думать о неслыханномъ злодѣйствѣ.

XII.

Далеко отъ Украинскаго края, пройдя Польшу, минуя и многолюдный городъ Лембергъ, идутъ рядами высоковерхія горы. Гора за горою, будто каменными цѣпями, перекидываютъ онѣ вправо и влѣво землю и обковываютъ ее каменною толщей, чтобы не прососало шумное и буйное море. Идутъ каменные цѣпи въ Валахію и въ Седмиградскую область, и громадою стали, въ видѣ подковы, между галицскимъ и венгерскимъ народомъ. Нѣтъ такихъ горъ въ нашей сторонѣ. Глазъ не смѣетъ оглянуть ихъ; а на вершину иныхъ не заходила и нога человѣчья. Чуденъ и видъ ихъ: не задорное ли море выбѣжало въ бурю изъ широкихъ береговъ, вскинуло вихремъ безобразныя волны, и онѣ, окаменѣвъ, остались недвижимы въ воздухѣ? Не оборвались ли съ неба тяжелыя тучи и загромоздили собою землю? ибо и на нихъ такой же сѣрый цвѣтъ, а бѣлая верхушка блеститъ и искрится при солнцѣ. Еще до Карпатскихъ горъ услышишь русскую молвь, и за горами еще, кой-гдѣ, отзовется какъ будто родное слово; а тамъ уже и вѣра не та, и рѣчь не та. Живетъ не малолюдный народъ венгерскій; ѣздитъ на коняхъ, рубится и пьетъ не хуже козака; а за конную сбрую и дорогіе кафтаны не скупятся вынимать изъ кармана червонцы. Раздольны и велики есть между горами озера. Какъ стекло, недвижимы они и, какъ зеркало, отдаютъ въ себѣ голыя вершины горъ и зеленыя ихъ подошвы.

Но кто среди ночи, — блещутъ, или не блещутъ звѣзды, — ѣдетъ на огромномъ ворономъ конѣ? Какой богатырь съ нечеловѣчьимъ ростомъ скачетъ подъ горами, надъ озерами, отсвѣчивается съ исполинскимъ конемъ въ недвижныхъ водахъ, и безконечная тѣнь его страшно мелькаетъ по горамъ? Блещутъ чеканенныя латы; на плечѣ пика; гремитъ при сѣдлѣ сабля; шеломя надвинуть; усы чернѣютъ; очи закрыты; рѣсницы опущены — онъ спитъ и, сонный, держитъ повода; и за нимъ сидитъ на томъ же конѣ младенецъ пажъ, и также спитъ, и, сонный, держится за богатыря. Кто онъ, куда, зачѣмъ ѣдетъ? Кто его знаетъ. Не день, не два уже онъ переѣзжаетъ горы. Блеснетъ день, взойдетъ солнце, его не

видно; изрѣдка только замѣчали горцы, что по горамъ мелькаетъ чья-то длинная тѣнь, а небо ясно, и тучи не пройдутъ по немъ. Чуть же ночь наведетъ темноту, снова онъ виденъ и отдается въ озерахъ, и за нимъ, дрожа, скачетъ тѣнь его. Уже проѣхалъ много онъ горъ и взвѣхалъ на Криванъ. Горы этой нѣтъ выше между Карпатами: какъ царь подымается она надъ другими. Тутъ остановился конь и всадникъ, и еще глубже погрузился въ сонъ, и тучи, спустясь, закрыли его.

ХІІІ.

„Тс... тише, баба! не стучи такъ: дитя мое заснуло. Долго кричалъ сынъ мой, теперь спитъ. Я пойду въ лѣсъ, баба! Да что же ты такъ глядишь на меня? Ты страшна: у тебя изъ глазъ вытягиваются желѣзные клещи... ухъ, какія длинныя!¹ и горятъ, какъ огонь! Ты, вѣрно, вѣдьма! О, если ты вѣдьма, то пропади отсюда! Ты украдешь моего сына. Какой безтолковый этотъ есаулъ: онъ думаетъ, мнѣ весело жить въ Кіевѣ; нѣтъ, здѣсь и мужъ мой, и сынъ, кто же будетъ смотрѣть за хатой? Я ушла такъ тихо, что ни кошка, ни собака не услышала². Ты хочешь, баба, сдѣлаться молодою? Это совсѣмъ не трудно: нужно танцовать только. Гляди, какъ я танцую...“ И, проговоривъ такія несвязныя рѣчи, уже неслась Катерина, безумно поглядывая на всѣ стороны и упираясь руками въ боки. Съ визгомъ притопывала она ногами; безъ мѣры, безъ такта звенѣли серебряныя подковы. Незаплетенныя черныя косы метались по бѣлой шеѣ. Какъ птица, не останавливаясь, летѣла она, размахивая руками и кивая головой, и, казалось, будто, обезсилѣвъ, или грянется на землю, или вылетитъ изъ міра.

Печально стояла старая няня и слезами налились ея глубокія морщины; тяжкій камень лежалъ на сердцѣ у вѣрныхъ хлопцевъ, глядѣвшихъ на свою пани. Уже совсѣмъ ослабѣла она и лѣниво топала ногами на одномъ мѣстѣ, думая, что танцуетъ горлицу. „А у меня монисто есть, парубки!“ сказала она наконецъ, остановившись: „а у васъ нѣтъ!... Гдѣ мужъ мой?“ вскричала она вдругъ, выхвативъ изъ-за пояса

турецкій кинжалъ. „О! это не такой ножъ, какой нужно“. При этомъ и слезы, и тоска показались у нея на лицѣ. „У отца моего далеко сердце: онъ не достанетъ до него. У него сердце изъ желѣза выковано; ему выковала одна вѣдьма на пекельномъ огнѣ. Что жъ пойдетъ отецъ мой? Развѣ онъ не знаетъ, что пора заколотъ его? Видно, онъ хочетъ, чтобъ я сама пришла...“ И, не докончивъ, чудно засмѣялася. „Мнѣ пришла на умъ забавная исторія: я вспомнила, какъ погребали моего мужа. Вѣдь его живаго погребли... Какой смѣхъ забиралъ меня!... Слушайте, слушайте!“ И, вмѣсто словъ, начала она пѣть пѣсню:

Бижить возокъ кровавенькій:
 У тмъ возку козакъ лежить,
 Пострѣляный, порубаный.
 Въ правій ручци дротыкъ держить,
 Съ того дроту кривця бижить;
 Бижить рива кровавая.
 Надъ ричкою яворъ стоить;
 Надъ яворомъ воронъ кряче.
 За козакомъ маты плаче.
 Не плачь, маты, не журися!
 Бо вже твій сынъ оженився.
 Та взявъ жинку паняночку,
 Въ чистомъ поли земляночку,
 И безъ дверецъ, безъ оконецъ.
 Та вже писни вышовъ конецъ.
 Танцювала рыба зъ ракомъ...
 А хто мене не полюбить, трясця его матеръ!

Такъ перемѣшивались у ней всѣ пѣсни. Уже день и два живетъ она въ своей хатѣ и не хочетъ слышать о Кіевѣ, и не молится, и бѣжитъ отъ людей, и съ утра до поздняго вечера бродитъ по темнымъ дубравамъ. Острые сучья царапають бѣлое лицо и плечи; вѣтеръ треплетъ расплетенныя косы; осенніе¹ листья шумятъ подъ ногами ея — ни на что не глядитъ она. Въ часъ, когда вечерняя заря тухнетъ, еще не являются звѣзды, не горитъ мѣсяцъ, а уже страшно ходить въ лѣсу: по деревьямъ царапаются и хватаются за сучья некрещенныя дѣти, рыдаютъ, хохочутъ, катятся клубомъ по дорогамъ и въ широкой кропивѣ; изъ Днѣпровскихъ волнъ выбѣгаютъ вереницами погубившія свои души дѣвы; волосы

лются съ зеленой головы на плечи; вода, звучно журча, бѣжить съ длинныхъ волосъ на землю, и дѣва свѣтится сквозь воду, какъ будто бы сквозь стеклянную рубашку; уста чудно усмѣхаются, щеки пылають, очи выманивають душу... она сгорѣла бы отъ любви, она зацѣловала бы... Бѣги, крещенный человѣкъ! Уста ея — ледъ, постель — холодная вода; она защекочетъ тебя и утащитъ въ рѣку. Катерина не глядитъ ни на кого, не боится, безумная, русалокъ, бѣгаетъ поздно съ ножомъ своимъ и ищетъ отца.

Съ раннимъ утромъ пріѣхалъ какой-то гость, статный собою, въ красномъ жупанѣ, и освѣдомляется о панѣ Данилѣ; слышитъ все, утираетъ рукавомъ заплаканныя очи и пожимаетъ плечами. Онъ, де, воевалъ вмѣстѣ съ покойнымъ Бурульбашемъ; вмѣстѣ рубились они съ крымцами и турками; ждалъ ли онъ, чтобы такой конецъ былъ пана Данила. Рассказываетъ еще гость о многомъ другомъ и хочетъ видѣть пани Катерину.

Катерина сначала не слушала ничего, что говорилъ гость; напоследокъ стала, какъ разумная, вслушиваться въ его рѣчи. Онъ повелъ про то, какъ они жили вмѣстѣ съ Даниломъ, будто братъ съ братомъ; какъ укрылись разъ подъ греблею отъ крымцевъ... Катерина все слушала и не спускала съ него очей.

„Она отойдетъ!“ думали хлопцы, глядя на нее. „Этотъ гость выльбитъ ее! Она уже слушаетъ, какъ разумная!“

Гость началъ рассказывать между тѣмъ, какъ панъ Данило, въ часъ откровенной бесѣды, сказалъ ему: „Гляди, братъ Копрянъ: когда волею божіей не будетъ меня на свѣтѣ, возьми къ себѣ жену, и пусть будетъ она твоею женою...“

Страшно вонзила въ него очи Катерина. „А!“ вскрикнула она: „это онъ! это отецъ!“ и кинулась на него съ ножомъ.

Долго боролся тотъ, стараясь вырвать у нея ножъ; наконецъ вырвалъ, замахнулся, — и совершилось страшное дѣло: отецъ убилъ безумную дочь свою.

Изумившіеся козаки кинулись было на него; но колдунъ уже успѣлъ вскочить на коня и пропасть изъ виду.

XIV.

За Кіевомъ показалось неслыханное чудо. Всѣ паны и гетьманы собирались дивиться этому¹ чуду: вдругъ стало видимо далеко во всѣ концы свѣта. Вдали засинѣлъ Лиманъ, за Лиманомъ разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крымъ, горою подымавшійся изъ моря, и болотный Сивашъ. По лѣвую руку видна была земля Галичская.

„А то что такое?“ допрашивалъ собравшійся народъ старыхъ людей, указывая на далеко мерещившіеся на небѣ и больше похожіе на облака сѣрые и бѣлые верхи.

„То Карпатскія горы!“ говорили старые люди: „межь ними есть такія, съ которыхъ вѣкъ не сходитъ снѣгъ, а тучи пристають и ночуютъ тамъ“.

Тутъ показалось новое диво: облака слетѣли съ самой высокой горы и на вершинѣ ея показался во всей рыцарской сбруѣ человекъ на конѣ съ закрытыми глазами, и такъ виденъ, какъ бы стоялъ вблизи.

Тутъ, межъ дивившимся со страхомъ народомъ, одинъ вскочилъ на коня и, дико озираясь по сторонамъ, какъ будто ища очами, не гонится ли кто за нимъ, торопливо, во всю мочь, погналъ коня своего. То былъ колдунъ. Чего же такъ перепугался онъ? Со страхомъ взглянувъ въ чуднаго рыцаря, узналъ онъ на немъ то же самое лицо, которое, незванное, показалось ему, когда онъ ворожилъ. Самъ не могъ онъ разумѣть, отчего въ немъ все смутилось при такомъ видѣ, и, робко озираясь, мчался онъ на конѣ, покажѣсть не застигнулъ его вечеръ и не проглянули звѣзды. Тутъ поворотилъ онъ домой, можетъ-быть, допросить нечистую силу, что значитъ такое диво. Уже онъ хотѣлъ перескочить съ конемъ черезъ узкую рѣку, выступившую рукавомъ среди дороги, какъ вдругъ конь на всемъ скаку остановился, заворотилъ къ нему морду, и — чудо — засмѣялся! бѣлые зубы страшно блеснули двумя рядами во мракѣ. Дыбомъ поднялись волосы на головѣ колдуна. Дико закричалъ онъ и заплакалъ, какъ изступленный, и погналъ коня прямо къ Кіеву. Ему чудилось, что все со всѣхъ сторонъ бѣжало ловить его: деревья, обступивши темнымъ лѣсомъ, и какъ будто живыя, кивая черными бородами и вытягивая длинныя вѣтви, силились задушить его; звѣзды,

казалось, бѣжали впереди передъ нимъ, указывая вѣмъ на грѣшника; сама дорога, чудилось, мчалась по слѣдамъ его. Отчаянный колдунъ летѣлъ въ Кіевъ къ святымъ мѣстамъ.

XV.

Одиноко сидѣлъ въ своей пещерѣ передъ лампадою схимникъ и не сводилъ очей съ святой книги. Уже много лѣтъ, какъ онъ затворился въ своей пещерѣ; уже сдѣлалъ себѣ и досчатый гробъ, въ который ложился спать вмѣсто постели. Закрылъ святой старецъ свою книгу и сталъ молиться... Вдругъ вбѣжалъ человѣкъ чуждаго, страшнаго вида. Изумился святой схимникъ въ первый разъ и отступилъ, увидѣвъ такого человѣка. Весь дрожалъ онъ, какъ осиновый листъ; очи дико косялись; страшный огонь пугливо сыпался изъ очей; дрожь навело на душу уродливое его лицо.

„Отецъ, молись! молись!“ закричалъ онъ отчаянно: „молись о погибшей душѣ!“ и грянулся на землю.

Святой схимникъ перекрестился, досталъ книгу, развернулъ и, въ ужасѣ, отступилъ назадъ и выронилъ книгу: „Нѣтъ, неслыханный грѣшникъ! нѣтъ тебѣ помилованія! Бѣги отсюда! Не могу молиться о тебѣ!“

„Нѣтъ?“ закричалъ, какъ безумный, грѣшникъ.

„Гляди: святые буквы въ книгѣ налились кровью... Еще никогда въ мірѣ не бывало¹ такого грѣшника!“

„Отецъ! ты смѣешься надо мною!“

„Иди, окаянный, грѣшникъ! Не смѣюсь я надъ тобою. Боязнь овладѣваетъ мною. Не добро быть человѣку съ тобою вмѣстѣ!“

„Нѣтъ, нѣтъ! ты смѣешься, не говори... Я вижу, какъ раздвинулся ротъ твой: вотъ бѣлѣютъ рядами твои старые зубы!“

И, какъ бѣшеный, кинулся онъ — и убилъ святаго схимника.

Что-то тяжело застонало, и стонъ перенесся черезъ поле и лѣсъ. Изъ-за лѣса поднялись тощія, сухія руки съ длинными когтями: затряслись и пропали.

И уже ни страха, ничего не чувствовалъ онъ. Все чудится ему какъ-то смутно: въ ухахъ шумить, въ головѣ шумить, какъ будто отъ хмеля, и все, что ни есть передъ глазами,

покрывается какъ бы паутиною. Вскочивши на коня, поѣхалъ онъ прямо въ Каневъ, думая оттуда черезъ Черкасы направить путь къ татарамъ прямо въ Крымъ, самъ не зная, для чего. Ёдетъ онъ уже день, другой, а Канева все нѣтъ. Дорога та самая, пора бы ему уже давно показаться; но Канева не видно. Вдали блеснули верхушки церковей: но это не Каневъ, а Шумскъ. Изумился колдунъ, видя, что онъ заѣхалъ совсѣмъ въ другую сторону. Погналъ коня назадъ къ Кіеву, и черезъ день показался городъ, но не Кіевъ, а Галичь, городъ еще далѣе отъ Кіева, чѣмъ Шумскъ, и уже недалеко отъ венгровъ. Не зная, что дѣлать, поворотилъ онъ коня снова назадъ; но чувствуетъ снова, что ѣдетъ въ противную сторону и все впередъ. Не могъ бы ни одинъ человѣкъ въ свѣтѣ рассказать, что было на душѣ у колдуна; а если бы онъ заглянулъ и увидѣлъ, что тамъ дѣялось, то уже не досыпалъ бы онъ ночей и не засмѣялся бы ни разу. То была не злость, не страхъ, и не лютая досада. Нѣтъ такого слова на свѣтѣ, которымъ бы можно было его назвать. Его жгло, пекло, ему хотѣлось бы весь свѣтъ вытоптать конемъ своимъ, взять всю землю отъ Кіева до Галича съ людьми, со всѣмъ, и затопить ее въ Черномъ морѣ. Но не отъ злобы хотѣлось ему это сдѣлать: нѣтъ, самъ онъ не зналъ, отъ чего. Весь вздрогнулъ онъ, когда уже показались близко передъ нимъ Карпатскія горы и высокій Криванъ, накрывшій свое темя, будто шапкою, сѣрою тучею; а конь все несея и уже рыскалъ по горамъ. Тучи разомъ очистились, и передъ нимъ показался въ страшномъ величїи всадникъ... Онъ силится остановиться, крѣпко натягиваетъ удила; дико ржалъ конь, подымая гриву, и мчался къ рыцарю. Тутъ чудится колдуну, что все въ немъ замерло, что недвижный всадникъ шевелится и разомъ¹ открылъ свои очи, увидѣлъ неспагося къ нему колдуна и засмѣялся. Какъ громъ, рассыпался дикій смѣхъ по горамъ и зазвучалъ въ сердцѣ колдуна, потрясши все, что было внутри его. Ему чудилось, что будто кто-то сильный влѣзъ въ него и ходилъ внутри его и билъ молотами по сердцу, по жиламъ... такъ страшно отдался въ немъ этотъ смѣхъ!

Ухватилъ всадникъ страшною рукою колдуна и поднялъ его на воздухъ. Вмигъ умеръ колдунъ и открылъ послѣ смерти очи; но уже былъ мертвецъ и глядѣлъ, какъ мертвецъ. Такъ

страшно не глядитъ, ни живой, ни воскресшій. Ворочаль онъ по сторонамъ мертвыми глазами, и увидѣлъ поднявшихся мертвецовъ отъ Кіева, и отъ земли Галичской, и отъ Карпата, какъ двѣ капли воды схожихъ лицомъ на него.

Блѣдны, блѣдны, одинъ другаго выше, одинъ другаго костистѣй, стали они вокругъ всадника, державшаго въ рукѣ страшную добычу. Еще разъ засмѣялся рыцарь, и кинулъ ее въ пропасть. И всѣ мертвецы вскочили въ пропасть, подхватили мертвеца и вонзили въ него свои зубы. Еще одинъ всѣхъ выше, всѣхъ страшнѣе, хотѣлъ подняться изъ¹ земли, но не могъ, не въ силахъ былъ этого сдѣлать — такъ великъ выросъ онъ въ землѣ; а если бы поднялся, то опрокинулъ бы и Карпаты, и Седмиградскую и Турецкую землю². Немного только подвинулся онъ — и пошло отъ него трясеніе по всей землѣ, и много поопрокидывалось вездѣ хать, и много задавило народу.

Слышится часто по Карпату свистъ, какъ будто тысяча мельницъ шумить колесами на водѣ: то, въ безвыходной пропасти, которой не видалъ еще ни одинъ человекъ, страшящійся проходить мимо, мертвецы грызутъ мертвеца. Нерѣдко бывало по всему міру, что земля тряслась отъ одного конца до другаго: то оттого дѣлается, толкуютъ грамотные люди, что есть гдѣ-то, близъ моря, гора, изъ которой выхватывается пламя и текутъ горячія рѣки. Но старики, которые живутъ и въ Венгріи, и въ Галичской землѣ, лучше знаютъ это и говорятъ, что то хочетъ подняться выросшій въ землѣ великій, великій мертвецъ и трясеть землю.

XVI.

Въ городѣ Глуховѣ собрался народъ около старца бандуриста, и уже съ часъ слушалъ, какъ слѣпецъ игралъ на бандурѣ. Еще такихъ чудныхъ пѣсенъ и такъ хорошо не пѣлъ ни одинъ бандуристъ. Сперва повелъ онъ про прежнюю гетьманщину за Сагайдачнаго и Хмельницкаго. Тогда иное было время: козачество было въ славѣ, топгало конями непріятелей, и никто не смѣлъ посмѣяться надъ нимъ. Пѣлъ и веселыя

пѣсни старецъ и поваживалъ своими очами на народъ, какъ будто зрящій; а пальцы, съ придѣланными къ нимъ костями, летали, какъ муха, по струнамъ и, казалось, струны сами играли; а кругомъ народъ, старые люди, понутивъ головы, а молодые, поднявъ очи на старца, не смѣли и шептать между собою.

„Постойте“, сказалъ старецъ: „я вамъ запою про одно давнее дѣло“. Народъ сдвинулся еще тѣснѣе, и слѣпецъ запѣлъ:

„За пана Степана, князя Седмиградскаго, (былъ князь Седмиградскій королемъ и у ляховъ) жило два козака: Иванъ да Петро. Жили они такъ, какъ братъ съ братомъ. „Гляди, Иванъ, все, что ни добудешь — все пополамъ: когда кому веселье, веселье и другому; когда кому горе — горе и обоимъ; когда кому добыча — пополамъ добычу; когда кто въ полонъ попадетъ — другой продай все и дай выкупъ, а не то, самъ ступай въ полонъ“. И правда, все, что ни доставали козаки, все дѣлили пополамъ: угоняли ли чужой скоть или коней — все дѣлили пополамъ.

* *
*

„Воевалъ король Степанъ съ Турчиномъ. Уже три недѣли воюетъ онъ съ Турчиномъ, а все не можетъ его выгнать. А у Турчина былъ паша такой, что самъ съ десятью янычарами могъ порубить цѣлый полкъ. Вотъ объявилъ король Степанъ, что если сыщется смѣльчакъ и приведетъ къ нему того¹ пашу живаго или мертваго, дастъ ему одному столько жалованья, сколько даетъ на все войско. „Пойдемъ, братъ, ловить пашу!“ сказалъ братъ Иванъ Петру. И поѣхали козаки, одинъ въ одну сторону, другой въ другую.

* *
*

„Поймалъ ли бы еще, или не поймалъ Петро, а уже Иванъ ведетъ пашу арканомъ за шею къ самому королю. „Бравый молодецъ!“ сказалъ король Степанъ, и приказалъ выдать ему одному такое жалованье, какое получаетъ все войско; и приказалъ отвезти ему земли тамъ, гдѣ онъ задумаетъ себѣ, и дать скота, сколько пожелаетъ. Какъ получилъ Иванъ жалованье отъ короля, въ тотъ же день раздѣлили все поровну между

собою и Петромъ. Взявъ Петро половину королевскаго жалованья, но не могъ вынести того, что Иванъ получилъ такую честь отъ короля, и затаилъ глубоко на душѣ месть.

* *
*

„Ѣхали оба рыцаря на жалованную королемъ землю, за Карпаты. Посадилъ козакъ Иванъ съ собою на коня своего сына, привязавъ его къ себѣ. Уже настали сумерки — они все ѣдутъ. Младенецъ заснулъ; сталъ дремать и самъ Иванъ. Не дремли, козакъ, по горамъ дороги опасныя!... Но у казака такой конь, что самъ вездѣ знаетъ дорогу: не спотыкнется и не оступится. Есть между горами провалъ, въ провалѣ dna никто не видать; сколько отъ земли до неба, столько до dna того провала. Но надъ самымъ проваломъ дорога — два человекъ еще могутъ проѣхать, а трое ни за что. Сталъ бережно ступать конь съ дремавшимъ козакомъ. Рядомъ ѣхалъ Петро, весь дрожалъ и притаилъ духъ отъ радости. Оглянулся и толкнулъ названнаго брата въ провалъ; и конь съ козакомъ и младенцемъ полетѣлъ¹ въ провалъ.

* *
*

„Ухватился, однакожъ, козакъ за сукъ, и одинъ только конь полетѣлъ на дно. Сталъ онъ карабкаться, съ сыномъ за плечами, вверхъ; немного уже не добрался, поднялъ глаза и увидѣлъ, что Петро наставилъ пику, чтобы столкнуть его назадъ. „Боже ты мой, праведный! лучше бъ мнѣ не подымать глазъ, чѣмъ видѣть, какъ родной братъ наставляетъ пику столкнуть меня назадъ!... Братъ мой милый! коли меня пикой, когда уже мнѣ такъ написано на роду; но возьми сына: чѣмъ безвинный² младенецъ виноватъ, чтобы ему пропасть такою лютою смертью?“ Засмѣялся Петро и толкнулъ его пикой, и козакъ съ младенцемъ полетѣлъ на дно. Забралъ себѣ Петро все добро и сталъ жить, какъ паша. Табуновъ ни у кого такихъ не было, какъ у Петра; овецъ и барановъ нигдѣ столько не было. И умеръ Петро.

* *
*

„Какъ умеръ Петро, призвалъ Богъ души обоихъ братьевъ, Петра и Ивана, на судъ. „Великій есть грѣшникъ сей чело-

вѣкъ!“ сказалъ Богъ. „Иване! не выберу я ему скоро казни; выбери ты самъ ему казнь!“ Долго думалъ Иванъ, вымышляя казнь, и наконецъ сказалъ: „Великую обиду нанесъ мнѣ сей человѣкъ: предалъ своего брата, какъ Іуда, и лишилъ меня честнаго моего рода и потомства на землѣ. А человѣкъ безъ честнаго рода и потомства, что хлѣбное сѣмя, кинутое въ землю и пропавшее даромъ въ землѣ. Выходу нѣтъ — никто и не узнаеть, что кинуте было сѣмя.“

* *
*

„Сдѣлай же, Боже, такъ, чтобы все потомство его не имѣло на землѣ счастья; чтобы послѣдній въ родѣ былъ такой злодѣй, какого еще и не бывало на свѣтѣ, и отъ каждаго его злодѣйства, чтобы дѣды и прадѣды его не нашли бы покоя въ гробахъ, и, терпя муку, невѣдомую на свѣтѣ, подымались бы изъ могилъ! А Іуда Петро, чтобы не въ силахъ былъ подняться, и отъ того терпѣлъ бы муку еще горшую; и ѡль бы, какъ бѣшеный, землю, и корчился бы подъ землею!“

* *
*

„И когда придетъ часъ мѣры въ злодѣйствахъ тому человеку, подыми меня, Боже, изъ того провала на конѣ на самую высокую гору, и пусть придетъ онъ ко мнѣ, и брошу я его съ той горы въ самый глубокой провалъ, и всѣ мертвецы, его дѣды и прадѣды, гдѣ бы ни жили при жизни, чтобы всѣ потянулись отъ разныхъ сторонъ земли грызть его за тѣ муки, что онъ наносилъ имъ, и вѣчно бы его грызли, и повеселился бы я, глядя на его муки! А Іуда Петро чтобы не могъ подняться изъ земли, чтобы рвался грызть и себѣ, но грызъ бы самого себя, а кости его росли бы, чѣмъ дальше, больше, чтобы чрезъ то еще сильнѣе становилась его боль. Та мука для него будетъ самая страшная, ибо для человѣка нѣтъ большей муки, какъ хотѣтъ отмстить, и не мочь отмстить.“

* *
*

„Страшна казнь, тобою выдуманная, человѣче!“ сказалъ Богъ. „Пусть будетъ все такъ, какъ ты сказалъ; но и ты сиди вѣчно тамъ на конѣ своемъ, и не будетъ тебѣ царствія небеснаго, покажѣсть ты будешь сидѣть тамъ на конѣ своемъ!“

И то все такъ сбылось, какъ было сказано: и донинѣ стоять на Карпатѣ на конѣ дивный рыцарь, и видить, какъ въ бездонномъ провалѣ грызуть мертвецы мертвеца, и чуеть, какъ лежащій подъ землею мертвецъ растеть, гложеть въ страшныхъ мукахъ свои кости и страшно трасеть всю землю...“

Уже слѣпецъ кончилъ свою пѣсню; уже снова сталъ перебирать струны; уже сталъ пѣть смѣшныя присказки про Хому и Ерему, про Стягара Стокозу... но старыя и малыя все еще не думали очнуться и долго стояли, потупивъ головы, раздумывая о страшномъ, въ старину случившемся дѣлѣ.

ИВАНЪ ѲЕДОРОВИЧЪ ШПОНЬКА И ЕГО ТЕТУШКА.

Съ этой исторіей случилась исторія: намъ разска-
зывалъ ее прїѣзжавшій изъ Гадяча Степанъ Ивано-
вичъ Курочка. Нужно вамъ знать, что память у меня,
невозможно сказать, что за дрянъ: хотъ говори, хотъ
не говори, все одно. То же самое, что въ рѣшето
воду лей. Зная за собою такой грѣхъ, нарочно про-
силъ его списать ее въ тетрадку. Ну, дай Богъ ему
здоровья, человѣкъ онъ былъ всегда добрый для
меня, взялъ и списалъ. Положилъ я ее въ маленькій
столикъ; вы, думаю, его хорошо знаете: онъ стоитъ
въ углу, когда войдешь въ дверь... Да, я и поза-
былъ, что вы у меня никогда не были. Старуха моя,
съ которой живу уже лѣтъ тридцать вмѣстѣ, гра-
мотѣ съ роду не училась, — нечего и грѣха таить.
Вотъ замѣчаю я, что она пирожки печеть на какой-
то бумагѣ. Пирожки она, любезные читатели, удиви-
тельно хорошо печеть; лучшихъ пирожковъ вы нигдѣ
не будете ѣсть. Посмотрѣлъ какъ-то на сподку пи-
рожка — смотрю: писанныя слова. Какъ будто сердце
у меня знало: прихожу къ столику — тетрадки и по-
ловины нѣтъ! Остальные листки всѣ растаскала на
пироги. Что прикажешь дѣлать? на старости лѣтъ не
подратъся же! Прошлый годъ случилось проѣзжать

чрезъ Гадячь; нарочно еще, не доѣзжая города, за-
 вязалъ узелокъ, чтобы не забыть попросить объ этомъ
 Степана Ивановича. Этого мало: взялъ обѣщаніе съ
 самого себя: какъ только чихну въ городѣ, то чтобы
 при этомъ вспомнить о немъ. Все напрасно. Проѣхалъ
 чрезъ городъ, и чихнулъ, и высморкался въ платокъ,
 а все позабылъ; да уже вспомнилъ, какъ верстъ за
 шесть отѣхалъ отъ заставы. Нечего дѣлать, при-
 шлось печатать безъ конца. Впрочемъ, если кто же-
 лаетъ непременно знать, о чемъ говорится далѣе въ
 этой повѣсти, то ему стоитъ только нарочно при-
 ѣхать въ Гадячь и попросить Степана Ивановича.
 Онъ съ большимъ удовольствіемъ расскажетъ ее, хоть,
 пожалуй, снова отъ начала до конца. Живетъ онъ
 недалеко возлѣ каменной церкви. Тутъ есть сейчасъ
 маленькій переулокъ: какъ только поворачишь въ пе-
 реулокъ, то будутъ вторыя или третьи ворота. Да
 вотъ лучше: когда увидите на дворѣ большой шесть
 съ перепеломъ, и выйдетъ на встрѣчу вамъ толстая
 баба въ зеленой юбкѣ (онъ, не мѣшаетъ сказать, ве-
 деть жизнь холостую), то это его дворъ. Впрочемъ,
 вы можете его встрѣтить на базарѣ, гдѣ бываетъ онъ
 каждое утро до девяти часовъ, выбираетъ рыбу и зе-
 лень для своего стола и разговариваетъ съ отцомъ
 Антипомъ, или съ жидомъ откупщикомъ. Вы его тот-
 часъ узнаете, потому что ни у кого нѣтъ, кромѣ него¹,
 панталонъ изъ цвѣтной выбойки и китайчатаго жел-
 таго сюртука. Вотъ вамъ еще примѣта: когда ходитъ
 онъ, то всегда размахиваетъ руками. Еще покойный
 тамошній засѣдатель, Денисъ Петровичъ, всегда бы-
 вало, увидѣвши его издали, говорилъ: „Глядите, гля-
 дите, вонъ идетъ вѣтряная мельница!“

I.

Иванъ Федоровичъ Шпонька.

Уже четыре года, какъ Иванъ Федоровичъ Шпонька въ отставку и живетъ на хуторѣ своемъ Вытребенькахъ. Когда былъ онъ еще Ванюшею, то обучался въ гадячскомъ повѣтовомъ училищѣ, и, надобно сказать, былъ¹ преблагонаправленный и престарательный мальчикъ. Учитель російской грамматики, Никифоръ Тимоѳеевичъ Дѣепричастіе, говаривалъ, что если бы всѣ у него были такъ старательны, какъ Шпонька, то онъ не носилъ бы съ собою въ классъ кленовой линейки, которою, какъ самъ онъ признавался, уставалъ бить по рукамъ лѣннцевъ и шалуновъ. Тетрадка у него всегда была чистенькая, кругомъ облінеенная, нигдѣ ни пятнышка. Сидѣлъ онъ всегда смирно, сложивъ руки и уставивъ глаза на учителя, и никогда не привѣшивалъ сидѣвшему впереди его товарищу на спину бумажекъ, не рѣзалъ скамьи и не игралъ до прихода учителя въ *тѣсной бабы*. Когда кому нужда была въ ножикѣ, очинить перо, тотъ немедленно обращался къ Ивану Федоровичу, зная, что у него всегда водился ножикъ; и Иванъ Федоровичъ, тогда еще просто Ванюша, вынималъ его изъ небольшого кожанаго чехольчика, привязаннаго къ петлѣ своего сѣренькаго сюртука, и просилъ только не скоблить пера остриемъ ножика, увѣряя, что для этого есть тупая сторона. Такое благонаравіе скоро привлекло на него вниманіе даже самого учителя латинскаго языка, котораго одинъ кашель въ сѣняхъ, прежде нежели высовывалась въ дверь его фризловая шинель и лицо, изукрашенное оспою, наводилъ страхъ на весь классъ. Этотъ страшный учитель, у котораго на каедрѣ всегда лежало два пучка розогъ, и половина слушателей стояла на колѣнахъ, сдѣлалъ Ивана Федоровича аудиторомъ, не смотря на то, что въ классѣ было много съ гораздо лучшими способностями. Тутъ не можно пропустить одного случая, сдѣлавшаго влияніе на всю его жизнь. Одинъ изъ ввѣренныхъ ему учениковъ, чтобы склонить своего аудитора написать ему въ списокъ *scit*, тогда, какъ онъ своего урока въ зубъ не зная, принесъ въ классъ завернутый въ бумагу, облитый

масломъ, блинъ. Иванъ Ѳедоровичъ хотя и держался справедливости, но на эту пору былъ голоденъ и не могъ противиться обольщенію: взялъ блинъ, поставилъ передъ собою книгу и началъ ѣсть, и такъ былъ занятъ этимъ, что даже не замѣтилъ, какъ въ классѣ сдѣлалась вдругъ мертвая тишина. Тогда только съ ужасомъ очнулся онъ, когда страшная рука, протянувшись изъ фризовой шинели, ухватила его за ухо и вытащила на средину класса. „Подай сюда блинъ! Подай, говорятъ тебѣ, негодяй!“ сказалъ грозный учитель, схватилъ пальцами масляный блинъ и выбросилъ его за окно, строго запретивъ бѣгавшимъ по двору школьникамъ поднимать его. Послѣ этого тутъ же высѣкъ онъ пребольно Ивана Ѳедоровича по рукамъ; и дѣло: руки виноваты, зачѣмъ брали, а не другая часть тѣла. Какъ бы то ни было, только съ этихъ поръ робость, и безъ того неразлучная съ нимъ, увеличилась еще болѣе. Можетъ быть, это самое происшествіе было причиною того, что онъ не имѣлъ никогда желанія вступить въ штатскую службу, видя на опытѣ, что не всегда удается хоронить концы.

Было уже ему безъ малаго пятнадцать лѣтъ¹, когда перешелъ онъ во второй классъ, гдѣ, вмѣсто сокращеннаго катихизиса и четырехъ правилъ ариѳметики, принялся онъ за пространнѣйшій, за книгу о должностяхъ человѣка и за дроби. Но, увидѣвши, что чѣмъ дальше въ лѣтъ, тѣмъ больше дровъ, и получивши извѣстіе, что батюшка приказалъ долго жить, пробылъ еще два года и, съ согласія матушки, вступилъ потомъ въ П*** пѣхотный полкъ.

П*** пѣхотный полкъ былъ совсѣмъ не такого сорта, къ какому принадлежать многіе пѣхотные полки, и, не смотря на то, что онъ большею частію стоялъ по деревнямъ, однакожь² былъ на такой ногѣ, что не уступалъ инымъ и кавалерійскимъ. Большая часть офицеровъ пила выморозки и умѣла таскать жидовъ за пейсики не хуже гусаровъ; нѣсколько человѣкъ даже танцевали мазурку, и полковникъ П*** полка никогда не упускалъ случая замѣтить объ этомъ, разговаривая съ кѣмъ-нибудь въ обществѣ. „У меня-съ“, говорилъ онъ обыкновенно, треща себя по брюху послѣ каждаго слова: „многіе пляшутъ-съ мазурку; весьма многіе-съ, очень многіе-съ“. Чтобъ еще болѣе показать читателямъ образованность П*** пѣхот-

наго полка, мы прибавимъ, что двое изъ офицеровъ были страшные игроки въ банкъ и проигрывали мундиръ, фуражку, шинель, темлякъ и даже исподнее платье, что не вездѣ и между кавалеристами можно сыскать.

Обхожденіе съ такими товарищами, однакоже, ни чуть не уменьшило робости Ивана Ѳедоровича; и такъ какъ онъ не шилъ выморозокъ, предпочитая имъ рюмку водки предъ обѣдомъ и ужиномъ, не танцевалъ мазурки и не игралъ въ банкъ, то, натурально, долженъ былъ всегда оставаться одинъ. Такимъ образомъ, когда другіе разбѣзжались на обывательскихъ по мелкимъ помѣщикамъ, онъ, сидя на¹ своей квартирѣ, упражнялся въ занятіяхъ, сродныхъ одной кроткой и доброй душѣ: то чистилъ пуговицы, то читалъ гадательную книгу, то ставилъ мышеловки по угламъ своей комнаты, то, наконецъ, скинувши мундиръ, лежалъ на постели.

За то не было никого исправнѣе Ивана Ѳедоровича въ полку, и взводомъ своимъ онъ такъ командовалъ, что ротный командиръ всегда ставилъ его въ образецъ. За то въ скоромъ времени, спустя одиннадцать лѣтъ послѣ полученія прапорщичьяго чина, произведенъ онъ былъ въ подпоручики.

Въ продолженіи этого времени онъ получилъ извѣстіе, что матушка скончалась; а тетушка, родная сестра матушки, которую онъ зналъ только потому, что она привозила ему въ дѣтствѣ и посылала даже въ Гадячъ сушенныя груши и дѣланныя ею самою превкусныя пряники (съ матушкой она была въ ссорѣ, и потому Иванъ Ѳедоровичъ послѣ не видалъ ея), — эта тетушка, по своему добродушію, взялась управлять небольшимъ его имѣніемъ, о чемъ извѣстила его въ свое время письмомъ.

Иванъ Ѳедоровичъ, будучи совершенно увѣренъ въ благоуміи тетушки, началъ по прежнему исполнять свою службу. Иной на его мѣстѣ, получивши такой чинъ, возгордился бы; но гордость совершенно была ему неизвѣстна, и, сдѣлавшись подпоручикомъ², онъ былъ тотъ же самый Иванъ Ѳедоровичъ, какимъ былъ нѣкогда и³ въ прапорщичьемъ чинѣ. Пробывъ четыре года послѣ этого замѣчательнаго для него событія, онъ готовился выступить вмѣстѣ съ полкомъ изъ Могилевской губерніи въ Великороссію, какъ получилъ письмо такого содержанія:

„Любезный племянникъ,
Иванъ Ѳедоровичъ!

„Посылаю тебѣ бѣлье: пять паръ нитяныхъ карпетокъ и четыре рубашки тонкаго холста; да еще хочу поговорить съ тобою о дѣлѣ: такъ какъ ты уже имѣешь чинъ немало-важный, что, думаю, тебѣ извѣстно, и пришелъ въ такія лѣта, что пора и хозяйствомъ позаняться, то въ воинской службѣ тебѣ не за чѣмъ болѣе служить. Я уже стара и не могу всего присмотрѣть въ твоемъ хозяйствѣ; да и дѣйствительно, многое притомъ имѣю тебѣ открыть лично. Пріѣзжай, Ванюша! Въ ожиданіи подлиннаго удовольствія тебя видѣть, остаюсь много-любящая твоя тетка

Василиса Цупчевъска.

„Чудная въ огородѣ у насъ выросла рѣпа: больше похожа на картофель, чѣмъ на рѣпу.“

Черезъ недѣлю послѣ полученія этого письма, Иванъ Ѳедоровичъ написалъ такой отвѣтъ:

„Милостивая государыня, тетушка,
Василиса Кашпаровна!

„Много благодарю васъ за присылку бѣлья. Особенно карпетки у меня очень старыя, что даже деньщикъ штопалъ ихъ четыре раза, и очень отъ того стали узкія. Насчетъ вашего мнѣнія о моей службѣ, я совершенно согласенъ съ вами, и третьяго дня подалъ отставку. А какъ только получу увольненіе, то найму извозчика. Прѣжней вашей комиссіи, на счетъ сѣмянъ пшеницы, сибирской арнаутки, не могъ исполнить: во всей Могилевской губерніи нѣтъ такой. Свиной же здѣсь кормятъ большею частію брагой, подмѣшивая немного выгравшагося пива.

„Съ совершеннымъ почтеніемъ, милостивая государыня тетушка, пребываю племянникомъ

Иваномъ Шпонокъю“.

Наконецъ Иванъ Ѳедоровичъ получилъ отставку, съ чиномъ поручика, нанялъ за сорокъ рублей жида отъ Могилева до Гадяча, и сѣлъ въ кибитку въ то самое время, когда деревья одѣлись молодыми, еще рѣдкими листьями, вся земля ярко зазеленѣла свѣжею зеленью и по всему полю пахло весною.

II.

Д о р о г а.

Въ дорогѣ ничего не случилось слишкомъ замѣчательнаго. Ъхали съ небольшимъ двѣ недѣли. Можетъ быть, еще и этого скорѣе пріѣхаль бы Иванъ Ѳедоровичъ, но набожный жидъ шабашоваль по субботамъ, и, накрывшись своею попоной, молился весь день. Впрочемъ Иванъ Ѳедоровичъ, какъ уже имѣлъ я случай замѣтить прежде, былъ такой человѣкъ, который не допускалъ къ себѣ скуки. Въ то время развязываль онъ чемоданъ, вынималь бѣлье, разсматриваль его хорошенько: такъ ли вымыто, такъ ли сложено; снималь осторожно пушокъ съ новаго мундира, сшитаго уже безъ погончиковъ, и снова все это укладываль наилучшимъ образомъ. Книгъ онъ, вообще сказать, не любилъ читать; а если заглядываль иногда въ гадательную книгу, такъ это потому, что любилъ встрѣчать тамъ знакомое, читанное уже нѣсколько разъ. Такъ городской житель отправляется каждый день въ клубъ, не для того, чтобы услышать тамъ что-нибудь новое, но чтобы встрѣтить тѣхъ пріятелей, съ которыми онъ уже съ незапамятныхъ временъ привыкъ болтать въ клубѣ. Такъ чиновникъ съ большимъ наслажденіемъ читаетъ адресъ-календарь по нѣскольку разъ въ день, не для какихъ-нибудь дипломатическихъ затѣй, но его тѣшить до крайности печатная роспись именъ. „А! Иванъ Гавриловичъ такой-то!...“ повторяетъ онъ глухо про себя. „А! вотъ и я! гм!...“ И на слѣдующій разъ снова перечитываетъ его съ тѣми же восклицаніями.

Послѣ двухъ-недѣльной ѣзды, Иванъ Ѳедоровичъ достигнулъ деревушки, находившейся въ ста верстахъ отъ Гадяча. Это было въ пятницу. Солнце давно уже зашло, когда онъ въѣхаль¹ съ кибиткою и съ жидомъ на постоялый дворъ.

Этотъ постоялый дворъ ничѣмъ не отличался отъ другихъ, выстроенныхъ по небольшимъ деревушкамъ. Въ нихъ, обыкновенно, съ большимъ усердіемъ потчуютъ² путешественника сѣномъ и овсомъ, какъ будто бы онъ былъ почтовая лошадь. Но если бы онъ захотѣлъ позавтракать, какъ обыкновенно завтракаютъ порядочные люди, то сохранилъ бы въ ненару-

шимости свой аппетитъ до другаго случая. Иванъ Ѳедоровичъ, зная все это, заблаговременно запасся двумя вязками бубликовъ и колбасою и, спросивши рюмку водки, въ которой не бываетъ недостатка ни на¹ одномъ постояломъ дворѣ, началъ свой ужинъ, усѣвшись на лавкѣ передъ дубовымъ столомъ, неподвижно вкопаннымъ въ глиняный полъ.

Въ продолженіе этого времени послышался стукъ брички. Ворота заскрипѣли; но бричка долго не въѣзжала на дворъ. Громкій голосъ бранился со старухою, содержавшею трактиръ. „Я въѣду“², услышалъ Иванъ Ѳедоровичъ: „но если хоть одинъ клопъ укуситъ меня въ твоей хатѣ, то прибью, ей Богу, прибью, старая колдунья! и за сѣно ничего не дамъ!“

Минуту спустя, дверь отворилась, и вошелъ, или, лучше сказать, влѣзъ толстый человѣкъ въ зеленомъ сюртукѣ. Голова его неподвижно покоилась на короткой шеѣ, казавшейся³ еще толще отъ двухъ-этажнаго подбородка. Казалось, и съ виду онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые не ломали никогда головы надъ пустяками, и которыхъ вся жизнь катилась по маслу.

„Желаю здравствовать, милостивый государь!“ проговорилъ онъ, увидѣвши Ивана Ѳедоровича.

Иванъ Ѳедоровичъ безмолвно поклонился.

„А позвольте спросить: съ кѣмъ имѣю честь говорить?“ продолжалъ толстый пріѣзжій.

При такомъ допросѣ Иванъ Ѳедоровичъ невольно поднялся съ мѣста и сталъ въ вытяжку, что обыкновенно онъ дѣлывалъ, когда спрашивалъ его о чемъ полковникъ. „Отставной поручикъ, Иванъ Ѳедоровъ Шпонька“, отвѣчалъ онъ.

„А смѣю ли спросить, въ какія мѣста изволите ѣхать?“

„Въ собственный хуторъ-съ, Вытребенки“.

„Вытребенки!“ воскликнулъ строгій допросчикъ. „Позвольте, милостивый государь, позвольте!“ говорилъ онъ, подступая къ нему и размахивая руками, какъ будто бы кто-нибудь его не допускалъ, или онъ продирался сквозь толпу, и, приблизившись, принялъ Ивана Ѳедоровича въ объятія и облобызалъ сначала въ правую, потомъ въ лѣвую, и потомъ снова въ правую щеку. Ивану Ѳедоровичу очень понравилось это лобызаніе, потому что губы его приняли большія щеки незнакомца за мягкія подушки.

„Позвольте, милостивый государь, познакомиться!“ продолжал толстякъ: „я помѣщикъ того же гадачскаго повѣта и вашъ сосѣдъ; живу отъ хутора вашего Вытребеньки не дальше пяти верстъ, въ селѣ Хортыщѣ; а фамилія моя Григорій Григорьевичъ Сторченко. Непремѣнно, непремѣнно, милостивый государь, и знать васъ не хочу, если не прїѣдете въ гости въ село Хортыще. Я теперь слѣшу по надобности.... А что это?“ проговорилъ онъ кроткимъ голосомъ вошедшему своему жокею, мальчику въ козацкой свиткѣ, съ заплатанными локтями, съ недоумѣвающей миною, ставившему на столъ узлы и ящички. „Что это? что?“ и голосъ Григорія Григорьевича незамѣтно дѣлался грознѣе и грознѣе. „Развѣ я это сюда велѣлъ ставить тебѣ, любезный? Развѣ я это сюда говорилъ ставить тебѣ, подлець? Развѣ я не говорилъ тебѣ, напередъ разогрѣть курицу, мошенникъ? Пошелъ!“ вскрикнулъ онъ, топнувъ ногою. „Постой, рожа! Гдѣ погребецъ со штофиками? Иванъ Ѳедоровичъ!“ говорилъ онъ, наливая рюмку настойки: „прошу покорно лѣкарственной!“

„Ей Богу-съ, не могу.... я уже имѣлъ случай...“ проговорилъ Иванъ Ѳедоровичъ съ запинкою.

„И слушать не хочу, милостивый государь!“ возвысилъ голосъ помѣщикъ: „и слушать не хочу! Съ мѣста не сойду, пока мѣстъ не выкушаете...“

Иванъ Ѳедоровичъ, увидѣвши, что нельзя отказаться, не безъ удовольствія выпилъ.

„Это курица, милостивый государь“, продолжалъ толстый Григорій Григорьевичъ, разрѣзывая ее ножомъ въ деревянномъ ящичкѣ. „Надобно вамъ сказать, что повариха моя Явдоха иногда любить куликнуть, и отъ того часто пересушиваетъ. Эй, хлопче!“ тутъ оборотился онъ къ мальчику въ козацкой свиткѣ, принесшему перину и подушки: „постели постель мнѣ на полу посреди хаты! Смотри же, сѣна повыше наклади подъ подушку! Да выдерни у бабы изъ мычки клочокъ пеньки заткнуть мнѣ уши на ночь! Надобно вамъ знать, милостивый государь, что я имѣю обыкновеніе затыкать на ночь уши съ того проклятаго случая, когда въ одной русской корчмѣ залѣзъ мнѣ въ лѣвое ухо тараканъ. Проклятые кацапы, какъ я послѣ узналъ, ѣдятъ даже щи съ тараканами. Невозможно описать, что происходило со мною: въ ухѣ такъ и щекочетъ,

такъ и щекочеть... ну, хоть на стѣну! Мнѣ помогла уже въ нашихъ мѣстахъ простая старуха, и чѣмъ бы вы думали? просто, зашептываніемъ. Чтò вы скажете, милостивый государь, о лѣкаряхъ? Я думаю, что они, просто, морочатъ и дурачатъ насъ: иная старуха въ двадцать разъ лучше знаетъ всѣхъ этихъ лѣкарей“.

„Дѣйствительно, вы изволите говорить совершенную-съ правду. Иная точно бываетъ...“ Тутъ онъ остановился, какъ бы не прибирая далѣе приличнаго слова. Не мѣшаетъ здѣсь и мнѣ сказать, что онъ вообще не былъ щедръ на слова. Можетъ быть, это происходило отъ робости, а, можетъ, и отъ желанія выразиться красивѣе.

„Хорошенько, хорошенько перетряси сѣно!“ говорилъ Григорій Григорьевичъ своему лакею: „тутъ сѣно такое гадкое, что, того и гляди, какъ-нибудь попадетъ сучокъ. Позвольте, милостивый государь, пожелать спокойной ночи! Завтра уже не увидимся: я выѣзжаю до зари. Вашъ жидъ будетъ шабашовать, потому что завтра суббота, такъ вамъ нечего и вставать рано¹. Не забудьте же моей просьбы: и знать васъ не хочу, когда не приѣдете въ село Хортыще“.

Тутъ камердинеръ Григорія Григорьевича стащилъ съ него сюртукъ и сапоги, натанувъ на него вмѣсто того халатъ², и³ Григорій Григорьевичъ повалился на постель, и, казалось, огромная перина легла на другую.

„Эй, хлопче! куда же ты, подлець? Поди сюда, поправь мнѣ одѣяло! Эй, хлопче, подмости подъ голову сѣна! Да чтò, коней уже напоили? Еще сѣна! сюда, подъ этотъ бокъ! Да поправь, подлець, хорошенько одѣяло! Вотъ такъ, еще! охъ!...“

Тутъ Григорій Григорьевичъ еще вздохнулъ раза два и пустилъ страшный носовой свистъ по всей комнатѣ, всхрапывая по временамъ такъ, что дремавшая на лежанкѣ старуха, пробудившись, вдругъ смотрѣла въ оба глаза на всѣ стороны, но, не видя ничего, успокоивалась и засыпала снова.

На другой день, когда проснулся Иванъ Ѳедоровичъ, толстаго помѣщика уже не было⁴. Это было одно только замѣчательное происшествіе, случившееся съ нимъ на дорогѣ. На третій день послѣ того приближался онъ къ своему хуторку.

Тутъ почувствовалъ онъ, что сердце въ немъ сильно забилося, когда выглянула, махая крыльями, вѣтряная мельница

и когда, по мѣрѣ того, какъ жидъ гналъ своихъ клячь на гору, показывался внизу рядъ вербъ. Живо и ярко блестя сквозь нихъ прудъ и дышалъ свѣжестью. Здѣсь когда-то онъ купался; въ этомъ самомъ прудѣ онъ когда-то съ ребятами брелъ по шею въ водѣ за раками. Кибитка взѣхала на греблю, и Иванъ Ѳедоровичъ увидѣлъ тотъ же самый старинный домикъ, покрытый очеретомъ, тѣ же самыя яблони и черешни, по которымъ онъ когда-то украдкою лазилъ. Только что взѣхалъ онъ на¹ дворъ, какъ сбѣжались со всѣхъ сторонъ собаки всѣхъ сортовъ: бурья, черныя, сѣрыя, пѣгія. Нѣкоторыя съ лаемъ кидались подъ ноги лошадямъ, другія бѣжали сзади, замѣтивъ, что ось вымазана саломъ; одна, стоя возлѣ кухни и накрывъ лапою кость, заливалась во все горло; другая лаяла издали и бѣгала взадъ и впередъ², помахивая хвостомъ и какъ бы приговаривая: „Посмотрите, люди крещеные, какой я молодой человекъ!“ Мальчишки, въ запачканныхъ рубашкахъ, бѣжали глядѣть. Свинья, прохаживавшаяся по двору съ шестнадцатью поросятами, подняла вверхъ съ испытующимъ видомъ свое рыло и хрюкнула³ громче обыкновеннаго. На дворѣ лежало на землѣ множество ряденъ съ пшеницею, просомъ и ячменемъ, сушившимися⁴ на солнцѣ. На крышѣ тоже не мало сушилось разнаго рода травъ: Петровыхъ багатовъ, нечуй-вѣтера и другихъ.

Иванъ Ѳедоровичъ такъ былъ занятъ разсматриваніемъ этого, что очнулся тогда только, когда пѣгая собака укусила слѣзавшаго⁵ съ козель жидъ за икру. Сбѣжавшаяся дворня, состоявшая изъ поварихи, одной бабы и двухъ дѣвокъ въ перстяныхъ исподницахъ, послѣ первыхъ восклицаній: „*та се жъ паньчъ нашъ!*“ объявила, что тетушка садила въ огородѣ пшеничку, вмѣстѣ съ дѣвкой Палашкою и кучеромъ Омелькомъ, исправлявшимъ часто должность огородника и сторожа. Но тетушка, которая еще издали завидѣла рогожну⁶ кибитку, была уже здѣсь. И Иванъ Ѳедоровичъ изумился, когда она почти подняла его на рукахъ, какъ бы не довѣряя, та ли это тетушка, которая писала къ нему о своей дряхлости и болѣзни.

III.

Т е т у ш к а .

Тетушка Василиса Кашпаровна въ это время имѣла лѣтъ около пятидесяти. Замужемъ она никогда не была и, обыкновенно говорила, что жизнь дѣвическая для нея дороже всего. Впрочемъ, сколько мнѣ помнится, никто и не сваталъ ее. Это происходило оттого, что всѣ мужчины чувствовали при ней какую-то робость и никакъ не имѣли духа сдѣлать ей признаніе. „Весьма съ большимъ характеромъ Василиса Кашпаровна!“ говорили женихи, и были совершенно правы, потому что Василиса Кашпаровна хоть кого умѣла сдѣлать тише травы. Пьяницу мельника, который совершенно былъ ни къ чему негоденъ, она, собственно своею мужественною рукою дергая каждый день за чубъ, безъ всякаго посторонняго средства, умѣла сдѣлать золотомъ, а не человѣкомъ. Ростъ она имѣла почти исполинскій, дородность и силу совершенно соразмѣрную. Казалось, что природа сдѣлала непростительную ошибку, опредѣливъ ей носить темно-коричневый, по буднямъ, капоть съ мелкими сборками и красную кашемировую шаль въ день Свѣтлаго Воскресенья и своихъ именинъ, тогда какъ ей болѣе всего шли бы драгунскіе усы и длинные ботфорты. За то занятія ея совершенно соответствовали ея виду: она каталась сама на лодкѣ, гребя весломъ искуснѣе всякаго рыбакова; стрѣляла дичь; стояла неотлучно надъ косарями; знала наперечетъ число дынь и арбузовъ на баштанѣ; брала пошлину по пяти копѣекъ съ воза, проѣзжавшаго черезъ ея греблю; взлѣзала на дерево и трусила¹ груши; была лѣнивыхъ вассаловъ своею страшною рукою и подносила достойнымъ рюмку водки тою же грозною рукою². Почти въ одно время она бранилась, красила пряжу, бѣгала на кухню, дѣлала квасъ, варила медовое варенье, и хлопотала весь день³ и вездѣ поспѣвала. Слѣдствіемъ этого было то, что маленькое имѣніице Ивана Ѳедоровича, состоявшее изъ осьмнадцати душъ по послѣдней ревизіи, процвѣтало въ полномъ смыслѣ сего⁴ слова. Къ тому жъ она слишкомъ горячо любила своего племянника и тщательно собирала для него копѣйку.

По приѣздѣ домой, жизнь Ивана Ѳедоровича рѣшительно измѣнилась и пошла совершенно другою дорогою. Казалось, натура именно создала его для управленія осьмнадцати-душнымъ имѣніемъ. Сама тетушка замѣтила, что онъ будетъ хорошимъ хозяиномъ, хотя, впрочемъ, не во всѣ еще отрасли хозяйства позволяла ему вмѣшиваться. „*Воно ще молода дитина!*“ обыкновенно она говаривала, не смотря на то, что Ивану Ѳедоровичу было безъ малаго сорокъ лѣтъ: „гдѣ ему все знать!“

Однакожь онъ неотлучно бывалъ въ полѣ при жнецахъ и косаряхъ, и это доставляло наслажденіе неизгяснимое его кроткой душѣ. Единодушный взмахъ десятка и болѣе блестящихъ косъ; шумъ падающей стройными рядами травы; изрѣдка заливающіяся пѣсни жницъ, то веселыя, какъ встрѣча гостей, то заунывныя, какъ разлука; спокойный, чистый вечеръ, — и что за вечеръ! какъ воленъ и свѣжъ воздухъ! какъ тогда оживлено все: степь краснѣетъ, синѣетъ и горитъ цвѣтами; перепелы, дрофы, чайки, кузнечики, тысячи насѣкомыхъ, и¹ отъ нихъ свистъ, жужжаніе, трескъ, крикъ и вдругъ стройный хоръ; и все не молчитъ ни на минуту; а солнце садится и кроется. У! какъ свѣжо и хорошо! По полю, то тамъ, то тамъ, раскладываются огни и ставятъ котлы, и вокругъ котловъ садятся усатые косари; паръ отъ галушекъ несетя; сумерки сѣрбуютъ... Трудно разсказать, что дѣлалось тогда съ Иваномъ Ѳедоровичемъ. Онъ забывалъ, присоединяя къ косарямъ, отвѣдать ихъ галушекъ, которые очень любилъ, и стоялъ недвижимо на одномъ мѣстѣ, слѣдя глазами пропадавшюю въ небѣ чайку, или считая копы нажатого хлѣба, унизывавшія² поле.

Въ непродолжительномъ времени объ Иванѣ Ѳедоровичѣ вездѣ пошли рѣчи, какъ о великомъ хозяинѣ. Тетушка не могла нарадоваться своимъ племянникомъ и никогда не упускала случая имъ похвастаться. Въ одинъ день, — это было уже по окончаніи жатвы, и именно въ концѣ іюля, — Василиса Кашпаровна, взявши Ивана Ѳедоровича съ таинственнымъ видомъ за руку, сказала, что она теперь хочетъ поговорить съ нимъ о дѣлѣ, которое съ давнихъ поръ уже ее занимаетъ.

„Тебѣ, любезный Иванъ Ѳедоровичъ“, такъ она начала: „известно, что въ твоемъ хуторѣ осьмнадцать душъ, впрочемъ это по ревизіи, а безъ того, можетъ, наберется больше,

можетъ, будетъ до двадцати четырехъ. Но не объ этомъ дѣло. Ты знаешь тотъ лѣсокъ, что за нашею левадою, и, вѣрно, знаешь за тѣмъ же лѣсомъ широкій лугъ: въ немъ двадцать безъ малаго десятинъ; а травы столько, что можно каждый годъ продавать больше чѣмъ на сто рублей, особенно, если, какъ говорить, въ Гадячѣ будетъ конный полкъ“.

„Какъ же-съ, тетушка, знаю: трава очень хорошая“.

„Это я сама знаю, что очень хорошая; но знаешь ли ты, что вся эта земля, по настоящему, твоя? Что жъ ты такъ выпучилъ глаза? Слушай, Иванъ Ѳедоровичъ! Ты помнишь Степана Кузьмича? Чтò я говорю: „помнишь!“ Ты тогда былъ такимъ маленькимъ, что не могъ выговорить даже его имени. Куда жъ! Я помню, когда прїѣхала на самое пущенье, передъ Филипповкою, и взяла было тебя на руки, то¹ ты чуть не испортилъ мнѣ всего платья; къ счастью, что успѣла передать тебя мамкѣ Матренѣ; такой ты тогда былъ гадкїй!... Но не объ этомъ дѣло. Вся земля, которая за нашимъ хуторомъ, и самое село Хортыще, было Степана Кузьмича. Онъ, надобно тебѣ объявить, еще тебя не было на свѣтѣ, какъ началъ ѣздить къ твоей матушкѣ, — правда, въ такое время, когда отца твоего не бывало дома. Но я, однакожь, это не въ укоръ ей говорю, — упокой, Господи, ея душу! — хотя покойница была всегда неправа противъ меня. Но не объ этомъ дѣло. Какъ бы то ни было, только Степанъ Кузьмичъ сдѣлалъ тебѣ дарственную запись на то самое имѣніе, объ² которомъ я тебѣ говорила. Но покойница твоя матушка, между нами будь сказано, была пречуднаго права. Самъ чортъ (Господи, прости меня за это гадкое слово!) не могъ бы понять ее. Куда она дѣла эту запись — одинъ Богъ знаетъ. Я думаю, просто, что она въ рукахъ этого стараго холостяка, Григорія Григорьевича Сторченка. Этой пузатой шельмѣ досталось все его³ имѣніе. Я готова ставить, Богъ знаетъ что, если онъ не утаилъ записи“.

„Позвольте-съ доложить, тетушка: не тотъ ли это Сторченко, съ которымъ я познакомился на станціи?“ Тутъ Иванъ Ѳедоровичъ рассказалъ про свою встрѣчу.

„Кто его знаетъ!“ отвѣчала, немного подумавъ, тетушка: „можетъ быть, онъ и не негодяй. Правда, онъ, всего только полгода, какъ переѣхалъ къ намъ жить; въ такое время че-

ловѣка не узнаешь. Старуха-то, матушка его, я слышала, очень разумная женщина и, говорить, большая мастерица солить огурцы; ковры собственные дѣвки ея умѣютъ отлично хорошо выдѣлывать. Но такъ какъ ты говоришь, что онъ тебя хорошо принялъ, то¹ побѣжай къ нему: можетъ быть, старый грѣшникъ послушается совѣсти и отдастъ, что принадлежитъ не ему. Пожалуй, можешь побѣхать и въ бричкѣ, только проклятая дитвора повыдергала² сзади всѣ гвозди; нужно будетъ сказать кучеру Омелькѣ, чтобы прибилъ вездѣ получше кожу“.

„Для чего тетушка? Я возьму повозку, въ которой вы ѣздите иногда стрѣлать дичь“.

Этимъ окончился³ разговоръ.

IV.

Объездъ.

Въ обѣденную пору Иванъ Ѳедоровичъ вѣхалъ въ село Хортыще и немного оробѣлъ, когда сталъ приближаться къ господскому дому. Домъ этотъ былъ длинный и не подѣ очеремяно⁴, какъ у многихъ окружныхъ помѣщиковъ, но подѣ деревянною крышею. Два амбара въ⁵ дворѣ тоже подѣ деревянною крышею; ворота дубовыя. Иванъ Ѳедоровичъ похожъ былъ на того франта, который, заѣхавъ на балъ, видитъ всѣхъ, куда ни оглянется, одѣтыхъ щеголеватѣе его. Изъ почтенія онъ остановилъ свой возокъ возлѣ амбара и подошелъ гѣшкомъ къ крыльцу.

„А! Иванъ Ѳедоровичъ!“ закричалъ толстый Григорій Григорьевичъ, ходившій по двору въ сюртукѣ, но безъ галстука, жилета и подтяжекъ. Однакожъ и этотъ нарядъ, казалось, обременялъ его тучную ширину, потому что потъ катился съ него градомъ.

„Что жъ вы говорили, что сейчасъ, какъ только увидите съ тетушкой, приѣдете, да и не приѣхали?“ Послѣ этихъ словъ, губы Ивана Ѳедоровича встрѣтили тѣ же самыя знакомыя подушки.

„Большею частію занятія⁶ по хозяйству... Я-съ приѣхалъ къ вамъ на минутку, собственно по дѣлу...“

„На минутку? Вотъ этого-то не будетъ. Эй, хлопче!“ закричалъ толстый хозяинъ, и тотъ же самый мальчикъ въ ко-

запкой свѣткѣ выбѣжалъ изъ кухни. „Скажи Касьяну, чтобы ворота сейчасъ заперъ, — слышишь! — заперъ крѣпче! А коней вотъ этого пана распрегь бы сію минуту. Прошу въ комнату: здѣсь такая жара, что у меня вся рубашка мокра“.

Иванъ Ѳедоровичъ, вошедши въ комнату, рѣшился не терять напрасно времени и, не смотря на свою робость, наступать рѣшительно.

„Тетушка имѣла честь... сказывала мнѣ, что дарственная запись покойнаго Степана Кузьмича...“

Трудно изобразить, какую неприятную мину сдѣлало при этихъ словахъ обширное лицо Григорія Григорьевича. „Ей Богу, ничего не слышу!“ отвѣчалъ онъ. „Надобно вамъ сказать, что у меня въ лѣвомъ ухѣ сидѣлъ тараканъ (въ русскихъ избахъ проклятыя кацапы вездѣ поразводили таракановъ); невозможно описать никакимъ перомъ, что за мученіе было — такъ вотъ и щекочетъ, такъ и щекочетъ. Мнѣ помогла уже одна старуха самымъ простымъ средствомъ...“

„Я хотѣлъ сказать...“ осмѣлился прервать Иванъ Ѳедоровичъ, видя, что Григорій Григорьевичъ съ умысломъ хочетъ поворотить рѣчь на другое: „что въ завѣщаніи покойнаго Степана Кузьмича упоминается, такъ сказать, о дарственной записи... по ней слѣдуетъ мнѣ...“

„Я знаю, это вамъ тетушка успѣла наговорить. Это ложь, ей Богу, ложь! Никакой дарственной записи дядюшка не дѣлалъ. Хотя, правда, въ завѣщаніи и упоминается о какой-то записи; но гдѣ же она? Никто не представилъ ее. Я вамъ это говорю потому, что искренно желаю вамъ добра. Ей Богу, это ложь!“

Иванъ Ѳедоровичъ замолчалъ, разсуждая, что, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ тетушкѣ такъ только показалось.

„А вотъ идетъ сюда матушка съ сестрами!“ сказалъ Григорій Григорьевичъ: „слѣдовательно обѣдъ готовъ. Пойдемте!“

Тутъ онъ потащилъ Ивана Ѳедоровича за руку въ комнату, въ которой стояли на столѣ водка и закуски¹.

Въ то самое время вошла старушка, низенькая, совершенный кофейникъ въ чепчикѣ, съ двумя барышнями — бѣлокурой и черноволосой. Иванъ Ѳедоровичъ, какъ воспитанный кавалеръ, подошелъ сначала къ старушкиной ручкѣ, а послѣ къ ручкамъ обѣихъ барышень.

„Это, матушка, нашъ сосѣдъ, Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька!“ сказалъ Григорій Григорьевичъ.

Старушка смотрѣла пристально на Ивана Ѳедоровича, или, можетъ быть, только казалась смотрѣвшею¹. Впрочемъ это была совершенная доброта; казалось, она такъ и хотѣла спросить Ивана Ѳедоровича: „сколько вы на зиму насаливаете огурцовъ?“

„Вы водку пили?“ спросила старушка.

„Вы, матушка, вѣрно, не выпались“, сказалъ Григорій Григорьевичъ: „кто жъ спрашиваетъ гостя, пилъ ли онъ? Вы потчивайте² только; а пили ли мы, или нѣтъ, это³ наше дѣло. Иванъ Ѳедоровичъ! прошу: золототысячниковой, или Трохимовской сивушки? какую⁴ вы лучше любите? Иванъ Ивановичъ, а ты что стоишь?“ произнесъ Григорій Григорьевичъ, оборотившись назадъ, и Иванъ Ѳедоровичъ увидѣлъ подхлотившаго къ водкѣ Ивана Ивановича, въ долгополомъ скюртукѣ, съ огромнымъ стоячимъ воротникомъ, закрывавшимъ весь его затылокъ, такъ что голова его сидѣла въ воротникѣ, какъ будто въ бричкѣ.

Иванъ Ивановичъ подошелъ къ водкѣ, потеръ руки, разсмотрѣлъ хорошенько рюмку, налилъ, поднесъ къ свѣту, вылилъ разомъ изъ рюмки всю водку въ ротъ, но, не проглатывая, пополоускалъ ею хорошенько во рту, послѣ чего уже проглотилъ, и, закусивши хлѣбомъ съ солеными опѣнками, оборотился къ Ивану Ѳедоровичу.

„Не съ Иваномъ ли Ѳедоровичемъ, господиномъ Шпонькою, имѣю честь говорить?“

„Такъ точно-съ“, отвѣчалъ Иванъ Ѳедоровичъ.

„Очень много изволили перемѣниться съ того времени, какъ я васъ знаю. Какъ же!“ продолжалъ Иванъ Ивановичъ: „я еще помню васъ вотъ какими!“⁵ При этомъ поднялъ онъ ладонь на аршинъ отъ пола. „Покойный батюшка вашъ, дай Боже ему царствіе небесное, рѣдкій былъ человекъ. Арбузы и дыни всегда бывали у него такіе, какихъ теперь нигдѣ не найдете. Вотъ хоть бы и тутъ“, продолжалъ онъ, отводя его въ сторону: „подадутъ вамъ за столомъ дыни, — что за дыни? смотрѣть не хочется! Вѣрите ли, милостивый государь, что у него были арбузы“, произнесъ онъ съ таинственнымъ видомъ, разставляя руки, какъ будто бы хотѣлъ обхватить толстое дерево: „ей Богу, вотъ какіе!“

„Пойдемте за столъ!“ сказали Григорій Григорьевичъ, взявши Ивана Ѳедоровича за руку.

Григорій Григорьевичъ сѣлъ на обыкновенномъ своемъ мѣстѣ, въ концѣ стола, завѣсившись огромною салфеткою и походя въ этомъ видѣ на тѣхъ героевъ, которыхъ рисуютъ цырюльники на своихъ вывѣскахъ. Иванъ Ѳедоровичъ, краснѣя, сѣлъ на указанное ему мѣсто противъ двухъ барышень; а Иванъ Ивановичъ не преминулъ помѣститься возлѣ него, радуясь душевно, что будетъ кому сообщать свои познанія.

„Вы напрасно взяли куприкъ, Иванъ Ѳедоровичъ! Это индѣйка!“ сказала старушка, обратившись къ Ивану Ѳедоровичу, которому въ это время поднесъ блюдо деревенскій официантъ въ сѣромъ фракѣ съ черною заплатаю. „Возьмите спинку!“

„Матушка! вѣдь васъ никто не проситъ мѣшаться!“ произнесъ Григорій Григорьевичъ. „Будьте увѣрены, что гость самъ знаетъ, что ему взять! Иванъ Ѳедоровичъ! возьмите крылышко, вонъ другое, съ пупкомъ! Да что жъ вы такъ мало взяли? Возьмите стегнышко! Ты что разинулъ ротъ съ блюдомъ? Проси! Становись, подлецъ, на колѣни! Говори сейчасъ: „Иванъ Ѳедоровичъ, возьмите стегнышко!“

„Иванъ Ѳедоровичъ, возьмите стегнышко!“ проревѣлъ, ставъ на колѣни, официантъ съ блюдомъ.

„Гм! что это за индѣйки!“ сказалъ въ полголоса Иванъ Ивановичъ съ видомъ пренебреженія, оборотившись къ своему сосѣду. „Такія ли должны быть индѣйки? Если бы вы увидѣли у меня индѣекъ! Я васъ увѣряю, что жиру въ одной больше, чѣмъ въ десяткѣ такихъ, какъ эти. Вѣрите ли, государь мой, что даже противно смотрѣтъ, когда ходятъ онѣ у меня по двору — такъ жирны!...“

„Иванъ Ивановичъ, ты лжешь!“ произнесъ Григорій Григорьевичъ, вслушавшись въ его рѣчь.

„Я вамъ скажу“, продолжалъ все такъ же своему сосѣду Иванъ Ивановичъ, показывая видъ, будто бы онъ не слышалъ словъ Григорія Григорьевича: „что прошлый годъ, когда я отправлялъ ихъ въ Гадячъ, давали по пятидесяти копѣекъ за штуку, и то еще не хотѣлъ брать“.

„Иванъ Ивановичъ! я тебѣ говорю, что ты лжешь!“ произнесъ Григорій Григорьевичъ, для лучшей ясности, по складамъ и громче прежняго.

Но Иванъ Ивановичъ, показывая видъ, будто это совершенно относилось не къ нему, продолжалъ такъ же, но только гораздо тише: „именно, государь мой, не хотѣлъ брать. Въ Гадячѣ ни у одного помѣщика...“

„Иванъ Ивановичъ! вѣдь ты глупъ и больше ничего“, громко сказалъ Григорій Григорьевичъ. „Вѣдь Иванъ Ѳедоровичъ знаетъ все это лучше тебя и, вѣрно, не повѣритъ тебѣ“.

Тутъ Иванъ Ивановичъ совершенно обидѣлся, замолчалъ и принялся убирать индѣйку, не смотря на то, что она не такъ была жирна, какъ тѣ, на которыя противно смотрѣть.

Стукъ ножей, ложекъ и тарелокъ замѣнилъ на время разговоръ; но громче всего слышалось высмактываніе Григоріемъ Григорьевичемъ мозгу изъ бараньей кости.

„Читали ли вы“, спросилъ Иванъ Ивановичъ, послѣ нѣкотораго молчанія, высовывая голову изъ своей брички къ Ивану Ѳедоровичу: „книгу „Путешествіе Коробейникова ко святымъ мѣстамъ?“ Истинное услажденіе души и сердца! Теперь такихъ книгъ не печатаютъ. Очень сожалительно, что не посмотрѣлъ, котораго году“.

Иванъ Ѳедоровичъ, услышавши, что дѣло идетъ о книгѣ, прилежно началъ набирать себѣ соусу.

„Истинно удивительно, государь мой, какъ подумаешь, что простой мѣщанинъ прошелъ всѣ мѣста эти: болѣе трехъ тысячъ верстъ, государь мой! болѣе трехъ тысячъ верстъ! Подлинно его самъ Господь сподобилъ побывать въ Палестинѣ и Іерусалимѣ“.

„Такъ вы говорите, что онъ“, сказалъ Иванъ Ѳедоровичъ, который много наслышался о Іерусалимѣ еще отъ своего денщика: „былъ и въ Іерусалимѣ?“

„О чемъ вы говорите, Иванъ Ѳедоровичъ?“ произнесъ съ конца стола Григорій Григорьевичъ.

„Я, то есть, имѣлъ случай замѣтить, что какія есть на свѣтѣ далекія страны!“ сказалъ Иванъ Ѳедоровичъ, будучи сердечно доволенъ тѣмъ, что выговорилъ столь длинную и трудную фразу.

„Не вѣрьте ему, Иванъ Ѳедоровичъ!“ сказалъ Григорій Григорьевичъ, не вслушавшись хорошенько: „все вретъ!“

Между тѣмъ обѣдъ кончился. Григорій Григорьевичъ отправился въ свою комнату, по обыкновенію, немножко всхрап-

нуть; а гости пошли вслѣдъ за старушкою хозяйкою и барышнями въ гостиную, гдѣ тотъ самый столъ, на которомъ оставили они, выходя обѣдать, водку, какъ бы превращеніемъ какимъ, покрылся блюдечками съ вареньемъ разныхъ сортовъ и блюдами съ арбузами, вишнями и дынями.

Отсутствіе Григорія Григорьевича замѣтно было во всемъ: хозяйка сдѣлалась словоохотнѣе и открывала сама, безъ просьбы, множество секретовъ на счетъ дѣланія пастилы и сущенія грушъ. Даже барышни стали говорить; но бѣлокурая, которая казалась моложе шестью годами своей сестры и которой по виду было около двадцати пяти лѣтъ, была молчаливѣе.

Но болѣе всѣхъ говорилъ и дѣйствовалъ Иванъ Ивановичъ. Будучи увѣренъ, что его теперь никто не собьетъ и не смѣшаетъ, онъ говорилъ и объ огурцахъ, и о посѣвѣ картофеля, и о томъ, какіе въ старину были разумные люди, — куда противъ теперешнихъ! — и о томъ, какъ все, чѣмъ далѣе, умнѣетъ и доходить къ выдумыванію мудрѣйшихъ вещей. Словомъ, это былъ одинъ изъ числа тѣхъ людей, которые съ величайшимъ удовольствіемъ любятъ позаняться улаждающимъ душу разговоромъ и будутъ говорить обо всемъ, о чемъ только можно говорить. Если разговоръ касался важныхъ и благочестивыхъ предметовъ, то Иванъ Ивановичъ вздыхалъ послѣ cadaго слова, кивая слегка головою; ежели до хозяйственныхъ, то высовывалъ голову изъ своей брочки и дѣлалъ такія мины, глядя на которыя, кажется, можно было прочитывать, какъ нужно дѣлать грушевый квасъ, какъ велики тѣ дыни, о которыхъ онъ говорилъ, и какъ жирны тѣ гуси, которые бѣгаютъ у него по двору.

Наконецъ, съ великимъ трудомъ, уже ввечеру удалось Ивану Ѳедоровичу распрощаться, и, не смотря на свою сговорчивость и на то, что его насильно оставляли ночевать, онъ устоялъ таки въ своемъ намѣреніи ѣхать, — и уѣхалъ.

V.

Новый замыселъ тетушки.

„Ну, что? выманить у стараго лиходѣя запись?“ Такимъ вопросомъ встрѣтила Ивана Ѳедоровича тетушка, которая съ нетерпѣніемъ дождалась его уже нѣсколько часовъ на крыльцѣ и не вытерпѣла наконецъ, чтобы не выбѣжать за ворота.

„Нѣтъ, тетушка!“ сказалъ Иванъ Ѳедоровичъ, слѣзая съ повозки: „у Григорія Григорьевича нѣтъ никакой записи“.

„И ты повѣрилъ ему? Вретъ онъ, проклятый! Когда-нибудь попаду, право, поколочу его собственными руками. О, я ему поспущу жиру! Впрочемъ, нужно напередъ поговорить съ нашимъ подсудкомъ, нельзя ли судомъ съ него стребовать... Но не объ этомъ теперь дѣло. Ну, что жъ, обѣдъ былъ хорошій?“

„Очень... да, весьма, тетушка!“

„Ну, какія жъ были кушанья? расскажи. Старуха-то, я знаю, мастерица присматривать за кухней“.

„Сырники были со сметаною, тетушка; соусъ съ голубами, начиненными...“

„А индѣйка со сливами была?“ спросила тетушка, потому что сама была большая искусница готовить это блюдо.

„Была и индѣйка!.. Весьма красивыя барышни — сестрицы Григорія Григорьевича, особенно бѣлокурая!“

„А!“ сказала тетушка и посмотрѣла пристально на Ивана Ѳедоровича, который, покраснѣвъ, потупилъ глаза въ землю. Новая мысль быстро промелькнула въ ея головѣ. „Ну, что жъ?“ спросила она съ любопытствомъ и живо: „какія у ней брови?“ Не мѣшаетъ замѣтить, что тетушка всегда поставляла первую красоту женщины въ бровяхъ.

„Брови, тетушка, совершенно-съ такія, какія, вы рассказывали, въ молодости были у васъ. И по всему лицу небольшія веснушки“.

„А!“ сказала тетушка, будучи довольна замѣчаніемъ Ивана Ѳедоровича, который, однакожъ, не имѣлъ и въ мысляхъ сказать этимъ комплиментъ. „Какое же было на ней платье? хотя, впрочемъ, теперь трудно найти такихъ плотныхъ матерій, какая вотъ хоть бы, напримѣръ, у меня на этомъ капотѣ. Но не объ этомъ дѣло. Ну, что жъ, ты говорилъ о чемъ-нибудь съ нею?“

„То-есть, какъ... я-съ, тетушка? Вы, можетъ быть, уже думаете...“

„А что жъ? что тутъ диковиннаго? Такъ Богу угодно! Можетъ быть, тебѣ съ нею на роду написано жить парочкою“.

„Я не знаю, тетушка, какъ вы можете это говорить. Это доказываетъ, что вы совершенно не знаете меня...“

„Ну, вотъ уже и обидѣлся!“ сказала тетушка. „Ще мо-

лода дытна!“ подумала она про себя: „ничего не знает! Нужно ихъ свести вмѣстѣ: пусть познакомятся!“

Тутъ тетушка пошла заглянуть въ кухню и оставила Ивана Федоровича. Но съ этого времени она только и думала о томъ, какъ увидѣть скорѣе своего племянника женатымъ и понабъчить маленькихъ внуковъ¹. Въ головѣ ея громоздились одни только приготовленія къ свадьбѣ, и замѣтно было, что она во всѣхъ дѣлахъ суетилась гораздо болѣе, нежели прежде, хотя, впрочемъ, эти дѣла болѣе шли хуже, нежели лучше. Часто, дѣлая какое-нибудь пирожное, котораго вообще она никогда не довѣряла кухаркѣ, она, позабывшись и воображая, что возлѣ нея стоитъ маленькій внучекъ, просящій пирога, разсѣянно протягивала къ нему руку съ лучшимъ кускомъ, а дворовая собака, пользуясь этимъ, схватывала лакомый кусокъ и своимъ громкимъ чваканьемъ выводила ее изъ задумчивости, за что и бывала всегда бита кочергою. Даже оставила она любимыя свои занятія и не ѣздила на охоту, особливо, когда, вмѣсто куропатки, застрѣлила ворону, чего никогда прежде съ нею не бывало.

Наконецъ, спустя дня четыре послѣ этого, всѣ увидѣли выкаченную изъ сарая на дворъ бричку. Кучеръ Омелько, онъ же и огородникъ и сторожъ, еще съ ранняго утра стучалъ молоткомъ и приколачивалъ кожу, отгоняя безпрестанно собакъ, лизавшихъ колеса. Долгомъ почитаю предупредить читателей, что это была именно та самая бричка, въ которой еще ѣздилъ Адамъ; и потому, если кто будетъ выдавать другую за Адамовскую, то это сущая ложь, и бричка непременно поддѣльная. Совершенно неизвѣстно, какимъ образомъ спаслась она отъ потопа; должно думать, что въ Ноевомъ ковчегѣ былъ особенный для нея сарай. Жаль очень, что читателямъ нельзя описать живо ея фигуры. Довольно сказать, что Василиса Кашпаровна была очень довольна ея архитектурою и всегда изъясляла сожалѣнiе, что вывелись изъ моды старинные экипажи. Самое устройство брички немного на бокъ, то есть такъ, что правая сторона ея была гораздо выше лѣвой, ей очень нравилось, потому что съ одной стороны можетъ, какъ она говорила, влѣзть малорослый, а съ другой — великорослый. Впрочемъ, внутри брички могло помѣститься штукъ пять малорослыхъ и трое такихъ, какъ тетушка.

Около полудня, Омелько, управившись около брички, вывел из конюшни тройку лошадей, немного чѣмъ моложе брички, и началъ привязывать ихъ веревкою къ величественному экипажу. Иванъ Ѳедоровичъ и тетушка, одинъ съ лѣвой стороны, другая съ правой, влѣзли въ бричку, и она тронулась. Попадавшіеся на дорогѣ мужики, видя такой богатый экипажъ (тетушка очень рѣдко выѣзжала въ немъ), почти-тельно останавливались, снимали шапки и кланялись въ поясъ.

Часа черезъ два кибитка остановилась предъ крыльцомъ, — думаю, не нужно говорить: предъ крыльцомъ дома Строченка. Григорія Григорьевича не было дома. Старушка съ барышнями вышла встрѣтить гостей въ столовую. Тетушка подошла величественнымъ шагомъ, съ большою ловкостію отставила одну ногу впередъ и сказала громко:

„Очень рада, государыня моя, что имѣю честь лично доложить вамъ мое почтеніе; а вмѣстѣ съ респектомъ позвольте поблагодарить за хлѣбосольство ваше къ племяннику моему, Ивану Ѳедоровичу, который много имъ хвалится. Прекрасная у васъ гречиха, сударыня, — я видѣла ее, подѣзжая къ селу. А позвольте узнать, сколько копѣ вы получаете съ десятины?“

Послѣ сего¹ послѣдовало всеобщее лобызаніе. Когда же усѣлись въ гостиной, то старушка хозяйка начала:

„Насчетъ гречихи я не могу вамъ сказать: это часть Григорія Григорьевича; я уже давно не занимаюсь этимъ, да и не могу: уже стара! Въ старину у насъ, бывало, я помню, гречиха была по поясъ; теперь Богъ знаетъ чтò, хотя, впрочемъ, и говорятъ, что теперь все лучше“. Тутъ старушка вздохнула, и какому-нибудь наблюдателю послышался бы въ этомъ вздохѣ вздохъ стариннаго осемнадцатаго столѣтія.

„Я слышала, моя государыня, что у васъ собственныя ваши дѣвки отличные умѣютъ выдѣлывать ковры“, сказала Василиса Кашпаровна и этимъ задѣла старушку за самую чувствительную струну: при этихъ словахъ она какъ будто оживилась, и рѣчи у ней полилися о томъ, какъ должно красить пряжу, какъ готовить для этого нитку.

Съ ковровъ быстро съѣхалъ разговоръ на соленіе огурцовъ и сушеніе грушъ. Словомъ, не прошло часу, какъ обѣ дамы такъ разговорились между собою, будто вѣкъ были знакомы. Василиса Кашпаровна многое уже начала говорить съ нею

такимъ тихимъ голосомъ, что Иванъ Ѳедоровичъ ничего не могъ разслушать.

„Да не угодно ли посмотрѣть?“ сказала, вставая, старушка хозяйка.

За нею встали барышни и Василиса Кашпаровна, и всѣ потянулись въ дѣвичью. Тетушка, однакожь, дала знакъ Ивану Ѳедоровичу остаться и сказала что-то тихо старушкѣ.

„Машенька!“ сказала старушка, обращаясь къ бѣлокурой барышнѣ: „останься съ гостемъ, да поговори съ нимъ, чтобы гостю не было скучно!“

Бѣлокурая барышня осталась и сѣла на диванъ. Иванъ Ѳедоровичъ сидѣлъ на своемъ стулѣ, какъ на иголкахъ, краснѣлъ и потуплялъ глаза; но барышня, казалось, вовсе этого не замѣчала и равнодушно сидѣла на диванѣ, разсматривая прилежно окна и стѣны, или слѣдуя глазами за кошкою, трусливо пробѣгавшею подъ стульями.

Иванъ Ѳедоровичъ немного ободрился и хотѣлъ было начать разговоръ; но казалось, что всѣ слова свои растерялъ онъ на дорогѣ. Ни одна мысль не приходила ему¹ на умъ.

Молчаніе продолжалось около четверти часа. Барышня все такъ же сидѣла.

Наконецъ Иванъ Ѳедоровичъ собрался съ духомъ: „Лѣтомъ очень много мухъ, сударыня!“ произнесъ онъ полудрожащимъ голосомъ.

„Чрезвычайно много!“ отвѣчала барышня. „Братецъ нарочно сдѣлалъ хлопущку изъ стараго маменькинаго башмака, но все еще очень много“.

Тутъ разговоръ опять прекратился, и Иванъ Ѳедоровичъ никакимъ образомъ уже не находилъ рѣчи.

Наконецъ, хозяйка съ тетушкою и чернявою барышнею возвратилась. Поговоривши еще немного, Василиса Кашпаровна распростилась съ старушкою и барышнями, не смотря на всѣ приглашенія остаться ночевать. Старушка и барышни вышли на крыльцо проводить гостей и долго еще кланялись выглядывавшимъ изъ брочки тетушкѣ и племяннику².

„Ну, Иванъ Ѳедоровичъ, о чемъ же вы говорили вдвоемъ съ барышнею?“ спросила дорогою тетушка.

„Весьма скромная и благонравная дѣвица Марья Григорьевна!“ сказалъ Иванъ Ѳедоровичъ.

„Слушай, Иванъ Ѳедоровичъ: я хочу поговорить съ тобою сурьезно. Вѣдь тебѣ, слава Богу, тридцать осьмой годъ; чинъ ты уже имѣешь хорошій: пора подумать и объ дѣтяхъ! Тебѣ непремѣнно нужна жена...“

„Какъ, тетушка!“ вскричалъ, испугавшись, Иванъ Ѳедоровичъ: „какъ, жена! Нѣтъ-съ, тетушка, сдѣлайте милость... Вы совершенно въ стыдъ меня приводите... Я еще никогда не былъ женатъ... Я совершенно не знаю, что съ нею дѣлать!“

„Узнаешь, Иванъ Ѳедоровичъ, узнаешь“, промолвила, улыбаясь, тетушка, и подумала про себя: „*Куды жъ! ще зовсимъ молода дытына*: ничего не знаетъ!“ — „Да, Иванъ Ѳедоровичъ!“ продолжала она вслухъ: „лучшей жены нельзя сыскать тебѣ, какъ Марья Григорьевна. Тебѣ же она притомъ очень понравилась. Мы уже на счетъ этого много переговорили съ старухою: она очень рада видѣть тебя своимъ зятемъ. Еще неизвѣстно, правда, что скажетъ этотъ грѣходѣй Григорьевичъ; но мы не посмотримъ на него, и пусть только онъ вздумаетъ не отдать приданого, мы его судомъ“...

Въ это время бричка подъѣхала къ двору, и древнія клячи ожили, чуя близкое стойло.

„Слушай, Омелько! конямъ дай прежде отдохнуть хорошенько, а не веди тотчасъ, распрегши, къ водопою: они лошади горячія“. — „Ну, Иванъ Ѳедоровичъ“, продолжала, вытѣвая, тетушка: „я совѣтую тебѣ хорошенько подумать объ этомъ. Мнѣ еще нужно забѣжать въ кухню: я позабыла Солохѣ заказать ужинъ, а она, негодная, я думаю, сама и не подумала объ этомъ“.

Но Иванъ Ѳедоровичъ стоялъ, какъ будто громомъ оглушенный. Правда, Марья Григорьевна очень недурная барышня; но жениться!... Это казалось ему такъ странно¹, такъ чудно, что онъ никакъ не могъ подумать безъ страха. Жить съ женою!... непонятно! Онъ не одинъ будетъ въ своей комнатѣ, но ихъ должно быть вездѣ двое!... Потъ проступалъ у него на лицѣ, по мѣрѣ того, какъ² углублялся онъ въ размышленіе.

Ранѣе обыкновеннаго легъ онъ въ постель, но, не смотря на всѣ старанія, никакъ не могъ заснуть. Наконецъ, желанный сонъ, этотъ всеобщій успокоитель, посѣтилъ его; но какой сонъ! Еще несвязиѣ сновидѣній онъ никогда не

видываль. То снилось ему, что вокруг него все шумить, вертится, а онъ бѣжить, бѣжить, не чувствуетъ подъ собою ногъ... Вотъ уже выбивается изъ силъ... Вдругъ кто-то хватаетъ его за ухо. „Ай! кто это?“ — „Это я, твоя жена!“ съ шумомъ говорилъ ему какой-то голосъ, — и онъ вдругъ пробуждался. То представлялось ему, что онъ уже женатъ, что все въ домикѣ ихъ такъ чудно, такъ странно: въ его комнатѣ стоитъ, вмѣсто одинокой, двойная кровать; на стулѣ сидитъ жена. Ему странно: онъ не знаетъ, какъ подойти къ ней, что говорить съ нею, и замѣчаетъ, что у нея гусиное лицо. Нечаянно поворачивается онъ въ сторону и видитъ другую жену, тоже съ гусинымъ лицомъ. Поворачивается въ другую сторону — стоитъ третья жена; назадъ — еще одна жена. Тутъ его беретъ тоска: онъ бросился бѣжать въ садъ; но въ саду жарко, онъ снялъ шляпу, видитъ: и въ шляпѣ сидитъ жена. Потъ выступилъ у него на лицѣ. Полѣзъ въ карманъ за платкомъ — и въ карманѣ жена; вынулъ изъ уха хлопчатую бумагу — и тамъ сидитъ жена... То вдругъ онъ прыгалъ на одной ногѣ, а тетушка, глядя на него, говорила съ важнымъ видомъ: „Да, ты долженъ прыгать, потому что ты теперь уже¹ женатый человекъ“. Онъ къ ней; но тетушка — уже не тетушка, а колокольня. И чувствуетъ, что его кто-то тащить веревкою на колокольню. „Кто это тащить меня?“ жалобно проговорилъ Иванъ Федоровичъ. „Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты — колоколь.“ „Нѣтъ, я не колоколь, я Иванъ Федоровичъ!“ кричалъ онъ. „Да, ты колоколь“. говорилъ, проходя мимо, полковникъ П*** пѣхотнаго полка. То вдругъ снилось ему, что жена вовсе не человекъ, а какая-то шерстяная матерія; что онъ въ Могилевѣ приходитъ въ лавку къ купцу. „Какой прикажете матерія?“ говоритъ купецъ: „вы возьмите жены, это самая модная матерія! очень добротная! изъ нея всѣ теперь шьютъ себѣ сюртуки“. Купецъ мѣряетъ и рѣжетъ жену. Иванъ Федоровичъ беретъ ее подъ мышку, идетъ къ жиду, портному. — „Нѣтъ“, говоритъ жидъ: „это дурная матерія! изъ нея никто не шьетъ себѣ сюртука...“

Въ страхѣ и безпамятствѣ просыпался² Иванъ Федоровичъ; холодный потъ лился³ съ него градомъ.

Какъ только всталъ онъ по утру, тотчасъ обратился къ га-

дательной книгѣ, въ концѣ которой одинъ добродѣтельный книгопродавецъ, по своей рѣдкой добротѣ и безкорыстію, помѣстилъ сокращенный снотолкователь. Но тамъ совершенно не было ничего, даже хотя немного похожего на такой безсвязный сонъ.

Между тѣмъ въ головѣ тетушки созрѣлъ совершенно новый замысль, о которомъ узнаете въ слѣдующей главѣ.



ЗАКОЛДОВАННОЕ МѢСТО.

Б Ы Л Ъ,

*разсказанная дьячкомъ ***ской церкви.*

Ей Богу, уже надоѣло разсказывать! Да что вы думаете? Право, скучно: разсказывай, да и разсказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я разскажу, только, ей-ей, въ послѣдній разъ. Да, вотъ вы говорили на счетъ того, что человѣкъ можетъ совладать, какъ говорятъ, съ нечистымъ духомъ. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бываютъ на свѣтѣ всякіе случаи... Однакожь, не говорите этого: захочетъ обморочить дьявольская сила, то обморочить; ей Богу, обморочить!... Вотъ извольте видѣть: насъ всѣхъ у отца было четверо; я тогда былъ еще дурень, всего мнѣ было лѣтъ одиннадцать... такъ нѣтъ же, не одиннадцать: я помню какъ теперъ, когда разъ побѣждалъ было на четверенькахъ и сталъ лаять по собачьи, батько закричалъ на меня, покачавъ головою: „Эй Оома, Оома! тебя женить пора, а ты дурѣешь, какъ молодой лошакъ!“

Дѣдъ былъ еще тогда живъ и на ноги, — пусть ему легко икнется на томъ свѣтѣ, — довольно крѣпкокъ. Бывало вздумаетъ... Да что жъ эдакъ разсказывать? Одинъ выгребаетъ изъ печки цѣлый часъ уголь для своей трубки, другой зачѣмъ-то побѣждалъ за комору. Что, въ самомъ дѣлѣ!... Добро бы по неволѣ, а то вѣдъ сами же напросились. Слушать, такъ слушать!

Батько еще въ началѣ весны повезъ въ Крымъ на продажу табакъ; не помню только, два или три воза снарядить

онъ; табакъ былъ тогда въ цѣнѣ. Съ собою взялъ онъ трех-годоваго брата — приучать заранѣе чумаковать; насъ осталось: дѣдъ, мать, я, да братъ, да еще братъ. Дѣдъ засѣялъ баштанъ на самой дорогѣ и перешелъ жить въ курень; взялъ и насъ съ собою гонять воробьевъ и сорокъ съ баштану¹. Намъ это было, нельзя сказать, чтобы худо: бывало, наѣвшись въ день столько огурцовъ, дынь, рѣпы, цыбули, гороху, что въ животѣ, ей Богу, какъ будто пѣтухи кричатъ. Ну, оно притомъ же и прибыльно: проѣзжіе толкуются по дорогѣ, всякому захочется полакомиться арбузомъ или дынею, да изъ окрестныхъ хуторовъ, бывало, нанесутъ на обмѣнъ куръ, яицъ, пидѣекъ. Житье было хорошее.

Но дѣду болѣе всего любо было то, что чумаковъ каждый день воевъ пятьдесятъ проѣдетъ. Народъ, знаете, бывалый: пойдетъ рассказывать — только уши развѣшивай! А дѣду это все равно, что голодному галушки. Иной разъ, бывало, случится встрѣча съ старыми знакомыми, — дѣда всякій уже знаетъ, — можете посудить сами, что бываетъ, когда соберется старье: тара, тара, тогда-то, да тогда-то, такое-то, да такое-то было... Ну, и разольются! вспомнятъ, Богъ знаетъ, когдашнее.

Разъ, — ну вотъ, право, какъ будто теперь случилось, — солнце стало уже садиться, дѣдъ ходилъ по баштану и снималъ съ кавуновъ листья, которыми прикрывалъ ихъ днемъ, чтобы не попеклись на солнцѣ.

„Смотри, Остапъ“, говорю я брату: „вонъ чумаки ѣдутъ!“

„Гдѣ чумаки?“ сказалъ дѣдъ, положивши значекъ на большой дынь, чтобы на случай не съѣли хлопцы.

По дорогѣ тянулось, точно, воевъ шесть. Впереди шель чумакъ уже съ сизыми усами. Не дошедши шаговъ — какъ бы вамъ сказать? — на десять, онъ остановился.

„Здорово, Максимъ! Вотъ привелъ Богъ гдѣ увидѣться!“

Дѣдъ прищурилъ глаза: „А! здорово, здорово! Откуда Богъ несетъ? И Болячка здѣсь? Здорово, здорово, братъ! Что за дьяволъ! да тутъ всѣ: и Крутотрыщенко! и Печерыця! и Ковелекъ! и Стецько! Здорово! А, га, га! го, го!...“ И пошли цѣловаться.

Воловъ распрягли и пустили пастись на траву, возы оставили на дорогѣ; а сами съѣли всѣ въ кружокъ впереди ку-

рени и закурили люльки. Но куда уже¹ тутъ до люлекъ? за росказнями², да за раздобарами врядъ ли и по одной досталось. Послѣ полдника сталъ дѣдъ потчивать гостей дынями. Вотъ каждый, взявши по дынѣ, обчистилъ ее чистенько ножикомъ (калачи всѣ были тертые, мыкали не мало, знали уже, какъ ѣдятъ въ свѣтѣ³, — пожалуй и за панскій столъ, хоть сейчасъ, готовы сѣсть); обчистивши хорошенько, проткнулъ каждый пальцемъ дырочку, выпилъ изъ нея кисель, сталъ рѣзать по кусочкамъ и класть въ ротъ.

„Что жъ вы, хлопцы“, сказалъ дѣдъ: „рты свои разинули? танцуйте, собачьи дѣти! Гдѣ, Остапъ, твоя сопилка? А нука козачка! Оома, берись въ боки! Ну! вотъ такъ! Гей, гопъ!“

Я былъ тогда малый подвижной. Старость проклятая! Теперь уже не пойду такъ; вмѣсто всѣхъ выкругасовъ, ноги только спотыкаются. Долго глядѣлъ дѣдъ на насъ, сидя съ чумаками. Я замѣчаю, что у него ноги не стоятъ на мѣстѣ: такъ какъ будто ихъ что-нибудь дергаетъ.

„Смотри, Оома“, сказалъ Остапъ: „если старый хрѣнъ не пойдетъ танцовать!“

Что жъ вы думаете? не успѣлъ онъ сказать — не вытерпѣлъ старичина! Захотѣлось, знаете, прихвастнуть предъ чумаками. „Вишь, чортовы дѣти! развѣ такъ танцуютъ? Вотъ какъ танцуютъ!“ сказалъ онъ, поднявшись на ноги, протянувъ руки и ударивъ каблуками.

Ну, нечего сказать, танцовать-то онъ танцевалъ такъ, что хоть бы и съ гетьманшею. Мы посторонились, и пошелъ хрѣнъ вывертывать ногами по всему гладкому мѣсту, которое было возлѣ градки съ огурцами. Только что дошелъ однакожь до половины и хотѣлъ разгуляться и выметнуть ногами на вихорь какую-то свою⁴ штуку, — не поднимаются ноги, да и только! Что за пропасть! Разогнался снова, дошелъ до середины — не беретъ! Что хочъ дѣлай — не беретъ, да и не беретъ! Ноги, какъ деревянные, стали. „Вишь дьявольское мѣсто! вишь сатанинское наваждене! Впутается же Иродъ, врагъ рода человѣческаго!“ Ну, какъ надѣлать сраму передъ чумаками? Пустился снова и началъ чесать дробно, мелко, любо глядѣть; до середины — нѣтъ! не вытанцывается⁵, да и полно! „А, шельмовскій сатана! чтобъ ты подавился гнилою дынею! чтобъ еще маленькимъ издохнулъ, собачій сынъ! Вотъ на ста-

рость надѣлать стыда какого!...“ И въ самомъ дѣлѣ сзиди кто-то засмѣялся.

Оглянулся: ни баштану, ни чумаковъ, ничего; назади, впереди, по сторонамъ — гладкое поле. „Э! ссс... вотъ тебѣ на!“ Начать прищуривать глаза — мѣсто, кажись, не совсѣмъ незнакомое: съ боку лѣсъ, изъ-за лѣса торчалъ какой-то шестъ и видѣлся прочь — далеко въ небѣ. Чтò за пропасть? Да это голубятня, что у попа въ огородѣ! Съ другой стороны то же что-то сѣрѣетъ; взглянулся: гумно волостнаго писаря. Вотъ куда затащила нечистая сила! Поколесивши кругомъ, наткнулся онъ на дорожку. Мѣсяца не было: бѣлое пятно мелко кало вмѣсто него¹ сквозь тучу. „Быть завтра большому вѣтру!“ подумалъ дѣдъ. Глядь — въ сторонѣ отъ дорожки на могилкѣ вспыхнула свѣчка. „Вишь!“ Сталъ дѣдъ, и руками подперся въ боки, и глядитъ: свѣчка потухла; вдали и немного подальше загорѣлась другая. „Кладь!“ закричалъ дѣдъ: „я ставлю, Богъ знаетъ чтò, если не кладь!“ И уже поплевалъ было въ руки, чтобы копать, да спохватился, что нѣтъ при немъ ни заступа, ни лопаты. „Эхъ, жаль! Ну, — кто знаетъ? — можетъ быть, стòитъ только поднять дернъ, а онъ тутъ и лежитъ, голубчикъ! Нечего дѣлать, назначить, по крайней мѣрѣ, мѣсто, чтобы не позабыть послѣ!“

Вотъ перетянувши сломленную², видно, вихремъ, порядочную вѣтку дерева, навалилъ онъ ее на ту могилку, гдѣ горѣла свѣчка, и пошелъ по дорожкѣ. Молодой дубовый лѣсъ сталъ рѣдѣть; мелькнулъ плетень. „Ну, такъ! не говорилъ ли я“, подумалъ дѣдъ: „что это попова левада? Вотъ и плетень его! Теперь и версты нѣтъ до баштана“.

Поздненько, однакожъ, пришелъ онъ домой, и галушекъ не захотѣлъ ѣсть. Разбудивши брата Остапа, спросилъ только, давно ли уѣхали чумаки, и завернулся въ тулупъ. И когда тотъ началъ было спрашивать: „А куда тебя, дѣдъ, черти дѣли сегодня?“ — „Не спрашивай“, сказалъ онъ, завертываясь еще крѣпче: „не спрашивай, Остапъ: не то — посѣдѣешь!“ И захрапѣлъ такъ, что воробьи, которые забрались было на баштанъ, поподымались съ перепугу на воздухъ. Но гдѣ ужъ тамъ ему спалось? Нечего сказать, хитрая была бестія, — дай Боже ему царствіе небесное! — умѣлъ отдѣлаться всегда. Иной разъ такую запоетъ пѣсню, что губы станешь кусать.

На другой день, чуть только стало смеркаться въ полѣ, дѣдъ надѣлъ свитку, подпоясался, взялъ подъ мышку заступъ и лопату, надѣлъ на голову шапку, выпилъ кухоль сыровцу, утеръ губы полою, и пошелъ прямо къ попову огороду. Вотъ минулъ и плетень, и низенькій дубовый лѣсъ. Промежъ деревьевъ вьется дорожка и выходитъ въ поле; кажись, та самая. Вышелъ и на поле — мѣсто точь въ точь вчерашнее: вонь и голубятня торчатъ; но гумна не видно. „Нѣтъ, это не то мѣсто. То, стало-быть, подалѣе; нужно, видно, поворотить къ гумну!“ Поворотилъ назадъ, сталъ итти другою дорогою — гумно видно, а голубятни нѣтъ! Опять поворотилъ поближе къ голубятнѣ — гумно спряталось. Въ полѣ, какъ нарочно, сталъ накрапывать дождикъ. Побѣжалъ снова къ гумну — голубятня пропала; къ голубятнѣ — гумно пропало.

„А чтобъ ты, проклятый сатана, не дождалъ дѣтей своихъ видѣть!“ А дождь пустился какъ изъ ведра.

Готъ, скинувши новые сапоги и обернувши въ хустку, чтобы не покоробились отъ дождя, задалъ онъ такого бѣгуна, какъ будто панскій иноходець. Влѣзъ въ курень, промокши насквозь, накрылся тулупомъ и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать чорта такими словами, какихъ я еще отъ роду не слыхивалъ. Признаюсь, я бы, вѣрно, покраснѣлъ, если бы случилось это среди дня.

На другой день проснулся, смотрю: уже дѣдъ ходитъ по баштану, какъ ни въ чемъ не бывало, и прикрываетъ лопухомъ арбузы. За обѣдомъ опять старичина разговорился, сталъ пугать меньшаго брата, что онъ обмѣняетъ его на куръ вмѣсто арбуза; а, пообѣдавши, сдѣлалъ самъ изъ дерева пищикъ и началъ на немъ играть; и далъ намъ забавляться дыню, свернувшуюся въ три погибели, словно змѣю, которую называлъ онъ турецкою. Теперь такихъ дынь я нигдѣ и не видывалъ: правда, сѣмена ему что-то издалека достались.

Вечеру, уже повечерявши, дѣдъ пошелъ съ заступомъ прокопать новую грядку для позднихъ тыквъ. Сталъ проходить мимо того заколдованнаго мѣста, не вытерпѣлъ, чтобы не проворчать сквозь зубы: „проклятое мѣсто!“ взошелъ на середину, гдѣ не вытанцовалось¹ позавчера, и ударилъ въ сердцахъ заступомъ. Глядь — вокругъ него опять то же самое поле: съ одной стороны торчатъ голубятня, а съ другой гумно.

„Ну, хорошо, что догадался взять съ собою заступъ. Вонъ и дорожка! вонъ и могилка стоятъ! вонъ и вѣтка навалена! вонъ-вонъ горить и свѣчка! Какъ бы только не ошибиться!“

Потихоньку побѣжалъ онъ, поднявши заступъ вверхъ, какъ будто бы хотѣлъ имъ попотчивать кабана, затесавшагося на баштанъ, и остановился передъ могилкою. Свѣчка погасла; на могилѣ лежалъ камень, заросшій травюю. „Этотъ камень нужно поднять!“ подумалъ дѣдъ и началъ обкапывать его со всѣхъ сторонъ. Великъ проклятый камень! Вотъ, однакожь, упершись крѣпко ногами въ землю, пихнулъ онъ его съ могилы. „Гу!“ пошло по долинѣ. „Туда тебѣ и дорога! теперь живѣе пойдеть дѣло“.

Тутъ дѣдъ остановился, досталъ рожокъ, насыпалъ на кулакъ табаку, и готовился было поднести къ носу, какъ вдругъ надъ головою его „чихи!“ чихнуло что-то такъ, что покачнулись деревья и дѣду забрызгало все лицо. „Отворотился хоть бы въ сторону, когда хочешь чихнуть!“ проговорилъ дѣдъ, протирая глаза. Осмотрѣлся — никого нѣтъ. „Нѣтъ, не любить, видно, чортъ табаку!“ продолжалъ онъ, кладя рожокъ въ¹ пазуху и принимаясь за заступъ. „Дурень же онъ, а такого табаку ни дѣду, ни отцу его не доводилось нюхать!“ Сталъ копать — земля мягкая, заступъ такъ и уходитъ. Вотъ что-то звукнуло. Выкидавши землю, увидѣлъ онъ котель.

„А, голубчикъ, вотъ гдѣ ты!“ вскрикнулъ дѣдъ, подсовывая подъ него заступъ.

„А, голубчикъ, вотъ гдѣ ты!“ запищалъ птичій носъ, клонувши котель.

Посторонился дѣдъ и выпустилъ заступъ.

„А, голубчикъ, вотъ гдѣ ты!“ заблеяла баранья голова съ верхушки дерева.

„А, голубчикъ, вотъ гдѣ ты!“ заревѣлъ медвѣдъ, высунувши изъ-за дерева свое рыло. Дрожь проняла дѣда.

„Да тутъ страшно слово сказать!“ проворчалъ онъ про-себя.

„Тутъ страшно слово сказать!“ пискнулъ птичій носъ.

„Страшно слово сказать!“ заблеяла баранья голова.

„Слово сказать!“ ревнулъ медвѣдъ.

„Гмъ...“ сказалъ дѣдъ, и самъ перепугался.

„Гмъ!“ пропищалъ носъ.

„Гмъ!“ проблеялъ барань.

„Гумь!“ заревѣлъ медвѣдь.

Со страхомъ оборотился дѣдь¹: Боже ты мой, какая ночь! ни звѣздъ, ни мѣсяца; вокругъ провалы; подъ ногами круча безъ дна; надъ головою свѣсилась гора, и вотъ-вотъ, кажись, такъ и хочетъ оборваться на него! И чудится дѣду, что изъ-за нея мигаетъ какая-то харя: у! у! носъ — какъ мѣхъ въ кузницѣ; ноздри — хоть по ведру воды влей въ каждую! губы, ей Богу, какъ двѣ колоды! красныя очи выкатились наверхъ, и еще и языкъ высунула, и дразнить! „Чортъ съ тобою!“ сказалъ дѣдь, бросивъ котель. „На тебѣ и кладъ твой! Экая мерзостная рожа!“ И уже ударился было бѣжать, да оглядѣлся и сталъ, увидѣвши, что все было по прежнему. „Это только пугаетъ нечистая сила!“

Принялся снова за котель — нѣтъ, тяжелъ! Что дѣлать? Тутъ же не оставить! Вотъ, собравши всѣ силы, ухватился онъ за него руками: „Ну, разомъ, разомъ! еще, еще!“² и вытащилъ. „Ухъ! теперъ понюхать табаку!“

Досталъ рожокъ. Прежде, однакожь, чѣмъ сталъ насыпать, осмотрѣлся хорошенько, нѣтъ ли кого. Кажись, что нѣтъ; но вотъ чудится ему, что пень дерева пыхтитъ и дуется, показываются уши, наливаются красныя глаза, ноздри раздулись, носъ поморщился, и вотъ, такъ и собирается чихнуть. „Нѣтъ, не понюхаю табаку!“ подумалъ дѣдь, спрятавши рожокъ: „опять заплюетъ сатана очи!“ Схватилъ скорѣе котель и давай бѣжать, сколько доставало духу; только слышитъ, что сзади что-то такъ и чешетъ прутьями по ногамъ... „Ай! ай, ай!“ покрикивалъ только дѣдь, ударивъ во всю мочь; и какъ добѣжалъ до попава огорода, тогда только перевелъ немного духъ.

„Куда это зашелъ дѣдь?“ думали мы, дожидаясь часа три. Уже съ хутора давно пришла мать и принесла горшокъ горячихъ галушекъ. Нѣтъ, да и нѣтъ дѣда! Стали опять вечерять сами. Послѣ вечери вымыла мать горшокъ и искала глазами, куда бы вылить помой, потому что вокругъ все были гряды; какъ видить, идетъ прямо къ ней на встрѣчу кухва. На небѣ было таки темненько. Вѣрно, кто-нибудь изъ хлопцевъ, шаяля, спрятался сзади и подталкиваетъ ее. „Вотъ кстати, сюда вылить помой!“ сказала и вылила горячія помой.

„Ай!“ закричало³ басомъ. Глядь — дѣдь. Ну, кто его

знаеть! Ей Богу, думали, что бочка лѣзеть! Признаюсь, хотъ оно и грѣшно немного, а, право, смѣшно показалось, когда сѣдая голова дѣда вся была окунута въ помои и обвѣшана корками отъ арбузовъ и дынь¹.

„Вишь, чортова баба!“ сказалъ дѣдъ, обтирая голову по-люю: „какъ опарила! какъ будто свинью передъ Рождествомъ! Ну, хлопцы, будетъ вамъ теперь на бублики! Будете, собачьи дѣти, ходить въ золотыхъ жупанахъ! Посмотрите-ка, посмотрите сюда, чтѣ я вамъ принесъ!“ сказалъ дѣдъ и открылъ котель.

Чтѣ-жъ бы, вы думали, такое тамъ было? Ну, по малой мѣрѣ, подумавши хорошенько: а? золото? Вотъ то-то, что не золото: соръ, дразгъ... стыдно сказать, чтѣ такое. Плонулъ дѣдъ, кинулъ котель и руки послѣ того вымылъ.

И съ той поры заклиалъ дѣдъ и насъ вѣрить когда-либо чорту. „И не думайте!“ говорилъ онъ часто намъ: „все, что ни скажетъ врагъ Господа Христа, все солжетъ, собачій сынъ! У него правды и на копѣйку нѣтъ!“ И, бывало, чуть только услышитъ старикъ, что въ иномъ мѣстѣ не спокойно: „А, ну-те ребята, давайте крестить!“ закричитъ къ намъ²: „такъ его! такъ его! хорошенько!“ и начнетъ класть кресты. А то проклятое мѣсто, гдѣ не вытанцовалось³, загородилъ плетнемъ, велѣлъ кидать все, чтѣ ни есть непотребнаго, весь бурьянъ и соръ, который выгребалъ изъ баштана.

Такъ вотъ какъ морочить нечистая сила человѣка! Я знаю хорошо эту землю: послѣ того нанимали ее у батька⁴ подъ баштанъ сосѣдніе козаки. Земля славная, и урожай всегда бывалъ на диво; но на заколдованномъ мѣстѣ никогда не было ничего добраго. Засѣютъ, какъ слѣдуетъ, а взойдетъ такое, что и разобрать нельзя: арбузъ — не арбузъ, тыква — не тыква, огурецъ — не огурецъ... чортъ знаетъ, что такое!

К О Н Е Ц Ъ .

МИРГОРОДЪ.

ПОВѢСТИ,

СЛУЖАЩІЯ ПРОДОЛЖЕНІЕМЪ

ВЕЧЕРОВЪ НА ХУТОРЪ БЛИЗЪ ДИКАНЬКИ.

Миргородъ нарочито невеликій при
рѣкѣ Хоролѣ городъ. Имѣеть 1 канат-
ную фабрику, 1 кирпичный заводъ, 4
водяныхъ и 45 вѣтреныхъ мельницъ.

Географія Зябловскаго.

Хотя въ Миргородѣ пекутся бублики
изъ чернаго тѣста, но довольно вкусны.
Изъ записокъ одного путешественника.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.



СТАРОСВѢТСКІЕ ПОМѢЩИКИ.

Я очень люблю скромную жизнь тѣхъ уединенныхъ владѣтелей отдаленныхъ деревень, которыхъ въ Малороссіи обыкновенно называютъ „старосвѣтскими“, которые¹, какъ дряхлые живописные домики, хороши своею простотою и совершенною противоположностью съ новымъ гладенькимъ строеніемъ, котораго стѣны не промылъ еще дождь, крыши не покрыла зеленая плѣсень², и лишенное штукатурки³ крыльцо не выказываетъ⁴ своихъ красныхъ кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту въ сферу этой необыкновенно уединенной жизни, гдѣ ни одно желаніе не перелетаетъ за частоколь, окружающій небольшой дворикъ, за плетень сада, наполненнаго яблонями и сливами, за деревенскія избы, его окружающія, пошатнувшіяся на сторону, осѣненные вербами, бузиною и грушами. Жизнь ихъ скромныхъ владѣтелей такъ тиха, такъ тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желанія и беспокойныя порожденія⁵ злаго духа, возмущающія міръ, вовсе не существуютъ, и ты ихъ видѣлъ только въ блестящемъ, сверкающемъ сновидѣніи. Я отсюда вижу низенькій домикъ съ галереєю изъ маленькихъ почернѣлыхъ деревянныхъ столбиковъ, идущею вокругъ всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни оконъ, не замочась дождемъ. За нимъ душистая черемуха, цѣлые ряды низенькихъ фруктовыхъ деревъ, потопленныхъ багрянцемъ, вишень и яхонтовымъ моремъ сливъ, покрытыхъ свинцовымъ матомъ; развѣсистый кленъ, въ тѣни котораго разостланъ, для отдыха, коверъ; передъ домомъ просторный дворъ съ низенькою свѣжею травкою, съ протоптанною дорожкой отъ амбара до кухни и отъ кухни до барскихъ покоевъ; длинно-

шейный¹ гусь, пьющій воду, съ молодыми и нѣжными, какъ пухъ, гусятами; частоколь, обвѣшанный связками сушеныхъ грушъ и яблокъ и провѣтривающимися коврами; возъ съ дынями, стоящій возлѣ амбара; отпряженный воль, лѣниво лежащій возлѣ него: — все это для меня имѣетъ неизъяснимую прелесть, можетъ быть, оттого, что я уже не вижу ихъ и что намъ мило все то, съ чѣмъ мы въ разлукѣ. Какъ бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подѣзжала къ крыльцу этого домика, душа принимала удивительно пріятное и спокойное состояніе; лошади весело подкатывали² подъ крыльцо; кучеръ преспокойно слѣзалъ съ козелъ и набивалъ трубку, какъ будто бы онъ пріѣзжалъ въ собственный домъ свой; самый лай, который поднимали флегматическіе барбосы, бровки и жучки, былъ пріятенъ моимъ ушамъ. Но болѣе всего мнѣ нравились самые владѣтели этихъ скромныхъ уголковъ, — старички, старушки, заботливо выходившіе на встрѣчу. Ихъ лица мнѣ представляются и теперь иногда въ шумѣ и толпѣ среди модныхъ фраковъ, и тогда вдругъ на меня находить полусонъ и мерещется былое. На лицахъ у нихъ всегда написана такая доброта, такое радушіе и чистосердечіе, что невольно отказываешься, хотя по крайней мѣрѣ на короткое время, отъ всѣхъ дерзкихъ мечтаній и незамѣтно переходишь всѣми чувствами въ низменную буколическую жизнь.

Я до сихъ поръ не могу позабыть двухъ старичковъ прошедшаго вѣка, которыхъ, увы! теперь уже нѣтъ, но душа моя полна еще до сихъ поръ жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображаю себѣ, что пріѣду со временемъ опять на ихъ прежнее, нынѣ опустѣлое жилище и увижу кучу развалившихся хатъ, заглохшій прудъ, заросшій ровъ на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ низенькій домикъ — и ничего болѣе. Грустно! мнѣ заранѣе грустно! Но обратимся къ разсказу.

Аеанасій Ивановичъ Товстогубъ и жена его Пульхерія Ивановна Товстогубиха, по выраженію окружающихъ мужиковъ, были тѣ старики, о которыхъ я началъ разсказывать. Если бы я былъ живописецъ и хотѣлъ изобразить на полотнѣ Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избралъ другаго оригинала, кромѣ ихъ. Аеанасію Ивановичу было шестьдесятъ лѣтъ, Пульхеріи Ивановнѣ пятьдесятъ пять. Аеанасій Ивановичъ былъ высокаго роста, ходилъ всегда въ бараньемъ тулупчикѣ,

покрытомъ камлотомъ, сидѣль согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывалъ, или, просто, слушалъ. Пульхерія Ивановна была нѣсколько серьезна, почти никогда не смѣялась; но на лицѣ и въ глазахъ ея было написано столько доброты, столько готовности угостить васъ всѣмъ, что было у нихъ лучшаго, что вы, вѣрно, нашли бы улыбку уже черезъ чуръ приторною для ея добраго лица. Легкія морщины на ихъ лицахъ были расположены съ такою пріятностію, что художникъ вѣрно бы укралъ ихъ. По нимъ можно было, казалось, читать всю жизнь ихъ, ясную, спокойную, — жизнь, которую вели старыя національныя, простосердечныя и вмѣстѣ богатныя фамиліи, всегда составляющія противоположность тѣмъ низкимъ малороссіянамъ, которые выдираются изъ дегтярей, торгашей, наполняютъ, какъ саранча, палаты и присутственныя мѣста, деруть послѣднюю копѣйку съ своихъ же земляковъ, наводняютъ Петербургъ ябедниками, наживаютъ наконецъ капиталъ и торжественно прибавляютъ къ фамиліи своей, оканчивающейся на *о*, слогъ *въ*. Нѣтъ, они не были похожи на эти презрѣнныя и жалкія творенія ¹, такъ же какъ и всѣ малороссійскія старинныя и коренныя фамиліи.

Нельзя было глядѣть безъ участія на ихъ взаимную любовь. Они никогда не говорили другъ другу *ты*, но всегда *вы*: вы, Аѳанасій Ивановичъ; вы Пульхерія Ивановна. „Это вы продавили стулъ, Аѳанасій Ивановичъ?“ — „Ничего, не сердитесь, Пульхерія Ивановна: это я“. Они никогда не имѣли дѣтей, и оттого вся привязанность ихъ сосредоточивалась на нихъ же самихъ ². Когда-то, въ молодости, Аѳанасій Ивановичъ служилъ въ компанейцахъ, былъ послѣ секунд-майоромъ; но это уже было очень давно, уже прошло, уже самъ Аѳанасій Ивановичъ почти никогда не вспоминалъ объ этомъ ³. Аѳанасій Ивановичъ женился тридцати лѣтъ, когда былъ молодцомъ и носилъ шитый камзолъ; онъ даже увезъ довольно ловко Пульхерію Ивановну, которую родственники не хотѣли отдать за него; но и объ этомъ уже онъ очень мало помнилъ, по крайней мѣрѣ никогда не говорилъ ⁴.

Всѣ эти давнія, необыкновенныя происшествія замѣнились ⁵ спокойною и уединенною жизнію, тѣми дремлющими и вмѣстѣ гармоническими грезами ⁶, которыя ощущаете вы, сидя на

деревенскомъ балконѣ, обращенномъ въ садъ, когда прекрасный дождь роскошно шумитъ, хлопая по древеснымъ листьямъ, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тѣмъ радуга крадется изъ-за деревьевъ и, въ видѣ полуразрушеннаго свода, свѣтитъ матовыми семью цвѣтами на небѣ, — или когда укачиваетъ васъ коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепелъ гремитъ, и душистая трава, вмѣстѣ съ хлѣбными колосьями и полевыми цвѣтами, лѣзетъ въ дверцы коляски, пріятно ударяя васъ по рукамъ и лицу.

Онъ всегда слушалъ съ пріятною улыбкою гостей, пріѣзжавшихъ къ нему; иногда и самъ говорилъ, но больше ¹ разспрашивалъ. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ стариковъ, которые надобѣдаютъ вѣчными похвалами старому времени или порицаніями новаго: онъ, напротивъ, разспрашивая васъ, показывалъ большое любопытство и участіе къ обстоятельствамъ вашей собственной жизни, удачамъ и неудачамъ ², которыми обыкновенно интересуются всѣ добрые старики, хотя оно нѣсколько похоже на любопытство ребенка, который въ то время, когда говорить съ вами, разсматриваетъ печатку вашихъ часовъ. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою.

Комнаты домика, въ которомъ жили наши старички, были маленькія, низенькія ³, какія обыкновенно встрѣчаются у старосвѣтскихъ людей. Въ каждой комнатѣ была огромная печь, занимавшая почти третью часть ея. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Аѳанасій Ивановичъ, и Пульхерія Ивановна очень любили теплоту. Топки ихъ были всѣ проведены въ сѣни, всегда почти до самаго потолка наполненныя соломою, которую обыкновенно употребляютъ въ Малороссіи вмѣсто дровъ. Трескъ этой горящей соломы и освѣщеніе дѣлаютъ сѣни чрезвычайно пріятными въ зимній вечеръ, когда пыльная молодежь, прозябнувши отъ преслѣдованія за какой-нибудь смуглянкой, вбѣгаетъ въ нихъ, хлопывая въ ладоши ⁴. Стѣны комнаты убраны были нѣсколькими картинами и картинками въ старинныхъ узенькихъ рамахъ. Я увѣренъ, что сами хозяева давно позабыли ихъ содержаніе, и если бы нѣкоторые изъ нихъ были унесены, то они бы, вѣрно, этого не замѣтили. Два портрета было большихъ, писанныхъ масляными красками: одинъ представлялъ какого-то архіерея, другой Петра III;

изъ узенькихъ рамъ глядѣла Герцогиня Лавальеръ, запачканная¹ мухами. Вокругъ оконъ и надъ дверями находилось множество небольшихъ картинокъ, которыя² какъ-то привыкаешь почитать за пятна на стѣнѣ и потому ихъ вовсе не разсматриваешь. Полъ почти во всѣхъ комнатахъ былъ глиняный, но такъ чисто вымазанный и содержавшійся³ съ такою опрятностію, съ какою, вѣрно, не содержался⁴ ни одинъ паркетъ въ богатомъ домѣ, лѣниво подметаемый невыспавшимся господиномъ въ ливреѣ.

Комната Пульхеріи Ивановны была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучечками. Множество узелковъ и мѣшковъ съ сѣменами, цвѣточными, огородными, арбузными, висѣли⁵ по стѣнамъ. Множество клубковъ съ разноцвѣтною шерстью, лоскутковъ старинныхъ платьевъ, шитыхъ за полстолѣтіе⁶, были уложены по угламъ въ сундучкахъ и между сундучками. Пульхерія Ивановна была большая хозяйка и собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потомъ употребится.

Но самое замѣчательное въ домѣ — были поющія двери. Какъ только наставало утро, пѣніе дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего онѣ пѣли: перержавѣвшія ли петли были тому виною, или самъ механикъ, дѣлавшій ихъ, скрылъ въ нихъ какой-нибудь секретъ; но замѣчательно то, что каждая дверь имѣла свой особенный голосъ: дверь, ведущая въ спальню, пѣла самымъ тоненькимъ дискантомъ; дверь въ столовую⁷ хрипѣла басомъ; но та, которая была въ сѣняхъ, издавала какой-то странный, дребезжащій и вмѣстѣ стонущій звукъ, такъ что, вслушиваясь въ него, очень ясно наконецъ слышалось: „Батюшки, я забну!“ Я знаю, что многимъ очень не нравится этотъ⁸ звукъ; но я его очень люблю, и если мнѣ случится иногда здѣсь услышать скрипъ дверей, тогда мнѣ вдругъ такъ и запахнетъ деревнею: низенькой комнаткой, озаренной свѣчкой въ старинномъ подсвѣчникѣ; ужиномъ, уже стоящимъ на столѣ⁹; майскою темною ночью, глядящею изъ сада, сквозь растворенное окно, на столъ, уставленный приборами; соловьемъ, который обдастъ садъ¹⁰, домъ и дальнюю рѣку своими раскатами; страхомъ и шорохомъ вѣтвей... и, Боже! какая длинная навѣвается мнѣ тогда вереница воспоминаній!

Стулья въ комнатѣ были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина; они были всѣ съ высокими выточенными спинками въ натуральномъ видѣ, безъ всякаго лака и краски; они не были даже обиты матеріею и были нѣсколько похожи¹ на тѣ стулья, на которые и донинѣ садятся архіереи. Треугольные столики по угламъ, четырехугольные передъ диваномъ и зеркаломъ въ тоненькихъ золотыхъ рамахъ, выточенныхъ листьями, которыя² мухи усѣяли черными точками; передъ диваномъ коверъ³ съ птицами, похожими на цвѣты, и цвѣтами, похожими на птицъ: вотъ все почти убранство невзыскательнаго домика, гдѣ жили мои старики.

Дѣвичья была набита молодыми и немолдыми дѣвушками въ полосатыхъ исподницахъ, которымъ иногда Пульхерія Ивановна давала шить какія-нибудь бездѣлушки и заставляла чистить ягоды, но которыя большею частію бѣгали на кухню и спали. Пульхерія Ивановна почитала необходимою держать ихъ въ домѣ и строго смотрѣла за ихъ нравственностію; но, къ чрезвычайному ея удивленію, не проходило нѣсколькихъ мѣсяцевъ, чтобы у которой нибудь изъ ея дѣвушекъ станъ не дѣлался гораздо полнѣе обыкновеннаго. Тѣмъ болѣе это казалось удивительно, что въ домѣ почти никого не было изъ холостыхъ людей, выключая развѣ только комнатнаго мальчика, который ходилъ въ сѣромъ полуфракѣ съ босыми ногами и если не ѣлъ, то ужъ, вѣрно, спалъ. Пульхерія Ивановна обыкновенно бранила виновную и наказывала строго, чтобы впередъ этого не было. На стеклахъ оконъ звенѣло страшное множество мухъ, которыхъ всѣхъ покрывалъ толстый басъ шмеля, иногда сопровождаемый пронзительными визжаниями ось; но, какъ только подавали свѣчи, вся эта ватага отправлялась на ночлегъ и покрывала черною тучею весь потолокъ.

Анастасій Ивановичъ очень мало занимался хозяйствомъ, хотя впрочемъ ѣздилъ иногда къ косарямъ и жнецамъ, и смотрѣлъ довольно пристально на ихъ работу; все бремя правленія лежало на Пульхеріи Ивановнѣ. Хозяйство Пульхеріи Ивановны состояло въ безпрестанномъ отпираниіи и запираніи кладовой, въ соленіи, сушеніи, вареніи безчисленнаго множества фруктовъ и растений. Ея домъ былъ совершенно похожъ на химическую лабораторію. Подъ яблонею вѣчно былъ разложенъ

огонь, и никогда почти не снимался съ желѣзнаго треножника котель или мѣдный тазъ съ вареньемъ, желе¹, пастилою, дѣлан-ными² на меду, на сахарѣ³ и не помню еще на чемъ. Подъ другимъ деревомъ кучеръ вѣчно перегонялъ въ мѣдномъ лем-бикѣ водку на персиковые листья, на черемуховый цвѣтъ, на золототысячникъ, на вишневья косточки, и къ концу этого процесса совершенно не былъ въ состояніи поворотить языкомъ⁴, болталъ такой вздоръ, что Пульхерія Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на кухню спать. Всей этой дряни нава-ривалось, насаливалось, насушивалось такое множество, что, вѣроятно, она потопила бы⁵ наконецъ весь дворъ (потому что Пульхерія Ивановна всегда, сверхъ расчисленнаго на потребле-ніе, любила готовить еще на запасъ), если бы большая по-ловина этого не съѣдалась дворовыми дѣвками, которыя, заби-раясь въ кладовую, такъ ужасно тамъ объѣдались, что цѣлый день стонали и жаловались на животы свои.

Въ хлѣбопашество и прочія хозяйственныя статьи внѣ двора Пульхерія Ивановна мало имѣла возможности входить. Приказ-чикъ, соединившись съ войтомъ, обирали немилосерднымъ образомъ. Они завели обыкновение входить въ господскіе лѣса, какъ въ свои собственные, надѣлывали множество саней⁶ и про-давали ихъ на ближней ярмаркѣ; кромѣ того, всѣ толстые дубы они продавали на срубъ для мельницъ сосѣднимъ козакамъ. Одинъ только разъ Пульхерія Ивановна пожелала обревизовать⁷ свои лѣса. Для этого были запрожены дрожки, съ огромными кожаными фартухами, отъ которыхъ, какъ только кучеръ встря-хивалъ возжами и лошади, служившія еще въ милиціи, трога-лись съ своего мѣста, воздухъ наполнялся странными звуками, такъ что вдругъ были слышны и флейта, и бубны, и барабанъ; каждый гвоздикъ и желѣзная скобка звенѣли до того, что⁸ возлѣ самыхъ мельницъ было слышно, какъ пани выѣзжала со двора, хотя это разстояніе было не менѣе двухъ верстъ. Пуль-херія Ивановна не могла не замѣтить страшнаго опустошенія въ лѣсу и потери тѣхъ дубовъ, которые⁹ она еще въ дѣтствѣ знавала столѣтними.

„Отчего это у тебя, Ничипоръ“, сказала она, обратясь къ своему приказчику, тутъ же находившемуся: „дубки сдѣ-лались такъ рѣдкими? Гляди, чтобы у тебя волосы на головѣ не стали рѣдки“¹⁰.

„Отчего рѣдки?“ говариваль обыкновенно приказчикъ: „пропали! Такъ-таки совсѣмъ пропали: и громомъ побило, и черви проточили — пропали, пани, пропали“.

Пульхерія Ивановна совершенно удовлетворялась этимъ отвѣтомъ и, пріѣхавши домой, давала повелѣніе удвоить только стражу въ саду около шпанскихъ вишенъ и большихъ зимнихъ дуль¹.

Эти достойные правители, приказчикъ и войтъ, нашли вовсе излишнимъ привозить всю муку въ барскіе амбары, а что съ баръ будетъ довольно и половины; наконецъ и эту половину привозили они заплѣснѣвшую или подмоченную, которая была обракована² на ярмаркѣ. Но сколько ни обкрадывали приказчикъ и войтъ; какъ ни ужасно жрали всѣ въ дворѣ, начиная отъ ключницы до свиней, которыя истребляли страшное множество сливъ и яблокъ, и часто собственными мордами³ толкали дерево, чтобы стряхнуть съ него цѣлый дождь фруктовъ; сколько ни клевали ихъ воробы и вороны; сколько вся дворня ни носила гостинцевъ своимъ кумовьямъ въ другія деревни и даже таскала изъ амбаровъ старья полотна и пряжу, что все обращалось къ всемірному источнику, т. е. къ шинку; сколько ни крали гости, флегматическіе кучера и лакеи; но благословенная земля производила всего въ такомъ множествѣ, Аѳанасію Ивановичу и Пульхеріи Ивановнѣ такъ мало было нужно, что всѣ эти страшныя хищенія казались вовсе незамѣтными въ ихъ хозяйствѣ.

Оба старичка⁴, по старинному обычаю старосвѣтскихъ помѣщиковъ, очень любили покушать. Какъ только занималась заря (они всегда вставали рано) и какъ только двери заводили⁵ свой разноголосный⁶ концертъ, они уже сидѣли за столикомъ и пили кофе. Напившись кофе⁷, Аѳанасій Ивановичъ выходилъ въ сѣни и, встряхнувши платокъ⁸, говорилъ: „Кишь, кишь! пошли, гуси, съ крыльца!“ На дворѣ ему обыкновенно попадался приказчикъ. Онъ, по обыкновенію, вступалъ съ нимъ въ разговоръ, спрашивалъ о работахъ съ величайшею подробностью и такія сообщалъ ему замѣчанія и приказанія, которыя удивили бы всякаго необыкновеннымъ познаніемъ хозяйства, и какой-нибудь новичекъ не осмѣлился бы и подумать, чтобы⁹ можно было украсть у такого зоркаго хозяина. Но приказчикъ его былъ обстрѣлянная птица: онъ зналъ, какъ нужно отвѣчать, а еще болѣе, какъ нужно хозяйничать.

Послѣ этого Аѳанасій Ивановичъ возвращался въ покой и говорилъ, приблизившись къ Пульхеріи Ивановнѣ: „А чтѣ, Пульхерія Ивановна, можетъ быть, пора закусить чего-нибудь?“

„Чего же бы теперь, Аѳанасій Ивановичъ, закусить? развѣ коржиковъ съ саломъ или пирожковъ съ макомъ, или, можетъ быть, рыжиковъ соленыхъ?“

„Пожалуй, хоть и рыжиковъ или пирожковъ“, отвѣчала Аѳанасій Ивановичъ, — и на столѣ вдругъ являлась скатерть съ пирожками и рыжиками.

За часъ до обѣда Аѳанасій Ивановичъ закусывалъ снова, выпивалъ старинную серебряную чарку водки, заѣдалъ грибами, разными сушеными рыбами и прочимъ. Обѣдать садился въ двѣнадцать часовъ. Кромѣ блюдъ и соусниковъ, на столѣ стояло множество горшечковъ съ замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться¹ какое-нибудь аппетитное издѣліе старинной вкусной кухни. За обѣдомъ обыкновенно шель разговоръ о предметахъ самыхъ близкихъ къ обѣду.

„Мнѣ кажется, какъ будто эта каша“, говаривалъ обыкновенно Аѳанасій Ивановичъ: „немного пригорѣла. Вамъ этого не кажется, Пульхерія Ивановна?“

„Нѣтъ, Аѳанасій Ивановичъ; вы положите побольше масла, тогда она не будетъ казаться пригорѣлою, или вотъ возьмите этого соуса съ грибами и подлейте къ ней“.

„Пожалуй“, говорилъ Аѳанасій Ивановичъ, подставляя² свою тарелку: „попробуемъ, какъ оно будетъ“.

Послѣ обѣда Аѳанасій Ивановичъ шель отдохнуть одинъ часикъ, послѣ чего Пульхерія Ивановна приносила разрѣзанный арбузъ и говорила: „Вотъ попробуйте, Аѳанасій Ивановичъ, какой хорошій арбузъ“.

„Да вы не вѣрьте, Пульхерія Ивановна, что онъ красный въ срединѣ“, говорилъ Аѳанасій Ивановичъ, принимая порядочный ломоть: „бываетъ, что и красный, да нехорошій“.

Но арбузъ немедленно исчезалъ. Послѣ этого Аѳанасій Ивановичъ съѣдалъ еще нѣсколько грушъ и отправлялся погулять по саду вмѣстѣ съ Пульхеріей Ивановной. Пришедши домой, Пульхерія Ивановна отправлялась по своимъ дѣламъ, а онъ садился подъ навѣсомъ, обращеннымъ къ двору, и глядѣлъ, какъ кладовая безпрестанно показывала и закрывала свою вну-

тренность, и дѣвки, толкая одна другую, то вносили, то выносили кучу всякаго дрязгу¹ въ деревянныхъ ящикахъ, рѣшетахъ, ночевкахъ и въ прочихъ фруктохранилищахъ. Немного погодя, онъ посылалъ за Пульхеріей Ивановной, или самъ отправлялся къ ней и говорилъ: „Чего бы такого поѣсть мнѣ, Пульхерія Ивановна?“

„Чего же бы такого?“ говорила Пульхерія Ивановна: „развѣ я пойду скажу, чтобы вамъ принесли варениковъ съ ягодами, которыхъ приказала я нарочно для васъ оставить?“

„И то дѣбре“, отвѣчалъ Аѳанасій Ивановичъ.

„Или, можетъ-быть, вы съѣли бы киселику?“

„И то хороше²“, отвѣчалъ Аѳанасій Ивановичъ. Послѣ чего все это немедленно было приносимо, и, какъ водится, съѣдаемо³.

Передъ ужиномъ Аѳанасій Ивановичъ еще кое-чего закушивалъ. Въ половинѣ десятаго сѣли ужинать. Послѣ ужина тотчасъ отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворилась въ этомъ дѣятельномъ и вмѣстѣ спокойномъ уголкѣ.

Комната, въ которой спали Аѳанасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна, была такъ жарка, что рѣдкій былъ бы въ состояніи остаться въ ней нѣсколько часовъ; но Аѳанасій Ивановичъ еще сверхъ того, чтобы было теплѣе, спалъ на лежанкѣ, хотя сильный жаръ часто заставлялъ его нѣсколько разъ вставать среди ночи и прохаживаться по комнатѣ. Иногда Аѳанасій Ивановичъ, ходя по комнатѣ, стоналъ.

Тогда Пульхерія Ивановна спрашивала: „Чего⁴ вы стонете, Аѳанасій Ивановичъ?“

„Богъ его знаетъ, Пульхерія Ивановна; какъ будто немного⁵ животъ болитъ“, говорилъ Аѳанасій Ивановичъ.

„А не лучше ли вамъ чего-нибудь съѣсть⁶, Аѳанасій Ивановичъ?“

„Не знаю, будетъ ли оно хорошо, Пульхерія Ивановна! Впрочемъ, чего жъ бы такого съѣсть?“

„Кислаго молочка или жиденькаго узвара съ сушеными грушами“.

„Пожалуй, развѣ такъ только попробовать“, говорилъ Аѳанасій Ивановичъ. Сонная дѣвка отправлялась рыться по шкапамъ, и Аѳанасій Ивановичъ съѣдалъ тарелочку; послѣ чего онъ обыкновенно говорилъ: „Теперь такъ какъ будто сдѣлалось легче“.

Иногда, если было ясное время и въ комнатахъ довольно тепло натоплено, Аеаласій Ивановичъ, развеселившись, любилъ пошутить надъ Пульхерією Ивановною и поговорить о чемъ-нибудь постороннемъ.

„А что, Пульхерія Ивановна“, говорилъ онъ: „если бы вдругъ загорѣлся домъ нашъ, куда бы мы дѣлись?“

„Вотъ это, Боже сохрани!“ говорила Пульхерія Ивановна, крестясь.

„Ну, да положимъ, что домъ нашъ сгорѣлъ, куда бы мы перешли тогда?“

„Богъ знаетъ, что вы говорите, Аеанасій Ивановичъ! Какъ можно, чтобы домъ могъ сгорѣть? Богъ этого не попуститъ“.

„Ну, а если бы сгорѣлъ?“

„Ну, тогда бы мы перешли въ кухню. Вы бы заняли на время ту комнатку, которую занимаетъ ключница“.

„А если бы и кухня сгорѣла?“

„Вотъ еще! Богъ сохранить отъ такого поущенія¹, чтобы вдругъ и домъ, и кухня сгорѣли! Ну, тогда² въ кладовую, покамѣстъ выстроился бы новый домъ“.

„А если бы и кладовая сгорѣла?“

„Богъ знаетъ, что вы говорите! Я и слушать васъ не хочу! Грѣхъ это говорить, и Богъ наказываетъ за такія рѣчи“.

Но Аеанасій Ивановичъ, довольный тѣмъ, что подшутить надъ Пульхерією Ивановною, улыбался, сидя на своемъ стулѣ.

Но интереснѣе всего казались для меня старички въ то время, когда бывали у нихъ гости. Тогда все въ ихъ домѣ принимало другой видъ. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у нихъ ни было лучшаго, все это выносилось. Они наперерывъ старались угостить васъ всѣмъ, что только производило ихъ хозяйство. Но болѣе всего пріятно мнѣ было то, что во всей ихъ услужливости не было никакой приторности. Это радушіе и готовность такъ кротко выражались на ихъ лицахъ, такъ шли къ нимъ, что по неволѣ соглашался на ихъ просьбы. Онѣ были слѣдствіе чистой, ясной простоты ихъ добрыхъ, безхитростныхъ душъ. Это радушіе вовсе не то, съ какимъ угощаетъ васъ чиновникъ казенной палаты, вышедшій въ люди вашими стараніями, называющій васъ благодѣтелемъ и ползающій у ногъ вашихъ. Гость ни-

какимъ образомъ не былъ отпускаемъ въ тотъ же день¹: онъ долженъ былъ непременно переночевать.

„Какъ можно такую позднюю пороку отправляться въ такую дальнюю дорогу!“ всегда говорила Пульхерія Ивановна. (Гость обыкновенно жилъ въ трехъ или въ четырехъ верстахъ отъ нихъ²).

„Конечно“, говорилъ Аѳанасій Ивановичъ: „неравно всякого случая: нападутъ разбойники или другой недобрый человѣкъ“.

„Пусть Богъ милуетъ отъ разбойниковъ!“ говорила Пульхерія Ивановна. „И къ чему рассказывать этакое на ночь? Разбойники, не разбойники, а время темное, не годится совсѣмъ ѣхать. Да и вашъ кучеръ... я знаю вашего кучера: онъ такой тендитный, да маленькій; его всякая кобыла побьетъ; да притомъ теперъ онъ уже, вѣрно, наклюкался и спать гдѣ-нибудь“.

И гость долженъ былъ непременно остаться; но, впрочемъ, вечеръ въ низенькой, теплой комнатѣ, радушный, грѣющій и усыпляющій рассказъ, несущійся паръ отъ поданнаго на столъ кушанья, всегда питательнаго и мастерски изготовленнаго³, бывалъ⁴ для него наградою. Я вижу, какъ теперъ, какъ Аѳанасій Ивановичъ, согнувшись, сидитъ на стулѣ со всегдашнею своею улыбкой и слушаетъ со вниманіемъ и даже наслажденіемъ гостя! Часто рѣчь заходила и о⁵ политикѣ. Гость, тоже весьма рѣдко выѣзжавшій изъ своей деревни, часто, съ значительнымъ видомъ и таинственнымъ выраженіемъ лица, выводилъ свои догадки и рассказывалъ, что французъ тайно согласился съ англичаниномъ выпустить опять на Россію Бонапарта, или просто рассказывалъ о предстоящей войнѣ, и тогда Аѳанасій Ивановичъ часто говорилъ⁶, какъ будто не глядя на Пульхерію Ивановну:

„Я самъ думаю пойти на войну; почему жъ я не могу итти на войну?“

„Вотъ уже и пошелъ!“ прерывала Пульхерія Ивановна. — „Вы не вѣрьте ему“, говорила она, обращаясь къ гостю: „гдѣ уже ему, старому, итти на войну! Его первый солдатъ застрѣлитъ! Ей Богу, застрѣлитъ! Вотъ такъ-таки прицѣлится и застрѣлитъ“.

„Что жъ?“ говорилъ Аѳанасій Ивановичъ: „и я его застрѣлю“.

„Вот слушайте только, что онъ говорить!“ подхватывала Пульхерія Ивановна: „куда ему итти на войну! И pistols его давно уже заржавѣли и лежать въ коморѣ. Если бъ вы ихъ видѣли: тамъ такіе, что прежде еще, нежели выстрѣлятъ, разорветъ ихъ порохомъ. И руки себѣ поотобьетъ¹, и лицо исколѣчить, и навѣки несчастнымъ останется!“

„Что жъ?“ говорилъ Аѳанасій Ивановичъ: „я куплю себѣ новое вооруженіе; я возьму саблю или козацкую пику“.

„Это все выдумки. Такъ вотъ вдругъ прійдетъ въ голову, и начнетъ рассказывать!“ подхватывала Пульхерія Ивановна съ досадою. „Я и знаю, что онъ шутить, а² все-таки неприятно слушать. Вотъ этакое онъ всегда говорить; иной разъ слушаешь, слушаешь, да и страшно станетъ“.

Но Аѳанасій Ивановичъ, довольный тѣмъ, что нѣсколько напугалъ Пульхерію Ивановну, смѣялся, сидя, согнувшись, на своемъ стулѣ.

Пульхерія Ивановна для меня была занимательнѣе всего тогда, когда подводила гостя къ закускѣ. „Вотъ это“, говорила она, снимая пробку съ графина: „водка, настоенная на деревій и³ шалфей: если у кого болятъ лопатки или поясница, то очень помогаетъ⁴; вотъ это — на золототысячникъ: если въ ухахъ звенить и по лицу лишаи дѣлаются, то очень помогаетъ; а вотъ это перегонная⁵ на персиковыя косточки; вотъ возьмите рюмку, какой прекрасный запахъ! Если какъ-нибудь, вставая съ кровати, ударится кто объ уголъ шкапа или стола, и набѣжитъ на лбу гугля, то стѣить только одну рюмочку выпить передъ обѣдомъ — и все какъ рукой сниметъ; въ ту же минуту все пройдетъ, какъ будто вовсе не бывало“. Послѣ этого, такой перечень слѣдовалъ и другимъ графинамъ, всегда почти имѣвшимъ какія-нибудь цѣлебныя свойства. Нагрузивши гостя всею этою аптекою, она подводила его ко множеству стоявшихъ тарелокъ. „Вотъ это грибки съ щербцомъ⁶! Это — съ гвоздиками и волошскими орѣхами. Солить ихъ выучила меня туркения, въ то время, когда еще турки были у насъ въ плѣну. Такая была добрая туркения, и не замѣтно совсѣмъ, чтобы турецкую вѣру исповѣдывала: такъ совсѣмъ и ходитъ почти, какъ у насъ; только свинины не ѣла: говорить, что у нихъ какъ-то тамъ въ законѣ запрещено. Вотъ это грибки съ смородиннымъ листомъ и мушкатнымъ орѣхомъ!“

А вотъ это большія травянки: я ихъ еще въ первый разъ отваривала въ уксусъ¹; не знаю, каковы-то онѣ. Я узнала секретъ отъ отца Ивана: въ маленькой кадушкѣ прежде всего нужно разостлатъ дубовые листья, и потомъ посыпать перцемъ и селитрою, и положить еще, что бываетъ на печуйвитерѣ цвѣтъ, такъ этотъ цвѣтъ взять и хвостиками разостлатъ вверхъ. А вотъ это пирожки! это пирожки съ сыромъ!² это съ урдою! А вотъ это тѣ, которые Аѳанасій Ивановичъ очень любитъ, съ капустою и гречевою кашею“.

„Да“, прибавлялъ Аѳанасій Ивановичъ: „я ихъ очень люблю: они мягкіе и немножко кисленькіе“.

Вообще Пульхерія Ивановна была чрезвычайно въ духѣ, когда бывали у нихъ гости. Добрая старушка! она вся принадлежала гостямъ³. Я любилъ бывать у нихъ, и хотя объѣдался страшнымъ образомъ, какъ и всѣ, гостившіе у нихъ, хотя мнѣ это было очень вредно; однакожъ я всегда бывалъ радъ къ нимъ ѣхать. Впрочемъ, я думаю, что не имѣетъ ли самый воздухъ въ Малороссіи какого-то особеннаго свойства, помогающаго пищеваренію, потому что если бы здѣсь вздумалъ кто-нибудь такимъ образомъ накушаться, то, безъ сомнѣнія, вмѣсто постели, очутился бы лежащимъ на столѣ.

Добрые старички! Но повѣствованіе мое приближается къ весьма печальному событію, измѣнившему навсегда жизнь этого мирнаго уголка. Событіе это покажется тѣмъ болѣе разительнымъ, что произошло отъ самаго маловажнаго случая. Но, по странному устройству вещей, всегда ничтожныя причины родили великія событія и, наоборотъ, великія предпріятія оканчивались ничтожными слѣдствіями. Какой-нибудь завоеватель собираетъ всѣ силы своего государства, воюетъ нѣсколько лѣтъ, полководцы его прославляются, и наконецъ все это оканчивается приобрѣтеніемъ клочка земли, на которомъ негдѣ посѣять картофеля; а иногда, напротивъ, два какіе-нибудь колбасника двухъ городовъ подерутся между собою за вздоръ, и ссора объемлетъ наконецъ города, потомъ села⁴ и деревни, а тамъ и цѣлое государство. Но оставимъ эти разсужденія: они не идутъ сюда; притомъ я не люблю разсужденій, когда они остаются только разсужденіями.

У Пульхеріи Ивановны была сѣренькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубкомъ, у ея ногъ. Пуль-

херія Ивановна иногда ее гладила и щекотала пальцемъ по ея шейкѣ, которую балованная кошечка вытягивала, какъ можно выше. Нельзя сказать, чтобы Пульхерія Ивановна слишкомъ любила ее, но, просто, привязалась къ ней, привыкли ее всегда видѣть. Аѳанасій Ивановичъ, однакожь, часто подшучивалъ надъ такою привязанностію.

„Я не знаю, Пульхерія Ивановна, что вы такого находите въ кошкѣ; на что она? Если бы вы имѣли собаку, тогда бы другое дѣло: собаку можно взять на охоту, а кошка на что?“

„Ужь молчите, Аѳанасій Ивановичъ“, говорила Пульхерія Ивановна: „вы любите только говорить, и больше ничего. Собака не чистоплотна, собака нагадитъ, собака перебьетъ все, а кошка — тихое твореніе, она никому не сдѣлаетъ зла.“

Впрочемъ, Аѳанасію Ивановичу было все равно, что кошки, что собаки; онъ для того только говорилъ такъ, чтобы немножко подшутить надъ Пульхеріей Ивановной.

За садомъ находился у нихъ большой лѣсъ, который былъ совершенно пощаженъ предприимчивымъ приказчикомъ, можетъ быть, оттого, что стукъ топора доходилъ бы до самыхъ ушей Пульхеріи Ивановны. Онъ былъ глухъ, запущенъ, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орѣшникомъ и походили на мохнатая лапы голубей. Въ этомъ лѣсу обитали дикіе коты. Лѣсныхъ дикихъ котовъ не должно смѣшивать съ тѣми удальцами, которые бѣгають по крышамъ домовъ; находясь въ городахъ, они, не смотря на крутой нравъ свой, гораздо болѣе цивилизованы¹, нежели обитатели лѣсовъ. Это, напротивъ того, большею частію народъ мрачный и дикій; они всегда ходятъ тощіе, худые, мяукають грубымъ, необработаннымъ голосомъ. Они подрываются иногда подземнымъ ходомъ подъ самые амбары и крадутъ сало; являются даже въ самой кухнѣ, прыгнувши внезапно въ растворенное окно, когда замѣтятъ, что поваръ пошелъ въ бурьянъ. Вообще никакія благородныя чувства имъ не извѣстны; они живутъ хищничествомъ и душатъ маленькихъ воробьевъ въ самыхъ ихъ гнѣздахъ. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру подъ амбаромъ съ кроткою кошечкою Пульхеріи Ивановны, и наконецъ подманили ее, какъ отрядъ солдатъ подманиваетъ глупую крестьянку. Пульхерія Ивановна замѣтила пропажу кошки, послала искать ее; но кошка не находилась. Прошло три дня; Пульхерія

Ивановна пожалѣла, наконецъ вовсе о ней позабыла. Въ одинъ день, когда она ревизовала¹ свой огородъ и возвращалась съ нарванными² своею рукою зелеными свѣжими огурцами для Аѳанасія Ивановича, слухъ ея былъ пораженъ самымъ жалкимъ мяуканьемъ. Она, какъ будто по инстинкту, произнесла: „кись, кись!“ и вдругъ изъ бурьяна вышла ея сѣренькая кошка, худая, тощая; замѣтно было, что она нѣсколько уже дней не брала въ ротъ никакой пищи. Пульхерія Ивановна продолжала звать ее, но кошка стояла передъ нею, мяукала и не смѣла подойти близко³; видно было, что она очень одичала съ того времени. Пульхерія Ивановна пошла впередъ, продолжая звать кошку, которая боязливо шла за нею до самаго забора. Наконецъ, увидѣвши прежнія, знакомыя мѣста, вошла и въ комнату. Пульхерія Ивановна тотчасъ приказала подать ей молока и мяса, и, сидя передъ нею, наслаждалась жадностію бѣдной своей фаворитки, съ какою она глотала кусокъ за кускомъ и хлебала молоко. Сѣренькая бѣглянка, почти въ глазахъ ея, растолстѣла и ѣла уже не такъ жадно. Пульхерія Ивановна⁴ протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно, уже слишкомъ свыклась съ хищными котами. или набралась романическихъ правилъ, что бѣдность при любви лучше палатъ, а коты были голы, какъ соколы; какъ бы то ни было, она выпрыгнула въ окошко, и никто изъ дворовыхъ не могъ поймать ее.

Задумалась старушка. „Это смерть моя приходила за мною!“ сказала она сама себѣ⁵, и ничто не могло ее разсѣять. Весь день она была скучна. Напрасно Аѳанасій Ивановичъ шутилъ и хотѣлъ узнать, отчего она такъ вдругъ загрустила: Пульхерія Ивановна была безотвѣтна, или отвѣчала совершенно не такъ, чтобы можно было удовлетворить Аѳанасія Ивановича. На другой день она замѣтно похудѣла.

„Что это съ вами, Пульхерія Ивановна? Ужъ не больны ли вы?“

„Нѣтъ, я не больна, Аѳанасій Ивановичъ! Я хочу вамъ объявить одно особенное происшествіе: я знаю, что я этимъ лѣтомъ⁶ умру: смерть моя уже приходила за мною!“

Уста Аѳанасія Ивановича какъ-то болѣзненно искривились. Онъ хотѣлъ, однакожъ, побѣдить въ душѣ своей грустное чувство и, улыбнувшись, сказалъ: „Богъ знаетъ, что вы гово-

рите, Пульхерія Ивановна! Вы, вѣрно, вмѣсто декохта, что часто пьете, выпили персиковой“.

„Нѣтъ, Аѳанасій Ивановичъ, я не пила персиковой“, сказала Пульхерія Ивановна.

И Аѳанасію Ивановичу сдѣлалось жалко, что онъ такъ попутялъ надъ Пульхеріей Ивановной, и онъ смотрѣлъ на нее, и слеза повисла на его рѣсницѣ.

„Я прошу васъ, Аѳанасій Ивановичъ, чтобы вы исполнили мою волю“, сказала Пульхерія Ивановна. „Когда я умру, то похороните меня возлѣ церковной ограды. Платье надѣньте на меня сѣренькое, то, что съ небольшими цвѣточками по коричневому полю. Атласнаго платья, что съ малиновыми полосками, не надѣвайте на меня: мертвой уже не нужно платье — на что оно ей? А вамъ оно пригодится: изъ него сошьете себѣ парадный халатъ на случай, когда пріѣдутъ гости, то чтобы можно было вамъ прилично показаться и принять ихъ“.

„Богъ знаетъ, что вы говорите, Пульхерія Ивановна!“ говорилъ Аѳанасій Ивановичъ: „когда-то еще будетъ смерть, а вы уже страшаете такими словами.“

„Нѣтъ, Аѳанасій Ивановичъ, я уже знаю, когда моя смерть. Вы, однакожь, не горюйте за мною: я уже старуха и довольно пожила, да и вы уже стары; мы скоро увидимся на томъ свѣтѣ“.

Но Аѳанасій Ивановичъ рыдалъ, какъ ребенокъ.

„Грѣхъ плакать, Аѳанасій Ивановичъ! Не грѣшите и Бога не грѣвите своею печалью. Я не жалѣю о томъ, что умираю; объ одномъ только жалѣю я (тяжелый вздохъ прервалъ на минуту рѣчь ея): я жалѣю о томъ, что не знаю, на кого оставить васъ, кто присмотритъ за вами, когда я умру. Вы — какъ дитя маленькое: нужно, чтобы любилъ васъ тотъ, кто будетъ ухаживать за вами“¹. При этомъ на лицѣ ея выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость², что я не знаю, могъ ли бы кто-нибудь въ то время глядѣть на нее равнодушно.

„Смотри мнѣ, Явдоха“, говорила она, обращаясь къ ключницѣ, которую нарочно велѣла позвать: „когда я умру, чтобы ты глядѣла за паномъ, чтобы берегла его, какъ глаза своего, какъ свое родное дитя. Гляди, чтобы на кухнѣ готовилось то, что онъ любитъ; чтобы бѣлье и платье ты ему подавала

всегда чистое; чтобы, когда гости случатся, ты принарядила его прилично; а то, пожалуй, онъ иногда выйдетъ въ старомъ халатѣ, потому что и теперь часто позабываетъ онъ, когда праздничный день¹, а когда будничныи. Не своди съ него глазъ, Явдоха; я буду молиться за тебя на томъ свѣтѣ, и Богъ наградитъ тебя. Не забывай же, Явдоха: ты уже стара, тебѣ не долго жить — не набирай грѣха на душу. Когда же не будешь за нимъ присматривать, то не будетъ тебѣ счастья на свѣтѣ. Я сама буду просить Бога, чтобы не давалъ тебѣ благополучной кончины. И сама ты будешь несчастна, и дѣти твои будутъ несчастны, и весь родъ вашъ не будетъ имѣть ни въ чемъ благословенія Божія“.

Бѣдная старушка! она въ то время не думала ни о той великой минутѣ, которая ее ожидаетъ, ни о душѣ своей, ни о будущей своей жизни: она думала только о бѣдномъ своемъ спутникѣ, съ которымъ провела жизнь и котораго оставляла сырмъ и безпріютнымъ. Она съ необыкновенною расторопностію распорядила все такимъ образомъ, чтобы послѣ нея Аѳанасій Ивановичъ не замѣтилъ ея отсутствія. Увѣренность ея въ близкой своей кончинѣ такъ была сильна и состояніе души ея такъ было къ этому настроено, что дѣйствительно чрезъ нѣсколько дней она слегла въ постелю и не могла уже принимать никакой пищи. Аѳанасій Ивановичъ весь превратился во внимательность и не отходилъ отъ ея постели. „Можетъ быть, вы чего-нибудь бы покушали, Пульхерія Ивановна?“ говорилъ онъ, съ беспокойствомъ смотря въ глаза ей. Но Пульхерія Ивановна ничего не говорила. Наконецъ, послѣ долгаго молчанія, какъ будто хотѣла она что-то сказать, пошевелила губами — и дыханіе ея улетѣло.

Аѳанасій Ивановичъ былъ совершенно пораженъ. Это такъ казалось ему дико, что онъ даже не заплакалъ; мутными глазами глядѣлъ онъ на нее, какъ бы не понимая значенія труп².

Покойницу положили на столъ, одѣли въ то самое платье, которое она сама назначила, сложили ей руки крестомъ, дали въ руки восковую свѣчу — онъ на все это глядѣлъ безчувственно. Множество народа всякаго званія наполнило дворъ; множество гостей пріѣхало на похороны; длинные столы разставлены были по двору; кутья, наливки, пироги покрывали ихъ кучами³.

Гости говорили, плакали, глядѣли на покойницу, разсуждали о ея качествахъ, смотрѣли на него; но онъ самъ на все это глядѣлъ странно. Покойницу повесли¹ наконецъ, народъ повалилъ слѣдомъ, и онъ пошелъ за нею. Священники были въ полномъ облаченіи, солнце свѣтило, грудные младенцы² плакали на рукахъ матерей, жаворонки пѣли, дѣти въ рубашенкахъ бѣгали и рѣзвились по дорогѣ. Наконецъ, гробъ поставили надъ ямой; ему велѣли подойти и поцѣловать въ послѣдній разъ покойницу. Онъ подошелъ, поцѣловалъ; на глазахъ его показались слезы, но какія-то безчувственные слезы. Гробъ опустили, священникъ взялъ заступъ и первый бросилъ горсть земли; густой протяжный хоръ дьячка и двухъ пономарей пропѣлъ вѣчную память подъ чистымъ, безоблачнымъ небомъ; работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сравняла яму. Въ это время онъ пробрался впередъ; всѣ разступились, дали ему мѣсто, желая знать его намѣреніе. Онъ поднялъ глаза свои, посмотрѣлъ смутно и сказалъ: „Такъ вотъ это вы уже и погребли ее! зачѣмъ?!...“ Онъ остановился и не докончилъ своей рѣчи.

Но когда возвратился онъ домой, когда увидѣлъ, что пусто въ его комнатѣ, что даже стулъ, на которомъ сидѣла Пульхерія Ивановна, былъ вынесенъ, — онъ рыдалъ, рыдалъ сильно, рыдалъ неугѣшно, и слезы, какъ рѣка, лились изъ его тусклыхъ очей.

Пять лѣтъ прошло съ того времени. Какого горя не уносить время? Какая страсть уцѣлѣть въ неровной битвѣ съ нимъ? Я зналъ одного человѣка въ цвѣтѣ юныхъ еще силъ, исполненнаго истиннаго благородства и достоинствъ; я зналъ его влюбленнымъ нѣжно, страстно, бѣшено, дерзко, скромно, и, при мнѣ, при моихъ глазахъ почти, предметъ его страсти — нѣжная, прекрасная, какъ ангелъ, была поражена ненасытною смертію. Я никогда не видалъ такихъ ужасныхъ порывовъ душевнаго страданія, такой бѣшеной, палящей тоски, такого пожирающаго отчаянія, какія волновали несчастнаго любовника. Я никогда не думалъ, чтобы могъ человѣкъ создать для себя такой адъ, въ которомъ ни тѣни, ни образа и ничего, что бы сколько нибудь походило на надежду... Его старались не выпускать изъ глазъ³; отъ него спрятали всѣ орудія, которыми бы онъ могъ умертвить себя. Двѣ недѣли

спустя, онъ вдругъ побѣдилъ себя: началъ смѣяться, шутить; ему дали свободу, и первое, на что онъ употребилъ ее, это было — купить пистолеть. Въ одинъ день внезапно раздавшійся выстрѣлъ перепугалъ ужасно его родныхъ; они вбѣжали въ комнату¹ и увидѣли его распростертаго, съ раздробленнымъ черепомъ. Врачъ, случившійся тогда, объ искусствѣ котораго гремѣла всеобщая молва, увидѣлъ въ немъ признаки существованія, нашелъ рану не совсѣмъ смертельною, и онъ, къ изумленію всѣхъ, былъ вылѣченъ. Присмотръ за нимъ увеличили еще болѣе. Даже за столомъ не клали возлѣ него² ножа и старались удалить все, чѣмъ бы могъ онъ себя ударить; но онъ въ скоромъ времени нашелъ новый случай и бросился подъ колеса проѣзжавшаго экипажа. Ему раздробило³ руку и ногу; но онъ опять былъ вылѣченъ. Годъ послѣ этого я видѣлъ его въ одномъ многолюдномъ залѣ: онъ сидѣлъ за столомъ, весело говорилъ: „*титт-увертъ*“, закрывши одну карту, и за нимъ стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его, перебирая его марки.

По истеченіи сказанныхъ пяти лѣтъ послѣ смерти Пульхеріи Ивановны, я, будучи въ тѣхъ мѣстахъ, заѣхалъ въ хуторокъ Аванасія Ивановича навѣстить моего стариннаго сосѣда, у котораго когда-то пріятно проводилъ день и всегда объѣдался лучшими издѣліями радушной хозяйки. Когда я подѣхалъ ко двору, домъ мнѣ показался вдвое старѣе; крестьянскія избы совсѣмъ легли на бокъ, безъ сомнѣнія, такъ же, какъ и владѣльцы ихъ; частоколь и плетень въ⁴ дворѣ были совсѣмъ разрушены, и я видѣлъ самъ, какъ кухарка выдергивала изъ него палки для затопки печи, тогда какъ ей нужно было сдѣлать только два шага лишнихъ, чтобы достать тутъ же наваленнаго хворосту⁵. Я съ грустью подѣхалъ къ крыльцу; тѣ же самые барбосы и бровки, уже слѣпые, или съ перебитыми ногами, залаяли, поднявши вверхъ свои волнистые, обвѣшанные репейниками, хвосты. На встрѣчу вышелъ старикъ. Такъ, это онъ! я тотчасъ узналъ его; но онъ согнулся уже вдвое противъ прежняго. Онъ узналъ меня и привѣтствовалъ съ тою же знакомою мнѣ улыбкою. Я вошелъ за нимъ въ комнаты. Казалось, все было въ нихъ по прежнему; но я замѣтилъ во всемъ какой-то странный беспорядокъ, какое-то ощутительное отсутствіе чего-то; словомъ, я ощутилъ въ

себѣ тѣ странныя чувства, которыя овладѣвають нами¹, когда мы вступаемъ въ первый разъ² въ жилище вдовца, котораго прежде знали нераздѣльнымъ съ подругою, сопровождавшею его всю жизнь. Чувства эти бывають похожи на то, когда видимъ³ передъ собою безъ ноги человѣка, котораго всегда знали здоровымъ⁴. Во всемъ видно было отсутствіе заботливой Пульхеріи Ивановны: за столомъ подали одинъ ножъ безъ черенка⁵; блюда уже не были приготовлены съ такимъ искусствомъ. О хозяйствѣ я не хотѣлъ и спросить, боялся даже и взглянуть на хозяйственныя заведенія.

Когда мы сѣли за столъ, дѣвка завязала Аѳанасія Ивановича салфеткою, и очень хорошо сдѣлала, потому что безъ того онъ бы весь халать свой запачкалъ соусомъ. Я старался его чѣмъ-нибудь занять и рассказывалъ ему разныя новости; онъ слушалъ съ тою же улыбкою, но по временамъ взглядъ его былъ совершенно безчувственъ, и мысли въ немъ не бродили⁶, но исчезали. Часто поднималъ онъ ложку съ кашею и⁷, вмѣсто того, чтобы подносить ко рту, подносилъ къ носу; вилку свою, вмѣсто того, чтобы воткнуть⁸ въ кусокъ цыпленка, онъ тыкалъ въ графинъ, и тогда дѣвка, взявши его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по нѣсколькѣ⁹ минутъ слѣдующаго блюда. Аѳанасій Ивановичъ уже самъ зашѣчалъ это и говорилъ: „Что это такъ долго не несутъ кушанья?“ Но я видѣлъ сквозь щель въ дверяхъ, что мальчикъ, разносившій намъ блюда, вовсе не думалъ о томъ и спалъ, свѣсивши голову на скамью.

„Вотъ это тѣ кушанье“, сказалъ Аѳанасій Ивановичъ, когда подали намъ *мнишки* со сметаною: „это тѣ кушанье“, продолжалъ онъ, и я замѣтилъ, что голосъ его началъ дрожать и слеза готовилась выгнать изъ его свинцовыхъ глазъ, но онъ собиралъ всѣ усилія, желая удержать ее: „это то кушанье, которое по... по... покой... покойни...“ и вдругъ брызнулъ слезами; рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетѣла и разбилась; соусъ залилъ его всего. Онъ сидѣлъ безчувственно, безчувственно держалъ ложку, и слезы, какъ ручей, какъ немолчно текущій¹⁰ фонтанъ, лились, лились ливнемъ на застилавшую его салфетку.

„Боже!“ думалъ я, глядя на него: „пять лѣтъ всеистребляющаго времени — старикъ уже безчувственный, старикъ,

котораго жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущеніе души, котораго вся жизнь, казалось, состояла только изъ сидѣнія на высокомъ стулѣ, изъ яденія сушеныхъ рыбокъ и грушъ, изъ добродушныхъ разсказовъ, — и такая долгая, такая жаркая печаль! Чтѣ же сильнѣе надъ нами: страсть или привычка? Или всѣ сильные порывы, весь вихоръ нашихъ желаній и кипящихъ страстей есть только слѣдствіе нашего яркаго возраста, и только по тому одному¹ кажутся глубоки и сокрушительны?“ Чтѣ бы ни было, но въ это время мнѣ казались дѣтскими всѣ наши страсти противъ этой долгой, медленной, почти безчувственной привычки. Нѣсколько разъ сидѣлся онъ выговорить имя покойницы, по на половинѣ слова спокойное и обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плачь дитяти поражалъ меня въ самое сердце. Нѣтъ, это не тѣ слезы, на которыя обыкновенно такъ щедры старички, представляющіе вамъ жалкое свое положеніе и несчастія; это были также не тѣ слезы, которыя они роняютъ за стаканомъ пуншу: нѣтъ! это были слезы, которыя текли, не спрашиваясь, сами собою, накопляясь отъ ѣдкости боли уже охладѣвшаго сердца.

Онъ не долго послѣ того жилъ. Я недавно услышалъ объ² его смерти. Странно, однакоже³, то, что обстоятельства кончины его имѣли какое-то сходство съ кончиною Пульхеріи Ивановны. Въ одинъ день Аѳанасій Ивановичъ рѣшился немного пройтись по саду. Когда онъ медленно шелъ по дорожкѣ, съ обыкновенною своею безпечностію, вовсе не имѣя никакой мысли, съ нимъ случилось странное происшествіе. Онъ вдругъ услышалъ, что позади его произнесъ кто-то довольно явственнымъ голосомъ: „Аѳанасій Ивановичъ!“ Онъ оборотился, но никого совершенно не было; посмотрѣлъ во всѣ стороны, заглянулъ въ кусты — нигдѣ никого. День былъ тихъ, и солнце сіяло. Онъ на минутку задумался; лицо его какъ-то оживилось, и онъ, наконецъ, произнесъ: „это Пульхерія Ивановна зоветъ меня!“ Вамъ, безъ сомнѣнія, когда-нибудь случалось слышать голосъ, называющій васъ по имени, который простолюдины⁴ объясняютъ тѣмъ, что душа⁵ стосковалась за человѣкомъ и призываетъ его, и⁶ послѣ котораго слѣдуетъ неминуемо смерть. Признаюсь, мнѣ всегда былъ страшенъ этотъ таинственный зовъ. Я помню, что въ дѣтствѣ

я часто его слышалъ¹: иногда вдругъ позади меня кто-то явственно произносилъ мое имя. День обыкновенно въ это время былъ самый ясный и солнечный; ни одинъ листъ въ саду на деревѣ не шевелился; тишина была мертвая; даже кузнечикъ въ это время переставалъ кричать²; ни души въ саду. Но, признаюсь, если бы ночь самая бѣшеная и бурная, со всѣмъ адомъ стихій, настигла меня одного среди непроходимаго лѣса, я бы не такъ испугался ея, какъ этой ужасной тишины среди безоблачнаго дня. Я обыкновенно тогда бѣжалъ съ величайшимъ страхомъ и занимавшимся дыханіемъ изъ саду³, и тогда только успокоивался, когда попадался мнѣ на встрѣчу какой-нибудь человѣкъ, видъ котораго изгонялъ эту страшную сердечную пустыню.

Онъ весь покорился своему душевному убѣжденію, что Пульхерія Ивановна зоветъ его; онъ покорился съ волею послушнаго ребенка, сохнуль, кашляль, таяль, какъ свѣчка, и наконецъ угасъ такъ, какъ она, когда уже ничего не осталось, что бы могло поддержать бѣдное ея пламя. „Положите меня возлѣ Пульхеріи Ивановны“ — вотъ все, что произнесъ онъ передъ своею кончиною.

Желаніе его исполнили и похоронили возлѣ церкви, близъ могилы Пульхеріи Ивановны. Гостей было меньше на похоронахъ, но простаго народа и нищихъ было такое же множество. Домикъ барскій уже сдѣлался вовсе пустъ. Предприимчивый приказчикъ вмѣстѣ съ войтомъ перетащили въ свои избы всѣ оставшіяся⁴ старинныя вещи и рухлядь, которую не могла утащить ключница. Скоро пріѣхалъ, неизвѣстно откуда, какой-то дальній родственникъ, наслѣдникъ имѣнія, служившій прежде поручикомъ, не помню, въ какомъ полку, страшный реформаторъ. Онъ увидѣлъ тотчасъ величайшее разстройство и упущеніе въ хозяйственныхъ дѣлахъ; все это рѣшилъ онъ непременно искоренить, исправить и ввести во всемъ порядокъ. Накупилъ шесть прекрасныхъ англійскихъ⁵ серповъ, приколотилъ къ каждой избѣ особенный номеръ⁶, и наконецъ такъ хорошо распорядился, что имѣніе черезъ шесть мѣсяцевъ взято было въ опеку. Мудрая опека (изъ одного бывшаго засѣдателя и какого-то штабсъ-капитана въ полиняломъ мундирѣ) перевела въ непродолжительное время всѣхъ куръ и всѣ яйца⁷. Избы, почти совсѣмъ лежавшія на землѣ, развалились вовсе; мужики распьянствовались и стали большею

частію числиться въ бѣгахъ. Самъ же настоящій владѣтель, который, впрочемъ, жилъ довольно мирно съ своею опекою и пилъ вмѣстѣ съ нею пуншъ, пріѣзжалъ очень рѣдко въ свою деревню и проживалъ не долго. Онъ до сихъ поръ ѣздитъ по всѣмъ ярмаркамъ въ Малороссіи, тщательно осведомляется о цѣнахъ¹ на разныя большія произведенія, продающіяся оптомъ, какъ-то: муку, пеньку, медъ и прочее; но покупаетъ только небольшія бездѣлушки, какъ-то: кремешки, гвоздь прочищать трубку и вообще все то, что не превышаетъ всѣмъ оптомъ своимъ цѣны одного рубля.



ТАРАСЪ БУЛЬБА.

I.

„А поворотись-ка, сынъ! Экой ты смѣшной какой! Что это на васъ за поповскіе подрысники? И эдакъ всѣ ходять въ академіи?“

Таковыми словами встрѣтилъ старый Бульба двухъ сыновей своихъ, учившихся въ кievской бурсѣ и пріѣхавшихъ домой¹ къ отцу.

Сыновья его только-что слѣзли съ коней. Это были два дюжіе молодца, еще смотрѣвшіе изъ-подлобья, какъ недавно выпущенные семинаристы. Крѣпкія, здоровыя лица ихъ были покрыты первымъ пухомъ волосъ, котораго еще не касалась бритва. Они были очень смущены такимъ приѣмомъ отца и стояли неподвижно, потупивъ глаза въ землю.

„Стойте, стойте! Дайте мнѣ разглядѣть васъ хорошенько“, продолжалъ онъ, поворачивая ихъ: „какія же длинныя на васъ свитки! * Экія свитки! Такихъ свитокъ еще и на свѣтѣ не было. А побѣги который-нибудь изъ васъ! я посмотрю не шлепнется ли онъ на землю, запутавшись въ полы“.

„Не смѣйся, не смѣйся, батьку!“² сказалъ наконецъ старшій изъ нихъ.

„Смотри ты, какой пышный! А отчего жъ бы не смѣяться?“

„Да такъ; хоть ты мнѣ и батько³, а какъ будешь смѣяться, то, ей Богу, поколочу!“

„Ахъ, ты сякой-такой сынъ! какъ! батька?“⁴ сказалъ Тарасъ Бульба, отступивши съ удивленіемъ нѣсколько шаговъ назадъ.

„Да хоть и батька⁵. За обиду не посмотрю и не уважу никого“.

„Какъ же хочешь ты со мною биться? развѣ на кулаки?“

„Да ужъ на чемъ бы то ни было“.

* Верхняя одежда у южныхъ Россіянъ.

„Ну, давай на кулаки!“ говорилъ Бульба¹, засучивъ рукавъ²: „посмотрю я, что за человекъ ты въ кулакѣ!“

И отецъ съ сыномъ, вмѣсто привѣтствія послѣ давней отлучки, начали насаживать³ другъ другу тумакѣ и въ бока, и въ поясицу, и въ грудь, то отступая и оглядываясь⁴, то вновь наступаая.

„Смотрите, добрые люди: одурѣлъ старый! совсѣмъ спятилъ съ ума!“ говорила блѣдная, худощавая и добрая мать ихъ, стоявшая у порога и не успѣвшая еще обнять ненаглядныхъ дѣтей своихъ. „Дѣти пріѣхали домой, больше году⁵ ихъ не видали⁶, а онъ задумалъ нивѣсть что: на кулаки биться!“

„Да онъ славно бьется!“ говорилъ Бульба, остановившись. „Ей Богу хорошо!“ продолжалъ онъ, немного оправляясь: „такъ, хоть бы даже и не пробовать. Добрый будетъ козакъ! Ну, здорово, сынку! почеломкаемся!“ И отецъ съ сыномъ стали цѣловаться. „Добре, сынку! Вотъ такъ колоти всякаго, какъ меня тузилъ: никому не спускай! А все-таки на тебѣ смѣшное убранство: что это за веревка висить? А ты, Бейбасъ, что стоишь и руки опустил?“ говорилъ онъ, обращаясь къ младшему: „чтожь ты, собачій сынъ, не колотишь меня?“

„Вотъ еще что выдумалъ!“ говорила мать, обнимавшая между тѣмъ младшаго. „И придетъ же въ голову этакое, чтобы дитя родное било отца! Да будто и до того теперь: дитя молодое, проѣхало столько пути, утомилось“... (это дитя было двадцати слишкомъ лѣтъ и ровно въ сажень ростомъ); „ему бы теперь нужно опочить и поѣсть чего-нибудь, а онъ заставляетъ его биться!“

„Э, да ты мазунчикъ, какъ я вижу!“ говорилъ Бульба. „Не слушай, сынку, матери: она баба, она ничего не знаетъ. Какая вамъ нѣжба? Ваша нѣжба — чистое поле да добрый конь: вотъ ваша нѣжба! А видите вотъ эту саблю? вотъ ваша мать! Это все дрянъ, чѣмъ набиваютъ головы ваши: и академіи, и всѣ тѣ книжки, буквари и философія, и все это: *ка зна що* — я плевать на все это!“ Здѣсь Бульба пригналъ въ строку такое слово, которое даже не употребляется въ печати. „А вотъ, лучше, я васъ на той же недѣлѣ отправлю на Запорожье. Вотъ гдѣ наука, такъ наука!⁸ Тамъ вамъ школа; тамъ только наберетесь разуму“.

„И всего только одну недѣлю быть имъ дома?“ говорила жалостно, со слезами на глазахъ, худощавая старуха мать: „и погулять имъ, бѣднымъ, не удастся; не удастся и дому роднаго узнать, и мнѣ не удастся наглядѣться на нихъ!“

„Полно, полно выть, старуха! Козакъ не на то, чтобы возиться съ бабами. Ты бы спрятала ихъ обоихъ себѣ подъ юбку¹, да и сидѣла бы на нихъ, какъ на куриныхъ яйцахъ. Ступай, ступай, да ставь намъ скорѣе на столъ все, что есть. Не нужно пампушекъ, медовиковъ, маковниковъ и другихъ пундиковъ; тащи намъ всего барана, козу давай, меда сорокалѣтнѣе! Да горѣлки побольше, не съ выдумками горѣлки, не съ изюмомъ и всякими вытребенками², а чистой, пѣнной горѣлки, чтобы играла и шипѣла какъ бѣшеная“.

Бульба повелъ сыновей своихъ въ свѣтлицу³, откуда проворно выбѣжали двѣ красивыя дѣвки прислужницы, въ червонныхъ монистахъ, прибиравшія комнаты. Онѣ, какъ видно, испугались прїѣзда паничей, не любившихъ спускаться никому, или же, просто, хотѣли соблюсти свой женскій обычай: вскрикнуть и броситься опрометью, увидѣвши мужчину, и потомъ долго закрываться отъ сильнаго стыда рукавомъ. Свѣтлица была убрана во вкусъ того времени, о которомъ живые намеки остались только въ пѣсняхъ, да въ народныхъ думахъ, уже не поющихъ болѣе⁴ на Украинѣ боролатыми старцами-слѣбщами, въ сопровожденіи тихаго треньканья бандуры, въ виду обступившаго народа⁵, — во вкусъ того браннаго, труднаго времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украинѣ за унию. Все было чисто, вымазано цвѣтной глиною. На стѣнахъ — сабли, нагайки, сѣтки для птицъ, невода и ружья, хитро обдѣланный рогъ для пороху, золотая уздечка на коня и путы съ серебряными бляхами. Окна въ свѣтлицѣ были маленькія, съ круглыми тусклыми стеклами, какія встрѣчаются нынѣ только въ старинныхъ церквахъ⁶, сквозь которыя иначе нельзя было глядѣть, какъ приподнявъ подвижное⁷ стекло. Вокругъ оконъ и дверей были красные отводы. На полкахъ по угламъ стояли кувшины, бутылки и фляжки зеленого и синяго стекла, рѣзные серебряные кубки, позолоченныя чарки всякой работы: веницейской, турецкой, черкесской, зашедшія въ свѣтлицу Бульбы всякими путями черезъ третья и четвертая руки, что было весьма обыкновенно въ

тѣ удалыя времена. Берестовыя скамьи вокругъ всей комнаты; огромный столъ подъ образами въ парадномъ¹ углу; широкая печь съ запечьями, уступами и выступами, покрытая цвѣтными, пестрыми изразцами, — все это было очень знакомо нашимъ двумъ молодцамъ, приходившимъ каждый годъ домой на каникулярное время, — приходившимъ потому, что у нихъ не было еще коней и потому, что не въ обычаѣ было позволять школярамъ ѣздить верхомъ. У нихъ были только длинные чубы, за которые могъ выдрать ихъ всякій козакъ, носившій оружіе. Бульба, только при выпускѣ ихъ, послать имъ изъ табуна своего пару молодыхъ жеребцовъ.

Бульба, по случаю прїѣзда сыновей, велѣлъ созвать всѣхъ сотниковъ и весь полковой чинъ, кто только былъ на лицо; и когда пришли двое изъ нихъ и есауль Дмитро Товкачъ, старый его товарищъ, онъ имъ тотъ же часъ представилъ сыновей², говоря: „Вотъ смотрите, какіе молодцы! На Сѣчь ихъ скоро пошлю“. Гости поздравили и Бульбу, и обоихъ³ юношей, и сказали имъ, что доброе дѣло дѣлаютъ и что нѣтъ лучшей науки для молодого человѣка, какъ Запорожская Сѣчь.

„Ну жъ, паны братья, садись всякій, гдѣ кому лучше, за столъ. Ну, сынки! прежде всего выпьемъ горѣлки!“ такъ говорилъ Бульба. „Боже благослови! Будьте здоровы, сынки: и ты, Остапъ, и ты, Андрій! Дай же Боже, чтобъ вы на войнѣ всегда были удачливы! чтобъ бусурмановъ били, и турковъ бы били, и татарву⁴ били бы; когда и ляхи начнутъ что противъ вѣры нашей чинить, то и ляховъ бы били. Ну, подставляй свою чарку; что, хороша горѣлка? А какъ по-латыни горѣлка? То-то, сынку, дурни были латынцы⁵: они и не знали, есть ли на свѣтѣ горѣлка. Какъ бишь того звали, что латынскіе вирши писалъ? Я грамотѣ разумѣю не сильно, а потому и не знаю: Горацій, что ли?“

„Вишь, какой батько!“⁶ подумалъ про себя старшій сынъ, Остапъ: „все старый, собака, знаетъ⁷, а еще и прикидывается“.

„Я думаю, архимандритъ не давалъ вамъ и понюхать горѣлки“, продолжалъ Тарасъ. „А признайтесь, сынки, крѣпко стегали васъ березовыми и свѣжимъ вишнякомъ⁸ по спинѣ и по всему, что ни есть у козака? А можетъ, такъ какъ вы сдѣлались уже слишкомъ разумные, такъ можетъ, и плетюганамъ

пороли? Чай, не только по субботамъ, а доставалось и въ среду, и въ четверги!¹“

„Нечего, батько, вспоминать, что было“, отвѣчалъ хладнокровно² Остапъ: „что было, то прошло!“

„Пусть теперь попробуетъ!“ сказала Андрій: „пускай теперь кто-нибудь только зацѣпитъ³. Вотъ пусть только подвернется теперь какая-нибудь татарва, будетъ знать она, что за вещь козацкая сабля!“

„Добре, сынку! ей Богу, добре! Да когда на то пошло, то и я съ вами їду! ей Богу, їду. Какого дьявола мнѣ здѣсь ждатель? Чтобъ я сталъ гречкосѣемъ, домоводомъ, глядѣть за овцами, да за свиньями, да бабиться съ женой? Да пропади она⁴: я козакъ, не хочу! Такъ что же, что нѣтъ войны? Я такъ поїду съ вами на Запорожье — погулять. Ей Богу, поїду!“ И старый Бульба мало по малу горячился, горячился, наконецъ разсердился совсѣмъ, всталъ изъ-за стола и, пріосанившись⁵, топнулъ ногою. — „Завтра же їдемъ! Зачѣмъ откладывать? Какого врага мы можемъ здѣсь высидѣть? На что намъ эта хата? Къ чему намъ все это? На что эти горшки?“ Сказавши это, онъ началъ колотить и швырять горшки и фляжки.

Бѣдная старушка, привыкшая уже къ такимъ поступкамъ своего мужа, печально глядѣла, сидя на лавкѣ. Она не смѣла ничего говорить; но, услыша о такомъ страшномъ для нея рѣшеніи, она не могла удержаться отъ слезъ; взглянула на дѣтей своихъ, съ которыми угрожала ей такая скорая разлука, — и никто бы не могъ описать всей безмолвной силы ея горести, которая, казалось, трепетала въ глазахъ ея и въ судорожно сжатыхъ губахъ.

Бульба былъ упрямъ страшно. Это былъ одинъ изъ тѣхъ характеровъ, которые могли возникнуть только⁶ въ тяжелый XV вѣкъ на полукочующемъ углу Европы, когда вся южная первобытная Россія, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена до тла неукротимыми набѣгами монгольскихъ хищниковъ; когда, лишившись дома и кровли, сталъ здѣсь отваженъ человекъ; когда на пожарищахъ, въ виду грозныхъ сосѣдей и вѣчной опасности, селился онъ и привыкалъ глядѣть имъ прямо въ очи, разучившись знать, существуетъ ли какая боязнь на свѣтѣ; когда браннымъ пламенемъ обьялся древле-мирный славянскій духъ и завелось козачество — ши-

рокая разгульная замашка русской природы, и когда всё порѣчь, перевозки, прибрежныя пологія и удобныя ¹ мѣста усѣялись козаками, которымъ и счету никто не вѣдалъ, и смѣлыя товарищи ихъ были въ правѣ отвѣчать султану, пожелавшему знать о числѣ ихъ: „Кто ихъ знаетъ! у насъ ихъ раскидано ² по всему степу: что байракъ, то козакъ“ (гдѣ ³ маленькій пригорокъ, тамъ ужъ и козакъ). Это было точно необыкновенное явленіе русской силы: его вышибло изъ народной груди огниво бѣды. вмѣсто прежнихъ удѣловъ, мелкихъ городковъ, наполненныхъ псарями и ловчими, вмѣсто враждующихъ и торгующихъ ⁴ городами мелкихъ князей, возникли грозныя селенія, курени и околицы, связанные общою опасностью и ненавистью противъ нехристіанскихъ хищниковъ. Уже извѣстно всѣмъ изъ исторіи, какъ ихъ вѣчная борьба и безпокойная жизнь спасли Европу отъ неукротимыхъ набѣговъ ⁵, грозившихъ ее опрокинуть. Короли польскіе, очутившіеся, на мѣсто удѣльныхъ князей, властителями этихъ пространныхъ земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значеніе козаковъ и выгоды таковой ⁶ бранной, сторожевой ⁷ жизни. Они поощряли ихъ и льстили этому ⁸ расположенію. Подъ ихъ отдаленною властью гетьманы, избранные изъ среды самихъ же козаковъ, преобразовали околицы и курени въ полки и правильные округа. Это не было строевое собранное войско; его бы никто не увидалъ; но въ случаѣ войны и общаго движенія, въ восемь дней, не больше, всякій являлся на конѣ, во всемъ своемъ вооруженіи, получа одинъ только червонецъ платы отъ короля ⁹, и въ двѣ недѣли набиралось такое войско, какого бы не въ силахъ были набрать никакіе рекрутскіе наборы. Кончился походъ, — воинъ уходилъ въ луга и пашни, на днѣпровскіе перевозки, ловилъ рыбу, торговалъ, варилъ пиво, и былъ вольный козакъ. Современные иноземцы дивились тогда справедливо ¹⁰ необыкновеннымъ способностямъ его. Не было ремесла, котораго бы не зналъ козакъ: накурить вина, снарядить телѣгу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, въ прибавку къ тому, гулять напропалую ¹¹, пить и бражничать, какъ только можетъ одинъ русскій — все это было ему по плечу. Кромѣ рейстровыхъ козаковъ, считавшихъ обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, въ случаѣ большой потребности, набрать цѣлыя толпы охочекомонныхъ: стояло только

есауламъ пройти по рынкамъ и площадямъ всѣхъ селъ и мѣстечекъ и прокричать во весь голосъ, ставши на телѣгу: „Эй, вы, пивники, броварники! полно вамъ пиво варить, да валяться по запечьямъ, да кормить своимъ жирнымъ тѣломъ мухъ! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плутари, гречкосѣи, овцепасы¹, баболобы! полно вамъ за плугомъ ходить, да пачкать въ землѣ свои желтые чоботы, да подбираться къ жинкамъ и губить силу рыцарскую! пора доставать козацкой славы“. И слова эти были — какъ искры, падавшія² на сухое дерево. Пахарь ломалъ свой плугъ, бровари³ и пивовары кидали свои кади и разбивали бочки⁴, ремесленникъ и торгошъ посылалъ къ чорту и ремесло, и лавку, билъ горшки въ домъ, — и все, что ни было, садилось на коня. Словомъ, русскій характеръ получилъ здѣсь могучій, широкой размахъ, ерѣшкую наружность.

Тарасъ былъ одинъ изъ числа коренныхъ, старыхъ полковниковъ: весь былъ онъ созданъ для бранной тревоги и отличался грубой прямою своего нрава. Тогда вліяніе Польши начинало уже оказываться на русскомъ дворянствѣ. Многіе перенимали уже польскіе обычаи, заводили роскошь, великолѣпныя прислуги, соколовъ, ловчихъ, обѣды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Онъ любилъ простую жизнь козаковъ и перессорился съ тѣми изъ своихъ товарищей, которые были наклонны къ варшавской сторонѣ, называя ихъ холопьями польскихъ пановъ. Вѣчно неугомонный⁵, онъ считалъ себя законнымъ защитникомъ православія. Самоуправно входилъ въ села, гдѣ только жаловались на притѣсненія арендаторовъ и на прибавку новыхъ пошлинъ съ дыма. Самъ съ своими козаками производилъ надъ ними расправу и положилъ себѣ правиломъ, что въ трехъ случаяхъ всегда слѣдуетъ взяться за саблю, именно: когда комиссары не уважили⁶ въ чемъ старшинъ и стояли предъ ними въ шанкахъ; когда глумились надъ православіемъ и не чтили обычая предковъ⁷, и, наконецъ, когда враги были бусурманы и турки, противъ которыхъ онъ считалъ во всякомъ случаѣ позволительнымъ поднять оружіе во славу христіанства.

Теперь онъ тѣшилъ себя заранѣе мыслью, какъ онъ явится съ двумя сыновьями своими на Сѣчь⁸ и скажетъ: „Вотъ посмотрите, какихъ я молодцовъ привелъ къ вамъ!“ какъ предста-

вить ихъ всѣмъ старымъ, закаленнымъ въ битвахъ, товарищамъ; какъ поглядить на первые подвиги ихъ въ ратной наукѣ и бражничествѣ, которое почиталъ¹ тоже однимъ изъ главныхъ достоинствъ рыцаря. Онъ сначала хотѣлъ было отправить ихъ однихъ; но, при видѣ ихъ свѣжести, рослости, могучей тѣлесной красоты, вспыхнулъ воинскій духъ его, и онъ на другой же день рѣшился ѣхать съ ними самъ, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Онъ уже хлопоталъ и отдавалъ приказы, выбиралъ коней и сбрую для молодыхъ сыновей, навѣдывался и въ конюшни, и въ амбары, отобралъ слугъ, которые должны были завтра съ ними ѣхать. Есаулу Товкачу передалъ свою власть вмѣстѣ съ крѣпкимъ наказомъ явиться сей же часъ со всѣмъ полкомъ, если только онъ подастъ изъ Сѣчи какую-нибудь вѣсть. Хотя онъ былъ и навеселѣ, и въ головѣ его² еще бродилъ хмель, однакожь не забылъ ничего; даже отдалъ приказъ напоить коней и всыпать имъ въ ясли крупной и лучшей пшеницы³, и пришелъ усталый отъ своихъ заботъ.

„Ну, дѣти, теперь надобно спать, а завтра будемъ дѣлать то, что Богъ дастъ. Да не стели намъ постель! намъ не нужна постель; мы будемъ спать на дворѣ“.

Ночь еще только-что обняла небо; но Бульба всегда ложился рано. Онъ развалился на коврѣ, накрылся бараньимъ тулупомъ, потому что ночной воздухъ былъ довольно свѣжъ и потому что Бульба любилъ укрыться потеплѣе, когда былъ дома. Онъ вскорѣ захрапѣлъ, и за нимъ послѣдовалъ весь дворъ; все, что ни лежало въ разныхъ его углахъ, захрапѣло и запыло. Прежде всего заснулъ сторожь, потому что болѣе всѣхъ напился для пріѣзда паничей.

Одна бѣдная мать не спала. Она приникла къ изголовью дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ рядомъ; она расчесывала гребнемъ ихъ молодые, небрежно всклоченные кудри и смачивала ихъ слезами. Она глядѣла на нихъ вся, глядѣла всѣми чувствами, вся превратилась въ одно зрѣніе и не могла наглядѣться. Она вскормила ихъ собственною грудью; она возростила, взлелѣяла ихъ — и только на одинъ мигъ видитъ ихъ передъ собой. — „Сыны мои, сыны мои милые! что будетъ съ вами? что ждетъ васъ?“ говорила она, и слезы остановились въ морщинахъ, измѣнившихъ прекрасное когда-

то лицо ея¹. Въ самомъ дѣлѣ, она была жалка, какъ всякая женщина того удалаго вѣка. Она мигъ только жила любовью, только въ первую горячку страсти, въ первую горячку юности, и уже суровый прельститель ея покидалъ ее для сабли, для товарищей, для бражничества. Она видѣла мужа въ годъ два, три дня, и потомъ нѣсколько лѣтъ о немъ не бывало слуху². Да и когда видѣлась съ нимъ, когда они жили вмѣстѣ, что за жизнь ея была? Она терпѣла оскорбленія, даже побои; она видѣла ласки, оказываемыя только изъ милости³; она была какое-то странное существо въ этомъ сборищѣ безжизненныхъ рыцарей⁴, на которыхъ разгульное Запорожье набрасывало суровый колоритъ свой. Молодость безъ наслажденія мелькнула передъ нею, и ея прекрасныя свѣжія щеки и перси безъ лобзаній отцвѣли и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, всѣ чувства, все, что есть нѣжнаго и страстнаго въ женщинѣ, все обратилось у нея⁵ въ одно материнское чувство. Она съ жаромъ, съ страстью, съ слезами, какъ степная чайка, вилась надъ дѣтьми своими. Ея сыновей, ея милыхъ сыновей берутъ отъ нея, — берутъ для того, чтобы не увидѣть ихъ никогда! Кто знаетъ, можетъ-быть, при первой битвѣ татаринъ срубитъ имъ головы, и она не будетъ знать, гдѣ лежатъ брошенныя тѣла ихъ, которыя расклюетъ хищная подорожная птица; а за каждую каплю крови ихъ она отдала бы себя всю⁶. Рыдая, глядѣла она имъ въ очи, когда всемогущій сонъ начиналъ уже смыкать ихъ⁷, и думала: „Авось-либо Бульба, проснувшись, отстрочитъ денька на два отъѣздъ; можетъ-быть, онъ задумалъ оттого такъ скоро ѣхать, что много выпилъ“.

Мѣсяцъ съ вышины неба давно уже озарялъ весь дворъ, наполненный спящими, густую кучу вербъ и высокій бурьянъ, въ которомъ потонулъ частоколь, окружавшій дворъ. Она все сидѣла въ головахъ милыхъ сыновей своихъ, ни на минуту не сводила съ нихъ глазъ⁸ и не думала о снѣ. Уже кони, чуя разсвѣтъ, всѣ полегли на траву и перестали ѣсть; верхніе листья вербъ начали лепетать, и, мало-по-малу, лепечущая струя спустилась по нимъ до самаго низу. Она просидѣла до свѣта⁹, вовсе не была утомлена¹⁰ и внутренно желала, чтобы ночь протянулась, какъ можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржаніе жеребенка; красныя полосы ясно сверкнули на небѣ.

Бульба вдругъ проснулся и вскочилъ. Онъ очень хорошо помнилъ все, что приказывалъ вчера. „Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней! А гдѣ стара? (такъ онъ обыкновенно называлъ жену свою). Живѣе, стара, готовъ намъ ѣсть: путь лежитъ великій! ¹

Бѣдная старушка, лишенная послѣдней надежды, уныло ползла въ хату. Между тѣмъ, какъ она со слезами готовила все, что нужно къ завтраку, Бульба раздавалъ свои приказанія, возился на конюшнѣ и самъ выбиралъ для дѣтей своихъ лучшія убранства.

Бурсаки вдругъ преобразились: на нихъ явились, вмѣсто прежнихъ запачканныхъ сапоговъ, сафьянные красные, съ серебряными подковами; шаровары, шириною въ Черное море, съ тысячею складокъ и со сборами, перетянулись золотымъ очкуромъ ²; къ очкуру прицѣплены были длинные ремешки, съ кистями и прочими побрякушками для трубки. Козакинъ алаго цвѣта, сукна яркаго, какъ огонь, опоясался узорчатымъ поясомъ; чеканные турецкіе пистолеты были засунуты ³ за поясъ; сабля брякала по ногамъ ⁴. Ихъ лица, еще мало загорѣвшія, казалось, похорошѣли и побѣлѣли; молодые, черные усы теперь какъ-то ярче отбѣняли бѣлизну ихъ и здоровый, мощный цвѣтъ юности; они были хороши подъ черными бараньими шапками, съ золотымъ верхомъ. Бѣдная мать! Она какъ увидѣла ихъ, она и слова не могла промолвить ⁵, и слезы остановились въ глазахъ ея.

„Ну, сыны, все готово! нечего мѣшкать!“ произнесъ наконецъ Бульба. „Теперь, по обычаю христіанскому, нужно передъ дорогою всѣмъ присѣсть“.

Всѣ сѣли, не выключая даже и хлопцевъ, стоявшихъ почтительно у дверей.

„Теперь благослови, мать, дѣтей своихъ!“ сказала Бульба: „моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую*, чтобы стояли всегда за вѣру Христову, а не то — пусть лучше пропадутъ, чтобы и духу ихъ не было на свѣтъ! Подойдите, дѣти, къ матери: молитва материнская и на водѣ, и на землѣ спасаетъ!“

Мать, слабая какъ мать, обняла ихъ, вынула двѣ неболь-

* Рыцарскую.

шія иконы, надѣла имъ, рыдая, на шею. „Пусть хранить васъ... Божья Матерь... Не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть вѣсточку о себѣ...“ Далѣе она не могла говорить.

„Ну, пойдемъ, дѣти!“ сказала Бульба.

У крыльца стояли осѣдланные кони. Бульба вскочилъ на своего Чорта, который бѣшено отшатнулся, почувствовавъ на себѣ двадцати-пудовое бремя, потому что Тарасъ былъ¹ чрезвычайно тяжелъ и толстъ.

Когда увидѣла мать, что уже и сыны ея сѣли на коней, она кинулась къ меньшому, у котораго въ чертахъ лица выражалось болѣе какой-то нѣжности; она схватила его за стремя, она прилипнула² къ сѣдлу его и, съ отчаяньемъ въ глазахъ³, не выпускала его изъ рукъ своихъ. Два дюжихъ козака взяли ее бережно и унесли въ хату. Но когда выѣхали они за ворота, со всею легкостію дикой козы, несообразной ея лѣтатъ⁴, выбѣжала она⁵ за ворота, съ непостижимою силою остановила лошадь и обняла одного изъ сыновей⁶ съ какою-то помѣшанною, безчувственною горячностію. Ее опять увели.

Молодые козаки ѣхали смутно и удерживали слезы, боясь отца⁷, который, съ своей стороны, былъ тоже нѣсколько смущенъ⁸, хотя старался этого не показывать⁹. День былъ сѣрый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали какъ-то въ разладъ. Они, проѣхавши, оглянулись назадъ: хуторъ ихъ какъ будто ушелъ въ землю, только видны были надъ землей двѣ трубы скромнаго ихъ домика¹⁰, да вершины деревъ, по сучьямъ которыхъ они лазили, какъ бѣлки; еще стался передъ ними тотъ лугъ, по которому они могли припомнить всю исторію своей жизни, отъ лѣтъ, когда валялись по росистой травѣ его, до лѣтъ, когда поджидали въ немъ чернобровую козачку, боязливо перелетавшую черезъ него съ помощію своихъ свѣжихъ, быстрыхъ ногъ¹¹. Вотъ уже одинъ только шестъ надъ колодецъ, съ привязаннымъ вверху колесомъ отъ телѣги, одиноко торчитъ въ небѣ¹²; уже равнина, которую они проѣхали, кажется издали горою и все собою закрыла. — Прощайте и дѣтство, и игры, и все, и все!

II.

Всѣ три всадника ѣхали молчаливо. Старый Тарасъ думалъ о давнемъ: передъ нимъ проходила его молодость, его лѣта, его протекшія лѣта, о которыхъ всегда плачеть козакъ¹, желавшій бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Онъ думалъ о томъ, кого онъ встрѣтитъ на Сѣчи² изъ своихъ прежнихъ сотоварищей. Онъ вычислялъ, какіе уже перемерли, какіе живутъ еще. Слеза тихо круглилась на его зѣницѣ, и посѣдѣвшая голова его уныло понурилась.

Сыновья его были заняты другими мыслями. Но нужно сказать побольше о сыновьяхъ его. Они были отданы по двѣнадцатому году въ кievскую академію, потому что всѣ почетные сановники тогдашняго времени считали необходимою дать воспитаніе своимъ дѣтямъ, хотя это дѣлалось съ тѣмъ, чтобы послѣ совершенно позабыть его. Они тогда были, какъ всѣ, поступавшіе въ бурсу, дики, воспитаны на свободѣ, и тамъ уже обыкновенно они нѣсколько шлифовались³ и получали что-то общее, дѣлавшее⁴ ихъ похожими другъ на друга. Старшій, Остапъ, началъ съ того свое поприще, что въ первый еще годъ бѣжалъ⁵. Его возвратили, высѣкли страшно и засадили за книгу. Четыре раза закапывалъ онъ свой букварь въ землю, и четыре раза, отодравши его безчеловѣчно, покупали ему новый. Но, безъ сомнѣнія, онъ повторилъ бы и въ пятый, если бы отецъ не далъ ему торжественнаго обѣщанія продержать его въ монастырскихъ службахъ цѣлыя двадцать лѣтъ и не поклялся напередъ, что онъ не увидитъ Запорожья вовѣки, если не выучится въ академіи всѣмъ наукамъ. Любопытно, что это говорилъ тотъ же самый Тарасъ Бульба, который бранилъ всю ученость и совѣтывалъ, какъ мы уже видѣли, дѣтямъ вовсе не заниматься ею. Съ этого времени Остапъ началъ съ необыкновеннымъ стараніемъ сидѣть за скучною книгою и скоро сталъ на ряду съ лучшими. Тогдашній родъ ученія страшно расходился съ образомъ жизни: эти схоластическія, грамматическія, риторическія и логическія тонкости рѣшительно не прикасались къ времени, никогда не примѣнялись и не повторялись въ жизни. Учившіеся имъ ни къ чему не могли привязать своихъ познаній⁶, хотя бы даже менѣе схоластическихъ. Самые тогдашніе ученые болѣе дру-

гихъ были невѣжды, потому что вовсе были удалены отъ опыта. Притомъ же это республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодыхъ, дюжихъ, здоровыхъ людей, все это должно было имъ внушить дѣятельность совершенно внѣ ихъ учебнаго занятія. Иногда плохое содержаніе, иногда частыя наказанія голодомъ, иногда многія потребности, возбуждающіяся въ свѣжемъ, здоровомъ, крѣпкомъ юношѣ, все это соединившись, раждало въ нихъ ту предпримчивость, которая послѣ развивалась на Запорожьѣ. Голодная бурса рыскала по улицамъ Кіева и заставляла всѣхъ быть осторожными. Торговки, сидѣвшія на базарѣ, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, сѣмечки изъ тыквы, какъ орлицы дѣтей своихъ, если только видѣли проходившаго бурсака. Консуль, долженствовавшій, по обязанности своей, наблюдать надъ подвѣдомственными ему сотоварищами, имѣлъ такіе страшные карманы въ своихъ шароварахъ, что могъ помѣстить туда всю лавку зазѣвавшейся торговли. Эти бурсаки составляли¹ совершенно отдѣльный міръ: въ кругъ высшій, состоявшій изъ польскихъ и русскихъ дворянъ, они не допускались. Самъ воевода Адамъ Кисель, не смотря на оказываемое покровительство академіи, не вводилъ ихъ въ общество и приказывалъ держать ихъ построже. Впрочемъ, это наставленіе было вовсе излишне, потому что ректоръ и профессоры-монахи не жалѣли лозъ и плетей, и часто ликторы, по ихъ приказанію, пороли своихъ консуловъ такъ жестоко, что тѣ нѣсколько недѣль почесывали свои шаровары. Многимъ изъ нихъ это было вовсе ничего и казалось немного чѣмъ крѣпче хорошей водки съ перцемъ; другимъ, наконецъ, сильно надоѣдали такіа безпрестанная припарки, и они убѣгали² на Запорожье, если умѣли найти дорогу и если сами³ не были перехватываемы на пути. Остапъ Бульба, не смотря на то, что началъ съ большимъ стараніемъ учить логику и даже богословію⁴, никакъ⁵ не избавлялся неумолимыхъ розогъ. Естественно, что все это должно было какъ-то ожесточить характеръ и сообщить ему твердость, всегда отличавшую козаковъ. Остапъ считался всегда однимъ изъ лучшихъ товарищей. Онъ рѣдко предводительствовалъ другими въ дерзкихъ предпріятіяхъ — обобрать чужой садъ или огородъ, но за то онъ былъ всегда однимъ изъ первыхъ, приходившихъ подъ знамена предпримчиваго бурсака, и никогда, ни въ ка-

комъ случаѣ, не выдавалъ своихъ товарищей; никакія плети и розги не могли заставить его это сдѣлать. Онъ былъ суровъ къ другимъ побужденіямъ, кромѣ войны и разгульной пирушки; по крайней мѣрѣ никогда почти о другомъ не думалъ. Онъ былъ прямодушенъ съ равными. Онъ имѣлъ доброту въ такомъ видѣ, въ какомъ она могла только существовать при такомъ характерѣ и въ тогдашнее время. Онъ душевно былъ тронутъ слезами бѣдной матери, и это одно только его смущало и заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой братъ его, Андрій, имѣлъ чувства нѣсколько живѣе и какъ-то болѣе развитыя¹. Онъ учился охотнѣе и безъ напряженія, съ какимъ обыкновенно принимается тяжелый и сильный характеръ. Онъ былъ изобрѣтательнѣе своего брата², чаще являлся предводителемъ довольно опаснаго предпріятія и иногда, съ помощію изобрѣтательнаго ума своего, умѣлъ увертываться отъ наказанія, тогда какъ братъ его, Остапъ, отложивши всякое попеченіе, скидалъ съ себя свитку и ложился на полъ, вовсе не думая просить о помилованіи. Онъ также кипѣлъ жаждою подвига, но вмѣстѣ съ нею душа его была доступна и другимъ чувствамъ. Потребность любви вспыхнула въ немъ живо, когда онъ перешелъ за восемнадцать лѣтъ; женщина чаще стала представляться горячимъ мечтамъ его; онъ, слушая философскіе³ диспуты, видѣлъ ее поминутно свѣжую, черноокою, нѣжную. Предъ нимъ непрерывно мелькали ея сверкающія, упругія перси, нѣжная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокругъ ея дѣвственныхъ и вмѣстѣ мощныхъ членовъ, дышало въ мечтахъ его какимъ-то невыразимымъ сладострастіемъ. Онъ тщательно скрывалъ отъ своихъ товарищей эти движенія страстной юношеской души, потому что въ тогдашній вѣкъ было стыдно и безчестно думать козаку о женщинѣ и любви, не отвѣдавъ битвы. Вообще въ послѣдніе годы онъ рѣже являлся предводителемъ какой-нибудь ватаги, но чаще бродилъ одинъ гдѣ-нибудь въ уединенномъ закоулкѣ Кіева, потопленномъ въ вишневыхъ садахъ, среди низенькихъ домиковъ, заманчиво глядѣвшихъ на улицу. Иногда онъ забирался и въ улицу аристократовъ, въ нынѣшнемъ старомъ Кіевѣ, гдѣ жили малороссійскіе и польскіе дворяне и гдѣ⁴ дома были выстроены съ нѣкоторою прихотливостію. Одинъ разъ, когда онъ зазѣвался, на него почти

наѣхала¹ колымага какого-то польскаго пана, и сидѣвшій на козлахъ возница съ пристрашными усами хлыснулъ его довольно исправно бичемъ. Молодой бурсакъ вскипѣлъ: съ безумною смѣлостію схватилъ онъ мощною рукою своею за заднее колесо и остановилъ колымагу. Но кучеръ, опасаясь раздѣлки, ударилъ по лошадямъ, онѣ рванули, — и Андрій, къ счастью успѣвшій отхватить руку, шлепнулся на землю прямо лицомъ въ грязь. Самый звонкій и гармоническій смѣхъ раздался надъ нимъ. Онъ поднялъ глаза и увидѣлъ стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывалъ отъ роду: черноглазую и бѣлую, какъ снѣгъ, озаренный утреннимъ румянцемъ солнца. Она смѣялась отъ всей души, и смѣхъ придавалъ сверкающую силу ея ослѣпительной красотѣ. Онъ оторопѣлъ. Онъ глядѣлъ на нее, совсѣмъ потерявшись, разсѣянно обтирая съ лица своего грязь, которою еще болѣе замазывался. Кто бы была эта красавица? Онъ хотѣлъ было узнать отъ дворни, которая толпою², въ богатомъ убранствѣ, стояла за воротами, окруживши играваго молодого бандуриста. Но дворня подняла смѣхъ, увидѣвши его запачканную рожу, и не удостоила его отвѣтомъ. Наконецъ, онъ узналъ, что это была дочь пріѣхавшаго на время ковенскаго воеводы. Въ слѣдующую же ночь, съ свойственною однимъ бурсакамъ дерзостію, онъ пролѣзъ черезъ частоколь въ садъ, взлѣзъ на дерево, которое раскидывалось вѣтвями на самую крышу дома³; съ дерева перелѣзъ онъ⁴ на крышу и черезъ трубу камина пробрался прямо въ спальню красавицы, которая въ это время сидѣла передъ свѣчею и вынимала изъ ушей своихъ дорогія серьги. Прекрасная полячка такъ испугалась, увидѣвши вдругъ передъ собою незнакомаго человѣка, что не могла произнести ни одного слова; но когда примѣтила⁵, что бурсакъ стоялъ, потушивъ глаза и не смѣя отъ робости пошевелить⁶ рукою, когда узнала въ немъ того же самаго, который хлопнулся передъ ея глазами на улицѣ, смѣхъ вновь овладѣлъ ею. Притомъ въ чертахъ Андрія ничего не было страшнаго: онъ былъ очень хорошъ собою. Она отъ души смѣялась и долго забавлялась надъ нимъ. Красавица была вѣтрена, какъ полячка; но глаза ея, глаза чудесные, пронзительно-ясные, бросали взглядъ долгій, какъ постоянство. Бурсакъ не могъ пошевелить⁷ рукою и былъ связанъ, какъ

въ мѣшкѣ, когда дочь воеводы смѣло подошла къ нему, надѣла ему на голову свою блистательную діадему, повѣсила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку съ фестонами, вышитыми золотомъ. Она убирала его и дѣлала съ нимъ тысячу разныхъ глупостей, съ развязностію дитяти, которою отличаются вѣтренныя полячки и которая повергла бѣднаго бурсака въ большее еще смущеніе¹. Онъ представлялъ смѣшную фигуру, раскрывши ротъ и глядя неподвижно въ ея ослѣпительныя очи. Раздавшійся въ это время у дверей стукъ испугалъ ее². Она велѣла ему спрятаться подъ кровать, и какъ только безпокойство прошло, кликнула³ свою горничную, плѣнную татарку, и дала ей приказаніе осторожно вывести его въ садъ и оттуда отправить черезъ заборъ. Но на этотъ разъ бурсакъ нашъ не такъ счастливо перебрался черезъ заборъ: проснувшійся сторожъ хватилъ его порядочно по ногамъ, и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улицѣ, покамѣстъ быстрыя ноги не спасли его. Послѣ этого проходить возлѣ⁴ дома было очень опасно, потому что дворня у воеводы была очень многочисленна⁵. Онъ встрѣтилъ ее⁶ еще разъ въ костелѣ: она замѣтила его и очень пріятно усмѣхнулась, какъ давнему знакомому. Онъ видѣлъ ее вскользь еще одинъ разъ; и послѣ этого воевода ковенскій скоро уѣхалъ, и вмѣсто прекрасной черноглазой полячки выглядывало изъ оконъ какое-то толстое лицо. Вотъ о чемъ думалъ Андрій, повѣсивъ голову и потушивъ глаза въ гриву коня своего.

А между тѣмъ степь уже давно приняла ихъ всѣхъ въ свои зеленныя объятія, и высокая трава, обступивши, скрыла ихъ, и только черныя козачьи шапки⁷ однѣ мелькали между ея колосьями.

„Э, э, э! что же это вы, хлопцы, такъ притихли?“ сказалъ наконецъ Бульба, очнувшись отъ своей задумчивости: „какъ-будто какіе-нибудь чернецы! Ну, разомъ всѣ думки къ нечистому!⁸ Берите въ зубы люльки, да закуримъ, да пришпоримъ коней, да полетимъ такъ, чтобы и птица не угналась за нами!“

И козаки, принагнувшись къ конямъ⁹, пропали въ травѣ. Уже и черныхъ шапокъ нельзя было видѣть; одна только струя сжимаемой травы показывала слѣдъ ихъ быстрого бѣга¹⁰.

Солнце выглянуло давно на расчищенномъ небѣ и живительнымъ, теплотворнымъ свѣтомъ своимъ обило степь. Все, что смутно и сонно было на душѣ у козаковъ, въ мигъ слетѣло; сердца ихъ вострепнулись, какъ птицы.

Степь, чѣмъ далѣе, тѣмъ становилась прекраснѣе. Тогда весь югъ, все то пространство, которое составляетъ нынѣшнюю Новороссію до самаго Чернаго моря, было зеленою, дѣвственною пустынею. Никогда плугъ не проходилъ по неизмѣримымъ волнамъ дикихъ растеній; одни только кони, скрывавшіеся въ нихъ, какъ въ лѣсу, вытаптывали ихъ. Ничего въ природѣ не могло быть лучше¹; вся поверхность земли представлялась зелено-золотымъ океаномъ, по которому брызнули миллионы разныхъ цвѣтовъ. Сквозь тонкіе, высокіе стебли травы сквозили голубыя, синія и лиловыя волошки; желтый дрокъ выскакивалъ вверхъ своею пирамидальною верхушкою; бѣлая кашка зонтико-образными шапками пестрѣла на поверхности; занесенный, Богъ знаетъ, откуда колосъ пшеницы наливался въ гущѣ. Подъ тонкими ихъ корнями шныряли куропатки, вытянувъ свои шеи. Воздухъ былъ наполненъ тысячею разныхъ птичьихъ свистовъ. Въ небѣ неподвижно стояли ястребы, распластавъ свои крылья и неподвижно устремивъ глаза свои въ траву. Крикъ двигавшейся въ сторонѣ тучи дикихъ гусей отдавался, Богъ вѣсть², въ какомъ дальнемъ озерѣ. Изъ травы подымалась мѣрными взмахами чайка и роскошно купалась въ синихъ волнахъ воздуха. Вонь она пропала въ вышинѣ и только мелькаетъ одною черною точкою; вонь она перевернулась крылами и блеснула передъ солнцемъ... Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши!...

Наши путешественники останавливались только на нѣсколько минутъ для обѣда³, при чемъ ѣхавшій съ ними отрядъ изъ десяти козаковъ⁴, слѣзаль съ лошадей, отвязывалъ деревянные баклажки съ горѣлкою и тыквы, употребляемыя вмѣсто сосудовъ. Ъли только хлѣбъ съ саломъ, или коржи, пили только по одной чаркѣ, единственно для подкрѣпленія, потому что Тарасъ Бульба не позволялъ никогда напиваться въ дорогѣ, и продолжали путь до вечера. Вечеромъ вся степь совершенно переменялась⁵: все пестрое пространство ея охватывалось послѣднимъ яркимъ отблескомъ солнца и постепенно темнѣло, такъ что видно было, какъ тѣнь перебѣгала по немъ,

и она становилась темно-зеленою¹; испаренія подымались гуще; каждый цвѣтокъ, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовоніемъ. По небу изголуба-темному, какъ будто исполинскою кистью, наляпаны были широкія полосы изъ розоваго золота; изрѣдка бѣлѣли клоками легкія и прозрачныя облака, и самый свѣжій, обольстительный, какъ морскія волны, вѣтерокъ едва колыхался по верхушкамъ травы и чуть дотрогивался до щекъ². Вся музыка, звучавшая днемъ³, утихала и смѣнялась другою. Пестрые суслики⁴ выпалзываютъ изъ норъ своихъ, становились на заднія лапки и оглашали степь свистомъ. Трещаніе кузнечиковъ становилось слышнѣе. Иногда слышался изъ какого-нибудь уединеннаго озера крикъ лебедя и, какъ серебро, отдавался въ воздухѣ. Путешественники, остановившись среди полей, избирали нѣдлежь, раскладывали огонь и ставили на него котелъ, въ которомъ варили себѣ кулишъ; паръ отдѣлялся и косвенно дымился на воздухѣ. Поужинавъ, козаки ложились спать, пустивши по травѣ спутанныхъ коней своихъ. Они раскидывались на свиткахъ. На нихъ прямо глядѣли ночныя звѣзды. Они слышали своимъ ухомъ весь безчисленный міръ насѣкомыхъ, наполнявшихъ траву: весь ихъ трескъ, свистъ, стрекотанье⁵, — все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось въ свѣжемъ воздухѣ и убаюкивало дремлющій слухъ⁶. Если же кто-нибудь изъ нихъ подымался и вставалъ на время, то ему представлялась степь усѣянною блестящими искрами свѣтающихся червей. Иногда ночное небо въ разныхъ мѣстахъ освѣщалось дальнимъ заревомъ отъ выжитаемаго по лугамъ и рѣкамъ сухаго тростника, и темная вереница лебедей, летѣвшихъ на сѣверъ, вдругъ освѣщалась серебряно-розовымъ свѣтомъ, и тогда казалось, что красныя платки летали по темному небу.

Путешественники ѣхали безъ всякихъ приключеній. Нигдѣ не попадались имъ деревья: все та же безконечная, вольная, прекрасная степь. По временамъ только въ сторонѣ синѣли верхушки отдаленнаго лѣса, тянувшагося по берегамъ Днѣпра. Одинъ только разъ Тарасъ указалъ сыновьямъ на маленькую чернѣвшую въ дальней травѣ точку, сказавши: „Смотрите, дѣтки, вонъ скачетъ татаринъ!“ Маленькая головка съ усами устала издали прямо на нихъ узенькіе глаза свои, понюхала воздухъ, какъ гончая собака, и, какъ серна, пропала, уви-

дѣвши, что козаковъ было тринадцать человекъ. „А ну, дѣти, попробуйте догнать татарина! и не пробуйте, — вовѣки не поймаете: у него конь быстрѣ моего Чорта“. Однакожь Бульба взялъ предосторожность, опасаясь гдѣ-нибудь скрывшейся засады. Они прискакали къ небольшой рѣчкѣ, называвшейся Татаркою, впадающей ¹ въ Днѣпръ, кинулись въ воду съ конями своими и долго плыли по ней, чтобы скрыть свой слѣдъ ², и тогда уже, выбравшись на берегъ, они продолжали далѣе ³ путь.

Черезъ три дня ⁴ послѣ этого они были уже недалеко отъ мѣста, бывшаго ⁵ предметомъ ихъ поѣздки. Въ воздухѣ вдругъ заохлодѣло: они почувствовали близость Днѣпра. Вотъ онъ сверкаетъ вдали и темною полоскою отдѣлился отъ горизонта. Онъ вѣялъ холодными волнами и разстилался ближе, ближе, и наконецъ обхватилъ половину всей поверхности земли. Это было то мѣсто Днѣпра, гдѣ онъ, дотолѣ спертый порогами, бралъ наконецъ свое и шумѣлъ, какъ море, разлившись по волѣ, гдѣ брошенные въ средину его острова вытѣсняли его еще далѣе изъ береговъ и волны его стлались широко по землѣ ⁶, не встрѣчая ни утесовъ, ни возвышеній. Козаки сошли съ коней своихъ, взопли на паромъ и, черезъ три часа плаванія, были уже у береговъ острова Хортицы, гдѣ была тогда Сѣчь ⁷, такъ часто перемѣнявшая свое жилище.

Куча народу ⁸ бранилась на берегу съ перевозчиками. Козаки оправили коней. Тарасъ приосанился, стануль на себѣ покрѣпче поясъ и гордо провелъ рукою по усамъ. Молодые сыны его тоже осмотрѣли себя съ ногъ до головы, съ какимъ-то страхомъ и неопредѣленнымъ удовольствіемъ, и всѣ вмѣстѣ вѣхали въ предмѣстье, находившееся за полверсты отъ Сѣчи. При вѣздѣ, ихъ оглушили пятьдесятъ кузнецкихъ молотовъ, ударявшихъ въ двадцати пяти кузницахъ, покрытыхъ дерномъ и вырытыхъ въ землѣ. Сильные кожевники сидѣли подь навѣсомъ крылецъ на улицѣ и мяти своими дюжими руками бычачьи кожи; крамари подь ятками сидѣли съ кучами кремней, огнивами и порохомъ; армянинъ развѣсилъ дорогіе платки; татаринъ ворочалъ на рожнахъ бараньи катки съ тѣстомъ; жидъ, выставивъ впередъ свою голову, цѣдилъ изъ бочки горѣлку. Но первый, кто попался имъ на встрѣчу, это былъ запорожець, спавшій на самой срединѣ дороги, рас-

кинувъ руки и ноги. Тарасъ Бульба не могъ не остановиться и не полюбоваться на него. „Эхъ, какъ важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура!“ говорилъ онъ, остановивши коня. Въ самомъ дѣлѣ, это была картина довольно смѣлая: запорожець, какъ левъ, растянулся на дорогѣ; закинутый гордо чубъ его захватывалъ на полъ-аршина земли; шаровары алаго дорогаго сукна были запачканы дегтемъ для показанія полного къ нимъ презрѣнiя. Полюбовавшись, Бульба пробирался далѣе по тѣсной улицѣ¹, которая была загромождена мастеровыми, тутъ же отправлявшими ремесло свое, и людьми всѣхъ націй, наполнявшими это предмѣстiе Сѣчи, которое было похоже на ярмарку и которое одѣвало и кормило Сѣчь, умѣвшую только гулять да палить изъ ружей.

Наконецъ, они миновали² предмѣстiе и увидѣли нѣсколько разбросанныхъ куреней, покрытыхъ дерномъ или, по-татарски, войлокомъ. Иные уставлены были³ пушками. Нигдѣ не видно было забора, или тѣхъ низенькихъ домиковъ съ навѣсами на низенькихъ деревянныхъ столбикахъ, какiе были въ предмѣстiи. Небольшой валъ и засѣка, не хранимые рѣшительно никѣмъ, показывали страшную безпечность. Нѣсколько дюжихъ запорожцевъ, лежавшихъ съ трубками въ зубахъ на самой дорогѣ, посмотрѣли на нихъ довольно равнодушно и не сдвинулись съ мѣста. Тарасъ осторожно проѣхалъ съ сыновьями между нихъ, сказавши: „Здравствуйте, панове!“ — „Здравствуйте и вы!“ отвѣчали запорожцы. Вездѣ, по всему полю живописными кучами пестрѣлъ народъ. По смуглымъ лицамъ видно было, что всѣ они⁴ были закалены въ битвахъ, испробовали всякихъ невзгодъ. Такъ вотъ она, Сѣчь! Вотъ то гнѣздо, откуда вылетаютъ всѣ тѣ гордые и крѣпкiе, какъ львы! Вотъ откуда разливается воля и козачество на всю Украйну!

Путники выѣхали на обширную площадь, гдѣ обыкновенно собиралась рада. На большой опрокинутой бочкѣ сидѣлъ запорожець безъ рубашки; онъ держалъ ее въ рукахъ⁵ и медленно зашивалъ на ней дыры. Имъ опять перегородила дорогу цѣлая толпа музыкантовъ, въ срединѣ которыхъ отплясывалъ молодой запорожець, заломивши шапку чортомъ⁶ и вскинувши руками. Онъ кричалъ только: „Живѣе играйте, музыканты! Не жалѣй, Гома, горѣлки православнымъ христіанамъ!“ И

Тома, съ подобитымъ глазомъ, мѣрялъ безъ счету каждому пристававшему по огромнѣйшей кружкѣ. Около молодаго запорожца четверо¹ старыхъ выработывали довольно мелко ногами², вскидывались, какъ вихорь, на сторону, почти на голову музыкантамъ, и вдругъ, опустившись, неслися въ присядку и били, круто и крѣпко, своими серебряными подковами плотно³ убитую землю. Земля глухо гудѣла на всю округу⁴, и въ воздухѣ далече отдавались⁵ гопаки и тропачки, выбиваемые звонкими подковами сапоговъ. Но одинъ всѣхъ живѣе вскрикивалъ и летѣлъ вслѣдъ за другими въ танцѣ. Чуприна развѣвалась⁶ по вѣтру, вся открыта была сильная грудь; теплый зимній кожухъ былъ надѣтъ въ рукава, и потъ градомъ лилъ съ него⁷, какъ изъ ведра. — „Да сними хоть кожухъ!“ сказалъ наконецъ Тарась: „видишь, какъ парить“. — „Не можно“, кричалъ запорожець. — „Отчего?“ — „Не можно; у меня ужъ такой нравъ: что скину, то пропью“. А шапки ужъ давно не было на молодцѣ, ни пояса на кафтанѣ, ни питаго платка: все пошло, куда слѣдуетъ. Толпа росла⁸; къ танцующимъ приставали другіе, и нельзя было видѣть безъ внутренняго движенія, какъ все отдирало⁹ танецъ самый вольный, самый бѣшеный, какой только видѣлъ когда-либо свѣтъ¹⁰, и который, по своимъ мощнымъ изобрѣтателямъ, названъ козачкомъ¹¹.

„Эхъ, если бы не конь!“ вскрикнулъ Тарась: „пустился бы, право, пустился бы самъ въ танецъ!“

А между тѣмъ въ народѣ¹² стали попадаться и уваженные по заслугамъ всею Сѣчью¹³ сѣдые, старые чубы, бывавшіе не разъ старшинами. Тарась скоро встрѣтилъ множество знакомыхъ лицъ. Остапъ и Андрій слышали только привѣтствія. „А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козолупъ!“ — „Откуда Богъ несетъ тебя, Тарась?“ — „Ты какъ сюда зашелъ, Долото? Здорово, Кирдяга!¹⁴ Здорово, Густый! Думалъ ли я видѣть тебя, Ремень?“ И витязи, собравшіеся со всего разгульнаго міра восточной Россіи, цѣловались взаимно, и тутъ понеслись вопросы: „А что Касьянъ? что Бородавка? что Колоперъ? что Пидсышокъ?¹⁵“ И слышалъ только въ отвѣтъ Тарась Бульба, что Бородавка повѣшенъ въ Толопанѣ, что съ Колопера содрали кожу подъ Кизикирменомъ, что Пидсышкова¹⁶ голова посолена въ бочкѣ

и отправлена въ самый Царьградъ. Понурилъ голову старый Бульба и раздумчиво говорилъ: „Добрые были козаки!“

III.

Уже около недѣли Тарасъ Бульба жилъ съ сыновьями своими на Сѣчи¹. Остапъ и Андрій мало занимались военною школою. Сѣчь не любила затруднять себя военными упражненіями и терять время; юношество воспитывалось и образовывалось въ ней однимъ опытомъ, въ самомъ пылу битвы, которыя оттого были почти непрерывны. Козаки почитали скучнымъ занимать промежутки изученіемъ² какой-нибудь дисциплины, кромѣ развѣ стрѣльбы въ цѣль, да изрѣдка конной скачки и гоньбы за звѣремъ въ степяхъ и лугахъ; все прочее время отдавалось гульбѣ — признаку широкаго размета душевной воли. Вся Сѣчь³ представляла необыкновенное явленіе: это было какое-то непрерывное пиршество, балъ, начавшійся шумно и потерявшій конецъ свой. Нѣкоторые занимались ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла съ утра до вечера, если въ карманахъ звучала возможность и добытое добро не перешло еще въ руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество имѣло въ себѣ что-то околдовывающее. Оно не было сборищемъ бражниковъ⁴, напивавшихся съ горя; но было просто бѣшеное разгулье веселости⁵. Всякій входящій сюда позабывалъ и бросалъ все, что дотолѣ его занимало. Онъ, можно сказать, плевалъ на свое прошедшее⁶ и беззаботно предавался волѣ⁷ и товариществу такихъ же, какъ самъ, гулякъ, не имѣвшихъ ни родныхъ, ни угла⁸, ни семейства, кромѣ вольнаго неба и вѣчнаго пира души своей. Это производило ту бѣшеную веселость, которая не могла бы родиться ни изъ какого другаго источника. Разказы и болтовня, среди собравшейся толпы⁹, лѣниво отдыхавшей на землѣ, часто такъ были смѣшны и дышали такою силою живаго разказа, что нужно было имѣть всю хладнокровную наружность запорожца, чтобы сохранять неподвижное выраженіе лица, не моргнувъ даже усомъ¹⁰, — рѣзкая черта, которою отличается донинѣ отъ другихъ братьевъ своихъ южный россиянинъ. Веселость

была пьяна, шумна, но при всемъ томъ это не былъ черный кабакъ, гдѣ мрачно-искажающимъ весельемъ забывается чело-вѣкъ¹; это былъ тѣсный кругъ школьныхъ товарищей. Разница была только въ томъ, что, вмѣсто сидѣнія за указкой и пошлыхъ толковъ учителя, они производили набѣгъ на пяти тысячахъ коней; вмѣсто луга, гдѣ играютъ въ мячъ², у нихъ были неохраемые, безопасныя границы, въ виду которыхъ татаринъ выказывалъ быструю свою голову и неподвижно, сурово глядѣлъ турою въ зеленой чалмѣ своей. Разница та, что вмѣсто насильной воли, соединившей ихъ въ школѣ, они сами собою кинули отцовъ и матерей и бѣжали изъ родительскихъ домовъ³; что здѣсь были тѣ, у которыхъ уже моталась около шеи веревка и которые, вмѣсто блѣдной смерти, увидѣли жизнь, и жизнь во всемъ разгулѣ; что здѣсь были тѣ, которые, по благородному обычаю, не могли удержать въ карманѣ своемъ копѣйки; что здѣсь были тѣ, которые до-тогѣ червонецъ считали богатствомъ, у которыхъ, по милости арендаторовъ-жидовъ, карманы можно было выворотить безъ всякаго опасенія что-нибудь выронить⁴. Здѣсь были всѣ бурсаки, не вытерпѣвшіе академическихъ дозъ и не вынесшіе изъ школы ни одной буквы; но вмѣстѣ съ ними здѣсь были и тѣ⁵, которые знали, что такое Гораций, Цицеронъ и римская республика. Тутъ было много тѣхъ офицеровъ, которые потомъ отличались въ королевскихъ войскахъ; тутъ было множество образовавшихся опытныхъ партизановъ, которые имѣли благородное убѣжденіе мыслить, что все равно, гдѣ бы ни воевать, только бы воевать, потому что неприлично благородному челоуѣку быть безъ битвы. Много было и такихъ, которые пришли на Сѣчь⁶ съ тѣмъ, чтобы потомъ сказать, что они были на Сѣчи⁷, и уже закаленные рыцари. Но кого тутъ не было? Эта странная республика была именно потребностію⁸ того вѣка. Охотники до военной жизни, до золотыхъ кубковъ, богатыхъ парчей, дукатовъ и реаловъ, во всякое время могли найти здѣсь работу⁹. Одни только обожатели женщинъ не могли найти здѣсь ничего, потому что даже въ предмѣстьѣ Сѣчи не смѣла показываться ни одна женщина.

Остапу и Андрию казалось¹⁰ чрезвычайно страннымъ, что при нихъ же приходила на Сѣчь¹¹ бездна народу¹² и хотъ бы кто-нибудь спросилъ: ¹³откуда эти люди¹⁴, кто они и какъ ихъ

зовуть? Они приходили сюда, какъ будто бы возвращаясь въ свой собственный домъ, откуда только за часъ передъ тѣмъ вышли¹. Пришедшій являлся только къ кошевому, который обыкновенно говорилъ: „Здравствуй! Что, во Христа вѣруешь?“² — „Вѣрую!“ отвѣчалъ приходившій. — „И въ Троицу Святую вѣруешь?“ — „Вѣрую!“ — „И въ церковь ходишь?“ — „Хожу!“ — „А ну, перекрестись!“ Пришедшій крестился. — „Ну, хорошо!“ отвѣчалъ кошевой: „ступай же, въ который самъ знаешь, курень“. Этимъ оканчивалась вся церемонія. И вся Сѣчь³ молилась въ одной церкви и готова была защищать ее до послѣдней капли крови, хотя и слышать не хотѣла о постѣ и воздержаніи. Только побуждаемые сильною корыстію жида, армяне и татары осмѣливались жить и торговать въ предмѣстьи, потому что запорожцы никогда не любили торговаться, а сколько рука вынула изъ кармана денегъ, столько и платили. Впрочемъ, участь этихъ корыстолюбивыхъ торгашей была очень жалка: они были похожи на тѣхъ⁴, которые селились у подошвы Везувія, потому что какъ только у запорожцевъ не ставало денегъ, то удалые разбивали ихъ лавочки и брали всегда даромъ. Сѣчь состояла изъ шестидесяти слишкомъ куреней, которые очень походили⁵ на отдѣльныя независимыя республики, а еще болѣе на школу⁶ и бурсу дѣтей, живущихъ на всемъ готовомъ. Никто ничѣмъ не заводился и ничего не держалъ у себя⁷: все было на рукахъ у куреннаго атамана, который за это обыкновенно носилъ названіе батька⁸. У него были на рукахъ деньги, платья, весь харчъ⁹, саламата, каша и даже топливо; ему отдавали деньги подѣ сохранить. Нерѣдко происходила ссора у куреней съ куренями; въ такомъ случаѣ дѣло тотъ же часъ доходило до драки. Курени покрывали площадь и кулаками ломали другъ другу бока, покажѣсть¹⁰ одни не пересиливали наконецъ и не брали верхъ, и тогда начиналась гульня. Такова была эта Сѣчь¹¹, имѣвшая столько приманокъ для молодыхъ людей.

Остапъ и Андрій кинулись со всею пылкостью юношей въ это разгульное море, и забыли въ мигъ и отцовскій домъ, и бурсу, и все, что волновало прежде душу, и предались новой жизни. Все занимало ихъ: разгульные обычаи Сѣчи и немногосложная управа и законы, которые казались имъ иногда¹² даже слишкомъ строгими среди такой своевольной республики. Если козаць

проворовался, укралъ какую-нибудь бездѣлицу, это считалось уже поношеніемъ всему козачеству: его, какъ безчестнаго, привязывали къ позорному столбу и клали возлѣ него дубину, которою всякій проходящій обязанъ былъ нанести ему ударъ, пока такимъ образомъ не забивали его на смерть¹. Не платившаго должника приковывали цѣпью къ пушкѣ, гдѣ долженъ былъ онъ сидѣть до тѣхъ поръ, пока кто-нибудь изъ товарищей не рѣшался его выкупить, заплативши за него долгъ². Но болѣе всего произвела впечатлѣнныя³ на Андрія страшная казнь, опредѣленная за смертоубійство. Тутъ же при немъ вырыли яму, опустили туда живаго убійцу и сверхъ него поставили гробъ, заключавшій тѣло имъ убіеннаго, и потомъ обоихъ⁴ засыпали землею. Долго потомъ все чудился ему страшный обрядъ казни и все представлялся этотъ заживо засыпанный человѣкъ вмѣстѣ съ ужаснымъ гробомъ.

Скоро оба молодые козака стали на хорошемъ счету у козаковъ. Часто, вмѣстѣ съ другими товарищами своего⁵ куреня, а иногда со всѣмъ куренемъ и съ сосѣдними куренями, выступали они въ степи для стрѣльбы несмѣтнаго числа всѣхъ возможныхъ степныхъ птицъ, оленей и козъ, или же выходили на озера, рѣки и протоки, отведенные по жребію каждому куреню, закидывать невода, сѣти⁶, и тащить богатые тони на продовольствіе всего своего⁷ куреня. Хотя и не было тутъ науки, на которой пробуется козакъ, но они стали уже замѣтны⁸ между другими молодыми прямою удалюю и удачливостью во всемъ. Бойко и мѣтко⁹ стрѣляли въ цѣль, переплывали Днѣпръ противъ теченья — дѣло, за которое новичекъ принимался торжественно въ козацкіе круги.

Но старый Тарасъ готовилъ имъ другую дѣятельность¹⁰. Ему не по душѣ была такая праздная жизнь — настоящаго дѣла хотѣлъ онъ. Онъ все придумывалъ, какъ бы поднять Сѣчь на отважное предпріятіе, гдѣ бы можно было разгуляться, какъ слѣдуетъ, рыцарю. Наконецъ, въ одинъ день пришелъ къ кошевому и сказалъ ему прямо: „Что, кошевой, пора бы погулять запорожцамъ“.

„Негдѣ погулять“, отвѣчалъ кошевой, вынувши изо рту¹¹ маленькую трубку и сплюнувъ на сторону.

„Какъ негдѣ? можно пойти на турещину, или на татарву“.

„Не можно ни въ турещину, ни въ¹² татарву“, отвѣчалъ кошевой, взявши опять хладнокровно въ ротъ свою трубку.

„Какъ не можно?“

„Такъ. Мы общали султану миръ“.

„Да вѣдь онъ бусурменъ¹: и Богъ, и святое писаніе велить бить бусурменовъ“².

„Не имѣемъ права. Если бъ не клялись еще нашею вѣрою, то, можетъ-быть, и можно было бы; а теперь нѣтъ, не можно“.

„Какъ не можно? Какъ же ты говоришь: не имѣемъ права? Вотъ у меня два сына, оба молодые люди. Еще ни разу ни тотъ, ни другой не былъ на войнѣ, а ты говоришь: не имѣемъ права; а ты говоришь: не нужно итти заporожцамъ“.

„Ну, ужъ не слѣдуетъ такъ“.

„Такъ, стало быть, слѣдуетъ, чтобы пропадала даромъ козацкая сила, чтобы человекъ сгинулъ, какъ собака, безъ добраго дѣла, чтобы ни отчизнѣ, ни всему христіанству не было отъ него никакой пользы? Такъ на что же мы живемъ, на какого чорта мы живемъ? растолкуй ты мнѣ это. Ты человекъ умный, тебя не даромъ выбрали въ кошевые: растолкуй мнѣ, на что мы живемъ?“

Кошевой не далъ отвѣта на этотъ запросъ. Это былъ упрямый козакъ. Онъ немного помолчалъ и потомъ сказалъ: „А войнѣ все-таки не бывать“.

„Такъ не бывать войнѣ?“ спросилъ опять Тарасъ.

„Нѣтъ“.

„Такъ ужъ и думать объ этомъ нечего?“

„И думать объ этомъ нечего“.

„Постой же ты, чортовъ кулакъ!“ сказалъ Бульба про себя: „ты у меня будешь знать!“ и положилъ тутъ же отмстить³ кошевому.

Сговорившись съ тѣмъ и другимъ, задать онъ всѣмъ попойку, и хмѣльные козаки, въ числѣ нѣсколькихъ человекъ, повалили прямо на площадь, гдѣ стояли привязанныя къ столбу литавры, въ которыя обыкновенно били сборъ на раду. Не нашедши палокъ, хранившихся всегда у довиша, они схватили по полѣну въ руки и начали колотить въ нихъ. На бой прежде всего прибѣжалъ довишъ, высокій человекъ, съ однимъ только глазомъ, не смотря однакожъ на то⁴, страшно заспаннымъ.

„Кто смѣетъ бить въ литавры?“ закричалъ онъ.

„Молчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебѣ велеть!“ отвѣчали подгулявшіе старшины.

Довбишь вынулъ тотчасъ изъ кармана палки, которыя онъ взялъ съ собою, очень хорошо зная окончаніе подобныхъ происшествій. Литавры грянули, — и скоро на площадь, какъ шмели, стали собираться черныя кучи запорожцевъ. Всѣ собрались въ кружокъ, и послѣ третьяго боя¹ показались, наконецъ, старшины: кошевой съ палицей въ рукѣ, знакомъ своего достоинства, судья съ войсковою печатью, писарь съ чернильницею и есаулъ съ жезломъ. Кошевой и старшины сняли шапки и раскланялись на всѣ стороны козакамъ, которые гордо стояли, подпершись² руками въ бока.

„Что значить это собранье? Чего хотите, панове?“ сказалъ кошевой. Брань и крики не дали ему говорить.

„Клади палицу! Клади, чортовъ сынъ, сей же часъ палицу! Не хотимъ тебя больше!“ кричали изъ толпы козаки. Нѣкоторые изъ трезвыхъ куреней хотѣли, какъ казалось, противиться; но курени, и пьяные и трезвые, пошли на кулаки. Крикъ и шумъ сдѣлались общими³.

Кошевой хотѣлъ было говорить, но, зная⁴, что разъярившаяся, своевольная толпа можетъ за это прибить его на смерть, что всегда почти бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, поклонился очень низко, положилъ палицу и скрылся въ толпѣ⁵.

„Прикажете, панове, и намъ положить знаки достоинства?“ сказали судья, писарь и есаулъ, и готовились тутъ же положить чернильницу, войсковую печать и жезлъ.

„Нѣтъ, вы оставайтесь!“ закричали изъ толпы: „намъ нужно было только прогнать кошевого, потому что онъ — баба, а намъ нужно челоувѣка въ кошевые“.

„Кого же выберете теперь въ кошевые?“ сказали старшины.

„Кукубенка выбрать!“ кричала часть.

„Не хотимъ Кукубенка!“ кричала другая. „Рано ему: еще молоко на губахъ не обсохло“⁶.

„Шило пусть будетъ атаманомъ!“ кричали одни. „Шила⁷ посадить въ кошевые!“

„Въ спину тебѣ шило!“ кричала съ бранью толпа. „Что онъ за козакъ, когда проворовался⁸, собачій сынъ, какъ татаринъ? Къ чорту въ мѣшокъ пьяницу Шила!“

„Бородатаго, Бородатаго посадимъ въ кошевые!“

„Не хотимъ Бородатаго! Къ нечистой матери Бородатаго!“

„Кричите Кирдягу!“⁹ шепнулъ Тарасъ Бульба нѣкоторымъ.

„Кирдягу! Кирдягу!“¹ кричала толпа. „Бородатаго, Бородатаго! Кирдягу! Кирдягу!“² Шила! Къ чорту съ Шиломъ! Кирдягу!“³

Всѣ кандидаты, услышавши произнесенными свои имена, тотчасъ же вышли изъ толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личнымъ участиемъ своимъ въ избраніи.

„Кирдягу! Кирдягу!“⁴ раздавалось сильнѣе прочихъ. „Бородатаго!“ Дѣло принялись доказывать кулаками, и Кирдяга⁵ восторжествовалъ.

„Ступайте за Кирдягою!“⁶ закричали. Человѣкъ десятокъ козаковъ отдѣлились⁷ тутъ же изъ толпы; нѣкоторые изъ нихъ едва держались на ногахъ. — до такой степени успѣли нагружаться, и отправились прямо къ Кирдягѣ⁸ объявить ему объ его избраніи.

Кирдяга⁹, хотя престарѣлый, но умный козакъ, давно уже сидѣлъ въ своемъ куренѣ и какъ будто бы не вѣдалъ ни о чемъ происходившемъ. „Что, панове? что вамъ нужно?“ спросилъ онъ.

„Иди, тебя выбрали въ кошеве!...“

„Помилосердствуйте, панове!“ сказалъ Кирдяга¹⁰: „гдѣ мнѣ быть достойну такой чести! Гдѣ мнѣ быть кошевымъ! Да у меня и разума не хватитъ къ отправленію такой должности. Будто уже никого лучшаго не нашлось въ цѣломъ войскѣ?“

„Ступай же, говорятъ тебѣ!“ кричали запорожцы. Двое изъ нихъ схватили его подъ руки, и какъ онъ ни упирался ногами, но былъ наконецъ притащенъ на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиваньемъ¹¹ сзади кулаками, пинками и увѣщаньями: „Не пяться же, чортовъ сынъ! Принимай же честь, собака, когда тебѣ даютъ ее!“ Такимъ образомъ введенъ былъ Кирдяга¹² въ козачій кругъ.

„Что, панове?“ провозгласили во весь народъ приведшіе его: „согласны ли вы, чтобы сей козакъ былъ у насъ кошевымъ?“

„Всѣ согласны!“ закричала толпа, и отъ крику долго гремѣло все поле.

Одинъ изъ старшинъ взялъ палицу и поднесъ ее новоизбранному кошевому. Кирдяга¹³, по обычаю, тотчасъ же отказался. Старшина поднесъ въ другой разъ: Кирдяга¹⁴ отказался

и въ другой разъ, и потомъ уже за третьимъ разомъ взялъ палицу. Ободрительный крикъ раздался по всей толпѣ, и вновь далеко загудѣло¹ отъ козацкаго крика все поле. Тогда выступило изъ середины народа четверо самыхъ старыхъ, сѣдоусыхъ и сѣдочупринныхъ козаковъ (слишкомъ старыхъ не было на Сѣчи², ибо никто изъ запорожцевъ не умиралъ своею смертью) и, взявши каждый въ руки земли, которая на ту пору отъ бывшаго дождя растворилась въ грязь, положили ее ему на голову. Мокрая земля стекла съ его головы³, потекла по усамъ и по щекамъ, и все лицо замазала⁴ ему грязью. Но Кирдяга⁵ стоялъ, не двигаясь съ мѣста, и благодарилъ⁶ козаковъ за оказанную честь.

Такимъ образомъ кончилось шумное избраніе, которому, не извѣстно, были ли такъ рады другіе, какъ радъ былъ Бульба: этимъ онъ отомстилъ прежнему кошевому; къ тому же и Кирдяга былъ старый его товарищъ⁷ и бывалъ съ нимъ въ однихъ и тѣхъ же сухопутныхъ и морскихъ походахъ, дѣля суровости и труды боевой жизни. Толпа разбрелась тутъ же праздновать избранье, и поднялась гульня, какой еще не видывали⁸ дотолѣ Остапъ и Андрій. Винные шинки были разбиты⁹; медь, горѣлка и пиво забирались просто, безъ денегъ; шинкари были уже рады и тому, что сами остались цѣлы. Вся ночь прошла въ крикахъ и пѣсняхъ, славившихъ подвиги, и взшедшій мѣсяць долго еще видѣлъ толпы музыкантовъ, проходившихъ по улицамъ, съ бандурами, турбанами, круглыми балалайками¹⁰, и церковныхъ пѣсельниковъ, которыхъ держали на Сѣчи¹¹ для пѣнья въ церкви и для восхваленія запорожскихъ дѣлъ. Наконецъ, хмель и утомленье стали одождать крѣпкія головы. И видно было, какъ то тамъ¹², то въ другомъ мѣстѣ падалъ¹³ на землю козакъ; какъ товарищъ, обнявши товарища, расчувствовавшись и даже заплакавши, валился вмѣстѣ съ нимъ¹⁴. Тамъ гурьбою улегалась цѣлая куча; тамъ выбиралъ иной, какъ бы получше ему улечься, и легъ прямо на деревянную колоду. Последний, который былъ покрѣпче, еще выводилъ какія-то безсвязныя рѣчи; наконецъ, и того подкосила хмельная сила, повалился и тотъ¹⁵, — и заснула вся Сѣчь.

IV.

А на другой день Тарасъ Бульба уже совѣщался съ новымъ кошевымъ, какъ поднять запорожцевъ на какое-нибудь дѣло. Кошевой былъ умный и хитрый козакъ, зналъ вдоль и поперекъ¹ запорожцевъ, и сначала сказалъ: „Не можно клятвы преступить, никакъ не можно“, а потомъ, помолчавши, прибавилъ: „Ничего, можно; клятвы мы не преступимъ, а такъ кое-что придумаемъ. Пусть только соберется народъ, да не то, чтобы по моему приказу, а просто своею охотою, — вы ужъ знаете, какъ это сдѣлать, — а мы со старшинами тотчасъ и прибѣжимъ на площадь, будто бы ничего не знаемъ“.

Не прошло часу послѣ ихъ разговора, какъ уже грянули въ литавры. Нашлись вдругъ и хмѣльные, и неразумные козаки. Милліонъ козацкихъ шапокъ высыпалъ вдругъ² на площадь. Поднялся говоръ: „Ктò?³ зачѣмъ? изъ за какого⁴ дѣла пробили сборъ?“ Никто не отвѣчалъ. Наконецъ, въ томъ и въ другомъ углу стало раздаваться: „Вотъ пропадаетъ даромъ козацкая сила: нѣтъ войны! Вотъ старшины забайбачились наповаль, позаплыли⁵ жиромъ очи! Нѣтъ, видно, правды на свѣтѣ!“ Другіе козаки слушали сначала, а потомъ и сами стали говорить: „А и въ правду нѣтъ никакой правды на свѣтѣ!“ Старшины казались изумленными отъ такихъ рѣчей. Наконецъ, кошевой вышелъ впередъ и сказалъ: „Позвольте, панове запорожцы, рѣчь держать!“

„Держи!“

„Вотъ въ разсужденіи того теперь идетъ рѣчь, панове добродійство, да вы, можетъ быть, и сами лучше это знаете, что многіе запорожцы позадолжали⁶ въ шинки жидамъ и своимъ братьямъ столько, что ни одинъ чортъ теперь и вѣрн неймаеть. Потомъ опять въ разсужденіи того пойдетъ рѣчь, что есть много такихъ хлопцевъ, которые еще и въ глаза не видали, чтò такое война, тогда какъ молодому человѣку, — и сами знаете, панове, — безъ войны не можно пробыть. Какой и запорожець изъ него, если онъ еще ни разу не билъ бусурмана?“

„Онъ хорошо говорить“, подумалъ Бульба.

„Не думайте, панове, чтобы я, впрочемъ, говорилъ это для того, чтобы нарушить миръ: сохрани Богъ! Я только такъ это

говору. Притомъ же у насъ храмъ божій, — грѣхъ сказать, что такое: вотъ сколько лѣтъ уже, какъ¹, по милости божіей, стоитъ Сѣчь, а до сихъ поръ не то уже, чтобы снаружи церковь, но даже образа безъ всякаго убранства², хотя бы серебряную ризу кто догадался имъ выковать; они только то и получили, что отказали въ духовной инне козаки; да и даяніе ихъ³ было бѣдное, потому что почти все проишли еще при жизни своей⁴. Такъ я веду⁵ рѣчь эту не къ тому, чтобы начать войну съ бусурманами: мы обѣщали⁶ султану миръ, и намъ бы великій былъ грѣхъ, потому что мы клялись по закону нашему“.

„Что жъ онъ путаетъ такое?“ сказалъ про себя Бульба.

„Да, такъ видите, панове, что войны не можно начать: рыцарская честь не велить. А, по своему бѣдному разуму, вотъ что я думаю: пустить съ челнами однихъ молодыхъ. пусть немного пошарпають берега Натоліи. Какъ думаете, панове?“

„Веди, веди всѣхъ!“ закричала со всѣхъ сторонъ толпа: „за вѣру мы готовы⁷ положить головы“.

Кошевой испугался; онъ ничуть не хотѣлъ подымать всего Запорожья: разорвать миръ ему казалось въ этомъ случаѣ дѣломъ неправымъ. „Позвольте, панове, еще одну рѣчь держать?“

„Довольно!“ кричали запорожцы: „лучше⁸ не скажешь“.

„Когда такъ, то пусть будетъ такъ. Я слуга вашей воли. Ужъ дѣло извѣстное, и по писанью извѣстно, что гласъ народа — гласъ божій. Ужъ умнѣе того нельзя выдумать, что весь народъ выдумаль. Только вотъ что: вамъ извѣстно, панове, что султанъ не оставитъ безнаказанно то удовольствіе, которымъ потѣшатся молодцы. А мы тѣмъ временемъ были бы наготовѣ, и силы у насъ были бы свѣжія, и никого бъ не побоялись. А во время отлучки и татарва можетъ напасть: они, турецкія собаки, въ глаза не кинутся и къ хозяину на домъ не посмѣютъ притти, а сзади укусятъ за пяты⁹, да и больно укусятъ. Да если ужъ пошло на то, чтобы говорить правду, у насъ и челновъ нѣтъ столько въ запасѣ, да и пороку не намолото въ такомъ количествѣ, чтобы можно было всѣмъ отправиться. А я, пожалуй, я радъ: я слуга вашей воли“.

Хитрый атаманъ замолчалъ. Кучи начали переговариваться. куренные атаманы совѣщаются; пьяныхъ, къ счастью, было немного, и потому рѣшились послушаться благоразумнаго совѣта.

Въ тотъ же часъ отправились¹ нѣсколько человекъ на противуположный берегъ Днѣпра, въ войсковую скарбницу, гдѣ, въ неприступныхъ тайникахъ, подъ водою и въ камышахъ, скрывалась войсковая казна и часть добытыхъ у непріятеля оружій. Другіе всѣ бросились къ челнамъ осматривать ихъ и снаряжать въ дорогу. Въ мигъ толпою народа наполнился берегъ. Нѣсколько плотниковъ явились² съ топорами въ рукахъ. Старые, загорѣлые, широкоплечіе, дюженогіе запорожцы, съ просѣдою въ усахъ и черноусые, засучивъ шаровары, стояли по колѣни³ въ водѣ и стягивали челны крѣпкимъ канатомъ съ берега⁴. Другіе таскали готовые сухія бревна и всякія деревья⁵. Тамъ обшивали досками челнъ; тамъ, переверотивши его вверхъ дномъ, конопатили и смолили; тамъ увязывали⁶ къ бокамъ другихъ челновъ, по козацкому обычаю, связки длинныхъ камышей, чтобы не затопило челновъ морскою волною; тамъ дальше⁷ по всему побережью разложили костры и кипятили въ мѣдныхъ казанахъ смолу на заливанье судовъ. Бывалые и старые поучали молодыхъ. Стукъ и рабочій крикъ подымался по всей окружности; весь колебался и двигался живой берегъ.

Въ это время большой паромъ началъ причаливать къ берегу. Стоявшая на немъ куча⁸ людей еще издали махала руками. Это были козаки въ оборванныхъ свиткахъ. Беспорядочный нарядъ, — у многихъ ничего не было, кромѣ рубашки и коротенькой трубки въ зубахъ, — показывалъ, что они или только что избѣгнули какой-нибудь бѣды⁹, или же до того загулялись, что прогуляли все, что ни было на тѣлѣ. Изъ среды ихъ отдѣлился и сталъ впереди приземистый, плечистый козакъ, человекъ лѣтъ пятидесяти¹⁰. Онъ кричалъ и махалъ рукою сильнѣе всѣхъ; но за стукомъ и криками¹¹ рабочихъ не было слышно его словъ.

„А съ чѣмъ пріѣхали?“ спросилъ кошевой, когда паромъ приворотилъ къ берегу¹². Всѣ рабочіе, остановивъ свои работы и поднявъ топоры и долота, смотрѣли въ ожиданіи¹³.

„Съ бѣдою!“ кричалъ съ парома приземистый козакъ.

„Съ какою?“

„Позвольте, панове запорожцы, рѣчь держать?“

„Говори!“

„Или хотите, можетъ-быть, собрать раду?“

„Говори, мы всѣ тутъ“.

Народъ весь¹ стѣснился въ одну кучу.

„А вы развѣ ничего не слышали о томъ, что дѣлается на² гетьманщинѣ?“

„А что?“ произнесъ³ одинъ изъ куренныхъ атамановъ.

„Э! что? Видно, вамъ татаринъ заткнулъ клейтухомъ уши, что вы ничего не слышали.“⁴

„Говори же, что тамъ дѣлается?“

„А то дѣлается, что и родились, и крестились, еще не видали такого“.

„Да говори намъ, что дѣлается, собачій сынъ!“ закричалъ одинъ изъ толпы, какъ видно, потерявъ терпѣніе.

„Такая пора теперь завелась, что уже церкви святыхъ теперь не наши“.

„Какъ не наши?“

„Теперь у жидовъ онѣ на арендѣ. Если жиду впередъ не заплатишь, то и обѣдни нельзя править“.

„Что ты толкуешь?“

„И если рассобачій жидъ не положить значка нечистою своею рукою на святой пасхѣ, то и святить пасхи нельзя“.

„Вретъ онъ, паны братья, не можетъ быть того, чтобы нечистый жидъ клалъ значокъ на святой пасхѣ“.

„Слушайте! еще не то расскажу: и ксензы ѣздятъ теперь по всей Украинѣ въ таратайкахъ. Да не то бѣда, что въ таратайкахъ, а то бѣда, что запрягаютъ уже не коней, а просто⁵ православныхъ христіанъ. Слушайте! еще не то расскажу: уже, говорятъ, жидовки шьютъ себѣ юбки изъ поповскихъ ризъ. Вотъ какія дѣла водятся на Украинѣ, панове! А вы тутъ сидите на Запорожьи⁶, да гуляете, да, видно, татаринъ такого задалъ вамъ страху, что у васъ уже ни глазъ, ни ушей—ничего нѣтъ, и вы не слышите, что дѣлается на свѣтѣ“.

„Стой, стой!“ прервалъ кошевой, дотолѣ стоявшій, потупивъ⁷ глаза въ землю, какъ и всѣ запорожцы, которые въ важныхъ дѣлахъ никогда не отдавались первому порыву, но молчали, и между тѣмъ въ тишинѣ совокупляли грозную силу негодованія. — „Стой! и я скажу слово. А что жъ вы, — такъ бы

и этакъ поколотилъ чортъ вашего батька! — что жъ вы дѣлали сами?¹ Развѣ у васъ сабель не было, что ли? Какъ же вы попустили такому беззаконію?“

„Э, какъ попустили такому беззаконію!... А попробовали бы вы, когда пятьдесятъ тысячъ было однихъ ляховъ, да и нечего грѣха таить, были тоже собаки и между нашими — ужъ приняли ихъ вѣру“.

„А гетьманъ вашъ, а полковники что дѣлали?“

„Надѣлали полковники такихъ дѣлъ, что не приведи Богъ и намъ никому“².

„Какъ?“

„А такъ, что ужъ теперь гетьманъ, зажаренный въ мѣдномъ быкѣ, лежитъ въ Варшавѣ, а полковничьи руки и головы развозятъ по ярмаркамъ на показъ всему народу. Вотъ что надѣлали полковники!“

Всколебалась³ вся толпа. Сначала пронеслось⁴ по всему берегу молчаніе, подобное тому, какъ бываетъ передъ свирѣпою бурей⁵, а⁶ потомъ вдругъ поднялись рѣчи и весь заговорилъ берегъ: „Какъ! чтобы жида держали на арендѣ христіанскія церкви! чтобы ксензы запрягали въ оглобли православныхъ христіанъ! Какъ! чтобы попустить такія мученія на русской землѣ отъ проклятыхъ недовѣрковъ! чтобы вотъ такъ поступали съ полковниками и гетьманомъ! Да не будетъ же сего, не будетъ!“ Такія слова перелетали по всѣмъ концамъ. Зашумѣли запорожцы и почували свои силы. Тутъ уже не было волненій легкомысленнаго народа: волновались все характеры тяжелые и крѣпкіе, которые не скоро накалялись, но, накалившись, упорно и долго хранили въ себѣ внутренней жаръ. „Перевѣшать всю жидову!“ раздалось изъ толпы: „пусть же не шьютъ изъ поповскихъ ризъ юбокъ своимъ жидовкамъ! Пусть же не ставятъ значковъ на святыхъ пасхахъ! Перетопить ихъ всѣхъ, поганцевъ, въ Днѣпрѣ!“ Слова эти, произнесенныя кѣмъ-то изъ толпы, пролетѣли молніей по всѣмъ головамъ, и толпа ринулась на предмѣстье съ желаніемъ перерѣзать всѣхъ жидовъ.

Бѣдные сыны Израиля, растерявши все присутствіе своего и безъ того мелкаго духа, прятались въ пустыхъ горѣлочныхъ бочкахъ, въ печкахъ и даже запалывали подъ юбки своихъ жидовокъ; но козаки вездѣ ихъ находили.

„Ясновельможные паны!“ кричалъ одинъ высокій и длин-

ный, какъ палка, жидь, высунувши изъ кучи своихъ товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхомъ. „Ясновельможные паны! слово только дайте намъ сказать, одно слово! Мы такое объявимъ вамъ, чего еще¹ никогда не слышали,—такое важное, что не можно сказать, какое важное.“

„Ну, пусть скажутъ“, сказалъ Бульба, который всегда любилъ выслушать обвиняемаго.

„Ясные паны!“ произнесъ жидь. „Такихъ пановъ еще никогда не видывано, ей Богу, никогда! Такихъ добрыхъ, хорошихъ и храбрыхъ не было еще на свѣтѣ!“ Голосъ его замиралъ² и дрожалъ отъ страха. „Какъ можно, чтобы мы думали про запорожцевъ что-нибудь нехорошее! Тѣ совсѣмъ не наши, что арендаторствуютъ на Украинѣ! Ей Богу, не наши! То совсѣмъ не жида: то чортъ знаетъ чтѣ; то такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вотъ и они скажутъ то же. Не правда ли, Шлема, или ты, Шмуль?“

„Ей Богу, правда!“ отвѣчали изъ толпы Шлема и Шмуль въ изодранныхъ еломкахъ, оба бѣлые, какъ глина³.

„Мы никогда еще“, продолжалъ длинный жидь, „не спюхивались⁴ съ неприятелями, а католиковъ мы и знать не хотимъ: пусть имъ чортъ приснится! Мы съ запорожцами, какъ братья родные...“

„Какъ? чтобы запорожцы были съ вами братья?“ произнесъ одинъ изъ толпы. „Не дождетесь, проклятые жида! Въ Днѣпръ ихъ, панове, всѣхъ потопить поганцевъ!“

Эти слова были сигналомъ. Жидовъ расхватили по рукамъ и начали швырять въ волны. Жалобный⁵ крикъ раздался со всѣхъ сторонъ, но суровые запорожцы только смѣялись, видя, какъ жидовскія ноги въ башмакахъ и чулкахъ болтались на воздухѣ.

Бѣдный ораторъ, наклеившій самъ на свою шею бѣду, выскочилъ изъ кафтана, за который было его ухватили, въ одномъ пѣгомъ, узкомъ⁶ камзолѣ, схватилъ за ноги Бульбу и жалкимъ голосомъ молилъ: „Великій господинъ, ясновельможный панъ! я зналъ и брата вашего, покойнаго Дороша! Былъ воинъ на украшенъе всему рыцарству. Я ему восемьсотъ цехиновъ далъ, когда нужно было выкупиться изъ плѣна у турка“⁷...

„Ты зналъ брата?“ спросилъ Тарась.

„Ей Богу, зналъ! великодушный былъ панъ“.

„А какъ тебя зовутъ?

„Янкель“.

„Хорошо“, сказали Тарасъ, и потомъ, подумавъ, обратился къ козакамъ и проговорилъ¹ такъ: „Повѣсить жида будетъ всегда время², когда будетъ нужно; а на сегодня³ отдайте его мнѣ“.

Сказавши это, Тарасъ повелъ его къ своему обозу, возлѣ котораго стояли козаки его. „Ну, полѣзай подъ телѣгу, лежи тамъ и не шевелись⁴, а вы, братцы, не выпускайте жида“.

Сказавши это, онъ отправился на площадь, потому что давно уже собиралась туда вся толпа. Всѣ бросили въ мигъ берегъ и снарядку челновъ, ибо предстоялъ теперь сухопутный, а не морской походъ, и не суда да козацкія чайки, а⁵ понадобились телѣги и кони. Теперь уже всѣ хотѣли въ походъ, и старые, и молодые; всѣ съ совѣта всѣхъ старшинъ, куренныхъ, кошеваго и съ воли всего запорожскаго войска, положили итти прямо на Польшу, отмстить за все⁶ зло и посрамленье вѣры и козацкой славы, набрать добычи съ городовъ, зажечь пожаръ по деревнямъ и хлѣбамъ, пустить⁷ далеко по степи о себѣ славу⁸. Все тутъ же опоясывалось и вооружалось. Кошевой вырсы на цѣлый аршинъ. Это уже не былъ тотъ робкій исполнитель вѣтренныхъ желаній вольнаго народа: это былъ неограниченный повелитель, это былъ деспотъ, умѣвшій только повелѣвать. Всѣ своевольные и гульбивые рыцари стройно стояли въ рядахъ, почтительно опустили головы, не смѣя поднять глазъ, когда кошевой⁹ раздавалъ повелѣнія: раздавалъ онъ ихъ тихо, не выкрикивая¹⁰ и¹¹ не торопясь, но съ разстановкою, какъ старый, глубоко опытный¹² въ дѣлѣ козакъ, приводившій не въ первый разъ въ исполненіе разумно задуманныя предпріятія¹³.

„Осмотрите, всѣ осмотрите хорошенько!“¹⁴ такъ говорилъ онъ. „Исправьте вozy и мазницы, испробуйте оружье. Не забирайте много съ собой одежды: по сорокѣ и по двое шароваръ на козака¹⁵, да по горшку саламаты и толченаго проса — больше чтобъ и не было ни у кого! Про запасъ будетъ въ возахъ все, что нужно. По парѣ коней чтобъ было у каждого козака! Да паръ двѣсти взять воловъ, потому что на переправахъ¹⁶ и топкихъ мѣстахъ нужны будутъ волы. Да порядку держитесь панове, больше всего. Я знаю, есть между васъ такіе, что чуть Богъ пошлетъ какую корысть — пошли тотъ же часъ драть китайку и дорогіе оксамиты себѣ на онучи.“

Бросьте такую чортову повадку, прочь кидайте всякія юбки, берите только одно оружье, коли попадется доброе, да червонцы, или серебро, потому что они емкаго свойства и пригодятся во всякомъ случаѣ. Да вотъ вамъ, панове, впередъ говорю: если кто въ походѣ напьется, то никакого нѣтъ на него суда: какъ собаку за шеяку¹ повелю его присмыкнуть до обозу, кто бы онъ ни былъ, хоть бы найдоблестнѣйшій козакъ изо всего войска: какъ собака, будетъ онъ застрѣленъ на мѣстѣ и кинуть безо всякаго погребенья на поклевъ птицамъ, потому что пьяница въ походѣ недостоинъ христіанскаго погребенья. Молодые, слушайте во всемъ старыхъ! Если цапнетъ пуля, или царапнетъ саблей по головѣ, или по чему-нибудь иному, не давайте большаго уваженья такому дѣлу: размѣшайте зарядъ пороху въ чаркѣ сивухи, духомъ выпейте и все пройдетъ — не будетъ и лихорадки; а на рану, если она не слишкомъ велика, приложите просто земли, замѣсивши ее прежде слюною на ладони, то и присохнетъ рана. Нуте же за дѣло, за дѣло, хлопцы, да не торопясь, хорошенько принимайтесь за дѣло²!

Такъ говорилъ кошевой, и какъ только окончили онъ рѣчь свою, всѣ козаки принялись тотъ же часъ за дѣло. Вся Сѣчь отрезвилась, и нигдѣ нельзя было сыскать ни одного пьянаго, какъ будто бы ихъ не было никогда между козаками. Тѣ исправляли ободья колесъ и перемѣняли оси³ въ телѣгахъ; тѣ сносили на возы мѣшки съ провіантомъ, на другіе валили оружіе: тѣ пригоняли коней и воловъ. Со всѣхъ сторонъ раздавались топотъ коней, пробная стрѣльба изъ ружей, бряканье сабель⁴, мычанье быковъ⁵, скрипъ поворачиваемыхъ возовъ, говоръ и яркій крикъ и понуканье. И скоро далеко-далеко вытянулся козацій таборъ по всему полю. И много досталось бы бѣжать тому, кто бы захотѣлъ пробѣжать отъ головы до хвоста его⁶. Въ деревянной небольшой церкви служилъ священникъ молебень, окропилъ всѣхъ святою водою; всѣ цѣловали крестъ. Когда тронулся таборъ и потянулся изъ Сѣчи, всѣ запорожцы обратили головы назадъ. „Прощай, наша матъ!“ сказали они⁷ почти въ одно слово: „пусть же тебя хранитъ Богъ отъ всякаго несчастья!“

Проѣзжая предмѣстье, Тарасъ Бульба увидѣлъ, что жидокъ его, Янкель, уже разбилъ какую-то ятку съ навѣсомъ и продавалъ кремни, завертки, порохъ и всякія войсковыя снадобья,

нужныя на дорогу, даже калачи и хлѣбы. „Каковъ чортовъ жидъ!“ подумалъ про себя Тарасъ и, подъѣхавъ къ нему на конѣ¹, сказалъ: „Дурень, что ты здѣсь сидишь? Развѣ хочешь, чтобы тебя застрѣлили, какъ воробья?“

Янкель, въ отвѣтъ на это, подошелъ къ нему поближе и, сдѣлавъ знакъ обѣими руками, какъ будто хотѣлъ объявить что-то таинственное², сказалъ: „Пусть панъ только молчитъ и никому не говоритъ: между козацкими возами есть одинъ мой возъ; я везу всякій нужный запасъ для козаковъ и по дорогѣ буду доставлять всякій провіантъ по такой дешевой цѣнѣ, по какой еще ни одинъ жидъ не продавалъ; ей Богу, такъ; ей Богу, такъ“.

Пожалъ плечами Тарасъ Бульба, подивился бойкой жидовской натурѣ³ и отбѣхалъ къ табору.

V.

Скоро весь польскій юго-западъ сдѣлался добычею страха. Всюду пронеслись слухи: „Запорожцы! показались запорожцы!...“ Все, что могло спастись, спасалось. Все подымалось и разбѣгалось, по обычаю этого нестройнаго, беспечнаго вѣка, когда не воздвигали ни крѣпостей⁴, ни замковъ, а, какъ попало, становили на время соломенное жилище свое челоувѣкъ. Онъ думалъ⁵: „не тратить же на избу⁶ работу и деньги, когда и безъ того будетъ она снесена татарскимъ набѣгомъ!“⁷ Все всполошилось⁸: кто мѣнялъ воловъ и плугъ на коня и ружье, и отправлялся въ полки; кто прятался, угоняя скотъ и унося, что только можно было⁹ унести. Попадались иногда по дорогѣ и такіе¹⁰, которые вооруженною рукою встрѣчали гостей¹¹, но больше было такихъ, которые бѣжали заранѣе¹². Всѣ знали, что трудно имѣть дѣло съ буйной и бранной толпой¹³, известной подъ именемъ запорожскаго войска, которое въ наружномъ своевольномъ неустройствѣ своемъ заключало устройство, обдуманное для времени битвы¹⁴. Конные ѣхали, не отягчая и не горяча коней, пѣшіе шли трезво за возами, и весь таборъ двигался только по ночамъ, отдыхая днемъ и выбирая для того пустыри, незаселенныя мѣста и лѣса, которыхъ было тогда еще вдоволь. Засылаемы¹⁵ были впередъ лазутчики и разсильные узнавать и вывѣдывать, гдѣ, что и какъ. И часто въ тѣхъ мѣ-

стахъ, гдѣ менѣ всего могли ожидать ихъ, они появлялись вдругъ — и все тогда прощалось съ жизнью: пожары обхватывали деревни; скоть и лошади, которые не угонялись за войскомъ, были избиваемы тутъ же на мѣстѣ. Казалось, больше пировали они, чѣмъ совершали походъ свой. Дыбомъ сталъ бы¹ нынѣ волосъ отъ тѣхъ страшныхъ знаковъ свирѣпства полу-дикаго вѣка, которые пронесли вездѣ запорожцы. Избитые младенцы, обрѣзанныя груди у женщинъ, содранная кожа² съ ногъ по колѣни³ у выпущенныхъ на свободу, — словомъ, крупною монетою отплачивали козаки прежніе долги. Прелать одного монастыря, услышавъ о приближеніи ихъ, прислалъ отъ себя двухъ монаховъ, чтобы сказать, что они не такъ ведутъ себя, какъ слѣдуетъ, что между запорожцами и правительствомъ стоитъ согласіе, что они нарушаютъ свою обязанность къ королю, а съ тѣмъ вмѣстѣ и всякое народное право. „Скажи епископу отъ меня и отъ всѣхъ запорожцевъ“, сказалъ кошевой: „чтобы онъ ничего не боялся: это козаки еще только зажигаютъ и раскуриваютъ свои трубки“. И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительнымъ пламенемъ, и колоссальныя готическія окна его сурово глядѣли сквозь раздѣлявшіяся волны огня. Бѣгущія толпы монаховъ, жидовъ, женщинъ вдругъ омногочудили тѣ города, гдѣ какая-нибудь была надежда на гарнизонъ и городовое рушеніе. Высылаемая по временамъ⁴ правительствомъ запоздалая помощь, состоявшая изъ небольшихъ полковъ, или не могла найти ихъ, или же робѣла, обращала тылъ при первой встрѣчѣ и улетала на лихихъ коняхъ своихъ. Случалось, что многіе военачальники королевскіе, торжествовавшіе дотолѣ въ прежнихъ битвахъ, рѣшались, соединя свои силы, стать грудью противъ запорожцевъ. И тутъ-то болѣе всего пробовали себя молодые козаки⁵, чуждавшіеся грабительства, корысти и безсильнаго непріятеля, горѣвшіе желаніемъ показать себя предъ старыми, помѣряться одинъ на одинъ съ бойкимъ и хвастливымъ ляхомъ, красовавшимся на горделивомъ конѣ, съ летавшими по вѣтру откидными рукавами епанчи. Потѣшна была наука; много уже они добыли себѣ конной сбруи, дорогихъ сабель и ружей. Въ одинъ мѣсяцъ возмужали и совершенно переродились только-что оперившіеся птенцы и стали мужчинами; черты лица ихъ, въ которыхъ доселѣ видна была какая-то юношеская мягкость, стали

теперь грозны и сильны. А старому Тарасу любо было видѣть, какъ оба сына его были одни изъ первыхъ. Остапу, казалось, былъ на роду написанъ битвенный путь и трудное знанье вершить ратныя дѣла. Ни разу не растерявшись и не смутившись ни отъ какого случая, съ хладнокровіемъ, почти неестественнымъ для двадцати-двухъ-лѣтняго, онъ въ одинъ мигъ могъ вымѣрять всю опасность и все положеніе дѣла, тутъ же могъ найти средство, какъ уклониться отъ нея, но уклониться съ тѣмъ, чтобы потомъ вѣрнѣй преодолѣть ее. Уже испытанной увѣренностью стали теперь означаться его движенія и въ нихъ не могли не быть замѣтны наклонности будущаго вождя. Крѣпостью дышало его тѣло¹, и рыцарскія его качества уже приобрѣли широкую силу качествъ льва². „О, да этотъ будетъ со временемъ добрый полковникъ!“ говорилъ старый Тарасъ: „ей, ей, будетъ добрый полковникъ, да еще такой, что и батька³ за поясъ заткнетъ!“

Андрій весь погрузился въ очаровательную музыку пугъ и мечей. Онъ не зналъ, что такое значить обдумывать, или рассчитывать, или измѣрять заранѣе¹ свои и чужія силы. Бѣшеную нѣгу и упоеніе онъ видѣлъ въ битвѣ: что-то² пиршественное зрѣлось ему въ тѣ минуты, когда разгорится у чело-вѣка голова, въ глазахъ все мелькаетъ и мѣшается, летать головы, съ громомъ падаютъ на землю кони, а онъ несется, какъ пьяный, въ свистѣ пугъ, въ сабельномъ блескѣ, и наноситъ всѣмъ удары, и не слышитъ нанесенныхъ³. Не разъ дивился отецъ также и Андрию, видя, какъ онъ, понуждаемый однимъ только запальчивымъ увлеченіемъ, устремлялся⁴ на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и однимъ бѣшенымъ натискомъ своимъ производилъ такія чудеса, которымъ не могли не изумиться старые въ бояхъ. Дивился старый Тарасъ и говорилъ: „И это добрый — врагъ бы не взялъ его! — вояка! не Остапъ, а добрый, добрый также вояка!“

Войско рѣшилось итти прямо на городъ Дубно, гдѣ, носились слухи, было много казны и богатыхъ обывателей. Въ полтора дня¹ походъ былъ сдѣланъ, и запорожцы показались передъ городомъ. Жители рѣшились защищаться до послѣднихъ силъ и крайности, и лучше хотѣли умереть на площадяхъ и улицахъ передъ своими порогами, чѣмъ пустить непріятеля въ дома. Высокій земляной валъ окружалъ городъ; гдѣ валъ былъ ниже,

тамъ высывались каменная стѣна или домъ, служившій батареей, или, наконецъ, дубовый частоколь. Гарнизонъ былъ силенъ и чувствовалъ важность своего дѣла. Запорожцы жарко было¹ полѣзли на валъ, но были встрѣчены сильною картечью. Мѣщане и городскіе обыватели, какъ видно, тоже не хотѣли быть праздными и стояли кучею на городскомъ валу. Въ глазахъ ихъ можно было читать отчаянное сопротивленіе; женщины тоже² рѣшились участвовать, и на головы запорожцамъ полетѣли камни, бочки, горшки, горячій³ варъ, и, наконецъ, мѣшки песку, слѣпившаго имъ⁴ очи. Запорожцы не любили имѣть дѣло съ крѣпостями; вести осады была не ихъ часть. Кошевой повелѣлъ отступить и сказалъ: „Ничего, паны братья, мы отступимъ; но будь я поганый татаринъ, а не христіанинъ, если мы выпустимъ ихъ хоть одного изъ города! Пусть ихъ всѣ передохнуть, собаки, съ голоду!“⁵ Войско, отступивъ, облегло весь городъ и, отъ нечего дѣлать, занялось опустошеньемъ окрестностей, выжигая окружныя деревни, скирды неубраннаго хлѣба, и напуская табуны коней на нивы, еще не тронутыя серпомъ⁶, гдѣ, какъ нарочно, колебались тучные колосья, плодъ необыкновеннаго урожая, наградившаго въ ту пору щедро всѣхъ земледѣльцевъ. Съ ужасомъ видѣли съ города⁷, какъ истреблялись средства ихъ существованія. А между тѣмъ запорожцы, протянувъ вокругъ всего города въ два ряда свои телѣги, расположились такъ же, какъ и на Сѣчи⁸, куренями, курили свои люльки, мѣнялись добытымъ оружіемъ, играли въ чехарду, въ четъ и нечетъ и посматривали съ убійственнымъ хладнокровіемъ на городъ. Ночью зажигались костры; кашевары варили въ каждомъ куренѣ кашу въ огромныхъ мѣдныхъ казанахъ: у горѣвшихъ всю ночь огней стояла безсонная стража. Но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездѣйствіемъ и продолжительною трезвостью⁹, не сопряженною ни съ какимъ дѣломъ. Кошевой велѣлъ удвоить даже порцію вина, что иногда водилось въ войскѣ, если не было трудныхъ подвиговъ и движеній. Молодымъ, и особенно сынамъ Тараса Бульбы, не нравилась такая жизнь. Андрій замѣтно скучалъ. „Неразумная голова“, говорилъ ему Тарасъ: „терпи козакъ, атаманъ будешь! Не тотъ еще добрый воинъ, кто не потерялъ духа въ важномъ дѣлѣ, а тотъ добрый воинъ, кто и на бездѣльи¹⁰ не соскучить, кто¹¹ все вытерпитъ, и хоть ты ему что хочь, а онъ

все таки поставить на своемъ. " Но не сойтись пылкому юношѣ со старцемъ: другая натура у обоихъ, и другими очами глядятъ они на то же дѣло.

А между тѣмъ подоспѣлъ Тарасовъ полкъ, приведенный Товкачемъ; съ нимъ было еще два есаула, писарь и другіе полковые чины; всѣхъ козаковъ набралось больше четырехъ тысячъ. Было между ними немало и охочекомонныхъ, которые сами поднялись своею волею, безъ всякаго призыва¹, какъ только услышали, въ чемъ дѣло. Есаулы привезли сыновьямъ Тараса благословенье отъ старухи матери и каждому по кипарисному образу изъ Межигорскаго кievскаго монастыря. Надѣли на себя святые образа оба брата и невольно задумались, припомнивъ старую мать². Чтò-то пророчить и говорить имъ это благословенье?³ Благословенье ли на побѣду надъ врагомъ и потомъ веселый возвратъ въ отчизну съ добычей и славой на вѣчныя пѣсни бандуристамъ, или же?... Но неизвѣстно будущее, и стоитъ оно предъ человѣкомъ подобно осеннему туману, поднявшемуся изъ болотъ: безумно летаютъ въ немъ вверхъ и внизъ, черкая крыльями, птицы, не распознавая въ очи другъ друга, голубка — не видя ястреба, ястребъ — не видя голубки, и никто не знаетъ, какъ далеко летаетъ онъ⁴ отъ своей гибели...

Осталь уже занялся своимъ дѣломъ и давно отошелъ къ куренямъ; Андрій же, самъ не зная отчего, чувствовалъ какую-то духоту на сердцѣ. Уже козаки окончили свою вечерю. Вечеръ давно потухнулъ, июльская чудная ночь обняла воздухъ; но онъ не отходилъ къ куренямъ, не ложился спать и глядѣлъ невольно на всю бывшую предъ нимъ картину. На небѣ безчисленно мелькали тонкимъ и острымъ блескомъ звѣзды. Поле далеко было занято раскиданными по немъ возами съ висячими мазницами, облитыми дегтемъ, со⁵ всякимъ добромъ и провіантомъ, набраннымъ у врага. Возлѣ телѣгъ, подъ телѣгами и подалше отъ телѣгъ⁶ — вездѣ были видны разметавшіеся на травѣ запорожцы. Всѣ они спали въ картинныхъ положеніяхъ: кто подмостивъ себѣ подъ голову куль, кто шапку, кто употребивши⁷, просто, бокъ своего товарища. Сабля, ружье - самопаль⁸, коротко-чубучная трубка съ мѣдными бляхами, желѣзными провертками и огнивомъ, были неотлучно при каждомъ козакѣ⁹. Тяжелые волю лежали, подвернувши подъ себя ноги, большими бѣловатыми массаами.

и казались издали сѣрыми камнями, раскиданными по отлогости¹ поля. Со всѣхъ сторонъ изъ травы уже стали подыматься густой храпъ спящаго воинства, на который отзывались съ поля² звонкими ржаніями жеребцы, негодующіе на свои спутанныя ноги. А между тѣмъ что-то величественное³ и грозное примѣшалось къ красотѣ іюльской ночи. Это были зарева⁴ вдали догоравшихъ окрестностей. Въ одномъ мѣстѣ пламя спокойно и величественно стлалось по небу; въ другомъ, встрѣтивъ что-то горючее и вдругъ вырвавшись вихремъ, оно свистѣло и летѣло вверхъ подъ самыя звѣзды, и оторванные охлопья его гаснули подъ самыми дальними небесами. Тамъ обгорѣлый черныи монастырь, какъ суровый картезіанскій монахъ, стоялъ грозно, выказывая при каждомъ отблескѣ мрачное свое величіе; тамъ горѣлъ монастырскій садъ: казалось, слышно было, какъ деревья шипѣли, обвиваясь дымомъ, и когда выскакивалъ огонь, онъ вдругъ освѣщаль фосфорическимъ, лилово-огненнымъ свѣтомъ спѣлыя гроздія⁵ сливъ, или обращаль въ червонное золото тамъ и тамъ желтѣвшія груши, и тутъ же среди ихъ чернѣло висѣвшее на стѣнѣ зданія или на древесномъ суку тѣло бѣднаго жида или монаха, погибавшее вмѣстѣ съ строеніемъ въ огнѣ. Надъ огнемъ вились вдали птицы, казавшіяся кучею темныхъ мелкихъ крестиковъ на огненномъ полѣ. Обложенный⁶ городъ, казалось, уснулъ; шпицы, и кровли, и частоколь, и стѣны его тихо вспыхивали отблесками отдаленныхъ пожарищъ⁷. Андрій⁸ обошелъ козацкіе ряды. Костры, у которыхъ сидѣли сторожа, готовились ежеминутно погаснуть, и самыя сторожа спали, перекусивши сильно чего-нибудь⁹ во весь козацкій аппетитъ. Онъ подивился немного такой безпечности¹⁰, подумавши: „хорошо, что нѣтъ близко никакого сильнаго непріятели и некого опасаться“. Наконецъ, и самъ подошелъ онъ къ одному изъ возовъ, взлѣзъ на него и легъ на спину, подложивши себѣ подъ голову сложенные назадъ руки; но не могъ заснуть и долго глядѣлъ на небо: оно все было открыто предъ нимъ; чисто и прозрачно было въ воздухѣ; гущина звѣздъ, составлявшая млечный путь и косвеннымъ поясомъ переходившая по небу, вся была залита въ свѣту¹¹. Временами Андрій какъ будто позабывался, и какой-то легкой туманъ дремоты заслонялъ на мигъ предъ нимъ небо, и потомъ оно опять очищалось и вновь становилось видно.

Въ это время, показалось ему, мелькнулъ предъ нимъ какой-то странный образъ челоѣческаго лица. Думая, что это было простое обаяніе сна, которое сей же часъ разсѣется¹, онъ раскрылъ² сильнѣе³ глаза свои и увидѣлъ, что къ нему точно наклонилось какое-то изможденное, высохшее лицо и смотрѣло прямо ему въ очи. Длинные и черные, какъ уголь, волосы, не прибранные, растрепанные, лѣзли изъ-подъ темнаго наброшеннаго на голову покрывала; и странный блескъ взгляда, и мертвенная смуглота лица, выступавшаго рѣзкими чертами, заставляли скорѣе думать⁴, что это былъ призракъ. Онъ схватился невольнo рукою за пищаль и произнесъ почти судорожно: „Кто ты? Коли духъ нечистый, сгинь съ глазъ; коли живой челоѣкъ, не въ пору завелъ шутку—убью съ одного прицѣла“.

Въ отвѣтъ на это, привидѣніе приставило⁵ палецъ къ губамъ и, казалось, молило о молчаніи. Онъ опустилъ руку и сталъ вглядываться въ него внимательнѣй⁶. По длиннымъ волосамъ, шеѣ и полуобнаженной смуглой груди распозналъ⁷ онъ женщину. Но она была не здѣшняя уроженка: все лицо ея было смугло, изнурено недугомъ; широкія скулы выступали сильно надъ опавшими подъ ними щеками; узкія очи подымались дугообразнымъ разрѣзомъ кверху. Чѣмъ болѣе онъ всматривался въ черты ея, тѣмъ болѣе находилъ въ нихъ что-то знакомое. Наконецъ, онъ не вытерпѣлъ и спросилъ⁸: „Скажи, кто ты? Мнѣ кажется, какъ будто я зналъ тебя, или видѣлъ гдѣ-нибудь?“

„Два года назадъ тому, въ Кіевѣ“.

„Два года назадъ, въ Кіевѣ“, повторилъ Андрій, стараясь перебрать все, что уцѣлѣло въ его памяти отъ прежней бурсацкой жизни. Онъ посмотрѣлъ еще разъ на нее пристально и вдругъ вскрикнулъ во весь голосъ: „Ты татарка! служанка панночки, воеводиной дочки“...

„Чшш!“ произнесла татарка, сложивъ съ умоляющимъ видомъ⁹ руки, дрожа всѣмъ тѣломъ и оборота въ то же время голову назадъ, чтобы видѣть, не проснулся ли кто-нибудь отъ такого сильнаго вскрика, произведеннаго Андріемъ.

„Скажи, скажи, отчего, какъ ты здѣсь!“ говорилъ Андрій, почти задыхаясь, шопотомъ, прерывавшимся всякую минуту отъ внутренняго волненія¹⁰. „Гдѣ панночка? жива еще?“¹¹

„Она тутъ¹, въ городѣ“.

„Въ городѣ?“ произнесъ онъ, едва² опять не вскрикнувши, и почувствовалъ, что вся кровь вдругъ прихлынула къ сердцу: „отчего жъ она въ городѣ?“

„Оттого, что самъ старшій панъ въ городѣ: онъ уже полтора года, какъ сидитъ воеводой въ Дубнѣ“.

„Что жъ, она замужемъ? Да говори же, — какая ты странная! — что она теперь“...

„Она другой день ничего не ѣла“.

„Какъ?“

„Ни у кого изъ городскихъ жителей нѣтъ уже давно куска хлѣба, всѣ давно ѣдятъ одну землю“.

Андрій остолбенѣлъ.

„Панночка видала³ тебя съ городского валу вмѣстѣ съ заporожцами. Она сказала мнѣ: „Ступай, скажи рыцарю: если онъ помнитъ меня, чтобы пришелъ ко мнѣ; а не помнитъ, — чтобы далъ тебѣ кусокъ хлѣба для старухи, моей матери, потому что я не хочу видѣть, какъ при мнѣ умретъ мать. Пусть лучше я прежде, а она послѣ меня. Проси и хватай его за колѣни⁴ и ноги: у него также есть старая мать, — чтобы ради ея далъ хлѣба!“

Много всякихъ чувствъ пробудилось и вспыхнуло въ молодой груди козака.

„Но какъ же ты здѣсь? Какъ ты пришла?“

„Подземнымъ ходомъ“.

„Развѣ есть подземный ходъ?“

„Есть“.

„Гдѣ?“

„Ты не выдашь, рыцарь?“

„Клянусь крестомъ святымъ!“

„Спустися въ яръ и перейдя протокъ, тамъ, гдѣ тростникъ“.

„И выходитъ въ самый городъ?“

„Прямо къ городскому монастырю“.

„Идемъ, идемъ⁵ сейчасъ!“

„Но, ради Христа и Святой Маріи⁶, кусокъ хлѣба!“

„Хорошо, будетъ. Стой здѣсь возлѣ воза, или, лучше, ложись на него: тебя никто не увидитъ, всѣ спятъ; я сейчасъ ворочусь“.

И онъ отошелъ къ возамъ, гдѣ хранились запасы, принад-

лежавшіе ихъ куреню. Сердце его билось. Все минувшее, все, что было заглушено¹ нынѣшними козацкими биваками, суровой бранною жизнью, все всплыло разомъ на поверхность, потопивши, въ свою очередь, настоящее². Опять вынырнула передъ нимъ, какъ³ изъ темной морской пучины, гордая женщина; вновь сверкнули въ его памяти прекрасныя руки, очи, смѣющіяся уста, густые темноорѣховые волосы, курчаво распавшіеся по грудямъ, и всѣ упругіе, въ согласномъ сочетаньи созданныя члены дѣвическаго стана. Нѣтъ, они не погасали, не исчезали въ⁴ груди его, они посторонились только, чтобы дать на время просторъ другимъ могучимъ движеньямъ; но часто, часто смущался ими глубокой сонъ молодого козака, и часто, проснувшись, лежалъ онъ безъ сна на одрѣ⁵, не умѣя истолковать тому причины.

Онъ шелъ, а біеніе сердца становилось сильнѣе, сильнѣе⁶, при одной мысли, что увидить ее опять, и дрожали молодыя колѣни⁷. Пришедши къ возамъ, онъ совершенно позабылъ, зачѣмъ пришелъ: поднесъ руку ко лбу и долго теръ его, стараясь припомнить, что ему нужно дѣлать. Наконецъ вздрогнулъ, весь⁸ исполненъ испуга: ему вдругъ пришло на мысль, что она умираетъ съ голода⁹. Онъ бросился къ возу и схватилъ нѣсколько большихъ черныхъ хлѣбовъ себѣ¹⁰ подъ руку; но тутъ же подумалъ¹¹: не будетъ ли эта пища, годная для дюжого, неприхотливаго запорожца, груба и неприлична ея нѣжному сложенію? Тутъ вспомнилъ онъ, что вчера кошевой попрекалъ кашеваровъ за то, что сварили за¹² одинъ разъ всю гречневую муку на саламату, тогда какъ бы ея стало на добрыхъ три раза. Въ полной увѣренности, что онъ найдетъ вдоволь саламаты въ казанахъ, онъ вытащилъ отцовскій походный казанокъ и съ нимъ отправился къ кашевару ихъ куреня, спавшему у двухъ десятиведерныхъ казановъ, подъ которыми еще теплилась¹³ зола. Заглянувши въ нихъ, онъ изумился, видя¹⁴, что оба пусты. Нужно было нечеловѣческихъ силъ, чтобы все это съѣсть, тѣмъ болѣе, что въ ихъ куренѣ считалось меньше людей, чѣмъ въ другихъ. Онъ заглянулъ въ казаны другихъ куреней — нигдѣ¹⁵ ничего. Поневолѣ пришла ему въ голову поговорка: „запорожцы, какъ дѣти: коли мало — съѣдятъ, коли много — тоже ничего не оставятъ“. Что дѣлать? Былъ однакоже гдѣ-то, кажется, на возу отцовскаго полка, мѣшокъ

съ бѣлымъ хлѣбомъ, который нашли, ограбивши монастырскую пекарню. Онъ прямо подошелъ къ отцовскому возу, но на возѣ его уже¹ не было: Остапъ взялъ его себѣ подъ головы и, растянувшись возлѣ² на землѣ, храпѣлъ на все поле. Андрій³ схватилъ мѣшокъ одной рукой и дернулъ его вдругъ такъ, что голова Остапа упала на землю, а онъ самъ вскочилъ въ просонкахъ и, сидя съ закрытыми глазами, закричалъ, что было мочи: „Держите, держите чортова ляха! да ловите коня, коня ловите!“ — „Замолчи, я тебя убью!“ закричалъ въ испугѣ Андрій, замахнувшись на него мѣшкомъ. Но Остапъ и безъ того уже не продолжалъ рѣчи, присмирѣлъ и пустилъ такой храпъ, что отъ дыханія шевелилась трава, на которой онъ лежалъ. Андрій робко оглянулся на всѣ стороны, чтобы узнать, не пробудилъ ли кого-нибудь изъ козаковъ сонный бредъ Остапа. Одна чубатая голова, точно, приподнялась въ ближнемъ куренѣ и, поведя очами, скоро опустилась опять на землю. Переждавъ минуты двѣ, онъ наконецъ отправился съ своею ношею. Татарка лежала, едва дыша. „Вставай, идемъ! Всѣ спать, не бойся! Подымешь ли ты хоть одинъ изъ этихъ хлѣбовъ, если мнѣ будетъ не сподручно захватить всѣ?“ Сказавъ это, онъ взвалилъ себѣ на спину мѣшки, стащилъ, проходя мимо одного воза, еще одинъ мѣшокъ съ просомъ, взялъ даже въ руки тѣ хлѣбы, которые хотѣлъ было отдать нести татаркѣ, и, нѣсколько понагнувшись подъ тяжестью, шелъ отважно между рядами спавшихъ запорожцевъ.

„Андрій!“ сказалъ старый Бульба въ то время, когда онъ проходилъ мимо его. Сердце его замерло; онъ остановился и, весь дрожа⁴, тихо произнесъ: „А что?“

„Съ тобою баба! Ей, отдеру тебя, вставши, на всѣ бока! Не доведутъ тебя бабы до добра!“⁵ Сказавши это, онъ оперся головою на локоть и сталъ пристально разсматривать закутанную въ покрывало татарку.

Андрій стоялъ ни живъ, ни мертвъ, не имѣя духа⁶ взглянуть въ лицо отцу. И потомъ, когда поднялъ глаза и посмотрѣлъ на него, увидѣлъ, что уже старый Бульба спалъ⁷, положивъ голову на ладонь.

Онъ перекрестился. Вдругъ отхлынулъ отъ сердца испугъ еще скорѣе, чѣмъ прихлынулъ. Когда же повернулся онъ, чтобы взглянуть на татарку, она стояла предъ нимъ, подобно

темной гранитной статуѣ, вся закутанная въ покрывало, и отблескъ отдаленнаго зарева, вспыхнувъ, озарилъ только одни ея очи, одеревянѣвшія¹, какъ у мертвеца. Онъ дернулъ ее за рукавъ², и оба пошли вмѣстѣ, безпрестанно оглядываясь назадъ, и наконецъ опустили отлогостью въ низменную лощину, — почти яръ, называемый въ нѣкоторыхъ мѣстахъ балками, — по дну которой лѣниво пресмыкался протокъ, поросшій осокой и усѣянный кочками. Опустясь въ эту³ лощину, они скрылись совершенно изъ виду всего поля, занятаго запорожскимъ таборомъ. По крайней мѣрѣ, когда Андрій оглянулся, то увидѣлъ, что позади его крутою стѣной, болѣе чѣмъ въ ростъ человѣка, вознеслась покатошь; на вершинѣ ея покачивалось нѣсколько стебельковъ полеваго былья, и надъ ними поднималась на небо⁴ луна въ видѣ косвенно обращеннаго серпа изъ яркаго червоннаго золота. Сорвавшійся со степи вѣтерокъ давалъ знать, что уже немного оставалось времени до разсвѣта. Но нигдѣ не слышно было отдаленнаго пѣтушьяго крика: ни въ городѣ, ни въ разоренныхъ окрестностяхъ не оставалось давно ни одного пѣтуха. По небольшому бревну перебрались они черезъ протокъ, за которымъ возносился противоположный берегъ, казавшійся выше бывшаго у нихъ назади и выступавшій совершеннымъ обрывомъ⁵. Казалось, въ этомъ мѣстѣ былъ крѣпкій и надежный самъ собою пунктъ городской крѣпости; по крайней мѣрѣ, земляной валъ былъ тутъ ниже и не выглядывалъ изъ-за него гарнизонъ. Но за то подальше подымалась толстая монастырская стѣна. Обрывистый берегъ весь обросъ бурьяномъ, и по небольшой лощинѣ между имъ и протокомъ росъ высокій тростникъ, почти въ вышину человѣка. На вершинѣ обрыва видны были остатки плетня, обличавшіе когда-то бывшій огородъ; передъ нимъ — широкіе листы лопуха⁶; изъ-за него⁷ торчала лебеда, дикій колючій бодякъ и подсолнечникъ, подымавшій выше всѣхъ ихъ⁸ свою голову. Здѣсь татарка скинула съ себя черевички и пошла босикомъ, подобравъ осторожно свое платье, потому что мѣсто было топою и наполнено водою. Пробираясь межъ тростникомъ, остановились они передъ наваленнымъ хворостомъ и фашиннымъ. Отклонивъ хворостъ, нашли они родъ землянаго свода — отверстие, мало чѣмъ болѣе отверстие, бывающаго въ хлѣбной печи⁹. Татарка, наклонивъ голову, вошла первая; вслѣдъ за нею Андрій,

нагнувшись, сколько можно ниже, чтобы можно было обратиться съ своими мѣшками, и скоро очутились оба въ совершенной темнотѣ.

VI.

Андрій едва двигался въ темномъ и узкомъ земляномъ коридорѣ, слѣдуя за татаркою и таща на себѣ мѣшки хлѣба. „Скоро намъ будетъ видно“¹, сказала проводница: „мы подходимъ къ мѣсту, гдѣ поставила я свѣтильникъ“². И точно, темныя земляныя стѣны начали понемногу озаряться. Они достигли небольшой площадки, гдѣ, казалось, была часовня; по крайней мѣрѣ, къ стѣнѣ былъ приставленъ узенькій столикъ въ видѣ алтарнаго престола, и надъ нимъ видѣнъ былъ почти совершенно изгладившійся, полинявшій образъ католической Мадонны. Небольшая серебряная лампадка, передъ нимъ висѣвшая, чуть-чуть озаряла его. Татарка наклонилась и подняла съ земли оставленный мѣдный свѣтильникъ³, на тонкой, высокой ножкѣ, съ висѣвшими вокругъ ея на цѣпочкахъ щипцами, шпилькой для поправленія огня и гасильникомъ. Взявши его, она зажгла огнемъ отъ лампы⁴. Свѣтъ усилился и они, идя вмѣстѣ, то освѣщаясь сильно огнемъ, то набрасываясь темною, какъ уголь, тѣнью, напоминали собою картины Герардо dalle notti⁵. Свѣжее, кипящее здоровьемъ и юностью, прекрасное лицо рыцаря представляло сильную противоположность съ изнуреннымъ и блѣднымъ лицомъ его спутницы. Проходъ сталъ нѣсколько шире, такъ что Андрію можно было пораспрявиться. Онъ съ любопытствомъ разсматривалъ эти земляныя стѣны, напомнившія ему кievскія пещеры⁶. Такъ же, какъ и въ пещерахъ кievскихъ, тутъ видны были углубленія въ стѣнахъ, и стояли кое гдѣ гробы; мѣстами даже попадались, просто, человѣческія кости, отъ сырости сдѣлавшіяся мягкими и разсыпавшіяся въ муку. Видно, и здѣсь также были святые люди и укрывались также отъ мірскихъ бурь, горя и обольщеній. Сырость мѣстами была очень сильна: подъ ногами ихъ иногда была совершенная вода. Андрій долженъ былъ часто останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спут-

ницѣ, которой усталость возобновлялась безпрестанно. Небольшой кусокъ хлѣба, проглоченный ею, произвелъ только боль въ желудкѣ, отвыкшемъ отъ пищи, и она оставалась часто безъ движенія по нѣсколку минутъ на одномъ мѣстѣ.

Наконецъ, передъ ними показалась маленькая желѣзная дверь. „Ну, слава Богу, мы пришли“, сказала слабымъ голосомъ татарка, приподняла руку¹, чтобы постучаться, и не имѣла силъ. Андрій ударилъ вмѣсто нея² сильно въ дверь; раздался гулъ, показывавшій³, что за дверью былъ большой просторъ. Гулъ этотъ измѣнялся, встрѣтивъ, какъ казалось, высокіе своды. Минуты черезъ двѣ загремѣли ключи, и кто-то, казалось, сходилъ по лѣстницѣ. Наконецъ, дверь отперлась; ихъ встрѣтилъ⁴ монахъ, стоявшій на узенькой лѣстницѣ съ ключами⁵ и свѣчей въ рукахъ. Андрій невольно остановился при видѣ католическаго монаха, возбуждавшаго такое ненавистное презрѣніе въ козакахъ, поступавшихъ съ ними безчеловѣчнѣй, чѣмъ съ жидами. Монахъ тоже нѣсколько отступилъ назадъ, увидѣвъ запорожскаго козака; но слово, невнятно произнесенное татаркою, его успокоило. Онъ посвѣтилъ имъ, заперъ за ними дверь, ввелъ ихъ по лѣстницѣ вверхъ, и они очутились подъ высокими темными сводами монастырской церкви. У одного изъ алтарей, уставленнаго высокими подсвѣчниками и свѣчами, стоялъ на колѣняхъ⁶ священникъ и тихо молился. Около него съ обѣихъ сторонъ стояли также на колѣняхъ⁷ два молодые клирошанина въ лиловыхъ мантияхъ, съ бѣлыми кружевными шемизетками сверхъ ихъ⁸ и съ кадилами въ рукахъ. Онъ молился о ниспосланіи чуда: о спасеніи города, о подкрѣпленіи падающаго духа, о ниспосланіи терпѣнія, о⁹ удаленіи искуссителя, нашептывающаго ропоть и малодушный, робкій плачь на земныя несчастія. Нѣсколько женщинъ, похожихъ на привидѣнія, стояли на колѣняхъ¹⁰, опершись и совершенно положивъ изнеможенныя головы на спинки стоявшихъ передъ ними стульевъ и темныхъ деревянныхъ лавокъ; нѣсколько мужчинъ, прислонясь у колоннъ и пиластръ¹¹, на которыхъ возлегли боковые своды, печально стояли тоже на колѣняхъ¹². Окно съ цвѣтными стеклами, бывшее надъ алтаремъ, озарилось розовымъ румянцемъ утра, и упали отъ него на полъ голубые, желтые и другихъ цвѣтовъ кружки свѣта, освѣтившіе внезапно темную церковь. Весь алтарь въ своемъ далекомъ углубленіи показался вдругъ

въ сіяніи; кадильный дымъ остановился на воздухѣ¹ радушно освѣщеннымъ облакомъ. Андрій не безъ изумленія глядѣлъ изъ своего темнаго угла на чудо, произведенное свѣтомъ. Въ это время величественный ревъ органа² наполнилъ вдругъ всю церковь; онъ становился гуще и гуще, разрастался, перешелъ въ тяжелые рокоты³ грома и потомъ вдругъ, обратившись въ небесную музыку, понёсся высоко подъ сводами, своими поющими звуками, напоминавшими тонкіе дѣвичьи голоса, и потомъ опять обратился онъ въ густой ревъ и громъ, и затихъ. И долго еще громовые рокоты носились, дрожая, подъ сводами, и дивился Андрій съ полукрытымъ ртомъ величественной музыкѣ.

Въ это время, почувствовалъ онъ, кто-то дернулъ⁴ его за полу кафтана. „Пора!“ сказала татарка. Они перешли черезъ церковь, не замѣченные никѣмъ, и вышли потомъ на площадь, бывшую передъ нею. Заря уже давно руманилась на небѣ: все возвѣщало восхожденіе солнца. Площадь, имѣвшая квадратную фигуру, была совершенно пуста; по срединѣ ея оставались еще деревянные столики, показывавшіе, что здѣсь былъ еще недѣлю, можетъ быть, только назадъ рынокъ⁵ съѣстныхъ припасовъ. Улица, которыхъ тогда не мостили⁶, была просто засохшая груда грязи. Площадь обступали кругомъ⁷ небольшіе каменные и глиняные въ одинъ этажъ дома, съ видными въ стѣнахъ деревянными сваями и столбами во всю ихъ высоту⁸, косвенно перекрещенные деревянными же связями⁹, какъ вообще строили дома тогдашніе обыватели, что можно видѣть и понынѣ еще¹⁰ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Литвы и Польши. Всѣ они были покрыты непомѣрно высокими крышами, со множествомъ¹¹ слуховыхъ оконъ и отдушинъ. На одной сторонѣ, почти близъ церкви, выше другихъ, возносилось совершенно отличное отъ прочихъ зданіе, вѣроятно, городской магистратъ или какое-нибудь правительственное мѣсто. Оно было въ два этажа и надъ нимъ вверху надстроены были въ двѣ арки бельведеръ, гдѣ стоялъ часовой; большой часовой циферблатъ¹² вдѣланъ былъ въ крышу. Площадь казалась мертвою; но Андрію почудилось какое-то слабое стenanіе. Разсматривая, онъ замѣтилъ на другой ея сторонѣ¹³ группу изъ двухъ-трехъ человекъ, лежавшихъ почти безъ всякаго движенія на землѣ. Онъ вперилъ глаза внимательнѣй,

чтобы рассмотреть, заснувшие ли это были, или умершие, и въ это время наткнулся на что-то, лежавшее у ногъ его. Это было мертвое тѣло женщины, по видимому, жиловки. Казалось, она была еще молода, хотя въ искаженныхъ, измощенныхъ чертахъ ея нельзя было того видѣть. На головѣ ея былъ красный шелковый платокъ; жемчуги, или бусы въ два ряда украшали ея наушники; двѣ-три длинныя, всѣ въ завиткахъ кудри, выпадали изъ-подъ нихъ на ея высохшую шею съ натянувшимися жилами. Возлѣ нея лежалъ ребенокъ, судорожно схватившійся¹ рукою за тощую грудь ея и скрутившій ея своими пальцами отъ невольной злости, не нашедъ въ ней молока. Онъ уже не плакалъ и не кричалъ, и только по тихо опускавшемуся и подымавшемуся животу его можно было думать, что онъ еще не умеръ, или, по крайней мѣрѣ, еще только готовился испустить послѣднее дыханье. Они поворотили въ улицы и были остановлены вдругъ какимъ-то бѣснующимся, который, увидѣвъ у Андрія драгоцѣнную ношу, кинулся на него, какъ тигръ, вцѣпился въ него, крича: „хлѣба!“ Но силъ не было у него равныхъ² бѣшенству; Андрій оттолкнулъ его: онъ полетѣлъ на землю. Движимый состраданіемъ, онъ швырнулъ ему одинъ хлѣбъ, на который тотъ бросился, подобно бѣшеной собакѣ, изгрызъ, искусалъ его и тутъ же, на улицѣ, въ страшныхъ судорогахъ испустилъ духъ отъ долгой отвычки принимать пищу. Почти на каждомъ шагѣ поражали ихъ страшныя жертвы голода. Казалось, какъ будто, не вынося мученій въ домахъ, многіе нарочно выбѣжали на улицу: не ниспошлется ли въ воздухъ чего-нибудь, питающаго силы. У воротъ одного дома сидѣла старуха, и нельзя сказать, заснула ли она, умерла, или, просто, позабылась; по крайней мѣрѣ она уже не слышала и не видѣла ничего и, опустивъ голову на грудь, сидѣла недвижима на одномъ и томъ же мѣстѣ. Съ крыши другаго дома висѣло внизъ, на веревочной петлѣ, вытянувшееся и исчахлое³ тѣло: бѣднякъ не могъ вынести до конца страданій голода и захотѣлъ лучше произвольнымъ самоубійствомъ ускорить конецъ свой.

При видѣ такихъ⁴ поражающихъ свидѣтельствъ голода, Андрій не вытерпѣлъ не спросить татарку: „Неужели они однакожь совсѣмъ не нашли, чѣмъ пробавить жизнь? Если человѣку

приходить послѣдняя крайность, тогда, дѣлать нечего, онъ долженъ питаться тѣмъ, чѣмъ дотолѣ брезгалъ: онъ можетъ питаться тѣми тварями, которыя запрещены закономъ, все можетъ тогда пойти въ снѣдь“.

„Все переѣли“, сказала татарка: „всю скотину: ни коня, ни собаки, ни даже мыши не найдешь во всемъ городѣ. У насъ въ городѣ никогда не водилось никакихъ запасовъ: все привозилось изъ деревень“.

„Но какъ же вы, умирая такую лютою смертию, все еще думаете оборонить городъ?“

„Да можетъ быть¹, воевода и сдалъ бы, но вчера утромъ полковникъ, который въ Буджакахъ, пустилъ въ городъ ястреба съ запиской, чтобъ не отдавали города: что онъ идетъ на выручку съ полкомъ, да ожидаетъ только другаго полковника, чтобъ итти обоимъ вмѣстѣ. И теперь всякую минуту ждуть ихъ... Но вотъ мы пришли къ дому“.

Андрій уже издали видѣлъ домъ, не похожій на другіе и, какъ казалось, строенный какимъ-нибудь архитекторомъ итальянскимъ; онъ былъ сложенъ изъ красивыхъ тонкихъ кирпичей въ два этажа. Окна нижняго этажа были заключены въ высоко выдавшіеся гранитные карнизы; верхній этажъ состоялъ весь изъ небольшихъ арокъ, образовавшихъ галерею; между ними были видны рѣшетки съ гербами; на углахъ дома тоже были гербы. Наружная широкая лѣстница изъ крашеныхъ кирпичей выходила на самую площадь. Внизу лѣстницы² сидѣло по одному часовому, которые картинно и симметрически держались одной рукой за стоявшія около³ нихъ алебарды, а другою подпирали наклоненныя свои головы и, казалось, такимъ образомъ болѣе походили на изваянія, чѣмъ на живыя существа. Они не спали и не дремали, но, казалось, были нечувствительны ко всему; они не обратили даже вниманія на то, кто всходилъ⁴ по лѣстницѣ. На верху лѣстницы они нашли богато убраннаго, всего съ ногъ до головы вооруженнаго воина, державшаго въ рукѣ молитвенникъ. Онъ было возвелъ на нихъ истомленныя очи, но татарка сказала ему одно слово и онъ опустил ихъ вновь въ открытыя страницы своего молитвенника. Они вступили въ первую комнату, довольно просторную, служившую пріемною, или, просто, переднею; она была наполнена вся сидѣвшими въ разныхъ положеніяхъ у стѣнъ солдатами,

слугами, псарями, виночерпями и прочей дворней, необходимо для показанія сана польскаго вельможи, какъ военнаго, такъ и владѣльца собственныхъ помѣстьевъ¹. Слышенъ былъ чадъ погаснувшей свѣчи²; двѣ другія еще горѣли въ двухъ огромныхъ, почти въ ростъ человѣка³, подсвѣчникахъ, стоявшихъ по срединѣ, не смотря на то, что уже давно въ рѣшетчатое широкое окно глядѣло утро. Андрій уже было хотѣлъ итти прямо въ широкую дубовую дверь, украшенную гербомъ и множествомъ рѣзныхъ украшеній; но татарка дернула его за рукавъ и указала маленькую дверь въ боковой стѣнѣ. Этою вышли они въ коридоръ и потомъ въ комнату, которую онъ началъ внимательно разсматривать⁴. Свѣтъ, проходившій сквозь щель ставня⁵, тронулъ кое-что: малиновый занавѣсъ, позолоченный карнизъ и живопись на стѣнѣ. Здѣсь Татарка указала Андрію остаться, отворила дверь въ другую комнату, изъ которой блеснулъ свѣтъ огня. Онъ услышалъ шопотъ и тихій голосъ, отъ котораго все потряслось у него. Онъ видѣлъ сквозь растворившуюся дверь, какъ мелькнула быстро стройная женская фигура съ длинною роскошною косою, упавшею на поднятую кверху руку. Татарка возвратилась и сказала, чтобы онъ вошелъ⁶. Онъ не помнилъ, какъ вошелъ⁷ и какъ затворилась за нимъ дверь. Въ комнатѣ горѣли двѣ свѣчи, лампада⁸ теплилась передъ образомъ; подъ нимъ стоялъ высокій столикъ, по обычаю католическому, со ступеньками для преклоненія колѣней⁹ во время молитвы. Но не того искали глаза его. Онъ повернулся въ другую сторону и увидѣлъ женщину, казалось, застывшую и окаменѣвшую въ какомъ-то быстромъ движеніи. Казалось, какъ будто вся фигура ея хотѣла броситься къ нему и вдругъ остановилась. И онъ остался также изумленнымъ предъ нею. Не такую воображалъ онъ ее видѣть: это была не она, не та, которую онъ зналъ прежде; ничего не было въ ней похожаго на ту, но вдвое прекраснѣе и чудеснѣе была она теперь, чѣмъ прежде: тогда было въ ней что-то неконченное, недовершенное, теперь это было произведеніе, которому художникъ далъ послѣдній ударъ кисти. Та¹⁰ была прелестная, вѣтреная дѣвушка; эта была красавица, женщина во всей разившейся красѣ своей. Полное чувство выражалось въ ея поднятыхъ глазахъ, не отрывки, не намеки на чувство, но все чувство. Еще слезы не успѣли въ нихъ высохнуть и облекли ихъ блистающею влагою,

проходившею душу¹; грудь, шея и плечи заключились въ тѣ прекрасныя границы, которыя назначены вполнѣ развившейся красотѣ; волосы, которые прежде разносились легкими кудрями по лицу ея, теперь обратились въ густую роскошную косу, часть которой была подобрана, а часть разбросалась по всей длинѣ руки и тонкими, длинными, прекрасно согнутыми волосами упала на грудь. Казалось, всё до одной измѣнились черты ея. Напрасно силился онъ отыскать въ нихъ² хотя одну изъ тѣхъ, которыя носились въ его памяти, — ни одной. Какъ ни велика была ея блѣдность, но она не помрачила³ чудесной красоты ея, напротивъ, какъ будто⁴ придала ей что-то стремительное, неотразимо-побѣдоносное. И ощутилъ Андрій въ своей душѣ благоговѣйную боязнь, и сталъ неподвиженъ передъ нею. Она, казалось, также была поражена видомъ козака, представшаго во всей красотѣ и силѣ юношескаго мужества, который, казалось, и въ самой неподвижности⁵ своихъ членовъ уже обличалъ развязную вольность движеній; ясною твердостью сверкала глазъ его, смѣлою дугою выгнулась бархатная бровь, загорѣлыя щеки блистали⁶ всею яркостью дѣвственнаго огня и, какъ шелкъ, лоснился молодой черной усъ.

„Нѣтъ, я не въ силахъ ничѣмъ возблагодарить тебя, великодушный рыцарь“, сказала она, и весь колебался серебряный звукъ ея голоса. „Одинъ Богъ можетъ вознаградить⁷ тебя; не мнѣ, слабой женщинѣ...“ Она потупила⁸ свои очи; прекрасными снѣжными полукружьями надвинулись на нихъ вѣки, окраенныя⁹ длинными, какъ стрѣлы, рѣсницами; наклонился все чудесное лицо ея, и тонкій румянецъ оттѣнилъ его снизу. Ничего не умѣлъ сказать на это Андрій¹⁰; онъ хотѣлъ бы выговорить все, что ни есть на душѣ, выговорить его такъ же горячо, какъ оно было на душѣ, — и не могъ. Почувствовалъ онъ что-то, заградившее ему уста; звукъ отнялся у слова: почувствовалъ онъ, что не ему, воспитанному въ бурсѣ и въ¹¹ бранной кочевой жизни, отвѣчать на такія рѣчи, и вознегодовалъ на свою козацкую натуру.

Въ это время вошла въ комнату татарка. Она уже успѣла нарѣзать ломтями принесенный рыцаремъ хлѣбъ, несла его¹² на золотомъ блюдѣ и поставила передъ своею панною. Красавица взглянула на нее, на хлѣбъ, и возвела очи на Андрія, — и много было въ очахъ тѣхъ. Этотъ¹³ умиленный взоръ, выка-

завшіи изнеможеніе и безсиліе выразити обнавішія ея чувства, былъ болѣе доступенъ Андрію, чѣмъ всѣ рѣчи. Его душѣ вдругъ стало легко; казалось, все развязалось у него. Душевные движенія и чувства, которыя дотолѣ какъ будто кто-то удерживалъ тяжкою уздою, теперь почувствовали себя освобожденными, на волѣ¹ и уже хотѣли излиться въ неукротимые потоки словъ, какъ вдругъ красавица, оборотясь къ татаркѣ, безпокойно спросила: „А мать? ты отнесла ей?“

„Она спитъ“.

„А отцу?“

„Отнесла; онъ сказалъ, что придетъ самъ благодарить рыцаря“.

Она взяла хлѣбъ и поднесла его ко рту. Съ неизвѣстнымъ наслажденіемъ глядѣлъ Андрій, какъ она² ломала его блистающими пальцами своими и ѣла; и вдругъ вспомнилъ о бѣсновавшемся отъ голода, который испустилъ духъ въ глазахъ его, проглотивши кусокъ хлѣба. Онъ поблѣднѣлъ и, схвативъ ее за руку, закричалъ: „Довольно! не ѣшь больше! Ты такъ долго не ѣла, тебѣ хлѣбъ будетъ теперь ядовитъ“. И она опустила тутъ же свою руку; положила хлѣбъ на блюдо и, какъ покорный ребенокъ, смотрѣла ему въ очи. И пусть бы выразило чье-нибудь слово... но не властны выразити ни рѣзецъ, ни кисть, ни высоко-могучее слово того, что видится иной разъ во взорахъ дѣвы³, ниже того умиленнаго чувства, которымъ объемлется глядящій въ такіе взоры дѣвы.

„Царица!“ вскрикнулъ Андрій, полный и сердечныхъ, и душевныхъ, и всякихъ избытковъ: „что тебѣ нужно, чего ты хочешь?—прикажи мнѣ! Задай мнѣ службу самую невозможную, какая только есть на свѣтѣ, — я побѣгу исполнять⁴ ее! Скажи мнѣ сдѣлать то, чего не въ силахъ сдѣлать ни одинъ человекъ, — я сдѣлаю⁵, я погублю себя. Погублю, погублю! и погубить себя для тебя, клянусь свитымъ крестомъ, мнѣ такъ сладко... но не въ силахъ сказать того!⁶ У меня три хутора, половина табуновъ отцовскихъ мои, все, что принесла отцу мать моя, что даже отъ него скрываетъ она — все мое. Такого ни у кого нѣтъ теперь у козаковъ нашихъ оружія⁷, какъ у меня: за одну рукоятъ моей сабли дають мнѣ лучшей табунъ и три тысячи овецъ. И отъ всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, затоплю, если только ты вымолвишь одно слово, или хотя только шевельнешь⁸ своею тонкою, черною бровью! Но знаю,

что, можетъ быть, несу глупыя рѣчи, и не кстати, и неидеть все это сюда, что не мнѣ, проведенному жизнь въ бурсѣ и на Запорожьи, говорить такъ, какъ въ обычаѣ говорить тамъ, гдѣ бывають короли, князья и все, что ни есть лучшаго въ вельможномъ рыцарствѣ. Вижу, что ты иное творенье Бога, нежели всѣ мы, и далеки предъ тобою всѣ¹ другія боярскія жены и дочери дѣвы. Мы не годимся быть твоими рабами; только небесные ангелы могутъ служить тебѣ².

Съ возрастающимъ изумленіемъ, вся превратившись въ слухъ, не проронивъ ни одного слова, слушала дѣва открытую, сердечную рѣчь, въ которой, какъ въ зеркалѣ, отражалась молодая, полная силъ душа. И каждое прѣстое слово этой³ рѣчи, выговоренное голосомъ, летѣвшимъ прямо съ сердечнаго дна, облечено было въ силу. И выдалось впередъ все прекрасное лицо ея, отбросила она далеко назадъ досадные волосы, открыла уста и долго глядѣла съ открытыми устами. Потомъ хотѣла что-то сказать и вдругъ остановилась, и вспомнила, что другимъ назначеніемъ ведется рыцарь, что отецъ, братья и вся отчизна его стоятъ позади его⁴ суровыми мстителями, что страшны облегише городъ запорожцы, что лютой смерти обречены всѣ они съ своимъ городомъ... и глаза ея вдругъ наполнились слезами; быстро⁵ она схватила платокъ, шитый шелками, набросила его себѣ на лицо⁶, и онъ въ минуту сталъ весь влаженъ; и долго сидѣла, забросивъ назадъ свою прекрасную голову, сжавъ бѣлоснѣжными зубами свою прекрасную нижнюю губу, — какъ бы внезапно почувствовавъ какое укушеніе ядовитаго гада, — и не снимая съ лица платка, чтобы онъ⁷ не видѣлъ ея сокрушительной грусти.

„Скажи мнѣ одно слово!“ сказалъ Андрій и взялъ ее за атласную руку. Сверкающій огонь пробѣжалъ по жиламъ его отъ этого⁸ прикосновенья, и жаль онъ руку, лежавшую безчувственно въ рукѣ его.

Но она молчала и не отнимала платка отъ лица своего и оставалась неподвижна.

„Отчего же ты такъ печальна? Скажи мнѣ, отчего ты такъ печальна?“

Бросила прочь она отъ себя платокъ, отдернула нагѣзавшіе⁹ на очи длинные волосы косы своей¹⁰ и вся разлилася въ жалостныхъ рѣчахъ, выговаривая ихъ тихимъ, тихимъ го-

лосомъ¹, подобно тому, какъ вѣтеръ, поднявшись прекраснымъ вечеромъ², пробѣжить вдругъ по густой чащѣ приводнаго тростника: зашелестятъ, зазвучатъ и понесутся вдругъ унывно-тонкіе звуки, и ловить ихъ съ непонятной грустью остановившійся путникъ, не чую ни погасающаго вечера, ни несущихся веселыхъ пѣсень народа, бредущаго отъ полевыхъ работъ и жнивъ, ни отдаленнаго тарахтанья гдѣ-то пробѣжающей телѣги³.

„Не достойна ли я вѣчныхъ сожалѣній!⁴ Не несчастна ли мать, родившая меня на свѣтъ? Не горькая ли доля припала на часть мнѣ? Не лютый ли ты палачъ мой, моя свирѣпая судьба? Всѣхъ ты привела къ ногамъ моимъ⁵: лучшихъ дворянъ изъ всего шляхетства, богатѣйшихъ пановъ, графовъ и иноземныхъ бароновъ, и все, что ни есть цвѣтъ нашего рыцарства. Всѣмъ имъ было вольно любить меня, и за великое благо всякій изъ нихъ почелъ бы любовь мою⁶. Стоило мнѣ только махнуть рукой, и любой изъ нихъ, красивѣйшій, прекраснѣйшій лицомъ и породю, сталъ бы моимъ супругомъ. И ни къ одному изъ нихъ не причаровала ты моего сердца, свирѣпая судьба моя; а причаровала мое сердце, мимо лучшихъ витязей земли нашей, къ чуждому, къ врагу нашему. За что же ты, пречистая Божья Матерь, за какіе грѣхи, за какія тяжкія преступленія такъ неумолимо и безпощадно гонишь меня? Въ изобилии и роскошномъ избыткѣ всего текли дни мои; лучшія, дорогія блюда и сладкія вина были мнѣ снѣдью. И на что все это было? къ чему оно все было? Къ тому ли, чтобы наконецъ умереть лютою смертью, какой не умираетъ послѣдній нищій въ королевствѣ? И мало того, что осуждена я на такую страшную участь; мало того, что передъ концомъ своимъ должна видѣть, какъ стануть умирать въ невыносимыхъ мукахъ отецъ и мать, для спасенія которыхъ двадцать разъ готова была бы⁷ отдать жизнь свою; мало всего этого: нужно, чтобы передъ концомъ своимъ мнѣ довелось увидѣть и услышать слова и любовь, какой не видала я. Нужно, чтобы онъ рѣчами своими разодралъ на части мое сердце, чтобы горькая моя часть была еще горше, чтобы еще жалче было мнѣ моей молодой жизни, чтобы еще страшнѣе казалась мнѣ смерть моя и чтобы еще больше, умирая, попрекала я тебя, свирѣпая судьба моя, и тебя, — прости мое прегрѣшеніе, — святая Божья Матерь!“

И когда затихла она, безнадежное, безнадежное чувство отра-

зилось въ лицѣ ея; ноющею грустью заговорила всякая черта его, и все, отъ печально поникшаго лба и опустившихся очей до слезъ, застывшихъ и засохнувшихъ по тихо пламенѣвшимъ щекамъ ея, все, казалось, говорило: „Нѣтъ счастья на лицѣ этомъ!“¹

„Не слыхано на свѣтѣ, не можно, не быть тому“, говорилъ Андрій: „чтобы красивѣйшая и лучшая изъ женъ понесла такую горькую часть, когда она рождена на то, чтобы предъ ней, какъ предъ святыней, преклонилось все, что ни есть лучшаго на свѣтѣ. Нѣтъ, ты не умрешь! Не тебѣ умирать; клянусь моимъ рожденіемъ и всѣмъ, что мнѣ мило на свѣтѣ, — ты не умрешь! Если же выйдетъ² уже такъ, и ничѣмъ — ни силой, ни молитвой, ни мужествомъ нельзя будетъ отклонить горькой судьбы, то мы умремъ вмѣстѣ, и прежде я умру³, умру передъ тобой, у твоихъ прекрасныхъ колѣней⁴, и развѣ уже мертваго меня разлучать съ тобою“.⁵

„Не обманывай, рыцарь, и себя, и меня“, говорила она, качая тихо прекрасной головой своей: „знаю и, къ великому моему горю, знаю слишкомъ хорошо, что тебѣ нельзя любить меня; и⁶ знаю я, какой долгъ и завѣтъ твой: тебя зовутъ отецъ, товарищи, отчина, а мы — враги тебѣ“.

„А что мнѣ отецъ, товарищи и⁷ отчина?“ сказалъ Андрій, встряхнувъ быстро головою и выпрямивъ весь прямой, какъ надрѣчная осокорь⁸, станъ свой. „Такъ если жъ такъ, такъ вотъ что: нѣтъ у меня никого! Никого, никого!“ повторилъ онъ тѣмъ же голосомъ и сопроводивъ его тѣмъ движеніемъ руки⁹, съ какимъ упругій, несокрушимый козакъ выражаетъ рѣшимость на дѣло неслыханное и невозможное для другаго. „Кто сказалъ, что моя отчина Украина? Кто далъ мнѣ ее въ отчины? Отчина есть то, чего ищетъ душа наша, что милѣе для нея всего. Отчина моя — ты! Вотъ моя отчина! И понесу я отчину эту¹⁰ въ сердцѣ моемъ, понесу ее, пока станеть моего вѣку, и посмотрю: пусть кто-нибудь изъ козаковъ вырветъ ее оттуда! И все, что ни есть, продамъ, отдамъ, погублю за такую отчину!“

На мигъ остолбенѣвъ, какъ прекрасная статуя, смотрѣла она ему въ очи и вдругъ зарыдала, и съ чудною женскою¹¹ стремительностью, на какую бываетъ только способна одна безразсчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движеніе, кинулась она къ нему на шею, об-

хвативъ его снѣгоподобными, чудными руками, и зарыдала. Въ это время раздались на улицѣ неясные крики, сопровождаемые¹ трубнымъ и литаврнымъ звукомъ; но онъ не слышалъ ихъ: онъ слышалъ только, какъ чудныя уста обдавали его благовоной теплотой своего дыханья, какъ слезы ея текли ручьями къ нему на лицо, и спустившіеся всѣ съ головы², пахучіе ея волосы опутали его всего своимъ темнымъ и блистающимъ³ шелкомъ.

Въ это время вбѣжала къ нимъ съ радостнымъ крикомъ татарка. „Спасены, спасены!“ кричала она, не помня себя. „Наши вошли въ городъ, привезли хлѣба, пшена, муки и связанныхъ запорожцевъ!“ Но не слышалъ никто изъ нихъ, какіе „наши“ вошли въ городъ, что привезли съ собою и какихъ связали запорожцевъ. Полный не на землѣ вкушаемыхъ чувствъ⁴. Андрій поцѣловалъ въ благовоныя уста⁵, прильнувшія къ щекѣ его, и не безотвѣтны были благовоныя уста. Они отозвались тѣмъ же, и въ этомъ⁶ обоудно слянномъ поцѣлуѣ ощутилось то, что одинъ только разъ въ жизни дается чувствовать челоуѣку.

И погибъ козакъ! Пропалъ для всего козацкаго рыцарства! Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовскихъ хуторовъ своихъ, ни церкви божьей. Украинѣ не видать тоже храбрѣйшаго изъ своихъ дѣтей, взявшихъся защищать ее. Вырветъ старый Тарасъ сѣдой клокъ волосъ изъ своей чупрыны и проклянетъ и день, и часъ, въ который породилъ на позоръ себѣ такого сына.

VII.

Шумъ и движеніе происходили въ запорожскомъ таборѣ. Сначала никто не могъ дать вѣрнаго отчета, какъ случилось, что войска прошли въ городъ. Потомъ уже оказалось, что весь Переяславскій курень, расположившійся передъ боковыми городскими воротами, былъ пьянъ мертвецки; стало быть, дивиться нечего, что половина была перебита, а другая перевязана еще прежде, чѣмъ всѣ могли узнать, въ чемъ дѣло. Покамѣстъ ближніе курени, разбуженные шумомъ, успѣли схватиться за оружіе, войско уже уходило въ ворота, и по-

слѣдніе ряды отстрѣливались отъ устремившихся на нихъ въ безпорядкѣ сонныхъ и полупротрезвившихся запорожцевъ.

Кошевой далъ приказъ собраться всѣмъ, и, когда всѣ стали въ кругъ и, снявши шапки, затихли¹, онъ сказалъ: „Такъ вотъ чтò, панове братове, случилось въ эту ночь; вотъ до чего довелъ хмель! Вотъ какое поруганье оказалъ намъ непріятель! У васъ, видно, уже такое заведеніе: коли позволишь удвоить порцію, такъ вы готовы такъ натянуться, что врагъ христова воинства не только сниметъ съ васъ шаровары, но въ самое лицо вамъ начихаетъ², такъ вы того не услышите“.

Козаки всѣ стояли, понуривъ головы, зная вину; одинъ только³ Незамайковский куренный атаманъ Кукубенко отозвался. „Постой, батько!“ сказалъ онъ: „хоть оно и не въ законѣ, чтобы сказать какое возраженіе, когда говоритъ кошевой передъ лицомъ всего войска, да дѣло не такъ было, такъ нужно сказать. Ты не совсѣмъ справедливо попрекнулъ все христіанское войско⁴. Козаки были бы повинны и достойны смерти, если бы напились въ походѣ, на войнѣ, на трудной, тяжелой работѣ; но мы сидѣли безъ дѣла, маячили попусту передъ городомъ. Ни поста, ни другаго христіанскаго воздержанья не было: какъ же можетъ статься, чтобы на бездѣльи не напился человѣкъ? Грѣха тутъ нѣтъ. А мы вотъ лучше покажемъ имъ, чтò такое нападать на безвинныхъ людей. Прежде били добре, а ужъ теперь побьемъ такъ, что и пять не унесутъ домой“.

Рѣчь куреннаго атамана поправилась козакамъ. Они приподняли уже совсѣмъ было понурившіяся головы, и многіе одобрительно кивнули головой, примолвивши: „Добре сказалъ Кукубенко!“ А Тарасъ Бульба, стоявшій недалеко отъ кошевого, сказалъ: „А чтò, кошевой, видно, Кукубенко правду сказалъ? Чтò ты скажешь на это?“

„А чтò скажу? Скажу: блаженъ и отецъ, родившій такого сына: еще не большая мудрость сказать укорительное слово, но большая мудрость сказать такое слово, которое, не поругавшись надъ бѣдою человѣка, ободрило бы его, придало бы духу ему, какъ шпоры придаютъ духу коню, освѣженному водопоемъ. Я самъ хотѣлъ вамъ сказать потомъ утѣшительное слово, да Кукубенко догадался прежде“.

„Добре сказалъ и кошевой!“ отозвалось въ рядахъ запорожцевъ. „Доброе слово!“ повторили другіе. И самые сѣдые,

стоявшіе, какъ сивые¹ голуби, и тѣ кивнули головою и, моргнувши сѣдымъ усомъ, тихо сказали: „Добре сказанное слово!“

„Слушайте же², панове!“ продолжалъ кошевой. „Братъ крѣпость, карабкаться и подвѣшываться, какъ дѣлаютъ чужеземные нѣмецкіе мастера — пусть ей врагъ прикинется! — и неприлично, и не козацкое дѣло. А судя по тому, что есть, непріятель вошелъ въ городъ не съ большимъ запасомъ; тѣлѣтъ что-то было съ нимъ немного. Народъ въ городѣ голодный, стало быть, все съѣсть духомъ, да и конямъ тоже сѣна... ужъ я не знаю, развѣ съ неба кинетъ имъ на вилы какой-нибудь ихъ святой... только про это еще Богъ знаетъ; а ксензы-то ихъ горады на одни слова. За тѣмъ, или за другимъ, а ужъ они выйдутъ изъ города. Раздѣляйся же на три кучи и становись на три дороги передъ тремя воротами. Передъ главными воротами пять куреней, передъ другими по три куреня. Дядькивскій и Корсунскій курень на засаду! Полковникъ Тарасъ съ полкомъ на засаду! Тытаревскій и Тымошевскій³ курень на запасъ съ праваго бока обоза! Щербиневскій и Стебликивскій верхній — съ лѣваго боку! Да выйдите изъ ряду, молодцы, которые позубастѣй на слово, заирать непріятеля! У ляха пустоголовая натура: брани не вытерпитъ; и, можетъ быть, сегодня же всѣ они выйдутъ изъ воротъ. Куренные атаманы, перегляди всякій⁴ курень свой: у кого недочетъ, пополни его остатками⁵ Переяславскаго. Перегляди все снова! Дать на опохмѣлъ всѣмъ по чаркѣ и по хлѣбу на козака! Только, вѣрно, всякій еще вчерашнимъ сытъ, ибо, некуда дѣтъ правды, понаѣдались⁶ всѣ такъ, что дивлюсь, какъ ночью никто не лопнулъ. Да вотъ еще одинъ наказъ: если кто-нибудь, шинкаръ жидъ, продастъ козаку хоть одинъ кучоль сивухи, то я прибью ему на самый лобъ свиное ухо, собакѣ, и повѣшу ногами вверхъ! За работу же, братцы! За работу!“

Такъ распоряжалъ⁷ кошевой, и всѣ поклонились ему въ поясъ и, не надѣвая шапокъ, отправились по⁸ своимъ возамъ и таборамъ и, когда уже совсѣмъ далеко отошли, тогда только надѣли шапки. Всѣ начали снаряжаться: пробовали сабли и палаши, насыпали порохъ изъ мѣшковъ въ пороховницы, откатывали и становили возы и выбирали коней.

Уходя къ своему полку, Тарасъ думалъ и не могъ приду-

мать, куда бы дѣвался Андрій: „полонили ли его вмѣстѣ съ другими и связали соннаго? только нѣтъ, не таковъ Андрій, чтобы отдался живымъ въ плѣнь“. Между убитыми козаками тоже не было его видно. Задумался крѣпко Тарасъ и шелъ передъ полкомъ, не слыша, что его давно называлъ кто-то по имени. „Кому нужно меня?“ сказалъ онъ наконецъ, очнувшись. Предъ нимъ стоялъ жидъ Янкель.

„Панъ полковникъ, панъ полковникъ!“ говорилъ жидъ поспѣшнымъ и прерывистымъ голосомъ, какъ будто бы хотѣлъ объявить дѣло не совсѣмъ пустое. „Я былъ въ городѣ, панъ полковникъ!“

Тарасъ посмотрѣлъ на жида и подивился тому, что онъ уже успѣлъ побывать въ городѣ. „Какой же врагъ тебя занесъ туда?“

„Я тотчасъ расскажу“, сказалъ Янкель. „Какъ только услышалъ я на зарѣ шумъ, и козаки стали стрѣлять, я ухватилъ кафтанъ и, не надѣвая его, побѣжалъ туда бѣгомъ; дорогою уже надѣлъ его въ рукава, потому что хотѣлъ поскорѣй узнать, отчего шумъ, отчего козаки на самой зарѣ стали стрѣлять. Я взялъ и прибѣжалъ къ самымъ городскимъ воротамъ, въ то время, когда послѣднее войско входило въ городъ. Гляжу — впереди отряда панъ хорунжій, Гаяндовичъ. Онъ человекъ мнѣ знакомый: еще съ третьяго года задолжалъ сто червонныхъ. Я за нимъ, будто бы за тѣмъ, чтобы выправить съ него долгъ, и вошелъ вмѣстѣ съ ними¹ въ городъ“.

„Какъ же ты вошелъ въ городъ, да еще и долгъ хотѣлъ выправить?“ сказалъ Бульба. „И не велѣлъ онъ тебя тутъ же повѣсить, какъ собаку?“

„А, ей Богу, хотѣлъ повѣсить“, отвѣчалъ жидъ: „уже было его слуги совсѣмъ схватили меня и закинули веревку на шею; но я взмолился папу, сказалъ, что подожду долгъ, сколько панъ хочетъ, и пообѣщавъ еще дать взаймы, какъ только поможетъ мнѣ собрать долги съ другихъ рыцарей; ибо у пана хорунжаго, — я все скажу пану, — нѣтъ и³ одного червоннаго въ карманѣ. Хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и четыре замка, и степовой земли до самаго Шклова, а грошей у него такъ, какъ у козака, ничего нѣтъ. И теперь, если бы не вооружили его бреславскіе жидаы, нѣ въ чемъ было бы ему и³ на войну выѣхать. Онъ и на сеймѣ оттого не былъ...“

„Что жъ ты дѣлалъ въ городѣ? Видѣлъ нашихъ?“

„Какъ же! Нашихъ тамъ много: Ицка, Рахумъ, Самуйло, Хайвалохъ¹, еврей арендаторъ...“

„Пропади они, собаки!“ вскрикнулъ, разсердившись, Тарасъ. „Что ты мнѣ тычешь свое жидовское племя? Я тебя спрашиваю про нашихъ запорожцевъ“.

„Нашихъ запорожцевъ не видалъ, а видалъ² одного пана Андрія“.

„Андрія видѣлъ?“ вскрикнулъ Бульба. „Что жъ ты,³ гдѣ видѣлъ его? въ подвалѣ? въ ямѣ? Обезпеченъ? связанъ?“

„Кто же бы смѣлъ связать пана Андрія? Теперь онъ такой важный рыцарь... Далибугъ, я не узналъ! И наплечники въ золотѣ, и нарукавники въ золотѣ, и зеркало въ золотѣ, и шапка въ золотѣ, и по поясу золото⁴, и вездѣ золото, и все золото. Такъ, какъ солнце взглянетъ весною, когда въ огородѣ всякая пташка пищитъ и поетъ, и травка⁵ пахнетъ, такъ и онъ весь сияетъ въ золотѣ. И коня ему далъ воевода самаго лучшаго подъ верхъ; два ста червонныхъ стодитъ одинъ конь“.

Бульба остолбенѣлъ. „Зачѣмъ же онъ надѣлъ чужое одѣянье?“

„Потому что лучше, потому и надѣлъ. И самъ развѣзжаетъ, и другіе развѣзжаютъ; и онъ учитъ, и его учатъ: какъ наибогатѣйшій польскій панъ!“

„Кто жъ его принудилъ?“

„Я жъ не говорю, чтобы его кто принудилъ. Развѣ панъ не знаетъ, что онъ по своей волѣ перешелъ къ нимъ?“

„Кто перешелъ?“

„А панъ Андрій“.

„Куда перешелъ?“

„Перешелъ на ихъ сторону; онъ ужъ теперь совсѣмъ ихній“.

„Врешь, свиное ухо!“

„Какъ же можно, чтобы я вралъ? Дуракъ я развѣ, чтобы вралъ? На свою бы голову я вралъ? Развѣ я не знаю, что жиды повѣсятъ, какъ собаку, коли онъ совретъ передъ паномъ?“

„Такъ это выходитъ, онъ, по твоему, продалъ отчизну и вѣру?“

„Я же не говорю этого, чтобы онъ продавалъ⁶ что: я сказалъ только, что онъ перешелъ къ нимъ“.

„Врешь, чортовъ жидъ! Такого дѣла не было на христіанской землѣ! Ты путаешь, собака!“

„Пусть трава поростетъ на порогѣ моего дома, если я путаю! Пусть всякій наплюетъ на могилу отца, матери, свекора, и отца отца моего¹, и отца матери моей, если я путаю. Если панъ захочетъ, я даже скажу, и отчего онъ перешелъ къ нимъ“.

„Отчего?“

„У воеводы есть дочка красавица. Святой Боже, какая красавица!“ — Здѣсь жидъ постарался, какъ только могъ, выразить въ лицѣ своемъ красоту, разставивъ руки, прищуривъ глазъ и покрывивши на бокъ ротъ², какъ будто чего-нибудь отвѣдавши.

„Ну, такъ что же изъ того?“

„Онъ для нея и сдѣлалъ все, и перешелъ. Коли человекъ влюбится, то онъ все равно, что подошва, которую коли размоchiшь въ водѣ, возьми, согни — она и согнется“.

Крѣпко задумался Бульба. Вспомнилъ онъ, что велика власть слабой женщины, что многихъ сильныхъ погубляла она, что податлива съ этой стороны природа Андрія; и стоялъ онъ долго, какъ вкопанный, на одномъ и томъ же мѣстѣ.

„Слушай, панъ, я все расскажу пану“, говорилъ жидъ. „Какъ только³ услышалъ я шумъ и увидѣлъ, что проходятъ въ городскія ворота, я схватилъ на всякій случай съ собой нитку жемчуга⁴, потому что въ городѣ есть красавицы и дворянки; а коли есть красавицы и дворянки, сказалъ я себѣ, то имъ хоть и ѣсть нечего, а жемчугъ все-таки купятъ. И какъ только хорунжаго слуги пустили меня, я побѣжалъ на воеводинъ дворъ продавать жемчугъ. Разспросилъ все у служанки татарки: „Будетъ свадьба сейчасъ, какъ только прогонять запорожцевъ. Панъ Андрій обѣщаль⁵ прогнать запорожцевъ“.

„И ты не убилъ тутъ же на мѣстѣ его, чортова сына?“ вскрикнулъ Бульба.

„За что же убить? Онъ перешелъ по доброй волѣ. Чѣмъ человекъ виноватъ? Тамъ ему лучше, туда и перешелъ“.

„И ты видѣлъ его въ самое лицо?“

„Ей Богу, въ самое лицо! Такой славный вояка! Всѣхъ взрачнѣй. Дай ему Богъ здоровья, меня тотчасъ узналъ; и когда я подошелъ къ нему, тотчасъ сказалъ...“

„Что жъ онъ сказалъ?“

„Онъ сказалъ, — прежде кивнулъ пальцемъ, а потомъ уже сказалъ: „Янкель!“ А я: „панъ Андрій!“ говорю. „Янкель! скажи отцу, скажи брату, скажи козакамъ, скажи запорож-

цамъ, скажи всѣмъ, что отецъ теперь не отецъ мнѣ, братъ не братъ, товарищъ не товарищъ, и что я съ ними буду биться со всѣми, со всѣми буду биться!“

„Врешь, чортовъ Іуда!“ закричалъ, вышедъ изъ себя, Тарась. „Врешь, собака! Ты и Христа распялъ, проклятый Богомъ человѣкъ! Я тебя убью, сатана! Утекай отсюда, не то — тутъ же тебѣ и смерть!“ Сказавши¹ это, Тарась выхватила свою саблю. Испуганный жидъ припустился тутъ же во всѣ лопатки, какъ только могли вынести его тонкія, сухія икры. Долго еще бѣжалъ онъ безъ оглядки между козацкимъ таборомъ и потомъ далеко по всему чистому полю, хотя Тарась вовсе не гнался за нимъ, размысливъ, что неразумно вымещать запальчивость на первомъ подвернувшемся.

Теперь припомнилъ онъ, что видѣлъ въ прошлую ночь Андрія, проходившаго по табору съ какой-то женщиною, и поникъ сѣдою головою; а все еще не хотѣлъ вѣрить, чтобы могло случиться такое позорное дѣло и чтобы собственный сынъ его продалъ вѣру и душу.

Наконецъ повелъ онъ свой полкъ въ засаду и скрылся съ нимъ за лѣсомъ, который одинъ былъ не выжженъ еще козаками. А запорожцы, и пѣшіе и конные, выступали на три дороги къ тремъ воротамъ. Одинъ за другимъ валили курени: Уманскій, Поповичевскій, Каневскій, Стебликивскій, Незамайковскій, Гургузивъ, Тытаревскій, Тымошевскій. Одного только Переяславскаго не было. Крѣпко курнули козаки его, и прокурили свою долю. Кто проснулся связанный² во вражьихъ рукахъ, кто, и совсѣмъ не просыпаясь, сонный, перешелъ въ сырую землю, и самъ атаманъ Хлибъ, безъ шароваръ и верхняго убранства, очутился въ ляхскомъ стану³.

Въ городѣ слышали козацкое движеніе. Всѣ высыпали на валъ, и предстала предъ козаковъ живая картина: польскіе витязи, одинъ другаго красивѣй, стояли на валу. Мѣдныя шапки сіяли, какъ солнца⁴, оперенныя бѣлыми, какъ лебедь, перьями. На другихъ были легкія шапочки, розовыя и голубыя, съ перегнутыми на бекрень верхами; кафтаны съ откидными рукавами, шитые золотомъ и просто выложенные шнурками; у тѣхъ сабли и оружья⁵ въ дорогихъ оправкахъ, за которыя дорого приплачивали⁶ паны, — и много было всякихъ другихъ убранствъ. Напередѣ стоялъ спѣсиво, въ красной

шапкѣ, убранной золотомъ, буджаковскій полковникъ. Грузенъ былъ полковникъ, всѣхъ выше и толще, и широкій дорогой кафтанъ насилу¹ облакалъ его. На другой сторонѣ, почти къ боковымъ воротамъ, стоялъ другой полковникъ, небольшой человекъ, весь высохшій; но малыя зоркія очи глядѣли живо изъ-подъ густо выросшихъ бровей, и оборачивался онъ скоро на всѣ стороны, указывая бойко тонкою, сухою рукою своею, раздавая приказанья; видно было, что, не смотря на малое тѣло свое, зналъ онъ хорошо ратную науку. Недалеко отъ него стоялъ хорунжій, длинный, длинный, съ густыми усами, и, казалось, не было у него недостатка въ краскѣ на лицѣ: любилъ панъ крѣпкіе меды и добрую пирушку. И много было видно за ними всякой шляхты, вооружившейся, кто на свои червонцы, кто на королевскую казну, кто на жидовскія деньги, заложивъ все, что ни нашлось въ дѣдовскихъ замкахъ. Не мало было и всякихъ сенаторскихъ нахлѣбниковъ, которыхъ брали съ собою сенаторы на обѣды для почета, которые крали со стола и изъ буфетовъ серебряные кубки и, послѣ сегоднешняго почета, на другой день садились на козлы править конями у какого-нибудь пана. Всякихъ было тамъ². Иной разъ и выпить было не на что, а на войну всѣ принарядились.

Козацкіе ряды стояли тихо передъ стѣнами. Не было на нихъ³ ни на комъ золота; только развѣ кое-гдѣ блестяло оне на сабельныхъ рукоятяхъ и ружейныхъ оправахъ. Не любили козаки богато наряжаться на битвахъ; простыя были на нихъ кольчуги и свиты, и далеко чернѣли и червонѣли черныя червоноверхія бараньи ихъ шапки.

Два козака выѣхало⁴ впередъ изъ запорожскихъ рядовъ: одинъ еще совсѣмъ молодой, другой постарѣе, оба зубастые на слова, на дѣлѣ тоже не плохіе козаки: Охримъ Нашъ и Мыкыта Головопытенко. Слѣдомъ за ними выѣхалъ и Демидъ Поповичъ, коренастый козакъ, уже давно маячившій на Сѣчи⁵, бывшій подъ Адрианополемъ и много натерпѣвшійся⁶ на вѣку своемъ: горѣлъ въ огнѣ и прибѣжалъ на Сѣчь съ обсмоленной, почернѣвшею головою и выгорѣвшими⁷ усами; но раздобрѣлъ вновь Поповичъ, пустилъ за ухо оселедецъ, выростилъ усы густые и черные, какъ смоль. И крѣпокъ былъ на ѣдкое слово Поповичъ.

„А, красные жупаны на всемъ войскѣ, да хотѣль бы я знать, красная ли сила у войска?“

„Вотъ я васъ!“ кричалъ сверху дюжій полковникъ: „всѣхъ перевяжу! Отдавайте, холопы, ружья и коней. Видѣли, какъ перевязалъ я вашихъ? Выведите имъ на валъ запорожцевъ!“

И вывели на валъ скрученныхъ веревками запорожцевъ. Впереди ихъ былъ куренный атаманъ Хлибъ, безъ шароваръ и верхняго убранства, — такъ, какъ схватили его хмельнаго. Потупилъ¹ въ землю голову атаманъ, стыдясь наготы своей передъ своими же козаками и того, что попалъ въ плѣнъ, какъ собака, сонный. И въ одну² ночь посѣдѣла крѣпкая голова его.

„Не печалься, Хлибъ! Выручимъ!“ кричали ему снизу козаки.

„Не печалься, друзьяка!“³ отозвался куренный атаманъ Бородатый: „въ томъ нѣтъ вины твоей, что схватили тебя нагого: бѣда можетъ быть со всякимъ человѣкомъ; но стыдно имъ, что выставили тебя на позоръ, не прикрывши прилично наготы твоей“.

„Вы, видно, на сонныхъ людей храброе войско?“ говорилъ, поглядывая на валъ, Голокопытенко⁴.

„Вотъ, погодите, обрѣжемъ мы вамъ чубы!“ кричали имъ сверху.

„А хотѣль бы я поглядѣть, какъ они намъ обрѣжутъ чубы!“ говорилъ Поповичъ, поворотившись передъ ними на конѣ, и потомъ, поглядѣвши на своихъ, сказалъ: „А что жъ! Можетъ быть, ляхи и правду говорятъ: коли выведетъ ихъ вонъ тотъ пузатый, имъ всѣмъ будетъ добрая защита“.

„Отчего жъ ты думаешь, будетъ имъ добрая защита?“ сказали козаки, зная, что Поповичъ вѣрно уже готовился что-нибудь отпустить⁵.

„А оттого, что позади его упрячется все войско, и ужъ чорта съ два изъ-за его пуза достанешь котораго нибудь копьемъ!“

Всѣ засмѣялись козаки; и долго многіе изъ нихъ еще показывали головою, говоря: „Ну ужъ Поповичъ! Ужъ коли кому закрутить слово, такъ только ну...“ — Да ужъ и не сказали козаки, что такое „ну“.

„Отступайте, отступайте скорѣй отъ стѣны!“ закричалъ кошевой; ибо ляхи, казалось, не выдержали бѣднаго слова, и полковникъ махнулъ ружьемъ.

Едва только посторонились козаки, какъ грянули съ валу¹ картечью. На валу засуетились², показался самъ сѣдой воевода на конѣ. Ворота отворились, и выступило войско. Впереди выѣхали ровнымъ коннымъ строемъ шитые³ гусары, за ними кольчужники, потомъ латники съ копьями, потомъ всѣ въ мѣдныхъ шапкахъ, потомъ ѣхали особнякомъ лучшіе шляхтичи, каждый одѣтый по своему. Не хотѣли гордые шляхтичи вмѣшаться въ ряды съ другими, и у котораго не было команды, тотъ ѣхалъ одинъ съ своими слугами. Потомъ опять ряды, и за ними выѣхалъ хорунжій; за нимъ опять ряды, и выѣхалъ дюжій полковникъ; а позади всего уже войска выѣхалъ послѣднимъ низенькій полковникъ.

„Не давать имъ! Не давать имъ строиться и становиться въ ряды!“ кричалъ кошевой. „Разомъ напирайте на нихъ всѣ курени! Оставляйте всѣ⁴ прочія ворота! Тытаревскій курень, нападай съ боку! Дядькивскій курень, нападай съ другаго! Напирайте на тылъ, Кукубенко и Палывода! Мѣшайте, мѣшайте и розните ихъ!“

И ударили со всѣхъ сторонъ козаки, сбили и смѣшали ляховъ⁵, и сами смѣшались. Не дали даже и стрѣльбы произвести; пошло дѣло на мечи, да на копыя. Всѣ сбились въ кучу и каждому привелъ случай показать себя.

Демида Поповичъ трехъ закололъ простыхъ, и двухъ лучшихъ шляхтичей сбиль съ коней, говоря: „Вотъ добрые кони! Такихъ коней я давно хотѣлъ достать“. И выгналъ коней далеко въ поле, крича стоявшимъ козакамъ перенять ихъ. Потомъ вновь пробился въ кучу, напалъ опять на сбитыхъ съ коней шляхтичей: одного убилъ, а другому накиннулъ арканъ на шею, привязалъ къ сѣдлу и поволокъ его по всему полю, снявши⁶ съ него саблю съ дорогою рукоятью и отвязавши⁷ отъ пояса цѣлый черенокъ съ червонцами.

Кобита, добрый козакъ и молодой еще, схватился тоже съ однимъ изъ храбрѣйшихъ въ польскомъ войскѣ, и долго бились они. Сошлись уже въ рукопашный. Одолѣлъ было уже козакъ и, сломивши, ударилъ вострымъ⁸ турецкимъ ножомъ въ грудь; но не уберется самъ: тутъ же въ високъ хлопнула его горячая пуля. Свалилъ его знатнѣйшій изъ пановъ, красивѣйшій и древняго княжескаго роду⁹ рыцарь. Какъ стройный тополь, носился онъ на булапомъ конѣ своемъ. И много у же

показаль боярской богатырской удали: двухъ запорожцевъ зарубилъ на двое; Федора Коржа, добраго козака, опрокинулъ вмѣстѣ съ конемъ, выстрѣлилъ по коню и¹ козака досталь изъ-за коня копьемъ; многимъ отнесъ² головы и руки и³ повалилъ козака Кобиту, вогнавши ему пулю въ високъ.

„Вотъ съ кѣмъ бы я хотѣлъ попробовать силы!“ закричалъ Незамайковскій куренный атаманъ Кукубенко. Припустивъ коня, налетѣлъ прямо ему въ тылъ и сильно вскрикнулъ, такъ что вздрогнули всѣ близъ стоявшіе отъ нечеловѣческаго⁴ крика. Хотѣлъ было поворотить вдругъ своего коня ляхъ и стать ему въ лицо; но не послушался конь: испуганный страшнымъ крикомъ метнулся на сторону, и досталь его ружейною пулею Кукубенко. Вошла въ спинныя лопатки ему горячая пуля, и свалился онъ съ коня. Но и тутъ не поддался ляхъ, все еще силится нанести врагу ударъ, но ослабѣла упавшая вмѣстѣ съ саблею рука. А Кукубенко, взявъ въ обѣ руки свой тяжелый палашь, вогналъ его ему въ самыя побѣдѣвшія уста: вышибъ два сахарные зуба палашь, разсѣкъ на двое языкъ, разбилъ горловой позвонокъ и вошелъ далеко въ землю. Такъ и пригвоздилъ онъ его тамъ на вѣки къ сырой землѣ. Ключемъ хлынула вверхъ алая, какъ надрѣчная калина, высокая дворянская кровь, и выкрасила весь, обшитый золотомъ, желтый кафтанъ его⁵. А Кукубенко уже кинулъ его и пробился съ своими Незамайковцами въ другую кучу.

„Эхъ, оставилъ неприбраннымъ такое дорогое убранство!“ сказалъ Уманскій куренный Бородатый, отбѣхавши⁶ отъ своихъ къ мѣсту, гдѣ лежалъ убитый Кукубенкомъ шляхтичъ. „Я семерыхъ убилъ шляхтичей своею рукою, а такого убранства еще не видѣлъ ни на комъ“. И польстился корыстью Бородатый: нагнулся, чтобы снять съ него дорогіе доспѣхи, вынулъ уже турецкій ножъ въ оправѣ изъ самоцвѣтныхъ каменьевъ, отвязаль отъ пояса черенокъ съ червонцами, снялъ съ груди сумку съ тонкимъ бѣльемъ, дорогимъ серебромъ и дѣвическою кудрею, сохранно сберегавшеюся на память. И не услышалъ Бородатый, какъ налетѣлъ на него сзади красноносый хорунжий, уже разъ⁷ сбитый имъ съ сѣдла⁸ и получившій добрую зазубрипу на память. Размахнулся онъ со всего плеча и ударилъ его саблей по нагнувшейся шеѣ. Не къ добру повела корысть козака⁹: отскочила могучая голова и упаль обезглавленный

трупъ, далеко вокругъ¹ оросивши землю. Понеслась къ вышинамъ суровая козацкая душа, хмурясь и негодуя, и вмѣстѣ съ тѣмъ дивуясь, что такъ рано вылетѣла изъ такого крѣпкаго тѣла. Не успѣлъ хорунжій ухватить за чубъ атаманскую голову, чтобы привязать ее къ сѣдлу, а ужъ былъ тутъ суровый мститель.

Какъ плавающий въ небѣ астребъ, давши много круговъ сильными крыльями, вдругъ останавливается распластанный на одномъ мѣстѣ² и бьетъ оттуда стрѣлой на раскричавшагося у самой дороги самца перепела: такъ Тарасовъ сынъ, Остапъ, налетѣлъ вдругъ на хорунжаго и съ разу накиннулъ ему на шею веревку. Побагровѣло еще сильнѣе красное лицо хорунжаго, когда затянула ему горло жестокая петля: схватился онъ было за пистолеть, но судорожно сведенная рука не могла направить выстрѣла и пуля даромъ полетѣла въ поле³. Остапъ тутъ же, у его же сѣдла, отвязалъ шелковый шнуръ, который возилъ съ собою хорунжій для вязанія плѣнныхъ, и его же шнуромъ связалъ его по рукамъ и по ногамъ, прицѣпивъ конецъ веревки къ сѣдлу и поволокъ его черезъ поле, сзывая громко всѣхъ козаковъ Уманскаго куреня, чтобы шли отдать послѣднюю честь атаману.

Какъ услышали Уманцы, что куреннаго ихъ атамана Бородатаго нѣтъ уже въ живыхъ, бросали поле битвы и приближали прибрать⁴ его тѣло; и тутъ же стали совѣщаться, кого выбрать въ куренные. Наконецъ сказали: „Да на чтѣ совѣщаться? Лучше не можно поставить въ куренные, какъ Бульбенка Остапа⁵: онъ, правда, младшій всѣхъ насъ, но разумъ у него, какъ у стараго человѣка“.

Остапъ, снявъ шапку, всѣхъ поблагодарилъ козаковъ товарищей за честь, не сталъ отговариваться ни молодостью, ни молодымъ разумомъ, зная, что время военное и не до того теперь, а тутъ же повелъ ихъ прямо на кучу и ужъ показалъ имъ всѣмъ, что не даромъ выбрали его въ атаманы. Почувствовали ляхи, что уже становилось дѣло слишкомъ жарко, отступили и перебѣжали поле, чтобъ собраться на другомъ концѣ его. А низенькій полковникъ махнулъ на стоявшія отдѣльно у самыхъ воротъ четыре свѣжія сотни; и грянули оттуда картечью въ козацкія кучи; но мало кого достали: пули хватили по быкамъ козацкимъ, дико глядѣвшимъ на битву. Взревѣли испуганные быки, поворотили на козацкіе таборы, переломали

возы и многих перетоптали. Но Тарасъ въ это время, вырвавшись изъ засады съ своимъ полкомъ, съ крикомъ бросился на переймы¹. Поворотило² назадъ все бѣшеное стадо, испуганное крикомъ и метнулось на ляхскіе полки, опрокинуло конницу, всѣхъ смяло и разсыпало.

„О, спасибо вамъ, волю!“ кричали запорожцы: „служили все походную службу, а теперь и военную сослужили!“ И ударили съ новыми силами на непріятеля. Много тогда перебили враговъ. Многие показали себя: Метелиця, Шило, оба Писаренки, Вовтузенко, и не мало было всякихъ другихъ³. Увидѣли ляхи, что плохо наконецъ приходитъ, выкинули хоругвь и закричали отворять городскія ворота. Со скрипомъ⁴ отворились обитыя желѣзомъ ворота и приняли толпившихся, какъ овецъ въ овчарню, изнуренныхъ и покрытыхъ пылью всадниковъ. Многие изъ запорожцевъ погнались было за ними, но Остапъ своихъ Уманцевъ остановилъ, сказавши: „Подальше, подальше, паны братья, отъ стѣнъ! Не годится близко подходить къ нимъ“. И правду сказалъ, потому что со стѣнъ гранули⁵ и посыпали всѣмъ, чѣмъ ни попало, и многимъ досталось. Въ это время подѣхалъ кошевой и похвалилъ Остапа, сказавши: „Вотъ и новый атаманъ, а ведетъ войско такъ, какъ бы и старый!“ Оглянулся старый Бульба поглядѣть, какой тамъ новый атаманъ, и увидѣлъ, что впереди всѣхъ Уманцевъ сидѣлъ на конѣ Остапъ, и шапка заломлена на бекрень, и атаманская палица въ рукѣ. „Вишь ты какой!“ сказалъ онъ, глядя на него; и обрадовался старый и сталъ благодарить всѣхъ Уманцевъ за честь, оказанную сыну.

Козаки вновь отступили, готовясь итти къ таборамъ, а на городскомъ валу вновь показались ляхи, уже съ изорванными епанчами. Запеклася кровь на многихъ дорогихъ кафтанахъ, и пылью покрылися красивыя мѣдныя шапки.

„Что, перевязали?“ кричали имъ снизу запорожцы.

„Вотъ я васъ!“ кричалъ все также сверху толстый полковникъ, показывая веревку; и все еще не переставали грозить запыленные, изнуренные воины, и всѣ, бывшіе позадориѣ, перекинулись съ обѣихъ сторонъ бойкими словами⁶.

Наконецъ, разошлись всѣ. Кто расположился отдыхать, истомившись⁷ отъ боя; кто присыпалъ землей свои раны и дралъ на перевязки платки и дорогія одежды, снятыя съ убитого не-

пріятеля. Другіе же, которые были посвѣжѣе, стали прибирать тѣла и отдавать имъ послѣднюю почесть: палашами, копьями копали могилы; шапками, полами выносили землю; сложили честно козацкія тѣла и засыпали ихъ свѣжею землею, чтобы не досталось вѣронамъ и хищнымъ орламъ выклевать¹ имъ очи. А ляхскія тѣла, увязавши², какъ попало, десятками къ хвостамъ дикихъ коней, пустили ихъ по всему полю, и долго потомъ гнались за ними и хлестали ихъ по бокамъ. Летѣли бѣшеные кони по бороздамъ, буграмъ, черезъ рвы и протоки, и бились о землю покрытые кровью и прахомъ ляхскіе трупы.

Потомъ сѣли кругами всѣ курени вечерять³ и долго говорили о дѣлахъ и подвигахъ, доставшихся въ удѣлъ каждому, на вѣчный разсказъ пришельцамъ и потомству. Долго не ложились они; а долѣе всѣхъ не ложился старый Тарасъ, все размышляя, что бы значило, что Андрія не было между вражнихъ воевъ. Посовѣстился ли Іуда выйти противу своихъ, или обманулъ жидъ и попался онъ, просто, въ неволю. Но тутъ же вспомнилъ онъ, что не въ мѣру было наклончиво сердце Андрія на женскія рѣчи, почувствовалъ скорбь и заклился сильно въ душѣ противъ полячки, причаровавшей его сына. И выполнилъ бы онъ свою клятву: не поглядѣлъ бы на ея красоту, вытащилъ бы ее за густую, пышную косу, поволокъ бы ее за собою по всему полю между всѣхъ козаковъ. Избились бы о землю, окровавившись и покрывшись пылью, ея чудныя груди и плечи, блескомъ равныя нетающимъ снѣгамъ, что покрываютъ⁴ горныя вершины. Разнесъ бы по частямъ онъ ея пышное, прекрасное тѣло. Но не вѣдалъ Бульба того, что готовить Богъ человѣку завтра, и сталъ позабываться сномъ и наконецъ заснулъ. А козаки все еще говорили промежь собой, и всю ночь стояла у огней, приглядываясь пристально во всѣ концы, трезвая, не смыкавшая очей стража.

VIII.

Еще солнце не дошло до половины неба, какъ всѣ запорожцы собрались въ круги⁵. Изъ Сѣчи пришла вѣсть, что татары, во время отлучки козаковъ, ограбили въ ней все, вырыли

скарбъ, который втайнѣ держали козаки подъ землею, избили и забрали въ плѣнъ всѣхъ, которые оставались, и со всѣми забранными стадами и табунами направили путь прямо къ Перекопу. Одинъ только козакъ, Максимъ Голодуха, вырвался дорогою изъ татарскихъ рукъ, закололъ мирзу, отвязалъ у него мѣшокъ съ цехинами и на татарскомъ конѣ, въ татарской одеждѣ, полтора дня и двѣ ночи уходилъ отъ погони, загналъ на смерть коня, пересѣлъ дорогою¹ на другаго, загналъ и того, и уже на третьемъ прѣѣхалъ въ запорожскій таборъ, развѣдавъ на дорогѣ, что запорожцы были подъ Дубномъ. Только и успѣлъ объявить онъ, что случилось такое зло; но отчего оно случилось, курнули ли оставшіеся запорожцы, по козацкому обычаю, и пьяными отдались въ плѣнъ, и какъ узнали татары мѣсто, гдѣ былъ зарытъ войсковою скарбъ — того² ничего не сказалъ онъ. Сильно истомился козакъ, распухъ весь, лицо пожгло и опалило ему вѣтромъ; упалъ онъ тутъ же и заснулъ крѣпкимъ сномъ.

Въ подобныхъ случаяхъ водилось у запорожцевъ гнаться въ ту жъ минуту за похитителями, стараясь настигнуть ихъ на дорогѣ, потому что плѣнные какъ разъ могли очутиться на базарахъ Малой Азіи, въ Смирнѣ, на Критскомъ островѣ³, и Богъ знаетъ, въ какихъ мѣстахъ не показались бы чубатая запорожскія головы. Вотъ отчего собрались запорожцы. Всѣ до одинаго стояли они въ шапкахъ, потому что пришли не съ тѣмъ, чтобы слушать по начальству атаманскій приказъ, но совѣщаться, какъ равные между собою. „Давай совѣтъ прежде старшіе!“ закричали въ толпѣ. „Давай совѣтъ кошевой!“ говорили другіе.

И кошевой снялъ⁴ шапку, ужъ не такъ, какъ начальникъ, а какъ товарищъ, благодарилъ всѣхъ козаковъ за честь и сказалъ: „Много между нами есть старшихъ и совѣтомъ умнѣйшихъ, но коли меня почтили, то мой совѣтъ: не терять, товарищи, времени и гнаться за татаринომъ; ибо вы сами знаете, что за человекъ татаринъ: онъ не станетъ съ награбленнымъ добромъ ожидать нашего прихода, а мигомъ размытарить его, такъ что и слѣдовъ не найдешь. Такъ мой совѣтъ: итти. Мы здѣсь уже погуляли. Ляхи знаютъ, что такое козаки; за вѣру, сколько было по силамъ, отместили; корысти же съ голоднаго города немного. И такъ мой совѣтъ — итти“.

„Итти!“ раздалось голосно¹ въ запорожскихъ куреняхъ. Но Тарасу Бульбѣ не пришлись по душѣ такіа слова, и навѣсялъ онъ еще ниже на очи свои хмурья², изчерна-бѣлыя брови, подобныя кустамъ, выросшимъ³ по высокому темени горы, которыхъ верхушки вплотъ занесъ иглистый сѣверный иней.

„Нѣтъ, не правъ совѣтъ твой, кошевой!“ сказалъ онъ. „Ты не такъ говоришь: ты позабылъ, видно, что въ плѣну остаются наши, захваченные ляхами? Ты хочешь, видно, чтобъ мы не уважили перваго святаго закона товарищества, оставили бы собратьевъ своихъ на то, чтобы съ нихъ съ живыхъ содрали кожу, или, исчетвертовавъ на части козацкое ихъ тѣло, развозили бы ихъ по городамъ и селамъ, какъ уже сдѣлали они⁴ съ гетьманомъ и лучшими русскими витязями на Украинѣ. Развѣ мало они поругались и безъ того надъ святынею? Чтò жъ мы такое? спрашиваю я всѣхъ васъ. Чтò жъ за козакъ тотъ, который кинулъ въ бѣдѣ товарища, кинулъ его, какъ собаку, пропасть на чужбинѣ? Коли ужъ на то пошло, что всякій ни во что ставить козацкую честь, позволивъ себѣ плюнуть въ сѣдые усы свои и попрекнуть⁵ себя обиднымъ словомъ, такъ не укорить же никто меня. Одинъ остаюсь!“

Поколебались всѣ стоявшіе запорожцы.

„А развѣ ты позабылъ, бравый полковникъ“, сказалъ тогда кошевой: „что у татаръ въ рукахъ тоже наши товарищи, что если мы теперь ихъ не выручимъ, то жизнь ихъ будетъ продана на вѣчное невольничество язычникамъ, чтò хуже всякой лютой смерти? Позабылъ развѣ, что у нихъ теперь вся казна наша, добытая христіанскою кровью?“

Задумались всѣ козаки и не знали, чтò сказать. Никому не хотѣлось изъ нихъ заслужить обидную славу. Тогда вышелъ впередъ всѣхъ старѣйшій годами во всемъ запорожскомъ войскѣ Касьянъ Бовдогъ. Въ чести былъ онъ отъ всѣхъ козаковъ⁶; два раза уже былъ избираемъ кошевымъ и на войнахъ тоже былъ сильно добрый козакъ, но уже давно состарѣлся и не бывалъ ни въ какихъ походахъ; не любилъ тоже и совѣтовъ давать никому, а любилъ старый вояка⁷ лежать на боку у козацкихъ круговъ, слушая рассказы про всякіе бывалые случаи и козацкіе походы. Никогда не вмѣшивался онъ въ ихъ рѣчи, а все только слушалъ, да прижималъ пальцемъ золу въ своей коротенькой трубкѣ⁸, которой не выпускалъ изъ рта, и долго

сидѣлъ онъ потомъ, прижмуривъ слегка очи, и не знали козаки, спалъ ли онъ, или все еще слушалъ. Всѣ походы оставался онъ дома; но сей разъ¹ разобрало стараго. Махнулъ рукою по козацки и сказалъ: „А не куды пошло!² Пойду и я: можетъ, въ чемъ-нибудь буду пригоденъ козачеству!“ Всѣ козаки притихли, когда выступилъ онъ теперь передъ собраніе, ибо давно не слышали отъ него никакого слова. Всякій хотѣлъ знать, чтò скажетъ Бовдюгъ.

„Пришла очередь и³ мнѣ сказать слово, паны братья!“ такъ онъ началъ. „Послушайте, дѣти, стараго. Мудро сказалъ кошевой; и, какъ голова козацкаго войска, обязанный приберегать его и пещись⁴ о войсковомъ скарбѣ, мудрѣе ничего онъ не могъ сказать. Вотъ что! Это пусть будетъ первая моя рѣчь! А теперь послушайте, чтò скажетъ моя другая рѣчь. А вотъ чтò скажетъ моя другая рѣчь: большую правду сказалъ и Тарасъ, полковникъ, дай, Боже,⁵ ему побольше вѣку, и чтобъ такихъ полковниковъ было побольше на Украинѣ! Первый долгъ и первая честь козака есть соблности товарищество. Сколько ни живу я на вѣку, не слышалъ я, паны братья, чтобы козакъ покинулъ гдѣ, или продалъ какъ-нибудь своего товарища. И тѣ и другіе намъ товарищи — меньше ихъ или больше, все равно, все товарищи, всѣ намъ дороги. Такъ вотъ какая моя рѣчь: тѣ, которымъ милы захваченные татарами, пусть отправляются за татарами, а которымъ милы полоненные ляхами и которымъ не хочется⁶ оставлять праваго дѣла, пусть остаются. Кошевой по долгу пойдетъ съ одною половиною за татарами, а другая половина выберетъ себѣ наказнаго атамана. А наказнымъ атаманомъ, коли хотите послушать бѣлой головы, не пригоже быть никому другому, какъ только одному Тарасу Бульбѣ. Нѣтъ изъ насъ никого равнаго ему въ доблести“.

Такъ сказалъ Бовдюгъ и затихъ; и обрадовались всѣ козаки, что навелъ ихъ такимъ образомъ на умъ старый. Всѣ вскинули вверхъ шапки и закричали: „Спасибо тебѣ, батько! Молчалъ, молчалъ, долго молчалъ, да вотъ наконецъ и сказалъ: не даромъ говорилъ, когда собирался въ походъ, что будешь⁷ пригоденъ козачеству: такъ и сдѣлалось“.

„Что, согласны вы на то?“ спросилъ кошевой.

„Всѣ согласны!“ закричали козаки.

„Стало быть, радѣ конецъ?“

„Конецъ радѣ!“ кричали козаки.

„Слушайте жъ теперь войсковаго приказа, дѣти“, сказалъ кошевой, выступилъ впередъ и надѣлъ шапку, а всѣ запорожцы, сколько ихъ ни было, сняли свои шапки и остались съ непокрытыми головами, утупивъ¹ очи въ землю, какъ бывало всегда между козаками, когда собирался что говорить старшій. „Теперь отдѣляйтесь, паны братья! Кто хочетъ итти, ступай на правую сторону; кто остается, отходи на лѣвую! Куды² бдльшая часть куреня переходить, туды³ и атаманъ⁴; коли меньшая часть переходить, приставай къ другимъ куренямъ“.

И всѣ⁵ стали переходить кто на правую, кто на лѣвую сторону. Котораго куреня бдльшая часть переходила, туда и куренный атаманъ переходилъ; котораго малая часть, та приставала⁶ къ другимъ куренямъ; и вышло безъ малаго не поровну на всякой сторонѣ. Захотѣли остаться: весь почти Незамайковскій курень, большая половина Поповичевского куреня, весь Уманскій курень, весь Каневскій курень, большая половина Стебликивскаго куреня, большая половина Тymoшевскаго куреня. Всѣ остальные вызвались итти въ догонъ⁷ за татарами. Много было на обѣихъ сторонахъ дюжихъ и храбрыхъ козаковъ. Между тѣми, которые рѣшились итти вслѣдъ за татарами, былъ Череватый, добрый старый козакъ, Покотыполе, Лемишь, Прокоповичъ Хома; Демидъ Поповичъ тоже перешелъ туда, потому что былъ сильно завятаго права козакъ, не могъ долго высидѣть на мѣстѣ: съ ляхами попробовалъ уже онъ⁸ дѣла, хотѣлось⁹ попробовать еще съ татарами. Куренные были: Ностюганъ, Покрышка, Невыличкій¹⁰, и много еще другихъ славныхъ и храбрыхъ козаковъ захотѣло попробовать меча и могучаго плеча въ схваткѣ съ татаринoмъ. Не мало было также сильно и сильно добрыхъ козаковъ между тѣми, которые захотѣли остаться: куренные Демитровичъ, Кукубенко, Вертыхвистъ, Балабанъ, Бульбенко Остапъ. Потомъ много было еще другихъ именитыхъ и дюжихъ козаковъ: Вовтузенко, Черевыченко, Степанъ Гуска, Охримъ Гуска, Мыкола Густый, Задорожній, Метелиця, Иванъ Закрутыгуба, Мосій Шило¹¹, Дегтяренко¹², Сыдоренко, Писаренко, потомъ другой Писаренко, потомъ еще Писаренко¹³, и много было другихъ добрыхъ козаковъ. Всѣ были хожалые, ѣзжалые: ходили по анатольскимъ берегамъ, по крымскимъ солончакамъ и степямъ, по всѣмъ рѣч-

камъ большимъ и малымъ, которыя впадали въ Днѣпръ, по всѣмъ заходамъ и днѣпровскимъ островамъ; бывали въ молдавской, волошской, въ турецкой землѣ; извѣздили все Черное море двухрульными козацкими челнами; нападали въ пятьдесятъ челновъ въ рядъ на богатѣйшіе и превысокіе корабли; перетопили не мало турецкихъ галеръ и много, много выстрѣляли пороху на своемъ вѣку. Не разъ драли на онучи дорогія паволоки и оксамиты; не разъ череши у штанныхъ очкуровъ набивали все чистыми цехинами. А сколько всякій изъ нихъ пропилъ и прогулялъ добра, ставшаго бы другому на всю жизнь, того и счесть нельзя¹. Все спустили по казакки, угощая весь міръ и нанимая музыку, чтобы все веселилось, что ни есть на свѣтѣ. Еще и теперь у рѣдкаго изъ нихъ не было закопано добра: кружекъ, серебряныхъ ковшей и запястьевъ, подъ камышами на днѣпровскихъ островахъ, чтобы не довелось татарину найти его, если бы, въ случаѣ несчастья, удалось ему напасть врасплохъ на Сѣчъ; но трудно было бы татарину найти его², потому что и самъ хозяинъ уже сталъ забывать, въ которомъ мѣстѣ закопалъ его. Такіе-то были козаки, захотѣвшіе остаться и отмстить ляхамъ за вѣрныхъ товарищей и Христову вѣру! Старый козакъ Бовдюгъ захотѣлъ также остаться съ ними, сказавши: „Теперь не такія мои лѣта, чтобы гопяться за татарами; а тутъ есть мѣсто, гдѣ опочить доброю козацкою смертью. Давно уже просилъ я у Бога³, чтобы, если придется кончать⁴ жизнь, то чтобы кончить ее на войнѣ за святое и христіанское дѣло. Такъ оно и случилось. Славнѣйшей кончины уже не будетъ въ другомъ мѣстѣ для стараго козака“.

Когда отдѣлились всѣ и стали на двѣ стороны въ два ряда куренями, кошевой прошелъ промежъ рядовъ и сказалъ:

„А что, панове братове, довольны одна сторона другою?“

„Всѣ довольны, батько!“ отвѣчали козаки.

„Ну, такъ поцѣлуйте же и дайте другъ другу прощанье, ибо, Богъ знаетъ, приведется ли въ жизни еще увидѣться. Слушайте своего атамана, а исполняйте то, что сами знаете: сами знаете, что велить козацкая честь“.

И всѣ козаки, сколько ихъ ни было, перецѣловались между собою. Начали первые атаманы, и, поведши рукою сѣдые усы свои, поцѣловались навкрестъ и потомъ взяли за руки и

крѣпко держали¹ руки; хотѣлъ одинъ другаго спросить: „Что, пане брате, увидимся или не увидимся?“ да и не спросили, замолчали, — и загадались обѣ сѣдья головы. А козаки всѣ до одного прощались, зная, что много будетъ работы тѣмъ и другимъ; но не повершили однакожь тотчасъ разлучиться, а повершили дожидаться темной ночной поры, чтобы не дать неприятелю увидѣть убыль въ козацкомъ войскѣ. Потомъ всѣ отправились по куренямъ обѣдать.

Послѣ обѣда всѣ, которымъ предстояла дорога, легли отдыхать и спали крѣпко и долгимъ сномъ, какъ будто чуя, что, можетъ, послѣдній сонъ доведется имъ вкусить на такой свободѣ. Спали до самаго заходу солнечнаго²; а какъ зашло солнце и немного стемнѣло, стали мазать телѣги. Снарядясь, пустили впередъ возы, а сами, пошаркавшись еще разъ съ товарищами, тихо пошли вслѣдъ за возами; конница чинно, безъ покрика и посвиста на лошадей, слегка затопотала вслѣдъ за пѣшими, и скоро³ стало ихъ не видно въ темнотѣ. Глухо отдавалась только конская топъ⁴ да скрыжь инаго колеса, которое еще не расходилось, или не было хорошо подмазано за ночную темнотою.

Долго еще остававшіеся⁵ товарищи махали имъ издали руками, хотя не было ничего видно. А когда сошли и воротились по своимъ мѣстамъ, когда увидѣли при высвѣтившихъ⁶ ясно звѣздахъ, что половины телѣгъ уже не было на мѣстѣ, что многихъ, многихъ нѣтъ, невесело стало у всякаго на сердцѣ, и всѣ задумались противъ воли, утупивъ⁷ въ землю гульвивыя свои головы.

Тарасъ видѣлъ, какъ смутны стали козацкіе ряды и какъ уныніе, неприличное храброму⁸, стало тихо обнимать козацкія головы; но молчалъ: онъ хотѣлъ дать время всему, чтобы свыклись они и съ уныньемъ, наведеннымъ⁹ прощаньемъ съ товарищами. А между тѣмъ въ тишинѣ готовился разомъ и вдругъ разбудить ихъ всѣхъ, гикнувши по козацки, чтобы вновь и съ большею силою, чѣмъ прежде, воротилась бодрость каждому въ душу, на что способна одна только славянская порода, широкая, могучая порода, передъ другими, что море передъ мелководными рѣками: коли время бурно, все превращается оно въ ревъ и громъ, бугря и подымая валы, какъ не поднять ихъ безсильнымъ рѣкамъ; коли же безвѣтренно

и тихо, яснѣ всѣхъ рѣкъ разстилаеть оно свою неоглядную¹ стеклянную² поверхность, вѣчную нѣгу очей.

И повелѣлъ Тарасъ распаковать своимъ слугамъ одинъ изъ возовъ, стоявшій особнякомъ. Больше и крѣпче всѣхъ другихъ онъ былъ въ козацкомъ обозѣ³; двойною крѣпкою шиною были обтянуты дебелыя колеса его; грузно былъ онъ навьюченъ, укрытъ попонами, крѣпкими воловьими кожами и увязанъ туго засмоленными веревками. Въ возу⁴ были все баклаги и боченки стараго добраго вина, которое долго лежало у Тараса въ погребяхъ. Взялъ онъ его про запасъ, на торжественный случай, чтобы, если случится великая минута, и будетъ всѣмъ предстоять дѣло, достойное на передачу потомкамъ, то чтобы всякому, до одинаго, козаку⁵, досталось выпить заповѣднаго вина, чтобы въ великую минуту великое бы и чувство овладѣло человѣкомъ⁶. Услышавъ полковничій приказъ, слуги бросились къ возамъ, палашами перерѣзывали крѣпкія веревки, снимали толстыя воловьи кожи и попоны и стаскивали съ воза баклаги и боченки.

„А берите всѣ“, сказалъ Бульба: „всѣ, сколько ни есть, берите, что у кого есть: ковшъ, или черпакъ, которымъ поить коня, или⁷ рукавицу, или шапку, а коли что, то и просто подставляй обѣ горсти“.

И козаки всѣ, сколько ни было ихъ⁸, брали: у кого былъ ковшъ, у кого черпакъ, которымъ поилъ коня, у кого рукавица, у кого шапка, а кто подставлялъ и такъ обѣ горсти. Всѣмъ имъ слуги Тарасовы, расхаживая промежь рядами, наливали изъ баклагъ и боченковъ. Но не приказалъ Тарасъ пить, пока не дастъ знаку⁹, чтобы выпить имъ всѣмъ разомъ. Видно было, что онъ хотѣлъ что-то сказать. Зналъ Тарасъ, что какъ ни сильно само по себѣ старое доброе вино и какъ ни способно оно укрѣпить духъ человѣка, но если къ нему да присоединится еще приличное слово, то вдвое крѣпче будетъ сила и вина и духа.

„Я угощаю васъ, паны братья! (такъ сказалъ Бульба) не въ честь того, что вы сдѣлали меня своимъ атаманомъ, какъ ни велика подобная честь, не въ честь также прощанья съ нашими товарищами: нѣтъ, въ другое время прилично то и другое; не такая теперь предъ нами минута. Передъ нами дѣла¹⁰ великаго поту, великой козацкой доблести! Итакъ, вы-

пьемъ, товарищи, разомъ выпьемъ напередъ¹ всего за святую православную вѣру: чтобы пришло наконецъ такое время, чтобы по всему свѣту разошлась и вездѣ была бы одна святая вѣра, и всѣ, сколько ни есть бусурмановъ², всѣ бы сдѣлались христіанами! Да за однимъ уже разомъ выпьемъ и за Сѣчь, чтобы долго она стояла на погибель всему бусурманству, чтобы съ каждымъ годомъ выходили изъ нея молодцы, одинъ одного лучше, одинъ одного краше³. Да уже вмѣстѣ выпьемъ и за нашу собственную славу, чтобы сказали внуки и сыны тѣхъ внуковъ, что были когда-то такіе, которые не постыдили товарищества и не выдали своихъ. Такъ за вѣру, пане-братове, за вѣру!“

„За вѣру!“ заговорили всѣ, стоявшіе въ ближнихъ рядахъ, густыми голосами. „За вѣру!“ подхватили дальніе — и все, что ни было, и старое и молодое, выпило за вѣру.

„За Сичь!“⁴ сказалъ Тарасъ и высоко поднялъ надъ головою руку.

„За Сичь!“⁵ отдалося густо въ переднихъ рядахъ. „За Сичь!“⁶ сказали тихо старые, моргнувши сѣдымъ усомъ; и, встрепенувшись, какъ молодые соколы, повторили молодые: „за Сичь!“⁷ И слышало далече поле, какъ поминали козаки свою Сичь⁸.

„Теперь послѣдній глотокъ, товарищи, за славу и всѣхъ христіанъ, какіе живутъ на свѣтѣ!“

И всѣ козаки, до послѣдняго, выпили послѣдній глотокъ за славу и всѣхъ христіанъ, какіе ни есть на свѣтѣ. И долго еще повторялось по всѣмъ рядамъ промежъ всѣми куренями: „За всѣхъ христіанъ, какіе ни есть на свѣтѣ!“

Уже пусто было въ ковшахъ, а все еще стояли козаки, поднявши руки; хоть весело глядѣли очи ихъ всѣхъ, просіявшія виномъ, но сильно загадались⁹ они. Не о корысти и военномъ прибыткѣ теперь думали они, не о томъ, кому посчастливится набрать червонцевъ, дорогаго оружья, шитыхъ кафтановъ и черкесскихъ коней; но загадались¹⁰ они, какъ орлы, сѣвшіе на вершинахъ каменистыхъ горъ, обрывистыхъ высокихъ горъ, съ которыхъ далеко видно разстилающееся безпредѣльно¹¹ море, усыпанное, какъ мелкими птицами, гале-рами, кораблями и всякими судами, огражденное по сторонамъ чуть видными тонкими поморьями, съ прибережными, какъ мошки, городами и склонившимися, какъ мелкая травка,

лѣсами. Какъ орлы, озирали они вокругъ себя очами все поле и чернѣющую вдаль судьбу свою. Будеть, будетъ все поле съ облогами и дорогами покрыто торчащими ихъ бѣлыми ко-
 стями¹, щедро обмывшись козацкою ихъ кровью и покрывшись
 разбитыми возами, расколотыми саблями и копыями; далече
 раскинутся чубатя головы съ перекрученными и запекшимися
 въ крови чубами и запущенными къ низу усами²; будутъ налетѣ-
 тѣвъ³, орлы, выдирать и выдергивать изъ нихъ козацкія очи.
 Но добро великое въ такомъ широко и вольно разметавшемся
 смертномъ нощлѣгѣ! Не погибаетъ ни одно великодушное дѣло
 и не пропадетъ, какъ малая порошинка съ ружейнаго дула,
 козацкая слава. Будеть, будетъ бандуристъ, съ сѣдою по
 грудь бороною, а можетъ, еще полный зрѣлаго мужества⁴,
 но бѣлоголовый старецъ, вѣщій духомъ, и скажетъ онъ про
 нихъ свое густое, могучее слово. И пойдетъ дыбомъ по всему
 свѣту о нихъ слава, и все, что ни народится потомъ, заго-
 ворить о нихъ: ибо далеко разносится могучее слово, будучи
 подобно гудящей колокольной мѣди, въ которую много по-
 вергнувъ мастеръ⁵ дорогаго чистаго серебра, чтобы далече по
 городамъ, лачугамъ, палатамъ и весямъ разносился красный
 звонъ, съзывая равно всѣхъ на святую молитву.

IX.

Въ городѣ не узналъ никто, что половина запорожцевъ вы-
 ступила въ погоню за татарами. Съ магистратской башни
 примѣтили только часовые, что потянулась часть возовъ за
 лѣсъ; но подумали, что козаки готовились сдѣлать засаду;
 тоже думалъ и французскій инженеръ. А между тѣмъ слова
 кошеваго не прошли даромъ, и въ городѣ оказался недоста-
 токъ въ сѣстныхъ припасахъ: по обычаю прошедшихъ вѣковъ,
 войска не разочли, сколько имъ было нужно. Попробовали
 сдѣлать вылазку, но половина смѣльчаковъ была тутъ же пере-
 бита козаками, а половина прогнана въ городъ ни съ чѣмъ.
 Жиды, однакоже, воспользовались вылазкою и пронюхали все:
 куда и зачѣмъ отправились запорожцы, и съ какими военачаль-
 ными, и какіе именно курени, и сколько ихъ числомъ,

и сколько было оставшихся на мѣстѣ, и что они думаютъ дѣлать, — словомъ, чрезъ нѣсколько уже минутъ въ городѣ все узнали. Полковники ободрились и готовились дать сраженіе. Тарасъ уже видѣлъ то по движенью и шуму въ городѣ, и расторопно хлопоталъ, строилъ, раздавалъ приказы и наказы, уставилъ въ три табора курени, обнесши ихъ возами въ видѣ крѣпостей, — родъ битвы, въ которой бывали непобѣдимы запорожцы; двумъ куренямъ повелѣлъ забраться въ засаду; убилъ часть поля острыми кольями, изломаннымъ оружіемъ, обломками копьевъ, чтобы при случаѣ нагнать¹ туда непріятельскую конницу. И когда все было сдѣлано, какъ нужно, сказалъ рѣчь козакамъ, не для того, чтобы ободрить и освѣжить ихъ — знали, что и безъ того крѣпки они духомъ — а, просто, самому хотѣлось высказать все, что было на сердцѣ.

„Хочется мнѣ вамъ сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали отъ отцовъ и дѣдовъ, въ какой чести у всѣхъ была земля наша: и Грекамъ дала знать себя, и съ Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русскаго рода, свои князья, а не католическіе недовѣрки. Все взяли бусурманы, все пропало; только остались мы, сирые, да, какъ вдовица послѣ крѣпкаго мужа, сирая такъ же, какъ и мы, земля наша! Вотъ въ какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вотъ на чемъ стоитъ наше товарищество! Нѣтъ узъ святѣе товарищества. Отецъ любить свое дитя, мать любить свое дитя, дитя любить отца и мать; но это не то, братцы: любить и звѣрь свое дитя! Но породниться родствомъ по душѣ, а не по крови, можетъ одинъ только человѣкъ. Бывали и въ другихъ земляхъ товарищи, но такихъ, какъ въ русской землѣ, не было такихъ товарищей. Вамъ случалось не одному помногу пропадать на чужбинѣ; видишь: и тамъ люди! также божій человѣкъ, и разговоришься съ нимъ, какъ съ своимъ; а какъ дойдетъ до того, чтобы повѣдать сердечное слово — видишь: нѣтъ! умные люди, да не тѣ; такіе же люди, да не тѣ! Нѣтъ, братцы, такъ любить, какъ можетъ любить² русская душа, — любить не то, чтобы умомъ или чѣмъ другимъ, а всѣмъ, чѣмъ далъ Богъ, что ни есть въ тебѣ — а!“ ... сказалъ Тарасъ, и махнулъ рукой, и потрясъ сѣдою головою, и усомъ моргнулъ, и сказалъ: „Нѣтъ, такъ любить никто не можетъ! Знаю, подло завелось теперь въ землѣ на-

шей: думаютъ только, чтобы при нихъ были хлѣбные стоги, скирды, да конные табуны ихъ, да были бы цѣлы въ погребкахъ запечатанные меду ихъ; перенимаютъ, чортъ знаетъ, какіе бусурманскіе обычаи; гнушаются языкомъ своимъ; свой съ своимъ не хочетъ говорить; свой своего продаетъ, какъ продаютъ бездушную тварь на торговомъ рынкѣ. Милость чужаго короля, да и не короля, а поскудная милость польскаго магната, который желтымъ чоботомъ своимъ бьетъ ихъ въ морду, дороже для нихъ всякаго братства¹. Но у послѣдняго подлюки, каковъ онъ ни есть, хоть весь извалялся онъ въ сажѣ и въ поклонничествѣ, есть и у того, братцы, крупица русскаго чувства; и проснется оно² когда-нибудь, — и ударится онъ, горемычный, объ полы руками; схватитъ себя за голову, проклявши громко подлюю жизнь свою, готовый муками искупить позорное дѣло. Пусть же знаютъ они всѣ, чтò такое значить въ русской землѣ товарищество! Ужъ если на то пошло, чтобы умирать, такъ никому жѣ изъ нихъ не доведется такъ умирать! никому, никому! Не хватить у нихъ на то мышинной натуры ихъ!“

Такъ говорилъ атаманъ, и, когда кончилъ рѣчь, все еще потрясалъ посеребреншеюся въ козацкихъ дѣлахъ головою. Всѣхъ, кто ни стоялъ, разобрала сильно такая рѣчь, дошедъ далеко до самаго сердца; самые старѣйшіе въ рядахъ стали неподвижны, потупивъ сѣдья головы въ землю; слеза тихо накатывалася въ старыхъ очахъ; медленно отирали они ее рукавомъ. И потомъ всѣ, какъ будто сговорившись, махнули въ одно время рукою и потрясли бывальными головами. Знать, видно, много напомнилъ имъ старый Тарасъ знакомаго и лучшаго, чтò бываетъ на сердцѣ у человѣка, умудреннаго горемъ, трудомъ, удалью и всякимъ невзгодьемъ жизни, или хотя и не познавшаго ихъ, но много почувывшаго молодою, жемчужною душою на вѣчную радость старцамъ родителямъ, родившимъ ихъ.

А изъ города уже выступало непріятельское войско, гремя³ въ литавры и трубы, и, подбоченившись, выѣзжали паны, окруженные несмѣтными слугами. Толстый полковникъ отдавалъ приказы. И стали наступать они тѣсно на козацкіе таборы, грозя, нацѣвливаясь пищалями, сверкая очами и блеща мѣдными доспѣхами. Какъ только увидѣли козаки, что подо-

шли они на ружейный выстрѣль, всѣ разомъ грянули въ семипядныя пищали и, не перерывая¹, все палили² изъ пищалей. Далеко понеслось громкое хлопанье по всѣмъ окрестнымъ полямъ и нивамъ, сливаясь въ непрерывный гулъ; дымомъ затянуло все поле; а запорожцы все палили, не переводя духу: задніе только заряжали, да передавали переднимъ, наводя изумленіе на непріятеля, не могшаго понять, какъ стрѣляли казаки, не заряжая ружей. Уже не видно было за великимъ дымомъ, обнявшимъ то и другое воинство, не видно было, какъ то одного, то другаго не ставало въ рядахъ; но чувствовали ляхи, что густо летѣли пули и жарко становилось дѣло; и когда попятились назадъ, чтобы посторониться отъ дыма² и оглядѣться, то многихъ не досчитались въ рядахъ своихъ; а у козаковъ, можетъ быть, другой-третій былъ убитъ на всю сотню. И все продолжали палить казаки изъ пищалей, ни на минуту не давая промежутка. Самъ иноземный инженеръ подивился такой, никогда имъ не виданной, тактикѣ, сказавши тутъ же при всѣхъ: „Вотъ brave молодые запорожцы! Вотъ какъ нужно биться и другимъ въ другихъ земляхъ!“ И далъ совѣтъ поворотить тутъ же на таборъ пушки. Тяжело ревнули широкими горлами чугунныя пушки; дрогнула, далеко загудѣвши⁴, земля, и вдвое больше затянуло дымомъ все поле. Почуяли запахъ пороха среди площадей и улицъ въ дальнихъ и ближнихъ городахъ. Но цѣлившіе³ взяли слишкомъ высоко, раскаленные ядра выгнули слишкомъ высокую дугу: страшно завизжавъ по воздуху, перелетѣли они черезъ головы всего табора и углубились далеко въ землю, взорвавъ и взметнувъ высоко на воздухъ черную землю. Ухватилъ себя за волосы французскій инженеръ при видѣ такого неискусства, и самъ принялся наводить пушки, не глядя на то, что жарили и сыпали пулями непрерывно казаки.

Тарасъ видѣлъ еще издали, что бѣда будетъ всему Незамайковскому и Стебликивскому куреню, и вскрикнулъ зычно: „Выбирайтесь скорѣй изъ-за воевъ и садись всякій на коня!“ Но не успѣли бы сдѣлать то и другое казаки, если бы Остапъ не ударилъ въ самую середину: выбилъ фитили у шести пушекъ, у четырехъ только не могъ выбить: отогнали его назадъ ляхи. А тѣмъ временемъ иноземный капитанъ самъ взялъ въ руку фитиль, чтобы выпалить изъ величайшей пушки, ка-

кой никто изъ козаковъ не видывалъ дотолѣ. Страшно глядѣла она широкою пастью, и тысяча смертей глядѣло оттуда. И какъ грянула она, а за нею слѣдомъ три другія, четырекратно потрясши глухо-отвѣтную землю, — много нанесли онѣ горя! Не по одному козаку взрыдаеть старая мать, ударяя себя костистыми руками въ дряхлыя перси; не одна останется вдова въ Глуховѣ, Немировѣ, Черниговѣ и другихъ городахъ. Будеть, сердечная, выбѣгать всякій день на базаръ, хватаясь за всѣхъ проходящихъ, распознавая каждаго изъ нихъ въ очи, нѣтъ ли между ихъ¹ одного, милѣйшаго всѣхъ; но много пройдетъ черезъ городъ всякаго войска и вѣчно не будетъ между ними одного, милѣйшаго всѣхъ.

Такъ, какъ будто и не бывало половины Незамайковского куреня! Какъ градомъ выбиваетъ вдругъ всю ниву, гдѣ, что полновѣсный червонецъ, красовался² всякій колось, такъ ихъ выбило и положило.

Какъ же вскинулись козаки! Какъ схватились всѣ! Какъ закипѣлъ куренный атаманъ Кукубенко, увидѣвши, что лучшей половины куреня его нѣтъ! Вбился онъ съ остальными своими Незамайковцами въ самую середину³. Въ гнѣвѣ изсѣкъ въ капусту перваго попавшагося, многихъ конниковъ сбиль съ коней⁴, доставши копьемъ и конника и коня, пробрался къ пушкарямъ и уже отбилъ одну пушку; а ужъ тамъ, видя, хлопчеть уманскій куренный атаманъ, и Степанъ Гуска уже отбиваетъ⁵ главную пушку. Оставилъ онъ тѣхъ козаковъ и поворотилъ съ своими въ другую непріятельскую гуцу: такъ гдѣ прошли Незамайковцы — такъ тамъ и улица! гдѣ поворотили⁶ — такъ ужъ тамъ и переулокъ! Такъ и видно, какъ рѣдѣли ряды и снопами валились ляхи! А у самыхъ воевъ Вовтузенко, а спереди Черевиченко, а у дальнихъ воевъ Дегтяренко, а за нимъ куренный атаманъ Вертыхвистъ. Двухъ уже шляхтичей поднялъ на копье Дегтяренко, да напалъ наконецъ на неподатливаго третьяго. Увертливъ и крѣпокъ былъ ляхъ, пышной сбруей украшенъ и пятьдесятъ однихъ слугъ привелъ съ собою. Погнулъ онъ крѣпко Дегтяренка, сбиль его на землю и уже, замахнувшись на него саблей, кричалъ: „Нѣтъ изъ васъ, собакъ козаковъ, ни одного, кто бы посмѣлъ противустать мнѣ!“

„А вотъ есть же!“ сказалъ и выступилъ впередъ Мосій

Шило. Сильный был онъ козакъ, не разъ атаманствовалъ на морѣ и много натерпѣлся всякихъ бѣдъ. Схватили ихъ турки у самаго Трапезонта и всѣхъ забрали невольниками на галеры, взяли ихъ по рукамъ и ногамъ въ желѣзные цѣпи, не давали по цѣлымъ недѣлямъ пшена и поили противной морской водою. Все выносили¹ и вытерпѣли бѣдные невольники, лишь бы не перемѣнять православной вѣры. Не вытерпѣлъ атаманъ Мосій Шило, истопталъ ногами святой законъ, скверною чалмой обвилъ грѣшную голову, вошелъ въ довѣренность къ пашѣ, сталъ ключникомъ на кораблѣ и старшимъ надъ всѣми невольниками. Много опечалились оттого бѣдные невольники, ибо знали, что если свой продасть вѣру и пристанетъ къ угнетателямъ², то тяжелѣй и горше быть подъ его рукой, чѣмъ подъ всякимъ другимъ нехристомъ³: такъ и сбылось. Всѣхъ посадилъ Мосій Шило въ новыя цѣпи по три въ рядъ, прикрутилъ имъ до самыхъ бѣлыхъ костей жестока⁴ веревки; всѣхъ перебилъ по шеямъ, угощая подзатыльниками. И когда турки, обрадовавшись, что достали себѣ такого слугу, стали пировать и, позабывъ законъ свой, всѣ перепились, онъ принесъ всѣ шестьдесятъ четыре ключа и роздалъ невольникамъ, чтобы отмыкали себя, бросали бы цѣпи и кандалы въ море, а брали бы на мѣсто того сабли, да рубили турковъ. Много тогда набрали козаки добычи и воротились со славою въ отчизну, и долго бандуристы прославляли Мосія Шила. Выбрали бы его въ кошевые, да былъ совсѣмъ чудный козакъ. Иной разъ повершалъ такое дѣло, какого мудрѣйшему⁵ не придумать, а въ другой, просто, дурь одолевала козака. Пропилъ онъ⁶ и прогулялъ все, всѣмъ задолжалъ на Сѣчи⁷ и, въ прибавку къ тому, прокрался, какъ уличный воръ: ночью утащилъ изъ чужаго куреня всю козацкую сбрую и заложилъ шинкарю. За такое позорное дѣло привязали его на базарѣ къ столбу⁸ и положили возлѣ дубину, чтобы всякій, по мѣрѣ силъ своихъ, отвѣсилъ ему по удару; но не нашлось такого изъ всѣхъ запорожцевъ, кто бы поднялъ на него дубину, помня прежнія его заслуги. Таковъ былъ козакъ Мосій Шило.

„Такъ есть же такіе, которые бьютъ васъ, собакъ!“ сказалъ онъ, кинувшись на него. И ужъ тамъ-то рубились они! И наплечники и зеркала погнулись у обоихъ⁹ отъ ударовъ.

Разрубилъ на немъ вражій ляхъ желѣзную рубашку, доставъ лезвеемъ самаго тѣла: зачервонѣла козацкая рубашка. Но не поглядѣлъ на то Шило, а замахнулся всей жилистой рукою (тяжела была коренастая рука) и оглушилъ его внезапно по головѣ. Разлетѣлась мѣдная шапка, зашатался и грянулся ляхъ; а Шило принялся рубить и крестить оглушеннаго. Не добивай, козакъ, врага, а лучше поворотись назадъ! Не поворотился козакъ назадъ, и тутъ же одинъ изъ слугъ убитаго хватилъ его ножомъ въ шею. Поворотился Шило и ужъ досталъ бы смѣльчака; но онъ пропалъ въ пороховомъ дымѣ. Со всѣхъ сторонъ поднялось хлопанье изъ самопаловъ. Пошатнулся Шило и почувалъ¹, что рана была смертельна. Упалъ онъ, наложилъ руку на свою рану и сказалъ, обратившись² къ товарищамъ: „Прощайте, паны братья, товарищи! Пусть же стоитъ на вѣчныя времена православная русская земля и будетъ ей вѣчная честь!“ И зажмурилъ ослабшія свои очи, и вынеслась козацкая душа изъ суроваго тѣла. А тамъ уже выѣзжалъ Задорожній съ своими, ломилъ ряды куренный Вертыхвистъ и выступалъ Балабанъ.

„А чтѣ, паны“, сказалъ Тарасъ, перекликнувшись съ куренными: „есть еще порохъ въ пороховницахъ? Не ослабѣла ли козацкая сила? Не гнутся ли козаки?“

„Есть еще, батъко, порохъ въ пороховницахъ; не ослабѣла еще козацкая сила; еще не гнутся козаки!“

И наперли сильно козаки: совсѣмъ смѣшали всѣ ряды. Низкорослый полковникъ ударилъ сборъ и велѣлъ выкинуть восемь малеванныхъ знаменъ, чтобы собрать своихъ, разсыпавшихся далеко по всему полю. Всѣ бѣжали ляхи къ знаменамъ; но не успѣли они еще выстроиться, какъ уже куренный атаманъ Кукубенко ударилъ вновь съ своими Незамайковцами въ середину³ и напалъ прямо на толстопузаго полковника. Не выдержалъ полковникъ и, поворотивъ коня, пустился вскачь; а Кукубенко далеко гналъ его черезъ все поле, не давъ ему соединиться съ полкомъ. Завидѣвъ то съ боковаго куреня, Степанъ Гуска пустился ему на переймы⁴, съ арканомъ въ рукѣ, пригнувши всю⁵ голову къ лошадиной шеѣ, и, улучивши время, съ одного раза накинулъ арканъ ему на шею: весь побраговѣлъ полковникъ, ухватясь за веревку обѣими руками и сисясь разорвать ее, но уже дюжій размахъ во-

гналъ ему въ самый животъ гибельную пику. Тамъ и остался онъ пригвожденный къ землѣ. Но не одобровать и Гускъ! Не успѣли оглянуться козаки, какъ уже увидѣли Степана Гуску поднятаго на четыре копыя. Только и успѣлъ сказать бѣднякъ: „Пусть же пропадутъ всѣ враги, и ликуеть вѣчные вѣки русская земля!“... И тамъ же испустилъ¹ духъ свой.

Оглянулись козаки, а ужъ тамъ съ боку козакъ Метелица² угощаетъ ляховъ, шеломя того и другаго; а ужъ тамъ съ другаго напираетъ съ своими атаманъ Невылычкій; а у воевъ ворочаетъ врага и бьетъ Закрутыгуба; а у дальнихъ воевъ третій Писаренко отогналъ уже цѣлую ватагу; а ужъ тамъ у другихъ воевъ схватились и бьются на самыхъ возахъ.

„Что, паны,“ перекликнулся атаманъ Тарась, проѣхавши впереди всѣхъ: „есть ли еще порохъ въ пороховницахъ? Крѣпка ли еще козацкая сила? Не гнутя ли еще³ козаки?“

„Есть еще, батько, порохъ въ пороховницахъ; еще крѣпка козацкая сила; еще не гнутя козаки!“

А ужъ упалъ съ воза Бовдюгъ. Прямо подъ самое сердце припалъ ему пуля; но собралъ старый весь духъ свой и сказалъ: „Не жаль разстаться съ свѣтомъ. Дай Богъ и всякому такой кончины! Пусть же славится до конца вѣка русская земля!“ И понеслась къ вышинамъ Бовдюгова⁴ душа рассказать давно отшедшимъ старцамъ, какъ умѣютъ биться на русской землѣ и, еще лучше того, какъ умѣютъ умирать въ ней за святую вѣру.

Балабанъ, куренный атаманъ, скоро послѣ того грянулся также на землю. Три смертельныя раны достались ему отъ копыя, отъ пули и отъ тяжелаго палаша. А былъ одинъ изъ доблестнѣйшихъ козаковъ; много совершилъ онъ подъ своимъ атаманствомъ морскихъ походовъ, но славнѣе всѣхъ былъ походъ къ анатольскимъ берегамъ. Много набрали они тогда цехиновъ, дорогой турецкой габы, киндяковъ и всякихъ убранствъ, но мыкнули горе на обратномъ⁵ пути: попались, сердечные, подъ турецкія ядра. Какъ хватило ихъ съ корабля, — половина челновъ закружилась и перевернулась, потопивши не одного въ воду⁶; но привязанные къ бокамъ камыши спасли челны отъ потопленія. Балабанъ отплылъ на всѣхъ веслахъ, сталъ прямо къ солнцу и чрезъ то сдѣлался невиденъ турецкому кораблю. Всю ночь потомъ черпаками и шапками выбирали они воду,

латая¹ пробитыя мѣста; изъ козацкихъ штановъ нарѣзали парусовъ, понесли и убѣжали отъ быстрѣйшаго турецкаго корабля. И мало того, что прибыли безбѣдно на Сѣчь², привезли еще златошвейную ризу архимандриту Межигорскаго кievскаго монастыря и на Покровъ, что на Запорожьѣ³, окладъ изъ чистаго серебра. И славили долго потомъ бандуристы удачливость козаковъ. — Поникнулъ онъ теперь головою, почувявъ предсмертныя муки, и тихо сказалъ: „Сдается мнѣ, паны братья, умираю хорошою смертью: семерыхъ изрубилъ, девятерыхъ копьемъ искололъ, истопталъ конемъ вдоволь, а ужъ не припомню, сколькихъ досталъ пулею. Пусть же цвѣтетъ вѣчно русская земля!...“ И отлетѣла его душа.

Козаки, козаки! не выдавайте лучшаго цвѣта вашего войска! Уже обступили Кукубенка; уже семь человѣкъ только осталось изъ всего Незамайковскаго куреня; уже и тѣ отбиваются черезъ силу; уже окровавилась на немъ одежда. Самъ Тарасъ, увидя бѣду его, поспѣшилъ на выручку. Но поздно подоспѣли козаки: уже успѣло ему углубиться подъ сердце копье прежде, чѣмъ были отогнаны обступившіе его враги. Тихо склонился онъ на руки подхватившимъ его козакамъ⁴, и хлынула ручьемъ молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли въ стеклянномъ⁵ сосудѣ изъ погреба неосторожные слуги: поскользнулись тутъ же у входа и разбили дорогую сулею: все разлилось на землю вино⁶, и схватилъ себя за голову прибѣжавшій хозяинъ, сберегавшій его про лучшій случай въ жизни⁷, чтобы, если приведетъ Богъ на старости лѣтъ встрѣтиться съ товарищемъ юности, то чтобы помянуть бы вмѣстѣ съ нимъ прежнее, иное время, когда иначе и лучше веселился человѣкъ... Повелъ Кукубенко вокругъ себя очами и проговорилъ: „Благодарю Бога, что довелось мнѣ умереть при глазахъ вашихъ, товарищи! Пусть же послѣ насъ живутъ еще лучшіе, чѣмъ мы⁸, и красуется вѣчно любимая Христомъ русская земля!..“ И вылетѣла молодая душа. Подняли ее ангелы подъ руки и понесли къ небесамъ. Хорошо будетъ ему тамъ. „Садись, Кукубенко, одесную Меня!“ скажетъ ему Христосъ: „ты не измѣнилъ товариществу, безчестнаго дѣла не сдѣлалъ, не выдалъ въ бѣдѣ человѣка, хранилъ и сберегалъ Мою церковь.“ Всѣхъ опечалила смерть Кукубенка. Уже рѣдѣли сильно козацкіе ряды; многихъ, многихъ храбрыхъ уже не досчитывались⁹; но стояли и держались еще козаки.

„А что, паны“, перекликнулся Тарасъ съ оставшимися куренями: „есть ли еще порохъ въ пороховницахъ? Не иступились ли сабли? Не утомилась ли козацкая сила? Не погнулись ли козаки?“

„Достанеть еще, батько, пороху; годятся еще сабли; не утомилась козацкая сила; не гнулись еще козаки!“

И рванулись снова козаки такъ, какъ бы и потерь никакихъ не потеряли¹. Уже три только куренныхъ атамана осталось въ живыхъ; червонѣли уже всюду красныя рѣзки; высоко гатились мосты изъ козацкихъ и вражыхъ тѣлъ. Взглянулъ Тарасъ на небо, а ужъ по небу потанулась вереница кречетовъ. Ну, будетъ кому-то пожива! А ужъ тамъ подняли на коше Метелицу; уже голова другаго Писаренка, завертѣвшись, захлопала очами; уже подломился и бухнулся о землю начетверо изрубленный Охримъ Гуска. „Ну!“ сказалъ Тарасъ и махнулъ платкомъ. Понялъ тотъ знакъ Остапъ и ударилъ сильно, вырвавшись изъ засады, въ конницу. Не выдержали сильнаго напору² ляхи, а онъ ихъ гналъ и нагналъ прямо на мѣсто, гдѣ были убиты³ въ землю колья и обломки копейвъ. Пошли спотыкаться и падать кони и летѣть черезъ ихъ головы ляхи. А въ это время Корсунцы, стоявшіе послѣдніе за возами, увидѣвши, что уже достанеть ружейная пуля, грянули вдругъ изъ самопаловъ. Всѣ сбились и растерялись ляхи, и приободрились козаки. — „Вотъ и наша побѣда!“ раздались со всѣхъ сторонъ запорожскіе голоса, затрубили въ трубы и выкинули побѣдную хоругвь. Вездѣ бѣжали и крылись разбитые ляхи. — „Ну, нѣтъ, еще не совсѣмъ побѣда!“ сказалъ Тарасъ, глядя на городскія ворота, и сказалъ онъ правду.

Отворились ворота, и вылетѣлъ оттуда гусарскій полкъ, краса всѣхъ конныхъ полковъ. Подъ всѣми всадниками были всѣ, какъ одинъ, бурые аргамаки; впереди другихъ⁴ понесся витязъ всѣхъ бойчѣ⁵, всѣхъ красивѣе; такъ и летѣли черные волосы изъ-подъ мѣдной его шапки; вился завязанный на рукѣ дорогой шарфъ, шитый руками первой красавицы. Такъ и оторопѣлъ Тарасъ, когда увидѣлъ, что это былъ Андрій. А онъ между тѣмъ, объятый пыломъ и жаромъ битвы, жадный заслужить навязанный на руку подарокъ, понесся, какъ молодой борзой песъ, красивѣйшій, быстрѣйшій и молодшій⁶ всѣхъ въ стаѣ. Агукнулъ на него опытный охотникъ — и онъ понесся, пустивъ прямой чертой по воздуху свои ноги, весь покосившись

на бокъ всѣмъ тѣломъ, взрывая снѣгъ и десять разъ выпереживая самого зайца въ жару своего бѣга. Остановился старый Тарасъ и глядѣлъ на то, какъ онъ чистилъ передъ собою дорогу, разгонялъ, рубилъ и сыпалъ удары направо и налево. Не вытерпѣлъ Тарасъ и закричалъ: „Какъ? своихъ? своихъ, чортовъ сынъ, своихъ бьешь?“ Но Андрій не различалъ, кто предъ нимъ былъ, свои или другіе какіе; ничего не видѣлъ онъ. Кудри, кудри онъ видѣлъ, длинныя, длинныя кудри и подобную рѣчному лебедю грудь, и снѣжную шею, и плечи, и все, чтò создано для безумныхъ поцѣлуевъ.

„Эй, хлопьята! заманите мнѣ только его къ лѣсу, заманите мнѣ только его!“ кричалъ Тарасъ. И вызвалось тотъ же часъ тридцать быстрѣйшихъ козаковъ заманить его. И, поправивъ на себѣ высокія шапки, тутъ же пустились на коняхъ, прямо на перерѣзъ гусарамъ. Ударили съ боку на переднихъ, сбили ихъ, отдѣлили отъ заднихъ, дали по гостинцу тому и другому, а Голокопытенко хватилъ плашмя¹ по спинѣ Андрія, и въ тотъ же часъ пустились бѣжать отъ нихъ, сколько достало козацкой мочи. Какъ вскинулся Андрій! Какъ забунтовала по всѣмъ жилкамъ молодая кровь! Ударивъ острыми шпорами коня, во весь духъ полетѣлъ онъ за козаками, не глядя назадъ, не видя, что позади всего только² двадцать человекъ поспѣвало за нимъ³; а козаки летѣли во всю прыть на коняхъ и прямо поворотили къ лѣсу. Разогнался на конѣ Андрій и чуть было уже не настигнулъ Голокопытенка, какъ вдругъ чья-то сильная рука ухватила за поводъ его коня. Оглянулся Андрій: предъ нимъ Тарасъ! Затрясся онъ всѣмъ тѣломъ и вдругъ сталъ блѣденъ: такъ⁴ школьникъ, неосторожно задравшій своего товарища и получившій за то отъ него ударъ линейкою по лбу, вспыхиваетъ, какъ огонь, бѣшенный выскакиваетъ изъ лавки⁵ и гонится за испуганнымъ товарищемъ своимъ, готовый разорвать его на части, и вдругъ наталкивается на входящаго въ классъ учителя: въ мигъ притихаетъ бѣшенный порывъ, и упадаетъ безсильная ярость. Подобно тому⁶, въ одинъ мигъ пропалъ, какъ бы не бывалъ вовсе, гнѣвъ Андрія. И видѣлъ онъ передъ собою одного только страшнаго отца.

„Ну, что жъ теперь мы будемъ дѣлать?“ сказалъ Тарасъ, смотря прямо ему въ очи. Но ничего не могъ на то сказать Андрій и стоялъ, утупивши⁷ въ землю очи.

„Что, сынку, помогли тебѣ твои ляхи?“

Андрій былъ безотвѣтенъ.

„Такъ продать? продать вѣру? продать своихъ? Стой же, слѣзай съ коня!“

Покорно, какъ ребенокъ, слѣзъ онъ съ коня и остановился ни живъ, ни мертвъ передъ Тарасомъ.

„Стой и не шевелись! Я тебя породилъ, я тебя и убью!“ сказалъ Тарасъ и, отступивши шагъ назадъ, снялъ съ плеча ружье. Блѣденъ, какъ полотно, былъ Андрій; видно было, какъ тихо шевелились уста его и какъ онъ произносилъ чье-то имя; но это не было имя отчизны, или матери, или братьевъ — это было имя прекрасной полячки. Тарасъ выстрѣлилъ.

Какъ хлѣбный колосъ, подрѣзанный серпомъ, какъ молодой барашекъ, почувшій подъ сердцемъ смертельное желѣзо, повисъ онъ головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.

Остановился сыноубійца и глядѣлъ долго на бездыханный трупъ. Онъ былъ и мертвый прекрасенъ: мужественное лицо его, недавно исполненное силы и непобѣдиимаго для женъ очарованья, все еще выражало чудную красоту; черныя брови, какъ траурный бархатъ, отгѣняли его поблѣднѣвшія черты.

„Чѣмъ бы не козакъ былъ?“¹ сказалъ Тарасъ: „и станомъ высокій, и чернобровый, и лицо какъ у дворянина, и рука была крѣпка въ бою! Пропаль! пропаль безславно, какъ подлая собака!“

„Батько, что ты сдѣлалъ! Это ты убилъ его?“ сказалъ подѣхавшій въ это время Остапъ.

Тарасъ кивнулъ головою².

Пристально поглядѣлъ мертвому въ очи Остапъ. Жалко ему стало брата, и проговорилъ онъ тутъ же: „Предадимъ же, батько, его честно землѣ, чтобы не поругались³ надъ нимъ враги и не растаскали бы его тѣла хищныя птицы“.

„Погребуть его и безъ насъ!“ сказалъ Тарасъ: „будутъ у него плакальщики и утѣшницы!“

И минуты двѣ думалъ онъ: кинуть ли его на расхищенье волкамъ-сыромахамъ, или пощадить въ немъ рыцарскую доблесть, которую храбрый долженъ уважать въ комъ бы то ни было, — какъ видитъ, скачетъ къ нему на конѣ Голокопытенко: „Бѣда, атаманъ, окрѣпли ляхи, прибыла на подмогу свѣжая сила!...“ Не успѣлъ сказать Голокопытенко, скачетъ Вовту-

зенко: „Бѣда, атаманъ, новая валить еще сила!...“ Не успѣлъ сказать Вовтузенко, Писаренко бѣжить бѣгомъ уже безъ коня: „Гдѣ ты, батьку?! Ищутъ тебя козаки. Ужъ убить куренный атаманъ Невылычкій, Задорожній убить, Черевиченко убить; но стоять козаки, не хотятъ умирать, не увидѣвъ тебя въ очи: хотятъ, чтобы взглянулъ ты на нихъ передъ смертнымъ часомъ“.

„На коня, Остапъ!“ сказалъ Тарасъ и спѣшилъ, чтобы застать еще козаковъ, чтобы поглядѣть³ еще на нихъ, и чтобы они взглянули передъ смертью на своего атамана. Но не выѣхали они еще изъ лѣсу, а ужъ непріятельская сила окружила со всѣхъ сторонъ лѣсу, и межъ³ деревьями вездѣ показались всадники съ саблями и копьями. „Остапъ! Остапъ! не поддавайся!“ кричалъ Тарасъ, а самъ, схвативши саблю наголо, началъ честить первыхъ попавшихся на всѣ боки. А на Остапа уже наскочило вдругъ шестеро; но не въ добрый часъ, видно, наскочило: съ одного полетѣла голова, другой перевернулся, отступивши; угодило копьемъ въ ребро третьяго; четвертый былъ поотважнѣй, уклонился головой отъ пули, и попала въ конскую грудь горячая пуля — вздыбилъ бѣшенный конь, грянулся о землю и задавилъ подъ собою всадника. „Добре, сынку! Добре, Остапъ!“ кричалъ Тарасъ: „вотъ я слѣдомъ за тобою“. А самъ все отбивался отъ наступавшихъ. Рубится и бьется Тарасъ, сыплеть гостинцы тому и другому на голову, а самъ глядитъ все впередъ на Остапа, и видитъ, что уже вновь схватилось съ Остапомъ мало не восьмеро разомъ. „Остапъ! Остапъ! не поддавайся!“ Но ужъ одолѣвають Остапа; уже одинъ накиннулъ ему на шею арканъ, уже вяжутъ, уже берутъ Остапа. „Эхъ, Остапъ, Остапъ!“ кричалъ Тарасъ, пробиваясь къ нему, рубя въ капусту встрѣчныхъ и поперечныхъ. „Эхъ, Остапъ, Остапъ!...“ Но какъ тяжелымъ камнемъ хватило его самого въ ту же минуту. Все закружилось и перевернулось въ глазахъ его. На мигъ смѣшанно сверкнули предъ нимъ головы, копья, дымъ, блески огня, сучья съ древесными листьями, мелькнувшіе ему въ самыя очи⁴. И грохнулся онъ, какъ подрубленный дубъ, на землю. И туманъ покрылъ его очи.

X.

„Долго же я спал!“ сказалъ Тарасъ, очнувшись, какъ послѣ труднаго хмельнаго сна, и стараясь распознать окружавшіе¹ его предметы. Страшная слабость одолевала его члены. Едва метались предъ² нимъ стѣны и углы незнакомой свѣтлицы. Наконецъ замѣтилъ онъ, что предъ нимъ сидѣлъ Товкачъ и, казалось, прислушивался ко всякому его дыханью.

„Да“, подумалъ про себя Товкачъ: „заснулъ бы ты, можетъ быть, и навѣки!“ Но ничего не сказалъ, погрозилъ пальцемъ и далъ знакъ молчать.

„Да скажи же мнѣ, гдѣ я теперь?“ спросилъ опять Тарасъ, напрягая умъ и стараясь припомнить бывшее.

„Молчи жь!“ прикрикнулъ сурово на него товарищъ: „чего³ тебѣ еще хочется знать? Развѣ ты не видишь, что весь изрубленъ? Ужь двѣ недѣли, какъ мы съ тобою скачемъ, не переводя духу, и какъ ты въ горячкѣ и жару несешь и городишь чепуху. Вотъ въ первый разъ заснулъ покойно⁴. Молчи жь, если не хочешь нанести самъ себѣ бѣду“⁵.

Но Тарасъ все старался и силился собрать свои мысли и припомнить бывшее. „Да, вѣдь, меня же схватили и окружили было совсѣмъ ляхи? Мнѣ жь не было никакой возможности выбиться изъ толпы?“

„Молчи жь, говорятъ тебѣ, чортова дѣтина!“ вскричалъ Товкачъ сердито, какъ нянька, выведенная изъ терпѣнья, кричить неугомонному повѣсѣ ребенку. „Чтò пользы знать тебѣ, какъ выбрался? Довольно того, что выбрался. Нашлись люди, которые тебя не выдали,—ну, и будетъ съ тебя! Намъ еще не мало ночей скакать вмѣстѣ! Ты думаешь, что пошелъ за простаго козака? Нѣтъ, твою голову оцѣнили въ двѣ тысячи червонныхъ“.

„А Остапъ?“ вскричалъ вдругъ Тарасъ, понатужился приподняться и вдругъ вспомнилъ, какъ Остапа схватили и связали въ глазахъ его, и что онъ теперь уже въ ляшскихъ рукахъ. И обняло горе старую голову. Сорвалъ и сдернулъ онъ всѣ перевязки ранъ своихъ; бросилъ ихъ далеко прочь, хотѣлъ громко что-то сказать—и вмѣсто того понесъ чепуху: жаръ и бредъ вновь овладѣли имъ, и понеслись безъ толку и связи безум-

ныя рѣчи. А между тѣмъ вѣрный товарищъ стоялъ предъ нимъ, бранясь и разсыпая безъ счету жестокія укорительныя слова и упреки. Наконецъ, схватилъ онъ его за ноги и руки, спеленалъ какъ ребенка, поправилъ всѣ перевязки, увернулъ его въ воловью кожу, увязалъ въ лубки и, прикрѣпивши¹ веревками къ сѣдлу, помчался вновь съ нимъ въ дорогу.

„Хоть² неживаго, да доведу тебя! Не поущу, чтобы ляхи поглумились надъ твоею козацкою порождою³, на куски рвали бы твое тѣло, да бросали его въ воду⁴. Пусть же, хоть и будетъ орелъ высмыкать⁵ изъ твоего лба очи, да пусть же степовой нашъ орелъ, а не ляхскій, не тотъ, что прилетаетъ изъ польской земли. Хоть не живаго, а доведу тебя до Украины“.

Такъ говорилъ вѣрный товарищъ. Скакалъ безъ отдыха⁶ дни и ночи и привезъ его безчувственнаго въ самую Запорожскую Сѣчь. Тамъ принялся онъ лѣчить его неутомимо травами и смачиваньями; нашель какую-то знающую жидовку, которая мѣсяцъ поила его разными снадобьями, и наконецъ Тарасу стало лучше. Лѣварство ли, или своя желѣзная сила взяла верхъ, только онъ черезъ полтора мѣсяца сталъ на ноги; раны зажили, и только одни сабельные рубцы давали знать, какъ глубоко когда-то былъ раненъ старый козакъ. Однакоже замѣтно сталъ онъ пасмуренъ и печаленъ. Три тяжелыя морщины насунулись на лобъ его и уже больше никогда не сходили съ него. Оглянулся онъ теперь вокругъ себя: все новое на Сѣчи⁷, всѣ перемерли старые товарищи. Ни одного изъ тѣхъ, которые стояли за правое дѣло, за вѣру и братство. И тѣ, которые отправились съ кошевымъ въ угонъ за татарами, и тѣхъ уже не было давно: всѣ положили головы, всѣ сгибли, кто положивъ на самомъ бою⁸ честную голову, кто отъ безводья и безхлѣбья, среди крымскихъ солончаковъ; кто въ плѣну пропалъ, не вынесши позора; и самого прежняго кошевого уже давно не было на свѣтѣ, и никого изъ старыхъ товарищей, и уже давно⁹ поросла травою когда-то кипѣвшая козацкая сила. Слышалъ онъ только, что былъ пиръ сильный, шумный пиръ: вся перебита въ дребезги посуда; нигдѣ не осталось вина ни капли, расхитили гости и слуги всѣ дорогіе кубки и сосуды — и смутный стоитъ хозяинъ дома, думая: „лучше бъ и не было того пира“. Напрасно старались занять и развеселить Тараса; напрасно бородастые, сѣдые бандуристы, проходя по два и по три, расславляли его козацкіе подвиги —

сурово и равнодушно глядѣлъ онъ на все, и на неподвижномъ лицѣ его выступала неугасимая горестъ, и тихо, понуривъ голову, говорилъ онъ: „Сынъ мой! Остапъ мой!“

Запорожцы собирались на морскую экспедицію. Двѣсти челновъ спущены были въ Днѣпръ, и Малая Азія видѣла ихъ, съ бритыми головами и длинными чубами, предававшими мечу и огню цвѣтушіе берега ея; видѣла чалмы своихъ магометанскихъ обитателей раскиданными, подобно ея безчисленнымъ цвѣтамъ, на смоченныхъ кровію поляхъ и плававшими у береговъ. Она видѣла не мало запачканныхъ дегтемъ запорожскихъ шароваръ, мускулистыхъ рукъ съ черными нагайками. Запорожцы переѣли и переломали весь виноградъ; въ мечтахъ оставили цѣлыя кучи навозу; персидскія дорогія шади употребляли вмѣсто очкуровъ и опоясывали ими запачканныя свитки. Долго еще послѣ находили въ тѣхъ мѣстахъ запорожскія коротенькія люльки. Они весело плыли назадъ; за ними гнался десятипушечный турецкій корабль и залпомъ изъ всѣхъ орудій своихъ разогналъ, какъ птицъ, утлые ихъ челны. Третья часть ихъ потонула въ морскихъ глубинахъ; но остальные снова собрались вмѣстѣ и прибыли къ устью Днѣпра съ двѣнадцатю боченками, набитыми цехинами. Но все это уже не занимало Тараса. Онъ уходилъ въ луга и степи, будто бы за охотою, но зарядъ его оставался невыстрѣленнымъ. И, положивъ ружье, полный тоски, садился онъ на морской берегъ. Долго сидѣлъ онъ тамъ, понуривъ голову и все говоря: „Остапъ мой! Остапъ мой!“ Передъ нимъ сверкало и разстилалось Черное море; въ дальнемъ тростникѣ кричала чайка; бѣлый усь его сereбрился, и слеза капала одна за другою.

И не выдержавъ наконецъ Тарасъ: „Что бы ни было, пойду развѣдать, что онъ: живъ ли онъ? въ могилѣ? или уже и въ самой могилѣ нѣтъ его? Развѣдаю, во что бы ни стало!“ И черезъ недѣлю уже очутился онъ въ городѣ Умани², вооруженный, на конѣ, съ копьемъ, саблей, дорожной баклагой у сѣдла, походнымъ горшкомъ съ саламатой, пороховыми патронами, лошадиными путами и прочимъ снарядамъ. Онъ прямо подѣхалъ³ къ нечистому, запачканному домишкѣ⁴, у котораго небольшія окошки едва были видны, закопченныя⁵ неизвѣстно чѣмъ; труба заткнута была тряпкою, и дыравая крыша вся была покрыта воробьями. Куча всякаго сору лежала предъ самыми дверьми.

Изъ окна выглядывала голова жидовки въ чепцѣ съ потемнѣвшими жемчугами.

„Мужъ дома?“ сказала Бульба, слѣзая съ коня и привязывая поводъ къ желѣзному крючку, бывшему у самыхъ дверей.

„Дома“, сказала жидовка и поспѣшила тотъ же часъ выйти съ пшеницей въ корчикѣ¹ для коня и стопой пива для рыцаря.

„Гдѣ же твой жидъ?“

„Онъ въ другой свѣтлицѣ, молится“, проговорила жидовка, кланяясь и пожелавъ здоровья въ то время, когда Бульба поднесъ къ губамъ стопу.

„Оставайся здѣсь, накорми и напои² моего коня, а я пойду. поговорю съ нимъ одинъ. У меня до него дѣло“.

Этотъ жидъ былъ извѣстный Янкель. Онъ уже очутился тутъ арендаторомъ и корчмаремъ; прибралъ понемногу всѣхъ окружающихъ пановъ и шляхтичей въ свои руки, высосалъ понемногу почти всѣ деньги и сильно означилъ свое жидовское присутствіе въ той странѣ³. На разстояніи трехъ миль во всѣ стороны не оставалось ни одной избы въ порядкѣ: все валилось и дряхлѣло, все пораспивалось, и осталась бѣдность, да лохмотья; какъ послѣ пожара или чумы вывѣтрился весь край. И если бы десять лѣтъ еще пожилъ тамъ Янкель, то онъ, вѣроятно, вывѣтрилъ бы и все воеводство.

Тарасъ вошелъ въ свѣтлицу. Жидъ молился, накрывшись своимъ, довольно запачканнымъ, саваномъ, и оборотился, чтобы въ послѣдній разъ плюнуть, по обычаю своей вѣры, какъ вдругъ глаза его встрѣтили стоявшаго назади Бульбу. Такъ и бросились жиду прежде всего въ глаза двѣ тысячи червонныхъ, которые были обѣщаны за его голову; но онъ постыдился своей корысти и силится подавить въ себѣ вѣчную мысль о золотѣ, которая, какъ червь, обвиваетъ душу жида.

„Слушай, Янкель!“ сказалъ Тарасъ жиду, который началъ передъ нимъ кланяться и заперъ осторожно дверь, чтобы ихъ не видѣли. „Я спасъ твою жизнь — тебя бы разорвали, какъ собаку, запорожцы — теперь твоя очередь, теперь сдѣлай мнѣ услугу!“

Лицо жида нѣсколько поморщилось.

„Какую услугу? Если такая услуга, что можно сдѣлать, то для чего не сдѣлать?“

„Не говори ничего. Вези меня въ Варшаву“.

„Въ Варшаву? Какъ, въ Варшаву?“ сказалъ Янкель. Брови и плечи его поднялись вверхъ отъ изумленія.

„Не говори мнѣ ничего. Вези меня въ Варшаву. Чтò бы ни было, а я хочу еще разъ увидѣть его, сказать ему хоть одно слово“.

„Кому сказать слово?“

„Ему, Остапу, сыну моему“.

„Развѣ панъ не слышалъ, что уже...“

„Знаю, знаю все: за мою голову даютъ двѣ тысячи червонныхъ. Знаютъ же они, дурни, цѣну ей! Я тебѣ пять тысячъ дамъ. Вотъ тебѣ двѣ тысячи сейчасъ“ (Бульба высыпалъ изъ кожанаго гамана двѣ тысячи червонныхъ), „а остальные — какъ ворочусь“.

Жидъ тотчасъ схватилъ полотенце и накрылъ имъ червонцы.

„Ай, славная монета! Ай, добрая монета!“ говорилъ онъ, вертя одинъ червонецъ въ рукахъ и пробуя на зубахъ. „Я думаю, тотъ человѣкъ, у котораго панъ обобралъ такіе хорошіе червонцы, и часу не прожилъ на свѣтѣ: пошелъ тотъ же часъ въ рѣку, да и утонулъ тамъ послѣ такихъ славныхъ червонцевъ“.

„Я бы не просилъ тебя. Я бы самъ, можетъ быть, нашель дорогу въ Варшаву; но меня могутъ какъ-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи; ибо я не гораздъ на выдумки. А вы, жидаы, на то уже и созданы. Вы хоть чорта проведете; вы знаете всѣ штуки: вотъ для чего я пришелъ къ тебѣ! Да и въ Варшавѣ я бы самъ собою ничего не получилъ. Сейчасъ запрягай возъ и вези меня!“

„А панъ думаетъ, что такъ прямо взялъ кобылу, запрегъ, да и: „Эй ну, пошелъ, сивка!“ Думаетъ панъ, что можно такъ, какъ есть, не спрятавши, везти пана?“

„Ну, такъ прячь, прячь¹, какъ знаешь; въ порожнюю бочку, чтò ли?“

„Ай, ай! А панъ думаетъ, развѣ можно спрятать его въ бочку? Панъ развѣ не знаетъ, что всякій подумаетъ, что въ бочкѣ горѣлка?“

„Ну, такъ и пусть думаетъ, что горѣлка“.

„Какъ? Пусть думаетъ, что горѣлка?“ сказалъ жидъ и схватилъ себя обѣими руками за пейсики и потомъ поднялъ кверху обѣ руки.

„Ну, что же ты такъ оторопѣлъ?“

„А панъ развѣ не знаетъ, что Богъ на то создалъ горѣлку, чтобы ее всякій пробоваль? Тамъ все лакомки, ласуны: шляхтичь будетъ бѣжать версть пять за бочкой, продолбить какъ разъ дырочку, тотчасъ увидить, что не течетъ и скажетъ: „Жидъ не повезетъ порожнюю бочку; вѣрно, тутъ есть что-нибудь! Схватить жидъ, связать жидъ, отобрать всѣ деньги у жидъ, посадить въ тюрьму жидъ!“ Потому что все, что ни есть недобраго, все валится на жидъ; потому что жидъ всякій принимаетъ за собаку; потому что думаютъ, ужъ и не человекъ, коли жидъ!“

„Ну, такъ положи меня въ возъ съ рыбою!“

„Не можно, панъ; ей Богу, не можно. По всей Польшѣ люди голодны теперь, какъ собаки: и рыбу раскрадутъ, и пана нащупаютъ“.

„Такъ вези меня хоть на чортѣ, только вези!“

„Слушай, слушай, панъ!“ сказалъ жидъ, посунувши обшлага рукавовъ своихъ и подходя къ нему съ растопыренными руками. „Вотъ что мы сдѣлаемъ. Теперь строить вездѣ крѣпости и замки; изъ Нѣмечины пріѣхали французскіе инженеры, а потому по дорогамъ везутъ много кирпичу и камней. Панъ пусть ляжетъ на днѣ воза, а верхъ я закладу кирпичомъ. Панъ здоровый и крѣпкій съ виду, и потому ему ничего, коли будетъ тяжеленько; а я сдѣлаю въ возу снизу дырочку, чтобы кормить пана“.

„Дѣлай, какъ хочешь, только вези!“

И черезъ часъ возъ съ кирпичомъ выѣхалъ изъ Умани, запряженный въ двѣ клячи. На одной изъ нихъ сидѣлъ высокій Янкель, и длинные, курчавые пейсики его развѣвались изъ-подъ жидовскаго яломка по мѣрѣ того, какъ онъ подпрыгивалъ на лошади, длинный, какъ верста, поставленная на дорогѣ.

XI.

Въ то время, когда происходило описываемое событіе, на пограничныхъ мѣстахъ не было еще никакихъ таможенныхъ чиновниковъ и объѣзчиковъ, этой страшной грозы предприимчивыхъ людей, и потому всякій могъ везти, что ему вздумалось. Если же кто и производилъ обыскъ и ревизовку, то дѣлалъ

это большею частью для своего собственного удовольствія, особливо если на возу находились заманчивые для глазъ предметы и если его собственная рука имѣла порядочный вѣсъ и тяжесть. Но кирпичъ не находилъ охотниковъ и вѣхалъ безпрепятственно въ главные городскія ворота. Бульба, въ своей тѣсной клѣткѣ, могъ только слышать шумъ, крики возницъ и больше ничего. Янкель, подпрыгивая на своемъ короткомъ, запачканномъ пылью рысакѣ, поворотилъ, сдѣлавши нѣсколько круговъ, въ темную узенькую улицу, носившую названіе Грязной и вмѣстѣ Жидовской, потому что здѣсь дѣйствительно находились жида почти со всей Варшавы. Эта улица чрезвычайно походила на вывороченную внутренность задняго двора. Солнце, казалось, не заходило сюда вовсе. Совершенно почернѣвшіе деревянные дома¹, со множествомъ протянутыхъ изъ оконъ жердей, увеличивали еще болѣе мракъ. Изрѣдка краснѣла между ними кирпичная стѣна, но и та уже во многихъ мѣстахъ превращалась совершенно въ черную. Иногда только вверху оштукатуренный² кусокъ стѣны, обхваченный солнцемъ, блистала нестерпимою для глазъ бѣлизною. Тутъ все состояло изъ сильныхъ рѣзокостей: трубы, тряпки, шелуха, выброшенные разбитые чаны. Всякій, что только было у него негоднаго, швырять на улицу, доставляя прохожимъ возможныя удобства питать всѣ чувства свои этою дрянью. Сидящій на конѣ всадникъ чуть-чуть не доставалъ рукою жердей, протянутыхъ черезъ улицу изъ одного дома въ другой, на которыхъ висѣли жидовскіе чулки, коротенькіе панталонцы и копченый гусь. Иногда довольно смазливенькое личико еврейки, убранный потемнѣвшими бусами, выглядывало изъ ветхаго окошка. Куча жиденковъ, запачканныхъ, оборванныхъ, съ курчавыми волосами, кричала и валялась въ грязи. Рыжій жидъ съ веснушками по всему лицу, дѣлавшими его похожимъ на воробьиное яйцо, выглянулъ изъ окна; тотчасъ заговорилъ съ Янкелемъ на своемъ тарабарскомъ нарѣчій, и Янкель тотчасъ вѣхалъ въ одинъ дворъ. По улицѣ шелъ другой жидъ, остановился, вступилъ тоже въ разговоръ, и когда Бульба выкарабкался наконецъ изъ-подъ кирпича, онъ увидѣлъ трехъ жидовъ, говорившихъ съ большимъ жаромъ.

Янкель обратился къ нему и сказалъ, что все будетъ сдѣлано, что его Остапъ сидитъ въ городской темницѣ, и хотя

трудно уговорить стражей, но, однакожь, онъ надѣется доставить ему свиданіе.

Бульба вошелъ съ тремя жидами въ комнату.

Жида начали опять говорить между собою на своемъ непонятномъ языкѣ. Тарасъ поглядывалъ на каждого изъ нихъ. Что-то, казалось, сильно потрясло его: на грубомъ и равнодушномъ лицѣ его вспыхнуло какое-то сокрушительное пламя надежды, — надежды той, которая посѣщаетъ иногда человѣка въ послѣднемъ градусѣ отчаянія; старое сердце его начало сильно биться, какъ будто у юноши.

„Слушайте, жида!“ сказалъ онъ, и въ словахъ его было что-то восторженное. „Вы все на свѣтѣ можете сдѣлать, выкопаете хоть изъ дна морскаго, и пословица давно уже говорить, что жидъ самого себя украдетъ, когда только захочетъ украсть. Освободите мнѣ моего Остапа! Дайте случай убѣжать ему отъ дьявольскихъ рукъ. Вотъ я этому человѣку обѣщаль двѣнадцать тысячъ червонныхъ, — я прибавляю еще двѣнадцать. Всѣ, какіе у меня есть, дорогіе кубки и закопанное въ землѣ золото, хату и послѣднюю одежду продамъ и заключу съ вами контрактъ на всю жизнь, съ тѣмъ, чтобы все, что ни добуду на войнѣ, дѣлить съ вами пополамъ“.

„О, не можно, любезный панъ! не можно!“ сказалъ со вздохомъ Янкель.

„Нѣтъ, не можно!“ сказалъ другой жидъ.

Всѣ три жида взглянули одинъ на другаго.

„А попробовать“, сказалъ третій, боязливо поглядывая на двухъ другихъ: „можетъ быть, Богъ дастъ“.

Всѣ три жида заговорили по нѣмецки. Бульба, какъ ни наострялъ свой слухъ, ничего не могъ отгадать; онъ слышалъ только часто произносимое слово „Мардохай“ и больше ничего.

„Слушай, панъ!“ сказалъ Янкель: „нужно посовѣтоваться съ такимъ человѣкомъ, какого еще никогда не было на свѣтѣ. У, у! то такой мудрый, какъ Соломонъ, и когда онъ ничего не сдѣлаетъ, то ужъ никто на свѣтѣ не сдѣлаетъ. Сиди тутъ; вотъ ключъ, и не впускай никого!“ Жида вышли на улицу.

Тарасъ заперъ дверь и смотрѣлъ въ маленькое окошечко¹ на этотъ грязный жидовскій проспектъ. Три жида остановились по срединѣ улицы и стали говорить довольно азартно; къ нимъ присоединился скоро четвертый, наконецъ и пятый. Онъ слы-

шаль опять повторяемое: „Мардохай, Мардохай“. Жиды безпрестанно посматривали въ одну сторону улицы; наконецъ въ концѣ ея изъ-за одного дряннаго дома показалась нога въ жидовскомъ башмакѣ, и замелькали фалды полукафтаныя. „А, Мардохай! Мардохай!“ закричали всѣ жиды въ одинъ голосъ. Тошій жидъ, нѣсколько короче Янкеля, но гораздо болѣе покрытый морщинами, съ преогромною верхнею губою, приблизился къ нетерпѣливой толпѣ, и всѣ жиды наперерывъ спѣшили рассказывать ему, при чемъ Мардохай нѣсколько разъ поглядывалъ на маленькое окошечко, и Тарасъ догадывался, что рѣчь шла о немъ. Мардохай размахивалъ руками, слушалъ, перебивалъ рѣчь, часто плевалъ на сторону и, подымая фалды полукафтаныя, засовывалъ въ карманъ руку и вынималъ какія-то побракушки, при чемъ показывалъ прескверные свои панталоны. Наконецъ, всѣ жиды подняли такой крикъ, что жидъ, стоявшій на сторожѣ, долженъ былъ давать знакъ къ молчанію, и Тарасъ уже началъ опасаться за свою безопасность, но, вспомнивши, что жиды не могутъ иначе разсуждать, какъ на улицѣ, и что ихъ языка самъ демонъ не пойметъ, онъ успокоился.

Минуты двѣ спустя, жиды вмѣстѣ вошли въ его комнату. Мардохай приблизился къ Тарасу, потрепалъ его по плечу и сказалъ: „Когда мы да Богъ¹ захочемъ сдѣлать, то уже будетъ такъ, какъ нужно“.

Тарасъ поглядѣлъ на этого Соломона, какого еще не было на свѣтѣ, и получилъ нѣкоторую надежду. Дѣйствительно, видъ его могъ внушить нѣкоторое довѣріе: верхняя губа у него была, просто, страшилище; толщина ея, безъ сомнѣнія, увеличилась отъ постороннихъ причинъ. Въ бородѣ у этого Соломона было только пятнадцать волосковъ, и то на лѣвой сторонѣ. На лицѣ у Соломона было столько знаковъ побоевъ, полученныхъ за удалство, что онъ, безъ сомнѣнія, давно потерялъ счетъ имъ и привыкъ ихъ считать за родимыя пятна.

Мардохай ушелъ вмѣстѣ съ товарищами, исполненными удивленія къ его мудрости. Бульба остался одинъ. Онъ былъ въ странномъ, небываломъ положеніи: онъ чувствовалъ въ первый разъ въ жизни безпокойство. Душа его была въ лихорадочномъ состояніи. Онъ не былъ тотъ прежній, непреклонный, неколебимый, крѣпкій, какъ дубъ; онъ былъ малодушенъ; онъ

былъ теперь слабъ. Онъ вздрагивалъ при каждомъ шорохѣ, при каждой новой жидовской фигурѣ, показывавшейся въ концѣ улицы. Въ такомъ состояніи пробылъ онъ наконецъ весь день; не ѣлъ, не пилъ, и глаза его не отрывались ни на часъ отъ небольшого окошка на улицу. Наконецъ уже ввечеру поздно показался Мардохай и Янкель. Сердце Тараса замерло.

„Что? удачно?“ спросилъ онъ ихъ съ нетерпѣніемъ дикаго коня.

Но прежде еще, нежели жиды собрались съ духомъ отвѣчать, Тарасъ замѣтилъ, что у Мардохая уже не было послѣдняго локона, который, хотя довольно неопратно, но все же виселъ кольцами изъ-подъ яломка его. Замѣтно было, что онъ хотѣлъ что-то сказать, но наговорилъ такую дрянь, что Тарасъ ничего не понялъ. Да и самъ Янкель прикладывалъ очень часто руку ко рту, какъ будто бы страдалъ простудою.

„О, любезный панъ!“ сказалъ Янкель: „теперь совсѣмъ не можно! Ей Богу, не можно! Такой нехорошій народъ, что ему надо на самую голову наплевать. Вотъ и Мардохай скажетъ. Мардохай дѣлалъ такое, какого еще не дѣлалъ ни одинъ человѣкъ на свѣтѣ; но Богъ не захотѣлъ, чтобы такъ было. Три тысячи войска стоятъ, и завтра ихъ всѣхъ будутъ казнить“.

Тарасъ глянулъ въ глаза жидамъ, но уже безъ нетерпѣнія и гнѣва.

„А если панъ хочетъ видѣться, то завтра нужно рано, такъ чтобы еще и солнце не всходило. Часовые соглашаются, и одинъ левентаръ обѣщался. Только пусть имъ не будетъ на томъ свѣтѣ счастья, ой, вей миръ! Что это за корыстный народъ! И между нами такихъ нѣтъ: пятьдесятъ червонцевъ я далъ каждому, а левентарю...“

„Хорошо. Веди меня къ нему!“ произнесъ Тарасъ рѣшительно, и вся твердость возвратилась въ его душу. Онъ согласился на предложеніе Янкеля переодѣться иностраннымъ графомъ, прїѣхавшимъ изъ нѣмецкой земли, для чего платье уже успѣлъ припасти¹ дальновидный жидъ. Была уже ночь. Хозяинъ дома, извѣстный рыжій жидъ съ веснушками, вытащилъ тощій тюфякъ, накрытый какою-то рогожею, и разостлалъ его на лавкѣ для Бульбы. Янкель легъ на полу въ такомъ же тюфякѣ. Рыжій жидъ выпилъ небольшую чарочку какой-то настойки, скинулъ полукафтанье, и, сдѣлавшись въ

своихъ чулкахъ и башмакахъ нѣсколько похожимъ на цыпленка, отправился съ своею жидовкой во что-то похожее на шкафъ. Двое жиденковъ, какъ двѣ домашнія собачки, легли на полу возлѣ шкафа. Но Тарасъ не спалъ; онъ сидѣлъ неподвиженъ и слегка барабанилъ пальцами по столу; онъ держалъ во рту люльку и пускалъ дымъ, отъ котораго жидъ съ просонья чихалъ и заворачивалъ въ одѣяло свой носъ. Едва небо успѣло тронуться блѣднымъ предвѣстіемъ зари, онъ уже толкнулъ ногою Янкеля. „Вставай, жидъ, и давай твою графскую одежду!“

Въ минуту одѣлся онъ; вычернилъ усы, брови, надѣлъ на темя маленькую темную шапочку — и никто бы изъ самыхъ близкихъ къ нему козаковъ не могъ узнать его. По виду ему казалось не болѣе тридцати пяти лѣтъ. Здоровый румянецъ игралъ на его щекахъ; и самые рубцы придавали ему что-то повелительное. Одежда, убранныя золотомъ, очень шла къ нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное существо еще не показывалось въ городѣ съ коробкою въ рукахъ. Бульба и Янкель пришли къ строенію, имѣвшему видъ сидящей цалли. Оно было низкое, широкое, огромное, почернѣвшее, и съ одной стороны его выкидывалась, какъ шея аиста, длинная, узкая башня, на верху которой торчалъ кусокъ крыши. Это строеніе отправляло множество разныхъ должностей: тутъ были и казармы, и тюрьма, и даже уголовный судъ. Наши путники вошли въ ворота и очутились среди пространной залы, или крытаго двора. Около тысячи человѣкъ спали вмѣстѣ. Прямо шла низенькая дверь, передъ которой сидѣвшіе двое часовыхъ играли въ какую-то игру, состоявшую въ томъ, что одинъ другаго билъ двумя пальцами по ладони. Они мало обратили вниманія на пришедшихъ и повертели головы только тогда, когда Янкель сказалъ: „Это мы; слышите, паны: это мы“.

„Ступайте!“ говорилъ одинъ изъ нихъ, отворяя одну рукою дверь, а другую подставляя своему товарищу для пріятія отъ него ударовъ.

Они вступили въ коридоръ узкій и темный, который опять привелъ ихъ въ такую же залу съ маленькими окошками вверху. „Кто идетъ?“ закричало нѣсколько голосовъ, и Тарасъ увидѣлъ порядочное количество воиновъ¹ въ полномъ вооруженіи. „Намъ никого не велѣно пускать“.

„Это мы!“ кричалъ Янкель: „ей Богу, мы, ясные пань!“ Но никто не хотѣлъ слушать. Къ счастью, въ это время подошелъ какой-то толстякъ, который, по всѣмъ примѣтамъ, казался начальникомъ, потому что ругался сильнѣе всѣхъ.

„Пань, это жъ мы; вы уже знаете насъ, и пань графъ еще будетъ благодарить“.

„Пропустите, сто дьябловъ чортовой маткѣ! И больше никого не пускайте. Да саблей чтобы никто не скидалъ и не собачился на полу...“

Продолженія краснорѣчиваго приказа уже не слышали наши путники. „Это мы, это я, это свои!“ говорилъ Янкель, встрѣчаясь со всякимъ.

„А что, можно теперь?“ спросилъ онъ одного изъ стражей, когда они наконецъ подошли къ тому мѣсту, гдѣ коридоръ уже оканчивался.

„Можно; только не знаю, пропустить ли васъ въ самую тюрьму. Теперь уже нѣтъ Яна: вмѣсто его стоитъ другой“, отвѣчалъ часовой.

„Ай, ай“, произнесъ тихо жидъ: „это скверно, любезный пань!“

„Веди!“ произнесъ упрямо Тарасъ. Жидъ повиновался.

У дверей подземелья, оканчивавшихся кверху остриемъ, стоялъ гайдукъ, съ усами въ три яруса. Верхній ярусъ усовъ шелъ назадъ, другой прямо впередъ, третій внизъ, что дѣлало его очень похожимъ на кота.

Жидъ съезжился въ три погибели и почти бокомъ подошелъ къ нему. „Ваша ясновельможность! Ясновельможный пань!“

„Ты, жидъ, это мнѣ говоришь?“

„Вамъ, ясновельможный пань“.

„Гм... а я, просто, гайдукъ!“ сказалъ трехъ-ярусный усачъ съ повеселѣвшими глазами.

„А я, ей Богу, думалъ, что это самъ воевода. Ай, ай, ай...“ При этомъ жидъ покрутилъ головою и разставилъ пальцы. „Ай, какой важный видъ! Ей Богу, полковникъ, совсѣмъ полковникъ! Вотъ еще бы только на палецъ прибавить, то и полковникъ! Нужно бы пана посадить на жеребца, такого скораго, какъ муха, да и пусть муштруетъ полки!“

Гайдукъ поправилъ нижній ярусъ усовъ своихъ, при чемъ глаза его совершенно развеселились.

„Что за народъ военный!“ продолжалъ жидъ: „охъ, вей миръ, что за народъ хорошій! Шнурочки, бляшечки... такъ отъ нихъ блестить, какъ отъ солнца; а цурки, гдѣ только увидать военныхъ... ай, ай!..“ Жидъ опять покрутилъ головою.

Гайдукъ завилъ рукою верхніе усы и пропустилъ сквозь зубы звукъ, нѣсколько похожій на лошадиное ржаніе.

„Прошу пана оказать услугу!“ произнесъ жидъ: „вотъ князь пріѣхалъ изъ чужаго края, хочетъ посмотрѣть на козаковъ. Онъ еще съ роду не видѣлъ, что это за народъ козаки“.

Появленіе иностранныхъ графовъ и бароновъ было въ Польшѣ довольно обыкновенно: они часто были увлекаемы единственно любопытствомъ посмотрѣть этотъ почти полу-азиатскій уголокъ Европы; Московію и Украину они почитали уже находящимися въ Азіи. И потому гайдукъ, поклонившись довольно низко, почелъ приличнымъ прибавить нѣсколько словъ отъ себя:

„Я не знаю, ваша ясновельможность“, говорилъ онъ: „зачѣмъ вамъ хочется смотрѣть ихъ. Это собаки, а не люди. И вѣра у нихъ такая, что никто не уважаетъ“.

„Врешь ты, чортовъ сынъ!“ сказала Бульба: „самъ ты собака! Какъ ты смѣешь говорить, что нашу вѣру не уважаютъ? Это вашу еретическую вѣру не уважаютъ!“

„Эге, ге!“ сказалъ гайдукъ: „а я знаю, пріятель, ты кто: ты самъ изъ тѣхъ, которые уже сидятъ у меня. Пстой же, я позову сюда нашихъ“.

Тарасъ увидѣлъ свою неосторожность, но упрямство и досада помѣшали ему подумать о томъ, какъ бы исправить ее. Къ счастью Янкель въ ту же минуту успѣлъ подвернуться.

„Ясновельможный панъ! какъ же можно, чтобы графъ да былъ козакъ? А если бы онъ былъ козакъ, то гдѣ бы онъ досталъ такое платье и такой видъ графскій?“

„Разсказывай себѣ!..“ И гайдукъ уже растворилъ было¹ широкій ротъ свой, чтобы крикнуть.

„Ваше королевское величество! молчите! молчите, ради Бога!“ закричалъ Янкель. „Молчите! Мы ужъ вамъ за это заплатимъ такъ, какъ еще никогда и не видѣли: мы дадимъ вамъ два золотыхъ червонца“.

„Эге! два червонца! Два червонца мнѣ ни по чемъ: я цирюльнику даю два червонца за то, чтобы мнѣ только половину бороды выбрилъ. Сто червонныхъ давай, жидъ!“ Тутъ гайдукъ

закрутилъ верхніе усы. „А какъ не дашь ста червонныхъ, сейчасъ закричу!“

„И на что бы такъ много?“ горестно сказалъ поблѣднѣвшій жидъ, развязывая кожаный мѣшокъ свой; но онъ счастливъ былъ, что въ его кошелькѣ не было болѣе и что гайдукъ да-лѣе ста не умѣлъ считать.

„Панъ, панъ! уйдемъ скорѣе! Видите, какой тутъ нехорошій народъ!“ сказалъ Янкель, замѣтивши, что гайдукъ перебиралъ на рукѣ деньги, какъ бы жалѣя о томъ, что не запросилъ болѣе.

„Чтожь ты, чортовъ гайдукъ“, сказалъ Бульба: „деньги взялъ, а показать и не думаешь? Нѣтъ, ты долженъ показать. Ужь когда деньги получилъ, то ты не въ правѣ теперъ отказать“.

„Ступайте, ступайте къ дьяволу! а не то я сію минуту дамъ знать, и васъ тутъ... Уносите скорѣе ноги, говорю я вамъ!“¹

„Панъ! панъ! пойдѣмъ, ей Богу, пойдѣмъ! Цуръ имъ! Пусть имъ приснится такое, что плевать нужно“, кричалъ бѣдный Янкель.

Бульба медленно, потупивъ голову, оборотился и шелъ назадъ, преслѣдуемый укорами Янкеля, котораго ѣла грусть при мысли о даромъ потерянныхъ червонцахъ.

„И на что бы трогать! Пусть бы собака бранился! То уже такой народъ, что не можетъ не браниться! Охъ, вей миръ, какое счастье посылаетъ Богъ людямъ! Сто червонцевъ за то только, что прогналъ насъ! А нашъ братъ: ему и пейсики оборвутъ, и изъ морды сдѣлаютъ такое, что и глядѣть не можно, а никто не дасть ста червонныхъ. О Боже мой! Боже милосердый!“

Но неудача эта гораздо болѣе имѣла вліянія на Бульбу; она выразалась пожирающимъ пламенемъ въ его глазахъ.

„Пойдемъ!“ сказалъ онъ вдругъ, какъ бы встряхнувшись: „пойдемъ на площадь. Я хочу посмотрѣть, какъ его будутъ мучить“.

„Ой, панъ! зачѣмъ ходить? Вѣдь намъ этимъ не помочь уже“.

„Пойдемъ!“ упрямо сказалъ Бульба, и жидъ, какъ нянька, вздыхая, побрелъ вслѣдъ за нимъ.

Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, не трудно было отыскать: народъ валилъ туда со всѣхъ сто-

ронъ. Въ тогдашній грубый вѣкъ это составляло одно изъ занимательнѣйшихъ зрѣлищъ не только для черни, но и для высшихъ классовъ. Множество старухъ самыхъ набожныхъ, множество молодыхъ дѣвушекъ и женщинъ самыхъ трусливыхъ, которымъ послѣ всю ночь грезились окровавленные трупы, которыя кричали съ просонья такъ громко, какъ только можетъ крикнуть пьяный гусарь, не пропускали, однакоже, случая полубоштытствовать. „Ахъ, какое мученье!“ кричали изъ нихъ многія съ истерическою лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь, однакоже проставляли иногда довольно времени¹. Иной, и ротъ разинувъ, и руки вытянувъ впередъ, желалъ бы вскочить всѣмъ на головы, чтобы оттуда посмотрѣть повиднѣе. Изъ толпы узкихъ, небольшихъ и обыкновенныхъ головъ высовывалъ свое толстое лицо мясникъ, наблюдалъ весь процессъ съ видомъ знатока и разговаривалъ односложными словами съ оружейнымъ мастеромъ, котораго называлъ кумомъ, потому что въ праздничный день напивался съ нимъ въ одномъ шинкѣ. Иные рассуждали съ жаромъ, другіе даже держали пари; но большая часть была такихъ, которые на весь міръ и на все, что ни случается въ свѣтѣ, смотреть, ковыряя пальцемъ въ своемъ носу. На переднемъ планѣ, возлѣ самыхъ усачей, составлявшихъ городовую гвардію, стоялъ молодой шляхтичъ, или казавшійся шляхтичемъ, въ военномъ костюмѣ, который надѣлъ на себя рѣшительно все, что у него ни было, такъ что на его квартирѣ оставалась только изодранная рубашка, да старые сапоги. Двѣ цѣпочки, одна сверхъ другой, висѣли у него на шеѣ съ какимъ-то дукатомъ. Онъ стоялъ съ коханкою своею, Юзысею, и безпрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не замаралъ ея шелковаго платья. Онъ ей растолковалъ совершенно все, такъ что уже рѣшительно не можно было ничего прибавить: „Вотъ это, душечка Юзыса“, говорилъ онъ: „весь народъ, что вы видите, пришелъ за тѣмъ, чтобы посмотрѣть, какъ будутъ казнить преступниковъ. А вотъ тотъ, душечка, что вы видите — держитъ въ рукахъ сѣкиру и другіе инструменты, то палачъ, и онъ будетъ казнить. И какъ начнетъ колесовать и другія дѣлать муки, то преступникъ еще будетъ живъ; а какъ отрубятъ голову, то онъ, душечка, тотчасъ и умретъ. Прежде будетъ кричать и двигаться, но какъ только отрубятъ голову, тогда ему не можно будетъ ни кричать, ни

ѣсть, ни пить, оттого, что у него, душечка, уже больше не будет головы“. И Юзыся все это слушала со страхомъ и любопытствомъ. Крыши домовъ были усѣяны народомъ. Изъ слуховыхъ оконъ выглядывали престранныя рожи въ усахъ¹ и въ чемъ-то похожемъ на чепчики. На балконахъ, подъ балдахинами, сидѣло аристократство. Хорошенькая ручка смѣющейся, блистающей, какъ бѣлый сахаръ, панны держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядѣли съ важнымъ видомъ. Холопъ, въ блестящемъ убранствѣ, съ откидными назадъ рукавами, разносилъ тутъ же разные напитки и съѣстное. Часто шалунья съ черными глазами, схвативши свѣтлую ручкою своею пирожное и плоды, кидала въ народъ. Толпа голодныхъ рыцарей подставляла на подхватъ свои шапки, и какой-нибудь высокій шляхтичъ, высунувшійся изъ толпы своею головою, въ полиняломъ красномъ кунтушѣ съ почернѣвшими золотыми шнурками, хваталъ первый, съ помощію длинныхъ рукъ, цѣловалъ полученную добычу, прижималъ ее къ сердцу и потомъ клалъ въ ротъ. Соколъ, висѣвшій въ золотой клѣткѣ подъ балкономъ, былъ также зрителемъ: перегнувши на бокъ носъ и поднявши лапу, онъ, съ своей стороны, разсматривалъ также внимательно народъ. Но толпа вдругъ зашумѣла, и со всѣхъ сторонъ раздались голоса: „Ведуть! ведуть! козаки!“

Они шли съ открытыми головами, съ длинными чубами; бороды у нихъ были отпущены. Они шли ни боязливо, ни угрюмо, но съ какою-то тихою горделивостію; ихъ платья изъ дорогаго сукна изнасились и болтались на нихъ ветхими лоскутьями; они не глядѣли и не кланялись народу. Впереди всѣхъ шель Остапъ.

Что почувствовалъ старый Тарасъ, когда увидѣлъ своего Остапа? Что было тогда въ его сердцѣ? Онъ глядѣлъ на него изъ толпы и не проронилъ ни одного движенія его. Они приблизились уже къ лобному мѣсту. Остапъ остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Онъ глянулъ на своихъ, поднялъ руку вверхъ и произнесъ громко: „Дай же Боже, чтобы всѣ, какіе тутъ ни стоятъ еретики, не услышали, нечестивые, какъ мучится христіанинъ! чтобы ни одинъ изъ насъ не промолвилъ ни одного слова!“ Послѣ этого онъ приблизился къ эшафоту.

„Добре, сынку, добре!“ сказали тихо Бульба и оставили въ землю свою сѣдую голову.

Палачъ сдернулъ съ него ветхія лохмотья; ему увязали руки и ноги въ нарочно сдѣланные станки, и... Не будемъ смущать читателей картиною адскихъ мукъ, отъ которыхъ дыбомъ поднялись бы ихъ волоса¹. Онѣ были порожденіе тогдашняго грубаго, свирѣпаго вѣка, когда человѣкъ велъ еще кровавую жизнь однихъ воинскихъ подвиговъ и закалился въ ней душою, не чуя человѣчества. Напрасно нѣкоторые, немногіе, бывшіе исключеніями изъ вѣка, являлись противниками сихъ ужасныхъ мѣръ. Напрасно король и многіе рыцари, просвѣтленные умомъ и душой, представляли, что подобная жестокость наказаній можетъ только разжечь мщеніе козацкой націи. Но власть короля и умныхъ мнѣній была ничто² передъ безпорядкомъ и дерзкой волею государственныхъ магнатовъ, которые своею необдуманностью, непостижимымъ отсутствіемъ всякой дальновидности, дѣтскимъ самолюбіемъ и ничтожною гордостью превратили сеймъ въ сатиру на правленіе. — Остапъ выносилъ терзанія и пытки, какъ исполнѣнь. Ни крика, ни стону³ не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на рукахъ и ногахъ кости, когда ужасный хряскъ ихъ слышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда панянки отворотили глаза свои, — ничто похожее на стонъ не вырвалось изъ устъ его, не дрогнулось лицо его. Тарасъ стоялъ въ толпѣ, потупивъ голову и, въ то же время, гордо приподнявъ очи, и⁴ одобрительно только говорилъ: „Добре, сынку, добре!“

Но когда подвели его къ послѣднимъ смертнымъ мукамъ, казалось, какъ будто стала подаваться его сила. И повелъ онъ очами вокругъ себя: Боже! все невѣдомыя, все чужія лица! Хоть бы кто-нибудь изъ близкихъ присутствовалъ при его смерти! Онъ не хотѣлъ бы слышать рыданій и сокрушенія слабой матери, или безумныхъ воплей супруги, исторгающей волосы и бьющей себя въ бѣлыя груди; хотѣлъ бы онъ теперь увидѣть твердаго мужа, который бы разумнымъ словомъ освѣжилъ его и утѣшилъ при кончинѣ. И упалъ онъ силою и выкликнулъ⁵ въ душевной немощи: „Батько! гдѣ ты? Слышишь ли⁶ ты все это?...“

„Слышу!“⁷ раздалось среди всеобщей тишины, и весь мил-

ліонъ народа въ одно время вздрогнулъ. Часть военныхъ всадниковъ бросилась заботливо разсматривать толпы народа. Янкель поблѣднѣлъ, какъ смерть; и когда всадники¹ немного отдалились отъ него, онъ со страхомъ оборотился назадъ, чтобы взглянуть на Тараса; но Тараса уже возлѣ него не было: его и слѣдъ простылъ.

XII.

Отыскался слѣдъ Тарасовъ. Сто двадцать тысячъ козацкаго войска показалось на границахъ Украйны. Это уже не была какая-нибудь малая часть, или отрядъ, выступившій на добычу или на угонъ за татарами. Нѣтъ, поднялась вся нація, ибо переполнилось терпѣніе народа, — поднялась отомстить за посмѣяныя правы своихъ, за позорное униженіе своихъ нравовъ², за оскорбленіе вѣры предковъ и святаго обычая, за посяганіе на церквей, за безчинства чужеземныхъ пановъ, за угнетеніе, за унию, за позорное владычество жидовства на христіанской землѣ, за все, что копило и сугубило съ давнихъ временъ суровую ненависть козаковъ. Молодой, но сильный духомъ, гетьманъ Острианица предводилъ всею несмѣтной козацкой силою. Возлѣ былъ видѣнъ престарѣлый, опытный товарищъ его и совѣтникъ Гуня. Восемь полковниковъ вели двѣнадцатитысячные полки. Два генеральные есаула и генеральный бунчужный ѣхали вслѣдъ за гетьманомъ. Генеральный хорунжій предводилъ главное знамя; много другихъ хоругвей и знаменъ развѣвалось вдали; бунчуковые товарищи несли бунчуки. Много также было другихъ чиновъ полковыхъ: обозныхъ, войсковыхъ товарищей, полковыхъ писарей, и съ ними пѣшихъ и конныхъ отрядовъ; почти столько же, сколько было рейстровыхъ козаковъ, набралось охочекомонныхъ и вольныхъ. Отвсюду поднялись козаки: отъ Чигирина, отъ Переяслава, отъ Батурина, отъ Глухова, отъ низовой стороны Днѣпровской и отъ всѣхъ его верховій и острововъ. Безъ счету кони и несмѣтные таборы телѣгъ тянулись³ по полямъ. И между тѣми-то козаками, между тѣми восьмью полками отборнѣе всѣхъ былъ одинъ полкъ; и полкомъ тѣмъ предводилъ Тарасъ Бульба. Все давало ему перевѣсъ предъ другими: и преклонныя лѣта, и опытность, и умѣнне двигать своимъ войскомъ, и сильнѣйшая

всѣхъ ненависть къ врагамъ. Даже самимъ козакамъ казалась чрезмѣрною его безпощадная свирѣпость и жестокость. Только огонь да висѣлицу опредѣляла сѣдая голова его, и совѣтъ его въ войсковомъ совѣтѣ дышалъ только однимъ истребленіемъ.

Нечего описывать всѣхъ битвъ, гдѣ показали себя козаки, ни всего постепеннаго хода кампаніи: все это внесено въ лѣтописныя страницы. Извѣстно, какова въ русской землѣ война, поднятая за вѣру: нѣтъ силы сильнѣе вѣры. Непреоборима и грозна она, какъ нерукотворная скала среди бурнаго, вѣчно-измѣнчиваго моря. Изъ самой середины морскаго дна возносятся она къ небесамъ непроломныя свои стѣны, вся созданная изъ одного цѣльнаго, сплошнаго камня. Отсюда видна она и глядитъ прямо въ очи мимобѣгущимъ волнамъ. И горе кораблю, который нанесется на нее! Въ щепы летятъ безсильныя его снасти, тонетъ и ломится въ прахъ все, что ни есть на нихъ¹, и жалкимъ крикомъ погибающихъ оглашается пораженный воздухъ.

Въ лѣтописныхъ страницахъ изображено подробно, какъ бѣжали польскіе гарнизоны изъ освобождаемыхъ городовъ; какъ были перевѣшаны безсовѣстные арендаторы жида; какъ слабъ былъ коронный гетьманъ Николай Потоцкій съ многочисленною своею арміею противъ этой непреодолимой силы; какъ, разбитый, преслѣдуемый, перетопилъ онъ въ небольшой рѣчкѣ лучшую часть своего войска; какъ облегли его въ небольшомъ мѣстечкѣ Полонномъ грозныя козацкіе полки, и какъ, приведенный въ крайность, польскій гетьманъ клятвенно обѣщаль полное удовлетвореніе во всемъ со стороны короля и государственныхъ чиновъ и возвращеніе всѣхъ прежнихъ правъ и преимуществъ. Но не такіе были козаки, чтобы поддаться на то: знали они уже, что такое польская клятва. И Потоцкій не красовался бы больше на шеститысячномъ своемъ аргамакѣ, привлекая взоры знатныхъ паннъ и зависть дворянства, не шумѣлъ бы на сеймахъ, задавая роскошныя пиры сенаторамъ, если бы не спасло его находившееся въ мѣстечкѣ русское духовенство. Когда вышли на встрѣчу всѣ попы въ свѣтлыхъ золотыхъ ризахъ, неся иконы и кресты, и впереди самъ архіерей съ крестомъ въ рукѣ и въ пастырской митрѣ, преклонили козаки всѣ свои головы и сняли шапки. Никого не уважили бы они на ту пору, ниже самого короля; но противъ своей

церкви христіанской не посмѣли и уважили свое духовенство. Согласился гетьманъ вмѣстѣ съ полковниками отпустить Потоцкаго, взявши съ него клятвенную присягу оставить на свободѣ всѣ христіанскія церкви, забыть старую вражду и не наносить никакой обиды козацкому воинству. Одинъ только полковникъ не согласился на такой миръ. Тотъ одинъ былъ Тарасъ. Вырвалъ онъ клокъ волосъ изъ головы своей и вскрикнулъ.

„Эй, гетьманъ и полковники! не сдѣлайте такого бабьяго дѣла! не вѣрьте ляхамъ: продадутъ псяюхи!“ Когда же полковой писарь подалъ условіе, и гетьманъ приложилъ свою властную руку, онъ снялъ съ себя чистый булатъ, дорогую турецкую саблю, изъ первѣйшаго желѣза, разломилъ ее надвое, какъ трость, и кинулъ врознь далеко¹ въ разныя стороны оба конца, сказавъ: „Прощайте же! Какъ двумъ концамъ сего палаша не соединиться въ одно и не составить одной сабли, такъ и намъ, товарищи, больше не видаться на этомъ свѣтѣ! Помяните же прощальное мое слово“... (при семъ словѣ голосъ его выросъ, поднялся выше², принялъ невѣдомую силу — и смутились всѣ отъ пророческихъ словъ): „передъ смертнымъ часомъ своимъ вы вспомните меня! Думаете, купили спокойствіе и миръ; думаете, пановать станете? Будете пановать другимъ панованьемъ: сдерутъ съ твоей головы, гетьманъ, кожу, набьютъ ее гречаною половиною, и долго будутъ видѣть ее по всѣмъ ярмаркамъ! Не удержите и вы, паны, головъ своихъ! пропадете въ сырыхъ погребяхъ, замурованные въ каменные стѣны, если васъ, какъ барановъ, не сварятъ всѣхъ живыми въ котлахъ!“

„А вы, хлопцы!“ продолжалъ онъ, оборотившись къ своимъ: „кто изъ васъ хочетъ умирать своею смертью, — не по запечьямъ и бабьимъ лежанкамъ, не пьяными подъ заборомъ у шинка, подобно всякой падали, а честной козацкой смертью, всѣмъ на одной постелѣ³, какъ женихъ съ невѣстою? Или, можетъ быть, хотите⁴ воротиться домой, да оборотиться въ недовѣрковъ, да возить на своихъ спинахъ польскихъ ксензовъ?“

„За тобою, пане полковнику! за тобою!“ вскрикнули всѣ, которые были въ Тарасовомъ полку, и къ нимъ перебѣжало не мало другихъ.

„А коли за мною, такъ за мною же!“ сказалъ Тарасъ, нагнувъ⁵ глубже на голову себѣ шапку, грозно взглянулъ на всѣхъ остававшихся, оправился на конѣ своемъ и крикнулъ

своимъ: „Не попрекнетъ же никто насъ обидной рѣчью! — А ну, гайда, хлопцы, въ гости къ католикамъ!“ И вслѣдъ за тѣмъ ударилъ онъ по коню, и потянулся за нимъ таборъ изъ ста телѣгъ, и съ ними много было козацкихъ конниковъ и пѣхоты, и, оборотясь, грозилъ взоромъ всѣмъ остававшимся, — и гнѣвень былъ взоръ его. Никто не посмѣлъ остановить ихъ. Въ виду всего воинства уходилъ полкъ, и долго еще оборачивался Тарасъ и все грозилъ.

Смутны стояли гетьманъ и полковники, задумались всѣ и молчали долго, какъ будто тѣснимые какимъ-то тяжелымъ предвѣстiemъ. Не даромъ провѣщаль Тарасъ: такъ все и сбылось, какъ онъ провѣщаль. Немного времени спустя, послѣ вѣроломнаго поступка подъ Каневымъ, вздернута была голова гетьмана на колъ вмѣстѣ со многими изъ первѣйшихъ сановниковъ.

А что же Тарасъ? А Тарасъ гулялъ по всей Польшѣ съ своимъ полкомъ, выжегъ восемнадцать мѣстечекъ, близъ сорока костеловъ, и уже доходилъ до Кракова. Много избилъ онъ всякой шляхты, разграбилъ богатѣйшіе и лучшіе замки; распечатали и поразливали по землѣ козаки вѣсковые меды и вина, сохранно сберегавшіеся въ панскихъ погребахъ; изрубили и пережгли дорогія сукна, одежды и утвари, находимыя въ кладовыхъ. „Ничего не жалѣйте!“ повторялъ только Тарасъ. Не уважили козаки чернобровыхъ панянокъ, бѣлогрудыхъ, свѣтлоликихъ дѣвицъ; у самыхъ алтарей не могли спастись онѣ: зажигалъ ихъ Тарасъ вмѣстѣ съ алтарями. Не однѣ бѣлоснѣжныя руки подымались изъ огнистаго¹ пламени къ небесамъ, сопровождаемыя жалкими криками, отъ которыхъ подвинулась бы самая сырая земля и степовая² трава поникла бы отъ жалости долу. Но не внимали ничему жестокіе козаки и, поднимая копьями съ улицъ младенцевъ ихъ, кидали къ нимъ же въ пламя. „Это вамъ, вражьи ляхи, поминки по Остапѣ!“ приговаривалъ только Тарасъ. И такія поминки по Остапѣ отправлялъ онъ въ каждомъ селеніи, пока польское правительство не увидѣло, что поступки Тараса были побольше, чѣмъ обыкновенное разбойничество, и тому же самому Потоцкому поручено было съ пятью полками поймать непременно Тараса.

Шесть дней уходили козаки проселочными дорогами отъ всѣхъ преслѣдованій; едва выносили кони необыкновенное бѣгство и спасали козаковъ. Но Потоцкій на сей разъ былъ

достоинъ возложеннаго порученія; неутомимо преслѣдовалъ онъ ихъ и настигъ на берегу Днѣстра, гдѣ Бульба занялъ для роздыха оставленную развалившуюся крѣпость.

Надъ самой кручей у Днѣстра рѣки виднѣлась она своимъ оборваннымъ валомъ и своими развалившимися останками стѣнъ. Щебнемъ и разбитымъ кирпичемъ усѣяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться и слетѣть внизъ. Тутъ-то, съ двухъ сторонъ, прилежащихъ¹ къ полю, обступилъ его коронный гетьманъ Потоцкій. Четыре дни² бились и боролись казаки, отбиваясь кирпичами и камнями. Но истопились запасы и силы, и рѣшился Тарасъ пробиться сквозь ряды. И пробился было уже казаки и, можетъ быть, еще разъ послужили бы имъ вѣрно быстрые кони, какъ вдругъ, среди самаго бѣгу, остановился Тарасъ и вскрикнулъ: „Стой! выпала люлька съ табакомъ; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьимъ ляхамъ!“ И нагнулся старый атаманъ и сталъ отыскивать въ травѣ свою люльку съ табакомъ, неотлучную сопутницу на моряхъ и на сушѣ, и въ походахъ, и дома. А тѣмъ временемъ набѣжала вдругъ ватага и схватила его подъ могучія плечи. Двинулся было онъ всѣми членами, но уже не посыпались на землю, какъ бывало прежде, схватившіе его гайдуки. „Эхъ старость, старость!“ сказалъ онъ, и заплакалъ дебелый старый козакъ. Но не старость была виною: сила одолѣла силу. Мало³ не тридцать человекъ повисло у него по рукамъ и по ногамъ. „Попалась ворона!“ кричали ляхи. „Теперь нужно только придумать, какую бы ему, собагѣ, лучшую честь воздать“. И присудили, съ гетьманскаго разрѣшенья, съечь его живаго въ виду всѣхъ. Тутъ же стояло нагое⁴ дерево, вершину котораго разбило громомъ. Притянули его желѣзными цѣпами къ древесному стволу, гвоздемъ прибили⁵ ему руки и, приподнявъ его повыше, чтобы отвсюду былъ видѣнъ козакъ, принялись тутъ же раскладывать подъ деревомъ костеръ. Но не на костеръ глядѣлъ Тарасъ, не объ огнѣ онъ думалъ, которымъ собирались жечь его; глядѣлъ онъ, сердечный, въ ту сторону, гдѣ отстрѣливались казаки: ему съ высоты все было видно, какъ на ладони. „Занимайте, хлопцы, занимайте скорѣе“, кричалъ онъ: „горку, что за лѣсомъ: туда не подступать они!“ Но вѣтеръ не донесъ его словъ. „Вотъ пропадутъ, пропадутъ ни за что!“ говорилъ онъ отчаянно и взглянулъ

внизъ, гдѣ сверкалъ Днѣстръ. Радость блеснула въ очахъ его. Онъ увидѣлъ выдвинувшіяся изъ-за кустарника четыре кормы, собралъ всю силу голоса и зычно закричалъ: „Къ берегу! къ берегу, хлопцы! Спускайтесь подгорной дорожкой, что налѣво. У берега стоятъ челны, всѣ забирайте, чтобы не было погони!“

На этотъ разъ вѣтеръ дунулъ съ другой стороны, и всѣ слова были услышаны козаками. Но за такой совѣтъ достался ему тутъ же ударъ обухомъ по головѣ, который переверотилъ все въ глазахъ его.

Пустились козаки во всю прыть подгорной дорожкой; а ужъ погоня за плечами. Видятъ: путается и загибается дорожка и много даетъ въ сторону извивовъ. „А, товарищи! не куды¹ пошло!“ сказали всѣ, остановились на мигъ, подняли свои нагайки, свиснули — и татарскіе ихъ кони, отдѣлившись отъ земли, распластавшись въ воздухѣ, какъ змѣи, перелетѣли черезъ пропасть и бултыхнули прямо въ Днѣстръ. Двое только не достали до рѣки², грянулись съ вышины объ камень, пропали тамъ навѣки съ конями, даже не успѣвши издать крика³. А козаки уже плыли съ конями въ рѣкѣ и отвязывали челны. Остановились ляхи надъ пропастью, дивясь неслышанному козацкому дѣлу и думая: прыгать ли имъ, или нѣтъ? Одинъ молодой полковникъ, живая, горячая кровь, родной братъ прекрасной полячки, обворожившей бѣднаго Андрія, не подумалъ долго и бросился со всѣхъ силъ съ конемъ за козаками: перевернулся три раза въ воздухѣ съ конемъ своимъ и прямо грянулся на острые утесы. Въ куски изорвали его острые камни, пропавшаго среди пропасти, и мозгъ его, смѣшавшись съ кровью, обрызгалъ росшіе по неровнымъ стѣнамъ провала кусты.

Когда очнулся Тарасъ Бульба отъ удара и глянулъ на Днѣстръ, уже козаки были на челнахъ и гребли веслами; пули сыпались на нихъ сверху, но не доставали. И вспыхнули радостныя очи у стараго атамана.

„Прощайте, товарищи!“ кричалъ онъ имъ сверху: „вспомните меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте! Что взяли, чортовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свѣтѣ, чего бы побоялся козакъ? Постоите же, придетъ время, будетъ время, узнаете вы, что такое право-

славная русская вѣра! Уже и теперь чуютъ дальніе и близкіе народы: подыметсѣ изъ русской земли свой царь, и не будетъ въ мірѣ силы, которая бы не покорилась ему!...“ А уже огонь подымался надъ костромъ, захватывалъ его ноги и разостлался пламенемъ по дереву... Да развѣ найдутся на свѣтѣ такіе огни, муки и такая сила,¹ которая бы пересилила русскую силу!²

Не малая рѣка Днѣстръ, и много на ней заводьевъ, рѣчныхъ густыхъ камышей, отмелей и глубоководныхъ мѣсть; блестящее рѣчное зеркало, оглашенное звонкимъ ячаньемъ лебедей, и гордый гоголь быстро несется по немъ, и много куликовъ, краснозобыхъ курухтановъ и всякихъ иныхъ птицъ въ тростникахъ и на прибрежьяхъ. Козаки живо³ плыли на узкихъ двухрульныхъ челнахъ, дружно гребли веслами, осторожно миновали⁴ отмели, всполашивая подымавшихся птицъ, и говорили про своего атамана.





МИРГОРОДЪ.

П О В Ъ С Т И,

СЛУЖАЩІЯ ПРОДОЛЖЕНІЕМЪ

ВЕЧЕРОВЪ НА ХУТОРЪ БЛИЗЪ ДИКАНЬКИ.

Миргородъ нарочито невеликій при рѣкѣ Хоролѣ городъ. Имѣеть 1 канатную фабрику, 1 кирпичный заводъ, 4 водяныхъ и 45 вѣтряныхъ мельницъ.

Географинъ Зябловскаго.

Хотя въ Миргородѣ пекутся бублики изъ чернаго тѣста, но довольно вкусны.

Изъ записокъ одного путешественника

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.





В I И *.

Какъ только ударялъ въ Кіевѣ поутру довольно звонкій семинарскій колоколь, висѣвшій у воротъ Братскаго монастыря, то уже со всего города спѣшили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы, съ тетрадами подъ мышкой, брели въ классъ. Грамматики были еще очень малы: идя, толкали другъ друга и бранились между собою самымъ тоненькимъ дискантомъ; они были¹ всѣ почти въ изодранныхъ или запачканныхъ платьяхъ, и карманы ихъ вѣчно были наполнены всякою дрянью, какъ-то: бабками, свистѣлками, сдѣланными изъ перышекъ, недоѣденнымъ пирогомъ, а иногда даже и маленькими воробышками², изъ которыхъ одинъ, вдругъ чиликнувъ среди необыкновенной тишины въ классѣ, доставлялъ своему патрону порядочныя пали въ обѣ руки, а иногда и вишневяя розги. Риторы шли солиднѣе; платья у нихъ были часто совершенно цѣлы, но за то на лицѣ всегда почти бывало какое-нибудь украшеніе, въ видѣ риторическаго тропа: или одинъ глазъ уходилъ подъ самый лобъ, или, вмѣсто губы, цѣлый пузырь, или какая-нибудь другая примѣта; эти говорили и божились между собою теноромъ. Философы цѣлою октавою брали ниже; въ карманахъ ихъ, кромѣ крѣпкихъ табачныхъ корешковъ, ничего не было. Запасовъ они не дѣлали никакихъ, и все, что попадалось, съѣдали тогда же; отъ нихъ слышалась трубка и горѣлка, иногда такъ далеко, что проходившій мимо ремесленникъ долго еще³, остановившись, нюхалъ, какъ гончая собака, воздухъ.

* Вій — есть колоссальное созданіе простонароднаго воображенія. Такимъ именемъ называется у Малороссіянъ начальникъ гномовъ, у котораго вѣки на глазахъ идутъ до самой земли. Вся эта повѣсть есть народное преданіе. Я не хотѣлъ ни въ чемъ измѣнить его и рассказываю почти въ такой же простотѣ, какъ слышалъ.

Рынокъ въ это время обыкновенно только что начиналъ шевелиться, и торговки, съ бубликами, булками, арбузными сѣмечками и маковниками, дергали на подхватъ за полы тѣхъ, у которыхъ полы были изъ тонкаго сукна или какой-нибудь бумажной матеріи.

„Паничи, паничи! сюды, сюды!“ говорили онѣ со всѣхъ сторонъ: „ось бублики, маковники, вертычки, буханци хороши! ей Богу, хороши! на меду! сама пекла!“

Другая, поднявъ что-то длинное, скрученное изъ тѣста, кричала: „Ось сусулька!¹ Паничи, купите сусульку!“²

„Не покупайте у этой ничего: смотрите, какая она скверная, — и носъ нехорошій, и руки нечистыя...“

Но философовъ и богослововъ онѣ боялись задѣвать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу и притомъ цѣлою горстью.

По приходѣ въ семинарію, вся толпа размѣщалась по классамъ, находившимся въ низенькихъ, довольно, однакоже, просторныхъ комнатахъ съ небольшими окнами, съ широкими дверьми и запачканными скамьями. Классъ наполнялся вдругъ разноголосными жужжаніями: аудиторы выслушивали своихъ учениковъ; звонкій дискантъ грамматика попадалъ какъ разъ въ звонъ стекла, вставленнаго въ маленькія окна, и стекло отвѣчало почти тѣмъ же звукомъ; въ углу гудѣлъ риторъ, котораго ротъ и толстыя губы должны бы принадлежать по крайней мѣрѣ философіи. Онъ гудѣлъ басомъ, и только слышно было издали: „бу, бу, бу, бу“... Аудиторы, слушая урокъ, смотрѣли однимъ глазомъ подъ скамью, гдѣ изъ кармана подчиненнаго бурсака выглядывала булка, или вареникъ, или сѣмена изъ тыквы.

Когда вся эта ученая толпа успѣвала приходитъ нѣсколько ранѣе, или когда знали, что профессора³ будутъ позже обыкновеннаго, тогда, со всеобщаго согласія, замышляли бой, и въ этомъ бою должны были участвовать всѣ, даже и цензора⁴, обязанные смотрѣть за порядкомъ и нравственностію всего учащагося сословія. Два богослова обыкновенно рѣшали, какъ происходить битвѣ: каждый ли классъ долженъ стоять за себя особенно, или всѣ должны раздѣлиться на двѣ половины: на бурсу и семинарію. Во всякомъ случаѣ, грамматика начинали прежде всѣхъ, и какъ только вмѣшивались риторы⁵, они уже бѣжали прочь

и становились на возвышеніяхъ наблюдать битву. Потомъ вступала философія съ черными длинными усами, а наконецъ и богословія¹ въ ужасныхъ шароварахъ и съ претолстыми шеями. Обыкновенно оканчивалось тѣмъ, что богословія побивала² всѣхъ, и философія, почесывая бока, была тѣснама въ классъ и помѣщалась отдыхать на скамьяхъ. Профессоръ, входившій въ классъ и участвовавшій когда-то самъ въ подобныхъ бояхъ, въ одну минуту, по разгорѣвшимся лицамъ своихъ слушателей, узнавалъ, что бой былъ недурень, и въ то время, когда онъ сѣкъ розгами по пальцамъ риторикъ, въ другомъ классѣ другой профессоръ отдѣлывалъ деревянными лопатками по рукамъ философію. Съ богословами же было поступаемо совершенно другимъ образомъ: имъ, по выраженію профессора богословія³, отсыпалось по мѣркѣ *крупнаго гороху*⁴, что состояло въ коротенькихъ кожаныхъ канчукахъ.

Въ торжественные дни и праздники семинаристы и бурсаки отправлялись по домамъ съ вертепами. Иногда разыгрывали комедію, и въ такомъ случаѣ всегда отличался какой-нибудь богословъ, ростомъ мало чѣмъ ниже кievской колокольни, представлявшій Иродіаду или Пентефрію, супругу египетскаго царедворца. Въ награду получали они кусокъ полотна, или мѣшокъ проса, или половину варенаго гуся и тому подобное. Весь этотъ ученый народъ, — какъ семинарія, такъ и бурса, которыя питали какую-то наслѣдственную неприязнь между собою, — былъ чрезвычайно бѣденъ на средства къ прокормленію, и притомъ необыкновенно прожорливъ, такъ что сосчитать, сколько каждый изъ нихъ уписывалъ за вечерю⁵ галушекъ, было бы совершенно невозможное дѣло, и потому добротныя пожертвованія зажиточныхъ владѣльцевъ не могли быть достаточны. Тогда сенатъ, состоявшій изъ философовъ и богослововъ, отправлялъ грамматиковъ и раторовъ, подъ предводительствомъ одного философа, — а иногда присоединялся и самъ, — съ мѣшками на плечахъ, опустошать чужіе огороды — и въ бурсѣ появлялась каша изъ тыквъ. Сенаторы столько объѣдались арбузовъ и дынь, что на другой день аудиторы слышали отъ нихъ, вмѣсто одного, два урока: одинъ происходилъ изъ устъ, другой ворчалъ въ сенаторскомъ желудкѣ. Бурса и семинарія носили какія-то длинныя подобія сюртуковъ, простирившихся *по сіе время*: слово техническое, означавшее — далѣе пятокъ.

Самое торжественное для семинаріи событіе было — вакансіи: время съ іюня мѣсяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домамъ. Тогда всю большую дорогу усѣивали грамматика, философы и богословы. Кто не имѣлъ своего приюта, тотъ отправлялся къ кому-нибудь изъ товарищей. Философы и богословы отправлялись *на кондиціи*, то есть брались учить, или готовить дѣтей людей зажиточныхъ, и получали за то въ годъ новые сапоги, а иногда и на скуртукъ. Вся ватага эта тянулась вмѣстѣ цѣлымъ таборомъ, варила себѣ кашу и ночевала въ полѣ. Каждый тащилъ за собою мѣшокъ, въ которомъ находилась одна рубашка и пара онучъ. Богословы особенно были бережливы и аккуратны: для того, чтобы не износить сапоговъ, они скидали ихъ, вѣшали на палки и несли на плечахъ, особенно, когда была грязь: тогда они, засучивъ шаровары по колѣни¹, безстрашно разбрызгивали своими ногами лужи. Какъ только завидывали въ сторонѣ хуторъ, тотчасъ сворачивали съ большой дороги и, приблизившись къ хатѣ, выстроенной поспратнѣе другихъ, становились передъ окнами въ рядъ и во весь ротъ начинали пѣть кантъ. Хозяинъ хаты, какой-нибудь старый козакъ поселянинъ, долго ихъ слушалъ, подпершись обѣими руками, потомъ рыдалъ прегорько и говорилъ, обращаясь къ своей женѣ: „Жинко! то, что поють школяры, должно быть очень разумное; вынеси имъ сала и чего-нибудь такого, что у насъ есть“. И цѣлая миска варениковъ валилась въ мѣшокъ; порядочный кусъ сала, нѣсколько паляницъ², а иногда и связанная курица помѣщались³ вмѣстѣ. Подкрѣпившись такимъ запасомъ, грамматика, риторы, философы и богословы опять продолжали путь. Чѣмъ далѣе, однакоже, шли они, тѣмъ болѣе уменьшалась толпа ихъ. Всѣ почти разбродились по домамъ и оставались тѣ, которые имѣли родительскія гнѣзда далѣе другихъ.

Одинъ разъ, во время подобнаго странствованія, три бурсака своротили съ большой дороги въ сторону, съ тѣмъ, чтобы въ первомъ попавшемся хуторѣ запасть провіантомъ, потому что мѣшокъ у нихъ давно уже былъ пустъ. Это были: богословъ Халява, философъ Хома Брутъ и риторъ Тиберій Горобецъ.

Богословъ былъ рослый, плечистый мужчина и имѣлъ чрезвычайно странный нравъ: все, что ни лежало, бывало, возлѣ

него, онъ непремѣнно украдетъ. Въ другомъ случаѣ характеръ его былъ чрезвычайно мраченъ, и когда напивался онъ пьянъ, то прятался въ бурьянѣ, и семинаріи стоило большаго труда сыскать его тамъ¹.

Философъ Хома Брутъ былъ права веселаго, любилъ очень лежать и курить люльку; если же пилъ, то непремѣнно нанималъ музыкантовъ и отплясывалъ тропака². Онъ часто пробовалъ *крупнаго гороху*³, но совершенно съ философическимъ равнодушіемъ, говоря, что, чему быть, того не миновать.

Риторъ Тиберій Горобецъ еще не имѣлъ права носить усовъ, пить горѣлки и курить люльки⁴. Онъ носилъ только оселедецъ, и потому характеръ его въ то время еще мало развился; но, судя по большимъ шишкамъ на лбу, съ которыми онъ часто являлся въ классъ, можно было предположить, что изъ него будетъ хорошій воинъ. Богословъ Халява и философъ Хома часто дирали его за чубъ, въ знакъ своего покровительства, и употребляли въ качествѣ депутата.

Былъ уже вечеръ, когда они своротили съ большой дороги; солнце только что сѣло, и дневная теплота оставалась еще въ воздухѣ. Богословъ и философъ шли молча, кура люльки; риторъ Тиберій Горобецъ сбивалъ палкою головки съ будяковъ, росшихъ по краямъ дороги. Дорога шла между разбросанными группами дубовъ и орѣшника, покрывавшими дугъ. Отлогости и небольшія горы, зеленныя и круглыя, какъ куполы, иногда перемеживались⁵ равнину. Показавшаяся въ двухъ мѣстахъ нива съ вызрѣвавшимъ житою давала знать, что скоро должна появиться какая-нибудь деревня. Но уже болѣе часа, какъ они минули хлѣбныя полосы, а между тѣмъ имъ не попадалось никакого жилья. Сумерки уже совсѣмъ омрачили небо, и только на западѣ блѣднѣлъ остатокъ алаго сіянія.

„Что за чортъ!“ сказалъ философъ Хома Брутъ: „сдавалось совершенно, какъ будто сейчасъ будетъ хуторъ“.

Богословъ помолчалъ, поглядѣлъ по окрестностямъ, потомъ опять взялъ въ ротъ свою люльку, и всѣ продолжали путь.

„Ей Богу!“ сказалъ опять, остановившись, философъ: „ни чортова кулака не видно“.

„А, можетъ быть, далѣе и попадется какой-нибудь хуторъ“, сказалъ богословъ, не выпуская люльки.

Но между тѣмъ уже была ночь, и ночь довольно темная. Небольшія тучи усилили мрачность и, судя по всѣмъ примѣтамъ, нельзя было ожидать ни звѣздъ, ни мѣсяца. Бурсаки замѣтили, что они сбились съ пути и давно шли не по дорогѣ.

Философъ, пошаривши ногами во всѣ стороны, сказалъ наконецъ отрывисто: „А гдѣ же дорога?“

Богословъ помолчалъ и, надумавшись, примолвилъ: „Да, ночь темная“.

Риторъ отошелъ въ сторону и старался ползкомъ нащупать дорогу, но руки его попадали только въ лисьи норы. Вездѣ была одна степь, по которой, казалось, никто не ѣздилъ.

Путешественники еще сдѣлали усиліе пройти нѣсколько впередъ, но вездѣ была та же дичь. Философъ попробовалъ перекликнуться, но голосъ его совершенно заглохъ по сторонамъ и не встрѣтилъ никакого отвѣта. Нѣсколько спустя только послышалось слабое стenanіе, похожее на волчій вой.

„Вишь! чтó тутъ дѣлать?“ сказалъ философъ.

„А чтó? оставаться и заночевать въ полѣ!“ сказалъ богословъ и полѣзъ въ карманъ достать огниво и закурить снова свою люльку. Но философъ не могъ согласиться на это: онъ всегда имѣлъ обыкновеніе упрятать на ночь полпудовую¹ краюху хлѣба и фунта четыре сала, и чувствовалъ на этотъ разъ въ желудкѣ своемъ какое-то несносное одиночество. Притомъ, не смотря на веселый нравъ свой, философъ боялся нѣсколько волковъ.

„Нѣтъ, Халява, не можно“, сказалъ онъ. „Какъ же, не подкрѣпивъ себя ничѣмъ, растянуться и лечь такъ, какъ собака?² Попробуемъ еще: можетъ быть, набредемъ на какое-нибудь жилие, и хоть чарку горѣлки удастся выпить на ночь“.

При словѣ „горѣлка“, богословъ сплюнулъ въ сторону³ и примолвилъ: „Оно конечно, въ полѣ оставаться нечего“.

Бурсаки пошли впередъ и, къ величайшей радости ихъ, въ отдаленіи почудился лай. Прислушавшись, съ которой стороны, они отправились бодрѣе и, немного пройдя, увидѣли огонекъ.

„Хуторъ! Ей Богу, хуторъ!“ сказалъ философъ.

Предположенія его не обманули: черезъ нѣсколько времени они увидѣли, точно, небольшой хуторокъ, состоявшій изъ двухъ только хатъ, находившихся въ одномъ и томъ же дворѣ.

Въ окнахъ свѣтился огонь; десятокъ сливныхъ деревь торчалъ¹ подъ тыномъ. Взглянувши въ сквозныя досчатыя ворота, бурсаки увидѣли дворъ, установленный чумацкими возами². Звѣзды кое гдѣ глянули въ это время на небѣ.

„Смотрите же, братцы, не отставать! Во что бы то ни было, а добыть ночлега!“

Три ученые мужа дружно ударили въ ворота и закричали:

„Отвори!“

Дверь въ одной хатѣ заскрипѣла, и, минутою спустя, бурсаки увидѣли передъ собою старуху въ нагольномъ тулупѣ.

„Кто тамъ?“ закричала она, глухо кашляя.

„Пусти, бабуся, переночевать: сбились съ дороги; такъ въ полѣ скверно, какъ въ голодномъ брюхѣ“.

„А что вы за народъ?“

„Да пародъ необидчивый: богословъ Халява, философъ Брутъ и риторъ Горобецъ“.

„Не можно“, проворчала старуха: „у меня народу полнонь дворъ и всѣ углы въ хатѣ заняты. Куда я васъ дѣну? Да еще все какой рослый и здоровый народъ! Да у меня и хата развалится, когда помѣщу такихъ. Я знаю этихъ философвъ и богослововъ: если такихъ пьяницъ начнешь принимать, то и двора скоро не будетъ. Пошли, пошли! Тутъ вамъ нѣтъ мѣста“.

„Умилосердись, бабуся! Какъ же можно, чтобы христіанскія души пропали ни за что, ни про что? Гдѣ хочешь, помѣсти насъ; и если мы что-нибудь, какъ-нибудь того, или какое другое что сдѣлаемъ, — то пусть намъ и руки отсохнутъ, и такое будетъ, что Богъ одинъ знаетъ — вотъ что!“

Старуха, казалось, немного смягчилась. „Хорошо“, сказала она, какъ бы размышляя: „я впущу васъ, только положу всѣхъ въ разныхъ мѣстахъ: а то³ у меня не будетъ спокойно на сердцѣ, когда будете лежать вмѣстѣ“.

„На то твоя воля; не будемъ прекословить“, отвѣчали бурсаки.

Ворота заскрипѣли, и они вошли на⁴ дворъ.

„А что, бабуся“, сказалъ философъ, идя за старухой: „если бы такъ, какъ говорить... Ей Богу, въ животѣ какъ будто кто колесами сталъ ѣздить: съ самаго утра вотъ хоть бы щепка была во рту“.

„Вишь, чего захотѣлъ!“ сказала старуха: „нѣтъ, у меня нѣтъ ничего такого, и печь не топилась сегодня“.

„А мы бы уже за все это“, продолжалъ философъ: „расплатились бы завтра, какъ слѣдуетъ — чистоганомъ. Да!“ продолжалъ онъ тихо: „чорта съ два получишь ты что-нибудь!“

„Ступайте, ступайте! и будьте довольны тѣмъ, что даютъ вамъ. Вотъ чортъ принесъ какихъ нѣжныхъ паничей!“

Философъ Хома пришелъ въ совершенное уныніе отъ такихъ словъ; но вдругъ носъ его почувствовалъ запахъ сушеной рыбы; онъ глянулъ на шаровары богослова, шедшаго съ нимъ рядомъ, и увидѣлъ, что изъ кармана его торчалъ преогромный рыбій хвостъ: богословъ уже успѣлъ подтибрить съ воза цѣлаго караса. И такъ какъ онъ это производилъ не изъ какой-нибудь корысти, но единственно по привычкѣ и, позабывши совершенно о своемъ карасѣ, уже разглядывалъ, что бы такое стянуть другое, не имѣя намѣренія пропустить даже изломаннаго колеса, — то философъ Хома запустилъ руку въ его карманъ, какъ въ свой собственный, и вытащилъ караса.

Старуха размѣстила бурсаковъ: ритора положила въ хатѣ, богослова заперла въ пустую комору, философу отвела тоже пустой овечій хлѣвъ.

Философъ, оставшись одинъ, въ одну минуту съѣлъ караса, осмотрѣлъ плетенныя стѣны хлѣва, толкнулъ ногою въ морду просунувшуюся изъ другаго хлѣва любопытную свинью и воротился на правый бокъ, чтобы заснуть мертвецки. Вдругъ низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла въ хлѣвъ.

„А что, бабуся, чего тебѣ нужно?“ сказалъ философъ.

Но старуха шла прямо къ нему съ распростертыми руками.

„Эге, ге!“ подумалъ философъ. „Только нѣтъ, голубушка, устарѣла!“

Онъ отодвинулся немного подальше, но старуха, безъ церемоніи, опять подошла къ нему.

„Слушай, бабуся!“ сказалъ философъ: „теперь постъ; а я такой человѣкъ, что и за тысячу золотыхъ не захочу оскормиться.“

Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова.

Философу сдѣлалось страшно, особливо, когда онъ замѣтилъ, что глаза ея сверкнули какимъ-то необыкновеннымъ блескомъ. „Бабуся! что ты? Ступай, ступай себѣ съ Богомъ!“ закричалъ онъ.

Но старуха не говорила ни слова и хватала¹ его руками.

Онъ вскочилъ на ноги, съ намѣреніемъ бѣжать; но старуха стала въ дверяхъ, вперила на него сверкающіе глаза и снова начала подходить къ нему.

Философъ хотѣлъ оттолкнуть ее руками, но, къ удивленію, замѣтилъ, что руки его не могутъ приподняться, ноги не двигались; и онъ съ ужасомъ увидѣлъ, что даже голосъ не звучалъ изъ устъ его: слова безъ звука шевелились на губахъ. Онъ слышалъ только, какъ билось его сердце; онъ видѣлъ, какъ старуха подошла къ нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила съ быстротою кошки къ нему на спину, ударила его метлою по боку, и онъ, подпрыгивая, какъ верховой конь, понесъ ее на плечахъ своихъ. Все это случилось такъ быстро, что философъ едва могъ опомниться и схватилъ обѣими руками себя за колѣни², желая удержать ноги; но онъ, къ величайшему изумленію его, подымались противъ воли и производили скачки быстрѣе черкесскаго бѣгуна. Когда уже минули они хуторъ и передъ ними открылась ровная лощина, а въ сторонѣ потянулся черный, какъ уголь, лѣсъ, тогда только сказалъ онъ самъ въ себѣ³: „Эге, да это вѣдьма!“

Обращенный мѣсячный серпъ свѣтилъ на небѣ. Робкое полночное сіяніе, какъ сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось по землѣ. Лѣса, дуга, небо, долины — все, казалось, какъ будто спало съ открытыми глазами; вѣтеръ хоть бы разъ вспорхнулъ гдѣ-нибудь; въ ночной свѣжести было что-то влажно-теплое; тѣни отъ деревъ и кустовъ, какъ кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину: такая была ночь, когда философъ Хома Брутъ скакалъ съ непонятнымъ всадникомъ на спинѣ. Онъ чувствовалъ какое-то томительное, неприятное⁴ и вмѣстѣ сладкое чувство, подступавшее къ его сердцу. Онъ опустилъ голову внизъ и видѣлъ, что трава, бывшая почти подъ ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверхъ ея находилась прозрачная, какъ горный ключъ, вода, и трава казалась дномъ какого-то свѣтлаго, прозрачнаго до самой глубины моря; по крайней мѣрѣ онъ видѣлъ ясно, какъ онъ отражался въ немъ вмѣстѣ съ сидѣвшею на спинѣ старухою. Онъ видѣлъ, какъ, вмѣсто мѣсяца, свѣтило тамъ какое-то солнце; онъ слышалъ, какъ голубые колокольчики, наклоняя свои головки, звенѣли; онъ видѣлъ, какъ изъ-за осоки выплывала

русалка, мелькала спина и нога выпуклая, упругая, вся созданная изъ блеска и трепета. Она оборотилась къ нему — и вотъ ея лицо, съ глазами свѣтлыми, сверкающими, острыми, съ пѣньемъ вторгавшимися¹ въ душу, уже приближалось къ нему, уже было на поверхности и, задрожавъ сверкающимъ смѣхомъ, удалялось; и вотъ она опрокинулась на спину — и облачныя перси ея, матовыя, какъ фарфоръ, непокрытый глазурью, просвѣчивали предъ солнцемъ по краямъ своей бѣлой, эластически-нѣжной окружности. Вода, въ видѣ маленькихъ пузырьковъ, какъ бисеръ, обсыпала² ихъ. Она вся дрожить и смѣется въ водѣ...

Видитъ ли онъ это, или не видитъ? Наяву ли это, или снится? Но тамъ что? вѣтеръ или музыка? звенить, звенить и вѣтса, и подступаетъ, и вонзается въ душу какою-то нестерпимую трелю....

„Что это?“ думалъ философъ Хома Брутъ, глядя внизъ, несясь во всю прыть. Потъ катился съ него градомъ. Онъ чувствовалъ бѣсовски-сладкое чувство, онъ чувствовалъ какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслажденіе. Ему часто казалось, какъ будто сердца уже вовсе не было у него, и онъ со страхомъ хватался за него рукою. Изнеможенный, растерянный, онъ началъ припоминать всѣ, какія только зналъ, молитвы. Онъ перебиралъ всѣ заклія противъ духовъ и вдругъ почувствовалъ какое-то освѣженіе; чувствовалъ, что шагъ его начиналъ становиться лѣнивѣе, вѣдма какъ-то слабѣе держалась на спинѣ его, густая трава касалась его, и уже онъ не видѣлъ въ ней ничего необыкновеннаго. Свѣтлый серпъ свѣтилъ на небѣ.

„Хорошо же!“ подумалъ про себя философъ Хома и началъ почти вслухъ произносить заклія. Наконецъ, съ быстротою молніи, выпрыгнулъ изъ-подъ старухи и вскопчилъ въ свою очередь къ ней на спину. Старуха мелкимъ дробнымъ шагомъ побѣжала такъ быстро, что всадникъ едва могъ переводить духъ свой. Земля чуть мелькала подъ нимъ; все было ясно при мѣсячномъ, хотя и неполномъ свѣтѣ; долины были гладки; но все отъ быстроты мелькало неясно и сбивчиво въ его глазахъ. Онъ схватилъ лежавшее на дорогѣ полѣно и началъ имъ со всѣхъ силъ⁴ колотить старуху. Дикіе вопли издала она; сначала были они сердиты и угрожающи, потомъ становились сла-

бѣе, пріятнѣе, чище, и потомъ уже тихо, едва звенѣли, какъ тонкіе серебряные колокольчики, и заронялись ему въ душу; и невольно мелькнула въ головѣ мысль: точно ли это старуха? „Охъ, не могу больше!“ произнесла она въ изнеможеніи и упала на землю.

Онъ сталъ на ноги и посмотрѣлъ ей въ очи (разсвѣтъ загорался, и блестяи золотыя главы вдали кіевскихъ церквей): передъ нимъ лежала красавица съ растрепанною роскошною косою, съ длинными, какъ стрѣлы, рѣсницами. Безчувственно отбросила она на обѣ стороны бѣлыя нагія руки и стонала, возведя кверху очи, полныя слезъ.

Затрепеталъ, какъ древесный листъ, Хома; жалость и какое-то странное волненіе, и робость, невѣдомыя ему самому, овладѣли имъ. Онъ пустился бѣжать во весь духъ. Дорогой билось безпокойно его сердце, и никакъ не могъ онъ истолковать себѣ, что за странное, новое чувство имъ овладѣло. Онъ уже не хотѣлъ болѣе итти на хутора и спѣшилъ въ Кіевъ, раздумывая всю дорогу о такомъ непонятномъ происшествіи¹.

Бурсаковъ почти никого не было въ городѣ: всѣ разбрелись по хуторамъ, или на кондиціи, или, просто, безъ всякихъ кондицій, потому что по хуторамъ малороссійскимъ можно ѣсть галушки, сыръ, сметану и вареники величиною въ шляпу, не заплативъ гроша денегъ. Большая, разбѣжавшаяся хата², въ которой помѣщалась бурса, была рѣшительно пуста, и сколько философъ ни шарилъ во всѣхъ углахъ³ и даже ощупалъ всѣ дыры и западни въ крышѣ, но нигдѣ не отыскалъ ни куска сала, или по крайней мѣрѣ стараго книша, что, по обыкновенію, запрятываемо было бурсаками⁴.

Однакоже философъ скоро сыскался, какъ поправить свое горе⁵: онъ прошелъ, посвистывая, раза три по рынку, перемигнулъ на самомъ концѣ съ какою-то молодою вдовою въ желтомъ очипкѣ, продававшю ленты, ружейную дробь и колеса, — и былъ въ тотъ же день⁶ накормленъ пшеничными варениками, курицею... и словомъ — перечестъ нельзя, что у него было за столомъ, накрытымъ въ маленькомъ глиняномъ домикѣ, среди вишневаго садика. Въ тотъ же самый вечеръ⁷ видѣли философа въ корчмѣ: онъ лежалъ на лавкѣ, покуривая, по обыкновенію своему, люльку, и при всѣхъ бросилъ жиду корчмарю ползолотой. Передъ нимъ стояла кружка. Онъ глядѣлъ

на приходившихъ и уходившихъ хладнокровно-довольными глазами и вовсе уже не думалъ о своемъ необыкновенномъ происшествіи.

Между тѣмъ распространились вездѣ слухи, что дочь одного изъ богатѣйшихъ сотниковъ, котораго хуторъ находился въ пятидесяти верстахъ отъ Кіева, возвратилась въ одинъ день съ прогулки вся избитая, едва имѣвшая силы добрестъ до отцовскаго дома, находится при смерти и передъ смертнымъ часомъ изъяснила желаніе, чтобы отходную по ней и молитвы, въ продолженіе трехъ дней послѣ смерти, читалъ одинъ изъ кіевскихъ семинаристовъ: Хома Бруть. Объ этомъ философъ узналъ отъ самого ректора, который нарочно призывалъ его въ свою комнату и объявилъ, чтобы онъ безъ всякаго отлагательства спѣшилъ въ дорогу, что именитый сотникъ прислалъ за нимъ нарочно людей и возокъ.

Философъ вздрогнулъ по какому-то безотчетному чувству, котораго онъ самъ не могъ растолковать себѣ. Темное предчувствіе говорило ему, что ждетъ его что-то недоброе. Самъ не зная, почему, объявилъ онъ напрямикъ, что не поѣдетъ¹.

„Послушай, domine² Хома!“ сказалъ ректоръ (онъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ объяснялся очень вѣжливо съ своими подчиненными): „тебя никакой чортъ и не спрашиваетъ о томъ, хочешь ли ты ѣхать, или не хочешь. Я тебѣ скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь, да мудрствовать, то прикажу тебя по спинѣ и по прочему такъ отстегать молодымъ березнякомъ, что и въ баню не нужно будетъ ходить“³.

Философъ, почесывая слегка за ухомъ, вышелъ, не говоря ни слова, располагая при первомъ удобномъ случаѣ возложить надежду на свои ноги. Въ раздумьи сходилъ онъ съ крутой лѣстницы, приводившей на дворъ, обсаженный тополями, и на минуту остановился, услышавши довольно явственно голосъ ректора, дававшего приказанія своему ключнику и еще кому-то, — вѣроятно, одному изъ посланныхъ за нимъ отъ сотника.

„Благодари пана за крупу и яйца“, говорилъ ректоръ: „я скажи, что какъ только будутъ готовы тѣ книги, о которыхъ онъ пишетъ, то я тотчасъ пришлю: я отдаю ихъ уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе, прибавить пану, что

на хуторѣ у нихъ, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина, то при случаѣ прислать бы: здѣсь на базарахъ и нехороша, и дорога. А ты, Явтухъ, дай молодцамъ по чаркѣ горѣлки; да философа привязать, а не то — какъ разъ удереть“.

„Вишь, чортовъ сынъ!“ подумалъ про себя философъ: „пронюхалъ, длинноногій вьюнъ!“

Онъ сошелъ внизъ и увидѣлъ кибитку, которую принялъ было сначала за хлѣбный овинъ на колесахъ. Въ самомъ дѣлѣ, она была такъ же глубока, какъ печь, въ которой обжигаютъ кирпичи. Это былъ обыкновенный краковскій экипажъ, въ какомъ жида полсотнею отправляются вмѣстѣ съ товарами во всѣ города, гдѣ только слышитъ ихъ носъ ярмарку. Его ожидало человекъ шесть здоровыхъ и крѣпкихъ козаковъ, уже нѣсколько пожилыхъ. Свитки изъ тонкаго сукна, съ кистями, показывали, что они принадлежали довольно значительному и богатому владѣльцу; небольшіе рубцы говорили, что они бывали когда-то на войнѣ не безъ славы.

„Что жъ дѣлать? Чему быть, тому не миновать!“ подумалъ про себя философъ и, обратившись къ козакамъ, произнесъ громко: „Здравствуйте, братья товарищи!“

„Будь здоровъ, панъ философъ!“ отвѣчали нѣкоторые изъ козаковъ.

„Такъ вотъ это мнѣ приходится сидѣть вмѣстѣ съ вами? А брика знатная!“ продолжалъ онъ, влѣзая. „Тутъ бы только нанять музыкантовъ, то и танцевать можно“.

„Да, соразмѣрный экипажъ!“ сказалъ одинъ изъ козаковъ, садясь на облучокъ самъ-другъ съ кучеромъ, завязавшимъ голову тряпицею, вмѣсто шапки, которую онъ успѣлъ оставить въ шинкѣ. Другіе пять вмѣстѣ съ философомъ полѣзли въ углубленіе и расположились на мѣшкахъ, наполненныхъ разною закупкою, сдѣланною въ городѣ.

„Любопытно бы знать“, сказалъ философъ: „если бы, примѣромъ, эту брику нагрузить какимъ-нибудь товаромъ, положимъ — солью или желѣзными клинами, сколько потребовалось бы тогда коней?“

„Да“, сказалъ, помолчавъ, сидѣвшій на облучкѣ козакъ: „достаточное бы число потребовалось коней“.

Послѣ такого удовлетворительнаго отвѣта козакъ почиталъ себя въ правѣ молчать во всю дорогу.

Философу чрезвычайно хотѣлось узнать обстоятельнѣе, кто таковъ былъ этотъ сотникъ, каковъ его нравъ, чтѣ слышно о его дочкѣ, которая такимъ необыкновеннымъ образомъ возвратилась домой и находилась при смерти, и которой исторія связалась теперь съ его собственною, какъ у нихъ и чтѣ дѣлается въ домѣ. Онъ обращался къ нимъ съ вопросами; но козаки, вѣрно, были тоже философы, потому что, въ отвѣтъ на это, молчали и курили люльки, лежа на мѣшкахъ.

Одинъ только изъ нихъ обратился къ сидѣвшему на возлахъ возницѣ съ коротенькимъ приказаніемъ: „Смотри, Оверко, ты старый разиня, какъ будешь подъѣзжать къ шинку, чтѣ на чухрайловской дорогѣ, то не позабудь остановиться и разбудить меня и другихъ молодцовъ, если кому случится заснуть“.

Послѣ этого онъ заснулъ довольно громко. Впрочемъ эти наставленія были совершенно напрасны, потому что, едва только приблизилась исполинская брика къ шинку на чухрайловской дорогѣ, какъ всѣ въ одинъ голосъ закричали: „Стой!“ Притомъ лошади Оверка были такъ уже приучены, что останавливались сами передъ каждымъ шинкомъ.

Не смотря на жаркій іюльскій день, всѣ вышли изъ брики, отправились въ низенькую, запачканную комнату, гдѣ жидъ корчмарь, съ знаками радости, бросился принимать своихъ старыхъ знакомыхъ. Жидъ принесъ подъ полою нѣсколько колбасъ изъ свинины и, положивши на столъ, тотчасъ отворотился отъ этого запрещеннаго талмудомъ плода. Всѣ усѣлись вокругъ стола; глиняныя кружки показались предъ каждымъ изъ гостей. Философъ Хома долженъ былъ участвовать въ общей пирушкѣ. И такъ какъ малороссіане, когда подгуляютъ, непременно начнутъ цѣловаться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаніями. „А ну, Спиридь, почеломкаемся!“ — „Иди сюда, Дорошъ, я обниму тебя!“

Одинъ козакъ, бывший постарѣе всѣхъ другихъ, съ сѣдыми усами, подставивши руку подъ щеку, началъ рыдать отъ души о томъ, что у него нѣтъ ни отца, ни матери и что онъ остался однимъ одинъ на свѣтѣ. Другой былъ большой резонеръ и безпрестанно утѣшалъ его¹, говоря: „Не плачь; ей Богу, не плачь! чтѣ жъ тутъ?... Ужъ Богъ знаетъ, какъ и чтѣ такое“. Одинъ, по имени Дорошъ, сдѣлался чрезвычайно любопытенъ и, оботившись къ философу Хомѣ, безпрестанно спрашивалъ его:

„Я хотѣлъ бы знать, чему у васъ въ бурсѣ учать: тому ли самому, что и дьякъ читаетъ въ церкви¹, или чему другому?“

„Не спрашивай!“ говорилъ протяжно резонеръ: „пустъ его тамъ будетъ, какъ было. Богъ уже знаетъ, какъ нужно; Богъ все знаетъ“.

„Нѣтъ, я хочу знать“, говорилъ Дорошъ: „что тамъ написано въ тѣхъ книжкахъ; можетъ быть, совсѣмъ другое, чѣмъ у дьяка“.

„О Боже мой, Боже мой!“ говорилъ этотъ почтенный наставникъ: „и на что такое говорить? Такъ уже воля божія положила. Уже что Богъ далъ, того не можно перемѣнить“.

„Я хочу знать все, что ни написано. Я пойду въ бурсу, ей Богу, пойду. Что ты думаешь, я не выучусь? — Всему выучусь, всему!“

„О Боже жъ мой, Боже мой!...“ говорилъ утѣшитель и спустилъ свою голову на столъ, потому что совершенно былъ не въ силахъ держать ее долѣе на плечахъ. Прочіе козаки толковали о панахъ и о томъ, отчего на небѣ свѣтитъ мѣсяцъ.

Философъ Хома, увидя такое расположеніе головъ, рѣшился воспользоваться и улизнуть. Онъ сначала обратился къ сѣдовласому козаку, грустившему объ отцѣ и матери: „Что жъ ты, дядько, расплакался?“ сказалъ онъ: „я самъ сирота! Отпустите меня, ребята, на волю! На что я вамъ?“

„Пустимъ его на волю!“ отозвались нѣкоторые: „вѣдь онъ сирота; пусть себѣ идетъ, куда хочетъ“.

„О Боже жъ мой! Боже мой!“ произнесъ утѣшитель, поднявъ свою голову: „отпустите его! Пусть идетъ себѣ!“

И козаки уже хотѣли сами вывести его въ чистое поле; но тотъ, который показавъ свое любопытство, остановилъ ихъ, сказавши: „Не трогайте: я хочу съ нимъ поговорить о бурсѣ; я самъ пойду въ бурсу...“

Впрочемъ, врядъ ли бы этотъ побѣгъ могъ совершиться, потому что когда философъ вздумалъ подняться изъ-за стола, то ноги его сдѣлались какъ будто деревянными, и дверей въ комнатѣ начало представляться ему такое множество, что врядъ ли бы онъ отыскалъ настоящую.

Только ввечеру вся эта компанія вспомнила, что нужно отправляться² далѣе въ дорогу. Взмоштившись въ брику, они потянулись, погоняя лошадей и напѣвая пѣсню, которой слова и

смысль вряд ли бы кто разобралъ. Проколесивши большую половину ночи, безпрестанно сбиваясь съ дороги, выученной наизусть, они наконецъ спустились¹ съ крутой горы въ долину, и философъ замѣтилъ по сторонамъ танувшійся частоколъ, или плетень, съ низенькими деревьями и выказывавшимися изъ-за нихъ крышами. Это было большое селеніе, принадлежавшее сотнику. Уже было далеко за полночь; небеса были темны, и маленькія звѣздочки мелькали кое-гдѣ. Ни въ одной хатѣ не видно было огня. Они взѣхали², въ сопровожденіи собачьяго лая, на³ дворъ. Съ обѣихъ сторонъ были замѣтны крытые соломою сарай и домики; одинъ изъ нихъ, находившійся какъ разъ по срединѣ противъ воротъ, былъ болѣе другихъ и служилъ, какъ казалось, пребываніемъ сотника. Брига остановилась передъ небольшимъ подобіемъ сарая, и путешественники наши отправились спать. Философъ хотѣлъ, однакоже, нѣсколько осмотрѣть⁴ снаружи панскіе хоромы; но, какъ онъ ни пѣлилъ свои глаза, ничто не могло означиться въ ясномъ видѣ: вмѣсто дома представлялся ему медвѣдь; изъ трубы дѣлался ректоръ. Философъ махнулъ рукою и пошелъ спать.

Когда проснулся философъ, то весь домъ былъ въ движеніи: въ ночь умерла панночка. Слуги бѣгали впопыхахъ взадъ и впередъ; старухи нѣкоторыя плакали; толпа любопытныхъ глядѣла сквозь заборъ на панскій дворъ, какъ будто бы могла что-нибудь увидѣть. Философъ началъ на досугъ осматривать тѣ мѣста, которыя онъ не могъ разглядѣть ночью. Панскій домъ былъ низенькое небольшое строеніе, какія обыкновенно строились въ старину въ Малороссіи; онъ былъ покрытъ соломою; маленькій, острый и высокій фронтонъ съ окошкомъ, похожимъ на поднятый кверху глазъ, былъ весь измалеванъ голубыми и желтыми цвѣтами и красными полумѣсяцами; онъ былъ утвержденъ на дубовыхъ столбикахъ, до половины круглыхъ, и снизу шестигранныхъ, съ вычурною обточкою вверху. Подъ этимъ фронтономъ находилось небольшое крылечко со скамейками по обѣимъ сторонамъ. Съ боковъ дома были навѣсы на такихъ же столбикахъ, индѣ витыхъ. Высокая груша съ пирамидальною верхушкою и трепещущими листьями зеленѣла передъ домомъ. Нѣсколько амбаровъ въ два ряда стояли⁵ среди двора, образуя родъ широкой улицы, ведшей къ дому. За амбарами, къ самымъ воротамъ, стояли треугольниками

два погреба, одинъ напротивъ другаго, крытые также соломою. Треугольная стѣна каждаго изъ нихъ была снабжена низенькою дверью и размалевана разными изображеніями. На одной изъ нихъ нарисованъ былъ сидящій на бочкѣ козакъ, державшій надъ головою кружку съ надписью: „Все выпью!“ На другомъ фляжка, сулея и по сторонамъ, для красоты, лошадь, стоявшая¹ вверхъ ногами, трубка, бубны и надпись: „Вино козацкая потѣха“. Съ чердака² одного изъ сараевъ выглядывалъ, сквозь огромное слуховое окно, барабанъ и мѣдныя трубы. У воротъ стояли двѣ пушки. Все показывало, что хозяинъ дома любилъ повеселиться и дворъ часто оглашала пиршественныя клики. За воротами находились двѣ вѣтряныя мельницы. Позади дома шли сады, и сквозь верхушки деревь видны были однѣ только темныя шляпки трубъ скрывавшихся въ зеленой гущѣ хатъ. Все селеніе помѣщалось на широкомъ и ровномъ уступѣ горы. Съ сѣверной стороны все заслоняла крутая гора и подошвою своею оканчивалась у самаго двора. При взглядѣ на нее снизу, она казалась еще круче, и на высокой верхушкѣ ея торчали кое-гдѣ неправильные стебли тощаго бурьяна и чернѣли на свѣтломъ небѣ; обнаженный глинистый видъ ея навѣвалъ какое-то уныніе; она была вся изрыта дождевыми промоинами и проточинами. На крутомъ косогорѣ ея въ двухъ мѣстахъ торчали двѣ хаты; надъ одною изъ нихъ раскидывала вѣтви широкая яблоня, подпертая у корня небольшими кольями съ насыпною землей. Яблоки, сбиваемыя вѣтромъ, скатывались въ самый панскій дворъ. Съ вершины вылась по всей горѣ дорога и, опустившись, шла мимо двора въ селенье. Когда философъ измѣрилъ страшную круть ея и вспомнилъ вчерашнее путешествіе, то рѣшилъ, что или у пана были слишкомъ умныя лошади, или у козаковъ слишкомъ крѣпкія головы, когда и въ хмельномъ чаду умѣли не полетѣть вверхъ ногами вмѣстѣ съ неизмѣримою брикой и багажемъ. Философъ стоялъ на высшемъ въ дворѣ мѣстѣ, и, когда оборотился и глянулъ въ противоположную сторону, ему представился совершенно другой видъ. Селеніе вмѣстѣ съ отлогостью скатывалось на равнину. Необозримыя луга открывались на далекое пространство; яркая зелень ихъ темнѣла по мѣрѣ отдаленія, и цѣлыя ряды селеній синѣли вдаль, хотя разстояніе ихъ было болѣе, нежели на двадцать верстъ. Съ правой стороны

этихъ луговъ тянулись горы, и чуть замѣтною вдали поло-
сою горѣль и темнѣль Днѣпръ.

„Эхъ, славное мѣсто!“ сказалъ философъ: „вотъ тутъ бы
жить, ловить рыбу въ Днѣпрѣ и въ прудахъ, охотиться съ тене-
тами или съ ружьемъ за стрепетами и крольшнелами! Впро-
чемъ, я думаю, и дрофъ не мало въ этихъ лугахъ. Фруктовъ же
можно засушить и продать въ городъ множество или, еще
лучше, выкурить изъ нихъ водку, потому что водка изъ фрук-
товъ ни съ какимъ пѣвникомъ не сравнится. Да не мѣшаетъ
подумать и о томъ, какъ бы улизнуть отсюда“¹.

Онъ примѣтилъ за плетнемъ маленькую дорожку, совер-
шенно закрытую разросшимся бурьяномъ; поставилъ² маши-
нально на нее ногу, думая напередъ только прогуляться, а
потомъ тихомолкомъ, промежъ хатами³, да и махнуть въ поле,
какъ внезапно почувствовалъ на своемъ плечѣ довольно крѣп-
кую руку.

Позади его стоялъ тотъ самый старый козакъ, который вчера
такъ горько соболѣзновалъ о смерти отца и матери и о своемъ
одиночествѣ.

„Напрасно ты думаешь, панъ философъ, улепетнуть изъ
хутора!“ говорилъ онъ: „тутъ не такое заведеніе, чтобы можно
было убѣжать; да и дороги для пѣшехода плохи; а ступай
лучше къ пану: онъ ожидаетъ тебя давно въ свѣтлицѣ“.

„Пойдемъ! Что жь... я съ удовольствіемъ“, сказалъ фило-
софъ, и отправился вслѣдъ за козакомъ.

Сотникъ, уже престарѣлый, съ сѣдыми усами и съ выра-
женіемъ мрачной грусти, сидѣлъ передъ столомъ въ свѣтлицѣ,
подперши обѣими руками голову. Ему было около пятидесяти
лѣтъ; но глубокое уныніе на лицѣ и какой-то блѣдно-тощій
цвѣтъ показывали, что душа его была убита и разрушена
вдругъ въ одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная
жизнь исчезли навѣки. Когда взмошлъ Хома вмѣстѣ съ ста-
рымъ козакомъ, онъ отнял одну руку и слегка кивнулъ го-
ловою на низкій ихъ поклонъ.

Хома и козакъ почтительно остановились у дверей.

„Кто ты, и откудава⁴, и какого званія, добрый человѣкъ?“
сказалъ сотникъ ни ласково, ни сурово.

„Изъ бурсаковъ, философъ Хома Брутъ...“

„А кто былъ твой отецъ?“

„Не знаю, вельможный панъ“.

„А мать твоя?“

„И матери не знаю. По здравому разсужденію, конечно, была мать; но кто она и откуда, и когда жила, — ей Богу, добродію, не знаю“.

Старикъ помолчалъ и, казалось, минуту оставался въ задумчивости.

„Какъ же ты познакомился съ моею дочкою?“

„Не знакомился, вельможный панъ, ей Богу, не знакомился! Еще никакого дѣла съ панночками не имѣлъ, сколько ни живу на свѣтѣ. Цуръ имъ, чтобы не сказать непристойнаго!“

„Отчего же она не другому кому, а тебѣ именно назначила читать?“

Философъ пожалъ плечами: „Богъ его знаетъ, какъ это растолковать. Извѣстное уже дѣло, что панамъ подѣ часть захочется такого, что и самый наиграмотнѣйшій человекъ не разберетъ; и пословица говоритъ: „Скачи, враже, якъ панъ каже“.

„Да не врешь ли ты, панъ философъ?“

„Вотъ на этомъ самомъ мѣстѣ пусть громомъ такъ и хлопнетъ, если лгу“.

„Если бы только минуточкой долѣе прожила ты“, грустно сказалъ сотникъ: „то, вѣрно бы, я узналъ все. „Никому не давай читать по мнѣ, но пошли, тату, сей же часъ въ кievскую семинарію и привези бурсака Хому Брута; пусть три ночи молится по грѣшной душѣ моей. Онъ знаетъ...“ А что такое знаетъ, я уже не услышалъ: она, голубонька, только и могла сказать, и умерла. Ты, добрый человекъ, вѣрно, извѣстенъ святою жизнью своею и богоугодными дѣлами, и она, можетъ быть, наслышалась о тебѣ“.

„Кто? Я?“ сказалъ бурсакъ, отступивши отъ изумленія.

„Я святой жизни?“ произнесъ онъ, посмотрѣвъ прямо въ глаза сотнику. „Богъ съ вами, панъ! Что вы это говорите! Да я, — хоть оно непристойно сказать, — ходилъ къ булочницѣ противъ самага страстнаго четверга“.

„Ну... вѣрно, уже недаромъ такъ назначено. Ты долженъ съ сего же дня начать свое дѣло“.

„Я бы сказалъ на это вашей милости... Оно, конечно, всякій человекъ, вразумленный святому писанію, можетъ по соразмѣрности... только сюда приличнѣе бы требовалось дья-

кона или, по крайней мѣрѣ, дьяка¹. Они народъ толковый и знаютъ, какъ все это уже дѣлается; а я... Да у меня и голось не такой, и самъ я — чортъ знаетъ что. Никакого виду съ меня нѣтъ“.

„Ужъ какъ ты себѣ хочешь, только я все, что завѣщала мнѣ моя голубка, исполню, ничего не пожалѣя. И когда ты съ сего дня три ночи совершишь, какъ слѣдуетъ, надъ нею молитвы, то я награжу тебя; а не то — и самому чорту не совѣтую разсердить меня“.

Послѣднія слова произнесены были сотникомъ такъ крѣпко, что философъ понялъ вполне ихъ значеніе.

„Ступай за мною!“ сказалъ сотникъ².

Они вышли въ сѣни. Сотникъ отворилъ дверь въ другую свѣтлицу, бывшую насупротивъ первой. Философъ остановился на минуту въ сѣняхъ высморкаться и съ какимъ-то безотчетнымъ страхомъ переступилъ черезъ порогъ.

Весь полъ былъ устланъ красною китайкой. Въ углу, подъ образами, на высокомъ столѣ лежало тѣло умершей, на одѣялѣ изъ синяго бархата³, убранномъ золотою бахрамою и кистями. Высокія восковыя свѣчи, увитыя кадиною, стояли въ ногахъ и въ головахъ, изливая свой мутный, терявшійся въ дневномъ сіяніи, свѣтъ. Лицо умершей было заслонено отъ него неутѣшнымъ отцомъ, который сидѣлъ передъ нею, обратясь⁴ спиною къ дверямъ. Философа поразили слова, которыя онъ слышалъ:

„Я не о томъ жалѣю, моя наймилѣйшая⁵ мнѣ дочь, что ты во цвѣтѣ лѣтъ своихъ, не доживъ положеннаго вѣка⁶, на печаль и горестъ мнѣ, оставила землю; я о томъ жалѣю, моя голубонька, что не знаю того, кто былъ, лютый врагъ мой, причиною твоей смерти. И если бы я зналъ, кто могъ подумать только оскорбить тебя, или хоть бы сказалъ что-нибудь непріятное о тебѣ, то, клянусь Богомъ, не увидѣлъ бы онъ больше своихъ дѣтей, если онъ⁷ также старъ, какъ и я, ни своего отца и матери, если только онъ еще на порѣ лѣтъ, и тѣло его было бы выброшено на сѣдненіе птицамъ и звѣрямъ степнымъ! Но горе мнѣ, моя полевая нагидочка, моя перепеличка, моя ясочка, что проживу я остальной вѣкъ свой безъ потѣхи, утирая полою дробныя слезы, текуція изъ старыхъ очей моихъ, тогда какъ врагъ мой будетъ веселиться и втайнѣ посмѣваться надъ хилымъ старцемъ...“

Онъ остановился, и причиною этого была разрывающая горестъ, разрѣшившаяся цѣлымъ потокомъ¹ слезъ.

Философъ былъ тронуть такою безутѣшною печалію²; онъ закашлялъ и издалъ глухое крехтаніе, желая очистить имъ свой голосъ³.

Сотникъ оборотился и указаль ему мѣсто въ головахъ умершей, передъ небольшимъ наломъ, на которомъ лежали книги.

„Три ночи какъ-нибудь отработаю“, подумаль философъ: „за то панъ набьетъ мнѣ оба кармана чистыми червонцами“.

Онъ приблизился и, еще разъ откашлявшись⁴, принялся читать, не обращая никакого вниманія на сторону, и не рѣшаясь взглянуть въ лицо умершей⁵. Глубокая типина воцарилась. Онъ замѣтилъ, что сотникъ вышелъ. Медленно поворотилъ онъ голову, чтобы взглянуть на умершую и...

Трепетъ пробѣжалъ по его жиламъ: передъ нимъ лежала красавица, какая когда-либо бывала на землѣ. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы въ такой рѣзкой и вмѣстѣ гармонической красотѣ. Она лежала, какъ живая; чело прекрасное, нѣжное, какъ снѣгъ, какъ серебро, казалось, мыслило; брови — ночь среди солнечнаго дня, тонкія, ровныя, горделиво приподнялись надъ закрытыми глазами; а рѣсницы, упавшія стрѣлами на щеки, пылавшія жаромъ тайныхъ желаній; уста — рубины, готовые усмѣхнуться смѣхомъ блаженства, потокомъ радости⁶... Но въ нихъ же, въ тѣхъ же самыхъ чертахъ, онъ видѣлъ что-то страшно-пронзительное. Онъ чувствовалъ, что душа его начинала какъ-то болѣзненно ныть, какъ будто бы вдругъ среди вихря веселья и закружившейся толпы запѣлъ кто-нибудь пѣсню похоронную. Рубины усть ея, казалось, прикипали кровію къ самому сердцу. Вдругъ что-то страшно-знакомое показалось въ лицѣ ея. „Вѣдьма!“ вскрикнулъ онъ не своимъ голосомъ, отвелъ глаза въ сторону, поблѣднѣлъ весь и сталъ читать свои молитвы. Это была та самая вѣдьма, которую убилъ онъ!⁷

Когда солнце стало садиться, мертвую понесли въ церковь. Философъ однимъ плечомъ своимъ поддерживалъ черный траурный гробъ⁸ и чувствовалъ на плечѣ своемъ что-то холодное, какъ ледъ. Сотникъ самъ шелъ впереди, неся рукою правую сторону тѣснаго дома умершей. Церковь деревянная, почер-

нѣвшая, убранныя зеленымъ мохомъ, съ тремя конусообразными куполами¹, уныло стояла почти на краю села. Замѣтно было, что въ ней давно уже не отправлялось никакого служенія. Свѣчи были зажжены почти передъ каждымъ образомъ. Гробъ поставили по срединѣ, противъ самага алтаря. Старый сотникъ поцѣловалъ еще разъ умершую, повергнулся ницъ и выпелъ вмѣстѣ съ носильщиками вонъ, давъ повелѣнїе хорошенько накормить философа и послѣ ужина проводить его въ церковь. Пришедши въ кухню, всѣ, несшіе гробъ, начали прикладывать руки къ печкѣ, что обыкновенно дѣлаютъ малороссіане, увидѣвши мертвеца.

Голодь, который въ это время началъ чувствовать философъ, заставилъ его на нѣсколько минутъ позабыть вовсе объ умершей. Скоро вся дворня мало по малу начала сходиться въ кухню. Кухня въ сотниковомъ домѣ была что-то похожее² на клубъ, куда стекалось все, что ни обитало во дворѣ, считая въ это число³ и собакъ, приходившихъ съ машущими хвостами къ самымъ дверямъ за костями и помоями. Куда бы кто ни былъ посылаемъ и по какой бы то ни было надобности, онъ всегда прежде заходилъ на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавкѣ и выкурить люльку. Всѣ холостяки, жившіе въ домѣ, щеголявшіе въ козацкихъ свиткахъ, лежали здѣсь почти цѣлый день на лавкѣ, подъ лавкою, на печкѣ — однимъ словомъ, гдѣ только можно было сыскать удобное мѣсто для лежанья. Притомъ всякій вѣчно позабывалъ въ кухнѣ или шалку, или кнутъ для⁴ чужихъ собакъ, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное собраніе бывало во время ужина, когда приходилъ и табунщикъ, успѣвшій загнать своихъ лошадей въ загонъ, и погонщикъ, приводившій коровъ для дойки, и всѣ тѣ, которыхъ въ теченіе дня нельзя было увидѣть. За ужиномъ болтовня овладѣвала самыми неговорливыми языками. Тутъ обыкновенно говорилось обо всемъ: и о томъ, кто пошилъ себѣ новыя шаровары, и что находится внутри земли, и кто видѣлъ волка. Тутъ было множество бонмотистовъ, въ которыхъ между малороссіанцами нѣтъ недостатка.

Философъ усѣлся вмѣстѣ съ другими въ обширный кружокъ, на вольномъ воздухѣ, передъ порогомъ кухни. Скоро баба въ красномъ очипкѣ высунулась изъ дверей, держа въ обѣихъ рукахъ горячій горшокъ съ галушками, и поставила его посреди

готовившихся ужинать. Каждый вынулъ изъ кармана своего деревянную ложку; иные, за неимѣніемъ, деревянную спичку. Какъ только уста стали двигаться немного медленнѣе, и волчій голодъ всего этого собранія немного утихнулъ, многіе начали заговаривать. Разговоръ, натурально, долженъ былъ обратиться къ умершей.

„Правда ли“, сказалъ одинъ молодой овчаръ, который насадилъ на свою кожаную перевязь для люльки столько пуговицъ и мѣдныхъ бляхъ, что былъ похожъ на лавку мелкой торговли: „правда ли, что панночка, не тѣмъ будь помянута, зналась съ нечистымъ?“

„Кто? Панночка?“ сказалъ Дорошъ, уже знакомый прежде нашему философу: „да она была цѣлая вѣдьма! Я присягну, что вѣдьма!“

„Полно, полно, Дорошъ“, сказалъ другой, который во время дороги изъявлялъ большую готовность утѣшать: „это не наше дѣло; Богъ съ нимъ! Нечего объ этомъ толковать“. — Но Дорошъ вовсе не былъ расположенъ молчать; онъ только что передъ тѣмъ сходилъ въ погребъ вмѣстѣ съ ключникомъ по какому-то нужному дѣлу и, наклонившись раза два къ двумъ или тремъ бочкамъ, вышелъ оттуда чрезвычайно веселый и говорилъ безъ умолку.

„Что ты хочешь? Чтобы я молчалъ?“ сказалъ онъ: „да она на мнѣ самомъ ѣздила! Ей Богу, ѣздила!“

„А что, дядько?“ сказалъ молодой овчаръ съ пуговицами: „можно ли узнать по какимъ-нибудь примѣтамъ вѣдьму?“

„Нельзя“, отвѣчалъ Дорошъ: „никакъ не узнаешь; хоть всѣ псалтыри перечитай, то не узнаешь“.

„Можно, можно, Дорошъ: не говори этого“, произнесъ прежній утѣшитель: „уже Богъ не даромъ далъ всякому особый обычай: люди, знающіе науку, говорятъ, что у вѣдьмы есть маленькій хвостикъ“.

„Когда стара баба, то и вѣдьма“, сказалъ хладнокровно сѣдой козакъ.

„О, ужъ хороши и вы!“ подхватила баба, которая подливала въ то время свѣжихъ галушекъ въ очистившійся горшокъ: „настоящіе толстые кабаны!“

Старый козакъ, котораго имя было Явтухъ, а прозваніе Ковтунъ, выразилъ на губахъ своихъ улыбку удовольствія, замѣ-

тивъ, что слова его задѣли за живое старуху; а погонщикъ скотины пустилъ такой густой смѣхъ, какъ будто бы два быка, ставши одинъ противъ другаго, замычали разомъ.

Начавшійся разговоръ возбудилъ непреодолимое желаніе и любопытство философа узнать обстоятельнѣе про умершую сотникову дочь, и потому, желая опять навести его на прежнюю матерію, обратился къ сосѣду своему съ такими словами: „Я хотѣлъ спросить, почему все это сословіе, что сидитъ за ужиномъ, считаетъ панночку вѣдьмою? Что жъ, развѣ она кому-нибудь причинила зло, или извела кого-нибудь?“

„Было всякаго“, отвѣчалъ одинъ изъ сидѣвшихъ, съ лицомъ гладкимъ, чрезвычайно похожимъ на лопату.

„А кто не припомнитъ псаля Микиту, или того“...

„А что жъ такое псаля Микита?“ сказалъ философъ.

„Стой! я расскажу про псаля Микиту“, сказалъ Дорошъ.

„Я расскажу про Микиту“¹, отвѣчалъ табунщикъ: „потому что онъ былъ мой кумъ“.

„Я расскажу про Микиту“, сказалъ Спиридь.

„Пускай, пускай Спиридь расскажетъ!“ закричала толпа.

Спиридь началъ: „Ты, панъ философъ Хома, не зналъ Микиты. Эхъ, какой рѣдкій былъ человѣкъ! Собаку каждую онъ, бывало, такъ знаетъ, какъ роднаго отца. Теперешній псаля Микола, что сидитъ третьимъ за мною, и въ подметки ему не годится. Хотя онъ тоже разумѣеть свое дѣло, но онъ противъ него — дрянъ, помои“.

„Ты хорошо рассказываешь, хорошо!“ сказалъ Дорошъ, одобрительно кивнувъ головою.

Спиридь продолжалъ: „Зайца увидитъ скорѣе, чѣмъ табакъ утрешь изъ носу. Бывало, свиснетъ: „а ну, Разбой! а ну, Быстрая!“ а самъ на конѣ во всю прыть, — и уже рассказать нельзя, кто кого скорѣе обгонитъ: онъ ли собаку, или собаку его. Сивухи кварту свиснетъ вдругъ, какъ не бывало². Славный былъ псаля! Только съ недавняго времени началъ онъ заглядываться безпрестанно на панночку. Вклепался ли онъ точно въ нее, или уже она такъ его околдовала, только пропаль человѣкъ, обабился совсѣмъ; сдѣлался, чортъ знаетъ что, пфу! непристойно сказать“.

„Хорошо“, сказалъ Дорошъ.

„Какъ только панночка, бывало, взглянетъ на него, то и

повода изъ рукъ пускаетъ, Разбой зоветъ Бровкомъ, спотыкается и ни-вѣсть что дѣлаетъ. Одинъ разъ панночка пришла на конюшню, гдѣ онъ чистилъ коня. — „Дай“, говоритъ, „Микитка“, я положу на тебя свою ножку“. А онъ, дурень, и радъ тому: говорить, что „не только ножку, но и сама садись на меня“. Панночка подняла свою ножку, и какъ увидѣлъ онъ ея нагую, полную и бѣлую ножку, то, говоритъ, чара такъ и ошеломила его. Онъ, дурень, нагнувъ спину и, схвативши обѣими руками за нагія ея ножки, пошелъ скакать, какъ конь, по всему полю, и куда они ѣздили, онъ ничего не могъ сказать; только воротился едва живой, и съ той поры иссохнулъ весь, какъ щепка; и когда разъ пришли на конюшню, то вмѣсто его лежала только куча золы да пустое ведро: сгорѣлъ совсѣмъ, сгорѣлъ самъ собою. А такой былъ псарь, какого на всемъ свѣтѣ не можно найти“.

Когда Спиридь окончилъ рассказъ свой, со всѣхъ сторонъ пошли толки о достоинствахъ бывшаго пса.

„А про Шепчиху ты не слышалъ?“ сказалъ Дорошъ, обращаясь къ Хомѣ.

„Нѣтъ“.

„Эге, ге, ге! Такъ у васъ въ бурѣ, видно, не слишкомъ большому разуму учать. Ну, слушай. У насъ есть на селѣ козакъ Шептунъ, — хорошій козакъ! Онъ любитъ иногда украсть и соврать безъ всякой нужды, но... хорошій козакъ. Его хата не такъ далеко отсюда. Въ такую самую пору, какъ мы теперь сѣли вечерять, Шептунъ съ жинкою, окончивши вечерю, легли спать, и такъ какъ время было хорошее, то Шепчиха легла на дворѣ, а Шептунъ въ хатѣ, на лавкѣ; или нѣтъ: Шепчиха въ хатѣ на лавкѣ, а Шептунъ на дворѣ...“

„И не на лавкѣ, а на полу легла Шепчиха“, подхватила баба, стоя у порога и подперши рукою щеку.

Дорошъ поглядѣлъ на нее, потомъ поглядѣлъ внизъ, потомъ опять на нее и, немного помолчавъ, сказалъ: „Когда скину съ тебя при всѣхъ исподницу, то нехорошо будетъ“.

Это предостереженіе имѣло свое дѣйствіе. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила рѣчи.

Дорошъ продолжалъ: „А въ люлькѣ, висѣвшей среди хаты, лежало годовое дитя, не знаю, мужескаго или женскаго пола. Шепчиха лежала, а потомъ слышитъ, что за дверью скребется

собака и воетъ такъ, хоть изъ хаты бѣги. Она испугалась, ибо бабы — такой глупый народъ, что высунь ей подъ вечеръ изъ-за дверей языкъ, то и душа уйдетъ¹ въ пятки. Однакожь думаетъ: „Дай-ка я ударю по мордѣ проклятую собаку, авось-либо перестанетъ вить“ — и, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успѣла она немного отворить, какъ собака кинулась промежь ногъ ея и прямо къ дѣтской люлькѣ. Шепчиха видитъ, что это уже не собака, а панночка; да притомъ пускай бы уже панночка въ такомъ видѣ, какъ она ее знала, — это бы еще ничего; но вотъ вещь и обстоятельство, что она была вся синяя, а глаза горѣли, какъ уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала нить изъ него кровь. Шепчиха только закричала: „Охъ, лищечко!“ да изъ хаты. Только видитъ, что въ сѣняхъ двери заперты; она на чердакъ; сидитъ и дрожитъ глупая баба; а потомъ видитъ, что панночка къ ней идетъ и на чердакъ, кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже Шептунъ поутру вытащилъ оттуда свою жинку, всю искусанную и посинѣвшую; а на другой день и умерла глупая баба. Такъ вотъ какія устройства и обольщенія бывають! Оно хоть и панскаго помету, да все, когда вѣдьма, то вѣдьма“.

Послѣ такого разсказа Дорошъ самодовольно оглянулся и засунулъ палецъ въ свою трубку, приготавливая ее къ набивкѣ табакомъ. Матерія о вѣдьмѣ сдѣлалась неисчерпаемою. Каждый въ свою очередь спѣшилъ что-нибудь разсказать. Къ тому вѣдьма, въ видѣ скирды сѣна, пріѣхала къ самымъ дверямъ хаты; у другаго украла шапку или трубку; у многихъ дѣвокъ на селѣ отрѣзала косу; у другихъ выпила по нѣскольку ведеръ крови.

Наконецъ, вся компанія опомнилась и увидѣла, что заболталась уже черезчуръ, потому что уже на дворѣ была совершенная ночь. Всѣ начали разбродиться по ночлегамъ, находившимся или на кухнѣ, или въ сараяхъ, или среди двора.

„А ну, панъ Хома! теперь и намъ пора итти къ покойницѣ“, сказалъ сѣдой козакъ, обратившись къ философу, и всѣ четверо, въ томъ числѣ Спириды² и Дорошъ, отправились въ церковь, стегая кнутами собакъ, которыхъ на улицѣ было великое множество и которыя со злости грызли ихъ палки.

Философъ, не смотря на то, что успѣлъ подкрѣпить себя доброю кружкою горѣлки, чувствовалъ втайнѣ подступавшую робость, по мѣрѣ того, какъ они приближались къ освѣщенной

церкви. Разказы и странныя исторіи, слышанныя имъ, помогали еще болѣе дѣйствовать его воображенію. Мракъ подъ тьномъ и деревьями начиналъ рѣдѣть; мѣсто становилось обнаженнѣе. Они вступили наконецъ за ветхую церковную ограду въ небольшой дворикъ, за которымъ не было ни дерева и открывалось одно пустое поле да поглощенные ночнымъ мракомъ луга. Три козака взошли вмѣстѣ съ Хомою по крутой лѣстницѣ на крыльцо и вступили въ церковь. Здѣсь они оставили философа, пожелавъ ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за нимъ дверь, по приказанію пана.

Философъ остался одинъ. Сначала онъ зѣвнулъ, потомъ потянулся, потомъ фукнулъ въ обѣ руки и наконецъ уже осмотрѣлся¹. По срединѣ стоялъ черный гробъ; свѣчи теплились предъ темными образами; свѣтъ отъ нихъ освѣщаль только иконостасъ и слегка середину церкви; отдаленные углы притвора были закутаны мракомъ. Высокій старинный иконостасъ уже показывалъ глубокую ветхость; сквозная рѣзба его, покрытая золотомъ, еще блестяла одними только искрами: позолота въ одномъ мѣстѣ опала², въ другомъ вовсе почернѣла; лики святыхъ, совершенно потемнѣвшіе, глядѣли какъ-то мрачно. Философъ еще разъ осмотрѣлся³. „Что жъ?“ сказалъ онъ: „чего тутъ бояться? Человѣкъ притти сюда не можетъ, а отъ мертвецовъ и выходцевъ съ⁴ того свѣта есть у меня молитвы, такія, что какъ прочитаю, то они меня и пальцемъ не тронуть. Ничего!“ повторилъ онъ, махнувъ рукою: „будемъ читать“. Подходя къ клиросу⁵, увидѣлъ онъ нѣсколько связокъ свѣчей. „Это хорошо“, подумалъ философъ: „нужно освѣтить всю церковь такъ, чтобы видно было, какъ днемъ. Эхъ жаль, что во храмѣ божемъ не можно люльки выкурить!“

И онъ принялся прилѣплять восковыя свѣчи ко всѣмъ карнизамъ, наоямъ и образамъ, не жалѣя ихъ ни мало, и скоро вся церковь наполнилась свѣтомъ. Вверху только мракъ сдѣлался какъ будто сильнѣе, и мрачные образа глядѣли угрюмѣй изъ старинныхъ рѣзныхъ рамъ, кое-гдѣ сверкавшихъ позолотой. Онъ подошелъ ко гробу, съ робостію посмотрѣлъ въ лицо умершей — и не могъ не зажмурить, нѣсколько вздрогнувши, своихъ глазъ: такая страшная, сверкающая красота!

Онъ отворотился и хотѣлъ отойти; но, по странному любопытству, по странному попереживающему себѣ чувству, не

оставляющему человека, особенно во время страха, онъ не утерпѣлъ, уходя, не взглянуть на нее и, потомъ, ощутивши тотъ же трепетъ, взглянулъ еще разъ. Въ самомъ дѣлѣ, рѣзкая красота усопшей казалась страшною. Можетъ быть, даже она не поразила бы такимъ паническимъ ужасомъ, если бы была нѣсколько безобразнѣе. Но въ ея чертахъ ничего не было тусклаго, мутнаго, умершаго; оно было живо, и философу казалось, какъ будто бы она глядитъ на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, какъ будто изъ-подъ рѣсницы праваго глаза ея покатила слеза, и когда она остановилась на щекѣ, то онъ различилъ ясно, что это была капля крови.

Онъ поспѣшно отошелъ къ клиросу¹, развернулъ книгу и, чтобы болѣе ободрить себя, началъ читать самымъ громкимъ голосомъ. Голосъ его поразилъ церковныя деревянныя стѣны, давно молчаливыя и оглохлыя; одиноко², безъ эха, сыпался онъ густымъ басомъ въ совершенно мертвой тишинѣ и казался нѣсколько дикимъ даже самому чтецу. „Чего бояться?“ думалъ онъ между тѣмъ самъ про себя: „вѣдь она не встанетъ изъ своего гроба, потому что побоится божьяго слова. Пусть лежитъ! Да и что я за козакъ, когда бы утрапился? Ну, выпилъ лишнее — оттого и показывается страшно. А понюхать табакъ. Эхъ, добрый табакъ! Славный табакъ! Хорошій табакъ!“ Однакоже, перелистывая каждую страницу, онъ по-сматривалъ искоса на гробъ, и невольное чувство, казалось, шептало ему: „Вотъ, вотъ встанетъ! Вотъ поднимется“³, вотъ взглянетъ изъ гроба!“

Но тишина была мертвая; гробъ стоялъ неподвижно; свѣчи лили цѣлый потопъ свѣта. Страшна освѣщенная церковь ночью, съ мертвымъ тѣломъ и безъ души людей!

Возвыся голосъ, онъ началъ пѣть на разные голоса, желая заглушить остатки боязни, но чрезъ каждую минуту обращалъ глаза свои на гробъ, какъ будто бы задавая невольный вопросъ: „Что, если подымется, если встанетъ она?“

Но гробъ не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звукъ, какое-нибудь живое существо, даже сверчокъ отозвался въ углу!⁴ Чуть только слышался легкій трескъ какой-нибудь отдаленной свѣчки, или слабый, слегка хлопнувшій звукъ восковой капли, падавшей на полъ.

„Ну, если подымется?...“

Она приподняла голову....

Онъ дико взглянулъ и протеръ глаза. Но она, точно, уже не лежить, а сидитъ въ своемъ гробѣ. Онъ отвелъ глаза свои и опять съ ужасомъ обратилъ ихъ¹ на гробъ. Она встала... идетъ по церкви съ закрытыми глазами, безпрестанно расправляя руки, какъ бы желая поймать кого-нибудь.

Она идетъ прямо къ нему. Въ страхѣ, очертилъ онъ около себя кругъ; съ усиленіемъ началъ читать молитвы и произносить заклинанія, которымъ научилъ его одинъ монахъ, видѣвшій всю жизнь свою вѣдьмъ и нечистыхъ духовъ.

Она стала почти на самой чертѣ; но видно было, что не имѣла силъ переступить ее, и вся посинѣла, какъ человѣкъ, уже нѣсколько дней умершій. Хома не имѣлъ духа взглянуть на нее²: она была страшна. Она ударила зубами въ зубы и открыла мертвые глаза свои; но, не видя ничего, съ бѣшенствомъ, — что выразило ея задрожавшее лицо, — обратилась въ другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столпъ и уголь, стараясь поймать Хому³. Наконецъ, остановилась, погрозивъ пальцемъ, и легла въ свой гробъ.

Философъ все еще не могъ притти въ себя и со страхомъ поглядывалъ на это тѣсное жилище вѣдьмы. Наконецъ, гробъ вдругъ сорвался съ своего мѣста и со свистомъ началъ летать по всей церкви, крестя во всѣхъ направленіяхъ воздухъ. Философъ видѣлъ его почти надъ головою, но вмѣстѣ съ тѣмъ видѣлъ, что онъ не могъ зацѣпить круга, имъ начерченного, и усилилъ свои заклинанія. Гробъ грянулся на срединѣ церкви и остался неподвижнымъ. Трущъ опять поднялся изъ него⁴ синій, позеленѣвшій. Но въ то время послышался отдаленный крикъ пѣтуха: трущъ опустился въ гробъ и захлопнулся гробовою крышкою⁵.

Сердце у философа билось, и потъ катился градомъ; но, ободренный пѣтушьимъ крикомъ, онъ дочитывалъ быстрѣе листы, которые долженъ былъ прочесть прежде. При первой зарѣ пришли смѣнить его дьячокъ и сѣдой Явтухъ, который на тотъ разъ отправлялъ должность церковнаго старосты.

Пришедши на отдаленный ночлеги, философъ долго не могъ заснуть; но усталость одолѣла, и онъ проспалъ до обѣда. Когда онъ проснулся, все ночное событіе казалось ему происходившимъ во снѣ. Ему дали, для подкрѣпленія силъ, квартиру

горьлки. За обѣдомъ онъ скоро развязался, присовокупилъ кое къ чему замѣчанія, и съѣлъ почти одинъ довольно большаго¹ поросенка; но однакоже о своемъ событіи въ церкви онъ не рѣшался² говорить по какому-то безотчетному для него самому чувству, и на вопросы любопытныхъ отвѣчалъ: „Да, были всякія чудеса“. Философъ былъ изъ числа³ тѣхъ людей, которыхъ если накормятъ, то у нихъ пробуждается необыкновенная филантропія. Онъ, лежа съ своей трубкой въ зубахъ, глядѣлъ на всѣхъ необыкновенно сладкими глазами и непрерывно поплеывалъ въ сторону.

Послѣ обѣда философъ былъ совершенно въ духѣ. Онъ успѣлъ обходить все селеніе, перезнакомиться почти со всѣми; изъ двухъ хатъ его даже выгнали; одна смазливая молодка хватила его порядочно лопатой по спинѣ, когда онъ вздумалъ было пощупать и полюбопытствовать, изъ какой матеріи у нея была сорочка и плахта. Но чѣмъ болѣе время близилось къ вечеру, тѣмъ задумчивѣе становился философъ⁴. За часъ до ужина вся почти дворня собиралась играть въ кашу, или въ крагли, — родъ кеглей, гдѣ, вмѣсто шаровъ, употребляются длинныя палки, и выигравшій имѣеть⁵ право проѣзжаться на другомъ верхомъ. Эта игра становилась очень интересною для зрителей: часто погонщикъ, широкій, какъ блинъ, взлѣзалъ верхомъ на свинаго пастуха, щедушнаго, низенькаго, всего состоявшаго изъ морщинъ. Въ другой разъ погонщикъ подставлялъ свою спину, и Дорошъ, вскочивши на нее, всегда говорилъ: „Экой здоровый быкъ!“ У порога кухни сидѣли тѣ, которые были посолднѣе. Они глядѣли чрезвычайно серьезно⁶, куря люльки, даже и тогда, когда молодежь отъ души смѣялась какому-нибудь острому слову погонщика, или Спирида. Хома напрасно старался вмѣшаться въ эту игру: какая-то темная мысль, какъ гвоздь, сидѣла въ его головѣ. За вечерей сколько ни старался онъ развеселить себя, но страхъ загорался въ немъ вмѣстѣ съ тьмою, распростиравшеюся по небу.

„А ну, пора намъ, пань бурсакъ!“ сказалъ ему знакомый сѣдой козакъ, подымаясь съ мѣста вмѣстѣ съ Дорошемъ: „пойдемъ на работу“.

Хому опять такимъ же самымъ образомъ отвели въ церковь; опять оставили его одного и заперли за нимъ дверь. Какъ только онъ остался одинъ, робость начала внѣдраться

снова въ его грудь. Онъ опять увидѣлъ темные образа, блестящія рамы и знакомый черный гробъ, стоявшій¹ въ угрожающей тишинѣ и неподвижности среди церкви.

„Что жъ?“ произнесъ онъ: „теперь вѣдь мнѣ не въ диковинку это диво. Оно съ перваго раза только страшно. Да, оно только съ перваго раза немного страшно, а тамъ оно уже не страшно²; оно уже совсѣмъ не страшно“.

Онъ поспѣшно сталь на клиросъ³, очертилъ около себя кругъ, произнесъ нѣсколько заклинаній и началъ читать громко, рѣшась⁴ не подымать съ книги своихъ глазъ и не обращать вниманія ни на что. Уже около часа читалъ онъ и начиналъ нѣсколько уставать и покашливать; онъ вынулъ изъ кармана рожокъ и, прежде нежели поднесъ табакъ⁵ къ носу, робко повелъ глазами на гробъ. На сердцѣ у него захолонуло: трупъ уже стоялъ передъ нимъ на самой чертѣ и вперилъ на него мертвые, позеленѣвшіе глаза. Бурсакъ содрогнулся, и холодъ чувствительно пробѣжалъ по всѣмъ его жиламъ. Потупивъ очи въ книгу, сталь онъ читать громче свои молитвы и заклятья и слышалъ, какъ трупъ опять ударилъ зубами и замахалъ руками, желая схватить его. Но, покосивши слегка однимъ глазомъ, увидѣлъ онъ, что трупъ не тамъ ловилъ его, гдѣ стоялъ онъ, и, какъ видно, не могъ видѣть его. Глухо стала ворчать она и начала выговаривать мертвыми устами страшныя слова; хрипло всхлипывали онѣ, какъ клокотанье кипящей смолы. Что значили онѣ, того не могъ бы сказать онъ, но что-то страшное въ нихъ заключалось. Философъ въ страхѣ понялъ, что она творила заклинанія.

Вѣтеръ пошелъ по церкви отъ словъ, и послышался шумъ, какъ бы отъ множества летящихъ крылъ. Онъ слышалъ, какъ бились крыльями въ стекла церковныхъ оконъ и въ желѣзные рамы, какъ царапали съ визгомъ когтями по желѣзу и какъ несмѣтная сила громила въ двери и хотѣла вломиться. Сильно у него билось во все время сердце: зажмуривъ глаза, все читалъ онъ заклятья и молитвы. Наконецъ, вдругъ что-то засвистало вдали: это былъ отдаленный крикъ пѣтуха. Изнуренный философъ остановился и отдохнулъ духомъ⁶.

Вошедшіе смѣнять его⁷ нашли его едва жива; онъ оперся спиною объ стѣну и, выпуча глаза, глядѣлъ⁸ неподвижно на пришедшихъ козаковъ. Его почти вывели и должны были под-

держивать во всю дорогу. Пришедши на панскій дворъ, онъ встряхнулся и велѣлъ себѣ подать кварту горѣлки. Выпивши ее, онъ пригладилъ на головѣ своей¹ волосы и сказалъ: „Много на свѣтѣ всякой дряни водится! А страхи такіе случаются, ну...“ При этомъ философъ махнулъ рукою.

Собравшіеся вокругъ его потупили головы², услышавъ такія слова. Даже небольшой мальчишка, котораго вся дворня почитала въ правѣ уполномочивать вмѣсто себя, когда дѣло шло къ тому, чтобы чистить конюшню³, или таскать воду, даже этотъ бѣдный мальчишка тоже разинулъ ротъ.

Въ это время проходила мимо еще не совсѣмъ пожилая бабенка, въ плотно обтянутой⁴ запаскѣ, выказывавшей ея круглый и крѣпкій станъ, помощница старой кухарки, кокетка страшная, которая всегда находила что-нибудь прищипать къ своему очипку: или кусокъ ленточки, или гвоздику⁵, или даже бумажку, если не было чего-нибудь другаго.

„Здравствуй, Хома!“ сказала она, увидѣвъ философа. „Ай, ай, ай! что это съ тобою?“ вскрикнула она, всплеснувъ руками.

„Какъ что, глупая баба?“

„Ахъ, Боже мой! да ты весь посѣдѣлъ!“

„Эге, ге! Да она правду говорить!“ произнесъ Спиридь, всматриваясь въ него пристально. „Ты точно посѣдѣлъ, какъ нашъ старый Явтухъ!“

Философъ, услышавши это, побѣжалъ опретью въ кухню, гдѣ онъ замѣтилъ прилѣпленный къ стѣнѣ, обпачканный⁶ мухами, треугольный кусокъ зеркала, передъ которымъ были натканы незабудки, барвинки и даже гирианда изъ нагидокъ, показывавшія назначеніе его для туалета щеголеватой кокетки. Онъ съ ужасомъ увидѣлъ истину ихъ словъ: половина волосъ его, точно, побѣлѣла.

Повѣсилъ голову Хома Бругъ и предался размышленію. „Пойду къ пану“, сказалъ онъ наконецъ: „разкажу ему все и объясню, что больше не хочу читать. Пусть отправляетъ меня сей же часъ въ Кіевъ“.

Въ такихъ мысляхъ направилъ онъ путь свой къ крыльцу панскаго дома.

Сотникъ сидѣлъ почти неподвиженъ въ своей свѣтлицѣ. Та же самая безнадежная печаль, какую онъ встрѣтилъ прежде на его лицѣ, сохранялась въ немъ и доннѣ. Только щеки

его опали' гораздо болѣе прежняго. Замѣтно было, что онъ очень мало употреблялъ пищи, или, можетъ быть, даже вовсе не касался ея. Необыкновенная блѣдность придавала ему какую-то каменную неподвижность.

„Здравствуй, небоже!“ произнесъ онъ, увидѣвъ Хому, остановившагося съ шапкою въ рукахъ у дверей. „Что, какъ идешь у тебя? Все благополучно?“

„Благополучно-то, благополучно; такая чертовщина водится, что прямо бери шапку, да и улепетьвай, куда ноги несутъ“.

„Какъ такъ?“

„Да ваша, панъ, дочка... По здравому разсужденію, она, конечно, есть панскаго роду, въ томъ никто не станеть преко-словить; только, не во гнѣвъ будь сказано, упокой Богъ ея душу...“

„Что же дочка?“

„Припустила къ себѣ сатану. Такіе страхи задеаетъ, что никакое писаніе не учитывается“.

„Читай, читай! Она не даромъ призвала тебя: она заботилась, голубонька моя, о душѣ своей и хотѣла молитвами изгнать всякое дурное помышленіе“.

„Власть ваша, панъ: ей Богу, не въ моготу!“

„Читай, читай!“ продолжалъ тѣмъ же увѣщательнымъ голо-сомъ сотникъ: „тебѣ одна ночь теперь осталась; ты сдѣлаешь христіанское дѣло, и я награжу тебя“.

„Да какія бы ни были награды... Какъ ты себѣ хочь, панъ, а я не буду читать!“ произнесъ Хома рѣшительно.

„Слушай, философъ!“ сказалъ сотникъ, и голосъ его сдѣ-лался крѣпокъ и грозень: „я не люблю этихъ выдумокъ. Ты можешь это дѣлать въ вашей² бурсѣ, а у меня не такъ: я уже какъ отдеру, такъ не то, что ректоръ. Знаешь ли ты, что такое хорошіе кожаные канчуки?“

„Какъ не знать!“ сказалъ философъ, понизивъ голосъ: „всякому извѣстно, что такое кожаные канчуки: при боль-шомъ количествѣ — вещь нестерпимая“.

„Да. Только ты не знаешь еще, какъ хлопцы мои умѣютъ парить!“ сказалъ сотникъ грозно, подымаясь на ноги, и лицо его приняло повелительное и свирѣпое выраженіе, обнаружив-шее весь необузданный его характеръ, усиленный только на время горестью. „У меня прежде выпарять, потомъ всприс-

нуть¹ горѣлкою, а послѣ опять. Ступай, ступай, исправляй свое дѣло! Не исправишь — не встанешь, а исправишь — тысяча червонныхъ!“

„Ого, го! да это хватъ!“ подумалъ философъ, выходя: „съ этимъ нечего шутить. Стой, стой, пріятель: я такъ наострю лыжи, что ты съ своими собаками не утонишься за мною“.

И Хома положилъ непремѣнно бѣжать. Онъ выжидалъ только послѣобѣденнаго часу, когда вся дворня имѣла обыкновеніе забираться въ сѣно подъ сараями и, открывши ротъ, испускать такой храпъ и свистъ, что панское подворье дѣлалось похожимъ на фабрику.

Это время, наконецъ, настало. Даже и Явтухъ зажмурилъ глаза, растянувшись передъ солнцемъ. Философъ со страхомъ и дрожью отправился потихоньку въ панскій садъ, откуда ему казалось удобнѣе и незамѣтнѣе было бѣжать въ поле. Этотъ садъ, по обыкновенію, былъ страшно запущенъ и, стало быть, чрезвычайно способствовалъ всякому тайному предпріятію. Выключая только одной дорожки, протоптанной по хозяйственной надобности, все прочее было скрыто густо разросшимися вишнями, бузиною, лопухомъ, просунувшими на самый верхъ свои высокіе стебли съ цѣпкими розовыми шишками. Хмель покрывалъ, какъ будто сѣтью, вершину всего этого пестраго собранія деревьевъ и кустарниковъ и составлялъ надъ ними крышу, напялившуюся на плетень и спадавшую съ него вьющимися змѣями, вмѣстѣ съ дикими полевыми колокольчиками. За плетнемъ, служившимъ границею сада, шелъ цѣлый лѣсъ бурьяна, въ который, казалось, никто не любопытствовалъ заглядывать, и коса разлетѣлась бы въ дребезги, если бы захотѣла коснуться лезвиемъ своимъ одеревянѣвшихъ толстыхъ стеблей его.

Когда философъ хотѣлъ перешагнуть черезъ плетень², зубы его стучали и сердце такъ сильно билось, что онъ самъ испугался. Пола его длинной хламиды, казалось, прилипла къ землѣ, какъ будто ее кто приколотилъ гвоздемъ. Когда онъ переступалъ плетень, ему, казалось, съ оглушительнымъ свистомъ трещалъ въ уши какой-то голось: „Куда, куда?“ Философъ юркнулъ въ бурьянъ и пустился бѣжать, безпрестанно спотыкаясь³ о старые корни и давя ногами⁴ кротовъ. Онъ видѣлъ, что ему, выбравшись изъ бурьяна, стоило перебѣжать поле, за которымъ чернѣлъ густой терновникъ, гдѣ онъ считалъ себя безопаснымъ, и,

пройдя который, онъ, по предположенію своему, думалъ встрѣтить дорогу прямо въ Кіевъ. Поле онъ перебѣжалъ вдругъ и очутился въ густомъ терновникѣ. Сквозь терновникъ онъ пролѣзъ, оставивъ, вмѣсто пошлыны, куски своего скюртука на каждомъ остромъ шипѣ, и очутился на небольшой лощинѣ. Вѣрба раздѣлившимися вѣтвями преклонялась индѣ почти до самой земли. Небольшой источникъ сверкалъ чистый, какъ серебро. Первое дѣло философа было прилечь и напиться, потому что онъ чувствовалъ жажду нестерпимую. „Добрая вода!“ сказалъ онъ, утирая губы: „тутъ бы можно отдохнуть“.

„Нѣтъ, лучше побѣжимъ впередъ: неравно будетъ погоня!“

Эти слова раздалися у него надъ ушами. Онъ оглянулся — передъ нимъ стоялъ Явтухъ.

„Чортовъ Явтухъ!“ подумалъ въ сердцахъ про себя философъ: „я бы взялъ тебя, да за ноги... И мерзкую рожу твою, и все, что ни есть на тебѣ, побилъ бы дубовымъ бревномъ“.

„Напрасно далъ ты такой крюкъ“, продолжалъ Явтухъ: „гораздо лучше было выбрать¹ ту дорогу, по какой шелъ я: прямо мимо конюшни. Да притомъ и скюртука жалъ. А сукно хорошее. Почему платилъ за аршинъ? Однакожь, погуляли довольно: пора и домой“.

Философъ, почесываясь, побрелъ за Явтухомъ. „Теперь проклятая вѣдьма задастъ мнѣ пфейферу!“ подумалъ онъ. „Да, впрочемъ, что я въ самомъ дѣлѣ? Чего боюсь? Развѣ я не возакъ? Вѣдь читалъ же двѣ ночи, поможетъ Богъ и третью. Видно, проклятая вѣдьма порядочно грѣховъ надѣлала, что нечистая сила такъ за нее стоитъ“.

Такія размышленія занимали его, когда онъ вступалъ на панскій дворъ. Ободривши себя такими замѣчаніями, онъ упротсилъ Дороша, который, посредствомъ протекціи ключника, имѣлъ иногда входъ въ панскіе погреба, вытащить сулею сивухи, и оба пріятеля, сѣвши подъ сараемъ, вытянули немного не полведра, такъ что философъ, вдругъ поднявшись на ноги, закричалъ: „Музыкантовъ! непременно музыкантовъ!“ и, не дождавшись музыкантовъ, пустился среди двора на разчищенномъ мѣстѣ отплясывать тропака². Онъ танцевалъ до тѣхъ поръ, пока не наступило время полдника, и дворня, обступившая его, какъ водится въ такихъ случаяхъ, въ кружокъ,

наконецъ плюнула и пошла прочь, сказавши: „Вотъ это какъ долго танцуетъ человѣкъ!“ Наконецъ, философъ тутъ же легъ спать, и добрый ушатъ холодной воды могъ только пробудить его къ ужину. За ужиномъ онъ говорилъ о томъ, что такое козакъ, и что онъ не долженъ бояться ничего на свѣтѣ.

„Пора“, сказалъ Явтухъ: „пойдемъ“.

„Спичка тебѣ въ языкъ, проклятый кнуръ!“ подумалъ философъ и, вставъ на ноги, сказалъ: „Пойдемъ!“

Идя дорогою, философъ безпрестанно поглядывалъ по сторонамъ и слегка заговаривалъ съ своими провожатыми. Но Явтухъ молчалъ; самъ Дорошъ былъ неразговорчивъ. Ночь была адская. Волки выли вдали цѣлою стаей, и самый лай собачій былъ какъ-то страшень.

„Кажется, какъ будто что-то другое воетъ: это не волеъ“, сказалъ Дорошъ. Явтухъ молчалъ. Философъ не нашелся сказать ничего.

Они приблизились¹ къ церкви и вступили подъ ея ветхіе деревянные своды, показывавшіе, какъ мало заботился владѣтель помѣстья о Богѣ и о душѣ своей. Явтухъ и Дорошъ по прежнему удалились, и философъ остался одинъ.

Все было такъ же, все было въ томъ же самомъ грозно-знакомомъ видѣ. Онъ на минуту остановился. По срединѣ все такъ же неподвижно стоялъ гробъ ужасной вѣдьмы. — „Не побоюсь; ей Богу, не побоюсь!“ сказалъ онъ и, очертивши по прежнему около себя кругъ, началъ припоминать всѣ свои заклинанія. Тишина была страшная; свѣчи трепетали и обливали свѣтомъ всю церковь. Философъ перевернулъ одинъ листъ, потомъ перевернулъ другой и замѣтилъ, что онъ читаетъ совсѣмъ не то, что писано въ книгѣ. Со страхомъ перекрестился онъ и началъ глѣть. Это нѣсколько ободрило его; чтеніе пошло впередъ, и листы мелькали одинъ за другимъ.

Вдругъ... среди тишины... съ трескомъ лопнула желѣзная крышка гроба и поднялся мертвецъ. Еще страшнѣе былъ онъ, чѣмъ въ первый разъ. Зубы его страшно ударялись рядъ о рядъ, въ судорогахъ задергались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинанія. Вихорь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетѣли сверху внизъ разбитыя стекла окошекъ. Двери сорвались съ петель, и несмѣтная сила чудовищъ влетѣла въ божью церковь. Страшный шумъ отъ

крыль и отъ царпанья когтей наполнилъ всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа.

У Хома вышелъ изъ головы послѣдній остатокъ хмеля. Онъ только крестился, да читалъ, какъ попало, молитвы. И въ то же время слышалъ, какъ нечистая сила металась вокругъ его, чуть не зацѣпляя его концами крыль и отвратительныхъ хвостовъ. Не имѣлъ духу разглядѣть онъ ихъ; видѣлъ только, какъ во всю стѣну стояло какое то огромное чудовище въ своихъ перепутанныхъ волосахъ, какъ въ лѣсу; сквозь сѣть волосъ глядѣли страшно два глаза, поднявъ немного вверхъ брови. Надъ нимъ держалось въ воздухѣ что-то въ видѣ огромнаго пузыря, съ тысячею протанутыхъ изъ середины клещей и скорпионныхъ жалъ; черная земля висѣла на нихъ клоками¹. Всѣ глядѣли на него, искали и не могли увидѣть его, окруженнаго таинственнымъ кругомъ. „Приведите Вія! Ступайте за Віемъ!“ раздались слова мертвеца.

И вдругъ настала тишина въ церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучащія по церкви. Взглянувъ искоса, увидѣлъ онъ, что ведутъ какого-то приземистаго, дюжаго, косолапаго человѣка. Весь былъ онъ въ черной землѣ. Какъ жилистые, крѣпкіе корни, выдавались его, засыпанныя землею, ноги и руки. Тяжело ступалъ онъ, поминутно оступаясь. Длинные вѣки опущены были до самой земли. Съ ужасомъ замѣтилъ Хома, что лицо было на немъ желѣзное. Его привели подъ руки и прямо поставили къ тому мѣсту, гдѣ стоялъ Хома.

„Подымите мнѣ вѣки: не вижу!“ сказалъ подземнымъ голосомъ Вія, — и все сонмище кинулось подымать ему вѣки.

„Не гляди!“ шепнулъ какой-то внутренней голосъ философу. Не вытерпѣлъ онъ и глянулъ.

„Вотъ онъ!“ закричалъ Вія и уставилъ на него желѣзный палець. И всѣ, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный, гранулся онъ на землю, и тутъ же вылетѣлъ духъ изъ него отъ страха.

Раздался пѣтушій крикъ. Это былъ уже второй крикъ: первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто какъ попало, въ окна и двери, чтобы поскорѣе вылетѣть; но не тутъ-то было: такъ и остались они тамъ, завязнувши въ дверяхъ и окнахъ.

Вошедшій священникъ остановился при видѣ такого посрамленья божьей святыни и не посмѣлъ служить панихиду въ такомъ мѣстѣ. Такъ навѣки и осталась церковь, съ завязнувшими въ дверяхъ и окнахъ чудовищами, обросла лѣсомъ, корнями, бурьяномъ, дикимъ терновникомъ, и никто не найдетъ теперъ къ ней дороги¹.

Когда слухи объ этомъ дошли до Кіева, и богословъ Халява услышалъ, наконецъ, о такой участи философа Хома, то предался цѣлый часъ раздумью. Съ нимъ, въ продолженіе того времени, произошли большія перемѣны. Счастіе ему улыбнулось: по окончаніи курса наукъ, его сдѣлали звонаремъ самой высокой колокольни, и онъ всегда почти являлся съ разбитымъ носомъ, потому что деревянная лѣстница на колокольню была чрезвычайно безалаберно сдѣлана.

„Ты слышалъ, чтѣ случилось съ Хомою?“ сказалъ, подойдя къ нему, Тиберій Горобецъ, который въ то время былъ уже философъ и носилъ свѣжіе усы.

„Такъ ему Богъ далъ“, сказалъ звонарь Халява. „Пойдемъ въ шинокъ, да помянемъ его душу!“

Молодой философъ, который съ жаромъ энтузіаста началъ пользоваться своими правами, такъ что на немъ и шаровары, и сюртукъ, и даже шапка отзывались спиртомъ и табачными корешками, въ ту же минуту изъявилъ готовность.

„Славный былъ человекъ Хома!“ сказалъ звонарь, когда хромой шинкаръ поставилъ передъ нимъ третью кружку. „Знатный былъ человекъ! А пропалъ ни за что“.

„А я знаю, почему пропалъ онъ: оттого, что побоялся; а если бы не боялся, то бы вѣдьма ничего не могла съ нимъ сдѣлать. Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвостъ ей, то и ничего не будетъ. Я знаю уже все это. Вѣдь у насъ, въ Кіевѣ, всѣ бабы, которыя сидятъ на базарѣ, всѣ — вѣдьмы“.

На это звонарь кивнулъ головою въ знакъ согласія. Но, замѣтивши, что языкъ его не могъ произнести ни одного слова, онъ осторожно всталъ изъ-за стола и, пошатываясь на обѣ стороны, пошелъ спрятаться въ самое отдаленное мѣсто въ бурьянѣ; при чемъ не позабылъ, по прежней привычкѣ своей, утащить старую подошву отъ сапога, валявшуюся на лавкѣ².



ПОВѢСТЬ

О томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ
съ Иваномъ Никифоровичемъ.

ГЛАВА I.

Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ.

Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнѣйшая! А какія смушки! Фу, ты пропасть, какія смушки! сизыя съ морозомъ! Я ставлю, Богъ знаетъ что, если у кого-либо найдутся такія! Взгляните, ради Бога, на нихъ, — особенно, если онъ станетъ съ кѣмъ-нибудь говорить, — взгляните съ боку: что это за объѣденіе! Описать нельзя: бархатъ! серебро! огонь! Господи Боже мой! Николай чудотворецъ, угодникъ божій! отчего же это у меня нѣтъ¹ такой бекешы! Онъ спилъ ее тогда еще, когда Агаеія² Ѳедосѣевна не ѣздила въ Кіевъ. Вы знаете Агаею³ Ѳедосѣевну? Та самая, что откусила ухо у засѣдателя.

Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Какой у него домъ въ Миргородѣ! Вокругъ него, со всѣхъ сторонъ, навѣсъ на дубовыхъ столбахъ, подъ навѣсомъ вездѣ скамейки. Иванъ Ивановичъ, когда сдѣлается слишкомъ жарко, скинетъ съ себя и бекешу, и исподнее, самъ останется въ одной рубашкѣ и отдыхаетъ подъ навѣсомъ, и глядитъ, что дѣлается во дворѣ и на улицѣ. Какія у него яблони и груши подъ самыми окнами! Отворите только окно — такъ вѣтви сами⁴ и врываются въ комнату. Это все передъ домомъ; а посмотрѣли бы, что у него въ саду! Чего тамъ нѣтъ? Сливы, вишни, черешни, огорожина всякая, подсолнечники, огурцы, дыни, стручья, даже гумно и кузница.

Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Онъ очень любитъ дыни; это его любимое кушанье. Какъ только отобѣдаетъ и

выйдетъ въ одной рубашкѣ подъ навѣсъ, сейчасъ приказываетъ Гапкѣ принести двѣ дыни, и уже самъ разрѣжетъ, соберетъ сѣмена въ особую бумажку и начнетъ кушать. Потомъ велитъ Гапкѣ принести чернильницу и самъ, собственно рукою, сдѣлаетъ надпись надъ бумажкою съ сѣменами: „Сія дыня сѣдена такого-то числа“. Если при этомъ былъ какой-нибудь гость, то: „участвовала такой-то“.

Покойный судья миргородскій всегда любовался, глядя на домъ Ивана Ивановича. Да, домишко очень недурень. Мнѣ нравится, что къ нему со всѣхъ сторонъ пристроены сѣни и сѣнички, такъ что если взглянуть на него издали, то видны однѣ только крыши, посаженные одна на другую, что весьма походить на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше, на губки, нарастающія¹ на деревѣ. Впрочемъ, крыши всѣ крыты очеретомъ; ива, дубъ и двѣ яблони облокотились на нихъ своими раскидистыми вѣтвями. Промежъ деревъ мелькаютъ и выбѣгаютъ даже на улицу небольшія окошки съ рѣзными выбѣленными ставнями.

Прекрасный человекъ Иванъ Ивановичъ! Его знаетъ и комиссаръ полтавскій! Дорошъ Тарасовичъ Пухивочка, когда ѣдетъ изъ Хорола, то всегда заѣзжаетъ къ нему. А протопопъ отецъ Петръ, что живетъ въ Колибердѣ, когда соберется у него человекъ пятокъ² гостей, всегда говоритъ, что онъ никого не знаетъ, кто бы такъ исполнялъ долгъ христіанскій и умѣлъ жить, какъ Иванъ Ивановичъ.

Боже, какъ летитъ время! Уже тогда прошло болѣе десяти лѣтъ, какъ онъ овдовѣлъ. Дѣтей у него не было. У Гапки есть дѣти и бѣгаютъ часто по двору. Иванъ Ивановичъ всегда даетъ каждому изъ нихъ или по бублику, или по кусочку дыни, или грушу. Гапка у него носить ключи отъ коморъ и погребовъ; отъ большаго же сундука, что стоитъ въ его спальнѣ, и отъ средней коморы ключъ Иванъ Ивановичъ держитъ у себя и не любитъ никого туда пускать. Гапка дѣвка здоровая, ходитъ въ запаскѣ, съ свѣжими икрами и щеками.

А какой богомольный человекъ Иванъ Ивановичъ! Каждый воскресный день надѣваетъ онъ бекешу и идетъ въ церковь. Взшедши³ въ нее, Иванъ Ивановичъ, раскланавшись на всѣ стороны, обыкновенно помѣщается на клиросѣ⁴ и очень хорошо подтягиваетъ басомъ. Когда же окончится служба, Иванъ Ива-

нович никакъ не утерпитъ, чтобъ не обойти всѣхъ нищихъ. Онъ бы, можетъ быть, и не хотѣлъ заняться такимъ скучнымъ дѣломъ, если бы не побуждала его къ тому природная доброта. „Здорово, небого!“ *обыкновенно говорилъ онъ, отыскавши самую искалѣченную бабу, въ изодранномъ, спитомъ изъ заплата платѣ. „Откуда ты, бѣдная?“

„Я, паночку, изъ хутора пришла: третій день, какъ не шла, не ѣла; выгнали меня собственныя дѣти“.

„Бѣдная головушка! чего жъ¹ ты пришла сюда?“

„А такъ, паночку, милостыни просить, не дастъ ли кто-нибудь хоть на хлѣбъ“.

„Гм! что жъ, тебѣ развѣ хочется хлѣба?“ обыкновенно спрашивалъ Иванъ Ивановичъ.

„Какъ не хотѣть! Голодна, какъ собака“.

„Гм!“ отвѣчалъ обыкновенно Иванъ Ивановичъ. „Такъ тебѣ, можетъ, и мяса хочется?“

„Да все, что милость ваша дастъ, всѣмъ буду довольна“.

„Гм! развѣ мясо лучше хлѣба?“²

„Гдѣ ужъ голодному разбирать? Все, что пожалуете, все хорошо“. При этомъ старуха обыкновенно протягивала руку.

„Ну, ступай же съ Богомъ“, говорилъ Иванъ Ивановичъ.

„Чего жъ ты стоишь? Вѣдь я тебя не бью!“

И, обратившись съ такими разспросами къ другому, къ третьему, наконецъ возвращается домой или заходитъ выпить рюмку водки къ сосѣду Ивану Никифоровичу, или къ судѣ, или къ городничему.

Иванъ Ивановичъ очень любитъ, если ему кто-нибудь сдѣлаетъ подарокъ, или гостинецъ. Это ему очень нравится.

Очень хорошій также человекъ Иванъ Никифоровичъ. Его дворъ возлѣ двора Ивана Ивановича. Они такіе между собою пріатели, какихъ свѣтъ не производилъ. Антонъ Прокофьевичъ Пупопузъ, который до сихъ поръ еще ходитъ въ коричневомъ скюртукѣ съ голубыми рукавами и обѣдаетъ по воскреснымъ днямъ у судьи, обыкновенно говорилъ, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича самъ чортъ связалъ веревочкой: куда одинъ, туда и другой плетется.

Иванъ Никифоровичъ никогда не былъ женатъ. Хотя про-

* Бѣдная.

говаривали, что онъ женился, но это совершенная ложь. Я очень хорошо знаю Ивана Никифоровича и могу сказать, что онъ даже не имѣлъ и ¹ намѣренія жениться. Откуда выходятъ всѣ эти сплетни? Такъ, какъ пронесли было, что Иванъ Никифоровичъ родился съ хвостомъ назади. Но эта выдумка такъ нелѣпа и вмѣстѣ гнусна и неприлична, что я даже не почитаю нужнымъ опровергать ее предъ просвѣщенными читателями, которымъ, безъ всякаго сомнѣнiя, извѣстно, что у однѣхъ только вѣдьмъ, и то у весьма немногихъ, есть назади хвостъ. Вѣдьмы, впрочемъ ², принадлежать болѣе къ женскому полу, нежели къ мужескому.

Несмотря на большую прiязнь, эти рѣдкiе друзья не совсѣмъ были сходны между собою. Лучше всего можно узнать характеры ихъ изъ сравненiя. Иванъ Ивановичъ имѣетъ необыкновенный даръ говорить чрезвычайно прiятно. Господи, какъ онъ говорить! Это ощущенiе можно сравнить только съ тѣмъ, когда у васъ ищутъ въ головѣ, или потихоньку проводятъ пальцемъ по вашей пяткѣ. Слушаешь, слушаешь — и голову повѣсишь. Прiятно! чрезвычайно прiятно! какъ сонъ послѣ купанья. Иванъ Никифоровичъ, напротивъ, больше молчитъ; но за то, если влѣпить слово, то держись только: отбрѣть лучше всякой бритвы. Иванъ Ивановичъ худощавъ и высокаго роста; Иванъ Никифоровичъ немного ниже, но за то распространяется въ толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на рѣдку хвостомъ внизъ; голова Ивана Никифоровича на рѣдку хвостомъ вверхъ. Иванъ Ивановичъ только послѣ обѣда лежитъ въ одной рубашкѣ подъ навѣсомъ; ввечеру же надѣваетъ бекешу и идетъ куда-нибудь, или къ городовому магазину, куда онъ поставляетъ муку, или въ поле — ловить перепеловъ. Иванъ Никифоровичъ лежитъ весь день на крыльцѣ, — если не слишкомъ жаркiй день, то обыкновенно выставивъ спину на солнце, — и никуда не хочетъ итти. Если вздумается утромъ, то пройдетъ по двору, осмотритъ хозяйство и опять на покой. Въ прежнiя времена зайдетъ, бывало, къ Ивану Ивановичу. Иванъ Ивановичъ чрезвычайно тонкiй человекъ и въ порядочномъ разговорѣ никогда не скажетъ неприличнаго слова, и тотчасъ обидится, если услышитъ его. Иванъ Никифоровичъ иногда не обережется. Тогда обыкновенно Иванъ Ивановичъ встаетъ съ мѣста и говоритъ: „Довольно, довольно, Иванъ Никифо-

ровичъ; лучше скорѣе на солнце, чѣмъ говорить такія богопротивныя слова“. Иванъ Ивановичъ очень сердится, если ему попадется въ борщъ муха: онъ тогда выходитъ изъ себя — и тарелку кинетъ, и хозяину достанется. Иванъ Никифоровичъ чрезвычайно любить купаться, и когда садеть по горло въ воду, велитъ поставить также въ воду столъ и самоваръ, и очень любить пить чай въ такой прохладѣ. Иванъ Ивановичъ брѣдетъ бороду въ недѣлю два раза; Иванъ Никифоровичъ одинъ разъ. Иванъ Ивановичъ чрезвычайно любопытенъ: Боже сохрани, если что-нибудь начнешь ему рассказывать, да не доскажешь! Если жъ чѣмъ бываетъ недоволенъ, то тотчасъ даетъ замѣтить это. По виду Ивана Никифоровича чрезвычайно трудно узнать, доволенъ ли онъ, или сердитъ; хоть и обрадуется чему-нибудь, то не покажетъ. Иванъ Ивановичъ нѣсколько боязливаго характера. У Ивана Никифоровича, напротивъ того, шаровары въ такихъ широкихъ складкахъ, что если бы раздуть ихъ, то въ нихъ можно бы помѣстить весь дворъ съ амбрами и строеніемъ. У Ивана Ивановича большіе выразительные глаза табачнаго цвѣта, и ротъ нѣсколько похожъ на букву *ижицу*; у Ивана Никифоровича глаза маленькіе, желтоватые, совершенно пропадающіе между густыхъ бровей и пухлыхъ щекъ, и носъ въ видѣ спѣлой сливы. Иванъ Ивановичъ, если попотчиваетъ васъ табакомъ, то всегда напередъ лизнетъ языкомъ крышку табакерки, потомъ щелкнетъ по ней пальцемъ и, поднесши, скажетъ, если вы съ нимъ знакомы: „Смѣю ли просить, государь мой, объ одолженіи?“ если же незнакомы, то: „Смѣю ли просить, государь мой, не имѣя чести знать чина, имени и отчества¹, объ одолженіи?“ Иванъ же Никифоровичъ даетъ вамъ прямо въ руки рожокъ свой и прибавитъ только: „Одолжайтесь“. Какъ Иванъ Ивановичъ, такъ и Иванъ Никифоровичъ очень не любятъ блохъ, и оттого ни Иванъ Ивановичъ, ни Иванъ Никифоровичъ никакъ не пропустятъ жиды съ товарами, чтобы не купить у него элексира въ разныхъ баночкахъ противъ этихъ насѣкомыхъ, выбравивъ напередъ его хорошенько за то, что онъ исповѣдуетъ еврейскую вѣру².

Впрочемъ, не смотря на нѣкоторыя несходства, какъ Иванъ Ивановичъ, такъ и Иванъ Никифоровичъ прекрасные люди.

ГЛАВА II,

изъ которой можно узнать, чего захотѣлось Ивану Ивановичу, о чемъ происходилъ разговоръ между Иваномъ Ивановичемъ и Иваномъ Никифоровичемъ и чѣмъ онъ окончился.

Утромъ, — это было въ іюлѣ мѣсяцѣ, — Иванъ Ивановичъ лежалъ подъ навѣсомъ. День былъ жарокъ, воздухъ сухъ и переливался струями. Иванъ Ивановичъ успѣлъ уже побывать за городомъ у косарей и на хуторѣ, успѣлъ разспросить встрѣтившихся мужиковъ и бабъ, откуда, куда, какъ и почему¹; уходился страхъ, и прилежъ отдохнуть. Лежа, онъ долго оглядывалъ коморы, дворъ, сарай, куръ, бѣгавшихъ по двору, и думалъ про себя: „Господи, Боже мой, какой я хозяинъ! Чего у меня нѣтъ? Птицы, строеніе, амбары, всякая прихоть, водка перегонная, настоящая; въ саду груши, сливы; въ огородѣ макъ, капуста, горохъ... Чего жъ еще нѣтъ у меня?... Хотѣлъ бы я знать, чего нѣтъ у меня“.

Задавши себѣ такой глубокомысленный вопросъ, Иванъ Ивановичъ задумался; а между тѣмъ глаза его отыскивали новые предметы, перешагнули чрезъ заборъ въ² дворъ Ивана Никифоровича и занялись неволью любопытнымъ зрѣлищемъ. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье и развѣшивала его на протянутой веревкѣ вывѣтривать. Скоро старый мундиръ, съ изношенными обшлагами, протанулъ на воздухъ рукава и обнималъ парчевую кофту; за нимъ высунулся дворянскій съ гербовыми пуговицами, съ отбѣденнымъ воротникомъ; бѣлыя казимировыя панталоны съ пятнами, которыя когда-то натягивались на ноги Ивана Никифоровича и которыя можно теперь натянуть развѣ на его пальцы. За ними скоро повисли другія въ видѣ буквы Л, потомъ синій козацкій бешметъ, который шилъ себѣ Иванъ Никифоровичъ назадъ тому лѣтъ двадцать, когда готовился было вступить въ милицію и отпустилъ было уже усы. Наконецъ, одно къ одному, выставилась шпага, походившая на шпицъ, торчавшій³ въ воздухѣ. Потомъ завертѣлись фалды чего-то похожаго на кафтанъ травяно-зеленаго цвѣта, съ мѣдными пуговицами, величиною въ пятакъ. Изъ-за фалдъ выглянулъ жилетъ, обложенный золотымъ позументомъ, съ большимъ вырѣзомъ напередѣ. Жилетъ скоро

закрыла старая юбка покойной бабушки, съ карманами, въ которые можно было положить по арбузу. Все, мѣшаясь вмѣстѣ, составляло для Ивана Ивановича очень занимательное зрѣлище, между тѣмъ какъ лучи солнца, охватывая мѣстами синій или зеленый рукавъ, красный обшлагъ, или часть золотой парчи, или играя на шпажномъ шпигцѣ, дѣлали его чѣмъ-то необыкновеннымъ, похожимъ на тотъ вертепъ, который развозятъ по хуторамъ кочующіе пройдохи, — особливо, когда толпа народа, тѣсно сдвинувшись, глядитъ на царя Ирода въ золотой коронѣ, или на Антона, ведущаго козу; за вертепомъ визжитъ скрипка; цыганъ брянчитъ руками по губамъ своимъ вмѣсто барабана, а солнце заходитъ, и свѣжій холодъ южной ночи незамѣтно прижимается сильнѣе къ свѣжимъ плечамъ и грудямъ полныхъ хуторянокъ.

Скоро старуха вылѣзла изъ кладовой, кряхтя и таща на себѣ старинное сѣдло съ оборванными стременами, съ истертыми кожаными чехлами для пистолетовъ, съ чепракомъ, когда-то алаго цвѣта, съ золотымъ шитьемъ и мѣдными бляхами.

„Вотъ глупая баба!“ подумалъ Иванъ Ивановичъ: „она еще вытащитъ и самого Ивана Никифоровича провѣтривать!“

И точно: Ивапъ Ивановичъ не совсѣмъ ошибся въ своей догадкѣ. Минуть черезъ пять воздвигнулись нанковыя шаровары Ивана Никифоровича и заняли собою почти половину двора. Послѣ этого она вынесла еще шапку и ружье.

„Что жъ это значить?“ подумалъ Иванъ Ивановичъ: „я не видѣлъ никогда ружья у Ивана Никифоровича. Что жъ это онъ? Стрѣлять не стрѣляетъ, а ружье держать! На что жъ оно ему? А вещица славная! Я давно себѣ хотѣлъ достать такое. Мнѣ очень хочется имѣть это ружьецо; я люблю позабавиться ружьецомъ. Эй, баба, баба!“ закричалъ Иванъ Ивановичъ, кивая пальцемъ.

Старуха подошла къ забору.

„Что это у тебя, бабуса, такое?“

„Видите сами — ружье“.

„Какое ружье?“

„Кто его знаетъ, какое! Если бъ оно было мое, то я, можетъ быть, и знала бы, изъ чего оно сдѣлано; но оно панское“.

Иванъ Ивановичъ всталъ и началъ разсматривать ружье со

всѣхъ сторонъ и позабылъ дать выговоръ старухѣ за то, что повѣсила его вмѣстѣ съ шпагою провѣтривать.

„Оно, должно думать, желѣзное“, продолжала старуха.

„Гм! желѣзное. Отчего жъ оно желѣзное?“ говорилъ про себя Иванъ Ивановичъ. „А давно оно у пана?“²

„Можетъ быть, и давно“.

„Хорошая вещица!“ продолжалъ Иванъ Ивановичъ. „Я выпрошу его. Что ему дѣлать съ нимъ? Или промѣняюсь на что-нибудь. Что, бабуса, дома панъ?“

„Дома“.

„Что онъ, лежитъ?“

„Лежитъ“.

„Ну, хорошо; я приду къ нему“.

Иванъ Ивановичъ одѣлся, взялъ въ руки суковатую палку отъ собакъ, потому что въ Миргородѣ гораздо болѣе ихъ попадаетъ на улицѣ, нежели людей, и пошелъ.

Дворъ Ивана Никифоровича хотя былъ возлѣ двора Ивана Ивановича и можно было перелѣзть изъ одного въ другой черезъ плетень, однакожъ Иванъ Ивановичъ пошелъ улицею. Съ этой улицы нужно было перейти въ переулокъ, который былъ такъ узокъ, что если случалось встрѣтиться въ немъ двумъ повозкамъ въ одну лошадь, то онѣ уже не могли развѣхаться и оставались въ такомъ положеніи до тѣхъ поръ, покамѣстъ, схвативши за заднія колеса, не вытаскивали ихъ каждую въ противную сторону на улицу; пѣшеходъ же убирался, какъ цвѣтами, репейниками, росшими съ обѣихъ сторонъ возлѣ забора. На этотъ переулокъ выходили съ одной стороны сарай Ивана Ивановича, съ другой — амбаръ, ворота и голубятня Ивана Никифоровича. Иванъ Ивановичъ подошелъ къ воротамъ, загремѣлъ щеколдой: извнутри поднялся собачій лай; но разношерстная стая скоро побѣжала, помахивая хвостами, назадъ, увидѣвши, что это было знакомое лицо. Иванъ Ивановичъ перешелъ дворъ, на которомъ пестрѣли индѣйскіе голуби, кормимые собственноручно Иваномъ Никифоровичемъ, корки арбузовъ и дынь, мѣстами зелень, мѣстами изломанное колесо, или обручъ отъ³ бочки, или валявшійся мальчишка въ запачканной рубашкѣ: картина, которую любятъ живописцы! Тѣнь отъ развѣшанныхъ⁴ платьевъ покрывала почти весь дворъ и сообщала ему нѣкоторую прохладу. Баба встрѣтила его покло-

номъ и, зазѣвавшись, стала на одномъ мѣстѣ. Передъ домою охорашивалось крылечко съ навѣсомъ на двухъ дубовыхъ столбахъ, — ненадежная защита отъ солнца, которое въ это время въ Малороссіи не любитъ шутить и обливаешь пѣшехода съ ногъ до головы жаркимъ потомъ. Изъ этого можно было видѣть, какъ сильно было желаніе у Ивана Ивановича приобрѣсть необходимую вещь, когда онъ рѣшился вытти въ такую пору, измѣнивъ даже своему всегдашнему обыкновенію прогуливаться только вечеромъ.

Комната, въ которую вступилъ Иванъ Ивановичъ, была совершенно темна, потому что ставни были закрыты и солнечный лучъ, проходя въ дыру, сдѣланную въ ставнѣ, принималъ радужный цвѣтъ и, ударяясь въ противстоящую¹ стѣну, рисовалъ на ней пестрый ландшафтъ изъ очеретяныхъ крышъ, деревъ и развѣшаннаго² на дворѣ платья, все только въ обращенномъ видѣ. Отъ этого всей комнатѣ сообщался какой-то чудный полусвѣтъ.

„Помоги Богъ!“ сказалъ Иванъ Ивановичъ.

„А, здравствуйте, Иванъ Ивановичъ!“ отвѣчалъ голосъ изъ угла комнаты. Тогда только Иванъ Ивановичъ замѣтилъ Ивана Никифоровича, лежащаго на разостланномъ на полу коврѣ. „Извините, что я передъ вами въ натурѣ“. Иванъ Никифоровичъ лежалъ безо всего, даже безъ рубашки.

„Ничего. Почивали ли вы сегодня, Иванъ Никифоровичъ?“

„Почивалъ. А вы почивали, Иванъ Ивановичъ?“

„Почивалъ“.

„Такъ вы теперь и встали?“

„Я теперь всталъ? Христось съ вами, Иванъ Никифоровичъ! Какъ можно спать до сихъ поръ! Я только что пріѣхалъ изъ хутора. Прекрасныя жита по дорогѣ! восхитительныя! И сѣно такое рослое, мягкое, злачное!“

„Горпина!“ закричалъ Иванъ Никифоровичъ: „принеси Ивану Ивановичу водки, да пироговъ съ³ сметаню“.

„Хорошее время сегодня“.

„Не хвалите, Иванъ Ивановичъ. Чтобъ его чортъ взялъ! Некуда дѣваться отъ жару!“

„Вотъ таки нужно помянуть чорта. Эй, Иванъ Никифоровичъ! вы вспомните мое слово, да уже будетъ поздно: достанется вамъ на томъ свѣтѣ за богопротивныя слова“.

„Чѣмъ же я обидѣлъ васъ, Иванъ Ивановичъ? Я не тронулъ ни отца, ни матери вашей. Не знаю, чѣмъ я васъ обидѣлъ“.

„Полно уже, полно, Иванъ Никифоровичъ!“

„Ей Богу, я не обидѣлъ васъ, Иванъ Ивановичъ!“

„Странно, что перепела до сихъ поръ нейдутъ подъ дудочку“.

„Какъ вы себѣ хотите, думайте, что вамъ угодно, только я васъ не обидѣлъ ничѣмъ.“

„Не знаю, отъ чего они нейдутъ“, говорилъ Иванъ Ивановичъ, какъ бы не слушая Ивана Никифоровича: „время ли не приспѣло еще... только время, кажется, такое, какое нужно“¹.

„Вы говорите, что жита хорошія?“

„Восхитительныя жита, восхитительныя!“

За симъ послѣдовало молчаніе.

„Что это вы, Иванъ Никифоровичъ, платьѣ развѣшиваете?“ наконецъ сказалъ Иванъ Ивановичъ.

„Да, прекрасное, почти новое платьѣ загноила проклятая баба: теперь провѣтриваю; сукно тонкое, превосходное, только вывороти—и можно снова носить“.

„Мнѣ тамъ понравилась одна вещица, Иванъ Никифоровичъ“.

„Какая?“

„Скажите пожалуйста, на что вамъ это ружье, что выставлено вывѣтривать вмѣстѣ съ платьемъ?“ Тутъ Иванъ Ивановичъ поднесъ табуку. „Смѣю ли просить объ одолженіи?“

„Ничего, одолжайтесь; я понюхаю своего“. При этомъ Иванъ Никифоровичъ пощупалъ вокругъ себя и досталъ рожокъ. „Вотъ глупая баба! Такъ она и ружье туда же повѣсила? Хорошія табакъ жидъ дѣлаетъ въ Сорочинцахъ. Я не знаю, что онъ кладетъ туда, а такое душистое! На кануперь немножко² похоже. Вотъ возьмите, разжуйте немножко во рту: не правда ли, похоже на кануперь? Возьмите, одолжайтесь!“

„Скажите, пожалуйста, Иванъ Никифоровичъ, я все на счетъ ружья: что вы будете съ нимъ дѣлать? Вѣдь оно вамъ не нужно“.

„Какъ не нужно? А случится стрѣлять?“

„Господь съ вами, Иванъ Никифоровичъ, когда же вы будете стрѣлять? Развѣ по второмъ пришествіи? Вы, сколько я знаю и другіе запомнятъ, ни одной еще качки* не убили, да

* Т.-е. утки.

и ваша натура не такъ уже Господомъ Богомъ устроена, чтобъ стрѣлять. Вы имѣете осанку и фигуру важную. Какъ же вамъ таскаться по болотамъ, когда ваше платье, которое не во всякой рѣчи прилично назвать по имени, провѣтривается и теперь еще? чтѣ же тогда? Нѣтъ, вамъ нужно имѣть покой, отдохновеніе“. (Иванъ Ивановичъ, какъ упомянуто выше, необыкновенно живописно говорилъ, когда нужно было убѣждать кого. Какъ онъ говорилъ! Боже, какъ онъ говорилъ!) „Да, такъ вамъ нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мнѣ!“

„Какъ можно! Это ружье дорогое; такихъ ружьевъ теперь не сыщете нигдѣ. Я еще, какъ собирался въ милицію, купилъ его у турчина; а теперь бы то такъ вдругъ и отдать его! Какъ можно! Это вещь необходимая!“

„На что жъ¹ она необходимая?“

„Какъ на что? А когда нападуть на домъ разбойники... Еще бы не необходимая! Слава тебѣ, Господи! Теперь я спокоенъ и не боюсь никого. А отчего? — оттого, что я знаю, что у меня стоитъ въ коморѣ ружье“.

„Хорошее ружье! Да у него, Иванъ Никифоровичъ, замокъ испорченъ“.

„Что жъ, что испорченъ? Можно починить; нужно только смазать коноплянымъ масломъ, чтобъ не ржавѣлъ“.

„Изъ вашихъ словъ, Иванъ Никифоровичъ, я никакъ не вижу дружественнаго ко мнѣ расположенія. Вы ничего не хотите сдѣлать для меня въ знакъ пріязни“.

„Какъ же это вы говорите, Иванъ Ивановичъ, что я вамъ не оказываю никакой пріязни? Какъ вамъ не совѣстно? Ваши волы пасутся на моей степи, и я ни разу не занималъ ихъ. Когда ѣдете въ Полтаву, всегда просите у меня повозки, и что жъ? развѣ я отказалъ когда? Ребятишки ваши перелѣзаютъ чрезъ плетень въ мой дворъ и играютъ съ моими собаками, — я ничего не говорю: пусть себѣ играютъ, лишь бы ничего не трогали! пусть себѣ играютъ!“

„Когда не хотите подарить, такъ, пожалуй, помѣняемся“.

„Что жъ вы дадите мнѣ за него?“ При этомъ Иванъ Никифоровичъ облокотился на руку и поглядѣлъ на Ивана Ивановича.

„Я вамъ дамъ за него бурюю свинью, ту самую, чтѣ я откормилъ въ сажу. Славная свинья! Увидите, если на слѣдующій годъ она не наведетъ вамъ поросятъ“.

„Я не знаю, какъ вы, Иванъ Ивановичъ, можете это говорить. На что мнѣ свинья ваша? Развѣ чорту поминки дѣлать“.

„Опять! Безъ чорта таки нельзя обойтись! Грѣхъ вамъ; ей Богу, грѣхъ, Иванъ Никифоровичъ!“

„Какъ же вы, въ самомъ дѣлѣ, Иванъ Ивановичъ, даете за ружье, чортъ знаетъ что такое: свинью!“

„Отчего же она—чортъ знаетъ что такое, Иванъ Никифоровичъ?“

„Какъ же? Вы бы сами посудили хорошенько. Это таки ружье, вещь извѣстная; а то—чортъ знаетъ что такое: свинья! Если бы не вы говорили, я бы могъ это принять въ обидную для себя сторону“.

„Что жъ нехорошаго замѣтили вы въ свиньѣ?“

„За кого же въ самомъ дѣлѣ вы принимаете меня? Чтобы я свинью...“

„Садитесь, садитесь! Не буду уже... Пусть вамъ остается ваше ружье, пускай себѣ сгниетъ и перержавѣетъ, стоя въ углу въ коморѣ—не хочу больше говорить о немъ“.

Послѣ этого послѣдовало молчаніе.

„Говорятъ“, началъ Иванъ Ивановичъ: „что три короля объявили войну царю нашему“.

„Да, говорилъ мнѣ Петръ Ѳедоровичъ. Что жъ это за война? и отчего она?“

„Навѣрное не можно сказать, Иванъ Никифоровичъ, за что она. Я полагаю, что короли хотятъ, чтобы мы всѣ приняли турецкую вѣру.“

„Вишь, дурни, чего захотѣли!“ произнесъ Иванъ Никифоровичъ, приподнявши голову.

„Вотъ видите, а царь нашъ и объявилъ имъ за то войну. Нѣтъ, говорить, примите вы сами вѣру Христову!“

„Что жъ? Вѣдь наши побьютъ ихъ, Иванъ Ивановичъ!“

„Побьютъ. Такъ не хотите, Иванъ Никифоровичъ, мѣнять ружьеца?“

„Мнѣ странно, Иванъ Ивановичъ: вы, кажется, человѣкъ извѣстный ученостью, а говорите, какъ недоросль. Что бы я за дуракъ такой...“

„Садитесь, садитесь. Богъ съ нимъ! Пусть оно себѣ околѣетъ; не буду больше говорить“.

Въ это время принесли закуску.

Иванъ Ивановичъ выпилъ рюмку и закусилъ пирогомъ съ сметаною. „Слушайте, Иванъ Никифоровичъ: я вамъ дамъ, кромѣ свиныи, еще два мѣшка овса; вѣдь овса вы не сѣяли. Этотъ годъ, все равно, вамъ нужно будетъ покупать овесъ“.

„Ей Богу, Иванъ Ивановичъ, съ вами говорить нужно, гороху наѣвшись“. (Это еще ничего: Иванъ Никифоровичъ и не такія фразы отпускаетъ.) „Гдѣ видано, чтобы кто ружье промѣнялъ на два мѣшка овса? Небось, бекеши своей не поставите“.

„Но вы позабыли, Иванъ Никифоровичъ, что я и свиню еще даю вамъ“.

„Какъ! два мѣшка овса и свиню за ружье?“

„Да что жъ, развѣ мало?“

„За ружье?“

„Конечно, за ружье“.

„Два мѣшка за ружье?“

„Два мѣшка не пустыхъ, а съ овсомъ; а свиню позабыли?“

„Поцѣлуйте съ своею свинею, а коли не хотите, такъ съ чортомъ!“

„О, васъ зацѣпи только! Увидите: напшигуютъ вамъ на томъ свѣтѣ языкъ горячими иглками за такія богомерзкія слова. Послѣ разговора¹ съ вами нужно и лицо, и руки умытъ, и самому окуриться“.

„Позвольте, Иванъ Ивановичъ: ружье — вещь благородная, самая любопытная забава, притомъ и украшеніе въ комнатѣ пріятное...“

„Вы, Иванъ Никифоровичъ, разносились такъ съ своимъ ружьемъ, какъ дурень съ писанною торбою“, сказалъ Иванъ Ивановичъ съ досадою, потому что дѣйствительно начиналъ уже сердиться“.

„А вы, Иванъ Ивановичъ, настоящій *гусакъ*“.*

Если бы Иванъ Никифоровичъ не сказалъ этого слова, то они бы поспорили между собою и разошлись, какъ всегда, пріятелями; но теперь произошло совсѣмъ другое. Иванъ Ивановичъ весь вспыхнулъ.

„Что вы такое сказали, Иванъ Никифоровичъ?“ спросилъ онъ, возвысивъ голосъ.

„Я сказалъ, что вы похожи на гусака, Иванъ Ивановичъ!“

„Какъ же вы смѣли, сударь, забывъ и приличіе, и ува-

* Т. е. гусь самецъ.

женіе къ чину и фамиліи человѣка, обезчестить такимъ поноснымъ именемъ?“

„Что жъ тутъ поноснаго? Да чего вы въ самомъ дѣлѣ такъ размахались руками, Иванъ Ивановичъ?“

„Я повторяю, какъ вы осмѣлились, въ противность всѣхъ приличій, назвать меня гусакомъ?“

„Начхать я вамъ на голову, Иванъ Ивановичъ! Что вы такъ раскудахтались?“

Иванъ Ивановичъ не могъ болѣе владѣть собою: губы его дрожали; ротъ измѣнилъ обыкновенное положеніе *исшипы* и сдѣлался похожимъ на О; глазами онъ такъ мигалъ, что сдѣлалось страшно. Это было у Ивана Ивановича чрезвычайно рѣдко; нужно было для этого его сильно разсердить. „Такъ я жъ вамъ объявляю“, произнесъ Иванъ Ивановичъ: „что я знать васъ не хочу.“

„Большая бѣда! Ей Богу, не заплачу отъ этого!“ отвѣчала Иванъ Никифоровичъ. — Лгаль, лгаль, ей Богу, лгаль! Ему очень было досадно это.

„Нога моя не будетъ у васъ въ домѣ.“

„Эге, ге!“ сказала Иванъ Никифоровичъ, съ досады не зная самъ, что дѣлать, и, противъ обыкновенія, вставъ на ноги. „Эй, баба, хлопче!“ При семъ показалась изъ-за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчишъ, запутанный въ длинный и широкій сюртукъ. „Возьмите Ивана Ивановича за руки, да выведите его за двери!“

„Какъ! дворянина?“ закричалъ съ чувствомъ достоинства и негодованія Иванъ Ивановичъ. „Осмѣйтесь только! подступите! Я васъ уничтожу съ глупымъ вашимъ паномъ! Воронъ не найдетъ мѣста вашего!“ (Иванъ Ивановичъ говорилъ необыкновенно сильно, когда душа его бывала потрясена.)

Вся группа представляла сильную картину: Иванъ Никифоровичъ, стоявшій посреди комнаты въ полной красотѣ своей, безъ всякаго украшенія! Баба, разинувшая ротъ и выразившая на лицѣ самую бессмысленную, исполненную страха мину! Иванъ Ивановичъ, съ поднятою вверхъ рукою, какъ изображались римскіе трибуны! Это была необыкновенная минута, спектакль великолѣпный! И между тѣмъ только одинъ былъ зрителемъ: это былъ мальчишъ въ неизмѣримомъ сюртукѣ, который стоялъ довольно покойно и чистилъ пальцемъ свой носъ.

Наконецъ Иванъ Ивановичъ взялъ шапку свою. „Очень хорошо поступаете вы, Иванъ Никифоровичъ! прекрасно! Я это припомню вамъ.“¹

„Ступайте, Иванъ Ивановичъ, ступайте! да смотрите, не упадитесь мнѣ: а не то — я вамъ, Иванъ Ивановичъ, всю морду побью!“

„Вотъ вамъ за это, Иванъ Никифоровичъ“ отвѣчала Иванъ Ивановичъ, выставивъ ему кукишъ и хлопнувъ за собою дверь, которая съ визгомъ захрипѣла и отворилась снова.

Иванъ Никифоровичъ показался въ дверяхъ и что-то хотѣлъ присовокупить, но Иванъ Ивановичъ уже не оглядывался и лѣтѣлъ со двора.

ГЛАВА III.

Что произошло послѣ ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ?

Итакъ, два почтенные мужа, честь и украшеніе Миргорода, поссорились между собою! и за что? за вздоръ, за гусака. Не захотѣли видѣть другъ друга, прервали всѣ связи, между тѣмъ, какъ прежде были извѣстны за самыхъ неразлучныхъ друзей! Каждый день, бывало, Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ посылаютъ другъ къ другу узнать о здоровьѣ², и часто переговариваются другъ съ другомъ съ своихъ балконовъ, и говорятъ другъ другу такія пріятныя рѣчи, что сердцу любо слушать было. По воскреснымъ днямъ, бывало, Иванъ Ивановичъ въ штатетовой бекешѣ, Иванъ Никифоровичъ въ нанковомъ желто-коричневомъ козакинѣ, отправляются почти об руку другъ съ другомъ въ церковь. И если Иванъ Ивановичъ, который имѣлъ глаза чрезвычайно зоркіе, первый замѣчалъ дужу или какую-нибудь нечистоту посреди улицы, что бываетъ иногда въ Миргородѣ, то всегда говорилъ Ивану Никифоровичу: „Берегитесь, не ступите сюда ногою, ибо здѣсь нехорошо“. Иванъ Никифоровичъ, съ своей стороны, показывалъ тоже самые трогательные знаки дружбы, и гдѣ бы ни стоялъ далеко³, всегда протянетъ къ Ивану Ивановичу руку съ рожкомъ, примолвивши: „одолжайтесь!“ А какое прекрасное хозяйство у обоихъ!... И эти два друга... Когда я услышалъ

объ этомъ, то меня какъ громомъ поразило! Я долго не хотѣлъ вѣрить. Боже праведный! Иванъ Ивановичъ поссорился съ Иваномъ Никифоровичемъ! Такіе достойные люди! Что жъ теперь прочно на этомъ свѣтѣ?

Когда Иванъ Ивановичъ пришелъ къ себѣ домой, то долго былъ въ сильномъ волненіи. Онъ, бывало, прежде всего зайдетъ въ конюшню посмотрѣть, ѣсть ли кобылка сѣно (у Ивана Ивановича кобылка саврасая, съ лысиной на лбу; хорошая очень лошадка); потомъ покормить индѣекъ и поросятъ¹ изъ своихъ рукъ и тогда уже идетъ въ покои, гдѣ или дѣлаетъ деревянную посуду (онъ очень искусно, не хуже токаря, умѣетъ выдѣлывать разныя вещи изъ дерева), или читаетъ книжку, печатанную у Любія, Гарія и Попова (названія ея Иванъ Ивановичъ не помнитъ, потому что дѣвка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавнаго листка, забавляя дитя), или же отдыхаетъ подъ навѣсомъ. Теперь же онъ не взялся ни за одно изъ всегдашнихъ своихъ занятій. Но² вмѣсто того, встрѣтивши Гапку, началъ бранить, зачѣмъ она шатается безъ дѣла, между тѣмъ, какъ она тащила крупу въ кухню; кинулъ палкой въ пѣтуха, который пришелъ къ крыльцу за обыкновенной подачей, и, когда подбѣжалъ къ нему запачканный мальчишка въ изодранной рубашонкѣ и закричалъ: „Тятя, тятя! дай пряника!“ то онъ ему такъ страшно пригрозилъ и затопал ногами, что испуганный мальчишка забѣжалъ, Богъ знаетъ куда.

Наконецъ, однакожъ, онъ одумался и началъ заниматься всегдашними дѣлами. Поздно³ сталъ онъ обѣдать и уже вечеромъ почти легъ отдыхать подъ навѣсомъ. Хорошій борщъ съ голубями, который сварила Гапка, выгналъ совершенно утреннее происшествіе. Иванъ Ивановичъ опять началъ съ удовольствіемъ разсматривать свое хозяйство. Наконецъ остановилъ глаза на сосѣднемъ дворѣ и сказалъ самъ себѣ: „Сегодня я не былъ у Ивана Никифоровича; пойду-ка къ нему“. Сказавши это, Иванъ Ивановичъ взялъ палку и шапку и отправился на улицу; но едва только вышелъ за ворота, какъ вспомнилъ ссору, плюнулъ и возвратился назадъ. Почти такое же движеніе случилось и на дворѣ Ивана Никифоровича. Иванъ Ивановичъ видѣлъ, какъ баба уже поставила ногу на плетень съ намѣреніемъ перелѣзть на⁴ его дворъ, какъ вдругъ послы-

шался голосъ Ивана Никифоровича: „Назадъ, назадъ! не нужно!“ Однакожь Ивану Ивановичу сдѣлалось очень скучно. Весьма могло быть, что сіи достойные люди на другой же бы день помирились, если бы особенное происшествіе въ домѣ Ивана Никифоровича¹ не уничтожило всякую надежду и не подлило масла въ готовый погаснуть огонь вражды.

Къ Ивану Никифоровичу ввечеру того же дня² пріѣхала Агаѳея³ Ѳедосѣевна. Агаѳея⁴ Ѳедосѣевна не была ни родственницей, ни свояченицей, ни даже кумой Ивану Никифоровичу. Казалось бы, совершенно ей⁵ незачѣмъ было къ нему ѣздить, и онъ самъ былъ не слишкомъ ей радъ; однакожь она ѣздила и проживала у него по цѣлымъ недѣлямъ, а иногда и болѣе. Тогда она отбирала ключи и весь домъ брала на свои руки. Это было очень непріятно Ивану Никифоровичу, однакожь онъ, къ удивленію, слушалъ ее, какъ ребенокъ, и хотя иногда и пытался спорить, но всегда Агаѳея Ѳедосѣевна брала верхъ⁶.

Я, признаюсь, не понимаю, для чего это такъ устроено, что женщины хватаютъ насъ за носъ такъ же ловко, какъ будто за ручку чайника: или руки ихъ такъ созданы, или носы наши ни на что болѣе не годятся. И не смотря на то, что носъ Ивана Никифоровича былъ нѣсколько похожъ на сливу, однакожь она⁷ схватила его за этотъ носъ и водила за собою, какъ собачку. Онъ даже измѣнялъ при ней невольно⁸ обыкновенный свой образъ жизни: не такъ долго лежалъ на солнцѣ, если же и лежалъ, то не въ натурѣ, а всегда надѣвалъ рубашку и шаровары, хотя Агаѳея⁹ Ѳедосѣевна совершенно этого не требовала. Она была не охотница до церемоній, и когда Иванъ Никифоровичъ страдалъ лихорадкою¹⁰, она сама, своими руками, вытирала его съ ногъ до головы скипидаромъ и уксу-сомъ. Агаѳея¹¹ Ѳедосѣевна носила на головѣ чепецъ, три бородавки на носу и кофейный капотъ съ желтенькими цвѣтами. Весь станъ ея похожъ былъ на кадущку, и оттого отыскать ея талию было такъ же трудно, какъ увидѣть безъ зеркала свой носъ. Ножки ея были коротенькія, сформированныя на образецъ двухъ подушекъ. Она сплетничала и ѣла вареные бураки по утрамъ, и отлично хорошо ругалась; и при всѣхъ этихъ разнообразныхъ занятіяхъ, лицо ея ни на минуту не измѣняло своего выраженія, что обыкновенно могутъ показы-вать однѣ только женщины.

Какъ только она пріѣхала, все пошло навыворотъ: „Ты, Иванъ Никифоровичъ, не мирись съ нимъ и не проси прощенія; онъ тебя погубить хочетъ; это таковскій человѣкъ! Ты его еще не знаешь“. Шушукала, шушукала проклятая баба и сдѣлала то, что Иванъ Никифоровичъ и слышать не хотѣлъ объ Иванѣ Ивановичѣ.

Все приняло другой видъ. Если сосѣдняя собака забѣгала¹ когда на дворъ, то ее колотили чѣмъ ни попало; ребятишки, перелѣзавшіе² черезъ заборъ, возвращались съ воплемъ, съ поднятыми вверхъ рубашонками и съ знаками розогъ на спинѣ³. Даже самая баба, когда Иванъ Ивановичъ хотѣлъ было ее спросить о чемъ-то, сдѣлала такую непристойность, что Иванъ Ивановичъ, какъ человѣкъ чрезвычайно деликатный, плюнулъ и примолвилъ только: „Экая скверная баба! хуже своего пана!“

Наконецъ, къ довершенію всѣхъ оскорбленій, ненавистный сосѣдъ выстроилъ прямо противъ него, гдѣ обыкновенно былъ перелазъ черезъ плетень, гусиный хлѣвъ, какъ будто съ особеннымъ намѣреніемъ усугубить оскорбленіе. Этотъ отвратительный для Ивана Ивановича хлѣвъ выстроенъ былъ съ дьявольскою скоростью — въ одинъ день.

Это возбудило въ Иванѣ Ивановичѣ злость и желаніе отомстить. Онъ не показалъ, однакожъ, никакого вида огорченія, не смотря на то, что хлѣвъ даже захватилъ часть его земли; но сердце у него такъ билось, что ему было чрезвычайно трудно сохранять это наружное спокойствіе.

Такъ провелъ онъ день. Настала ночь... О, если бъ я былъ живописецъ, я бы чудно изобразилъ всю прелесть ночи! Я бы изобразилъ, какъ спитъ весь Миргородъ; какъ неподвижно глядятъ на него безчисленныя звѣзды; какъ видимая тишина оглашается близкимъ и далекимъ лаемъ собакъ; какъ мимо ихъ несется влюбленный пономарь и перелѣзаетъ⁴ черезъ плетень съ рыцарскою безстрашностію⁵; какъ бѣлыя стѣны домовъ, охваченныя луннымъ свѣтомъ, становятся бѣлѣе⁶, осѣняющія ихъ деревья темнѣе, тѣнь отъ деревъ ложится чернѣе, цвѣты и умолкнувшая трава душистѣе, и сверчки, неутомимые рыцари ночи, дружно изо⁷ всѣхъ угловъ заводятъ свои трескучія пѣсни. Я бы изобразилъ, какъ въ одномъ изъ этихъ низенькихъ глиняныхъ домиковъ разметающейся на одинокой по-

стелѣ чернобровой горожанкѣ, съ дрожащими молодыми грудями, снится гусарскій усъ и шпоры, а свѣтъ луны смѣется на ея щекахъ. Я бы изобразилъ, какъ по бѣлой дорогѣ мелькаетъ черная тѣнь летучей мыши, садающейся¹ на бѣлыя трубы домовъ... Но врядь ли бы я могъ изобразить Ивана Ивановича, вышедшаго въ эту ночь съ пилою въ рукѣ: столько на лицѣ у него было написано разныхъ чувствъ! Тихо, тихо подкрался онъ и подлѣзъ подъ гусиный хлѣвъ. Собаки Ивана Никифоровича еще ничего не знали о ссорѣ между ними, и потому позволили ему, какъ старому пріятелю, подойти къ хлѣву, который весь держался на четырехъ дубовыхъ столбахъ. Подлѣзши къ ближнему столбу, приставилъ онъ къ нему пилу и началъ пилить. Шумъ, производимый пилою, заставлялъ его поминутно оглядываться, но мысль объ обидѣ возвращала бодрость. Первый столбъ былъ подпиленъ; Иванъ Ивановичъ принялся за другой. Глаза его горѣли и ничего не видали² отъ страха. Вдругъ Иванъ Ивановичъ вскрикнулъ и обомлѣлъ: ему показался мертвецъ; но скоро онъ пришелъ въ себя, увидѣвши, что это былъ гусь, просунувшій къ нему свою шею. Иванъ Ивановичъ плюнулъ отъ негодованія и началъ продолжать работу. И второй столбъ подпиленъ; зданіе пошатнулось. Сердце у Ивана Ивановича начало такъ страшно биться, когда онъ принялся за третій, что онъ нѣсколько разъ прекращалъ работу. Уже болѣе половины столба было подпилено, какъ вдругъ шаткое зданіе сильно покачнулось... Иванъ Ивановичъ едва успѣлъ отскочить, какъ оно рухнуло съ трескомъ. Схвативши пилу, въ страшномъ испугѣ прибѣжалъ онъ домой и бросился на кровать, не имѣя даже духу³ поглядѣть въ окно на слѣдствія своего страшнаго дѣла. Ему казалось, что весь дворъ Ивана Никифоровича собрался: старая баба, Иванъ Никифоровичъ, мальчикъ въ безконечномъ скруткѣ всѣ съ дреколями, предводительствуемые Агаеіей⁴ Ѳедосѣвной, шли разорять и ломать его домъ.

Весь слѣдующій день провелъ Иванъ Ивановичъ, какъ въ лихорадкѣ. Ему все чудилось, что ненавистный сосѣдъ въ отищеніе за это, по крайней мѣрѣ, подожжетъ домъ его; и потому онъ далъ повелѣніе Гапкѣ поминутно осматривать⁵ вездѣ, не подложено ли гдѣ-нибудь сухой соломы. Наконецъ, чтобы предупредить Ивана Никифоровича, онъ рѣшился забѣжать

зайдемъ впередъ и подать на него прошеніе въ миргородскій повѣтовый судъ. Въ чемъ оно состояло, объ этомъ можно узнать изъ слѣдующей главы.

ГЛАВА IV.

О томъ, что произошло въ присутствіи миргородскаго повѣтоваго суда.

Чудный городъ Миргородъ! Какіхъ въ немъ нѣтъ строеній! И подь соломенною, и подь очеретяною, даже подь деревянною крышею. Направо улица, налѣво улица, вездѣ прекрасный плетень; по немъ вьется хмель, на немъ висятъ горшки, изъ-за него подсолнечникъ выказываетъ свою солнцеобразную голову, краснѣетъ макъ, мелькаютъ толстыя тыквы... Роскошь! Плетень всегда убранъ предметами, которые дѣлаютъ его еще болѣе живописнымъ: или напяленную плахтою, или сорочкою, или шароварами. Въ Миргородѣ нѣтъ ни воровства, ни мошенничества, и потому каждый вѣшаетъ на плетень¹, что ему вздумается. Если будете подходить къ площади, то, вѣрно, на время остановитесь полюбоваться видомъ: на ней находится лужа, удивительная лужа! единственная, какую только вамъ удавалось когда² видѣть! Она занимаетъ почти всю площадь. Прекрасная лужа! Дома³ и домики, которые издали можно принять за копны сѣна, обступивши вокругъ, дивятся красотѣ ея.

Но я тѣхъ мыслей, что нѣтъ лучше дома, какъ повѣтовый судъ. Дубовый ли онъ, или березовый, мнѣ нѣтъ дѣла, но въ немъ, милостивые государи, восемь окошекъ! восемь окошекъ въ рядъ, прямо на площадь и на то водное пространство, о которомъ я уже говорилъ и которое городничій называетъ озеромъ! Одинъ только онъ окрашенъ цвѣтомъ гранита; всѣ прочіе дома⁴ въ Миргородѣ просто выбѣлены. Крыша на немъ вся деревянная, и была бы даже выкрашена красною краскою, если бы приготовленное для того масло канцелярскіе, приправивши лукомъ, не съѣли, что было, какъ нарочно, во время поста, и крыша осталась не крашеною. На площадь выступаетъ крыльцо, на которомъ часто бѣгаютъ куры, оттого что на крыльцѣ всегда почти разсыпаны крупы или что-нибудь съѣстное, что, впрочемъ, дѣлается не нарочно, но единственно отъ неосторожности просителей. Домъ⁵ раздѣленъ на

двѣ половины: въ одной *присутствіе*, въ другой *арестантская*. Въ той половинѣ, гдѣ присутствіе, находятся двѣ комнаты чистыя, выбѣленные: одна передняя, для просителей, въ другой столъ, украшенный¹ чернильными пятнами; на столѣ² зеркало; четыре стула дубовые³, съ высокими спинками; возлѣ стѣны сундуки, кованые желѣзомъ, въ которыхъ сохранялись кипы повѣтовой ябеды. На одномъ изъ этихъ сундуковъ стоялъ тогда сапогъ, вычищенный ваксоу.

Присутствіе началось еще съ утра. Судья, довольно полный человекъ, хотя нѣсколько тонѣ Ивана Никифоровича, съ доброю миною, въ замасленномъ халатѣ, съ трубкою и чашкою чаю, разговаривалъ съ подсудкомъ. У судьи губы находились подъ самымъ носомъ, и отъ того носъ его могъ нюхать верхнюю губу, сколько душѣ угодно было. Эта губа служила ему вмѣсто табакерки, потому что табакъ, адресуемый въ носъ, почти всегда сбѣлся на нее. Итакъ, судья разговаривалъ съ подсудкомъ. Босая дѣвка держала въ сторонѣ подносъ съ чашками. Въ концѣ стола секретарь читалъ рѣшеніе дѣла, но такимъ однообразнымъ и заунывнымъ⁴ тономъ, что самъ подсудимый заснулъ бы, слушая. Судья, безъ сомнѣнія, это бы сдѣлалъ прежде всѣхъ, если бы не вошелъ между тѣмъ въ занимательный разговоръ⁵.

„Я нарочно старался узнать“, говорилъ судья, прихлебывая чай уже изъ⁶ простывшей чашки: „какимъ образомъ это дѣлается, что они поютъ хорошо. У меня былъ славный дроздъ, года два тому назадъ. Что жъ? Вдругъ испортился совсѣмъ, началъ пѣть, Богъ знаетъ что; чѣмъ далѣе, хуже, хуже; сталъ картавить, хрипѣть, — хотъ выбрось! А вѣдь самый вздоръ! Это вотъ отчего дѣлается: подъ горлышкомъ дѣлается бобонъ, меньше горошинки. Этотъ бобончикъ нужно только проколоть иголкою. Меня научилъ этому Захаръ Прокофьевичъ, и именно, если хотите, я вамъ расскажу, какимъ это было образомъ: пріѣзжаю я къ нему...“

„Прикажете, Демьянъ Демьяновичъ, читать другое?“ прервалъ секретарь, уже нѣсколько минутъ какъ окончившій чтеніе.

„А вы уже прочитали? Представьте, какъ скоро! Я и не услышалъ ничего! Да гдѣ жъ оно? Дайте его сюда, я подпишу. Что тамъ еще у васъ?“

„Дѣло козака Бокитъка о краденой коровѣ“.

„Хорошо, читайте! Да, такъ прѣвзжаю я къ нему... Я могу даже разсказать вамъ подробно, какъ онъ угостилъ меня. Къ водкѣ былъ поданъ балыкъ, единственный! Да, не нашего балыка, которымъ“ (при этомъ судья сдѣлалъ языкомъ и улыбнолся, при чемъ носъ его понюхалъ свою всегдашнюю табакерку)... „которымъ угощаетъ наша бакалейная миргородская лавка. Селедки я не ѣлъ, потому что, какъ вы сами знаете, у меня отъ нея дѣлается изжога подъ ложечкою; но икры отвѣдалъ, — прекрасная икра! нечего сказать, отличная! Потомъ выпилъ я водки персиковой, настоянной на золототысячникъ. Была и шафранная; но шафранной, какъ вы сами знаете, я не употребляю. Оно, видите, очень хорошо: напередъ, какъ говорятъ, раззадорить аппетитъ, а потомъ уже завершить... А! слыхомъ слыхать, видомъ видать“... вскричалъ вдругъ судья, увидѣвъ входящаго Ивана Ивановича.

„Богъ въ помощь! Желаю здравствовать!“ произнесъ Иванъ Ивановичъ, поклонившись на всѣ стороны съ свойственною ему одному пріятностію. Боже мой, какъ онъ умѣлъ обворожить всѣхъ своимъ обращеніемъ! Тонкости такой я нигдѣ не видывалъ. Онъ зналъ очень хорошо самъ свое достоинство и потому на всеобщее почтеніе смотрѣлъ, какъ на должное. Судья самъ подавъ стулъ Ивану Ивановичу, носъ его потянулъ съ верхней губы весь табакъ, что всегда было у него знакомъ большаго удовольствія.

„Чѣмъ прикажете потчивать васъ, Иванъ Ивановичъ?“ спросилъ онъ: „не прикажете ли чашку чаю?“

„Нѣтъ, весьма благодарю“, отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, поклонился и сѣлъ.

„Сдѣлайте милость, одну чашечку!“ повторилъ судья.

„Нѣтъ, благодарю. Весьма доволенъ гостепріимствомъ!“ отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, поклонился и сѣлъ.

„Одну чашку!“ повторилъ судья.

„Нѣтъ, не беспокойтесь, Демьянъ Демьяновичъ!“ При этомъ Иванъ Ивановичъ поклонился и сѣлъ.

„Чашечку?“

„Ужъ такъ и быть, развѣ чашечку!“ произнесъ Иванъ Ивановичъ и протянулъ руку къ подносу.

Господи Боже! какая бездна тонкости бываетъ у чело-

вѣка! Нельзя разсказать, какое пріятное впечатлѣніе производятъ такіе поступки!

„Не прикажете ли еще чашечку?“

„Покорно благодарствую“, отвѣчалъ Иванъ Ивановичъ, ставя на поднось опрокинутую чашку и кланаясь.

„Сдѣлайте одолженіе, Иванъ Ивановичъ!“

„Не могу; весьма благодаренъ“. При этомъ Иванъ Ивановичъ поклонился и сѣлъ.

„Иванъ Ивановичъ! сдѣлайте дружбу, одну чашечку!“

„Нѣтъ, весьма обязанъ за угощеніе“. Сказавши это, Иванъ Ивановичъ поклонился и сѣлъ.

„Только чашечку! Одну чашечку!“

Иванъ Ивановичъ протянулъ руку къ подносу и взялъ чашку.

Фу, ты пропасть! Какъ можетъ, какъ найдется человѣкъ поддержать свое достоинство!

„Я, Демьянъ Демьяновичъ“, говорилъ Иванъ Ивановичъ, допивая послѣдній глотокъ: „я къ вамъ имѣю необходимое дѣло: я подаю позовъ“. При этомъ Иванъ Ивановичъ поставилъ чашку и вынулъ изъ кармана написанный¹ гербовый листъ бумаги. „Позовъ на врага моего, на заклятаго врага“.

„На кого же это?“

„На Ивана Никифоровича Довгочхуна“.

При этихъ словахъ судья чуть не упалъ со стула. „Что вы говорите!“ произнесъ онъ, всплеснувъ руками: „Иванъ Ивановичъ! вы ли это?“

„Видите сами, что я“.

„Господь съ вами и всѣ святые! Какъ! Вы, Иванъ Ивановичъ, стали непріателемъ Ивану Никифоровичу! Ваши ли это уста говорятъ? Повторите еще! Да не спрятался ли у васъ кто-нибудь свади и говорить вмѣсто васъ?...“

„Что жъ тутъ невѣроятнаго? Я не могу смотрѣть на него: онъ нанесъ мнѣ смертельную обиду², оскорбилъ честь мою“.

„Пресвятая Троица! Какъ же мнѣ теперь увѣрить матушку? А она, старушка, каждый день, какъ только мы поссоримся съ сестрою, говоритъ: „Вы, дѣтки, живете между собою, какъ собаки. Хоть бы вы взяли примѣръ съ Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича: вотъ ужъ друзья, такъ друзья! то-то пріатели! то-то достойные люди!“ Вотъ тебѣ и пріатели! Разскажите, за что же это? какъ?“

„Это дѣло деликатное, Демьянъ Демьяновичъ! на словахъ его нельзя рассказать: прикажите лучше прочитать просьбу. Вотъ, возьмите съ этой стороны, здѣсь приличнѣе“.

„Прочитайте, Тарасъ Тихоновичъ!“ сказалъ судья, оборотившись къ секретарю.

Тарасъ Тихоновичъ взялъ просьбу и, высморкавшись такимъ образомъ, какъ сморкаются¹ всѣ секретари по повѣтовымъ судамъ, съ помощію двухъ пальцевъ, началъ читать:

„Отъ дворянина миргородскаго повѣта и помѣщика Ивана, Иванова сына, Перерепенка прошеніе; а о чемъ, тому слѣдуютъ пункты:

„1) Извѣстный всему свѣту своими богопротивными, въ омерзѣніе приводящими и всякую мѣру превышающими законопреступными поступками, дворянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочунъ, сего 1810 года, іюля 7 дня, учинилъ мнѣ смертельную обиду, какъ персонально до чести моей² относящуюся, такъ равномерно въ уничиженіе и конфузію чина моего и фамиліи. Онъ дворянинъ и самъ, притомъ, гнуснаго вида, характеръ имѣеть бранчивый и преисполненъ разнаго рода богохуленіями и бранными словами“...

Тутъ чтець немного остановился, чтобы снова высморкаться, а судья съ благоговѣніемъ сложилъ руки и только говорилъ про себя: „Что за бойкое перо! Господи Боже! какъ пишеть этотъ человѣкъ!“

Иванъ Ивановичъ просилъ читать далѣе, и Тарасъ Тихоновичъ продолжалъ:

„Онъ дворянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочунъ, когда я пришелъ къ нему съ дружескими предложеніями, назвалъ меня публично обиднымъ и поноснымъ для чести моей именемъ, а именно „гусакомъ“, тогда какъ извѣстно всему миргородскому повѣту, что симъ гнуснымъ животнымъ я никогда отнюдь не именовался и впредь именоваться не намѣренъ. Доказательствомъ же дворянскаго моего происхожденія есть то, что въ метрической книгѣ, находящейся въ церкви Трехъ Святителей, записанъ какъ день моего рожденія, такъ равномерно и полученное мною крещеніе. „Гусакъ“ же, какъ извѣстно всѣмъ, кто сколько-нибудь свѣдуещъ въ наукахъ, не можетъ быть записанъ въ метрической книгѣ, ибо „гусакъ“ есть не человѣкъ, а птица, что уже всякому, даже не бы-

вавшему въ семинаріи, достовѣрно извѣстно. Но оный злокачественный дворянинъ, будучи обо всемъ этомъ свѣдуя, не для чего инаго, какъ чтобы нанести смертельную для моего чина и званія обиду, обругалъ меня онымъ гнуснымъ словомъ.

„2) Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянинъ посягнувъ, притомъ, на мою родовую, полученную мною послѣ родителя моего, состоявшаго въ духовномъ званіи, блаженной памяти Ивана, Онисіева сына, Перерепенка собственность, тѣмъ, что, въ противность всякимъ законамъ, перенесъ совершенно насупротивъ моего крыльца гусиный хлѣвъ, что дѣлалось не съ инымъ какимъ намѣреніемъ, какъ чтобы усугубить нанесенную мнѣ обиду, ибо оный хлѣвъ стоялъ до сего въ изрядномъ мѣстѣ и довольно еще былъ крѣпокъ. Но омерзительное намѣреніе вышеупомянутаго дворянина состояло единственно въ томъ, чтобы учинить меня свидѣтелемъ непристойныхъ пассажей: ибо извѣстно, что всякій человѣкъ не пойдетъ въ хлѣвъ, тѣмъ паче въ гусиный, для приличнаго дѣла. При такомъ противузаконномъ дѣйствіи, двѣ переднія сохи захватили собственную мою землю, доставшуюся мнѣ еще при жизни отъ родителя моего, блаженной памяти, Ивана, Онисіева сына, Перерепенка, начинавшуюся отъ амбара и прямою линіей до самаго того мѣста, гдѣ бабы моютъ горшки.

„3) Вышеизображенный дворянинъ, котораго уже самое имя и фамилія внушаетъ всякое омерзѣніе, питаетъ въ душѣ злостное намѣреніе поджечь меня въ собственномъ домѣ. Несомнѣнные чему признаки изъ нижеслѣдующаго явствуютъ: во 1-хъ, оный злокачественный дворянинъ началъ выходить часто изъ своихъ покоевъ, чего прежде никогда, по причинѣ своей лѣности и гнусной тучности тѣла, не предпринималъ; во 2-хъ, въ людской его, примыкающей о самый заборъ, ограждающій мою собственную, полученную мною отъ покойнаго родителя моего, блаженной памяти Ивана, Онисіева сына, Перерепенка, землю, ежедневно и въ необычайной¹ продолжительности горить свѣтъ, что уже явное есть къ тому доказательство; ибо до сего, по скардной его скупости, всегда не только сальная свѣча, но даже каганецъ былъ потушаемъ.

„И потому прошу онаго дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочуна, яко повиннаго въ зажигательствѣ, въ оскор-

бленіи моего чина, имени и фамиліи и въ хищническомъ присвоеніи собственности, а паче всего въ подломъ и предосудительномъ присовокупленіи къ фамиліи моей названія „гусака“, ко взисканію штрафа, удовлетворенія, проторей и убытковъ присудить, и самого, яко нарушителя, въ кандалы забить и, заковавши, въ городскую тюрьму препроводить, и по сему моему прошенію рѣшеніе немедленно и неукоснительно учинить. Писаль и сочиняль дворянинъ, миргородскій помѣщикъ, Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко.“

По прочтеніи просьбы, судья приблизился къ Ивану Ивановичу, взявъ его за пуговицу и началъ говорить ему почти¹ такимъ образомъ: „Что это вы дѣлаете, Иванъ Ивановичъ? Бога бойтесь! Бросьте просьбу, пусть она пропадаетъ! (Сатана приснись ей!) Возьмитесь лучше съ Иваномъ Никифоровичемъ за руки, да поцѣлуйте; да купите сантуринскаго, или никопольскаго, или хоть, просто, сдѣлайте пуншику, да позовите меня! Разопьемъ вмѣстѣ и позабудемъ все!“

„Нѣтъ, Демьянъ Демьяновичъ! Не такое дѣло“, сказалъ Иванъ Ивановичъ съ важностію, которая такъ всегда шла къ нему: „не такое дѣло, чтобы можно было рѣшить любовною сдѣлкою. Прощайте! Прощайте и вы, господа!“ продолжалъ онъ съ тою же важностію, оборотившись ко всѣмъ: „надѣюсь, что моя просьба возымѣетъ надлежащее дѣйствіе“. И ушелъ, оставивъ въ изумленіи все присутствіе.

Судья сидѣлъ, не говоря ни слова; секретарь нюхалъ табакъ; канцелярскіе опрокинули разбитый черепокъ бутылки, употребляемый вмѣсто чернильницы, и самъ судья, въ разсѣянности, разводилъ пальцемъ по столу чернильную лужу.

„Что вы скажете на это, Дороей Трофимовичъ?“ сказалъ судья, послѣ нѣкотораго молчанія, обратившись къ подсудку.

„Ничего не скажу“, отвѣчалъ подсудокъ.

„Экія дѣла дѣлаются!“ продолжалъ судья. Не успѣлъ онъ этого сказать, какъ дверь затрещала и передняя половина Ивана Никифоровича высадилась въ присутствіе, остальная оставалась еще въ передней². Появленіе Ивана Никифоровича, и еще въ судъ, такъ показалось необыкновеннымъ, что судья вскрикнувъ, секретарь прервалъ свое чтеніе, одинъ канцеляристъ, въ фризвомъ подобіи полуфрака, взявъ въ губы перо, другой проглотилъ муху. Даже отправлявшій должность фельдъ-

егеря и сторожа инвалидъ, который до того стоялъ у дверей, почесывая въ своей грязной рубашкѣ, съ нашивкою на плечѣ, даже этотъ инвалидъ разинулъ ротъ и наступилъ кому-то на ногу.

„Какими судьбами? Чтò и какъ? Какъ здоровье ваше, Иванъ Никифоровичъ?“

Но Иванъ Никифоровичъ былъ ни живъ, ни мертвъ, потому что завязнуль въ дверяхъ и не могъ сдѣлать ни шагу впередъ или назадъ. Напрасно судья кричалъ въ переднюю, чтобы кто-нибудь изъ находившихся тамъ выперьъ сзади Ивана Никифоровича въ присутственную залу. Въ передней находилась одна только старуха просительница, которая, не смотря на всѣ усилія своихъ костлявыхъ¹ рукъ, ничего не могла сдѣлать. Тогда одинъ изъ канцелярскихъ, съ толстыми губами, съ широкими плечами, съ толстымъ носомъ, глазами, глядѣвшими искоса и пьяно², съ разодранными локтями, приблизился къ передней половинѣ Ивана Никифоровича, сложилъ ему обѣ руки на крестъ, какъ ребенку, и мигнуль старому инвалиду, который уперся своимъ колѣнномъ въ брюхо Ивана Никифоровича, и, не смотря на жалобные стоны, онъ былъ вытиснуть³ въ переднюю. Тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей, при чемъ канцелярскій и его помощникъ, инвалидъ, отъ дружныхъ усилій, дыханіемъ усть своихъ распространили такой сильный запахъ, что комната присутствія превратилась было на время въ питейный домъ.

„Не зашибли ли васъ, Иванъ Никифоровичъ? Я скажу ма-тушкѣ, она пришлетъ вамъ настойки, которою потрите только⁴ поясницу и спину, и все пройдетъ“.

Но Иванъ Никифоровичъ повалился на стулъ и, кромѣ продолжительныхъ *оховъ*, ничего не могъ сказать. Наконецъ, слабымъ, едва слышнымъ отъ усталости, голосомъ произнесъ онъ: „Не угодно ли?“ и, вынувши изъ кармана рожокъ, прибавилъ: „Возьмите, одоляйтесь!“

„Весьма радъ, что васъ вижу“, отвѣчалъ судья: „но все не могу представить себѣ, чтò заставило васъ предпринять трудъ и одолжить насъ такую пріятною нечаянностію“.

„Съ просьбою...“ могъ только произнести Иванъ Никифоровичъ.

„Съ просьбою? съ какою?“

„Съ позвожь...“ (тутъ одышка произвела долгую паузу)
 „охъ!... съ позвожь на мошенника... Ивана Иванова Перерепенка“.

„Господи! И вы туда же! Такіе рѣдкіе друзья! Позовъ на такого добродѣтельнаго человѣка!...“

„Онъ — самъ сатана!“ произнесъ отрывисто Иванъ Никифоровичъ.

Судья перекрестился.

„Возьмите просьбу, прочитайте“.

„Нечего дѣлать, прочитайте, Тарасъ Тихоновичъ“, сказалъ судья, обращаясь къ секретарю, съ видомъ неудовольствія, при чемъ носъ его неволью понюхалъ верхнюю губу, что обыкновенно онъ дѣлалъ прежде только отъ большаго удовольствія. Такое самоуправство носа причинило судѣ еще болѣе досады: онъ вынулъ платокъ и смель съ верхней губы весь табакъ, чтобы наказать дерзость его.

Секретарь, сдѣлавши обыкновенный свой приступъ, который онъ всегда употреблялъ передъ начатіемъ¹ чтенія, т. е. безъ помощи носоваго платка, началъ обыкновеннымъ своимъ голосомъ такимъ образомъ:

„Просить дворянинъ миргородскаго повѣта Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ, а о чемъ, тому слѣдуютъ пункты:

„1) По ненавистой злобѣ своей и явному недоброжелательству, называющій себя дворяниномъ Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко, всякія пакости, убытки и иные ехидненскіе и въ ужасъ приводящіе поступки мнѣ чинить, и вчерашняго дня пополудни, какъ разбойникъ и тать, съ топорами, пилами, долотами и иными слесарными орудіями, забрался ночью въ мой дворъ и въ находящійся въ ономъ мой же собственный хлѣвъ, собственноручно и поноснымъ образомъ его изрубилъ, на что съ моей стороны я не подавалъ никакой причины къ столь противозаконному и разбойническому поступку.

„2) Оный же дворянинъ Перерепенко имѣетъ посягательство на самую жизнь мою, и до 7-го числа прошлаго мѣсяца, держа въ тайнѣ сіе намѣреніе, пришелъ ко мнѣ и началъ дружескимъ и хитрымъ образомъ выпрашивать у меня ружье, находившееся въ моей комнатѣ, и предлагалъ мнѣ за него, съ свойственною ему скупостью, многія негодныя вещи, какъ то: свинью бурую и двѣ мѣрки овса. Но, предугадывая тогда же

преступное его намѣреніе, я всячески старался отъ онаго уклонить его; но оный мошенникъ и подлець Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко выбрали меня мужчицкимъ образомъ и питають ко мнѣ съ того времени вражду непримиримую. Притомъ же оный, часто поминаемый, неистовый дворянинъ и разбойникъ Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко и происхожденія весьма поноснаго: его сестра была извѣстная всему свѣту потаскуха и ушла за егерскою ротою, стоявшею, назадъ тому пять лѣтъ, въ Миргородъ, а мужа своего записала въ крестьяне; отецъ и мать его тоже были пребеззаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянинъ и разбойникъ Перерепенко своими скотоподобными и порицанія достойными поступками превзошелъ всю свою родню и, подъ видомъ благочестія, дѣлаеть самыя соблазнительныя дѣла: постовъ не содержитъ, ибо наканунѣ Филиповки сей богоотступникъ купилъ барана и на другой день велѣлъ зарѣзать своей беззаконной дѣвкѣ Гапкѣ, оговариваясь, аки бы ему нужно было подъ тотъ часъ сало на каганцы и свѣчи.

„Посему прошу онаго дворянина, яко разбойника, свято-татца, мошенника, уличеннаго уже въ воровствѣ и грабительствѣ, въ кандалы заковать и въ тюрьму, или государственной острогъ препроводить и тамъ уже, по усмотрѣнію, лиша чиновъ и дворянства, добре барбарами шмаровать и въ Сибирь на каторгу по надобности заточить, проторы, убытки велѣть ему заплатить и по сему моему прошенію рѣшеніе учинить. —

„Къ сему прошенію руку приложилъ дворянинъ миргородскаго повѣта Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочхунъ“.

Какъ только секретарь кончилъ чтеніе, Иванъ Никифоровичъ взялся за шапку и поклонился¹, съ намѣреніемъ уйти.

„Куда же вы, Иванъ Никифоровичъ?“ говорилъ ему вслѣдъ судья. „Посидите немного! Выпейте чаю! Орышко! что ты стоишь, глупая дѣвка, и перемигиваешься съ канцелярскими? Ступай, принеси чаю!“

Но Иванъ Никифоровичъ, съ испугу, что такъ далеко зашелъ отъ дому и выдержалъ такой опасный карантинъ, успѣлъ уже пролѣзть въ дверь, проговоривъ: „Не безпокойтесь, я съ удовольствіемъ...“ и затворилъ ее за собою, оставивъ въ изумленіи все присутствіе.

Дѣлать было нечего. Обѣ просьбы были приняты, и дѣло готовилось принять довольно важный интересъ, какъ одно непредвидѣнное обстоятельство сообщило ему еще большую занимательность. Когда судья вышелъ изъ присутствія, въ сопровожденіи подсудка и секретаря, а канцелярскіе укладывали въ мѣшокъ нанесенныхъ просителями курь, яиць, краюхъ хлѣба, пироговъ, книшей и прочаго дразгу, въ это время бурая свинья вбѣжала въ комнату и схватила, къ удивленію присутствовавшихъ, не пирогъ или хлѣбную корку, но прошеніе Ивана Никифоровича, которое лежало на концѣ стола, перевѣсившись листами внизъ. Схвативши бумагу, бурая хавронья убѣжала такъ скоро, что ни одинъ изъ приказныхъ чиновниковъ не могъ догнать ее, не смотря на кидаемыя линейки и чернильницы.

Это чрезвычайное происшествіе произвело страшную суматоху, потому что даже копія не была еще списана съ прошенія¹. Судья, т.-е. его секретарь, и подсудокъ, долго трактовали объ² такомъ неслыханномъ обстоятельствѣ; наконецъ рѣшено было на томъ, чтобы написать объ этомъ отношеніе къ городничему, такъ какъ слѣдствіе по этому дѣлу болѣе относилось къ градской полиціи³. Отношеніе, за № 389, послано было къ нему того же дня⁴, и по этому самому произошло довольно любопытное объясненіе, о которомъ читатели могутъ узнать изъ слѣдующей главы.

Г Л А В А V,

въ которой излагается совѣщаніе двухъ почетныхъ⁵ въ Миргородѣ особъ.

Какъ только Иванъ Ивановичъ управился въ своемъ хозяйствѣ и вышелъ, по обыкновенію, полежать подъ навѣсомъ, то, къ несказанному удивленію своему, увидѣлъ что-то краснѣвшееся⁶ въ калиткѣ. Это былъ красный общлагъ городничаго, который, равномернo какъ и воротникъ его, получилъ политуру и по краямъ превращался въ лакированную кожу. Иванъ Ивановичъ подумалъ про себя: „Не дурно, что пришелъ Петръ Ѳедоровичъ поговорить,“ но очень удивился, увидя, что городничій шелъ чрезвычайно скоро и размахивалъ

руками, что случилось съ нимъ, по обыкновенію, весьма рѣдко. На мундирѣ у городничаго посажено было восемь пуговиць; девятая, какъ оторвалась во время процессіи при освященіи храма, назадъ тому два года, такъ до сихъ поръ десятскіе не могутъ отыскать, хотя городничій при ежедневныхъ рапортахъ, которые отдають ему квартальные надзиратели, всегда спрашиваетъ, нашлась ли пуговица. Эти восемь пуговиць были насажены у него такимъ образомъ, какъ бабы садятъ бобы: одна направо, другая налѣво. Лѣвая нога была у него прострѣлена въ послѣдней кампаніи, и потому онъ, прихрамывая, закидывалъ ея такъ далеко въ сторону, что разрушалъ этимъ почти весь трудъ правой нога. Чѣмъ быстрѣе дѣйствовалъ городничій своею пѣхотою, тѣмъ менѣе она подвигалась впередъ, и потому, покамѣстъ дошелъ городничій къ навѣсу, Иванъ Ивановичъ имѣлъ довольно времени теряться въ догадкахъ, отчего городничій такъ скоро размахивалъ руками. Тѣмъ болѣе это его занимало, что дѣло казалось необыкновенной важности, ибо при городничемъ была даже новая шпага.

„Здравствуйте, Петръ Ѳедоровичъ!“ вскричалъ Иванъ Ивановичъ, который, какъ уже сказано, былъ очень любопытенъ и никакъ не могъ удержать своего нетерпѣнія при видѣ, какъ городничій бралъ приступомъ крыльцо, но все еще не поднималъ глазъ своихъ вверхъ и ссорился съ своей пѣхотою, которая никакимъ образомъ не могла съ одного размаху взойти на ступеньку.

„Добраго дня желаю любезному другу и благодѣтелю Ивану Ивановичу!“ отвѣчалъ городничій.

„Милости прошу садиться. Вы, какъ я вижу, устали, потому что ваша раненая нога мѣшаетъ...“

„Моя нога!“ вскрикнулъ городничій, бросивъ на Ивана Ивановича одинъ изъ тѣхъ взглядовъ, какіе бросаетъ великанъ на пигмея, ученый педантъ на танцовальнаго учителя. При этомъ онъ вытянулъ свою ногу и топнулъ ею объ полъ. Эта храбрость, однакожь, ему дорого стоила, потому что весь корпусъ его покачнулся и носъ вкюнулъ перила¹; но мудрый блюститель порядка, чтобъ не подать никакого вида, тотчасъ оправился и полѣзъ въ карманъ, какъ будто бы съ тѣмъ, чтобы достать табакерку. — „Я вамъ доложу о себѣ, любезнѣйшій другъ и благодѣтель Иванъ Ивановичъ, что я дѣлывалъ на

вѣку своемъ не такіе походы. Да, серьезно, дѣлываль. На-примѣръ, во время кампаніи 1807 года... Ахъ, я вамъ раз-скажу, какимъ манеромъ я перелѣзъ черезъ заборъ къ одной хорошенькой нѣмкѣ“. При этомъ городничій зажмурилъ одинъ глазъ и сдѣлалъ бѣсовски-плутовскую улыбку.

„Гдѣ жъ вы бывали сегодня?“ спросилъ Иванъ Ивановичъ, желая прервать городничаго и скорѣе навести его на причину посѣщенія; ему бы очень хотѣлось спросить, что такое на-мѣренъ объявить городничій; по тонкое познаніе свѣта пред-ставляло ему всю неприличность такого вопроса, и Иванъ Ивановичъ долженъ былъ скрѣпитъ и ожидать разгадки, между тѣмъ, какъ сердце его билось съ необыкновенною силою.

„А позвольте, я вамъ расскажу, гдѣ былъ я,“ отвѣчалъ городничій. „Во-первыхъ, доложу вамъ, что сегодня отличное время...“

При послѣднихъ словахъ Иванъ Ивановичъ почти что не умеръ.

„Но позвольте“, продолжалъ городничій: „я пришелъ се-годня къ вамъ по одному важному дѣлу“. — Тутъ лицо го-родничаго и осанка приняли то же самое озабоченное поло-женіе, съ которымъ бралъ онъ приступомъ крыльцо. Иванъ Ивановичъ ожилъ и трепеталъ, какъ въ лихорадкѣ, не за-медливши, по обыкновенію своему, сдѣлать вопросъ: „Какое же оно, важное? развѣ оно важное?“

„Вотъ извольте видѣть: прежде всего осмѣлось доложить вамъ, любезный другъ и благодѣтель Иванъ Ивановичъ, что вы... съ моей стороны я, извольте видѣть, я ничего, но виды правительства, виды правительства этого требуютъ: вы нару-шили порядокъ благочинія!“

„Что это вы говорите, Петръ Ѳедоровичъ? Я ничего не понимаю“.

„Помилуйте, Иванъ Ивановичъ! какъ вы ничего не пони-маете? Ваша собственная животина утащила очень важную казенную бумагу, и вы еще говорите послѣ этого, что ничего не понимаете!“

„Какая животина?“

„Съ позволенія сказать, ваша собственная бурая свинья“.

„А я чѣмъ виноватъ? Зачѣмъ судейскій сторожъ отворяетъ двери?“

„Но, Иванъ Ивановичъ, ваше собственное животное: стало быть, вы виноваты“.

„Покорно благодарю васъ за то, что съ свиньей меня равняете.“

„Вотъ ужъ этого я не говорилъ, Иванъ Ивановичъ! Ей Богу, не говорилъ! Извольте разсудить по чистой совѣсти сами. Вамъ, безъ всякаго сомнѣнія, извѣстно, что, согласно съ видами начальства, запрещено въ городѣ, тѣмъ же паче въ главныхъ градскихъ улицахъ, прогуливаться нечистымъ животнымъ. Согласитесь сами, что это дѣло запрещенное“.

„Богъ знаетъ, чтò это вы говорите. Большая важность, что свинья вышла на улицу!“

„Позвольте вамъ доложить, позвольте, позвольте, Иванъ Ивановичъ, это совершенно невозможно. Что жъ дѣлать? Начальство хочеть — мы должны повиноваться. Не спорю, забѣгаютъ иногда на улицу и даже на площадь куры и гуси, замѣтите себѣ: куры и гуси; но свиней и козловъ я еще въ прошломъ году далъ предписаніе не впускать на публичныя площади, которое предписаніе тогда же приказалъ прочитать изустно въ собраніи, предъ цѣлымъ народомъ“.

„Нѣтъ, Петръ Ѳедоровичъ, я здѣсь ничего не вижу, какъ только то, что вы всячески стараетесь обижать меня“.

„Вотъ этого-то не можете сказать, любезнѣйшій другъ и благодѣтель, чтобы я старался обижать. Вспомните сами: я не сказалъ вамъ ни одного слова прошлый годъ, когда вы выстроили крышу цѣлымъ аршиномъ выше установленной мѣры. Напротивъ, я показалъ видъ, какъ будто совершенно этого не замѣтилъ. Вѣрите, любезнѣйшій другъ, что и теперь бы я совершенно, такъ сказать... но мой долгъ, словомъ, обязанность, требуетъ смотрѣть за чистотою. Посудите сами, когда вдругъ на главной улицѣ“...

„Ужъ хороши ваши главные улицы! Туда всякая баба идетъ выбросить то¹, чтò ей не нужно“.

„Позвольте вамъ доложить, Иванъ Ивановичъ, что вы сами обижаете меня! Правда, это случается иногда, но по большей части только подъ заборомъ, сараями, или коморами; но чтобы на главной улицѣ, на площадь втесалась супоросная свинья, это такое дѣло“...

„Что жъ такое, Петръ Ѳедоровичъ! Вѣдь свинья — твореніе божіе!“

„Согласенъ. Это всему свѣту извѣстно, что вы человекъ ученый, знаете науки и прочіе разные предметы. Конечно, я наукамъ не обучался никакимъ; скорописному письму я началъ учиться на тридцатомъ году своей жизни. Вѣдь я, какъ вамъ извѣстно, изъ рядовыхъ“.

„Гм!“ сказалъ Иванъ Ивановичъ.

„Да“, продолжалъ городничій: „въ 1801 году я находился въ 42 егерскомъ полку въ 4 ротѣ поручикомъ. Ротный командиръ у насъ былъ, если изволите знать, капитанъ Еремѣевъ“. При этомъ городничій запустилъ свои пальцы въ табакерку, которую Иванъ Ивановичъ держалъ открытою и переминалъ табакъ.

Иванъ Ивановичъ отвѣчалъ: „Гм“.

„Но мой долгъ“, продолжалъ городничій: „есть повиноваться требованіямъ правительства. Знаете ли вы, Иванъ Ивановичъ, что похитившій въ судѣ казенную бумагу подвергается, наравнѣ со всякимъ другимъ преступленіемъ, уголовному суду?“

„Такъ знаю, что, если хотите, и васъ научу. Такъ говорится о людяхъ; напримѣръ, если бы вы украли бумагу; но свинья — животное, твореніе божіе“.

„Все такъ, но законъ говоритъ: „Виновный въ похищеніи...“ Прошу васъ прислушаться внимательнѣе: *виновный!* Здѣсь не означается ни рода, ни пола, ни званія; стало быть, и животное можетъ быть виновно. Воля ваша, а животное, прежде произнесенія приговора къ наказанію, должно быть представлено въ полицію, какъ нарушитель порядка“.

„Нѣтъ, Петръ Ѳедоровичъ“, возразилъ хладнокровно Иванъ Ивановичъ: „этого-то не будетъ!“

„Какъ вы хотите, только я долженъ слѣдовать предписаніямъ начальства“.

„Что жъ вы страшаете меня? Вѣрно, хотите прислать за нею безрукаго солдата? Я прикажу дворовой бабѣ его кочергой выпроводить; ему послѣднюю руку переломать“.

„Я не смѣю съ вами спорить. Въ такомъ случаѣ, если вы не хотите представить ее въ полицію, то пользуйтесь ею, какъ вамъ угодно; заколите, когда желаете, ее къ Рождеству“.

и надѣлайте изъ нея окороковъ, или такъ съѣшьте¹. Только я бы у васъ попросилъ, если будете дѣлать колбасы, пришлите мнѣ парочку тѣхъ, которыя у васъ такъ искусно дѣлаютъ Гапка изъ свиной крови и сала. Моя Аграфенѣ Трофимовна очень ихъ любить“.

„Колбасъ, извольте, пришлю парочку“.

„Очень вамъ буду благодаренъ, любезный другъ и благодѣтель. Теперь позвольте вамъ сказать еще одно слово. Я имѣю порученіе какъ отъ судьи, такъ равно и отъ² всѣхъ нашихъ знакомыхъ, такъ сказать, примирить васъ съ пріятелемъ вашимъ, Иваномъ Никифоровичемъ“.

„Какъ! съ невѣжею! Чтобы я примирился съ этимъ грубіаномъ! Никогда! Не будетъ этого, не будетъ!“ Иванъ Ивановичъ былъ въ чрезвычайно рѣшительномъ состояніи.

„Какъ вы себѣ хотите“, отвѣчалъ городничій, угощая обѣдздрі табакомъ. „Я вамъ не смѣю совѣтовать; однакожъ позвольте доложить: вотъ вы теперь въ ссорѣ, а какъ помиритесь...“

Но Иванъ Ивановичъ началъ говорить о ловлѣ перепеловъ, что обыкновенно случалось, когда онъ хотѣлъ замаять рѣчь.

Итакъ, городничій, не получивъ никакого успѣха, долженъ былъ отправиться восвояси.

ГЛАВА VI,

изъ которой читатель легко можетъ узнать все то, что въ ней содержится.

Сколько ни старались въ судѣ скрыть дѣло, но на другой же день весь Миргородъ узналъ, что свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича. Самъ городничій первый, позабывшись, проговорился. Когда Ивану Никифоровичу сказали объ этомъ, онъ ничего не сказалъ; спросилъ только: „Не бурая ли?“

Но Агаея Федосѣвна, которая была при этомъ, начала опять приступать къ Ивану Никифоровичу: „Что ты, Иванъ Никифоровичъ? Надъ тобой будутъ смѣяться, какъ надъ дуракомъ, если ты попустишь! Какой ты послѣ этого будешь дво-

рянинъ? Ты будешь хуже бабы, что продаетъ сладёны, которыя ты такъ любишь“. И уговорила неугомонная! Нашла гдѣ-то человѣчка¹ среднихъ лѣтъ, черномазаго, съ пятнами по всему лицу, въ темно-синемъ съ заплатами на локтяхъ сюртукѣ, совершенную приказную чернильницу! Сапоги онъ смазывалъ дегтемъ, носилъ по три пера за ухомъ и привязанный къ пуговицѣ на шнурочкѣ стеклянный пузырекъ, вмѣсто чернильницы; съѣдалъ за однимъ разомъ девять пироговъ, а десятый клалъ въ карманъ, и въ одинъ гербовый листъ столько уписывалъ всякой ябеды, что никакой чтець не могъ за однимъ разомъ прочесть, не перемежая этого кашлемъ и чиханьемъ. Это небольшое подобіе человѣка копалось, корпѣло, писало и наконецъ состряпало такую бумагу:

„Въ миргородскій повѣтовый судъ отъ дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочуна.

„Вслѣдствіе онаго прошенія моего, что отъ меня, дворянина Ивана, Никифорова сына, Довгочуна, къ тому имѣло быть, совокупно съ дворяниномъ Ивановъ, Ивановымъ сыномъ, Перерепенкомъ, чему и самъ повѣтовый миргородскій судъ потворство свое изъявилъ. И самое оное нахальное самоуправство бурой свиньи, будучи въ тайнѣ содержимо и уже отъ стороннихъ людей до слуха дошедшися. Понеже оное допущеніе и потворство, яко злоумышленное, суду неукоснительно подлежать; ибо оная свинья есть животное глупое, и тѣмъ паче способное къ хищенію бумаги. Изъ чего очевидно явствуеть, что часто поминаемая свинья не иначе, какъ была подущена къ тому самимъ противникомъ, называющимъ себя дворяниномъ Ивановъ, Ивановымъ сыномъ, Перерепенкомъ, уже уличеннымъ въ разбоѣ, посягательствѣ на жизнь и святотатствѣ. Но оный миргородскій судъ, съ свойственнымъ ему лицепріятіемъ, тайное своей особы соглашеніе изъявилъ; безъ каковаго соглашенія оная свинья никоимъ бы образомъ не могла быть допущенною къ утащенію бумаги, ибо миргородскій повѣтовый судъ въ прислугѣ весьма снабженъ: для сего довольно уже назвать одного солдата, во всякое время въ пріемной пребывающаго, который, хотя имѣетъ одинъ кривой глазъ и нѣсколько поврежденную руку, но, чтобы выгнать свинью и ударить ее дубиною, имѣетъ весьма соразмѣрныя способности. Изъ чего достовѣрно видно потворство онаго

миргородскаго суда и безспорно раздѣленіе жидовскаго отъ того барыша по взаимности совмѣщаясь. Оный же вышеупомянутый разбойникъ и дворянинъ Иванъ, Ивановъ сынъ, Перерепенко въ приточеніи ошельмовавшись состоялся. Почему и довожу оному повѣтовому суду я, дворянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочунъ, въ надлежащее всевѣдѣніе, если съ оной бурой свиньи или согласившагося съ нею дворянина Перерепенка означенная просьба взыщена не будетъ и по ней рѣшеніе по справедливости и въ мою пользу не возымѣеть: то я, дворянинъ Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочунъ, о такомъ онаго суда противозаконномъ потворствѣ подать жалобу въ палату имѣю, съ надлежащимъ по формѣ перенесеніемъ дѣла —

„Дворянинъ миргородскаго повѣта Иванъ, Никифоровъ сынъ, Довгочунъ“.

Эта просьба произвела свое дѣйствіе. Судья былъ человекъ, какъ обыкновенно бываютъ всѣ добрые люди, трусливаго десятка. Онъ обратился къ секретарю. Но секретарь пустилъ сквозь губы густой „гм“ и показалъ на лицѣ своемъ ту равнодушную и дьявольски-двусмысленную мину, которую принимаетъ одинъ только сатана, когда видитъ у ногъ своихъ прибѣгающую къ нему жертву. Одно средство оставалось: примирить двухъ пріятелей. Но какъ приступить къ этому, когда всѣ покушенія были до того неуспѣшны?¹ Однакожь еще рѣшились попытаться; но Иванъ Ивановичъ напрямикъ объявилъ, что не хочетъ, и даже весьма разсердился. Иванъ Никифоровичъ, вмѣсто отвѣта, оборотился² спиною назадъ и хотъ бы слово сказалъ. Тогда процессъ пошелъ съ необыкновенною быстротою, которою обыкновенно такъ славятся судилища. Бумагу помѣтили, записали, выставили номеръ, вшили, расписались, все въ одинъ и тотъ же день, и положили дѣло³ въ шкафъ, гдѣ оно лежало, лежало, лежало годъ, другой, третій. Множество невѣсть успѣло вытти замужъ; въ Миргородѣ пробили новую улицу; у судьи выпалъ одинъ коренной зубъ и два боковыхъ; у Ивана Ивановича бѣгало по двору больше ребятишекъ, нежели прежде (откуда они взялись, Богъ одинъ знаетъ); Иванъ Никифоровичъ, въ упрекъ Ивану Ивановичу, выстроилъ новый гусинный хлѣвъ, хотя немного подальше прежняго, и совершенно застроился отъ Ивана Ивановича, такъ что сіи

достоинные люди никогда почти не видали въ лицо другъ друга; — и дѣло все лежало, въ самомъ лучшемъ порядкѣ, въ шкафу, который сдѣлался мраморнымъ отъ чернильныхъ пятенъ.

Между тѣмъ произошелъ чрезвычайно важный случай для всего Миргорода. Городничій давалъ ассамблею! Гдѣ возьму я кистей и красокъ, чтобъ изобразить разнообразіе сѣзда и великолѣпное пиршество? Возьмите часы, откройте ихъ и посмотрите, чтò тамъ дѣлается! Не правда ли, чепуха страшная? Представьте же теперь себѣ, что почти столько же, если не больше, колесъ стояло среди двора городничаго. Какихъ бричекъ и повозокъ тамъ не было! Одна — задъ широкій, а передъ узенькій; другая — задъ узенькій, а передъ широкій. Одна была и бричка, и повозка вмѣстѣ; другая ни бричка, ни повозка; иная была похожа на огромную копну сѣна или на толстую купчиху; другая — на растрепаннаго жида или на скелеть, еще не совсѣмъ освободившійся отъ кожи; иная была въ профилѣ совершенная трубка съ чубукомъ, другая была ни на чтò не похожа, представляя какое-то странное существо, совершенно безобразное и чрезвычайно фантастическое. Изъ среды этого хаоса колесъ и козелъ возвышалось подобіе кареты съ комнатнымъ окномъ, переkreщеннымъ толстымъ перешлетомъ. Кучера, въ сѣрыхъ чекменяхъ, свиткахъ и сѣрякахъ, въ бараньихъ шапкахъ и разнокалиберныхъ фуражкахъ, съ трубками въ рукахъ, проводили по двору распряженныхъ лошадей. Чтò за ассамблею далъ городничій! Позвольте, я перечту всѣхъ, которые были тамъ: Тарасъ Тарасовичъ, Евплъ Акиноевичъ, Евтихій Евтихевичъ, Иванъ Ивановичъ — не тотъ Иванъ Ивановичъ, а другой, Савва Гавриловичъ, нашъ Иванъ Ивановичъ, Елевферій Елевферевичъ, Макаръ Назарьевичъ, Ѳома Григорьевичъ... Не могу далѣе! не въ силахъ! Рука устааетъ писать! А сколько было дамъ! смуглыхъ и бѣлолицыхъ, длинныхъ и коротенькихъ, толстыхъ, какъ Иванъ Никифоровичъ, и такихъ тонкихъ, что, казалось, каждую можно было упрятать въ шпажныя ножны городничаго. Сколько чепцовъ! сколько платьевъ! красныхъ, желтыхъ, кофейныхъ, зеленыхъ, синихъ, новыхъ, перелицованныхъ, перекроенныхъ, — платковъ, лентъ, ридикюлей!¹ Прощайте, бѣдные глаза! вы никуда не будете годиться послѣ этого спектакля. А какой длинный столъ былъ вытянутъ! А какъ разговорилось все, какой шумъ подняли!

Куда противъ этого мельница со всѣми своими жерновами, колесами, шестерней, ступами! Не могу вамъ сказать навѣрно, о чемъ они говорили, но должно думать, что о многихъ приятныхъ и полезныхъ вещахъ, какъ-то: о погодѣ, о собакахъ, о пшеницѣ, о чепчикахъ, о жеребцахъ. Наконецъ, Иванъ Ивановичъ, не тотъ Иванъ Ивановичъ, а другой, у котораго одинъ глазъ кривъ, сказалъ: „Мнѣ очень странно, что правый глазъ мой (кривой Иванъ Ивановичъ всегда говорилъ о себѣ иронически) не видитъ Ивана Никифоровича г-на Довгочхуна“.

„Не хотѣлъ притти!“ сказалъ городничій.

„Какъ такъ?“

„Вотъ уже, слава Богу, есть два года, какъ поссорились они между собою, т. е. Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ, и гдѣ одинъ, туда другой ни за что не пойдетъ!“

„Что вы говорите!“ При этомъ кривой Иванъ Ивановичъ поднялъ глаза вверхъ и сложилъ руки вмѣстѣ. „Что жъ теперь, если уже люди съ добрыми глазами не живутъ въ мирѣ, гдѣ же жить мнѣ въ ладу съ кривымъ моимъ окомъ!“ На эти слова всѣ засмѣялись во весь ротъ. Всѣ очень любили криваго Ивана Ивановича за то, что онъ отпускалъ шутки совершенно во вкусъ нынѣшнему. Самъ высокій, худощавый человекъ, въ байковомъ сюртукѣ, съ пластыремъ на носу, который до того сидѣлъ въ углу и ни разу не переиѣнилъ движенія на своемъ лицѣ, даже когда залетѣла къ нему въ носъ муха, — этотъ самый господинъ всталъ съ своего мѣста и подвинулся ближе къ толпѣ, обступившей криваго Ивана Ивановича. „Послушайте!“ сказалъ кривой Иванъ Ивановичъ, когда увидѣлъ, что его окружило порядочное общество: „послушайте: вмѣсто того, что вы теперь заглядываетесь на мое кривое око, давайте, вмѣсто этого, помиримъ двухъ нашихъ друзей! Теперь Иванъ Ивановичъ разговариваетъ съ бабами и дѣвчатами, — пошлемъ потихоньку за Иваномъ Никифоровичемъ, да и столкнемъ ихъ вмѣстѣ“.

Всѣ единодушно приняли предложеніе Ивана Ивановича и положили немедленно послать къ Ивану Никифоровичу на домъ просить его, во что бы ни стало, пріѣхать къ городничему на обѣдъ. Но важный вопросъ: на кого возложить это важное порученіе? повергнувъ всѣхъ въ недоумѣніе. Долго спорили, кто способнѣе и искуснѣе въ дипломатической части; нако-

нець единодушно рѣшили возложить все это на Антона Прокофьевича Голопузя.

Но прежде нужно нѣсколько познакомить читателя съ этимъ замѣчательнымъ лицомъ. Антонъ Прокофьевичъ былъ совершенно добродѣтельный человекъ во всемъ значеніи этого слова: дать ли ему кто изъ почетныхъ людей въ Миргородѣ платокъ на шею или исподнее, — онъ благодарить; щелкнетъ ли его кто слегка въ носъ, — онъ и тогда благодарить. Если у него спрашивали: „Отчего это у васъ, Антонъ Прокофьевичъ, сюртукъ коричневый, а рукава голубые?“ то онъ обыкновенно всегда отвѣчалъ: „А у васъ и такого нѣтъ! Подождите, обносится, весь будетъ одинаковый!“ И точно, голубое сукно, отъ дѣйствія солнца, начало обращаться въ коричневое, и теперь совершенно подходитъ подъ цвѣтъ сюртука. Но вотъ что странно, что Антонъ Прокофьевичъ имѣетъ обыкновеніе суконное платье носить лѣтомъ, а нанковое — зимою. Антонъ Прокофьевичъ не имѣетъ своего дома. У него былъ прежде на концѣ города, но онъ его продалъ и на вырученные деньги купилъ тройку гнѣдыхъ лошадей и небольшую бричку, въ которой развѣзжалъ гостить по помѣщикамъ. Но такъ какъ съ лошадьми¹ было много хлопотъ и притомъ нужны были деньги на овесъ, то Антонъ Прокофьевичъ ихъ промѣнялъ на скрыпку и дворовую дѣвку, взявши придачи двадцати-пяти-рублевую бумажку. Потомъ скрыпку Антонъ Прокофьевичъ продалъ, а дѣвку промѣнялъ на сафьянный съ золотомъ кисеть², и теперь у него кисеть такой, какого ни у кого нѣтъ. За это наслажденіе онъ уже не можетъ развѣзжать по деревнямъ, а долженъ оставаться въ городѣ и ночевать въ разныхъ домахъ, особенно тѣхъ дворянъ, которые находили удовольствіе щелкать его по носу. Антонъ Прокофьевичъ любитъ хорошо поѣсть, играетъ изрядно въ дураки и мельники. Повиноваться всегда было его стихією, и потому онъ, взявши шапку и палку, немедленно отправился въ путь.

Но, идучи, сталъ разсуждать, какимъ образомъ ему подвигнуть Ивана Никифоровича притти на ассамблею. Нѣсколько крутой нравъ сего, впрочемъ, достойнаго человека дѣлалъ его предпріятіе почти невозможнымъ. Да и какъ, въ самомъ дѣлѣ, ему рѣшиться притти, когда встать съ постели уже ему стоило великаго труда? Но положимъ, что онъ встанетъ, какъ ему

притти туда, гдѣ находится, — что, безъ сомнѣнія, онъ знаетъ, — непримиримый врагъ его? Чѣмъ болѣе Антонъ Прокофьевичъ обдумывалъ, тѣмъ болѣе находилъ препятствій. День былъ душентъ; солнце жгло; потъ лился съ него градомъ. Антонъ Прокофьевичъ, не смотря на то, что его щелкали¹ по носу, былъ довольно хитрый человекъ на многія дѣла. Въ мнѣнїи только былъ онъ не такъ счастливъ. Онъ очень зналъ, когда нужно прикинуться дуракомъ, и иногда умѣлъ найтись² въ такихъ обстоятельствахъ и случаяхъ, гдѣ рѣдко умный³ бываетъ въ состоянїи извернуться.

Въ то время, какъ⁴ изобрѣтательный умъ его выдумывалъ средство, какъ убѣдить Ивана Никифоровича, и уже онъ⁵ храбро шелъ на встрѣчу всего, одно неожиданное обстоятельство нѣсколько смутило его. Не мѣшаетъ, при этомъ, сообщить читателю, что у Антона Прокофьевича были, между прочимъ, одни панталоны такого страннаго свойства, что когда онъ надѣвалъ ихъ, то всегда собаки кусали его за икры. Какъ на бѣду, въ тотъ день онъ надѣлъ именно эти панталоны, и потому, едва только онъ предался размышленіямъ, какъ страшный лай со всѣхъ сторонъ поразилъ слухъ его. Антонъ Прокофьевичъ поднялъ такой крикъ (громче его никто не умѣлъ кричать), что не только знакомая баба и обитатель неизмѣримаго сюртука выбѣжали къ нему на встрѣчу, но даже мальчишки со двора Ивана Ивановича посыпались къ нему, и хотя собаки только за одну ногу успѣли его укусить, однакожь это очень уменьшило его бодрость, и онъ съ нѣкотораго рода робостью подступалъ къ крыльцу.

ГЛАВА VII

и

послѣдняя.

„А, здравствуйте! На что вы собакъ дразните?“ сказалъ Иванъ Никифоровичъ, увидѣвши Антона Прокофьевича, потому что съ Антономъ Прокофьевичемъ никто иначе не говорилъ, какъ шутя.

„Чтобъ онѣ передохли всѣ! Кто ихъ дразнить?“ отвѣчалъ Антонъ Прокофьевичъ.

„Вы врете“.

„Ей Богу, нѣтъ! Просиль васъ Петръ Ѳедоровичъ на обѣдъ“.

„Гм!“

„Ей Богу! такъ убѣдительно просиль, что выразить не можно. „Что это, говорить, Иванъ Никифоровичъ чуждается меня, какъ непріятеля; никогда не зайдетъ поговорить, либо посидѣть“.

Иванъ Никифоровичъ погладилъ свой подбородокъ.

„Если, говорить, Иванъ Никифоровичъ и теперь не придетъ, то я не знаю, что подумать: вѣрно, онъ имѣетъ на меня какой умыселъ! Сдѣлайте милость, Антонъ Прокофьевичъ, уговорите Ивана Никифоровича!“ Что жъ, Иванъ Никифоровичъ, пойдѣмъ! Тамъ собралась теперь отличная компанія!“

Иванъ Никифоровичъ началъ разсматривать пѣтуха, который, стоя на крыльцѣ, изо всей мочи дралъ горло.

„Если бы вы знали, Иванъ Никифоровичъ“, продолжалъ усердный депутатъ: „какой осетрины, какой свѣжей икры прислали Петру Ѳедоровичу!“

При этомъ Иванъ Никифоровичъ поворотилъ свою голову и началъ внимательно прислушиваться.

Это ободрило депутата. „Пойдемте скорѣе: тамъ и Ѳома Григорьевичъ! Что жъ вы?“ прибавилъ онъ, видя, что Иванъ Никифоровичъ лежалъ все въ одинаковомъ положеніи: „что жъ? идемъ, или неидемъ?“

„Не хочу.“

Это „не хочу“ поразило Антона Прокофьевича: онъ уже думалъ, что убѣдительное представленіе его совершенно склонило этого, впрочемъ, достойнаго человѣка; но вмѣсто того услышалъ рѣшительное: „не хочу“.

„Отчего же не хотите вы?“ спросилъ онъ почти съ досадою, которая показывалась у него чрезвычайно рѣдко, даже тогда, когда клали ему на голову зажженую бумагу, чѣмъ особенно любили себя тѣшить судья и городничій.

Иванъ Никифоровичъ понохалъ табаку.

„Воля ваша, Иванъ Никифоровичъ, я не знаю, что васъ удерживаетъ“.

„Чего я пойду?“ проговорилъ наконецъ Иванъ Никифоровичъ: „тамъ будетъ разбойникъ!“ Такъ онъ называлъ обыкновенно Ивана Ивановича. Боже праведный! А давно ли...

„Ей Богу, не будетъ! Вотъ какъ Богъ святъ, что не будетъ! Чтобъ меня на самомъ этомъ мѣстѣ громомъ убило!“ отвѣчалъ Антонъ Прокофьевичъ, который готовъ былъ божиться десять разъ на одинъ часъ. „Пойдемте же, Иванъ Никифоровичъ!“

„Да вы врете, Антонъ Прокофьевичъ, онъ тамъ?“

„Ей Богу, ей Богу, нѣтъ! Чтобы я не сошелъ съ этого мѣста, если онъ тамъ! Да и сами посудите, съ какой стати мнѣ лгать! Чтобы мнѣ руки и ноги отсохли!... Чтò, и теперь не вѣрите? Чтобы я околѣлъ тутъ же передъ вами! Чтобы ни отцу, ни матери моей, ни мнѣ не видать царствія небеснаго! Еще не вѣрите?“

Иванъ Никифоровичъ этими увѣреніями совершенно успокоился и велѣлъ своему камердинеру, въ безграничномъ скортукѣ, принести шаровары и нанковый казакинъ.

Я полагаю, что описывать, какимъ образомъ Иванъ Никифоровичъ надѣвалъ шаровары, какъ ему намотали галстухъ и наконецъ надѣли казакинъ, который подъ лѣвымъ рукавомъ лопнулъ, совершенно излишне. Довольно, что онъ во все это время сохранялъ приличное спокойствіе и не отвѣчалъ ни слова на предложенія Антона Прокофьевича — что-нибудь промѣнать на его турецкій кисеть.

Между тѣмъ собраніе съ нетерпѣніемъ ожидало рѣшительной минуты, когда явится Иванъ Никифоровичъ, и исполнится наконецъ всеобщее желаніе, чтобы сіи достойные люди примирились между собою. Многіе были почти увѣрены, что не придетъ Иванъ Никифоровичъ. Городничій даже бился объ закладъ съ кривымъ Иваномъ Ивановичемъ, что не придетъ; но разошелся только потому, что кривой Иванъ Ивановичъ требовалъ, чтобы тотъ поставилъ въ закладъ подстрѣленную свою ногу, а онъ кривое око, — чѣмъ городничій очень обидѣлся, а компанія потихоньку смѣялась. Никто еще не садился за столъ, хотя давно уже былъ второй часъ, — время, въ которое въ Миргородѣ, даже въ парадныхъ случаяхъ, давно уже обѣдаютъ.

Едва только Антонъ Прокофьевичъ появился въ дверяхъ, какъ въ то же мгновеніе былъ обступленъ всѣми. Антонъ Прокофьевичъ на всѣ вопросы закричалъ однимъ рѣшительнымъ словомъ: „Не будетъ!“ Едва только онъ это произнесъ, и уже¹ градъ выговоровъ, браней, а можетъ быть, и щелчковъ

готовился посыпаться на его голову за неудачу посольства, какъ вдругъ дверь отворилась и — вошелъ Иванъ Никифоровичъ.

Если бы показался самъ сатана или мертвецъ, то они бы не произвели такого изумленія во всемъ обществѣ¹, въ какое повергнулъ его неожиданный приходъ Ивана Никифоровича. А Антонъ Прокофьевичъ только заливался, ухватившись за бока, отъ радости, что такъ подшутить надъ всею компаніею.

Какъ бы то ни было, только это было почти невѣроятно для всѣхъ, чтобы Иванъ Никифоровичъ въ такое короткое время могъ одѣться, какъ прилично дворянину. Ивана Ивановича въ это время не было: онъ зачѣмъ-то вышелъ. Очнувшись отъ изумленія, вся публика приняла участіе въ здоровьѣ² Ивана Никифоровича и изъявила удовольствіе, что онъ раздался въ толщину. Иванъ Никифоровичъ дѣловался со всякимъ и говорилъ: „Очень одолженъ“.

Между тѣмъ запахъ борща понесся чрезъ комнату и пощекоталъ приятно ноздри проголодавшимся гостямъ. Всѣ повалили въ столовую. Вереница дамъ говорливыхъ и молчаливыхъ, тощихъ и толстыхъ, потянулась впередъ, и длинный столъ зарябѣлъ всѣми цвѣтами. Не стану описывать кушаньевъ, какія были за столомъ! Ничего не упомяну ни о мнишкахъ въ сметанѣ, ни объ утрибкѣ, которую подавали къ борщу, ни объ индѣйкѣ съ сливами и изюмомъ, ни о томъ кушаньѣ, которое очень походило видомъ на сапоги, намоченные въ квасѣ, ни о томъ соусѣ, который есть лебединая пѣснь стариннаго повара, о томъ соусѣ, который подавался обхваченный весь виннымъ пламенемъ, что очень забавляло и вмѣстѣ пугало дамъ. Не стану говорить объ этихъ кушаньяхъ, потому что мнѣ гораздо болѣе нравится ѣсть ихъ, нежели распространяться объ нихъ въ разговорахъ.

Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная съ хрѣномъ. Онъ особенно занялся этимъ полезнымъ и питательнымъ упражненіемъ. Выбирая самыя тонкія рыбы косточки, онъ клалъ ихъ на тарелку³ и какъ-то нечаянно взглянулъ насупротивъ: Творецъ небесный! какъ это было странно! Противъ него сидѣлъ Иванъ Никифоровичъ.

Въ одно и то же время⁴ взглянулъ и Иванъ Никифоровичъ!... Нѣтъ!... не могу!... Дайте мнѣ другое перо! Перо мое вало, мертво, съ тонкимъ расцепомъ для этой картины! Лица ихъ

съ отразившимся изумленіемъ сдѣлались какъ бы окаменѣлыми. Каждый изъ нихъ увидѣлъ лицо давно знакомое, къ которому, казалось бы, невольно готовъ подойти, какъ къ пріятелю неожиданному¹, и поднести рожокъ, съ словомъ: „одолжайтесь“, или: „смѣю ли просить объ одолженіи“; но вмѣстѣ съ этимъ то же самое лицо было страшно, какъ нехорошее предзнаменованіе! Потъ катился градомъ у Ивана Ивановича и у Ивана Никифоровича.

Присутствующіе, всё, сколько ихъ ни было за столомъ, онѣмѣли отъ вниманія и не отрывали глазъ отъ нѣкогда бывшихъ друзей. Дамы, которыя до того времени были заняты довольно интереснымъ разговоромъ о томъ, какимъ образомъ дѣлаются каплуны, вдругъ прервали разговоръ. Все стихло! Это была картина, достойная кисти великаго художника!

Наконецъ, Иванъ Ивановичъ вынулъ носовой платокъ и началъ сморкаться, а Иванъ Никифоровичъ осмотрѣлся вокругъ и остановилъ глаза на растворенной двери. Городничій тотчасъ замѣтилъ это движеніе и велѣлъ затворить дверь покрѣпче. Тогда каждый изъ друзей началъ кушать, и уже ни разу не взглянули они² другъ на друга.

Какъ только кончился обѣдъ, оба прежніе пріатели схватились съ мѣстъ и начали искать шапокъ, чтобы улизнуть. Тогда городничій мигнулъ, и Иванъ Ивановичъ — не тотъ Иванъ Ивановичъ, а другой, чтó съ кривымъ глазомъ, — сталъ за спиною Ивана Никифоровича, а городничій зашелъ за спину³ Ивана Ивановича, и оба начали подталкивать ихъ сзади, чтобы спихнуть ихъ вмѣстѣ и не выпускать до тѣхъ поръ, пока не подадутъ рукъ. Иванъ Ивановичъ, чтó съ кривымъ глазомъ, натолкнулъ Ивана Никифоровича, хотя и нѣсколько косо, однакожь довольно еще удачно, въ то мѣсто⁴, гдѣ стоялъ Иванъ Ивановичъ; но городничій сдѣлалъ дирекцію слишкомъ въ сторону, потому что онъ никакъ не могъ управиться съ своевольною пѣхотою, не слушавшею на тотъ разъ никакой команды, и какъ на зло закидывавшею чрезвычайно далеко и совершенно въ противную сторону (чтó, можетъ, происходило оттого, что за столомъ было чрезвычайно много разныхъ напитков), такъ что Иванъ Ивановичъ упалъ на даму въ красномъ платѣ, которая, изъ любопытства, просунулась въ самую середину⁵. Такое предзнаменованіе не предвѣщало ничего

добраго. Однакожь судья, чтобъ поправить это дѣло, занялъ мѣсто городничаго и, потянувши носомъ съ верхней губы весь табакъ, отпихнулъ Ивана Ивановича въ другую сторону. Въ Миргородѣ это обыкновенный способъ примиренія; онъ нѣсколько похожъ на игру въ мячикъ. Какъ только судья пихнулъ Ивана Ивановича, Иванъ Ивановичъ, съ кривымъ глазомъ, уперся всею силою и пихнулъ Ивана Никифоровича, съ котораго потъ валился, какъ дождевая вода съ крыши. Не смотря на то, что оба пріятеля весьма упирались, они все-таки¹ были столкнуты, потому что обѣ дѣйствовавшія стороны получили значительное подкрѣпленіе со стороны другихъ гостей.

Тогда обступили ихъ со всѣхъ сторонъ тѣсно и не вынуждали до тѣхъ поръ, пока они не рѣшились подать другъ другу руки. „Богъ съ вами, Иванъ Никифоровичъ и Иванъ Ивановичъ! Скажите по совѣсти: за что вы поссорились? Не по пустякамъ ли? Не совѣстно ли вамъ передъ людьми и передъ Богомъ!“

„Я не знаю“, сказалъ Иванъ Никифоровичъ, пыхтя отъ усталости (замѣтно было, что онъ былъ весьма не прочь отъ примиренія): „я не знаю, что я такое сдѣлалъ Ивану Ивановичу; за что же онъ порубилъ мой хлѣвъ и замышлялъ погубить меня?“

„Не повиненъ ни въ какомъ зломъ умыслѣ“, говорилъ Иванъ Ивановичъ, не обращая глазъ на Ивана Никифоровича. „Клянусь и предъ Богомъ, и передъ вами, почтенное дворянство, я ничего не сдѣлалъ моему врагу. За что же онъ меня поноситъ и наноситъ вредъ моему чину и званію?“

„Какой же я вамъ, Иванъ Ивановичъ, нанесъ вредъ?“ сказалъ Иванъ Никифоровичъ. Еще одна минута объясненія — и давнишняя вражда готова была погаснуть. Уже Иванъ Никифоровичъ полѣзъ въ карманъ, чтобы достать рожокъ и сказать: „одолжайтесь“.

„Развѣ это не вредъ“, отвѣчала Иванъ Ивановичъ, не подымая глазъ: „когда вы, милостивый государь, оскорбили мой чинъ и фамилію такимъ словомъ, которое неприлично здѣсь сказать?“

„Позвольте вамъ сказать подружески, Иванъ Ивановичъ!“ (при этомъ Иванъ Никифоровичъ дотронулся пальцемъ до пу-

говицы Ивана Ивановича, что означало совершенное его расположение): „вы обидѣлись, чортъ знаетъ за что такое¹: за то, что я васъ назвалъ *усякомъ*...“

Иванъ Никифоровичъ спохватился, что сдѣлать неосторожность, произнесши это слово; но уже было поздно: слово было произнесено. Все пошло къ чорту! Когда, при произнесении этого слова безъ свидѣтелей, Иванъ Ивановичъ вышелъ изъ себя и пришелъ въ такой гнѣвъ, въ какомъ не дай Богъ видѣть² человѣка, — что жъ теперь, посудите, любезные читатели, что теперь, когда это убійственное слово произнесено было въ собраніи, въ которомъ находилось множество дамъ, передъ которыми Иванъ Ивановичъ любилъ быть особенно приличнымъ? Поступи Иванъ Никифоровичъ не такимъ образомъ, скажи онъ *птица*, а не *усякъ*, еще бы можно было поправить. Но — все кончено!

Онъ бросилъ на Ивана Никифоровича взглядъ — и какой взглядъ! Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то онъ обратилъ бы въ прахъ Ивана Никифоровича. Гости поняли этотъ взглядъ и поспѣшили сами разлучить ихъ. И этотъ человѣкъ, образецъ кротости, который ни одну нищую не пропускалъ, чтобъ не разспросить ее, выбѣжалъ въ ужасномъ бѣшенствѣ. Такія сильныя бури производятъ страсти!

Цѣлый мѣсяць ничего не было слышно объ Иванѣ Ивановичѣ. Онъ заперся въ своемъ домѣ. Завѣтный сундукъ былъ отпертъ, изъ сундука были вынуты — что же? карбованцы! старые, дѣдовскіе карбованцы! И эти карбованцы перешли въ запачканныя руки чернильныхъ дѣльцовъ. Дѣло было перенесено въ палату. И когда получилъ Иванъ Ивановичъ радостное извѣстіе, что завтра рѣшится оно, тогда только взглянулъ на свѣтъ и рѣшился выйти изъ дому. Увы! съ того времени палата извѣщала ежедневно, что дѣло кончится завтра, въ продолженіе десяти лѣтъ.

Назадъ тому лѣтъ пять я проѣзжалъ чрезъ городъ Миргородъ. Я ѣхалъ въ дурное время. Тогда стояла осень съ своею грустно-сырою погодою, грязью и туманомъ. Какая-то ненатуральная зелень, — твореніе скучныхъ, непрерывныхъ дождей, — покрывала жидкою сѣтью поля и нивы, къ которымъ

она такъ пристала, какъ шалости старику, розы — старухѣ. На меня тогда сильное вліяніе производила погода: я скучалъ, когда она была скучна. Но, не смотря на то, когда я сталъ подъѣзжать къ Миргороду, то почувствовалъ, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаній! Я двѣнадцатъ лѣтъ не видалъ Миргорода. Здѣсь жили тогда въ трогательной дружбѣ два единственные человѣка¹, два единственные друга. А сколько вымерло знаменитыхъ людей! Судья Демьянъ Демьяновичъ уже тогда былъ покойникомъ; Иванъ Ивановичъ, чтò съ кривымъ глазомъ, тоже приказалъ долго жить. Я вѣхалъ въ главную улицу: вездѣ стояли шести съ привязаннымъ вверху пухомъ соломы: производилась какая-то новая планировка! Нѣсколько избъ было снесено. Остатки заборовъ и плетней торчали уныло.

День былъ тогда праздничный; я приказалъ рогоженную кибитку свою остановить передъ церковью и вошелъ такъ тихо, что никто не обратился. Правда, и некому было: церковь была пуста; народу почти никого; видно было, что и самые богомольные побоялись грязи. Свѣчи, при пасмурномъ, лучше сказать, больномъ днѣ, какъ-то были странно неприяты; темные притворы были печальны; продолговатыя окна, съ круглыми стеклами, обливались дождливыми слезами. Я отошелъ въ притворъ и оборотился къ одному почтенному старику съ посѣдѣвшими волосами: „Позвольте узнать, живъ ли Иванъ Никифоровичъ?“ Въ это время лампада вспыхнула живѣе передъ² иконою, и свѣтъ прямо ударился въ лицо моего со-сѣда. Какъ же я удивился, когда, разсматривая, увидѣлъ черты знакомя! Это былъ самъ Иванъ Никифоровичъ! Но какъ измѣнился!

„Здоровы ли вы, Иванъ Никифоровичъ? Какъ же вы постарѣли!“

„Да, постарѣлъ. Я сегодня изъ Полтавы“, отвѣчалъ Иванъ Никифоровичъ.

„Чтò вы говорите! Вы ѣздили въ Полтаву въ такую дурную погоду?“

„Что жъ дѣлать! Тяжба...“

При этомъ я невольно вздохнулъ.

Иванъ Никифоровичъ замѣтилъ этотъ вздохъ и сказалъ:

„Не безпокойтесь: я имѣю вѣрное извѣстіе, что дѣло рѣшится на слѣдующей недѣлѣ, и въ мою пользу“.

Я пожалъ плечами и пошелъ узнать что-нибудь объ Иванѣ Ивановичѣ.

„Иванъ Ивановичъ здѣсь!“ сказалъ мнѣ кто-то: „онъ на клиросѣ“¹.

Я увидѣлъ тогда тощую фигуру. Это ли Иванъ Ивановичъ? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно бѣлые; но бекеша была все та же. Послѣ первыхъ привѣтствій, Иванъ Ивановичъ, обратившись ко мнѣ съ веселою улыбкою, которая такъ всегда шла къ его воронкообразному лицу, сказалъ: „Увѣдомить ли васъ о пріятной новости?“

„О какой новости?“ спросилъ я.

„Завтра непременно рѣшится мое дѣло; палата сказала навѣрное“.

Я вздохнулъ еще глубже и поскорѣе поспѣшилъ проститься, — потому что я ѣхалъ по весьма важному дѣлу, — и сѣлъ въ кибитку.

Тоція лошади, извѣстныя въ Миргородѣ подъ именемъ курьерскихъ, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися въ сѣрую массу грязи, непріятный для слуха звукъ. Дождь лилъ ливнемъ на жида, сидѣвшаго на козлахъ и накрывшагося рогожкой. Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава съ будкою, въ которой инвалидъ чинилъ сѣрые доспѣхи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, мѣстами изрытое, черное, мѣстами зеленѣющее, мокрая галки и вороны, однообразный дождь, слезливое безъ просвѣту небо. — Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!



ПРИЛОЖЕНІЕ.

Тарасъ Бульба.

(Главы одной изъ позднѣйшихъ редакцій.)

V.

Скоро весь польскій югозападъ сдѣлался добычею страха. Что-то оцѣпняющее было слышно въ сихъ слухахъ: „показались запорожцы!..“ И все, что могло, спасалось въ сей нестройный и вмѣстѣ съ тѣмъ изумитель[но]¹ безопасный вѣкъ, когда деревни и города южной Россіи, безъ замковъ, крѣпостей, были выстроены большею частію на пепелищахъ прежнихъ, гдѣ уже не разъ проходили неожиданныя татарскія опустошенія; что могло вооружиться, вооружалось, мѣняя наскоро плугъ и пару воловъ на коня и ружье и обращаясь такимъ образомъ вдругъ изъ селянина въ воина. Кто прятался, угоняя скотъ и унося, что могло только быть унесено. Кое-гдѣ рѣшались встрѣтить вооруженною рукою гостей, но предвѣщательный² страхъ заранѣе уже вмѣщался³ въ отважнѣйшія души. Всѣ знали, что трудно имѣть дѣло съ этой закаленной вѣчною бранью толпой, извѣстной подъ именемъ запорожскаго войска, обдуманно устроенной въ самой своевольной своей нестройности. Вся громада неслась во всю прыть на легкихъ коняхъ своихъ и шла пѣшая скоро, но осторожно по ночамъ, отдыхая только днемъ и выбирая для роздыховъ своихъ лѣса и уединенныя пустопорожня, даже не засѣянные пространства, оставленные на произволь мѣста, каковыхъ было тогда не мало. Осторожно были засыланы впередъ лазутчики, и разсыльные узнавали и вывѣдывали: и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ менѣе всего могли ожидать ихъ, тамъ они появлялись вдругъ, и ничто не могло противиться ихъ какой-то азіатской стремительности.

Пожары обхватывали деревни; скоть и лошади, которые не угонялись за войскомъ, были избиваемы тутъ же на мѣстѣ Грабя и разрушая, разгульное войско скорѣе пировало, чѣмъ совершало походъ свой. Запорожцы оставили вездѣ свирѣпыя, ужасающіе знаки своихъ злодѣйствъ, какіе могли явиться въ сей полудикій вѣкъ: отрѣзывали груди у женщинъ, избивали ребенокъ, „иныхъ“, выражаясь своимъ языкомъ, „они пускали въ красныхъ чулкахъ и перчаткахъ“, то есть, сдирали кожу съ ногъ по колѣни или на рукахъ по кисть. Казалось, хотѣли они весь выплатить долгъ тою же самою монетою, если даже не съ процентами. Прелать одного монастыря, услышавъ о приближеніи запорожцевъ, устрешенный прислалъ отъ себя двухъ монаховъ съ представленіемъ, что между запорожцами и правительствомъ существуетъ согласіе и что они явно нарушаютъ свою обязанность къ королю, а вмѣстѣ съ тѣмъ народныя права. „Скажи епископу отъ лица всѣхъ запорожцевъ“, сказалъ кошевой, „чтобы онъ ничего не боялся. Это козаки еще только зажигаютъ и закуриваютъ свои трубки“. И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительнымъ пламенемъ и колоссальныя готическія окна его сурово глядѣли сквозь раздѣлявшіяся волны огня. Бѣгущія толпы монаховъ (воиновъ), жидовъ, женщинъ вдругъ наполнили многіе города, сколько нибудь приведенные въ безопасность, и разомъ многолюдия ихъ. Кое-гдѣ собравшіяся польскія ополченія и высланная правительствомъ запоздалая помощь состояла изъ небольшихъ полковъ, или не могла найти ихъ: она, вдругъ встрѣтившись съ такою сокрушительною массою, не осмѣливалась сдѣлать нападеніе, обращала тылъ и улетала на лихихъ коняхъ своихъ. Нѣкоторые, однакожь, полки соединились и движимые браннымъ духомъ военачальниковъ, торжествовавшихъ не разъ въ побѣдахъ, рѣшились сдѣлать отпоръ; но запорожцы показали, что они не только страшны своими внезапными и неожиданными нападеніями и набѣгами, но и на открытомъ полѣ грудь противъ груди. Здѣсь болѣе всего рвенія оказали молодые, еще въ первый разъ попробовавшіе битвы, пренебрегавшіе грабительствомъ и безсиліемъ незащищеннаго непріятеля и старавшіе желаніемъ показать себя передъ старыми, помѣряться одинъ на одинъ съ бойкимъ и хватливымъ ляхомъ, красовавшимся на (его) горделивомъ конѣ,

съ (цвѣтными) летавшими по вѣтру откидными рукавами епанчи, съ цѣлой оружейной лавкой, привязанной къ сѣдлу вмѣстѣ съ баклагой, дорожной посудой и множествомъ бесполезныхъ вещей. И козакъ, сдѣлавшись владѣльцемъ всѣхъ (вещей сихъ) такихъ доспѣховъ, выбиралъ каждый по лучшей саблѣ и пистолету, а остальное взваливалось на телѣги, (потому ч) ибо не въ обычаѣ было у запорожцевъ, какъ видно было уже выше, вооружаться многими оружіемъ. Въ нѣсколько какихъ-нибудь недѣлей возмужали и совершенно переродились только-что оперившіеся птенцы наши и стали мужами. Это было почти чудо. И самыя черты лица ихъ, въ которыхъ доселѣ все еще видна была какая-то мягкость, стали грозны и получили какую-то яркую рѣзкость. Не безъ малой радости видѣлъ старый Тарасъ, какъ сыны его были одни изъ первыхъ. Осталъ, казалось, былъ созданъ для битвенной жизни, что[бы]¹ разрѣшать ратныя дѣла. Не растерявшись, не смутясь ни въ какомъ случаѣ, съ неотуманенными глазами, хладнокровіемъ неестественнымъ для двадцатидвухлѣтняго юноши, онъ всегда измѣрялъ опасность и ясное положеніе всего дѣла и находилъ средства уклониться отъ нея для того, чтобы вознестись надъ нею и потомъ вѣрнѣе одолѣть ее. Уже испытанной увѣренностью означались его движенія и виденъ былъ въ нихъ умъ и склонности вождя. Что-то атлетическое зрѣлось во всей его фигурѣ и доблія качества его получили широкій размѣръ качествъ льва. Андрій же, какъ только слышалъ литавры, весь погружался въ очаровательную музыку пулъ и мечей. Бѣшеную нѣгу и упоенье онъ видѣлъ въ ней; что-то пиршественное ему зрѣлось въ тѣ страшныя минуты, когда при общемъ² крикѣ разгоралась голова у человѣка, въ глазахъ мелькають огни, летаютъ головы, валятся съ коней, свищутъ пули³ и сверкають лезвья, и весь летишь въ собственномъ жару, какъ пьяный, сыпля и нанося убійственные удары и язвы и не чуя самъ никакихъ язвъ, ни даже смертельныхъ, или ударовъ, которые дождемъ валятся на тебя. И не разъ дивился старый Тарасъ, видя, какъ Андрій, одною только своею стремительностью и запальчивымъ увлеченіемъ, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился имѣющій скольконибудь (благоразумной осмотритель⁴) способность еоображать⁵ и осмотрительно обдумывать, и какъ однимъ бѣшенымъ натискомъ

своимъ онъ производилъ и совершалъ ихъ на изумленіе. Дивился старый Тарасъ и говорилъ: „И это добрый — врагъ бы не взялъ его! — вояка; не Остапъ, а добрый, тоже добрый, также вояка“.

Ободренные успѣхами запорожцы, по приговору кошеваго и всѣхъ куренныхъ атамановъ, рѣшили итти на городъ Дубно, гдѣ, носились слухи, хранилось не мало казны богатыхъ обывателей, а ополченія одинъ гарнизонъ, да небольшой отрядъ короннаго войска. Въ полтора дни походъ былъ сдѣланъ, и запорожцы показались передъ городомъ. Жители рѣшились защищаться до послѣднихъ силъ и крайности и лучше хотѣли умереть на площадяхъ и улицахъ (своихъ) передъ своими порогами, чѣмъ пустить непріятели въ дома. Высокій земляной валъ окружалъ городъ; гдѣ валъ былъ ниже, тамъ высывалась каменная стѣна или домъ, служившій батареей, или, наконецъ, дубовый частоколь. Гарнизонъ былъ силенъ и чувствовалъ важность своего дѣла. Запорожцы жарко полѣзли было на валъ, но были встрѣчены сильною картечью. Мѣщане и городскіе обыватели не хотѣли также быть праздными и высыпали на городской валъ; между ними видны были и женскія головы. Въ глазахъ ихъ можно было, казалось, читать отчаянное сопротивленіе. Даже женщины рѣшились участвовать — и на головы запорожцамъ полетѣли: камни, бочки, горшки, горячій варъ и, наконецъ, мѣшки песку, слѣпившаго очи. Запорожцы вообще не любили имѣть дѣло съ крѣпостями; вести осады была не ихъ часть. Повелѣвъ отступить, кошевой кричалъ имъ снизу: „Отворяйте, пускайте въ ворота, чортовы дѣти!“ Въ отвѣтъ на это вновь сыпалась картечь и все, чтó только могъ первое захватить въ руки городской обыватель. „Такъ передохнете же вы всѣ, поганые, нечистые католики!“ сказалъ кошевой; и запорожцы, оставивъ осаду, облегли только со всѣхъ сторонъ, рѣшась никого не выпустить изъ воротъ. Тутъ же, по обычаю своему, занялись они опустошеньемъ окрестностей, выжигая окружныя деревни, скирды неубраннаго ими хлѣба и пуская табуны коней въ нивы, еще не успѣвшія¹ срѣзаться серпомъ, гдѣ на диво возносились колосья, произведенныя необыкновеннымъ урожаемъ, наградившимъ въ тотъ годъ щедро всѣхъ земледѣльцевъ. Съ ужасомъ видѣли² города, какъ истреблялись средства

ихъ существованія. Запорожцы вытянули только въ два ряда свои телѣги, расположились также, какъ и на Сѣчѣ, куренями, обратя въ лагерь тѣ же телѣги; курили свои люльки, жѣнялись добытыми оружьями, играли въ чехарду, въ чотъ и нещотъ и посматривали съ убійственнымъ хладнокровіемъ на городъ...

Ночью зажигались костры. Кашевары варили въ каждомъ куренѣ кашу въ огромныхъ мѣдныхъ казанахъ. У горѣвшихъ всю ночь огней стояла бессонная стража. Запорожцы начинали уже скучать бездѣйствіемъ, стали понемногу обращаться¹ къ своему безпечному характеру. Кошевой велѣлъ удвоить даже порцію вина, чтò случалось всегда, когда не настояло никакихъ трудныхъ подвиговъ и движенія. Молодымъ, и особенно сынамъ Тараса Бульбы, не правилась такая жизнь. Андрій замѣтно скучалъ. „Неразумная голова!“ говорилъ ему Тарасъ: „терпи козакъ, атаманъ будешь. Не тотъ еще добрый воинъ, кто дернулъ, шмыгнулъ того, другаго, да и назадъ; а тотъ добрый воинъ, кто, хоть что ему ни дѣлай, а онъ все-таки поставитъ на своемъ“². Но двадцатилѣтняя пылкая натура юноши не могла понять холоднаго старца. Сонъ бѣжалъ отъ очей, и часто онъ бодрствовалъ одинъ въ наставшія чудныя іюльскія ночи, когда все спало, когда сами стражи, привыкшіе къ тишинѣ, погружались въ сонъ.

Одинъ разъ, какъ-то болѣе, нежели когда-либо, сонъ исчезалъ отъ него, и сердцу становилось душно. Ночь была чудесна. Теплый воздухъ обнималъ страну, которая назначена была быть добычею опустошенія. На небѣ мелькали своимъ тонкимъ и острымъ блескомъ звѣзды. Поле далеко было занято раскиданными по немъ телѣгами съ привѣшанными мазницами, облитыми дегтемъ, нагроможденные добытымъ и своимъ нровіантомъ, мѣшками муки и проса, запасомъ (ружей) оружья, боченками съ порохомъ и множествомъ другимъ подобнымъ. Возлѣ телѣгъ, на телѣгахъ и далеко подалѣ отъ телѣгъ, вездѣ были видны разметавшіеся на травѣ запорожцы. Они всѣ лежали въ какихъ-то раздольныхъ, живописныхъ положеніяхъ, кто подмостивъ себѣ въ голову куль или шапку, или, наконецъ,³ употребивши (бросивши) для этого бокъ своего товарища. Сабля, винтовка, съ коротенькимъ чубукомъ трубка съ желѣзными гвоздями и другими побрякушками, лежали почти

воплѣ cadaго. Тяжелыя вола лежали, подвернувши подъ себя ноги, большими бѣловатыми массами между телѣгами и, наконецъ, видѣлись¹ уже одни, раскиданные далеко по полю и утоптаннѣмъ нивамъ, походя на какіе-то² бѣловатыя камни, разбросанные по землѣ. Сильное хралѣніе и свистъ всего спящаго воинства производило какой-то глухой шумъ, который ярко покрывался звонкимъ ржаньемъ какого-нибудь горячаго жеребца, негодующаго на свои спутанныя ноги. Но къ чудной красотѣ и нѣгѣ іюльской ночи, соединенной съ спокойствіемъ, примѣшалось что-то величественно-грозное и это величественно-грозное представляли дальнія окрестности: вблизи и вдали видны были кое-гдѣ догоравшія зарева деревень. Въ одномъ мѣстѣ видно было, какъ пламя спокойно и величественно стлалось по небу; въ другомъ мѣстѣ оно, встрѣтивъ что-то горючее и вдругъ вырвавшись вихремъ, свистѣло и летѣло вверхъ подъ самыя звѣзды, и оторванные охлопья его гаснули подъ самыми дальними небесами. Въ одномъ мѣстѣ обгорѣлый черный монастырь, какъ суровый картезіанскій монахъ, стоялъ грозно, выказывая при каждомъ отблескѣ мрачное свое величіе. Въ другомъ мѣстѣ горѣло новое зданіе, потопленное въ садахъ. Казалось, слышно было, какъ деревья шипѣли, обвиваясь дымомъ, и когда проскакивала сквозь нихъ лава огня и (какъ будто) тогда какъ будто видѣлись желтенькими точками груши, принимавшія цвѣтъ червоннаго золота. Казалось, видны были даже тяжелыя гроздія сливъ, обвѣсившихъ вѣтви, получившія фосфорическій лилово-огненный цвѣтъ³. И среди этого, тутъ же чернѣло висѣвшее на стѣнѣ зданія или на древесномъ суку тѣло бѣднаго жиды или монаха, погибавшее вмѣстѣ съ строеніемъ въ огнѣ. Надъ нимъ вились вдали птицы, казавшіяся кучею темныхъ мелкихъ крапинокъ (едва) въ видѣ едва замѣтныхъ мелкихъ крестиковъ на огненномъ полѣ. Обложенный⁴ городъ, казалось, уснулъ на одномъ концѣ горизонта, съ выходящими кое-гдѣ остріями шпировъ изъ землянаго вала, иногда вдругъ легко зарумянясь и вспыхнувъ отблескомъ отдаленныхъ пожарницъ. (Мѣстами терялось поле. На другихъ концахъ горизонта, гдѣ являлось одно только открытое поле).

Онъ долго ходилъ вдали, обошелъ все разсыпавшееся...⁵ Давно уже всѣ спали. Даже огни сторожей почти готовились

погаснуть и (кое-гдѣ пламень) только отдаленными огнями пожарищъ то тамъ, то тамъ слабо (вспыхивали) освѣщались: усастая и чубатая голова запорожца, кусокъ красной епанчи, спина¹ жевавшаго вѣчную свою жвачку вола². Наконецъ, подошелъ онъ къ одному изъ воевъ, расположился на немъ и легъ на спину, подложивши себѣ подъ голову сложенные назадъ руки. И долго глядѣлъ онъ³ на небо, какъ бы утомленный отъ всего того, что (глядѣ) видѣлъ на землѣ. Оно все было надъ нимъ съ своими безчисленными звѣздами. Какая-то особенная чистота и прозрачность видна была въ воздухѣ. Густина звѣздъ, составлявшая млечный путь, своимъ косвеннымъ поясомъ (брошенная) переходившая небо, вся была залита въ свѣту. Глядя на эту чудную ясность тверди, онъ иногда минуты на двѣ забывался; какой-то легкій туманъ дремоты заслонялъ на мигъ предъ нимъ небо, и потомъ оно опять (становилось видно, оно) очищалось и вновь становилось видно. Въ это время ему показалось, какъ будто мелькнулъ предъ нимъ какой-то странный образъ человѣческаго лица. Думая, что это обаяніе сна и сейчасъ же разсѣется, онъ вперилъ сильнѣе, раскрылъ, сколько можно болѣе, глаза свои и увидѣлъ, что къ нему, точно, наклонилось какое-то изможденное, высохшее (казалось, женское) лицо, и внимательно смотрѣло ему въ очи. Длинные и черные, какъ уголь, волосы, неприбранные и всѣ растрепавшись, лѣзли изъ-подъ темнаго, наброшеннаго на голову, покрывала. И странный блескъ взгляда, и мертвенность смуглаго лица, мелькнувшаго такими рѣзкими, глубоко выступившими чертами, — все скорѣе заставляло думать, что это былъ какой-нибудь фантастическій призракъ. Онъ схватился неволью рукой за пицаль и произнесъ почти судорожно: „Кто ты? Коли духъ нечистой, сгинь съ глазъ; если живой человѣкъ, не въ пору завелъ шутку: убью съ одного прицѣла“.

Въ отвѣтъ на это, привидѣніе приставило палецъ къ губамъ и, казалось, молило о молчаніи. Онъ опустилъ руку и сталъ вглядываться въ него внимательно⁴. (Слѣды ли какой-нибудь тяжкой болѣзни или инаго сильнаго изнуренія)... Слѣды южнаго происхожденія замѣтно выказывались⁵ въ смуглыхъ чертахъ; но, казалось, какая-то долгая изнурительность и тяжелая болѣзнь придали что-то⁶ необыкновенное ей: широкія скулы

выступали сильно надъ опавшими подъ ними щеками. Чѣмъ болѣе онъ всматривался въ ея темныя усталыя очи съ поволокою и дугообразно поднятымъ къверху разрѣвомъ, какъ и въ остальные черты лица ея, тѣмъ болѣе онъ находилъ, что въ нихъ было какъ будто что-то ему знакомое, такъ что онъ не вытерпѣлъ, наконецъ, чтобы не спросить:

„Скажи, кто ты. Мнѣ кажется, какъ будто я зналъ тебя или видѣлъ когда-нибудь“.

„Два года назадъ тому въ Кіевѣ“.

„Два года назадъ въ Кіевѣ“, повторилъ Андрій, стараясь перебрать все, что уцѣлѣло въ его памяти отъ прежней бурсацкой жизни. Онъ посмотрѣлъ еще разъ на нее пристально и вдругъ вскрикнулъ во весь голосъ:

„Ты татарка! служанка панночки, воеводиной дочки...“

„Чш... ш...“ произнесла татарка, сложивъ умоляющимъ видомъ руки, дрожа всѣмъ тѣломъ и оборотя въ то же время голову назадъ, чтобы видѣть, не проснулся ли кто-нибудь отъ такого сильнаго вскрика, произведеннаго Андріемъ.

„Скажи, скажи: отчего, какъ ты здѣсь?...“ говорилъ Андрій шопотомъ, почти задышающимся и прерывавшимся всякую минуту отъ внутренняго волненія. — „Гдѣ панночка? что, она жива еще?“

„Она тутъ въ городѣ“.

„Въ городѣ“, произнесъ онъ, едва опять не вскрикнувши, и почувствовалъ, что вся кровь вдругъ прихлынула къ его сердцу. „Отчего жъ она въ городѣ?“

„Оттого, что самъ старшій панъ (отецъ)¹ въ городѣ. Онъ уже полтора года, какъ сидитъ воеводой въ Дубнѣ“.

„Что жъ она замужемъ? Да говори же. Какая ты странная! Что она теперь?“

„Она другой день ничего не ѣла“.

„Какъ?“

„Ни у кого изъ городскихъ жителей нѣтъ куска хлѣба, всѣ давно уже ѣдятъ одну землю“.

Андрій остолбенѣлъ.

„Панночка видала тебя съ городского валу вмѣстѣ съ запорожцами. Она сказала мнѣ: „Ступай, Марися, скажи рыцарю: коли онъ помнитъ меня, чтобы пришелъ ко мнѣ, а не помнитъ, чтобы далъ тебѣ кусокъ хлѣба для старухи моей“

матери, потому что я не хочу видѣть, чтобы при мнѣ умерла мать. Пусть лучше я прежде, а она послѣ меня. Проси и хватайся за когѣни его: у него также есть старая мать, — чтобъ¹ ради ея далъ хлѣба“.

Тысяча разныхъ чувствъ пробудилось и вспыхнуло въ груди молодого воина.

„Но какъ же ты здѣсь? Какъ ты пришла?“

„Подземнымъ ходомъ“.

„Развѣ есть подземный ходъ?“

„Есть“.

„Гдѣ?“

„Ты не выдашь, рыцарь?“

„Клянусь крестомъ святымъ!“

„Спустиася въ яръ и перейдя протокъ — тамъ, гдѣ тростники“.

„И выходить въ самый городъ?“

„Прямо къ городскому монастырю“.

„Идемъ, идемъ сейчасъ“.

„Но, ради Христа, святой Маріи, кусокъ хлѣба!“

„Хорошо, будетъ. Стой здѣсь возлѣ воза или, лучше, ложись на него, тебя никто не увидитъ: всѣ спятъ; я сейчасъ ворочусь“.

И онъ отошелъ къ возамъ, гдѣ хранились запасы, принадлежавшіе ихъ куреню. Сердце его билось. Все минувшее, что было закрыто, заглушено, подавлено настоящимъ вольнымъ [бытомъ]² и суровой³ бранною жизнью, все всплыло⁴ разомъ на поверхность, потопивши въ свою очередь настоящее: и увлекательный пылъ брани, и гордо-самолюбивое желанье (славы) шума, и славы, и рѣчей промежъ своими и врагами, и бивачная жизнь, и отчизна, и долгъ, и деспотическіе законы козачества — все исчезло вдругъ передъ нимъ. (Одна только) Женщина на мѣсто всего этого стала вдругъ одна владычицею души его. Нѣтъ, онъ не засыпалъ, онъ не погасалъ во глубинѣ души его сей чудный образъ, такъ ослѣпительно и празднично встрѣтившій его начинавшую мужать юность. Ея прекрасныя руки, очи, рядъ смѣющихся зубовъ, чудесная шея и густые, густые темноорѣховые волосы, распавшіеся по груди, плечамъ и шеѣ, изъ которыхъ она выходила свергающимъ снѣгомъ, по которымъ скользнуло тонкимъ розовымъ

лучомъ восходящее солнце, и вся одежда ея, облекавшая ее и вмѣстѣ съ тѣмъ означавшая всѣ прекрасныя формы спины, груди, упоительныхъ ногъ, — передъ которымъ онъ палъ, еще не понимая, почему все это прекрасно, и уже чувствуя, что прекрасно... нѣтъ! не погасало все это въ груди его: оно посторонилось, чтобы дать на время¹ просторъ (на время) другимъ могучимъ движеніямъ и страстямъ, которыми обнималась сильно его воспаляющаяся юность. И не разъ образъ красоты появлялся отрывками и тревожилъ вдругъ его сновидѣнія.

Онъ шелъ, а біеніе сердца его усиливалось уже при одной мысли, что онъ ее увидитъ опять; колѣни его дрожали. Подошедъ къ возамъ, онъ совершенно позабылъ, зачѣмъ пришелъ, и невольно поднесъ руку ко лбу, потирая и стараясь вспомнить, что ему нужно дѣлать. Наконецъ, вздрогнувъ и наполнившись испуга, вспомнилъ онъ, что, можетъ быть, она умираетъ отъ голода. Онъ бросился къ возу и схватилъ нѣсколько большихъ черныхъ хлѣбовъ себѣ подъ руку и подумалъ тутъ же, не будетъ ли эта пища (слишкомъ грубая), годная для джюаго и неприхотливаго запорожца, слишкомъ груба для ея нѣжнаго сложенія. Онъ вспомнилъ, что вчера кошевой попрекалъ кашеваровъ за то, что сварили въ одинъ разъ всю гречневую муку на саламату, которой и половины не съѣдятъ, выбросятъ, тогда какъ бы ея стало (раза) на добрыхъ три раза. Въ полной увѣренности, что онъ найдетъ непремѣнно вдоволь саламаты въ казанахъ, онъ вытащилъ отцовской походный казанокъ и съ нимъ отправился къ кашевару ихъ куреня, который спалъ у двухъ десятиведерныхъ казановъ, подъ которыми еще теплилась зола. Заглянувши въ нихъ, онъ изумился, видя, что оба пусты. Нужно было нечеловѣческимъ силамъ съѣсть все это, тѣмъ болѣе, что въ ихъ куренѣ считалось гораздо менѣе людей, чѣмъ въ другихъ. Онъ заглянулъ въ казаны другихъ куреней — вездѣ рѣшительно ничего. Онъ вспомнилъ поневолѣ поговорку: „запорожцы такой народъ: коли мало чего, то съѣдятъ, коли и много, то не оставятъ....“ Передумывая, гдѣ бы достать еще чего, онъ вспомнилъ, что у нихъ есть мѣшокъ съ бѣлымъ хлѣбомъ, который нашли, ограбивши монастырскую пекарню, котораго вообще не любили запорожцы и который

приберегался такъ только, на случай, если ужъ нечего будетъ ѣсть. Онъ въ ту же минуту подошелъ къ своему возу, съ тѣмъ, чтобы взять его, но на возѣ уже его не было. Остапъ взялъ его для того, чтобы подмостить его себѣ подъ голову и, закинувъ ее въ-поперегъ ему, хранилъ на все поле. Онъ схватилъ его одной рукой и дернулъ¹ вдругъ, такъ что голова его упала, а онъ вскочилъ въ просонкахъ и, сидя съ закрытыми глазами, закричалъ, что было мочи: „держите чортова ляха! да ловите коня, коня ловите!“

„Замолчи! я тебя убью“, закричалъ въ испугѣ Андрій, замахнувшись на него мѣшкомъ; но Остапъ и безъ того уже не продолжалъ рѣчи, замѣнивъ ее такимъ сильнымъ храпомъ, что отъ дыханія его шевелилась трава, на которой онъ лежалъ. Андрій робко оглянулся на всѣ стороны, чтобы узнать не пробудилъ ли кого² сонный бредъ Остапа. Одна чубатая³, точно, приподнялась въ ближнемъ куренѣ и, поведя очами, опустила опять на землю. Переждавъ минуты двѣ, онъ, наконецъ, отправился съ своею ношею.

Татарка лежала, едва дыша. „Вставай, идемъ! Всѣ опять, не бойся! Подымешь ли ты хоть одинъ изъ этихъ хлѣбовъ? Можетъ, мнѣ нельзя будетъ всего захватить“. Сказавъ это, онъ взвалилъ себѣ на спину мѣшокъ съ чернымъ хлѣбомъ, мѣшокъ съ бѣлымъ, стащилъ еще, проходя мимо одного воза, мѣшокъ съ просомъ, взялъ даже въ руки тѣ хлѣбы, которые хотѣлъ было отдать нести татаркѣ, и, нѣсколько понагнувшись, шелъ отважно между рядами (запорожцевъ) спавшихъ запорожцевъ, сопровождаемый робкими шагами своей спутницы.

„Андрій!“ сказалъ старый Бульба въ то время, когда онъ проходилъ мимо его. Сердце его замерло. Онъ остановился и, дрожа, тихо произнесъ: „а что?“

„Съ тобою баба! Эй, отдеру тебя, вставши, на всѣ бока! Не доведутъ тебя бабы къ добру!“ Сказавши, онъ оперся головою на локоть и сталъ пристально разсматривать закутавшуюся въ покрывало татарку.

Андрій стоялъ ни живъ, ни мертвъ, не имѣя духу взглянуть въ лицо отца; но потомъ, когда поднялъ глаза и посмотрѣлъ на него, увидѣлъ, что уже старый Бульба спалъ, положивъ голову на ладонь.

Онъ перекрестился отъ радости, и отхлынулъ вдругъ отъ

сердца его испугъ еще скорѣе, нежели прихлынулъ. Оглянувшись на татарку, онъ увидѣлъ, что она стояла, подобно темной гранитной статуѣ, закутанная въ свое покрывало, и теплый отблескъ отдаленнаго зарева странно (отражался) озарялъ выступавшія складки ея одежды¹. Онъ дернулъ за рукавъ ея, и тогда она медленно полураскрыла лицо свое. Теплый отблескъ отразился какъ-то и вспыхнулъ на блѣдномъ, блѣдномъ, почти совершенно мертвомъ его цвѣтѣ, какой бываетъ только у одного мертвеца. Онъ дернулъ за рукавъ ея, и оба пошли вмѣстѣ, безпрестанно оглядываясь, и, наконецъ, опустились отлогостью въ низменную ложину, почти яръ, по дну котораго лѣниво пресмыкался потокъ, или небольшая рѣчка, поросшая осокой..... кочками². Опустясь въ сію ложину, они скрылись совершенно изъ виду всего поля, занятаго таборомъ запорожскимъ. По крайней мѣрѣ, когда Андрій оглянулся назадъ, то увидѣлъ, что позади его крутою стѣной, болѣе чѣмъ въ ростъ человѣка, вознеслась покатошь: на вершинѣ ея покачивалось³ нѣсколько стебельковъ полеваго былья и надъ нею поднималась на небо луна, въ видѣ косвенно-обращеннаго серпа самаго яркаго червоннаго золота. Поднявшійся вѣтерокъ давалъ знать, что времени уже немного оставалось до разсвѣта. Но нигдѣ не слышно было отдаленнаго пѣтушьяго крика: ни въ городѣ, ни въ разоренныхъ окрестностяхъ не оставалось давно ни одного пѣтуха. По небольшому бревну перебравшись они черезъ потокъ, за которымъ возносился противоположный берегъ, казавшійся выше бывшаго у нихъ назадъ и выходившій⁴ совершеннымъ обрывомъ. Казалось, въ этомъ мѣстѣ былъ самый крѣпкій пунктъ городской крѣпости, по крайней мѣрѣ самый земляной валъ былъ на этомъ возвышеніи ниже, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, и за нимъ не видно было гарнизона. Обрывистый берегъ весь обросъ бурьяномъ и по небольшой ложинѣ между имъ и протокомъ росъ высокій тростникъ, почти въ вышину человѣка. На вершинѣ обрыва видны были остатки плетня: видно было, здѣсь былъ когда-то огорождъ. Остатки плетня кое-гдѣ скрывались совершенно широкими листьями лопуха; изъ-за него торчала лебеда и дикій колючій бодякъ и, наконецъ, поднимавшій выше всѣхъ ихъ свою голову подсолнечникъ. Здѣсь татарка скинула съ себя черевички и пошла

босикомъ, подобравъ осторожно свое платье, потому что мѣсто было топко и наполнено водою. Пробираясь межъ тростникомъ, остановились они передъ наваленнымъ хворостомъ и фашинникомъ; но подъ хворостомъ, отклонивъ¹ его нѣсколько, нашли родъ землянаго грота, — отверстие въ стѣнѣ², мало чѣмъ большее отверстия, бывающаго въ хлѣбной печи. Татарка, наклонивъ голову, вошла первая; вслѣдъ за нею Андрій, нагнувшись, какъ только³ можно было ниже, чтобы могли войти набранные имъ съ собою мѣшки; и скоро очутились оба въ совершенной темнотѣ.

VIII.

Большое движеніе происходило въ запорожскомъ таборѣ: все⁴ еще не могли себѣ дать отчета, какъ это случилось, что войска прошли въ городъ. Оказалось, что весь Переяславскій курень, расположившійся передъ боковыми городскими воротами, былъ пьянъ мертвецки и потому не диво, что половина была перебита, а другая перевязана прежде, чѣмъ могли узнать, въ чемъ дѣло. Покамѣстъ ближніе курени, разбуженные шумомъ, успѣли схватиться за оружіе, войско уже уходило въ ворота, и послѣдніе ряды отстрѣливались отъ устремлявшихся въ безпорядкѣ на нихъ сонныхъ и полупротрезвившихся запорожцевъ. Кошевой далъ приказъ собраться всему народу и, когда всѣ, вставши въ ряды по куренямъ, образовали большой далеко⁵ очерченный, просторный кругъ и всѣ, и старые и молодые, снявъ шапки и понуривъ чубатые головы, затихли вдругъ, онъ началъ рѣчь: „Итакъ, вотъ что, панове-братове, случилось въ эту ночь. Вотъ до чего довелъ хмель, что оказалъ намъ поруганье въ самыя очи! У васъ, паны-братья, видно уже такое заведеніе: коли вамъ позволишь удвоить или, можетъ быть, утроить порцію⁶, такъ вы готовы такъ натянуться, что врагъ христоваго воинства сниметъ съ васъ не только шаровары, но начищаетъ въ лицо вамъ, такъ вы не услышите“.

Козаки всѣ стояли, понуривъ головы, зная вину. Одинъ только Уманскій куренный атаманъ Кукубенко отозвался. „Постой, батько“, сказалъ онъ: „хоть оно и не въ законѣ, чтобы

сказать какое возраженіе, когда говоритъ кошевой передъ лицомъ всего войска, да дѣло не такъ было, такъ нужно сказать. Ты не совсѣмъ справедливо попрекнулъ все христіанское войско. Козаки, конечно, сдѣлали бы большую вину¹ и достойны были бы смерти, когда бы нашлись въ походѣ или на войнѣ, или вообще когда всѣмъ была какая тяжкая работа. Но мы всѣ сидѣли безъ дѣла больше недѣли, маячились понапрасну передъ городомъ. Какъ же ты хочешь, чтобы человѣкъ не выпилъ? Это не христіанское дѣло, чтобы не удовольствоваться человѣку тѣмъ, что послалъ Богъ, когда нѣтъ (ни поста) подъ тотъ часъ ни поста церковнаго, ни другаго какого положеннаго воздержанія. Они ничѣмъ не согрѣшили². А мы вотъ лучше покажемъ чортовымъ басурманамъ, что такое нападать на безвинныхъ людей. Прежде били добре, а теперь побьемъ еще лучше. Я отвѣчаю за всѣхъ козаковъ, что теперь чорта принесетъ ляхъ (здоровъ) домой здоровыми свои пяти“.

Рѣчь куреннаго атамана понравилась козакамъ. „Правда! правда!“ говорили они тихо³, наклонивъ немного на сторону уже было совершенно понурившіяся головы; но крикнуть громко никто не посмѣлъ, зная, что сіе неприлично⁴, когда передъ ними стоитъ главный старшина. „Такъ сказалъ Кукубенко, какъ нужно; лучше и сказать нельзя“, говорили другіе куренные атаманы. Одинъ только Тарасъ Бульба, который былъ тутъ недалеко, сказалъ: „А что, кошевой? Кукубенко, видно, правду сказалъ? Что жъ скажешь на это?“

„А что скажу? Скажу: блаженъ и батько, родившій такого сына. Не большая мудрость, паны-братія, сказать укорительное слово, но гораздо бѣдшая мудрость сказать такое слово, которое бы, не поругавшись надъ бѣдою человѣка, ободрило бы его и придало бы ему духу, какъ шпоры придаютъ духу коню, освѣженному водопоемъ. Я самъ хотѣлъ вамъ сказать потомъ утѣшительное слово, да Кукубенко догадался прежде“.

„Добре!“ повторилось въ рядахъ запорожцевъ. „И кошевой сказалъ добре“, говорилъ каждый. „Добре!“ повторилось въ самыхъ дальнихъ рядахъ. И самые сѣдые, стоявшіе какъ сивые голуби, и тѣ кивнули головою и, моргнувши сѣдымъ усомъ, тихо сказали: „Добре сказанное слово!“

„Теперь слушайте же, панове, что намъ предстоитъ сдѣлать“, такъ повелъ опять рѣчь кошевой. „Братъ крѣпость, то есть — чтобы карабкаться и подкапываться подъ нее, какъ дѣлають многіе чужеземные нѣмецкіе мастера — пусть ей врагъ прикинется! — и неприлично, и не козацкое дѣло. А судя по тому, какъ оно есть, да и по нашему тоже уму-разуму, какой, благодареніе Богу, еще держится въ головѣ нашей, непріятель вошелъ въ городъ не съ большимъ запасомъ, потому что ни воевъ, ни экипажу не замѣтно было. Если жъ и набрали съ собою, чего догадались взять, то на немного времени станетъ его, потому что народъ и городъ голодный, — поѣдятъ духомъ; да и конямъ тоже, братове, я не знаю, гдѣ они (сѣна) добудуть сѣна: развѣ съ неба кинетъ имъ на валъ какой-нибудь святой... Только про это еще Богъ знаетъ, а ксензы-то ихъ горазды на одни слова. Такъ я думаю, братья, что они выдутъ изъ города; за сѣномъ ли, (или) за хлѣбомъ ли, а ужъ непременно выдутъ... а мы вотъ тутъ, въ полѣ, и дадимъ знать имъ, что за штука — козаки. Становитесь всѣ кучами по всѣмъ дорогамъ! Передъ воротами средними пусть выстроятся, въ четыре ряда, курени Незаймайковскій и Гургувивъ, а по-за ними тѣмъ часомъ проберутся курени Дядкивскій съ Корсунскимъ, по-за облогами засядутъ въ засаду съ полковникомъ Тарасомъ: мы сдѣлаемъ такъ, что онъ съ своимъ полкомъ тоже въ засадѣ. А чтобы заставить непріятеля выступить скорѣе изъ города, мы вышлемъ впередъ молодцовъ задорить: ибо у насъ есть такіе молодцы, что, какъ захотятъ, такъ мертваго найдутъ чѣмъ-нибудь обидѣть. Голова же у ляха, какъ извѣстно, недалняго разума, посмѣянья не вытерпитъ, разгорячится: такъ, можетъ быть, они теперь же выступятъ изъ города“.

„Такъ и сдѣлаемъ“, сказали почти въ одинъ голосъ всѣ куренные атаманъ: „не наше дѣло толковать, наше дѣло повиноваться, ибо законъ велитъ въ военное время повиноваться (во всемъ) своему вождю. Но хоть бы и не было такого закона, все бы ни одинъ изъ козаковъ не посмѣлъ бы (sic!) ослушаться, ибо не можно лучше придумать, какъ придумала разумная голова твоя“.

„Такъ за работу же, хлопьята, за работу! Перегляди всякой курень свой: въ которомъ недочетъ, пусть пополнить его

Переяславскимъ. Перечистить и переглядѣть всю зброю и выбрать оружіе понадежнѣе! Дать на опохмѣль всѣмъ по чаркѣ! Выдать каждому по половинѣ хлѣба, потому что на тощій желудокъ не годно начинать дѣла; а, впрочемъ, и то нужно сказать, что иной, можетъ быть, и вчерашнимъ еще сытъ, потому что — некуда дѣть правды! — вчера понаѣдались всѣ такъ, что дивлюсь, какъ ночью никто не лопнулъ. Такъ за работу, братцы, за работу!”

Такъ распоряджалъ¹ кошевой, и всѣ поклонились ему въ поясъ и, не надѣвая шапокъ, отправились по своимъ возамъ и таборамъ и, когда уже совсѣмъ далеко отошли, тогда только надѣли шапки. Всякой занялся тотъ же часъ своимъ дѣломъ: пробовали самопалы, точили сабли, палаши и списы, высыпали изъ боченковъ и кожаныхъ мѣховъ порохъ и темныя пули. Уходя съ своимъ полкомъ на засаду, Тарасъ все думалъ и никакъ не могъ понять, куда бы дѣвался Андрій. Положили ли его вмѣстѣ съ другими и связали соннаго? Только нѣтъ, не таковъ Андрій, чтобы отдаться въ полонъ живымъ. Между убитыми козаками тоже не было видно его. Задумался крѣпко Тарасъ и шелъ тихо, понуривъ сѣдую голову, передъ полкомъ своимъ, не чуя, что его давно называлъ кто-то по имени. „Кому нужно меня?“ наконецъ сказалъ онъ, когда услышалъ близко и очень громко² произнесенное свое имя. Передъ нимъ стоялъ жидъ Янкель, который уже давно кланялся ему и заходилъ со всѣхъ сторонъ, пробуя, не увидитъ ли какъ-нибудь его полковникъ.

„Панъ полковникъ! Панъ полковникъ!“ говорилъ онъ поспѣшнымъ и прерывистымъ голосомъ, дававшимъ знать, что (и дѣл) имѣлось объявить дѣло не совсѣмъ пустое. „Я былъ въ городѣ, панъ полковникъ!“

Огнулся Тарасъ и посмотрѣлъ на жида, подивившись не мало³ тому, какъ жидъ уже успѣлъ побывать въ городѣ и не могъ не сказать: „Какой же врагъ тебя занесъ туда?“

„Я тотчасъ расскажу“, сказалъ жидъ Янкель. „Какъ только услышалъ я, что на зарѣ сдѣвался шумъ и козаки стали стрѣлять, я, — ей Богу, вотъ признаюсь пану, — насилу могъ схватить кафтанъ и уже дорогою бѣгомъ надѣвалъ въ рукава, ибо мнѣ хотѣлось (извѣст) узнать, что значитъ этотъ шумъ и что козаки на самой зарѣ стали стрѣлять. Я прибѣжалъ

къ самымъ¹ городскимъ воротамъ въ то время, когда послѣднее войско входили (sic!) въ городъ. Я увидѣлъ, какъ шель впереди отряда панъ хорунжій Галандовичъ. Онъ, панъ, (мнѣ) человекъ мнѣ знакомый и еще съ третьяго года задолжалъ мнѣ сто червонныхъ. Я за нимъ (чтобы выпро), будто бы затѣмъ, чтобы выправить съ него долгъ, и вошелъ вмѣстѣ съ ними въ городъ“.

„Какъ же ты вошелъ въ городъ, да еще и долгъ хотѣлъ выправить?“ сказалъ Бульба: „и не велѣлъ онъ тебя тутъ же повѣсить, какъ собаку?“

„А, ей Богу, хотѣлъ повѣсить“, сказалъ жидъ. „Уже было слуги совсѣмъ схватили меня, закинули веревки; но я взмолился пану: сказалъ, что подожду долгу, сколько панъ хочетъ, и пообѣщавъ еще дать взаймы, какъ только поможетъ мнѣ собрать долги съ другихъ рыцарей: ибо панъ хорунжій, — я все скажу пану, — и червоннаго не имѣеть въ карманѣ. Ей Богу, такъ! не смотря на то, что у него и хутора есть, и усадьбы есть, есть и пашни, есть и земли до самаго Шклова. И теперь, если бы не вооружили его бреславскіе жида, не въ чемъ было бы ему и на войну выѣхать. Онъ въ сейму не былъ отъ того...“

„Что жъ ты дѣлалъ въ городѣ? видѣлъ нашихъ?“ спросилъ стремительно Тарась.

„Нѣтъ, нашихъ не видѣлъ... Да панъ о комъ говорить? о евреяхъ, коли говорить — нашихъ?“

„Пусть прикинется чортъ твоимъ евреямъ, собачій жидъ! Притянулъ нечистый родъ свой къ христіанскому воинству! Я хочу знать, чтò дѣлаютъ наши запорожцы“.

„Я жъ ничего не сказалъ. На то панская воля: коли хочеть панъ, чтобы наши були запорожцы, пусть будутъ наши — запорожцы. Я нашихъ запорожцевъ не видалъ, а видалъ одного пана Андрія“.

„Андрія видѣлъ?“ вскрикнулъ Бульба и послушалъ что-то на сердцѣ. „Небось, бѣдняга, связанный? Закинули проклятые ляхи куды нибудь въ подвалъ, гдѣ и свѣту божьяго не видно?“

„Какъ можно, чтобы кто связалъ пана Андрія? Теперь онъ тамъ такой важный рыцарь.... Далибугъ, я не узналъ сперва: въ кованыхъ латахъ, (золотые) и наплечники въ золотѣ, и

нарукавники въ золотѣ, и по поясу золото. Коня самъ воевода далъ своего (подъ верхъ): два ста червонныхъ стоитъ одинъ конь“.

„На что жъ онъ надѣлъ чужое одѣянье?“ спросилъ Бульба и невольно разинулъ ротъ.

„Ибо лучше, чѣмъ козацкое, оттого надѣлъ“, продолжалъ жидъ: „и мѣдная шапка съ перомъ, развѣзжаетъ по улицамъ и учить солдатъ и самъ учится такъ, какъ польскій панъ“.

„Да врешь ты, жидъ! Да его хоть замучать, такъ не принудать дѣлать того, чтѣ ты говоришь“.

„Я жъ не говорю, чтобы его кто принудилъ. Кто жъ можетъ принудить пана Андрія? Онъ по своей волѣ дѣлаетъ такъ. Развѣ панъ не знаетъ, что онъ по доброй волѣ перешелъ къ нимъ?“

„Кто перешелъ?“

„А панъ Андрій“.

„Куда перешелъ?“

„Перешелъ къ нимъ, на ихъ сторону: онъ теперь ихній“.

„Врешь ты, чортовъ жидъ!“ вскрикнулъ Тарасъ, весь вспыхнувъ.

„Зачѣмъ же мнѣ врать? Дуракъ я развѣ, чтобы сталъ врать? Я же знаю самъ, что жидъ повѣсаетъ, какъ собаку, коли онъ совретъ передъ паномъ“.

„Такъ это выходитъ, онъ, по-твоему, продалъ отчизну и вѣру?“

„Я же не говорю, чтобы онъ продавалъ. Я сказалъ только, что (онъ только) перешелъ на ихъ сторону“.

„Да врешь ты, чортовъ сынъ! Такого дѣла и не было еще на христіанской землѣ! Не сдѣлаетъ такого дѣла. Что ты мнѣ путаешь, собака жидъ?“

„Далибугъ же, правда. Пусть трава поростетъ на порогѣ моего дома, если я брехню сказалъ“.

„Не повѣрю, чортовъ жидъ!“

„Хочетъ панъ, я скажу даже, отчего онъ теперь ихъ?“

„Отчего?“

„У воеводы есть дочка красавица. Святой Боже, какая красавица!“ Здѣсь жидъ постарался, какъ только могъ, выразить въ лицѣ своемъ красоту, разставивъ руки, прищуривъ

глазъ и покосивъ немного ротъ, какъ будто чего-нибудь отгвѣдавши.

„Ну такъ что же изъ того?“

„Онъ же для нея и сдѣлалъ все и перешелъ для нея: коли человѣкъ влюбится, то все сдѣлаетъ“.

Крѣпко задумался Бульба; и вспомнилъ онъ, что велика власть слабой женщины, что многихъ, и слишкомъ даже сильныхъ, погубляла она, что податлива съ этой стороны природа Андрія. И думалъ онъ долго, стоя, какъ вкопанный въ землю на томъ мѣстѣ (гдѣ сто...).

„Слушай, панъ, я все знаю“, говорилъ жидъ: „я какъ только услышалъ шумъ и увидѣлъ, что проходятъ въ городскія ворота, я схватилъ на всякой случай съ собой нитку жемчуга, потому что я давно видѣлъ, что въ городѣ есть красавицы, ибо на городской валъ часто выходили женщины дворянскаго [рода]¹; „а коли женщины дворянскаго рода“, — сказалъ я себѣ, — „то хоть у нихъ и голодъ, хоть и ѣсть нечего, а жемчугъ все-таки покупать“. А какъ только хорунжаго слуги пустили меня, я побѣжалъ на воеводинъ дворъ и распросилъ все у служанки татарки: „что, какъ только прогонять запорожцевъ, будетъ свадьба, и что панъ Андрій обѣщаль прогнать запорожцевъ“.

„И ты не убилъ тутъ же на мѣстѣ его, чортова сына?“ вскрикнулъ Бульба.

„За что же убить? Онъ перешелъ по доброй волѣ. Тамъ, видно, ему лучше. Чѣмъ же виноватъ человѣкъ, когда перешелъ туда, гдѣ ему лучше?“

„И ты видѣлъ его въ самое лицо?“

„А, ей Богу, въ самое лицо. Я узналъ его еще издалека межъ другими панями. Ай, какой славный воака! Всѣхъ взрачнѣй. Дай Богъ ему здоровья! Добрый панъ: меня тотчасъ узналъ и (сказ) подозвалъ къ себѣ. Когда я подошелъ къ нему, тотъ часъ сказалъ...“

„Что жъ онъ сказалъ?“

„Сказалъ: „Янкель!“ — „Панъ Андрій!“ говорю я. — „Скажи, Янкель“, говоритъ, „всѣмъ, скажи всѣмъ, что я уже не ихъ: и отцу скажи, что онъ мнѣ не отецъ; и брату скажи, что онъ мнѣ не братъ больше; и всѣмъ говоритъ, скажи, чтобы и не попадались; что, коли встрѣчусь“, гово-

рить, „съ кѣмъ изъ нихъ, буду биться не на жизнь, а на смерть, какъ съ врагомъ“.

„Да врешь ты, чортовъ жидъ! онъ не говорилъ этого“, вскрикнулъ Бульба и разсердился сильно¹. „Не говорилъ онъ этого, не скажетъ онъ этого!“

„Ей, ей, сказалъ“.

„Врешь, чортовъ Іуда! Ты и Христа распялъ, проклятый Богомъ человекъ!“

„Ей Богу!“

„Да я тебя убью, чортовъ жидъ! Не повѣрю, сатана! Утекай отсюда, не то вотъ тутъ и смерть тебѣ!“ И старый Тарасъ ухватился за свою саблю.

Жидъ, увидѣвъ, что дѣло было плохо, потому что опасно было оставаться² съ разсердившимся Тарасомъ, припустилъ тутъ же, выражаясь простымъ обычаемъ, во всѣ лопатки, какъ только могли вынести его тонкія, сухія икры.

Долго еще бѣжалъ онъ безъ оглядки между козацкимъ таборомъ и потомъ по всему чистому полю, хотя Тарасъ за нимъ вовсе не гнался и сдѣлавъ два-три шага, опомнился и подумалъ, что нечего сердиться на жида и что дѣло дитяти вымещать первую³ запальчивость на первомъ подвернувшемся.

„Такъ не повѣрю же! не повѣрю!“ говорилъ уже самъ себѣ Бульба. „Не было такого страму, чтобы запорожець, ковакъ, да еще Тарасовъ сынъ, продалъ бы отчизну и вѣру“⁴. (И тутъ же пришло ему вдругъ). Но вдругъ приходила ему мысль объ красавицѣ, воеводиной дочкѣ, и вспомнилъ онъ, что Андрій бродилъ прошлую ночь по козацкому табору, — подался сильно старый Тарасъ, а все-таки говорилъ: „Да не повѣрю же! Пока не увижу самъ его, не повѣрю“⁵.

Въ это время доубышь грянулъ въ свои литавры, — тихо, бодро и картинно выступали пѣшіе первые ряды запорожцевъ, которые были готовы; которые не были еще готовы, брали оружіе и подпоясывались⁶; а которые были самые дальніе, тѣ оставляли еще только [хлѣбъ]⁷ съ крупною крымскою солью, бросая (себѣ) на телѣгу или засунувъ себѣ за пазуху, и оправлялись⁸: кто садился на коня, кто присоединялся къ пѣшимъ рядамъ. И выступали по порядку, одинъ за другимъ, курени: Уманскій, Поповичевскій, Каневскій, Стебликивскій⁹, Незамайковскій, Гургузивъ, Тимошевскій. Одного только Переяслав-

скаго не было. Крѣпко курнули козаки его и прокурили свою долю: кто проснулся связанный во вражьиѣ рукахъ; кто, и совсѣмъ не просыпаясь, сонный перешелъ въ сырую землю, и самъ (куренный) атаманъ Хлибъ, безъ шароваръ и верхняго убранства, очутился въ ляхскомъ стану¹.

И расположились запорожцы такъ, что по куреню стало у каждыѣхъ воротъ, а четыре куреня стали передъ большими воротами. Въ три ряда выстроилась пѣхота, а позади рядовъ стали конные; и сначала всѣ собрались въ одно мѣсто, чтобы сдѣлать неприятелю стѣну, чтобы не увидалъ онъ, какъ два куреня потихонько пошли² въ засаду, а впереди ихъ Тарасъ съ полкомъ своимъ. Въ городѣ, видно, было услышано козацкое вооруженіе, потому что все высыпало на городской валъ, образуя живую картину. Польскіе витязи стояли одинъ другаго красивѣе: на многихъ были мѣдныя шапки, всѣ сіявшія въ солнцѣ³, осѣненные бѣлыми, какъ лебедь, перьями; на другихъ—низенькія голубыя и розовыя шапочки (съ четверугольнымъ верхомъ) съ заломленнымъ на бекрень четверугольнымъ верхомъ своимъ; кафтанъ съ откидными рукавами, шитые и нешитые пояса и, наконецъ, пистолеты и сабли,—драгоценность, за которую платили тогда много и на убранство которыхъ не одинъ жертвовалъ лучшимъ достояніемъ своимъ. Напередѣ стоялъ спѣсиво въ красной шапкѣ, убранной золотомъ, Буджаковскій полковникъ. Грузенъ былъ полковникъ, всѣхъ выше,—и широкой дорогой кафтанъ въ силу облекалъ его. На другой сторонѣ, почти къ боковымъ воротамъ, стоялъ другой полковникъ, небольшой человѣчекъ, весь высохшій; но малыя зоркія очи глядѣли живо изъ-подъ густонаросшихъ бровей, и оборачивался онъ скоро на всѣ стороны, указывая бойко тонкою сухою рукою своею и раздавая приказанья. И видно было, что (онъ), не смотря на малое тѣло свое, зналъ онъ хорошо ратную науку. Недалеко отъ него стоялъ хорунжій, длинный, длинный съ густыми усами и, казалось, не было ему недостатка въ краскѣ лица: любилъ панъ, какъ можно было даже видѣть снизу, крѣпкіе мѣди и добрую пирушку. И много видно было за ними всякой шляхты, вооружавшейся кто на свои червонцы, кто на королевскую казну, кто на жидовскія деньги, заложивъ все, что ни нашлось въ дѣдовскихъ замкахъ.

Козацкіе ряды стояли тихо передъ стѣнами. Золота немного было видно на нихъ, только развѣ гдѣ блестяло на сабельныхъ рукояткахъ. Не любили козаки нашивать себѣ на кафтаны золота, а кто былъ и въ красномъ или иномъ дорогомъ кафтанѣ, то надѣваль его, какъ попало. Только одни черныя бараньи шапки густо чернѣли съ разноцвѣтными верхами.

Скоро изъ запорожскихъ рядовъ выѣхали впередъ два козака: одинъ еще совсѣмъ молодой, другой постарѣе, оба зубастые на слова, да и на дѣло тоже не плохіе козаки: Охримъ Нашъ и Мыкыта Голокопытенко. А вслѣдъ за ними выѣхаль и Демидъ Поповичъ, лихой козакъ, уже давно маичившій на Сѣчи, бывшій подъ Адрианоподемъ и много натерпѣвшійся¹ на вѣку своемъ: горѣлъ въ огнѣ и прибѣжалъ на Сѣчь съ обсмоленною, почернѣвшею головою и выгорѣвшими усами. Но раздобрѣлъ вновь Поповичъ: пустилъ за ухо оселедецъ, выростилъ усы густые и черные, какъ смоль; и крѣпокъ былъ на ѣдкое слово Поповичъ.

„А, красные жупаны на всему воинству!² Да хотѣлъ бы знать, такъ ли красна сила у воинства“.

„Вотъ я васъ!“ кричалъ сверху дюжій полковникъ: „всѣхъ перевяжу! Отдавайте, холопы, сейчасъ ваше оружіе и коней! Видѣли, какъ я перевязалъ вашихъ? Гей! а выведите на валъ запорожцевъ“.

(Видно) На валу засуетились, видно, съ тѣмъ, чтобы выполнить полковничій приказъ и чрезъ нѣсколько минутъ показались на валу скрученные запорожцы, а впереди ихъ куренный атаманъ Хлибъ, безъ шароваръ и верхняго убранства, — такъ, какъ схватили его на хмель. И потупилъ въ землю голову несчастный атаманъ, стыдясь наготы своей передъ своими же козаками и что попалъ въ плѣнъ, какъ собака. И въ одну ночь посѣдѣла крѣпкая голова его.

„Не журишь, Хлибъ! Выручимъ!“ кричали снизу козаки.

„Не журишь, дзубьяка!“ отозвался снизу къ нему куренный атаманъ Бородатый. — „Въ томъ нѣтъ вины твоей, что схватили тебя голаго (бѣд). Это случай. Бѣда можетъ случиться со всякимъ человѣкомъ, а стыдно имъ, что выставили тебя на позоръ и не прикрывши прилично наготы твоей“.

„Вы, какъ вижу, на сонныхъ людей храброе войско“, говорилъ, поглядывая на валъ, Голокопытенко.

„Вот погодите, поотрѣжемъ мы чубы вамъ!“ кричали сверху.

„А хотѣлъ бы я поглядѣть, какъ онѣ намъ поотрѣзываютъ чубы“, говорилъ Поповичъ, поворотившись передъ ними на конѣ, и потомъ, поворотивъ немного голову къ своимъ, сказалъ:

„А ляхи, можетъ, и правду говорятъ, потому, коли выведетъ ихъ вонъ тотъ пузатый, такъ имъ всѣмъ будетъ добрая защита“.

„Отчего жъ ты думаешь, что будетъ имъ добрая защита?“ сказали нѣкоторые козаки, зная¹, что Поповичъ не даромъ говоритъ такъ, что уже, вѣрно, держитъ на умѣ сказать что-нибудь такое.

„А оттого, что за нимъ спрячется² все войско: уже чорта съ два достанешь изъ-за его пуза котораго-нибудь копьемъ!“

Всѣ засмѣялись; козаки и куренные атаманы, которые стояли близко, засмѣялись; а въ рядахъ, бывшихъ подалѣ, спрашивали одинъ у другаго, что сказалъ Поповичъ; а другіе, которые услышали, говорили: „Ну ужъ Поповичъ! Ужъ коли кому закрутить слово, такъ только ну...“, и дальше ужъ и не сказали³ козаки, что такое „ну“.

„Отступайте! Отступайте отъ стѣны!“ сказалъ, въ это время подѣхавши, кошевой, замѣтившій по движенію руки низенькаго полковника, что должно чему-нибудь быть. Всѣ попятились назадъ; изъ городскаго валу грянула картечь, но картечь не долетѣла. Вверху все стало суетиться. Полковники отдавали приказы. Показался самъ сѣдой воевода. Бѣгало много воиновъ взадъ и впередъ. Наконецъ, ворота отворились и выѣхали ровнымъ (строємъ) коннымъ строємъ штыге гусары, за ними другіе въ иныхъ кафтанахъ; съ боковъ и позади каждаго ряда (и впереди каждаго) ѣхало особнякомъ не мало (добры) видныхъ витязей, лучшихъ польскихъ шляхтичей, каждый одѣтый по своему. Не хотѣли гордые шляхтичи смѣшаться въ ряды съ другими, и у котораго не было команды, тотъ ѣхалъ одинъ съ пятью или шестью человекъ слугами. Потомъ опять ряды, и за ними выѣхалъ хорунжій; за нимъ опять конные ряды, и выѣхалъ дюжій полковникъ; а позади всего уже войска выѣхалъ послѣднимъ низенькой полковникъ.

Все отступали козаки назадъ, пока не вышли послѣдніе изъ

вороть. И какъ только вышли всѣ и заняли ложину, чтобы, какъ слѣдуетъ, выстроиться, кошевой далъ приказъ, чтобы не давать ляхамъ, какъ слѣдуетъ, выстроиться, а стараться бы вдругъ смѣшать ихъ: и козаки всѣ, съ боковъ и съ тыла, поднявши крикъ, отъ котораго забиралъ [страхъ]¹ и не робкое сердце, посыпали² козаки на нихъ. „Берите въ руки фитили, да пугайте коней!“ кричалъ кошевой: „Пугайте коней!“ И козаки, кто попало, кинулись цѣлой кучею и съ фитилями, совсѣмъ запутанные, прямо въ лицо конямъ; и хотя сами были вытоптаны конями, но смѣшали и перепутали всѣхъ, (Безпорядокъ сдѣло) и произвели безпорядокъ на славу: всѣ ряды и дисциплина пропала³; всѣ сошлись въ кучу, многіе⁴ должны были спѣшиться, ибо нельзя было дѣйствовать на конѣ. Велика была и далеко забирала поля сошедшаяся группа и каждому почти изъ воиновъ (почти) довелъ случай показать себя.

Демидъ Поповичъ, завидѣвъ⁵ лучшихъ двухъ шляхтичей, богаче и лучше другихъ снаряженныхъ, спибы съ коня того и другаго прежде, чѣмъ успѣли тѣ оглянуться и подумать, какихъ лучше противъ него выкинуть, и выгналъ коней ихъ далеко въ поле, крича стоявшимъ козакамъ перенять ихъ. Потомъ опять пробился въ кучу къ ляхамъ, которые было хотѣли помочь имъ, и одному снесъ (саблюю) тяжелою саблею полголовы косякомъ и правую руку, разогналъ двухъ другихъ, а сбитаго съ коня, накинувъ ему на шею петлю, привязалъ къ своему сѣдлу (потомъ выѣхалъ пода), поволокъ его по всему полю и, какъ выѣхалъ подальше въ поле, скинулъ съ него дорогой кафтанъ, саблю съ рукоятью и отвязалъ отъ пояса у него цѣлый черенокъ съ червонцами.

Кобита, добрый козакъ и молодой еще, схватился съ дюжимъ и бравымъ изъ ляхскаго войска; и долго бились они, всѣ покрывши зазубринами свои сабли; и замахнулся было уже надъ самою головою его ляхъ, да, отбивши ударъ, ударился ему головою въ грудь и схватилъ его обѣими руками подъ самыя силы. Дюжий былъ ляхъ и закричалъ сильно; выхватилъ Кобита длинный турецкій ножъ, наостренный съ обѣихъ сторонъ, и всадилъ ему прямо подъ сердце весь по рукоять. Да не уберегся самъ молодой козакъ. Тутъ же въ високъ хлопнула его горячая пуля, и упалъ на поверженнаго на

землю ляха, еще не успѣвъ вынуть изъ подъ сердца (своего) его кинжала. Статень и высокъ, какъ тополь, носился на буланомъ добромъ конѣ шляхтичь: не изъ простыхъ онъ былъ, — княжескаго рода, четырехъ сотъ червонныхъ стоилъ одинъ конь. И много удали и богатырскаго боярскаго духу показаль онъ: двухъ убилъ изъ пистолетовъ, а третьяго, занесшаго было на него руку, коннаго добраго козака, опрокинулъ вмѣстѣ съ конемъ. Грянулся на землю козаць и конь наверхъ его; но не задавило его конемъ и выпутался бы онъ изъ-подъ него, да досталь его и тамъ удалый шляхтичь длиннымъ копьемъ прямо (надъ грудью) въ шею надъ грудью: и свернулся въ судорогахъ козаць, почуя холодное лезвее, вошедшее по¹ самое древко, нанесшее смертнующую муку. И много онъ разнесъ страху далеко по всѣмъ кущамъ. Многие изъ козаковъ, завидя его, не посмѣли подступать къ нему. Одного подпущивши къ себѣ на выстрѣль, бойко швырнуть (на него) прямо ему на голову арканъ, затащить ему шею и поволокъ его. Но ужъ давно завидѣль и намѣтилъ его издали бравый куренный атаманъ Кукубенко: припустилъ коня и нагналъ ему прямо въ тылъ и голосно, сильно закричалъ ему, такъ что вздрогнули близъ стоявшіе отъ нечеловѣческаго крика. Хотѣль поворотить скоро коня и стать въ лицо ему удалый ляхъ; но не послушался конь: испуганный страшнымъ крикомъ, метнулся на сторону — и досталь его ружейною пулею Кукубенко. Вошла въ спинныя лопатки горячая пуля: свалился съ коня бравый ляхъ, схватилъ въ руки саблю, но ослабѣли руки, не могъ ничего онъ сдѣлать саблей. А Кукубенко, взявъ въ обѣ руки свой тяжелый палашь, вогналъ ему въ самыя поблѣднѣвшія уста: вышибъ два сахарные зуба палашь, разсѣкъ на двое языкъ, разбилъ горловой позвонокъ и вошелъ далеко въ землю, пригвоздивши навѣки его къ сырой землѣ. Ключемъ хлынула вверхъ алая, какъ надрѣчная калина, высокая дворянская кровь и выкрасила весь желтый (кафтанъ) съ золотыми шнурками кафтанъ его. Отвязалъ у него тутъ же отъ пояса Кукубенко черенокъ, полный червонцевъ, и дорогую сумку съ тонкимъ бѣльемъ, дорожнымъ серебромъ и длинною дѣвичьею кудрею, сохранно хранившееся на сердечную память. Завидѣль издали хорунжій, какъ нагнулся храбрый куренный атаманъ снимать съ убитаго военную корысть, подѣхаль¹

тихо въ тылъ ему вмѣстѣ съ четырьмя слугами: въ лицо не смѣлъ ему стать хорунжій, потому что уже два раза сбиваль его Кукубенко съ коня и не ушелъ бы онъ отъ него, если бы не спасли его всадники. (Схватъ) Ударилъ онъ со всего размаху острой саблею по широкой козацкой шеѣ нагнувшагося атамана, и слетѣла крѣпкая голова неуспѣвшаго оглянуться назадъ атамана. Пошатнулся обезглавленный трупъ и повалился на убитаго (трупъ), все покрывши вокругъ себя еще за минуту могущественно вращавшеюся въ жилахъ кровью, и понеслась¹ къ выпинамъ суровая козацкая душа, хмурясь и негодуя и вмѣстѣ съ тѣмъ дивуясь, что такъ рано вылетѣла изъ такого крѣпкаго тѣла.

Но не успѣлъ хорунжій ухватить за чубъ (головы) атаманской (sic!) голову и привязать ее къ сѣдлу — бравый мститель за Кукубенка скоро показался. Какъ ястребъ, давши много² круговъ сильными³ крыльями по воздуху, вдругъ останавливается распластанный на высотѣ⁴ и оттуда стрѣлой бьетъ на раскричавшагося (въ жнивѣ) у дороги самца перепела: такъ налетѣлъ онъ на хорунжаго и съ одного разу накиннулъ ему на шею веревку, и стала еще краснѣе багровая голова хорунжаго, когда затянула шею жесткая петля; все еще успѣлъ онъ схватить пистолеть и выстрѣлить, но уже не могла направить пули судорожно сведенная рука и даромъ полетѣла въ поле пуля. Остапъ тутъ же, у его же сѣдла отвязалъ шелковый шнуръ, который возилъ съ собою хорунжій для вязанія плѣнныхъ, и, связавъ его по рукамъ и по ногамъ его же шнуромъ, прицѣпилъ на веревку къ сѣдлу и поволокъ черезъ поле, взывая громко всѣхъ (уманскихъ) козаковъ уманскаго куреня, чтобы шли⁵ отдать послѣднюю честь атаману. Какъ услышали уманцы, что атамана ихъ куреннаго Кукубенка поразилъ рокъ, бросали поле битвы и бѣжали, чтобы поглядѣть на своего атамана: не скажетъ ли онъ чего передъ смертнымъ часомъ? Но уже давно атамана ихъ не было на свѣтѣ: чубастая голова его далеко отскочила отъ своего туловища. И взявъ козаки голову, сложили ее и широкое туловище вмѣстѣ, сняли съ себя верхнее убранство и покрыли имъ его. И стали козаки совѣщаться тутъ же о томъ, кого выбрать на мѣсто его въ куренные, ибо неприлично, чтобы курень на войнѣ оставался безъ атамана. И всѣ вы-

брали въ одинъ голосъ Бульбенка Остапа, зная, что онъ, хоть и молодой человекъ, но разумъ имѣлъ старый. Всѣ уманцы побѣжали, махая ему издали, чтобы воротился: Услышавъ о выборѣ своемъ, Остапъ снялъ шапку, поблагодарилъ козаковъ товарищей за честь, не сталъ отговариваться ни молодостью, ни неразуміемъ, зная, что не до того въ военное время, а тутъ же повелъ ихъ прямо на кучу, гдѣ уже давно бились жарко, поднявши пыль подъ самаа небеса и вытоптавъ далеко траву въ полѣ вокругъ¹. Уже на² рукопашный бой пошло дѣло и трещали могучія спины, какъ Остапъ въ сію минуту ударилъ съ уманцами³ прямо въ крошель, и очистилъ вокругъ себя просторъ; и уже не одинъ ляхъ лежалъ опрокинутъ, съ отлетѣвшимъ дыханьемъ, выказавъ открытыя уста и зубы. А въ то же самое время съ другой стороны ударилъ съ полкомъ своимъ Тарасъ, бывший въ засадѣ съ двумя другими куренями. Пустивши крикъ, отъ котораго дрожало далеко все, что было вокругъ, они смяли въ одно мгновеніе всю конницу и нагнали ее на пѣшую кучу; и много было бы выбито и пропало народу въ великомъ беспорядкѣ, если бы, завидѣвъ то, не приказалъ низенькой полковникъ выбросить хоругвь и не закричалъ на своихъ: „Назадъ! въ городъ!“ И все пустилось во весь духъ къ городскимъ воротамъ. Отворились ворота и приняли коней и всадниковъ, усталыхъ, изнуренныхъ, воротившихся безъ многихъ своихъ товарищей. Запорожцы гнались за ними и, статья можетъ, ворвались бы многіе за ними по пятамъ въ городъ; но съ городскихъ стѣнъ грянуло картечью и много не оглянувшихъ[са]⁴ повалилось. Одинъ Остапъ, однакожь, спасъ своихъ уманцевъ, сказавши: „На бокъ, братья! съ валу что-нибудь да будетъ“. И повалили всѣ на сторону уманцы. Кошевой, подѣхавшій въ это время, похвалилъ, сказавши: „Вотъ и новый атаманъ, а ведетъ войско такъ, какъ бы и старый“. И оглянулся старый Бульба поглядѣть, какой новый атаманъ. Не безъ радости увидѣлъ онъ, что это былъ сынъ его Остапъ, и поблагодарилъ всѣхъ уманцевъ за честь (которую). Запорожцы опять собрались чинно по куренямъ и стали отступать⁵ къ таборамъ; на городскомъ валу опять показались ляхи, уже съ изорванными епанчами; запеклась кровь на многихъ дорогахъ кафтанахъ, и пылью покрылись красивыя мѣдныя шапки.

„Что перевязали?“ кричали имъ снизу запорожцы.— „Вотъ я васъ!“ кричалъ все также сверху толстый полковникъ, показывая веревку. И все еще не переставали грозить запленные, изнуренные воины и перекинулись тѣ, которые были позадористѣй, бойками словами.

А между тѣмъ всѣ разошлись къ (своимъ) таборамъ и положились — кто отдыхать, кто перевязывалъ раны и дралъ на перевязки платки и дорогія одежды, содранныя съ убитыхъ; кто лежалъ просто на спинѣ, выбитый изъ силъ, и тяжело переводилъ духъ, утружденный многими подвигами. А которые были посвѣжѣе и не такъ устали, стали прибирать тѣла и отдавать послѣднюю почесть. Тутъ же вырыли палашами и копьями могилы, шапками и полами выносили землю, сложили честно козацкія тѣла и засыпали ихъ свѣжею землею, чтобы не досталось воронамъ и хищнымъ орламъ выклевать имъ очи. А нечистыя ляшскія тѣла вязали, какъ попало, десятками къ хвостамъ дикихъ коней и пустили ихъ далеко въ поле, чтобы вездѣ раскидали ихъ въ пищу волкамъ.

Потомъ посадились всѣ курени вокругъ казановъ вечерять, и много ѣли, утружденные подвигами, (хотя) а еще больше того говорили каждый о случаяхъ, въ какихъ кто былъ, и о славныхъ дѣлахъ, какія кому достались на часть, на вѣчный рассказъ пришельцамъ и своимъ дѣтямъ, и внукамъ, и всему потомству. Долго не ложились многіе, и въ каждомъ [куренѣ]¹ всю ночь горѣлъ огонь, и у каждаго огня черезъ каждыя два часа смѣнялась стража.

И, ложась на землю, долго не спалъ старый Тарасъ и думалъ: „Что жъ это значить? Много было всякихъ воевъ ляшскихъ, но Андрія моего не было. Я бы узналъ его, хоть бы какъ онъ далеко ни стоялъ. Вѣрно, посовѣстился Іуда вытти противъ своихъ“. Такъ говорилъ Тарасъ, и уже начиналъ было думать, не вретъ ли жидъ, не попался ли онъ просто въ неволю. И потомъ опять² вспомнилъ, что онъ еще прошлую ночь видѣлъ Андрія, прокрадывавшагося³ по таборамъ, подобно вору, съ какою-то женщиной: не въ мѣру податливо было у Андрія сердце на женскія рѣчи. И почувствовалъ онъ великую скорбь въ душѣ и заклеяся сильно въ душѣ противъ полячки, причаровавшей его сына. И исполнялъ бы онъ непремѣнно свою клятву: не поглядѣлъ бы онъ на ея

красоту, вытащилъ бы ее за густую пышную косу, поволокъ бы ее за собою по всему полю между всѣми козаками; избились бы о землю, окровавившись¹ и покрывшись пылью, ея чудныя груди и плечи, блескомъ равныя снѣгамъ, и по частямъ было бы разнесено ея пышное, прекрасное тѣло. Но не вѣдалъ Бульба того, что готовить Богъ на завтра, и что, можетъ быть, дѣло такое случится, которое много повредитъ ему, и сталъ понемногу забываться Бульба. А въ козацкихъ кругахъ все еще многіе не спали и говорили промежь собой², и всю ночь у огня смотрѣла пристально во всѣ концы трезвая, не смыкавшая очей стража.

IX.

Еще солнце не дошло до середины³ неба, и день только начиналъ⁴ парить июльскимъ тепломъ, доубышь ударилъ въ свои литавры, и (собира) запорожцы собирались на раду. Изъ Сѣчи пришла неприятная вѣсть, что татары напали врасплохъ на оставшіеся курени, перебили и перевязали всѣхъ оставшихся въ живыхъ. Оставшіеся курени, видно, курнули сильно по козацкому обычаю; къ тому же, — что было еще хуже, — татары нашли и вырыли изъ земли войсковой скарбъ, то есть, запорожскую казну, державшуюся втайнѣ подъ землею. Съ добычею, плѣнниками, табунами и овечьими стадами, какія только успѣли схватить на пути, они направили путь къ Перекопу. Никто не убѣжалъ изъ плѣна. Одинъ только изъ всѣхъ козаковъ, именовъ Максимъ Голодуха, „добрый пройди-голова“, какъ говорили козаки, хитрый на всякія выдумки, убѣжалъ среди дороги изъ татарскихъ рукъ: выкрутился изъ-подъ веревокъ, которыми былъ привязанъ къ коню, доставшись на часть татарскому мирзѣ. Хоть былъ уже давно онъ почти развязанъ и не держали его веревки, но все прикидывался и ѣхалъ слѣдомъ за мирзой, да доставалъ потихонько изъ сапога длинный турецкій ножъ. Но какъ только отдѣлился мирза отъ слугъ своихъ и опустился въ долину отдохнуть отъ жару и напоить коня, — онъ вылѣзъ изъ-подъ веревокъ, и, подкравшись, ударилъ мурзу⁵ въ шею длиннымъ ножомъ, вогнавъ его по самую рукоять. Отвязалъ у него кошелекъ, полный червонцевъ, одѣлся въ его татарскую одежду, сѣлъ на коня,

которому равнаго (не было) по быстринѣ не было между татарскими табунами и, выѣхавъ изъ долины, пустился среди бѣла дня на утекъ. Два дни и одну ночь гналъ онъ коня (гналъ онъ) и, какъ ни силенъ былъ татарскій конь, хотъ лучше его не было ни у кого изъ татарскихъ князей¹, но не выдержалъ и околѣлъ, не сдѣлавъ и половины пути. Бянулъ козакъ коня и бѣжалъ пѣшій степями всю ночь, пока мѣстъ на дорогѣ не нашель гдѣ-то другаго коня за 8 червонныхъ; и того загналъ онъ на смерть и уже на третьемъ конѣ пріѣхалъ въ запорожскій таборъ, услышавъ на пути, что запорожцы были подъ Дубномъ. Только и успѣлъ онъ объявить, что вотъ какое зло случилось; но какъ все это случилось, и почему запорожцы далися въ плѣнъ, и отчего татары узнали мѣста, гдѣ зарытъ былъ скарбъ — ничего о томъ не сказалъ, ибо не въ силу было говорить ему: сильно истомился козакъ послѣ неслыханной дороги, распухъ весь, лицо ему пожгло и опалило вѣтромъ. Тутъ же упалъ онъ и заснулъ крѣпкимъ сномъ и какъ ни ворочали его съ бока на бокъ², чтобы разбудить его и разспросить, чтѣ и какъ было далѣе, — не могли добудиться. Кошевой приказалъ его³ оставить опочить и приготовить для такого добраго козака кухоль сивухи, какъ только проснется, чтобы освѣжить не въ мѣру надорвавшіяся силы. Не могло быть вѣсти непріятнѣе для всего козацкаго запорожскаго табора. Въ подобныхъ случаяхъ водилось у запорожцевъ бросать все и гнаться въ ту жъ минуту за похитителями⁴, стараясь настигнуть ихъ на дорогѣ: иначе плѣнники могли очутиться какъ разъ на базарахъ Малой Азіи: въ Смирнѣ, на Критскомъ острову, и Богъ знаетъ, въ какихъ мѣстахъ не показались бы чубатыя запорожскія головы. Вотъ за какимъ дѣломъ собрались теперь запорожцы на великую раду и все поле (покры) вдругъ покрылось (козацкими далеко чернѣвшими) козацкими шапками, какъ бываетъ осеннею порою или въ раннюю весну: все поле (становится) вдругъ зачернѣетъ и становится покрытымъ несмѣтными тучами налетѣвшихъ галокъ, поднявшихся изъ безлиственныхъ сквозящихъ лѣсовъ. Всѣ до единаго стояли запорожцы въ шапкахъ, потому что пришли не съ тѣмъ, чтобы слушать по начальству атаманскій приказъ, но совѣщаться, какъ равные, между собою. „Давай совѣтъ прежде старшіе“, закричали

въ толпѣ. „Давай совѣтъ, кошевой!“ говорили другіе. И кошевой, снявши шапку, ужъ не такъ, какъ начальникъ, а какъ товарищъ¹, благодарилъ всѣхъ козаковъ за честь и сказалъ: „Много между нами есть старшихъ и совѣтомъ умнѣйшихъ, но, коли меня почтили, то мой совѣтъ — времени даромъ не терять, товарищи-братья, и погнаться за татаринкомъ: ибо вы сами знаете, что за человѣкъ татаринъ: онъ не станетъ ожидать дома, съ награбленнымъ добромъ, чтобы мы пришли отобрать его, а размытарить такъ, что и слѣдовъ не найдешь. Такъ мой совѣтъ: итти (скорѣйшимъ). Мы же погуляли здѣсь не мало. Знаютъ ляхи, что такое козаки. За вѣру отместили, сколько было по силамъ. Кормости же намъ не предстоитъ здѣсь теперь большой, ибо, если бы и случилось взять городъ, то, сами знаете, съ голоднаго города не много придется взять поживы. И такъ мой совѣтъ: итти“.

„А что жъ? Такъ и мы думаемъ. Итти!“ раздалось голосомъ запорожскихъ куреняхъ. Одному старому Тарасу Бульбѣ не пришлось по душѣ такія слова, и навѣсилъ еще гуще онъ на очи свои изъ-черна бѣлыя брови, подобныя кустамъ на высокомъ темени горы, которыхъ верхушки занесъ пушистый сѣверный снѣгъ, и только сверху и снизу все еще чернѣетъ темная чаща сухихъ сплетенныхъ вѣтвей и сучьевъ.

„Нѣтъ, неправъ совѣтъ твой, кошевой!“ сказалъ. „Не то ты говоришь, что нужно. Ты, видно, позабылъ, что въ плѣну остаются наши, захваченные ляхами? Что же мы будемъ послѣ того², когда не уважимъ перваго святаго закона товарищества и оставимъ въ руки имъ кровныхъ нашихъ, дѣлившихъ съ нами и удачи, и горькія напасти? — оставимъ ихъ на то, чтобы (они) содрали съ нихъ живыхъ кожу по своему безбожному обычаю; изчетвертовавъ козацкое ихъ тѣло на части, развозили бы ихъ по городамъ и селамъ, какъ сдѣлали они доселѣ съ гетьманомъ и лучшими русскими витязями на Украинѣ? Развѣ еще мало они поругались и безъ того надъ святынею? Какой же послѣ этого будетъ козакъ, что жъ за козакъ, спрашиваю я всѣхъ васъ, который не защитилъ въ бѣдѣ своего кровнаго товарища, а кинулъ его, какъ собаку, пропасть на чужбинѣ, да еще пропасть лютою смертию? Не достоинъ ли онъ того, чтобы плюнулъ ему въ очи его сотоварищъ, не

уваживъ ни сѣдины его, и обидно попрекнули бы, какъ подлюку, его свои же дѣти и потомки?“¹

Всѣ понурили головы запорожцы послѣ такихъ словъ, долго молчали и, наконецъ, сказали: „Нѣтъ, не сдѣлаемъ такого безчестнаго дѣла, не выдадимъ своихъ“.

„Постойте же, паны-братья, дайте же и мнѣ сказать на это слово“, сказалъ кошевой. „А позабылъ развѣ ты, бра- вый полковникъ, что у татаръ въ рукахъ тоже наши товарищи? что, если мы теперь ихъ не выручимъ, то жизнь ихъ будетъ предана на вѣчное невольничество язычникамъ, что хуже всякой лютой смерти? что тутъ, можетъ быть, пропадаетъ десятокъ нашихъ, а тамъ десятковъ пять, шесть, можетъ быть? Да и позабыли вы развѣ, что у нихъ теперь вся казна наша, добытая кровью козацкою христіанскою?“

Затихли всѣ козаки и не знали, чтò говорить имъ. Долго стояли они, раздумывая, ибо видѣли, что правъ кошевой; но никому не хотѣлось также, чтобы кто-нибудь попрекнулъ ихъ, что не соблюли козацкой чести².

Тогда вышелъ впередъ всѣхъ старѣйшій годами во всемъ запорожскомъ войскѣ Касьянъ Бовдюгъ. Въ чести былъ онъ отъ всѣхъ козаковъ, два раза уже онъ былъ³ избираемъ кошевымъ и на войнахъ былъ сильно добрый козакъ; но уже давно состарѣлся онъ и не бывалъ въ походахъ, и совѣтовъ тоже не любилъ давать никому, а любилъ старый вояка лежать на боку у козацкихъ круговъ, слушая рассказы про всякіе бывалые случаи, когда рассказывали⁴ козаки про походы на морѣ и на сушѣ, которымъ дивились не мало турецкія, бусурманскія поморья. Никогда не вмѣшивался онъ въ ихъ рѣчи и все только слушалъ, да прижималъ пальцемъ золу изъ своей коротенькой трубки, которой не выпускалъ изъ рта, и долго сидѣлъ потомъ, прижмуривъ слегка очи, и не знали козаки, спалъ ли онъ, или все еще слушалъ. Всѣ походы оставался онъ дома⁵, но сей разъ разобрало стараго. Сказалъ, махнувъ рукою по козацки: „А не куды!⁶ пойду и я: можетъ быть, въ чемъ буду пригоденъ козачеству“. Всѣ козаки вдругъ притихли, когда выступилъ онъ теперь передъ собраніе, ибо давно не слышали отъ него никакого слова, и всякій сильно любопытствовалъ, чтò такое скажетъ Бовдюгъ. „Пришла очередь и мнѣ сказать слово, паны-братья“, такъ началъ ста-

рый Бовдюгъ. „Послушайте стараго. Мудро сказалъ кошевой; и, какъ голова козакаго войска, обязаный приберегать его и печись о войсковомъ скарбѣ, мудрѣе ничего онъ не могъ сказать. Вотъ что! Это пусть будетъ первая моя рѣчь! А теперь послушайте, что скажетъ моя другая рѣчь. А вотъ что она скажетъ: „Большую правду сказалъ и Тарасъ, полковникъ: дай Боже ему побольше вѣку, и чтобъ такихъ полковниковъ было побольше на Украинѣ! Первый долгъ и первая честь козака есть соблюсти товарищество. Сколько ни живу я на вѣку, не слышалъ я, паны-братья, чтобы козакъ покинулъ гдѣ или продалъ какъ-нибудь своего товарища. И тѣ, и другіе намъ товарищи; меньше ихъ, или больше, все равно — все товарищи, все¹ намъ дороги. Такъ вотъ какая моя рѣчь: тѣ, которымъ милы² захваченные татарами, пусть отправляются за татарами; а которымъ милы полоненные ляхами и которымъ не хочется оставлять праваго дѣла, пусть остаются³. Кошевой, по долгу, пойдетъ съ одною половиною за татарами, а другая половина выберетъ себѣ наказнаго атамана. А наказнымъ атаманомъ, коли хотите послушать бѣлой головы, не пригоже быть никому другому, какъ (развѣ) только одному (полковнику) Тарасу Бульбѣ. Нѣтъ изъ насъ никого, равнаго ему въ доблести“.

Такъ сказалъ Бовдюгъ и затихъ. И не мало обрадовались всѣ козаки, когда навелъ ихъ такимъ образомъ на умъ старый. Всѣ вскинули вверхъ шапки и закричали: „Спасибо тебѣ, батько! Молчалъ, молчалъ, долго молчалъ, да вотъ, наконецъ, и сказалъ: не даромъ говорилъ, когда собирался въ походъ, что будешь пригоденъ козачеству, — такъ и сдѣлалось“.

„Что, согласны вы на то?“ спросилъ кошевой.

„Всѣ согласны“, закричали козаки.

„Стало быть, радѣ конецъ?“

„Конецъ радѣ!“ кричали козаки.

„Слушайте жъ теперь войсковаго приказа, дѣти!“ сказалъ кошевой, выступилъ впередъ и надѣлъ шапку; а всѣ запорожцы, сколько ихъ ни было, сняли свои шапки и остались съ непокрытыми головами и утупивъ очи въ землю, какъ бывало всегда между козаками, когда собирался что говорить старшій.

„Теперь отдѣляйтесь, паны-братья! Кто хочетъ итти, сту-

пай на правую сторону; кто остается, отходи на лѣвую! Куды бѣлая часть куреня переходить, туда и атаманъ; коли меньшая часть переходить, приставай къ другимъ куренямъ“.

И всѣ стали переходить, кто на правую, кто на лѣвую сторону. Котораго куреня бѣлая часть переходила, туда и куренный атаманъ переходить; котораго малая часть¹, то приставала къ другимъ куренямъ; и вышло безъ малаго не по ровну на всякой сторонѣ. Захотѣли остаться: весь почти Незамайковский курень, большая половина Поповичевского куреня, весь Уманскій курень, весь Каневскій курень, бѣлая половина Стебликивскаго куреня, бѣлая половина² Тимошевскаго куреня. Всѣ остальные вызвались итти въ догонъ за татарами. Много было на обѣихъ сторонахъ дюжихъ и храбрыхъ козаковъ. Между тѣми, которые рѣшились итти вслѣдъ за татарами, былъ Череватый, добрый старый козакъ, Покотыполе, Лемишъ, Прокоповичъ Хома; (Потовичъ) Демидъ Поповичъ тоже перешелъ туда, потому что былъ сильно завятаго нрава³ козакъ, не могъ долго высиживать на мѣстѣ: съ лахами попробовалъ уже онъ дѣла, хотѣлось попробовать еще съ татарами. Много еще другихъ славныхъ и храбрыхъ козаковъ захотѣло попробовать меча и могучаго плеча (съ та) въ схваткѣ съ татаринномъ. Не мало также добрыхъ, сильно дюжихъ козаковъ было и между тѣми, которые захотѣли (дожи) остаться на мѣстѣ; можетъ быть даже, было между ними и больше такихъ, про которыхъ успѣла далеко прозвонить могучая слава. Вотъ кто были: Вовтузенко, Черевиченко, Степанъ Гуска, Охримъ Гуска, Мыкола Густый, Балабанъ, Задорожній, Метелица, Иванъ Закрутыгуба, Мосій Шыло, Діогтаренко, Сыдоренко, Писаренко, потомъ другой Пысаренко, потомъ еще Пысаренко, и много было другихъ добрыхъ козаковъ: всѣ⁴ были люди сильно бывалые, хожалые и ѣзжалые. Ходили по (крымск) анатольскимъ берегамъ, по крымскимъ солончакамъ и степямъ, по всѣмъ рѣчкамъ, большимъ и малымъ, которыя впадали въ Днѣпръ, по всѣмъ заходамъ и днѣпровскимъ островамъ; бывали въ молдавской, волошской, въ турецкой землѣ; изѣздили все Черное море; нападали въ пятьдесятъ челновъ въ рядъ на самыя богатые и высокія корабли, перетопили не мало турецкихъ галеръ, и много, много (выстр пороху) выстрѣляли пороху на своемъ вѣку; не разъ драли на онучи

дорогіе паволоки и оксамиты; не разъ череши у штанныхъ¹ очкуровъ набивали все чистыми цѣлками. А (счесть бы нельзя) сколько всякій изъ нихъ попропиваль добра, ставшаго бы иному на всю жизнь, того и счесть нельзя. Все спустили², по козацки угощая виномъ весь міръ и нанимая музыку по улицамъ, чтобы всѣмъ было весело за весельемъ добрыхъ козаковъ. Еще и теперь у рѣдкаго изъ нихъ не было закопано добра: кружекъ серебряныхъ, ковшей и запастевъ, подъ камышами на днѣпровскихъ островахъ, чтобы не довелось татарину найти его, если въ случаѣ посчастливится ему напасть врасплохъ на Сѣчь; но трудно было бы татарину найти его, потому что и самъ хозяинъ уже сталъ забывать, въ которомъ мѣстѣ закопалъ его. Такіе-то были козаки, захотѣвшіе остаться и отмстить ляхамъ за вѣрныхъ товарищей и Христову вѣру! Старый козакъ Бовдюгъ захотѣлъ также остаться съ ними, сказавши: „Мнѣ хорошо будетъ и здѣсь: я сдѣлался теперь не такой³, чтобы гоняться за татарами, а тутъ есть (дѣ) мѣсто, гдѣ бы опочить доброю козацкою смертью. Давно уже просилъ я у Бога⁴, чтобы, если придется кончать жизнь, то чтобы кончить ее на войнѣ за святое и христіанское дѣло. Такъ оно и случилось. Славнѣйшей кончины уже не будетъ въ другомъ мѣстѣ для стараго козака“.

Когда отдѣлились всѣ и стали на двѣ стороны, въ два ряда куренями, кошевой прошелъ межъ рядовъ и сказалъ: „А что, довольны козаки одна сторона другою?“

„Всѣ довольны, батько!“ отвѣчали козаки.

„Ну, такъ поцѣлуйте же и дайте другъ другу прощаніе, потому что Богъ знаетъ, приведется ли въ жизни еще увидѣться. Слушайте своего атамана, а исполняйте то, что сами знаете: сами знаете, что велитъ козацкая честь“.

И всѣ козаки, сколько ихъ ни было, перецѣловались между собою. Начали первые атаманы и, поведши рукою сѣдые усы свои, поцѣловались навкрестъ и потомъ взялись за руки и крѣпко держали руки. Хотѣлъ одинъ другаго спросить: „Что, пане-брате, увидимся, или не увидимся?“ да и ничего не спросили, и замолчали, и загадались обѣ сѣдые головы, и одинъ Богъ только знаетъ, о чемъ они думали и гадали. А козаки, до одного всѣ, прощались, зная, что много будетъ работы тѣмъ и другимъ; но не повершили, однакожъ, тот-

часть разлучиться, а повершили дожидаться темной ночной поры, чтобы не дать неприятелю увидѣть убыль въ козацкомъ войскѣ. Потомъ всѣ отправились по куренямъ обѣдать. Послѣ обѣда всѣ, которымъ предстояла дорога, легли отдыхать и спали крѣпкимъ догымъ сномъ, какъ будто чуя, что, можетъ, послѣдній сонъ доведется имъ вкусить на такой свободѣ. Спали до самага заходу солнечнаго, а какъ зашло солнце и немного стемнѣло, стали мазать телѣги. И какъ все снаряжилось, пустили впередъ возы, а сами, пошاپковавшись еще разъ съ товарищами, тихо пошли за ними и спускались все ниже по дорогѣ и скоро совсѣмъ ихъ не видно было въ темнотѣ: глухо отдавались топотанья конныхъ, да скрипъ инаго (телѣги) колеса, которое еще не расходилось или не было (за темнотою) хорошо подмазано за ночною темнотою.

Долго еще остававшіеся товарищи¹ махали имъ издали руками, хотя и не было ничего видно; а когда² сошли и воротились по своимъ мѣстамъ, когда увидѣли при высвѣтившихъ³ ясно звѣздахъ, что половины телѣгъ уже не было⁴ на мѣстѣ, что многихъ-многихъ нѣтъ, невесело стало у всякаго на сердцѣ и задумались противъ воли, утупивши въ землю гульвивыя свои головы, козаки. Видѣлъ Тарасъ, что смутны стали козацкіе ряды и что (то) уныніе, неприличное храброму, стало тихо обнимать козацкія головы, но молчалъ: онъ хотѣлъ дать время всему, чтобы пообыклись они и къ уныню, наведенному (товарищу) прощаньемъ съ товарищами; а въ тишинѣ готовился разомъ и вдругъ разбудить ихъ всѣхъ, гикнувши по козацки, чтобы вновь и съ большею еще силою, чѣмъ прежде, воротилась бодрость⁵.

и зналъ, какъ (чтобы) въ одинъ мигъ всѣхъ настроить, какъ одного, и далъ приказъ слугамъ своимъ итти къ большому возу распаковать его. Больше и крѣпче всѣхъ другихъ въ козацкомъ обозѣ былъ одинъ возъ: двойною крѣпкою шиною были обтянуты дебелия колеса его, грузно былъ онъ навьюченъ, укрытъ сверху попонами и крѣпкими воловьими кожами и увязанъ туго (крѣпкими) засмоленными веревками. Въ томъ возу были все⁶ баклаги и боченки стараго добраго вина. Все время стоялъ онъ закрытый и увязанный, потому что зналъ Бульба, какъ неприлично и не годится давать войску въ по-

ходѣ и дѣлѣ вина, ради гульливой козацкой натурѣ¹. Но взявъ на сей разъ самаго лучшаго и крѣпкаго вина, какое было въ погребѣхъ его про торжественный случай: если случится какая великая минута и будетъ предстоять дѣло, сильно достойное на передачу потомкамъ, то чтобы всякому до единого козаку досталось выпить по доброму ковшу заповѣднаго вина, чтобы въ великую минуту великое и чувство владѣло человѣкомъ. Услышавъ полковничій приказъ, слуги бросились къ возамъ, палашами перерѣзывали крѣпкія веревки, снимали толстыя воловьѣ кожи и попоны и стаскивали съ воза баклаги и боченки.

„А берите всѣ“, сказалъ Бульба: „(берите) всѣ¹, сколько ни есть, берите (все), что у кого есть: ковшъ, или корчики, которымъ поить коня, или рукавицу, или шапку, а коли что, то и просто подставляй обѣ горсти“.

И козаки всѣ, сколько ни было ихъ, почувли великую радость и всякій бралъ: у кого былъ ковшъ, у кого корчики, которымъ поилъ коня, у кого рукавица, а кто подставлялъ и такъ обѣ горсти. Всѣмъ имъ слуги Тарасовы, расхаживая промежъ рядами, наливали изъ баклагъ и боченковъ. Но не приказалъ никому изъ нихъ Тарасъ пить до тѣхъ поръ, пока онъ не дастъ знаку, чтобы выпить имъ всѣмъ разомъ. Видно было, что онъ хотѣлъ что-то сказать; ибо зналъ Тарасъ, что, какъ ни хорошее само по себѣ старое хорошее вино и какъ ни способно оно укрѣпить духъ человѣка, но если къ нему да (прибав) присоединится еще приличное слово, то вдвое будетъ крѣпче сила духа.

„Я угощаю васъ, паны-братья“, такъ сказалъ Бульба: „не въ честь того, что вы сдѣлали меня своимъ атаманомъ, — (хотя) какъ ни велика подобная честь, — не въ честь также прощанья съ братьями-товарищами: нѣтъ! въ другое время прилично и то, и другое; не такая теперь передъ нами минута. Передъ нами дѣла великаго поту и всей козацкой доблести. Итакъ, выпьемъ, товарищи, всѣ разомъ, всѣ, сколько ни есть, выпьемъ за святую православную вѣру: чтобы пришло, наконецъ, такое время, чтобы по всему свѣту разошлась и была вездѣ одна святая вѣра и всѣ, сколько ни есть бусурмановъ, всѣ бы сдѣлались христіанами! Да за однимъ уже разомъ и за Сѣчь: чтобы долго она стояла на погибель всему бусур-“

манству, чтобы съ каждымъ годомъ выходили изъ нея молодцы одинъ одного лучше, одинъ одного краше! Да уже вмѣстѣ выпьемъ и за нашу собственную славу: чтобы сказали внуки и сыны тѣхъ внуковъ, что были когда-то такіе, которые не постыдили товарищества и не выдали своихъ. Такъ за вѣру, пане-братове, разомъ за вѣру!“

„За вѣру!“ загомонѣли всѣ стоявшіе въ ближнихъ рядахъ густыми голосами. „За вѣру!“ подхватили дальніе. И все, что ни было, и старое, и молодое, выпило за вѣру.

„За Сичь!“ сказалъ Тарасъ и высоко поднялъ надъ головою руку.

„За Сичь!“ отдалося густо въ переднихъ рядахъ. „За Сичь!“ сказали тихо старые, моргнувши сѣдымъ усомъ; и встрепенувшись, какъ молодые соколы, повторили молодые: „За Сичь!“ И слышало далече поле, какъ поминали козаки свою Сичь.

„Теперь послѣдній глотокъ, и выпьемъ, товарищи, за славу и за всѣхъ христіанъ, какіе живутъ на божьемъ свѣтѣ!“

И выпили козаки послѣднее — весь глотокъ, какой оставался¹ въ ковшахъ, за славу и христіанъ. И долго еще повторялось по всѣмъ рядамъ, промежъ всѣми куренями²: „за славу и за христіанъ!“ Давно уже было пусто въ ковшахъ, а все еще стояли козаки, держа въ рукахъ ихъ и не опуская мускулистыхъ загорѣлыхъ рукъ своихъ. Хоть весело глядѣли очи ихъ всѣхъ, просіявшія виномъ, но сильно загадались они. Не о корысти и о военномъ прибыткѣ теперь думали, не о томъ, кому посчастливится набрать червонцевъ, дорогого оружья, шитыхъ кафтановъ и черкесскихъ коней, — загадались они, какъ орлы, сѣвшіе на вершинахъ каменистыхъ горъ, съ которыхъ далеко видно разстилающееся безпредѣльное море съ несущимися по немъ, какъ мелкія птицы, галерами, кораблями и всякими судами, и чуть мелькали тонкою чертою поморья съ прибрежными, какъ мошки, городами и склонившимися къ низу лѣсами. Какъ будто всѣ они озирали вокругъ себя мысленными очами все поле и будущую, чернѣющую вдали судьбу свою, гадая, что будетъ, будетъ все поле съ облогами и дорога³ покрыта торчащими ихъ бѣлыми костями, щедро обмывшись⁴ козацкою ихъ кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и копьями: далече раскинутся чубатыя головы съ перекрученными и запекшимися въ крови

чубами и красиво запущенными къ низу лоснящимися¹ усами; будутъ, налетѣвъ, орлы, выдирать и выдергивать изъ нихъ козацкія очи. Но добро великое въ такомъ широко и вольно разметавшемся смертномъ ночлегѣ. Не погибаетъ ни одно великодушное дѣло, и не пропадетъ, какъ малая порошинка съ ружейнаго дула, козацкая слава. Будетъ, будетъ бандуристь съ сѣдою по грудь бородою, а, можетъ, еще полный зрѣлаго мужества, но бѣлоголовый старецъ вѣщій духомъ², и скажетъ онъ про нихъ свое густое, могучее слово. И пойдетъ дыбомъ по всему свѣту о нихъ слава, и все, что ни народится потомъ, заговорить о нихъ: ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной мѣди, въ которую много повергнулъ мастеръ дорогаго чистаго серебра, чтобы далече, по всѣмъ городамъ и весямъ, лачугамъ и палатамъ, разносился звонъ, сзывая равно всѣхъ на святую молитву.

X.

Никто не узналъ въ городѣ, что половина запорожцевъ выступила въ погоню за татарами. Видѣли съ магистратской башни стоявшіе часовые, что потянулась часть возовъ за лѣсъ; но подумали всѣ, что (самъ) козаки готовились сдѣлать засаду, и того же мнѣнія былъ и самъ французскій инженеръ. А между тѣмъ въ городѣ сталъ оказываться значительный³ недостатокъ въ сѣстныхъ припасахъ. Слова кошеваго оправдались. Казалось, по обычаю прошедшихъ вѣковъ, войска, вступая въ городъ, не слишкомъ разочли, что имъ нужно — и для нихъ, и для гражданъ. На зарѣ положили сдѣлать вылазку, но довольно неудачно: половина была тутъ же перебита козаками, а половина прогнана въ городъ ни съ чѣмъ. При всемъ томъ вылазка доставила городу пользу: пользуясь ею, жида узнали, Богъ знаетъ, какимъ средствомъ, что въ таборѣ осталась только половина (в) запорожскихъ [войскъ]⁴, а другая половина пошла вовсе не въ засаду, а въ погоню за татарами вмѣстѣ со всѣми военными старшинами.

Тарасъ видѣлъ уже по всему, что въ городѣ что-то готовилось, и не сомнѣвался, что непріятель выйдетъ въ поле, и потому далъ приказъ строиться всѣмъ въ три таборы, окру-

живъ себя возами въ видѣ крѣпостей — родъ битвы, больше всего удававшийся запорожцамъ, въ которомъ они были непобѣдимы. Въ сторону отъ воевъ велѣлъ Тарасъ убить часть поля острыми кольями, изломаннымъ оружіемъ, какое попало на битвенномъ полѣ, копьями и прочими остріями, чтобы нагнать потомъ на нихъ непріятельскую конницу; а части¹ своего полку и двумъ куренямъ велѣлъ засѣсть въ засаду, чтобы, какъ только непріатели завяжутъ (дѣло) перестрѣлку съ таборами, ударить имъ въ тылъ. Отдавши приказъ, что и какъ долженъ дѣлать каждый, Тарасъ хотѣлъ сказать еще короткую рѣчь къ козакамъ не для того, чтобы ободрить и свѣжить: зналъ онъ, что они всѣ и безъ того крѣпки духомъ; а такъ, просто, хотѣлось высказать самому все, что было на сердцѣ.

„Хотѣлось бы мнѣ вамъ, паны-братья“, такъ началъ говорить Тарасъ: „сказать, какъ важно наше товарищество и что такое оно есть на самомъ дѣлѣ. Вы знаете всѣ, въ какой великой славѣ была земля наша. Были князья царскаго рода, пышные города, храмы божьи²: все разграбили и опустошили бусурманы; все пропало; ничего нѣтъ. Остались мы сирые и святая старая земля наша также сирая, покинутая. И подали мы руку на братство, чтобы, какъ вдовицу безпомощную, какъ дряхлую мать, защитить отъ посрамленья. Вотъ, братья, на чемъ стоитъ наше товарищество, которое и безъ того уже есть святое дѣло³. Нѣтъ сильнѣе узъ товарищества. Любовь материнская, отцовская — все не то: и звѣрь любить дитя свое. Но выбрать себѣ родство по душѣ, а не по крови, можетъ только одинъ человекъ. Вездѣ, во всякое время и во всякой землѣ, водились товарищи; но такихъ товарищей, какъ въ русской землѣ, такихъ нѣтъ; есть, да не такіе. Можетъ быть, случилось вамъ пропадать на чужбинѣ, въ плѣну или такъ по⁴ своей волѣ, — видишь: и тамъ тоже люди, сначала свыкаешься съ ними, а какъ разговоришься о томъ, о чемъ бы хотѣлось разговориться въ сердечную минуту — видишь: нѣтъ! умные люди, а не тѣ; такіе же люди, а не тѣ. Нѣтъ, братцы, такъ любить, какъ русская душа, любить не умомъ, а всѣмъ, чѣмъ далъ Богъ, что ни есть въ тебѣ, любить всей душою — такъ любить никто не можетъ. Конечно, теперь подло завелось на нашей землѣ⁵. Думаютъ только,

какъ бы цѣлы были хлѣбныя скирды, да при нихъ были бы конныя табуны ихъ, овечьи стада, да степовыя хутора; перенимаютъ, чортъ знаетъ, какіе бусурманскіе обычаи, гнушаются говорить языкомъ своимъ. Милость короля, а чтобы еще болѣе сказать по правдѣ, милость польскаго магната, который желтымъ чоботомъ своимъ бьетъ ихъ въ морду, для нихъ дороже всякаго братства. Но у послѣдняго подлюки, каковъ ни есть, потерявшаго имя человѣка въ низкопоклонничествѣ, есть и у него, — будь только онъ русскаго рода, а не какая чуждая¹ примѣсь, — есть чувство въ душѣ. Хоть [что]² хочь говори, а я стою, что есть русское чувство и когда-нибудь да проснется оно въ немъ — и схватитъ³ онъ, горемычный, обѣими руками себя за голову, и вскрикнетъ⁴, и проклянетъ всю подлую жизнь, готовый смертными муками искупить покрытыя позоромъ дѣла свои. Такъ пусть же теперь знаетъ все бусурманство, что такое значить товарищество въ русской землѣ и какъ стоять въ немъ братъ за брата. Если уже умирать, такъ пусть они придутъ, посмотреть, какъ мы будемъ умирать. Да никому же изъ нихъ и не доведется, и во снѣ не приснится такъ умирать, какъ станемъ умирать. Никому! Никому! Пусть они и не думаютъ о томъ, и въ мыслѣ пусть о томъ не приходитъ то нестаточное для всякаго другаго: нечеловѣческихъ силъ ему нужно для того. Нѣтъ! не доведется никому! никому!“⁵.

Такъ говорилъ атаманъ и, когда кончилъ, все еще трясъ посеребрившеюся боевою головою. Всѣхъ, кто ни стоялъ, разобрала сильно такая рѣчь, дошедъ далеко до самаго сердца. Самые старѣйшіе въ рядахъ стояли неподвижно, потупивъ съдвѣя головы въ землю; слеза тихо накатывалась въ старнхъ очахъ, медленно стирали они ее рукавомъ. И потомъ всѣ, какъ будто сговорившись, махнули въ одно время рукою и потрясли бывалыми головами. Знать, видно, много напомнилъ имъ старый Тарасъ знакомаго и лучшаго, что бываетъ на сердцѣ у человѣка⁶, котораго умудрили горе, напасти, радость, и удаля, и всякое невзгодье жизни, или который, не познавъ ихъ, много почувалъ молодою жемчужною душою⁷ на вѣчную радость старцамъ родителямъ, родившимъ его: ибо мудростью равенъ Богу человѣкъ, когда, не испытавъ, уже чувствуетъ, что такое радость, горе.

А между тѣмъ, ударяя въ трубы и литавры, съ подбоденнѣеюся удалю, выступали одинъ за другимъ (польскія войска) изъ городскихъ воротъ польскія войска. Козаки всѣ въ одинъ мигъ кинулись по своимъ мѣстамъ и стали за телѣги: сильно каждый изъ нихъ хотѣлъ попробовать дѣла. Немного было такихъ, которые были на коняхъ; всѣ стояли въ таборахъ пѣшіе. Между непріятелями тоже много было пѣшихъ: какъ видно, узнали ляхи, что конницею немного можно было взять тамъ, гдѣ уже укоренились козаки и стали въ таборы. Тотъ же самый толстый полковникъ, разѣзжая на сивомъ¹ аргамкѣ, давалъ приказы, — и стали наступать тѣсно ляхи на козацкіе таборы, грозя и нацѣливаясь въ пищали, сверкая глазами и блеща мѣдными доспѣхами. Какъ только завидѣли козаки, что подошли на ружейный выстрѣлъ, всѣ разомъ грянули въ семипядныя пищали (палили) и, не перерывая, все палили изъ пищалей. И далеко понеслось громкое хлопанье по всѣмъ окрестнымъ полямъ и нивамъ, сливаясь въ непрерывный гулъ. Дымомъ затянуло все поле. А запорожцы все палили, не переводя духа. Задніе только заряжали пищали, да подавали переднимъ, наводя изумленіе на непріятелей, не могшихъ понять, какъ стрѣляли козаки, не заряжая ружей. Уже не видно было, за великимъ дымомъ, обнявшимъ то и другое воинство, не видно было, какъ то одного, то другаго не ставало въ рядахъ; но чувствовали ляхи, что густо летѣли пули и жарко становилось дѣло; и когда попытались назадъ, чтобы удалиться немного отъ дыма и оглядѣться, то многихъ не досчитались въ рядахъ своихъ, а у козаковъ, можетъ быть, другой-третій былъ убитъ на всю сотню. И все продолжали палить козаки изъ пищалей, ни на минуту не давая промѣутка. Самъ иноземный инженеръ изумился и, будучи въ душѣ истый артистъ, не вытерпѣлъ, чтобы не закричать: „Браво, месье запороги! Вотъ она, Сакредѣ, настоящая тактика! Вотъ чтѣ нужно завести у насъ!“ Полюбовавшись еще издали и видя, что нельзя взять перестрѣлкою изъ мелкаго ружья, онъ далъ совѣтъ полковнику обратить всѣ пушки прежде на одинъ табороъ и грянуть въ ядра. Попытались и отступили ряды, стрѣлая только для виду, а сзади артиллеристы наводили пушки. Тяжело ревнули широкими горлами чугуныя пушки: дрогонула, далеко застугунѣвши, земля и вдвое больше

затянуло дымомъ все поле. Почули запахъ пороху среди улицъ и площадей¹ въ дальнихъ городахъ. Но слишкомъ высоко взяли нацѣлившіе: выгнули слишкомъ высокую дугу раскаленные ядра и, страшно засвиставъ по воздуху, перелетѣли черезъ головы всего табора и углубились далеко въ землю, взорвавъ и взметнувъ далеко на воздухъ черную землю. Ухватилъ себя за волосы французскій инженеръ при видѣ такого неискусства и прискакалъ на конѣ изъ другой батареи, которую равнялъ и наводилъ, и самъ принялся наводить пушки подъ самыми выстрѣлами, потому что запорожцы въ отвѣтъ грянули тоже изъ четырехъ фальконетовъ, — не ядрами, а мелкою картечью. Но не убоаяся бодрый духомъ² инженеръ выстрѣловъ мѣтко палившей³ пушки, далъ приказъ подвести еще другія двѣ и съ фитилемъ въ рукѣ⁴ самъ взялся выпалить изъ огромной пушки, какой еще и не видали дотогдѣ козаки: страшно глядѣла она широкою пастью и тысяча смертей глядѣло оттуда. Уже всѣ поднесли фитили, и одинъ (только) мигъ, и не было бы въ поминѣ лучшей части козацкаго табора — всего уманскаго и поповичевскаго куреня, досталось бы незамайковскому тоже; но въ это время ударилъ съ полкомъ своимъ и стебликывскими козаками прямо въ тылъ атаманъ Тарасъ. Выбили фитили изъ рукъ передніе козаки и съ крикомъ потѣснили (поль) смѣшавшіеся польскіе ряды на таборы, а таборные козаки разомъ приняли ихъ въ картечи. Увидѣли лахи, что не можно⁵ отбиваться (защитъ) съ двухъ сторонъ и защищать разомъ и грудь, и спину, выбѣжали въ поле вмѣстѣ съ хоругвью, гдѣ уже строились⁶ вновь полки, выкинувъ шеestero малѣванныхъ знаменъ.

„А ну же, всѣ охочьи, бойкіе на коняхъ, знающіе, какъ вывернуться по козацкому обычаю, скорѣй на задирачь!⁷ Кто хочеть (пробиться) славы добиться, сквозь непріятелиа пробиться?“ крикнулъ на козаковъ атаманъ Тарасъ. И тотчасъ стали садиться на коней всѣ, которые были позадорнѣй и любили погулять (по) рыцарскимъ обычаемъ — одиночкой (межъ) съ конемъ по непріятелискимъ рядамъ: (По) Мыкола Густый, (Хома) Задорожній, Иванъ Закрутыгуба поскакали на коняхъ впередъ. Но (еще) удалось ли бы имъ прорваться еще⁸ сквозь непріятелискую конницу, или нѣтъ, а уже куренный атаманъ Кукубенко, забравши съ собою десятковъ пять козаковъ, уда-

рилъ, какъ свѣгъ на голову: истопталъ¹ конями не мало народу, пробился сквозь ряды, всѣхъ сбивши съ² мѣсть и прискакалъ (на коняхъ) съ пойманными на арканъ невольниками прямо къ козацкимъ таборамъ, подведя такимъ образомъ всѣхъ, которые погнались, опять подъ козацкіе выстрѣлы. (Козакъ) Мыкола Густый ворвался слѣдомъ за нимъ и вбился глубоко въ кучу: не подгадилъ козацкой славы, изсѣкъ въ капусту первыхъ, которые попались, разрубилъ на ихнемъ³ (Бунчужномъ) капитанѣ желѣзную рубашку съ блестящими на ней серебряными и мѣдными кольцами; да схватили, однакоже, его самого три копыя и подняли передъ козацкими рядами, а сотникъ королевскаго войска, прискакавшій на конѣ, однимъ взмахомъ сабли отрубилъ ему могучую голову. Только и успѣлъ выговорить бѣдняга: „Дай, Боже, миръ всему христіанству и поношеніе недовѣркамъ католицкимъ!“ Завидѣлъ Иванъ Закрутыгуба, что уже могучая голова Мыколы выкинута на копьѣ передъ войскомъ, кинулся впередъ, какъ голодный волкъ кидается на баранье стадо, позабывъ про то, что есть лихія собаки въ стадѣ и что не даромъ приставленъ расторопный пастухъ. Изъ старыхъ былъ онъ козаковъ; много претерпѣлъ онъ на вѣку, подстрекнутый рыцарскою доблестью на сильно отважныя дѣла. Шесть лѣтъ атаманствовалъ на морѣ надъ семью тысячами козаками; и чего не испытали они всѣ? Погуляли они прежде (сильно) на турецкомъ поморьѣ: (четыре) пять городовъ обратили въ пень и пепель, обобрали мечеть, набрали безъ счету дорогихъ киндяковъ, турецкой бѣлой габы, парчей и всякихъ золотошвенныхъ убранствъ; да не успѣли уйти отъ вражыхъ галеръ: всѣхъ ихъ поймали недовѣрки бусурманскіе и забрали въ неволю. Желѣзными цѣпами взяли по рукамъ и по ногамъ и стянули больно каждого тройнымъ корабельнымъ канатомъ; по цѣлымъ недѣлямъ не давали пшена и поили противной морской водой. Все выносили и терпѣли бѣдные невольники, только бы не перемѣнять православной вѣры; (одинъ) не вытерпѣлъ только атаманъ Закрутыгуба: истопталъ ногами святой законъ, скверною чалмой обвилъ грѣшную свою голову, вошелъ въ довѣренность къ папѣ, сталъ ключникомъ на кораблѣ и главнымъ начальникомъ надъ плѣнниками. Много опечалились отъ того бѣдные невольники, ибо знали, что, когда свой братъ (перемѣнивши), продавшій

душу и приставшій къ угнетателямъ, сдѣляется начальникомъ, то вдвое тяжелѣй рука его и горше подъ нимъ быть, чѣмъ подъ всякимъ нехристомъ. Такъ и сбылось. Велѣлъ исправить (на всѣхъ) Закрутыгуба на всѣхъ невольникахъ новыя замки; взялъ въ новыя цѣпи, посадивши ихъ тѣсно по три въ рядъ; прикрутилъ до самыхъ бѣлыхъ костей жестокия веревки, всѣхъ перебилъ по шеямъ, не пропустивъ никого, угощая зуботычинами и напатыльниками: коренастый и широкоскулистый былъ у козака кулакъ. Обрадовался папа и турки, что имѣли такого вѣрнаго слугу, дарили его и стали пировать. И когда перепились одинъ разъ всѣ турки, позабывши турецкій законъ и коранъ свой, Закрутыгуба пилъ (и самъ) съ ними. угощалъ и разливалъ вино (всѣмъ); пилъ и самъ, а еще больше того выливалъ черезъ бортъ. И какъ повалились сонныя всѣ на земь, онъ принесъ всѣ шестьдесятъ четыре ключа и роздалъ невольникамъ¹, чтобы отмыкали себя, бросали бы цѣпи и кандалы въ море, брали сабли и рубили бы всѣхъ турковъ. Много набрали тогда козаки добычи и воротились со славою въ отчину. И долго бандуристы прославляли Закрутыгубы. Выбрали бы его въ кошевые, да былъ совсѣмъ чудный козакъ, такъ что иной разъ и понять его было трудно: сдѣлаетъ иногда такое дѣло, какого и мудрѣйшему не придумать, а иногда просто дурь одолѣвала имъ. Мало того, что пропилъ все, что ни было, что задолжалъ каждому козаку, сколько ихъ ни было на Сѣчи; мало всего этого, — онъ еще въ добавку прокрался, какъ уличный воръ: ночью залѣзъ въ чужой курень, забралъ всю козацкую збрую и заложилъ шинкарю. За такое позорное дѣло привязали его на базарѣ къ столпу и положили возлѣ его дубину, мало не въ пудъ вѣсомъ, чтобы всякой по силамъ своимъ отвѣсилъ...



МАЛОРОССІЙСКІЯ СЛОВА,

ВСТРѢЧАЮЩІЯСЯ ВЪ ПЕРВОМЪ ТОМѢ.

Бандура,	инструментъ, родъ гитары.
Баклага,	родъ плоскаго боченка.
Батогъ,	кнуть.
Барвинокъ,	растенье.
Баштанъ,	мѣсто, засѣянное арбузами и дынями.
Болячка,	вередь.
Бондарь,	бочарь.
Бубликъ,	круглый крендель, баранокъ.
Будякъ,	чертополохъ.
Бурякъ,	свекла.
Буханецъ,	небольшой бѣлый хлѣбъ.
Варенуха,	вареная водка съ пряностями и плодами.
Вертепъ,	кукольный театръ.
Вечера, вечерять,	ужинъ, ужинать.
Видлога,	откидная шапка изъ сукна, пришитая къ кобеняку.
Винница,	винокурня.
Вояка,	воинъ.
Выкрутасы,	трудные па.
Габа,	движимость, имущество.
Галушки,	клѣцки.

Гаманъ,	родъ бумажника, гдѣ хранится огни- во, кремень, трутъ, табакъ, иногда и деньги.
Гатить,	дѣлать плотину.
Голодная кутя,	сочельникъ.
Голодрáбець,	бѣднякъ, бобыль.
Гопáкъ	} танцы.
Гóрлица	
Гречáникъ,	гречневый хлѣбъ.
Гусáкъ,	гусь-самецъ.
Далибугъ,	ей Богу (польское).
Дѣвчина, дѣвчата,	дѣвушка, дѣвушки.
Дижá,	кадка.
Добрóдию,	сударь, милостивецъ.
Дóвбишь,	литаврщикъ.
Домовíна,	гробъ.
Дрибúшки,	мелкія косы.
Дúля,	шишь.
Дукáтъ,	червонецъ.
Жíнка,	жена.
Жупáнъ,	родъ кафтана.
Завзýтый,	задорный.
Зáводы,	заливъ.
Загадáться,	задуматься.
Замурóванный,	задѣланный камнемъ.
Знахоръ, — ка,	колдунъ, ворожея.
Исподни́ца,	юбка.
Кавúнь,	арбузь.
Каганéць,	свѣтильникъ, состоящій изъ черепка, наполненнаго саломъ.
Казáнъ,	котель.
Канúперъ,	травá.
Канчúкъ,	нагайка.
Карбóванецъ,	цѣлковый.
Кацáтъ,	русскій мужикъ съ бородой.
Кáчка,	утка.
Клѣпки,	выпуклыя дощечки, изъ которыхъ составляется бочка.
Книшь,	родъ печенаго бѣлаго хлѣба.

Бнуръ,	боровъ.
Кобенякъ,	родъ суконнаго плаща, съ пришитою сзади видлогою.
Кожухъ,	тулупъ.
Комбра,	амбаръ.
Корабликъ,	старинный головной уборъ.
Коржъ,	сухая лепешка изъ пшеничной муки, часто съ саломъ.
Коровай,	свадебный хлѣбъ.
Корчикъ,	родъ деревяннаго ковша, которымъ пересыпаютъ хлѣбъ, совокъ.
Коханка,	возлюбленная.
Кунтушь,	верхнее старинное платье.
Курень,	соломенный шалапъ.
Курень у запорожцевъ,	отдѣленіе военнаго стана запорож- цевъ.
Кухоль,	кружка.
Кухва,	родъ кадки.
Левада,	поле, окопанное рвомъ.
Лихо, лишечко,	бѣда.
Лысый дидько,	домовой, демонъ.
Люлька,	трубка.
Мазница,	родъ ведра, въ которомъ держатъ деготь въ дорогѣ.
Макитра,	горшокъ, въ которомъ трутъ макъ и прочее.
Макогонъ,	пестъ для растиранія.
Малахай,	плеть.
Миска,	чашка для похлебки.
Мнѣшки,	кушанье изъ муки съ творогомъ.
Молодица,	молодая, замужняя женщина.
Нагѣдка, нагѣдочка,	ноготокъ, растеніе.
Наймать,	нанятой работникъ.
Наймычка,	нанятая работница.
Намитка,	бѣлое женское покрывало изъ рѣдкаго полотна, съ откидными концами.
Нечуй-вѣтеръ,	трава, которую даютъ свиньямъ для жиру.

Оселѣдецъ,	длинный блокъ волосъ на головѣ, за- матывающійся за ухо; въ собствен- номъ смыслѣ — сельдь.
Охочекомонный,	вольныя кавалерійскія войска.
Очерѣтъ,	тростникъ.
Очѣпокъ,	родъ женской шапочки.
Очкуръ,	шнурокъ, которымъ стягиваются ша- ровары.
Паляница,	небольшой хлѣбъ, нѣсколько плоскій.
Пампушки,	вареное кушанье изъ тѣста.
Пасичникъ,	пчеловодъ.
Парубокъ,	парень.
Пейсики,	жидовскіе локоны.
Пекло,	адъ.
Перепѣличка,	молодая перепелка.
Перѣкупка,	торговка.
Переполохъ,	испугъ; выливать переполохъ — лѣ- чить отъ испуга.
Петровы батоги,	дикій цыкорій.
Пивкопы,	двадцать пять копѣекъ.
Плахта,	нижняя одежда женщинъ изъ шерстя- ной клѣтчатои матеріи.
Повѣтъ, — о́вый,	уѣздъ, уѣздный.
Повѣтка,	сарай.
Подсудокъ,	засѣдатель уѣзднаго суда.
Позовъ,	тяжебное прошеніе.
Полова,	мякина.
Полутабенѣкъ,	старинная шелковая матерія.
Покуть,	мѣсто подъ образами.
Пошапковаться,	поздороваться.
Псяюха,	польское бранное слово.
Пыщикъ,	пищалка, свистокъ.
Путря,	кушанье, родъ каши.
Рада,	совѣтъ.
Раздобрѣтъ,	растолстѣтъ.
Рейстрóвый козакъ,	козакъ, записанный на службу.
Ручникъ,	утиральникъ.
Рухеніе,	ополченіе.
Сажъ,	мѣсто, гдѣ откармливаютъ скотину.

Саламата,	толокно.
Свѣтка,	родъ полукафтаныя.
Свѣлокъ,	перекладина подъ потолкомъ.
Синдѣчки,	узкія ленты.
Скрѣня,	большой сундукъ.
Сластѣны,	пышки.
Сливѣнка,	наливка изъ сливъ.
Смѣлецъ,	гусиный жиръ.
Смѣшки,	мерлушки.
Сбѣяшница,	боль въ животѣ.
Сопѣлка,	дудка, свирѣль.
Стрички,	ленты.
Стусѣнъ,	кулакъ.
Сукѣнѣ,	одежда женщинъ изъ сукна.
Сулѣя,	большая бутылъ.
Сыровѣць,	хлѣбный квасъ.
Тендѣтный,	слабосильный, нѣжный.
Тройчатка,	тройная плеть.
Тѣсная баба,	игра, въ которую играютъ школьники въ классѣ: жмутся на скамѣ, пока- мѣстъ одна половина не вытѣснитъ другую.
Утрибка,	кушанье изъ внутренностей.
Хлѣпецъ,	мальчикъ.
Хѣторъ,	небольшая деревушка.
Хѣстка,	платокъ.
Цѣрка,	дѣвушка, дочь (польское).
Цѣбуля,	лукъ.
Черевѣки,	башмаки.
Черенѣкъ съ червонцами:	поясъ, въ который насыпали чер- вонцы.
Чубъ	} длинный клокъ волосъ на головѣ.
Чупрѣна	
Чумаки,	обозники, ѣдущіе въ Крымъ за солью и на Донъ за рыбою.
Шѣшка,	небольшой хлѣбъ, дѣлаемый на свадь- бахъ.
Швецъ,	сапожникъ.
Шѣбеникъ,	висѣльникъ.

• юшка,
ятка,
ясочка,
Яломбѣ,

супъ, жижа.
родъ палатки или шатра.
свѣтиль мой.
жидовская шапочка.



Примѣчанія редактора и варианты.

Вечера на хуторѣ близъ Динаньни.

Въ изданіяхъ „Сочиненій Гоголя“ — первомъ, вышедшемъ въ Петербургѣ въ 1842 году въ четырехъ томахъ, и второмъ, напечатанномъ въ Москвѣ въ 1855—1857 годахъ въ шести томахъ, „Вечера на хуторѣ близъ Динаньки“ занимаютъ первый томъ. Къ нимъ относятся заключительныя строки „Предисловія“ къ первому изданію „Сочиненій Гоголя“. Первая часть этого сборника повѣстей, сдѣлавшая имя Гоголя извѣстнымъ въ литературѣ, появилась въ свѣтъ подъ слѣдующимъ заглавіемъ: „Вечера на хуторѣ близъ Динаньки. Повѣсти, изданныя Пасичникомъ Рудымъ Панькомъ. Первая книжка. Санктпетербургъ. Въ типогр. департ. народ. просвѣщенія. 1831“. (12 д. л.). Цензурное разрѣшеніе подписано такъ: „С.Петербургъ, 26 мая 1831 года. Цензоръ Ст. Сов. Никита Бытурскій“. Страницы I—IV этой книжки заняты шмуцтителемъ и заглавнымъ листомъ; на страницахъ V—XVII включительно помѣщено „Предисловіе“¹⁾; страница XVIII — пустая. На страницахъ XIX—XXII включительно напечатано слѣдующее:

„На всякой случай, чтобы не помянули меня не добрымъ словомъ, выписываю сюда, по Алфавитному порядку, тѣ слова, которыя въ книжкѣ этой не всякому понятны.

Бандура,	инструментъ, родъ гитары.	Бухавецъ,	небольшой хлѣбъ.
Батогъ,	кнузь.	Винница,	винокурня.
Болячка,	золотуха.	Галушки,	кѣлцы.
Бондарь,	бочарь	Голодрабець,	бѣднякъ, бобыль.
Бубликъ,	круглый крендель, баранчикъ.	Гопакъ } Горлица, }	малор. танцы.
Бурякъ,	свекла.	Дивчина,	дѣвушка.
		Дивчата,	дѣвушки.

¹⁾ См. выше, стр. 3—8.

Джа́,	кадка.	Пасичникъ,	пчеловодъ.
Дрибушки,	мѣлкія косы.	Пáрубокъ,	парень.
Домові́на,	гробъ.	Пла́хта,	нижняя одежда жен- щины.
Ду́ля,	шить.	Пéкло,	ады.
Дукáтъ,	родъ медали, носятса на шеѣ.	Перéкулка,	торговка.
Зна́хоръ,	много-знающій, ворожей.	Переполю́къ,	ислугъ.
Жи́нка,	жена.	Пéски,	жидовскіе локоны.
Жупáнъ,	родъ кафтана.	Повѣтка,	сарай.
Каганéцъ,	родъ свѣтлыни.	Полутабенекъ,	шелковая матерія.
Клѣпка,	выпуклыя дощечки, изъ коихъ состав- лена бочка.	Путря,	кушанье.
Книшъ,	родъ печенаго хлѣба.	Рунникъ,	угральникъ.
Кобза,	музык. инструментъ	Свѣтка,	родъ полукафтаныя.
Комóра,	авбаръ.	Сидячки,	узкія ленты.
Кора́бликъ,	головной уборъ.	Сластѣны,	пшкы.
Кунтушъ,	верхнее старинное платье.	Сво́локъ,	перекладина подъ потолкомъ.
Корова́й,	свадебный хлѣбъ.	Сливянка,	наливка изъ сливъ.
Кухоль,	глиняная кружка.	Смѣшки,	бараний мѣхъ.
Лысый дидько,	домовой, демонъ.	Собляшница,	боль въ животѣ.
Лѣлька,	трубка.	Сопілка,	родъ флейты.
Маки́тра,	горшокъ, въ которомъ трутъ макъ.	Стусáнъ,	кулакъ.
Маког'въ,	пестъ для растиранія маку.	Стрѣчки,	ленты.
Малаха́й,	плетъ.	Тройчáтка,	тройная плетъ.
Мі́ска,	деревянная тарелка.	Хло́пецъ,	парень.
Молоди́ца,	замужняя женщина.	Хуторъ,	небольшая дере- вушка.
На́ймъ,	нанятой работникъ.	Ху́стка,	платокъ носовой.
На́ймчка,	нанятая работница.	Цибу́ля,	лукъ.
Оселéдецъ,	длинный клокъ волосъ на головѣ, заматывающійся на ухо.	Чумаки́,	Малор. извошкы.
Очпóкъ,	родъ чепца.	Чуприна, чубъ,	длинный клокъ во- лосъ на головѣ.
Памі́ушки,	кушанье изъ тѣста.	Ші́шка,	небольшой хлѣбъ, дѣ- лаемый на свадь- бахъ.
		Юшка,	соусъ, жижа.
		Ятка,	родъ палатки или шатра.

Слѣдуютъ двѣ неперенумерованныя страницы, занятыя шмуц-тителемъ: на первой напечатано „Сорочинская ярмарка“, вторая пустая.

Съ страницы, слѣдующей за тѣмъ, начинается нумерація арабскими цифрами. На стр. 1—76 включительно напечатана „Сорочинская ярмарка“; на стр. 77—125 включительно — „Вечеръ наканунѣ Ивана Купала“ (двѣ страницы заняты шмуцтителемъ);

стр. 126 пустая. На стран. 127—207 включительно напечатана „Майская ночь, или утопленница“ (двѣ страницы также заняты шмуцтителемъ); стр. 208 пустая. Страницы 209—241 заняты: первыя двѣ — шмуцтителемъ, остальные повѣстью „Пропавшая грамота“. На страницѣ 242-й напечатано въ слѣдующемъ видѣ „Оглавленіе“:

	<i>Стран.</i>
Предисловіе	V
Сорочинская ярмарка	1
Вечеръ на канунъ Ивана Купала	77
Майская ночь или утопленница	127
Пропавшая грамота	209

На перенумерованныхъ страницахъ 243 и 244, подъ заглавіемъ „Опечатки“, помѣщено слѣдующее обращеніе къ читателямъ:

„Не поимъвайтесь, Господа, что въ книжкѣ этой больше ошибокъ, чемъ на головѣ моей сѣдыхъ волосъ. Что дѣлать? Не доводилось никогда еще возитъся съ печатною грамотою. Чтобъ тому тяжело икнулось, кто и выдумалъ ее! Смотришь, совѣтъ какъ будто Иже; а прильдишься, или Нашъ или Покой. Въ глазахъ рябитъ такъ, какъ будто бы кто сталъ пересыпать передъ тобою трубу.“

Вотъ сколько нащиталъ я ошибокъ! Тѣ слова, что выставлены тутъ въ лѣвомъ столбцѣ, если встрѣтятся идѣ, то прошу недо-сматривать, такъ, какъ бы ихъ тамъ и не было, а читать какъ они написаны въ столбцѣ съ правой стороны.

Стран.	Строк.	Напечатано:	Читай:
3	10	восемь сотъ	восемь сотъ
72	17	подбочинившись	подбоченившись
79	5	упросишь	упросишь
9	92*	всего на всего	всего на все
113	9	ералашъ поднялся,	ѣралашъ поднялась,
137	12	теплаго океана	теплаго
148	14	Голова	Голова,
156	15	слыхалъ	слышалъ
158	3	притопывая на нихъ	притопывая
—	6	по приставаля	прильнули
175	14	проведешъ	проведешъ
—	19	паракодъ	пароходъ
185	17	съ верху	сверху
186	1	съѣсть	сжечь
187	7	Богъ знаетъ	Богъ одинъ знаетъ
226	19**	моля	молю.

*) Опечатка; слѣдуетъ стран. 92, строк. 9.

***) Указаннымъ здѣсь страницамъ и строкамъ въ настоящемъ изданіи соотвѣт-

'Во многихъ мѣстахъ, вмѣсто утопленца, напечатано утопленница'.

Не трудно замѣтить, что, кромѣ дѣйствительныхъ опечатокъ, въ приведенный списокъ *типографскихъ* погрѣшностей Гоголемъ внесены и поправки стилистическія и орфографическія. Они, вѣроятно, сообщены ему во время набора и даже по отпечатаніи „Вечеровъ“, передъ выпускомъ ихъ въ свѣтъ, кѣмъ-либо изъ близкихъ лицъ. Такъ, „упросишь, проведешь“ въ списокѣ опечатокъ признаны ошибками вм. „упросишь, проведешь“. Но Гоголь, даже въ своихъ позднѣйшихъ произведеніяхъ, часто слѣдовалъ въ этомъ случаѣ малороссійскому правописанію, употребляя во 2-мъ лицѣ един. числа настоящаго и будущаго времени з вм. ѣ. Напр. въ собственноручной рукописи „Майской ночи“ читаемъ: „изволишь заводить“ (въ печатномъ „изволишь“). Въ первомъ изданіи второй части „Вечеровъ на хуторѣ“ снова найденъ былъ случай такого правописанія („смазываетъ“, стр. 94) и снова будетъ отмѣченъ въ „Опечаткахъ“ (см. ниже прим. ко 2-й ч. „Вечеровъ“). Въ первомъ изданіи „Миргорода“ (1835 г.) и „Ревизора“ (1836 г.) нерѣдко встрѣчаемъ въ указанномъ случаѣ то же правописаніе; напр. „Что ты хочешь?“ „Никакъ не узнаешь; хоть всѣ псалтыри перечитай, то не узнаешь“ (Миргородъ II, 58). Во второмъ изданіи той же первой части „Вечеровъ“ случаи такихъ „опечатокъ“ умножились: такъ на стр. 17 этого изданія: „думаешь“; стр. 58: „побѣжишь“. Мнимую опечатку на стр. 79: „упросишь“ кто-то поправилъ, но однородная на стр. 175 („проведешь“) оставлена въ прежнемъ видѣ. Далѣе, Гоголь постоянно писалъ „всего на всего“, а не „всего на все“; во второмъ изданіи „Вечеровъ“ удержано „всего на всего“ (I, 82). Выраженіе „ералашъ поднялся“, признанное первымъ изданіемъ „Вечеровъ“ *опечаткою* вмѣсто: „ѣралашъ поднялась“, осталось во второмъ изданіи „Вечеровъ“ (I, 99) безъ перемѣнъ. Впрочемъ, Гоголь употреблялъ слово „ералашъ“ какъ существительное женскаго рода. Напр. въ „Запискахъ сумасшедшаго“ читаемъ: „Господи Боже, какую бы вы ералашъ подняли“ (настоящаго изданія V, 359). Вмѣсто: „среди теплаго океана ночнаго

ствуютъ: стран. 10, строка 2; стран. 34, строка 20; стран. 36, строка 6; стран. 40, строка 21; стран. 47, строка 27; стран. 55, строка 10; стран. 59, строка 9; стран. 62, строка 4; стран. 62, строка 28; стран. 69, строка 2; стран. 69, строка 5; стран. 72, строка 30; стран. 72, строка 34; стран. 73, строка 15; стран. 86, строка 32.

воздуха“ во второмъ изданіи „Вечеровъ“, дѣйствительно, напечатано (I, 117): „среди теплаго ночнаго воздуха“, — поправка пуристовъ, едва ли оправдываемая контекстомъ этого мѣста. Неудачная замѣна слова „сѣсть“ словомъ „сжечь“, предложенная кѣмъ-то, подъ предлогомъ опечатки, не принята вторымъ изданіемъ „Вечеровъ“, удержавшимъ „сѣсть“ (I, 158). Наконецъ, неудачная замѣна выраженія: „Богъ одинъ знаетъ“ выраженіемъ: „Богъ знаетъ“, принятая вторымъ изданіемъ „Вечеровъ“ (I, 159), отвергнута первымъ посмертнымъ изданіемъ „Сочиненій Гоголя“, Т, которымъ восстановлено чтеніе перваго изданія „Вечеровъ“. Авторъ поправокъ, предложенныхъ въ спискѣ „Опечатокъ“, намъ неизвѣстенъ.

На послѣдней страницѣ обертки напечатано: „Продается по 7 р. 50 к. Въ книжныхъ магазинахъ: *Смирдина* у Синяго мосту, домъ Гавриловой, *Слѣнина* у Казанскаго мосту, въ домѣ Имзена. Также можно получать и въ прочихъ книжныхъ лавкахъ“. Первая часть „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“ оканчивалась печатаніемъ во второй половинѣ августа 1831 года. Возвратившись изъ Павловска въ Петербургъ, Гоголь 21 августа пишетъ Пушкину: „Любопытнѣе всего было мое свиданіе съ типографіей: только что я просунулся въ двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себѣ въ руку, отворотившись къ стѣнкѣ. Это меня нѣсколько удивило; я — къ фактору, и онъ, послѣ нѣкоторыхъ ловкихъ уклоненій, наконецъ сказалъ, что штучки, которыя извоили прислать изъ Павловска для печатанія, очень до чрезвычайности забавны и наборщикамъ принесли большую забаву. Изъ этого я заключилъ, что я писатель совершенно во вкусѣ черни“ (Русскій Архивъ 1880 г., II, стр. 510). Книга вышла въ свѣтъ въ началѣ сентября. Гоголь изъ Петербурга, 10 сентября, писалъ Жуковскому, жившему въ Царскомъ Селѣ: „Насилу могъ я управиться съ своею книгою и теперь только получилъ экземпляры для отправленія вамъ. Одинъ собственно для Васъ, другой для Пушкина, третій съ сентиментальною надписью для Розетти, а остальные — тѣмъ, кому вы по усмотрѣнію своему опредѣлите. Сколько хлопотъ надѣлала мнѣ эта книга! Три дня я толкался изъ типографіи въ цензур. комитетъ, изъ цензур. комитета въ типографію и наконецъ теперь только перевелъ духъ“ (Русскій Архивъ 1871 г., стр. 946). Посылая свои „Вечера“ матери ко дню ея ангела, въ видѣ подарка, Гоголь писалъ 19 сентября: „Очень

жалѣю, что не могу прислать вамъ хорошаго подарка. Но вы и въ бездѣлицѣ видите мою сыновнюю любовь къ вамъ, и потому я прошу васъ принять эту небольшую книжку. Она есть плодъ отдохновенія и досужныхъ часовъ отъ трудовъ моихъ. Она поправилась здѣсь всѣмъ, начиная отъ Государыни“ (Соч. и письма Гоголя V, 134). Въ „Сѣверной Пчелѣ“ напечатана была подробная рецензія „Вечеровъ“ въ № 219 (вторникъ, сентября 20-го) и въ № 220 (среда, сентября 30-го), довольно благопріятная автору¹: эта рецензія содѣйствовала извѣстности книги въ провинціи, для которой „Сѣверная Пчела“ какъ единственная въ то время „газета политическая и литературная“, была авторитетомъ². Въ № 79 „Литературныхъ прибавленій къ Русскому Инвалиду“, вышедшемъ 3-го октября, появилась рекомендація *Вечеровъ* „публикѣ“, подкрѣпленная письмомъ Пушкина объ этой книгѣ. Отзывъ Пушкина немедленно былъ перепечатанъ во французскомъ переводѣ

¹ Эта рецензія, «сообщенная» въ «Сѣверную Пчелу», подписана буквою В. Самъ Булгаринъ высказалъ о «Вечерахъ» мнѣніе совершенно несогласное съ отзывомъ анонимнаго рецензента. Въ «Письмѣ изъ Петербурга въ Москву къ В. А. У[шакову]» онъ говоритъ: «Книгу «Вечера на хуторѣ близъ Диваньки» я не успѣлъ еще прочесть. Прочелъ предисловіе — и утомился. Развертывая въ нѣсколькихъ мѣстахъ, и описательная проза съ необыкновеннымъ многословіемъ ужасаетъ меня. Не терплю многословія и длиннаго описанія бугровъ и рощей; но, какъ многіе хвалятъ эти повѣсти, то удосужусь прочесть и скажу объ нихъ мое мнѣніе» (Сѣверная Пчела 1831 г., № 289). Общанное мнѣніе высказано было Булгаринимъ лишь при выходѣ второго изданія «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диваньки» (Сѣверная Пчела 1836 г., № 26). Въ книгѣ г. Колбасина «Литературные дѣятели прежняго времени» (стр. 269) сообщается слѣдующее любопытное извѣстіе: «Жуковский и Пушкинъ *упрашивали* его, Воейкова, взять подъ свое покровительство «Вечера» Гоголя, а между тѣмъ самъ Воейковъ болѣе всѣхъ нуждался въ покровительствѣ. Пользуясь давнишней репутаціей когда-то алаго сатарика и знаменитаго критика, онъ дальше перога своего кружка не имѣлъ тогда никакого значенія. Гоголь съ своею всегдашнею проницательностью скорѣе всѣхъ позналъ это, — потому, можетъ быть, и отирившись, какъ вовичекъ, къ г. Булгарину... И Гоголь, если только смотрѣть на это со стороны одной, практической, — былъ совершенно правъ». Къ сожалѣнію г. Колбасина не указываетъ, откуда заимствовано имъ это извѣстіе.

² Въ письмѣ къ А. С. Данилевскому, отъ 1 января 1832 года, Гоголь приводитъ слѣдующій отрывокъ изъ письма Василія Ивановича Чарныша къ автору «Вечеровъ»: «Если вы дадите еще книгу въ свѣтъ *Вечера*, то пришлите для любопытства и прочету. Мы весьма знаемъ, что присланная вами книга есть сочиненіе ваше. Это есть прекраснѣйшее дѣло, благороднѣйшее занятіе. Я читалъ и рекомендацію ей отъ Булгарина въ „Сѣверной Пчелѣ“ очень съ хорошею стороны и къ поощренію сочинителя. Это видѣть пріятно». (Соч. и письма Гоголя V, 143).

въ петербургскомъ еженедѣльникѣ *Le Miroir* (1831, № 35). 2-го ноября Гоголь уже писалъ А. С. Данилевскому: „Порося мое давно уже вышло въ свѣтъ... Оно успѣло заслужить

..... славы дань —

Кривые толки, шумъ и брань“. (Соч. Гоголя V, 139). Въ началѣ марта 1832 г. вышла въ свѣтъ вторая часть „Вечеровъ“. Въ письмѣ къ Погодину изъ Петербурга, отъ 1 февраля 1833 года, Гоголь сообщаетъ: „Смирдинъ отпечаталъ полтораста экземпляровъ 1-й части („Вечеровъ“), потому что второй у него не покупали безъ первой. Я и радъ, что не больше“ (Тамъ же, V, 169).

Одинъ изъ 150 экземпляровъ *второго набора* первого изданія „Вечеровъ“ сохранился въ Московской городской библиотекѣ при Императорскомъ Историческомъ музеѣ. Эта перепечатка не названа *вторымъ* изданіемъ первой части „Вечеровъ“, какъ бы слѣдовало; напротивъ, издатель старался дать ей такой видъ, чтобы она казалась совершенно тождественною съ первымъ изданіемъ книги: послѣдняя перепечатана была въ той же типографіи, строка въ строку, воспроизведены тѣ же „Опечатки“. Впрочемъ, во второмъ наборѣ первой части „Вечеровъ“ проскользнули немногія *отступленія* отъ первого изданія книжки. 1) Изъ опечатокъ, указанныхъ въ описываемой перепечаткѣ, исправлены находившіяся въ первомъ изданіи на страницахъ 3-й („восемь сотъ“), 72-й („подбочивившись“), 79-й („упросишь“) и 148-й („Голова“ съ пропускомъ послѣ этого слова запятой), такъ что списокъ „опечатокъ“, приложенный ко второму набору первой части „Вечеровъ“, не вполне соответствуетъ тексту онаго. 2) Обертка второго набора книжки совершенно отличается отъ обертки первого изданія первой части „Вечеровъ“: заглавіе на первой страницѣ обертки напечатано *более крупнымъ шрифтомъ*, чѣмъ въ первомъ изданіи, — тѣмъ же шрифтомъ, которымъ отпечатано и заглавіе второй части „Вечеровъ“. Объявленіе первого изданія о мѣстахъ продажи книжки, напечатанное на послѣдней страницѣ обертки, замѣнено въ экземплярахъ второго набора слѣдующимъ: „Продается по 7 руб. 50 коп. въ книжномъ магазинѣ А. Смирдина, на Невскомъ проспектѣ, въ домѣ Петропавловской церкви“. Въ указанномъ здѣсь новомъ помѣщеніи магазинъ и библиотека А. Смирдина открыты были 19 февраля 1832 года (Сѣверная Пчела 1832 г. № 45; Новоселье ч. I, стр. III).

Итакъ, первая часть „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“,

вышедшая въ свѣтъ во второй половинѣ сентября 1831 года, была распродана уже къ началу слѣдующаго года.

Въ июлѣ 1832-го года Гоголь уже мечтаетъ о второмъ изданіи обѣихъ частей „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“. Изъ деревни Васильевки онъ пишетъ, 20 іюля, Погодину: „Если будете въ городѣ, дайте знать книгопродавцамъ, авось-либо не купятъ ли 2-го изданія „Вечеровъ на хуторѣ“. Много изъ здѣшнихъ помѣщиковъ посылало въ Москву и въ Петербургъ, нигдѣ не могли достать ни одного экземпляра. Что это за глухой народъ книгопродавцы! Неужели они не видятъ всеобщихъ требованій? Отказываются отъ собственной прибыли! Я готовъ уступить за 3000 р., если не будутъ давать болѣе. Вѣдь это имъ приходится менѣе нежели по три рубли за экземпляръ, а они будутъ продавать по 15 руб. Итого 12 руб. барыша на книгѣ. Пусть они вдругъ продадутъ только 200 экземпляровъ — то вырученная сумма за эти экземпляры уже вдругъ окупить издержки. Остальная 1000 экземпляровъ въ теченіи года или двухъ, вѣрно, разойдутся (sic!), особливо, когда еще выйдетъ новое дѣтище (т. е. продолженіе „Вечеровъ“ — „Миргородъ“). Теперь я бы взялъ отъ нихъ только 1500 р., потому что мнѣ они очень нужны, а остальныхъ я бы могъ подождать мѣсяца два или три“. (Сочиненія и письма Гоголя V, 158 — 159). Мечтамъ Гоголя не суждено было осуществиться въ этомъ году. 1 февраля 1833 года онъ пишетъ тому же Погодину о „Вечерахъ“ совершенно въ другомъ тонѣ: „Вы спрашиваете объ „Вечерахъ Диканьскихъ“. Чортъ съ ними! я не издаю ихъ. И хотя денежные приобрѣтенія были бы не лишнія для меня, но писать для этого, прибавлять сказки не могу. Никакъ не имѣю таланта заняться спекулятивными оборотами. Я даже позабылъ, что я творецъ этихъ „Вечеровъ“, и вы только напомнили мнѣ объ этомъ“ (Тамъ же V, 169). На оберткѣ второй части „Миргорода“ было напечатано слѣдующее извѣстіе: „Въ непродолжительномъ времени выйдетъ второе изданіе *Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки*, его же Гоголя in 8. Цѣна за оба тома 12 руб. Желаящіе могутъ адресоваться заблаговременно къ книгопродавцамъ и получать билетъ“. Цензурное разрѣшеніе втораго изданія „Вечеровъ“ помѣчено „10 ноября 1834 года“; но оно было отпечатано и поступило въ продажу только въ январь 1836 года. Какія обстоятельства задержали появленіе въ свѣтъ этого изданія, неизвѣстно. „Сѣверная Пчела“, извѣщая о выходѣ этой книги, на-

мекнула на то, что произошло замедленіе въ выпускѣ оной, начавши статью такими словами: „Уже *два юда* публика наша съ нетерпѣніемъ ожидала втораго изданія этой прекрасной книги, которая при первомъ своемъ появленіи была принята съ восторгомъ“ (Сѣверная Пчела 1836 г., № 26, суббота, 1 февраля, стр. 101). Рецензіи на второе изданіе „Вечеровъ“ появились въ мартовской книжкѣ „Библиотеки для Чтенія“ 1836 г. (т. XV, отд. VI, стр. 3—4) и въ первой книжкѣ „Современника“ Пушкина, вышедшей въ свѣтъ въ первой половинѣ апрѣля того же года. (Ср. настоящаго изданія V, 650). Послѣдняя рецензія написана Пушкинымъ.

Сорочинская ярмарка (стр. 9—35).

Рукопись этой повѣсти, написанная собственною рукою автора, сохранилась у наслѣдниковъ его. Въ ссылкахъ на эту рукопись мы означаемъ ее буквами РН. Повѣсть занимаетъ четыре неспитыхъ листа обыкновенной писчей бумаги. Первый, третій и четвертый листы рукописи исписаны большею частію крупнымъ и довольно разборчивымъ почеркомъ. (См. на приложенномъ къ этому тому снимкѣ № 1). Первая и послѣдняя страница третьяго листа написаны болѣе мелкимъ и довольно неразборчивымъ почеркомъ. Отдѣльныя главы перемежены арабскими цифрами. Заглавіе „Сорочинская ярмарка“ и „1829“ годъ въ концѣ повѣсти приписаны карандашомъ *впослѣдствіи постороннею рукою*. Въ первомъ изданіи „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“ подъ этою повѣстью не было означено года ея написанія; но во второмъ изданіи „Вечеровъ“ подъ нею выставлено: „1829“. Но эта дата не оправдывается рукописью повѣсти: въ первомъ, третьемъ и четвертомъ листѣ рукописи, дѣйствительно, ясно видны одни и тѣ же водяные знаки съ цифрою „1829“; но во второмъ листѣ водяной знакъ другой, и ясно видна цифра „1830“. Поэтому текстъ „Сорочинской ярмарки“, въ томъ видѣ, какъ его представляетъ рукопись наслѣдниковъ (РН), мы относимъ къ 1830 году. Редакція повѣсти, напечатанная въ первомъ изданіи „Вечеровъ“, немного отступаетъ отъ рукописной: сдѣланы необходимыя стилистическія поправки — замѣнены другими отдѣльныя слова и передѣланы фразы, тяжело построенныя или не приведенныя въ правильную форму. При исправленіи стиля рукописной повѣсти обращено было особенное вниманіе на замѣну малороссійскихъ словъ великорусскими или, просто, на исключеніе первыхъ. Напр. въ рукописи: „Ай да *царна*

дивчина!“ въ „Вечерахъ“: „Ай да дѣвушка!“ Въ рукописи: „Э, голубчикъ! не до пенька прыскачивъ, обманывай другихъ этимъ!“ въ „Вечерахъ“ пословица: „не до пенька прыскачивъ“ исключена. Въ рукописи: „За что же мнѣ, небораку, недобрый поклепъ?“ въ „Вечерахъ“: „но за что мнѣ, несчастливцу, недобрый поклепъ?“ При перепечаткѣ въ „Сочиненіяхъ Гоголя 1842 г.“, П, авторъ не передѣлывалъ „Сорочинской ярмарки“ но Прокоповичъ сдѣлалъ нѣкоторыя стилистическія измѣненія. Болѣе значительныя измѣненія въ изложеніи сдѣланы самимъ Гоголемъ на корректурныхъ листахъ новаго изданія его „Сочиненій“, начатаго въ 1851 году, но оконченнаго и выпущеннаго въ свѣтъ Трушковскимъ въ 1855 году (Т). Характеръ этихъ исправленій можно видѣть изъ приводимыхъ ниже варіантовъ. Въ скобки ставимъ слова, зачеркнутыя въ рукописи.

Стр. 9 ¹П, Т; «громъ» РН, ВД. ²РН, ВД, П; «стога» Т.

Стр. 10 ¹РН, ВД, П; «въ тысячу восемьсотъ» Т. ²Т; «исломленными волами» РН, ВД, П.

Стр. 11 ¹Т; «это сдѣлать гораздо прежде» РН; «это сдѣлать прежде» ВД, П. ²ВД, П; «чудесная рѣка каждый годъ перемѣняетъ свои окрестности (украшенія) — луга и деревья и пролагаетъ новый путь» РН; «она почти каждый разъ перемѣняла свои окрестности, выбирая себѣ новый путь и окружая себя новыми разнообразными ландшафтами» Т. ³Т; «ряды мельницъ поднимали на тяжелыхъ колеса свои» РН, ВД, П.

Стр. 12 ¹Т; «ай да гарна дивчина!» РН; «ай да дѣвушка!» ВД, П. ²Т; «славная дѣвушка!» РН, ВД, П.

Стр. 14 ¹Фраза: «Вотъ же говорили негоціанты о ишеняцѣ», появилась въ первый разъ въ Т; въ РН, ВД, П ея нѣтъ.

Стр. 15 ¹Т; «нашъ знакомецъ» ВД, П; въ РН этого мѣста нѣтъ.

Стр. 16 ¹Т; «Чортъ меня возьми, если я не на четвертый только день послѣ свадьбы» РН, ВД, П.

Стр. 17 ¹РН, ВД. Въ П и Т: «голодранцевъ», хотя въ спискѣ «*Малороссійскими словами, встрѣчающимися въ первомъ и второмъ томахъ*» и П и Т удерживаютъ: «голодрабецъ».

Стр. 19 ¹Т; «Усталое солнце уходило отъ міра и спокойно пылавшій въ полдень и утро дѣвъ и плѣнительно, и грустно, и ярко румянился, какъ щеки прекрасной жертвы неумолимаго (въ рук. ошибка: «неулаимаго») недуга (въ рук. «недугу») въ торжественную минуту ея отлета на небо». РН, ВД, П. Приведенное мѣсто очень ярко опредѣляетъ характеръ измѣненій, сдѣланныхъ изданіемъ Т въ первыхъ произведеніяхъ Гоголя....

Стр. 20 ¹Т; «Долго стоялъ въ недоумѣніи» РН; «долго стоялъ въ недоумѣніи на немъ» ВД, П.

Стр. 21 ¹Т, РН; «что вы выдумаете» ВД, П.

Стр. 22 ¹Т; «въ костюмѣ ужасной свиньи» РН, ВД, П. ²Т; «какъ бы ища чего» РН, ВД; «какъ будто ища чего» П. ³Т; «не севѣмъ изъ храб-

раго десятка» ВД, П.; въ РН этой фразы нѣтъ. ⁴Т; «и имѣли притоны въ избахъ» ВД, П.; «спокойствіе разрушилось и страхъ мѣшалъ всякому сомкнуть глаза свои. Другіе совсѣмъ поубрались, и къ числу послѣднихъ принадлежалъ и (нашъ) Черевикъ» РН.

Стр. 28 ¹Т; «на наваленныя подъ потолкомъ доски» РН; «на наваленныя подъ потолкомъ доски» ВД, П. ²РН, ВД, П; въ Т словъ: «а то» нѣтъ. ³Т; «Господь съ вами! приснилось что ли? Мнѣ только такъ... Нужно бы сходить за нуждою, да, пускай, уже погода немного». Гости усмѣхнулись. Баклажокъ прокатился» РН; «Довольная улыбка показалась на лицѣ высокаго бонимотиста-храбреца» ВД, П. ⁴Т; «поблѣднѣть» ВД, П. ⁵Т; «или, лучше, какъ та красная свитка» ВД, П. ⁶Т; «любопытному его духу» ВД, П; «которому ужасно какъ хотѣлось развѣдать про красную свитку» («котораго любопытство дергало ужасно») РН.

Стр. 24 ¹ВД, П; «о срокѣ жидъ и позабылъ совсѣмъ» РН; въ Т эта фраза пропущена. ²Т; «отдавай свитку мою» РН, ВД, П.

Стр. 25 ¹П, Т; «сповнставлялись» РН, ВД; ²ВД; въ П и Т невѣрно: «Никого». ³П, Т; слова: «жида» нѣтъ въ ВД; «оживилъ его» РН. ⁴Т; «недаромъ всегда, когда вздумывалось ей надѣвать, чувствовала» РН, ВД, П.

Стр. 26 ¹РН, Т; «сѣкиру» ВД, П. ²Т; «снова» РН, ВД, П. ³Т; «сѣкирою» ВД, П; «перекрестилъ сѣкиру, хватилъ въ другой разъ» РН. ⁴Т; «разверстныя пальцы остановились въ судорожной неподвижности въ воздухѣ» РН, ВД, П. ⁵Т; «въ ничѣмъ необходимомъ страхѣ» ВД, П; «въ необходимомъ ужасѣ» РН. ⁶Т; «кричалъ одинъ, повалившись на лавкѣ, болталъ въ ужасѣ руками и ногами» РН, ВД, П. ⁷Т; «горланилъ другой въ отчаяніи, закрывался тулупомъ» ВД; «горланилъ другой въ отчаяніи, закрывшася тулупомъ» П; «голосилъ другой, закрывался тулупомъ» РН. ⁸Т; «изъ своего окаменѣнія» РН, ВД, П.

Стр. 27 ¹Т; «не видя земли подъ собою» РН, ВД, П. ²Т; «уменьшить немного» РН, ВД, П. ³Т; «изъ толпы спавшаго на улицѣ народа» ВД, П; «одинъ цыганъ изъ толпы другихъ» Р. ⁴Т; «на виду» РН, ВД, П.

Стр. 28 ¹Т; «озарялся мѣстами невѣрно и трепетно горѣвшимъ свѣтомъ, они казались дикимъ сомнищемъ гномовъ, окруженныхъ тяжелымъ подземнымъ паромъ и облаками мрака непробудной ночи» ВД, П; «.... цыганъ, которые, озарившись мѣстами невѣрно и трепетно горѣвшимъ огнемъ и отгнѣнные черными всклокоченными волосами, казались дикимъ сомнищемъ гномовъ, окруженныхъ тяжелымъ подземнымъ паромъ и облаками мрака непробудной ночи» РН. ²Т; «исчезнули вмѣстѣ съ освѣтившимъ миръ утромъ» РН, ВД, П. ³Т; «вмѣстѣ съ волами, мѣшками муки и пшеницы» ВД, П; «вмѣстѣ съ ковыми, мѣшками муки и пшеницы» РН. ⁴Т; «родички» РН, ВД, П.

Стр. 29 ¹Т; «суклонялся отъ замашки руки его» РН, П; «суклонялся отъ замашки рукъ его» ВД.

Стр. 30 ¹Т; «и Черевикъ почувствовалъ себя вдругъ схваченнымъ дождиими руками» ВД, П.; «и Черевикъ нашъ вдругъ почувствовалъ себя схваченнымъ дождиими руками» РН.

Стр. 31 ¹Т; «за что же мнѣ» РН, ВД; «за что мнѣ» П.

Стр. 32 ¹ Т; «вотъ это тотъ самой, кумъ, объ которомъ я говорилъ тебѣ» ВД, П. ² П, Т; «чортъ возьми, если мнѣ не такъ же стало весело, какъ когда бы мнѣ старуху москаля увезли» ВД, РИ.

Стр. 33 ¹ П, Т; «садухалась Параска, одна, передъ столомъ въ хатѣ» РИ, ВД. ² Т; «то снова» РИ, ВД, П.

Стр. 34 ¹ Т; «все чѣмъ далѣе, смѣлѣе» РИ, ВД, П.

Стр. 35 ¹ Т; «подтанцывалъ» ВД, П; «подтанцывала за веселившимся народомъ, не обращая даже глазъ на молодую чету. И на развалинѣ и на гробѣ зеленѣетъ и мнѣется мохъ, какъ будто бы самое разрушеніе можетъ улыбаться» РИ. Напечатанное курсивомъ не вошло ни въ одно изданіе «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки», хотя въ подлинной рукописи это мѣсто не зачеркнуто.

Вечеръ наканунѣ Ивана Купала (стр. 36—51).

Изъ всѣхъ повѣстей, вошедшихъ въ составъ „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“, только одна эта напечатана была ранѣе появленія въ свѣтъ „Вечеровъ“. Эта повѣсть помѣщена была, безъ имени автора, въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1830 года, въ февральской (стр. 238—264) и мартовской книжкахъ (стр. 421—442), подъ заглавіемъ: „Бисаврюкъ, или Вечеръ наканунѣ Ивана Купала. Малороссійская повѣсть (изъ народнаго преданія), рассказанная дячкомъ Покровской церкви“. Неизвѣстно, какой гонораръ получилъ Гоголь за эту повѣсть¹; но 2 апрѣля 1830 года онъ писалъ матери: „Вы теперь, кажется, не получаете никакого журнала. Посылаю Вамъ одинъ („Отечественныя Записки“), который, по важности своихъ статей, почитается здѣсь лучшимъ и который достается мнѣ даромъ по причинѣ небольшого моего участія въ изданіи его. Каждый мѣсяцъ выходитъ книжка, которую я буду немедленно препровождать къ вамъ. Посылаю вамъ также нововышедшій романъ, подаренный мнѣ самимъ авторомъ“. (Соч. и письма Гоголя V, 110). Издатель „Отечественныхъ Записокъ“ Свинынъ во многихъ мѣстахъ повѣсти исправилъ по своему слогъ и придалъ ему тяжелые обороты напыщеннаго литературнаго изложенія. Гоголь прекратилъ, вслѣдствіе этого, свое участіе въ „Отечественныхъ Запискахъ“. 2-го іюня того же года онъ писалъ матери: „Посылаю вамъ слѣдующій № журнала..... Предъувѣдомляю васъ, что въ этой книжкѣ, равно и во всѣхъ послѣдующихъ, вы не встрѣ-

¹ Вѣроятно, онъ получилъ гонораръ. Въ письмѣ отъ 2 апрѣля онъ писалъ къ матери: «Жалованья я не получаю и 500 руб. Если присовокупить къ сему и получаемое мною иногда отъ журналистовъ, то всего выдетъ 600». (Соч. и письма Гоголя V, 106).

тите уже ни одной статьи моей» (Сочин. и письма Гоголя V, 116—117). Посылая три новыя книжки «Отечественныхъ Записокъ» при письмѣ отъ 10-го октября 1830 года, Гоголь вновь напоминаетъ матери: «Въ нихъ, однакожь, выключая развѣ нѣкоторыхъ мало занимательныхъ статей, предупреждаю васъ, чтобы и не искали тамъ чего-нибудь моего, потому что *я уже съ давняго времени не участвую въ семь журналѣ*» (Соч. и письма Гоголя V, 121). Перепечатывая эту повѣсть, уже подъ заглавіемъ «Вечеръ наканунѣ Ивана Купала», въ первой части «Вечеровъ», Гоголь предпослалъ ей небольшое предисловіе, въ которомъ далъ понять, что издатель „Отечественныхъ Записокъ“ искажилъ текстъ его «Бисаврюка». Намеки на Свиньина были въ этомъ предисловіи настолько прозрачны, что когда появилась въ „Московскомъ Телеграфѣ“ рецензія на первую часть „Вечеровъ на хуторѣ близъ Дикааньки“, то Стороженко, скрывшійся подъ псевдонимомъ „Никиты Лугового“, напечаталъ въ „Литературныхъ прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду 1831 года (№ 94, ноября 25, стр. 739) слѣдующее: „Если Панько Рудный не читалъ еще статьи г. Полеваго о „Вечерахъ на хуторѣ“, то вы, г. Издатель Л. П., не слушайте его 17 № Телеграфа; пасичкинъ (sic!), я слышалъ, человекъ всегда готовый высказать самыя рѣзкія истины, да еще и языкомъ малороссійскаго прямодумія. Онъ, пожалуй, въ состояніи повторить г. Полевою то, что уже сказалъ одному изъ его собратій, журналистовъ, въ предисловіи своемъ ко 2-й повѣсти „Вечеровъ на хуторѣ“ (см. стр. 81, отъ строки 1-й до конца 4-й строки). Никита Луговой ссылается на слѣдующія строки: „Плюйте-жь на голову тому, кто это напечаталъ! *Бреше сучий москаль! Такъ ли я говорилъ. Що-то вже, якъ у кою чортъ ма клепки въ голови!*“ Но обвиненіе издателя „Отечественныхъ Записокъ“, высказанное устами Ѳомы Григорьевича, значительно смягчается слѣдующею оговоркою, помѣщенной въ началѣ того же предисловія: „За Ѳомою Григорьевичемъ водилась особеннаго рода странность: онъ до смерти не любилъ пересказывать одно и то же. Бывало иногда, если упростишь его *разсказать что сызнова*, то, смотри, что-нибудь да *выкинетъ новое или переименитъ такъ, что узнать нельзя*“ (стр. 36). Въ этихъ словахъ мы позволяемъ себѣ видѣть указаніе на любовь Гоголя подвергать свои сочиненія продолжительнымъ и постояннымъ передѣлкамъ — „винуть что-нибудь новое или переименитъ такъ, что и узнать нельзя“. Приготовляя „Вечеръ наканунѣ Ивана

Купала“ къ перепечаткѣ въ первой части „Вечеровъ“ Гоголь не только устранилъ изъ текста поправки Свинына, но и сдѣлалъ въ повѣсти другія измѣненія. Такъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“ напечатано было: „Быль, рассказанная дьячкомъ Покровской церкви“; въ „Вечерахъ“ слово „Покровской“ замѣнено тремя звѣздочками. Въ текстѣ „Отечественныхъ Записокъ“ читается: „Въ селѣ находилась церковь во имя *Трехъ Святителей*, шаговъ на 400 отъ нашей Покровской, что можно и теперь видѣть по оставшимся камнямъ отъ фундамента. Притомъ вамъ, я думаю, не безызвѣстно, что почтенный Шапаръ нашъ Терешко еще недавно, копая ровъ около своего огорода, открылъ необыкновенной величины камень съ явственно вырѣзаннымъ на немъ крестомъ, который, вѣроятно, служилъ основаніемъ алтаря; невѣрящихъ отсылаю къ нему самому лично. При церкви находился іерей, блаженной памяти Отецъ Афанасій. Замѣтивши, что Бисаврюкъ не бывалъ даже и на *Великъ день* въ заутреннѣ¹ и узнавши навѣрное про знакомство его съ Сатаною, рѣшился было порядкомъ пожурить его: наложить церковное покаяніе. Куды² вамъ! насилу ноги унесъ. „Послушай, Батюшка!“ зарычалъ онъ своимъ бычачьимъ голосомъ: „чемъ тебѣ мѣшаться въ чужія дѣла, знай-ка лучше свое, а не то будь я такой же какъ ты бородатой козелъ, если твоя рѣчистая глотка не будетъ заколочена горячею кутьею“. — Что станешь³ дѣлать съ окаяннымъ? Отецъ Афанасій объявилъ только, что всякаго, кто зазнается съ Бисаврюкомъ, стануть считать за католика, за врага Христіанской церкви и всего человѣческаго рода“. — Въ первомъ изданіи „Вечеровъ“ это мѣсто значительно сокращено; церковь получила другое имя и вышеприведенныя подробности о старой церкви опущены. Здѣсь сказано только: „Въ селѣ была церковь, чуть ли еще, какъ вспомню, не святаго Пантелея. Жилъ тогда при ней іерей, блаженной памяти отецъ Афанасій. Замѣтивъ, что Бисаврюкъ и на Свѣтлое Воскресеніе не бывалъ въ церкви, задумалъ было пожурить его“ (стран. 39 этого тома). Изучая первоначальныя редакціи и первые наброски произведеній Гоголя, мы замѣчаемъ, что онъ нерѣдко *сокращалъ* написанное, или, по его собственному выраженію, „*освобождалъ отъ излишествъ и неумѣренности*“ („Русская Старина“ 1875 г., № 9, стран. 125).

¹ Именно такъ писалъ это слово Гоголь. ² Гоголь постоянно писалъ: «куды» вм. «куда». ³ Гоголь писалъ въ окончаніи 2-го лица ед. ч. настоящаго и будущаго времени — *шь* вм. *шь*. См. выше, стр. 508.

Этотъ-то приемъ и приѣмляетъ Гоголь къ нѣкоторымъ мѣстамъ повѣсти „Бисаврюкъ“, передѣлывая ее для „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“. Въ „Отечественныхъ Запискахъ“ напр. читаемъ: „Проклятой поцѣлуй, казалось, оглушилъ его (Коржа) совершенно. Ему почудился онъ несравненно громче, чѣмъ ударъ макогона объ стѣну, которымъ обыкновенно въ наше время мужикъ прогоняетъ кутю, за неимѣніемъ фузеи и пороха. Очнувшись отъ своего безпамятства, первымъ дѣломъ его было снять со стѣны дѣдовскую нагайку, а вторымъ покропить ею спину бѣднаго Петруса. Но въ то самое время откуда ни возьмись пяти-лѣтній братъ Пидореня — *Ивасъ*, котораго безъ памяти любилъ онъ, и уцѣпясь ему на шею, давай молить со слезами: „*тату, тату!* не бей Петруса“. Что прикажешь дѣлать? у отца сердце не каменное; повѣсивъ нагайку на стѣну, онъ выгналъ Петруса по шеямъ, съ строжайшимъ приказаніемъ — не появляться никогда подъ окнами его хаты; въ противномъ случаѣ помялся всѣми чертами, что не оставитъ въ немъ ни одной косточки цѣлой, присовокупивъ, что и самому его длинному, ровному оселедцу (который у Петро начиналъ уже два раза замотываться около уха) предстоитъ опасность распрощаться съ родною макушею. Во все продолженіе сей раздѣлки, Пидорка была ни жива, ни мертва; и тогда только почувствовала вполнѣ свое горе, когда осталась одна среди нустой хаты. Вспомня случившееся, прижала Иваса къ сердцу, зарыдала и бросилась въ изнеможеніи на лавку. Признаюсь, что глядя на нее и дерево бы заплакало. Ну, да тогдашнія времена были пожестче нашихъ. Тетка моего дѣда говорила, что, не смотря на всѣ усилія отца Афанасія растрогать своихъ прихожанъ проповѣдью, онъ только могъ видѣть широкія ихъ пасти, которыя они со всѣмъ усердіемъ показывали въ продолженіе его рѣчей. — Ничто не могло сравниться съ грустію бѣднаго парубка: только и утѣшенія было у него, чтобъ издали слѣдовать за Пидоркою; послѣ чего съ невыразимою тоскою ворочался онъ въ свою темную хату. Но согласитесь сами, что изъ этаго мало проку, и потому Петро взялся за умъ: давай думать, какъ бы пособить горю; вотъ и выдумалъ ѣхать на Донъ, пристать къ какой нибудь ватагѣ удалой — воевать Туретчину или Крымцевъ. Мысль эта словно гвоздь засѣла въ головѣ его: бывало то и дѣла, что видитъ онъ кучи золота; драгоценныя каменья ограбленныхъ иновѣрцевъ безпрестанно чудились ему передъ глазами. Чего не забредеть въ голову? то иногда

представлялся ему радостный приемъ стараго Коржа, то пріятной испугъ Пидорки, увидѣвшей передъ собою доблестнаго наѣздника, обремененнаго богатою добычею; — какъ вдругъ неожиданное извѣстіе вздуло на вѣтеръ золотыя его думы“. Начало приведеннаго отрывка согласно, иногда дословно, съ текстомъ, впоследствии напечатаннымъ въ „Вечерахъ“ (стр. 41 этого тома); но окончаніе сокращено „Вечерами“ въ двѣ строки: „А я думалъ несчастный идти въ Крымъ и Туречину, навоевать золота и съ добромъ пріѣхать къ тебѣ, моя красавица“ (стр. 42). Въ текстѣ „Вечеровъ“ (стр. 46 этого тома) значительно сокращено слѣдующее мѣсто „Бисаврюка“: „Это чуть не свело старичину съ послѣднаго ума. Откуда ни возьмись и пріятливыя слова и ласки: сажой, такой, Петрусь, не мазаной! да я ли тебя не жаловалъ? да не былъ ли ты у меня, какъ сынъ родной? такъ, что Петруся до слезъ ра-вобрало. — Добромъ или худомъ было нажито золото, о томъ предки наши мало заботились? не то было время. Всякой знавалъ за со-бой грѣшокъ, и развѣ изъ тысячи только одинъ могъ выбратъ такой, у котораго обѣ руки были святы. Какъ бы то ни было, только старій Коржъ захопнулъ дверь щеголеватому Поляку подъ самой носъ, съ приговоркою едва ли не погрозише той, какую услышалъ отъ него Петрусь. Слышило было, что Полякъ долго еще хвастался, крутя усы и брача саблею, что старой Коржъ хотѣлъ ему навязать дѣвку, какой бы не согласился взять ни одинъ порядочной человекъ; да, встрѣтившись одинъ разъ подъ темный вечерокъ съ Петрусемъ, такъ присмирѣлъ послѣ того, что, сколько ни спрашивали у него потомъ, — онъ молчалъ, какъ рыба. Тутъ Пидорка съ плачемъ рассказала Петрусь, какъ мимо проходившіе цыганы украли Ивася..... и что жъ вы думаете? хоть бы ненарокомъ перемѣнился онъ въ лицѣ. Проклятая бѣсовщина такъ обмо-рочила его, что онъ едва могъ запомнить даже лицо Ивася, чему Пидорка не мало дивовалась и, сколько ни билась, не могла разгадать, что все это значить? Откладывать было не зачѣмъ. Вотъ и заварилъ Коржъ свадьбу, какой въ тогдашнія времена слышать не слыхано. Меду наварено столько, сколько душа желала, въ водкѣ хоть выкупайся. Посадили *молодыхъ* за столъ, разрѣзали коровай, заиграли бандуры, цимбалы, сопилы, козбы (sic!), и пошла потѣха.... Въ старину свадьба водилась не въ сравненье съ нашей“ и т. д.

Останавливаетъ на себѣ особенное вниманіе слѣдующее мѣсто

„Бисаврюка“ по тексту „Отечественныхъ Записокъ“. „Говорите же, что люди злорѣчивы: вѣдь въ самомъ дѣлѣ не прошло мѣсяца, какъ Петро нашъ сдѣлался совсѣмъ не тотъ, а что за причина была этому—никто не могъ узнать. Только Пидорка начала при-мѣчать, что иногда по дѣльнымъ часамъ сидитъ онъ предъ своими мѣшками и вздрагиваетъ при малѣйшемъ шорохѣ, какъ будто боится, чтобы кто не пришелъ отнять или украсть ихъ. А иногда вдругъ среди рѣчи остановится и часъ, другой, стоитъ, словно убитой; все силится что-то вспомнить, и сердится, и бѣсится, что не можетъ вспомнить. Такъ что наконецъ и веселость прежняя пропала. Бывало ходить вокругъ своей хаты пасмурный и угрюмый, какъ воробьиная ночь, съ знакомыми хоть бы слово, и чуть гдѣ завидитъ человѣческое лицо, такъ и удираетъ околицами да проселками. Чего не дѣлала Пидорка, чтобы пособить горю: и совѣтовалася съ знахарями и услужливыми старушками, ворочавшими языкомъ столь же исправно, какъ веретеномъ, и сама старалася ласками и прозбами разогнать хандру его—ничто не помогало. Всѣ средства были испытаны, и заговаривали зло и выливами переполохъ и заваривали соняшницу. Все по напрасну! Такъ прошло и дѣло“¹... „Вотъ уже и на тепло понесло, и снѣга начали таять, и шука хвостомъ ледъ расколотила, а Петро нашъ все чемъ² далѣе, тѣмъ суровѣе. Одичалъ такъ, что на него смотрѣть сдѣлалось страшно и все по прежнему сидитъ надъ мѣшками, да думаетъ, да боится.—Бѣдной Пидоркѣ жизнь не въ жизнь стала; изныла, изсохла, словно щепка, на свѣтъ Божій не глядитъ. Сначала было страхъ ее пробиралъ—да чего не сдѣлаетъ привычка? Свыклася, бѣдняжка, съ невзгодою, какъ съ родною сестрою. Одно только ей юрко было, что Петро сначала хоть нищей братіи удѣлялъ изъ своихъ мѣшковъ, теперь же ни котышки ни на церковь, ни женѣ своей, такъ что въ послѣдствіи ей даже ходить не въ чемъ было. Бѣдность въ хатѣ такая, какой у послѣдняго бобыля не бываетъ. Петро дрожитъ, внимая котышку, всю ночь не спитъ на пролетъ: залагаетъ ли бровко, заскряпнетъ ли что, зашелеститъ ли какая птица на крышѣ—уже онъ схватывается и обшариваетъ закоулки всей хаты, послѣ чего ни съ мѣста отъ своихъ мѣшковъ. Люди дивовались, дивовались, да и перестали

¹ Пропускаемъ 17 строкъ, почти одинаковыхъ въ «Отеч. Запискахъ» и въ «Вечерахъ». ² Такъ обыкновенно пишетъ Гоголь это слово.

дивиться. Уже совѣтовали Пидоркѣ бросить своего мужа... Но ничто не могло убѣдить ее: нѣтъ, думаетъ себѣ, онъ для меня погубилъ, можетъ быть, свою душу, а я его оставлю, оставлю покинутого всѣмъ свѣтомъ — и цѣлой день проставляла передъ иконою, да молилась о спасеніи души Петра“. Въ этотъ отрывокъ при передѣлкѣ онаго для „Вечеровъ“, — выражаясь словами предисловія къ повѣсти, — „что-нибудь вкинуто новое или переначено такъ, что узнать нельзя“. Въ текстѣ повѣсти, напечатанномъ въ „Вечерахъ“, душевное состояніе Петруся характеризуется уже совершенно иначе; намековъ на скупость и подозрительность его нѣтъ. Въмѣсто того читаемъ: „Сидитъ на одномъ мѣстѣ, и хотъ бы слово съ кѣмъ; *все думаетъ и какъ будто бы хочетъ что-то припомнить*. Когда Пидоркѣ удастся заставить его о чемъ-нибудь заговорить, какъ будто и забудется и поведетъ рѣчь, и развеселится даже; но ненарокомъ посмотреть на мѣшки: „постой, постой, позабылъ!“ кричитъ и снова задумывается, *и снова силится про что-то вспомнить*. Иной разъ, когда долго сидитъ на одномъ мѣстѣ, чудится ему, *что вотъ-вотъ все сънова приходитъ на умъ...* и опять все ушло. Кажется: сидитъ въ шинкѣ, несутъ ему водку; жжетъ его водка; противна ему водка; кто-то подходитъ; бьетъ по плечу его; онъ... *но далье все какъ будто туманомъ покрывается передъ нимъ*. Потъ валитъ градомъ по лицу его, и онъ, въ изнеможеніи садится на свое мѣсто“ (стр. 47—48). „Какъ будто прикованный, сидитъ посерединѣ хаты, поставивъ себѣ въ ноги мѣшки съ золотомъ. Одичалъ, обросъ волосами, сталъ страшень, *и все думаетъ объ одномъ, все силится припомнить что-то, и сердится, и злится, что не можетъ вспомнить*. Часто дико подымается съ своего мѣста, поводитъ руками, вперяетъ во что-то глаза свои, какъ будто хочетъ *уловить его*; губы шевелятся, будто хотять произнести какое-то *давно забытое слово* — и неподвижно останавливаются... Бѣшенство овладѣваетъ имъ; какъ полоумный, грызетъ и кусаетъ себѣ руки и въ досадѣ рветъ клоками волоса, повамѣстъ, утихнувъ, не упадетъ, будто въ забытїи, и послѣ *снова принимается припоминать*, и снова бѣшенство, и снова мука“... (стр. 49).

Новая редакція „Бисаврюка“, напечатанная въ „Вечерахъ“, поставивши исключительнымъ источникомъ мученій Петруся — желаніе „вспомнить что-то“, „что-то уловить“, „произнести давно забытое слово“, должна была измѣнить и самую развязку повѣсти.

Увидавши старуху изъ Медвѣжьяго оврага, Петро „вдругъ весь задрожалъ, какъ на плахѣ; волосы поднялись горою.... и онъ засмѣялся такимъ хохотомъ, что страхъ врѣзался въ сердце Пидорки. „Вспомнилъ, вспомнилъ!“ закричалъ онъ въ страшномъ веселѣи и, размахнувши топоръ, пустилъ имъ изо всей силы въ старуху“. (стран. 49). Въ текстѣ „Отечественныхъ Записокъ“ разсказъ *существенно* отличается отъ этой редакци „Вечеровъ“. Приводимъ этотъ текстъ: „Вотъ въ одинъ вечеръ, именно на канунѣ Ивана Купала, Петро нашъ вдругъ заболѣлъ и не могъ встать съ постели, горячка и бредъ поминутно усиливались, такъ что Пидорка принуждена была отправиться *въ дальнее село* просить помощи. Только на половинѣ дороги попадается ей старушка беззубая, вся въ морщинахъ, словно кошелекъ безъ денегъ. Слово за словомъ, узнаетъ Пидорка, что она мастерица лѣчить. Этаго-то ей и нужно. Уговоривши старуху со слезами помочь ей въ напасти, приводитъ она ее въ хату. — Сначала Петро было не замѣтилъ новой гостя; какъ же всмотрится пристально въ лицо ей, какъ задрожитъ, какъ хватится съ постели, какъ размахнется топоромъ.... Топоръ на два вершка вбѣжалъ въ дубовую дверь, а старухи и слѣдъ простылъ. Выхвативъ его съ неимовѣрною силою, подступилъ онъ къ Пидоркѣ: „за чѣмъ ты привела ко мнѣ вѣдъму? Ты хочешь меня сгубить“, Господи Боже мой! уже было и руку занесъ.... да глядъ невзначай въ сторону — и руки опустились, и языкъ отняло; болѣзненная судорога прохватила его по всѣмъ членамъ, волосы поднялись дыбомъ и мертвый холодный потъ выступилъ на лицѣ: по среди хаты стояло дитя съ покрытою головою. Покрывало свѣялось.... Ивась!... закричала Пидорка и хотѣла броситься къ нему — неизъяснимый страхъ удержалъ ее; а привидѣнѣе покрылось съ ногъ до головы кровавымъ цвѣтомъ и стало ростъ, ростъ, какъ изъ воды итти, пока не тронулось наконецъ головою въ перекладину; тутъ голова его отдѣлилась, все туловище сдѣлалось какъ огонь.... Пидорка съ испугу выскочила въ сѣни. „Меня жжетъ! мнѣ душно!“ кричалъ Петро, какъ будто охваченный пламенемъ; но дверь такъ крѣпко захлопнулась вслѣдъ за нею, что сколько она ни силилась, ни какъ не могла отворить ее. Въ страхѣ и попыхахъ побѣжала она звать на помощь когонибудь. Отчаянный голосъ Петра, меня жжетъ! мнѣ душно! поминутно чудился и жалобно свисталъ ей въ уши. Людей збѣжалась цѣлая орда. Вѣдъ и въ тогдашнѣя времена зѣвакъ было

довольно. Дверь отперли и чтожъ вы думаете? хоть бы одна душа была въ хатѣ. На серединѣ только лежала куча сѣраго пеплу, который еще дымился мѣстами. Кинулись къ мѣшкамъ — однѣ битые черепки лежали въ нихъ на мѣсто червонцовъ. Долго стояли всѣ разинувъ рты и выпуча глаза, словно вороны, не смѣя пошевелить ни однимъ усомъ, — такой страхъ навело на нихъ это дивное происшествіе. — Наконецъ, такой подняли шумъ, толкуя каждый по своему, что собаки со всего околоса начали лаять. Явились и добрыя старушки, пронюхавшія, что у Пидорки осталось еще отцовское добро, которымъ, по скуности своего мужа, она никогда почти не пользовалась, и принялись дружно, со всѣмъ усердіемъ утѣшать ее. Бѣдной Пидоркѣ казалось все это такъ дико, такъ чудно, какъ во снѣ. — Совѣщаніе кончилось тѣмъ, что съ общаго голоса пепелъ раздули на вѣтеръ, а мѣшки спустили по веревкѣ въ яму, потому, что никто изъ честныхъ козаковъ не захотѣлъ осквернить рукъ дьявольщиною. Въ награду за такое благоразумное распоряженіе потребовали они себѣ вѣдра четыре воды и шатаясь на всѣ стороны отправились во свояси. Попеченіяжъ усердныхъ старушекъ не кончились тѣмъ: одна изъ нихъ трещала на ухо Пидоркѣ, что ей нужно построить новую хату, другая предлагала щегольскаго жениха, третія открыла по секрету, что знаетъ искусныхъ швей для свадебныхъ ружниковъ, четвертая трезвонила, что нужно сдѣлать люльку для будущаго робенка.... Признаюсь, что такая куча совѣтовъ взбѣсила бы хоть кого; но бѣдная Пидорка ничего не видѣла, ничего не слышала. Оправившись не много, она дала себѣ обѣтъ итти на Богомолье и чрезъ нѣсколько времени точно ее уже не было на селѣ”.

Послѣднія страницы „Бисаврюка“ по тексту „Отечественныхъ Записокъ“ не представляютъ редакціонныхъ отступленій отъ этой повѣсти въ „Вечерахъ“. Предлагаемъ вполнѣ заключительныя страницы „Бисаврюка“: сравнивши этотъ текстъ съ редакціею повѣсти въ „Вечерахъ“, легко отмѣтить измѣненія, сдѣланныя при послѣдней редакціи Гоголемъ, а отчасти, можетъ быть, и издателемъ „Отечественныхъ Записокъ“. Вотъ заключеніе „Бисаврюка“: „но никто не зналъ, куды дѣвалась она; почтенныя старушки отправили ее было уже туда, куды и Петро потащился, какъ одинъ разъ пріѣзжій козакъ, бывшій въ Кіевѣ, рассказывалъ, что видѣлъ въ Монастырѣ монахиню, безпрестанно молящуюся, въ которой по всѣмъ описаніямъ узнали земляки Пидорку; что

она пришла пѣшкомъ и внесла богатой окладъ къ иконѣ Божіей Матери, какого еще и невидывали, весь изъ золота, изцвѣченный такими яркими и блестящими камнями, что всѣ зажмуривались глядя на него⁴.

„Постойте — этимъ еще не все кончилось; въ тотъ самый день, когда Петра взяла нелегкая, появился снова Бисаврюкъ, снова началъ разгульничать да сыпать деньгами, только люди не дались уже въ обманъ, всѣ бѣгомъ отъ него. Исторія Петруся слишкомъ запомывалась у всѣхъ, узнали, что этотъ Бисаврюкъ никто другой, какъ самъ нечистой, принявшій человѣческой образъ, чтобы отрывать клады, а какъ кладъ не дается нечистымъ рукамъ, такъ вотъ онъ и губить людей. Чтобы не попасться въ соблазнъ лукавому, они бросили свои землянки и хаты и перебирались въ село; но и тутъ не было покою отъ проклятаго Бисаврюка; тетка моего дѣда говорила, что нечистой именно болѣе всего злился на нее за то, что оставила она прежній шинокъ свой по Опошнянской дорогѣ, и потому всѣми силами старался вымѣстить все на ней. Одинъ разъ всѣ старѣйшины села собрались въ шинокъ и чинно бесѣдовали за дубовымъ столомъ, на которомъ кромѣ разнаго рода фляжекъ, на диво возвышался огромной жареной барань. Бесѣда шла долго, приправляемая какъ водится шутками и диговинными расказнями¹. Вотъ и померещилось — еще бы ничего, есть ли бы одному — а то именно всѣмъ, что баранъ поднялъ голову; блудящіе глаза его ожили и засвѣтились, и въ мигъ появившіеся черные щетинистые усы значительно заморгали на присутствующихъ; всѣ тотчасъ узнали на бараньей головѣ рожу Бисаврюка, такъ, что тетка дѣда моего думала уже, что вотъ-вотъ попросить водки.... Честные предсѣдатели пирушки скорѣй за шапки, да опрометью во свояси“.

„Въ другой разъ самъ церковной староста, любившій по временамъ раздобарывать про старину глазъ на глазъ съ дѣдовскою чаркою, не успѣлъ еще два раза достать дна и поставить ее передъ собою, какъ видитъ, что чарка влается ему въ поясъ, онъ отъ нее; давай креститься!.. А тутъ съ достойною половиною его тоже диво: только что она начала замѣшивать тѣсто въ огромной дѣжѣ, какъ вдругъ дѣжа выпрыгнула и подбоченившись, важно

¹ Такъ обыкновенно пишетъ Гоголь это слово, см. «розказни»; ср. 2-е примѣч. къ 133-й стр. пятаго тома.

пустилась въ присядку по всей хатѣ... Да, смѣйтесь, смѣйтесь, сколько себя хотите, только тогда не до смѣху было нашимъ дѣдамъ. Долго терпѣли, наконецъ потянулись всѣ гурьбою къ отцу Афанасію и взмолятся: помоги ты намъ Божьею властію, выгони нечистаго. Отецъ Афанасій обошелъ крестнымъ ходомъ все село, окропилъ святою водою всѣ переулки, и съ той поры никакихъ проказъ уже не было, хотя тетка моего дѣда долго еще жаловалась, что слышала часто какъ будто кто-то стучить въ крышу и царапается по стѣнѣ“.

„Нѣсколько лѣтъ прошло. Село наше стоитъ теперь на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ творилась чертовщина, и кажись все спокойно; а вѣдь еще недавно, еще отецъ и я даже запомнимъ, какъ возлѣ стоящаго въ захолустьи развалившагося шинка, которой черти долго еще поправляли на свой щетъ, нельзя было ни пройти, ни проѣхать. Часто замѣчали, какъ густой дымъ валилъ клубомъ изъ обвалившейся трубы, и вмѣстѣ съ дымомъ подымалось какое-то чудище, длинное, длинное, съ красными, какъ двѣ горячіе головки, глазами. Доставши такой высоты, что посмотрѣтъ такъ шапка валилась, съ шумомъ разсыпалось и мѣлкимъ, какъ горохъ изъ мѣшка, смѣхомъ, обдавало всю окрестность“¹.

Въ настоящее время мы не имѣемъ возможности опредѣлить тѣ *стилистическія* измѣненія и поправки, которыя сдѣлалъ Свиньинъ въ повѣсти „Бисаврюкъ“ при напечатаніи ея въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Но *редакціонныя* измѣненія, сдѣланныя въ этомъ разсказѣ самимъ Гоголемъ, легко обнаруживаются при сравненіи „Бисаврюка“ съ „Вечеромъ наканунѣ Ивана Купала“. Эти измѣненія состояли: 1) изъ сокращенія отдѣльныхъ эпизодовъ повѣсти и 2) изъ совершенно новаго освѣщенія состоянія Петруся. Первые указаны выше; послѣднее необходимо разсмотрѣтъ подробно.

Привѣтствуя появленіе въ свѣтъ первой части „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“, Надеждинъ замѣтилъ: „Замѣчательно, что *Вечеръ наканунѣ Ивана Купала* содержаніемъ своимъ удивительно сходенъ съ одной повѣстью Тиеа: *Чары любви*. Это можетъ подать поводъ къ любопытнымъ соображеніямъ“ (Телескопъ, 1831 г., № 20, стран. 653). Въ замѣчаніи Надеждина есть своя доля правды.

¹ Всѣ приведенныя изъ «Отечественныхъ Записокъ» выдержки напечатаны у насъ съ соблюденіемъ правописанія и пунктуаціи этого журнала, такъ какъ послѣдній болѣею частію оставилъ безъ поправокъ и измѣненій характерныя особенности Гоголевскаго правописанія. Означаемъ текстъ „Бисаврюка“ буквами ОЗ.

Переработывая „Бисаврюка“ для изданія въ „Вечерахъ диваньскихъ“, Гоголь несомнѣнно пользовался рассказомъ Тика „Чары любви“, напечатаннымъ въ русскомъ переводѣ въ журналѣ Раича „Галатея“ 1830 г. (№ 10, стран. 157—185 и № 11, стран. 127—240).

Повѣсть „Liebeszauber“ появилась въ первой части сборника, которому Тикъ далъ заглавіе *Phantasia* (1812 г.); она обязана своимъ происхожденіемъ дѣйствительному происшествію въ жизни Тика. „Когда онъ жилъ въ Мюнхенѣ (рассказываетъ биографъ Тика, писавшій на основаніи его собственныхъ изустныхъ и письменныхъ сообщеній) вниманіе его возбуждено было однимъ домомъ напротивъ его жилья. Черезъ узкую улицу Тикъ видѣлъ внутренность комнаты, у окна которой показывалась иногда молодая дѣвушка съ ребенкомъ на рукахъ. Она обыкновенно играла съ нимъ и забавляла его. Вечеромъ оконные ставни тщательно закрывались, но яркія полосы свѣта пробивались черезъ щели, и тогда удобно было видѣть внутренность комнаты. Какъ тѣнь скользила она мимо окна или сидѣла съ ребенкомъ при свѣчѣ за столомъ. Созерцаніе тѣснаго домашняго быта во всей его простотѣ привлекало и занимало Тика. Изъ этихъ отрывочныхъ образовъ его творческая фантазія создала ту исполненную ужаса исторію, въ которой лучъ свѣта, выбиваясь изъ разсѣлинъ ставни, падаетъ на наблюдателя, въ ночной тишинѣ подглядывающаго съ другой стороны улицы, и несетъ ему смерть“ (Ludwig Tieck. Erinnerungen aus dem Leben des Dichters, nach dessen mündlichen und schriftlichen Mittheilungen, von Rudolf Körke, I, 348—349). Но фабула повѣсти Тика заимствована изъ сказочнаго міра. Нѣсколько выдержекъ изъ русскаго перевода „Чаръ любви“ могутъ объяснить отношеніе этой повѣсти къ „Бисаврюку“ и къ позднѣйшей его редакціи — „Ночь накануне Ивана Купала“.

„Эмилиі, молодой человѣкъ привлекательной наружности и задумчиваго нрава, по смерти родителей остался полнымъ господиномъ своего имѣнія; отправясь путешествовать для образованія себя и заключенія нѣкоторыхъ условій съ родственниками касательно имѣнія, онъ жилъ ужъ нѣсколько мѣсяцевъ въ обширномъ городѣ М***, наслаждаясь удовольствіями масляницы, которыми до тѣхъ поръ никогда не занимался, а съ родными едва успѣлъ повидаться. Дорогой онъ столкнулся съ вѣтраннымъ Родерикомъ, который былъ въ ссорѣ съ своими опекунами, и нетерпѣливо желая отдѣлаться отъ нихъ и отъ ихъ наставленій, обрадовался предложенію новаго

своего пріятеля — путешествовать съ нимъ вмѣстѣ“ (Галатея № 10, стран. 158—159). Разъ вечеромъ, на масляницѣ, Эмилиі „въ глубокой задумчивости“ ожидалъ Родерика, „потому что вынудилъ у него честное слово провести съ нимъ вечеръ и выслушать то, что нѣсколько уже недѣль тяготило его и мучило“: онъ хотѣлъ открыть Родерику „любовь свою къ незнакомѣ, живущей насупротивъ его, и признаться въ страсти, которая по цѣлымъ днямъ заставляла его сидѣть дома, и цѣлыя ночи не давала ему покоя. Вдругъ на лѣстницѣ послышались ему шаги, тихо растворилась дверь, и въ комнату вошли двѣ пестрыя, отвратительныя маски“. — „Эмилиі изъяснилъ нетерпѣніе; тогда Родерикъ снялъ маску и сказалъ: „Ты забылъ вѣрно, что теперь масляница? Мы, то есть, я и этотъ молодой офицеръ пришли за тобою; сегодня большой балъ въ маскерадной залѣ“. На приглашеніе Родерика отправиться съ ними на балъ, Эмилиі отвѣчаетъ: „Ты, кажется, по обыкновенію своему, забылъ нашъ уговоръ? Очень жалѣю“, продолжалъ онъ, обратившись къ незнакомцу, „что не могу идти съ вами; другъ мой слишкомъ поторопился, обѣщавъ это отъ моего имени. Мнѣ надобно переговорить съ нимъ о важномъ для меня дѣлѣ, я никакъ не могу отлучиться изъ дому“ (стран. 163). „Учтивый незнакомецъ понялъ мысль Эмилиі и вышелъ“. Между Родерикомъ и Эмилиемъ начались споры и пререканія, и Эмилиі „раздумалъ открыться“ своему гостю. Сидя въ креслахъ, Родерикъ „игралъ маской, и вдругъ вскрикнулъ: „Одожди мнѣ, Эмилиі, на время *большую эпанчу свою*“. — „На что?“ спросилъ его другъ. — „Тамъ въ церкви я слышу музыку“, отвѣчалъ Родерикъ: „столько вечеровъ пропускалъ я этотъ часъ; сегодня же кстаті твоей эпанчой закрою свое маскерадное платье, и спрячу подъ нее маску и чалму; когда же музыка кончится, пойду на балъ“ (стран. 168). Получивши эпанчу, Родерикъ оставляетъ Эмилию свой турецкій кинжалъ, съ словами: „я его вчера только купилъ; оставь его у себя; не годится носить при себѣ вмѣсто игрушекъ такія вещи: *не удаешь, до какого несчастія онъ могутъ довести въ случаѣ ссоры, или непріятнаго стеченія обстоятельствъ*“ (стран. 169). Оставшись одинъ, Эмилиі „осторожно отдернулъ занавѣсъ отъ окошка и смотрѣлъ черезъ узкую улицу. — Но не было огня, темнота царствовала въ домѣ насупротивъ; та, которая жила въ немъ, и въ это время занималась обыкновенно домашними упражненіями, казалось, удалась куда-то. „Можетъ быть, она на балѣ“, поду-

маль Эмилиѣ, „хоть это и не согласно съ уединеннымъ образомъ ея жизни. Вдругъ блеснула свѣча; малютка, жившая у милой его незнакомки, и съ которою она любила заниматься и днемъ и по вечерамъ, внесла свѣчу и задернула стору; но въ оставшееся отверстіе Эмилиѣ съ своего мѣста могъ видѣть часть покойника. Нерѣдко, счастливый, ставалъ онъ до поздней ночи, подобно очарованному, восхищался [каждымъ движеніемъ руки, каждымъ взглядомъ прелестной, и любовался, смотря,] какъ она учитъ малютку читать, шить или вязать. По собраннымъ свѣдѣніямъ узналъ онъ, что дитя — бѣдная сиротка, которую прекрасная сосѣдка его взяла къ себѣ на воспитаніе изъ жалости. Пріятели Эмилиѣ не могли понять, для чего онъ живетъ въ такой тѣсной улицѣ, въ безпокойной квартирѣ, такъ рѣдко показывается въ обществахъ и чѣмъ занимается дома. Безъ занятій, безъ общества былъ онъ счастливъ, но недоволенъ собою и мизантропическимъ своимъ нравомъ; недоволенъ тѣмъ, что не смѣетъ короче познакомиться съ милой дѣвушкой, не смотря на то, что она по нѣскольکو разъ въ день дружески ему кланяется. Онъ не зналъ, что *она взаимно зоритъ къ нему пылкою любовію*, не зналъ, *какія желанія vzdымаютъ грудь ея, къ какимъ усиліямъ, къ какимъ жертвамъ ютова она для обладанія любимымъ предметомъ!*“ (стр. 169—171). Эмилию вдругъ пришла мысль пойти на балъ. „Эмилиѣ пошелъ мимо старой церкви, разсматривалъ высокую колокольню, мрачно возвышавшуюся къ ночному небу, и восхищался тишиной и уединеніемъ сего мѣста. Желая нѣскольکو минутъ предаться мечтамъ, сталъ онъ въ углубленіи церковныхъ воротъ; онъ и прежде съ удовольствіемъ сматривалъ на украшавшія ихъ статуи, которыя напоминали ему древнее искусство и минувшіе вѣка. Не долго стоялъ онъ, какъ вдругъ его вниманіе привлекъ человекъ, прохаживавшійся взадъ и впередъ безпокойными шагами и, повидимому, кого-то ожидавшій. При свѣтѣ лампы, горѣвшей передъ образомъ Дѣвы Маріи, разсмотрѣлъ онъ лице и чудное платье незнакомца. То была *женщина отвратительной наружности*; уродливое лице ея составляло странную противоположность съ пунцовой кофтой, шитою золотомъ; платье на ней было темнаго цвѣта, шапочка на головѣ также блестяла золотомъ. Сначала Эмилиѣ принялъ ее за заблудившуюся маску, но при свѣтѣ огня увѣрился скоро, что старое, сморщенное, оливковаго цвѣта лице было не поддѣльное, а настоящее. Потомъ показалось двое мужчинъ, закутанныхъ въ эпанчи;

они осторожно подходили и часто оглядывались, не идет ли кто за ними. Старуха пошла къ нимъ на встрѣчу. „Съ вами ли свѣчи?“ порывистымъ, дикимъ голосомъ спросила она. — „Вотъ онѣ“, отвѣчалъ одинъ: „дѣна тебѣ извѣстна; кончай скорѣе“. Старуха, какъ видно было, дала деньги, которыя говорившій съ нею мущина пересчиталъ подъ *эпанчою*. „Надѣюсь“, продолжала старуха, „что свѣчи эти вылиты по правиламъ и такъ, какъ я велѣла; иначе не произведутъ должнаго дѣйствія“. — „Не безпокойся“, отвѣчалъ мущина и удалился послѣшно. Другой, оставшійся, былъ молодой человѣкъ; онъ взялъ старуху за руку и сказалъ: „Можетъ ли быть, Алексія, чтобы подобныя обряды и формулы, эти старинныя сказки, которымъ я никогда не хотѣла вѣрить, налагали оковы на свободную волю человѣка и могли возбуждать любовь или ненависть?“ — „Точно такъ“, отвѣчала Красная женщина: „но тутъ одно должно согласоваться съ другимъ, и нужно болѣе, нежели эти свѣчи, въ полночь новолунія вылитыя и человѣческою кровью напитанныя, болѣе, нежели однѣ формулы и волшебныя заклинанія; къ тому требуется еще многое другое, извѣстное чародѣямъ“. — „Итакъ, я полагаюсь на тебя“, сказалъ мущина. — „Завтра послѣ полночи буду готова къ вашимъ услугамъ“, отвѣчала старуха: „вы не первые останетесь недовольны моими трудами; — сегодня же, какъ вы сами слышали, призываютъ меня въ другое мѣсто къ особѣ, надъ умомъ и чувствами которой искусство мое безъ сомнѣнія произведетъ сильное дѣйствіе“. — Послѣднія слова она произнесла почти со смѣхомъ и оба разошлись въ разныя стороны“ (стр. 171—174). На балѣ Эмилиі встрѣтился съ Родерикомъ. Послѣдній сообщилъ ему, что завтра ранешенько ѣдетъ въ деревню съ своимъ пріятелемъ Андерсономъ, и обѣщался зайти къ Эмилию, чтобы съ нимъ проститься. Эмилиі не долго оставался на балѣ. Возвратившись домой, онъ передалъ бумагѣ чувства, возбужденныя въ душѣ его. „Кончивъ, Эмилиі сталъ подлѣ окна. Тамъ насупротивъ показалась она, такъ хороша, какъ никогда еще не бывала: темные, распущенные по плечамъ ея волосы вились сами собою кругомъ бѣлоснѣжной шеи; она была легко одѣта и, казалось, хотѣла еще передъ сномъ, въ позднее время, заняться домашней работой, потому что въ двухъ углахъ комнаты поставила по свѣчѣ, поправила на столѣ коверъ и снова удаллась. Еще Эмилиі погруженъ былъ въ сладкія мечты; еще мысленно представлялъ себѣ образъ любезной, какъ вдругъ,

въ ужасу его, страшная красная женщина вошла въ комнату; ярко блестя на головѣ и груди ея золото, освѣщенное огнемъ; скоро она снова исчезла. Эмилиѣ не зналъ, вѣрить ли глазамъ своимъ; не ночной ли призракъ видѣлъ онъ, не страшное ли дитя напряженнаго воображенія? Нѣтъ, она возвратилась, и страшнѣе прежняго; длинныя черныя съ просѣдью волосы въ дикомъ безпорядкѣ развѣвались по спинѣ ея и грудямъ; за нею шла прелестная блѣдная дѣвушка, обезображена, съ раскрытой грудью, подобно статуѣ изъ бѣлаго мрамора. Между ними было дитя; невинная малютка плакала и жалостно лънула къ красавицѣ, которая не глядѣла на нее. Малютка, умолая, подняла ручонки, цѣловала грудь и щеки блѣдной дѣвушки; но дѣвушка крѣпко держала ее за волосы одной рукою, другой же серебряный тазъ; съ попотомъ старуха вытащила ножъ и перерѣзала бѣлую шею малютки. Тогда сзади ихъ поднялось что-то, чего ни одна изъ нихъ не могла видѣть; иначе бъ онъ не меньше Эмилиа испугались. Ужасная, чешуйчатая шея дракона длиннѣе и длиннѣе выдвигалась изъ мрака, и нагнулась надъ малюткой, которая съ вытянувшимися, онѣмѣлыми членами повисла на рукѣ старухи. Черный языкъ дракона лизалъ струившуюся алую кровь, и зеленый горящій глазъ сквозь отверстіе занавѣсокъ проникъ во взоръ Эмилиа, въ мозгъ его и сердце, и онъ грянулся объ полъ. Спустя нѣсколько часовъ Родерикъ нашель его безъ признака жизни“ (стран. 183—185). Эмилиѣ впалъ въ такую жестокую нервную горячку, что отчаявались въ его выздоровленіи. „Наконецъ, когда минулъ фантастическій этотъ бредъ, онъ пришелъ въ себя, но *вовсе потерялъ память; помнилъ только дѣтство свое и первые годы юношества; что же происходило съ нимъ во время путешествія и до болѣзни, того рѣшительно не зналъ. Ему надобно было сгизнова знакомиться со всѣми пріятелями своими, даже и съ Родерикомъ; долго спустя уже, и то мало по малу, мысли его нѣсколько прояснились, и онъ началъ припоминать прошедшее, только все въ тускломъ и неопредѣленномъ свѣтѣ. Въ дому у дяди, который взялъ его къ себѣ для лучшаго за нимъ присмотра, былъ онъ какъ робенокъ и позволялъ все дѣлать съ собою. Выѣхавъ прогуляться въ первый разъ, теплымъ вешнимъ днемъ, и проѣзжая черезъ паркъ, увидѣлъ онъ сидящую въ сторонѣ отъ дороги дѣвушку въ глубокой задумчивости. Она подняла глаза, взоры ихъ встрѣтились, и въ ту же минуту Эмилиѣ нашъ, какъ бы объятый непонятнымъ вдох-*

новениемъ, велѣлъ кучеру остановиться, выскочилъ изъ коляски, сѣлъ подлѣ дѣвушки и, взявъ ее за руки, орошалъ ихъ потокомъ слезъ. Полагали, что разсудокъ его снова разстроился; но онъ сдѣлался покоенъ, веселъ и разговорчивъ, велѣлъ проводить себя къ родителямъ дѣвушки; при первомъ посѣщеніи просилъ ея руки и получилъ ее съ согласія отца и матери. Эмилиѣ былъ счастливъ; новая жизнь одушевила его; съ каждымъ днемъ становился онъ веселѣе и здоровѣе“ (Галатея 1830 г., № 11, стран. 219—220). Въ день свадьбы Эмилиа, Родерикъ, тайно отъ жениха, устраиваетъ маскарадную процессію. „Смотрите жъ теперь (говорить онъ Андерсону), что я купилъ у моего портнаго, который хотѣлъ ужъ порѣзать сокровище это на лоскутки! А ему оно досталось отъ старухи, которая, вѣроятно, въ такомъ нарядѣ танцовала съ чортомъ на Лысой горѣ. Взгляните на этотъ пунцовый корсетъ съ золотыми галунами и бахромой, на эту блестящую золотомъ шапку; они придадутъ мнѣ видъ чрезвычайно величественный; сверхъ того надѣну я это зеленое платье съ желтыми оборками и гадекую маску, и такимъ образомъ, въ видѣ старухи, введу въ спальню весь хоръ карикатуръ. Скорѣе, скорѣе одѣвайтесь; пойдѣте за молодою“. Еще звучали рога; гости то гуляли по саду, то сидѣли передъ домомъ. Солнце скрылось за черныя облака; все было темно и мрачно. *Вдругъ послѣдній, пламенный лучъ проблеснулъ сквозь тучи и вся окрестность, въ особенности же строеніе съ его галлереями, колоннами и цвѣточными куртинами поблговѣли, какъ бы облитая кровью.* Въ то же время родители невѣсты и прочіе гости увидѣли маскарадную процессію, поднимающуюся къ верхнему корридору; впереди шель Родерикъ, одѣтый красной женщиной, за нимъ карлы и горбатые, страшные парики, гигантскія головы, полишинели, лѣшіе, женщины въ фижахъ, съ огромными прическами, разныя отвратительныя маски, подобныя призракамъ безпокойнаго, страшнаго сновидѣнія. Прыгая и кривлясь, стуча и качаясь, танулись онѣ къ галлерей и исчезли въ одной изъ дверей ея. Странное зрѣлище такъ удивило зрителей, что не многіе почувствовали охоту смѣяться. Внезапно изъ внутреннихъ покоевъ раздался пронзительный вопль; *при кровавомъ мерцаніи вечера* выбѣжала оттуда блѣдная жена въ бѣломъ короткомъ платьѣ, около котораго развѣвались цвѣточныя гирлянды, съ открытой прелестною грудью, съ распущенными волосами. Какъ безумная, съ дико вращающимися глазами,

съ воспламененнымъ лицомъ промчалась она черезъ галерею и, ослѣпленная страхомъ, не находила ни дверей, ни лѣстницы; за ней бѣжалъ Эмили съ обнаженнымъ турецкимъ кинжаломъ въ поднятой къверху рукѣ. Она добѣжала до конца галереи, не могла далѣе, и онъ настигъ ее. Маскированные гости и старуха кинулись по слѣдамъ его. Но Эмили въ бѣшенствѣ успѣлъ уже пронзить грудь новобрачной, перерѣзалъ бѣлую ея шею, и алая кровь заструилась въ мерцаніи вечера. Старуха, окхвативъ его, отрывала прочь; борясь съ нею, опрокинулся онъ за перилы, и оба, разможженные, упали къ ногамъ родителей, онѣмѣлыхъ свидѣтелей кроваваго зрѣлища. Вверху и на дворѣ, по лѣстницамъ и по галереямъ, стояли и двигались ужасныя личины въ разныхъ положеніяхъ и группахъ, какъ демоны адскіе. — Родерикъ взялъ на руки умирающаго. — Онъ нашель его въ покоѣ новобрачной, играющаго кинжаломъ. Когда онъ входилъ, она почти ужъ была одѣта; но едва лишь увидѣлъ Эмили красное, отвратительное платье, воспоминанія проснулись въ немъ; страшное происшествіе ночи давно минувшей оживилось въ душѣ его; скрежеща зубами, бросился онъ на трепетную убѣгающую жену и устремился наказатъ ее за убійство и адскую ея выдумку. Старуха при смерти призналась въ своемъ злодѣяніи, и весь домъ мгновенно погрузился въ горе, ужась и отчаяніе“ (стр. 237—240).

Повѣсть Тика „Чары любви“ напечатана была въ русскомъ переводѣ почти въ одно время съ появленіемъ „Бисаврюка“ Гоголя въ „Отечественныхъ Запискахъ“¹. Такъ какъ Гоголь слабо зналъ нѣмецкій языкъ и не могъ читать Тика въ подлинникѣ, то онъ, очевидно, познакомился съ „Чарами любви“ уже послѣ отпечатанія „Бисаврюка“. Сходство Гоголевскаго разсказа съ повѣстью Тика въ отдѣльныхъ подробностяхъ фабулы объясняется общимъ источникомъ обѣихъ произведеній: фабула повѣсти Тика заимствована изъ области народнаго суевѣрія; Гоголь также взялъ сюжетъ „Бисаврюка“, по его собственному свидѣтельству, „изъ народнаго преданія“. Ознакомившись съ повѣстью Тика въ русскомъ переводѣ², Гоголь конечно пораженъ былъ сход-

¹ Окончаніе повѣсти «Бисаврюкъ» напечатано въ мартовской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» 1830 г., цензурное разрѣшеніе которой помѣчено «4 марта»; повѣсть «Чары любви» окончена печатаніемъ въ № 11 «Галатеи» 1830 г., который разрѣшенъ цензурою «12 марта».

² Кромѣ «Чары любви» въ «Галатеѣ» 1830 г. (часть XII, № 11, стр. 60—68, 98—118)

ствомъ нѣкоторыхъ ея частныхъ съ „Бисаврюкомъ“ и, увлеченный „Чарамъ любви“, рѣшился переработать свой рассказъ, воспользовавшись нѣкоторыми мотивами Тика, т. е. (по его словамъ въ предисловіи къ новой редакціи „Бисаврюка“) „винуть новое или переименовать такъ, что узнать нельзя“. Почти всѣ вышеуказанныя измѣненія въ „Бисаврюкѣ“ обусловлены повѣстью Тика. Существеннымъ отличіемъ новой редакціи „Бисаврюка“ является, какъ указано выше, характеристика душевнаго состоянія Петруса послѣ событій страшной ночи: онъ все позабылъ, „все сидитъ припомнить что-то“. На Петруса Гоголь перенесъ, въ новой редакціи повѣсти, тѣ черты, которыми Тикъ характеризуетъ состояніе Эмилиа послѣ видѣннаго имъ, страшной ночью, убійства малютки. „Иной разъ (разсказываетъ Гоголь), когда Петрусь долго сидитъ на одномъ мѣстѣ, чудится ему, что вотъ-вотъ все сызнова приходитъ на умъ..... и опять все ушло..... *все какъ будто туманомъ покрывается передъ нимъ*“. Эмилиѣ также „началь припоминать прошедшее, только *все въ тускломъ и неопредѣленномъ свѣтѣ*“. Развязка „Бисаврюка“ измѣнена въ новой редакціи этой повѣсти также подъ вліяніемъ разсказа Тика. Увидавши старуху изъ Медвѣжьяго оврага, Петро въ страшномъ весельи закричалъ: „Вспомнилъ! вспомнилъ! и, размахнувши топоръ, пустилъ имъ изо всей силы въ старуху“. Эмилиѣ „едва лишь увидѣлъ красное, отвратительное платье старухи, *воспоминанія проснулись въ немъ, страшное происшествіе ночи давно минувшей оживилось въ душѣ его*“ и онъ бросился съ турецкимъ кинжаломъ на жену и убилъ ее. Въ новую обработку „Бисаврюка“ авторомъ внесена даже изъ повѣсти Тика одна мелкая подробность. Въ первоначальномъ текстѣ, напечатанномъ въ „Отечественныхъ Запискахъ“, читаемъ: „ему (Петрусу, тотъ-

напечатанъ былъ переводъ другой повѣсти Тика, также помѣщенной въ Phantasia, — «Рунненбергъ». Въ началѣ тридцатыхъ годовъ повѣсти Тика нѣрѣдко переводились въ русскихъ журналахъ. Въ 1836 г. Надеждинъ перепечаталъ нѣкоторыя повѣсти иностранныхъ писателей, помѣщенныя въ «Галатеѣ» и «Телескопѣ» и далъ этому сборнику заглавіе «Сорокъ одна повѣсть лучшихъ иностранныхъ писателей». Здѣсь помѣщены слѣдующія произведенія Тика: «Піетро Алопе (IV, 1—122), «Рунненбергъ» (V, 225—275), «Эльфы» (VI, 155—204), «Чары любви» (VIII, 109—174) и «Вѣжоурный Эвертъ» (XI, 121—166). Сообщая въ «Современникѣ» о выходѣ въ свѣтъ изданія Надеждина, Гоголь замѣтилъ о помѣщенныхъ въ немъ повѣстяхъ: «Онѣ пріятно займутъ въ долгіе вечера и ночи нашихъ уѣздныхъ барышень, по крайней мѣрѣ *пріятнѣе, нежели наши самодѣльные романы*». (Ср. въ настоящемъ изданіи «Сочиненій Гоголя» V, 529).

часть послѣ убійства Ивася) казалось, что деревья, кусты, скирды сѣна и все, что попадалось на дорогѣ, гналось за нимъ въ погоню“. Въ „Ночи наканунѣ Ивана Купала“ это мѣсто передѣлано и получило такой видъ: „Все покрылось передъ нимъ *краснымъ свѣтомъ*. Деревья, всѣ въ крови, казалось, горѣли и стонали. Небо, раскалившись, дрожало.... Огненные пятна, что молніи, мерещились въ его глазахъ“... Это—тотъ „багровый свѣтъ“, который „какъ бы *облилъ кровью* всю окрестность, въ особенности же строеніе съ его галереями, комнатами и цвѣточными куртинами“ въ послѣдней сценѣ „Чарь любви“.

Такъ въ романтическій періодъ своей литературной дѣятельности Гоголь пользовался повѣстью Тика.

Стр. 38 ¹Т; «что все съ вечера показывается» ВД, П. ²ВД, П; «Лѣтъ болѣе чѣмъ за сто» Т. ³Т; «то сямъ, то тамъ» ВД, П. ⁴ВД, П; «Бѣдность не бѣдность: тогда козаковалъ» Т.

Стр. 40 ¹Т; «свзнается» ВД, П.

Стр. 41 ¹П, Т; «живуть близко одинъ отъ другаго, не миновать бѣды» ВД. ²П, Т; «Терешко Коржъ» ВД.

Стр. 42 ¹П, Т; «рѣчи» ВД.

Стр. 43 ¹ВД, ОЗ; «потребую» П, Т. ²Т; «раздумно» ВД, П.

Стр. 44 ¹Т; «Что тутъ» ВД, П. ²Т; «и» ВД, П. ³П, Т; „набенка“ ВД.

Стр. 45 ¹Т; «Вѣдьма, вѣднвившись руками за обезглавленный трупъ, пила *кровь изъ него*» ВД; «а гнусная вѣдьма, вѣднвившись руками за обезглавленный трупъ, съ жадностью пила изъ него кровь» ОЗ.

Стр. 46 ¹Т; «мерещились ему въ глаза» ВД, П. ²П, Т; «схватилъ его» ВД. ³Т; «Дивно только показалось Пидоркѣ, когда стала рассказывать, какъ проходившіе мимо цыгане (цыганы П) украли Ивася. Онъ (Петро П) не могъ даже вспомнить лица его» ВД, П. «Тутъ Пидорка съ плачемъ рассказала Петрусю, какъ мимо проходившіе цыганы украли Ивася... и чтожъ вы думаете? хотя бы ненарокомъ перемѣнились онъ въ лицѣ. Проклятая бѣсовщина такъ обморочила его, что онъ едва могъ запомнить даже лицо Ивася, чему Пидорка не мало дивовалась и сколько ни была, не могла разгадать, что все это значитъ?» ОЗ. ⁴Т, ОЗ; «не въ сравненіе нашей» ВД, П. ⁵Т; «на верхъ которыхъ *навязывался* золотой галунь» П; «на верхъ которыхъ *навязывался* золотой галунь» ВД; «*сверхъ* *кожи* *навязывался* золотой галунь» ОЗ. ⁶Т; «изъ котораго выглядывалъ золотой очипокъ» ОЗ, ВД, П.

Стр. 47 ¹Т; «Ужъ не вынѣшнихъ переодѣваній, что бивають на свадьбахъ нашихъ?» ВД, П (но безъ вопросительнаго знака); «Не стать вынѣшнихъ переодѣваній, что бивають на свадьбахъ нашихъ?» ОЗ.

Стр. 48 ¹Т; «сукрывается» ВД, П. ²Т; «валится» ВД, П. ³Т; «одни *отжались* и откосились, другіе, которіе были поразгульнѣе, начали въ походъ снаряжаться» ОЗ; «Много козаковъ откосились, много козаковъ, поразгульнѣе другихъ, и въ походъ потянулись» ВД, П. ⁴Т; «то сямъ, то тамъ» ОЗ.

ВД, П. 3Т; «сталъ сѣяться» ВД, П; «снѣгъ началъ перенатать большими охлопьями» ОЗ.

Стр. 49 1Т; «все такъ же» ВД, П. 3Т; «мѣшки свои» ВД, П. 3Т; «изъ всей силы» П; «со всей силы» ВД.

Стр. 50 1 «Услуживныя старухи *отправили ее* было уже туда, куда и Петро потащился; *да одинъ разъ* прѣхавшій изъ Кіева козакъ разсказалъ ВД; «почтенныя старухи *отправили ее* было уже туда, куда и Петро потащился, *какъ одинъ разъ* прѣхажій казакъ, бывшій въ Кіевѣ, разсказывалъ» ОЗ; «Услуживныя старухи *отправили* было *ее* уже туда, куда и Петро потащился; *да одинъ разъ* прѣхавшій изъ Кіева козакъ разсказалъ П; «Услуживныя старухи *отправили* было *ее* уже туда, куда и Петро потащился; *но* прѣхавшій изъ Кіева козакъ разсказалъ Т. 3Т; «что еще никто не слыхалъ отъ нея ни одного слова» П; «что еще никто не слышалъ отъ нее ни одного слова» ВД. 3Т; „о семъ и о томъ“ ВД, П.

Стр. 51 1Т, ОЗ; «свалился» ВД, П.

Майская ночь, или утопленница (стран. 52—80).

Оригиналъ этого разсказа сохранился въ бумагахъ наслѣдниковъ автора, хотя и не вполне. Онъ написанъ собственною рукою Гоголя на листахъ такой же сѣрой писчей бумаги, какая употреблена и для „Сорочинской ярмарки“. На всѣхъ сохранившихся листахъ „Майской ночи“ ясно виденъ водяной фабричный знакъ съ цифрою „1829“; слѣд. повѣсть могла быть написана не ранѣе 1829 года. Повѣсть раздѣлена на главы, но они не всегда озаглавлены авторомъ и совсѣмъ не помѣчены цифрами, какъ въ печатномъ изданіи. На первой страницѣ перваго листа, послѣ заглавія („Майская ночь“) и эпитафиа, написано рукою автора: „Ганна“; эта глава оканчивается на третьей страницѣ листа. На четвертой страницѣ того же листа, подъ заглавіемъ „Голова“, начата вторая глава, конченная на первой страницѣ втораго листа. Значительная часть (почти половина) этой страницы оставлена пустою. На слѣдующей страницѣ начинается новая глава, надъ которой Гоголь не выставилъ заглавія; позднѣе карандашомъ и не рукою автора приписано надъ нею слѣдующее заглавіе: „Неожиданный соперникъ. Заговоръ“. Эти главы занимаютъ вторую страницу и небольшую часть третьей втораго листа. На третьей страницѣ начинается глава, надъ которою Гоголь написалъ самъ заглавіе: „Парубки гуляютъ“. Она занимаетъ третью и четвертую страницу втораго листа. На первой страницѣ слѣдующаго (третьяго) полулиста продолжается пѣсня: „(Набей бондарь, набей бондарь обручами) Хлопцы, слышали ли вы — За чуприну, за чуприну“. На послѣднемъ поллистѣ по-

мѣщена уже послѣдняя глава, заглавіе которой „Пробужденіе“ написано рукою Гоголя. Недостають листовъ, на которыхъ написаны были окончаніе четвертой главы и пятая глава повѣсти (стр. 68—71 настоящаго изданія). Означаеиъ эту рукопись буквами РН.

- Стр. 52 ¹Эпиграфъ *сплоиъ* переиечатанъ изъ ВД. Въ РН: «Врагъ ёго Батъка знае! Начауть що робить люди хрещены, то мурдуиця, мурдуиця, мовъ хорть за зайцемъ, а усе щось не до шмыгу. Толькыжъ куди хорть усунецця, то верть хвостыкомъ, такъ ден возмеця все мовъ зъ неба». Въ слѣдующихъ изданіяхъ «Сочиненій Гоголя» послѣдняя фраза этого эпиграфа сокращалась: «такъ де воно й возмеця зъ неба» П; «такъ де воно й возмеця» Т. ²Т; «си вечеръ, вѣчно задумавшійся» РН, ВД, П. ³Т; «сподтавцываеъ» РН, ВД, П.
- Стр. 53 ¹Т; «ручку свою» РН, ВД, П. ²Т; «здумчиво потопивъ въ него свои очи» РН, ВД, П.
- Стр. 54 ¹Т; «О, моя милая дѣвушка» РН, ВД, П. ²Т; «Да, что я хочу жениться на тебѣ» РН; «Да, что я хочу жениться» ВД, П. ³Т; «повѣсничай и шлю съ хлопцами по улицамъ» РН, ВД, П.
- Стр. 55 ¹РН, ВД; «среди теплаго ночнаго воздуха» П, Т. См. выше, стр. 508. ²Т; «батьку» РН, ВД, П.
- Стр. 56 ¹Т; «кинула на полъ» РН, ВД, П. ²Т; «батьку» РН, ВД, П.
- Стр. 60 ¹Т; «былъ выбранъ» РН; «былъ выбранъ онъ» ВД, П.
- Стр. 61 ¹П, Т; «Что за разгульство такое!» РН, ВД.
- Стр. 62 ¹П, Т; «со всей силы» РН, ВД. Гоголь нерѣдко употребляетъ «съ» вм. «изъ». Напр. «О, съ меня бы былъ славный романистъ». Соч. и письма Гоголя, V, 152. «Съ васъ никогда не будетъ проку». Тамъ же V, 234. Ср. 1-е примѣч. къ 6-й стр. пятаго тома настоящаго изданія.
- Стр. 64 ¹П, Т; «сею осенью» ВД. ²Т; «На Покрову-то, я готовъ поставить Богъ знаетъ что, если панъ Голова не будетъ писать ногами вѣмецкіе крендели по дорогѣ» ВД, П; «а на Покрову, я готовъ поставить Богъ знаетъ что, если панъ Голова не будетъ писать по дорогѣ ногами вѣмецкіе крендели» РН.
- Стр. 65 ¹Т; «что повидумывали проклятые вѣмци» ВД, П; «что проклятые вѣмци *повидумывали*» РН.
- Стр. 66 ¹ВД; «какой это висѣльникъ (чтобъ его на томъ свѣтѣ черти заставили лизать языкомъ горячую сковороду!) швырнулъ камнемъ» РН; «какой это висѣльникъ швырнулъ» П, Т. ²П, Т; «Повѣдавши на длинныя деревяныя спички галушки» ВД; «Вотъ повѣдвали на длинныя деревяныя спички галушки» РН.
- Стр. 67 РН, ВД; «олетать» П, Т. ²Т; «Вдругъ расшпилился клѣпкъ» ВД, П. «вдругъ расшпилился клепкъ» РН. Въ удѣльишвхъ листкахъ «Майской ночи», на особомъ полулистѣ эта пѣсня записана въ такомъ видѣ: Сначала одна строка зачеркнута: «Набей бондарь, набей бондарь обручи ты крѣпки»; затѣиъ переписанъ набѣло слѣдующій текстъ:

Хлопцы слышили ли вы:

Наши ли ль (sic!) головы не крѣпки!

У кривого головы

Вдругъ разсмыслись кленки.
 Набѣй бондурь голову
 Ты стальными обручами
 Выбей бондарь голову
 Батогами, батогами.
 Голова нашъ сѣдъ и кривъ
 Старь какъ бѣсъ и что за дарень (sic!)
 Прихотливъ и вохотливъ
 Лѣзетъ къ дѣвкамъ... Дурень! Дурень!
 (Тебѣ ли...)
 Лѣзть тебѣ ли къ парубкамъ?
 Тебя бѣ сиратать въ домовину
 По усамъ да по шеламъ
 За чурину, за чурину.

Этотъ текстъ служить развитіемъ слѣдующаго наброска въ концѣ предшествующей страницы рукописи:

«Хлопцы! слышали ли вы
 Наши ль головы не крѣпки
 У кривого головы
 Вдругъ разсмысли... кленки
 Набей, бондарь, голову
 Ты ст...
 В... >.

- Стр. 68 ¹П, Т; «отъ изумленія» ВД. ²П, Т; «проницательный умъ» ВД. ³П, Т; «неопитной мышѣ» ВД. ⁴П, Т; «продолжая тащить своего пѣвника прямо въ сѣни» ВД.
- Стр. 69 ¹Т; «выбросить» ВД, П. ²Т; «куда попало» ВД; «куда попало» П. ³Т; «который» ВД, П.
- Стр. 70 ¹Т; «не свихнул» ВД, П. ²Т; «ровень» П; «ровень» ВД.
- Стр. 71 ¹ВД; «огненный» П, Т. ²Т; «на верхушку» ВД, П. ³Т; «Есть» ВД, П. ⁴Т; «разинувшихся» П; «разинувшихъ» ВД. ⁵Т; «движеніе подойти къ нимъ» ВД, П.
- Стр. 72 ¹Т; «къ скважинѣ» ВД, П. ²ВД; «Дверь отворилась» П, Т. ³ВД; «соглядывалъ и какъ будто выбиралъ» П, Т. ⁴П, Т; «завѣски» ВД. ⁵Т; «который попятился немного» ВД, П.
- Стр. 73 ¹Т; «макушу» ВД, П. ²Т; «Богъ знаетъ» ВД, П. Ср. выше въ «Опечаткахъ» стр. 609. ³ВД; «вылѣчить» П, Т. Поправка неудачная, какъ видно изъ непосредственно за этимъ слѣдующей фразы: «Дамъ я вамъ переполоху!» ⁴Т; «Что это?» ВД, П. ⁵ВД; «Вы...» П, Т.
- Стр. 74 ¹Т; «валился» ВД, П. ²ВД, П; «Величественно и мрачно чертилъ кле-новѣй лѣсъ, стоявшій лицомъ къ мѣсяцу» Т. ³ВД; «неподвижна» П, Т. ⁴П, Т; «напередъ бѣлый локоть выставился въ окно» ВД. ⁵ВД; «свѣтъ-шани» П. Т. ⁶П, Т; «разомъ» ВД. ⁷Т; «подумалъ про себя герой нашъ» ВД, П.
- Стр. 75 ¹П, Т; «во все было въ немъ тихо» ВД. ²Т; «си тихое раздолье» ВД, П.

- Стр. 76¹ П, Т; «какое-то тяжелое, полное жалости и грусти чувство» ВД.
² П, Т; «смелькали легкія, какъ будто тѣни, дѣвушки» ВД. ¹ Т; «жребій»
 ВД, П. ² Т; «жребій» ВД, П.
 Стр. 77¹ Т; «и на лицѣ свернула» ВД, П. ² РН, Т; «увидѣлъ себя» ВД, П.
 Стр. 78¹ ВД, П; «батька» Т. ² Т; «вырубивая» ВД, П.
 Стр. 79¹ ВД; «неожиданнаго» П, Т.

Пропавшая грамота (стран. 81—92).

Намъ неизвѣстенъ рукописный текстъ этой повѣсти, напечатанной въ первый разъ въ первой части „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“ и въ послѣдующихъ изданіяхъ „Сочиненій Гоголя“ не подвергавшейся редакціоннымъ исправленіямъ.

Стр. 82 ¹ Т; «рябѣло» ВД, П.

Стр. 83 ¹ ВД; «повалила» П, Т — поправка неудачная: Гоголь пользуется въ этомъ мѣстѣ выраженіемъ южнорусскихъ народныхъ пѣсень; напр.

Ой у городъ Могилевъ *дымомъ тотануло,*

Лкъ те войско Запоробаске въ гармать да рѣнуло.

Во избѣжаніе недоразумѣній замѣтимъ, что Гоголь пользовался *рукописными* текстами малороссійскихъ пѣсень; этихъ текстовъ у него было довольно до выхода въ свѣтъ «Украинскихъ пѣсень» Максимовича. ² ВД, П; «сластей» Т; ³ ВД; «подпершия въ боки» П. Т. ⁴ П, Т; «да и ярмаркѣ же не вѣкъ стоять» ВД.

Стр. 84¹ П, Т; «обсмотрѣлъ онъ возы всѣ» ВД. ² ВД; «подлѣ» П, Т.

Стр. 85¹ ВД; «чудовище» П, Т. ² Т; «пришель» ВД, П.

Стр. 86¹ П, Т; «на кочергахъ своихъ» ВД. ² П, Т; «промежъ козаками» ВД.
³ Т; «промежъ мелкими кустарникомъ» ВД.

Стр. 88 Т; «тропака» ВД, П. ² П, Т; «на страхъ весь» ВД. ³ Т; «не пускался на рассказы» ВД, П.

Стр. 89¹ В, Д; «чудовища» П, Т. ² ВД; «чуть ли не красивѣе всѣхъ» П, Т.
³ ВД; «какъ» П, Т. ⁴ ВД; «на карты» П, Т. ⁵ П, Т; «хватъ королей по усамъ всѣхъ козырями» ВД.

Вечера на хуторѣ близъ Динаньни (часть вторая).

Вторая часть „Вечеровъ“ вышла подъ слѣдующимъ заглавіемъ: „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки. Повѣсти, изданныя *Пасичникомъ Рудымъ Панькомъ*. Вторая книжка. Санктпетербургъ. Печатано въ типографіи А. Плюшара, 1832“. Цензурная помѣта: „Санктпетербургъ. Генваря 31 дня 1832 года. Цензоръ *Н. Бутырскій*“. Первые четыре нумерованныя страницы заняты шмуцтителемъ „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки“, и заглавнымъ листомъ. На стр. V—XI включительно напечатано „Предисловіе“ (въ настоящемъ томѣ, стр. 95—98); страница XII пустая. На стр. XIII—XVI:

„Въ этой книжкѣ есть много словъ не всякому понятныхъ. Здѣсь они почти всѣ означены:

Баштавъ,	мѣсто, засѣянное арбузами и дынями.	Кобенякъ,	родъ суконнаго плаща съ пришитою назади видлогою.
Бубликъ,	круглый крендель, баранчикъ.	Кожухъ,	тулупъ.
Варенуха,	вареная водка съ приправками.	Комора,	авбаръ.
Видлога,	откидная шапка изъ сукна, пришитая къ кобенаку.	Корабликъ,	старинный головной уборъ.
Викрутасы,	трудные на.	Коржъ,	сухая лепешка изъ пшеничной муки, часто съ саломъ.
Галушки,	клёпки.	Курень,	соломенной палашъ.
Гамавъ,	родъ бумажника, гдѣ держуть огоньво, кремь, губку, табакъ, а иногда и деньги.	Кухва,	родъ кадки, похожая на опрокинутую дномъ къ верху бочку.
Голодная кутя,	сочельникъ.	Кухоль,	глинявая кружка.
Горлица,	танецъ.	Левада,	усадебъ.
Гречаникъ,	хлѣбъ изъ греченовой муки. [вухи.	Лылька,	трубка.
Дивчына,	дѣвушка; дивчата, дѣ-	Намнѣа,	бѣлое покрывало изъ жидкаго полотна, носимое на головахъ женщинами съ откинутыми назадъ концами.
Дукать,	родъ медали, носимой на шеѣ женщинами.	Нечуй-вѣтеръ,	трава.
Жинка,	жена.	Палница,	небольшой хлѣбъ, нѣсколько плоской.
Запаска,	родъ шерстянаго передника у женщинъ.	Парубокъ,	парень.
Кавунъ,	арбузъ.	Пейскии,	жидовскіе доковыи.
Каганецъ,	свѣтильня ¹ , состоящая изъ разбитаго черепка, наполненнаго саломъ.	Пекло,	адъ.
Кавуперъ,	трава.	Переполохъ,	испугъ. Выливать переполохъ, глѣчить испугъ.
Кацавъ,	Руской человекъ съ борою.	Петрови батоги,	трава.
Квяшъ,	спеченный изъ пшеничной муки хлѣбъ, обыкновенно ѣдомый горячимъ съ масломъ.	Плахта,	нижня одежда женщинъ изъ шерстяной, клѣтчатой матеріи.
		Пивкопи,	двадцать пять копѣекъ.

¹ Слово «свѣтильня» Гоголь употреблялъ въ значеніи «свѣчи», «свѣтильника». Въ рукописи «Тараса Бульби» читаемъ: «поставила я свѣтильню».

Пищикъ, писчалка, дудка, небольшая свирѣль.
 Покутъ, мѣсто подь образами.
 Полутабенекъ, старинная шелковая матерія.
 Свѣтка, родъ полукафтаныя.
 Скриня, большой сундукъ.
 Смалецъ, бараній жиръ.
 Сопка, свирѣль.
 Сукня, старинная одежда женщинъ изъ сукна.
 Сыровецъ, хлѣбный квасъ.
 Тѣсная баба, игра, въ которую играютъ школьники въ классѣ: жмутся

тѣсно на скамьѣ, покажѣть одна ловина не вытѣснить другую.
 Хлопецъ, мальчикъ.
 Хустка, платокъ носовой.
 Цыбуля, лукъ.
 Черевникъ, башмаки.
 Чумаки, Малороссiяне, ѣдущіе за солью и рыбою, обыкновенно въ Крымъ.
 Швецъ, сапожникъ.
 Шибеникъ, висѣльникъ.

Шмуцтитель „Ночь передъ Рождествомъ“ занимаетъ первую страницу, вторая пустая; эту повѣстью заняты стран. 3 — 130 включительно; шмуцтитель „Страшная мѣсть“ на стр. 131; 132-я пустая; „Страшная мѣсть (Старинная быль)“ на стр. 133 — 249 включительно; стр. 250-я пустая; стр. 251 шмуцтитель „Иванъ Ѳедоровичъ Шпонька и его тетушка“; стр. 252 пустая; повѣстью заняты стр. 253 — 329 включительно; стр. 330-я пустая; на стр. 331-й шмуцтитель „Заколдованное мѣсто“; стр. 332-я пустая; повѣсть помѣщена на стр. 333 — 354 включительно. На стр. 355 „Оглавленіе“; слѣдующая страница пустая. Ненумерованную страницу занимаютъ „Опечатки“.

<i>Стр.</i>	<i>стр.</i>	<i>напечатано:</i>	<i>читай:</i>
33	10	ею	его
54	8	объемистый	объемистый
55	20	учь	чубь
57	9	ею	его
94	10	смазываетъ	смазываетъ
112	18	Лафонтена и Богдановича	Лафонтена
118	20	падею	падки
134	9	рядной	рядной
138	18	клевъ	кльвъ.
177	8	прилюбивала	Прилюбивала
204	19	за тихъ	затихъ.
223	23	же	вже

Вторая часть „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“ появилась въ продажѣ въ началѣ марта 1832 года. Въ № 59-мъ „Сѣверной Пчелы“, вышедшемъ въ субботу 12-го марта, напечатано уже коротенькое извѣщеніе объ этой книгѣ. 10-го марта Гоголь послалъ экземпляръ ея Данилевскому. (Соч. и пис. Гоголя V, 149).

Ночь передъ Рождествомъ (стр. 99—143).

Эта повѣсть написана авторомъ въ записной книгѣ РА, № 2, на страницахъ 87—131. По характеру письма, совершенно тождественнаго съ тѣмъ, которымъ написаны повѣсти „Сорочинская ярмарка“ и „Майская ночь“, начало повѣсти „Ночь передъ Рождествомъ“ можетъ быть отнесено къ 1830 году. На стр. 132—134 написаны чернилами и карандашомъ позднѣйшія дополненія и измѣненія отдѣльныхъ мѣстъ повѣсти. Такъ на страницѣ 132-й помѣщены три приписки; изъ нихъ первыя двѣ писаны одинаковыми чернилами, блѣдно-желтоватыми, третья — черными. Первая приписка: „Въ залѣ толпилось нѣсколько генераловъ въ шитыхъ золотомъ мундирахъ. Запорожцы поклонили (sic!) на всѣ стороны и стали въ кучу. Минуту спустя вошелъ въ сопровожденіи цѣлой свиты величественнаго росту довольно плотный человекъ въ гетьманскомъ мундирѣ въ желтыхъ сапожкахъ. Волоса на немъ были растрепаны, одинъ глазъ немного кривъ; на лицѣ изображалась какая-то надменная величавость; во всѣхъ его движеніяхъ видна была привычка повелѣвать. Всѣ генералы, которые расхаживали довольно спѣшно въ шитыхъ золотомъ мундирахъ по залу, засуетились и съ низкими поклонами, казалось, ловили его слово и даже малѣйшее движеніе, чтобы сей же часъ летѣть выполнять его. Но Гетьманъ не обратилъ даже и вниманія, едва кивнулъ головою и подошелъ къ запорожцамъ. Запорожцы всѣ отвѣсили поклонъ въ ноги. „Всѣ ли вы здѣсь?“ (произнесъ) спросилъ онъ (громкимъ голосомъ) протяжно и произнося слова немного въ носъ“. Эта приписка съ незначительными поправками вошла въ печатный текстъ повѣсти (стр. 135). Вторая приписка: „Тутъ осмѣлился и кузнецъ поднять голову немного въ верхъ и увидѣлъ стоявшую передъ собою небольшого¹ росту женщину, нѣсколько даже толстую, напудренную, съ голубыми глазами и вмѣстѣ съ тѣмъ съ величественно улыбающимся видомъ, который такъ умѣлъ покорять² себѣ все и могъ только принадлежать одной царствующей (особѣ=) женщинѣ“. Эта приписка также принята въ печатный текстъ съ небольшими измѣненіями (стр. 136). Третья приписка на той же 132-й страницѣ: „Помилуй, мамо! Зачемъ губишь вѣрный народъ?

¹ Переправлено изъ слова: «невсогоаго».

² Переправлено другими, болѣе черными чернилами; прежде было написано: «покорилъ себѣ».

Чемъ прогнѣвали? Развѣ держали мы руку поганого татарина? Развѣ соглашались въ чемъ-либо съ турчиномъ? Развѣ измѣнили тебѣ дѣломъ или помышленіемъ? За что жъ немилость? Прежде слышали мы, что приказываешь строить вездѣ крѣпости, послѣ слышали, что хочешь *повертатъ съ корабинеры*¹; теперь слышимъ новыя грозы. Чемъ виновато запорожское войско? Можетъ быть, тѣмъ, что помогло твоимъ генераламъ взять Хотинъ?² Перешла ли бы твоя армія черезъ Перекопъ, когда бы не мы перевели ее?“ Потемкинъ ни слова и началъ (вытирать=) чистить свои брилліанты, которыми были унижены его руки. — „Чего же вы хотите?“ спросила Екатерина съ участіемъ. Запорожцы значительно (поглядѣли=) взглянули другъ на друга. „Теперь пора. Царица спрашиваетъ: чего хотимъ? сказалъ самъ себѣ кузнецъ“. Эта приписка вошла въ печатный текстъ въ измѣненномъ (цензурой?) видѣ (стр. 137).

На 133-й страницѣ рукописи РА, № 2 также три приписки. Первая, самая ранняя по времени изъ всѣхъ трехъ, носить на себѣ характеръ того письма, которымъ писанъ весь текстъ повѣсти; чернила, которыми она написана, тѣ же блѣдно-желтоватя. Вторая набросана мелкимъ письмомъ, бѣглымъ, не столь разборчивымъ, какъ предшествующее; чернила черныя. Третья, помѣщенная внизу страницы, набросана карандашомъ. Первая приписка: „Не прошло нѣсколько дней послѣ прибытія его въ село, какъ всѣ уже узнали, что онъ (величайшій) знахоръ. Бывалъ ли это боленъ, онъ тотчасъ отправлялся къ Пацюку, и Пацюку стоило только пошептать нѣсколько словъ и недугъ какъ будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшійся дворянинъ подавился рыбьей костью, Пацюкъ умѣлъ такъ искусно умѣлъ (sic!) ударить кулакомъ въ спину, что кость отправлялась, куда ей слѣдуетъ, не причинивъ никакого вреда дворянскому горлу“. Эта приписка составляетъ *дополненіе* къ основному тексту, а не передѣлку какого-либо въ немъ мѣста, подобно тремъ предшествующимъ; она вставлена передъ фразою: „Въ послѣднее время его рѣдко видали гдѣ-нибудь“ (стр. 121). Мѣсто вставки означено въ рукописи (стр. 111) особымъ знакомъ. Вторая приписка: „Какъ вихоръ пронесся мимо ихъ сидѣвшій въ горшеѣ колдунъ; кое-гдѣ звѣзды, собравшись въ кучу, играли

¹ Слова, напечатанныя курсивомъ, подчеркнуты въ рукописи.

² Прежде было написано: „Взяли ли бы твои генералы Хотинъ, когда бы мы не показали имъ дороги?“

въ жмурки, какъ клубился въ сторонѣ облакомъ цѣлый рой духовъ; какъ плясавшій при мѣсяцѣ чортъ остановился и снялъ шапку, увидѣвши кузнеца (на своемъ братѣ); какъ пронеслась мимо возвращавшаяся назадъ метла и (веретено) кочерга, на которой, видно, только-что съѣздила, куда нужно, вѣдьма; словомъ — всей дряни, которую видѣлъ кузнецъ, перечестъ нельзя было. Все, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядѣть на него и снова несло и продолжало свои... (Вакула летѣлъ) Кузнецъ все летѣлъ, и вдругъ заблестѣлъ передъ нимъ Петербургъ весь въ огнѣ (тогда была по какому-то случаю иллюминація)¹. Чортъ перелетѣлъ черезъ шлагбаумъ, оборотился въ коня, и кузнецъ увидѣлъ себя на немъ въ улицѣ: (шумъ, громъ) стукъ, блескъ, по обѣимъ сторонамъ громоздятся четырехъ-этажныя (дом) стѣны. Звукъ колеса, копытъ коня² отдается съ четырехъ сторонъ. Дома растутъ и будто поднимаются изъ земли. При каждомъ шагѣ мосты дрожать; кареты летаютъ; извозчики, фореиторы кричатъ. Снѣгъ свиститъ подъ тысячью летящихъ со всѣхъ сторонъ саней; пѣшеходы жмутся и тѣснятся подъ...“ Эта приписка, съ небольшими стилистическими измѣненіями, вставлена для распространенія и отчасти для замѣны слѣдующаго мѣста въ основномъ текстѣ рукописи: „Воздухъ въ легкомъ серебрянномъ туманѣ былъ прозраченъ³; даже можно было замѣтить, какъ (далеко въ сторонѣ ѣхала=) въ сторонѣ скакала вѣдьма верхомъ на ушпрѣ. Наконецъ заблестѣлъ и Петербургъ. Чортъ вихремъ перелетѣлъ черезъ шлагбаумъ и очутился въ улицѣ. Тутъ (разсудилъ онъ, по городу неприлично, будутъ бѣгать за нимъ мальчишки по всѣмъ улицамъ=) чортъ рѣшилъ, чтобы на всякой случай не бѣгали за нимъ мальчишки по улицамъ, превратиться въ коня. Бѣдный кузнецъ испугался, когда въѣхалъ (въ одну изъ многочисленныхъ улицъ=) въ середину города. Да и кому бы не чудно показалось⁴ въ первые очнуться въ улицѣ, заставленной четырехъ-этажными стѣнами, когда малѣйшій стукъ, копытъ коня отзывается громомъ и отдается нѣсколько разъ, когда дома растутъ и будто поднимаются изъ земли на каждомъ шагу, когда чудный городъ весь гремитъ и блещетъ, мосты дрожать, кареты летаютъ взадъ и впередъ (фонари, плошки — все горитъ,

¹ Скобки въ рукописи.

² Ср. ниже, 1-е примѣч. къ страницѣ 132-й.

³ Ср. выше, стран. 131—132.

⁴ Прежде было написано: «Да и кому не чудно покажется».

все въ огнѣ); форејтора и извошники кричатъ. Пѣшеходы тѣснятся подъ домами, унижанными площадями и огромныя тѣни ихъ (ходятъ=) мелькаютъ по стѣнамъ, досягая головою трубъ крышъ“. Третья приписка: „Государиня, которая, точно, имѣла самыя стройныя и прелестныя ножен, не могла не улыбнуться, слыша такое замѣчаніе изъ устъ простодушнаго кузнеца, который въ своемъ заповорожскомъ платьѣ могъ почесться красавцемъ“. Эта приписка вставлена въ печатный текстъ повѣсти (стран. 138), съ небольшими перемѣнами, вмѣсто слѣдующаго рукописнаго: „Государиня не могла не улыбнуться, слыша такой чистосердечный комплиментъ изъ устъ кузнеца, который въ новомъ своемъ красномъ жупанѣ (съ... отличался отъ прочихъ =) чистымъ бѣлымъ воротничкомъ своей рубашки разительно отдѣлялся отъ другихъ заповорожцевъ и могъ почесться между ними красавцемъ“.

Наконецъ, на страницѣ 134-й двѣ приписки, сдѣланныя, судя по неодинаковому характеру письма, въ разное время. Первая приписка: „Свѣтлѣйшій обѣщаль меня познакомить сегодня съ моимъ народомъ, котораго я до сихъ поръ еще не видала“, говорила дама съ голубыми глазами, разсматривая съ любопытствомъ заповорожцевъ. „Хорошо ли васъ содержатъ?“ продолжала она, подходя ближе“. Эта вставка внесена въ печатный текстъ (стран. 136). Вторая приписка: „(Признаюсь, мнѣ очень нравится) („Какое простодушіе!“ произнесла она, оборотившись къ дамамъ =). „Право, мнѣ очень нравится это простодушіе! Вотъ вамъ“, произнесла она, устремивъ глаза на стоявшаго подалѣе отъ другихъ среднихъ лѣтъ человѣка, съ полнымъ, но нѣсколько блѣднымъ лицомъ и пучкомъ назадъ, котораго скромный кафтанъ съ большими перламутровыми пуговицами разительно отличался отъ залитыхъ золотомъ мундировъ: „(вотъ ва прекрасный =) предметъ достойный остроумнаго пера вашего“. — „Вы, Ваше Императорское Величество, слѣшкомъ милостивы: сюда нуженъ, по крайней мѣрѣ, Лафонтенъ“, отвѣчала, поклонясь, господинъ съ перламутровыми пуговицами. — „Скажу вамъ (по совѣсти) я до сихъ поръ безъ памяти отъ вашего „Бригадира“. Вы удивительно какъ хорошо читаете! Однакожъ“, продолжала Государиня, обращаясь снова къ заповорожцамъ: „(мнѣ говорили =) я слышала, что на Свѣчѣ у васъ никогда не женятся“. Съ измѣненіями и эта приписка внесена въ печатный текстъ (стран. 137).

Большая часть позднѣйшихъ приписокъ, сдѣланныхъ Гоголемъ,

служить передѣлкою тѣхъ страницъ рукописи, на которыхъ изложено представленіе запорожцевъ императрицѣ. Приводимъ первоначальный текстъ этихъ страницъ, заключая въ скобки мѣста, зачеркнутыя авторомъ: „(Неизвѣстно, долго ли бы=) Можетъ быть, долго еще бы рассуждалъ кузнецъ, если бы лакей съ галунами не толкнулъ его подъ руку и не напомнилъ, чтобы онъ не отставалъ отъ другихъ. (Запорожцы прошли еще двѣ залы и остановились. Тутъ велѣно имъ было дожидаться. Минуту спустя вошелъ генералъ величественнаго роста твердымъ шагомъ. Въ лицѣ его не было замѣтно того раболѣвства и робости, которыя выражались на лицахъ прочихъ придворныхъ. Но взглянувъ на его открытый, мужественный и сіяющій благородною важностью) видъ, всякъ чувствовалъ по неволѣ какое-то смущеніе, особливо, когда онъ устремлялъ свои большіе, исполненные пріятности глаза. Привычка повелѣвать видна была у него во всемъ. Запорожцы всѣ отвѣсили поклонъ до самой земли. „Всѣ ли вы здѣсь?“ спросилъ генералъ.

„Та вси, батьку“, отвѣчали запорожцы, кланаясь снова.

„Не позабудете говорить такъ, какъ я васъ училъ?“

„Нѣтъ, батько, не позабудемъ“.

„Это царь?“ спросилъ кузнецъ одного изъ запорожцевъ.

„Куда тебѣ царь, это еще только Потемкинъ“, отвѣчалъ тотъ.

Въ другой комнатѣ послышались голоса, и кузнецъ не зналъ, куда свои глаза (уоставить =) дѣть отъ множества вошедшихъ дамъ и придворныхъ въ шитыхъ золотомъ кафтанахъ. Онъ только видѣлъ одинъ блескъ — и больше ничего. Запорожцы вдругъ всѣ попадали на землю и закричали въ одинъ голосъ: „Помилуй, мамо! Помилуй, мамо!“ Кузнецъ, не видя ничего, растянулся и самъ со всѣмъ усердіемъ на землѣ.

„Встаньте!“ прозвучалъ надъ ними повелительный и (необыкновенно=) величественно-пріятный голосъ. Нѣкоторые изъ придворныхъ засуетились и толкали запорожцевъ.

„Не встанемъ, мамо! Не встанемъ (,мамо)! Умремъ на мѣстѣ, а не встанемъ!“ кричали запорожцы.

Потемкинъ кусалъ себѣ губы (краснѣлъ, наконецъ), наконецъ подошелъ самъ и повелительно шепнулъ на ухо одному изъ запорожцевъ. Запорожцы поднялись.

Тутъ осмѣлился поднять голову и кузнецъ, увидѣвъ стоявшую (передъ ними Государиню съ тѣмъ благосклоннымъ величествен-

нымъ (видомъ) и вмѣстѣ улыбающимся видомъ, которымъ она умѣла такъ обворожать всѣхъ своихъ подданныхъ).

„Хорошо ли васъ содержатъ? (Не имѣете ли нужды въ чемъ?)“ сказала (Государиня съ обыкновенною своею кротостью =) она съ участіемъ.

„Та добре, мамо! Головы не велишь снимать съ плечь — почему жъ не жить какъ-нибудь?“

Потемкинъ снова поморщился, видя, что запорожцы [говорятъ?] совершенно не то, чему училъ ихъ.

„Если въ чемъ нуждается или недовольны чемъ“, (говорила =) произнесла Екатерина: „вы смѣло говорите мнѣ“.

(„Теперь пора“, подумалъ кузнецъ и разомъ повалился на землю), (устремивши =) съ робостью вперивши глаза на (стоявшую передъ нимъ въ ожиданіи Екатерину) Государиню, вдругъ повалился на землю.

„Ваше Царское Величество! не прикажите казнить, прикажите миловать. Изъ чего, не во грѣвъ будь сказано вашей царской Милости, сдѣланы черевички, что на ногахъ вашихъ? Я думаю, ни одинъ швецъ ни въ одномъ государствѣ на свѣтѣ не сдумѣетъ такъ сдѣлать. Боже ты мой! Что, если бы моя жинка надѣла такіе черевички!“ Государиня усмѣхнулась и остановила съ любопытствомъ на немъ свой взоръ. Придворные засмѣялись. Потемкинъ и хмурился, и улыбался вмѣстѣ. Сами запорожцы начали толкать подъ руку кузнеца, думая, не съ ума ли онъ сошелъ.

„Встань!“ сказала ласково Государиня. Если (твоей женѣ) тебѣ хочется имѣть такіе башмаки, то это не трудно сдѣлать. — Принесите ему сей же часъ башмаки самые дорогіе съ золотомъ. Но я, однакожъ, до сихъ поръ думала“, продолжала Государиня, обращаясь къ старѣйшимъ запорожцамъ: „что у васъ на Свѣтѣ не женятся никогда“.

„Какъ же, мамо! Вѣдь человѣку, сама знаешь, безъ жинки нельзя жить“, отвѣчалъ тотъ самый запорожець, который разговаривалъ съ кузнецомъ. И кузнецъ (изумился не мало =) удивился немного, слыша, что запорожець, зная такъ хорошо грамотный языкъ, говоритъ съ царицею, какъ (будто) нарочно, самымъ грубымъ, обыкновенно называемымъ мужицкимъ нарѣчіемъ. „Хитрый народъ!“ подумалъ онъ самъ въ себѣ: „вѣрно (съ какимъ-нибудь умысломъ =) не даромъ онъ это дѣлаетъ. „Мы не чернецы“, продолжалъ запорожець: „люди грѣшныя, падки такъ, какъ и всѣ

честные люди, до скоромнаго въ скоромные дни. (Много у насъ) Есть у насъ не мало* такихъ, которые имѣють женъ, только не живутъ съ ними на Сѣтчѣ: содержатъ на сторонѣ. Ёсть такіе, что имѣють женъ въ Польшѣ; есть такіе, что имѣють женъ въ Украинѣ; есть такіе, что имѣють женъ и въ Турецкиѣ. Вотъ какъ, мамо, у насъ водиться“.

Тутъ поднесли кузнецу башмаки. „Боже ты мой, что за украшеніе!“ вскрикнулъ кузнецъ, съ радостью ухвативши башмаки. „Ваше царское величество! не велите снимать мечемъ головы. Что жъ (если=) когда башмаки такіе на ногахъ и въ нихъ чаятельно ходите и на ледъ козваться, какія жъ должны быть самыя ножи? Думаю, по малой мѣрѣ изъ чистаго сахару“.

Государиня не могла не улыбнуться, слыша такой чистосердечный комплиментъ изъ устъ (кузнеца.. молодаго запо)**, который въ новомъ своемъ красномъ жупанѣ (съ... отличался отъ прочихъ) чистымъ бѣлымъ воротникомъ своей рубашки разительно отдѣлялся отъ другихъ запорожцевъ и могъ почесться между ними красавцемъ“.

Кромѣ вышеприведенныхъ приписокъ, помѣщенныхъ *позади* повѣсти, въ *самомъ текстѣ* повѣсти сдѣланы позднѣйшія измѣненія другими чернилами и другимъ почеркомъ, рѣзко отличающимися отъ чернилъ и почерка, употребленныхъ въ текстѣ. Такого рода позднѣйшія приписки и исправленія текста особенно многочисленны и значительны на стран. 121—123-й рукописи. Приводимъ первоначальный текстъ этихъ страницъ, печатая курсивомъ слова, зачеркнутыя въ рукописи и замѣненныя другими, и заключая въ скобки слова, зачеркнутыя на ходу письма: „Съ изумленіемъ оглядывался кузнецъ на всѣ стороны. Ему казалось, что всѣ дома устремили на него свои безчисленныя огненные очи и глядятъ. *Столько пановъ онъ вкругъ увидѣлъ* въ крытыхъ сукномъ шубахъ, что не зналъ кому шапку снимать. „Боже ты мой! сколько (чиновничества =) панства тутъ“, подумалъ кузнецъ. „Я думаю, каждый, кто ни пройдетъ по улицѣ въ шубѣ, то и засѣдатель, то и засѣдатель. А тѣ, что катаются въ такихъ чудныхъ бричкахъ, *положили больше на дома, избы*, то когда не городничіе, то вѣрно комиссары, а, можетъ, еще и больше“. Его слова прерваны были вопросомъ чорта:

* Слова, напечатанныя курсивомъ, приписаны сверху строки въ замѣнъ зачеркнутыхъ.

** Слова, заключенныя въ скобки, въ рукописи зачеркнуты и не замѣнены другими.

„Прямо ли до царицы ѣхать?“ — „Нѣтъ, страшно!“ подумалъ кузнецъ. „Тутъ гдѣ-то, я не знаю, пристаи заporожцы, которые проѣзжали осенью чрезъ Ярески. Они ѣхали изъ Сѣчи съ бумагами къ царицѣ — все бы таки посовѣтоваться съ ними“. — „Эй, сатана! вези меня къ заporожцамъ!“ *Конь поскакалъ изъ улицы въ улицу и остановился передъ однимъ домогъ.* „Что развѣ тутъ они живутъ? Вишь, какіе хоромя! Куда жъ итти?“ — „Такъ прямо въ двери и ступай!“ *отпѣчалъ чортъ.* — „Въ окно я и самъ не пользу. Въ которыя двери? Пстой! Куда?“ сказалъ кузнецъ, вида, что конь его не постоитъ на мѣстѣ, и ухватилъ его за хвостъ. „Ступай въ карманъ, нечистое животное!“ Чортъ вдругъ сталъ больше анбарной крысы и влѣзъ въ карманъ. „Теперь куда?“ — „По лѣстницѣ прямо“, прописчалъ чортъ. Кузнецъ взошелъ, отворилъ дверь и увидѣлъ заporожцевъ, сидѣвшихъ на диванахъ, поджавши подъ себя сапоги и курившихъ (люльки=) самый крѣпкій табакъ, называемый обыкновенно корешками.

„Здравствуйте, панове! Помогай Богъ вамъ! Вотъ гдѣ увидѣлись!“ сказалъ кузнецъ, подошедши близко и отвѣсивши поклонъ до земли.

„Что тамъ за человекъ?“ спросилъ сидѣвшій передъ самимъ кузнецомъ другого, бывшаго гораздо подалѣе.

„А вы не узнали?“ вскричалъ кузнецъ. „Это я, Вакула, кузнецъ: когда проѣзжали осенью черезъ Диканьку, то прогостили, — дай Боже вамъ всякаго здоровья и долголѣтія! — у меня безъ малаго два дни. И новую шину тогда поставилъ на переднее колесо у вашей кибитки“.

„А!“ сказалъ тотъ же заporожецъ: „Это тотъ самой кузнецъ, который малюетъ важно. Здорово, землякъ! Садись!“

„Спасибо вамъ, добрые люди, я и постою. Куда жъ нашему брату сѣсть на такое украшеніе!“

„Садись!“ сказалъ повелительно заporожецъ. „(Што жъ, землякъ! Зачемъ) да и роскажи, зачемъ тебя Богъ принесъ сюда“.

„А такъ. Захотѣлось поглядѣть. Всѣ толкуютъ: Петѣбургъ, Петѣбургъ! дай поглажу, что за Петѣбургъ“.

„Што жъ, землякъ“, сказалъ пріосанясь заporожецъ и желая показать, что онъ умѣетъ говорить и по русски: „Тебѣ, (думаю =) вразумительно сказать, чудно показалось, што балшой городъ?“

Кузнецъ и себѣ не хотѣлъ осрамиться; онъ, *какъ встъ*, думаю, уже замѣтили ниже(?), зналъ и самъ грамотный языкъ. „Гобернія

знатная“, отвѣчалъ онъ: „нечего сказать, дома балшущіе; *идеши по улицѣ, страхъ забираетъ, чтобы не обложимся (?) тебя.* Многие дома исписаны буквами изъ сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорція!“ Запорожцы, услышавши кузнеца, такъ свободно изъясняющагося, вывели о немъ заключеніе, очень для него выгодное.

„Продолжительное ли время“, подхватилъ другой запорожець съ довольнымъ видомъ: „ты пробудешь, землякъ, въ городѣ? Тутъ, братъ, не такъ, какъ у насъ на хуторахъ; правда, не такъ? Когда хочешь, мы тебя поведемъ на новый годъ; будетъ машкарюдъ балшой. А теперь намъ не время толковать съ тобою: ѣдемъ сейчасъ до парици. Можетъ, уже тамъ въ сѣняхъ и кварталный стоитъ за нами“.

„До парици! А будьте ласковы, земляки — возьмите и меня съ собою“. „Тебя?“ произнесъ запорожець съ такимъ видомъ, съ какимъ говоритъ отецъ трехлѣтнему своему сыну, просящему, чтобы его посадили [на] настоящую на большую лошадь. „Что ты будешь тамъ дѣлать? Нѣтъ! Не можно“. При этомъ на лицѣ его выразилась значительная усмѣшка.

„Мы, братъ, будемъ съ парицею толковать о дѣлѣ“.

„Возьмите!“ настаивалъ кузнецъ. „Проси!“ шепнулъ онъ тихо чорту, ударивъ кулакомъ по карману. Не успѣлъ онъ этого сказать, какъ другой запорожець проговорилъ: „Возьмемъ его въ самомъ дѣлѣ, братцы!“

„Пожалуй возьмемъ!“ произнесли другіе.

„Надѣвай же платье такое, какое и мы: *будешь хоть на часъ запорожцемъ. А славно быть запорожцемъ? Правда, славно?*“

Кузнецъ не заставилъ дожидаться себя: надѣлъ наверхъ своихъ широкіе шаровары; наверхъ тумпа надѣлъ красный жупанъ и былъ готовъ, какъ вдругъ открылись двери и вошедшіе чиновники доложили, что пора ѣхать. Чудно снова показалось кузнецу“ и т. д. (Ср. стран. 132—134).

Записная книга, въ которую Гоголь вписалъ повѣсть „Ночь передъ Рождествомъ“, подарена была ему Тарновскимъ въ Петербургѣ. Судя по характеру почерка, повѣсть была вписана авторомъ въ эту записную книгу ранѣе всѣхъ предшествующихъ ей набросковъ: 1) отрывка изъ статьи „Скульптура, живопись и музыка“, 2) отрывка изъ статьи о „Пушкинѣ“, и 3) повѣсти „Портретъ“. Полагаемъ, что повѣсть *прямо* вписана была въ книгу, а не пере-

писана въ нее съ черноваго оригинала. На это указываютъ *первичныя* поправки текста и особенно способъ, коимъ они произведены: эти первичныя поправки писались не *сверху* зачеркнутыхъ словъ, а *позади* ихъ, внутри строки, т. е. производились одновременно съ тѣмъ, какъ текстъ полагался на бумагу. Напр. Гоголь пишетъ: „ноги *тоненькія*, какъ у журавля“, тотчасъ же зачеркиваетъ напечатанное курсивомъ и въ ту же строку продолжаетъ: „такъ тонки, что если бы дать ихъ нашему Диканьскому головѣ“... Позднѣйшая поправка этого мѣста сдѣлана уже надъ строкою: „что если бы такія имѣлъ нашъ Диканьской голова“. Написавши: „не *повторный*“, Гоголь тотчасъ же зачеркиваетъ послѣднее слово и *вслѣдъ за нимъ* помѣщаетъ замѣняющее его: „губернскій“. Или, написавши: „послѣдняя ночь осталась *толкаться*“, Гоголь зачеркиваетъ послѣднее слово и продолжаетъ такъ: „шататься по бѣлому свѣту“. Иногда онъ зачеркиваетъ неудачное слово или оборотъ рѣчи, не дописавши его. Напр. „Если бы въ это время проѣзжалъ Сорочинскій засѣдатель... съ дьявольски сплетенною плетью, которую онъ имѣлъ обычай *забав*“; зачеркнувши послѣднее, недописанное слово, авторъ продолжаетъ въ ту же строчку: „*крестить спину* ямчика“; *потомъ*, зачеркнувши напечатанную курсивомъ поправку, онъ написалъ уже *сверху* зачеркнутаго: „подгонять своего“. Иногда образъ, представившійся фантазіи поэта и уже почти переданный на письмѣ, замѣняется другимъ болѣе опредѣленнымъ и перемѣщается ниже. Такую замѣну одного образа другимъ можно видѣть въ слѣдующемъ мѣстѣ: „Но торжествомъ его искусства была одна картина, намалеванная имъ на стѣнѣ *церковной* въ правомъ притворѣ, въ которой изобразилъ онъ св. Петра въ день страшнаго суда съ ключами въ рукахъ, (*освобождавшій* =) изгонявшій изъ Ада злаго духа, *заключенныхъ въ Адъ грѣш*“. Не успѣвши дописать послѣднюю фразу, Гоголь зачеркиваетъ ее, чтобы замѣнить ее тотчасъ же новою, и въ ту же строку пишетъ: „Испуганный чортъ метался во всѣ стороны, предчувствуя свою гибель, а заключенные прежде били и гоняли его кнутами, полѣнами и всѣмъ, чемъ ни попало“.

Кромѣ этихъ *первичныхъ* поправокъ, рукописный текстъ повѣсти имѣетъ много поправокъ, сдѣланныхъ *надъ строками* разными чернилами, въ различное время. Не смотря однако на всѣ эти поправки и дополненія, текстъ повѣсти, внесенный въ рукопись¹ РА

¹ Достаточно сравнить съ вышеприведенными нами выдержками изъ рукописнаго

№ 2. не совпадаетъ съ печатнымъ текстомъ, помѣщеннымъ въ „Диканскихъ Вечерахъ“; стало быть, онъ подвергся вновь пересмотру и исправленію передъ представленіемъ въ цензуру для напечатанія во второй части „Вечеровъ“. Цензурное разрѣшеніе этой книжки послѣдовало 31 января 1832 года. Окончательную редакцію повѣсти „Ночь передъ Рождествомъ“ можно отнести къ послѣдней четверти 1831 года; первоначальный же текстъ повѣсти, въ томъ видѣ, какъ его даетъ РА № 2, должно возвести или къ 1830 году, или къ началу 1831 года; въ теченіе этого послѣдняго года могли быть сдѣланы тѣ исправленія и дополненія, которыя занесены въ рукопись РА № 2. Второе изданіе „Вечеровъ“ означаемъ буквами ВД².

Стр. 95 ¹ВД; «съ кѣмъ» П, Т.

Стр. 99 ¹Т; «сознались» РА, ВД, П.

Стр. 100 ¹П, Т; «другой» РА, ВД. ²ВД, П, Т; «нашъ Диканской» РА.

Стр. 101 ¹РА, ВД; «огню» П, Т. ²ВД, П, Т. «не видѣлъ» РА. ³ВД, П, Т; «неблагодарившее» РА. ⁴ВД, П, Т; «Осина» РА. ⁵РА, ВД; «своего» П, Т. ⁶ВД, П, Т; «Диканской» РА.

Стр. 102 ¹ВД, П, Т; «Боже! чудно, право, устроено на нашѣмъ свѣтѣ» РА.

Стр. 103 ¹Поставленное въ скобки внесено изъ рукописи. Въ ВД, П, Т этого нѣтъ. ²РА, ВД; «сидитъ уже» П, Т. ³РА; «шутки» ВД, П, Т.

Стр. 104 ¹ВД, П, Т; «оставшись дома» РА. ²ВД; «какъ во всемъ ночи свѣтѣ и за Дикавкою и подъ Дикавкою» РА; «какъ во всемъ ночи свѣтѣ, и по ту сторону Диканьки» П, Т; очевидно, здѣсь пропускъ.

Стр. 105 ¹Слова: «своеправную красавицу» внесены изъ РА. ²П; «поступили» Т; «было поступаемо» РА; «поступаемо было» ВД. ³П, Т; «кого» РА, ВД. ⁴Слова «отъ радости» внесены изъ РА.

Стр. 106 ¹ВД, П, Т; «и усмѣхнувшись поворотилась она въ другую сторону. Тутъ кузнецъ вышелъ изъ себя и въ душевномъ волненіи обхватилъ рукою ея полный станъ. Чувствовала дрожащая рука, какъ поднимались подъ нею полныя дѣвическія перси. Дрожь и чудный холодъ пробѣжалъ по жиламъ варубка. Оксана вскрикнула и сурово остановилась передъ нимъ» РА. ²«развѣ (тебѣ) хочется, чтобы я выгнала тебя за двери лонатоу?» РА; «развѣ хочется, чтобы выгнала за дверь лонатоу?» ВД, П, Т.

Стр. 107 ¹Слово «своею» внесено изъ рукописи. ²РА; «со всѣмъ тѣмъ» ВД, П, Т. ³«ни всего твоего царства: дай мнѣ» РА, ВД; «ни всего твоего царства: дай» П, Т.

Стр. 108 ¹РА, ВД; «болѣе меня» П, Т. ²ВД, П, Т. «Морозъ увеличился и сверху такъ сдѣлалось холодно, что чортъ перепрыгивалъ съ одной ноги

текста и съ заимствованными изъ него вариантами РА № 2 печатный текстъ повѣсти, чтобы видѣть, что въ послѣднемъ измѣненіи многія мѣста и отдѣльныя выраженія, не зачеркнуты въ рукописномъ. Ср. примѣч. 1-е къ стран. 106, прим. 2-е къ стран. 108, прим. 1-е къ стран. 137.

- на другую и дулъ себѣ въ кулакъ, желая сколько-нибудь отогрѣть мерзнушія руки — «гѣлжого роду собацѣ подобье!» какъ говорилъ покойный Макарь Назаровичъ, Лохвицкій подкоморій» РА. ³ П, Т; «и не смерзнуть» РА; «и смерзнуть», ВД.
- Стр. 110 ¹ РА, ВД; «дѣвъ гряди» П, Т.
- Стр. 111 ¹ РА; «сѣтъ» ВД, П, Т. ² Слово «назѣрное» вставлено изъ рукописи. ³ П, Т; «намерзнувшими» РА, ВД.
- Стр. 112 ¹ ВД; «отпереть дверь» РА; «отпереть» П, Т. ² Слово «хата» внесено изъ РА.
- Стр. 113 ¹ РА; «къ комиссару» ВД, П, Т. ² ВД, П, Т; «не вастукаетъ» РА ³ П, Т; «вьюжнымъ свистомъ» РА, ВД. ⁴ РА, ВД; «съ боку на перевязи» П, Т. ⁵ ВД, П, Т; «свѣтъ серебрянымъ полемъ загорѣлся при мѣсяцѣ» РА.
- Стр. 114 ¹ ВД, П, Т; «Ахъ, какіе хорошіе и съ золотомъ». Тутъ она *несессло наклонила на бока свою голову* РА. Нанечатанное курсивомъ въ рукописи написано сверху строки, вмѣсто зачеркнутого: «Какъ ты щастлива, что у тебя такіе хорошіе черевки». ² Слово «такіе» внесено изъ рукописи. ³ ВД ², П, Т; «смиѣясь» РА, ВД. ⁴ РА, ВД; «вздумать» ВД ³, П, Т.
- Стр. 115 ¹ Слова «стукъ изъ» внесено изъ РА; «скакъ вдругъ послышался голосъ дужаго головы» ВД, П, Т.
- Стр. 116 ¹ РА, ВД; «не было никого» П, Т. ² ВД, П, Т; «не побоялся» РА. ³ Слово «сладострастный» внесено изъ рукописи. ⁴ РА, ВД; «стукъ въ дверь» П, Т.
- Стр. 117 ¹ РА; «замѣтно» ВД, П, Т. ² Слово «нигдѣ» внесено изъ РА.
- Стр. 118 ¹ РА; «вывела» ВД, П, Т. ² Слова «по селу» внесены изъ РА. ³ Слово «еще» внесено изъ РА. ⁴ Слово «хочоть» внесено изъ РА.
- Стр. 119 ¹ РА, ВД; «подлѣ» П, Т. ² Слова «за тебя» внесены изъ РА. ³ Слово «дѣвушекъ» внесено изъ РА. Ср. 2-е примѣчаніе къ слѣдующей страницѣ.
- Стр. 120 ¹ «Пойду утоплюсь» РА, ВД; «Пойду утоплюсь въ пролубѣ» ВД ²; «Пойду утоплюсь въ проруби» П, Т. ² Слово «дѣвчаты» внесено изъ РА.
- Стр. 121 ¹ РА, ВД; слова «какъ» нѣтъ въ П, Т. ² РА, ВД; «выпивалъ однимъ разомъ» П, Т. ³ П, Т; «ногъ было совершенно незамѣтно» РА, ВД.
- Стр. 122 ¹ ВД, П, Т; «пришелъ» РА.
- Стр. 123 ¹ РА, ВД; «больше» П, Т.
- Стр. 124 ¹ «считавшійся между ними первымъ на выдумки» ВД, П, Т; «считавшійся между ними первымъ хитрецомъ и острякомъ на выдумки» РА. Ср. въ шестомъ томѣ настоящаго изданія малороссійскій анекдотъ «Хрошой чортъ».
- Стр. 125 ¹ Такъ въ рукописи и ВД; въ П, Т испорчено: «Въ Петербургѣ». ² Слово «хоть» внесено изъ рукописи. ³ ВД; «что онъ тутъ наклакъ» Р; «что онъ сюда наложилъ» П, Т.
- Стр. 126 ¹ Слова: «въ шинкѣ» внесены изъ рукописи.
- Стр. 127 ¹ Р; «сно» ВД, П, Т. ² Слово «хати» внесено изъ рукописи. ³ ВД, П, Т; «скакыхъ немного на свѣтѣ» РА. ⁴ Слово «столько» внесено изъ рукописи.
- Стр. 129 ¹ ВД, П, Т; «А вы, небось, меня хотѣли съѣсть вмѣсто кабана. Пойдите» РА. ² Слово «самъ» внесено изъ рукописи. ³ П, Т; «изъ руки» ВД; въ рукописи окончаніе слова неясно. ⁴ Р, ВД; «изумившись» ВД ³, П, Т.

- Стр. 130 ¹ВД, П, Т; <до застрого> РА. ²П, Т; <множество> РА, ВД. ³Слово <даже> внесено из рукописи. ⁴РА, ВД; <Лу!> ВД², П, Т. ⁵П, Т; <себя> РА, ВД.
- Стр. 131 ¹ВД, П, Т; <как будто святая> РА. ²Слово <особливо> внесено из рукописи. ³ВД, П, Т; <вшину> РА. ⁴РА, П, Т; <мало> ВД. ⁵Замеченное в примечании скобки [] внесено из рукописи, где это место обведено красными чернилами. ⁶Р, ВД; <как облаком клубился в стороны> П, Т.
- Стр. 132 ¹П, Т; <копыт коня, звук колеса отзываются громом и отдаются с четырех сторон> ВД; <копыт коня, звук колеса отзываются громом и отдавались с четырех сторон> ВД². Из опечатки: <омзы-еаюмис> можно заключить, что это место во втором издании «Вечеров» набрано по тексту первого их издания и изменено уже в корректуре. В рукописи первоначальный текст: <когда малѣйшій стукъ, копытъ коня отзываетъ громомъ и отдается нѣсколько разъ>. В той же рукописи исправленный текст: <Звукъ колеса, копытъ коня отдается съ четырехъ сторонъ>. Текст первых двух изданий «Вечеров», где перед словом «копытъ» нѣтъ никакого существительного, запятая перед тѣм же словом в рукописи приводит къ заключенію, что слово «копытъ» употреблено здѣсь Гоголемъ вмѣсто «копыто» т. е. должно быть рассматриваемо как имен. падежъ един. числа, а не родительн. множеств. ²Слово «И» внесено из рукописи. ³П, Т; <но немного ободрился, узнавши тѣхъ самыхъ Запорожцевъ, которые проѣзжали черезъ Диканьку, сидѣвшихъ на шелковыхъ диванахъ, поджавъ подъ себя намазанные дегтемъ сапоги, и курившихъ самой крѣпкой табакъ> ВД. <Кузнецъ взомель, отворилъ дверь и увидѣлъ запорожцевъ, сидѣвшихъ на шелковыхъ диванахъ, поджавши подъ себя намазанные дегтемъ сапоги и курившихъ (дыльки ==) самый крѣпкій табакъ> РА.
- Стр. 133 ¹РА, ВД; <ближе> П, Т. ²Слова «у меня» внесены из рукописи. ³РА, ВД; <Я> П, Т. ⁴Слово «у» внесено из рукописи. ⁵П, Т; <и себя не хотѣлъ осрамиться> РА, ВД. ⁶РА; <Губернія> ВД, П, Т. ⁷ВД, П, Т; <зватины>. ⁸РА; <къ царцѣ> ВД, П, Т (два раза).
- Стр. 134 ¹Слова «самими дорогими» внесены из рукописи. ²РА; <сн малеваніа> ВД, П, Т.
- Стр. 135 ¹ВД, П, Т; <умремъ на мѣстѣ> РА. ²ВД, П, Т; <шепнулъ на ухо> РА.
- Стр. 137 ¹<господинъ> П, Т; <Сюда нужно, по крайней мѣрѣ, Лафонтена, отъѣзжалъ поклонясь господинъ съ перламутровыми пуговицами> РА; <Сюда нужно, по крайней мѣрѣ Лафонтена или Богдановича!> отъѣзжалъ поклонясь человекъ съ перламутровыми пуговицами> ВД.
- Стр. 139 ¹П, Т; <ему> Р, ВД. ²Р, ВД; <Тыачка хотѣла сбѣгать тоже> П, Т. ³ВД, П, Т; <къ своей хатѣ> РА.
- Стр. 140 ¹ВД, П, Т; <выказывалась бѣлая, сѣрая, а иногда даже и синія свитка> РА. ²Слово «варанѣ» внесено из рукописи. ³РА; <на> ВД, П, Т. ⁴ВД, П, Т; <Дѣвчата не могли понять этого, и ни одна изъ нихъ не поддѣривала> РА. ⁵РА; <баса> ВД, П, Т. ⁶РА; <но куда бы лучше> ВД, П, Т.
- Стр. 141 ¹ВД; <статара> РА; <ститора> П, Т. ²РА, ВД; <подлѣ> П, Т. ³П, Т; <сегодняшняго> РА, ВД. ⁴П, Т; <свесь годъ> РА; <черезъ весь годъ> ВД.

Стр. 142 ¹ВД, П, Т; «мѣднѣ птаки» РА. ² Слово «теперь» внесено изъ рукописи. ³ВД; «какіа» РА; «что» П, Т.

Страшная мѣсть (стр. 144—184).

Намъ неизвѣстенъ рукописный текстъ этой повѣсти, напечатанной въ первый разъ во второй части „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“. Въ первомъ изданіи „Вечеровъ“, послѣ заглавія „Страшная мѣсть“ прибавлено въ скобкахъ „Старинная быль“. Уже во второмъ изданіи „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“ (1836 г.) слова „Старинная быль“ выкинуты и затѣмъ не вносились ни въ одно изданіе „Сочиненій Гоголя“.

Стр. 145 ¹ВД; «краткую» П, Т. ²П, Т; «крутя» ВД. ³Слово «шпрокому» внесено изъ ВД.

Стр. 146 ¹Слово «само» внесено изъ ВД.

Стр. 147 ¹П, Т; «выскаливаетъ» ВД. ²ВД; «сдругъ» П, Т. ³П, Т; «разметанъ» ВД. ⁴ВД; «что у него есть какой-нибудь притонъ» П, Т. ⁵П, Т; «сатанѣ съ душою» ВД. ⁶П, Т; «Ничего не предвѣщаетъ добраго мнѣ встрѣча съ нимъ» ВД. ⁷П, Т; «очи твои такъ угрюмо надвинулись бровями» ВД.

Стр. 148 ¹ВД; «свидѣлось» П, Т. ²ВД, П; «недвижимо» Т. ³Слово «у» внесено изъ ВД.

Стр. 149 ¹ВД; «на расправу» П, Т. Эта послѣдняя поправка П, Т противорѣчитъ тексту пѣсни, напечатанному въ «Сборникѣ Украинскихъ пѣсень» Максимовича I, 97:

Рости жъ, сынку, въ забаву,
Козачеству на славу,
Вороженькамъ въ расправу!

²ВД; «какъ не выбьются изъ груди на встрѣчу другъ другу» П, Т.

Стр. 150 ¹ВД; «Ему весело взглянуть, проснувшись среди ночи, на высокое, засѣянное звѣздами небо» П, Т.

Стр. 151 ¹Слово «селъ» внесено изъ ВД.

Стр. 152 ¹ВД; «сестъ капля жалости» П, Т.

Стр. 153 ¹Слово «я» внесено изъ ВД. ²ВД; «Данилу» П, Т. ³ВД; «страшно» П, Т. ⁴ВД; «страшный» П, Т. ⁵П, Т; «не будучи ни въ чемъ виновенъ» ВД; «не будучи ни въ чемъ виновать» ВД². ⁶П, Т; «мы видали» ВД. ⁷П, Т; «ему» ВД.

Стр. 154 ¹ВД; «выпить меду» П, Т. ²П, Т; «связить» ВД. ³П, Т; «увидя нагнушагося, чтобы войти въ дверь, тестя» ВД.

Стр. 155 ¹П, Т; «съ назухъ» ВД.

Стр. 156 ¹ВД; «останется» П, Т. ²П, Т; «смыли» ВД. ³П, Т; «и вышелъ потихоньку изъ двора, промежъ спавшими своими козаками, въ горы» ВД.

⁴ВД; «на боку» П, Т.

- Стр. 157 ¹ВД; «иначе мы видѣли бы» П, Т. ²ВД; «подлѣ» П, Т. ³П, Т; «съзъ него» ВД.
- Стр. 158 ¹ВД; «потухъ» П, Т. ²ВД; «настала» П, Т.
- Стр. 159 ¹ВД; «моя мать» П, Т. ²ВД; «Катерина, полюби меня!» П, Т.
- Стр. 162 ¹П, Т; «подвелся» ВД.
- Стр. 163 ¹ВД; «началъ» П, Т.
- Стр. 164 ¹ВД; «обмываешь» П, Т. ²ВД; «будешь» П, Т. ³П, Т; «мигъ недолго остается жить уже» П, Т.
- Стр. 165 ¹ВД; «на» П, Т. ²ВД; «вмѣсто его» П, Т. ³ВД; «то» П, Т. ⁴ВД; «волосы» П, Т. ⁵ВД; «два дня» П, Т.
- Стр. 166 ¹ВД; «Давили» П, Т.
- Стр. 167 ¹П, Т; «сталъ» ВД.
- Стр. 168 ¹П, Т; «я дѣлать на него мушкетъ» ВД.
- Стр. 169 ¹ВД; «отразился» П, Т. Вмѣсто «стеклянныхъ» (П, Т) Гоголь употребилъ въ ВД: «стклянныхъ». ²П, Т; «и усмихаются къ нему» ВД.
- Стр. 170 ¹ВД; «освѣщаетъ» П, Т. ²П, Т; «что онъ глотаетъ, какъ мухъ, людей» ВД.
- Стр. 172 ¹П, Т; «мое дитя» ВД. ²ВД; «немного» П, Т.
- Стр. 174 ¹ВД; въ П, Т опечатка: «двнннл». ²ВД; «не услышали» П, Т.
- Стр. 175 ¹П, Т; «давнѣя» ВД.
- Стр. 177 ¹П, Т; «сему» ВД.
- Стр. 178 ¹ВД, П; въ Т опечатка: «не было».
- Стр. 179 ¹ВД; «вдругъ» П, Т.
- Стр. 180 ¹ВД; «отъ» П, Т. ²ВД; «земли» П, Т.
- Стр. 181 ¹Слово «того» внесено изъ ВД.
- Стр. 182 ¹ВД; «полетѣли» П, Т. Такую же поправку сдѣлалъ Прокоповичъ на этой же страницѣ и въ предложеніи: «возакъ съ младенцемъ полетѣлъ (въ П, Т «полетѣли») на дно». ²ВД; «невинный» П, Т.

Иванъ Федоровичъ Шпоньна и его тетушка (стр. 185—211).

Рукописный текстъ этой повѣсти намъ неизвѣстенъ. Въ печати появилась она, въ первый разъ, во второй части „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“ и впоследствии не подвергалась передѣлкѣ при перепечаткѣ въ „Сочиненія Гоголя“.

- Стр. 186 ¹ВД; «кромя его» П, Т.
- Стр. 187 ¹П, Т; «что былъ» ВД.
- Стр. 188 ¹ВД; «Было уже безъ малаго пятнадцать лѣтъ ему» П, Т. ²ВД; «къ какому принадлежатъ многіе пѣхотные полки: не смотря на то, что онъ стоялъ большею частію по деревнямъ, онъ былъ» П, Т.
- Стр. 189 ¹ВД; «въ» П, Т. ²Въ ВД, ВД², П, Т ошибочно: «поручикомъ».
³ Слово «и» внесено изъ ВД.
- Стр. 191 ¹П, Т; «свзѣхалъ» ВД. ²П, Т; «поднимають» ВД.
- Стр. 192 ¹П, Т; «въ» ВД. ²П, Т; «свзѣду» ВД. ³ВД; «которая казалась» П, Т.
- Стр. 194 ¹П, Т; «и потому вамъ нечего вставать рано» ВД. ²П, Т; «и на-

- тануль вмѣсто того халать». ³ВД; «а» П, Т. ⁴П, Т; «уже толстаго помѣщика не было» ВД.
- Стр. 195 ¹ВД; «во» П, Т. ²П, Т; «Однѣмъ, стоя возлѣ кухни и накрывъ лапою кость, заливался во все горло. Другой лаялъ издали и бѣгалъ взадъ и впередъ» ВД. ³ВД; «хрюкала» П, Т. ⁴П, Т; «сушившихся» ВД. ⁵П, Т; «слазившаго» ВД. ⁶П, Т; «рогожанную» ВД.
- Стр. 196 ¹ВД; «страсла» П, Т. ²П, Т; «изъ той же грозной руки» ВД. ³ВД; «и хлопотала во весь день» ВД. ⁴Слово «сего» внесено изъ ВД.
- Стр. 197 ¹Слово «и» внесено изъ ВД. ²ВД; «унизавшія» П, Т.
- Стр. 198 ¹Слово «то» внесено изъ ВД. ²ВД; «о» П, Т. ³Слово «его» внесено изъ ВД.
- Стр. 199 ¹Слово «то» внесено изъ ВД. ²П, Т; «сповыдергивала» ВД. ³ВД; «кончился» П, Т. ⁴П, Т; «сочеретною» ВД. ⁵ВД; «на» П, Т. ⁶Слово «занятія» внесено изъ ВД.
- Стр. 200 ¹ВД; «свазуска» П, Т.
- Стр. 201 ¹ВД; «смотрящею» П, Т. ²ВД; «спотчуйте» П, Т. ³Слово «это» внесено изъ ВД. ⁴П, Т; «прошу, Золототысячничковой, или Трохимовскаго свушки, какой вы лучше любите» ВД; «прошу, Золототысячничковой, или Трохимовской свушки, какой вы лучше любите» ВД². ⁵ВД; «вотъ этими» П, Т.
- Стр. 206 ¹ВД; «снучать» П, Т.
- Стр. 207 ¹ВД; «Послѣ этого» П, Т.
- Стр. 208 ¹П, Т; слова «ему» нѣтъ въ ВД. ²ВД; «и долго еще кланялись те-тушкѣ и племяннику, выглядывавшимъ изъ брячки» П, Т.
- Стр. 209 ¹ВД; «страшно» П, Т. ²П, Т; «по мѣрѣ того, чѣмъ болѣе» ВД.
- Стр. 210 ¹Слово «уже» внесено изъ ВД. ²ВД; «просыпается» П, Т. ³ВД; «слѣтся» П, Т.

Занолдованное мѣсто (стр. 212).

Разсказъ напечатанъ въ первый разъ во второй части „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“; рукописный текстъ онаго намъ неизвѣстенъ.

- Стр. 213 ¹ВД; «съ баштана» П, Т.
- Стр. 214 ¹ВД; «Но куда же» П, Т. ²П, Т; «равскавлями» ВД. ³ВД; «на свѣтѣ» П, Т. ⁴Слово «свою» внесено изъ ВД. ⁵ВД; «вытанцовывается» П, Т.
- Стр. 215 ¹ВД; «вмѣсто его» П, Т. ²ВД; «сломанную» П, Т.
- Стр. 216 ¹ВД; «не вытанцовывалось» П, Т.
- Стр. 217 ¹ВД; «за» П, Т.
- Стр. 218 ¹П, Т; «онъ» ВД. ²ВД; «еще, еще, еще» П, Т. ³ВД; «что-то закричало» П, Т.
- Стр. 219. ¹П, Т; «корками съ арбузовъ и диней» ВД. ²ВД; «закричитъ намъ» П, Т. ³ВД; «вытанцовывалось» П, Т. ⁴ВД; «у батьки» П, Т.

Миргородъ.

Объ части „Миргорода“ напечатаны въ Петербургѣ, „въ типографіи Департамента внѣшней торговли“, въ 1835-мъ году, въ 8 д. л. Цензурное разрѣшеніе подписано такъ: „29 декабря 1834 года. *Цензоръ В. Семеновъ*“.

31 января 1835 г. Гоголь писалъ Погодину: „Кромѣ всего прочаго, я стараюсь, чтобы чрезъ три недѣли вышло мое продолженіе „Вечеровъ“ (Соч. и письма Гоголя V, 233). 9 февраля Гоголь сообщаетъ Погодину, что эта книга „на дняхъ выходитъ“ (Тамъ же, 234). Но „Миргородъ“ поступилъ въ продажу лишь въ началѣ апрѣля. Въ письмѣ къ матери, отъ 12 апрѣля 1835 г. Гоголь пишетъ: „Посылаю вамъ, въ завершеніе, мои повѣсти, довольно давнія, которыя, впрочемъ, недавно вышли изъ печати“. (Соч. и письма Гоголя V, 240). Краткая рецензія „Миргорода“ появилась въ № 33 (среда, апрѣля 24) „Литературныхъ прибавленій къ Русскому Инвалиду“ 1835 года, стр. 262; въ „Сѣверной Пчелѣ“ разборъ книжки напечатанъ былъ въ № 115, 25-го мая.

Первая часть „Миргорода“ заключаетъ въ себѣ повѣсти: „Старосвѣтскіе помѣщики“ (стр. 1—55) и „Тарась Бульба“ въ первоначальной редакціи (стр. 57—224); во вторую часть вошли „Вій“ (стр. 5—96) и „Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“ (стр. 97—215). Другаго отдѣльнаго изданія „Миргорода“ не было. Въ изданіяхъ „Сочиненій Николая Гоголя“ первомъ (С.-Петербургъ, 1842 г.) и второмъ (Москва, 1855 г.) „Миргородъ“ занимаетъ второй томъ. При перепечаткѣ „Миргорода“ въ „Сочиненіяхъ Гоголя“ (1842 г., II) сдѣланы *существенныя* измѣненія въ повѣстяхъ: *Вій* и *Тарась Бульба* (см. ниже). Первое изданіе „Миргорода“ означаемъ буквою М.

Старосвѣтскіе помѣщики (стр. 221—246).

Первоначальный текстъ этой повѣсти написанъ авторомъ въ записной тетради, принадлежавшей И. С. Аксакову (№ 3), а нынѣ хранящейся въ Императорской Публичной Библиотекѣ. Означаемъ эту тетрадь буквами ИБ. Къ сожалѣнію, эта тетрадь не сохранилась въ первоначальномъ видѣ; нѣкоторые листы изъ нея вырѣзаны. Повѣсть „Старосвѣтскіе помѣщики“ занимаетъ въ настоящее время поллисты отъ 12-го до поллиста 15^а включительно (по нумераціи, сдѣланной въ 1837 году). 15-й поллистъ оканчивается

словами: „онъ рыдалъ, рыдалъ сильно, рыдалъ неутѣшно и слезы лились, какъ рѣка“. Затѣмъ одинъ поллистъ вырѣзанъ, а потомъ слѣдуетъ небольшой лоскутокъ 15^а, на которомъ написанъ лишь слѣдующій отрывокъ: „Это то блюдо“, продолжалъ онъ, — и я замѣтилъ, что голосъ началъ дрожать, слеза готова была выглянуть изъ его тусклыхъ глазъ, но онъ собиралъ всѣ усилія и какъ будто хотѣлъ удерживать ее —: „это то блюдо, которое по... по.... покой.... покойни....“ И вдругъ брызнулъ; рука его упала на тарелку; тарелка опрокинулась, упала на полъ и разбилась; соусъ залилъ его всего. Онъ сидѣлъ безчувственно, безчувственно держалъ ложку, и слезы, какъ ручей, какъ немолчно точущій фонтанъ, лились, — лились ливнями на застиланную его салфетку. „Боже!“ думалъ я, глядя на него: „пять лѣтъ всемогущаго времени... старикъ, уже безчувственный старикъ, котораго жизнь, какъ казалось, не возмущало ни одно движеніе души, котораго вся жизнь, казалось, состояла только изъ сидѣнія на высокомъ стулѣ, изъ яденія сушеныхъ рыбокъ — и такая долгая, такая жаркая печаль! Нѣсколько разъ силился онъ выговорить имя покойницы и не могъ; на половинѣ слова спокойное и обыкновенное лицо его вдругъ исковеркивалось, и плачь дитяти поражалъ меня въ самое сердце“¹. Конецъ повѣсти въ рукописи ИБ не написанъ.

Повѣсть „Старосвѣтскіе помѣщики“ набросана въ тетради ИБ *не ранне конца 1832-го*. Здѣсь уже читаемъ, что „у Пульхеріи Ивановны была сѣренькая сибирская² кошечка“. Разсказъ объ исчезновеніи этой кошечки переданъ въ рукописи такъ: „Лѣсныхъ дикихъ котовъ не должно смѣшивать съ тѣми удалцами, которые бѣгаютъ по крышамъ домовъ: находясь въ городахъ, *тѣ*³, не смотря на крутой нравъ свой, гораздо болѣе *цивилизованы*, нежели обитатели лѣсовъ. Это, напротивъ того, болѣею частью народъ мрачный и дикій; они всегда ходятъ тощіе, худые, мяукаютъ грубымъ, необработаннымъ голосомъ. Они подрываются иногда подземнымъ ходомъ подъ самые амбары и крадутъ сало;..... *иногда* даже въ самой кухнѣ, *отпрыгнувши* внезапно въ растворенное окно, когда замѣтятъ, что поваръ пошелъ въ бурьянъ с....“⁴. Вообще никакія

¹ Въ печатной редакціи это мѣсто распространено. Ср. стр. 244 и 563.

² Слова „сибирская“ вѣтъ въ печатномъ текстѣ повѣсти.

³ Отмѣчаемъ курсивомъ слова, измѣненныя, получившія другой порядокъ и опущенныя въ печатномъ текстѣ.

⁴ Въ рукописи одно изъ тѣхъ словъ, которыя Гоголь называлъ „крѣпкими“.

благородныя чувства имъ неизвѣстны; они живутъ хищничествомъ и душатъ маленькихъ воробьевъ въ самихъ ихъ гнѣздахъ. Эти коты долго обнюхивались черезъ дыру подъ амбаромъ съ скромною кошечкою Пульхеріи Ивановны и наконецъ подманили скромную старенькую кошку, какъ отрядъ солдатъ подманиваетъ глупую крестьянку. Пульхерія Ивановна, замѣтивши пропажу кошки, послала искать ее; но кошки нигдѣ не могли сыскать. Прошло три дни, Пульхерія Ивановна пожалѣла и наконецъ вовсе позабыла о ней. Въ одинъ день, когда она ревизировала свой огородъ и возвращалась, *вырававши* свою [рукою] ¹ зеленыхъ свѣжихъ огурцовъ для Аѳанасія Ивановича, слухъ ея поразило самое жалкое мяуканье. Она, какъ будто по инстинкту, произнесла: „кись, кись, кись!“ И вдругъ изъ бурьяна вышла ея сѣринькая кошка, худая, тощая; замѣтно было, что нѣсколько дней не брала она въ ротъ никакой пищи. Она продолжала ее звать, но кошка стояла передъ нею, мяукала, не смѣла подойти близко: замѣтно было, что она очень одичала съ того времени. Пульхерія Ивановна пошла впередъ, продолжая звать кошку, которая боязливо шла за нею до самаго..... ²; наконецъ, увидѣвши прежнія знакомыя мѣста, вошла и въ самую комнату. Пульхерія Ивановна тотчасъ приказала подать ей молока и мяса; сидя на (стулъ =) диванѣ, наслаждалась, глядя, какъ бѣдная ея фаворитка съ необыкновенною жадностію глотала кусокъ за кускомъ и хлебала молоко. Сѣринькая бѣглянка въ глазахъ ея потолстѣла и ѣла уже не такъ жадно. Она протянула руку, чтобы погладить; но неблагодарная кошка, видно, уже слишкомъ свыклась съ хищными котами, или набралась романтическихъ правилъ, что при любви бѣдность лучше пахать, потому что коты были голы, какъ соколы; какъ бы то ни было, она выпрыгнула въ окошко, и никто изъ дворовыхъ не могъ поймать ее. Задумалась старушка. „Это смерть моя приходила за мною!“ сказала она въ себѣ“. — Въ статьѣ „М. С. Щепкинъ и его записки“ А. Н. Аѳанасьевъ сообщаетъ: „Случай, рассказанный въ „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ“ о томъ, какъ Пульхерія Ивановна появленіе одичалой кошки приняла за предвѣстіе своей близкой кончины, взявъ изъ дѣйствительности. Подобное происшествіе было съ бабкою М. С—ча. Щепкинъ какъ-то рассказалъ о немъ Гоголю, и

¹ Слово „рукою“ въ рукописи пропущено.

² Точки на мѣстѣ пропущеннаго въ рукописи слова.

тотъ мастерски воспользовался имъ въ своей повѣсти. М. С—чь прочиталъ повѣсть и при встрѣчѣ съ авторомъ сказалъ ему шутя: „а кошка-то моя!“ — „Зато коты мои!“ отвѣчалъ Гоголь, и въ самомъ дѣлѣ коты принадлежали его вымыслу“. (Библиотека для чтенія 1864 г., февраль, стр. 8). Этотъ рассказъ Гоголь могъ слышать отъ Щепкина не ранѣе второй половины 1832-го года, потому что познакомился съ московскимъ артистомъ только въ этомъ году. (Тамъ же, стр. 7). На пути изъ Петербурга въ Малороссію Гоголь остановился на нѣсколько дней въ Москвѣ, познакомился съ С. Т. Аксаковымъ и его семействомъ, съ Загоскинымъ. Это было въ послѣднихъ числахъ іюня и въ началѣ іюля 1832 года¹. На обратномъ пути изъ Полтавы въ Петербургъ Гоголь снова остановился въ Москвѣ. Онъ пріѣхалъ сюда 18 октября²; въ Петербургъ возвратился въ первыхъ числахъ ноября³. Неизвѣстно, въ первую или во вторую свою остановку въ Москвѣ познакомился Гоголь съ Щепкинымъ⁴; но несомнѣнно, что рассказъ объ оди-

¹ С. Т. Аксаковъ рассказываетъ: «Въ 1832-мъ году, кажется, осенью... Погодинъ привезъ ко мнѣ въ первый разъ... Н. В. Гоголя» (Русь, 1880, № 4, стр. 15). Хотя отпускъ Гоголю, какъ учителю Патриотическаго Института, Высочайше разрѣшенъ былъ (13-го іюня) съ 1-го іюля на 28 дней; но самый отпускъ выданъ былъ еще въ іюнѣ (Русская Старина 1880 г., декабрь, стр. 751). Гоголь и выѣхалъ изъ Петербурга въ іюнѣ же и уже 4-го іюля послалъ матери письмо изъ Москвы (Сочиненія и письма Гоголя V, 156). Изъ Москвы онъ тронулся на югъ 7-го или 8-го іюля: въ этотъ день онъ уже отправилъ Погодину письмо съ первой станицы отъ Москвы — изъ Подольска (Сочин. и письма Гоголя V, 157).

² Ср. Сочиненія и письма Гоголя V, 160.

³ Русская Старина 1880 г., декабрь, стр. 752.

⁴ С. Т. Аксаковъ въ рассказѣ о своемъ знакомствѣ съ Гоголемъ смѣшиваетъ первое пребываніе Гоголя въ Москвѣ со вторымъ. Приѣздъ Гоголя въ Москву и начало знакомства съ нимъ онъ относитъ къ *осени* 1832 года, замѣчая въ то же время, что Гоголь проѣзжалъ тогда «изъ Полтавы въ Петербургъ» (Русь 1880 г., № 4, стр. 16), между тѣмъ, какъ въ іюнѣ Гоголь только еще ѣхалъ въ Полтаву. Къ обратному проѣзду Гоголя изъ Полтавы въ Петербургъ (во второй половинѣ октября), относятся слѣдующія строки въ статьѣ С. Т. Аксакова: «*Не помню, чрезъ сколько времени Гоголь опять былъ въ Москвѣ проѣздомъ на самое короткое время*». Конецъ мая мѣсяца и большую часть іюня 1832 г. Щепкинъ провелъ въ Петербургѣ, гастролируя на *Новомъ* въ то время (Александринскомъ) *театрѣ*: 25 мая онъ игралъ Фаусова, 12 іюня — Гарпагона въ *Скутомѣ*; 20-го іюня начались уже на Новомъ театрѣ нѣмецкіе спектакли (Сѣверная Пчела 1832 г., №№ 128, 130, 132, 139). Въ двадцатыхъ числахъ іюня Щепкинъ возвратился въ Москву. Такимъ образомъ первое знакомство

чавшей кошечкѣ авторъ „Старосвѣтскихъ помѣщиковъ“ слышалъ отъ Щепкина въ одну изъ этихъ своихъ остановокъ въ Москвѣ, которая приняла его и на обратномъ пути въ Петербургъ „такъ же радушно, какъ и прежде“, — т. е. когда онъ ѣхалъ въ Малороссію¹.

Повѣсть „Старосвѣтскіе помѣщики“ писана подѣ живыми впечатлѣніями недавняго пребыванія на родинѣ² и возбужденныхъ имъ въ авторѣ воспоминаній о прошломъ, о старичкахъ, съ которыхъ Гоголь рисовалъ своихъ Филемона и Бавиду. Въ рукописной редакціи „Старосвѣтскихъ помѣщиковъ“ (МБ) эти впечатлѣнія и воспоминанія мѣстами переданы съ большею непосредственностью и искренностью, чѣмъ въ позднѣйшей печатной (Ср. 3-е примѣчаніе къ 226-й стран. этого тома). Въ рукописи напр. читаемъ: „Ихъ лица мнѣ представляются и теперь иногда въ шумѣ и *выкрики* среди модныхъ фраговъ, и я предаюсь *всегда* какой-то полумзадумчивости“ (ср. выше, стр. 224). Какъ во всѣхъ почти первоначальныхъ наброскахъ произведеній Гоголя, такъ и въ рукописномъ текстѣ этой повѣсти имена дѣйствующихъ лицъ не установлены твердо: жена Аѳанасія Ивановича называется разъ „Настасія“

Гоголя съ Щепкинымъ могло завязаться въ первый проѣздъ поэта черезъ Москву въ Полтаву.

¹ Сочиненія и письма Гоголя V, 161.

² Гоголь ѣхалъ въ Малороссію полубольной («Соч. и письма Гоголя», V, 156). С. Т. Аксакову онъ сказалъ, что причина болѣзни его въ желудкѣ («Русь» 1880 г., № 4, стр. 16). При содѣйствіи Погодина, Гоголь получилъ рецептъ отъ извѣстнаго въ то время врача Дядьковского, съ которымъ совѣтовался въ Москвѣ (Сочиненія и письма Гоголя V, 158). Изъ Васильевки поэтъ писалъ Погодину, 2 сентября: «Здоровье мое, кажется, немного лучше, хотя чувствую слегка боль въ груди и *тяжесть въ желудкѣ*, — можетъ быть, оттого, что *никакъ не могу здѣсь соблюсти діеты*. Проклятая, какъ нарочно, въ этотъ годъ плодovitость Украйны соблазняетъ меня безпрестанно, и *бидный мой желудокъ непрерывно занимается вареніемъ то грушъ, то яблокъ*» (Тамъ же, стр. 159—160). Не смотря на то, Гоголь на обратномъ пути въ Петербургъ чувствовалъ себя, «противъ собственнаго своего чаянія, гораздо здоровѣе прежняго и бодрѣе» (Тамъ же, V, 161). Неудивительно встрѣтить въ рукописномъ наброскѣ «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ» слѣдующія строки: «Я любилъ бывать у нихъ, и хотя обѣдался страшнымъ образомъ, какъ и всѣ *бывавшіе въ (sic!)* нихъ, хотя мнѣ это было очень вредно; однакожъ я всегда бывалъ радъ къ нимъ ѣхать. Впрочемъ я думаю, что не имѣетъ ли самый воздухъ въ Малороссіи какого-то особеннаго свойства, помогающаго пищеваренію, потому что если бы *идь-нибудь въ друиизъ мѣстакъ кто-нибудь вздумалъ* такимъ образомъ накушаться, то *врно онъ бы на другой день вмѣсто постели очутился лежащимъ на столѣ*» (ср. выше, стр. 236).

Ивановна, вмѣсто Пульхеріа. На нѣсколькихъ страницахъ сдѣланы дополненія къ тексту. 1) Въ текстѣ было сперва написано: „Всѣ эти давнія необыкновенныя происшествія давно превратились или замѣнились спокойною и уединенною жизнію“. Внизу страницы (об. 12 л.) приписано слѣдующее продолженіе этой фразы: „тѣмъ дремлющими и вмѣстѣ *какими-то* гармоническими грезами, которыя ощущаете вы, сидя на деревенскомъ балконѣ, обращенномъ въ садъ, когда частый дождь роскошно шумитъ, хлопая по древеснымъ листьямъ, стебая журчащими ручьями *съ крыши, вами невольно овладѣваетъ дрема*, а между тѣмъ радуга крадется изъ-за деревьевъ и, помереши *посерединѣ на разрушенномъ сводѣ*, свѣтитъ матовыми лучами въ *спромъ* небѣ. Или когда увачиваетъ васъ коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, *когда гремитъ степной перепелъ*, и душистая трава вмѣстѣ съ хлѣбными колосьями и *степными* цвѣтами лѣзетъ въ дверцы *вашей* коляски и пріятно ударяютъ васъ по лицу“. (Ср. выше, стр. 225). 2) Внизу другой страницы приписано къ тексту, помѣщенному на *слѣдующей* страницѣ: „На стеклахъ оконъ звенѣло множество мухъ, которыхъ всѣхъ покрывалъ толстый басъ шмеля, визжавія ось; но какъ только подавали *зажженные* свѣчи, вся эта ватага отправлялась на ночлегъ и *обирала* (убирала?) черною тучею весь потолокъ“. (Ср. выше, стр. 228). 3) Къ написанной въ текстѣ фразѣ: „За *обѣдомъ* шель обыкновенно разговоръ“ сдѣлано, также на *предшествующей* страницѣ, (л. 12 об.) слѣдующее дополненіе: „*во время котораго стоявшія за стульями дѣвки съ огромными щудрами, дрожавшими за рубашкою, махами надъ головами Аванасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны кленовыми вѣтвями, прогоняя мухъ*“. Эта приписка не вошла въ печатный текстъ „Старосвѣтскихъ помѣщиковъ“. Наконецъ, 4) внизу оборотной страницы 14-го л. приписана передѣлка слѣдующей фразы текста: „если у кою *колетъ въ боку*, то стоитъ только“; въ дополненіе къ словамъ, напечатаннымъ курсивомъ, приписано: „Если какъ-нибудь, вставая съ кровати, ударился объ уголъ шкапа или *на столъ*, и побѣжить по лбу гугля“. (Ср. выше, стр. 235).

Приготовляя повѣсть къ напечатанію въ „Миргородѣ“, авторъ сдѣлалъ въ первоначальномъ, рукописномъ ея текстѣ немного *редакціонныхъ* поправокъ и дополненій. Такъ, въ печатный текстъ повѣсти внесены новыя подробности: 1) „Они никогда не имѣли дѣтей, и отъ того вся привязанность ихъ сосредоточилась въ нихъ самихъ“ (ср. выше, стр. 225). 2) „Что же сильнѣе надъ нами:

страсть или привычка? Или всё сильные порывы, весь вихорь наших желаний и кипящих страстей есть только слѣдствие нашего яркаго возраста и по тому одному только кажутся глубоки и сокрушительны? Что бы ни было, но въ это время мнѣ казались дѣтскими всё наши страсти противъ этой долгой, медленной, почти безчувственной привычки“. Распространено слѣдующее мѣсто рукописнаго текста „Старосвѣтскихъ помѣщиковъ“: „Часто заходила рѣчь и объ политикѣ. Гость, тоже весьма рѣдко выѣзжавшій изъ своей деревни, *иногда* съ значительнымъ видомъ и таинственнымъ выраженіемъ лица, выводилъ догадки о предстоящей войнѣ, и тогда Аѳанасій Ивановичъ *иногда вдругъ* говорилъ“ и т. д. Въ „Миргородѣ“ это мѣсто имѣетъ уже такой видъ: „Гость, тоже весьма рѣдко выѣзжавшій изъ своей деревни, часто съ значительнымъ видомъ и таинственнымъ выраженіемъ лица выводилъ свои догадки *и рассказывалъ, что Французъ тайно сошлся съ Англичаниномъ выпустить опять на Россію Бонапарта* или просто рассказывалъ о предстоящей войнѣ“ (ср. выше, стр. 234). Это опасеніе провинціальныхъ политиковъ Гоголь повторилъ въ первой части „Мертвыхъ Душъ“, приурочивши его къ тому времени, „когда послѣ достославнаго изгнанія французовъ всё наши помѣщики, чиновники, купцы, сидѣльцы и всякій грамотный и даже неграмотный народъ сдѣлались, по крайней мѣрѣ, *на цѣлыя восемь лѣтъ* заклятыми политиками“ (См. настоящаго изданія III, 205, 206). Приведенная вставка прибавляетъ *новую дату* для опредѣленія времени, когда жила Пульхерія Ивановна, учившаяся солить грибы у туркени, „въ то время, когда еще турки были у насъ въ плѣну“. (Ср. выше, стр. 235).

Рукопись ИБ представляетъ первоначальный, черновой, такъ сказать, набросокъ повѣсти „Старосвѣтскіе помѣщики“. Приготовляя ее для напечатанія въ „Миргородѣ“, Гоголь исправилъ изложеніе; стилистическія поправки прошли по всему произведенію отъ начала до конца, такъ что подвести къ печатному тексту *всѣ* мелкіе варианты рукописнаго почти невозможно: пришлось бы напечатать почти весь рукописный текстъ. Исправляя стиль, Гоголь устранялъ рѣзкія или рѣдко употреблявшіяся въ литературномъ языкѣ выраженія рукописнаго текста. Такъ въ рукописи ИБ читаемъ: „Легкія морщины на ихъ лицахъ были расположены съ такою пріятностью, что художникъ *украсть бы ихъ, безъ сомнѣнія, съ торопливостью и жадностью*. По нимъ можно было, казалось, читать всю жизнь

ихъ, ясную, спокойную, — *ту жизнь*, которую вели старыя національныя, простосердечныя и вмѣстѣ богатыя фамиліи, — *ту жизнь, которая вовсе противоположна тѣмъ* низкимъ Малороссіянамъ, который выдирается изъ *чернаю д.....* дегтярей, торгашей, наполняютъ, какъ саранча, палаты и присутственныя мѣста, деруть послѣднюю копѣйку со своихъ же земляковъ и наполняютъ Петербургъ ябедниками и наживають, наконецъ, капиталъ и торжественно прибавляютъ къ фамиліи своей, обыкновенно оканчивающейся на *о*, слогъ *въ*. Нѣтъ, они не были похожи на *этихъ презрѣнныхъ и жалкихъ животныхъ*, какъ всѣ малороссійскія старинныя и коренныя фамиліи“ (Ср. выше, стр. 225). Въ слѣдующей фразѣ выкинуто слово, напечатанное курсивомъ: „Я узнала секретъ отъ *попа*, отца Ивана“. Не попали въ печать послѣднія слова фразы: „отпращенный воль, лѣниво лежащій *возмъ* своего ярма“. Стилистическимъ исправленіямъ особенно подверглись слѣдующія четыре мѣста: 1) „Я очень люблю скромную жизнь тѣхъ нашихъ прежнихъ помѣщиковъ, которыхъ обыкновенно называютъ „старосѣтскими“, которые, какъ дряхлыя живописныя дома, хороши своею *пестротой*¹ и совершенною противоположностью *строенію* *младкому*, *стройному* и *ровному*, котораго стѣны не промьлъ еще дождь, крышу не покрыла *отрывками* зеленая плѣснь, и *крыльцо*, *лишенное* *щекотурки* и *лины*, не показываетъ *живописныхъ* кирпичей или *безыскусственнаго* плетня..... Я отсюда вижу низенькій домикъ съ галлереею на *тоненькихъ* *почернѣвшихъ* *деревянныхъ* *столбикахъ*, идущихъ вокругъ всего дома, чтобы можно было во время грома и *сильнаго* града затворить ставни оконъ, *не будучи* *замоченнымъ* дождемъ“ (ср. выше, стр. 223). 2) „Пульхерія Ивановна совершенно *удовольствовалась* этимъ отвѣтомъ и приѣхавши домой, *дала* повелѣніе удвоить только стражу *возмъ* шпанскихъ вишенъ и большихъ зимнихъ *дулей* въ саду. Эти достойные правители, прикащикъ и войтъ, нашли *неприличнымъ* всю муку *привозить* въ *панскіе* амбары, — что съ нихъ будетъ довольно и половины, и эту половину *наконецъ* они привозили *самую* *негодную*. Но — *удивительное* дѣло! — сколько ни обирадывали прикащикъ и

¹ Въ печатныхъ текстахъ вмѣсто слова «пестротой» поставлено «простотой»; въ этой замѣткѣ мы подозрѣваемъ ошибку писца: изъ контекста мѣста видно, что авторъ противопоставляетъ *новому* *младенческому* *строенію* — «пестроту» обветшавшаго домика, стѣны котораго промьты дождемъ, крыша мѣстами покрыта зеленою плѣсенью, крыльцо, лишенное штукатурки, выказываетъ красныя кирпичи.

войтъ, какъ мною ни пѣи въ дворѣ, начиная отъ ключницы до тѣхъ неблагородныхъ животныхъ, которыхъ не любятъ жида и которыя истребляли страшное множество сливъ и яблокъ, иногда даже собственною мордою толкавшія деревья, чтобы страхнуть съ нихъ цѣлый дождь фруктовъ; кромѣ того ихъ клевали воробьи и вороны и вся дворня носила въ гостинцы и даже таскала изъ амбаровъ старыя полотна и пряжу, которое все обращалось къ своему источнику, то есть, къ шинку. Но благословенная земля произвела всего въ такомъ множествѣ“ (Ср. выше, стр. 230). 3) „Тогда все въ домѣ принимало совершенно другой видъ. Эти добрые старички, можно сказать, жили для гостей. Все, что у нихъ ни было лучшаго, все это выносилось. Они наперерывъ старались угостить всѣмъ, что ни было у нихъ лучшаго. Но главное, что мнѣ пріятнѣе всего было въ нихъ, то, что во всей ихъ услужливости не было никакой приторности. Это радушіе и готовность такъ кротко выражались на ихъ лицахъ, такъ было мило, даже трогательно, что поневолѣ соглашался на ихъ просьбы. Оно было сладостіемъ чистой, ясной простоты ихъ добрыхъ, безхитростныхъ душъ. Это радушіе вовсе не то, съ какииъ угощаетъ васъ иногда чиновникъ казенной палаты“ (ср. выше, стр. 230). 4) „Я жалѣю о томъ, что не знаю, кому я оставлю васъ, кто за вами присмотритъ, когда я умру. Вы — какъ дитя маленькое: нужно, чтобы васъ любило то, что будетъ ухаживать за вами“. При этомъ на лицѣ ея выразилась такая глубокая горестъ, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, могъ ли бы кто-нибудь на нее глядѣть въ то время, не заморгивъ слезами“. (Ср. выше, стр. 239).

Заслуживаютъ наконецъ вниманія слѣдующія строки рукописнаго текста: „Чувства мои странно сжимаются, когда я вообразу себѣ, что придетъ же время, когда я пошщу куда-нибудь изъ прежне теперь опустѣлое жилище“ (ср. стр. 224). Эти строки, значительно смягченныя въ печатномъ текстѣ „Старосвѣтскихъ помѣщиковъ“, едва ли могли быть написаны Гоголемъ *вскорѣ* по возвращеніи его изъ Малороссіи въ Петербургъ. Если внесеніе въ повѣсть разсказа Щепкина объ одичавшей кошкѣ дало для хронологіи рукописнаго текста одну отрицательную дату („не ранѣе конца 1832-го года“); то приведенныя строки, кажется, даютъ нѣкоторое основаніе отнести *весь* первоначальный набросокъ „Старосвѣтскихъ помѣщиковъ“ къ 1833-му году. Окончательную обработку повѣсти для напечатанія въ „Миргородѣ“ Гоголь, по обыкновенію, исполнилъ передъ самымъ представленіемъ рукописи въ цензуру — въ 1834 году.

- Стр. 223 ¹ИБ, М; «и которые» П, Т. ²П, Т; «плеснь» М. ³П, Т; «щекотурки» М; «щекотурки и глины» ИБ. Ср. рассказ П. В. Анненкова в книгѣ его: «Воспоминанія и критическіе очерки» I, 198. ⁴П, Т; «не показывается» ИБ, М. ⁵П, Т; «и тѣ беспокойныя порожденія» ИБ, М.
- Стр. 224 ¹ИБ, М, П.; «длинношей» Т. ²П, Т; «подкачивали» ИБ, М.
- Стр. 225 ¹Т; «на этихъ презрѣнныхъ и жалкихъ твореній» М. П. ²Т; «сосредоточилась на нихъ же самихъ» П; «сосредоточилась въ нихъ самихъ» М. ³П, Т; «не вспоминалъ о немъ» ИБ, М. ⁴П, Т; «не говорилъ о немъ» ИБ, М. ⁵Т; «пронсшествія давно превратились или замѣнились» ИБ, М. ⁶Т; «тѣмъ дремлющими и вмѣстѣ какими-то гармоническими грезами» ИБ, М.
- Стр. 226 ¹Т; «болѣе» ИБ, М, П. ²П, Т; «участіе въ обстоятельствахъ вашей собственной жизни, удачахъ и неудачахъ» М; «и участіе знать обстоятельства вашей собственной жизни, удачъ и случаевъ» (sic!) ИБ. ³П, Т; «маленьки, низеньки» ИБ, М. ⁴Т; «когда пылая молодость, прозябнувши отъ преслѣдованія какой-нибудь бриветки, вбѣгаетъ въ нихъ, похлопывая ладонями» П; «когда, прозябнувши отъ преслѣдованія за какой-нибудь бриветкой, вбѣгаешь въ нихъ, похлопывая ладонями» М; «когда прозябнувши на дворѣ, вбѣжишь, наконецъ, въ нихъ, похлопывая въ ладони» ИБ.
- Стр. 227 ¹Т; «обпачканная» ИБ, М; «опачканная» П. ²П, Т; «которыхъ» ИБ, М. ³П, Т; «и содержался» ИБ, М. ⁴ИБ, М; «не содержится» П, Т. ⁵М; «висѣло» П, Т. «Бездна узелковъ и мѣшечковъ съ сѣманами цѣточными, огородными, арбузными висѣла по стѣнамъ» ИБ. ⁶П, Т; «шитыхъ за поустолѣтіе прежде» ИБ, М. ⁷П, Т; «дверь, ведшая въ столовую» ИБ, М. ⁸ИБ, П, Т; «сей» М. ⁹М; «ужинномъ, уже поставленномъ на столъ» П, Т. «ужинномъ, ожидающимъ» ИБ. ¹⁰П, Т; «облающимъ садъ» М; «облающимъ весь садъ» ИБ.
- Стр. 228 ¹М; «и нѣсколько похожи были» ИБ; «и нѣсколько походила» П, Т. ²«которые» П, Т; «которыхъ» ИБ, М. Слово «которые» относится къ слову «рамахъ», а не къ слову «листьями»; «передъ диваномъ и зеркаломъ съ тоненькими золотыми рамами въ видѣ листьевъ, которыхъ мухи усѣяли черными точками» ИБ. ³П, Т; «коверь передъ диваномъ» ИБ, М.
- Стр. 229 ¹П, Т; «железь» ИБ, М. П, Т; «дѣланыхъ» М. Въ ИБ этого слова нѣтъ. ²П, Т; «съ сахаръ» ИБ, М. ⁴ИБ, М; «и къ концу этого процесса никогда не бывалъ въ состояніи поворотить языка» П, Т. ⁵П, Т; «они потопили бы» ИБ, М. ⁶П, Т; «надѣлывали изъ нихъ множество саней» М; «надѣлывали изъ него множество саней» ИБ. ⁷П, Т; «обревизировать» ИБ, М. ⁸Т; «свенѣла такъ, что» ИБ, М, П. Въ слитныхъ предложеніяхъ Гоголя обыкновенно ставятъ сказуемое въ единственномъ числѣ, согласуя съ однимъ изъ подлежащихъ. Ср. 3-е примѣч. къ 86 стр. третьяго тома; 2-е пр. къ стр. 112-й того же тома. ⁹П, Т; «которыхъ» ИБ, М. ¹⁰Т; «гляди, чтобы у тебя волосы не были рѣдки» ИБ, М, П.
- Стр. 230 ¹П, Т; «дулей» М; «дулей въ саду» ИБ. ²П, Т; «которую обраковали» М. ³П, Т; «собственною мордою» ИБ, М. ⁴П, Т; «оба старички» ИБ, М. ⁵Т; «и двери заводили» М, П. ⁶Т; «равногласный» М, П; «равнострунный» ИБ. ⁷П, Т; «кофею» ИБ, М. ⁸Т; «стряхнувши платкомъ» ИБ, М, П. ⁹П, Т; «подумать о томъ, чтобы» М.
- Стр. 231 ¹Т; «выдыхаться» ИБ, М, П. ²П, Т; «и подставлялъ» ИБ, М.
- Стр. 232 ¹П, Т; «дразга» М; «то выносилъ кучу всякаго съѣстнаго дразгу» ИБ

- ²ИБ, М, П; «хорошо» Т. ³П, Т; «и, как водится, было съѣдено» М; «и как слѣдует было съѣдено» ИБ. ⁴ИБ, М, П; «что» Т. ⁵Т; «такъ, какъ будто немного» М, П. «Не знаю, Пульхерія Ивановна: такъ какъ будто животъ болитъ» ИБ. ⁶Т; «Можетъ быть, вы бы чего-нибудь съѣли» М, П; «Можетъ быть, вы чего-нибудь бы съѣли?» ИБ.
- Стр. 233 ¹Т; «Вотъ пусть Богъ сохранить отъ такого поупущенія!» М, П; «Это бы уже Богъ знаетъ, что, чтобы вдругъ» и пр. д. ИБ. ²Т; «тогда бы» М, П; «Ну, тогда бы мы въ бладовой покaмъють жили» ИБ.
- Стр. 234 ¹П, Т; «того же дни» ИБ; «того же дня» М. ²П, Т; «съ четырехъ отъ нихъ верстахъ» М; «гость обыкновенно жилъ отъ нихъ въ трехъ, а когда въ четырехъ верстахъ» ИБ. ³Т; «сготовленнаго» ИБ, М, П. ⁴Т; «бываетъ» ИБ, М, П. ⁵П, Т; «объ» ИБ, М. ⁶М; «часто говаривала» П, Т; «иногда вдругъ говорилъ» ИБ.
- Стр. 235 ¹П, Т; «поотбиваетъ» ИБ, М. ²П, Т; «а» М; въ ИБ нѣтъ. ³ИБ, М; «силы» П, Т. ⁴Т; «то она очень помогаетъ» М, П; «такъ она очень помогаетъ» ИБ. ⁵П, Т; «А вотъ эта перегнанная» ИБ, М. ⁶М, П; «съ чабрецомъ» Т.
- Стр. 236 ¹Т; «маринвала» ИБ, М, П. ²ИБ, М; въ П, Т, вслѣдствіе пропуска, только: «А вотъ это пирожки съ сиромъ!» ³Т; «она вся была отдана гостямъ» М, П; «она вся жила для гостей» ИБ. ⁴П, Т; «весн» ИБ, М.
- Стр. 237 ¹П, Т; «цивилизованы» М; «сцивилизованы» ИБ.
- Стр. 238 ¹П, Т; «ревизировала» ИБ, М. ²П, Т; «съ вырванными» М; «и возвращалась, вырвавши зеленыхъ, свѣжихъ огурцовъ» ИБ. ³П, Т; «близко подойти» ИБ, М. ⁴П, Т; «Она» ИБ, М. ⁵П, Т; «сама въ себѣ» ИБ, М. ⁶Т; «саго лѣта» ИБ, М, П.
- Стр. 239 ¹Т; «снужно, чтобы любило васъ то, которое будетъ ухаживать за вами» М, П; «снужно, чтобы любило васъ то, что будетъ ухаживать за вами» ИБ. ²ИБ, М, П; «такая сердечная жалость Т.
- Стр. 240 ¹Т; «когда бываетъ праздничный день» ИБ, М, П. ²Т; «какъ бы не зная всего значенія труша» М, П; «и не зная, что это такое трушь» ИБ. ³Т; «пирогн лежали кучами» ИБ, М, П.
- Стр. 241 ¹ИБ, М; «наконецъ повесли» П, Т. ²П, Т; «грудные ребенки» ИБ, М. ³П, Т; «съ глазъ» М.
- Стр. 242 ¹Т; «въ его комнату» М, П. ²П, Т; «воалъ его» М. ³П, Т; «ему разтрошило» М. ⁴М, П; «во» Т. ⁵П, Т; «хвороста» М.
- Стр. 243 ¹Т; «которая одолъваетъ нами» М, П. ²Т; «вступаемъ первый разъ» М, П. ³П, Т; «бываетъ похожи тогда, когда видимъ» М. ⁴П, Т; «когда видимъ передъ собою того человѣка, котораго всегда знали здоровымъ, безъ ноги» М. ⁵П, Т; «безъ колодочки» М. ⁶Т; «не разбродились» М, П. ⁷П, Т; въ М нѣтъ слова «и». ⁸П, Т; «вонзвать» М. ⁹П, Т; «по нѣсколько» М. ¹⁰П, Т; «сточущій» ИБ, М.
- Стр. 244 ¹П, Т; «и потому одному только» М. ²М; «о» П, Т. ³М; «однакожъ» П, Т. ⁴П, Т; «простолудимы» М. ⁵П, Т; «объясняютъ такъ: что душа» М. ⁶П, Т; въ М нѣтъ слова «и».
- Стр. 245 ¹М; «что въ дѣтствѣ часто его слышалъ» П, Т. ²П, Т; въ М нѣтъ слова «сречать». ³П, Т; «изъ сада» М. ⁴М; «оставшіяся» П, Т. ⁵П, Т; «Англискихъ» М. ⁶М; «нумерь» П, Т. ⁷П, Т; «свѣ кури и айцы» М.
- Стр. 246 ¹Т; «тщательно освѣдомляется и примѣняется къ цѣвамъ» М, П.

Тарасъ Бульба (стр. 246—364).

Напечатанная въ этомъ томѣ редакція „Тараса Бульбы“ появилась въ первый разъ во второмъ томѣ „Сочиненій Николая Гоголя“, вышедшихъ въ Петербургѣ въ 1842 году (II). Эта редакція повѣсти существенно отличается отъ первоначальной печатной, т. е. отъ той, которая вошла въ первое изданіе „Миргорода“ (1835 г.) и внесена въ пятый томъ настоящаго изданія. Въ первой главѣ „Тараса Бульбы“, по новой редакціи, встрѣчается значительная по объему вставка (стр. 251—253; начиная словами: „когда вся южная первобытная Россія“ и оканчивая словами: „получилъ здѣсь могучій, широкій размахъ, крѣпкую наружность“). На этихъ дополнительныхъ страницахъ Гоголь говоритъ о началѣ козачества, его распространеніи въ южной Россіи, о составѣ и формированіи козацкаго воинства. Въ первоначальной редакціи повѣсти, характеризуя упрямство Бульбы, авторъ писалъ: „Это былъ одинъ изъ тѣхъ характеровъ, которые могли только возникнуть въ грубый XV вѣкъ и притомъ на полукочующемъ востокѣ Европы во время праваго и неправаго понятія о земляхъ, сдѣлавшихся какимъ-то спорнымъ, нерѣшеннымъ владѣніемъ, къ какимъ принадлежала тогда Украина. Вѣчная необходимость пограничной защиты противъ трехъ разнохарактерныхъ націй — все это придавало какой-то вольный, широкій размѣръ подвигамъ сыновъ ея и воспитало упрямство духа“ (V, стр. 401). Эта краткая и довольно общая характеристика Украины XV в., повторяющая сказанное Гоголемъ въ статьѣ „Взглядъ на составленіе Малороссіи“, уступила въ новой редакціи повѣсти свое мѣсто болѣе точному, историческому разсказу о началѣ и распространеніи запорожскихъ козаковъ. Не трудно опредѣлить источники этого разсказа; на нихъ дѣлаетъ намеки самъ Гоголь. Почти въ самомъ началѣ этого эпизода читаемъ: „всѣ порѣчья, перевозки, прибрежныя пологія и удобныя мѣста усѣялись козаками, которымъ и счету нѣто не вѣдалъ, и смѣлые товарищи ихъ были въ правѣ отвѣчать султану, пожелавшему знать о числѣ ихъ: „Кто ихъ знаетъ! У насъ ихъ раскидано по всему степу: что байракъ, то козаки“ (гдѣ маленький пригорокъ, тамъ ужъ и козаки) (I, стр. 252). Последнее изреченіе приводится, съ варіаціями, въ малороссійскихъ лѣтописяхъ;

ими Гоголь могъ пользоваться и въ печатныхъ изданіяхъ¹, и въ рукописяхъ. 23-го декабря 1833 года Гоголь писалъ Пушкину: „Порадуйтесь находкѣ: я досталъ лѣтопись *безъ конца, безъ начала* объ Украинѣ, писанную, по всѣмъ признакамъ, въ концѣ XVII вѣка“ (Русскій Архивъ 1880 г. II, 513). Во второй части эпизодическаго разсказа Гоголь говоритъ: „*Современные иноземцы* дивились тогда справедливо необыкновеннымъ способностямъ его (козака). Не было ремесла, котораго бы не зналъ козакъ: накурить вина, снарядить телѣгу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и, въ прибавку къ тому, гулять напропалую, пить и бражничать, какъ только можетъ одинъ русскій — все это было ему по плечу“ (I, стран. 252). Словами „современные иноземцы“ Гоголь указываетъ, между прочимъ, на Боплана, сочиненіемъ котораго „Описаніе Украины“ авторъ „Тараса Бульбы“ нерѣдко пользовался на страницахъ своей повѣсти. Только что приведенный изъ нея отрывокъ основанъ на слѣдующемъ свидѣтельствѣ Боплана: „Въ странѣ Запорожской вы найдете людей искусныхъ во всѣхъ ремеслахъ, необходимыхъ для обществѣ: плотниковъ для постройки домовъ и лодокъ, телѣжниковъ, кузнецовъ, ружейниковъ, кожевниковъ, сапожниковъ, бочаровъ, портныхъ и т. д.“ (Описаніе Украины, С.-Петербургъ, 1832 г., стран. 5). Упомянувши о характерѣ козацкаго войска на основаніи лѣтописей (Россійскій магазинъ II, 39, 42 и Конисскаго: „Исторія Руссовъ“, стран. 16), Гоголь въ концѣ эпизода говоритъ о сборѣ охочекомонныхъ козаковъ такъ: „Кромѣ рейстровыхъ козаковъ, считавшихъ обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, въ случаѣ большой потребности набрать цѣлыя толпы охочекомонныхъ: стоило только есауламъ пройти по рынкамъ и площадямъ всѣхъ селъ и мѣстечекъ и прокричать во весь голосъ, ставши на телѣгу: „Эй, вы, пивники, броварники! полно вамъ пиво варить, да валяться по запечьямъ, да кормить своимъ жирнымъ тѣломъ мухъ! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосѣи, овцепасы, баболюбы! полно вамъ за плугомъ ходить, да пачкать въ землѣ свои желтые чоботы, да

¹ Важное мѣсто между ними занималъ въ то время «Лѣтописецъ Малия Россія», напечатанный Туманскимъ въ повременномъ изданіи «Россійскій магазинъ» 1798 г. Въ этомъ «Лѣтописцѣ» вышеприведенное изреченіе передано такъ: «У насъ де, Турскій царю! що лоза — то козакъ, а де байракъ, то по сту и по двѣсти козаковъ тамъ» (Россійскій магазинъ II, 39).

подбираться къ жинкамъ и губить силу рыцарскую! пора доставать козацкой славы“ (ср. выше, стран. 253). Это мѣсто представляет переложеніе въ прозу (конечно, съ необходимыми сокращеніями) начальныхъ стиховъ пѣсни о Кововченкѣ, по тексту, *изданному Лукашевичемъ*¹ въ его сборникъ „Малороссійскія и Червонорусскія народныя думы и пѣсни“ (стран. 36—37).

Ой на славной Украинѣ, влике, поблике
Филоненко, Корсунскій полковникъ,
На долину Черкень гулати,
Славы вѣйску рыцарства достати,
За вѣру Христіанськую одностойно стати:
«Которые козаки, то и мужики,
Не хотять по рола спотыкати,
За плугомъ синны ломати,
Жовтого сафьяна калати,
Чорного едемана пыломъ набивати:
Славы бы вѣйску рыцарства достати,
За вѣру Христіанськую одностойно стати!»
То Эсаулы у города ся засылали,
По улицамъ пробѣгали,

На винники, на лавники, словами промовляли:

«Вы грубники, вы лавники,
Вы броварники, вы винники:
Годѣ вамъ у винницяхъ горѣлокъ курити,
По броварняхъ пивъ варити,
По лавняхъ лавень топити,
По грубамъ валятися, —
Товстимъ видомъ мухъ годовати,
Сажи вытерати;

Ходите за ними (нами?) на долину Черкень погулати!»

Для новой редакціи „Тараса Бульбы“ малороссійскія народныя пѣсни послужили самымъ богатымъ и благодарнымъ матеріаломъ, при изображеніи быта и подвиговъ запорожскихъ козаковъ. Гоголь считалъ эти пѣсни драгоценнымъ источникомъ для исторіи Малороссіи (V, 287). Пѣснямъ поэтъ отводитъ даже первое мѣсто между всѣми другими источниками для исторіи эпохи, изображенной въ „Тарасѣ Бульбѣ“. Въ новую редакцію

¹) Дума о Кововченкѣ напечатана была уже Цертелевымъ (1819 г.) въ «Опытѣ собранія старинныхъ малороссійскихъ пѣсней» (стран. 30—36) и Максимовичемъ (1834 г.) въ «Украинскихъ народныхъ пѣсняхъ» (стран. 51—57); но въ ихъ текстахъ нѣтъ приводимыхъ нами стиховъ, которыми воспользовался Гоголь для «Тараса Бульбы». По справедливому замѣчанію Лукашевича (стран. 35), дума эта въ сборникахъ Цертелева и Максимовича «довольно неполна и кратка».

этой повѣсти онъ вставляетъ слѣдующія замѣчательныя строки: „Свѣтлица была убрана во вкусъ того времени, о которомъ живые намеки остались *только* въ пѣсняхъ, да въ народныхъ думахъ, уже не поющихъ болѣе на Украинѣ боролатыми старцами-слѣпцами, въ сопровожденіи тихаго треньбанья бандуры, въ виду обступившаго народа“ (стран. 249).

Пользуясь малороссійскими лѣтописцами, „Исторією Руссовъ“ Конисскаго, „Описаніемъ Украины“ Боплана, сборникомъ „Малороссійскихъ пѣсенъ и думъ“ Лукашевича, Гоголь дополняетъ первоначальную печатную редакцію „Тараса Бульбы“ (М) картинами той среды, въ которой дѣйствуютъ герои повѣсти — картинами запорожской Сѣчи и жизни козаковъ въ военное и мирное время. Въ новую редакцію „Тараса Бульбы“ поэтъ переноситъ *безъ всякихъ измѣненій* вторую главу первоначальной редакціи; но прежняя третья глава, благодаря распространеніямъ въ указанномъ направленіи, получаетъ такой объемъ, что изъ нея составляются, въ новой редакціи, двѣ главы — третья и четвертая. Въ третью главу первоначальной редакціи вставлены указанія на составъ Сѣчи и на ссоры куреней (стран. 270) и описаніе обычаевъ и законовъ Сѣчи (стран. 270—271). Большая часть этихъ подробностей пересказана Гоголемъ, на основаніи „Исторіи о козакахъ запорожскихъ“ вн. Мышецкаго, которою онъ могъ пользоваться въ рукописи¹. Впрочемъ съ извѣстіями названной „Исторіи“ поэтъ

¹ «Исторія о козакахъ запорожскихъ» издана сначала въ «Чтеніяхъ общества исторіи и древностей руссійскихъ» 1847 г. (№ 6, смѣсь, стран. 1—42), потомъ отдѣльною книжкою — Одесскимъ Обществомъ исторіи и древностей (Одесса, 1852 г.). Приводимъ изъ этого сочиненія (по изданію московскому) нѣсколько мѣстъ, соответствующихъ разсказу Гоголя на стран. 270—271 настоящаго изданія. «Атаманы куренные имѣютъ свою силу при куреняхъ, такъ что могутъ своего куреня козака, за всякую вину, бить; а козаки куренные его такъ слушаютъ, какъ своего *отца*, и не смѣютъ его ни бить, ни бранить, понеже у онаго атамана всѣхъ козаковъ деньги и платѣ на рукахъ... Оной же атаманъ обо всемъ куренѣ и о козакахъ имѣетъ попеченіе, дабы у него во всемъ достатокъ былъ, какъ въ провіантѣ, такъ и въ дровахъ и въ прочихъ принадлежностяхъ» (стран. 20).. «Главная у нихъ вина почитается, ежели козакъ козака убьетъ до смерти; то убиену живаго кладутъ подъ гробъ убиеннаго и обонхъ землею засыпаютъ... Тако жъ за великую вину у нихъ почитается, ежели козакъ у козака что-нибудь украдетъ... и въ томъ приличится; такова злодѣя они привязываютъ къ столбу на илошадѣ, который ко оному штрафу нарочно учрежденъ, и оной воръ принужденъ тамо стоять пота, пока своего воровства не заплатитъ, а хотя и заплатитъ, то тронъ сутки принужденъ будетъ стоять... Во время его стоянія, ходятъ мимо

могъ познакомиться черезъ книгу Шерера „Annales de la Petite-Russie, ou *Histoire des Cosaques-Saporogues et des Cosaques de l'Ukraine etc. traduite d'après les Manuscrits, conservés à Kiow.* (A Paris, MDCCLXXXVIII): почти вся „Исторія о козакахъ запорожскихъ“ внесена въ эту книгу во французскомъ переводѣ, съ перестановкою главъ¹. Книгу Шерера Гоголь читалъ, какъ

его множество козаковъ: иные проходить мимо его, ничего ему не учина, а другіе, напився пьяны, приходя къ нему, немилостиво его бить... и часто случается, что чрезъ сутки онаго злодѣя убить до смерти».... (стран. 26). «А ежели козакъ козаку будетъ деньгами виноватъ, а не хочетъ ему платить, или хотя и хочетъ да не имѣетъ чѣмъ, а тотъ болѣе ждать не хочетъ; то того виноватаго прикуютъ къ пушкѣ, и будетъ пота сидѣть, пока онъ свой долгъ заплатитъ, или кто по немъ поручится» (стран. 26). Есть основаніе предположить, что «Исторія о запорожскихъ козакахъ» извѣстна была Гоголю уже въ то время, когда онъ собиралъ матеріалы для предположенной имъ «Исторіи малороссійскихъ козаковъ» (Ср. V, 106). По крайней мѣрѣ конецъ второй главы «Тараса Бульбы», *не подвергавшейся редакціоннымъ измненіямъ*, очень напоминаетъ слѣдующій рассказъ «Исторіи о запорожскихъ козакахъ»: «И по раздѣлѣ (добычи) бываетъ у нихъ великое веселіе, и многіе дни гуляють, пьютъ, ходятъ по улицамъ, кричать, объявляя свою храбрость; и за ними носатъ въ ведрахъ и котлахъ вареное съ медомъ и холодное хлѣбное вино, а по ихъ названію горѣлку, пиво и медъ; и притомъ за ними ходятъ преогромная музика и школьники съ пѣніемъ. И ежели кто съ ними встрѣтится, то всѣхъ потчивають и просятъ на горѣлку и на прочее питье; а ежели кто не будетъ пить, то бравать ругательно, хотя его и не звають, какой бы онъ человекъ ни былъ, однако потчивають; и въ такомъ своемъ веселіи и гуляніи чрезъ немногіе дни, удивленія достойно, какъ они прогудивають великую сумму денегъ; и не токмо что полученную добычу, но и старое что имѣють, въ забытомъ своемъ пьянствѣ пропивають, и входятъ отъ того въ великіе долги, платя какъ за напитки, такъ и музыкантамъ и пѣвчимъ» (стран. 24). Ср. также съ этимъ рассказомъ стран. 324 этого тома: «А сколько всякій изъ нихъ пропилъ...» и т. д.; и стран. 275: «Вся ночь прошла въ крикахъ и пѣснахъ» и т. д.

¹ Отношеніе «Исторіи о козакахъ запорожскихъ» къ первой части книги Шерера видно изъ нижеслѣдующей таблицы:

«Исторія о козакахъ-запорожскихъ».		«Annales de la Petite-Russie».	
Глава I		Глава VI	
” II		” XXI	
” III		” XV	(начиная съ 124-й стран.)
” IV		” XXII	
” V		” XVIII	
” VI		” XIX	
” VII		” XXIII	
” VIII		” XXIV	
” IX		” XXV	

увидимъ ниже, въ то время, когда работалъ надъ второю редакціею „Тараса Бульбы“. Мы склоняемся впрочемъ къ мысли, что съ „Исторіею о козакахъ запорожскихъ“ поэтъ познакомился въ подлинникѣ, а не черезъ французскій переводъ оной, внесенный въ книгу Шерера¹.

Небольшая вставка о занятіяхъ козаковъ въ мирное время основана частію на „Исторіи о козакахъ запорожскихъ“, частію на „Описаніи Украйны“ Боплана (стр. 5), откуда заимствовано и извѣстіе, что новичокъ, переплывшій Днѣпръ противъ течения, „принимался торжественно въ козацкіе круги“.

Самою значительною вставкою въ третью главу является рассказъ о сверженіи запорожцами своего кошевого и избраніи на его мѣсто новаго. Внося въ повѣсть картину избранія кошевого, написанную на основаніи историческихъ свидѣтельствъ, Гоголь измѣняетъ самый ходъ дѣйствія въ своемъ рассказѣ. Въ первоначальной редакціи герой повѣсти, не успѣвши подбить кошевого „пойти въ Туречину или въ Татарву“, задаетъ пирушку кое-какимъ старшинамъ и куреннымъ атаманамъ, а потомъ при помощи ихъ собираетъ раду, на которую приводятъ кошевого и принуждаютъ его „говорить рѣчь объ томъ, чтобы итти запорожцамъ на войну противъ бусурмановъ“ (V, стр. 420). Въ новой редакціи повѣсти, „хмѣльные козаки“ устраиваютъ раду для сверженія кошевого. „Нѣкоторые изъ трезвыхъ куреней хотѣли, какъ казалось, противиться; но курени и пьяные, и трезвые пошли на кулаки. Крикъ и шумъ сдѣлались общими“ (I, 273). Художественныя изображенія сценъ сверженія кошевого и избранія новаго въ „Тарасѣ Бульбѣ“

«Исторія о козакахъ запорожскихъ».

«Annales de la Petite-Russie».

Глава X	Глава XXX (начиная съ 322-й стр.)
„ XI	„ XXVII
„ XIII	„ XXVIII
„ XIV	„ XXVI
„ XV	„ XXIX
„ XVI	„ XXXI
„ XVII	„ II.

¹) Въ «Тарасѣ Бульбѣ» Гоголя читаемъ (стр. 271): «Тутъ же при немъ врыли яму, опустили туда живаго убійцу и *сверху него поставили гробъ, заключавшій тѣло убиеннаго* и потомъ обонхъ засыпали землею». У Шерера: «Un cosaque qui en avoit tué un autre, était couché *sur* le cercueil de celui qu'il avoit tué et enterré vivant» (р. 326). Въ «Исторіи»: «*юды* гробъ *убиеннаго*».

(стран. 272—275) основаны Гоголемъ на слѣдующемъ разсказѣ „Исторіи о козакахъ запорожскихъ“: „А ежели же хотятъ Кошеваго или прочую Старшину переимѣнить, то чинится у нихъ тако: Снажутъ Кошевому, чтобъ онъ положилъ свое кошевьє; почему оный долженъ палицу свою принести къ знамя, положить на свою шапку, и потомъ, поклонясь всему войску, долженъ благодарить, и поидеть въ свой курень; и по немъ судья, писарь и ясаулъ такожде чинять. А ежели изъ нихъ не захотятъ кого скидывать, то всѣ закричатъ, чтобы своего старшинства не скидывалъ, чего для оной принужденъ стоять на своемъ мѣстѣ. По сверганіи жъ той Старшины, выбирается у нихъ новая Старшина такимъ образомъ: По изгнаніи оной Старшины, то грубое простонародіе многіе имѣють между собою спорные и грубые разговоры, котораго куреня и кого выбрать Старшиною; и какъ сговорятся и положить на томъ, кто имъ надобенъ Кошевой, то и пойдутъ человекъ десять или болѣе самыхъ грубыхъ пьяницъ въ курень тотъ, гдѣ онъ живетъ, и будутъ просить его, дабы онъ принялъ такую на себя честь. И ежели онъ добровольно не поидеть, то его по два человека ведутъ подъ руки, а двое или трое сзади пыхають, и въ шею толкають, и ругательно бранять: „иди, скурвый сыну, намъ бо тебе треба, ты нашъ батько, будь намъ паномъ!“ Оному хотя не весьма охотно, однако принужденъ итти. И какъ придутъ въ раду, а онъ всему войску будетъ угоденъ, то и палицу ему въ руки давать будутъ, токмо тотъ новоизбранный ихъ Кошевой, по ихъ древнему обыкновенію, не принимаетъ палицы въ руки два раза; и какъ въ третій разъ ему подадутъ, и будутъ ему говорить, чтобы онъ былъ имъ Старшиною, и полтаврщику велеть бить въ полтавры честь ему; то онъ принужденъ принять, и тогда паки отдають ему честь. Нѣкоторые изъ онаго народа, старые козаки землю, ежели въ ту пору случится быть дождю или какому ненастью, то и грязью его голову мажутъ“... „А ежели въ прочіе дни похотятъ выбрать Кошеваго или прочую Старшину, то у нихъ бываетъ тако. Станутъ курени съ куренями сговоръ чинить, кого имъ надо скинуть за какую-нибудь причину, или по злости своей, старшину долой; и какъ сговорятся куреней съ десять, кого имъ скинуть надобно, Кошеваго, или судью, или писаря, или жъ ясаула, то научатъ пьяницъ, чтобъ они пошли и взяли литавры и ударили бѣ въ раду; то тѣхъ пьяницъ нѣсколько человекъ пойдутъ по полтавры, а оныя полтавры лежатъ на базарѣ, гдѣ у нихъ зорю бьютъ, подлѣ

столба, у котораго воровъ привязываютъ; и какъ онѣ пьяницы тѣ полтавры возьмутъ и принесутъ къ церкви, гдѣ у нихъ рада завсегда бываетъ, то онѣ жъ пьяницы въ тѣ полтавры ударятъ раду и бьютъ въ полтавры полѣномъ или другой какой налкою, понеже полтавренныя палки завсегда у довыша бываютъ. Какъ оный полтавренной бой услышитъ довышь, то, прибѣжа къ своимъ полтаврамъ, и станетъ у оныхъ пьяницъ спрашивать: „зачѣмъ они бьютъ?“ И они ему скажутъ: „бей раду, скурвый сынъ!“ то оный довышь принужденъ будетъ бить; а ежели не будетъ, то его тутъ же полѣномъ прибьютъ до полусмерти. И какъ оная рада станетъ собираться и людей приумножится, то придетъ Кошевой, судья, писарь и ясаулъ и станутъ посреди рады и поклонятся на всѣ стороны; а стоять въ радѣ безъ шапокъ. И станетъ Кошевой говорить: „Нынѣ, молодцы, зачѣмъ рада у васъ собрана?“ то пьяницы скажутъ: „Зачѣмъ, батьку, что положи ты свое Кошевые, ты бо намъ-неспособенъ!“ или какую неисправность знаютъ, то тѣмъ и уличаютъ; или скажутъ: что надо судью, или писаря, или ясаула скинуть, они бо негодныя дѣти, войсковаго хлѣба наѣлись! И на оную раду и необычайный крикъ сберутся всѣ козаки. Онѣ жъ имѣютъ войску своему на двѣ части раздѣленіе, и называются — одни курени вышніе, а другіе нижніе. И тогда случается тако, что одна сторона желаетъ, дабы Кошеваго или другую Старшину скинуть, а другіе не желаютъ, и за то у нихъ между собою сдѣлается ссора и драка; и какъ въ драку вступать, то Старшина вся уйдетъ изъ рады по куренямъ, и въ то время драка бываетъ между ними великая, гдѣ и смертно другъ друга убиваютъ. И какъ весьма раззадорятся, то не токмо людей, но сильная сторона у немошной стороны курени ломаютъ, и прочія имъ великія обиды и разоренія чинять; и которая сторона переселить или переспорить, то съ той стороны Кошеваго и прочую Старшину выбираютъ, или по прежнему старыхъ наставляють“ (стр. 38—41).

Отмѣтимъ, наконецъ, въ той же главѣ вставку — о приготовленіи козаками челновъ къ морскому походу (I, стр. 278: „Старые, загорѣлые“ — „на заливанье судовъ“); свѣдѣнія о постройкѣ козацкихъ челновъ заимствованы Гоголемъ изъ „Описанія Украйны“ Боплана (стр. 62—63).

Четвертая глава первоначальной редакціи „Тараса Бульбы“ послужила, можно сказать, канвою для пятой и шестой главы новой редакціи повѣсти: эти главы написаны вновь отъ начала до конца.

Они не разъ подвергались переработкѣ — измѣненіямъ и дополненіямъ. Сохранившіеся въ бумагахъ покойнаго художника А. А. Иванова первоначальные, черновые наброски эти, сдѣланные въ разное время, на отдѣльныхъ листкахъ, даютъ возможность намѣтить главные пункты въ исторіи переработки „Тараса Бульбы“ изъ первоначальной редакціи въ окончательную, которая появилась въ печати въ 1842-мъ году. Представляемъ въ порядкѣ разсказа эти наброски, хранящіеся въ настоящее время между рукописями Московскаго Публичнаго Музея подъ № 2205.

Отрывокъ первый¹.

„Скоро весь польскій западъ сдѣлался добычею страха. Вездѣ разносилось по всѣмъ мѣстамъ, что показались Запорожцы, и все, что могло, спасалось въ сей неустроенный вѣкъ, когда деревни и города безъ крѣпостей выстроены большей частью на пепелищахъ прежнихъ, гдѣ уже не разъ проходили татарскія неожиданныя опустошенія. Что могло, вооружалось или соединялось въ города, мѣняя наскоро плугъ и кровь [на] коня и ружье и обращаясь вдругъ изъ мирнаго въ военнаго. Кто прятался, угоняя скоть и унося, что можно было. Нѣкоторые готовились встрѣтить вооруженно, но трудно было имѣть дѣло съ толпой, опытной въ набѣгахъ, — съ мудро² устроеннымъ въ своей нестройности запорожскимъ войскомъ. Вся громада неслась осторожно ночью, и днемъ выбирала мѣстами отдыховъ лѣса и уединенныя пустопорожныя оставленныя мѣста, какихъ не мало было тогда въ Россіи. Осторожно лазутчики и разсылные засланы были впередъ, узнавали и вывѣдывали, и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ менѣе всего ожидали ихъ, тамъ они вдругъ являлись, — и ничто не могло противиться ихъ стремительности. Пожары обхватывали деревни; скоть, лошади угонялись, и запасы влеклись на телѣгахъ вслѣдъ за разгульнымъ воинствомъ, скорѣе пировавшимъ свой походъ. Запорожцы вездѣ оставили неслыханныя печати... которыхъ означилъ нестройный, губительный, беспощадно и избивая женъ, выпуская иныхъ съ обрѣзанной³ или по своему „въ красныхъ чулкахъ или руженцахъ“, то есть — снимая кожу съ ногъ по колѣни, или

¹ Написанъ на трехъ листахъ почтовой бумаги, сложенныхъ въ форматѣ большой осьмушки, сѣрватаго цвѣта; фабричный водяной штемпель: «J. Whatman Turkey Mill 1838». ² Сверху этого слова приписано: «обдуманно». ³ Не дописано.

съ рукъ по кисти. Казалось, хотѣли они сполна выплатить долгъ тою же монетою, какой получили сами, даже и съ процентами. Бѣгущія толпы монаховъ, солдатъ, жидовъ наполнили вдругъ многіе города, болѣе безопасные. Были посланы съ опоздавшею помощію полки, но они не находили ¹ ихъ или, встрѣтивши ихъ въ такомъ громадномъ числѣ, не осмѣливались сдѣлать нападенія и улетали на коняхъ. Пробовавшіе сопротивляться послѣ сильно раскаивались. Запорожцы показали, что не только внезапными нападеніями, — и на открытомъ полѣ, грудь противъ груди, были неодолимы. Здѣсь болѣе всѣхъ рвенія оказали молодые, еще въ первый разъ попробовавшіе битвѣ, пренебрегавшіе грабительствомъ и хищничествомъ на безсильнаго, незащищеннаго непріятеля. Всякой кигѣль показать въ первой разъ себя и помѣряться одинъ на одинъ съ бойко и хвастливо одѣтымъ и вооруженнымъ полякомъ, красовавшимся на своемъ конѣ ², съ летающими по вѣтру, откидными рукавами, цѣлой оружейной лавкой привязанной къ сѣдлу, вмѣстѣ съ баклагомъ (sic!) и множествомъ бесполезныхъ вещей. И козакъ, который подѣлался владѣльцемъ всѣхъ сихъ доспѣховъ, выбравши себѣ по лучшему кинжалу, и остальные взваливалъ на телѣги, потому что запорожецъ не любилъ и считалъ бесполезнымъ имѣть на себѣ много вооруженія и красиваго убранства. Въ нѣсколько недѣль, точно чудомъ какимъ, возмужали только что оперившіеся юноши и стали мужами. Даже молодая черта лицъ ихъ стали грознѣе. Не безъ гордости ³ въ душѣ видѣлъ старый Бульба, видѣлъ, какъ оба сына только что не были первыми. Остапъ, казалось, былъ созданъ для битвенной жизни и для того, чтобы играть опасностью. Не растерявшись, онъ видѣлъ ясными ⁴ глазами и съ осмотрительнымъ хладнокровіемъ тутъ же измѣрялъ опасность и находилъ средства уклоняться отъ нея, чтобы потомъ вознестись надъ нею и одолѣть ее. Уже испытанною увѣренностью (дышали?) ⁵ всѣ его движенія, и зрѣлся умъ и наклонности вождя. Чѣмъ [-то] атлетическимъ ⁶ и... видно было въ дужей натурѣ, и все, что было въ немъ, оказалось теперь шире ⁷, получило какую-то ⁸ мощь лва. „О! Да съ него выйдетъ ⁹ со временемъ полковникъ“, говорилъ,

¹ Слова «или не находили» написаны два раза. ² Слово «конѣ» пропущено. ³ Сверху: «наслажденія». ⁴ Слово «глазами» пропущено. ⁵ Не дописано и зачеркнуто. ⁶ Потомъ зачеркнуто какое-то слово; слѣдовало исправить: «Что-то атлетическое». ⁷ Слово написано неразборчиво. ⁸ Пропущенъ слогъ «то». ⁹ Слова: «Да съ него выйдетъ» написаны сверху зачеркнутыхъ: «Добрый будетъ».

глядя на него, Тарасъ. Андрій тоже весь погрузился¹
 Ему видѣлась въ ней какая-то нѣга и упоеніе. Онъ находилъ что-то² пиршественное въ этомъ крикѣ, когда въ очахъ, а передъ тобой огни и самъ³ слетаютъ головы и свищутъ пули, и самъ кажется въ огнѣ; какъ вихорь и не видишь и не слышишь въ чудномъ жару ударовъ, которые наносятся и сыплются⁴ И не разъ дивился старый Тарасъ, видя, какъ стремительный Андрій стремился туда, гдѣ не было и тѣни возможности одолѣть, куда бы никогда не устремился и на что бы не отважился имѣющій хоть каплю благоразумія и обдуманности, и бѣшеннымъ своимъ натискомъ производилъ просто чудеса. Дивился Тарасъ и говорилъ: „И это добрый — чортъ бы не взялъ его! — вояка, не Остапъ, а добрый, добрый вояка“.

Ободренный успѣхами кошевой, съ согласія всѣхъ куренныхъ атамановъ, рѣшили (sic!) итти на городъ Дубно, гдѣ (находились), носились слухи, находились казна, много богатыхъ жителей и только гарнизонъ да небольшой отрядъ короннаго войска. Въ (два) полтора дни сдѣланъ былъ⁵ походъ, и запорожцы облегли городъ. Жители рѣшили до послѣдняго (отчаянія) крайности защищаться и (умереть на) лучше умереть на площадяхъ или улицахъ своихъ, чѣмъ сдать. Гарнизонъ былъ силенъ. Высокій землянной валъ окружалъ городъ; (гдѣ) мѣстами высывались стѣны и дома, служившіе (вмѣстѣ) лучше стѣнъ. Запорожцы (встрѣтились) полѣзли было жарко на валъ, но были встрѣчены сильною картечью. (Жители) жителей собралась на валу и тоже не хотѣла быть праздною. (Бросая камни и все, что только). Казалось, въ глазахъ⁶ у всѣхъ было видно отчаянное сопротивленіе. Даже женщины показались на валу, и на головы запорожцевъ полетѣли камни, (ведра=) бочки, горшки, горячій варъ и, наконецъ, мѣшки пѣску, слѣпившаго очи. Запорожцы вообще не любили брать крѣпостей, не были знатоки вести осады. Повелѣвши отступить куреннымъ атаманамъ, Кошевой кричалъ: „Сдавайтесь, чортовы дѣти!“ Въ отвѣтъ на это посыпались вновь картечь и все, что только первое схватывалъ подъ руки городскій обыватель. „Такъ передохнете же вы всѣ съ голоду, чортовы дѣти!“ сказалъ ко-

¹ Въ рукописи оставлено пустое мѣсто въ полстроки для окончанія фразы. Пропущенъ слогъ «то». ² Фраза осталась неоконченною. ⁴ Точки на мѣстѣ неразобранныхъ словъ. ⁵ Прежде было написано: «сдѣлали они». ⁶ Въ рук.: «глазамъ».

шевой, и запорожцы, тутъ же отступивъ, расположились, чтобы, пресѣчь всякаго рода вылазки, (выжигая) и опустошая по обычаю все вокругъ, зажигая¹ оставленныя деревни, зажигая (не убр.) еще не успѣвшіе убратъся копны и скирды и хлѣба и пустивъ табуны и быковъ и въ оставшіяся (еще) несжатými нивы, (но шумѣвшія=) клонившіяся полными колосьями къ землѣ. Съ ужасомъ видѣли въ городѣ, какъ истреблялись средства прокормленія (ихъ и не сдавались. Телѣги были выстроены). Запорожцы рѣшились съ убійственнымъ хладнокровіемъ [не сниматься?] протянули въ нѣсколько рядовъ свои телѣги, расположились также, какъ и на сѣчѣ, куренями, (разбивая) въ лагери обратили тѣже телѣги. — Курили свои чугунныя люльки, посматривая съ убійственнымъ хладнокровіемъ на городъ. Ночью зажигались костры. Кашевары варили кашу въ огромныхъ мѣдныхъ казанахъ, порознь для всякаго куреня, и стояли бессонные стражи попеременно часовыми. (Но городъ оказалъ неожиданное упорство, снабженный, можетъ быть, запасами). Уже, не привыкши къ бездѣйственной жизни, запорожцы стали роптать. Кошевой велѣлъ выкатить бочки двѣ горѣлки съ приказомъ никому не напиваться, и запорожцы, отдавшись скукѣ, (стали) уже начинали предаваться обычной безопасности своего характера. Сыновьямъ Тараса не нравилась такая жизнь. Особенно Андрій замѣтно² скучалъ. „Неразумная голова!“ говорилъ ему Тарасъ. „Терпи козакъ, атаманъ будешь. Не тотъ еще добрый воинъ, кто того, прыгнулъ того-другаго да и назадъ. А тотъ добрый воинъ — хотъ треснетъ, а поставитъ таки на своемъ“. Но двадцати-лѣтній; сонъ бѣжалъ отъ очей, и не разъ одинъ онъ бодрствовалъ въ (лѣтнія іюльскія) продолженіе всей ночи тогда, тогда (sic!) покорались и даже самыя стражи (одоленные) одолѣвавшей безопасности, спали у огней. Теплыя іюльскія³ становились чудныя. Въ одну изъ такихъ ночей онъ какъ-то особенно былъ расположенъ къ бдѣнію“.

„Въ это время (какъ будто) ему показалось, какъ будто что-то мелькнуло въ очи. Думая, что это обаяніе сна и сонъ скоро разсѣется, онъ вытаращилъ глаза свои и увидѣлъ, что къ нему, точно, наклонилось какое-то изможденное высохшее лицо и смотрѣло прямо въ очи. Черныя, какъ уголь, волосы, выстрепавшись, лѣзли изъ-подъ накинутого на голову темнаго покрывала. Во всѣхъ

¹ Слова: «и опустошая — все вокругъ» приписаны сверху строки. ² Слово «замѣтно» приписано сверху строки. ³ Затѣмъ пропущено слово «ночи».

чертахъ лица замѣтно было южное происхожденіе; на всемъ было что-то такое и живое, и мертвенное вмѣстѣ, и такъ похоже было на фантастическое. Онъ схватился невольно за (рукою свою) щеку свою и проговорилъ почти судорожно: „Кто ты? Коли духъ нечистый, сгинь съ глазъ; коли живой человѣкъ, не въ пору завелъ шутку — убью съ одного прищѣла“. Въ отвѣтъ на это прищѣленіе (положило) приставило палецъ къ губамъ и, казалось, молило о молчаніи. Онъ опустил невольно руку и (началъ пристально смотрѣть) и *сталъ внимательно*¹... внимательно смотрѣлъ. Нѣсколько узкіе черные съ заволокою глаза показывали скорѣе татарское происхожденіе. Онъ замѣтилъ ясно, что это было женское лицо. Выраженіе болѣзни или какого-то сильнаго изнуренія читалось въ смуглыхъ ея.....² Но ему, однакоже, показалось, какъ будто что-то знакомое въ почти узкихъ съ заволокою вверхъ глазахъ, и невольно спросилъ: „Скажи, кто ты. Мнѣ кажется, какъ будто я тебя зналъ или видалъ когда-нибудь?“

„Два года назадъ тому въ Кіевѣ“, отвѣчала она.

„Два года назадъ въ Кіевѣ!“ повторилъ Андрій, стараясь перебрать все, что ни (было) уцѣлѣло въ его памяти отъ прежней бурсацкой жизни. Посмотрѣлъ еще разъ на нее пристально и вскрикнулъ: „Ты татарка, служанка красавицы!“

„Чш!“ сказала татарка, (испугавшись его крику) сложивъ умоляющимъ видомъ руки и (со страхомъ) дрожа всѣмъ тѣломъ, оборотившись назадъ, чтобы видѣть, не проснулся ли кто-нибудь отъ (необыкновеннаго) вскрика, произведеннаго Андріемъ. „(Ради всѣхъ святыхъ, и вашихъ, и нашихъ, молю, благородный рыцарь) Панночка тебя узнала между запорожцами“.

„Скорѣе скажи, отчего ты здѣсь. Какъ ты здѣсь?“ говорилъ Андрій шопотомъ и почти задохнувшись отъ внутренняго волненія.

„Гдѣ теперь панночка?“

„Она тутъ, она въ городѣ“.

„Въ городѣ!“ — и почувствовалъ, что вдругъ прихлынула вся кровь въ сердце. „Отъ чего же въ городѣ?“

„Отъ того, что самъ панъ въ городѣ. Онъ уже полтора года, какъ сидитъ воеводою въ Дубнѣ“.

„Что она за мужемъ? Говори, говори!“

¹ Курсивомъ печатаемъ написанное сверху строкъ. Фраза не кончена. ² Не дописано.

„Она другой [день] ничего не ѣла“.

„Какъ?“

„Ни [у] одного изъ жителей въ городѣ нѣтъ куска хлѣба. Всѣ давно уже ѣдятъ одну землю“.

Андрій остолбенѣлъ.

„Панночка видѣла тебя между запорожцами. Она сказала мнѣ: „ступай, Марися, скажи рыцарю, коли онъ помнитъ меня, чтобы пришелъ ко мнѣ; а не помнитъ меня,—(пусть пр) чтобы прислать кусокъ хлѣба для старухи матери моей, потому что я не хочу видѣть, какъ при мнѣ умереть мать; я хочу, чтобы она послѣ умерла. У него также есть старая мать, попроси ради ея козака“.

Тысячи разныхъ чувствъ пробудились и вспыхнули въ груди молодого воина.

„Но какъ ты пришла?“

„Потаеннымъ ходомъ подъ землею“.

„Развѣ есть потаенный ходъ?“ — „Есть“. — „Гдѣ?“ — „Ты не выдашь, рыцарь?“ — „Клянусь святымъ крестомъ!“ — „Подъ горою и въ....

„Идемъ, идемъ сей часъ“.

„Но, ради святой Маріи, кусокъ одинъ хлѣба!“

„Хорошо, будетъ хлѣбъ. Обожди здѣсь возлѣ воза; или, лучше, ложись на телѣгу, тебя никто не увидитъ — всѣ спать. Я сей часъ ворочусь“.

И онъ отошелъ къ возамъ, гдѣ хранились запасы, принадлежавшіе ихъ куреню. Сердце его билось, и все минувшее, что было закрыто, заглушено, подавлено настоящимъ вольнымъ бытомъ, — все всплыло разомъ на поверхность, потопивши въ свою очередь настоя[шее]. — И увлекающій пылъ брани, и самолюбивое желанье славы, и вольная бивачная жизнь, и долгъ, и права козацкія — все исчезло предъ нимъ. Одна женщина вдругъ сдѣлалась владѣльцомъ. Нѣтъ, нѣтъ! Онъ не заснулъ, онъ не погаснулъ въ глубинѣ его — этотъ чудесный образъ, такъ ослѣпительно встрѣтившій его начинавшую мужать юность. Ея прекрасныя руки, очи, рядъ смѣющихся зубовъ и уста, и чудесныя плечи подъ густою прядью волосъ, и одежда, облекавшая и рисовавшая ея чудныя формы груди, спины, ногъ, предъ красотой котораго всего онъ (паль) обомлѣлъ, самъ еще не зная, почему они прекрасны и почему онъ доступенъ этой красотѣ. Нѣтъ! не погасало все это въ груди: оно удалилось только, чтобы дать просторъ

на время другимъ могучимъ движеньямъ и страстямъ, которыми воспламенилась вдругъ его воспламенительная натура. Образъ являлся и красота въ различныхъ¹ приходила *иногда* (тревож) отрывкомъ тревожить сны его. (Дрожь) и биеніе сердца усиливались при одной только мысли, что онъ увидитъ ее опять. Онъ едва могъ идти: колѣни его дрожали. Подошедши къ возамъ, онъ позабылъ совершенно, зачѣмъ пришелъ онъ, и невольно поднесъ руку свою ко лбу, потирая ея и стараясь вспомнить, что такое ему нужно дѣлать. Наконецъ почти съ испугомъ вспомнилъ, что она, можетъ быть, умираетъ (съ голод).....². Онъ бросился къ возу и схватилъ нѣсколько черныхъ³ и потомъ подумалъ: „но будетъ ли она ѣсть? для ея ли (деликатной) нѣжнаго сложенія такой хлѣбъ, которымъ питается грубой запорожецъ?“ Онъ вспомнилъ, что кошевой бранилъ кашеваровъ, что слишкомъ много наварили вчера каши, истребивъ за однимъ разомъ почти все привезенное свѣжее просо. Ему пришло въ голову, что (лучше всего) каши, безъ сомнѣнія, осталось въ котлахъ и что она будетъ лучшею пищею. Онъ вытащилъ отцовскій походный казанокъ, въ которомъ тотъ самъ варилъ себѣ кашу и съ нимъ отправился къ ихъ кашевару⁴, который спалъ, разлегшись⁵ около двухъ большихъ казановъ съ потухнувшими подъ ними огнями. Заглянулъ въ нихъ — и изумился, увидѣвъ, что они оба пусты. (Почти невозможно). Не человѣческимъ силамъ нужно было быть, чтобы все это съѣсть, тѣмъ болѣе, что въ ихъ куренѣ считалось даже гораздо менѣе людей, чѣмъ въ другихъ. Онъ заглянулъ въ казаны другихъ куреней — вездѣ ничего. Онъ невольно вспомнилъ поговорку: „запорожцы такой народъ — коли мало чего, то съѣдятъ, коли и много, то не оставятъ“. (Какъ Гдѣ же взять еще?) Почти отчаявшись, онъ придумывалъ и наконецъ вспомнилъ, что у нихъ есть мѣшокъ съ бѣлымъ хлѣбомъ, который нашли, ограбивши монастырскую пекарню. Онъ въ ту же минуту побѣжалъ къ своему возу; но его не было на возѣ. Остапъ взялъ его себѣ подъ голову и, (развал) закинувши ее на него, храпѣлъ сильно. Онъ схватилъ и выдернулъ его вдругъ одной рукой, такъ что голова упала на землю, и онъ въ просонкахъ вскочилъ⁶, закры-

¹ Загѣмъ одно слово пропущено. ² Не разобрано два слова. ³ Одно слово загѣмъ пропущено. ⁴ Въ рукописи: «кашевара». ⁵ Слово написано неразборчиво. ⁶ Надъ этимъ словомъ приписано сверху: «чуть не».

чавъ голосоно: „Держите, держите чортова бусурмана! Да ловите коня его, коня!“ — „(Я тебя) Молчи! Я тебя тутъ [же] убью!“ сказалъ Андрій, замахнувшись на него мѣшкомъ. Но Остапъ и безъ того не продолжалъ рѣчи и пустилъ такой сильный храпъ, что, казалось, дрожали возы возлѣ него. Андрій робко оглянулся во всѣ стороны — узнать, не разбудилъ [ли] кого сонный крикъ Остапа. Одна (голова, точно) чубатая голова приподнялась, точно, въ ближнемъ куренѣ и, (взглянувш) повода очами вокругъ, опустилась опять. (Онъ былъ увѣренъ). Переждавши минуты двѣ, онъ наконецъ отправился съ ношею. Татарка лежала, чуть дыша. „Вставай! (сказалъ) Идемъ, всѣ спать. Подымешь ли ты хоть одинъ хлѣбъ? *Попробуй*. У (меня) [Самъ?] набралъ запаса, а, можетъ быть, не снесу всего“. Сказавъ это, онъ взвалилъ себѣ на спину два мѣшка съ чернымъ хлѣбомъ, мѣшокъ бѣлаго, захватилъ еще у сосѣдняго куреня мѣшокъ муки и взвалилъ все это себѣ на плечи. Видя, что его проводница не двигалась, онъ взялъ изъ рукъ ея хлѣбъ и потащилъ и тотъ съ собою, и, нѣсколько нагнувшись, шелъ отважно промежъ рядовъ спавшихъ запорожцевъ. „Андрій!“ сказалъ старый Бульба, когда онъ проходилъ мимо его. (Андрій вдругъ сталъ блѣдень, какъ). Сердце его замерло; онъ остановился, дрожая всѣмъ тѣломъ (едва): „А что?“ — „Съ тобою баба. (Смотри, не дове). Ей, отдеру тебя (батогомъ), вставши, батогомъ на всѣ боки. Не доведутъ тебя бабы къ добру“. Сказавши это, онъ подперъ локтемъ голову и сталъ разсматривать пристально (боязля) блѣдную, какъ смерть или привидѣніе, татарку. Андрій стоялъ, ни живъ ни мертвъ, не смѣя взглянуть въ лицо отцу; но потомъ, когда приподнялъ глаза и посмотрѣлъ на него, увидѣлъ, что уже старый Бульба спалъ, положивъ голову на (локоть =) ладонь. Онъ перекрестился отъ радости, и отхлынулъ вдругъ отъ сердца испугъ еще скорѣе, нежели прихлынулъ. (Онъ тутъ же да. Тогда) Оглянувшись на татарку, онъ увидѣлъ, что она стояла подобно окаменѣвшей статуѣ; блѣдность покрыла и *теплый* отблескъ (пожарнаго пламени =) отдаленнаго пожара странно отразился на холодномъ и помертвѣломъ цвѣтѣ лица ея. Онъ дернулъ за рукавъ ея, (понуждая итти поспѣшно), и оба пошли поспѣшно, оглядываясь назадъ, и наконецъ опустились отлогостью, составлявшею почти ярь¹, (которая)

¹ Оставлено пустое мѣсто въ наброскѣ.

скрыла (ихъ совершенно) *такимъ образомъ* изъ глазъ всѣхъ. Оглянувшись назадъ, увидалъ (за собой =) позади себя покатый берегъ (вышиною =) ровень высокому человѣку, нѣсколько былинногъ, росшихъ на вершинѣ, и луну, поднимавшую[ся] на небо косвенно обращеннымъ серпомъ цвѣта червоннаго золота. Поднявшійся свѣжій вѣтерокъ подавалъ знать, что немного времени оставалось до разсвѣта, но нигдѣ не слышится отдаленный крикъ пѣтуха: въ городѣ давно уже не было пѣтуха, такъ же, какъ и въ..... разоренныхъ окрестностяхъ. По большому бревну они перенли черезъ ручей, за которымъ противоположный берегъ былъ еще выше. Это, казалось, былъ самый крѣпкій городскій пунктъ; по этому самому и земляной [валь]¹ былъ здѣсь ниже; весь (берегъ) обрывистый берегъ покрытъ бурьяномъ, по небольшой низменности между имъ и ручьемъ [былъ],² тоже бурьянъ въ вышину человѣка. На вершинѣ его были видны остатки плетня; видно было, что здѣсь былъ когда-то огородъ. (Плетень) Остатки плетня срывались широкими листьями³, и вылѣзали лебеда и дикій колючій будякъ, и выше ихъ всѣхъ подымалъ свою голову подсолнечникъ. Здѣсь татарка скинула съ ногъ своихъ черевички и пошла босая, осторожно подобравъ свое платье, потому что мѣсто было топко и [на]полненно водою. Они продирались сквозь тростникъ (и наконецъ) и они приближились къ (обложенной землей стѣнѣ) къ наваленному хворосту⁴; но за хворостомъ, разнимая (его рукъ) этотъ хворостъ, перемѣшанный съ колючими будяками, нашли они отверстіе, похожее на отверстіе (въ печи) въ обрывистой гранитной стѣнѣ берега, подобное отверстію (въ печахъ) въ хлѣбной печи. (Нагнувши голову). Татарка нагнула голову и вошла первая вслѣдъ за ней Андрій, нагнувшись какъ только было⁵ и какъ могли позволить набранные мѣшки и запасъ. И скоро оба очутились въ совершенной темнотѣ⁶.

V.

„Андрій едва двигался въ узкомъ земляномъ коридорѣ, слѣдуя за татаркой и влача за собой мѣшки и хлѣбъ. „Скоро намъ будетъ видно“, сказала провожатая: „мы подходимъ на мѣсто, гдѣ оставила я свѣтильню“. И точно, темныя земляныя стѣны начали понемногу озаряться⁵. Они достигли небольшой площадки, гдѣ,

¹ Слово «валь» не написано въ рукописи. ² Написано неясно и перемарано. ³ Пропущено слово. ⁴ Окончаніе слова недописано. ⁵ Въ рук.: «озираться».

казалось, была часовня — что-то въ родѣ маленькаго олтаря, и видѣнъ былъ образъ, почти изгладившійся, католической мадонны съ лампой передъ нимъ. Татарка наклонилась и подняла съ земли старинную лампу на высокой мѣдной ножкѣ съ висѣвшими на мѣдной цѣпочкѣ щипцами, шпилькою для поправки свѣтильни и гасильникомъ. Тутъ же зажгла ее огнемъ лампы. Свѣтъ усилился и они, идя вмѣстѣ, то освѣщаясь сильно огнемъ, то набрасываясь темною, какъ уголь, тѣнью, напоминали картины della notte¹, живость которыхъ увеличивала сильная противоположность изнуреннаго, блѣднаго лица татарки и свѣжаго, кипящаго здоровьемъ и румянцемъ юности лица рыцаря². Проходъ сталъ какъ будто шире. По крайней мѣрѣ, Андрію можно уже было выпрямиться. Онъ разсматривалъ съ любопытствомъ эти низенькія стѣны, и многое³ напомнило ему киевскія пещеры. Также мѣстами видны были углубленія въ стѣнахъ и стояли кое гдѣ (и) гробы; мѣстами даже попадались просто человѣческія кости, отъ сырости сдѣлавшіяся мягкими и рассыпавшіяся въ муку. — И здѣсь также, видно, жили святые люди и укрывались также отъ мірскихъ бурь и горя, и обольщеній. [Сырость мѣстами была очень сильна: подъ ногами ихъ иногда была совершенная вода. Андрій долженъ былъ часто останавливаться, чтобы дать отдохнуть своей спутницѣ. Усталость безпрестанно возобновлялась. Небольшой кусокъ хлѣба, который она проглотила, произвелъ боль въ ея желудкѣ, отвыкшемъ совершенно отъ пищи, и она оставалась часто безъ движенія на одномъ мѣстѣ. Наконецъ они встрѣтили передъ собою запертую дверь. „Ну, слава Богу! мы пришли“. Подняла кулакъ постучать въ нее и не имѣла силъ. Андрій ударилъ довольно [сильно]⁴ и за дверью отозвался глухо отголосокъ, дававшій знать, что находилось за ними большое пространство. Минуть черезъ нѣсколько загремѣли ключи; кто-то сходилъ по лѣстницѣ. Наконецъ дверь отперлась; ихъ встрѣтилъ монахъ, стоявшій на узенькой лѣстницѣ съ ключами и свѣчей въ рукахъ. —

Андрій нѣсколько остановился при видѣ католическаго монаха, которыхъ видъ производилъ всегда презрѣніе въ козакахъ и которыхъ они вѣшали наравнѣ съ жидами. Монахъ тоже съ своей стороны⁵

¹ Сначала было написано: «Свѣтъ усилился и, освѣщая ихъ, напоминалъ картины della notte». ² Слова: «живость» — «рыцаря» приписаны съ боку. ³ Въ рук.: «много». ⁴ Это слово пропущено. ⁵ Слово «стороны» пропущено.

отступилъ назадъ при видѣ запорожскаго козака. Одно слово, невнятно произнесенное татаркою, его успокоило. Онъ посвѣтилъ имъ, заперъ за ними дверь и ввелъ ихъ по лѣстницѣ въ верхъ, и они очутились подъ высокими сводами монастырской церкви. У одного изъ алтарей, съ высокими свѣчами, стоялъ на колѣняхъ священникъ и тихо молился. Около него съ обѣихъ [сторонъ]¹ стояли два молодые клироса² въ лиловыхъ мантияхъ и бѣлыхъ [шмизеткахъ]³ съ кадилами въ рукахъ. Казалось, совершалась молитва. Онъ молился о ниспосланіи чуда, о спасеніи города, о поддержаніи падающаго духа, о ниспосланіи терпѣнія, о удаленіи злаго духа, напештывающего ропотъ и робкій малодушный плачь на земныя нещастія. Нѣсколько женщинъ, похожихъ на привидѣнія, стояли на колѣняхъ, опершись на стулья и скамьи, бывшія среди церкви. Нѣсколько изможденныхъ мужчинъ печально стояли на колѣняхъ, прислонясь у колоннъ. Окно надъ алтаремъ озарилось розовымъ румянцомъ утра и на темный церковный полъ упали отъ него голубые и желтые кружки свѣта, освѣтившіе темную церковь. Весь алтарь въ своемъ далекомъ углубленіи показался въ сіяніи; кадильный дымъ остановился на воздухѣ, освѣщенный радужнымъ облакомъ. Андрій съ какимъ-то благоговѣйнымъ изумленіемъ глядѣлъ изъ своего темнаго угла на это чудо, произведенное освѣщеніемъ. Въ это время раздался величественный ревъ органа и наполнилъ всю церковь. Становясь гуще, громовые протяжные звуки, то усиливались, то исчезали и, обратясь въ небесную музыку, потомъ опять обращались въ ревъ и громъ, и затихли, и долго еще громовые рокоты носились, дрожа, подъ сводами. Съ какимъ⁴ и дивился съ полудразверзстымъ ртомъ⁵ Андрій величественной музыкѣ. Въ это время услышалъ, какъ татарка его дернула за козацкую свиту, сказавъ: „пора!“ Они перешли черезъ церковь, почти незамѣченные никѣмъ, и вышли на площадь. Заря уже давно занялась и все возвѣщало восхожденіе солнца. Площадь была почти квадратная; вся середина ея состояла изъ засохшей земляной груды, показывавшей, что грязь [на] ней залеживалась не на шутку во время дождей. Небольшіе каменные и глиняные дома въ одинъ этажъ, съ видными въ стѣнахъ деревянными сваями, перекрещенными

¹ Слово «сторонъ» пропущено. ² Такъ въ рукописи; такъ и въ спискѣ Нѣжинскаго института. ³ Слово «шмизеткахъ» пропущено. ⁴ За этимъ словомъ что-то пропущено. ⁵ Это слово пропущено.

косвенно завязывавшими ихъ деревянными связями, какъ строились тогда у городскихъ обывателей, какіе остались кое-гдѣ и нынѣ, съ непохѣрно высокими крышами, наполненными бездною слуховыхъ оконъ и отдушникъ. На одной сторонѣ, близъ церкви, выше другихъ возносился, вѣроятно, городской магистратъ или тому подобное зданіе въ два этажа съ надстроеннымъ наверху, въ двѣ арки, бельведеромъ, гдѣ стоялъ, какъ часовой¹, опершись (на ружье и смотря)² большой крышкой часовой циферблатъ (видѣнь). Площадь была пуста. Но Андрію почудилось какое-то слабое стenanіe. Онъ замѣтилъ на другой сторонѣ ея лежавшихъ два три въ какихъ-то] судорожныхъ Въ то время, когда онъ, желая разсмотрѣть ихъ, нѣсколько шаговъ³, онъ споткнулся на что-то лежавшее у ногъ его: опустивъ глаза внизъ, онъ увидѣлъ, что это было мертвое [тѣло] жидовки. Казалось, она была еще молода, хотя въ искаженныхъ изможденныхъ чертахъ ея съ перваго раза нельзя было сего видѣть. На ея головѣ былъ шелковый⁴; жемчуги, или бусы въ два ряда видны были на ея наушникахъ. Двѣ, три длинныя, всѣ завившіяся кудри падали на высохшую шею съ натянувшимися жилами. Возлѣ нея лежалъ ребенокъ, судорожно схватившій рукою за тощую грудь и скрутившій ее въ своихъ пальцахъ. Онъ уже не плакалъ и не кричалъ, и только по опускавшемуся и поднимавшемуся животу-можно было думать, что онъ еще не умеръ или, по крайней мѣрѣ, испускалъ послѣднее дыханіе. Они поворотили въ улицы (и на каждомъ шагѣ останавливали ихъ жертвы голодной, такъ) и были остановлены какимъ-то бѣснующимся, который почти-что вѣдѣлся ему, крича: „хлѣба!“ Онъ бросилъ ему хлѣбъ, на который тотъ бросился подобно бѣшеной собакѣ, весь изгрызъ, искусалъ и тутъ же на улицѣ умеръ въ судорогахъ отъ долгой непривычки не принимать пищу. На каждомъ шагѣ поражали ихъ жертвы голода. Казалось, какъ будто, не вынося мученій въ домахъ, выбѣжали на улицы. У воротъ одного [дома] сидѣла старуха, и нельзя было сказать, заснула или такъ позабылась; по крайней мѣрѣ она, казалось, не слышала ничего и опустивъ голову на грудь, не двигалась ни однимъ суставомъ. Съ крыши одного дома висѣло на веревочной петлѣ [тѣло, висѣло (высохнувшее) вытянувшееся] изчахлое тѣло. Бѣднякъ, видно, не могъ вынести до конца⁵ страданій голода и самоубійствомъ захо-

¹ Прежде было написано: «солдатъ, воинъ». ² Зачеркнуто: «на ружье и смотря».

³, ⁴ Пропущено какое-то слово. ⁵ Слова: «не могъ вынести до конца» привисали сверху строки, но предшествующія, конимъ они служатъ замѣною, не зачеркнуты.

тѣль ускорить. Будучи свидѣтелемъ сихъ страшныхъ¹, Андрій не могъ не изъяснить изумленія татаркѣ, какъ они, погибая такою лютою смертью, все еще (не сдають) думаютъ защитить городъ. „О! воевода бы давно его выдалъ“, сказала: „зажегъ бы, какъ хотѣли было, но третьяго (дня былъ тайной гонецъ съ приказомъ подождать и что (ведетъ) идетъ войско на помощь, и отъ того всѣ готовы умереть да ждать) дни полковникъ, который въ Бужанахъ пустилъ въ городъ сокола съ запиской, чтобы не отдавать города, потому что онъ самъ идетъ на выручку и ожидаетъ только другаго полковника, чтобы вмѣстѣ съ нимъ итти. Но вотъ ужъ мы пришли въ дому“.

Андрій (разсмотрѣлъ) уже давно видѣлъ домъ, непохожій на другіе и, какъ казалось, строенный какимъ-нибудь италіанскимъ архитекторомъ. Онъ былъ въ два этажа. Окна нижняго этажа были обведены гранитными карнизами. Верхній этажъ былъ [выше] перваго и (представлялъ длинную) весь состоялъ изъ арокъ, образовавшихъ галерею; между ними проходили красивыя рѣшетки. Наружная широкая лѣстница (выходившая) изъ крапешныхъ кирпичей выходила (на улицу) на самую площадь; (внизу ея=) у ногъ ея сидѣло по одному часовому, которые картинно и симметрически взявшись (за стоящія тяжелыя и длинныя) за длинныя алебарды, другою поддерживали наклоненную свою голову и казались мастерски произведенными изваяніями. Они не спали и не дремали, но, казалось, были нечувствительны ко всему и даже не обратили вниманія на восходившихъ по лѣстницѣ. Наверху лѣстницы сидѣлъ какой-то офицеръ..... державшій въ рукахъ молитвенникъ. Ему что онъ сперва.....² Они вступили въ первую комнату, служившую (передней), наполненную сидѣвшихъ въ разныхъ положеніяхъ солдатомъ, слугъ и прочей дворни, какой, какъ извѣстно, была не..... бездна у каждаго польскаго вельможи. Слышенъ былъ сильный чадъ погаснувшей свѣтильни; другая горѣла, не смотря на утро, уже давно глядѣвшее въ большое рѣшетчатое окно. (Андрій прямо уже) было хотѣлъ въ огромную дверь, украшенную гербомъ и множествомъ лѣпныхъ украшеній; но татарка дернула его за руку и указала маленькую дверь въ боковой стѣнѣ. Эту дверь вышли они въ коридоръ, изъ него — въ комнату, которую не могъ разсмотрѣть; сквозь щель ставень проходившій свѣтъ тронулъ кое-гдѣ

¹ Пропущено какое-то слово. ² Не дописано.

малиновый занавѣсъ, позолоченный карнизъ и живопись на стѣнѣ. Здѣсь татарка сказала Андрію подождать и отворила дверь въ другую комнату, откуда блеснулъ свѣтъ огня.“

Впослѣдствіи на второмъ листѣ сдѣлана слѣдующая приписка, относящаяся къ той же самой главѣ:

„Но будто бы однакоже“, такъ (говорилъ) сказалъ онъ: „ничего у васъ не осталось, чѣмъ бы питаться. (Когда) Обыкновенно, когда не останется ничего и когда человѣку (въ крайнее) пришла послѣдняя крайность, онъ пытается тѣми тварями, которыхъ запрещаетъ законъ и все“¹

„Но что же будешь ѣсть?“ сказала Татарка: „все переѣли: и коней, и собакъ, и котовъ. Въ городѣ вѣдь запаса только и было, что дня на три: все навозятъ изъ деревень“.

„Какъ же вы“ сказалъ: „претерпѣвая такую лютую смерть, все еще думаете защищаться?“

Отрывокъ второй².

„Онъ услышалъ шопотъ и голосъ, отъ котораго все потряслось у него. И черезъ минуту татарка дала знакъ, что можетъ войти. Онъ видѣлъ, какъ мелькнула стройная женская фигура съ длиною роскошною косою, упавшею на поднятую руку къ верху. Онъ почти не помнилъ, какъ взошелъ. Дверь за нимъ затворилась. Въ комнатѣ горѣли двѣ свѣчи; лампа передъ образомъ, столѣикъ съ ступеньками для преклоненія колѣней во время молитвы и на немъ развернутая книга, — это бросилось ему вскользь, покажѣтъ глаза его отыскивали ее. Но она стояла передъ нимъ. Что-то выразилось во всемъ ея легкомъ движеніи и фигурѣ, какъ будто бы она хотѣла броситься къ нему и вдругъ остановилась. Онъ вперилъ на нее глаза и остался пораженнымъ на мѣстѣ: онъ не такую ожидалъ ее видѣть. Это была не та, совершенно не та, и тѣни не было похожаго на ту, но вдвое прекраснѣе и чудеснѣй была она теперь, чѣмъ прежде. Что-то полное, какое-то полное чувство (свѣтилось) выражалось въ ея поднятыхъ глазахъ, не отрывки, не замѣтна, но чувство, оно само все нар[ужу]. Слезы не высохли и облегли влагою глаза, сообщивъ имъ бриліантовый, проходящій

¹ Точки на мѣстѣ неразобраннаго слова. ² Написанъ на листѣ почтовой бумаги; форматъ большой четвертки, съ водяными полосами и фабричнымъ знакомъ: *орелъ на трехъ камняхъ* и буквы FG. Ср. на снимкѣ при этомъ томѣ № 3.

душу блескъ. Грудь, и шея, и плечи заключились въ тѣ прекрасныя границы; кудри, которые разносились (sic!) по лицу ея тѣнь, теперь обратились въ густую роскошную косу, которая частью была подобрана и частью разлеталась. Тогда еще было въ ней что-то не конченное, не выполненное; теперь это было произведение, которому художникъ далъ послѣдній ударъ кисти. То была прелестная вѣтрена дѣвушка, это была красавица, женщина во всей красотѣ, и всѣ черты ея, казалось, измѣнились совершенно. Напрасно сидѣлъ онъ въ нихъ отыскать хоть одну изъ тѣхъ, которыя носились въ памяти — ни одной не было. Блѣдность, изнеможеніе видны были на лицѣ; но ничто не измѣнило чудесной красы ея. Напротивъ казалось, какъ будто бы она придавала ей что-то стремительно-(неотраз сильное) неотразимое, побѣдоносный (sic!); и ощутилъ въ душѣ (почти святой ужасъ Андрій) какое-то смѣшанное съ (боязнью) священною боязнью благоговѣніе Андрій и сталъ неподвиженъ передъ нею. Она тоже, казалось, была поражена видомъ козака, который предсталъ во всей красѣ и силѣ юношескаго мужества и развязанной вольности движеній¹. Ясною твердостью сверкала глазъ его; смѣлою дугою выгнулась бархатная бровь; загорѣлая щека блисталась всей дѣвственнымъ огнемъ² и, какъ шолкъ, лоснился молодой черной усь. — „Нѣтъ, я не въ силахъ ничѣмъ возблагодарить тебя, великодушный рыцарь!“ сказала она. „Одинъ Богъ можетъ развѣ возблагодарить тебя; не мнѣ, слабой женщиной“. * Слова ея прерваны были приходомъ татарки, принесшей на серебряномъ вызолоченномъ блюдѣ хлѣбъ. Она взглянула и возвела очи на Андрія, и много въ нихъ выразилось благодарности. Слеза канула съ нея. „А мать?“ спросила, стремительно обратившись къ татаркѣ: „ты отнесла ей?“ — „Она спитъ“. — „А отцу?“ — „Отнесла; онъ сказалъ, что придетъ самъ благодарить рыцаря“. Она взяла хлѣбъ и поднесла его къ рту. (Съ наслажденіемъ неизъяснимымъ видѣ=) Нѣтъ, не могъ.....⁴ глядѣтъ Андрій на то, какъ она ломала (рукой чуде) чудесными пальцами хлѣбъ и тутъ ѣла въ глазахъ его. И вдругъ вспомнилъ о бѣшеномъ отъ голода, который (издохъ въ гл) испустилъ духъ въ глазахъ его, съѣвши хлѣба; онъ поблѣднѣлъ и, (взявъ) схвативъ ее за руку, закричалъ: „Довольно; не ѣшь болѣе: ты такъ долго не ѣла; тебѣ

¹ Сверху строки приписано: «и стоя недвижнымъ козакомъ». ² Такъ въ рукописи. ³ Окончаніе слова неясно. ⁴ Не разобрано слово.

хлѣбъ повредить⁴. И она опустила тутъ же руку и положила хлѣбъ на блюдо, какъ покорный ребенокъ, и смотрѣла ему въ очи. И не властны были кисть и слово выразить того, что свѣтилось тогда въ этихъ глазахъ.* — „Царица!“ вскрикнулъ Андрій: „что тебѣ нужно, чего ты хочешь? прикажи мнѣ это! Задай мнѣ службу самую невозможную, какая только есть на свѣтѣ, я пообѣгу (для тебѣ) исполнять ее (хоть на край свѣта). Скажи мнѣ сдѣлать то, что не въ силахъ сдѣлать ни одинъ человекъ, я сдѣлаю, или погибну: и погибнуть для тебя (любо) сладко. У меня три хутора, половинная табуновъ отцовскихъ (мнѣ)¹ мой. Такихъ ни у кого теперь изъ насъ нѣтъ оружія; за (мою саблю съ) рукоятъ моей сабли, выложенную самоцвѣтными камнями, мнѣ даютъ² — отъ всего этого откажусь, брошу въ воду, и сожгу (все), и (разорю) истреблю для твоего одного слова“. ** — „Но тебѣ нельзя меня любить“, сказала она, положивъ руку на плечо ему и коснувшись его длинныхъ волосъ: „тебя зовутъ братья, отецъ, отчизна, а мы враги вамъ“. — „А что мнѣ братъ, отецъ и отчизна? Такъ нѣтъ же, когда такъ, никого у меня, никого, никого! Кто сказалъ, что моя отчизна Украина? Кто ее далъ мнѣ въ отчизны? Отчизна — то, что милѣй всего на свѣтѣ: отчизна моя — ты. Вотъ моя отчизна. И понесу эту мою отчизну навѣки въ сердца и все отдамъ за эту отчизну; посмотрю, кто изъ козаковъ нашихъ ее оттуда вырветъ“³. Она оставилась и съ изумленьемъ смотрѣла ему въ очи; потомъ вдругъ зарыдала и кинулась ему на шею, обхвативъ ее своими руками⁴. Онъ слышалъ, какъ ея (благоухающія =) чудныя⁵ обдавали его благовонной⁶ теплотой дыханія, какъ слезы ея текли ручьями по немъ, и распустившіеся ея длинные волосы (обняли всего) облекли и обняли⁷ его, покрыли ему плечи и руки. („Радуйся“....). „Наши, наши пришли въ городъ!“ говорила съ радостнымъ крикомъ вбѣжавшая татарка: „привезли хлѣба, муки и связанныхъ запорожцевъ“. Но ничего не слышали ни она, ни Андрій. Полный обнявшихъ его (чудесныхъ =) чувствъ, (невыразимыхъ никакими словами,

¹ Сверху этого зачеркнутого слова приписано: «при», т. е. приналежать.

² Не дописано. ³ Слова: «посмотрю» — «вырветъ» приписаны сверху строки впоследствии. ⁴ Сверху этой строки приписано другими чернилами: «..... этому преступавшему все. Въ это время раздались на улицѣ крики и заиграли въ трубы».

⁵ Слово «чудныя» написано другими чернилами сверху зачеркнутого: «благоухающія». ⁶ Слово «благовонной» написано сверху другими чернилами. ⁷ Слова «облекли и обняли» приписаны сверху позднѣйшими чернилами.

райскихъ чув), — чувствъ, для которыхъ не существуетъ словъ, онъ поцѣловалъ въ (тѣ самыя) сіи благовонныя уста, прильнувшія къ щекамъ, и не безотвѣтны: онѣ отозвались¹; и въ сльдн-номъ поцѣлуѣ то почувствовалось, что одинъ разъ въ жизни дается чувствовать человѣку и то, можетъ быть, одному изъ цѣлой (миліона) тысячи².

Три приписки. На томъ же листѣ къ приведенному отрывку приписаны три дополненія. Мѣсто перваго указано выше знакомъ* (стр. 591); мѣсто втораго — знакомъ* (стр. 592); мѣсто третьяго — знакомъ** (стр. 592).

Первая приписка. „Сказавъ это (она не договорила далѣе), она потушила къ низу свои очи, и рѣсницы, длинныя какъ стрѣлы, опустились на сверкающую бѣлизну лица, и все лицо наклонилось, и (какой тонкій, едва замѣтны) тонкій, едва замѣтныи отгнѣнои румянца стыдливо отгнѣнилъ его съ низу. Ничего не зналъ, какъ, что нужно отвѣчать, Андрій. Онъ бы хотѣлъ много сказать, хотѣлъ все, что ни есть = было на душѣ, выразить также горячо и сильно, какъ оно было на душѣ, и не могъ: какъ будто какая-[то] невѣдомая сила заграждала уста его и отнимала звукъ у слова. Онъ слышалъ, что все у него связано³, что не ему, воспитанному въ бурсѣ и бранной кочевой жизни, отвѣчать на такія рѣчи. И онъ замолчалъ и сильно негодовалъ (самого себя) за робость, за чорствую свою военную (необразованность =) выправку и за.....“⁴.

Вторая приписка. „(И въ безмолвномъ этомъ обращенномъ на него взорѣ обозначилось, изъясни... казалось, выражавшемъ изнеможенное чувство благодарности). Онъ и болѣе изъяснилъ ему, наговорилъ ему (этотъ) сей умиленный взоръ, выражавшій какое-то изнеможеніе благодарности, чѣмъ всѣ рѣчи. Его душѣ вдругъ стало легко и, казалось, все развязалось въ немъ. Чувства, движенія душевныя, на которыя (казалось, кто-[то]) набросилъ за минуту доселѣ = доселѣ) кто-то сдерживалъ тяжкою уздою⁴, вдругъ почувствовали себя (на свободѣ) освобожденными, на полной волѣ и уже хотѣли излиться въ прекрасныхъ рѣчахъ, какъ вдругъ красавица, обратясь къ татаркѣ, безпокойно спросила: „А мать?“

Третья приписка. „Но знаю (я) самъ, что, можетъ быть, я говорю все это глупо и некстати, и нейдетъ все это сюды, что (проведя) не мнѣ, проведенному (время) жизнь въ бурсѣ, и на за-

¹ Не разобрано. ² Окончание слова не дописано. ³ Не разобрано. ⁴ Въ рукописи: «узду», — остатокъ зачеркнутой фразы, напечатанной нами въ скобкахъ.

порожьи, говорить такъ, какъ въ обычаѣ говорить тамъ, гдѣ бываютъ короли, князья и (все) что ни есть лучшаго въ вельможномъ рыцарствѣ. И знаю самъ, что ты иное твореніе божіе, чѣмъ всѣ мы и (чѣмъ всѣ =) далеко передъ тобою другія боярскія жены и дочки¹. Не мы должны говорить, но одни ангелы небесные только могутъ служить тебѣ“. Съ (необыкновеннымъ =) возрастающимъ участіемъ и безмолвнымъ изумленіемъ слушала она открытую сердечную рѣчь, въ которой, какъ въ зеркалѣ, выражалась вся (юная) молодая, полная силъ душа молодого запорожца, и уста ея (уже) пошевелились и показали усиленное желаніе сказать что-то — и вдругъ она остановилась и вспомнила, что рыцарь, предъ ней стоящій, другимъ ведется назначеніемъ, что у него есть свои обязанности, что все раздѣляетъ, что отецъ, и мать, и братья его, и вся его отчизна — враги, и что жестокость разно....., непримиримая съ обѣихъ сторонъ..... раздѣляетъ, и что самая вѣра.....², и нѣтъ возможности переступить эту пропасть. Глаза ея всѣ наполнились³. Она схватила вышитый шелками платочекъ, положила его себѣ на глаза и въ минуту онъ сталъ весь влажнымъ. — „Скажи мнѣ одно слово!“ сказала Андрій и взялъ ее за руку, и огонь свернулся при этомъ по всѣмъ его жиламъ отъ прикосновенія къ этой трепетной, которая казалась недвижимою въ его рукѣ. Но она молчала и (казалась совершенно безъ движенія) не отнимала платка отъ лица своего и оставалась (какъ казалось. „Но чего же ты плачешь, скажи мнѣ“) неподвижна. Въ эту минуту, казалось, какъ будто нослышались гдѣ-то въ улицахъ глухіе крики и трубные звуки. Но онъ не обратилъ никакого вниманія и вопрошалъ: „Отъ чего же ты такъ печальна? скажи мнѣ: отъ чего ты такъ печальна?“ Она отнесла прочь руку съ платкомъ и (открылась) взглянула на него открытыми большими своими глазами. Слезъ въ нихъ не было — какая-то рѣшимость. — „Нѣтъ, тебѣ нельзя меня любить!“ сказала она: „(у) тебя (есть) зовуть твои, братъ, отецъ, товарищи, а мы — враги тебѣ“.

Отрывокъ третій⁴.

Большое движеніе происходило въ запорожскомъ таборѣ. Всѣ еще не могли себѣ дать отчета, какъ это случилось, что войско

¹ Слова: «далеко передъ тобою» приписаны поспѣ; но слова: «другія....» остались не согласованы съ припискою. ²Точки въ рукописи. ³ Не дописано. ⁴ Написано

прибыло въ городъ. Оказалось, что весь Переяславскій курень, расположенный у западныхъ городскихъ воротъ, былъ пять мертвецки, и потому не мудрено, что половина (была перебита) другая перевязана, а другая перебита, прежде чѣмъ остальные могли узнать, въ чемъ дѣло. Покамѣстъ ближніе курени, — разбуженные шумомъ, — ближніе курени схватились за оружіе, войско уже уходило въ ворота и послѣдніе ряды отстрѣливались отъ устремившихся въ беспорядкѣ полусонныхъ и едва отрезвившихся запорожцевъ. Кошевой далъ ночью приказъ немедленно собраться всѣмъ запорожцамъ и сказалъ (когда всѣ собрались) короткую рѣчь: „Итакъ, вотъ что случилось, панове братья, въ эту ночь! Вотъ до чего довелъ хмель! что врагъ учинилъ намъ поруганье въ самыя, такъ сказать, очи! У васъ, (паны) братове, видно уже заведенье и законъ напиваться. Коли вамъ позволишь удвоить или утроить каеъ-нибудь порцію, такъ вы готовы такъ натянуться, что врагъ Христова воинства съ васъ ночью (стащить шаровары=) сниметъ и шаровары и начхаетъ въ лицо вамъ.....“ *Козаки стояли вст, по-нуривъ головы; одинъ Уманскій куренный атаманъ*¹: „Постой, батьку, оно не совсѣмъ справедливо попрекать теперь все воинство. (Другое) Козаки конечно пропились² бы и достойны были смерти, если бы провинились въ походѣ или на войнѣ, когда было дѣло, а вѣдь³ мы всѣ сидѣли безъ дѣла, больше недѣли маячились. Какъ же ты хочешь, чтобы человекъ (Божій) да не выпилъ? Это жъ не христіанское дѣло, чтобы и не удовольствоваться, какъ слѣдуетъ, тѣмъ, что послано Богомъ ему, хотя и поста нѣтъ и церковнаго тоже мо.....⁴ Они ничѣмъ не согрѣшили, а мы (покажемъ) вотъ лучше покажемъ чортовымъ бусурманамъ, какъ нападать на безвинныхъ людей. Прежде бились добре, а теперь побьемся еще лучше. Я стою и отвѣчаюсь за всѣхъ козаковъ, что теперь чорта принесетъ до дома свои пяты здоровыми ляхъ... „Рѣчь куреннаго атамана понравилась козаковъ (sic!). „Правда! правда!“ говорили они, наклонивши на бока, въ знакъ согласія, совершенно было по-нурившися свои головы. — „Такъ сказалъ, какъ нужно, Кукубенко; лучше и не нужно“, говорили козаки. Самъ Тарасъ Бульба: „Правда твоя, Кукубенко“. И кошевой сказалъ: „(Дай Богъ здо-

какъ и предидущій на 2¹/₂ листахъ почтовой бумаги, формата 4°, съ водяными полосками и фабричнымъ знакомъ: *орелъ на трехъ камняхъ и буквы F G.*

¹Напечатанное здѣсь курсивомъ написано сверху строки. ²Слѣдуетъ: „провинились“. ³Это слово не дописано. ⁴Не дописано слово.

ровѣ тому батьгѣ) Блаженъ и отецъ тотъ, который родилъ та-кого сына, потому что (укорительное слово, братове) небольшая мудрость, братове, сказать укорительное слово, но большая му-дрость сказать такое слово, не (попрекнув) поругавшись надъ бѣдомъ челоуѣка¹, дало ободренье (бы) духу, какъ шпоры коню, (послѣ водопоа=) освѣженному водопоемъ. Я и самъ хотѣлъ сказать вамъ послѣ утѣшительное слово, да Кукубенко прежде догадался“. — „Добре!“ повторялось въ рядахъ запорожцевъ: „кошевой добре говорилъ“. „Добре“, повторили въ самыхъ дальнихъ². И самые сѣдые, кивнувши на бока головою, моргнувши, сказали, тихо ска-зали: „Добре сказанное слово!“ „Теперь слушайте, паны братове. Братъ крѣпости, то есть, чтобы карабаться-то или подгапывать подъ нее (пусть ей), какъ дѣлаетъ нѣмецкій мастеръ, — пусть ей врагъ привинется,— и (не благородное дѣло) неприлично да и (не-прилично козаку) не козацкое дѣло. А судя по всему, да и по нашему (какой есть) уму-разуму, какой, благодареніе Богу, еще держится въ головѣ, непріятель вошелъ въ городъ не съ боль-шимъ запасомъ: (Народъ все конный), потому что ни (телѣгъ, ничего) воевъ, ни экипажу не замѣтно было, а если жъ и на-брали они съ собою, чего догадались, то его на мало времени станеть, потому что въ городѣ (сидить) все народъ голодный и сѣдять духомъ. Да и конямъ тоже, братове, я не знаю, гдѣ они сѣна добудуть; развѣ съ неба кинеть имъ на вилы какой-нибудь ихъ святой..... Только Богъ знаетъ; что-то ксензы ихъ (на слова только) горады, какъ видно, на слова. Такъ я думаю, панове, что они выйдуть изъ города,— за сѣномъ ли, или за хлѣбомъ, а ужъ непременно выйдуть, а мы вотъ тутъ въ полѣ и дадимъ имъ знать, что за штука козаки. (Перерѣжемъ всѣ пути и вотъ не дадимъ). Теперь же (вышлемъ стѣнами) всѣ станемъ гущами по дорогамъ, а молодыхъ нарочно вышлемъ задорить; *а у насъ же такіе есть молодцы*. (Пусть ихъ). Ляшская голова не слышомъ крѣпцаго разуму: не вытерпитъ посмѣянья, разгорячится и, мо-жетъ быть, теперь выступить изъ города“.

„Такъ, батько!“ сказали всѣ почти въ одинъ голосъ куренные атаманы. „Не наше дѣло толковать, наше дѣло теперь слушать

¹ Было написано прежде: «надъ челоуѣкомъ»; слово «бѣдомъ» приписано сверху строки. ² Затѣмъ не написано слово («рядахъ»). ³ Такъ набросано въ рукописи. Позднѣ исправлено такъ: «молодцы, что, какъ захотятъ, такъ мертваго найдуть чѣмъ-нибудь обидѣть».

тебя во всемъ, ибо знаемъ мы всѣ, что законъ повелѣваетъ въ военное время безпрекословно исполнять все, что ни прикажетъ вождь; но хоть бы и не было такого закона, то все бы тоже ничего противъ сего не могли бы сказать, потому что лучше никто бы не могъ придумать, какъ придумала голова твоя". — „Ну, такъ за дѣло же, за дѣло, дѣтки! Перегляди каждый свой курень! Дать на опохмѣль по чарѣ! Оружіе перечеистить, переглядѣть, выбрать которое понадежнѣе. Пусть съѣстъ каждый по хлѣбу, потому что на тощій желудокъ все-таки не годится. А, можетъ быть, другой и вчерашнимъ¹, потому что, некуда правды дѣть, а вчера понаѣлись всѣ, такъ что я дивлюсь, какъ ночью никто не лопнулъ. Ну, такъ за работу!“

Всѣ поклонились въ поясъ кошевому и, не надѣвая шапокъ, отправились по своимъ возамъ и таборамъ и, когда уже далеко отошли, тогда только надѣли шапки и занялись всякой своимъ дѣломъ: пробовали самопалы, точили сабли и списы, вынимали изъ (мѣшкоть) боченковъ и кожаныхъ мѣшковъ (порохъ) пули. Тарасъ отдавалъ приказъ своему полку, съ котораго (никакъ) пошелъ раздумчивый. Никакъ онъ не могъ понять, куда дѣвался Андрій. Онъ положилъ², что его связали какъ-нибудь соннаго въ распахъ; только его останавливало то: онъ, казалось, человекъ не такой, чтобы отда(ва)ться добровольно въ плѣнъ, и слишкомъ горяча его натура, чтобы кому либо отдать[ся]; между убитыми воеводами тоже его не было. (И полный зад) И не могъ онъ выкинуть мысли сей изъ головы во все время, какъ раздѣждалъ по рядамъ своихъ козаковъ. И думалъ объ этомъ. Вдругъ услышалъ онъ позади себя названнымъ себя по имени: передъ нимъ стоялъ жидъ Янкель, котораго онъ не замѣтилъ вовсе и который уже четверть часа кланялся ему въ поясъ.

„А что скажешь, жидъ?“ произнесъ онъ.

„Я былъ въ городѣ“, отвѣчалъ Янкель.

„Какъ же ты пробрался туда?“

„Я видѣлъ, какъ еще входили войска въ городъ, и увидѣлъ пана хорунжаго Голяндовича. Онъ человекъ мнѣ знакомый и долженъ еще съ четвертаго года сто червонныхъ. Я будто бы для того, чтобы выправить съ него долгъ и вошелъ вмѣстѣ съ нимъ“.

„И онъ тебя не велѣлъ повѣсить?“ вскрикнулъ Бульба, изум-

¹ Пропущено: «снѣтъ». ² Слово написано неразборчиво.

ленный такую необыкновенною смѣлостью жидъ. „Какъ же ты, мало того, что вошелъ въ городъ, да еще и долгъ хотѣлъ съ него вытребовать?“

„А, ей Богу, хотѣлъ повѣснить“, отвѣчалъ жидъ: „уже было слуги взяли меня и хотѣли вверхъ ногами на башнѣ, да я взмолилъ пана хорунжему, сказалъ, что подожду долгу и что достану ему коня и еще дамъ займы, какъ соберу со всѣхъ воиновъ: ибо панъ (Галандовичъ) хорунжий, — пусть панъ знаетъ, — (ничего) не имѣетъ (никогда въ карманѣ ни) и червоннаго въ карманѣ, ей Богу, такъ, хоть у него и хутора есть, и деревни, рожь, и усадьбы и скотъ. И вооружили его и теперь Бреславльскіе¹ жиды, а то бы ему и выѣхать на войну было не въ чемъ“.

„Ну, что жъ ты видѣлъ въ городѣ?“

„Пана Андрія видѣлъ“.

Бульба вспыхнулъ. „Видѣлъ Андрія? Гдѣ? Небось, связаннаго, покинутаго (лежащаго гдѣ-нибудь въ темномъ подвалѣ)? Закинули чортовы ляхи (куда-нибудь въ подвалѣ) куда-нибудь?“

„Какъ можно, чтобы кто могъ связать пана Андрія? Такой теперь важный рыцарь, что и узнать нельзя: въ кованыхъ латахъ, и наплечники въ золотѣ, и нарукавники въ золотѣ, и коня самъ воевода далъ подъ верхъ — два ста червонныхъ стоитъ одинъ конь“.

Изумленіе показалось въ лицѣ Тараса.

„И мѣдная шапка съ бѣлымъ перомъ“, продолжалъ жидъ: „и по улицѣ разъѣзжаетъ, и учить солдатъ по козацки“.

„Какъ? Что ты мнѣ путаешь, жидъ? Какъ же можно, чтобы сталь чужихъ людей учить, да еще и непріятелей? Да еще и надѣлъ бы ихъ платье? Да не принудятъ они его къ тому! Я его знаю: хоть замучать, а не принудятъ“.

„(Кто жъ станетъ его принуждать?) Я же не говорю это, чтобы кто принудилъ. Кто жъ можетъ принудить такого браваго? Онъ по своей волѣ. Развѣ панъ не знаетъ, что онъ по доброй волѣ перешелъ къ нимъ?“

„Какъ перешелъ? Да врешь ты, собачій жидъ!“

„Ей Богу, перешелъ!“

„Врешь, проклятый жидъ! Не можно, чтобы это было. Такого дѣла и не было и не можетъ быть на христіанской землѣ. Ты врешь, чортовъ сынъ!“

¹ Въ рукописи: «Преславскіе».

„Ей Богу, не вру! Панъ самъ знаетъ, что жидъ не станеть лгать пану Тарасу, ибо дѣло опасное,—лгать пану Тарасу“.

„Такъ ты говоришь, чтобы онъ продалъ бы же отчизну и вѣру?“

„Нѣтъ, того я не говорю; а онъ только сдѣлался ихъ. А хочеть панъ знать, какая причина, что онъ теперь ихъ?“

„Ну?“

„У воеводы есть дочка красавица. Боже, Боже мой, какая красавица!“ Здѣсь жидъ постарался, какъ только могъ, выразить въ лицѣ своемъ красоту: прижмурилъ однимъ глазомъ, покосилъ ртомъ и разставилъ руки, выражавшій (sic!) совершенное изумленіе.

„Вѣчно баба! Баба!“ вскрикнулъ (Баба проклятая!) Бульба, схватившись за волосы. „Свела-таки, проклятая баба! Я такъ и думалъ¹, что сгубить тебя когда...² Ну, попади я эту бабу, дамъ я ей знать красоту! Врагъ бы.....“³

„Слушай, панъ: я все знаю. Я, какъ кинулся въ городъ, я на всякій случай взялъ нитку жемчугу, которыхъ вымѣнялъ у козаковъ за три ведра сивухи, потому что видѣлъ, (что на городскомъ были славныя дѣвки, дочки и зналъ что) еще на валу, [что] есть въ городѣ красавицы, и зналъ, что, хоть и голодъ и ѣсть нечего, а коли дворянскаго рода, то они все-таки жемчугъ купятъ. Я встрѣтилъ служанку воеводиной дочки и узналъ все — что будетъ свадьба, что панъ Андрій обѣщалъ всѣхъ запорожцевъ....“⁴

„И ты не убилъ тутъ же его на мѣстѣ, чортоваго сына? Врагъ бы взялъ и батька и весь родъ!“

„А за что жъ убить? Онъ вѣдь самъ перешель. Тамъ, видно, лучше; (а) человекъ (панъ, можетъ всегда перейти туды, де лучше), — и Богъ сказалъ, — туды переходить, куды лучше“.

„И ты видѣлъ, какъ онъ (имъ показывалъ ратное дѣло, ѣхалъ) былъ одѣтъ по ляшски?“

„Какъ же! Я (заразъ, вдругъ) узналъ его еще сдалека и (онъ самъ узналъ меня) онъ самъ меня узналъ⁵, и, когда я поклонился ему, онъ сказалъ....

„Что жъ онъ сказалъ?“

„Сказалъ: скажи, Янкель, отцу, что онъ мнѣ теперь не отецъ, и брату, что онъ мнѣ не братъ, что я не ихній и чтобы не по-

¹ Въ рукописи: «думалъ и что». ² Фраза не дописана въ концѣ страницы.

³ Не дописано. ⁴ Не дописано. ⁵ Въ рукописи: «звалъ».

падались мнѣ на глаза — что буду бить ихъ, какъ самыхъ лютыхъ враговъ. Ей Богу, такъ“.

„И онъ все это сказалъ тебѣ?“

„Ей, ей, сказалъ“.

„Да врешь ты, чортовъ жидъ! Врешь!“ закричалъ Бульба¹: „(онъ не могъ этого сказать) онъ не говорилъ этого. Не скажетъ онъ этого“.

„Ей, ей, сказалъ“.

„Ей Богу, врешь, чортовъ Іуда! Тебѣ ничего не стоитъ соврать: ты и Христа распялъ. (Ты и невиннаго готовъ поклепать). Чтобъ отрезся отъ вѣры и отчизны!...“

„Ей Богу!...“

„Да я тебя убью, чортовъ жидъ! Не повѣрю я, не повѣрю! Утекай отсюда покуда, а то вотъ тутъ тебѣ и смерть!“ говорилъ Тарасъ Бульба, весь вышедши изъ себя и схвативши². Жидъ увидѣлъ, что дѣло, точно, плохо и что Тарасъ не на шутку рассердился, припустилъ тутъ же бѣгомъ, говоря по просту, во всѣ лопатки и какъ только могли вынести его (тонкія ноги) тонкія икры. И долго еще бѣжалъ онъ безъ оглядки между возацкими таборами и по полю безъ оглядки, хотъ Тарасъ вовсе за нимъ не гнался и, сдѣлавъ два три шага, тутъ же опомнился, что нечего сердиться на жида и неразумно показать себя за горячаго мальчишку.

„Хотъ что ты ни говори мнѣ, не повѣрю“, сказалъ онъ: „однакоже³, чтобы христіанское дитя продало душу: такого не было еще сраму“. И началъ онъ припоминать, что ночью бродилъ Андрій (съ женою) долго по табору и еще, какъ казалось, съ какою-то женщиною — задумался Тарасъ и вѣрнѣе усумнился, но потомъ потрясъ головою и сказалъ: „Такъ нѣтъ! хотъ ты весь свѣтъ тутъ говори мнѣ, а не повѣрю“.

Въ это время грянулъ доубышъ въ свои литавры — и выступали тихо, бодро и картинно первые ряды пѣвшихъ запорожцевъ. Другіе брали (въ руки оружіе) и опоясались; третьи и дальніе (кидали хлѣбъ) оставляли хлѣбъ съ крупною крымскою солью, бросая на телѣгу или засунувъ къ себѣ за пазуху, и отправлялись, кто садясь на коня, кто присоединяясь къ пѣвшимъ рядамъ своимъ. И выступали по порядку одинъ за другимъ курени: Уманскій, Кіевскій, Поповичевскій, Каневскій, Стебли[ки]вскій, Незамайковскій, Гургузивъ,

¹ Въ рукописи «Богъ». ² Пропущено: «саблю». ³ Конецъ слова не ясенъ.

Тымошевскій. Одного только Переяславскаго не было: крѣпко курнули возаки и прокурили свою долю: кто проснулся связанный въ ляхскихъ рукахъ, кто и совсѣмъ не проснулся и соннымъ перешелъ въ сырую землю. И самъ атаманъ Хлибъ, безъ шароваръ и верхняго убранства, очутился въ ляхскихъ рукахъ. И расположились запорожцы такъ, что по три куреня стояло у каждаго воротъ и пять куреней передъ главными воротами. Въ три ряда (выстроилась=) стала пѣхота, а конные за ними [и спереди;] прежде вся конница собралась въ кучу, чтобы заслонить отъ непріятеля, (какъ два куреня пошли=) чтобы не видѣлъ непріятель, какъ два куреня потихоньку пошли въ засаду и какъ Тарасъ заѣхалъ за лѣсъ съ своимъ полкомъ. (И стали передъ самимъ городомъ). (По стѣнѣ=) Въ городѣ, видно, слышали про козацкое вооруженіе. Все высыпало на стѣну. Земляной валъ въ мигъ (сдѣлался=) сталъ картиннымъ. Польскіе витязи стояли одинъ другаго красивѣе: мѣдныя шапки и бѣлыя, какъ лебедь, перья, кафтаны съ откидными рукавами и шитые, и (просто¹) нешитые, (и) пояса (со всякимъ убранствомъ), пистолеты и сабли, какъ дорогая драгоценность, хоть за стекло. Напередѣ всѣхъ стоялъ спѣсиво въ красной шапкѣ, убранной золотомъ, и въ синемъ кафтанѣ Буджановскій полковникъ. И грузенъ былъ полковникъ; *всѣхъ былъ онъ выше и толще*²; кафтанъ на двухъ человекъ въ силу облекалъ его одного. На другомъ краю вала, почти къ боковымъ воротамъ, стоялъ другой полковникъ — небольшой человекъ, весь высохшій (длинные были), но длинны и закручены были кудри, (и) *небольшіе очи зорко глядѣли изъ-подъ*³...., и сверху оборачивался онъ далеко на всѣ стороны, указывая бойко сухою рукою своею и раздавая живо приказанія. И видно было, что не смотря на свое малое тѣло, онъ хорошо зналъ ратную науку. Въ⁴ недалеко возлѣ него стоялъ хорунжій, длинный, длинный, и не было недостатка ему въ краскѣ лица. Любилъ, какъ видно было даже снизу, крѣпкіе меды и добрую пирушку. И много было видно за ними всякой шляхты, роскошно вооружившейся, кто на свои собственные червонцы, и кто на королевскую⁵ казну, кто на жидовскія деньги, заложивъ имъ за это все, что только было въ дѣдовскихъ замкахъ.

¹ Слово «просто» приписано сверху слова: «нешитые» и потомъ зачеркнуто.

^{2,3} Напечатанное курсивомъ въ рукописи приписано сверху строки. ⁴ «Въ» переправлено изъ «И». ⁵ Въ рукописи: «королевскій», потому что прежде было написано: «на королевскій коштъ».

Стояли (молчаливо) тихо запорожскіе ряды, всё въ широкихъ вольныхъ своихъ кафтанахъ; рѣдко у кого было какое убранство. Кой у кого, и то у куреннаго или..... чаще у молодыхъ козаковъ, виденъ былъ выложенный золотомъ поясъ; но добрыя сабли висѣли у боковъ, самопалы за плечами.

И выѣхали впередъ два молодые козака, зубастые на слова, да и на дѣло тоже не совсѣмъ плохи: Охрымъ Нашъ и (Терешк) Мыкола Голокопытенъу, а вслѣдъ за нимъ выѣхалъ и Дымидъ Поповичъ, лихой, уже давно маячившійся на сѣчѣ, бывшій подъ Адрианополемъ и много натерпѣвшійся всякихъ бѣдъ: горѣлъ и въ огнѣ, и прибѣжавшихъ (sic!) съ обсмоленной головою и съ выгорѣвшими усами, раздобрѣлъ вновь Поповичъ,..... вновь завелся, а усы пустилъ густые и черные, какъ смоль. И крѣпокъ былъ на слово Поповичъ.

„А, красные жупаны на воинству!“ сказалъ Нашъ, оглядывая городской валъ, (да видно силы богатырской). Да хотѣлось бы знать, въ тѣли (?) ли та сила или сидитъ только.“

„Вотъ я васъ!“ кричалъ сверху дюжій полковникъ. „Всѣхъ перевязу. Выдайте сейчасъ оружіе и выдавайте всѣхъ вашихъ копей и все, что есть, а не то всѣхъ перевязу васъ. Видѣли, какъ я перевязалъ вашихъ. Гей, выведите на валъ запорожцевъ“. Видно было, что затолкалось въ толгѣ: видно, побѣжали исполнять приказъ полковника. И чрезъ нѣсколько минутъ показались на валу скрученные веревками запорожцы; впереди куренный атаманъ Хлибъ, безъ шароваръ и верхняго убранства, такъ, какъ схватили его во снѣ¹. И потупилъ въ землю свою голову (уже посѣдѣлую свою еще не совсѣмъ, въ одну ночь посѣдѣвшую голову атаманъ) бѣдный атаманъ, стыдась наготы своей предъ своими же козаками, и что попалъ (безъ оружья), какъ собака, въ плѣнъ. И въ одну ночь посѣдѣла крѣпкая голова его.

„Не журись, Хлибъ, (выручимъ,“ кричали снизу козаки) и всѣ паны-браты! выручимъ.“ (Не журись, Хлибъ!) „Да нѣтъ, не топчай очей въ землю“, отозвался куренный атаманъ Бородатый. „Стыда нѣтъ въ томъ; стыдно имъ, что они выставили на позоръ тебя, (не давши прикрыть на) не прикрывши (наготу твою), какъ (прилично) нужно, прилично наготы твоей“.

„(Нашли хвастаться, что забрали его)“. „Вы, видно, на сонныхъ людей храброе войско“, при.....² Голокопытенко³. „Хотѣлъ

¹ Не дописано. ² Слово не дописано. ³ Написано: «Голонутко».

бы я попробовать вашей храбрости“, (отвѣчалъ) отозвался на конѣ Поповичъ. „Оно хоть и не хочется марать рукъ въ нехорошее, а я ужъ, такъ и быть, попробоваль бы“.

„Будете вы съ отрѣзанными ушами, собаки!“ кричали съ валу.

„А это будетъ вами командовать? (Развѣ вонъ ужъ) Коли вонъ тотъ пузатый, такъ не будемъ.“

„А почему не будемъ?.....“

„А потому, что у него голова больше похожа на пузо, чѣмъ пузо на голову“. Сильный¹ хохотъ раздавался между козаками, и самъ куренный атаманъ разсмѣялся, и далеко стоявшіе изъ другихъ куреней козаки спрашивали другъ [друга]²: „А что такое сказалъ Поповичъ?“

„Отступайте, отступайте скорѣ!“ сказалъ въ это время подѣхавшій кошевой, замѣтившій по движенью руки низенькаго полковника, что, должно быть, что-нибудь будетъ. Всѣ разомъ отступили и почти.....³ изъ (города) стѣнъ грянули картечью, которая не долетѣла. На валу происходило движеніе, полковники отдавали приказы. Показался самъ воевода, сѣдой уже старикъ на бѣломъ конѣ. Наконецъ ворота отворились и выѣхали (сгоряча конные) ровные (конные) польскіе гусары на щегольскихъ коняхъ; за ними еще отрядъ въ кафтанахъ другихъ цвѣтовъ. Съ боковъ и позади особнякомъ ѣхали, каждый одѣтый по своему, молодые офицеры изъ лучшаго шляхетства, не такъ, какъ бываетъ въ (нынѣшномъ) нашемъ скучномъ однообразно —.....⁴ воинствѣ⁵; а всякій былъ картина. И еще, еще выѣхали разные другіе отряды; на добромъ конѣ выѣхалъ хорунжій — задору много было въ головахъ; и еще отрядъ толстаго полковника, какъ городской; еще отрядъ, еще отрядъ и другой полковникъ. Вдругъ разсѣялись передніе ряды запорожцевъ, многихъ стоптали конями, другіе всѣ бѣжали..... Увидѣлъ кошевой, что всѣ уже вышли,..... съ боковъ всѣ пѣшіе не на лицо, но въ тылъ. „Берите въ руки фитили да пугайте коней! Пугайте коней!“ кричалъ кошевой. Козаки тутъ же устремились съ запаленными фитилями противъ (скачущихъ, поворотившихъ) непріятеля, поворотившаго назадъ лошадей, противъ устремившейся въ тылъ пѣхоты; но произвели совершенный беспорядокъ. Испуганные кони метнули, ряды смѣшались

¹ Слово «сильный» написано сверху незачеркнутого: «густой». ² Слово «друга» въ рукописи пропущено. ³ Точки на мѣстѣ пропущеннаго слова. ⁴ Не разобрано. ⁵ Въ рукописи: «воинствахъ».

въ кучу. Многие, видя невозможность управиться съ лошадьми, стали слѣзывать[ся] и сбились въ одну картинную, страшную группу. Каждому явилось поле оказать лично себя. Демида Поповичъ (спибъ), завидѣвшій двухъ всадниковъ побогаче и сидѣвшихъ на лучшихъ коняхъ, спибъ съ коня того и другого, прежде чѣмъ они успѣли оглянуть, и выгналъ коней далеко въ поле, крича издали козакамъ перенять ихъ. Потомъ пробился опять въ кучу къ ляхамъ, которые хотѣли было помочь упавшимъ всадникамъ. Пересѣкъ палашемъ одному голову [надвое], а на сбитаго съ коня накинулъ петлю и (вытащилъ его на веревкѣ) привязалъ къ сѣдлу, и поволокъ по землѣ (далече) въ открытое мѣсто: всю голову избило..... И слѣзши съ коня, снялъ онъ съ него дорожной поясъ, саблю съ рукоятью всю изъ чеканнаго золота и дорожный мѣшокъ. Кобита, добрый козакъ и молодой еще, слѣзши съ старымъ, а дожимъ между ляховъ воинномъ, кинувши саблю и схватившись въ рукопашъ,..... его и всадилъ въ сердце турецкій кинжалъ, но не уберегся козакъ. Тутъ же въ високъ его хлопнула пуля, и тутъ же упалъ онъ на поверженнаго ляха, еще не успѣвъ вынуть изъ подъ сердца его кинжала. Статный и высокій, какъ тополь, красавецъ и княжескаго рода, ляхъ носился на буланомъ (дорогомъ=) четырехъ-сотъ-червонномъ конѣ, и много удали и богатырскаго боярскаго духа показалъ онъ: двухъ убилъ изъ пистолета и третьяго, занесшаго на него руку, опрокинулъ съ конемъ: грянулся (козакъ) не простой, а добрый и опытный козакъ и (грянулся) конь сверху; но не задавлю конемъ и выпутался бы изъ него козакъ, да досталъ его и тамъ удалый витязь, вогналъ конь ему въ шею (и захватилъ арканомъ). Многие изъ козаковъ не посмѣли итти противъ него и, одного подпустивши на выстрѣлъ, накинулъ арканъ и поволокъ его. Но завидѣлъ его и намѣтилъ уже давно бравый атаманъ Кукубенку. Припустилъ коня и погнался за нимъ. Хотѣлъ ляхъ выдержать схватку, не послушался конь и метнулся въ бокъ, досталъ его ружейною пулею Кукубенко: вошла въ спинныя лопатки горячая пуля, пошатнулся бравый ляхъ и, свалившись, схватилъ еще саблю, но ослабѣла рука. Соскочивши съ коня, взялъ въ обѣ руки Кукубенко тяжелый палашъ, вогналъ ему въ уста: вышибъ два зуба палашъ, разсѣкъ на двое языкъ, разбилъ горловой позвонокъ и вѣхалъ далеко въ землю. Отвязалъ у него Кукубенко черенокъ съ червонцами и привязалъ его къ своему

очкуру, и отвязалъ онъ съ него драгоценную сумку съ тонкимъ бѣльемъ, дорожнымъ серебромъ и за..... и чернымъ женскимъ локономъ на память, пригвоздивъ навѣки къ сырой землѣ (добраго шляхтича). Ключемъ хлынула вверхъ красная, какъ лѣсная калина, молодая кровь и оросила (желтый, желтаго цвѣта нарядный кафтанъ) весь спитый изъ тонкаго желтаго сукна кафтанъ его.

Увидѣлъ хорунжій, что (Кукубенко) храбрый куренный атаманъ нагнулся доставать доставшуюся военную корысть, наѣхалъ тихо съ конемъ позади,—ибо не посмѣлъ встрѣтиться съ нимъ лицомъ къ лицу, и уже уносилъ свои пятки, почуя его близко за собою,—и не успѣлъ оглянуться Кукубенко, какъ свиснула сабля, и слетѣла голова, и безголовый трупъ его, чудно пошатнувшись назадъ, упалъ на убитаго лаха, а уже душа..... вынеслась, какъ [бы] хмураясь, и негодуя, и дивуясь, какъ она могла вылетѣть изъ такого крѣпкаго тѣла. Только не довелось хорунжему схватить за чубъ головы и привязать къ сѣдлу. Какъ вихорь, налетѣлъ на него Остапъ Больба и съ одного разу накинулъ на него веревку, и налилосъ еще сильнѣе кровью багровое лицо хорунжаго, когда петля затянула его шею. Но все еще успѣлъ онъ схватиться за пистолеть, выстрѣлить, но не могла направить пулю судорожно сведенная рука, и даромъ полетѣла въ поле пуля. Остапъ тутъ же, у сѣдла его отвязалъ шелковый шнуръ, который возилъ съ собой хорунжій для вязанья плѣнныхъ, и связалъ его по рукамъ и по ногамъ его же шнуромъ, и прицѣпилъ его къ сѣдлу, и поволокъ черезъ поле, созывая козаковъ Уманскаго куреня, чтобы прибрать благородное его тѣло и дать послѣднюю честь атаману. Какъ услышали Уманцы, что атамана куреннаго ихъ Кукубенка¹, (всѣ) бросали поле битвы и бѣжали, чтобы *помянуть на своего атамана*², принять послѣд.....³—не скажетъ ли чего атаманъ передъ смертнымъ часомъ. Но уже давно не было (на этомъ) атамана на свѣтѣ. (Увидѣли козаки). Чубастая голова, не въ примѣръ другимъ, отскочила далеко отъ своего туловища. И взяли козаки, сложили голову и широкое туловище вмѣстѣ, накрыли его: разодрали съ себя верхнее убранство и покрыли его имъ. „Мертвому своя доля,“ и погребенье ему сдѣлано, какъ достойно по заслугамъ его“, сказалъ (одинъ старый) Вязовичъ, старѣйшій въ куренѣ:

¹ Предложеніе не дописано. ² Напечатанное курсивомъ приписано сверху строки.

³ Не дописано.

„а теперь настонтъ намъ дѣло нужнѣйшее — выбрать наскорѣйше другого на мѣсто его атамана, ибо не хорошо быть на войнѣ безъ начальника и старшаго. И такъ, товарищи, кого выбираете?“ — „А кого выбрать, какъ не Бульбенка Остапа?“ сказали почти въ голосъ всѣ Уманцы. „Хорошо выдумали“, сказалъ Вязовичъ: „никого (нельзя =) не можно лучше выбрать, какъ Бульбенка Остапа: онъ хоть и молодой человекъ, а разумъ у него старшій (и знаетъ)“. И побѣжали Уманцы, махая издали шапками Остапу (который уже хотѣлъ ворваться въ кучу), чтобы воротился. Услышавъ Остапъ объ избраніи своемъ, снялъ съ себя шапку, не сталъ отговариваться ни молодыми лѣтами, ни неразуміемъ, ибо зналъ, что не любятъ козаки и не нужно въ боевое время тратить слова, поблагодарилъ козаковъ за честь, (но скомандовалъ) и повернулъ съ ними прямо на кучу¹, (гдѣ билось много народу) гдѣ свирѣпствовалъ самый жаръ битвы и пыль клубилась столбомъ.

(Уже болѣе часу бились войска). Тутъ было трудное дѣло. Тутъ съ обѣихъ сторонъ..... на далекомъ пространствѣ была выбита подъ ногами трава. Уже сильно дали знать себя козаки. Не мало конныхъ спѣшились, и въ рукопашный бой и на кулаки брали[съ] козаки — и погнулись ляхи. И не великорослый, но бравный полковникъ далъ приказъ остальному конному отряду подѣхвать на подмогу; но въ это время Тарасъ выступилъ съ полкомъ изъ засады и въ тоже время два куреня Дядькивскій и Мышастовскій² съ крикомъ ударили въ нихъ и разбили конницу. И (увидѣвъ) закричалъ полковникъ на своихъ: „Въ городъ! за мною!“ И всѣ припустились бѣжать. И всѣ конные и пѣшіе пустились во весь духъ къ городскимъ воротамъ. Отворились ворота и приняли не мало утрудившихся, сильно вспотѣвшихъ и всадниковъ и коней, и много потерявшихъ своихъ товарищей. А запорожцы все еще гнались и, можетъ быть, вошли бы за ними по пятамъ ихъ и сами въ городъ отмстить за своего атамана. Но какъ послѣдніе ляхи входятъ³ въ городъ, съ города вдругъ (пустили =) посыпали картечью и попадали многіе изъ стоявшихъ впереди козаковъ. Но Остапъ приберегъ свой курень, еще заралъ закричавши: „(въ бокъ) на бокъ, хлопьята, чтобы не было чего со стѣнъ“. Не успѣлъ сказать слово Остапъ, какъ изъ города посыпало картечью и повалило многихъ переднихъ козаковъ (и кошевой подѣха), и попати-

¹ Предложеніе недовисано. ² Въ рукописи: «Мисхаловскій». ³ Такъ въ рукописи.

лись другіе козаки. Кошевой, подѣхавъ, похвалилъ, сказавши : „Браво! Вотъ и новый атаманъ, а такъ ведетъ войско, какъ бы и старый“. И оглянулся старый Бульба поглядѣть, какой новый атаманъ и (увидѣлъ) не безъ радости увидѣлъ, что это былъ сынъ его Остапъ. Поклонился старый полковникъ Уманцамъ за честь, которую оказали сыну, выбравъ его своимъ атаманомъ. (Запорожцы отступили отъ стѣны. Кошевой в). Запорожцы отступили и опять чинно выстроились по куренямъ, и на городскомъ валу опять показались ляхи уже съ изорванными эпанчами; запеклась кровь на многихъ и пылью покрылись красивыя мѣдныя шапки.

„Что перевязали?“ кричали имъ съ низу запорожцы. „Вотъ я васъ!“ кричалъ съ верху полковникъ, показывая веревку; и все еще не переставали со стѣны грозить запыленные и усталые ратники и пересылались зубастыми словами молодые и это побойчѣй.

А между тѣмъ кошевой приказалъ всему воинству..... роздыхъ, и поприѣли всѣ курени вокругъ телѣгъ. Которые меньше устали, тѣ отправились прибирать тѣла: тутъ же вырыли палашами (и копыями), палашами и пиками (неглубокія) могилы (чтобы хоть прикрыть), шапками и полами выносили землю, сложили честно вмѣстѣ всѣ (христіан) козацкія тѣла и засыпали землею, чтобы не досталось воронамъ и ордамъ выдирать и выклеивать козацкихъ очей, а нечестыя и безбожныя ляшскія тѣла цѣпляли веревками и привязывали по десяткамъ къ хвостамъ дикихъ коней, и пустили ихъ далеко въ поле, чтобы растаскали ихъ и пооставляли по всему полю на пищу волкамъ сыромахамъ. Кашевары разложили огни и поставили казаны варить кашу. И козаки въ ожиданіи [каши] отирали потъ и снимали съ себя ненужную одежду. Все говорили и рассказывали о дивныхъ дѣлахъ, которыя случилось сдѣлать многимъ изъ ихъ войска.

И курени¹ всѣ положились вокругъ телѣгъ, уже не раздѣтые и почти всѣ вооруженные, кто не выпуская изъ руки винтовки, кто держа свою саблю. Въ каждомъ куренѣ горѣлъ огонь и у каждаго огня въ часа два смѣнялся сторожъ. И, ложась на землю на разостланный плащъ свой, думалъ старый Тарасъ: „Что жъ это значить? Много было всякихъ воевъ ляшскихъ, а Андрія моего не было. Я бы узналъ его, хотъ бы какъ онъ ни стоялъ далеко. Посовѣстился ли Іуда вытти противъ своихъ?“ Такъ говорилъ

¹ Въ рукописи: «укрени».

Тарасъ и уже начиналъ было думать, не¹ вретъ ли жидъ, не попался ли онъ просто въ неволю. Но потомъ опять, какъ вспомнилъ, что жиду нечего выдумывать; какъ вспомнилъ ту женщину, съ которою объ руку проходилъ Андрій по табору; какъ вспомнилъ, что въ немъ что-то (давно) видѣлъ податливое (къ женскимъ) на женскія рѣчи, — почувствовалъ въ душѣ великую скорбь и заклился сильно въ душѣ противъ полячки, причаровавшей его сына. И исполнилъ бы непременно свою клятву: не поглядить онъ на ея красоту, вытащить бы ее за густую пышную косу, поволокъ бы за собою по всему полю между всѣми козаками, избили [бы] о землю, окровавившись и покрывшись пылью ея чудныя груди и плечи, (мрачащія бѣлизною =) блескомъ равныя снѣгамъ, и по частямъ было [бы] разнесено ея пышное и прекрасное тѣло. Но не вѣдалъ Бульба того, что будетъ завтра и что случится², можетъ быть, такое, которое много, много помѣшаетъ ему, и ничего того не вѣдалъ. Но одинъ Богъ можетъ вѣдать, что будетъ завтра. И сталъ забываться старый Бульба и (сонъ обнялъ его) крѣпкій сонъ (прекратилъ всѣ его думы, такъ, какъ прекратилъ и всѣхъ козаковъ), который скоро его обнялъ, прекратилъ³ суровыя его угрозы и заклѣтїя, (которые) хотя ихъ долго (изрѣдка) сквозь сонъ (продолжались =) выговаривалъ (языкъ его) въ просонкахъ сонный языкъ. Крѣпко спали козаки, ибо велика была усталость; не смыкала глазъ трезвая стража и пристально глядѣла на (далеко) земленный городской валъ, гдѣ также виденъ былъ [на] верху часовой, озиравшій все пропадавшее вдали поле⁴.

Отрывокъ четвертый съ приписками⁴.

„Еще солнце не дошло середины неба и день (едва =) только что начиналъ парить юньскимъ тепломъ, доубышъ ударилъ въ литавры — и всѣ (собр) запорожцы собирались на (площадь) великую раду. Изъ Сѣчи пришла неприятность, что татары въ располохѣ⁵ на оставшихся (козаковъ) курени (видно запорожцы курнули), перебили и перевязали всѣхъ оставшихся живыми. (Видно) Знать,

¹ Слово «не» въ рук. пропущено. ² Слово «случится» написано сверху незачеркнуто: «будетъ». ³ Слово «прекратилъ» пропущено. ⁴ Написано на листахъ почтовой бумаги, форматъ — большая четвертка, водяной знакъ: «W. Kutschera», исписаны первый поллисть первого и первой же поллисть второго въ него второго листа; послѣднія четыре страницы пустыя. ⁵ Пропущено слово: «свалили».

оставшіеся курени курнули сильно по (запорожскому) козацкому обычаю. И, что еще хуже, нашли и выкопали (кошевой) войсковою скарбъ, то есть казну, которую подъ тайною держали, про всякій случай, подъ землею, и съ добычею, плѣнниками и табунами, которые успѣли спохватить на дорогѣ, направили путь къ Перекопу. Никто не выбѣжалъ изъ Сѣчи. Одинъ только изъ всѣхъ козаковъ Максимъ Голодуха (Череватый), прозвищемъ Череватый, пройди-голова и хитрый на выдумки, убѣжалъ (уже съ плѣну) среди дороги. (Попалъ Голодуха къ татарскому мирзѣ) Выкрутился бравый козакъ изъ подъ веревокъ, которыми былъ привязанъ къ коню, доставшись на часть татарскому мирзѣ (и все ѣхалъ одинъ). Хоть былъ уже совсѣмъ почти развязанъ и не держали его веревки, а все прикидывался и ѣхалъ слѣдомъ за мирзой, да какъ (опустился) отдалился отъ слугъ своихъ мирза и опустился въ долину отдохнуть отъ жару и напоить коня, вылѣзъ изъ-подъ веревокъ и всадилъ мирзѣ весь длинный ножъ въ широкую татарскую шею и тутъ же снялъ съ него и [поясъ?], и кошелекъ, полный червонцевъ, надѣлъ его татарскую одежду и сѣлъ на коня и, выѣхавъ изъ долины, пустился¹ на утекъ. Полтора дни и одну ночь гналъ во весь духъ коня. Какъ ни силенъ былъ татарскій², хотя лучше его не было во всемъ татарскомъ таборѣ и у всѣхъ другихъ князей, но не выдержалъ и околѣлъ, не сдѣлавъ и половины³. Кинулъ козакъ коня и бѣжалъ степями пѣшіи всю ночь да на дорогѣ купилъ гдѣ-то за 8 червонныхъ другого коня и того загналъ на смерть, и уже на (четвертомъ=) третьемъ конѣ пріѣхалъ въ запорожской⁴, услышавъ еще дорогою, что всѣ запорожцы подъ Дубномъ. Только (и) успѣлъ (сказать=) объявить козакъ новость, что вотъ чтò случилось (= кошевому даже и не рассказалъ); а какъ все случилось, и почему запорожцы дались въ плѣнъ, и отъ чего татары узнали мѣста, гдѣ зарыты скарбы — ничего этого не могъ сказать, потому что (на ногахъ не) стоять не могъ: не подъ силу было говорить ему. Сильно истомился козакъ, *послѣ несмысленной дороги*⁵: лицо ему пожгло и опалило ему вѣтромъ, и весь онъ былъ какъ⁶. Упалъ тутъ же и заснулъ крѣпкимъ сномъ; и какъ ни ворочали его съ боку на бокъ, чтобы разспросить⁷ подробности такой случившей[ся] бѣды

¹ Слово «пустился» пропущено въ рукописи. ² Пропущено: «конь». ³ Пропущено: «пути» ⁴ Пропущено: «таборъ». ⁵ Налечатанное курсивомъ приписано сверху строки. ⁶ Не дописано. ⁷ Приписано сверху незачеркнутого «узнать».

и отчею несчастье сдѣлалось¹. И повелѣлъ кошевой не будить, но приготовить для такого добраго козака, какъ проснется, куколь сивухи, чтобы освѣжилъ онъ свои силы. Дѣло было самое непріятное² для всего козацкаго запорожскаго табора. Въ подобныхъ случаяхъ водилось обыкновенно такъ, чтобы³, бросивъ все, гнаться въ ту же минуту за похитителями и употреблять всѣ силы, чтобы настигнуть ихъ на дорогѣ, потому что, Богъ знаетъ гдѣ могли очутить[ся], не т.... плѣнники могли очутиться (sic!) на базарахъ Малой Азіи, въ Смирнѣ, на Критскомъ островѣ, и Богъ знаетъ, въ какихъ мѣстахъ показали[сь] бы чубастыя запорожскія головы⁴. —

„Какъ же, кошевой?“ сказалъ онъ: „Что жъ ты говоришь? А позабылъ ты, видно, что остаются въ плѣну наши, которыхъ захватили непріатели? Что жъ мы будемъ послѣ все[го] этого, когда не уважимъ святаго закона товарищества и выдадимъ своихъ, и ихъ оставимъ теперь здѣсь, чтобы и съ нихъ также содрали съ живыхъ кожу или четвертовали ихъ козацкое тѣло, стали бы разсылать потомъ по частямъ по хуторамъ, селамъ, какъ сдѣлали они тоже самое съ прежними. Мало развѣ все еще, что они замучили гетьмана и бравыхъ и лучшихъ козацкихъ начальниковъ? (Попустимъ) Развѣ мало еще, (чтобы) они ругались надъ святыней крестьянской (sic!)? Такъ нужно, видно, еще? пусть..... Какъ же намъ послѣ этого (смотреть въ глаза своимъ на свѣтъ)? Что жъ [за] козака, я спрашиваю васъ всѣхъ, который не защитилъ съ бѣдой своего кровнаго товарища и не выкупилъ, кинулъ его, какъ собаку, (на чужбину) пропасть на чужбинѣ да еще лютою смертью? (И можно послѣ это) (что жъ кому, можно ли ему послѣ того присту)? Не достоинъ ли онъ того, чтобы его, какъ подьяку, какъ поношеніе человѣчества и укоръ христіанству, не растопталъ бы всякій козень своимъ? Не достоинъ ли онъ того, спрашиваю васъ, паны братья?“ Понукнули головы всѣ старшіе и меньшіе послѣ (того кон) такихъ словъ, и сказали всѣ почти въ одинъ голосъ: „Нѣтъ, не выдадимъ своихъ! Не отойдемъ отъ города, пока не выручимъ товарищей! не отойдемъ!“ закричали въ одинъ голосъ. „Постойте, скажу и я“, говорилъ.⁴ „Да ужъ что ты ни говори, не выйдемъ

¹ Все напечатанное курсивомъ приписано сверху строки. ² Сверху зачеркнутого: «Дѣло было самое» поправка: «Не могло быть вѣсти неп.». ³ Въ рук.: «что». ⁴ Затѣмъ пропушено слово: «кошевой».

отсюда. „Да слушайте же, паны-братья (товарищи). Я скажу вамъ тоже самое. А развѣ вы позабыли, что у татаръ также теперь въ рукахъ наши товарищи, что если не выручимъ мы ихъ теперь же, то послѣ и найти ихъ нельзя: проданные въ другія [страны], они понесутъ горькую жизнь въ невольничество у азычныхъ народовъ, которое хуже для козака всякой лютой смерти? Развѣ позабыли то, что тутъ оставляемъ мы, можетъ быть, десятковъ (человѣкъ =) *другой человекъ*, а тамъ, можетъ быть, десятковъ шесть или семь, да кромѣ того отдаемъ въ руки имъ всю казну нашего войска, которую не скоро (теперь) добулешь въ теперешнія топчія времена“.

Понурили головы всѣ козаки послѣ такихъ словъ: видѣли они, что правъ былъ кошевой; (но въ тоже время не хотѣлось) но никому не хотѣлось тоже, чтобы попрекнули его въ чемъ противъ козацкой чести.

Тогда вышелъ напередъ всѣхъ старѣйшій годами во всемъ войскѣ Касьянъ Бовдюгъ. Въ чести былъ онъ отъ всѣхъ козаковъ. Два раза уже былъ выбранъ кошевымъ. И на войнахъ не послѣднимъ былъ козакомъ. И состарѣлся давно уже онъ и не бывалъ въ походахъ, и совѣтовъ тоже не любилъ онъ ни кому давать, а любилъ старый лежать на боку и слушать, какъ разсказывали бывалые козаки про всякіе походы и случаи. Не вмѣшивался никогда онъ въ ихъ рѣчи, а слушалъ только да прижималъ пальцемъ золу въ своей коротенькой трубкѣ, которой не выпускалъ изъ рота, и потомъ зажмуривалъ глаза; и не знали козаки, спитъ ли онъ, или все еще слушаетъ. Всѣ походы оставляли его дома, а въ теперешній разобрало стараго....¹ Сказалъ: „(Теперь =) Сей разъ не куды — пойду и я. Можетъ, буду чѣмъ пригоденъ козачеству. (Теперь вышелъ впередъ и всѣ любопытно стали слушать, что скажетъ Бовдюгъ). *Всѣ козаки притихли, потому что давно не слышали отъ него слова*“.² „Ну, видно, (и мнѣ пришлось =) и моя пришла очередь, паны братья, сказать слово. Мудро сказалъ кошевой и, какъ (военачальникъ =) голова войска, котораго долгъ приберегать (войско и всѣ) и печись (объ вѣреннхъ ему) какъ о дѣтяхъ, объ нашемъ³ и блюсти всякой войсковой интересъ, не могъ, паны братья, ничего сказать мудрѣе того, что сказалъ онъ.

¹ Затѣмъ небольшое пустое мѣсто. ² Напечатанное курсивомъ написано сверху строки. ³ Затѣмъ пропущено слово («скарбъ?»).

Вотъ что. Это пусть будетъ первая моя рѣчь. А теперь послушайте, что скажетъ моя другая рѣчь. А вотъ что она скажетъ. Большу правду сказалъ и Тарасъ полковнику, — дай Боже ему долгу еще провестъ¹ жизнь и чтобы побольше было такихъ полковниковъ на Украинѣ! (Первый долгъ) Первая честь козака — соблюсти товарищество. И сколько ни живу я на вѣку, но не чулъ и не слышалъ слова того, что козакъ оставилъ гдѣ и продалъ своего товарища. И тѣ и другіе намъ дороги. То послушайте стараго совѣта и сдѣлайте такъ: которымъ милѣе (тѣ) *захваченные* товарищи, тѣ пусть отправляются (съ своимъ куреннымъ), отправляются за татарами, и пусть ихъ поведетъ кошевой, потому что его² долгъ смотрѣть за казной; а которые хотятъ остать[ся], тѣ пусть выберутъ себѣ наказнаго атамана. А наказнымъ атаманомъ, коли хотите послушаться старца, никому не пристойно больше быть, какъ полковнику Тарасу: нѣтъ никого изъ насъ равнаго ему въ доблести³.

Даже обрадовались всѣ козакъ послѣ того, какъ кончилъ Бовдюгъ: вскинули вверхъ шапки и закричали: „Спасибо тебѣ, батьку! Молчалъ, молчалъ, цѣлый десятокъ лѣтъ молчалъ, да вотъ наконецъ и сказалъ. Не даромъ сказалъ, что будешь пригоденъ козачеству. Такъ и сдѣлаемъ, паны братья!“

„Такъ что жъ, согласны вы на то всѣ?“ сказалъ кошевой. „Всѣ согласны“. — „Стало быть, радъ конецъ?“ — „Конецъ радъ“, кричали козакъ. — „Слушайте жъ теперь воинсваго наказа, дѣти!“ сказалъ кошевой и выступилъ впередъ, надѣвъ шапку. И всѣ козакъ, сколько ихъ ни было, снимали шапки и стали тихи, тихи такъ, какъ было въ прежнее время; и *остались съ непокрытыми головами. Такъ бываетъ которое украло мясо и горсть соли*³.

„Теперь отдѣляйтесь: кто хочетъ итти, ступай на правую сторону; кто останеся, отходи на лѣвую. Коли бѣольшая часть куреня переходить, туда и атаманъ; коли меньшая, приставай къ другимъ куренямъ. И всѣ стали переходить — который на лѣвую, который на правую сторону, и вышло почти поровну на всякой сторонѣ. Захотѣли⁴ остаться: весь почти Незамайковскій курень, бѣольшая половина Поповичевского, весь Каневскій курень, бѣольшая половина Стебликовсваго, бѣольшая половина Тыношевсваго куреня

¹ Слово написано неясно. ² Слово «его» пропущено. ³ Написано очень неразборчиво. ⁴ Переправлено изъ: «Пожелали».

и весь какъ (?) Уманскій курень. Всѣ другіе вываались на татарскій догонъ. Когда отдѣлились и всѣ (выстроились) куренными кучами въ два ряда, кошевой прошелъ промежь обѣихъ сторонъ и сказалъ: „Довольны ли всѣ козаки — одна сторона другою?“ — „Всѣ довольны, батьку!“ — „Такъ поцѣлуйтесь же [взаимъ?] на прощанье, братья! Слушайте своего атамана, а исполняйте то, что сами знаете: сами знаете, что велитъ козацкая честь. Прощайте, товарищи!“ — „Атаману, прости, коли въ чемъ проступился передъ тобой кто!“ Кошевой оборожевалъ (sic!) къ Тарасу, и поцѣловались оба атамана, давши другъ другу прощанье. И вслѣдъ за ними потомъ всѣ перецѣловались запорожцы. Но (выступать=) разлучаться тотъ часъ не рѣшили, а рѣшили дожидаться темной ночной поры, чтобы не дать увидѣть непріятелю убыль въ козацкомъ войскѣ. (Обѣдали вмѣ) Потомъ всѣ обѣдали вмѣстѣ, и послѣ обѣда всѣ, которымъ предстояла дорога, полегли опочить и спали крѣпко и долго (пока не стало) до самого заходу солнечнаго. А какъ зашло солнце и совершенно (смеркло) стемнѣло, стали¹ мазать телѣги, и какъ (все было) совсѣмъ снарядили, и пустили впередъ возы, а сами тихо за возами, пошاپковавшись съ товарищами. *Чувствовали и тѣ и другіе, что не суждено имъ больше увидѣться на семъ свѣтѣ и прощались тихо.* Отошли далеко въ поле, а вслѣдъ за ними пошла и остававшіеся, чтобы проводить товарищей. Надъ яромъ остановились отходившіе, а козаки спускались по яру и долго еще махали имъ, и все стояли и смотрѣли, пока тѣ не скрылись совсѣмъ изъ виду. А какъ уже совсѣмъ не было ихъ видно, спустились и воротаясь (sic!) на свои мѣста; и стало какъ-то невесело у всякаго на сердцѣ, когда увидѣли, что половины телѣгъ уже нѣтъ на мѣстѣ. И невольно понурили всѣ головы и загадались бравые козаки. Зналъ Тарасъ что, но неприлична добродушному человѣку тоска по чемъ бы ни было, и приготовился сказать живое и крѣпкое слово, ибо зналъ, что крѣпкое слово цѣлитъ и въ недугѣ находящагося лучше (всякого по трѣби), а тѣмъ временемъ повелѣлъ вынести по ковшу всѣмъ козакамъ. И готовилъ между тѣмъ вмѣстѣ съ виномъ крѣпкое²,

¹ Слово «стали» пропущено въ рукописи. ² Зачеркнуто: „Ему самому стало грустно: знать, что, когда ничего нѣтъ, лучшее воинство..... какъ свѣтлое ободрительное слово. «Ну, дѣти», сказалъ онъ: «теперь насъ меньше; теперь [на] насъ однихъ лежать долгъ выкупить товарищей запорожцевъ, и потому намъ нужно быть.....“

ибо зналъ, что какъ ни крѣпко вино и какъ ни властно ободрить уна-
шаго, а какъ съ нимъ да еще скажется крѣпкое слово, то нѣтъ такого
гореванья, которое бы не разлетѣлось. Пятнадцать козаковъ отпра-
вились къ боченкамъ, которые держались про запасъ у каждаго
кошеваго. Доброе было въ нихъ вино и давалось только въ нуждѣ
человѣку, когда [недоброе?] или слабости овладѣвали. Взяли ко-
заки всѣ по ковшу, у кого было; не всѣмъ были ковши, у кого
не было, тотъ подставлялъ котель или шапку, а кто собственныя
двѣ горсти; и, не проливши, держалъ въ нихъ козаки сивуху, желая
дождаться, что скажетъ атаманъ. А козаки между тѣмъ всѣмъ
нацѣдили по ковшу, во что подставлялъ кто. — „Прилично намъ
всѣмъ выпить, товарищи, ибо не будничной, а торжественной
часъ сей. Прежде всего одно то, что я долженъ благодарить
все козачество за честь, которою почтили, выбравши въ товарищи
(sic!). Другое то, что вы проводили своихъ товарищей¹, которыхъ
Богъ знаетъ кого² видѣть. Но [не] за первое и не за другое
выпьемъ теперь, товарищи! Не въ это время прилично то и другое
вспомнать. Выпьемъ всѣ [за] святую православную вѣру — чтобы
пришло наконецъ такое время, чтобы по всѣмъ³ была одна святая
вѣра и (чтобъ) всѣ, сколько ни есть бусурмановъ и всякихъ нечи-
стыхъ, (почуяли) бы святую правду и поклонились бы передъ нею⁴.
Такъ за вѣру, дѣтки!“ — „За вѣру!“ (все густо) крикнули всѣ ближне
густыми голосами. „За вѣру!“ повторили дальнѣе ряды. И все, что
ни стояло, выпили за вѣру⁵. — „За Сѣчь, товарищи!“ сказалъ
Тарасъ, поднявъ вверхъ надъ головами рѣзной ковшъ. „За Сѣчь!“
раздалось густо въ переднихъ рядахъ, и „За Сѣчь“ повторили, но
тихо, старые, моргнувши сѣдымъ усомъ. „За Сѣчь!“ востепенулись
всѣ молодые — и слышало далече поле, какъ поминали козаки. „Те-
перь же, паны братья, послѣднее, что осталось въ ковшахъ, за
кого же выпьемъ? Выпьемъ за славу и за всѣхъ христіанъ, какіе
живутъ на свѣтѣ!“ И козаки выпили послѣднее вино за всѣхъ хри-
стіанъ, какіе ни есть на свѣтѣ. И долго повторялось въ рядахъ:
„За славу и христіанъ!“⁶ Уже давно не осталось (ничего ни у кого)

¹ Сверху приписано: «и въ раставань» ² Затѣмъ пропускъ. ³ Пропущено слово.

⁴ Сверху этой незачеркнутой фразы приписано: „всѣ познали бы наконецъ, всѣ
до одного, что такое святая правда“. ⁵ Сверху приписано: „въ шапкахъ и безъ
шапокъ, и сѣдое и молодое“. ⁶ Въмѣсто этой позднѣйшей приписки было въ перво-
начальномъ наброскѣ: „Теперь же, паны братья, послѣдній ковшъ и глотокъ, —
все что ни остается въ остаткѣ въ ковшахъ нашихъ! Выпьемъ за славу и за всѣхъ

вина въ ковшахъ, а все еще стояли козаки, не покидая ковшей, а кто просто поднявъ жилистую богатырскую свою руку, и не сходили съ своихъ мѣстъ: чувствовали они всѣ, что важная минута“.....

На томъ же листѣ сдѣланы слѣдующія позднѣйшія приписки къ тексту:

Первая приписка. „И загаданы всѣ до одного въ такую минуту. Знали козаки, что въ чести имъ головы, что не корыстная добыча золота и всѣхъ бездѣлокъ теперь, но что, можетъ быть, изъ того дѣла, которое они принимаютъ сами, можетъ, только потомкамъ и внукамъ будетъ польза¹, и тяжела ихъ судьба на вѣку семъ; но за то большая слава ждетъ, какъ всякаго того², кто рѣшится вытерпѣть больше всѣхъ въ жизни, — и подвигнется³, какъ умѣли биться козаки и отстаивать ихъ дѣло⁴. И какой-нибудь бандуристъ съ сѣдою, по грудь святою бородою, скажетъ о нихъ свое густое могущественное слово. И всѣ поколѣнія, что ни есть на свѣтѣ, вдругъ заговорятъ о нихъ⁵, ибо далеко разносится могущественное слово, будучи подобно гудящей колокольной мѣди, въ которую много повергнувъ мастеръ дорогаго чистаго серебра, чтобы далеко слышенъ звонъ былъ⁶ по городамъ, весямъ, палатамъ и лачугамъ, (потрясающій, могучій звонъ) потрясающій воздухъ и окрестности⁷, сзывая равно всѣхъ на святую молитву“⁸.

Вторая приписка. „Много сильно добрыхъ козаковъ захотѣло итти въ погоню: Черевиченко, Голокопытенко, Атаманъ Бендяга (sic!), Атаманъ Верт.; Поповичъ Демидъ тоже перешелъ на ихъ сторону, потому что былъ (непостоянн) слишкомъ завязатаго характера и не могъ долго посидѣть на одномъ мѣстѣ (хотѣ): съ ляхами

христіанъ!“— „За славу и за всѣхъ христіанъ!“ сказали козаки, выпивъ до дна ковши, и повторилось долго еще: „За славу и христіанъ!“

¹Сверху строки послѣ словъ: „и что“ написано: „ничего не добудутъ они для себя, но развѣ для внуковъ (потомковъ) и другихъ поколѣній, потомковъ только развѣ добро будетъ“. Эта приписка потомъ зачеркнута. ²Сверху строки приписано и зачеркнуто: „Но чѣмъ тяжелѣе, тѣмъ славнѣе, и будутъ знать всѣ потомъ“. ³Сначала было написано: „и будутъ дивиться“: потомъ слово „будутъ“ зачеркнуто и сверху приписано: „но“. ⁴Надъ этими незачеркнутыми словами приписано: „своего правъ“. ⁵Сверху строки приписано: „что ни народятся потомъ люди, заговарятъ о нихъ“. ⁶Прежде было написано: „чтобы далеко разносился могучій звонъ ея“. ⁷Сверху передъ словомъ „потрясающій“ приписано: „величественный, могучій звонъ“. ⁸Въ рукописи недонесено и съ опискою: „воли“.

онъ попробовалъ, но съ татарами давно не пробовалъ и потому захотѣлъ итти въ походъ. И много еще сильныхъ и дюжихъ козаковъ объявили волю свою итти въ погоню за татарами. Но не менѣе, если еще не больше козаковъ захотѣло остаться и между ними были наилучшіе козаки, которыхъ подвиги давно прозвонила слава промежъ всѣми козаками: Вовтузенко, Черевиченко, Степанъ Гуска, Охримъ Гуска, Мыкола Густый, Балабанъ, Задорожній, Метелыца, Иванъ Закрутыгуба, Мосій Шыло, Дюгтяренко, Сыдренко, Пысаренко, (и) потомъ (опять) другой Пысаренко, потомъ вновь еще Пысаренко и много было другихъ тоже сильно добрыхъ козаковъ. Самъ старшій Бовдюгъ захотѣлъ тоже остаться. „Вотъ тутъ наконецъ будетъ могила¹. Я давно просилъ, чтобы когда придется умирать, то чтобы кончить жизнь на войнѣ за христіанское святое дѣло; такъ оно и случилось: славнѣйшей кончины и не выдумаешь для стараго козака“.

Третья приписка. „Всѣ были сильно бывавшіе, хожалые козаки, всѣ много видывали на вѣку. Ос..... по Анатольскимъ берегамъ по обѣимъ и Богъ знаетъ куды, въ какія земли². Море черное не разъ извѣздили обоюдуральными козацкими челнами, и въ шестьдесятъ, а иной разъ и въ семьдесятъ челновъ приступали³ къ самымъ богатымъ и большимъ кораблямъ⁴, задавая пальбу⁵, топили турецкія галеры и много на вѣку своемъ выстрѣляли пороху. Дорогіе парчи и оксамиты драли на онучи, *черешу у очкуровъ набивали чекинами*⁶. И погуляли сильно каждый на вѣку своемъ. Не мало всякій попропивалъ добра, котораго бы стало человѣку на всю жизнь, угощая виномъ весь міръ и нанимая музыку. И много еще [у] каждаго было закопано добра⁷ подъ камышами по Днѣпровскимъ островамъ, чтобы никто не нашелъ (изъ нечистаго бусорманечка Татарюга Татарскихъ) Татаринъ и хищный грабитель⁸, а иной разъ даже и самъ хозяинъ, позабывавшій самъ, въ которомъ мѣстѣ схоронено ихъ. Такіе-то были козаки, которые захо-

¹ Начало переправлено изъ другого слова. ² Съ боку приписано: „Ѣздили по Анатольскимъ берегамъ, по Крымскимъ солончакамъ и степямъ, по..... и по всѣмъ днѣпровскимъ рѣчкамъ, большимъ и малымъ, и [гостили?] въ Молдавской, въ Турецкой землѣ“. ³ Сверху этого слова приписано: „набѣгали“. ⁴ Слова: „[богатымъ] и большимъ“ приписаны сверху строки. ⁵ Послеъ этого слова сверху строки приписаны неразобранныя слова. ⁶ Напечатанное курсивомъ приписано сверху строки. ⁷ Послеъ этого слова приписано сверху строки: «Спря... въ.... кружекъ, ковшей, залястьевъ». ⁸ Сверху приписано: „И точно трудно было найти и хозяину“.

тѣли остаться и отмстить ляхамъ за вѣрныхъ товарищей и Христову вѣру“.

Четвертая приписка: „не такъ настроенна душа, не на торжественное дѣло настроенна душа“.

Пятая приписка: „..... не было тоски или какого унынія и чего другаго подобнаго, что убиваетъ духъ козака; не о томъ была дума, въ мгновеніе налетѣвшая на всѣхъ и обнявшая всѣхъ. Нѣтъ! Они загадались, какъ орлы на вершинахъ каменистыхъ одна противъ другой стоящихъ горъ, съ которыхъ далеко видно разстилающееся море съ несущимися по немъ (челнами =), какъ мелкія птицы, галерами и судами и (тѣснящимися къ побережью лѣсами) и прибрежныя низкія, какъ черточки, земли съ идущими лѣсами. Какъ будто озирали они *закругь*¹ поле и (грозную судьбу свою) нахмуренную, чернѣющую вдаль, судьбу, помышляя², (что не мало ихъ чубастыхъ головъ уляжется по всѣмъ лощинамъ съ закрученными и запекшимися въ крови чубами) что, какъ снѣгомъ, уберется костями ихъ все поле, умывшись козацкою кровью, покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями, копыми (что); далече раскинутся чубастыя съ перекрученными и запекшимися въ крови ихъ чубами. Будутъ налетѣвъ орлы выдалбливать и выдергивать изъ нихъ козацкія очи³; но что *великое* добро въ ихъ козацкомъ (смертномъ) вольно (со всѣхъ) раскинувшемся смертномъ ночлегѣ. Не погибнетъ славно отстоянное дѣло; не пропадетъ козацкая слава, какъ малая порошинка изъ ружейнаго дула. Будутъ знать (на русской землѣ, какъ у насъ любятъ братья своихъ братьевъ)⁴. (Будетъ когда-нибудь) Пройдетъ бандуристъ съ сѣдою по грудь бородой⁵ или иной старецъ, духомъ вѣщимъ одаренный — божьимъ скажетъ онъ про нихъ свое густое могучее слово — и пойдетъ дыбомъ по всему свѣту о нихъ слава, и все, что ни родится потомъ, загово....“

Шестая приписка. „Видѣлъ Тарась, что смутны стали всѣ ряды козацкіе и что мертвое уныніе, неприличное козаку, тихо стало обнимать козацкія головы, и молчалъ: онъ хотѣлъ дать время,

¹ Напечатанное курсивомъ приписано въ рукописи сверху строки. ² Конецъ слова не дописанъ; предшествующее слово неясно. ³ Слово «очи» пропущено.

⁴ Сверху зачеркнутой фразы, заключенной нами въ скобки, приписано: «Зб..... что значить и товарищество-братство и русская во». ⁵ Послѣ этого слова сверху строки приписано: «а можетъ быть, и зрѣлаго мужества и бѣлоголов.»

чтобы приглядѣлись (глаза) всѣ къ тоскѣ, и пустотѣ, и невольному унынію, низведенными прощаніемъ. А..... въ тишинѣ готовился разомъ, вдругъ разбудить ихъ (чтобы чрезъ то), гикнувши по козацки, чтобы вновь и еще съ большею силою, чѣмъ прежде, всякой бы обратился ¹ (и почувалъ готовность велико), что бываетъ только съ одною великодушною славянскою душою. Зналъ Тарасъ также, чѣмъ и какъ (возбудить) сдѣлать, чтобы въ одинъ мигъ они настронились всѣ, какъ одинъ, и далъ приказъ слугамъ своимъ идти къ большому возу. Больше и крѣпче всѣхъ другихъ (онъ былъ); толстою шиной обтагивались колеса. Крѣпко былъ весь возъ перевязан, накрытъ *телячьей* ² кожей и увязанъ веревками. Въ возу томъ было (старое доброе вино) баклажки и боченки стараго добраго вина. Закрытымъ везъ онъ его, зная, что въ походѣ не годится и неприлично брать вина и что не слѣдуетъ напиваться на войнѣ. Но взявъ онъ его про торжественный случай: если придется какая великая минута и будетъ предстоять дѣло, сильно достойное рассказать внукамъ, то чтобы всякой (выпилъ по доброму), [до] ³ *послѣднюю*, досталось выпить по доброму ковшу *заповѣднаго вина*, чтобы въ великую минуту великое и чувство овладѣло бы человѣкомъ. Услышавъ, слуги кинулись къ возамъ, перерѣзали палашами толстыя веревки, раскрыли попоны и войлоки — вынимать боченки и баклаги. „Берите всѣ“, сказалъ Бульба: „всѣ, сколько ни есть, — берите, что у кого есть: ковшъ или корчикъ, которымъ пить коня, или рукавицу, или шапку, а коли что, то и просто подставльй обѣ горсти“. И козакъ, послышавъ, уже почувилъ всѣ великую радость. И всякой бралъ — у кого былъ ковшъ, у кого корчикъ, которымъ понлъ коня, у кого рукавица, у кого шапка, а кто и такъ подставлялъ горсть — и слуги Тарасовы разносили боченки и баклаги и разливали. Но не приказалъ Тарасъ пить никому, но дожидаться, повамѣсть онъ прикажетъ, чтобы всѣмъ выпить разомъ. (Тарасъ) Готовилъ имъ всѣмъ (Тарасъ доброе слово), ибо зналъ, что, какъ ни способно укрѣпить духъ доброе вино, но если къ нему еще прибавится крѣпкое слово, то вдвое будетъ крѣпче сила духа“.

¹ Сверху этого слова приписано: «воротился бы въ душѣ». ² Все напечатанное курсивомъ приписано сверху строки. ³ Слово «до» въ рукописи пропущено.

*Позднѣйшія дополненія и исправленія.**1. Къ первому отрывку¹.*

„По полю раскиданы были телѣги съ привѣшенными мазницами, (полными) облитыми дегтемъ, съ порохомъ, мучными мѣшками, запасомъ ружей; у² всѣхъ телѣгъ, вездѣ (разбросаны группы, спящія группы разв) — на телѣгахъ, группами и порознь, въ (живописныхъ) и небрежныхъ, вольныхъ положеніяхъ, разметались по всему полю, положивъ подъ голову куль, шапку, либо употребивши для этого спину товарища. Пистолеть, (труб) коротенькая трубка и множество разныхъ побрякушекъ и гвоздей, принадлежавшихъ къ табачному снаряду, лежало возлѣ. Тяжелые волы, подвернувши ноги, лежали и бѣлѣлись между нихъ своими тяжелыми массаами, пережевывая свою медленную жвачку. Сильное храпѣніе и свистъ всего спящаго воинства (разносилось) производило какой-[то] глухой шумъ, который ярко покрывался звонкимъ ржаніемъ какого-нибудь горячаго жеребца, негодующаго на свои спутанныя ноги. Красота и нѣга іюльской чудной ночи какъ-то (соедини) страшно соединилась съ этимъ (чудн) ужаснымъ спокойствіемъ, въ которое (облеклись, погрузились на время) на мигъ погрузились несущіе разрушеніе. Долго глядѣлъ Андрій по сторонамъ, пока все не затихнуло, и потомъ, опрокинувшись на спину, поднималъ глаза свои на небо. Оно все было надъ нимъ съ безчисленными своими звѣздами. (Въ воздухѣ была замѣтна) какая [то] особенная ясность и чистота воздуха. Гущина звѣздъ, составлявшихъ млечный путь, косвеннымъ поясомъ брошенная на небо, вся залита была свѣтомъ. Глядя невольно на всю эту чудную ясность тверди, онъ, казалось, сталъ позабываться, и какой-[то] легкій туманъ сна уже начиналъ заслонять передъ нимъ небо, которое вновь видѣлось предъ нимъ, какъ только отлетала невѣрная дремота“.

Съ боку приписано: „Тамъ блистали потухавшіе костры и запорожцы..... послѣднія ложки въ опустѣлый горшокъ каши, составлявшей ужинъ, готовились тоже захрапѣть“.

¹ Этотъ набросокъ занимаетъ одну страничку почтового листка малаго формата, съ фабричнымъ клеймомъ изъ буквъ: J E S J. Ср. въ снимкахъ при этомъ томѣ № 6. На четвертой страничкѣ этого листка приписано: «Не глядѣли бы на бабъ и не терали даромъ времени». ² Въ рукописи: «и».

2. Ко второму отрывку.

1. *Конец главы, переписанный набѣло*¹. „Скажи же мнѣ одно слово!“ сказалъ Андрій и взялъ ея за атласную руку. Сверкающій огонь пробѣжалъ по его жиламъ отъ сего прикосновенья, (рука лежала) и жалъ онъ руку, лежавшую неподвижно въ его рукѣ.

Но она молчала и не (от)снимала платка съ лица своего и оставалась безъ признака всякаго движенья.

„Отъ чего же ты такъ печальна? Скажи мнѣ, отъ чего же ты такъ печальна?“ Она отнесла прочь руку съ платкомъ, взглянула на него открытыми большими глазами своими. Слезы уже не было въ нихъ; какою-то рѣшимостью глядѣли они. „Нѣтъ, тебѣ нельзя любить меня“, сказала она. „Тебя зовуть твои, отецъ, товарищи, отчизна, а мы враги тебѣ?“—

„А что мнѣ отецъ, товарищи и отчизна? Такъ вотъ же, если такъ, нѣтъ у меня никого! Никого! никого!“ проговорилъ онъ (съ тѣмъ движеньемъ) тѣмъ голосомъ и сопродивъ (sic!) тѣмъ движеньемъ руки, съ какимъ упругій несокрушимый козакъ выражаетъ рѣшимость на дѣло неслыханное и невозможное для другаго. „Кто сказалъ, что моя отчизна Украина? Кто далъ мнѣ ея въ отчизны? Отчизна есть то, чего душа ищетъ, что милѣе для ней всего, отчизна моя — ты. Вотъ моя отчизна! И понесу я сію отчизну мою, пока станетъ моего вѣку (въ своемъ сердцѣ) вотъ гдѣ — тутъ, въ сердцѣ; и посмотрю я, пусть кто-нибудь изъ козаковъ вырветъ ее оттуда. И все, что ни есть, продамъ, отдамъ, погублю за такую отчизну!“

Почти остолбенѣвъ, глядѣла она ему въ очи и вдругъ зарыдала и съ чудною женскою стремительностью (бросила), *на которую бываетъ способна одна только безразсечно-великодушная женщина*, кинулась къ нему на шею, (и) обхвативъ своими прекрасными руками. Въ это время раздались въ улицахъ какіе-то неясные крики, (и) трубный (звукъ) и литаврный звукъ. Но онъ не слышалъ ничего этого; онъ слышалъ только, какъ ея чудныя уста обдавали его благовонной теплою (sic!) своего дыханья, какъ слезы ея текли къ нему на лицо ручьями и спустившіяся съ головы ея волосы опутали всего его своимъ мягкимъ блистающимъ шолкомъ.

¹ Вырѣзанная четвертка изъ рукописи, принадлежащей Нѣжинскому историко-филологическому виституу.

„Въ это время вбѣжала къ нимъ съ радостнымъ крикомъ татарка. „Спасены! спасены!“ кричала она, не помня себя. „Наши вошли въ городъ, привезли хлѣба, муки и связанныхъ запорожцевъ“. Но оба они не слыхали и не хотѣли слышать ничего. Полный не на землѣ вкушаемыхъ чувствъ, Андрій поцѣловалъ въ сіи благовонныя уста, прильнувшія къ щекѣ ея (sic!) — и не безотвѣтны были благовонныя уста: они отозвались тѣмъ же. И въ семь обоюдно-слиянномъ поцѣлуѣ ощутилось то, что разъ только въ жизни дается чувствовать человѣку (и то, можетъ быть, развѣ) и то едва одному изъ цѣлой тысячи“.

На четырехъ отдѣльныхъ листкахъ набросаны позднѣйшія дополненія и поправки къ этимъ набѣло переписаннымъ страницамъ.

*1-й набросокъ*¹. „И погибъ козакъ, пропалъ для славы и своей и всего рыцарства! И не увидать ему больше ни (Сѣчи) запорожья, ни родительскаго дома, ни церкви божей, гдѣ молился отъ самыхъ малыхъ невинныхъ лѣтъ до сего роковаго для него часу, и не видать также и Украйнѣ (больше), не видать больше одного изъ бравыхъ и лучшихъ своихъ дѣтей², взявшихъ защищать и хранить³ ея святыню! И нанесетъ онъ большое изумленье всему божачеству и задастъ великую скорбь старому отцу своему, проклянувшему⁴ и часъ тотъ, въ который породилъ такого сына“.

2-й набросокъ. „(Откинула =) Бросила она прочь она отъ себя платокъ, отдернула небережно нависнувшія⁶ на очи длинные волосы косы и вся разлилась въ жалостныхъ рѣчахъ, произнесенныхъ тихимъ, тихимъ голосомъ, подобнымъ подыавшемуся прекраснымъ вечеромъ и пробѣжавшему вдругъ по густой чащѣ приводнаго тростника: зашелестять, зазвучать и послышать вдругъ (легкіе =) унывные, тонкіе и унывно-сладкіе звуки, и съ понятной сладкой грустью ловить ихъ нутникъ, не чую (ни заходящаго солнца) ни гаснущій вечеръ, ни веселія пѣсни возвращающихся съ полей и жнивъ, ни торохтанья дальней телѣги, что навоевать много тихаго покоя,

¹ Написанъ на полулистѣ почтовой бумаги, формата 4^о; фабричный знакъ—орелъ на скалкѣ съ хвосту. Ср. свинки № 5. Этотъ набросокъ составляетъ новую приписку къ четвертому отрывку, который оставался не законченнымъ. ² Предполагая передавать это мѣсто, Гоголь послѣ этого слова приписалъ сверху строка: «какін». ³ Сверху строки приписано: «какъ нѣкую мать». ⁴ Примѣры такихъ причастій можно читать также въ третьемъ томѣ настоящаго изданія, примѣч. 2—5 къ стр. 131. ⁵ Второй набросокъ составляетъ также дополнение къ четвертому; написанъ на одномъ полулистѣ съ предшествующимъ. ⁶ Въ рукописи: «нависнувшія».

мечтанья на душу. „Не упрековъ ли, не горькихъ ли жалобъ достойна я?¹ Не несчастна ли мать, родившая меня? Не горька ли доля, доставшаяся мнѣ на часть? Лучшій цвѣтъ рыцарства, лучшіе витязи королевства и не мало гора и бѣдъ претерпѣвали, всѣ они были въ моей власти“.

*3-й набросокъ.*² „Не лютый ли палачъ ты мой, горькая судьба! Всѣхъ ты привела въ ноги мнѣ — лучшихъ (внзней) дворянъ изъ всего шляхетства³, графовъ и иноземельныхъ бароновъ и все, что ни есть цвѣтъ нашего рыцарства: всѣмъ имъ было свободно любить меня и (всѣ, они готовы по одному) мнѣ стоило махнуть рукой, чтобы любой изъ нихъ былъ⁴ и въ томъ ему бы никто не помѣшалъ, — и ни къ одному изъ нихъ не причаровала ты моего сердца, лютая моя⁵; а причаровала, мимо лучшихъ рыцарей нашей земли, къ чуждому, къ врагу нашему. За что ты такъ гонишь меня⁶, (Матерь) Божья матерь, за какіе грѣхи, за какія тяжкія преступленія меня гонишь такъ? Во всякомъ изобилии и роскошномъ избыткѣ текли тамъ мои⁷; лучшія и дорогія блюда (были мнѣ до сихъ) и сладкія вина были⁸ И на что все это было? Къ чему все это было? Къ тому, чтобы умереть лютою смертью, какою не умираетъ послѣдній нищій въ королевствѣ. И мало того, что я осуждена на такую⁹, мало того, что я должна передъ концемъ видѣть, какъ умрутъ въ мукахъ отецъ и мать, для спасенія которыхъ двадцать разъ пожертвовала бы жизнью. Мало всего этого — нужно, чтобы предъ концомъ своимъ мнѣ довелось увидѣть, услышать въ сладкихъ рѣчахъ твою любовь, какою не видала я ни въ комъ, — для того, чтобы еще горче была часть, чтобы еще жалче было мнѣ своей несчастной жизни, чтобы еще страшнѣе умирать и чтобы еще больше роптала я на тебя, судьба! и укоряла бы тебя, прости, пречистая святая Матерь!“

*4-й набросокъ.*¹⁰ «И когда затихла (она, къ низу сами собой опу-

¹ Слова «Не упрековъ — достойна я?» написаны сверху строки. ² Этотъ отрывокъ набросанъ карандашомъ на полулистѣ почтовой бумаги, in 4°, съ полосками; фабричный знакъ — *орелъ на скалѣ съ кручь*. Ср. снимки № 4. Съ лѣваго боку рукою Гоголя присисано: «у Логановскаго Норова». ³ Въ рукописи: «изъ всѣхъ шляхетство». ⁴ Затѣмъ пропущено слово. ⁵ Затѣмъ пропущено слово «судьба». ⁶ Слова: «гонишь меня» присисаны сверху строки. ⁷ Затѣмъ пропущено слово: «дни». ⁸ Фраза не дописана; оставлено пустое мѣсто. ⁹ Затѣмъ пропущено слово. ¹⁰ Написанъ на четверткѣ свѣтло-голубоватой бумаги, вырванной изъ переплетенной тетради, водной знакъ: буква А, внизу ея полукругъ изъ лавровой вѣтви.

стились ея очи, изо) безнадежная участь изобразилась на (прекрасномъ) лицѣ, и ноющею грустью заговорила (ея черты) каждая черта. Тихія слезы (на покрывшихся тихимъ жаромъ щекахъ) по щекамъ ея, покрывшимся тихимъ жаромъ, и (бездушно затерявшись какъ что-то говорило) недвижною была она; не шевелились незакрывшія уста и, казалось, какъ будто можно было читать: „нѣтъ счастья“ на лицѣ“.

„И когда она затихла, безнадежная, безнадежная тоска явилась въ лицѣ ея, и ноющею грустью заговорила каждая черта его. (Тихимъ жаромъ) Тихо покрылись прекрасныя щеки, (но кое гдѣ видны были засохнушія слезы, какъ будто нѣтъ счастья на семь лицѣ) и все отъ очей (спустившихся, наклонившагося¹ лба и очей) до щекъ и слезъ, застывшихъ и засохнувшихъ на тихо пламенѣвш. „Нѣтъ (святая!“ вскрикнулъ Андрій. „Я не знаю, какъ назвать. Нѣтъ! не тебѣ такой удѣлъ. Нельзя, чтобы такой красивѣйшей, лучшей изъ женъ былъ такой удѣлъ, когда она рождена на то, чтобы). Не слышано на свѣтѣ, не можно, не быть этому“, говорилъ Андрій: „чтобы красивѣйшая и лучшая понесла такую горькую часть, когда ты рождена на то, чтобы передъ тобою, какъ передъ святой иконой, все, что ни есть лучшаго на свѣтѣ, припало на колѣняхъ къ ногамъ. Нѣтъ! ты не умрешь. Не тебѣ умереть. Клянусь моимъ рожденіемъ, матерью и всѣмъ, что мило,—ты не умрешь. Если ужъ (умереть) придется уже такъ, чтобы умереть, такъ мы умремъ вмѣстѣ“.

(Не обманывай, рыцарь, и себя и меня. Я знаю. Я очень, слишкомъ хорошо знаю, что другое велитъ тебѣ твой долгъ и честь твоя). „И прежде я умру, умру передъ тобою у твоихъ прекрасныхъ колѣней и развѣ уже мертваго меня разлучать отъ тебя“.

Къ четвертому отрывку².

„Вотъ за какимъ дѣломъ собирались запорожцы на великую раду. И когда собрались всѣ, то головъ было (больше) почти столько, сколько колосовъ въ полѣ. Всѣ стояли въ шапкахъ, потому что теперь пришли не приказъ слушать кошеваго, а совѣщать (дѣло), какъ ровные. „Давай совѣтъ прежде старшій“, закричали всѣ, и кошевой вышелъ первый, поклонившись. „Слышали мы уже всѣ,

¹ Не разобрано. ² Написано на большой четверткѣ обыкновенной бумаги, водяной знакъ: НМ.

братове, что бѣда наибольшая, какой только можно ждать, случилась на Сѣчѣ; но не о томъ рѣчь. Рѣчь о томъ, какъ поправить бѣду. Я думаю, что такъ, какъ бывало прежде—не отлагая времени, кинуть все и гнаться, ибо, вы сами знаете, татаринъ такой человѣкъ, что онъ не станетъ держать дома награбленное добро въ ожиданіи (какъ мы придемъ). Тутъ же, слава Богу, мы погуляли не мало (себя показали). Теперь ляхъ знаетъ, что такое запорожскій козацкъ, добыли и добычи. Стало быть, (пора и никакого безславія для насъ нѣтъ), коли отступимъ отъ города, для христіанства мы все-таки (сдѣлали) отомстили, а корысти, сами знаете, немного придется взять съ голоднаго города“.

„И мы такъ думаемъ, и мы такъ думаемъ!“ кричали въ ближнихъ краяхъ.

„Такъ и сдѣлаемъ“, повторяли въ другихъ краяхъ.

Но Бульбѣ не понравились сильно такіа рѣчи и навѣсилъ онъ свои (изъ-сѣда черныя) изъ-черна бѣлыя брови, (серебрившіяся сверху бѣлою сѣдиною, какъ горныя черно-вѣтвистыя вѣтви подъ первымъ упавшимъ) (какъ снѣжная верхушка ихъ вся блещетъ предъ солнцемъ и подъ нею видна темная чаща сухихъ сплетенныхъ вѣтвей) подобныя тѣмъ низкорослымъ кустарникамъ, (покрывающимъ) виднымъ на высокомъ темени горы, которыхъ покрылъ первый упавшій снѣгъ, и только вершина, а съ низу (видна) чернѣетъ темная (гуща) чаща сухихъ сплетенныхъ вѣтвей и сучьевъ. „Стой, кошевой и вы всѣ, старшины, и всѣ православные! Одного позабыли вы“. И всѣ затихли, желая узнать, что позабыли.

„А наши товарища?“ сказалъ Тарасъ. „Вы позабыли, видно, что наши товарища связанные остались у чортовыхъ рукахъ. Такъ вы хотите, чтобы мы оставили товарищей умереть лютою смертю, что“...

Текстъ *четырёхъ* вышеприведенныхъ отрывковъ написанъ въ разное время и въ разныхъ мѣстахъ; позднѣйшія дополненія и исправленія къ тексту этихъ отрывковъ набрасывались также въ разное время. Однимъ изъ важныхъ доказательствъ тому служить бумага, на которой писаны какъ самые отрывки, такъ и позднѣйшія къ нимъ дополненія.

Отрывокъ первый (стр. 577—590) набросанъ на бумагѣ, въ которой ясно просвѣчиваетъ фабричный штемпель: „J. Whatmann Turkey Mill 1838“. Этотъ штемпель даетъ съ перваго раза прямое указаніе, что отрывокъ написанъ *не ранѣе 1838 года*. Въ бумагахъ Гоголя сохранилось нѣсколько набросковъ на бумагѣ съ этимъ

штемпелемъ; всѣ они написаны въ Вѣнѣ въ теченіе августа и сентября 1839 года и всѣ, *за исключеніемъ одного*, группируются около „Тараса Бульбы“ и неовонченной трагедіи изъ малороссійской исторіи. (Ср. настоящаго изданія V, 674—678). Въ іюнѣ 1839 года Гоголь отправился изъ Рима въ Маріенбадъ съ тѣмъ, чтобы къ осени пріѣхать въ Россію къ выпуску сестеръ изъ института (Сочиненія и письма Гоголя V, 379); въ Маріенбадѣ и Вѣнѣ онъ прожилъ довольно долго; 29 сентября онъ былъ уже въ Москвѣ, выѣхавши изъ Вѣны около 22 сентября (новаго стиля?)¹. Въ Вѣнѣ Гоголь жилъ уединенно, занимаясь своею драмою (Сочиненія и письма Гоголя V, 380—381). Изъ Маріенбада онъ писалъ Погодину 15 августа: „Малороссійскія пѣсни со мною. *Занимаюсь и пишу, сколько возможно, надѣясь старинной*“ (Тамъ же, стр. 382). Въ письмѣ изъ Вѣны, отъ 25 августа, Гоголь уже сообщаетъ Шевыреву о посѣщеніи, которое сдѣлало ему вдохновеніе: „Передо мною выясняются и проходятъ поэтическимъ строемъ времена козачества, и если я ничего не сдѣлаю изъ этого, то я буду большой дуракъ. Малороссійскія ли пѣсни, которыя теперь у меня подъ рукою, навѣяли ихъ, или на душу мою нашло *само собою* ясновидѣніе прошедшаго, только я чувю много того, что нынѣ рѣдко случается. Благослови!“ (Тамъ же, стр. 383). Не „само собою“ сошло на Гоголя „ясновидѣніе прошедшаго“ въ Вѣнѣ; не одни малороссійскія пѣсни навѣяли его: оно было результатомъ того *новаго* изученія малороссійской исторіи, которому отдался Гоголь въ своемъ вѣнскомъ уединеніи. Уцѣлѣвшіе въ бумагахъ наслѣдниковъ поэта выписки, замѣтки, наброски, сдѣланные на бумагахъ съ знакомъ: „J Whatman Turkey Mill 1838“, остались памятниками и краснорѣчивыми свидѣтелями изученій Гоголя въ Вѣнѣ, выяснившихъ ему времена козачества и навѣявшихъ на него вдохновеніе. Только здѣсь, въ Вѣнѣ, только послѣ этихъ изученій, явилось у Гоголя

¹ Последнее письмо Гоголя къ Шевыреву изъ Вѣны, писанное на самомъ видѣ, помѣчено 21 сентября (Сочиненія и письма Гоголя V, 386). 29 сентября С. Т. Асасковъ уже получилъ отъ М. С. Щепина уведомленіе о пріѣздѣ Гоголя съ Погодинымъ въ Москву (Русь 1880, № 4, стр. 18). Письма Гоголя къ матери, напечатанныя въ изданіи Кулиша (V, 386—389), писаны несомнѣнно уже изъ *Москвы*, хотя надъ первымъ изъ нихъ стоитъ «Тріестъ», надъ вторымъ и третьимъ — «Вѣна». Уже въ первомъ письмѣ Гоголь проситъ свою мать адресовать ему письма «въ Москву на имя Походина на Девичьемъ полѣ»: «онѣ (увѣряетъ Гоголь) будутъ доставлены изъ Москвы съ казеннымъ курьеромъ и вы, стало быть, заплатите за нихъ только до Москвы, что сдѣлаетъ большую разницу» (V, 387).

убѣжденіе: „если я ничего не сдѣлаю изъ этого, то я буду большой дуракъ“. И онъ принялся „дѣлать“ — т. е. переработывать „Тараса Бульбу“ въ новомъ свѣтѣ, озарившемъ времена козачества передъ умственнымъ взоромъ поэта. Мысль о передѣлкѣ „Тараса Бульбы“ явилась Гоголю въ Вѣнѣ, и здѣсь же онъ началъ переработку этой повѣсти — *прямо съ четвертой главы первоначальной редакціи*. Рукописные листки вышеприведеннаго перваго отрывка, набросаннаго въ Вѣнѣ, представляютъ тому убѣдительно доказательство: надъ второю частью этого отрывка Гоголь поставилъ цифру V (т. е. глава V), такъ какъ первая половина отрывка соотвѣтствовала *четвертой* главѣ первоначальной редакціи. Очевидно, что такая нумерація главъ возможна была лишь тогда, когда первыя три главы первоначальной печатной редакціи еще оставались въ своемъ прежнемъ видѣ: послѣ переработки изъ этихъ трехъ главъ составилось въ новой редакціи уже *четыре* главы, и вторая половина вѣнскаго отрывка, помѣченная цифрою V, сдѣлалась *шестою* главою повѣсти. Полагаемъ, что первый отрывокъ написанъ въ послѣднія недѣли пребыванія Гоголя въ Вѣнѣ, т. е. въ *сентябрѣ* 1839 года, когда уже кончено было изученіе источниковъ малороссійской исторіи, бывшихъ подъ руками поэта. Листки съ выписками изъ этихъ источниковъ относятся къ первымъ недѣлямъ пребыванія Гоголя въ Вѣнѣ — къ концу іюня и къ августу мѣсяцу. Ознакомимся съ содержаніемъ дошедшихъ до насъ набросковъ, сдѣланныхъ на бумагѣ со штемпелемъ: „J Whatman Turkey Mill 1838“, т. е. на той же бумагѣ, на которой написанъ и первый отрывокъ новой редакціи „Тараса Бульбы“.

1) На одной страницѣ *перваго* полулиста написанъ отрывокъ начатой повѣсти („Дѣвицы Чабловы“ и т. д. ср. V, 675); на второй страницѣ слѣдующій набросокъ: „..... вражды, войны, битвы и замировки были семейственныя между Россіей и Литвой. [Князя¹ Рускіе ходили часто въ ихъ лѣса и полонили ихъ, а Литовцы (сами) не безъ пожертвованій сильныхъ противились и часто, сжегши свои жилища, убѣгали въ лѣса, а оттуда, выждавъ случая, мстили, сильно нападаая на безпечнаго князя въ распахъ [см. Мстиславъ въ 1130]. Князь Романъ Ростисл., князь Смол., забравши въ полонъ Литовцевъ, населилъ ими деревни: „Згѣ, Ро-

¹ Прямыя скобки соотвѣтствуютъ скобкамъ въ рукописи; въ круглыя скобки вносятся слова, зачеркнутыя въ рукописи.

мане, робишь, что Литвиномъ орешъ⁴. Псковскимъ провинціямъ, городамъ и селамъ, сопредѣльнымъ съ лисами (sic!), была бѣда отъ Литовскихъ набѣговъ. Псковитяне вторгались, полные мщенія, нѣсколько разъ въ ихъ предѣлы, пустошили сильно ихъ области, вводили ихъ въ плѣнъ вмѣстѣ съ скотомъ [см. Яросл. Владим. князь Новгород.]. (Лѣтописи Рускія, начиная отъ =) Исторія наша, начиная съ 1200 года, наполнена битвами и взаимными вторженіями, отмщеніями и опустошеніями и уводами въ плѣнъ Литовцевъ. У Новгорода и Пскова битвы съ ними становились чаще и чаще (въ битвахъ сихъ укрѣп). Еще ни одного имени вождя, звонкаго именемъ, не было слышно у Литовцевъ. Образъ ихъ войны очевидно (былъ =) состоялъ изъ нападеній хищническихъ толпами. Но въ этихъ беспорядочныхъ бранныхъ движеніяхъ, однакожь, крѣпились мышцы молодого народа, когда (дѣла) тягостная, (такъ) непостижимо завязавшаяся связь южной Россіи съ Татарами и обратила туда всю дѣятельность. Литовцы умирялись и враждовали, и вновь враждовали, и вновь умирались (побѣжденные) съ Новгородцами, обложившими ихъ данью. Вліяніе Татаръ, равномѣрно какъ и самое имя ихъ, здѣсь почти было не слышно въ этотъ періодъ, когда (темная =) кочующая ординская сила, подвергнувъ подъ свое дикое владычество, обвела какою-то тонкою дѣпью Рускія княжества и повергла ихъ въ онѣмѣніе и рабскую недвижность. Произшествія дали силу Литовцамъ. То, что унизило князей Рускихъ, то ихъ возвысило. Имъ было легко устремляться на еще дымившіяся отъ Татарскихъ пожаровъ села и развалины; и скоро вслѣдъ за Татарами на еще дымившіяся села¹.....и явились скоро и безпрекословно владѣтелями многихъ мѣстъ въ южной Россіи. Такимъ образомъ они заняли² Новгородскъ, Гродно, Брестъ и Дрогичинъ. Они успѣли отстоять эти мѣста у Татаръ и встрѣтили, не блѣднѣя, ихъ орды, насылавшія трепеть на Россію. Общій врагъ дружилъ (побѣжден) Рускихъ съ Литовцами. Имя князя Эрдивила раздалось, какъ имя побѣдителя Моголовъ. Селенія Рускія освобождались изъ - подъ Татаръ и очутились подъ Литовскимъ владычествомъ. Нѣкоторыя сопротивленія и нападенія на нихъ были неудачны. Полоцкъ, (востав) предпринявшій это, былъ покоренъ. Скоро взволновались также Пинскъ и Туровъ.

¹Затѣмъ пропущено какое-то слово ²Это слово написано сверху, незачеркнутого: «укрѣпились».

Моголы видѣли, что этотъ новый сосѣдъ выхватываетъ, такъ сказать, изо рта ихъ завоеванія — и еще разъ попробовали вооруженною силою ¹ набр.....² дань и подвергнуть ихъ подъ толпу подвластныхъ себѣ племень; но это было безуспѣшно. Разбивши ихъ, прогнавши...“ Окончаніе фразы и всего наброска читается 2) на *второмъ* листѣ, въ которомъ только первая страница занята слѣдующими строками: „.... преслѣдуя за Днѣпръ, (они) Литовцы съ соединенными южными Русскими войсками отняли у нихъ Мозырь, Стародубъ, Черниговъ, Карачевъ и всю область сѣверскую. Новые обладатели южной Россіи вели себя хорошо въ отношеніи къ подвергнувшимся ихъ власти городамъ и весямъ. Связь ихъ была, какъ у простыхъ народовъ, братская; (условія не тяжелы) и собственность, и вѣра не тронута, хотя новые побѣдители были язычники. Вездѣ прежніе обычаи городовъ и даже многіе князья, кажется, остались тѣ же. Нѣкоторые изъ Литовскихъ предводителей установили себѣ резиденціи, гдѣ и остались. Въ Полоцкѣ былъ Литовскій князь Борисъ, который принялъ даже христіанство и женился на дочери Рускаго великаго князя Тверскаго, основалъ на границѣ своихъ владѣній на Березинѣ городъ Борисовъ. Съ нимъ безуспѣшно боролся Смоленскъ и Псковъ, а преемникъ его Василій наложилъ дань на Псковъ. — А другой владѣтель Литовскій, Ольгимундъ, побѣдилъ Рускаго кн. Давида Луцкаго. Въ минуты опасности прибѣгали князья подъ Литовскія знамена и въ битвахъ съ Татарами между Литовскими рядами видны были князи: Киевской, Друцкой, Волынской и Луцкій“. Весь этотъ набросокъ основанъ на разсказѣ, или, по выраженію Карамзина, на „пустыхъ догадкахъ“ Стрыйковскаго ³. Въ наброскѣ Романъ называется княземъ Смоленскимъ со словъ Стрыйковскаго, принятыхъ „Синописомъ“ ⁴.

3) На первой страницѣ *третью* полулиста набросано нѣсколько строкъ, вполне напечатанныхъ въ пятомъ томѣ настоящаго изданія (стр. 675): „Характеръ Русскаго“ и т. д. На второй страницѣ того же полулиста ⁴ читается другой набросокъ, касающійся исторіи южной Руси въ древнюю эпоху: „Какъ зародились стихіи политическаго существованія на югѣ нашего

¹ Въ рукописи «сзлу». ² Конецъ слова неясенъ. ³ Ср. разборъ этихъ извѣстій, выписанныхъ Гоголемъ изъ Стрыйковскаго, въ «Исторіи государства Россійскаго», томъ IV, пр. 108. ⁴ Ср. настоящаго изданія V, 675.

отечества, это вѣдомо всякому. — Какъ съ (варяжскими средствами) помощію силы пришлои основались и утвердились пункты будущаго государства, какъ Кіевъ, Черниговъ, Переяславль явились главными (исходными основами) между ними, какъ Владимиръ постояннымъ и (долгимъ=) долговременнымъ правленіемъ (пріучилъ) даль видъ единства и (видъ) государства (южному краю=) этимъ землямъ нѣкогда независимыхъ племенъ и внесъ туда вѣру христіанскую; какъ безчисленное число его родственниковъ и потомковъ правило независимо городами (этого несовершенно образованнаго тѣла), строило новые и заселило мало по малу неподвижными пунктами.....“

4) На первой страницѣ *четвертаго* полулиста набросаны, судя по цвѣту чернилъ, въ разное время, три замѣтки. Первая безъ начала, очевидно, оставшагося на одномъ изъ утраченныхъ листовъ: „.....данно слышитъ дворянство и высокій родъ козаковъ именитыхъ. Уваженіе черни къ таковымъ. Простые козаки, мѣщане и купцы, платившіе въ казну разныя подати. Избирали ¹ благородные“. Вторая замѣтка: „Слова два скажу о языкѣ. — Несправедливо приписываютъ древнимъ козакамъ козацкіе и чумацкіе какіе-то поступки. Что придали и заставили ихъ такъ говорить и дѣйствовать бандуристы — это не доказательства; они пересказывали по своимъ понятіямъ и рѣчамъ; пѣсни сочинялись въ народѣ и (часто уже) большею частію послѣ той эпохи, которую они изображаютъ“. Наконецъ, третья замѣтка, *написанная позднѣе предшествующихъ*, состоитъ въ слѣдующемъ: „Старотство Чигиринское было очень замѣчательное и главное. Чаплинскій съ ² подстаросты былъ сдѣланъ Гетьманомъ. Мать Козацкая еще не умерла; по крайней мѣрѣ, пока имѣемъ саблю, имѣемъ эту надежду. Суботово было подарено Хмельницкому Михаилу Чигиринскимъ покойнымъ старостомъ. Чаплинскій притѣснилъ и отналъ его у Хмельницкаго“. Эта замѣтка представляетъ перифразъ слѣдующаго мѣста во второй части книги Шерепа „*Annales de la Petite Russie*“: „*Sinovei Chmelnizki* jouissoit alors d'une terre appelée Subotof, que son père *Michel* avoit reçue de *Danilovitsch*, staroste de Tschigirin, pour ses services.... Le fils avoit établi plusieurs paysans sur cette terre; mais comme le podstaroste, c'est-à-dire, l'aide de l'ancien, *Czaplinski* soupçonnoit sa fidélité, il l'a lui enleva.... *Chmelnizki*

¹ «Избирались?» ² Т. е. «изъ».

furieux, dit à l'usurpateur: La mère des Cosaques est encore en vie, vous ne nous avez pas encore tout ôté; aussi long-tems que nous aurons le sabre à la main, nous ne serons pas sans espérance" (p. 23—24).

5) На первой страницѣ *пятаю* полулиста двѣ замѣтки, написанныя въ разное время: 1) „Гайдамаки, услышавши, сами приходятъ цѣлою ватагою или полкомъ“. 2) „Помните, что между Рускими и Козацкими фамиліями были и Польскія, и что были двѣ партіи: Руская и Польская“. Далѣе зачеркнуто: „Гетьманы по Шереру“. На оборотѣ того же полулиста встрѣчаемъ двѣ выдержки изъ книги этого Шерера: 1) „Osman разбилъ Поляковъ. Михайло Хмельницкій остался на мѣстѣ сраженія, а сынъ Зиновій взятъ въ плѣнъ; но два года послѣ Татаринъ (Jaris l'acheta et le men) Ярись его выкупилъ изъ плѣна“¹. 2) „Въ битвѣ съ Турками при Цоцорѣ подъ Жолкевскимъ Михалъ Хмельницкій находился въ качествѣ сотника. Онъ былъ уже секретаремъ, или, лучше, принимаемымъ у старосты Чигиринскаго Ивана Давиловича“.²

6) Особенный интересъ для исторіи „Тараса Бульбы“ представляетъ *шестой* полулистъ, обѣ страницы котораго унизаны замѣтками Гоголя. На этомъ листѣ выписаны или отмѣчены тѣ мѣста изъ „Описанія Украйны“ Бошана, которыя обратили на себя особенное вниманіе поэта. Представляемъ вполнѣ текстъ этого листа, присоединяя въ скобкахъ указанія на страницы „Описанія Украйны“ (Спб. 1832).

„Распоряженіе полковника: „Смотрите же, не такъ одѣвайтесь, какъ Ляхи, которые какъ навѣшаетъ (sic!) около себя (и баблугу) и веревокъ, и точилъ³, и ложекъ, и платковъ, еще и сумку съ гре-

¹ Въ подлинникѣ: «Osman, empereur des Turcs, instruit de la mésintelligence qui régnoit entre les Polonois et les Cosaques, et de la jalousie qui engageoit les premiers à enlever aux autres les occasions de se signaler, en profita pour attaquer les Polonois qu'il vainquit. Michel Chmelniski resta sur le champ de bataille, et son fils fut pris; mais deux ans après un tartare nommé Jaris, l'acheta et le mena en Tartarie». *Annales de la Petite-Russie*, II, 16. ² Подлинникъ: «Pendant que Sigismond régnoit en Pologne, Zolkiewski, hettman de la couronne, conduisit les Cosaques de l'Ukraine contre les Turcs, auxquels il livra bataille sur la Zozora. Michel Chmelniski s'y trouva en qualité de centurion ou sotnik. Ce Chmelniski avoit déjà été en qualité de secrétaire, ou plutôt de receveur, chez un staroste, c'est-à-dire, ancien de Tschigirin, qui s'appelloit Jean Danilovitsch» (Ibid, p. 13—14). ³ Бошанъ упоминаетъ объ «огнѣ» — для добыванія огня, также для точенія ножа и сабли.

бенками и съ бѣльемъ, и зер¹, да еще къ сѣдлу и баклагу привяжетъ въ ведро величиной. Ничего не берите² кромѣ ни....³; веревокъ не нужно: нечего вязать плѣннаго — только времени трата“ (стран. 116).

„Козаки берутъ плѣнниковъ у Турокъ и проч. только малолѣтнихъ, употребляютъ ихъ въ услуженіе или дарятъ Польскимъ магнатамъ“ (стран. 4—5).

„Нужно, чтобы козакъ былъ и мастеровой. У Запорожцевъ много было мастеровыхъ: кузнецы, оружейники, телѣжники, плотники для постройки домовъ и лодокъ, кожевники, сапожники, бочары, портные и пр.“ (стран. 5).

„Козаки добываютъ селитру и дѣлаютъ сами порохъ пушечный“ (стран. 5).

„Женщины ткуть полотна и сукна“ (стран. 5).

„Всѣ козаки умѣютъ пахать, сѣять, печь хлѣбы, готовить кушанье и варить пиво, медъ, брагу, гнать водку“ (стран. 5).

„Изобиліе хлѣба дать почувствовать“ (стран. 6).

„Лѣнь; и трудъ только тогда, когда нѣтъ денегъ“ (стран. 6).

„(Воздержаніе) Строгое соблюденіе постовъ“ (стран. 7).

„Огородка телѣгами табора“ (стран. 8).

„Крестьяне работаютъ три дня въ недѣлю и за землю должны давать господину нѣсколько четвериковъ хлѣба, нѣсколько паръ каплуновъ, куръ, цыплятъ, гусей. Оброкъ собирается около Пасхи, Духова дня и Рождества. Сверхъ того они возятъ дрова на господскій дворъ и исполняютъ тысячи другихъ обязанностей. Денежный оброкъ. Десятина съ овецъ, свиней, меду, плодовъ. По прошествіи трехлѣтія они отдають третьяго вола“ (стран. 9).

„За новорожденныхъ дѣтей особенно мужскаго пола и за вѣнчаніе платилось по грошу“ (стран. 141)⁴.

„Занятія главныя козаковъ въ мирное время — охота, рыбная ловля“ (стран. 10).

„Терехтемировъ среди неприступныхъ скалъ“ (стран. 14).

„Черкасы (стран. 15), Каневъ (стран. 14), Боровицы (стран. 15),

¹ Неясно написано; «зеркало»? ² Въ рукописи: «рубите». ³ Слово не дописано: «пистолета»? ⁴ Это свидѣніе заимствовано Гоголемъ изъ примѣчавій русскаго переводчика книги Болава, въ текстѣ которой (стран. 9) только сказано: «Такъ неограниченны вольности Польскаго дворянства! Оно блаженствуетъ, какъ будто бы въ раю, а крестьяне мучатся, какъ въ чистилищѣ. Если же судьба пошлетъ имъ злаго господина, то участь ихъ тагостяѣе галерной неволи».

Вороновка, Чигиринъ, Дуброва, Кременчугъ (стран. 15), Тарентскій Рогъ“ (стран. 17).

„Курганъ Романовъ, гдѣ козаки держать иногда свои рады и собирають войско“ (стран. 17).

„Острова на Днѣпрѣ: Монастырской островъ, Конской островъ“ (стр. 18).

„Самара впадаетъ въ Днѣпръ противъ него. Она обильна рыбою, а берега ея — воскомъ, медомъ, и строевымъ лѣсомъ, и дичиною. Козаки называютъ ее святою рѣкою“ (стран. 18—19).

„Князевъ островъ. Козацкій островъ“ (стран. 19).

„У козаковъ есть обычай принимать въ свои рады того, кто проплыветъ всѣ пороги противъ теченія“ (стран. 21).

„Большой островъ и около него десятки тысячъ острововъ, которые служили скарбницами для козаковъ. Въ Войсковой Скарбницѣ дѣлили они свою добычу“ (стр. 26—27).

„Козаки кое-гдѣ говорятъ о житѣ Татаръ и объ домахъ на двухъ колесахъ“ (стран. 42 и примѣч. русскаго переводчика, на стр. 151—152, заимствованное изъ „Путешествія Палласа по разнымъ провинціямъ російскаго государства“).

„Козаки пере(плываютъ вплавь) ходять въ бродъ¹ проливъ и на косѣ похищаютъ изъ ханскихъ табуновъ лошадей“ (стран. 39).

„Съ семи лѣтъ татарченокъ уже живетъ на своей волѣ, ужъ не спитъ въ юртѣ и достаютъ себѣ пищу себѣ (sic!) сами стрѣлами“ (стран. 42).

„Татары носятъ сапоги красные сафьянные, а тулупъ вывернуть шерстью вверхъ (стран. 43). И такой легкой, какъ птица: какъ только увидить заводскаго коня, такъ на него разомъ и перескочить; а его конь все бѣжитъ съ боку, такъ что потомъ онъ опять на его перескочить“ (стран. 44).

„А ѣсть онъ кобылину, а свинины такъ, какъ и жидъ, не станетъ ѣсть“ (стран. 46).

„И что найдеть, то все и забереть — бабу съ груднымъ младенцемъ, быка, корову, овецъ, козъ и проч. *А свиньи не возьмуть, бѣсовскій сынъ*². *Возьмутъ свиней всѣхъ, заионятъ въ хлѣвъ да и зажмутъ*³“ (стр. 50).

¹ Въ рукописи: „продъ“. ² Слово написано неясно. ³ Курскимъ начатами фразы, сочиненныя Гоголемъ и уже вложенныя въ уста какого-нибудь дѣйствующаго лица его драмы или повѣсти. Такъ нерѣдко вступаетъ Гоголь, выискивая мѣсто изъ читаемой книги: онъ заранѣе облачаетъ его въ ту форму, которую

„Так проклятые и нарываютъ, чтобы стать спиною къ солнцамъ (sic!). А какъ солнце въ глаза, ну, что ты прикажешь? Ни.....¹ не размотришь, только жмуришь глаза“² (стран. 57).

„Запасается козакъ варенымъ просомъ, ѣсть саламату“ (стран. 63).

„Полковникъ приказываетъ на повозки класть съѣстное и все лишнее³, а съ собой кромѣ оружія ничего не брать“ (стран. 63—64).

„Крестьянамъ позволено варить пиво только во время свадьбы и крестинъ“ (стран. 75).

Итакъ, остановившись въ Вѣнѣ, по пути въ Россію, Гоголь въ теченіе августа и большей части сентября мѣсяца, занимался чтеніемъ *своего собранія* Малорусскихъ пѣсенъ⁴ и сочиненій Стрыйковскаго, Шерера, Боплана, писалъ конспекты и монологи для драмы изъ малороссійской исторіи, набросалъ *отрывокъ* (изъ вышеприведенныхъ — первый) для новой редакціи „Тараса Бульбы“. Можетъ быть, тогда же набросаны были начерно и нѣкоторыя отрывочныя дополненія и поправки къ тремъ начальнымъ главамъ повѣсти. До насъ дошли эти дополненія не въ черновомъ видѣ, а въ редакціи уже окончательно обработанной и переписанной набѣло въ *Москвѣ*; потому трудно сказать что-нибудь рѣшительное о времени и мѣстѣ передѣлки трехъ первыхъ главъ, тѣмъ болѣе, что поправки стилистическія и нѣкоторыя изъ дополненій небольшого объема, несомнѣнно, набрасывались на печатный экземпляръ „Тараса Бульбы“ по изданію 1835 года (въ „Миргородѣ“). Естественно предположить, что кое-какія дополненія къ тремъ первымъ главамъ, навѣянные чтеніемъ Боплана, были въ Вѣнѣ же набросаны вчернѣ или на отдѣльные листки, или на печатный экземпляръ повѣсти. Такъ, въ Вѣнѣ могло быть написано небольшое дополненіе къ концу третьей главы, сломъ снизанное изъ извѣстій Боплана, занесенныхъ въ конспектъ Гоголя:

предполагаетъ дать ему въ своемъ будущемъ произведеніи. Въ книгѣ Боплана: „а ненавистныхъ Музульманамъ свиней загоняютъ въ ованъ и поджигаютъ они со всѣхъ четырехъ угловъ“.

¹ Точки на мѣстѣ неразобраннаго слова. ² Напечатаны курсивомъ фразы, сочиненныя Гоголемъ по Боплану, у котораго сказано: „Татары..... употребляютъ все искусство, чтобы стать спиною къ солнцу, дабы оно свѣтило въ глаза неприятелю“.

³ Слово написано неразборчиво. ⁴ Въ этомъ собраніи были, конечно, и выписки изъ рукописи Ходаковскаго, которая была отослана Гоголемъ матери въ концѣ 1837-го или въ началѣ 1838 года. (Сочиненія и письма Гоголя V, 303). Печатныхъ сборниковъ „Украинскихъ“ и „Малороссійскихъ пѣсенъ“ Максимовича въ то время также, повидимому, не было у Гоголя. (Тамъ же, V, 409. Ср. также V, 424).

1) „Берите только одно оружіе“... и т. д. 2) „Если кто въ походѣ напьется, то никакого нѣтъ на него суда“... 3) „Если цапнетъ пуля или царапнетъ саблей по головѣ, или по чему-нибудь иному, не давайте большаго уваженія такому дѣлу: разиѣшайте зарядъ пороху въ чаркѣ сивухи, духомъ выпейте и все пройдетъ — не будетъ и лихорадки; а на рану, если она не слишкомъ велика, приложите просто земли, замѣсивши ее прежде слюною на ладони, то и присохнетъ рана“ (стран. 283).¹ Но такія же вставки изъ Боплана находимъ въ главахъ, позднѣе написанныхъ, напр. въ главѣ IX, которую Гоголь не успѣлъ окончить за границую.² Мы склоняемся, съ своей стороны, къ предположенію, что дополненія къ первой и третьей главамъ, вообще не особенно значительныя, были сдѣланы въ Москвѣ.

Наконецъ, на той же бумагѣ, которую употребилъ Гоголь для *перваго* отрывка „Тараса Бульбы“ и для письма къ Иванову, отъ 25-го іюня 1840 года, сдѣланъ набросокъ для девятой главы перваго тома „Мертвыхъ Душъ“, начинающійся словами: „Только я все полагаю, что здѣсь что-нибудь другое кроется подъ именемъ мертвыхъ душъ“³.

Мы не имѣемъ данныхъ для опредѣленія времени и мѣста написанія втораго и третьяго изъ вышеприведенныхъ отрывковъ (стран. 590—606). Водяные знаки въ бумагѣ, на которой набросаны

¹ Для перваго и втораго дополненія ср. «Описаніе Украйны», стран. 7, 116. Третье представляетъ перифразъ слѣдующаго разсказа Боплана: «Я видѣлъ козаковъ, которые, чтобы избавиться отъ *лихорадки*, разводили въ чаркѣ пѣннаго вина ползаряда пороха, выпивали смѣсь сію, ложились спать и на утро вставали въ добромъ здоровьи.... Часто видалъ я, какъ козаки, узвѣленные стрѣлами, по недостатку хирурговъ, сами покрывали свои раны небольшимъ количествомъ земли, растертой на рукѣ со слюною» (стран. 82). ² Въ повѣсти (стран. 331) читаемъ: «А запорожцы все палили, не перевода духу: задніе только заряжали да передавали переднимъ, наводи изумленіе на непріятеля, не могшаго понять, какъ стрѣляли козаки, не заряжая ружей».... «И все продолжали козаки палить изъ пищалей, ни на минуту не давая промежутка. *Самъ иноземный инженеръ подивился такой, никогда имъ невиданной тактикѣ*». Но именно этотъ «иноземный инженеръ» и разсказываетъ о «тактикѣ» козаковъ *на морѣ*: «Но когда рѣшадтся на битву, привязываютъ весла по мѣстамъ и вступаютъ въ бой: одинъ, не трогаясь съ лавокъ, *палить непрерывно изъ пищалей; другіе заряжаютъ ихъ и подаютъ своимъ товарищамъ*» (Бопланъ, стран. 68). ³ Этотъ набросокъ, сдѣланный на восьмишукѣ почтовой бумаги со штемпелемъ: «J Whatman Turkey Mill 1838», поступилъ *изъ бумагъ А. А. Иванова* въ Московскій Публичный Музей. (Рукопись № 2205).

оба отрывка, не могли быть приурочены нами къ какому-нибудь опредѣленному году. Можемъ только указать, что на этой же самой бумагѣ написаны Гоголемъ два наброска послѣднихъ страницъ повѣсти „Шивель“: первый изъ этихъ набросковъ начинается словами: „Акакій Акакіевичъ уже не слышалъ, какъ онъ сошелъ съ лѣстницы“; второй—словами: „Бутошники получили такой страхъ къ мертвецамъ“. (Ср. картонъ Московскаго Публичнаго Музея № 2205). Замѣтимъ только, что въ порядкѣ разсказа второй отрывокъ изъ „Тараса Бульбы“ (стр. 590) непосредственно примыкаетъ къ заключительнымъ строкамъ *перваго* отрывка, оконченнаго въ первое пребываніе въ Вѣнѣ (стр. 589).

Отправляясь въ Россію, Гоголь предполагалъ „обдѣлать тамъ два дѣла, — одно относительно сестеръ, другое — драмы“. (Сочиненія и письма Гоголя V, 381). Но ни въ Москвѣ, ни въ Петербургѣ онъ, кажется, не занимался переработкою „Тараса Бульбы“. Правда, въ Петербургѣ Гоголь говорилъ С. Т. Аксакову „о томъ, что у него готово въ мысляхъ и что онъ сдѣлаетъ по возвращеніи въ Москву; что у него составлена въ головѣ трагедія изъ исторіи Запорожья... и что ему будетъ слишкомъ достаточно двухъ мѣсяцевъ, чтобы переписать ее на бумагу“ (Русь 1880 г., № 5, стр. 14). Разъ Аксаковъ накрылъ Гоголя за какимъ-то, повидимому, литературнымъ занятіемъ. Это было въ Петербургѣ, въ квартирѣ Жуковскаго, у котораго Гоголь тогда жилъ: Аксакову сказали, что Гоголя нѣтъ дома; оказалось, что „онъ нигуда не уходилъ и писалъ“. Когда Жуковскій отворилъ дверь комнаты, Гоголь, одѣтый въ какой-то странннй, „фантастическій“ костюмъ, „писалъ и былъ улюбленъ съ своею дѣло“. „Мы, очевидно, ему помѣшали (заключаетъ свой разсказъ С. Т. Аксаковъ); онъ долго *не зря* смотрѣлъ на насъ, по выраженію Жуковскаго, но костюмомъ своимъ нисколько не стѣснялся. Жуковскій сейчасъ ушелъ, и я остался недолго, увидѣвъ, что Гоголю надобно было что-то кончить“ (Тамъ же, стр. 15). Не имѣемъ другихъ свѣдѣній о занятіяхъ Гоголя въ Петербургѣ и въ Москвѣ. Въ письмѣ къ Погодину (отъ 27 ноября 1839 г.) Гоголь жаловался, что въ Петербургѣ „ничто не шло ему въ голову, что онъ убилъ мѣсяцъ времени“ (Сочин. и письма Гоголя V, 392—393). Работа надъ „запорожскою трагедіей“, послѣ сдѣланныхъ въ Вѣнѣ набросковъ, дѣйствительно не подвинулась въ Россіи ни на шагъ (настоящаго изданія томъ V, стр. 679).

Четвертый отрывок из „Тараса Бульбы“ (стр. 608—612) набросан на листах почтовой бумаги с водяным знаком: W. Kutschera. На этой же самой бумагѣ написано Гоголемъ изъ Вѣны письмо къ А. А. Иванову, отъ 25 іюня (новаго стиля?) 1840 г., начинающееся словами: „Господи Боже мой, сколько лѣтъ я васъ не видѣлъ!“ (Сочиненія и письма Гоголя V, 402). Полагаемъ, что четвертый отрывокъ написанъ въ Вѣнѣ въ іюнѣ и іюль 1840 года. На обратномъ пути изъ Россіи въ Римъ, Гоголь, сопровождаемый Пановымъ, опять остановился въ Вѣнѣ. Приѣхавши сюда, въ первой половинѣ іюня, Гоголь въ первое время своего пребыванія здѣсь сталъ пить Мариенбадскую воду и чувствовалъ себя хорошо. Вода на этотъ разъ „помогла ему удивительно“. „Я (писалъ впоследствии Гоголь Погодину) началъ чувствовать какую-то бодрость юности, а самое главное — я почувствовалъ, что нервы мои пробуждаются, что я выхожу изъ того летаргическаго умственнаго бездѣйствія, въ которомъ я находился въ послѣдніе годы и чему причиною было нервическое усыпленіе.... Я почувствовалъ, что въ головѣ моей шевелятся мысли, какъ разбуженный рой пчелъ; воображеніе мое становится чутко. О, какая была это радость, если бы ты зналъ! Сюжетъ, который въ послѣднее время лѣниво держала я въ головѣ своей, не осмѣливаясь даже приниматься за него, развернулся передо мною въ величій такомъ, что все во мнѣ почувствовало сладкій трепетъ, и я, забывши все, переселился вдругъ въ тотъ міръ, въ которомъ давно не бывалъ, и въ ту же минуту засталъ за работою, забывъ, что это вовсе не годилось во время питія водъ, и именно тутъ-то требовалось спокойствіе головы и мыслей“ (Сочиненія и письма Гоголя V, 417). О какомъ „сюжетѣ“ говорить здѣсь Гоголь? Чтò это за „міръ, въ которомъ онъ давно не бывалъ“ и въ который „вдругъ переселился?“ Сюжетъ ли это „Мертвыхъ Душъ“, или же сюжетъ „драмы изъ исторіи Запорожья“, о которой такъ недавно онъ говорилъ Аксакову, что „эта пьеса будетъ лучшимъ ея произведеніемъ?“ (Русь 1880, № 4, стр. 14). Думаемъ, что Гоголь разумѣлъ начатую свою трагедію. Пановъ, жившій съ Гоголемъ въ Вѣнѣ, рассказываетъ о немъ въ письмѣ къ С. Т. Аксакову: „Въ Вѣнѣ его беспокоила только какая-то боль въ ногѣ. Въ продолженіе почти 4 недѣль, которыя я тутъ съ нимъ пробылъ, я видѣлъ ясно, что онъ чѣмъ-то занятъ. Хотя онъ и въ это время лѣчилъ себя, пилъ воды, прогуливался, но все еще ему оставалось свободное время, и онъ тогда перечиты-

валъ и переписывалъ свое огромное собраніе малороссійскихъ пьсенъ, собиралъ лоскутки, на которыхъ у него были записаны поговорки, замѣчанія и проч.“ (Сочиненія и письма Гоголя V, 424). Намъ уже знакомы эти „лоскутки“. Письмо Панова даетъ намъ прямой отвѣтъ на вопросъ: „что это за міръ, въ который Гоголь вдругъ переселился въ Вѣнѣ?“ Въ томъ же письмѣ Пановъ съ восторгомъ сообщаетъ Аксакову, что въ концѣ октября (старого стиля), уже въ Римѣ, Гоголь „угостилъ его началомъ новаго произведенія“. Пановъ такъ писалъ Аксакову объ этомъ произведеніи: „Это будетъ, какъ онъ мнѣ сказалъ, трагедія. Планъ ея онъ еще задумалъ въ Вѣнѣ, началъ писать здѣсь. Дѣйствіе въ Малороссіи. Въ нѣсколькихъ сценахъ, которыя онъ уже написалъ и прочелъ мнѣ, есть одно лицо комическое, которое, выражаясь не столько въ дѣйствіи, сколько въ словахъ, теперь уже совершенство“ (Тамъ же, стран. 425). Разбирая свои „лоскутки“, Гоголь конечно не оставлялъ переработки „Тараса Бульбы“. Опираясь на свидѣтельства Панова, подкрѣпляемые и фабричными штемпелями бумаги, полагаемъ, что во второй половинѣ іюня и первой іюля 1840 г. Гоголь написалъ въ Вѣнѣ четвертый отрывокъ съ дополнительными къ нему приписками (стран. 608—612). Если словами: „міръ, въ которомъ давно не бывалъ“, Гоголь намекаетъ на тотъ міръ, въ которомъ вращались герои его запорожской трагедіи, то въ этихъ словахъ слѣдуетъ видѣть подтвержденіе извѣстію, что въ Россіи поэтъ не занимался переработкою этой повѣсти.

Напряженная, хотя и не продолжительная, работа Гоголя въ Вѣнѣ, засвидѣтельствованная Пановымъ и самимъ поэтомъ, не могла имѣть скуднаго результата въ видѣ одного какого-нибудь четвертаго отрывка. Онъ „работалъ здѣсь *изо всѣхъ силъ*, почувя просыпающееся вдохновеніе“; онъ даже „перешелъ черезъ край“ (Сочиненія и письма Гоголя V, 422). Неудивительно, что одновременно съ работою надъ вторымъ, третьимъ и четвертымъ отрывкомъ Гоголь набрасывалъ послѣднія страницы „Шинели“ и даже принялся за переписку начисто извѣстныхъ сценъ, получившихъ въ печати заглавіе „Отрывокъ“. На одной страницѣ того листа (съ фабричнымъ клеймомъ W. Kutschera), на которомъ написанъ четвертый отрывокъ „Тараса Бульбы“, оказалось начало „Отрывка“, тщательно написанное крупнымъ заглавнымъ шрифтомъ: „Комната въ Домѣ. Марья Петровна пожилыхъ лѣтъ и Михаилъ Андреевичъ, ея сынъ“. Если въ Россіи сюжетъ трагедіи

„*мниво держался въ оловѣ*“ Гоголя, не смотря на его рѣшительное желаніе „окончить такую вещь, какой, вѣрно, у него до сихъ поръ не было“¹, то это происходило, полагаемъ, отъ того, что поэтъ завлекалъ въ Москвѣ и Петербургѣ міръ, въ которомъ онъ уже давно не бывалъ, который уже смутно представлялся ему за границею — міръ петербургскаго свѣта, петербургскаго чиновничества. Гоголю, читавшему въ Москвѣ Аксаковымъ первыя шесть главъ „Мертвыхъ Душъ“ и „Тяжбу“², естественно было, на пути изъ Россіи въ Римъ, обратиться къ незаконченной „Шинели“, къ необработанному окончательнo „Отрывку“. По всѣмъ этимъ соображеніямъ, мы считаемъ весьма вѣроятнымъ, что второй и третій отрывокъ „Тараса Бульбы“ съ дополнительными къ нимъ приписками написаны въ Вѣнѣ, въ іюнѣ и іюлѣ 1840 года, одновременно съ четвертымъ отрывкомъ и съ окончаніемъ повѣсти „Шинель“. Жестокая болѣзнь, охватившая Гоголя въ Вѣнѣ, остановила всякія литературныя занятія его и только возвратившись въ Римъ (въ сентябрѣ?), онъ отдался продолженію начатыхъ трудовъ.

Въ Римѣ, не отрываясь отъ другихъ работъ, Гоголь приступилъ къ отдѣлкѣ всѣхъ четырехъ набросанныхъ отрывковъ. Судя по различнымъ фабричнымъ знакамъ бумаги, на лоскуткахъ которой писались дополненія и поправки къ этимъ наброскамъ, работа шла урывками, съ болѣе или менѣе значительными промежутками. Къ первой части перваго отрывка (стр. 577—585 настоящаго изданія) поэтъ написалъ довольно небольшое дополненіе (стр. 618) на бумагѣ съ воднымъ знакомъ J E S J. Шестъ листовъ этой же бумаги вошли въ составъ тетрадей, въ которыя переписана въ Римѣ начисто послѣдняя редакція „Женитьбы“ (листы 2, 3, 4, 5, 10, 41); на этой же бумагѣ написанъ черновой набросокъ для той же пьесы, начинающійся словами: „Ну, и служи“ (Рукоп. Моск. Публичнаго Музея № 2206). Кромѣ того при перепискѣ набѣло перваго отрывка въ него внесено было превосходное описаніе ночныхъ пожаровъ, уничтожавшихъ окрестности Дубна. Это описаніе переписано было, пока съ самыми ничтожными поправками, изъ „Миргорода“. (Ср. страницу 459-ю перваго тома настоящаго изданія съ стр. 428-ю пятаго тома). Только при окончательной редакціи послѣдовали въ этомъ описаніи болѣе значительныя измѣненія (ср. стр. 289-ю перваго тома). О припискахъ ко второму

¹ Сочиненія и письма Гоголя V, 423. ² Русь, 1880 г., № 6, стр. 16.

отрывку скажемъ ниже. Дополнительныхъ приписокъ къ третьему отрывку въ бумагахъ Гоголя не оказалось. Въ четвертомъ отрывкѣ оставался промежутокъ¹, который необходимо было восполнить: вставка набросана была на полулистѣ бумаги съ водяными буквами N M². На этой же бумагѣ переписать „Отрывокъ“, копию котораго Гоголь началъ было заниматься въ Вѣнѣ; четыре листа этой бумаги вошли въ составъ второй тетради, въ которую была вписана послѣдняя редакція „Женитьбы“. Сдѣлавши эти дополненія, Гоголь приступилъ къ сведенію въ одно цѣлое приписокъ и первоначальнаго текста, т. е. къ редакціи четырехъ отрывковъ и къ перепискѣ оной начисто въ тетради изъ свѣтло-голубой писчей бумаги. Переписка набѣло новой редакціи „Тараса Бульбы“ началась прямо съ перваго отрывка, составившаго *впослѣдствіи* пятую главу повѣсти — доказательство, что предшествующія главы оной не были еще переработаны въ Римѣ, *не были готовы для переписки набѣло*. Выработанный текстъ отрывковъ переписывался въ эти тетради поэтомъ собственноручно; мѣста, законченныя и исправленныя въ особыхъ припискахъ, редижировались *при самой перепискѣ*: до насъ, по крайней мѣрѣ, не дошло какого-нибудь посредствующаго списка или хотя бы указанія на него. Эта же самая свѣтло-голубая бумага употреблена была для набросковъ *послѣднихъ страницъ первой части „Мертвыхъ Душъ“ въ первоначальной редакціи*; а время сочиненія этихъ послѣднихъ страницъ не трудно приблизительно опредѣлить. На двухъ полулистахъ этой свѣтло-голубой бумаги помѣщены между прочимъ три наброска для „Мертвыхъ Душъ“: 1) „Какое странное, и манящее, и несущее, отдаленно-чудесное въ словѣ дорога“ и т. д. 2) „Эхъ тройка, птица тройка, кто тебя выдумалъ?“ и т. д. 3) „Пистъ Пистовичъ³ былъ характера самаго кроткаго“. (Рук. Моск. Публ. Музея № 2205). Эти три наброска, конечно не разъ передѣланные и измѣненные, нашли себѣ мѣсто на послѣднихъ страницахъ первой части „Мертвыхъ Душъ“. Они написаны, по нашему мнѣнію, въ ноябрѣ или въ началѣ декабря 1840 года. 28 декабря этого года Гоголь писалъ С. Т. Аксакову: „Я теперь приготавливаю къ совершенной очисткѣ

¹ Ср. выше стр. 609: «показались бы чубастия запорожскія головы» — «Какъ же, кошевой?» ² На другой, оторванной половинѣ листа долженъ находиться фабричный знакъ: птица въ кругѣ со сжатими крыльями и поднятою лапою. См. въ снимкахъ при этомъ томѣ N 5. ³ Въ послѣдующей редакціи эти два слова замѣнены словами: «Кифа Мокіевичъ».

первый томъ „Мертвыхъ Душъ“. Переменяю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе“ (Сочиненія и письма Гоголя V, 426). Въ этомъ же письмѣ у Гоголя вырывается искреннее восклицаніе: „О, если бѣ я имѣлъ возможность всякое *то* сдѣлать какую-нибудь *дальнюю, дальнюю дорогу!* Дорога удивительно *спасительна* для меня!“ (Тамъ же, стран. 427). Еще въ *октябрь*, только что усѣвшись въ Римѣ послѣ болѣзни, Гоголь сообщаетъ Погодину о выдержанной имъ болѣзни въ Вѣнѣ: „Умереть среди нѣмцевъ мнѣ показалось страшно. Я велѣлъ себя посадить въ дилижансъ и везти въ Италію. Добравшись до Триеста, я себя почувствовалъ лучше. *Дорога, мое единственное лекарство, оказала и на этотъ разъ свое дѣйствіе.* Я могъ уже двигаться“. Затѣмъ поэтъ высказываетъ Погодину желаніе отправиться въ *дальнюю* дорогу почти *въ тѣхъ же словахъ*, какъ и Аксакову, въ письмѣ, посланномъ черезъ два мѣсяца: „О, какъ бы мнѣ въ это время хотѣлось сдѣлать какую-нибудь *дальнюю дорогу!* Я чувствовалъ, я зналъ и знаю, что я бы восстановленъ былъ тогда совершенно. Но я не имѣлъ никакихъ средствъ ѣхать куда либо. Съ какою бы радостью я сдѣлался фельдъегеремъ, *курьеромъ даже на русскую перекладную*, и отважился бы даже въ Камчатку, — чѣмъ дальше, тѣмъ лучше. Клянусь, я бы былъ здоровъ..... Ни Римъ, ни небо, ни то, что такъ бы причаровало меня, ничто не имѣетъ теперь на меня вліянія. Я ихъ не вижу, не чувствую. Мнѣ бы дорога теперь, да дорога въ дождь, слякоть, черезъ лѣса, черезъ степи, на край свѣта!“ (Сочиненія и письма Гоголя V, 418—419). Въ письмѣ къ Аксакову отъ 9 ноября 1840 года Пановъ, сообщая о болѣзненномъ состояніи Гоголя, прибавляетъ: „Теперь онъ тѣшитъ себя другою мыслию: онъ убѣжденъ, что, для поправленія своего здоровья, ему необходимо сдѣлать *огромное путешествіе*, жалѣетъ, что слишкомъ скоро пріѣхалъ въ Римъ, *и хотѣлъ бы, чтобъ его теперь курьеромъ отправили въ Камчатку*, разумѣется, съ возвратомъ“ (Тамъ же, стран. 424). Цѣлые три мѣсяца мечты Гоголя прикованы были къ *далекой* дорогѣ, на *русскихъ перекладныхъ*, черезъ лѣса, черезъ степи, и въ это-то время онъ набрасываетъ для „Мертвыхъ Душъ“, для этого хранилища своихъ чувствъ и думъ, на той блѣдно-голубой бумагѣ, искренній, выстрадавший панегирикъ — дорогѣ: „Какое странное и *манящее*, и несущее, *отдаленно-чудесное* въ словѣ дорога!“ Въ наброскѣ слышатся еще трогательныя признанія полубольнаго поэта: „Ясиѣ зеркала не-

бесное пространство и луна, красавица моя. Старинная моя вѣрнал любовница, что глядишь ты на меня съ такою думою, такъ любовно и умильно, и нѣжишь меня, душа моя? Твои ласки¹ родственнѣ душѣ моей, чѣмъ всѣ другія ласки. Какая невидимая толпа друзей, поцѣлуевъ, рѣчей и пѣсней въ твоємъ полномъ, обнимающемъ сіяніи! Музыка и пѣсня, — колыбельная пѣсня убаюкиваетъ меня“. Приуроченный къ одному изъ послѣднихъ двухъ мѣсяцевъ 1840 года этотъ въ полномъ смыслѣ слова „лирический“ отрывокъ получаетъ автобіографическое значеніе. На той же свѣтло-голубой бумагѣ набросанъ и другой, примыкающій къ предшествующему отрывокъ: „Эхъ, тройка, птица-тройка!“ — отрывокъ, невольно напоминающій читателю послѣдній доскутокъ въ „Запискахъ“ Поприщина. Къ этому же времени относятся первыя тетради свѣтло-голубой бумаги, въ которыя Гоголь началъ переписывать набѣло выработанные имъ четыре отрывка новой редакціи „Тараса Бульбы“. На это указываетъ не одно тождество бумаги этихъ тетрадей съ бумагою, на которой написаны вышеуказанные наброски для перваго тома „Мертвыхъ Душъ“. Въ одинъ день съ письмомъ Аксакову (28 декабря 1840 г.) Гоголь пишетъ и Погодину о своихъ занятіяхъ: „Занимаюсь переправками, выправками и даже *продолженіемъ* „Мертвыхъ Душъ“..... Если только мое свѣжее состояніе продолжится до весны или лѣта, то, можетъ быть, *мнѣ удастся еще приготовить что-нибудь къ печати, кромѣ перваго тома „Мертвыхъ Душъ“* (Сочиненія и письма Гоголя V, 428). Приготовлялась къ печати, между прочимъ, новая редакція „Тараса Бульбы“. Редакціонная обработка и переписка набѣло четырехъ отрывковъ новой редакціи „Тараса Бульбы“, начатая въ одинъ изъ двухъ послѣднихъ мѣсяцевъ 1840 года, не была окончена, какъ увидимъ, къ сентябрю 1841 года, когда Гоголь поѣхалъ въ Россію печатать первый томъ „Мертвыхъ Душъ“.

Тетради свѣтло-голубой бумаги, въ которыя переписывались набѣло четыре отрывка новой редакціи повѣсти, вмѣстѣ съ другими тетрадями и листами, относящимися къ той же редакціи, сохранились въ бумагахъ друга и товарища Гоголя — Н. Я. Прокоповича; послѣ смерти послѣдняго они приобрѣтены были отъ наслѣдниковъ его гр. Куселевымъ-Безбородко и пожертвованы въ Лицей князя Безбородко. Нынѣ они составляютъ собственность

¹ Въ рукописи только: «Тво».

Нѣжинскаго историко-филологическаго института, который возникъ изъ прежняго Лицея. Выдѣлимъ сначала изъ этихъ *случайно* соединенныхъ въ одинъ переплетъ листовъ и тетрадей тѣ, которыя написаны на свѣтло-голубой заграничной бумагѣ, безъ особыхъ фабричныхъ клеймъ. Форматъ и цвѣтъ бумаги не одинаковый въ этихъ тетрадяхъ: въ нѣкоторыхъ бумага свѣтлѣе, хотя тоже голубаго цвѣта, а форматъ нѣсколько болѣе формата другихъ тетрадей. Всѣхъ тетрадей голубой бумаги пять.

1) Первая тетрадь состоитъ изъ трехъ листовъ, или 12 четвертокъ, меньшаго формата; исписана вся, кромѣ послѣдней страницы. Тетрадь занята первою частью перваго отрывка. Начало: „Скоро весь польскій западъ сдѣлался добычею страха“; конецъ: „вслѣдъ за нею Андрій, нагнувшись, сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться съ своими мѣшками; и скоро очутились оба въ совершенной темнотѣ“. Сдѣлавши изъ этой части перваго отрывка цѣлую главу, Гоголь отмѣтилъ ее, при перепискѣ набѣло, цифрою VI. Такъ какъ предшествующія главы повѣсти въ то время не подверглись еще окончательной переработкѣ, то авторъ не могъ съ точностію опредѣлить, сколько главъ выработается изъ первыхъ трехъ первоначальной редакціи и поставилъ цифру VI наугадъ: въ черновомъ наброскѣ не поставлено никакой цифры.

2) Вторая тетрадь, изъ этой же бумаги, состоитъ теперь изъ *девяти* четвертокъ. Она сложена была не менѣе, какъ изъ $2\frac{1}{2}$ листовъ, или *десяти* четвертокъ. Подъ цифрою V, поставленною надъ второю частью перваго отрывка въ черновомъ наброскѣ (стр. 585), начинается здѣсь слѣдующая глава словами: „Андрій едва двигался въ (узкомъ) темномъ и узкомъ земляномъ коридорѣ“. Тетрадь оканчивается словами: „и не снимая съ лица платка, чтобы не видѣть ее сокрушительной грусти“. Четвертка, вырѣзанная изъ описываемой тетради и уцѣлѣвшая въ бумагахъ А. А. Иванова, будучи приложена къ обрѣзку въ корнѣ этой тетради, совершенно подошла къ нему: уцѣлѣвшіе на обрѣзкѣ нѣжинской рукописи слоги и буквы слились съ начальными буквами указанной четвертки и составили полныя слова. На вырѣзанной четверткѣ переписанъ былъ набѣло конецъ главы, внесенной во вторую тетрадь (стран. 620—621): онъ составленъ былъ по тексту *второго отрывка* и сдѣланныхъ къ нему приписокъ (стран. 592—594).

Но въ текстъ, уже переписанный набѣло, вставлена новая подробность, которой не было ни въ первоначальномъ наброскѣ вто-

раго отрывка, ни въ позднѣйшихъ дополненіяхъ къ нему. Эта новая черта, разъясненная въ бѣловомъ текстѣ позднѣйшею припискою сверху строки, выражена въ слѣдующихъ словахъ: „Почти остолбенѣвъ, глядѣла она (полячка) ему въ очи, и вдругъ зарыдала, и съ чудною женскою стремительностью кинулась къ нему на шею“ (стран. 620). Когда Гоголь писалъ эти строки, не предносился ли ему образъ Улиньки? Поэтъ характеризуетъ послѣднюю словами: „Было въ ней что-то стремительное“. Позднѣйшая приписка разъясняетъ „стремительность“ полячки словами: „на которую бываетъ способна одна только безразсечно-великодушная женщина“. Уже въ черновой редакціи втораго тома „Мертвыхъ Душъ“ Улинька характеризуется такъ: „Если бы кто увидалъ, какъ внезапный гнѣвъ собиралъ вдругъ строгія морщины на прекрасномъ челѣ ея и какъ она спорила пылко съ отцомъ своимъ, онъ бы подумалъ, что это было капризнѣйшее созданье. Но гнѣвъ бывалъ у нея только тогда, когда она слышала о какой бы то ни было несправедливости или жестокомъ поступкѣ съ кѣмъ бы то ни было. Но какъ вдругъ исчезнулъ бы этотъ гнѣвъ, если бы она увидѣла того самаго, на кого гнѣвалась, въ несчастіи! Какъ бы вдругъ бросила она ему свой кошелекъ, не размышляя, умно ли это, или мучно, и разорвала на себѣ платье для перевязки, если бъ онъ былъ раненъ!“ (Ср. III, 297—298). Та вырѣзанная изъ Нѣжинской рукописи „Тараса Бульбы“ четвертка, на которой появилась въ первый разъ новая, и едва ли не единственная черта нравственной образа красавицы полячки, покрылась текстомъ повѣсти не ранѣе первой половины 1841 года; второй томъ „Мертвыхъ Душъ“ уже набрасывался на бумагу въ это время (Анненкова, Воспоминанія и критическіе очерки I, 202). Характерныя черты Улиньки — „стремительность“ и „безразсечное великодушіе“ перенесли на образъ „прекрасной полячки, обворожившей Андрія“.....

Переписанное набѣло заключеніе главы оканчивалось еще словами: „и то едва одному изъ цѣлой тысячи“. Поэтъ не былъ доволенъ этимъ заключеніемъ и всею сценою свиданія и объясненія Андрія съ прекрасною полячкою. Вырѣзавши указанную четвертку изъ главы, уже переписанной набѣло, Гоголь принялся дополнять и передѣлывать указанную сцену. Она долго ему не давалась. Не разъ возвращался онъ къ ней, набрасывая все новыя версіи. Четыре новыхъ наброска, сдѣланныхъ въ разное время то чернилами, то карандашомъ, на разной бумагѣ (стран. 620—

622), послужили матеріаломъ для новой редакціи трудной сцены. Это *новое* окончаніе главы, помѣченной *пятою*, переписано было набѣло на листѣ тоже голубой бумаги, но посвѣтлѣй и большаго формата, чѣмъ вырѣзанная четвертка, и заняло въ немъ шесть съ половиною страницъ. Листъ присоединенъ былъ ко второй тетради, на мѣсто вырѣзанной четвертки. Начало: „Скажи мнѣ одно слово!“ сказалъ Андрій“. Конецъ: „И въ семь обоюдно-слиянномъ поцѣлуѣ ощутилось то, что разъ только въ жизни дается чувствовать человѣку, и то едва одному изъ тысячи. И погибъ козакъ! пропалъ для всего козацкаго рыцарства и своей славы! Не видать ему больше ни Запорожья, ни отцовскихъ хуторовъ своихъ, ни церкви Божьей! Украинѣ не видать тоже одного изъ храбрѣйшихъ и лучшихъ дѣтей своихъ, взявшихся защищать и хранить ея материнскую дряхлую старость. Много изумится все козачество, когда услышитъ о томъ, и задастъ онъ великую скорбь своему старому отцу, суровому Тарасу“. При окончательномъ просмотрѣ второй голубой тетради, прежде чѣмъ отдать ее для новой переписки писарю, Гоголю оставалось сдѣлать въ ней очень немного поправокъ; важнѣйшія изъ нихъ указаны въ „Примѣчаніяхъ и вариантахъ“ къ страницамъ 302—304.

3) Третья тетрадь свѣтло-голубой бумаги, такого же формата, какъ и двѣ предшествующія, состоитъ изъ четырехъ съ половиною листовъ, или восемнадцати четвертокъ. Исписана вся до послѣдней страницы. Въ эту тетрадь внесенъ весь третій отрывокъ, приведенный въ порядокъ и слитый съ приписками (стр. 594—608), и начало четвертаго (стр. 608—610), которымъ занята 16-я, 17-я и 18-я четвертки. Начало: „Большое движеніе происходило въ запорожскомъ таборѣ“. Конецъ: „но никому не хотѣлось также, чтобы кто-нибудь попрекнулъ ихъ, что не соблюли козацкой чести“. Помѣтивши наугадъ первую часть перваго отрывка VI главою, Гоголь соотвѣтственно этому помѣчаетъ третій отрывокъ цифрою VIII, оставляя за второю частью перваго отрывка и слитымъ съ нею въ одну главу вторымъ отрывкомъ ту цифру, которая поставлена была надъ ними въ черновомъ наброскѣ — цифру V, продолжая въ то же время считать эту главу *седьмою*.

4) Четвертая тетрадь сложена изъ другой бумаги, голубоватой, но нѣсколько большаго формата, т. е. точно такой, какъ листъ, присоединенный ко второй тетради взамѣнъ вырѣзанной четвертки. Можетъ быть, и эта тетрадь замѣнила уничтоженную те-

традь свѣтло-голубоватой бумаги меньшаго формата, на которой переписывались набѣло четыре отрывка новой редакціи, потому что слѣдующая тетрадь состоитъ изъ той же свѣтло-голубой бумаги, изъ которой сложены и первыя три тетради. Четвертая тетрадь состоитъ изъ трехъ листовъ (12 четвертокъ). Послѣдняя страница очень пострадала отъ продолжительнаго, повидимому, лежанія неприкрытою: поля — боковое, верхнее и нижнее, занятыя текстомъ, пожелтѣли и запылились. Тетрадь занята окончаніемъ *четвертаго* отрывка и началомъ новой главы, черновыхъ набросковъ которой въ бумагахъ А. А. Иванова не сохранилось. Начало: „Тогда вышелъ впередъ всѣхъ старѣйшій годами во всемъ запорожскомъ войскѣ козаць Бовдюгъ“ (стр. 610). Конецъ: „Мыкола Густый ворвался слѣдомъ за нимъ и вбился глубоко въ кучу; не подгадиль козацкой славы, изсѣкъ въ капусту первыхъ, которые по“. Новую главу Гоголь, соотвѣтственно принятому численію, помѣтилъ цифрою X. Она продолжается окончаніемъ недописаннаго слова („по — пались“) на *отдѣльномъ листѣ свѣтло-голубой бумаги* меньшаго формата и обрывается на словахъ: „и положили возлѣ него дубину, мало не въ пудъ вѣсомъ, чтобы всякой по силамъ своимъ....“ Черновыхъ набросковъ этой новой главы (подъ цифрою X) до насъ не дошло. Послѣднія четвертки описываемой тетради представляютъ впрочемъ переписанный набѣло подготовленный черновыми набросками оригиналь; но глава была не дописана, обработка не докончена: Гоголь отложилъ окончательную редакцію этой главы до другаго времени. Она, какъ увидимъ, совершена была въ Москвѣ. Дополнительный листъ къ четвертой тетради, не одинаковаго съ нею формата, началъ покрываться копіею прежнихъ набросковъ, кажется, въ Москвѣ. На это указываетъ форматъ и качество бумаги; это та самая бумага, на которой Гоголь *несомнѣнно въ Москвѣ* переписалъ набѣло неконченную въ Римѣ главу, къ которой относится и дополнительный, сдѣланный въ Москвѣ набросокъ, какъ увидимъ ниже.

Эту тетрадь (за исключеніемъ дополнительнаго листа) завершилось все приготовленное Гоголемъ *въ Римѣ* для новой редакціи „Тараса Бульбы“. Незаконченное здѣсь поэтъ отчасти написалъ, отчасти привелъ въ порядокъ и переписалъ набѣло въ Москвѣ, въ концѣ 1841 и въ началѣ 1842 года. Та же рукопись Нѣжинскаго историко-филологическаго института сохранила намъ работы этого послѣдняго періода въ исторіи повѣсти. Въ этой рукописи

кроме описанных четырех тетрадей переплетены: одна тетрадь на такой же заграничной голубой бумаге, как и описанные, и несколько тетрадей желтой писчей бумаги с клеймом (конечно, на некоторых полулистах¹) „Знаменской фабрики“, — бумаги, которую Гоголь употребил и для переписки в Москву, в указанное время, новой редакцией „Портрета“, появившейся в 1842 году, сначала в „Современникъ“ Плетнева, потом в первом издании „Сочинений Николая Гоголя“.

Разсмотрим сначала те отрывки новой редакции „Тараса Бульбы“, которые написаны на бумаге „Знаменской фабрики“.

Здесь относятся: 1) Три листа, перегнутые пополам в форме тетради in 4°; из 12 четверток исписаны только семь первых страниц и первая страница восьмой. На указанных страницах помещено начало первой главы „Тараса Бульбы“ до слов: „и пришел усталый от своих забот“ включительно. Эта новая редакция начала первой главы составила так: на текст первоначальной редакции, напечатанной в „Миргородѣ“, нанесены в кроме того приписаны к нему те *немногие* дополнения и изменения, которые были сделаны при переработке повести и указаны нами выше (стр. 569—572). 2) Два листа той же бумаги, сложенных так же; из восьми четверток исписано семь; вторая страница седьмой четвертки до половины пустая. Начало: „Съчь состояла из 60 слишком куреней“; конец: „Старшины казались изумленными (такими) от таких рѣчей. Наконец кошевой вышел вперед и сказал: „Позвольте, панове запорожцы, рѣчь держать!“ — „Держи!“ — Это — вновь *написанный* отрывок об обычаях Съчи, жизни козаков и свержении негодного Бульбы кошевого, *приготовленный* для вставки в третью главу печатной редакции повести и разобранный нами выше (стр. 572). (Разсказа о выборе нового кошевого *иттз* в Нѣжинской рукописи). 3) Лист такой же бумаги; исписаны только две первые четвертки. Начало отрывка: „Все с совету всех старшин, куренных и кошевого, с воли всего запорожского войска положили итти прямо на Польшу“. Конец: „Пожаль (только) плечами Тарасъ Бульба (и отѣхаль к табору), подивился бойкой жидовской натурѣ и

¹ В пакѣ из шести листов только верхние шесть полулистов носят знак «Знаменск. фабр.»; шесть задних листов не имеют этого оттиска выпуклого фабричного клейма.

отъѣхалъ къ табору⁴. Это также отрывокъ, приготовленный для замѣны послѣднихъ страницъ прежней *третьей главы*, но, какъ и предшествующій, пока еще не связанный съ нею. Измѣненія, сдѣланныя при новой редакціи въ срединѣ третьей главы, т. е. между только-что приведеннымъ и предшествующимъ ему наброскомъ, не уцѣлѣли въ особомъ спискѣ. Слѣдуетъ, однако, предположить, что они приготовлены были также въ Россіи. 4) Наконецъ, на внутреннихъ страницахъ перегнутаго пополамъ полулиста той же желтой бумаги написаны два наброска *черновые*, т. е. не переписанные по готовому тексту, а *вновь сочиненные*. Первый относится къ повѣсти „Тарасъ Бульба“, второй — къ первому тому „Мертвыхъ Душъ“. Представляемъ сначала первый набросокъ въ той неоконченной формѣ, въ какой сохранила его рукопись: „Всѣ пришли въ ярость козаки. „Отмщайте за товарищей, братцы!“ кричалъ Тарасъ¹: „вбивайте въ ряды и отымайте и не давайте!“ Но больше всѣхъ закипѣлъ гнѣвомъ куренный атаманъ Кукубенко. Еще молодой² былъ онъ, но многихъ, многихъ рыцарскихъ³ былъ полонъ козака. Въ любви и почетѣ былъ отъ всѣхъ козаковъ п.⁴ бы никогда Незамайковецъ. Вбился онъ съ⁵ своими остальными въ самую середину и въ гнѣвъ первого попавшагося изсѣкъ въ капусту вмѣстѣ съ конемъ, досталъ и того и другаго, протискался къ пушкѣ и отбивалъ уже. А уже тамъ, видить, хлопочетъ уманскій курень, и ужъ Степанъ Гуска отбивалъ главную пушку. Оставилъ онъ тѣхъ козаковъ и поворотилъ съ своими къ гущи⁶. Тамъ, гдѣ прошли козаки, такъ тамъ и улица; гдѣ поворотились, такъ ужъ тамъ и переулокъ⁷. А у воевъ у самыхъ Вовтузенъко и съ переди Черевиченько. А тамъ далеко, подальше, у самыхъ дальнихъ воевъ Дюгтяренко, куренный атаманъ, четверыхъ отбилъ и поднялъ на копьѣ двухъ шляхтичей. Да недолго⁸, и уже сѣпился одинъ на одинъ съ уверт... увертливаго и вѣркаго. Изъ знатнаго былъ рода и кругомъ былъ увѣщенъ дорогою збруею и пятьдесятъ однихъ слугъ

¹ Сверху этой фразы приписано: «А ну, братцы товарищи, закричалъ». ² Слово написано неразборчиво и невѣрно; «молодой?» ³ Затѣмъ какое-то слово пропущено. ⁴ Точки на мѣстѣ неразобраннаго слова. ⁵ Слово «съ» пропущено. ⁶ Въ рукописи пропущено слово «къ». Въ печатномъ текстѣ: «и поворотилъ съ своими въ другую неприятельскую гущу». ⁷ Сверху строки приписано: «Какъ снои (повалились на обѣ». Фраза не дописана и замѣнена помѣщенной на полѣ: «Такъ ужъ и видно, какъ рѣдѣетъ куча и валать (sic!) снопами лахи». ⁸ Затѣмъ пропущено слово.

было съ нимъ. Нагнулъ онъ Дегтяренко. „Нѣтъ изъ собакъ козаковъ ни одного, кто бы посмѣлъ противустать мнѣ“, кричалъ и притиснулъ крѣпко. „А вотъ есть же!“ сказалъ и выступилъ впередъ Мосій Шило. Сильный былъ онъ козакъ. Уже не разъ атаманствовалъ онъ на морѣ и много натерпѣлся всякихъ.....¹ Схватили ихъ турки у самаго Трапеземента (sic!) и забрали всѣхъ (плѣнниками =) невольниками на корабль.....² „Такъ есть же такіе, которые бьютъ васъ собакъ!“ сказалъ онъ, кинувшись, и ужъ то-то рубились они! И наплечники, и зеркала погнулись у обонхъ отъ ударовъ. Уже вражій ляхъ разрубилъ на немъ желѣзную рубаху и вбилъ ему суровый.....³ въ самое⁴: зачервонила козацкая рубаха. Но не поглядѣлъ на то (козакъ) Шило; а замахнулся всей жилостною рукою [тяжела была коренастая рука] и оглушилъ его незапно по головѣ. Разлетѣлась мѣдная шапка, зашатался и гранулся ляхъ. А Шило тутъ же оглушеннаго принялся рубить и хрестить. Ей, козакъ! обратись назадъ, не добивай врага!... Не оборотился козакъ, а тѣмъ часомъ одинъ изъ услугъ (sic!) убитаго хватилъ его длиннымъ ножомъ въ шею: повернулся козакъ, и ужъ досталось бы смѣльчаку; но онъ пропалъ въ пороховомъ дымѣ. Со всѣхъ сторонъ поднялось хлопанье изъ самопаловъ. Пошатнулся Шило и почувялъ, что смертная была та рана. Упалъ онъ и закрылъ рукою рану, чтобы оборотиться къ своимъ: „Прощайте, паны братья товарищи! Пусть на вѣки вѣковъ будетъ слава православной русской землѣ и на (страхъ проклятымъ врагамъ) пагубу всѣмъ христовымъ врагамъ!“ И зажмурилъ ослабіиѣ глаза и (умеръ козакъ) поникъ головою“.

На второй внутренней страницѣ того же полулиста набросанъ слѣдующій *черновой* отрывокъ для перваго тома „Мертвыхъ Душъ“: „Я слышу, что кто-то подѣхалъ“, говорила хозяйка. — „Я нарочно“, говорила В.

„Ну, какъ же я рада!...“ Окончанія не было договорено. Она (схватила) усадила пріятную даму тотъ же часъ на диванъ въ самый уголъ и запахнула ей за спину подушку, на которой былъ вышитъ рыцарь такимъ образомъ, какъ вышивается онъ по канвѣ: послѣ стнницей, а губы четверугольникомъ.

Пріятная дама, поблагодаривъ за доброту, уже было открыла ротъ съ тѣмъ, чтобъ (рассказать) скорѣй начать новость, съ ко-

¹ Точки на мѣстѣ пропущеннаго слова. ² Рассказъ не конченъ. ³ Точки на мѣстѣ пропущеннаго слова. ⁴ Затѣмъ пропущено слово.

торую она прѣхала, какъ вдругъ дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ издала восклицаніе, которое вдругъ дало другое направленіе разговору (и онъ нѣкоторое время).

„Но, мнѣ кажется... это пестро“.

„Ахъ, нѣтъ! (Ахъ, нѣтъ!) Совсѣмъ не пестро! Ни чуть не пестро!“

„Нѣтъ, право, какъ вы ни говорите....“

„Глазки и лапки, глазки и лапки... потомъ голобой (sic!) фонъ, черезъ полосочка, — право, пестро“.

„Не думаю я и не могу сказать, что бы это могло быть“.

Если мы выяснимъ отношеніе этого наброска къ *предшествовавшей* ему редакціи соотвѣтствующаго мѣста „Мертвыхъ Душъ“ и къ *слѣдующей* редакціи того же мѣста, обусловленной этимъ наброскомъ, то мы получимъ возможность довольно точно опредѣлять время и мѣсто сочиненія этого наброска. Въ той рукописи перваго тома „Мертвыхъ Душъ“, которую Гоголь, прѣхавши въ сентябрѣ 1841 г. въ Москву, отдалъ *переписывать* набѣло для цензуры¹, соотвѣтствующее мѣсто IX-й главы поэмы имѣло такой видъ: „Сюда, сюда, вотъ въ этотъ уголочекъ!“ говорила хозяйка, усаживая гостя въ уголъ дивана, гдѣ лежали двѣ шитыя подушки. На одной изъ нихъ былъ рыцарь, у котораго носъ вышелъ лѣстницею, а губы четверугольникомъ. „Какъ же я рада, что вы..... Я слышу, кто-то подѣхалъ, да думаю себѣ, кто бы могъ такъ рано? Параша говорить — вицегубернаторша, а я говорю: „Ну, вотъ опять прѣхала дура надоѣдать“, и ужъ хотѣла сказать, что меня нѣтъ дома.... Возьмите — вотъ вамъ моя подушка! Подложите ее подъ себя!“

„Благодарю васъ, благодарю, Анна Григорьевна! Вы такъ добры.... Мнѣ очень хорошо и такъ.... Диванъ у васъ самый.... Ахъ, Анна Григорьевна! если бы только знали, съ чѣмъ я къ вамъ прѣхала....“ Выговоривши это, просто пріятная дама почувствовала, что у ней захватилось дыханье отъ нетерпѣнія скорѣе приступить къ дѣлу. Но восклицаніе, которое издала въ это время дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ, вдругъ дало другое направленіе разговору.

„Какой веселенькій ситецъ!“ воскликнула во всѣхъ отношеніяхъ пріятная дама, глядя на платье просто пріятной дамы.

¹ Эта рукопись находилась прежде въ «Древлехранилищѣ Погодана»; теперь принадлежитъ Императорской Публичной Библіотекѣ.

„Да, веселенькій. Прасковья Федоровна находитъ, что лучше, если бы клѣточки были помельче и чтобы не коричневыя крапинки были бы, а голубыя. Сестрѣ я привезла матерійку: это такое очарованье, котораго, просто, нельзя выразить словами. Вообразите себѣ: полосочки узенькія, узенькія, какія только можетъ представить воображеніе человѣческое, фонъ голубой, и черезъ полоску все глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки..... Словомъ, безподобно! Можно сказать рѣшительно, что ничего еще не было подобнаго на свѣтѣ“.

„Но это, однакожь, мнѣ кажется, черезъ чуръ пестро. Не будетъ, понимаете, такого тонкаго благородства“.

Нужно замѣтить, что во всѣхъ отношеніяхъ пріятная дама была отчасти матеріалистка, склонна къ отрицанію и сомнѣнію, и отвергала весьма многое въ жизни“.

Въ этомъ самомъ видѣ приведенное мѣсто и было переписано писцомъ въ рукопись, назначенную для цензуры. Но Гоголь внесъ въ цензурную рукопись набросокъ, попавшій на одинъ поллисть съ наброскомъ для „Тараса Бульбы“.

Въ рукописи „Мертвыхъ Душъ“, приготовленной для цензуры, поэтъ 1) зачеркнулъ карандашомъ слова: „гдѣ лежали двѣ шитыя шерстью подушки; на одной изъ нихъ“; выскоблилъ продолженіе начатой фразы до словъ: „носъ вышелъ лѣстницею“; сверху словъ зачеркнутыхъ и выскобленныхъ собственноручно написалъ чернилами: „Вотъ такъ! вотъ такъ! вотъ вамъ и подушка! Сказавши это, она записнула ей за спину подушку, на которой былъ вышитъ шерстью рыцаръ такимъ образомъ, какъ ихъ всегда вышиваютъ по канвѣ“. Напечатанное курсивомъ внесено изъ наброска съ легкимъ измѣненіемъ послѣдняго предложенія въ наброскѣ: „какъ вышивается онъ по канвѣ“. 2) Далѣе Гоголь зачеркнулъ въ цензурной рукописи карандашомъ десять строкъ: „Возьмите, вотъ вамъ мои подушка“ — „что у ней захватилось дыханье отъ нетерпѣнья скорѣе приступить къ дѣлу“. вмѣсто зачеркнутаго приписано карандашомъ, снова на основаніи наброска: „Гостыя уже хотѣла было приступить къ дѣлу и сообщить новость“. 3) Наконецъ, въ цензурной рукописи зачеркнуты слѣдующія строки: „Но это, однакожь, мнѣ кажется черезъ-чуръ пестро; не будетъ, понимаете, этакого тонкаго благородства“. Сверху зачеркнутыхъ

¹ Рукопись фундаментальной бібліотеки Императорскаго Московскаго Университета, 1 R y 399.

строкъ Гоголь собственноручно написалъ карандашомъ, на основаніи наброска:

„Милая, это пестро“.

„Ахъ, нѣтъ! не пестро“.

„Ахъ, пестро!“

Рукопись „Мертвыхъ Душъ“ начали переписывать для цензуры въ ноябрѣ 1841 г.; переписка была кончена въ декабрѣ, слѣд. въ этотъ промежутокъ времени написанъ приведенный набросокъ къ IX главѣ „Мертвыхъ Душъ“. Къ этому же времени слѣдуетъ отнести и помѣщенный съ нимъ на одномъ полулистѣ набросокъ для „Тараса Бульбы“.

Этотъ набросокъ непосредственно примыкаетъ къ неоконченному эпизоду, на которомъ оборвалась въ Римѣ новая глава, написанная начерно въ четвертой голубоватой тетради и присоединенномъ къ ней листѣ свѣтло-голубой бумаги. Эта глава не была кончена въ Римѣ. Пріѣхавши въ Москву, Гоголь приступилъ къ продолженію главы, оборвавшейся на эпизодѣ о смерти бывшего атамана Закрутыгубы. Передѣлка этого эпизода начата была раньше, — можетъ быть, еще въ Римѣ; она коснулась одного *начала* эпизода: „Завидѣлъ Иванъ Закрутыгуба, что уже могучая голова Мыколы выкинута на копьѣ передъ войскомъ, кинулся впередъ, какъ юродный волеъ выдается на *баранье стадо*“ (ср. выше, стран. 497). Передѣлка ограничилась небольшимъ карандашнымъ наброскомъ надъ строками прежняго текста: „какъ *осеннею порою*¹ волеъ юродный выдается въ овчарню, позабывъ, безумный, про то, что есть лихія собаки въ стадѣ и что не даромъ приставленъ расторопный пастухъ, — кинулся, не глядя ни на что, и идъ ни замаснулъ (скулистою) ни свиснулъ тогда саблей въ широкой скулистой рукъ....., тамъ (рѣдѣлъ) какъ снопы ложились..... тамъ червон.... кровавил. цѣп..... цвѣтами. Уже много посыпалось на нею сабельныхъ ударовъ, изрубили на немъ рубашку, потлеча тѣло отнесли, (Пули) горячую пулю посадили ему, да все еще леталъ козакъ на конь окровавленный..... ударомъ, наконецъ грянулся на землю, и тутъ же истребовали ея и изсыкли на мелкія части; а все еще успѣлъ сказать, проговорить..... не праздно умер....: „*пусть же вѣчно цвѣтетъ русская земля на грозу*“. Дополненіе это не принято было Гоголемъ

¹ Отличаемъ курсивомъ написанное сверху строкъ карандашомъ и ставимъ точки на мѣстѣ словъ, стершихся или неразобранныхъ.

въ этомъ мѣстѣ. Въ Москвѣ онъ принялся вновь переделывать эпизодъ. Неудавшаяся приписка карандашомъ замѣнена была начальными строками разбираемаго наброска: „всѣ пришли въ ярость козаки“— „А вотъ есть же“! сказалъ и выступилъ впередъ Мосій Шило (стр. 332). Итакъ, въ новомъ наброскѣ имя „Закрутыгубы“ замѣнено новымъ — „Мосій Шило“. Превосходный рассказъ, характеризующій прошедшее Закрутыгубы, былъ удержанъ; въ набросокъ внесено только новое введеніе къ этому рассказу: „Сильный былъ онъ козакъ. Уже не разъ атаманствовалъ онъ на морѣ и много натерпѣлся всякихъ.... Схватили ихъ Турки у самаго *Трапеземента* и забрали всѣхъ (плѣнниками) невольниками на корабль“.

Самый рассказъ исправленъ,— но не въ наброскѣ, а въ новомъ надстрочномъ текстѣ, приписанномъ на послѣднемъ листѣ свѣтло-голубой бумаги; имя „Закрутыгуба“ уже замѣнено и въ припискахъ именемъ „Мосія Шила“. Къ послѣднимъ словамъ прежняго текста: „чтобы всякой по силамъ своимъ отвѣсилъ“, прибавлена фраза: „Но не нашлось такого изъ всѣхъ Запорожцевъ, кто бы поднялъ на него дубину, помня его прежнія заслуги“. Эта небольшая прибавка не связала впрочемъ рассказъ со второю частью наброска, передъ которою онъ вставленъ: связующая фраза („Таковъ былъ козакъ Мосій Шило“) прибавлена была послѣ.

Рассказъ о томъ, какъ Закрутыгуба (= Мосій Шило) притворнымъ принятіемъ магометанства освободилъ своихъ товарищей козаковъ изъ неволи, съ галеры, выступившей изъ *Трапезонта*, основанъ на обширной думѣ „Самойло Кипка“, напечатанной Лукашевичемъ въ книгѣ „Малороссійскія и Червонорусскія народныя думы и пѣсни“¹. Въ дополнительномъ наброскѣ, написанномъ несомнѣнно въ Москвѣ одновременно съ разобранною выше припискою къ IX главѣ „Мертвыхъ Душъ“, *въ первый разъ* появляется въ рассказѣ Гоголя имя *Трапезонта* („Схватили ихъ турки у самаго Трапеземента“); въ первоначальномъ текстѣ эпизода *этою имени не было*. Дума о Самойлѣ Кошкѣ начинается словами:

«Ой изъ города изъ *Трапезонда* выступала галера».

¹ Эта длинная дума извѣстна до сихъ поръ только по тексту Лукашевича, который перепечатанъ *отсюда* въ «Сборникѣ украинскихъ пѣсенъ Максимовича» (стр. 31—48), въ «Историческихъ пѣсняхъ малорусскаго народа», изд. Антоновичемъ и Драгомановымъ (стр. 208—230), въ «Исторіи воссоединенія Руси» Кулиша (I, 342—355). Послѣдній издатель замѣтилъ: «Кобзарь, вмѣсто *потурнакъ*, пѣлъ *Бутурлакъ*, такъ какъ это слово потеряло уже значеніе въ памяти народа». Новая попытка приурочить эту думу къ историческому событію сдѣлана въ «Кіевской Старинѣ» 1883 г., кн. 6, стр. 212 слд.

Повидимому, „Малороссійскія пѣсни“, изданныя Лукашевичемъ, попали въ руки Гоголя только въ Москвѣ. По крайней мѣрѣ слѣды чтенія этого сборника остались и на другихъ страницахъ „Тараса Бульбы“, обработанныхъ и переписанныхъ въ Москвѣ. Начатая въ Римѣ глава, помѣченная тогда цифрою X, подверглась въ Москвѣ совершенной переработкѣ; листы голубоватой тетради, въ которую она была переписана набѣло, получили видъ черновой рукописи: страницы этой X главы испещрены нерѣдко двойнымъ рядомъ поправокъ — карандашомъ и очень черными чернилами, рѣзко отличающимися отъ желтоватыхъ чернилъ прежняго текста; поправки и дополненія иногда не укладываются сверху строкъ прежняго, зачеркнутаго текста и лѣнятся небольшими столбиками на поляхъ, такъ что трудно бываетъ опредѣлить мѣсто, которое они должны были, по плану автора, занять въ текстѣ новой редакціи. Такъ, съ правой стороны одной страницы помѣщены въ такомъ видѣ двѣ приписки, не умѣстившіяся въ текстѣ:

„Много перейдетъ всякаго войска и вѣчно не будетъ между ними одного милѣйшаго“.	будетъ сердечн всякій день выбѣгать на базаръ и хвататься за всѣхъ про- ходящъ распознавая каждого изъ нихъ въ очи. Нѣтъ ли межъ
---	--

Строки параллельны корню переплета. Приписки эти должны служить дополненіемъ и поправкою къ новому тексту, уже набросанному надъ строками: „и какъ грянула она, а за нею слѣдомъ три другія троекратно потрясли глухо-отвѣтную землю, много нанесли они горя! Не по одному козаку заплачетъ, ударяя себя въ дряхлыя перси, старая мать. Не одна останется вдова въ Немировѣ, Глуховѣ, Черниговѣ и въ другихъ городахъ на вѣчное жданье, выбѣгая всякій день на базаръ и тщательно распознавая всѣхъ путниковъ въ очи: нѣтъ ли между ними одного. Не будетъ между ними одного“. Приписка, очевидно, представляетъ обработку отрывковъ изъ разныхъ пѣсень. Начало приписки обнаруживаетъ подражаніе слѣдующимъ стихамъ пѣсни „о выходѣ на линію“:

У Глуховѣ у городѣ стрѣльнули зъ гарматы;
Не по одній козаченьку заплакала мати!

Конецъ приписки напоминаетъ пѣсню „Ивась Коновченко“, ко-

¹ Максимовича, Украинскія народныя пѣсни, стран. 111.

тору Гоголь уже воспользовался для характеристики охочекомонных: ¹

То вона (вдова) отъ сва вичивала,
 На базаръ выхожала,
 Котори старн жони то мужи совстрѣчала,
 Свѣй совъ повѣдала.....

То по суботѣ, третяго дня, Филошенко, Корсунскій волковникъ,
 До города Черкасъ со всѣмъ вѣйскомъ полавися.
 Скоро то старая удова то закувала.....
 Старого козака и младого о своемъ снаѣ питала.
 Первая сотня и другая наступае, вдова сына не видае² и т. д.

Приписка дополнена стихами изъ другихъ пѣсень, конечно, съ необходимыми измѣненіями и приспособленіями; наприм. Гоголь здѣсь же пользуется однимъ стихомъ изъ пѣсни, напечатанной Максимовичемъ въ „Украинскихъ народныхъ пѣсняхъ“ (стр. 96):

«Не по однімъ Ляху zostалася вдовица!»³

Въ этой же главѣ пещали получили эпитетъ, который они носятъ въ малорусскихъ пѣсняхъ — „семинадцатая“⁴.

Послѣдней и довольно значительной части неконченной (X) главы въ черновомъ текстѣ не сохранилось ни въ бумагахъ Иванова, ни въ бумагахъ Прокоповича: написанный въ Москвѣ, вѣроятно, также на лоскуткахъ, этотъ текстъ или затерялся въ бумагахъ Погодина, или былъ уничтоженъ авторомъ послѣ переписки набѣло.

Надобно полагать, что одновременно съ сочиненіемъ этой послѣдней части „Тараса Бульбы“ Гоголь вновь перерабатывалъ главы, уже переписанныя набѣло въ Римѣ. Это была третья и послѣдняя переработка новыхъ главъ повѣсти, т. е. 1) сначала были сдѣланы черновые наброски текста четырехъ отрывковъ (большею частію въ Вѣнѣ); 2) затѣмъ въ разное время набросаны дополненія къ нимъ, соединены

¹ Лукашевича, Малороссійскія и червоворусскія народныя думы и пѣсни, стр. 44—45.

² Малороссійскія и червоворусскія народныя думы и пѣсни, стр. 45. Ср. въ «Опытѣ собранія старинныхъ малороссійскихъ пѣсней» (стр. 35—36):

Скоро пилса того стали козаки табуръ знимати
 У города христіански уступати.

То вдова старенька —
 Мати Иваса Коновченка —
 Не у домн ся мала,

На базари солодкій медъ выставляла,
 Сына свого Иваса Коновченка выгладала.

³ Ср. Сборникъ украинскихъ пѣсней Максимовича (1849), стр. 96. ⁴ Ср. въ сборникѣ Лукашевича (стан. 46): «Изъ семинадцатыхъ пещалей гремали».

съ текстомъ въ одно цѣлое и переписаны набѣло и 3) наконецъ этотъ текстъ *вновь переработанъ* въ Москвѣ передъ окончательною перепискою набѣло для печати. Эта послѣдняя переработка коснулась, тѣхъ переписанныхъ набѣло главъ, которыя помѣчены были цифрами VI, VIII и IX; глава, удержавшая цифру черноваго наброска — V, не подверглась новой переработкѣ, такъ какъ она была существенно передѣлана *послѣ* переписки набѣло. Новая переработка трехъ указанныхъ главъ нанесена была Гоголемъ прямо на голубыя тетради, въ которыя переписаны были эти главы набѣло. Надъ зачеркнутыми строками бѣловаго текста появились строки новой редакціи, мѣстами въ очень значительномъ количествѣ. Кромѣ того, передъ пятою четвертою первой голубой тетради (см. стран. 658) вклеена одна четвертка желтой бумаги Знаменской фабрики. На этой четверткѣ написано *въ Москвѣ дополненіе* къ предшествующей страницѣ тетради. Оно начинается словами: „А между тѣмъ подо-спѣлъ Тарасовъ полкъ, приведенный Товкачемъ“; оканчивается такъ: „и глядѣлъ невольню на всю бывшую передъ нимъ картину“ (см. выше стран. 288). Въ приложеніи (стр. 454—498) мы напечатали вполнѣ *первоначальный* текстъ этихъ трехъ главъ, такъ какъ онъ былъ переписанъ авторомъ набѣло въ Римѣ: сравненіе этого текста съ новымъ, появившимся въ „Сочиненіяхъ Н. Гоголя“ (1842 г.), показываетъ, какимъ существеннымъ измѣненіямъ подвергся римскій текстъ „Тараса Бульбы“ при окончательномъ пересмотрѣ въ Москвѣ.

Позднѣ приступилъ Гоголь къ перепискѣ набѣло дополненій и измѣненій къ тѣмъ главамъ повѣсти, которыя при переработкѣ печатнаго текста испытали менѣе значительныя и, такъ сказать, частичныя измѣненія. Вторая глава „Тараса Бульбы“ совсѣмъ не переписывалась авторомъ: она удержала тотъ видъ, который имѣла въ „Миргородѣ“ и при изготовленіи бѣловаго списка для печати скопирована была съ печатнаго экземпляра. Новыя редакціонныя дополненія къ первой и третьей главѣ печатнаго текста „Тараса Бульбы“ переписаны Гоголемъ на бумагѣ Знаменской фабрики и разобраны нами выше; небольшія поправки, вѣроятно, вписывались въ печатный текстъ „Миргорода“. *Цѣликомъ* эти главы не были переписаны набѣло авторомъ. Главными пособиями при составленіи этихъ дополненій служили: 1) пѣсня объ Ивасѣ Коновченкѣ, по тексту Лукашевича, 2) Описаніе Украйны Боплана и 3) Исторія о козакахъ запорожскихъ вн. Мышецкаго. Сочиненіе Боплана изучено было Гоголемъ еще во время перваго пребыванія его въ Вѣнѣ

въ 1839 году, и важнѣйшія мѣста онаго, отмѣченныя въ конспектѣ поэта, были употреблены въ дѣло при составленіи дополненій, какъ первыхъ трехъ, такъ и другихъ главъ. Съ „Исторією о запорожскихъ козакахъ“, которая не была еще въ то время напечатана, Гоголь, можетъ быть, познакомился въ рукописи Погодинскаго древлехранилища¹. Увлеченный богатствомъ бытовыхъ чертъ Запорожья, которыми „Исторія“ выгодно отличается отъ малорусскихъ лѣтописцевъ, поэтъ дополнилъ ими свѣдѣнія, почерпнутыя изъ Боплана, и внесъ въ новую редакцію своей повѣсти.

Когда новая редакція первыхъ трехъ *печатныхъ* главъ „Тараса Бульбы“ была такимъ образомъ выработана и Гоголю пришлось раздѣлить прежнюю третью главу на двѣ (вслѣдствіе значительнаго ея распространенія), онъ, соотвѣтственно этому, исправилъ прежнюю цифровую помѣту, сдѣланную наугадъ: VI-я глава сдѣлалась теперь пятою, VIII-я — седьмою, IX-я — восьмою, X-я — девятою; глава, удержавшая по черновому наброску цифру V, сдѣлалась седьмою. Зачеркнувши на голубыхъ тетрадахъ прежнія цифры, Гоголь поставилъ рядомъ съ ними новыя, т. е. рядомъ съ зачеркнутою VI — написалъ V и т. д. Такъ какъ глава, отмѣченная имъ цифрою X, представляла видъ черноваго списка, въ которомъ писцу невозможно было ориентироваться, то Гоголь приступилъ къ перепискѣ этой главы набѣло и уже съ самаго начала поставилъ надъ нею настоящую ея цифру — IX. Эта глава составила новую (пятую) тетрадь, сохранившуюся въ Нѣжинской рукописи. Тетрадь состоитъ изъ 3¹/₂ листовъ (14 четвертокъ) свѣтло-голубой заграничной бумаги, такого же формата, какъ и бумага тетрадей первой, второй и четвертой. Въ тетради исписано 12 четвертокъ и первая страница 13-й. Начало: „IX. Въ городѣ не узналъ никто, что половина Запорожцевъ выступила въ погоню за Татарами;“ конецъ: „и туманъ покрылъ его очі“.

Окончивши переписку набѣло этой главы, Гоголь на листѣ писчей желтой бумаги (Знаменской фабрики) написалъ послѣднее редакціонное прибавленіе къ печатной редакціи „Тараса Бульбы“.

¹ Можетъ быть, объ этой рукописи писалъ Гоголь Погодину изъ Рима, 17 октября 1840 г.: „Радъ очень твоему счастью, т. е. находкамъ, сдѣланнымъ тобою. Одною изъ нихъ ты потчиваешь меня, какъ такою, которая ближе всего лежитъ ко мнѣ... Хотя бы какими-нибудь пахучими выписками изъ нея попользоваться, т. е. *идь пахнетъ болѣе старина и обрядъ старинныхъ временъ*“ (Сочиненія и письма Гоголя V, 416—417).

Эта небольшая тетрадка также сохранилась въ Нѣжинской рукописи: она вполетена въ середину дополнительнаго листа къ четвертой тетради, такъ что пятая голубая тетрадь (въ которую переписана набѣло IX глава) приплетена сзади, въ самомъ концѣ рукописи, послѣ начальныхъ страницъ десятой главы и непосредственно передъ тѣмъ поллистомъ, на одной изъ страницъ котораго набросано нѣсколько строкъ для перваго тома „Мертвыхъ Душъ“ и которымъ завершается Нѣжинская рукопись. На вставочномъ листѣ Знаменской фабрики написанъ тотъ отдѣлъ X-й главы (въ „Миргородѣ“ VII-й), который былъ, при новой редакціи, передѣланъ. Начало: „X. Долго же я спалъ!“ Конечъ: „И если бы десять лѣтъ еще пожилъ тамъ Янвель, то онъ, вѣроятно, вывѣтрилъ бы и все воеводство. Тарасъ вошелъ въ свѣтлицу. Жидъ“.

Тетради, составившія впоследствии рукопись Нѣжинскаго историко-филологическаго института, послужили оригиналомъ для того списка „Тараса Бульбы“, съ котораго эта повѣсть должна была набираться для „Сочиненій Гоголя“. Эта копія окончательной редакціи „Тараса Бульбы“ сохранилась въ бумагахъ Гоголя, поступившихъ отъ А. А. Иванова въ Московскій Публичный Музей (№ 2208). Рукопись состоитъ изъ девятнадцати тетрадей; каждая тетрадь изъ двухъ листовъ; бумага двухъ сортовъ: на одномъ клеймо: В. Г. П. У. О Сергѣевской; на другой — въ овалѣ подъ короною на выпуклыхъ полоскахъ готическія буквы: Е. С. Вся рукопись списана рукою того же писца, которымъ переписаны для цензуры послѣднія девять главъ перваго тома „Мертвыхъ Душъ“. Къ перепискѣ набѣло послѣдней редакціи „Тараса Бульбы“ этотъ писецъ могъ приступить не ранѣе января 1842-го года, т. е. только по окончаніи копіи „Мертвыхъ Душъ“. Рукопись повѣсти не можетъ похвалиться особенною исправностью. Нѣкоторыя слова не разобраны писцомъ и испорчены; напр. вмѣсто „вишнякомъ“ написано: „вѣнникомъ“ (стр. 250). Изъ описокъ Гоголемъ исправлена только одна: „Тонкій румянецъ оттънилъ его снизу“ (стр. 301); было написано: „отдѣлилъ“.

Нѣсколько словъ неразобранныхъ писецъ пропустилъ, оставивши пустыя мѣста, чтобы послѣ вписать эти слова. Изъ этихъ пропусковъ рукою Гоголя восполнены только два слѣдующія¹: „Но раздобрѣлъ вновь Поповичъ, пустилъ за ухо оселедецъ, вырослилъ

¹ Собственноручныя приписки автора печатаемъ курсивомъ.

усы густые и черные, какъ смоль, и крѣпокъ былъ на *подкое* слово Поповичъ“; 2) „не прикрывши *прилично* наготы твоей“.

Два пропуска не были восполнены ни авторомъ, ни издателемъ его сочиненій Н. Я. Прокоповичемъ. Таковы¹:

1) „Гущина звѣздъ, составлявшая млечный путь поясомъ переходившая небо“ (стр. 289-я и 11-е прим. къ ней).

2) „нѣсколько мужчинъ, прислонясь у колоннъ и, на которыхъ возлегли боковые своды“ (стр. 296 и 11-е прим. къ ней).

Остальные пропуски оказались восполненными лишь въ печати— въ „Сочиненіяхъ Гоголя“. Поправки внесены Прокоповичемъ, уже во время печатанія, изъ оставленныхъ у него тетрадей Нѣжинской рукописи, кромѣ впрочемъ послѣдней поправки.

Представляемъ эти мѣста, отмѣчая курсивомъ восполненія.

1) „Если кто-нибудь шинкарь-жидъ продасть козаку хоть одинъ *кухоль* сивухи“ (стр. 308).

2) „А Кузубенко, взявъ въ обѣ руки свой тяжелый палашъ, *воинь* ему въ самыя побѣднѣвшія уста“ (стр. 316).

3) „Какъ плавающій въ небѣ ястребъ, давши много круговъ сильными крылами, вдругъ останавливается, распластавный *среди воздуха* на одномъ мѣстѣ“ (стр. 317, 2-е примѣч. къ ней и стр. 479 съ 4-мъ къ ней примѣчаніемъ).

4) „Какъ видятъ: скачетъ къ нему на конѣ *Голокопытенко*. „Вѣда, атаманъ!“ (стр. 339).

5) „Увязалъ въ лубки и *прикрѣпивши* веревками къ сѣдлу“ (стр. 342 и 1-е къ ней примѣчаніе). Въ Нѣжинской рукописи: „присвиснувши“.

Не обративши вниманія на сдѣланные писцомъ пропуски, Гоголь сдѣлалъ нѣсколько приписокъ и одну поправку въ копія повѣсти. Приписокъ четыре: 1) „Не печалься, *друзья!*“ (стр. 314). Возстановленъ текстъ прежней обработки. 2) „*Да ужъ* и не сказали козаки, что такое *ну*“ (стр. 314). 3) „*Да развѣ* найдутся такіе *они*, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу?“ Вслѣдъ за послѣдними словами, въ ту же строку, Гоголь приписалъ: „Нѣтъ, чортъ побери всѣхъ прислужниковъ чорта! не найдутся такіе *огни*, муки и такая сила“. 4) „то имъ хоть *имъ* и *ѣсть* нечего“ (стр. 311, перестановка словъ).

Поправка собственноручная: „Ничего не *умѣлъ* (вм. прежняго: „зналъ“) сказать на это Андрей“ (стр. 338); въ печатномъ: „не *могъ*“.

¹ Отмѣчаемъ пустыя мѣста точками.

Рукопись, до передачи въ типографію, была внимательно прочтена, конечно, Прокоповичемъ. При этомъ отмѣчены были карандашомъ слова и обороты, употребленные Гоголемъ неправильно, своеобразно. Вотъ отмѣченные и исправленные Прокоповичемъ при печатаніи идиотизмы Гоголевскаго языка въ „Тарасѣ Бульбѣ“¹.

- 1) „Но никакъ не избавлялся неумолимыхъ розгъ“ (отмѣченное слово исключено, стр. 259).
- 2) „Пестрые *овражки* выползвали“ (удержано; въ Г замѣнено словомъ „суслики“, стр. 264).
- 3) „Толпа, *чѣмъ далѣе*, росла“ (подчеркнутое карандашомъ исключено).
- 4) „Промежутки козаки почитали скучнымъ занимать изученіемъ какой-нибудь дисциплины“ (измѣненъ порядокъ словъ).
- 5) „Никто ничѣмъ не заводился и не держалъ у себя“ (прибавлено: *ничего* не держалъ“, стр. 270).
- 6) „И подняла съ земли оставленную мѣдную *свѣтильню* на тонкой высокой ножкѣ, съ висѣвшими вокругъ ея на цѣпочкахъ щипцами, *шпилью* для поправленія огня“ (въ печатномъ: „свѣтильникъ“, „шпилькой“ стр. 295).
- 7) „Она уже успѣла нарѣзать принесенный рыцаремъ хлѣбъ *и яство*“ (исключены два послѣднія слова; прибавлено: „нарѣзать *ломтями*“, стр. 301).
- 8) „Не достойна ли я вѣчныхъ *жалобъ?*“ (въ печати „сожалѣній“, стр. 304).
- 9) „И за великое благо всякій изъ нихъ почелъ бы“ (прибавлено: „любовь мою“, стр. 304).
- 10) „И развѣ уже мертваго меня разлучать *отъ тебя*“ (исправлено: „съ тобою“, стр. 305).
- 11) „И перерывая все, палили они изъ пицалей“ (исправлено: „и, *не прерывая*, все палили изъ пицалей“; стр. 331 и 2-е къ ней примѣч.).

Такъ выработался наконецъ новый текстъ „Тараса Бульбы“, напечатанный въ первый разъ въ „Сочиненіяхъ Гоголя“ 1842 года.

Въ продолженіе почти трехъ лѣтъ (августъ 1839 г. — май 1842 г.) урывками обрабатывалъ Гоголь новую редакцію „Тараса Бульбы“, занимаясь въ тоже время переработкою „Портрета“, „Ревизора“, „Женитьбы“, „Игрововъ“, сочиненіемъ „Театральнаго Развѣзда“, послѣднихъ главъ перваго тома „Мертвыхъ Душъ“ и продолженія ихъ вторымъ.... „Тарасъ Бульба“ передѣлывался не въ послѣдовательномъ порядкѣ главъ, не въ одинъ *непрерывный* періодъ работы, а, по обычаю Гоголя, по частямъ, начиная съ четвертой главы прежней редакціи, въ нѣсколько пріемовъ, съ продолжительными промежутками. Наброски, сдѣланные въ разное время, передѣлывались *по частямъ* въ разное же время, и неза-

¹ Поправки Прокоповича ставимъ въ скобкахъ.

мѣтно ложились новыя краски на эти новыя передѣлки и поправки. Приступая къ своду въ одно стройное цѣлое этихъ „ло-скутковъ“, принявшихъ на себя отраженіе разновременныхъ впечатлѣній и настроеній, Гоголь наталкивался иногда на противорѣчія, рѣзко бросающіяся въ глаза. Такъ, въ 8-й главѣ „Тараса Бульбы“, *набѣло переписанной*, разсказана смерть „браваго куреннаго атамана Кукубенка“ (I, 478—479); а въ 10-й главѣ передается, какъ Кукубенко „ударилъ“ на непріятельскую конницу (I, 496—497). Этотъ анахронизмъ сглаженъ только при окончательной редакціи повѣсти. Но въ „Тарасѣ Бульбѣ“ остались противорѣчія, не замѣченныя авторомъ. Въ первоначальномъ печатномъ текстѣ повѣсти, напечатанномъ въ „Миргородѣ“, эпоха, къ которой принадлежитъ герой, опредѣляется авторомъ такъ: „Когда Баторій устроилъ ножи въ Малороссіи и облекъ ее въ ту воинственную арматуру, которою сперва означены были одни обитатели пороговъ, онъ (т. е. Тарасъ Бульба) былъ изъ числа первыхъ полковниковъ“ (Миргородъ, I, стран. 18; настоящаго изданія V, 401). „Время это (когда жилъ Бульба) касалось XVI вѣка, *когда еще только что начинала рождаться мысль объ униі*“ (V, 399; Миргородъ, I, 64). „Слѣдъ Тарасовъ отыскался. Тридцать тысячъ козацкаго войска показалось на границахъ Украйны... Верховнымъ начальникомъ войска былъ гетманъ Острианица, еще молодой, кипѣвшій желаніемъ скорѣе сбросить утѣснительный деспотизмъ, наложенный самоуправіемъ государственныхъ магнатовъ, и очистить Украйну отъ жидовства, униі и посторонняго сброда. Возлѣ него былъ видѣнъ престарѣлый и опытный товарищъ и совѣтникъ его Гуня“ (V, 460; Миргородъ I, 211). Въ новой печатной редакціи „Тараса Бульбы“ (1842 г.) время подвиговъ героя опредѣлено точнѣе. Удержаны имена Острианицы и Гуни; но дѣятельность Бульбы приурочена къ тому времени, „о которомъ живые намеки остались только въ пѣсняхъ, да въ народныхъ думахъ.... — того браннаго, труднаго времени, *когда начались разырыватьсѣ схватки и битвы на Украйнѣ за унию*“ (I, 249). Бульба не представляется уже „однимъ изъ *первыхъ* полковниковъ“ при устройствѣ Баторіемъ полковъ въ Малороссіи, — полковникомъ, который „при первомъ случаѣ перессорился со всѣми другими за то, что *добыча, прибрѣтенная отъ татаръ соединенными польскими и козацкими войсками, была раздѣлена между ими не поровно, и польскія войска получили болѣе преимущества*“ (V, 401; Миргородъ I, 68—69). Въ новой ре-

дакці повѣсти Бульба является представителемъ козацкой старины, „обычая предковъ“, „законнымъ защитникомъ православія“ (I, 253). Причина его ссоры съ товарищами не передѣлъ добычи, не корысть. „Тогда (разсказываетъ Гоголь) вліяніе Польши начинало уже оказываться на русскомъ дворянствѣ. Многіе перенимали уже польскіе обычаи, заводили роскошь, великолѣпныя прислуги, соколовъ, ловчихъ, обѣды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Онъ любилъ простую жизнь козаковъ и *перессорился съ тѣми изъ своихъ товарищей, которые были склонны къ варшавской сторонѣ, называя ихъ холопьями польскихъ пановъ*“ (I, 253). Такъ измѣнилась роль Бульбы и характеръ его дѣятельности въ новой редакціи повѣсти!

Тарасъ не называется уже современникомъ Баторія; его не заставляютъ дѣйствовать въ то время, „когда только что *зарождалась мысль объ униі*“. Но изъ старой редакціи переносится въ новую безъ всякой перемѣны фраза: „Бульба былъ упрямъ страшно. *Это былъ одинъ изъ тѣхъ характеровъ, которые могли только возникнуть въ грубый XV вѣкъ*“ (I, 251 и V, 401). Въ связи съ новымъ опредѣленіемъ эпохи, когда дѣйствуетъ Бульба, находится измѣненіе самаго характера его дѣятельности.

Авторъ „Записокъ о жизни Гоголя“, г. Кулишъ, въ „предувѣдомленіи“ къ „Матеріаламъ для исторіи возсоединенія Руси“ (томъ первый, стран. VII) говоритъ между прочимъ: „Наши малорусскіи повѣсти, драмы, поэмы, лирическія стихотворенія, относящіяся къ прошедшему, исполнены дѣтскаго лепета о той славі, которою гордились козаки, эти безразсудные и беспощадные опустошители сосѣднихъ странъ, не только иноплеменныхъ, но и родственныхъ имъ по племени и православной вѣрѣ. Владѣя общерусскимъ языкомъ и выработавъ сверхъ того, такъ названный языкъ украинскій, мы придавали разгульнымъ добычникамъ обоихъ береговъ Днѣпра значеніе патріотовъ или защитниковъ гонимой вѣры, и, сохранивъ еще въ самихъ себѣ дикіе инстинкты родной старины, прославляли какъ нельзя усерднѣе подвиги, не имѣвшіе никакой гуманной цѣли. Въ пылу нашего козацкаго энтузіазма, мы опрокинули къ верху дномъ исторію Польши, сдѣлавъ изъ нея что-то невѣроятное и невозможное. Начало этой фантазмагоріи, болѣе вредоносной, нежели можетъ казаться на поверхностный взглядъ, положилъ, во первыхъ, неизвѣстный доселѣ авторъ Лѣтописи Конисскаго („Исторія Руссовъ“), а во вторыхъ, *основавшійся на немъ высокоталантливый авторъ „Тараса Бульбы“*“.

Было бы крайне односторонне объяснять ту новую окраску, которую получили Бульба в послѣдней редакціи повѣсти, только тѣмъ, что Гоголь „основался“ на баснословной „Исторіи Руссовъ“ (кому бы послѣдняя ни принадлежала)¹. Поэтъ пользовался этою „Исторіею“, создавая первую редакцію „Тараса Бульбы“ еще въ 1834 г. Только на гѣтониси Конисскаго могъ онъ основать свой рассказъ о томъ, „какъ слабъ былъ коронный гетманъ Николай Потоцкій съ многочисленною своею арміею противъ этой непреодолимой силы; какъ разбитый, преслѣдуемый, перетонилъ онъ въ небольшой рѣчкѣ лучшую часть своего войска, какъ облегли его въ небольшомъ мѣстечкѣ Полонномъ грозныя козацкія полки и какъ, приведенный въ крайность, польскій гетманъ клятвенно обѣщаль полное удовлетвореніе во всемъ со стороны короля и государственныхъ чиновъ и возвращеніе всѣхъ прежнихъ правъ и преимуществъ; но козаки, наученные прежнимъ вѣроломствомъ, были неумолимы; и Потоцкій не красовался бы болѣе на шести-тысячномъ своемъ аргамакѣ, привлекая взоры знатныхъ паннъ и зависть дворянства, если бы не спасло его находившееся въ мѣстечкѣ русское духовенство“ и т. д. (V, 460 и „Миргородъ“ I, 213). Этотъ апокрифическій рассказъ о плѣнѣ Потоцкаго въ Полонномъ², не встрѣчающійся въ другихъ малороссійскихъ гѣтонисяхъ, Гоголь могъ заимствовать только изъ „Исторіи Руссовъ“³. Въ редакціи „Тараса Бульбы“, напечатанной въ „Миргородѣ“, на „Исторію“ Конисскаго основано много другихъ подробностей; напр. весь рассказъ козака, прибывшаго въ Сѣчь на паромѣ съ кучею козаковъ въ оборванныхъ свиткахъ, (V, 422—423) построенъ на повѣствованіи Конисскаго о польскихъ притѣсненіяхъ въ 1597 году („Исторія Руссовъ“,

¹ Дату эту гѣтонись, мы будемъ называть ее „Исторіею Руссовъ“ Конисскаго, хотя и не приписываемъ оной тому автору, имя котораго стоитъ въ печатномъ изданіи „Исторіи“. ² Ср. Соловьева „Исторія Россіи“ X, 110. ³ У Конисскаго впрочемъ гетманъ, разбитый при рѣкѣ Старицѣ и обложенный въ Полонномъ, названъ не Потоцкимъ, а Конецпольскимъ (стр. 54). „Гѣтонисецъ Магиза Россіи“, сообщая о пораженіи Конецпольскаго (подъ 1638 годомъ) при Старицѣ, вовсе не упоминаетъ о Полонномъ (Россійскій Магазинъ II, 51). Рассказъ о вѣроломствѣ Потоцкаго послѣ его плѣна въ Полонномъ Гоголь начинаетъ словами: „Не буду описывать тѣхъ битвъ, гдѣ отличались козаки, ни постепеннаго хода всей великой компаніи: это принадлежитъ исторіи. Тамъ изображено подробно, какъ бѣжали польскіе гарнизоны“ и т. д. Въ послѣдней редакціи „Тараса Бульбы“ это мѣсто читается уже такъ: „Въ гѣтонисныхъ страницахъ изображено подробно“ и т. д. (I, 359).

стран. 39—41, 43, 53, 56). Приписанная Бульбѣ въ первой редакціи повѣсти ссора изъ-за добычи, не поровну подѣленной между поляками и запорожцами, находитъ себѣ параллель въ поступкѣ Вишневецкаго, который, по словамъ „Исторіи Руссовъ“, „получивъ при Астрахани въ станѣ турецкомъ великую добычу, раздѣлилъ ее между войсками своими и московскими, отдалъ симъ послѣднимъ и всю тяжелую артиллерію турецкую, но отдѣливъ притомъ часть добычи на скарбъ малороссійскій. Симъ поступкомъ войска малороссійскія, а паче козаки запорожскіе и охочекомонные, крайне оюрчили и явно роптали на гетмана; и въ одну ночь отдѣлившись изъ болѣе пяти тысячъ человекъ, ушли изъ стана гетманскаго“ (стран. 22—23). Наконецъ, уже въ первой редакціи „Тараса Бульбы“ проскользнула фраза: „пятьдесятъ тысячъ было однихъ ляховъ, да еще къ тому и часть гетманцевъ приняла ихъ вѣру“ (V, стран. 423). Послѣдняя фраза „основана“ также на слѣдующихъ словахъ автора „Исторіи Руссовъ“ (стран. 41): „Чиновное шляхетство малороссійское, бывшее въ воинскихъ и земскихъ должностяхъ, не стерпя гоненій отъ Поляковъ,.... закупило знатнѣйшихъ урядниковъ польскихъ и духовныхъ римскихъ, сладило и задружило съ ними и, мало-по-малу, сошлось перетье на унию, потомъ обратилось совсѣмъ въ католичество римское“. Мы готовы даже допустить влияніе лѣтописи Конисскаго на болѣе раннія произведенія Гоголя — на „Остраницу“ и „Плѣнника“, — на эти подготовительные этюды къ „Тарасу Бульбѣ“. Несомнѣнно, что „Исторія Руссовъ“, — авторъ которой, по словамъ Пушкина, „сочеталъ поэтическую свѣжесть лѣтописи съ критикой, необходимой въ исторіи“, — рано сдѣлалась извѣстна Гоголю. Онъ раздѣлялъ, видимо, и то высокое о ней мнѣніе, которое Пушкинъ высказалъ о ней въ первой книжкѣ своего „Современника“, разбирая изданное Григоровичемъ „Собраніе сочиненій Георгія Конисскаго“ (стран. 84). Любопытно, что въ этой рецензіи Пушкина выписанъ изъ „Исторіи“ Конисскаго рассказъ о плѣнѣ Лянцборонскаго въ мѣстечкѣ *Полонномъ*, воспроизведенный въ „Тарасѣ Бульбѣ“. Въ этой же статьѣ Пушкинъ приводитъ повѣствованіе Конисскаго о казни *Остраницы*, не оставшееся безъ влиянія на рассказъ Гоголя о казни Остапа и его товарищей. Мы склоняемся даже къ предположенію, что самый сюжетъ „запорожской трагедіи“, которая должна была получить заглавіе „Выбранный усъ“¹, внушенъ

¹ Основа, 1861 г., январь, стран. 116—120.

былъ Гоголю „Исторію Конисскаго“¹ и что, доканчивая послѣднюю редакцію „Тараса Бульбы“ въ Россіи, поэтъ заимствовалъ изъ „Исторіи Руссовъ“ *новыя черты* для этой повѣсти, затронутыя слабо или даже совсѣмъ не отмѣченныя въ первой редакціи „Тараса Бульбы“. Но въ 1841—1842 г., сочиняя и редижируя въ Москвѣ послѣднія главы своей исторической повѣсти, Гоголь заимствовалъ изъ „Лѣтописи Конисскаго“ не столько quasi-историческіе факты, — какъ въ 1834 г. для первой редакціи, — сколько ту *тенденцію*, которою проникнута „Исторія Руссовъ“. Эту тенденцію отмѣтилъ уже Пушкинъ въ своей рецензіи „Собранія сочиненій Конисскаго“ въ слѣдующихъ строкахъ: „Смѣлый и добросовѣстный въ своихъ показаніяхъ, Конисскій не чуждъ нѣкотораго невольнаго пристрастія. Ненависть къ изувѣрству католическому и угнетеніямъ, коимъ онъ самъ такъ дѣятельно противился, отзывается въ краснорѣчивыхъ его повѣствованіяхъ. Любовь къ родинѣ часто увлекаетъ его за предѣлы строгой справедливости“ (Современникъ I, 97). Но Пушкина давно не было въ живыхъ; завѣты великаго учителя позабыты были Гоголемъ. Творецъ только-что законченнаго перваго тома „Мертвыхъ Душъ“ былъ уже не тѣмъ человѣкомъ, какимъ зналъ его Пушкинъ; скажемъ болѣе: Гоголь не былъ теперь даже тѣмъ поэтомъ, какимъ застало его вдохновеніе въ первое пребываніе въ Вѣнѣ: на вышеприведенныхъ *четырехъ отрывкахъ* для новой редакціи „Тараса Бульбы“ не лежитъ еще печати болѣзненнаго перелома, который чувствуется въ послѣднихъ главахъ повѣсти, написанныхъ въ Москвѣ.

Гоголь приступилъ къ выработкѣ новой редакціи „Тараса Бульбы“ въ Вѣнѣ, въ половинѣ 1839-го года. Авторъ „Записокъ о жизни Гоголя“ очень вѣрно замѣтилъ, что „нашъ великій писатель имѣлъ въ ту пору (въ концѣ 1837 г.) еще довольно незрѣлыя и смутныя понятія о степени уклоненій, отдѣляющихъ Римскую церковь отъ Восточной. Въ письмахъ, относящихся къ *послѣдующему* періоду его жизни, Гоголь выражаетъ свои понятія объ этомъ предметѣ гораздо съ большею ясностію и правильностію. Тамъ слышна уже не только увѣренность, что обѣ церкви исповѣдуютъ одного и того же Спасителя, но и глубокое убѣжденіе въ томъ, что Восточная церковь одна сохранила это исповѣданіе во всей перво-

¹ „Чаплинскому (говорить Конисскій), въ наказаніе за своевольный и оскорбительный поступокъ его надъ гвардейскимъ офицеромъ (Хмельницкимъ), обрѣзавъ былъ чрезъ стражника Скобичевскаго одинъ усъ“ (стр. 50).

начальной чистотѣ и что это высокое превосходство нашей Церкви должно служить особеннымъ побужденіемъ оставаться ей вѣрнымъ“ (Сочиненія и письма Гоголя V, 296). Замѣчанія г. Кулиша вызваны слѣдующими строками въ письмѣ Гоголя къ матери, отъ 22 декабря 1837 года: „На счетъ моихъ чувствъ и мыслей объ этомъ, вы правы, что спорили съ другими, что я не перемѣню обрядовъ своей религіи. Это совершенно справедливо; потому что, какъ религія наша, такъ и католическая, совершенно одно и то же, и потому совершенно *нѣтъ надобности* перемѣнить одну на другую. Та и другая истинна; та и другая признаетъ одного и того же Спасителя нашего, одну и ту же Божественную Премудрость, посѣтившую нѣкогда нашу землю, претерпѣвшую послѣднее униженіе на ней, для того, чтобы возвысить выше нашу душу и устремить ее къ небу. Итакъ, на счетъ моихъ религіозныхъ чувствъ вы никогда не должны сомнѣваться“. Изъ этихъ строкъ видно, что въ концѣ 1837 г., въ присутствіи матери поэта, уже происходилъ споръ о томъ, въ состояніи ли Гоголь измѣнить православію въ пользу католичества и что мысль о возможности такого перехода пугала мать, которая поэтому, можетъ быть, выражала желаніе, чтобы сынъ поскорѣе возвратился въ Россію (Сочиненія и письма Гоголя V, 296). Поводъ къ подобнымъ безпокойствамъ подавалъ самъ Гоголь, который напр., въ томъ же 1837 году, шутливо писалъ А. С. Данилевскому изъ Ліона: „признаюсь, по неволѣ находятъ вольнодумныя и богоотступныя мысли и чувствую, что ежеминутно слабѣютъ мои религіозныя правила и вѣра въ истины религіи, такъ что если бы только нашлась другая съ искусными жрецами, а особенно жертвами, напр. чай или шеколадъ, то прощай послѣдняя набожность“. Эти признанія дѣлаетъ Гоголь по поводу дурныхъ итальянскихъ *caffés*, которые онъ называетъ „храмами“, жалуясь, что они „бѣдны“, „богослуженіе то же, жрецы невѣжи и неопратно“ (Тамъ же V, 293 съ дополненіями по рукописи). Гоголь, въ этомъ же самомъ письмѣ къ Данилевскому, дѣлаетъ ему и другое признаніе: „Какъ я завидовалъ тебѣ всю дорогу, — тебѣ, *съдоку въ этомъ солнцѣ великолѣпія*, въ *Парижѣ!*“ Гоголь находится еще пока въ томъ періодѣ увлеченія жизнію „въ самомъ сердцѣ Европы, гдѣ идя, поднимаешься выше, чувствуешь, что членъ *великаго всемірнаго общества*“¹, — періодѣ, который

¹ Ср. настоящаго изданія II, 139 и примѣчанія къ отрывку „Римъ“. Эта статья представляетъ драгоцѣнный матеріалъ для исторіи развитія Гоголя.

такими правдивыми чертами поэтъ изобразилъ, описывая въ отрывкѣ „Римъ“ жизнь „римскаго князя“ въ Парижѣ....¹ Но римскому князю скоро опротивѣлъ Парижъ; его потянуло въ Римъ и здѣсь — „онъ уединился совершенно“ (настоящаго изданія II, 145). П. В. Анненковъ указалъ уже на „важное значеніе Рима въ жизни Гоголя“; въ немъ поэтъ провелъ весну 1837 г. и потомъ почти безпрерывно два года (съ осени 1838 г. по осень 1839 г.)². Въ чемъ выразилось вліяніе Рима на Гоголя *въ этотъ періодъ* (1838—1839 г.), всего лучше объясняетъ его отрывокъ „Римъ“. Римскаго князя поражаютъ прежде всего „архитектурныя созданья Браманта, Борромини, Сангалло, Деллапорта, Виньоли, Бонаротти — и помялъ онъ наконецъ ясно, что только здѣсь, только въ Италіи слышно присутствіе архитектуры и строе ея величіе, какъ художества. Еще выше было духовное его наслажденіе, когда онъ переносился во внутренность церквей и дворцовъ, гдѣ арки, плоскіе столпы и круглыя колонны изъ всѣхъ возможныхъ сортовъ мрамора, перемѣшанные съ базальтовыми, лазурными карнизами, порфиромъ, золотомъ и античными камнями, сочетались согласно, покоренные обдуманной мысли и выше ихъ всѣхъ вознеслось бессмертное созданіе кисти....“ „Могучія созданія кисти, уже не повторяющейся нынѣ, возносились сумрачно предъ нимъ на потемнѣвшихъ стѣнахъ, все еще непостижимыя и недоступныя для подражанія. Входя и погружаясь болѣе и болѣе въ созерцаніе ихъ, онъ чувствовалъ, какъ развивался видимо ею вкусъ, залогъ котораго уже хранился въ душѣ ея“. „Римскій князь“ Гоголя „входитъ глубже душою въ тайны кисти, зрѣя невидимо въ красть душевныхъ помысловъ; ибо высоко возвышаетъ искусство челоуѣка, придавая благородство и красоту движеньямъ души“³. Отрывокъ „Римъ“, изъ котораго мы выписали характеристику художественнаго и нравственнаго вліянія Рима на князя, былъ совершенно оконченъ въ то время, когда Гоголь поѣхалъ въ Россію въ 1839 году: зимою этого года авторъ уже прочелъ „отрывокъ“ въ семействѣ Аксаковыхъ⁴. На пути въ Россію остановившись въ Вѣнѣ, Гоголь набрасываетъ на бумагу первый отрывокъ для новой редакціи „Тараса Бульбы“. Во второй части этого отрывка описанъ путь Андрія съ татаркою въ узкомъ подземномъ корридорѣ, освѣщае-

¹ Ср. настоящаго изданія II, стр. 136—139. ² Воспоминанія и критическіе очерки I, 195—200. ³ Ср. настоящаго изданія II, 148. ⁴ Русь, 1880 г., № 6, стран. 16.

момъ огнемъ отъ лампы. Путники, „идя вмѣстѣ, то освѣщаясь сильно огнемъ, то набрасываясь темною, какъ уголь, тѣнью, напоминали картины della notte“ (I, 586). Этотъ *енонъ написанный* для повѣсти эпизодъ навѣянъ, конечно, знакомствомъ Гоголя съ картинами Голландца Герарда Гондтгорста (1592—1662 г.), получившаго прозваніе *Gherardo della notte*, потому что онъ любилъ изображать предметы, освѣщенные свѣчами и факелами¹, и предпочиталъ писать картины ночи, чѣмъ картины дня. Любопытно, что Гоголь остановилъ свое вниманіе и сочувствіе на картинахъ Гондтгорста, который подобно образцу своему Микеланжело да Сагаваджіо, „благоговѣтъ *предъ довольно грубымъ реализмомъ*, который итальянцы называютъ натурализмомъ“². Картины Герардо Гондтгорста съ эффектнымъ ночнымъ освѣщеніемъ находятся въ Римѣ и во Флоренціи. „Низенькія стѣны“ подземнаго хода, которымъ Андрій пробирается съ татаркою въ Дубно, напоминаютъ бывшему бурсаку „Кіевскія пещеры:“ „и здѣсь также, видно, жили святые люди и укрывались отъ мірскихъ бурь, и горя, и обольщеній“ (I, 586).

Въ тотъ же отрывокъ Гоголь вводитъ увлекательную картину *католическаго* богослуженія „подъ высокими сводами монастырской церкви:“ грубый запорожецъ „Андрій съ какимъ-то благоговѣйнымъ изумленіемъ глядитъ изъ своего темнаго угла на чудо, произведенное освѣщеніемъ“ и „дивится съ полуразверстымъ ртомъ величественной музыкѣ“. Гоголь-художникъ давно увлекался готическою архитектурою и еще въ 1832 г. высказывалъ мысль, что „никакая другая архитектура не прилична таеъ храму христіанскаго Бога, какъ готическая:“ „вступая въ священный мракъ этого храма, сквозь который фантастически глядятъ разноцвѣтныя стекла длинныхъ оконъ, поднявши глаза вверху на отдаленно-пересѣкающіеся, неразвѣтвленные стрѣльчатые *своды*, коимъ конца нѣтъ, *весьма естественно* ощутить въ душѣ невольный ужасъ въ присутствіи священнаго“ (V, 367—368). Архитектура византийская не нравилась Гоголю. Непрерывное, въ теченіе трехъ лѣтъ, пребываніе за границею еще болѣе укрѣпило „вкусъ“ Гоголя къ готическому, — вкусъ, „залогъ котораго уже хранился въ его душѣ“.

Но уже въ 1839 г. усиливавшееся постепенно вліяніе Италіи и Рима „проявляется *отвращеніемъ къ европейской цивилизаціи*, на-

¹ Lanzi, Histoire de la peinture en Italie, trad. par M-me Dieudé II, 200.

² Waagen, Handbuch der deutschen und niederländischen Malerschulen II, 80.

клонностию къ художническому уединенію, сосредоточенностию мысли, поискомъ за крѣпкимъ основаніемъ, которое могло бы держать духъ въ напряженномъ довольствѣ однимъ самимъ собою¹. Уже въ отрывкѣ „Римъ“ сказывается это нерасположеніе къ „европейскому просвѣщенію“ съ его „холоднымъ усовершенствованіемъ“. На обратномъ пути изъ Россіи въ „любезный“ Римъ Гоголь оставивается въ Вѣнѣ. Здѣсь овладѣваетъ имъ жестокая болѣзнь, которая едва не свела его въ могилу; еле живаго везутъ его въ Италію. Гоголь выздоравливаетъ, но съ одра болѣзни онъ уже встаетъ другимъ человѣкомъ. Къ этому времени относится поэтъ начало своего „переходнаго состоянія“, „когда, по волѣ Бога, началась переработка въ его собственной природѣ“, выдвинулось на первый планъ его „внутреннее воспитаніе“². Въ письмахъ къ Аксакову и Погодину, отъ 28 декабря 1840 года, Гоголь говоритъ: „я здоровъ, благодаря чудной силѣ Бога, воскресившаго меня отъ болѣзни, отъ которой, признаюсь, я не думалъ уже встать. Много чуднаго совершилось въ моихъ мысляхъ и жизни!“³ Получивши это письмо, С. Т. Аксаковъ тотчасъ замѣтилъ, что оно „написано уже совсѣмъ въ другомъ тонѣ, чѣмъ всѣ предыдущія“. „Этотъ тонъ (продолжаетъ Аксаковъ) сохранился уже навсегда. Должно повѣрить, что много чуднаго совершилось съ Гоголемъ, потому что онъ съ этихъ поръ измѣнился въ нравственномъ существѣ своемъ“⁴. Въ „Авторской исповѣди“ Гоголь отмѣчаетъ, что первая часть „Мертвыхъ Душъ“ „заключаетъ въ себѣ нѣкоторую часть переходнаго состоянія его собственной души, тогда, какъ еще не вполне отдѣлилось въ немъ то, чему слѣдовало отдѣлиться“. Тоже должно сказать и о послѣднихъ главахъ второй печатной редакціи „Тараса Бульбы“, которыя

¹ Анненковъ, Воспоминанія и критическіе очерки I, 195. ² Ср. настоящаго изданія IV, 130. Въ письмѣ, изъ котораго мы заимствуемъ это указаніе и которое помѣчено 1846-мъ годомъ, прямо сказано: „Мои сочиненія тоже связались чуднымъ образомъ съ моею душею и моимъ внутреннимъ воспитаніемъ. Въ продолженіе *больше шести лѣтъ* я ничего не могъ работать для свѣта. *Вся работа производилась во мнѣ и собственно для меня*“. Мы совершенно согласны съ П. В. Анненковымъ, что „особенности, возникающія мало-по-малу въ характерѣ Гоголя, до такой степени еще слиты съ прежнимъ свободнымъ и многостороннимъ направленіемъ, что указать начало ихъ, первый, такъ сказать, толчокъ, подвигнувшій умъ въ эту сторону — нѣтъ никакой возможности“ (стр. 195). Но мы имѣемъ здѣсь въ виду указать, какъ самъ Гоголь смотрѣлъ на обнаружившійся въ немъ поворотъ. ³ Сочиненія и письма Гоголя V, 425, 428. ⁴ Кулишъ, Записки о жизни Гоголя I, 272.

набрасывались одновременно съ послѣдними главами „Мертвыхъ Душъ“ и даже по окончаніи этой „поэмы“.

Въ новой редакціи „Тараса Бульбы“ происхожденіе козацкаго товарищества окрашивается религіознымъ оттѣнкомъ. Тарасъ обращается къ своимъ козакамъ съ такими словами: „Вы слышали отъ отцовъ и дѣдовъ, въ какой чести у всѣхъ была земля наша: и Грекамъ дала знать себя, и съ Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья *русскаю рода, свои князья, а не католическіе недоверки*. Все взяли басурманы, все пропало; *только остались мы, сырые, да, какъ вдовица послѣ крѣпкаго мужа, сирая такъ же, какъ и мы, земля наша! Вотъ въ какое время подали мы, товарищи, руку на братство! Вотъ на чемъ стоитъ наше товарищество!*“ (I, 329). Какъ мы замѣтили выше, самая характеристика Бульбы въ новой редакціи повѣсти совершенно измѣнена противъ первоначальной печатной редакціи. Бульба уже не строптивый полковникъ, который ссорится съ своими за неравномѣрное распредѣленіе между козаками и поляками добычи, доставшейся отъ татаръ: въ новой обработкѣ повѣсти онъ „перессорился съ тѣми изъ своихъ товарищей, *которые были наклонны къ варшавской сторонѣ*, называя ихъ холопьями польскихъ пановъ“. Въ первой редакціи повѣсти Тарасъ между прочимъ характеризуется такъ: „Вообще онъ былъ *большой охотникъ до набѣговъ и бунтовъ*; онъ носомъ слышалъ, гдѣ и въ какомъ мѣстѣ вспыхивало возмущеніе и уже, какъ снѣгъ на голову, являлся на конѣ своемъ. „Ну, дѣти, что и какъ? Кого и за что нужно бить? обыкновенно говорилъ онъ и вмѣшивался въ дѣло“ (V, 401). Въ послѣдней печатной редакціи приведенныя строки замѣнены слѣдующими: „Вѣчно неугомонный, онъ считалъ себя *законнымъ защитникомъ православія*. Самоуправно входилъ въ села, гдѣ только жаловались на притѣсненія арендаторовъ и на прибавку новыхъ пошлинъ съ дыма“ (I, 253). Тарасъ, въ новой редакціи повѣсти, говоритъ козакамъ рѣчи сначала для того, „чтобы *разбудить ихъ сънъ*“, гинувши по козацки, *чтобы вновь и съ большею силою, чѣмъ прежде, воротилась бодрость козаку въ душу, на что способна одна только славянская порода*“ (I, 325); потомъ онъ произноситъ рѣчь козакамъ, „не для того, чтобы ободрить и освѣжить ихъ — зналъ, что и безъ того крѣпки они духомъ — *и, просто, самому хотѣлось высказать все, что было на сердцѣ*“ (I, 329). Тарасъ объясняетъ козакамъ святость родства по душѣ —

„товарищества“ и увѣряетъ, что въ другихъ земляхъ „не было такихъ товарищей, какъ въ русской землѣ“: „такъ любить, какъ можетъ любить русская душа, — любить не то, чтобы умомъ или чѣмъ другимъ, а всѣмъ, чѣмъ далъ Богъ, что ни есть въ тебѣ, такъ любить никто не можетъ“ (I, 329). Этими рѣчами Бульба какъ бы исполняетъ тотъ совѣтъ, который Гоголь даетъ „Русскому помѣщику“ въ „Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями“: „Собери прежде всего мужиковъ и объясни имъ, что такое ты и что такое они“ (IV, 118). Содержаніе первой рѣчи Бульбы въ новой редакціи повѣсти тоже, что и въ редакціи первоначальной; но она вводится въ новую редакцію особымъ мотивомъ, который не былъ извѣстенъ первоначальной. „Тарась видѣлъ, какъ смутны стали козацкіе ряды и какъ уныніе, неприлично храброму, стало тихо обнимать козацкія головы“, — онъ и готовился *„разомъ и вдругъ разбудить ихъ всѣхъ“* (I, 329). Въ письмѣ къ Языкову, указывая на „предметы для лирическаго поэта въ нынѣшнее время“, Гоголь на первое мѣсто выдвигаетъ слѣдующее указаніе: „Оглянись вокругъ: все теперь предметы для лирическаго поэта, *всякъ человекъ требуетъ лирическаго воззванія къ нему. Куда ни поворотиться, видишь, что нужно или попрекнуть или осветжить ко- нибудь*. Попрекни же прежде всего сильнымъ лирическимъ упрямомъ умныхъ, но *унывшихъ людей*. Проймешь ихъ, если покажешь имъ дѣло въ настоящемъ видѣ, то есть, что человекъ, предавшійся унынію, есть дрянъ во всѣхъ отношеніяхъ, каковы бы ни были причины унынію, потому что уныніе провято Богомъ. Истинно-русскаго человека поведешь на брань даже и противъ унынія“ (IV, 73). Гоголь выскажетъ въ „Перепискѣ“ убѣжденіе, что русскій „народъ“ извлечетъ изъ Одиссеи (въ переводѣ Жуковскаго) „то, что легло въ духъ ея содержанія и для чего написана сама Одиссея, т. е., что человекъу вездѣ, на всякомъ поприщѣ, предстоить много бѣдъ, что нужно съ ними бороться, — для того и жизнь дана человекъу, — что *ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ унывать*, какъ не унывалъ и Одиссей, который во всякую трудную и тяжелую минуту *обращался къ своему сердцу*“ (IV, 29). Говоря о посѣщеніи „*всѣмъ народамъ*“ ссыльныхъ, отправляющихся въ Сибирь, „когда всякъ несетъ отъ себя — кто пищу, кто деньги, кто *христіански-утѣшительное слово*“, Гоголь замѣчаетъ: „Ненависти нѣтъ къ преступнику.... Здѣсь что-то болѣе: не желаніе оправдать его или вырвать изъ рука правосудія, но *воздвигнуть упад-*

ший духъ ея, утѣшить, какъ братъ утѣшаетъ брата, какъ повелѣлъ Христосъ намъ утѣшать другъ друга. Пушкинъ высоко слишкомъ цѣнилъ всякое стремленіе воздвигнуть падшаго“ (IV, 51). „Черта истинно-русская!“ восклицаетъ Гоголь. Въ послѣднюю редакцію „Тараса Бульбы“ внесенъ новый эпизодъ: Переяславскій курень, расположенный передъ воротами осажденнаго запорожцами города, былъ пьянъ мертвецки и, благодаря этому, непріятельскія войска вошли въ городъ. Кошевой попрекаетъ за это все воинство. Тогда выступаетъ куренный атаманъ Кукубенко на защиту и ободреніе „христіанскаго войска“, и кошевой говоритъ о немъ: „Блаженъ и отецъ, родившій такого сына: еще не большая мудрость сказать укорительное слово, но большая мудрость сказать такое слово, которое, не поругавшись надъ бѣдою человѣка, ободрило бы ея, придало бы духу ему, какъ шпоры придаютъ духу коню, освѣженному водопоємъ“ (IV, 307)¹.

Бульба, желая во второй рѣчи высказать все, что у него на сердцѣ, не свободенъ отъ мысли однихъ „освѣжить“, другихъ „попрекнуть“. — „Знаю (говорить онъ), подло завелось теперь въ землѣ нашей: думаютъ только, чтобы при нихъ были хлѣбные стоги, сквирды, да конные табуны ихъ, да были бы цѣлы въ погребахъ меда; перенимаютъ, чортъ знаетъ, какіе бусурманскіе обычаи; имушаются языкомъ своимъ; свой съ своимъ не хочетъ юворить; свой своего продаетъ, какъ продаютъ бездушную тварь на торговомъ рынѣхъ“.... (I, 330). Можно ли видѣть въ этихъ словахъ Тараса простые укоры „защитника православія“ тѣмъ, которые составляли „Варшавскую партію“? Пусть въ этихъ словахъ развивается вышеприведенное указаніе Конисскаго, что „чиновное шляхетство малороссійское отреклось и отъ самой породы своей русской“². Но, приступая къ новой обработкѣ „Тараса Бульбы“, Гоголь еще какъ бы боялся позабыть о существованіи среди козаковъ двухъ партій и на одномъ изъ своихъ лоскутковъ записалъ: „Помнить, что между русскими и козацкими фамиліями были и польскія, и что были двѣ партіи: русская и польская“ (см. выше, стр. 630). Въ послѣдній періодъ работы надъ повѣстью Тарасъ является не только пред-

¹ Завершая разсказъ о толкахъ и «недоразумѣніяхъ», вызванныхъ «Выбранными мѣстами изъ переписки съ друзьями», Гоголь благодаритъ тѣхъ, которые «рукой скорблящаго брата приподымали ея, повелѣвая ободриться», и прибавляетъ: «Я не знаю выше подвиза, какъ подать руку изнемогшему духомъ» (IV, 278).

² Исторія Руссовъ, стран. 42.

ставителемъ русской партіи между козаками; онъ „любитъ простую жизнь козаковъ“ (стр. 253); онъ чувствуетъ себя призваннымъ будить въ нихъ „русское чувство“. Въ окончательной редакціи „Тараса Бульбы“ заходить рѣчь о томъ, что „подло завелось въ землѣ нашей“, и только здѣсь „подлость“ эта характеризуется *басурманскими обычаями, помышленіями о богатствѣ и медахъ. Не слышится ли здѣсь воззваніе „къ прекрасному, но дремлющему человѣку?“* Гоголь убѣждаетъ Языкова въ „Перепискѣ“ — разбудить этого *дремлющаго* русскаго человѣка: „Брось ему съ берега доску и закричи во весь голосъ, чтобы спасалъ свою бѣдную душу. Уже онъ далеко отъ берега, уже несетъ и несетъ его ничтожная верхушка свѣта, несутъ объѣды, ноги плясавицъ, ежедневное сонное оныяніе; нечувствительно облекается онъ плотію, и сталъ уже весь плоть, и уже почти нѣтъ въ немъ души“ (IV, 73). Тарасъ завершаетъ свою рѣчь словами: „Но у послѣдняго подлюки, каковъ онъ ни есть, хоть весь извалялся онъ въ сажѣ и въ поклонничествѣ, есть и у тою крупница русскаго чувства; и проснется оно кода-нибудь, — и ударится онъ, юремычный, объ полъ руками; схватитъ себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дѣло“ (I, 3 30). Въ томъ же письмѣ къ Языкову Гоголь жалуется: „Всякое истинное русское чувство гложетъ и некому его вызвать! Дремлетъ наша удаля, дремлетъ рѣшимость и отвага на дѣло, дремлетъ наша крѣпость и сила, дремлетъ нашъ умъ среди вялой и бабьей свѣтской жизни, которую привили къ намъ, подъ именемъ просвѣщенія, пустыя и мелкія нововведенія“. Въ лицѣ Языкова Гоголь указываетъ современному лирическому поэту новую задачу: „Ублажи гимномъ того исполина, какой выходитъ только изъ русской земли, который вдругъ пробуждается отъ позорнаго сна, становится вдругъ другимъ: плюнувши въ виду всѣхъ на свою мерзость и гнуснѣйшіе пороки, становится первымъ ратникомъ добра. Покажи, какъ совершается это *богатырское дѣло въ истинно русской душѣ*“ (IV, 74). Въѣствъ съ „отвращеніемъ къ европейской цивилизаціи“ проявляется у Гоголя высокое мнѣніе о нѣкоторыхъ особенныхъ свойствахъ русскаго народа сравнительно съ другими и о великой его будущности. „Вамъ случалось (говоритъ Тарасъ), не одному по многу пропадать на чужбинѣ; видишь: и тамъ люди! также божій человѣкъ, и разговариваться съ нимъ, какъ съ своимъ; а какъ дойдетъ до того, чтобы повѣдать сердечное слово — видишь: нѣтъ! умные люди, да не тѣ;

такіе же люди, да не тѣ! Нѣтъ, братцы, такъ любить, какъ можетъ любить русская душа, — такъ *любить* никто не можетъ!“ (стран. 329). „Никому (изъ иноземцевъ) не доведется такъ и умирать (какъ умираютъ русскіе люди): не хватить у нихъ на то *мышинной породы ихъ*“ (стран. 230). Пробудиться вдругъ отъ унынія и дремоты, чтобы „съ большею силою воротилась бодрость каждому въ душу,“ — на это „способна одна только славянская порода, широкая, могучая порода, *передъ друими, что море передъ мелководными рѣками*: коли время бурно, все превращается оно въ ревъ и громъ, бугря и подымая валы, какъ не поднять ихъ безсильнымъ рѣкамъ; коли же безвѣтренно и тихо, яснѣе всѣхъ рѣкъ разстилаетъ оно свою неоглядную стеклянную поверхность, вѣчную нѣгу очей“ (стран. 325—326). Умирающій Кукубенко успѣваетъ проговорить: „*Пусть же послѣ насъ живутъ лучше, чѣмъ мы, и красуется вѣчно любимая Христомъ русская земля!*“ (I, 336). То же молитвенное желаніе излетаетъ въ предсмертныя минуты изъ устъ Шила, Гуски, Бовдюга (I, 334—335). Бульба, пригвожденный къ дереву и охваченный пламенемъ костра, пророчески восклицаетъ: „Придетъ время, будетъ время, узнаете вы, что такое *православная русская вѣра!* Уже и теперь чуютъ дальніе и близкіе народы: подымется изъ русской земли свой царь, и не будетъ въ міръ силы, которая бы не покорилась ему!“ (I, 364). Авторъ съ своей стороны торжественно вопрошаетъ: „Да развѣ найдутся на свѣтѣ такіе огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу?“¹ Отголоски пророческой рѣчи Бульбы слышатся на послѣднихъ страницахъ „Мертвыхъ Душъ“. Поэма завершается фразой: „Косясь постораниваются и даютъ ей (Руси) дорогу другіе народы и государства“. Въ послѣдней главѣ „Мертвыхъ душъ“ есть кромѣ того „лирическое отступленіе“², которое Гоголь впослѣдствіи, въ виду нападокъ на него журналистовъ, нашелъ нужнымъ разъяснить въ „Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями“. Вотъ что говорится въ этомъ разъясненіи: „Вотъ уже почти полтора ста лѣтъ протекло съ тѣхъ поръ, какъ государь Петръ I прочистилъ намъ глаза чистилицемъ просвѣщенія европейскаго, далъ въ руки намъ всѣ средства и орудія для дѣла, и до сихъ поръ остаются также пустынно, грустно и

¹ Сравни уничтоженную приписку къ этому мѣсту выше, на стр. 658. ² Ср. настоящаго изданія III, 220—221.

безлюдны наши пространства; также безпріютно и непривѣтливо все вокругъ насъ, *точно, какъ будто бы мы до сихъ поръ еще не у себя дома, подъ родною нашею крышею*, но гдѣ-то остановились безпріютно, на проѣзжей дорогѣ, и дышетъ намъ отъ Россіи *не радушиемъ, роднымъ приѣмомъ братьевъ*, но какою-то холодною, занесенною вьюгой почтовою станціею“ (IV, стран. 83). Недовольный отзывомъ Бѣлинскаго объ отрывкѣ „Римъ“, Гоголь въ письмѣ къ Шевыреву, не признаетъ, что взглядъ римскаго князя на Парижъ и Французовъ есть собственный взглядъ на то самого поэта. „Я бы былъ виноватъ, если бы даже римскому князю внушилъ такой взглядъ, какой имѣю я на Парижъ, потому что и я хотя могу столкнуться въ художественномъ чутьѣ, но вообще не могу быть одного мнѣнія съ моимъ героемъ. Я принадлежу къ живущей и современной націи, а онъ — къ отжившей“¹. Отрывокъ „Римъ“ не подтверждаетъ высказанныхъ авторомъ объясненій, оставляя въ читателѣ иное впечатлѣніе. „Памятникомъ и свидѣтельствомъ его (Гоголя) воззрѣнія на папскую столицу временъ Григорія XVI (пишетъ П. В. Анненковъ) можетъ служить превосходная его статья „Римъ“.... „Сущность его воззрѣнія на Римъ излагать нѣтъ надобности, такъ какъ статья Гоголя хорошо извѣстна всѣмъ русскимъ читателямъ; но слѣдуетъ сказать, что *подъ свое воззрѣніе на Римъ Гоголь начиналъ подводить въ эту эпоху (1841 г.) и свои сужденія вообще о предметахъ нравственнаго свойства, свой образъ мыслей и наконецъ жизнь свою*. Такъ, взлелѣянный уединеніемъ Рима, онъ весь предался творчеству и *пересталъ читать и заботиться о томъ, что дѣлается въ остальной Европѣ*. Въ Римѣ онъ только перечитывалъ любимыя мѣста изъ Данте, Иліады Гнѣдича и стихотвореній Пушкина. Это было совершенно въ ровень, такъ сказать, съ городомъ, который подъ управленіемъ папы Григорія XVI, *обращенъ былъ официально и формально только къ прошлому*“ (Воспоминанія и очерки I, 200). Опираясь на это цѣнное свидѣтельство Анненкова, мы считаемъ статью о Римѣ важнымъ источникомъ для исторіи „переходнаго состоянія“ въ жизни Гоголя и вновь обращаемся къ этому отрывку, чтобы припомнить пережвну, происшедшую въ „римскомъ князѣ“, когда онъ возвратился въ Римъ изъ опротивѣвшаго ему Парижа. Среди жизни въ Римѣ князь „почувствовалъ, болѣе нежели когда-либо, желаніе проникнуть поглубже

¹Русская Старина 1875 г., кн. 10-я, стран. 303.

исторію Италиі... и онъ жадно принялся за архивы, лѣтописи и записки“ (II, стр. 152). Не разъ „зрѣлись ему во всемъ зародыши вѣчной жизни, вѣчно лучшаго будущаго, которое вѣчно готовить міру его вѣчный Творецъ. Въ такія минуты онъ даже весьма часто задумывался надъ нынѣшнимъ значеніемъ римскаго народа. Онъ видѣлъ въ немъ матеріаль еще не початой“ (II, стр. 154). „Все показывало ему стихіи народа сильнаго, непочатаго, для котораго какъ будто бы готовилось какое-то поприще впереди. Европейское просвѣщеніе какъ будто бы съ умысломъ не коснулось его и не водрузило въ грудь ему своего холоднаго усовершенствованія. Самое духовное правительство, этотъ странный уцѣлѣвшій призракъ минувшихъ временъ, осталось какъ будто для того, чтобы сохранить народъ отъ посторонняго вліянія, чтобы никто изъ честолюбивыхъ сосѣдей не посягнулъ на его личность, чтобы до времени въ тишинѣ таилась его гордая народность“ (II, стр. 157). Статья о Римѣ получила послѣднюю редакцію, вѣроятно, незадолго до появленія въ печати, т. е. въ концѣ 1841 года.

Отмѣтимъ наконецъ еще одну мелкую подробность въ „Тарасѣ Бульбѣ“. Своею послѣднею рѣчью Тарасъ напомнилъ козакамъ много „знакомаго и лучшаго, что бываетъ на сердцѣ у человѣка, умудреннаго юрею, трудомъ, удачею и всякимъ невзгодьемъ жизни“ (I, 330). „Прощальная повѣсть“, которую Гоголь думалъ „завѣщать“ своимъ соотечественникамъ, „выпѣлась сама собою изъ души, которую воспиталъ самъ Богъ испытаніями и горемъ, а звуки ея взялись изъ сокровенныхъ силъ нашей русской породы“ (IV, 9).

Такъ, въ послѣднихъ главахъ „Тараса Бульбы“ сказываются уже симптомы того дидактическаго направленія, которое выразилось во всей полнотѣ въ „Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями“. Въ послѣднюю редакцію своей повѣсти Гоголь вноситъ не одни историческія данныя, выбранныя изъ Боплана, „Исторіи о козакахъ запорожскихъ“, малороссійскихъ пѣсенъ и другихъ сочиненій — онъ вводитъ въ эту редакцію новую струю, которая дотолѣ чужда была его поэтическимъ созданіямъ: въ исторической повѣсти своей Гоголь уже самъ дѣлаетъ попытку примѣнить на практикѣ совѣтъ, который даетъ Языкову и въ лицѣ его поэтамъ своего времени: „Отыщи въ минувшемъ событіе, подобное настоящему, заставь его выступить ярею, и порази его въ виду всѣхъ, какъ поражено было оно гнѣвомъ Божиимъ въ свое

время. *Бей въ прошедшемъ настоящее и съ двойною силою обличается твое слово: живѣе черезъ то выступить прошедшее и крикомъ закричать настоящее** (IV, 71). Въ послѣднихъ главахъ „Тараса Бульбы“ слышится тотъ же новый „тонъ“, который такъ поразилъ С. Т. Аксакова въ письмѣ Гоголя, отъ 28 декабря 1840 г., и который, по вѣрному замѣчанію его, сохранился въ поэтѣ *ма-всёгда*. Этотъ тонъ слышится и въ послѣднихъ главахъ перваго тома „Мертвыхъ Душъ“ въ тѣхъ немногихъ мѣстахъ, „гдѣ (по замѣчанію Бѣлинскаго) изъ поэта, изъ художника слытся авторъ стать какинъ-то прорицателемъ и впадаетъ въ нѣсколько надутый и напыщенный лиризмъ“¹. И тамъ и здѣсь, и въ послѣднихъ главахъ „Тараса Бульбы“ и на послѣднихъ страницахъ „Мертвыхъ Душъ“, эти слабые болѣзненные звуки почти заглушены могучими рѣчами „старого Гоголя“², брошенными на бумагу и получившими окончательную отдѣлку до начала рокового переворота въ поэтѣ. Неудивительно, что литературная критика 1842—43 годовъ не обратила на нихъ вниманія. Только въ 1846 г., по поводу втораго изданія „Мертвыхъ Душъ“, сопровождавшагося извѣстнымъ злобѣщимъ предисловіемъ, Бѣлинскій обратилъ вниманіе на эти немногія мѣста поэмы. Новую редакцію „Тараса Бульбы“ знаменитый критикъ привѣтствовалъ такими словами „(она) вслѣдствіе этихъ измѣненій сдѣлалась вдвое обширнѣе и безконечно прекраснѣе. Поэтъ чувствовалъ, что въ первомъ изданіи „Тараса Бульбы“ на многое только намекнуто и что многія струны исторической жизни Малороссіи остались въ немъ нетронутому. Какъ великій поэтъ и художникъ, вѣрный однажды избранной идеѣ, пѣвецъ Бульбы не прибавилъ къ своей поэмѣ ничего такого, что было бы чуждо ей, но только развилъ многія уже заключавшіяся въ ея основной идеѣ подробности. Онъ изчерпалъ въ ней всю жизнь исторической Малороссіи и въ дивномъ художественномъ созданіи навсегда запечатлѣлъ ея духовный образъ: такъ ваятель уловляетъ въ мраморѣ черты человѣка и даетъ имъ безсмертную жизнь.... Особенно замѣчательны подробности битвы Малороссіянъ съ Поляками подъ городомъ Дубно и эпизодъ любви Андрія къ прекрасной Полькѣ. Вся поэма приняла еще болѣе возвышенный тонъ, проникнулась лиризмомъ“³. Въ эпоху

¹ Сочиненія Бѣлинскаго XI, 69. ² Пользуемся выраженіемъ Анненкова. ³ Сочиненія Бѣлинскаго VII, 219—220.

появленія першого тома „Мертвыхъ Душъ“ и новой редакціи „Тараса Бульбы“ трудно, почти невозможно было подслушать въ нихъ тихіе звуки новаго „тона“, подмѣтити симптомы совершавшейся въ Гоголѣ перемѣны. Но эта перемѣна была тогда уже замѣтна людямъ, знавшимъ поэта лично. То время жизни Гоголя, когда писались послѣднія главы „Мертвыхъ Душъ“, П. В. Анненковъ характеризуетъ такъ: „*Лѣтомъ 1841 года, когда я встрѣтилъ Гоголя, онъ стоялъ на рубежѣ новаго направленія, принадлежа двумъ различнымъ мірамъ. По тайнымъ стремленіямъ своей мысли онъ уже относился къ строгому, исключительному міру, открывавшемуся впереди; по вкусамъ, нѣкоторымъ частнымъ воззрѣніямъ и привычкамъ художественной независимости къ прежнему направленію. *Послѣднее еще преобладало въ немъ, но онъ уже доживалъ сочтенные дни своей молодости, ея стремленій, борьбы, паденій и — ея славы!*“¹*

Этою тонкою и правдивою характеристикою заключаемъ наши замѣтки о послѣдней редакціи „Тараса Бульбы“. Въ приводимыхъ вариантахъ къ печатному тексту повѣсти заключаются также нѣкоторыя данныя для исторіи выработки этой редакціи.

Буквами НР обозначена рукопись Нѣжинскаго института, буквами ИМ — рукопись „Тараса Бульбы“, переписанная писаремъ и поступившая отъ Иванова въ Московскій публичный Музей (№ 2208); буква М означаетъ первую редакцію повѣсти, напечатанную въ „Миргородѣ“.

Стр. 247 ¹Т; «и прїѣхавшихъ уже домой къ отцу» П; «и прїѣхавшихъ уже на домъ къ отцу» НР. ²НР, П; «батько» Т. ³НР, П; «батька» Т. ⁴НР, П; «батьку» Т. ⁵НР, П; «батьку» Т.

Стр. 248 ¹НР; «говорилъ Тарасъ Бульба» П, Т. ²НР; «рукава» П, Т. ³Т; «садить» НР, П. ⁴Т; «оглядываа» НР, П. Впрочемъ и здѣсь слѣдуетъ читать: «оглядывался»: Гоголь обыкновенно откидывалъ мѣстоименіе ся въ глаголахъ этого окончанія. ⁵НР; «больше года» П, Т. ⁶Т; «не видѣли» НР, П. ⁷НР; «не пожелать меня?» П, Т. ⁸НР; «Вотъ гдѣ наука!» П, Т. Повидному, опечатка.

Стр. 249 ¹П, Т; «Ты бы спрятала ихъ обѣихъ себѣ подъ юбки» НР. ²Т; «не съ выдумками горѣлки, съ изимомъ и всякими вытребенками» НР, П. ³П, Т; «въ свѣтлицы» НР. ⁴НР; «больше» П, Т. ⁵Т; «и въ виду обступившаго народа» НР, П. ⁶П, Т; «церквяхъ» НР. ⁷НР; «подвижное» П, Т.

Стр. 250 ¹НР; «переднемъ» П, Т. ²Т; «онъ имъ тотъ же часъ ихъ представилъ» НР, П. ³П, Т; «обѣихъ» НР. ⁴НР; «татаровъ» П, Т. ⁵НР; «ла-

¹ Воспоминавіа и критическіе очерки I, 196.

- тлиця» П, Т. ⁶ИР, И; «батька» Т. ⁷ИР; «все, старая собака, шветь» П, Т. ⁸ИР; «віннокъ» П, Т.
- Стр. 251 ¹ИР; «и въ среду, и въ четвергъ» П, Т. ²Слово «кладокрово» внесено изъ ИР. ³Т; «пускай только теперь кто-нибудь заціянтъ» ИР, П. ⁴ИР; «оши» П; «оши» Т. ⁵И, Т; «пріосамннись» ИР. ⁶П, Т; «которые могли только возникнуть» ИР.
- Стр. 252 ¹Т; «мготины» ИР, П. ²Слово «раскидаю» внесено авторомъ въ Т; въ ИР, П его нѣтъ. ³Т; «стб» ИР, П. ⁴И, Т; «торгующихся» ИР. Гоголь вѣроятно прибавляетъ ся къ глаголамъ, которые употребляются у насъ безъ этого мѣстоименія. ⁵Т; «стремлений» ИР, П. ⁶ИР; «столой» П, Т. ⁷ИР; ошибочно: «стройтвой» П, Т. ⁸П, Т; «сему» ИР. ⁹И, Т; «одинъ только червонецъ отъ короля» ИР. ¹⁰ИР; «справедливо дивились тогда» П, Т. ¹¹И, Т; «наваровало» ИР. Гоголь обыкновенно въ такой формѣ употребляетъ это слово.
- Стр. 253 ¹ИР; «овцеводи» П, Т. Ср. выше, стр. 571. ²ИР; «надавши» П, Т. ³ИР; «бровари» П, Т. ⁴«кидали свои кади и блии бочки» ИР; «кидали свои кади и блии бочки» П; «кидали свои кади и разбивали бочки» Т. ⁵И, Т; «Неугомонный вѣчно» ИР. ⁶ИР; «не уважали» П, Т. ⁷Т; «когда погнувшись надъ православіемъ и не вочтили предковскаго закона» ИР, П. ⁸ИР; «въ Сѣчь» П, Т.
- Стр. 254 ¹ИР; «вочиталось» П, Т. ²П, Т; «и въ голови еще» ИР. ³Т; «и вервой шевели» ИР, П.
- Стр. 255 ¹Т; «нмѣнявшихъ ея когда-то прекрасное лицо» ИИИ; «сизгннннннхъ когда-то прекрасное лицо ея» П. ²П, Т; «слуха» ИИИ. ³Т; «она видѣла изъ милости только оказываемы ласки» ИИИ, П. ⁴И. Только здѣсь уцѣлило правильное чтеніе этого мѣста. Переписчикъ «Тараса Бульбы» въ ИИИ поставилъ безсмысленный эпитетъ «безжизненныхъ» (рыцарей); такъ напечатано въ П, Т. ⁵П, Т; «у ней» ИИИ. ⁶Т; «и за каждый кусочекъ которнхъ, за каждую каплю крови она отдала би все» ИИИ, П. ⁷Т; «которнхъ всемогущій сонъ начиналъ уже смнвать» ИИИ, П. ⁸П, Т; «глазъ своихъ» ИИИ. ⁹Т; «до самаго свѣта» ИИИ, П. ¹⁰ИИИ; «вовсе не утомилась» П, Т.
- Стр. 256 ¹Т; «потому что нуть великій лежить» ИИИ, П. ²ИИИ, П; «и перетянулись золотнмъ очуромъ» Т. ³П, Т; «были задвинуты» ИИИ. ⁴Т; «сабля брякала по ногамъ ихъ» ИИИ, П. ⁵ИИИ, П; «Вѣдная мать, какъ увидѣла ихъ, и слова не могла промолвить» Т.
- Стр. 257 ¹Т; «потому что Бульба былъ» ИИИ, П. ²ИИИ; «сришила» П, Т. ³Т; «и съ отчаяньемъ во всѣхъ чертахъ» ИИИ, П. ⁴ИИИ, П; «несообразно ея лѣтамъ» Т. ⁵Т; слова «она» нѣтъ въ П, Т. ⁶П, Т; «одного изъ нихъ» ИИИ. ⁷Т; «отца своего» ИИИ, П. ⁸Т; «который однакоже, съ своей стороны, тоже былъ нѣсколько смущень» ИИИ, П. ⁹П, Т; «хотя не старался этого показывать» ИИИ. ¹⁰Т; «столько стояли на землѣ двѣ трубы отъ ихъ скромнаго домика» ИИИ, П. ¹¹Т; «однѣ только вершини деревъ, по сучьямъ которнхъ они лазили, какъ бѣлки; одинъ только дальній дугъ еще стлался передъ ними, — тотъ дугъ, по которому они могли припомнить всю исторію жизни отъ лѣтъ. когда катались (валялись П) по росистой травѣ его, до

- лѣтъ, когда поджидали въ немъ чернобровую козачку, боязливо летѣвшую черезъ него съ помощію своихъ свѣжихъ быстрыхъ ножекъ» ИМ, П. 12 П, Т; «на небѣ» ИМ.
- Стр. 258 1 Т; «о которыхъ всегда почти плачеть козакъ». 2 Т; «на Сѣчѣ» ИМ, П. 3 Т; «и тамъ уже они обыкновенно нѣсколько шлифовались» ИМ, П. 4 П, Т; «сдѣлавшее» ИМ. 5 Т; «что въ первый годъ еще бѣжалъ» ИМ, П. 6 П, Т; «Ни къ чему не могли они привязать своихъ позваній» ИМ.
- Стр. 259 1 П, Т; «эта бурса составляла» ИМ. 2 П, Т; «бѣжали» ИМ. 3 Слово «сами» внесено изъ ИМ. 4 ИМ; «богословіе» П, Т. 5 П, Т; «но никакъ» ИМ.
- Стр. 260 1 П, Т; «и какъ-то болѣе развиты» ИМ. 2 П, Т; «онъ былъ болѣе изобрѣтатель, нежели его братъ» ИМ. 3 ИМ, Т; «философическіе» П. 4 П, Т; слова «гдѣ» нѣтъ въ ИМ.
- Стр. 261 1 Т; «набѣжала почти на него» ИМ, П. 2 П, Т; «сучкою» ИМ. 3 Т; «которое раскинулось вѣтвями и упиралось въ самую крышу дома» П; «свѣтъ на дерево, раскинувшееся вѣтвями, упавшими въ самую крышу дома» ИМ. 4 Т; слова «онъ» нѣтъ ИМ, П. 5 Т; «увидѣла» ИМ, П. 6 П, Т; «поворотить» ИМ. 7 П, Т; «поворотить» ИМ.
- Стр. 262 1 П, Т; «въ еще большее смущеніе» ИМ. 2 Т; «Раздавшійся у дверей стукъ пробудилъ въ ней испугъ» ИМ, П. 3 Т; «она кликнула» П, Т. 4 ИМ; «мимо» П, Т. 5 ИМ; «была многочисленна» П, Т. 6 Т; «онъ увидѣлъ ее» ИМ, П. 7 П, Т; «и только козачки черныя шапки» ИМ. 8 Т; «Ну, разомъ, разомъ! Всѣ думки къ нечистому!» ИМ, П. 9 Т; «прилегли нѣсколько къ ковамъ» ИМ, П. 10 Т; «одна только быстрая молнія сжимаемой травы показывала бѣгъ ихъ» ИМ, П.
- Стр. 263 1 Т; «Ничто въ природѣ не могло быть лучше ихъ» ИМ, П. 2 Т; «Богъ знаетъ» ИМ, П. 3 П, Т; «Наши путешественники нѣсколько минутъ только останавливались для обѣда» ИМ. 4 ИМ; «отрядъ, состоявшій изъ десяти козачковъ» П, Т. 5 ИМ, П; «перемѣнилась» Т.
- Стр. 264 1 П, Т; «какъ тѣнь перебѣгала по нимъ, и они становились темно-зелеными» ИМ. 2 П, Т; «и чуть дотрогивался къ щекамъ» ИМ. 3 Т; «наполнившая день» ИМ. 4 Т; «овражки» ИМ, П. 5 Т; «скраканье» ИМ. 6 Т; «сочинялось въ свѣжемъ ночномъ воздухѣ и доходило до слуха гармоническимъ» ИМ, П.
- Стр. 265 1 ИМ, Т; «и владающей» П. 2 Т; «слѣдъ свой» ИМ, П. 3 Слово «дагѣ» внесено изъ ИМ. 4 П, Т; «дни» ИМ. 5 П, Т; «служившаго» ИМ. 6 Т; «и волны его стлались по самой землѣ» ИМ, П. 7 Т; «Сѣча» ИМ, П. 8 П, Т; «народа» ИМ.
- Стр. 266 1 П, Т; «сквозь тѣсную улицу» ИМ. 2 Т; «минули» ИМ, П. 3 Т; «установлены были» ИМ, П. 4 Слово «они» внесено изъ ИМ. 5 Т; «онъ держалъ въ рукахъ ее» ИМ, П. 6 Т; «заломивши чортомъ свою шапку» ИМ, П.
- Стр. 267 1 П, Т; «четыре» ИМ. 2 П, Т; «своими ногами» ИМ. 3 П, Т; «тѣсно» ИМ. 4 ИМ; «окружность» П, Т. 5 П, Т; «отбивались» ИМ. 6 П, Т; «развивались» ИМ. 7 П, Т; «слился изъ него» ИМ. 8 Т; «Толпа, чѣмъ далѣе, росла» ИМ, П. 9 Т; «какъ вся толпа отдирала» ИМ, П. 10 Т; «смиръ» ИМ, П. 11 Т; «спонесъ названіе козачка» ИМ, П. 12 Т; «смежъ народамъ» ИМ, П. 13 Т; «стали попадаться и степенные, уваженные по заслугамъ всею Сѣчью» ИМ, П. 14 П, Т; «Кирдугъ» ИМ. 15 ИМ, П; «Пидсентокъ» Т (опечатка). 16 ИМ, П; «Пидсенткова» Т.

- Стр. 268 ¹Т; «на Сѣчь» ИМ, П. ²П, Т; «Промежутки козакъ почитали скучнымъ занимать изученіемъ» ИМ. ³Т; «Сѣча» ИМ, П. ⁴Т; «Оно не было какое-нибудь сборище бражниковъ» ИМ, П. ⁵Т; «но было просто какое-то бѣшеное разгулье веселости» ИМ, П. ⁶Т; «на все прошедшее» ИМ, П. ⁷Т; «и съ жаромъ фаватика предавался волѣ» ИМ, П. ⁸Т; такихъ же, какъ самъ, не имѣвшихъ ни родныхъ, ни угла» ИМ, П. ⁹Т; «Разказы и болтовня, которые можно было слышать среди собравшейся толпы» ИМ, П. ¹⁰Т; «что нужно было имѣть только одну хладнокровную наружность Запорожца, чтобы сохранить во все время неподвижное выраженіе лицъ (= выраженіе лица П) и не моргнуть даже усомъ» ИМ, П.
- Стр. 269 ¹Т; «гдѣ мрачно, искаженными чертами веселія забывается человѣкъ» ИМ, П. ²Т; «на которомъ производилась игра въ мячикъ» ИМ, П. ³Т; «домовъ своихъ» ИМ, П. ⁴Т; «уронить» ИМ, П. ⁵Т; «которые не внесли академическихъ лозъ и которые не вывели изъ школы ни одной буквы; но вмѣстѣ съ этими здѣсь были и тѣ» ИМ, П. ⁶Т; «на Сѣчу» ИМ, П. ⁷Т; «на Сѣчь» ИМ, П. ⁸П, Т; «потребность» ИМ. ⁹П, Т; «здѣсь себя работу» ИМ. ¹⁰Т; «показалось» ИМ, П. ¹¹Т; «на Сѣчу» ИМ, П. ¹²П, Т; «гибель народа» ИМ. ¹³П, Т; «спросилъ ихъ» ИМ. ¹⁴П, Т; «откуда они» ИМ.
- Стр. 270 ¹Т; «какъ будто бы возвращаясь въ свой собственный домъ, изъ котораго только за часъ передъ тѣмъ вышли» П; «какъ будто бы возвращались въ свой собственный домъ, изъ котораго только за часъ предъ тѣмъ вышли» ИМ. ²ИМ, П; «Во Христа вѣруешь?» Т. ³Т; «Сѣча» ИМ, П. ⁴ИМ; они походили на тѣхъ» П, Т. ⁵НР; «которые очень похожи были» П, Т. ⁶П, Т; «а еще болѣе походили на школу» НР. ⁷П, Т; «и не держалъ у себя» НР. ⁸НР, П; «батьки» Т. ⁹П, Т; «вся харчь» НР. ¹⁰П, И; «пока» НР. ¹¹П, Т; «та Сѣчь» НР. ¹²НР; «тогда» П; «казалось имъ даже слишкомъ строгими» Т.
- Стр. 271 ¹НР; «до смерти» П, Т. ²Т; «выкупить и заплатить за него долги» НР, П. ³П, Т; «впечатлѣнья» НР. ⁴П, Т; «обѣихъ» НР. ⁵П, Т; слова своего имѣть НР. ⁶Т; «закидывать невода и сѣти» П; «закидать неводи и сѣти» НР. ⁷НР; «всего куреня» П, Т. ⁸П, Т; «замѣтными» НР. ⁹П, Т; «прямо» НР. ¹⁰П, Т; «другую имъ дѣятельность» НР. ¹¹П, Т; «изъ рта» НР. ¹²НР; «въ» П, Т.
- Стр. 272 ¹НР; «бусурманъ» П, Т. ²НР; «бусурмановъ» П, Т. ³НР; «отомстить» П, Т. ⁴НР; «однакожь не смотря на то» П, Т.
- Стр. 273 ¹Т; «пробитыя» НР, П. ²П, Т; «сопершись» НР. ³П, Т; «сдѣлался общимъ» НР. ⁴П, Т; «чувствуя» НР. ⁵П, Т; «въ толпы» НР. ⁶Т; «еще молоко не обсохло» НР, П. ⁷НР, Т; «Шило» П. ⁸Т; «пирокрался» НР, П. ⁹П, Т; «Кирдюга» НР.
- Стр. 274 ¹П, Т; «Кирдюга» НР. ²П, Т; «Кирдюга» НР. ³П, Т; «Кирдюга» НР. ⁴П, Т; «Кирдюга! Кирдюга!» НР. ⁵П, Т; «Кирдюгъ» НР. ⁶П, Т; «за Кирдюгомъ» НР. ⁷НР; «отдѣлилось» П, Т; ⁸П, Т; «къ Кирдюгу» НР. ⁹П, Т; «Кирдюгъ» НР. ¹⁰П, Т; «Кирдюгъ» НР. ¹¹Т; «подталкиваньями» НР, П. ¹²П, Т; «Кирдюгъ» НР. ¹³П, Т; «Кирдюгъ» НР. ¹⁴П, Т; «Кирдюгъ» НР.
- Стр. 275 ¹П, Т; «загулило» НР. ²Т; «на Сѣчь» НР, П. ³Т; «Стекла съ головы его мокрая земля» НР, П. ⁴НР; «замарала» П, Т. ⁵П, Т; «Кирдюгъ»

НР. ⁶Т; «стоялъ, не сдвинувшись, и благодарилъ» НР, П. ⁷Т; «какъ радъ былъ Бульба: сначала потому что отомстилъ первому кошевому, а потомъ потому что Кирдягъ (Кирдяга П) былъ старилъ его товарищъ» НР, П. ⁸Т; «не видали НР, П. ⁹Т; «Винные шинки все (= всѣ П) были разнесены» НР, П. ¹⁰Т; «столпы музыкантовъ, проходившихъ по улицамъ, бандури, турбаны, кругляя балабайки» НР, П. ¹¹Т; «на Съчѣ» НР, П. ¹²Т; «и видно было понемногу, какъ то тамъ» НР, П. ¹³Т; «валился козакъ» НР; «валился казакъ» П. ¹⁴Т; «Тамъ товарищъ, обнявши товарища, разчувствовавшись и даже оба заплакавши, валились оба на землю» НР; «Тамъ товарищъ, обнявши товарища, разчувствовавшись и даже заплакавши, валились оба на землю» П. ¹⁵Т; «и тотъ повалился» НР, П.

Стр. 276 ¹П, Т; «впоперекъ» НР. ²НР, П; въ Т слово «вдругъ» пропущено. ³НР; «Что?» П, Т. ⁴НР; «изъ какого» П, Т. ⁵НР; «заплали» П, Т. ⁶Т; «позадолжались» ИМ, П.

Стр. 277 ¹П, Т; «вотъ сколько лѣтъ, какъ уже» ИМ. ²Т; «чтоби наружность деревни, но даже внутреннїе образа безъ всякаго убранства» ИМ, П. ³ИМ, П; «да и даанїе было бѣдное» Т. ⁴Т; «потому что они почти все еще пропили при жизни своей» ИМ, П. ⁵Т; «Такъ я все веду» ИМ, П. ⁶Т; «ибо мы обѣщали» ИМ, П. ⁷ИМ, П; «за вѣру готовы» Т. ⁸П, Т; «лучшаго» ИМ. ⁹ИМ; «за пятки» П, Т.

Стр. 278 ¹ИМ; «отправилось» П, Т. ²ИМ; «явилось» П, Т. ³ИМ; «по колѣва» П, Т. ⁴Т; «и стягивали челна съ берега крѣпкимъ канатомъ» П; «и стягивали ихъ съ берега крѣпкимъ канатомъ» ИМ. ⁵П, Т; «Другїе таскали готовое сухое бревно и всякое дерево» ИМ. ⁶ИМ; «привязывали» П, Т. ⁷П, Т; «далеко прочь» ИМ. ⁸ИМ; «толпа» П, Т. ⁹ИМ, П; «что они или избѣгнули какой-нибудь бѣды» Т. ¹⁰ИМ, П; «сплечистый козакъ лѣтъ пятидесяти» Т. ¹¹ИМ; «скрикомъ» П, Т. ¹²Т; «приворачивалъ къ берегу» ИМ, П. ¹³Т; «Всѣ рабочїе, остановивъ свои работы, поднявъ топоры, долота, прекратили стукотню и смотрѣли въ ожиданїи» ИМ, П.

Стр. 279 ¹П, Т; «Берегъ весь» ИМ. ²ИМ; «въ» П, Т. ³ИМ; «спросилъ» П, Т. ⁴Т; «не слышали» ИМ, П. ⁵Слово «просто» внесено изъ ИМ. ⁶П, Т; «на Запорожьѣ» ИМ. ⁷П, Т; «углубивши» ИМ.

Стр. 280 ¹Т; «что жъ вы дѣлали?» ИМ, П. ²ИМ; «что не приведи Богъ никому» П, Т. ³Т; «Колебнулась» ИМ, П. ⁴Т; «Сначала на мигъ пронеслось» ИМ, П. ⁵Т; «которое устанавливается передъ свирѣпой бурей» ИМ, П. ⁶Т; «и» ИМ, П.

Стр. 281 ¹ИМ; «что еще» П, Т. ²Т; «умиралъ» ИМ, П. ³ИМ, П; «съ изодранныхъ ермолакахъ, оба блѣдныя, какъ глина» Т. ⁴Т; «не соглашались» ИМ, П. ⁵Т; «жалкій» ИМ, П. ⁶Т; «пѣгомъ и узкомъ» ИМ, П. ⁷Т; «у Турокъ» П; «у Турковъ» ИМ.

Стр. 282 ¹ИМ; «и говорилъ» П, Т. ²П, Т; «Жьда будетъ всегда время повѣсить» ИМ. ³ИМ, П; «сегодня» Т. ⁴Т; «не пошевелись» ИМ, П. ⁵Т; слова «а» вѣтъ въ ИМ, П. ⁶НР; «отмстить все зло» П, Т. ⁷Т; «пустить пожаръ по деревьямъ и хлѣбамъ, и пустить» НР, П. ⁸Т; «далеко по всей степи о себѣ славу» НР, ИМ, П. ⁹Т; «онъ» ИМ, П. ¹⁰«когда онъ раздавалъ повелѣнїя, тихо, не выкрикивая» НР, П; «когда кошевой раздавалъ повелѣнїя: раздавалъ онъ ихъ тихо, не вскрикивая» (опеч.) Т. ¹¹НР, П; слова

- «и» нѣтъ Т. ¹²Т; «и глубоко оинтний» П; «и далеко оинтний» НР. ¹³Т; «равуимо замншленне подвиги» НР, П. ¹⁴Т; «Осмотритесь, осмотритесь хорошенько всё» НР, П. ¹⁵Т; въ НР сначала было написано: «на козакѣ», потомъ описки исправлена: «на козака»; во въ П: «на козакѣ» ¹⁶Т; «при перенравахъ» НР, П.
- Стр. 283 ¹Т; «какъ собаку повелю его присмигнуть (присмигнуть П) до обору» НР, П. ²Т; «да не торопись принимайтесь за дѣло» НР, П. ³П, Т; «свѣжия оси» НР. ⁴П, Т; «саблей» НР. ⁵П, Т; «бичачье мнчаше» НР. ⁶Т; «кто бы захотѣлъ перебѣжать все пространство отъ (его П) головы до хвоста его» НР, П. ⁷П, Т; «сказали всё» НР.
- Стр. 284 ¹Т; словъ «на конѣ» нѣтъ НР, П. ²П, Т; «что таинственнаго» НР. ³НР; «поднившисъ жидовской натурѣ» П, Т. ⁴Т; «и разбѣгалось въ сей (этотъ П) нестройный, изумительно безнечный вѣкъ, когда не воздвигалось ни крѣпостей» НР, П. ⁵Т; «а просто, какъ понало, становилъ на время соломенное жилище свое человекъ, думалъ» НР, П. ⁶Т; «не тратить же на него» НР, П. ⁷Т; «когда оно и безъ того будетъ снесено до тла татарскими набѣгомъ» НР, П. ⁸Т; «Все всполохнулось» НР, П. ⁹Т; «было можно» НР, П. ¹⁰ «Попадались иногда по дорогѣ такіе» НР, П. ¹¹Т; «которые встрѣчали (хотя безплодно) вооруженною рукою гостей» НР, П. ¹²Т; «заранѣ» НР, П. ¹³Т; «Всѣ знали, что трудно имѣть дѣло съ сею (этою П) закаленной вѣчною бранью толпою» НР, П. ¹⁴Т; «которое и среди своевольнаго неурейства своего заключало обдуманное устройство во время битвы» НР, П. ¹⁵Т; «Засыланы» НР, П.
- Стр. 285 ¹Т; «Дѣломъ воздвигнулся бы» НР, П. ²Т; «содранныя кожи» НР, П. ³НР; «по когѣна» П, Т. ⁴П, Т; «временами» НР. ⁵НР; «наши молодые козаки» П, Т.
- Стр. 286 ¹П, Т; «Крѣпкое слышилось въ его тѣлѣ» НР. ²НР; «широкую силу льва» П, Т. ³НР, П; «батюку» Т. ⁴Т; «заранѣ» НР, П. ⁵П, Т; слова «что-то» нѣтъ въ НР. ⁶Т; «въ свистѣ пуль, сабельнымъ блескѣ и въ собственномъ жару, наноса всѣмъ удары и не слыша нанесенныхъ» НР, П. ⁷Т; «И не разъ дивился старшій Тарасъ, вида, какъ Андрій, понуждаемый однимъ только запальчивымъ увлеченіемъ, устремлялся» НР, П. ⁸Т; «дни» НР, П.
- Стр. 287 ¹НР; «полѣзли было» П, Т. Въ НР сначала было написано авторомъ: «полѣзали было», потомъ переправлено такъ: «было полѣзли». ²Т; «даже женщины» НР, П. ³ Слово «горячій» внесено изъ НР. ⁴ Слово «снѣ» внесено изъ НР. ⁵ НР; «спустъ ихъ, собаки, всё передохнуть съ голоду» П, Т. ⁶Т; «въ вивы, еще не успѣвшія срѣзаться серпомъ» НР, П. ⁷НР; «снѣ города» П, Т. ⁸П, Т; «на Сѣчѣ» НР. ⁹Т; «и особливо скучною трезвостью» НР, П. ¹⁰П, Т; «на бездѣльѣ» НР. ¹¹ Слово «кто» внесено изъ НР.
- Стр. 288 ¹Т; «познава» П; въ НР сперва было написано «познава», потомъ и зачеркнуто: «познава». Передъ этимъ словомъ въ НР зачеркнуто: «сознава». ²Т; «старую мать свою» НР, П. ³Т; «Что то пророчитъ имъ и говорить это благословенье?» НР, П. ⁴ Слово «онъ» внесено изъ НР, П; въ Т нѣтъ. ⁵Т; «и» НР, П. ⁶Т; «и далеко подалѣ отъ телѣтъ» НР; «и гораздо далѣе отъ телѣтъ» П. ⁷Т; «куль, или шапку, или употребивши» НР, П. ⁸НР, П; «сружье, самопалъ» Т. ⁹Т; «вснѣла почти у каждого пояса» НР, П.

- Стр. 289 ¹НР; «по отлогостямъ» ИМ, П, Т. ²П, Т; «изъ поля» НР, ИМ. Употребление предлога «изъ» вмѣсто «съ» и наоборотъ очень обычно у Гоголя. ³П, Т; «А между тѣмъ величественное и грозное» НР, ИМ. ⁴НР, ИМ; «Это было зарево» П, Т. ⁵НР, ИМ; «грозды» П, Т. ⁶НР, ИМ; «Обнаженный» П, Т. ⁷НР, ИМ; «пожаровъ» П, Т. ⁸П, Т; «Овъ» НР, ИМ. ⁹НР, ИМ, П; «перекусивши саламаты и галушекъ» Т. ¹⁰НР, ИМ, П; слова «немного» вѣтъ въ Т. ¹¹«гущина звѣздъ, составлявшая млечный путь, *косвеннымъ* поясомъ переходившая *небо*, вся была залита *въ свѣту*» НР; «гущина звѣздъ, составлявшая млечный путь, поясомъ переходившая *по небу*, вся была залита *свѣтомъ*» П; «гущина звѣздъ, составлявшая млечный путь *и* поясомъ переходившая *по небу*, вся была залита *свѣтомъ*» Т.
- Стр. 290 ¹Т; «Думая, что то было простое обаяніе сна, которое сейчасъ же разсѣется» П; «Думая, что было то простое обаяніе сна и сейчасъ же разсѣется» НР, ИМ. ²НР, ИМ; «открылъ» П, Т. ³НР, ИМ; «больше» П, Т. ⁴Т; «заставили бы скорѣе подумать» НР; «заставила бы скорѣе подумать» ИМ, П. ⁵НР, ИМ; «ирножило» П, Т. ⁶НР, ИМ, П; въ Т пропущено слово «внимательнѣй». ⁷НР; «отпозналъ» ИМ; «сузналъ» П, Т. ⁸Т; «Накоонецъ, овъ не вытерпѣлъ не спросить» ИМ, П; «Накоонецъ, овъ не вытерпѣлъ (чтобы не спросить)» НР. ⁹ИМ, П, Т; «сложивъ умоляющимъ видомъ» НР. ¹⁰Т; «говорилъ Андрій шопотомъ, почти задыхающимся и прерывающимся всякую минуту отъ внутренняго волненія» ИМ, П; «говорилъ Андрій шопотомъ, почти задыхающимся и прерывавшимся всякую минуту отъ внутренняго волненія» НР. ¹¹НР, ИМ; «жива ли еще она?» П, Т.
- Стр. 291 ¹НР; «Она теперь» ИМ, П, Т. ²НР, ИМ; «опять едва» П, Т. ³НР, ИМ; «видѣла» П, Т. ⁴НР, ИМ; «когда» П, Т. ⁵НР, ИМ; «Пойдемъ, пойдемъ» П, Т. ⁶НР, ИМ; «Матери» П, Т.
- Стр. 292 ¹Т; «Все минувшее, что было закрыто, заглушено» НР, ИМ, П. ²Т; «потопивши въ свою очередь все, что было теперь» П; «потопивши въ свою очередь, что было теперь» НР, ИМ. ³НР, ИМ, П; «какъ бы» Т. ⁴НР, ИМ; «изъ» П, Т. ⁵Т; «и, проснувшись, долго лежалъ овъ безъ сна на одрѣ» НР, ИМ, П. ⁶НР, ИМ; «становилось сильнѣе» П, Т. ⁷НР, ИМ; «и дрожали молодца колѣна его» П; «и дрожали молодца его колѣна» Т. ⁸НР, ИМ, П; «и весь» Т. ⁹Т; «отъ голода» НР, ИМ, П. ¹⁰НР, ИМ; вѣтъ слова «себѣ» П, Т. ¹¹Т; «но подумалъ тутъ же» НР, ИМ, П. ¹²НР, ИМ; «въ» П, Т. ¹³НР, ИМ; «стѣлось» П, Т. ¹⁴НР, ИМ; «судна» П, Т. ¹⁵П, Т; «свездѣ» НР, ИМ.
- Стр. 293 ¹НР, ИМ; «но на возѣ его не было» П; «но на возу его не было» Т. ²НР, ИМ; слова «возлѣ» вѣтъ П, Т. ³П, Т; «Овъ» НР, ИМ. ⁴ИМ, П, Т; «и дрожа» НР. ⁵П, Т; «къ добру» НР, ИМ. ⁶НР, ИМ; «духу» П, Т; въ НР авторъ сначала написалъ: «духу», потомъ переправилъ въ «духа». ⁷НР, ИМ; «что старій Бульба уже спалъ» П, Т.
- Стр. 294 ¹НР, ИМ; «помутившілся» П, Т. ²Т; «Овъ дернулъ за рукавъ ее» НР, ИМ, П. ³П, Т; «сію» НР, ИМ. ⁴НР, ИМ; «въ небѣ» П, Т. ⁵Т; «сходящій совершенно обрывомъ» НР, ИМ, П. ⁶Т; «Передъ нимъ видны были широкіе листы лопуха» НР, ИМ, П. ⁷НР, ИМ; «изъ-за котораго» П, Т. ⁸НР, ИМ, П; «выше всѣхъ свою голову» Т. ⁹НР, ИМ; «отверстіи въ хлѣбной нечѣ» П, Т.

- Стр. 295 ¹ НР, ИМ, П; «свѣгло» Т. ² П, Т; «свѣтильники» ИМ; «свѣтильни» НР. ³ П, Т; «мѣлную свѣтильню» НР, ИМ. ⁴ Т; «отъ лампы» НР, ИМ, П. ⁵ «Герардо delle notti» Т; «Жирарда della notte» НР, ИМ, П. ⁶ Слова: «напоминивши ему кіевскія пещеры» внесены изъ НР.
- Стр. 296 ¹ НР, ИМ; «принюдала было руку» П, Т. ² НР, ИМ; «мѣсто ея» П, Т. ³ НР, ИМ; «показавши» П, Т. ⁴ НР, ИМ; «впустилъ» П, Т. ⁵ НР, ИМ; «съ кидчемъ» П, Т. ⁶ НР, ИМ; «на колѣнахъ» П, Т. ⁷ НР, ИМ; «на колѣнахъ» П, Т. ⁸ П; «два молодые *«мироса»* (sic!) въ лиловыхъ мантияхъ съ бѣлыми кружевными шемветками *«свертъ»* изъ» НР, ИМ; въ Т нѣтъ словъ: «сверхъ ихъ» ⁹ НР, ИМ; «объ» П, Т. ¹⁰ НР, ИМ; «на колѣнахъ» П, Т. ¹¹ НР; въ П, Т; нѣтъ словъ «и шластръ», потому что писецъ ИМ не разобралъ слово «шластръ» и оставилъ для него въ рукописи пустое мѣсто. См. выше, стр. 658.
- Стр. 297 ¹ НР, ИМ; «въ воздухъ» П, Т. ² НР, ИМ, П; «стонъ органа» Т. ³ НР, ИМ; «раскаты» П, Т. ⁴ НР, ИМ; «что кто-то дернулъ» П, Т. ⁵ НР, ИМ; «что здѣсь былъ еще, можетъ быть, только недѣлю назадъ рынокъ» П, Т. ⁶ Т; «Мостовая, которыхъ тогда не было въ обыкновеніи дѣлать» НР, ИМ, П. ⁷ Т; «обступали вокругъ» НР, ИМ, П. ⁸ Т; «столбы, шедшими во всю высоту стѣны» НР, ИМ, П. ⁹ НР; «деревянными же *«саями»* ИМ, П; «деревянными же брусьями» Т. ¹⁰ Т; нѣтъ слова «еще» въ НР, ИМ, П. ¹¹ П, Т; «наполненными множествомъ» НР, ИМ. ¹² НР, ИМ; «большой циферблатъ» П, Т. ¹³ Т; «онъ на другой сторонѣ ея замѣтилъ» П; «онъ замѣтилъ на другой сторонѣ ея» НР, ИМ.
- Стр. 298 ¹ Исправлено; «схвативши» НР, ИМ, П, Т. Гоголь очень часто отбрасываетъ мѣстоименіе *«я»* въ глагольныхъ формахъ, имѣющихъ это окончаніе. ² П, Т; «ровныхъ» НР, ИМ. ³ НР; «взсохлое» ИМ; «взсохшее» П, Т. ⁴ П, Т; «сихъ» НР, ИМ.
- Стр. 299 ¹ НР, ИМ, П; «Можетъ быть» Т. ² П, Т; «У ногъ дѣстницы» НР, ИМ. ³ НР, ИМ; «иди» П, Т. ⁴ П, Т; «восходилъ» НР, ИМ.
- Стр. 300 ¹ НР, ИМ; словъ: «какъ военнаго, такъ и владѣльца собственныхъ помѣстьевъ», нѣтъ П, Т. ² П, Т; «свѣтильни» НР, ИМ. ³ П, Т; «человѣку» НР, ИМ. ⁴ П, Т; «которую онъ началъ хорошо разсматривать» ИМ; «которую онъ началъ хорошо разсмотрѣть» НР. ⁵ НР, Т; «стави» ИМ, П. ⁶ П, Т; «свошелъ» НР, ИМ. ⁷ П, Т; «свошелъ» НР, ИМ. ⁸ П, Т; «лампа» НР, ИМ. ⁹ НР, ИМ; «сколѣвъ» П, Т. ¹⁰ НР; «То» ИМ, П, Т. Въ НР сначала было написано: «То была. . . . это была. . .»; потомъ «это» исправлено въ «эта», а слово «то» оставлено безъ необходимаго измѣненія.
- Стр. 301 ¹ НР, ИМ; «проходившею въ душу» П, Т. ² П, Т; «въ нихъ отыскать» НР, ИМ. ³ НР, ИМ; «не помрачала» П, Т. ⁴ П, Т; «напротивъ, казалось, какъ будто» НР, ИМ. ⁵ НР, ИМ; «который и въ самой неподвижности» П, Т. ⁶ П, Т; «загорѣлая щека блистала» НР, ИМ. ⁷ П, Т; «возблагодарить» НР, ИМ. ⁸ П, Т; «спотуила къ низу» НР, ИМ. ⁹ НР; «охраненная» ИМ; «охраненны» П, Т. ¹⁰ ИМ; «Ничего не зная сказать на это Андрій» НР; «Не зная, что сказать на это, Андрій» П, Т. Въ ИМ сперва было написано: «Ничего не зналъ» (какъ въ НР), потомъ послѣднее слово переправлено въ «умѣлъ». ¹¹ П, Т; слова «въ» нѣтъ НР, ИМ. ¹² П, Т; «привнесенный рыцаремъ хлѣбъ и яства, несла ихъ» НР, ИМ. ¹³ П, Т; «Сей» НР, ИМ.

- Стр. 302 ¹ИМ, П, Т; въ НР было сначала написано: «Душевныя движенія и чувства, которыя дотолѣ, казалось, кто-то удерживалъ»; потомъ это исправлено и приписано сверху строкъ такъ: «Все, что дотолѣ удерживалось какою-то тяжкою уздою, теперь почувствовало себя на свободѣ, на волѣ». ²ИМ, П, Т; такъ было сначала и въ НР, но потомъ эти строки зачеркнуты и сверху написанъ новый текстъ: «Андрій привыкнувъ духомъ и только глядѣвъ, какъ она» ⁴П, Т; «видается» НР, ИМ. ⁴НР; «исполнить» ИМ, П, Т. ⁵НР, ИМ; «исполни» П, Т. ⁶НР; «во, нѣтъ, нельзя сказать того» ИМ, П, Т; такъ было сначала и въ НР, но потомъ зачеркнуто и замѣнено словами, внесенными въ текстъ этого изданія: «во не въ силахъ сказать того». ⁷НР, ИМ; «Нѣтъ ни у кого теперь изъ козаковъ нашихъ такого оружія» П, Т. ⁸П, Т; «сморгнешь» НР, ИМ.
- Стр. 303 ¹НР, ИМ; слово «всѣ» выпущено П, Т. ²НР, ИМ; въ П, Т нѣтъ этого мѣста: «Мы не годимся быть твоими рабами; только небесныя ангелы могутъ служить тебѣ». ³П, Т; «сей» НР, ИМ. ⁴НР, ИМ, П; «стоятъ позади суровыми мстителями» Т. ⁵НР, ИМ; слово «быстро» пропущено П, Т. ⁶П, Т; «набросила себѣ на лицо его» НР, ИМ. ⁷П, Т; слова «овѣ» нѣтъ въ НР, ИМ. ⁸П, Т; «сего» НР, ИМ. ⁹НР, ИМ; «падающіе» П, Т. ¹⁰НР, ИМ; «волосы свои» П, Т.
- Стр. 304 ¹НР; «выговаривая ихъ тихимъ голосомъ» ИМ, П, Т. ²НР, ИМ; «въ прекраснѣй вечеръ» П, Т. ³НР, ИМ; «ни отдаленнаго стука гдѣ-то пробѣгающей телѣги» П, Т. Въ ИМ это мѣсто имѣетъ такой видъ: «не чуя ни погасающаго вечера, ни несущихся веселыхъ пѣсней народа, бредущаго отъ полевыхъ работъ и живявъ, ни отдаленнаго торохтанья гдѣ-то пробѣгающей телѣги, — *наносящихъ легкія вечерніе мечтаній человеку*». Ср. начало «куналовой» пѣсни: «Торбѣхъ, торбѣхъ по дорозѣ!» (Максимовича Малороссійскія пѣсни, 1827, стр. 166). Максимовичъ объясняетъ: «Торбѣхъ — междометіе; глаголь «торожити» — гремѣтъ, стучать» (тамъ же, стр. 208). ⁵П, Т; «привела мнѣ въ ноги» НР, ИМ, ⁶П, П; словъ: «любовь моя» нѣтъ въ НР, ИМ. ⁷П, Т; «готова бы была» НР, ИМ.
- Стр. 305 ¹П, Т; «семь» НР, ИМ. ²НР, ИМ; «будеть» П, Т. ³НР, ИМ; «умру я» П, Т. ⁴НР, ИМ; «скольбя» П, Т. ⁵П, Т; «разлучать отъ тебя» НР, ИМ. ⁶НР, ИМ; слова «и» нѣтъ П, Т. ⁷НР, ИМ; слова «и» нѣтъ П, Т. ⁸П; «надрѣвный осокорь» НР, ИМ, П. ⁹НР, ИМ; «и съ тѣмъ движеніемъ руки» П, Т. ¹⁰П, Т; «сію» НР, ИМ.
- Стр. 306 ¹П, Т; «сопровожденны» НР, ИМ. ²НР, ИМ; «всѣ спустившіеся съ головы» П, Т. ³НР, ИМ; «блестящимъ» П, Т. ⁴НР, ИМ; «Полюный чувствъ, вкушаемыхъ не на землѣ» П, Т. ⁵П, Т; «въ сія благовонны уста» НР, ИМ. ⁶П, Т; «семь» НР, ИМ.
- Стр. 307 ¹Т; «и затяхли, снявши шапки» НР, ИМ, П. ²НР, ИМ; «сначала» П, Т. ³НР, ИМ, П; слово «только» пропущено въ Т. ⁴НР; послѣднія три слова въ НР зачеркнуты карандашомъ, а не чернилами, какъ зачеркивались мѣста, подлежащія уничтоженію; этихъ словъ: «все христіанское войско» нѣтъ въ ИМ, П, Т.
- Стр. 308 ¹НР, ИМ; «сказне» П, Т. ²НР. Прежде въ НР было написано: «Теперь слушайте же»; потомъ слово «теперь» зачеркнуто карандашомъ и начальное «с» въ словѣ «слушайте» переправлено въ С; поэтому, въ ИМ:

- «Теперь. Слушайте же»; въ П, Т: «Теперь слушайте же» ² НР; «Тунношевский» ИМ, П, Т. Ошибочно: «Тунношевскаго» курена не было. ⁴ НР, ИМ; «всякій перегляди» П, Т. ⁵ П, Т; «останками» НР, ИМ. ⁶ НР; ошибочно: «сповачадилсь» ИМ, П, Т. ⁷ НР, ИМ, П; «распоряжался» Т. ⁸ НР, ИМ; «къ» П, Т.
- Стр. 309 ¹ НР; «съ нимъ» ИМ, П, Т. ² НР; «ни» ИМ, П, Т. ³ НР, ИМ; слово «и» пропущено въ П, Т.
- Стр. 310 ¹ НР; въ ИМ неясно, повидимому: «Хайвальхъ»: въ П, Т: «Хайвальхъ». ² НР; «свидѣль» ИМ, П, Т. ³ НР, ИМ; «Чтожь онъ?» П, Т. ⁴ НР; «и наплечники въ золотѣ, и шапка въ золотѣ, и по полю золото, и вездѣ золото, и все золото» ИМ; «И наплечники въ золотѣ, и на полѣ золото, и вездѣ золото, и все золото» П, Т. ⁵ НР, ИМ; «и всякая травка» П, Т. ⁶ НР, ИМ; «продаль» П, Т.
- Стр. 311 ¹ НР, ИМ; «свекра и отца отца моего» П; въ Т опечатка: «свекра и отца моего». ² Послѣ слова «ротъ» въ НР зачеркнуто приписанное сверху строки: «съ прищокываьемъ»; этихъ словъ уже нѣтъ въ ИМ. ³ НР; передъ словомъ «Какъ» въ НР зачеркнуто: «Я». Писецъ ИМ привалъ это зачеркнутое слово за «А» и написалъ «А какъ только»; въ П, Т: «А какъ только». ⁴ НР, ИМ; «жемчугу» П, Т. ⁵ НР; «обѣщался» ИМ, П, Т.
- Стр. 312 ¹ НР; «И сказавши» ИМ, П, Т. ² НР, ИМ, П; «связаннымъ» Т. ³ НР, ИМ; «ставѣ» П, Т. ⁴ П, Т; «солнцу» НР, ИМ. ⁵ НР, ИМ; «ружья» П, Т. ⁶ Исправлено; «приплавчались» НР, ИМ, П, Т. Гоголь любитъ прибавлять мѣстоименіе *ся* къ глаголамъ, не требующимъ у насъ этого окончанія.
- Стр. 313 ¹ П, Т; «въ силу» НР, ИМ. Въмѣсто «насилу» Гоголь почти всегда употребляетъ: «въ силу», «въ силахъ». ² НР, ИМ; «Много всякихъ было тамъ» П, Т. ³ НР, ИМ; «възъ нихъ» П, Т. ⁴ НР, ИМ; «выѣхали» П, Т. ⁵ НР, ИМ; «на Сѣтъ» П, Т; ⁶ НР; «потерѣвшій» ИМ, П, Т. ⁷ НР, ИМ; «сгорѣвшими» П, Т.
- Стр. 314 ¹ НР; «И потушилъ» ИМ, П, Т. ² НР, ИМ; «Въ одну» П, Т. ³ Въ НР слово «друзьяка» зачеркнуто, но въ ИМ приписано собственною рукою автора и потому внесено въ П, Т. ⁴ П, Т; «Голоконитенько» НР, ИМ. ⁵ П, Т; «сказать» НР, ИМ.
- Стр. 315 ¹ НР; «съ вала» ИМ, П, Т. ² П, Т; «На валу задвигалась суетня» НР, ИМ. ³ НР, ИМ; слова «шитне» нѣтъ П, Т. ⁴ ИМ; «Оставляйте» НР. Въ ИМ «всѣ» переправлено изъ ошибочно написаннаго «же»; описка удержана П, Т: «оставляйте же». ⁵ П, Т; «ихъ» НР, ИМ. ⁶ НР; «святъ» ИМ, П, Т. ⁷ НР; «отъязавъ» ИМ, П, Т. ⁸ НР; «острымъ» ИМ, П, Т. ⁹ НР, ИМ; «рода» П, Т.
- Стр. 316 ¹ НР, ИМ; «а» П, Т. ² НР; «отнялъ» ИМ, П, Т. ³ НР, ИМ; слова «и» нѣтъ въ П, Т. ⁴ П, Т; «вечеловѣчяго» НР, ИМ. ⁵ НР, ИМ; слово «его» пропущено въ П, Т. ⁶ НР; «отѣзжавши» ИМ; «отѣзжалъ» П, Т. ⁷ ИМ, П, Т; «два раза» НР. ⁸ П, Т; «възъ сѣдла» НР, ИМ. ⁹ Слово «козака» внесено изъ НР.
- Стр. 317 ¹ Слово «вокругъ» внесено изъ НР. ² НР; «распаставный *среди* воздуха на одномъ мѣстѣ». Слово «среди воздуха» нѣтъ въ НР и въ ИМ; но въ ИМ послѣ слова «распаставный» оставлено пустое мѣсто для вписанія какихъ-то словъ. ³ Т; «и даромъ полетѣла въ поле пуля» НР, ИМ, П. ⁴ НР, ИМ; «прибирать» П, Т. ⁵ П, Т; «Лучше не можно поставитъ въ ку-

- ренные, какъ кромѣ Бульбенка Остапа» ИМ; «Лучше не можно поставить въ куренные никого, кромѣ Бульбенка Остапа» НР.
- Стр. 318 ¹ П, Т; «на впереймы» НР, ИМ. ² Т; «поворотилось» НР, ИМ, П. ³ НР, ИМ, П; слово «другихъ» пропущено Т. ⁴ ИМ, П, Т; «скрипомъ» НР. ⁵ НР; «грянуло» ИМ, П, Т. ⁶ Т; «и перекинулись съ обѣихъ сторонъ всё, бывшіе позадоріе, бойкими словами» НР, ИМ, П. ⁷ НР, ИМ; «утомившихъ» П, Т.
- Стр. 319 ¹ НР, ИМ; «выклевать» П, Т. ² НР, ИМ; «привизавши» П, Т. ³ НР; «вечеромъ» ИМ — описка, удержавная въ П, Т. ⁴ П, Т; «покрывающимъ» НР, ИМ. ⁵ НР, ИМ; «въ кучу» (опечатка) П, Т.
- Стр. 320 ¹ НР, ИМ; «пересѣлъ ва другога» П, Т. ² НР, ИМ; «этого» П, Т. ³ НР, ИМ; «островъ» П, Т. ⁴ НР; «снявъ» ИМ; «снявши» П, Т. Въ НР прежде авторъ написалъ: «снявши», потомъ переправилъ въ «снялъ».
- Стр. 321 ¹ НР, ИМ; «громко» П, Т. ² ИМ, П, Т; «на *свои* очи свои хмуря» НР. ³ П, Т; «повнроставшимъ» НР, ИМ. ⁴ П, Т; «какъ сдѣлали они доселѣ» НР, ИМ. ⁵ НР; «спопрекать» ИМ, П, Т. ⁶ НР, ИМ, П; «у всѣхъ козаковъ» Т. ⁷ НР; писецъ ИМ не разобралъ этого слова и написалъ: «вѣчно»; эта ошибка повторена П, Т. ⁸ П, Т; «изъ своей коротенькой трубки» НР, ИМ.
- Стр. 322 ¹ НР, ИМ; «на сей разъ» П, Т. ² НР; въ ИМ неясно: «пошло» или «пошла»; «пошла» П, Т. ³ Слово «и» внесено изъ НР. ⁴ Т; «печись» НР, ИМ, П. Гоголь нерѣдко употребляетъ ч, гдѣ обыкновенно стоятъ ш. ⁵ НР, ИМ; «дай Богъ» П, Т. ⁶ П, Т; въ НР авторъ сначала написалъ: «и которымъ не хочется», потомъ зачеркнулъ слово «которымъ»; «и не хочется» ИМ. ⁷ НР; писецъ ИМ счелъ написанное въ НР «будешь» за ошибку и поправилъ въ «будеть»; такъ и напечатано въ П, Т.
- Стр. 323 ¹ НР, ИМ; «потушивъ» П, Т. ² НР; «Куда» ИМ, П, Т. ³ НР; «туда» ИМ, П, Т. ⁴ НР; писецъ ИМ не разобралъ слова «атаманъ» и написалъ «остальна»; эта бессмыслица внесена въ П, Т. ⁵ НР; «И вотъ» ИМ, П, Т. ⁶ НР; «то приставала» ИМ; «то приставало» П, Т. ⁷ НР, ИМ; «въ догонъ» П, Т. Въ «Словарѣ» Дала нѣтъ слова *догонъ*; внесено только «догонъ». ⁸ НР, ИМ; «онъ уже» П, Т. ⁹ НР; «захотѣлось» ИМ, П, Т. ¹⁰ НР; «Невымыкій» П, Т; но на стр. 240 П правильно: «Невымычкій». ¹¹ П, Т; «Шыло» НР, ИМ. ¹² П, Т; «Дюгтяренко» НР, ИМ. ¹³ П, Т; «Пысаренко» НР, ИМ.
- Стр. 324 ¹ НР; «того и счета не было» ИМ, П, Т. ² НР, ИМ; слово «его» пропущено П, Т. ³ НР; «просилъ я Бога» ИМ, П, Т. ⁴ НР; «кончить» ИМ, П, Т.
- Стр. 325 ¹ НР, ИМ; «держа» П, Т. ² НР, ИМ; «солнечнаго захода» П, Т. ³ НР; «вскорѣ» ИМ, П, Т. ⁴ НР, ИМ («топъ»); «Глухо отдавался только ковскій топотъ» П, Т. ⁵ НР; «оставшіеся» ИМ, П, Т. ⁶ НР; «свнсвѣтнвшхся» ИМ, П, Т. ⁷ НР, ИМ; «потушивъ» П, Т. ⁸ НР, ИМ; «храбримъ» П, Т. ⁹ П, Т; «чтобы пообмылиси они и къ увныю, наведенному» НР, ИМ.
- Стр. 326 ¹ НР; «необъятную» ИМ, П, Т. ² НР, ИМ; «стеклянную» П, Т. Ср. 5-е примѣчаніе къ 336-й страницѣ. ³ НР, ИМ; «станя» П, Т. ⁴ НР, ИМ; «Въ возѣ» П, Т. ⁵ НР, ИМ; «чтобы всякому козаку до единаго» П, Т. ⁶ НР, ИМ; «чтобы въ великую минуту великое и чувство овладѣло бы человѣкомъ» П; «чтобы въ великую минуту великое чувство овладѣло бы человѣкомъ» Т. Сверху слова «овладѣло» въ НР написано карандашомъ: «обуяло»; но эта поправка не обведена чернилами, какъ другія карандашныя поправки

въ этой рукописи. ⁷ Слово «или» внесено изъ НР. ⁸ Слово «ихъ» внесено изъ НР. ⁹ НР; «звѣка» ИМ, П, Т. ¹⁰ НР, ИМ; «дѣло» П, Т.

Стр. 327 ¹ П, Т; «попередъ» НР, ИМ. ² ИМ, П, Т; «бусурменовъ» НР. ³ НР, ИМ; «однѣхъ другаго лучше, однѣхъ другаго краше» П, Т. ^{4,5,6,7,8} НР, ИМ; «Сѣчь» П, Т. ⁹ НР, ИМ; «задумались» П, Т. ¹⁰ НР; «загадались» ИМ; «задумались» П, Т. Ср. слѣдующее мѣсто въ думѣ — *Походъ на поляковъ*: «Самко Мушкетъ думаетъ, словами промовляетъ: «А що якъ наше козацтво мовѣ у пеклѣ Ляхи свалить, та въ нашихъ костей козацкихъ молодецкихъ пиръ собѣ на похмѣлье зварять. А що якъ наши головы козацкѣй молодецкѣй по степу полю полягутъ, та ще й рѣдною кровію вмнуться, поперекасломотни шаблями покривтуться. Пропаде мовѣ порохина въ дула тая козацкая слава, що по всѣму свѣту дьбомъ стала, що по всѣму свѣту степомъ ровляглась, простяглась, та по всѣму свѣту луговнымъ гоминомъ ровдалась, Туречинѣ та Татарчинѣ добромъ лихомъ знати далась та й Ляхамъ ворогамъ на списъ вѣдалась.

Закрыче воронъ степомъ лѣтючи,
Заплаче зовула степомъ скачучи,
Закуркуютъ кречеты сизѣй,
Загадаются орлики хижѣй,
Та все усе по своихъ братахъ
По буйныхъ товарищахъ козакахъ».

(Запорожская Старина, И. Срезневскаго, Харьковъ, 1833, I, 103—104. Ср. Максимовича Украинскія пѣсни, стр. 28; Сборникъ Украинскихъ пѣсней, стр. 58). ¹¹ НР, ИМ; «безпредѣльное» П, Т.

Стр. 328 ¹ НР, ИМ; «покрыто ихъ бѣлыми торчащими востями» П, Т. ² НР, ИМ, П; «голови съ перекрученными къ низу усами» Т. ³ НР, ИМ; «орлы, налетѣвъ» П, Т. ⁴ НР; «а можетъ быть, полный зрѣлаго мужества» ИМ, П, Т. ⁵ НР, ИМ; «въ которую мастеръ много повергнулъ» П, Т.

Стр. 329 ¹ НР, ИМ; «загнать» П, Т. ² Слова «можетъ любить» внесены изъ НР.

Стр. 330 ¹ Исправлено. Въ НР въ этомъ мѣстѣ авторъ сдѣлалъ описку: «Милость чужаго короля, да и не короля, а *поскудную* (вм. поскудная) милость..... дороже для нихъ всякаго братства». Въ ИМ писецъ неудачно исправилъ описку, написавши: «Милость чужаго короля, да и не короля, а *на скудную* милость»... Удерживая описку Гоголя, П и Т вносятъ въ текстъ новое искаженіе и печатаютъ: «Милость чужаго короля, да и не короля, а *скудную* милость польскаго магната, который желтинъ чеботомъ своимъ бьетъ ихъ въ морду, дороже для нихъ всякаго братства». ² НР; «онъ» ИМ, П, Т. ³ П, Т; «выгремливая» НР, ИМ. ⁴ НР, ИМ; «быстро» П, Т.

Стр. 331 ¹ НР; въ ИМ ошибочно: «и перерывала все, палили»; «не прерывала» П, Т. ² П, Т; «все палили они» НР, ИМ. ³ НР, ИМ; «отъ дыму» П, Т. ⁴ П, Т; «загуливши» НР, ИМ. ⁵ П, Т; «Нацѣлившіе» НР, ИМ.

Стр. 332 ¹ НР, ИМ; «между нихъ» П, Т. ² НР, ИМ; «красуется» П, Т. ³ НР; «средину» ИМ, П, Т. ⁴ НР, ИМ; «съ коня» П, Т. ⁵ НР, ИМ; «отбилъ» П, Т. ⁶ Т; «поворотились» НР, ИМ, П.

Стр. 333 ¹ НР, ИМ; «внесли» П, Т. ² ИМ, П, Т; «угнетителямъ» НР. ³ НР, ИМ; въ П, Т. выпущены слова: «чѣмъ подѣ всякимъ другимъ нехристомъ». ⁴ НР, ИМ; «жесткія» П, Т. ⁵ НР, ИМ; «и мудрѣйшему» П, Т. ⁶ НР, ИМ; слово

- «овъ» пропущено П, Т. ⁷НР, ИМ; «на Свѣтъ» П, Т. ⁸ИМ, П, Т; «столну» НР. ⁹ИМ, П, Т; «у обѣихъ» НР.
- Стр. 334 ¹П, Т; «почулъ» НР, ИМ. ²НР, ИМ; «оборотившись» П, Т. ³НР; «въ средину» ИМ, П, Т. ⁴НР, ИМ; «пустился за нимъ въ погоню» П, Т. ⁵НР, ИМ; слова «всѣ» нѣтъ П, Т.
- Стр. 335 ¹П, Т; «выпустилъ» НР, ИМ. ²Исправлено согласно напечатанному на стр. 323; «Метельца» НР, ИМ, П; «Метельца» (опечатка) Т. ³НР, ИМ; «уже» П, Т. ⁴НР, ИМ; «Бовдюкова» П, Т. ⁵П, Т; «поворотномъ» НР, ИМ. ⁶НР, ИМ; «въ видѣ» П, Т.
- Стр. 336 ¹НР, ИМ; «чinya» П, Т. ²П, Т; «на Свѣчу» НР, ИМ. ³П, Т; «на Запорожьѣ» НР, ИМ. ⁴НР, ИМ; «подхватившихъ его козаковъ» П, Т. ⁵НР, ИМ; «стеклянномъ» П, Т. ⁶НР, ИМ; «и, поскользнувшись тутъ же у входа, разбили дорожную сулею: разлилось на землю вино» П, Т. ⁷НР, ИМ; «про лучший случай жизни» П, Т. ⁸НР, ИМ; «живутъ еще лучше (1), чѣмъ мы» П, Т (опечатка). ⁹НР, ИМ; «многихъ храбрыхъ не досчитывались» П, Т.
- Стр. 337 ¹НР, ИМ; «не понесли» П, Т. ²НР, ИМ; «напора» П, Т. ³НР; «вбиты» ИМ, П, Т. ⁴П, Т; «впередѣ передъ другими» НР, ИМ. ⁵НР, ИМ; «бойче» П, Т. ⁶НР, ИМ; «младшій» П, Т.
- Стр. 338 ¹НР; «палашемъ» ИМ, П, Т. ²НР, ИМ; «что позади только всего» П, Т. ³П, Т; «успѣло поспѣвать за нимъ» ИМ. ⁴НР; «какъ школьникъ» ИМ, П, Т. ⁵НР; «вскакиваетъ съ лавки» ИМ, П, Т. ⁶П, Т; «Подобно ему» НР, ИМ. ⁷НР, ИМ; «потупивши» П, Т.
- Стр. 339 ¹НР, ИМ; «Чѣмъ бы не казакъ?» П, Т. ²ИМ, П, Т; «Я сынку», сказала Тарась, кивнувши головою» НР. ³НР; «наругались» ИМ, П, Т.
- Стр. 340 ¹НР, ИМ; «батько» П, Т. ²НР, ИМ; «наглядѣться» П, Т. ³НР; «сmeđu» ИМ, П, Т. ⁴НР, ИМ; въ П и Т пропущено: «сучья съ древесными листьями, мелькнувшіе ему въ самыя очи».
- Стр. 341 ¹НР, ИМ; «окружающіе» П, Т. ²НР, ИМ; «передъ» П, Т. ³НР, П, Т; «что» ИМ. ⁴НР, ИМ; «спокойно» П, Т. ⁵НР, ИМ; «объдн» П, Т.
- Стр. 342 ¹П, Т; «присвистнувши» НР («присмыкнувши?»); въ ИМ писецъ, не умѣя поправить ошибки НР, написалъ только «при», оставивши для глагола пустое мѣсто. ²НР, ИМ; «Хотя» П, Т. ³П, Т; «козацкою уродою» НР, ИМ. ⁴НР, ИМ; «да бросали бы въ воду» П, Т. ⁵НР, ИМ; «выклепывать» П, Т. Въ НР сначала было написано: «высмакчивать». Ср. въ пѣсняхъ: «Тогдѣ орлы валѣтали, Зѣ лоба ъчи высмыкали» (Максимовича, Сборникъ украинскіхъ пѣсней, стр. 23; Украинскія народныя пѣсни, стр. 12). Предшествующія строки текста также основаны на слѣдующихъ стихахъ пѣсни:

Тогдѣ козаки саблями да надѣлками суходолѣ копали,
Шапками да приполами персть носили, —
Высоку могилу выснажили.

(Лукашевича, Малор. и червонорус. пѣсни, стр. 44. Ср. Максимовича, Украинскія народныя пѣсни, стр. 7). ⁶НР, ИМ; «безъ отдыха» П, Т. ⁷НР, ИМ, Т; «на Свѣтъ» П. ⁸НР, ИМ; «кто положилъ въ самомъ бою» П, Т. ⁹НР, ИМ; слово «давно» пропущено въ П, Т.

Стр. 343 ¹НР; «выстрѣленнымъ» П, Т. ²П, Т; «Уманѣ» НР, ИМ. ³НР, ИМ; «спохалъ» П, Т. ⁴НР, ИМ; «домишку» П, Т. ⁵НР, П, Т; «запачкання» ИМ.

Соч. Гоголи. Т. I.

- Стр. 344 ¹ НР, П, Т; «въ корзинкѣ» ИМ. ² НР, ИМ; «напой» П, Т. ³ НР; «въ этой странѣ» ИМ; «въ той сторонѣ» П, Т.
- Стр. 345 ¹ П, Т; «спртай, пртай» ИМ.
- Стр. 347 ¹ ИМ; «дома» П, Т. ² П, Т; «ощекатуренный» ИМ. Ср. 3-е прим къ 223-й страницѣ.
- Стр. 348 ¹ ИМ; «кошко» П, Т.
- Стр. 349 ¹ ИМ; въ П, Т выпущены слова: «да Богъ».
- Стр. 350 ¹ П, Т; «привести» ИМ.
- Стр. 351 ¹ П, Т; слова «воиновъ» нѣтъ ИМ.
- Стр. 353 ¹ ИМ; «раскрылъ было» П, Т.
- Стр. 354 ¹ П, Т; «Унесите ноги, говорю я вамъ, скорѣ!» ИМ.
- Стр. 355 ¹ П, Т; «довольное время» ИМ.
- Стр. 356 ¹ ИМ; «съ усами» П, Т.
- Стр. 357 ¹ ИМ; «волосы» П, Т. ² П, Т; «ничего» ИМ. ³ ИМ; «стона» П, Т. ⁴ Слово «в» внесено изъ ИМ. ⁵ П, Т; «вскликнулъ» ИМ. ⁶ П, Т; «Чуешь-ли» ИМ. ⁷ П, Т; «Чую» ИМ. Изъ Гаштейна Гоголь писалъ 15/27 июля 1842 г. Прокоровичу, наблюдавшему за изданіемъ его «Сочиненій»: «Да вотъ что самое главное: въ ннѣшнемъ спискѣ слово: слышу, произнесенное Тарасомъ предъ казнью Остапа, замѣнено словомъ: чую. Нужно оставить по прежнему, т. е.: «*Батько, идь ты? Слышишь ли ты это? Слышу.* Я упустилъ изъ виду, что къ этому слову уже привыкли читатели и потому будутъ недовольны переменою, хотя бы она была и лучше». Ср. *Письма Гоголя къ Н. Я. Прокоровичу* въ журналѣ «Русское Слово», 1859, январь, стр. 119.
- Стр. 358 ¹ П, Т; «ови» ИМ. ² П, Т; «за позорное своихъ униженіе» ИМ. ³ ИМ; «спотянулись» П, Т.
- Стр. 359 ¹ ИМ; «на вемъ» П, Т.
- Стр. 360 ¹ ИМ; «и кивуль далеко» П, Т. ² П, Т; «поднялся выше» ИМ. ³ ИМ; «постели» П, Т. ⁴ П, Т; «хочете» ИМ. ⁵ ИМ; «надвинувъ» П, Т.
- Стр. 361 ¹ ИМ; «огненнаго» П, Т. ² ИМ; «степная» П, Т.
- Стр. 362 ¹ П, Т; «прилеглихъ» ИМ. ² ИМ; «дня» П, Т. ³ ИМ; «Чуть» П, Т. ⁴ ИМ; «голоое» П, Т. ⁵ ИМ; «сприбвиши» П, Т.
- Стр. 363 ¹ ИМ; «не куда» П, Т. ² ИМ; «не попали въ рѣку» П, Т. ³ ИМ; «крику» П, Т.
- Стр. 364 ¹ ИМ; «такіе огни, и муки, и сила такая» П, Т. ² Послѣ этого въ ИМ собственною рукою Гоголя приписано было: «Нѣтъ, чортъ побори всѣхъ прислужниковъ чорта! не найдутся такіе огни, муки и такая сила». Эта приписка зачеркнута авторомъ. ³ ИМ; «быстро» П, Т. ⁴ П, Т; «минали» ИМ.

Вій (стран. 367—404).

Первоначальный рукописный текстъ повѣсти „Вій“ набросанъ былъ Гоголемъ въ записную тетрадь, впослѣдствіи доставшуюся С. Т. Аксакову (№ 3) и нынѣ принадлежащую Императорской Публичной Библіотекѣ (ИБ). Въ этой тетради повѣсть начинается на оборотѣ 32-го листа и оканчивается на послѣднемъ, 40-мъ листѣ рукописи.

Въ первый разъ напечатана повѣсть „Вій“ во второй части „Миргорода“ (стр. 5—96), на которой цензурное разрѣшеніе помѣчено „29 декабря 1834 г.“ Въ записной тетради ИБ повѣсть не имѣетъ заглавія и не кончена; она обрывается словами: „Философъ лежалъ мертвый на полу. Въ это время дверь отворилась и вошелъ священникъ“. Приготовляя повѣсть къ напечатанію въ „Миргородѣ“, Гоголь пересмотрѣлъ и переработалъ рукописный текстъ. Онъ связалъ въ одномъ мѣстѣ позднѣйшую приписку съ основнымъ текстомъ (ср. 1-е примѣч. къ 386-й страницѣ): сдѣлалъ по мѣстамъ легкія измѣненія въ изложеніи (ср. 1-е пр. къ 384-й стр., 4-е прим. къ той же страницѣ, 3-е примѣч. къ 386-й стр., 2-е пр. къ 387-й, 6-е прим. къ 395-й стр., 4-е прим. къ 396-й стр. и 1-е примѣч. къ 402-й страницѣ). Многія мѣста повѣсти получили совершенно новую редакцію, напр. послѣдній разговоръ сотника съ философомъ (2-е прим. къ 399-й страницѣ), описаніе сада сотника (2-е прим. къ стр. 400-й) и рассказъ о встрѣчѣ философа съ Явтухомъ (2-е прим. къ стр. 401-й). Эти три мѣста вошли въ послѣднюю редакцію „Вія“, напечатанную въ „Сочиненіяхъ Гоголя“ (1842), въ томъ видѣ, какой они имѣли въ „Миргородѣ“. Не одинъ разъ подвергались редакціонной переработкѣ слѣдующіе эпизоды повѣсти: 1) паденіе вѣдьмы подъ ударами философа, на разсвѣтѣ, вблизи Кіева (1-е примѣч. къ стр. 376—377), 2) чувства философа, разсматривающаго черты мертвой красавицы (6-е и 7-е примѣч. къ 387-й страницѣ), 3) описаніе второй ночи, проведенной философомъ въ церкви (6-е примѣч. къ 397-й страницѣ) и 4) описаніе послѣдней ночи философа въ церкви, гномовъ и Вія (1-е прим. къ стр. 404-й). Эти четыре мѣста, передѣланныя уже въ рукописи до напечатанія повѣсти въ „Миргородѣ“, подверглись новой переработкѣ при помѣщеніи „Вія“ въ „Сочиненіяхъ Гоголя“. Приготовленная для „Миргорода“ редакція „Вія“ напечатана въ этомъ Сборникѣ небрежно: въ повѣсти оказались пропуски не только отдѣльныхъ словъ (1-е примѣч. къ стр. 395-й), но и цѣлыхъ фразъ (4-е и 5-е примѣч. къ 387-й страницѣ). При новой редакціи повѣсти, приготовлявшейся для помѣщенія въ „Сочиненіяхъ Гоголя“, эти пропуски были восполнены *согласно съ рукописнымъ текстомъ* ИБ. На страницѣ 96-й „Миргорода“, вслѣдъ за окончаніемъ „Вія“, напечатано подъ чертою слѣдующее замѣчаніе: „*Поуръшность*“. Въ сей повѣсти, по неосмотрительности, пропущена половина страницы, объясняющая, какимъ образомъ

Бурсагъ узналъ въ Сотниковой дочери вѣдьму, приходившую къ нему въ видѣ старухи“. Вѣроятно, авторъ указываетъ на слѣдующія строки рукописнаго текста, не внесенныя въ „Миргородъ: „Онъ знаетъ меня, пусть вспомнитъ только въ овечьемъ“. . . . А что такое „въ овечьемъ“, я не слышала. Она, голубка моя, только и могла сказать и умерла“. Избытокъ грусти заставилъ сотника минуту остановиться, „Ты долженъ знать“, сказала [онъ], немного отдохнувъ: „что значитъ „въ овечьемъ“. — „Богъ его знаетъ, панъ сотникъ, что такое значитъ это. У меня есть овчинный тулупъ. Можетъ быть, (потому) она сказала это. Можетъ быть, какъ-нибудь видѣла, что я шелъ въ немъ на базаръ или куда въ другое мѣсто“. Эти строки легко было пропустить, потому что ихъ приходилось привести въ связь съ припискою, сдѣланною внизу слѣдующей страницы, а для этого надлежало кое-что исключить изъ дополняемаго текста.

Принимая во вниманіе, что въ рукопись ИБ повѣсть „Вій“ внесена посылъ „Тараса Бульбы“, мы полагаемъ, что рукописный текстъ ея набросанъ въ концѣ 1833-го г. или въ началѣ 1834-го г.; для напечатанія въ „Миргородѣ“ повѣсть редижирована въ концѣ 1834-го года.

Приготовляя „Вія“ для помѣщенія въ собраніи своихъ „Сочиненій“, Гоголь вновь передѣлалъ тѣ четыре мѣста, которые не удовлетворяли его въ рукописной редакціи и были измѣнены при напечатаніи повѣсти въ „Миргородѣ“ (ср. 1-е примѣч. къ 376—377 стран., 6-е и 7-е примѣч. къ 387-й стран., 6-е примѣч. къ 397-й страницѣ и 1-е примѣч. къ стран. 404). Эти измѣненія, сдѣланныя для послѣдней печатной редакціи „Віи“, принадлежать къ наиболѣе существеннымъ. Менѣе важныя поправки состояли въ исключеніи одной фразы изъ редакціи повѣсти, помѣщенной въ „Миргородѣ“ (1-е прим. къ страницѣ 384-й), и прибавкѣ двухъ, трехъ новыхъ фразъ (3-е прим. къ стран. 376-й, 3-е и 4-е прим. къ стран. 395-й). Кажется, Прокоповичу принадлежитъ неудачное измѣненіе пунктуациі въ одномъ мѣстѣ текста (4-е прим. къ 394-й страницѣ). При перепечаткѣ во второмъ изданіи „Сочиненій Гоголя“ повѣсть „Вій“ не подверглась измѣненіямъ со стороны автора.

Стр. 367 ¹ П, Т; «были» М. ² П, Т; «воробьянками» М. ³ ИБ, М; «долго» П, Т.

Стр. 368 ¹ М; «сосулька» П, Т. ² М; «сосульку» П, Т. ³ ИБ, М; «профессоры» П, Т.

⁴ М; «цензоры» П, Т. ⁵ П, Т; «вмѣшивалась риторика» ИБ, отсюда искаженное чтеніе въ М: «вмѣшивались риторика».

- Стр. 369 ¹ИБ, М; «богословіе» П, Т. ²ИБ, М; «богословіе побивало» П, Т. ³М; «богословіа» П, Т. ⁴П, Т; «всншалось крушнаго гороху» ИБ; «гороха» М. ⁵М; «за ужномъ» П, Т.
- Стр. 370 ¹ИБ, М; «по колѣна» П, Т. ²ИБ, П, Т; «спалениць» М. ³М; «помѣщались» П, Т; «помѣщалось все вмѣстѣ» ИБ.
- Стр. 371 ¹П, Т; «его сискать тамъ»; «его найти тамъ» ИБ. ²ИБ, М; «трепага» П, Т. ³П, Т; «гороха» М. ⁴ИБ, М; «пить горѣлку и курить любку» П, Т. ⁵ИБ, М; «перемежали» П, Т.
- Стр. 372 ¹М; «полупудову» П, Т. ²ИБ, М; «и лечь. какъ собака» П, Т. ³ИБ, М; «на сторону» П, Т.
- Стр. 373 ¹П, Т; «торчали» ИБ; «торчало» М. ²П, Т; «бурсаки увидѣли поверхность двора уставленною чумацкими возами» М; «Когда бурсаки взглянули въ сквозныя досчатыя ворота на дворъ, увидѣли всю поверхность его заставленнымъ (sic!) чумацкими возами» ИБ. ³П, Т; «ибо» ИБ, М. ⁴ИБ, М; «во дворъ» П, Т.
- Стр. 374 ¹ИБ, М; «схватила» П, Т. ²ИБ, М; «колѣна» П, Т. ³ИБ, М; «самъ себѣ» П, Т. ⁴ИБ, М; «непонятное» П, Т.
- Стр. 376 ¹М; «вторгавшимся» П, Т; «Она оборотилась къ нему — и вотъ ея лицо съ глазами свѣтлыми, сверкающими, острыми, издававшими, кажется, звуки, отдѣляется...» ИБ. ²М; «осыпала» П, Т; «обсыпаетъ, какъ бисеромъ» ИБ. ³Фразы: «должны были гладки; но все отъ быстроты мелькало неясно и сбивчиво въ его глазахъ», появились въ первый разъ въ изданіи П; удержаны въ Т. ⁴ИБ, М; «сило всѣхъ силъ» П, Т.
- Стр. 376—377 ¹Мѣсто, начинающееся словами: «Дикіе воли издала она» и оканчивающееся словами: «о такомъ непонятномъ происшествіи», появилось въ первый разъ въ изданіи П. Въ «Миргородѣ», вмѣсто того, стояло: «и началъ имъ со всѣхъ силъ колотить старуху. Послѣ нѣсколькихъ ударовъ замѣтилъ онъ, что бѣгъ ея становился медленнѣе и медленнѣе. Философъ сгоряча крестилъ ее еще болѣе. Наконецъ вѣдьма была не въ силахъ переносить ударовъ, зашаталась и упала. Разсвѣтъ загорѣлся совершенно. Птицы чликали въ еще неподвижныхъ и спавшихъ рожахъ орѣшника. Передъ нимъ, какъ на ладонѣ, былъ весь Кіевъ съ продолговатыми, какъ золотыя груши, главами. Вставши на ноги, онъ взглянулъ на лежавшую на землѣ и едва дышавшую вѣдьму — и самъ не могъ растолковать своего чувства: онъ видѣлъ, что въ лицѣ ея показались молодыя черты, сверкнула свѣтлая бѣлизна и какъ будто бы она была уже не старуха: кака-то пріятная и вмѣстѣ непріятная мина показала на губахъ ея и врѣзалась ему въ самое сердце. Онъ чувствовалъ что-то похожее на жалость, но не захотѣлъ и минуты оставаться и скорѣе направилъ путь свой въ городъ, раздумывая объ этомъ странномъ происшествіи». Въ рукописи ИБ: «Послѣ нѣсколькихъ ударовъ онъ замѣтилъ, что бѣгъ ея становился медленнѣе и медленнѣе. Философъ сгоряча почувствовалъ, что рука его разгулялась, продолжалъ бить ее отъ души. Наконецъ вѣдьма не въ силахъ была переносить ударовъ, зашаталась и упала. Разсвѣтъ загорѣлся совершенно. Птицы уже чликали въ еще неподвижныхъ и спавшихъ орѣховыхъ рожахъ. Передъ нимъ, какъ на ладонѣ, былъ весь Кіевъ съ зо-

лотыми грушеобразными глазами. Отъ замѣтилъ, вставши на ноги, какъ будто бы повергнувшись на землю видна была не старуха; но онъ не хотѣлъ и минути оставаться и скорѣе направилъ нуть свой въ городъ, обдумывая объ такомъ странномъ происшествіи).

Стр. 377 ² П, Т; «Большая хата» М; «Большая, огромная хата» МБ. ³ П, Т; «не углямъ» М. ⁴ П, Т; «я сколько философъ ни шарилъ во углямъ, не отискалъ, ни сала, ни книжа, что по обыкновенію заправляемо было бурсаками» М. ⁵ П, Т; «какъ поправить своему горю» М; «Но философъ, однакоже, въ скоромъ времени намель, какъ поправить своему горю» МБ. ⁶ П, Т; «того же дѣла» МБ, М. ⁷ П, Т; «того же вечера» МБ; «того же самаго вечера» М.

Стр. 378 ¹ П, Т; «.... котораго онъ самъ не могъ растолковать себѣ. Онъ какъ будто слышалъ какой-то тайный голосъ, его удерживавшій, и объявилъ напрямикъ, что не пойдеть» М. «.... котораго не могъ растолковать. Онъ слышалъ какое-то странное предчувствіе, казалось, его удерживавшее, и объявилъ напрямикъ, что онъ не пойдеть» МБ. ² П, Т; «dominus» МБ, М. ³ П, Т; «что и въ баню больше не нужно ходить» МБ, М.

Стр. 380 ¹ П, П; «утѣшалъ» МБ, М.

Стр. 381 ¹ П, Т; «въ деревь» МБ, М. ² МБ, М; «отправиться» П, Т.

Стр. 382 ¹ МБ, П, Т; «опустылись» М. ² МБ, М; «съѣхали» П, Т. ³ МБ, М; «сво» П, Т. ⁴ П, Т; «обсмотрѣтъ» МБ, М. ⁵ МБ, М; «столо» П, Т.

Стр. 383 ¹ М; «стоящая» П, Т; «стоящая для красоты вверхъ ногами» МБ. ² М; «низъ чердака» М; вмѣсто этого въ МБ: «Въ амбарѣ, ближнемъ къ дому, боковая сторона была вся открыта и во внутренности видны были барабанъ и трубн».

Стр. 384 ¹ Послѣ этого въ М слѣдуютъ три строки, не внесенныя въ П и Т: «ибо я и самъ не знаю отъ чего, только мнѣ, кажется, плохо будетъ здѣсь. Почему же именно я долженъ читать, а не другой?... Въ МБ: «потому что у меня Чортъ съ ней, съ этою вѣдмою, читать святыхъ книгъ! Я думаю, она припомнитъ мнѣ мое угощеніе». ² П, Т; «совъ поставилъ машинально» М; «совъ поставилъ почти машинально» МБ. ³ М; «промежъ хатъ» П, Т. ⁴ М; «откуда» П, Т; «Откудава и чѣмъ ты за человѣкъ добрый?» МБ.

Стр. 386 ¹ МБ, М; «дѣлячка» П, Т. Въ рукописи МБ разговоръ сотника съ Хомю имѣеть совершенно другой видъ, чѣмъ въ М, П и Т. Приводимъ его вполнѣ: «Сотникъ минути остался въ задумчивости.— «Какъ же ты познакомился съ моею дочкою?» — «Не знакомился, ясновельможный панъ, ей Богу, не знакомился! Еще никакого дѣла съ панночками не имѣлъ, сколько ни живу на свѣтѣ. Пуръ имъ, чтобы не сказать непристойнаго!» — «Отчего жъ она не кому другому, а именно тебѣ назначила читать по себѣ?» — Философъ пожалъ плечами.— «На то навни. Извѣстное уже дѣло, что нанамъ захочется такого, чего и самый грамотный человѣкъ не разбереть; и пословица говорить: «Скажи, враже, якъ панъ каже». — «Да не врешь ли ты, панъ философъ?» — «Вотъ на этомъ самомъ мѣстѣ пусть такъ громомъ и хлопнетъ, если лгу!» — «Минути бы долѣе прожилъ», отвѣчалъ грустно сотникъ: «то вѣрно бы мнѣ рассказала все. —» «Никому не давай

читать ко мнѣ, пошли, тату, сей же часъ въ кievскую семинарію и привези бурсака Хому Брута — пусть три дни и три ночи читаетъ по грѣшной душѣ моей. Онъ знаетъ меня, пусть вспомнитъ только въ овечьемъ».... А что такое «въ овечьемъ», я не услышалъ. Она, голубка моя, только и могла сказать и умерла». Избытокъ грусти заставилъ сотника минуту остановиться. «Ты долженъ знать», сказалъ [онъ], немного отдохнувъ: что значить «въ овечьемъ». — «Богъ его знаетъ, панъ сотникъ, что такое значить это. У меня есть овчинный тулупъ. Можетъ быть, (потому) она сказала это. Можетъ быть, какъ-нибудь видѣла, что я шелъ въ немъ на базаръ или куда въ другое мѣсто». — «Ну, какъ бы то ни было, ты долженъ съ сего дня начать свое дѣло: три дни и три ночи читать надъ вею». — «Я бы сказалъ на это пану: оно, конечно... только сюда приличіе бы требовалось дьякона или, по крайней мѣрѣ, дьяка: то уже народъ толковый и знаетъ, какъ... А я никогда не читалъ, да и нѣтъ ни виду, голоса».... Внизу *сидящей* страници рукописи приписано: «Что жъ? Ты, вѣрно, извѣстенъ святостью твоей жизни и богоугодными дѣлами?» — «Какой!» сказалъ философъ, ударившись отъ изумленія затылкомъ въ двери. «Я святаго поведенія?» при этомъ онъ посмотрѣлъ сотнику прямо въ лицо: «Богъ съ вами, панъ! Что вы это говорите? Да я въ [самой] постъ ходилъ два раза къ булочницѣ». Отсюда видно, что здѣсь ИБ представляетъ неслѣдныя въ одно матеріалы для той редакціи этого мѣста, которую оно имѣетъ въ «Миргородѣ». ² П, Т; «сказалъ онъ» ИБ, М. ³ М; «изъ сняго бархату» П, Т; «на высокомъ столѣ лежало тѣло умершей, покрытое алнымъ бархатомъ; золотныя вѣсти и бахрома висѣли до самаго пола» ИБ. ⁴ П, Т; «обращенный» ИБ, М. ⁵ М; «наимилѣйшал» П, Т. ⁶ М; «вѣку» П, Т; «се доживъ положеннаго вѣка, не узнавши, что такое жизнь» ИБ. ⁷ М; «если только онъ» П, Т.

Стр. 387 ¹ М; «потокомъ» П, Т. ² П, Т; «Философъ остановился, нѣсколько тронутый такою безутѣшною печалью» М; «Да», подумалъ про себя философъ, нѣсколько даже тронутый такою безутѣшною печалью: «Да, хорошо, что я заперся и не сказалъ ничего о происшествіи съ вѣдьмою» ИБ. ³ П, Т; «желая очистить немного свой голосъ» ИБ, М. ⁴ Слова: «еще разъ откашлявшись» пропущены въ М случайно; въ П, Т, они есть; въ рукописи ИБ они уже были написаны: «Философъ Хома приблизился и, откашлявшись еще разъ, принялся читать». ⁵ Предложенія: «не обращая никакого вниманія на сторону и не рѣшаясь взглянуть въ лицо умершей», также пропущены въ М, хотя находятся въ ИБ; внесены въ П, Т. ⁶ П, Т; «а уста свѣтлыя рубины, готовны усмѣхнуться смѣхомъ блаженства, потопомъ радости» М; «брови — ночь среди дня, тонкія и ровныя, какъ (стрѣлы) ¹ какъ будто въ раздумьи приподнялись надъ закрытыми глазами; а рѣсницы, упавшія стрѣлами на щеки, пылавшія жаромъ тайныхъ....., и уста, какъ свѣтлыя рубины, готовы были усмѣхнуться смѣхомъ блаженства, потопомъ радости. Онъ приникъ и глядѣлъ на нее; но вмѣстѣ съ этимъ въ этихъ чертахъ онъ видѣлъ что-то такое страшно-пронзительное. Онъ чувствовалъ, что душа его начинала какъ-то болѣзненно мучиться, по мѣрѣ того, (какъ

¹ Въ скобки заключено все, зачеркнутое въ рукописи.

онъ глядѣлъ на нее пристальнѣе), какъ будто бы вдругъ среди бѣшенаго вихря веселія и среди закружившейся толпы кто-нибудь заглѣлъ пѣснию обь угнетенномъ народѣ. Въ рубиновыхъ устахъ ея онъ начиналъ ясно различать что-то ѣдкое. Онъ отвелъ глаза свои въ книгу и уже долго не прерывалъ чтенія. Когда солнце начинало садиться, мертвую повесли въ церковь» ИБ. ⁷П, Т; въ М это мѣсто читается въ такомъ видѣ: «Рубины усть ея, казалось, прикипали кровію къ самому сердцу. «Это та самая вѣдьма, которую я прибилъ!» вскрикнулъ онъ, взглядывшись, въ ужасѣ. Въ самомъ дѣлѣ въ лицѣ ея выразилась таже мина, которая такъ поразила его, когда онъ, видѣсто старухи, увидѣлъ молодую. «А! такъ вотъ почему она заставила читать меня!» Онъ въ ужасѣ глядѣлъ на ее: каждая черта лица ея теперь казалась ему громовой и угрожающей. Холодный потъ покатился съ лица его». Первоначальная, рукописная редакция этого мѣста помѣщена въ предыдущемъ примѣчаніи. ⁸П, Т; «Философъ долженъ былъ плечомъ своимъ поддерживать черный траурный гробъ» М.

Стр. 388 ¹П, Т; «банями» ИБ, М. ²ИБ, М; «была чѣмъ-то похожимъ» П, Т ³ИБ, М; «считая въ томъ числѣ» П, Т. ⁴М; «отъ» П, Т.

Стр. 389 ¹ИБ, М; «Богъ съ ней!» П, Т.

Стр. 390 ¹ИБ, М; «Я расскажу про царя Микиту» П, Т. ²П, Т; «какъ бы не бывало» М; «такъ вотъ, какъ не бывало» ИБ.

Стр. 392 ¹П, Т; «войдетъ» М; «уже войдетъ» ИБ. ²М; «и Спиридъ, и Дорощъ» П, Т.

Стр. 393 ¹П, Т; «обсмотрѣлся» М. ²М; «позволота въ одномъ мѣстѣ совершенно почернѣла, въ другомъ онала» ИБ; «отпала» П, Т. ³П, Т; «обсмотрѣлся» М. ⁴П, Т; «изъ» М. См. первое примѣч. къ 63 стран. этого тома. ⁵П, Т; «крылосу» М; «къ налов» ИБ.

Стр. 394 ¹П, Т; «крылосу» ИБ, М. ²ИБ, М; «однако» П, Т. ³ИБ, М; «поднимется» П, Т. ⁴Такъ въ ИБ и М; въ П, а затѣмъ въ Т измѣнена пунктуация и безъ всякой нужды прибавлено «не». Мѣсто получило въ П такой видъ: «Хоть бы какой-нибудь звукъ, какое-нибудь живое существо, даже сверчокъ не отозвался въ углу».

Стр. 395 ¹П, Т; слово «ихъ» пропущено въ М по ошибкѣ; въ ИБ: «и опять обратилъ ихъ съ ужасомъ на гробъ». ²П, Т; «на ее» М. ³Слова «стараясь поймать Хому», внесены въ П; въ ИБ и М ихъ нѣтъ. ⁴Слова «изъ него» прибавлены въ П; въ ИБ и М ихъ нѣтъ. ⁶П, Т; въ М: «Трупъ опять подыался синий, позеленѣвшій. Мертвыя губы, казалось, что-то прозносили и шевелились. Трупъ глухо топнулъ своею мягкою, почти безъ костей, ногою о полъ — и церковь вздрогнула. Онъ услышалъ, какъ будто что-то налегло на нее и сквозь стекла оконъ начали показываться какіе-то безобразные образы. Но въ это время послышался отдаленный крикъ пѣтуха. Трупъ упалъ въ гробъ». Въ ИБ почти въ томъ же видѣ: «Трупъ опять подыался синий, позеленѣвшій. Мертвыя губы, казалось, что-то прозносили и шевелились. Трупъ глухо топнулъ мягкою ногою о полъ, и церковь вздрогнула. Онъ слышалъ, какъ будто что-то налегло, и сквозь стекла оконъ начали показываться какія-то лица. Въ это время послышался отдаленный крикъ пѣтуха. Трупъ упалъ во гробъ».

Стр. 396 ¹ П, Т; «старого» ИБ, М. ² М; «рѣшился» П, Т. ³ П, Т; «былъ однимъ изъ числа» М. ⁴ П, Т; «стѣмъ болѣе становился философъ задумчивѣе и пасмурнѣе» М; «стѣмъ становился философъ задумчивѣе и пасмурнѣе. Молча курилъ онъ свою люльку» ИБ. ⁵ П, Т; «смѣлъ» М; «и какой-нибудь выигравшій проѣзжался на другомъ верхомъ» ИБ. ⁶ П, Т; «сурьезно» ИБ, М.

Стр. 397 ¹ М; «какъ-то угромо стоявшій» ИБ; «стоящій» П, Т. ² ИБ, М; «а тамъ оно уже и не страшно» П, Т. ³ П, Т; «крылось» ИБ, М. ⁴ П, Т; «рѣшался» ИБ, М. ⁵ П, Т; «поднесъ его» М «онъ вынулъ изъ кармана рожокъ съ табакомъ и прежде нежели поднесъ къ носу табакъ, осторожно поднялъ глаза на гробъ» ИБ. ⁶ Въ П это мѣсто получило новую редакцію, которая и напечатана у насъ въ текстѣ, согласно съ П и Т. Въ М это мѣсто читалось такъ: «Онъ, потупивъ голову, продолжалъ заклинанія и слышалъ, какъ трупъ опять ударилъ зубами и началъ махать рукой, желая схватить его. Возведши робкій взглядъ на него, онъ замѣтилъ, что онъ ловилъ совершенно не тамъ, гдѣ онъ стоялъ, и что трупъ не могъ его видѣть. Неуспѣхъ, казалось, приводилъ мертвую въ бѣшенство. Она хлопнула зубами и, ставши на середину, опять топнула своею ногой. Этотъ стукъ раздался совершенно беззвучно; уста ея искривились и, казалось, произносили какія-то невнятные слова. И философъ услышалъ, что стѣны церкви какъ будто заняли. Странный ропотъ и пронзительный визгъ раздался подъ ¹ глухими сводами; въ стеклахъ ² оконъ слышалось какое-то отвратительное царапанье, и вдругъ сквозь окна и двери послышалось съ шумомъ множество гномовъ, въ такихъ чудовищныхъ образахъ, въ какихъ еще не представлялось ему ничто, даже во снѣ. Онъ увидѣлъ вдругъ такое множество отвратительныхъ крылъ, ногъ и членовъ, какихъ не въ силахъ бы былъ разобрать обвѣщенный ужасомъ наблюдатель! Вше всѣхъ возвышалось странное существо въ видѣ правильной пирамиды, покрытое слизью. вмѣсто ногъ у него были внизу съ одной стороны половина челюсти, съ другой другая; вверху, на самой верхушкѣ этой пирамиды висовывался безпрестанно длинный языкъ и безпрерывно ломался на всѣ стороны. На противоположномъ крылосѣ усѣлось бѣлое, широкое, съ какими-то отвисшими до полу бѣлыми мѣшками, вмѣсто ногъ; вмѣсто рукъ, ушей, глазъ висѣли такіе же бѣлые мѣшки. Немного далѣе возвышалось какое-то черное, все покрытое чешуею, со множествомъ тонкихъ рукъ, сложенныхъ на груди, и вмѣсто головы вверху у него была спная человѣческая рука. Огромный, величною почти съ слона, тараканъ остановился у дверей и просунулъ свои усы. Съ вершины самаго купола со стукомъ грянулось на средину церкви какое-то черное, все состоявшее изъ однихъ ногъ; эти ноги бились по полу и выгибались, какъ будто бы чудовище желало подняться. Одно какое-то красновато-синее, безъ рукъ, безъ ногъ, протягивало на далекое пространство два своихъ хобота и какъ будто искало кого-то. Множество другихъ, которыхъ уже не могъ различить испуганный глазъ, ходили, летали и ползали въ разныхъ направленіяхъ; одно состояло только изъ головы, другое изъ отвратительнаго крыла,

¹ Въ М опечатка: «надъ».

² Въ М опечатка: «стѣнахъ».

летаваго съ какимъ-то нестерпимымъ шипѣніемъ. Хома зажмурилъ глаза и не имѣлъ духу уже взглянуть. Онъ слышалъ только, что весь этотъ сонмъ ищетъ его и прерывающимся голосомъ, собравъ все, что только зналъ, читалъ свои заклинанія. Потъ ужаса выступилъ на его лице. Ему казалось, что онъ умретъ отъ одного только страха, когда нога какого-нибудь изъ этихъ чудовищъ прикоснется до него отвратительною своею наружностью. Уже онъ видѣлъ, какъ одно изъ чудовищъ протянуло свои длинныя хоботы и уже одинъ изъ нихъ проникнулъ за черту... Боже!.. Но крикнувъ пѣтухъ: все вдругъ поднялось и полетѣло сквозь двери и окна. — Въ ИБ первоначальный рукописный текстъ такъ: «Онъ потупилъ голову и продолжалъ заклинанія, и слышалъ, какъ трупъ опять ударилъ зубами и началъ махать руками, желалъ схватить. Робко возведши взглядъ, онъ замѣтилъ однакоже, что онъ ловилъ совершенно не тамъ, гдѣ онъ стоялъ и заключилъ, что трупъ не могъ его видѣть. Неуспѣхъ, казалось, приводилъ мертвую въ бѣшенство. Она хлопнула зубами и, ставши на середину, опять тоннула своею ногою. Этотъ стукъ раздался совершенно беззвучно; но уста ея не говорили и стали произносить какія-то едва слышимыя слова. Нашъ бурсакъ услышалъ, что стѣны церкви какъ будто заняли. Станный ропотъ и пронзительный визгъ раздался подъ глухими сводами; въ стеклахъ оконъ слышалось какое-то отвратительное царапанье, и вдругъ сквозь окна и двери поспало множество гномовъ, въ такихъ чудовищныхъ образахъ, въ какихъ еще никогда во снѣ не представлялось ему. Онъ видѣлъ въ началѣ только множество отвратительныхъ крылъ, ногъ и членовъ такихъ, какихъ не въ силахъ разобратъ бы облитый ужасомъ наблюдатель. Выше всѣхъ возвышалось странное существо въ видѣ правильной пирамиды, покрытое слизью. Вмѣсто ногъ у него были внизу съ одной стороны половина челюсти, съ другой — другая; сверху, на самой верхушкѣ этой пирамиды, висовывался безпрестанно длинный языкъ и безпрестанно извивался. Но что подъ образомъ ушло въ бѣлое, широкое, съ какими-то отвисшими бѣлыми мѣшками вмѣсто ногъ; вмѣсто рукъ висѣли эти [же] мѣшки; вмѣсто глазъ висѣли тоже бѣлыя мѣшки. Изъ нихъ возвышалось какое-то черное, все покрытое чешуею, со множествомъ тонкихъ рукъ, сложенныхъ на груди, и вмѣсто головы сверху у него была синяя человѣческая рука. Огромный, величиной почти съ слона, тараканъ останоился у дверей и просунулъ свои черныя усы. Съ вершины самаго купола со стукомъ на средину церкви какое-то черное, все состоявшее изъ однихъ ногъ; эти ноги блились по полу и выгибались, какъ будто бы чудовище желало подняться. Одно какое-то красновато-синее, безъ рукъ, безъ ногъ, протягивало на далекое пространство два свои хобота и какъ будто искало кого. Множество другихъ, которыхъ уже не могъ различить испуганный глазъ, ходили, вились и летали въ разныхъ направленіяхъ: одно состояло только изъ головы, другое изъ одного отвратительнаго крыла, которое летало съ какимъ-то шипѣніемъ. Хома зажмурилъ глаза и не имѣлъ духу глядѣть. Онъ услышалъ только, что весь этотъ сонмъ ищетъ его, и прерывающимся голосомъ, собравъ воѣ силы, читалъ свои заклинанія. Потъ ужаса капался съ его лица. Ему казалось, что онъ умретъ отъ одного только

- страха, когда нога котораго нибудь изъ этихъ чудищъ прикоснется до него отвратительнымъ. Боже! онъ уже показался надъ нимъ. вотъ одно просунуло свой за черту. Боже!.. Но крикнувъ пѣтухъ: все вдругъ поднялось и полетѣло съвозъ двери и окна». 7 П, Т; «вошедшіе смѣнить философа нашии ею едва жива» М; «вошедшіе смѣнить ею наши философа едва жива» ИБ. 8 П, Т; «онъ оперся спиною къ стѣну, выпуча глаза, глядѣлъ» М; «онъ оперся спиною къ стѣну и, выпучивъ глаза, глядѣлъ» ИБ.
- Стр. 398 1 М; «свои волосы» П, Т; «онъ пригладилъ на головѣ свои волосы, обглядѣлъ всѣхъ» ИБ. 2 П, Т; «собравшійся возгѣ него кружокъ потушилъ голову» М; «собравшійся вокругъ него кружокъ потушилъ голову» ИБ. 3 ИБ, П, Т; «конюшни» М. 4 ИБ, М; «въ обтянутой плотно» П, Т. 5 ИБ, М; «гвоздичку» П, Т. 6 ИБ, М; «опачканный» П, Т.
- Стр. 399 1 П, Т; «щеки его опали только» М; «щеки его только опали» ИБ. 2 М; «въ своей» П, Т. Въ ИБ текстъ этого мѣста значительно отстываетъ отъ напечатаннаго въ «Миргородѣ». Представляемъ его по этой рукописи: «Какъ такъ?» — «Ваша дочка, — не во гнѣвъ будь сказано, упокой Богъ ея душу! — видно, пустила къ себѣ сатану; такого страху задаетъ, что никакъ не въ моготу читать писавіе». — «Читай, читай! Ова не даромъ позвала тебя: она заботилась, голубонька моя, о душѣ своей и хотѣла, чтобъ молитвами изгналось всякое помышленіе». — «Какъ ужъ хочъ, павъ, а я не буду больше читать». — «Читай, читай!» продолжалъ сотникъ все тѣмъ же увѣщательнымъ голосомъ: «одна ночь только осталась; ты христіанское дѣло сдѣлаешь, и я награжу тебя». — «Не хочу я никакой награды. . . Ни за какіи деньги не хочу читать», проназавъ философъ, возвысивъ голосъ. — «Слушай, философъ», сказала сотникъ, и голосъ сдѣлася крѣпокъ и грозенъ: «я не люблю этихъ штукъ. Ты можешь это дѣлать у васъ въ бурсы».
- Стр. 400 1 ИБ, М; «спрыснуть» П, Т. 2 П, Т; «перешагнуть плетень» М. Въ ИБ описаніе сада также отстываетъ отъ текста М. Вотъ оно: «Выключая только одной дорожки, протоптанной по хозяйственной надобности, все прочее было скрыто густо разросшимися вишнями, бузиною, лопухомъ, выдвинувшимъ на самый верхъ свои цѣвкія, розовыя шишки. Хмѣль покрывалъ вершину всего этого какъ бы сѣтью и составлялъ надъ ними крышу самаго забора, опускавшуюся по немъ внизъ вмѣстѣ съ дикими колокольчиками. За этимъ плетнемъ шелъ цѣлый лѣсъ бурьяну, въ который, кажется, никто не любилъ ствовать заглядывать, и коса разлетѣлась бы въ дребезги, если бы вздумала срѣзать лезвеемъ своимъ ихъ одеревянѣвшіе толстые стебли. Когда философъ добрелъ до плетня, имъ овладѣла такая дрожь, какой онъ понять не могъ; зубы его начали стучать одинъ о другой, и сердце билось такъ громко, что онъ самъ испугался. Пола длинной хламины его, казалось, прикипала къ самой землѣ и удерживала[сь], какъ будто бы ее кто-нибудь прибилъ (гвоздемъ). Когда онъ переступилъ черезъ плетень, ему, казалось, вдругъ шепталъ кто-то съ оглушительнымъ свистомъ, говоря: «Куда, куда?» 3 П, Т; «оступаясь» М; «Залѣзши въ бурьянъ, философъ немного остановился и, отдохнувшись, пустился бурьяномъ, безпрестанно оступаясь о старыя кореня» ИБ. 4 П, Т; «ногами своими» ИБ, М.

Стр. 401 ¹ П, Т; въ М ошибочно: «лучше выбрать». Въ ИБ значительныя отступления отъ М: «Вербя раскинулась раздѣленными вѣтвями, упавшими почти на землю. Небольшой источникъ сверкалъ, чистый, какъ серебро. Философъ отдохнулъ и прилежъ напиться. «Добрая вода», сказалъ онъ: «здѣсь немножко можно отдохнуть: теперь почти въ безопасности». — «Чего оставилъ? Побѣдимъ впередъ: неравно будетъ погоня!» Эти слова раздѣлись у него надъ ушами. Онъ оглянулся — передъ нимъ стоялъ съдой Явтухъ. — «Чортговъ Явтухъ», подумалъ про себя философъ: «я бы взялъ тебя да за ноги... и мерзкую рожу твою, и все, что ни есть на тебѣ, побилъ бы дубовымъ бревномъ!» — «Напрасно ты», продолжалъ Явтухъ: «далъ такой большой крюкъ: тебѣ бы выбрать было ту же самую дорогу, что я — напрямикъ: вмѣсто того, чтобы бурьянъ, просто было бы мимо конюшенъ. «Ну, погуляла (sic!) и проходила: пора и домой». ² ИБ, М; «стрепака» П, Т.

Стр. 402 ¹ П, Т; «приблизжились» М; въ ИБ: «Идя дорогою, философъ безпрестанно поглядывалъ на сторону и расспрашивалъ Явтуха: «отчего темно бываетъ ночью?» Но Явтухъ молчалъ, а Дорошъ отвѣчалъ, что такъ уже давно водится, что ночью темно. Они приблизились».

Стр. 403 ¹ М; «клочками» П, Т.

Стр. 404 ¹ П, Т. Начиная со словъ: «Вдругъ... среди тишины... съ трескомъ лопнула желѣзная крышка гроба» (стр. 402) и оканчивая словами: «и никто не найдетъ теперь къ ней дороги» (стр. 404) текстъ разсказа значительно отстаетъ отъ напечатаннаго въ «Миргородѣ». «Вдругъ... среди тишины... онъ слышитъ опять отвратительное царапанье, свистъ, шумъ и звонъ въ окнахъ. Съ робостію зажмурилъ онъ глаза и прекратилъ на время чтеніе. Не отворяя глазъ, онъ слышалъ, какъ вдругъ грянуло объ полъ цѣлое множество, сопровождаемое разными стуками, глухими, звонкими, мягкими, визгивыми. Немного приподнялъ онъ глаза свои и съ поспѣшностію закрылъ опять: ужасъ!... это были всѣ ¹ вчерашніе гномы; разница въ томъ, что онъ увидѣлъ между ними множество новыхъ. Почти насупротивъ его стояло высокое, котораго чернѣй скелетъ выдвинулся на поверхность и сквозь темныя ребра его мелькало желтое тѣло. Въ сторонѣ стояло тонкое и длинное, какъ палка, состоявшее изъ однихъ только глазъ съ рѣсницами. Далѣе занимало почти всю стѣну огромное чудовище и стояло въ перепутанныхъ волосахъ, какъ будто въ лѣсу. Сквозь сѣть волосъ этихъ глядѣли два ужасные глаза. Со страхомъ глянулъ онъ вверхъ: надъ нимъ держалось въ воздухѣ что-то въ видѣ огромнаго пузыря съ тысячами протянутыхъ изъ середины клешей и скорпионныхъ жалъ. Чорная земля всѣла на нихъ клоками. Съ ужасомъ потупилъ онъ глаза свои въ книгу. Гномъ подыалъ шумъ чешуями отвратительныхъ хвостовъ своихъ, когтистыми ногами и визжавшими крыльями, и онъ слышалъ только, какъ они искали его во всѣхъ углахъ. Это выгнало послѣдній остатокъ хмѣля, еще бродившій въ головѣ философа. Онъ ревностно началъ читать свои молитвы. Онъ слышалъ ихъ бѣшенство при видѣ невозможности найти его. «Что,

¹ «Все?».

если», подумалъ онъ, вздрогнувъ: «вся эта ватага обрушится на меня?...» — «За Віемъ! пойдѣмъ за Віемъ!» закричало множество странныхъ голосовъ, и ему казалось, какъ будто часть гномовъ удалась. Однакоже онъ стоялъ съ зажмуренными глазами и не рѣшался взглянуть ни на что. — «Вій! Вій!» зашумѣли всѣ; волчій вой послышался вдали и едва, едва отдѣлялъ лапные собакъ. Двери съ визгомъ растворились, и Хома слышалъ только, какъ вспались цѣпля толпы. И вдругъ настала тишина, какъ въ могилѣ. Онъ хотѣлъ открыть глаза; но какой-то угрожающій тайный голосъ говорилъ ему: «эй, не гляди!» Онъ показалъ усиле... По непостижимому, можетъ быть, происшедшему изъ самаго страха любопытству глазъ его печально отворился. — Передъ нимъ стоялъ какой-то образъ человѣческой исполнискаго роста. Вѣки его были опущены до самой земли. Философъ съ ужасомъ замѣтилъ, что лицо его было желѣзное и устремилъ загорѣвшіеся глаза свои снова въ книгу. — «Подымите мнѣ вѣки!» сказалъ подземный голосомъ Вій — и все сонмище кинулось поднимать ему вѣки. «Не гляди!» шепнуло какое-то внутреннее чувство философу. Онъ не утерпѣлъ и глянулъ: двѣ черныя пули глядѣли прямо на него. Желѣзная рука поднялась и устала на него палецъ. «Вонъ онъ!» произнесъ Вій — и все, что ни было, всѣ отвратительныя чудища разомъ бросились на него... бездыханный, онъ гранулся на землю... Пѣтухъ пропѣлъ уже во второй разъ. Первую пѣсню его прослышали гномы. Все сонмище поднялось улетѣть, но не тутъ-то было: они всѣ остановились и завязнули въ окнахъ, въ дверяхъ, въ куполѣ, въ углахъ и остались неподвижны... Въ это время дверь отворилась, и вошелъ Священникъ, прибывшій изъ отдаленнаго селенія для совершенія панихиды и погребенія умершей. Съ ужасомъ отступилъ онъ, увидѣвши такое посрамленіе святни и не посмѣлъ произносить въ ней слова Божьяго. — И съ тѣхъ поръ такъ все и осталось въ той церквѣ. Завязнувшія въ окнахъ чудища тамъ и понынѣ. Церковь поросла мохомъ, обшлась лѣсомъ, пустившими корни по стѣнамъ ея; никто не входилъ туда и не знаетъ, гдѣ и въ какой сторонѣ она находится». Первоначальная рукописная редакция МБ представляетъ такой текстъ: «По срединѣ стоялъ неподвижно гробъ страшной вѣдмы. Хома прикинулся, какъ будто бы и не видѣлъ его и пошелъ на крыльцо. «Не побойсь, ей Богу, не бойсь» сказалъ онъ; очертивши опять около себя кругъ, началъ припоминать всѣ свои заклинанія. Тишина была страшная; свѣчи трепетали и обливали свѣтомъ всю церковь. Философъ перевернулъ одинъ листъ, потомъ перевернулъ другой и замѣтилъ, что онъ читаетъ совсѣмъ не то, что писано въ книгѣ. Со страхомъ перекрестился онъ и началъ пѣть. Это ободрило его, и чтеніе его пошло обычнымъ чередомъ, какъ вдругъ, къ полуночи, онъ слышитъ опять отвратительное царпанье, свистъ, и шумъ, и звонъ въ окнахъ. Съ робостію зажмурилъ онъ глаза свои и прекратилъ, со страха, чтеніе. Онъ слышалъ, какъ вдругъ грянуло о полъ цѣлое множество съ разными стуками, крѣпкими, звонкими, мягкими. Онъ, дрожа, приподнялъ немного одинъ глазъ свой: ужасъ! это были всѣ вчерашніе гномы, только онъ въ числѣ ихъ увидѣлъ еще новыхъ. Какъ разъ противъ него стояло высокое, котораго черныи скелетъ выдвинулся на поверхности, и сквозь темныя ребра его мелькало

желтое тѣло. Въ сторонѣ стояло тонкое и длинное, какъ валя, состоявшее изъ однихъ только глазъ съ рѣсничками. За синвою его занимало всю стѣну огромное чудище и стояло въ перенутаившихся волосахъ, какъ будто въ тѣсу. Сквозь волосъ глядѣли два ужасные глаза. Со страхомъ глянулъ онъ вверхъ: надъ нимъ держалось въ воздухѣ что-то въ видѣ большого мужира съ тысячу протавнутыхъ изъ середины клещей и скорпионныхъ жалъ. Съ ужасомъ онъ зажмурилъ глаза. Гноми поднимали шумъ, и онъ слышалъ только, какъ они искали его во всѣхъ углахъ. Это выглаго послѣдній остатокъ хмѣлю, который еще бродилъ въ головѣ философа. Онъ [читалъ] свои молитвы (и замѣчалъ только) бѣшенство гномовъ, которые и не могли найти его. «Что, если, подумалъ онъ: «всѣ эта ватага обрушится на меня?» — «За Виенъ! За Виенъ! Поидеть за Виенъ!» закричало нѣсколько какихъ-то страшныхъ голосовъ, и часть гномовъ, какъ казалось ему, удалилась. Онъ, однакоже, стоялъ съ зажмуренными глазами и не глядѣлъ ни на что. — «Вій! Вій! Вій!» замумкалъ всѣ. Двери съ шумомъ отворились, и Хома слышала только, что ввалилось страшное множество. Тишина вдругъ сдѣлалась, какъ въ могилѣ. Философъ слышалъ шептавшій ему на ухо голосъ: «Эй не гляди! Эй не гляди!» Но, — какое неостыжливое любопытство! — глазъ печально отворился. Передъ нимъ стоялъ какой-то образъ человѣческой высокой. Вѣки его были опущены до самой земли. Философъ съ ужасомъ замѣтилъ, что лице его было желѣзное, и со страхомъ поворотилъ глаза свои въ книгу. — «Поднимите мнѣ вѣки!» сказалъ подземнымъ голосомъ Вій — и все соннище кинулось поднимать ему вѣки. «Не гляди! Не гляди!» шептала какой-то голосъ въ уши философу. Онъ не утерпѣлъ и глянулъ: двѣ червяи нули глядѣли прямо на него. Желѣзная рука Вій поднялась и уставила на него палецъ — и всѣ чудища бросились на него... Ухъ! Пѣтухъ пропѣлъ, но уже второй разъ, первый прослушали... Услышавши крикъ пѣтуха, все соннище поднялось улетѣть, но не тутъ (то было); они всѣ остановились и завязули въ окнахъ, въ дверяхъ, куболѣ и остались неподвижны. Философъ лежалъ мертвый на полу. Въ это время дверь отворилась и вошелъ священникъ...»

Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ (стр. 405—453).

Эта повѣсть напечатана была въ первый разъ въ альманахѣ Смирдина „Новосельѣ“ (книга вторая, стр. 479—569), подъ псевдонимомъ „Рудый Панько“. Цензурное разрѣшеніе этой книги „Новоселья“ помѣчено: „апрѣля 18-го дня 1834 года“. Подъ текстомъ повѣсти поставленъ 1831 годъ. Гоголь, извиняясь передъ Максимовичемъ, что ничего не можетъ прислать въ его „Денницу“, писалъ ему 9 ноября 1833-го года: „Смирдинъ изъ другихъ уже рукъ досталъ одну мою старинную повѣсть, о которой я совсѣмъ было позабылъ и которую я стыжусь назвать своею: впрочемъ

она такъ велика и неуклюжа, что никакъ не годится въ вашъ альманахъ“¹. Трудно рѣшить, насколько правъ Гоголь, называя въ 1833-мъ году „старинною“ „Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“ и правильно ли отнесено, въ „Новосельѣ“, время ея написанія къ 1831 году. По крайней мѣрѣ, позволительно усомниться въ искренности отзыва Гоголя объ этой повѣсти и въ достовѣрности выписанныхъ нами строкъ изъ его письма къ Максимовичу. 1) Смирдинъ, издавая первую книгу „Новоселья“, такъ объяснилъ происхождение этого альманаха: „Пустой случай — перемѣщеніе книжнаго магазина моего на Невскій проспектъ (19 февраля 1832) доставилъ мнѣ счастье видѣть у себя, на новосельѣ, почти всѣхъ извѣстныхъ литераторовъ. — Гости-литераторы, изъ особенной благосклонности ко мнѣ, *вызвались*, по предложенію В. А. Жуковскаго, подарить меня на новоселье каждый своимъ произведеніемъ, и вотъ дары, коихъ часть издаю нынѣ. *Присланныхъ статей достаточно было бы для составленія другой такой же книги*“. Подъ этимъ объясненіемъ Смирдина напечатано: „19 февраля 1833 г.“. Въ числѣ гостей-литераторовъ, пировавшихъ у Смирдина на новосельѣ, находился и Гоголь². Трудно допустить, что онъ отказался исполнить „предложеніе“ Жуковскаго и что Смирдинъ получилъ его повѣсть „изъ другихъ рукъ“. 2) Подъ 7 апрѣля 1834 года Пушкинъ отмѣтилъ въ своемъ „Дневникѣ:“ „Вчера Гоголь читалъ мнѣ сказку, какъ Иванъ Ивановичъ поссорился съ Иваномъ Тимофѣичемъ. Очень оригинально и очень смѣшно“². Нельзя допустить, чтобы Гоголь рѣшился читать Пушкину повѣсть, которой „самъ стыдился“. Полагаемъ, что повѣсть отдана была на судъ Пушкина въ окончательной уже редакціи. Крайнимъ пунктомъ, къ которому можетъ быть приурочена эта редакція, на основаніи письма къ Максимовичу и замѣтки Пушкина, можно принять или начало ноября 1833 года, или начало апрѣля 1834 г. Къ болѣе ранней эпохѣ могъ относиться лишь первоначальный набросокъ повѣсти. Въ „Миргородѣ“ (II, 97—215) „Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“ перепечатана съ исправленіемъ нѣкоторыхъ стилистическихъ ошибокъ. (Ср. прим. 2-е

¹ Сочиненія и письма Гоголя V, 188. ² Сѣверная Пчела 1834, № 45. Здѣсь, въ описаніи новоселья Смирдина, Гречъ называетъ „Рудаго Панька“ такъ: „Г. Гоголь-Ясновскій (авторъ *Вечеръ на хуторѣ*)“. ² Сочиненія Пушкина, изд. Общества пособія нужд. литераторамъ V, 205.

къ 407-й стран.). Въ „Новосельѣ“, впрочемъ, текстъ болѣе правильный, чѣмъ въ позднѣйшихъ изданіяхъ. (Ср. 1-е примѣч. къ 421 стран.). Прокоповичъ, перепечатывая „Повѣсть“ въ „Сочиненіяхъ Гоголя“ (1842), сдѣлалъ нѣсколько незначительныхъ правокъ; самимъ авторомъ внесена въ это изданіе одна новая фраза: „за то, что онъ исповѣдуетъ еврейскую вѣру“ (ср. 2-е примѣч. къ 409 стран.).

- Стр. 405 ¹Н; «Отчего же у меня нѣтъ» М, П, Т. ²Н, М; «Агаея» П, Т. ³Н, М; «Агаею» П, Т. ⁴Н; слова «сами» нѣтъ М, П, Т.
- Стр. 406 ¹Н, М; «наросшія» П, Т. ²П, Т; «когда соберется у него человѣкъ гостей» Н, М. ³Н, М; «Вошедши» П, Т. ⁴П, Т; «скрылось» Н, М.
- Стр. 407 ¹Н, М; «чтожь» П, Т. ²М, П, Т; «развѣ мясо лучше отъ хлѣба?» Н.
- Стр. 408 ¹Слово «и» внесено изъ Н. ²П, Т; «которыя впрочемъ» Н, М.
- Стр. 409 ¹Н, М; «отчества» П, Т. ²П, Т; въ Н, М нѣтъ фразы: «за то, что онъ исповѣдуетъ еврейскую вѣру».
- Стр. 410 ¹Н; «откуда, куда и почему» М, П, Т. ²Н, М; «во» П, Т. ³Н, М; «торчашій» П, Т.
- Стр. 412 ¹Н, М; «со» П, Т. ²Н; «А давно ли оно у пана» М, П, Т. ³П, Т; «изъ» Н, М. ⁴П, Т; «развѣшенныхъ» Н, М.
- Стр. 413 ¹М; «спротивустоящую» Н; «противостолящую» П, Т. ²П, Т; «развѣшенваго» Н, М. ³Н; «со» М, П, Т.
- Стр. 414 ¹М, П, Т; «какое нужно» Н. ²Н, М; «немного» П, Т.
- Стр. 415 ¹Н; «На чтоже» М, П, Т.
- Стр. 416 ¹Н, М; «обойтись» П, Т.
- Стр. 417 ¹П, Т; «Послѣ разговору» Н, М.
- Стр. 419 ¹Н, М; слово «вамъ» опущено П, Т. ²Н, М; «о здоровья» П, Т. ³Н, М; слова «далеко» нѣтъ П, Т.
- Стр. 420 ¹П, Т; «поросенковъ» Н, М. ²Н, М; слова «Но» нѣтъ П, Т. ³П, Т; «повдо» Н, М. ⁴П, Т; «съ» Н, М.
- Стр. 421 ¹Это правильное чтеніе удѣлѣно только въ Н; въ М, П, Т ошибочно: «Ивана *Ивановича*». ²Н, М; «въ тотъ же день» П, Т. ³, ⁴Н, М; «Агаея» П, Т. ⁵Н, М; «ей совершенно» П, Т. ⁶Н, М; «однако Агаея Федосевна всегда брала верхъ» П, Т. ⁷Н, М; «она все-таки» П, Т. ⁸Н; «онъ даже измѣнилъ при ней неволью» М; «онъ даже неволью измѣнилъ при ней» П, Т. ⁹Н, М; «Агаея» П, Т. ¹⁰П, Т; «и когда у Ивана Никифоровича была лихорадка» Н, М. ¹¹Н, М; «Агаея» П, Т.
- Стр. 422 ¹П, Т; «затесалась» Н, М. ²П, Т; «перелазившіе» Н, М. ³съ знаками розгъ на спинѣ» Н, М; «съ знаками розогъ назадъ» П, Т. ⁴П, Т; «перелазить» Н, М. ⁵Н, М; «съ рыцарскимъ безстрашіемъ» П, Т. ⁶Н, М; «болѣе» П, Т. ⁷П, Т; «со» Н, М. Относительно ободной смѣны, у Гоголя, предлогъ съ и изъ ср. выше.
- Стр. 423 ¹Н, М; «которая садится» П, Т. ²Н, М; «не видѣли» П, Т. ³П, Т; «духа» Н, М. ⁴Н, М; «Агаеѣй» П, Т. ⁵П, Т; «обсматривать» Н, М.
- Стр. 424 ¹П, Т; словъ: «на плетень» нѣтъ въ Н, М. ²Н, М; «когда-нибудь» П, Т. ³Н, М; «Дома» П, Т. ⁴П, Т; «прочіе всѣ дома» Н, М. ⁵П, Т; «Онъ» Н, М.

- Стр. 425 ¹ П, Т; «убранный» Н, М. ² П, Т; «ва немъ» Н, М. ³ Н, М; «четыре дубовые стула» П, Т. ⁴ П, Т; «унивинны» Н, М. ⁵ П, Т; «если бы не вошелъ въ занимательный между тѣмъ разговоръ» Н, М. ⁶ П, Т; «съ» Н, М. Ср. 1-е пр. къ 62-й стр. этого тома.
- Стр. 427 ¹ Н, М; «исписанный» П, Т. ² П, Т; «смертвую» Н, М.
- Стр. 428 ¹ П, Т; «сморкаютъ» Н, М. ² Н, М; слово «моей» пропущено въ П, Т.
- Стр. 429 ¹ Н, М; «необычной» П, Т.
- Стр. 430 ¹ Н, М; слова «почти» вѣтъ П, Т. ² Н, М; «а остальная оставалась въ передней» П, Т.
- Стр. 431 ¹ П, Т; «костистыхъ» Н, М. ² П, Т; «скоса и пьяна» Н, М. ³ П, Т; «впитиснуть онъ былъ» Н, М. ⁴ Н, М; «столько потрите» П, Т.
- Стр. 432 ¹ Н, М; «началомъ» П, Т.
- Стр. 433 ¹ П, Т; слова «и» вѣтъ Н, М.
- Стр. 434 ¹ П, Т; «съ нее» Н, М. ² Н, М; «о» П, Т. ³ П, Т; «въ гражданской полиціи» Н, М. ⁴ Н, М; «въ тотъ же день» П, Т. ⁵ Н, М; «почтенныхъ» П, Т. ⁶ П, Т; «красявшее» Н, М. Ср. 1-е прим. къ 19-й стр. пятого тома.
- Стр. 435 ¹ П, Т; «перилы» Н, М.
- Стр. 437 ¹ Н, М; слова «то» вѣтъ П, Т.
- Стр. 439 ¹ П, Т; «съѣдите» Н, М. ² Н, М; «ото» П, Т.
- Стр. 440 ¹ М; «человѣка» Н, П, Т.
- Стр. 441 ¹ Н, М; «безуспѣшны» П, Т. ² Н, М; «обратился» П, Т. ³ П, Т; слова «дѣло» вѣтъ Н, М.
- Стр. 442 ¹ П, Т; «рядикулей» Н, М.
- Стр. 444 ¹ П, Т; «съ ними» Н, М. ² П, Т; «за кисеть сафьянный съ водотомъ» Н, М.
- Стр. 445 ¹ П, Т; «не смотря, что его щелкали» Н, М. ² Н, М; «найтись» П, Т. ³ Н, М; «гдѣ рѣдко и умный» П, Т. ⁴ Н, М; «въ то время, когда» П, Т. ⁵ Н, М; «и когда уже онъ» П, Т.
- Стр. 447 ¹ Н, М; «какъ уже» П, Т

Тарась Бульба. (Главы одной изъ позднѣйшихъ редакцій).
(стран. 454—498).

Напечатанныя въ „Приложеніи“ главы: пятая, восьмая, девятая и начало десятой принадлежать къ *первой* обработкѣ „Тараса Бульбы“ въ той новой редакціи, которая была переписана набѣло въ Римѣ (НР) въ свѣтлоглубья третради, но потомъ вновь пере-дѣлана — въ Москвѣ. См. выше, стран. 641—645.

- Стр. 454 ¹ Въ рукописи: «изумитель». ² Въ рукописи: «предвѣчательный». ³ Въ рукописи: «вмѣшался».
- Стр. 456 ¹ Въ рукописи: «что». Гоголь часто, вмѣсто «чтобы», пишетъ: «что». ² Въ рукописи: «пріобъемъ». ³ Въ рукописи: «волу». ⁴ Въ рукописи это слово не дописано. ⁵ Слова «способность соображать», приписаны сверху строки вмѣвъ стоящихъ передъ ними въ скобкахъ.
- Стр. 457 ¹ Въ рукописи, согласно обычному употребленію Гоголя: «успѣвшіяся». ² Можетъ быть, и въ этомъ мѣстѣ предлогъ «съ» поставленъ вмѣсто «изъ»

- Стр. 458 ¹ В рукописи : «обращать». ² Прежде было написано : «а все не диво». ³ В рукописи это слово не дописано.
- Стр. 459 ¹ Прежде было написано : «сухотили далеко». ² В рукописи : «какіе». ³ В рукописи : «свѣтъ». ⁴ Слово «обложенный» написано сверху зачеркнутого : «наконецъ». В первом изданіи «Сочиненій Гоголя» П ошибочно напечатано : «обнаженный». ⁵ Точки поставлены на мѣстѣ пропущеннаго слова (вѣроятно : «воинство»).
- Стр. 460 ¹ Прежде было написано : «хребетъ». ² Прежде было написано : «быка». ³ Послѣ словъ : «И долго глядѣлъ онъ», написано сверху строки : «совершенно безотчетно на небо». ⁴ Послѣ этого надъ слѣдующемъ фразой приписано : «По длиннымъ волосамъ, шеѣ и полуобнаженной груди онъ видѣлъ, что это была женщана». ⁵ вмѣсто слова : «выказывались» прежде было написано : «были видны». ⁶ В рукописи : «что».
- Стр. 461 ¹ Слово «старый» приписано сверху строки, а слово «отецъ» въ то же время зачеркнуто.
- Стр. 462 ¹ вмѣсто этого слова прежде было написано : «пустъ». ² Слово «бѣгомъ» въ рукописи пропущено, внесено изъ «Миргорода». ³ Это слово не дописано : «сурово». Вислѣдствіи описки исправлена прибавкою «и». ⁴ Такъ въ «Миргородѣ»; въ рукописи : «сильно».
- Стр. 463 ¹ Слова : «на время» приписаны сверху строки взамѣнъ ниже зачеркнутыхъ, поставленныхъ у насъ въ скобки.
- Стр. 464 ¹ Прежде было написано : «вырвалъ». ² В рукописи : «не пробудился ли кто». ³ При позднѣйшей обработкѣ главы послѣ этого слова приписано : «голова».
- Стр. 465 ¹ Послѣ этого зачеркнуто : «нарѣдка вспих». ² Это мѣсто получило отдѣлку лишь въ слѣдующей редакціи. Первоначально послѣ слова : «осоккой» Гоголь оставилъ пустое мѣсто, чтобы внести глаголъ, который управляетъ словомъ «кочками». При окончательной обработкѣ повѣсти поэтъ переправилъ слово «потокъ» въ «протокъ»; зачеркнулъ слова : «или небольшая рѣчка»; слово «поросшалъ» передѣлалъ въ «поросшіи»; на пустомъ мѣстѣ, передъ словомъ «кочками», вписалъ : «и усѣянный». ³ В рукописи : «покачивало». ⁴ В рукописи описки : «выходившаго». Эта описки исправлена потомъ авторомъ собственноручно.
- Стр. 466 ¹ Прежде было написано : «отваливъ». ² Прежде было написано : «нашли отверстіе въ земляной стѣнѣ, нѣсколько». ³ Прежде было написано : «сколько». ⁴ В рукописи, согласно обычному правописанію Гоголя : «всѣ». ⁵ Прежде было написано : «просторно». ⁶ Прежде было написано : «порцію каку-нибудь».
- Стр. 467 ¹ Прежде было написано : «провинились бы». ² В рукописи : «согрѣшились». ³ вмѣсто слова «тихо» сначала было написано : «почти про-себя». ⁴ Прежде было написано : «но голосно не могли произнести одобренія, зная, что неприлично».
- Стр. 468 ¹ В рукописи : «придуманя».
- Стр. 469 ¹ вѣроятно : «распоряжался». Прежде было написано : «говорилъ». ² Прежде было написано : «во весь голосъ». ³ Слова : «не мало» написаны сверху зачеркнутого : «сильно».

- Стр. 470 ¹ В рукописи: «самимъ» — обычное у Гоголя смѣшеніе словъ: «самъ» и «самій».
- Стр. 472 ¹ Слово «рода» въ рукописи пропущено.
- Стр. 473 ¹ Фразы: «и разсердился сильно» приписана сверху взаи́мъ зачеркнутой: «не помня себя». ² Слово «оставаться» приписано сверху зачеркнутыхъ: «имѣть дѣ». ³ Прежде было написано: «что нечего сердиться на жиды и неразумно предаваться первой...». ⁴ В рукописи: «подполсывали». ⁵ Слово «хлѣбъ» въ рукописи пропущено. ⁶ Такъ въ рукописи. Не слѣдуетъ ли читать: «отправлялись»? ⁷ Прежде было написано: «Стеблнвскій»; потомъ эта описка собственноручно исправлена авторомъ.
- Стр. 474 ¹ Прежде было написано: «въ лшскихъ рукахъ». ² Слова: «потихонько пошли», написаны сверху зачеркнутого слова: «отправились». ³ Прежде было написано: «въ солнцахъ».
- Стр. 475 ¹ В рукописи: «ватерпѣвшій». ² Поздвѣе исправлено рукою автора: «на всемъ войскѣ».
- Стр. 476 ¹ Слово «зналъ» написано сверху зачеркнутого: «потому». ² Слово «спрячется» написано сверху зачеркнутыхъ: «можетъ спрятаться». ³ Слова: «не сказали», написаны сверху зачеркнутыхъ: «не говорили».
- Стр. 477 ¹ Слово «страхъ» въ рукописи пропущено. ² «посныпалъ»? ³ Такое согласованіе сказуемаго съ подлежащими въ слитныхъ предложенияхъ не рѣдко у Гоголя. Ср. 8-е примѣчаніе къ 229-й стр. этого тома. ⁴ Слово «многіе» написано сверху зачеркнутыхъ: «и другіе». ⁵ Послѣ слова «завидѣвъ» было приписано сверху строки: «еще прежде»; потомъ эта приписка зачеркнута.
- Стр. 478 ¹ В рукописи описка: «въ». ² Вмѣсто слова «подѣхалъ» прежде было написано: «погналъ прямо на него коня».
- Стр. 479 ¹ Прежде было написано: «пошла». ² Прежде было написано: «нѣскольк». ³ Слово «сильными» написано сверху зачеркнутого: «быстрыми». ⁴ Прежде было написано: «на воздухѣ». ⁵ Слово «шли» приписано сверху строки лишь при послѣдней обработкѣ главы.
- Стр. 480 ¹ Сначала было написано: «и вытоптавъ на далекое пространство»; потомъ сверху, послѣ слова «вытоптавъ», приписано: «далеко траву въ погѣ вокругъ»; слова же: «на далекое пространство» зачеркнуты. ² Слово «на» приписано вмѣсто зачеркнутого «въ». ³ В рукописи: «Уманцами». ⁴ В рукописи: «не оглянувшихъ». ⁵ В рукописи: «оступать».
- Стр. 481 ¹ Слово «курень» въ рукописи пропущено. ² Слово «опять» написано сверху зачеркнутого «вдругъ». ³ В рукописи: «прокрадывавшаго».
- Стр. 482 ¹ В рукописи: «окравшись». ² В рукописи: «промежъ съ собой». ³ Слово «серединн» переисправлено изъ «половинн». ⁴ В рукописи: «начинать». ⁵ Такъ въ этомъ мѣстѣ рукописи; въ другихъ случаяхъ Гоголь пишетъ: «мираа».
- Стр. 483 ¹ Прежде было написано: «не было въ татарскомъ таборѣ». ² В рукописи: «съ бока на бока». ³ Слово «его» написано сверху зачеркнутого: «козака». ⁴ В рукописи перечеркнуто карандашомъ все это мѣсто, начиная со словъ: «его и распросить, чтѣ и какъ было», и оканчивая словами: «Въ подобныхъ случаяхъ водилось у заморозцевъ бросать все и». Взаи́мъ зачеркнутого Гоголь собственноручно написалъ каранда-

жомъ же: «и допросить его — не добудились вовсе. Сильно неприятна была такая вѣсть запорожцамъ. Въ такихъ случаяхъ было въ общаѣ, бросивши все» и т. д. Но эта поправка не принята въ первое изданіе «Сочиненій Гоголя», II, гдѣ читаются зачеркнутыя авторомъ «Тараса Бульби» строки: «Въ подобныхъ случаяхъ водилось у запорожцевъ гнаться въ ту жъ минуту за похитителями».

Стр. 484 ¹Затѣмъ зачеркнуто: «ковакъ». ²Въ рукописи: «тогда».

Стр. 485 ¹Къ этому первоначальному тексту сдѣлано было Гоголемъ, сверху строкъ, слѣдующее дополненіе: «Такъ же покрай же (пускай же?) не укорить меня никто ни изъ старшихъ, ни изъ молодыхъ, которые теперь живуть и которые послѣ будутъ (укорить меня поворомъ). Кто куда, я остался съ своимъ полкомъ». ²Послѣ этого стоятъ два слова, которыхъ намъ не удалось разобрать. ³Это слово не дописано въ первоначальномъ текстѣ; стоитъ одна буква б. Потомъ слово «былъ» приписано сверху строки. ⁴Сверху этого незачеркнутого слова приписано: «плавно плели свои рѣчи». ⁵Слово «дома» приписано сверху строки уже при послѣднемъ пересмотрѣ главы. ⁶Послѣ этого при пооднѣйшемъ пересмотрѣ текста приписано слово: «пошло».

Стр. 486 ¹Въ рукописи: «всѣ». ²Слово «миги» написано сверху зачеркнутого: «дороги». ³Въ рукописи: «остається».

Стр. 487 ¹Прежде было написано: «коли малая часть курени». ²Прежде было написано: «часть». ³Слово «права» приписано сверху зачеркнутого: «характера». ⁴Можетъ быть, слѣдуетъ читать: «все».

Стр. 488 ¹Слова: «не разъ черени у штанныхъ» написаны сверху зачеркнутыхъ: «черени у очкуровъ шароварныхъ». ²Слова: «того и стечь нельзя. Все слустяги», написаны сверху зачеркнутыхъ: «Послустягъ почти каждый изъ нихъ все». ³Прежде было написано: «теперь я не такъ старій». ⁴Прежде было написано: «Я давно просилъ у Бога».

Стр. 489 ¹Слова: «оставшіеся товарищи», написаны сверху зачеркнутыхъ: «стояшіе передъ оврагомъ коваки». ²Слова: «а когда» написаны сверху зачеркнутыхъ: «и потомъ». ³«высвѣтлѣвшихся?» ⁴Прежде было написано: «не стало». ⁵Въ этомъ мѣстѣ двѣ строки печатаемаго текста совершенно затерты, такъ что нельзя разобрать ничего. Но въ болѣе старомъ наброскѣ (ММ) это мѣсто читается такъ: «чтобы вновь и съ большимъ еще силою, чѣмъ прежде, всякой бы обратился и почувалъ, что бываетъ только съ одной великодушною славянскою душою. Зналъ Тарасъ также, чѣмъ и какъ (возбудить) сдѣлать, чтобы въ одинъ мигъ они настроились всѣ, и далъ приказъ».... При окончательной редакціи на мѣстѣ этихъ двухъ тщательно вытертыхъ строкъ написаны ясными чернилами слѣдующія шесть строкъ: «прежде воротилась бодрость каждому въ душу, на что способна одна только славянская порода, — широкая, могучая порода (поправлено изъ: «приврода») — передъ другими, что море передъ мелководными рѣками. Коли время бурно, все превращается оно въ ревъ и громъ, буря и поднимая валы, какъ не поднять ихъ безсильными рѣками. Коли же безвѣтренно и тихо, ясиѣ всѣхъ рѣкъ разстилаетъ оно свою неоглядную стланныю поверхность, вѣчную нѣгу очей». ⁶Въ рукописи: «всѣ», позднѣе переправленное на «все».

- Стр. 490 ¹Прежде было написано: «Закрѣтый и увязанный, стоялъ онъ все время, ибо старшій Бульба зналъ хорошо, что въ походѣ непринично и не годится давать козакамъ вина, потому что гулякина русская натура и, попробовавъ, какъ говорится, ногою, захочетъ тотъ же часъ войти по горло».
- Стр. 491 ¹Слова: «весь глотокъ, какой оставался», написаны сверху зачеркнутыхъ: «что оставалось». ²Эта фраза написана сверху зачеркнутой: «Звучно повторялось старыми и молодыми голосами». ³Такъ въ рукописи; при позднѣйшемъ пересмотрѣ передѣлано: «дорогами». ⁴Слова: «щедро обмивъ» написаны сверху зачеркнутыхъ: «тучно покрыв[шись]».
- Стр. 492 ¹Въ рукописи: «лосыащивы»; прежде было написано: «бравыми». ²Въ рукописи: «сѣщимъ духомъ». ³Въ рукописи: «звачительво». ⁴Слово «войскъ» въ рукописи пропущено.
- Стр. 493 ¹Въ рукописи: «часть». ²Въ рукописи описка: «божья». ³Прежде было написано: «товарищество святое дѣло». ⁴Слово «по» въ рукописи пропущено. ⁵Прежде было написано: «на свѣтъ».
- Стр. 494 ¹Слово «чуждая» написано сверху зачеркнутого: «иноземная». ²Слово «что» въ рукописи пропущено. ³Въ рукописи: «схватится». ⁴При послѣдней редакціи послѣ слова «вскрикнуть» приписано было: «громко на весь міръ», но прибавка эта зачеркнута. ⁵Подѣиѣ послѣ этого слова приписано: «такъ умирать, какъ русскому, никому, никому!» ⁶Прежде было написано: «и лучшаго на сердцѣ у всякаго человѣка». ⁷Прежде было написано: «или еще не познавашаго ихъ чужаю молодую жемчужною душою».
- Стр. 495 ¹Слово «сивомъ» написано сверху зачеркнутого: «добромъ».
- Стр. 496 ¹Слова: «и площадей» приписаны позднѣе. ²Прежде было написано: «бравый». ³Въ рукописи: «славней». ⁴Въ рукописи: «въ руку». ⁵Слова: «не можно», написаны вмѣстѣ зачеркнутого: «трудно». ⁶Въ рукописи: «строили». ⁷Послѣднія буквы въ этомъ словѣ неясны. ⁸Прежде было написано: «Но еще прорвались ли бы они».
- Стр. 497 ¹Прежде было написано: «истоптали». ²Слово «съ» въ рукописи пропущено. ³Въ рукописи: «игнемъ».
- Стр. 498 ¹Прежде было написано: «невольникамъ».

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ТОМА.

СПИСОКЪ

приложеній къ первому тому.

I. Портретъ Н. В. Гоголя, гравированный Брокгаузомъ съ оригинала, рисованнаго Венеціановымъ въ 1834 году.

II. Четыре снимка съ почерка Гоголя:

1. Изъ рукописи „Сорочинской ярмарки“ (1830 г.).
2. Надпись на заглавномъ листѣ записной книги Гоголя (1831—1834 г.).
3. Изъ повѣсти „Невскій проспектъ“ (въ той же записной книгѣ).
4. Изъ письма къ В. А. Жуковскому (2 февраля 1852 г.).

III. Фабричные знаки въ бумагѣ, на которой Гоголь писалъ свои произведенія.

ОГЛАВЛЕНІЕ ПЕРВАГО ТОМА.

	<i>Стран.</i>
Предувѣдомленіе (отъ редактора)	I
Предисловіе къ первому изданію «Сочиненій Н. Гоголя». XXV	

ВЕЧЕРА НА ХУТОРѢ ВЛИЗЬ ДИГАНЬКИ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Предисловіе	3
Сорочинская ярмарка	9
Вечеръ наканунѣ Ивана Купала	36
Пропавшая грамота	81

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Предисловіе	95
Ночь передъ Рождествомъ	99
Страшная мѣсть	144
Иванъ Ѳеодоровичъ Шпонька и его тетушка	185
Заколдованное мѣсто.	212

МИРГОРОДЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Старосвѣтскіе помѣщики	223
Тарасъ Бульба	246

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

	<i>Стран.</i>
Вій	367
Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ	405

ПРИЛОЖЕНІЕ.

Тарасъ Бульба (Главы одной изъ позднѣйшихъ редакцій).	454
---	-----

Малороссійскія слова, встрѣчающіяся въ первомъ томѣ.	499
--	-----

Примѣчанія редактора и варианты	505
Списокъ приложеній къ первому тому.	710

~*~*~*~

**RUSSIAN LIBRARY:
RUSSIAN BOOKS,
BOUGHT AND SOLD
A. M. LEONIAN,
91 U. S. Street, New York.**



2 а.



Фабричные знаки въ бумагахъ, на которой Гоголь писалъ свои произведенія

